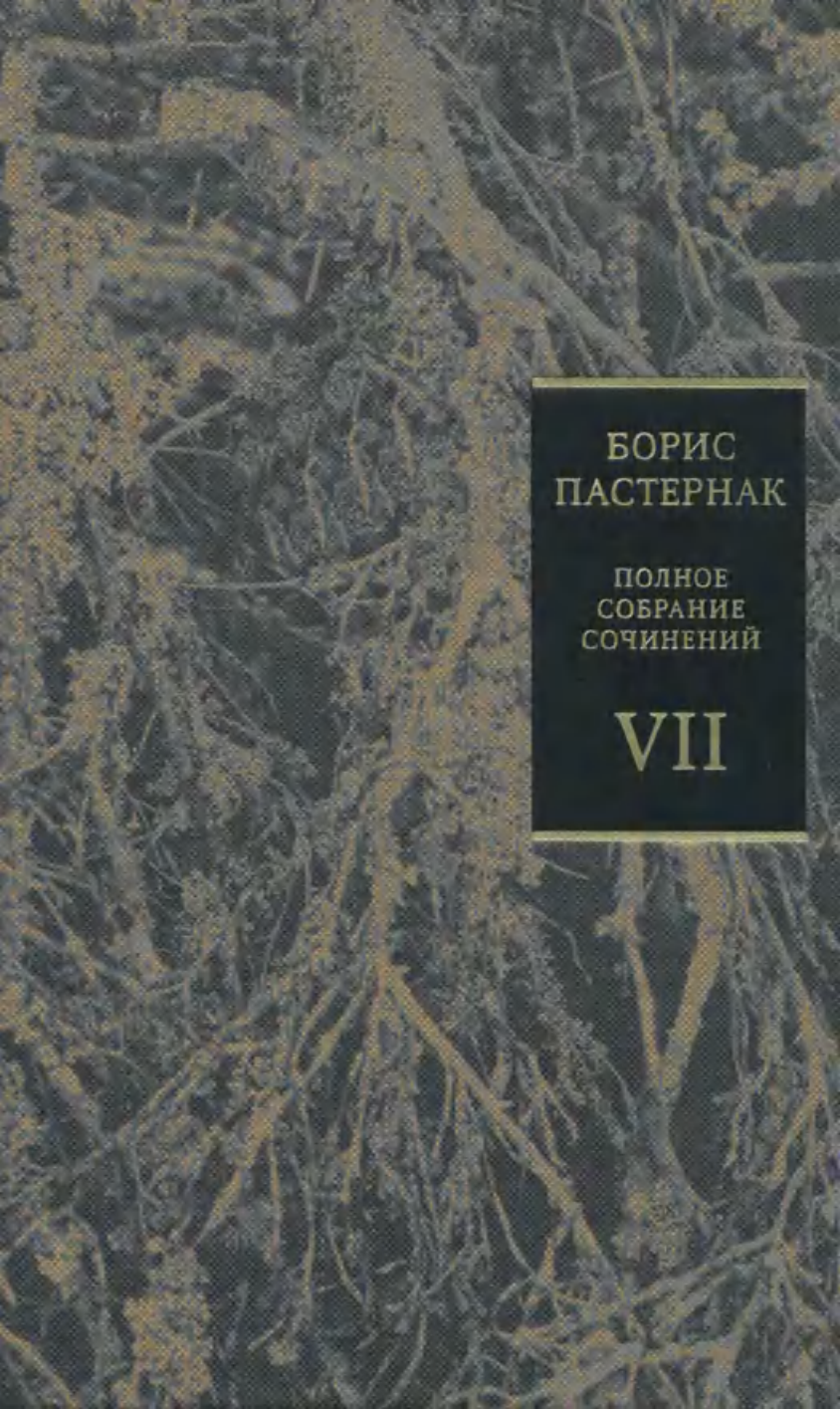

БОРИС
ПАСТЕРНАК
ПОЛНОЕ
СОБРАНИЕ
СОЧИНЕНИЙ
VII



БОРИС ПАСТЕРНАК

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ С ПРИЛОЖЕНИЯМИ

В одиннадцати томах

БОРИС ПАСТЕРНАК

Том VII

ПИСЬМА
1905–1926

СЛОВО/SLOVO
2005

УДК 821.161.1
ББК 84 (2 Рос-Рус) 6-5
П 19

Издание осуществлено
в рамках Федеральной программы
поддержки книгоиздания России

Российский Государственный архив
литературы и искусства, Москва

Рукописный отдел Государственного
музея изобразительных искусств
им. А. С. Пушкина, Москва

Рукописный отдел Государственного
Литературного музея, Москва

Рукописный отдел Института
русской литературы (Пушкинский Дом),
С.-Петербург

Рукописный отдел Института
мировой литературы им. М. Горького
Российской Академии наук, Москва

Главный редактор Д. В. Тевекелян

Составление и комментарии
Е. В. Пастернак и М. А. Рашковской

На авантитуле:
Борис Пастернак. 1924 год. Ленинград.
Фото М. С. Наппельбаума

ISBN 5-85050-687-X (т. VII)
ISBN 5-85050-680-2

© Наследники Пастернака Б. Л., 2005
© Пастернак Е. В. и Рашковская М.А.,
составление, комментарии, 2005
© Журавлев К. Е., художественное
оформление, 2005
© Слово/Slovo, издание, 2005

В литературном наследии Бориса Пастернака его письма занимают огромное место и по объему, и по числу адресатов, и, главное, по значительности затронутых тем и вопросов, изложенных со всей содержательностью и выразительностью подлинных произведений искусства. Они представляют собой литературное воплощение его жизни и времени, не менее важное, чем его стихи и проза.

Письма Пастернака отражают определенную ступень творческой работы. Впечатления и мысли, еще недостаточно «отстоявшиеся» для окончательного выражения в художественном тексте, сначала закреплялись в письмах. В них находили выход открытость характера, желание передать то, что он увидел и пережил, близким или друзьям и горячая писательская потребность поделиться своими мыслями и наблюдениями. Часто развиваемые в письмах представления и темы оказывались предварительными набросками стихов или прозы, сохраняя при этом свою метафоричность. Но чаще найденные в письмах формулировки оставались прямым и непосредственным выражением творческих положений и нравственных мотивов.

Пастернак был едва ли не единственным из русских поэтов нашего века, кто старательно формулировал принципы своей творческой эстетики в статьях и автобиографической прозе. Для полного понимания этих принципов существенную роль играют его письма.

Дневников и записок для себя Пастернак не вел, и все, что у других писателей составляет содержание ежедневных записей, попадало в письма и посылалось в разные адреса. Пастернак не по-

зволял себе простой отписки, для него письмо — прежде всего сообщение, мысль, присутствия которых он всегда требовал от каждой фразы. В то же время его письма не только искренни и содержательны, — они литературно-профессиональны. В них он позволял себе бóльшую откровенность, чем в своих художественных произведениях, поскольку его литературная деятельность пришлась на эпоху, когда запрет на свободное выражение мысли был частью повседневного обихода, так что письма подчас требовали большой смелости, нередко они, как и дневники, становились материалом судебных приговоров для автора или его друзей.

В письмах 1920–1930-х гг. Пастернак неоднократно жаловался, что не может в своих работах представить цельную, пластическую картину событий, очевидцем которых был, но в то же время его письма тех лет сами по себе содержат точные и глубокие характеристики современной истории, становясь документами времени, дающими беспощадную нравственную оценку эпохе.

Он признавался, что не умеет писать письма, что для него это мучительное занятие. Этим объясняется разнообразие стиля и чувств, которым автор искал выражение в письмах. «Все равно никогда не высказать того, что за ними подымается <...> В основе таких поползновений всегда десяток противоречивых порывов. Письмо разгорячается, точно оно способно заклясть получателя и его вызвать и поставить перед тобой. Письмо вдается в лирику, точно оно это явленье переживает. В то же время, лишенное чудесного сопротивленья действительности, оно философствует и его философствованью нет границы, которую ставит живая встреча» (письмо к М. Цветаевой 23 февр. 1926).

Террор 1930-х гг. резко оборвал эпистолярную традицию. Однако Пастернак продолжал откровенно писать в письмах то, что он думает. «Удивительно, как уцелел я за те страшные годы. Уму непостижимо, что я себе позволял!!» — вспоминал он в письме к Ольге Фрейденберг 7 янв. 1954 г. Открытая оценка общественной ситуации и прямая реакция на аресты и гибель друзей, выраженные в его письмах, стали причиной многочисленных купюр в посмертных публикациях писем Пастернака на родине.

Разные линии переписки насчитывают более сотни имен и тысячи страниц. Регулярность и обстоятельность писем Пастернака делают их незаменимым источником для изучения его биографии, его представлений о задачах и условиях литературного призвания, его отношения к современникам.

Отметим широкий диапазон различных интонаций и стилистических оттенков в разговоре Пастернака с людьми. Л. Я. Гинзбург в предисловии к изданию писем Пастернака отмечала, как заражается Пастернак, в частности, в переписке с Цветаевой «ее страстной, захлебывающейся тональностью», как письма Пастернака к Горькому строятся на сюжете отношений младшего к старшему, «недостойного ученика к Учителю жизни», как «превознесению адресата противостоит отрицательная оценка самого себя». Письма к Ахматовой полны неизменного участия и желания поддержать ее в трудностях жизни, к Шаламову — радости обретенного взаимопонимания и возможности разговора о самых существенных сторонах жизни и творческих принципах.

Бросается в глаза зависимость стилистики писем Пастернака от течения времени. Смена взволнованно перебивающегося, насыщенного эмоционально и тематически тона ранних писем — успокоенно и логически облегченным лаконизмом поздних, та же, которой отмечены поиски «незаметного стиля» в поэзии и прозе Пастернака. Не будем повторять навязчиво затверженного представления о переходе Пастернака от сложности к простоте, тем более что это в корне расходится с тем смыслом, который автор сам вкладывал в эти понятия, видя в простоте, к которой, по его словам, он стремился всю жизнь, непосредственное и живое отражение первоначальных впечатлений. Конечно, нельзя отрицать постоянного давления времени и оценок критики, обвинявшей Пастернака в «непонятности» и «вычурности», но в первую очередь надо назвать трезвое восприятие исторической действительности, менявшееся на протяжении жизни. Он писал В. Шаламову об исчезновении языка, на котором говорило и писало поколение, пережившее символизм, и о своем желании «изложить в современном переводе на нынешнем языке, более обычном, рядовом и спокойном, хоть некоторую часть того мира, хоть самое дорогое <...>, тепловое, цветовое, органическое восприятие жизни».

Переписка в целом включает в себя письма, имеющие назначение простой передачи бытовых сведений или отчета о последовательности жизненных событий и фактов, письма, написанные в жанре дружеского общения, письма-размышления или наблюдения. Ранние письма 1910–1920-х гг. отражают период самоопределения Пастернака как человека и поэта, в них отчетливо звучит исповедально-философский характер разговора, поиски пути. Причем часто в одном и том же письме Пастернак легко совмещает самые разнообразные темы — от рассуждений о творческих

задачах, признаний в любви и душевной близости до простых житейских вопросов и отношения к происходящему вокруг.

Публикация и изучение переписки Пастернака начались в 1963 г., когда немецкая поэтесса Ренате Швейцер выпустила книгу «Дружба с Пастернаком», включив в свои воспоминания о знакомстве с ним и переписке тексты немецких писем Пастернака к ней. Эта книга вызвала большой интерес, и в 1966 г. литературный критик Гия Маргвелашвили собрал и подготовил к печати письма Пастернака к грузинским друзьям, вышедшие большими подборками в русских журналах и по лицензии АПН отдельными книгами в Европе и Америке. Но из текста были безжалостно изъяты все упоминания о безвременной гибели друзей Пастернака, знаменитых грузинских поэтов Паоло Яшвили и Тициана Табидзе, и о работе над романом «Доктор Живаго», запрещенном в СССР. В изданиях отсутствует главная причина привязанности Пастернака к Грузии — наложенные этой трагедией узы верности памяти погибшим, жалости и любви к оставшимся.

Тот же изъян в публикации писем к Сергею Спасскому, предпринятой его дочерью в 1969 г. Здесь редакция сочла нужным купировать рассуждения Пастернака о его отношении к лирике в трудный период конца 1920-х — начала 1930-х гг. как слишком «субъективные», как будто в письмах к другу и поэту автор должен был непременно излагать не собственное мнение, а выверенные марксистской идеологией «объективные» формулировки литературных жанров. В пятом томе Собрания сочинений Пастернака, в который вошли 345 писем Пастернака, купюры восстановлены.

Сбор рассеянных по всему миру писем Пастернака, иные многолетние отношения которого образуют целые эпистолярные романы, позволил собрать том переписки трех великих поэтов XX века: Р.-М. Рильке, М. Цветаевой и Б. Пастернака летом 1926 г. и переписку с Ольгой Фрейденберг, охватывающую время с 1910 по 1954 г. В Stanford Slavic Studies вышла обширная переписка Пастернака с родителями и сестрами, отразившая семейную близость и общность отношений к жизни и искусству. В расширенном виде в 2004 г. они вышли в России.

Отдельной книгой вышли письма Пастернака к Зинаиде Нейгауз-Пастернак и том писем к его первой жене — художнице Евгении Пастернак. Подготовлена и издана переписка с Раисой Ломоносовой, женой Ю. В. Ломоносова, главы советской торговой миссии в Берлине, в 1922 г. объявившего о своем желании остать-

ся за границей. Письма Пастернака к Ольге Ивинской были опубликованы в ее книге воспоминаний «В плену времени», вышедшей в 1972 г. в Париже. Несколько писем Пастернака включено в подборку, составленную для неосуществленного сборника воспоминаний Ариадны Сергеевны Эфрон, вошедших потом в книгу «Письма из ссылки», изданную в Париже в 1980 г. Как и переписка Пастернака с В. Шаламовым, они относятся ко времени напряженной работы над романом «Доктор Живаго», краткость и торопливость их слога говорят о душевном состоянии автора, на пределе своих сил стремившегося во что бы то ни стало закончить главное дело своей жизни, несмотря на множество препятствий, которое чинило ему время. Сквозь лаконизм этих писем явственно выступает высокий нравственный смысл, который он придавал роману.

В журналах последнего времени нам удалось опубликовать в своих переводах переписку Пастернака с французскими друзьями и переводчиками «Доктора Живаго», итальянским и американским издателями романа. Они освещают историю его публикации за границей, вскрывают мучительный гнет, которому подвергался автор со стороны партийных руководителей и чиновников.

Писавшиеся на иностранных языках письма даются в переводе, который главным образом выполнен Е. Б. Пастернаком и помогавшими ему И. Кузнецовой, Ек. Ивановой, Е. Усачевой.

За долгое время поисков обнаружено много писем к читателям, начинающим поэтам, издателям, литературным критикам и другим адресатам. Найденные в последние годы, они впервые печатаются в настоящем собрании и составляют значительную его часть. Это письма к П. Д. Эттингеру, Н. Н. Суханову, С. Н. Дурылину, П. Н. Зайцеву, Е. П. Пешковой, А. И. Цветаевой, А. А. Фадееву, К. Л. Зелинскому, М. Б. Храпченко и многим другим.

Издательство отвело эпистолярному наследию Пастернака четыре тома, чтобы наиболее полно представить его жизненный и творческий диапазон: становление его как поэта, трудные 1920–1930-е гг. и последующие военный и послевоенный периоды, когда единственным заработком были переводы, годы работы над романом «Доктор Живаго» и травли, начавшейся после присуждения Пастернаку Нобелевской премии.

Аннотированный именной указатель к томам писем дается в конце X тома.

В текстах писем по большей части сохранены особенности пунктуации и орфографии автора (мужчина и мущина, извозчик и из-

вощик), разнобой в написании слов и собственных имен, взятых из иностранных языков (конфекты и конфеты, галстух и галстук, пенюар и пеньюар; Блек и Блейк, Суинберн и Свинберн и пр.). Авторские датировки даются слева перед началом письма, составительские (курсивом) — справа. В угловых скобках < > — конъектуры составителей, квадратными [ ] обозначены авторские вычеркивания в тексте. Комментарии к каждому письму даются вслед за ним. В них мы частично использовали сведения первых публикаторов писем: В. Г. Смолицкого, И. Д. Шевеленко, М. И. Фейнберг, Ричарда Девиса, Л. Флейшмана, А. Лаврова, В. Козового, К. Поливанова и др. Переводы кратких иностранных текстов даются под строкой. Письма, полностью написанные на иностранных языках, даются в русских переводах, что оговаривается в комментариях. Цитаты, не имеющие ссылки на источник, даются по семейному архиву.

Выражаем благодарность государственным архивам и владельцам писем, предоставившим свои материалы для публикации. Благодарим также В. Г. Смолицкого за постоянную помощь в составлении комментариев, О. Степанову за работу над именным указателем и друзей, неизменно отзывавшихся на наши вопросы.

ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ:

Архив МГУ — Центральный Государственный исторический архив Москвы, фонд Московского Государственного университета.

Архив РАН — Центральный архив Российской Академии наук.

Воспоминания — Воспоминания о Борисе Пастернаке. М., «Слово/Slovo», 1993.

«Встречи с прошлым» — Встречи с прошлым. Сборник материалов Российского Государственного архива литературы и искусства. М., «Русская книга».

ГАРФ — Государственный архив Российской Федерации.

ГЛМ — Рукописный отдел Государственного Литературного музея.

ГМГЛ — Государственный музей грузинской литературы им. Г. М. Леонидзе (Тбилиси).

ГМИИ — Рукописный отдел Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина.

Ежегодник ПД — Ежегодник рукописного отдела Пушкинского Дома.

ИМЛИ — Рукописный отдел Института мировой литературы им. М. Горького Российской Академии наук, Москва.

ИОЛЯ — Известия Отделения литературы и языка АН СССР.

ИРЛИ — Рукописный отдел Института русской литературы (Пушкинский Дом), С.-Петербург.

ЛН. Т. 70 — Горький — Б. Пастернак. Публикация Е. Г. Коляды // Горький и советские писатели. Неизданная переписка. Литературное наследство. М., 1963.

ЛН. Т. 93 — Борис Пастернак. Из переписки с писателями. Публикация Е. Б. и Е. В. Пастернаков // Из истории советской литературы 1920–1930-х годов. Литературное наследство. М., 1983.

«Минувшее» — «Минувшее». Исторический альманах. М.–СПб., Atheneum-Феникс.

М. Ц. Собр. соч. — Марина Цветаева. Собрание сочинений в семи томах. М., «Эллис Лак», 1995.

Новые материалы — В. Г. Смолицкий. Два года из жизни Б. Пастернака (1905–1906) // «Новые материалы по истории литературы». М., 1994. Публикация В. Г. Смолицкого.

Памятники культуры — Письма Бориса Пастернака из Марбурга. Публикация Е. В. Пастернак, К. М. Поливанова // «Памятники культуры. Новые находки. 1989». М., 1990.

Пастернак. Об искусстве — Борис Пастернак. Об искусстве. «Охранная грамота» и заметки о художественном творчестве. М., «Искусство», 1990.

Переписка с О. Фрейденберг — Борис Пастернак. Переписка с Ольгой Фрейденберг. Harcourt Brace Jovanovich. New York, 1981.

Письма к родителям и сестрам — Борис Пастернак. Письма к родителям и сестрам. Кн. I, II. Stanford Slavic Studies. Stanford, 1988.

Письма 1926 года — Райнер Мария Рильке. Борис Пастернак. Марина Цветаева. Письма 1926 года. М., «Книга», 1990.

«Пожизненная привязанность» — Борис Пастернак. Пожизненная привязанность. Переписка с О. М. Фрейденберг. М., «Арт-Флекс», 2000.

РГАЛИ — Российский Государственный архив литературы и искусства.

РГБ — Отдел рукописей Российской Государственной библиотеки.

РНБ — Рукописный отдел Российской Национальной библиотеки.

«Россия». Torino, 1977, № 3 — Пастернак и Брюсов. К истории отношений. Публикация Е. Пастернак // Russia/Россия. Studi i ricerche a cura di Vittorio Strada. Torino, 1977, № 3.

«Россия». Venezia, 1993, № 8 — Борис Пастернак и Александр Штих. Публикация Е. Пастернак // Russia / Россия. Studi i ricerche a cura di Vittorio Strada. Venezia, 1993, № 8.

Собр. соч. Т. 5 — Борис Пастернак. Собрание сочинений в пяти томах. М., «Художественная литература», 1992.

«Существованья ткань сквозная» — «Существованья ткань сквозная». Борис Пастернак. Переписка с Евгенией Пастернак. М., 1998.

Цветаева. Пастернак. Письма 1922–1936 — Марина Цветаева. Борис Пастернак. Письма 1922–1936 годов. Души начинают видеть. М., «Вагриус», 2004.

1905–1907

1. Л. Е. РИГУ

Конец декабря 1905, Берлин[1]

Дорогой Лелька! Что это от тебя ни слуху ни духу. Когда мы были еще в Москве, то читали в газетах, что на Тверской разгромлены, между прочими домами, дом Коровина[2] и Гиршмана. Правда ли это. В день нашего отъезда (19-е Декабря) к нам заходил один наш знакомый, который рядом с вами в доме Гиршмана, и говорил, что у них особенного ничего не было, и газеты по обыкновению (особенно еще «Новое время») немного преувеличивают. Надеюсь, что и у вас все здоровы и благополучны. Начались ли уже занятия в гимназии? Если да, то не забудь передать от меня Володьке, что если он мне будет присылать уроки[3], то я ему в благодарность привезу отсюда... бутылку настоящего немецкого пива (единственно, что здесь немцы боготворят).

Немецкий Бахус — это пивной котел. Хорошо, что Горшанов за границей, а то бы, ей-богу, обиделся. Нет, серьезно, Германия возбуждает во мне ужасную ненависть. Хотя здесь в Берлине и превосходные музеи, восхитительные театры и концерты, и вообще довольно высокая культура, начиная с искусства вообще и кончая чисто матерьяльными удобствами, как «Stadt, — Ring, — Hoch und Untergrundstrassenbahn»* (язык сломается это выговорить) да, бишь (я уже начало фразы забыл), но сами немцы такой мелочный, мещанский и глупый народ, что вся иллюзия их культуры обращается в прах, как только вспомнишь об этих идиотах. Хотя ты и любишь немножко «гипербулу», но все-таки ты был отчасти прав, когда в день нашего расставания изображал мне «обитателей священной Римской империи»[4]. А бюрократия у них иии! Не приве-

* Городской, кольцевой, над- и подземный транспорт (*нем.*).

ди Господь, хуже нашей в тысячу раз. Здесь за один «von»[5] немец готов в огонь и в воду полезть. Одним словом, я бы уже давно был в Москве, если бы... не «папаша-с». Русских здесь масса, но тем не менее всякий немецкий мальчишка смотрит на нас, как на нечто, дотоле не виданное. А эти Shutzmann'ы!* Один раз, когда я у Schuzmann'а спросил, как попасть в «Пергамон»[6] (ты наверное видел музей такой), он, во-первых, не знал, где это и что это такое, а затем спросил у меня: «Was ist da drinnen»**, опасаясь вероятно, не бомбы ли там выставлены. Да! Одно слово — немец-перец. Я очень тороплюсь, так как через четверть часа уезжает в Москву один знакомый, который передаст тебе это письмо.

Ради Бога пиши, что в гимназии и вообще в Москве. Володька!! Глас мой, вопиющий в пустыне, молит о присылке уроков.

Ну всего хорошего!

Поклон всем товарищам от узника, заточенного в Берлинской овощной лавке[7].

Ну чмок, чмок, чмок. *Твой Б. Пастернак*

Сердечный привет твоей маме, папе и сестрам. *Б. П.*

Жду письма и уроков.

Адрес наш: Berlin W. Kurfürstenstrasse, 113/III Pensionat Gebhardi. Herrn L. Pasternak.

Впервые: Новые материалы. — Автограф (ГЛМ, ф. 143, роф. 7399/1–9).

Л. Е. Риг — гимназический друг Пастернака. Письмо было отправлено с оказией, московский почтовый штемпель: 2.01.06.

[1] Ввиду прекращения занятий в Училище живописи, ваяния и зодчества, Л. О. Пастернак получил годовой отпуск, и уехал с семьей из охваченной революцией Москвы в Берлин.

[2] Семья доктора Е. Б. Рига жила на Тверской улице в доме *Коровина* на углу Пименовского переулка (№ 26). В декабре 1905 г. дом подвергся артиллерийскому обстрелу, были разбиты отдельные квартиры, о чем писала газета «Новое время» 19 декабря 1905.

[3] По предположениям В. Г. Смолицкого, *Володька* — гимназическое прозвище Александра Владимирова, сына крестьянина, с которым у Пастернака шла оживленная переписка. В отличие от Рига, он был очень старательным и аккуратным учеником, поэтому именно его Пастернак просил *присылать* ему *уроки,* чтобы он не отставал от учебной программы и мог вместе со всеми сдать экзамены за 5-й класс.

---

* полицейские (*нем.*).

** Что там внутри (*нем.*).

[4] Официальное название германского государства, включавшего в себя часть Италии с Римом и просуществовавшего с конца X по начало XIX в.

[5] Предлог «von» перед фамилией обозначает принадлежность к дворянскому сословию.

[6] Музей античного искусства в Берлине, свое название получил от Пергамского алтаря, который там находится.

[7] По совету хозяйки пансиона, где остановилась семья Пастернаков, Борису и его младшему брату была снята комната в том же доме, позади небольшой фруктовой лавки.

2. Л. Е. РИГУ

7/20 февраля 1906, Берлин

Дорогой Лелька! Пожалуйста, не сердись на мою медлительность; если бы ты знал, как мало у меня времени, ты бы наверное извинил меня за мое молчание. Я занимаюсь ежедневно «науками» по шести или семи часов, кроме того музыкой[1] и читаю много[2]. Тысячу раз благодарю тебя за уроки и письмо.

Как ты уже видишь по спокойному тону моей эпистолии, я понемногу «остепенился», то есть другими словами свыкся с «немцой» и мой антигерманизм поостыл. Я уже перебывал здесь почти во всех музеях и вообще очень близко ознакомился с Берлином. Насколько здесь легко попасть на выставку, в музей и концерты, настолько трудно достать билет в оперу. Для всего Берлина есть только один Operhaus![3] У кассы стоят уже в 6 ч. утра, и для того, чтобы достать какое-нибудь место, надо встать в 5 ч., и за отсутствием конок в такой ранний час идти пешком из Шарлоттенбурга в Берлин.

Такой утренний моцион я проделывал уже четыре раза (число без «возведения в степень»).

Живем мы в очень хорошем пансионе, который представляет своего рода «конференцию», так как кроме нас, русских, здесь живет американка, француженка, две немки и две шведки (финляндки — ни шиша по-русски не понимают). Знакомых и особенно «родственничков» ку-у-ча![4] Из последних особенного внимания достойна одна моя троюродная сестра, курсистка, с которой я очень близко сошелся[5]. Зато другие и другия... о боги, боги, спустите Ваши ноги (что значит «хорошая привычка», даже и для Deis immortalibus* «ваши» с большой буквы написал!)

---

* для бессмертных богов (*лат.*).

К сожалению, в письме нельзя написать всего того, что легко передается в разговоре, и поэтому я пока расстанусь с тобой, но! Когда приеду к вам, то не раз придется Кану восклицать: Pasternac не болтайте! Рих к стенке! Владимиров сидите смирна! А Фортяга![6] Тот только будет дико вращать глазами, косясь на нас и вертя «центром тяжести».

Ну до свиданья!

Поклон всем товарищам и твоим папе, маме и сестрам[7].

Передай Володьке, что я получил от него сегодня третье письмо и не нахожу уже нужных слов для выражения ему моей благодарности. Ему я завтра тоже напишу. Желаю ему успеха в шахматной игре, а тебе всяких благ земных и надземных... и подземных.

Тьфу заговорился.

Твой Б. Пастернак

Берлин 7/20 февраля 1906

Впервые: Новые материалы. — Автограф (ГЛМ, ф. 143, роф. 7399/1–9).

[1] Пастернак еще в Москве брал уроки музыкальной композиции у теоретика музыки и композитора Ю. Д. Энгеля. После отъезда в Берлин уроки продолжались заочно, по почте.

[2] По воспоминаниям брата, Борис в это время увлекался немецкими романтиками Э.-Т.-А. Гофманом, Жан-Полем и др. (А. Л. Пастернак. Воспоминания. М., 2002. С. 261).

[3] В Берлинском оперном театре в этом году шли четыре оперы Р. Вагнера, которым тогда увлекался Пастернак: «Тристан и Изольда», «Лоэнгрин», «Риэнци — последний трибун» и «Валькирия».

[4] Имеются в виду племянники Л. О. Пастернака, дети его старшей сестры Е. О. Якобсон, в разное время приезжавшие из Одессы и Риги в Германию.

[5] Вероятно, Екатерина Леоновна Гозиасон, — в действительности не троюродная сестра, а дочь двоюродной сестры. Ее портрет, сделанный Л. О. Пастернаком в 1906 г. в Берлине под назв. «Курсистка», находится в Русском музее в Петербурге.

[6] А. Е. *Кан* — учитель немецкого языка; *Фортяга* — прозвище учителя латинского языка П. Н. Фортинского.

[7] Ефим Борисович Риг, Цецилия Максимовна, София и Виктория.

3. Л. Е. РИГУ

2 марта/15 марта 1906, Берлин

Дорогой Лелька! Вчера получил хрестоматию[1]. Спасибо! Извини, что не сейчас же поблагодарил, так как не имел времени.

С ужасом думаю, что ты теперь читаешь мое «объемистое» письмецо[2] и ругаешься... и может быть и смеешься (что еще хуже для меня). То, что я там тебе говорю, я пережил, передумал и перестрадал за эти 2–3 месяца сам, и поэтому сказанное тебе — не фразы! Рассказать пережитого за это время я не могу, не в состоянии. Авось, когда увидимся, поговорим. Пока же: «пребываю в совершенном благополучии» (то есть ем, пью, сплю). Читаю много, работаю, занимаюсь музыкой, но на последнюю не имею столько времени, сколько бы хотел иметь.

Берлин остался тем же, что и был. Немецкая весна наступила. Родственники разъехались домой, в Россию. Когда я ворочусь, не знаю. Пока же всего лучшего. Это письмо, так же, как и предыдущее — порви. Рви все мои письма, так как не хочу казаться тебе нюнею, а в другом «тоне» писать теперь не могу.

Твой Б. П.

Поклон родителям. Еще раз спасибо. Пиши.

Твой Б.

Впервые: Новые материалы. — Автограф (ГЛМ, ф. 143, роф. 7399/1–9). Датируется по почтовому штемпелю на открытке.

[1] В письме 9/22 февр. 1906 Пастернак просил Рига прислать ему «Русскую хрестоматию. Пособие по истории русской литературы». Сост. А. Д. Галахов: «...купи ее (я деньги по приезде в Москву тебе отдам) и отнеси ее сейчас же по следующему адресу: Арбат, угол Сивцева Вражка и Николо-Плотниковского переулка, прис<яжному> пов<еренному> Владимиру Осиповичу Гаркави, свой дом. Этот господин едет за границу и привезет мне купленную тобою хрестоматию» (там же. С. 119–120). Особняк *Гаркави* Пастернак описал в романе «Доктор Живаго» как дом братьев Громеко, в котором воспитывался Юрий Живаго.

[2] Письмо было, по-видимому, уничтожено адресатом по просьбе автора.

4. Л. Е. РИГУ

1/14 апреля 1906, Берлин

Берлин, 1/14 апреля 1906

Дорогой Лелька! Во-первых, с праздниками тебя, с еврейскими и русскими![1] Ты, наверное, очень весело провел это время, которое тебе должно было показаться тем приятнее, что за последний месяц вас, бедных, в гимназии чертовски гнали[2]. Куда это вы так лыжи навострили? Я едва, едва за вашими педагогами плетусь, и не думаю, чтобы они мне даром пропустили мою поездку

за границу. Вкатят, наверное, мерзавцы, такой экзамен, что де-е-ержись. Можешь себе потому представить, как у меня поджилки трясутся. Особенно часто в виде черта мне является во сне Ник<-олай> Григ<орьевич>[3]. Подойдет к кровати, потрясет рогами, хлопнет Елпатьевским по голове и исчезнет. Я даже на ночь начал себе под голову Шапошникова и Вальцева класть[4], думал, полегчает, и представь, угадал-таки.

Благочестивая алгебра рассеяла эти ночные посещения Тунгуса, но... взамен его стал являться Ив<ан> Ив<анович>[5]. Станет среди комнаты и поплевывает, а тем временем из шкафа лезет сам Фортяга в виде надутой вербной свинки и пи-и-ищит родимый, даже жалко его становится. Дело обыкновенно кончалось тем, что из стакана вылезал директор и разгонял «публику на тротуар». Как видишь, у меня ночью фантазия не дремлет и витает на углу Мерзляковского пер. и Поварской[6]. Впрочем не всегда, а только... 1 апреля. Ну да все равно, люди умеют надувать и в декабре. Помнишь, когда ты обещал, что будешь писать, а теперь последний раз ограничился лишь открыткой, в ответ на мое объемистое письмо, после довольно продолжительной silenti'и*. А я, таки, ей-богу болван, что написал тебе тогда «так», — в письме никогда нельзя сказать того, что можно лично передать, — выходит как-то глупо. Для того чтобы тот, кто читает письмо, понял его как следует, необходимо, чтобы он переживал те же чувства, которые руководили написавшим письмо, а это не всегда или может быть даже никогда не возможно. Одним словом, kurz und gut** я жду теперь от тебя «настоящего» письма, в полном смысле этого слова, а через две недели я выругаю тебя лично, то есть иначе говоря Брестский вокзал удостоится моего посещения в средних числах апреля[7]. Итак до скорого свидания, дорогой Левонтий, и помни, что я, право, не такой уж «бяка», как ты, может быть, думаешь.

Жду от тебя, слышишь ли ты, письма-а-а-а-а-а-а!!! (прямо как дети на горшок просятся). Если тебе что-нибудь известно насчет роспуска на лето и экзаменов (heu me miserum!)***, то не ленись и черкни.

Мне прямо неловко после таких «резкостей» с моей стороны обращаться к тебе с просьбой, а нужно, и вот в чем заключается эта просьба. Боги Олимпа назначили тебя моим казначеем; покоримся

---

* молчания (*лат.*).

** коротко и четко (*нем.*).

*** увы мне, несчастному! (*лат.*)

же их воле. Дело в том, что у Володьки вышли все марки, которые я ему оставил, и у него нет их больше. Купи, пожалуйста, штук шесть десятикопеечных марок и передай ему их, и ты будешь «душкой».

Адью, заранее большое спасибо! Когда приеду, «сторицею воздам»! Сердечный привет твоим папе, маме и сестрам.

Твой Б. Пастернак

Впервые: Новые материалы. — Автограф (ГЛМ, ф. 143, роф. 7399/1–9).

[1] Имеется в виду Пасха.

[2] В первом полугодии из-за стачек и забастовок три раза прерывались занятия, теперь приходилось нагонять, чтобы успеть пройти годовую программу.

[3] Н. Г. Тарасов — преподаватель истории по прозвищу «Тунгус».

[4] К. В. *Елпатьевский.* Учебник русской истории; Н. А. *Шапошников* и Н. К. *Вальцев.* Сборник алгебраических задач.

[5] Иван Иванович Липпинг — преподаватель математики и физики.

[6] Адрес Московской 5-й гимназии.

[7] В письмах Л. О. Пастернака к П. Д. Эттингеру обсуждалась возможность возвращения сыновей Бориса и Александра в Москву для сдачи экзаменов (ГМИИ, ф. 29, оп. III). Но эти намерения не были осуществлены.

5. Л. Е. РИГУ

20–29 апреля / 3–12 мая 1906, Берлин

3 мая 1906

Риголия! Во-первых, пускай тебя не смущает такое пафотическое и, поистине достойное Хераскова, героическое обращение — Россиады я, слава те Господи, писать еще не собираюсь, и не Россию от варваров свобожденну буду я сейчас петь, а скорее Лазаря запою[1]. Видишь ли, от редакции не зависящие совершенно обстоятельства заставляют мое возвращение на родину отложить ad infinitum* или даже может быть верить в него, как в «пришествие» Мессии. Итак, по всей вероятности, — мне не придется весной приехать к вам, а осенью я буду держать экзамен вместе с «райком» и вообще с депутатами от Камчатки[2]. Но ты спросишь, где тут песнь Лазаря и вообще, wo ist der langen Rede Kurzer Sinn**. Как всегда, главною частью моих писем является просьба, навеянная гимназическими обстоятельствами. Ты сейчас увидишь, в чем дело, и пожалуй удивишься моему нахальству, с которым я постоянно к тебе

---

* до бесконечности *(лат.)*.

** какой краткий смысл длинной речи *(нем.)*.

лезу. Видишь ли, Пульхерия, мне нужны те новые учебники по-гречески и по-латыни, которые вы приобрели, наверное, начав читать Одиссею и Овидия. Пожалуйста, внимательно прочти следующее, касающееся этих учебников, и того способа, как их купить и доставить мне. Если греческий учебник содержит только греческий текст Одиссеи, без каких-либо примечаний и словаря, то он мне не нужен, так как я здесь могу купить этот текст, и в таком случае мне необходим лишь отдельный словарь. Если же у вас есть издание с русскими объяснениями какого-либо рода и со словарем (как например Ксенофонт в издании Кремера)[3], то купи мне этот учебник и вышли его, кроме того мне еще нужен Овидий, который ты тоже будь так добр и купи; деньги на эти книги и их пересылку, а также за те десятикопеечные заграничные марки, которые ты, наверное, дал уже Володьке вместе с тем прежним моим долгом в 3 р. 40 к. (за хрестоматию и ее пересылку) ты можешь получить следующим образом. Ты пойдешь на Кузнецкий Мост, в Московский Международный Торговый банк (угол Рождественки и Кузнецкого Моста) и попросишь первого встречного служителя проводить тебя к Павлу Давыдовичу Эттингеру[4], у которого ты получишь эти 3 р. 40 к. и ту сумму, которая тебе будет нужна для покупки новых учебников и их пересылки по почте заказной бандеролью. Этот господин нам хороший знакомый, он жил когда-то на Клязьме и знает тебя, кажется. До отправки этого письма я ему уже написал о том, что ты придешь за тем-то и тем-то, и он уже ждет тебя, наверное с распростертыми объятиями, готовый во всякое время выдать тебе требуемую сумму. Чем скорее ты проделаешь все это и вышлешь мне учебники, тем будет лучше. Во всяком случае благодарю тебя за эту крупную услугу, уже наверное двадцатую в этом году.

Признаюсь, я немного сердит на тебя за то, что ты слишком злоупотребляешь латинской поговоркой: Si tacuisses sapiens mansisses* то есть желая наверное достигнуть высокой степени мудрости, замкнул навеки свои драгоценные уста. Открой их, дружище, уж лучше глупости говорить, чем заставлять меня ежедневно видеть пустым почтовый ящик. Не «мудри» и пиши почаще. Итак, всего лучшего. Заранее спасибо за книги. Думал скоро вас всех увидеть, а теперь volens nolens** нужно будет отложить до осени это удовольствие. Бука, прощай!

Твой Б. Пастернак

---

* Если промолчишь, прослывешь умным *(лат.)*.

** хочешь не хочешь *(лат.)*.

12 мая 1906. Это письмо (предыдущее) пролежало в моем шкафу больше недели. За это время я от тебя получил две приписки[5], и, потому свои слова о твоем стремлении sapiens fore*, беру волей-неволей назад. Прости мне эти невинные упреки и позволь сердечно поблагодарить за ту дружбу, которую ты всегда выказываешь по отношению ко мне. Вот и теперь ты пишешь, что ждешь меня, также и <...>[6].

Если бы ты знал, как меня это тронуло, да и вообще ваши приписки. Что мне ответить на них, как не пожалеть, что еще долго придется корпеть среди прусаков и не скоро еще увижу я своих дорогих друзей. Но от немцев я стараюсь выжать все те соки, которые мне могут быть полезны, то есть учусь у них всему, чему могу. Много читаю. Все родственники разъехались... и двоюродная сестра[7]. Часто переписываюсь с нею. Об этом удивительном человеке я еще поговорю с тобой, когда увижусь, если ты только поймешь тот язык, на котором я с тобой буду говорить на эту тему. Если ты уже не Lolo... с гитарой и... Нет, нет — об этом я с тобой говорить не имею права, ты ведь все тот же легкомысленный Лелька. Правда?! Ну, не сердись на меня. Еще раз прощай и не забудь, пожалуйста, моей просьбы. Итак, чтобы не забыл, повторю. Или если издание Одиссеи без словаря, купи отдельной книжкой греко-русский словарь и затем Овидия, если при книжке (Одиссее) есть словарь, то это издание Одиссеи и также Овидия. Entweder, — oder**. Понимаешь? Ну, спасибо тебе за это. Прощай. Чмок.

Твой Боря

Поклоны всем твоим. Передай также мой сердечный привет всем товарищам.

Впервые: Новые материалы. — Автограф (ГЛМ, ф. 143, роф. 7399/1–9).

[1] Первая строка из поэмы М. М. Хераскова «Россиада» (1779): «Пою от варваров Россию свобожденну, попранну власть татар...». *Петь Лазаря (народн.)* — плакаться, жалобить (от духовных стихов о бедном Лазаре).

[2] То есть с теми, кто был оставлен на переэкзаменовку.

[3] Имеется в виду издание: Ксенофонт. Анабазис (Поход Кира младшего). Текст со словарем, составлен для гимназий Я. Кремером. М., 1869.

[4] П. Д. *Эттингер*, друг Л. О. Пастернака и искусствовед, был кандидатом коммерческих наук и работал в Московском Международном банке.

---

* стать разумным, образумиться (слитная форма от *лат.* futurum esse).

** Или — или (*нем.*).

[5] Вероятно, приписки к письмам Александра Владимирова.
[6] Непрочитанное слово.
[7] См. коммент. 5 к письму № 2.

6. Л. Е. РИГУ

13/25 мая 1906, Берлин

Дорогой Лелька. Спасибо!

Книги я получил, Ты все замечательно точно и хорошо исполнил. Мне прямо совестно перед тобой Sacrrament* Ты меня, наверное, проклинаешь, но мне на это (между нами говоря) наплевать. Только пиши! Где мы остановимся на лето, еще не решено. Tubingen, Türingen, Harz, Schweiz, Sächsische Schweiz, Meklenburg, Prag** все к нашим услугам. То письмо придет наверное после окончания ученья, и я поэтому поздравляю тебя с переходом в VII класс. Сегодня иду в первый раз в Университет, где от скуки запишусь на философский факультет. Слушаю там историю музыки. Ей-богу не вру. Только вернее я не записался, а надуваю доверчивое германское правительство. Лезу прямо в аудиторию, как «свой» человек.

Итак, спасибо. Пишу на почте. Рядом немка ругается, что нет чернил. Вот ругается. Пиши.

Твой Б.

Впервые: Новые материалы. — Автограф (ГЛМ, ф. 143, роф. 7399/1–9). Датируется по почтовому штемпелю на открытке. Это последняя открытка из Берлина, в следующей 1/ 14 июля 1906 с видом Рюгена, Пастернак писал: «Что касается нас, то мы сейчас находимся на острове Рюгене. Природа восхитительная, жители и жительницы отвратительные, а прочее "прикладывается"» (там же. С. 128).

7. А. Л. ШТИХУ

13/26 мая 1906, Берлин

Дорогой друг! Твое письмо я получил уже полторы недели тому назад и хотел сразу ответить тебе, но человек не всегда делает то, что хочет. Ты, наверное, удивишься языку, на котором я к тебе об-

---

* Проклятье, французское ругательство (правильно: sacrement).

** Тюбинген, Тюрингия, Гарц, Швейцария, Саксонская Швейцария, Мекленбург, Прага (*нем.*).

ращаюсь. Но тебе станет все ясно, когда я скажу тебе два слова об этом. Немецкий язык моего письма удостоверяет, что я уже стал настоящим колбасником, и ты, как человек, настроенный поистине патриотически, и как верный представитель русского народа, можешь пожалеть о свершившемся во мне превращении. Теперь, когда я справился с этим страшным периодом, я хочу рассказать тебе кое-что о себе. Хотя я совершенно свыкся с немецким климатом, но мы получаем из Москвы некоторые газеты, и твое сообщение о выборах в нашем родном городе не было для меня новостью[1]. Однако я очень рад твоей политической активности и удивляюсь, что ты, принимая выборы так близко к сердцу, еще не арестован. И это тоже радует меня, так как в тебе русское черносотенное правительство сохранило мне друга. Меня очень огорчает, что я постепенно забываю русский язык. Мой любимый матерный язык, которым я часто пользовался, когда дрался и ругался с тобой*[2].

Не сердись на меня за все это — нечего было писать, а придумывать, или как ты говоришь, «из пальца сосать» я тоже не люблю. Какое сходство! Симпатия.

Б.

P. S. Мама и папа (и я, это уже само собой разумеется) кланяются твоим папе и маме[3]. Получила ли твоя мама от моей мамы, от моей папы и твоей мапы, памы, ммм м! Заговорился. Кланяйся также и Mister'у Павлу. Тоже политик!

Sic transit gloria mundi**.

Впервые: «Россия». Venezia, 1993, № 8 *(по-нем.)* — Автограф (РГАЛИ, ф. 3123, оп. 1, ед. хр. 35). А. Л. Штих — друг юности Пастернака, окончил юридический факультет, автор книги стихотворений, экономист.

[1] В апреле 1906 г. в России прошли выборы в Государственную Думу. В открытке 26 апр./8 мая 1906 Пастернак писал по этому поводу: «Поздравляю тебя с открытием первого парламента. Слава Те, Господи! Там все — "молодцы ребята"!» (Новые материалы. С. 127).

[2] До этих слов письмо написано по-немецки.

[3] Лев Семенович Штих — врач-отоларинголог, лечивший всех пастернаковских детей, и его жена Берта Соломоновна.

---

* В немецком тексте muttersprache — букв. родной (материнский) язык, здесь по игре слов — матерный.

** Так проходит мирская слава (*лат.*).

8. РОДИТЕЛЯМ

9 июля 1907, Райки

Parentes carissimi!* С приездом в Берлин[1] или, может быть, даже с проездом через Б<ерлин>. Вчерашний ваш отъезд мы справили «венецианским» гулянием с илюминацией, песнями, под благонадежным надзором. Тимковский, Нерсесов, Эйзенман, Бари tutti, Лиза, Gallina[2] мы. Переправились на остров, навесили безумное количество фонариков, нарвали хмелю, обвили им две лодки (с мачтами и фонариками), зажигали, восторгались, пели, натыкались на берега etc. В черной змейками колеблющейся, маслянистой жидкости пруда металлически яркое отражение фонариков, — это было замечательно. Луна была — первостатейная. Бари знают уйму шансонет на всех языках и такую же массу народных песен. Жаль, что я с Шурой[3] не знаем. Если я вам пишу все это, то тем самым доказываю, что ни о чем другом писать не стоит, так как день во всех отношениях прошел, как с вами; приходили Аля и Лева[4] чай пить. Бабушка хороший обер-интендант, но она умеет очень хорошо волноваться (например, по поводу того, чтобы мы пальто вечером одели) и приписывать беспокойства и волнения другим. Так, вы, по ее толкованию, два психопата, которым нужно писать *только* про здоровье и всякое отклонение от этого, нормального содержания письма может вас начать беспокоить.

Ну, всего, всего лучшего, желаю и дальнейшей такой же счастливой дороги. Смотрите, наслаждайтесь и не будьте психопатами.

А бабушка доходит до смешного!

Бесчисленные чмоки и причмокивания, пожелания, поклоны etc.

Впервые: «Знамя», 1998, № 4. — Автограф.

В письмах, посланных из имения Райки (Щелково по Северной железной дороге), Б. Пастернак должен был ежедневно извещать уехавших за границу родителей о жизни детей, которые оставались на попечение бабушки (матери Р. И. Пастернак) Берты Самойловны Кауфман.

[1] Открытка отправлена по адресу берлинских друзей Пастернаков Розенфельдов. Конечным пунктом путешествия родителей должна была стать Англия.

[2] Перечисляются фамилии дачных соседей («райчан»), среди них многочисленные члены семейства известного инженера и промышленника Александра Вениаминовича *Бари*, с которыми установились близкие дру-

* Дражайшие родители (*лат.*).

жеские связи. Названные здесь Александр Нерсесович *Нерсесов* и Семен Борисович *Эйзенман* (правильно: Айзенман) вскоре стали мужьями двух дочерей Бари, художниц Евгении и Ольги.

[3] Александр Леонидович Пастернак, младший брат Бориса.

[4] Дети Анны Александровны Самойловой, урожденной Бари, близнецы.

9. РОДИТЕЛЯМ

11 июля 1907, Райки

Сегодня получили вашу Гжатскую открытку[1] в то время как вы, наверное, на пути в Голландию. Со дня вашего отъезда отвратительная погода и холод адский. Сегодня получили через контору Бари письмо от Феди[2] и серсо, а вчера только я отправил ему открытку с просьбой купить подарки для Али и Левы. Сейчас пойду в Городищи телефонить ему, чтобы он не покупал, хотя мне почему-то сдается, что вы серсо купили специально для Лиды и Жони[3] которых я зову теперь для разнообразия Hannele (Иоанна) и Бетси (Елизавета); это их приводит в восторг неописуемый. Они приглашены к Бари в четверг на целый день! Как тебе нравится письмо Энгель![4] Ай да Финляндия! Если вы захотите им ответить, то адрес самый простой: Lovisa Engel. Бабушка опекает, печет и опекается (крутит, крутится etc) и, кажется, скучает, хотя мы стараемся ее развлекать. Финансы ваши поправляются, Панов-Рубцов ропщет, одним словом, все идет как по маслу. Все мы, в особенности Hannele и Бэтси, целуем вас. *Боря*

Впервые: «Знамя», 1998, № 4. — Автограф. Датируется по почтовому штемпелю на открытке.

[1] Открытка из Гжатска, написанная родителями в дороге 8 июля 1907, с наказом, «чтобы в свежую погоду одевать девочкам башмаки».

[2] Троюродный брат Ф. К. Пастернак, сотрудник Lyonné Bank в Москве.

[3] Лидия и Жозефина — младшие сестры Бориса. Их детские портреты, написанные Л. Пастернаком в манере Веласкеса, названы «Жозефина-Иоанна» и «Лидия-Елизавета» (1902–1903).

[4] Лето 1907 г. семейство Энгелей проводило в Финляндии.

10. РОДИТЕЛЯМ

13 июля 1907, Райки

Дорогие мои папа и мама! Простите, что один-два дня не писал вам, но ведь писать ежедневно при той спокойной, лишенной

«лодок», купаний и всех из ряду вон выходящих явлений жизни, которую мы без вас ведем, — очень трудно, тем более, что погоды были отвратительны и приходилось сидеть дома. Откуда достать материялу даже для открытки. Я даже думал купить открытки с видами, где такая узенькая, маленькая полоска чистой бумаги и где можно так мало, мало писать, не возбудив волнения и беспокойств. Но если вы можете признать, что празднование пяти рождений райчан и райчанок, сошедшиеся в один день, и участие в одном праздновании Hannele и Бэтси вещь интересная, то слушайте.

Позавчера были именины Ол<ьги> Ал<ександровны>, О. Давыдовой и девицы того же наименования у Левиных[1]. У Давыдовых была чудная иллюминация и фейерверк. Мы стояли с бабушкой в начале Давыдовской аллеи и все видели. Я говорю — «чудная» иллюминация, — то же самое я говорил всем, с которыми по этому поводу приходилось говорить, но в сущности мне она не особенно понравилась своей назойливой пестротой, до такой степени не гармонировавшей с грустным и величавым спокойствием этой усыпальницы аристократии. Только лунный свет, как тоже что-то прошлое, великое и отжившее, как Todes Ahung* родственен этому дому и консонирует с ним в таком грустном, белом, минорном сочетании. Adagio, un poco fieramente**.

Ах, Боже мой. Я ведь совершенно забыл «правила о свободе печати и слова», по которым я не имел права *философствовать*, но я упустил это из виду и прошу прощения. Я, в сущности, нечто вроде св. Троицы. Индидя[2] выдал мне патент на звание поэта первой гильдии, сам я, грешный человек, в музыканты мечу, ты меня философом считаешь, но я боюсь, что все это вызвано не реальными, наличными достоинствами, а скорее тем, что установилось общее мнение такого рода. Что мне мешает завтра сказать, что я астрономией занимаюсь, вот тебе сразу и астроном. Ну а теперь начнем лучше говорить pro domo nostra, сиречь по-русски «про дом наш».

Я был, конечно, прав, когда говорил, что серсо — для детей. Ольга Ал. купила для Али и Левы «Via per». Жоня и Лида два кораблика и хлыстики. Нам с бабушкой подарки не понравились, — «мизерабельные» несколько, а А<ле> и Л<еве> — понравились, ну и прекрасно. Вот у них иллюминация имела право вполне иг-

---

* зов смерти (*нем.*).

** Адажио, немножко гордо (*ит.*).

норировать многотерассную шкатулку, — и вышла — чудесно. Оранжевые и зеленые фонарики, которые мы ставили в траву, были очаровательны. Как раскаленные до высшей степени оранжевого и зеленого цветов столбики, окруженные соответствующим матово-мягким ореолом освещенной травы. Их сильный, напряженный свет и черная темнота вокруг (луна была за тучей) взаимно усиливали друг друга, конденсируя друг друга своей контрастностью. Получилось что-то — неестественное, перешедшее границы «личной» возможности, получалось что-то, что-то «Ich sug Ihnen что ни будет особенного, сыльное зрелище! У моей жизни!»...[3]

Жоня и Лида были чудно одеты. Мы все играли в кошки-мышки etc. Я, Витя[4] и Шура (особенно Шура) пускали фейерверк, — словом, было весело. Когда-то я не любил бабушку — теперь же я ей скоро сделаю declaration en forme*, главное, я боялся, что придется идти на компромиссы в занятиях[5], но слава Богу, не пришлось.

Все мы здоровы, погоды изменились, Благоволение в человецех[6] и т. д. и т. д.

Только что получили Вашу открытку из Новгорода (Neustadt). Да здравствует Германия!

А теперь о делах. Получены письма: 1) от некоего Киссина (protégé Struck'a, ответил и распорядился сам; 2) от дяди Карла[7], отвечаю сам сегодня. 3) От Vincent'a[8], текст привожу ниже (отяжелило бы письмо, если бы его переслал), 4) от Struck'a посылаю вам. 5 и 6) два письма от Judishe Kunst**, письмо и пакет с выставочными аксессуарами (карточки etc). В письме говорится, что ни Гинзбург, ни Высоцкий, ни Левитан[9] не ответили им на письма и просят письменно или устно повлиять на Ag. Левитана damit Sie (то есть Verein Jüdishe Kunst) in Besitz des Nachlasses seine Bruders gelangen***. В виду Fall****, Гинзбургу и Высоцкому — не придется устроить почетного комитета для русского отдела. А вот и Винцент[10].

15 июля. Уважаемый господин! Лишь три дня назад я получил Ваше подробное письмо и сейчас же Вам телеграфирую, что мы, к сожалению, уезжаем из Лондона до приблизительно 10 октября. Мы будем в деревне, вероятно, у родственников и там не

---

* официальное объяснение в любви (*фр.*).

** Общество и галерея еврейского искусства в Берлине.

*** чтобы они получили наследство ее брата *(нем)*.

**** случая, случившегося *(нем.)*.

так легко будет написать портрет. Мне очень жалко, что Вы так долго откладывали путешествие. Так же, как у Вас, теперь люди разъезжаются из города, и если Вы сейчас приедете, будет трудно наладить знакомства. Лучше было бы, если бы Вы приехали осенью или в новом году и тогда я надеюсь, что Вы получили бы много заказов. Насколько я смею вам советовать, лучше было бы сначала приехать ненадолго, чтобы слегка ориентироваться и написать несколько портретов. Тогда после этого, когда вы станете достаточно известным, следовало бы вероятно хорошо поработать в течение месяца. В надежде, что вы приедете, я поговорил со многими друзьями. Для реального приезда лучше было бы сначала прислать два или три детских портрета, чтобы обеспечить себе лучшие условия. Глубоко уважающий Ф. Винсент.

Вот и все. Орфография оригинала.

Как видишь, секретарь я хоть куда.

Шура просит сохранить открытку Struck'a (для марки) и посылать письма с разными марками (например вместо 20... или 10 – 5, 3, 2, 10 и т. д. Компренеште?*

Послезавтра приезжает Федя. Передаю скипетр Шуре. Чмок, чмок, дражайшие родители, как завидую я вам, окруженным Rubens'ами, Ван Диками, брюссельской капустой и монтоциклами (как говорит Юра Бари), а также Rembrandt'ом, Van'ами, сырами и Van Houten'ским какао.

Ваш Боря

Тысяча приветствий от детей, разумеется, подслащенных поцелуями[11].

Впервые: «Знамя», 1998, № 4. — Автограф. Датируется по содержанию.

[1] День св. равноапостольной вел. кн. Ольги приходится на 11 июля. О. А. Бари-Айзенман. Семейство Давыдовых, упоминаемое в письмах из Райков, принадлежало к крупнейшим дворянским родам России. Семья друга Л. О. Пастернака известного врача Л. Г. Левина состояла из его жены Марии Борисовны и двух сыновей — Владимира и Георгия.

[2] Домашнее имя младшего брата Л. О. Пастернака, Александра.

[3] В этих выражениях передается одесский жаргон бабушки Берты.

---

* Типичное школьное выражение, русифицированное фр. comprenez — понимаете?

[4] Имеется в виду В. А. Бари.

[5] Б. Пастернак усиленно занимался музыкальной композицией.

[6] Парафраз из Евангелия (Лк. 2, 14).

[7] Карл Евгеньевич Пастернак — двоюродный брат Л. О. Пастернака, отец Феди.

[8] По приглашению Ф. Винсента Пастернаки поехали в Лондон. Л. О. Пастернак сделал портрет с его восьмилетней дочери Сибиллы (см.: Л. О. Пастернак. Записи разных лет. М., 1975. С. 73–75).

[9] Имеются в виду скульптор И. Я. Гинцбург, коллекционер Д. В. Высоцкий и сестра И. И. Левитана.

[10] Письмо Винсента написано по-немецки, дается в переводе.

[11] Дальше идут приписки от Б. С. Кауфман и А. Л. Пастернака.

11. РОДИТЕЛЯМ

22 июля 1907, Райки

Дорогие! Только что вернулись с большой экскурсии на «Медвежьи озера», еже есть глаголемо — место возле Щелкова. В экскурсии участвовало 12 человек и ехали на четырех экипажах. Озеро — mittelmässig*. Широкий вид, но несколько однообразный. Но веселье было такое, что позавидовать можно. Кушали (положим, лопали), пили, пели и катались на такой лодке, которой еще пользовался вероятно Стенька Разин. Длинная предлинная, — так что все мы прекрасно в ней расположились, несмотря на то, что лодка текла (протекала?) немилосердно. Были тучи, и вода напоминала свинцовую бумагу от чая. С Медвежьих озер (12 верст отсюда) полкомпании поехали провожать Викт<ора> Ал<ександровича>[1], который ехал в Москву, в Щелково, и на обратном пути (Щелково — Райки) я с Шурой ехали solo на американке с некрасовской лошадью[2].

Я чувствую, что это письмо вам напомнит Шурины изложения[3], и я поэтому переменю декорации. Итак, перенеситесь (во времени и пространстве) назад, в Райки, когда там народные празднества по случаю рождения А. и Л. Самойловых. Думаю, что пара «брютанок»[4] с этих празднеств — на высоте своего призвания. Вообще фотография в Райках процветает, сейчас (уже третий раз) проявляет Шура. Пока он все терпит «фиаски». Но это «дитё солнца»[5] решил написать десять скверных драм и одиннадцатую хорошую. Что делать — Фреландт[6] наживается.

---

* так себе (*нем.*).

Тороплюсь очень с письмом, так как завтра едет г. Эйзенман в Москву с 7-часовым утренним поездом.

О, милый Versöhnungstadt![*]

Entre nous[**], но это под строжайшим секретом! Мы с Шурой вообразили, что сегодня Манины именины (увидели в календаре), и с утра приготовили два букета. Затем мы узнали, что ее именины в январе[7]. Но неумолимый Вик<тор> Ал<ександрович> не остановился на этом и воскликнул: Вот еще. Бари... и именины, у евреев именины! Но мне почему-то это не понравилось, этим он, так сказать, заигрывал с нами, перед нами и т. д.

Повторяю, что спешу, и письмо это начертал prestissimo, странно, какой прекрасной рифмой может служить сюда stultissimo[***], что, впрочем, и верно.

Получил открытку от дяди Карла. Философ, молодец, утешение (я ему написал открытку, в которой ни синь пороху философии не было). А Индидя меня приобщил к Почетному Легиону Поэтов. Дела, да и только. В конце концум[8] вы вернетесь и найдете еще во мне enfant gaté[****] Левочку. Но я устал рыгаться. Детки, которые так же прелестны, как были при вас, и прелестный Шура целуют Вас крепко, крепко, вместе со мной и бабушкой, и Fräulein[9], то есть Fräulein не целует.

Секстет

Поклоны от Бари.

Впервые: «Знамя», 1998, № 4. — Автограф. Датируется по содержанию.

[1] В. А. Бари.

[2] Имение Райки, где Пастернаки снимали дачу, принадлежало коннозаводчику Некрасову.

[3] Письма А. Л. Пастернака содержат подробные описания групповых прогулок.

[4] Фотографии.

[5] Намек на популярную пьесу А. М. Горького «Дети Солнца».

[6] Сохранилась коробка от бромо-желатинных сухих пластинок «Вся Россия» из московского магазина фотографических принадлежностей Карла Ивановича *Фреландта* с негативами из Райков.

[7] 22 июля по ст. стилю отмечался день св. равноапостольной Марии

---

[*] Город всепрощения (*нем.*).

[**] Между нами (*фр.*).

[***] Музыкальное обозначение самого быстрого темпа и латинское слово: «глупейшим образом».

[****] избалованный ребенок (*фр.*).

Магдалины. Мария Александровна Бари была крещена в честь преп. Марии, супруги Ксенофонта, день памяти которой отмечается 26 января.

[8] Так! Вероятно, семейное выражение. См. также принадлежащие к этому стилю слова дальше в письме: *избалованный Левочка, рыгаться* (вместо: ругаться) и пр.

[9] Гувернантка-немка, Leonthine, жившая в доме и занимавшаяся с девочками.

12. П. Д. ЭТТИНГЕРУ

25 июля 1907, Райки

Дорогой Павел Давыдович! Спасибо за Вашу открытку. До сих пор карта Западной Европы и особенно театра военных действий наших родителей довольно отчетливо представлялась нам, но теперь, после переправы через Калэ, я решительно не знаю, куда мне писать. Буду писать на Лондон. Пишем мы ежедневно, но так как папа и мама до сих пор нигде не останавливались, то поклоны, поцелуи и вообще наши ежедневные рапорты следуют за ними по пятам.

Мы отправляли письма на Берлин, Брюссель и Амстердам (каждый раз получали от папы эти указания).

Чтобы сразу покончить с вопросом корреспонденции, отвечу вам насчет адреса Энгеля. Это гораздо проще, чем Вы, может быть, думали: Ловиза Энгелю, und nicht mehr* для симметрии, впрочем, можете вставить еще и «Финляндия». Они (то есть Энгели) очень довольны дачею, Ант<онина> Конст<антиновна>[1] уже говорит по-шведски etc.

Что касается нас и Райков, то все осталось в том же виде, в котором это было до отъезда папы и мамы, так как две пары бдительных очей заменились одной, вдвое сильнейшей парой; как Вы уже знаете наверное от папы, бабушка — в Райках. Бабушка — это институт административного характера, нечто вроде комитета общественного спасения и... что делать, мы «спасаемся», то есть ведем себя, как подвижники, не катаемся на лодке, присутствуем на вечерней перекличке и вообще обуздываем свои аппетиты всевозможных родов. Впрочем, бабушка удивительно печет хлебы, так что аппетит низшего порядка утоляется нами великолепно.

Что касается аппетита другого, то, увы, я голоден как волк, и если волчий вой можно передать в музыкальных задачах минорного характера, то я достигаю совершенства в этом жанре и вою

---

* и больше ничего (*нем.*).

во все лопатки. Но я боюсь Ваших обвинений насчет прозаичности моих метафор, которые пахнут зоологическим садом...

Вы мне советовали познакомиться со студентом, но (я не знаю почему, собственно) я вижу, что он не интересен абсолютно, и особенно не интересен потому, что есть область общая у нас, в которой он для меня будет чуждым. Вы говорите, что нехорошо иметь необоснованные предубеждения, и, я согласен, у меня есть-таки эта папина черточка, — но ей-богу, хоть он и студент, и пэвäц и т. д., в нем нет этого «чего-то», что выше и нужнее и студента, и певца, в нем нет «этого», как нет этого и у Казанского профессора, хотя он и прекрасно, прекрасно знает музыку[2].

На днях он специально со мной пошел гулять, разговаривали, — он прямо собаку съел на этом вопросе... но, Боже, как скучна стала мне эта съеденная собака, особенно когда в одном месте нашего разговора я ждал, что вот, вот он заговорит, но, увы, говорили Гельмгольц, Риман и другие, неглубоко понятые томы[3]. Он просил меня зайти к нему, сыграть ему что-нибудь, но, во-первых, мои сочинения абсолютно неинтересны, и, во-вторых, неинтересен он сам. Я его уважаю и серьезно это знаю, но... (это надо дополнить миной). Итак, ему недостает «чего-то». Вы же знаете, что такое заключается между этими кавычками; если бы вы не знали, я не писал бы всего этого.

Здесь нет никого, никого интересного, единственный человек, с которым мне хотелось бы поговорить, это Ольга Александровна, но это не придется, наверное. А в сущности, прочтя все это, я почувствовал, хотя и поздно, что все это вздор. Выть à la lupus canis* и пускаться в комментарии по поводу этого воя вещи несовместимые. Но ведь Вы спрашиваете, как я поживаю; — я только хотел ответить правду.

Но что здесь, как и везде, восхитительно и никогда не надоедает, это природа. И как часто кажешься ничтожным, со всем своим исканием, со всем своим воем, перед каким-нибудь заходом солнца, когда он обдает своим последним ровным и могучим красным дыханием (Боже, сколько прилагательных) все то великое, которого не замечает человек, когда чувствуется присутствие «святого» — красоты. Папа нередко делал мне упреки за мое философствование и называл меламедом[4] (для меня в раннем детстве синоним мармелада). Но что же такое искусство, как не философия, перешедшая в состояние экстаза, как не Betrachten** познания, перешедшее в область чувства

---

* по-собачьи (*лат.*).

** наблюдение *(нем.)*.

восторга (Рёскин) или страдания (Пшибышевский) И странно, при виде красоты (что для меня святая святых) мой «экстаз» клонится к полюсу страдания. В этой красоте все время звучит для меня какое-то «повелительное наклонение»... пойми, сделай что-то, — словом какой-то императив, заставляющий искать той формы, в которой я мог бы реагировать на эту красоту. Углубление в сущность фатума, то есть философия, — ответ ли это красоте в форме восторга — искусство — нет, это что-то неопределенное, неясное, мучительное.

На днях здесь Мамонтовы[5] играли в четыре руки симфонию Бетховена, хорошо играли. Собиралась гроза. Знаете, в четвертой (или третьей) части этой симфонии есть длинный период, который идет все crescendo (весь оркестр) до апогея диссонанса — доминанты, до кульминационного пункта, где искусство требует поворота назад, вниз. Этот кульминационный пункт берется fortissimo (постепенно вырастая из могучего crescendo). И вот в этот момент прокатился первый гром, глухой, но ужасный, одновременно с аккордом всего оркестра. Это невозможно передать. Это было то, о чем я говорил, гений в форме искусства заключил брак с красотой стихии.

Не знаю, до чего бы договорился я, если бы не комитет общественного спасения и керосиновая лампа, которая выгорает.

Спасибо прозе, а то бы люди не спали, не ели. В сущности, я не знаю, почему я это Вам пишу? Но если бы я написал это Юлию Дмитриевичу, я бы порвал это, хотя очень, очень люблю его и слишком многим ему обязан. В регионы же эти я залез по инерции, и если бы не лампа, то Бог знает, куда бы я еще попал.

Ну, всего лучшего. *Ваш Боря*

Кланяйтесь, пожалуйста, Л<ьву> Г<ригорьевичу> [6].

Впервые: Пастернак. Об искусстве. — Автограф (ГМИИ, ф. 29. III. 3245). Датируется по содержанию.

[1] Жена Ю. Д. Энгеля — Антонина Константиновна.

[2] Александр Федорович Самойлов — муж Анны Александровна Бари, профессор физиологии в Казанском университете, занимался вопросами музыкального слуха.

[3] Имеются в виду работы специалистов по физиологии слуха и теории музыки.

[4] Учитель в хедере — еврейской начальной школе, где мальчики обучались основам иудаизма.

[5] Семья предпринимателя и мецената С. И. Мамонтова. А. В. Бари и С. И. Мамонтов были компаньонами по строительству Мытищинского вагоностроительного завода.

[6] Доктору Л. Г. Левину.

13. П. Д. ЭТТИНГЕРУ

30 июля 1907, Райки

Дорогой Павел Давыдович!

В своем письме Вы жаловались на то, что не имеете известий от папы. Хотя с тех пор Вы, наверное, что-нибудь получили из Лондона, я все-таки пользуюсь случаем (Федя возвращается в Москву, прогостив у нас 2 дня), чтобы рапортовать Вам обо всем мне известном.

Пока мы все еще имеем письма из Лондона, где говорится о намерении пробыть 7–8 дней (иначе говоря, во вторник они наверное покинули Лондон); от Феди мы сегодня узнали, что они едут в Брюссель, Антверпен, Амстердам, Щелково.

Относительно жизни в Лондоне могу Вам, во-первых, сказать, что мое предчувствие насчет Vincent'а совершенно оправдалось. Я почему-то был уверен в том, что они так или иначе на него наткнутся. Итак, Vincent'sfrage* разрешилась как нельзя лучше. После долгих переговоров по телефону и «ловли друг друга» (я по возможности близок оригиналу) они условились, что папа и Frau Professor отправятся в загородный замок Vincent'овой невестки на завтрак, так как в этом замке находится виновник торжества, шестилетняя дочка Vincent'а. Письмо полно описаний великолепия этого замка (старинный замок принадлежал какому-то кардиналу?)[1].

Это, я думаю, расскажут они устно. Важно лишь, что папа сделал там два наброска с этой девочки, которая очень temperament voll** и непоседа (между прочим мама пишет о сходстве между Жоней и этой девочкой).

Не менее важно и то, что мама играла и, понятно, привела слушателей в восторг. В этот день к Винсенту приехали его племянники, господа герцоги of Ireland (16 и 18 лет)[2]. Если Вам мало и этих подробностей, то прибавлю, что прелесть их дней омрачает несколько то обстоятельство, что там bekantlich***, невозможные правила насчет костюма и этикета, которые доходят конечно до глупого педантизма[3]. Особенно чувствительна эта перемена после Богородского уезда.

До Лондона они (еще будучи в Бельгии) заглянули в Брюгге, там как раз были исторические празднества, и они испытали ред-

---

* проблема с Винсентом (*нем.*).

** порывистая, темпераментная (*нем.*).

*** как известно (*нем.*).

кое счастье видеть средневековую процессию среди такой же атмосферы этого города. Представьте себе, им удалось там также встретить Struck'a, который заметил их в 20-ти тысячной толпе.

Мое письмо можно читать по-Ireland'ски, то есть с конца, так как я кончу тем, чем хотел начать, то есть благодарностью за Ваш ответ.

Ну, до свиданья.

Ваш Боря

Райки, понедельник.

Впервые. — Автограф (ГМИИ, ф. 29. III. 3244). Датируется по содержанию.

[1] Замок Ишер, принадлежавший брату Винсента лорду д'Абернону, в XVI в. был собственностью кардинала Томаса Уолси.

[2] В «Записях разных лет» Л. О. Пастернак пишет, что «старший (лет 15–16) носил титул шотландского герцога, а младший (лет 13) никаких титулов не имел» (С. 75).

[3] По словам Л. О. Пастернака, их отказ принять участие в поездке в Ишер из-за отсутствия необходимого костюма, Винсент счел необоснованным и повез их в том, в чем они были.

14. А. Ф. САМОЙЛОВУ

Февраль 1910, Москва

Глубокоуважаемый Александр Филиппович!

Я боюсь, что увидев мою подпись, Вы и не станете читать, негодуя на мою неблагодарность и бестактность. Да, я не отвечал Вам, несмотря на то, что прямо-таки поражен был Вашей готовностью прийти мне на помощь.

У Вас ведь столько дел, забот, увлекающей работы — и Вы все-таки помните о чьем-то абсолютном слухе, перечитываете статью, чтобы оценить ее пригодность как наркотического средства — словом, это больше чем чуткость, больше чем внимание или заботливость. И нет слов, чтобы достаточно выразить мою благодарность Вам. Папа показал мне Ваше письмо. Вы должны быть хорошим психологом — за это говорят Ваши строки. Это придает мне надежду, я почти уверен, что Вы поймете мое возмутительное промедление. Конечно, это смешно, но в таком состоянии ответить Вам было каким-то решительным шагом. В таком состоянии откладывают час операции; это от недостатка мужества, от пошлости собственной природы. Мне кажется, что я переборол в себе эту жалкую зависимость от химер, в конце концов. Это дает мне возможность горячо и радостно благодарить Вас, главное искренне — Вы ведь понимаете, наверное, что несколько ранее такая благодарность была бы даже симулированной — поражаюсь Вашей редкой заботливости, доброте и вниманию, больше даже, — восхищаюсь ею, как объективным фактом, страшно ценным, я слишком остро чувствовал его роковое значение по отношению ко мне (как это ни смешно звучит). Эта неприязнь к факту была настолько сильна, что помешала бы мне отделить Вас от всего

Fall Abraham*, и я благодарил бы Вас с такой миной, с какою еврейские старушки в анекдотах лепечут «ура, ура» (с некоторым национальным пожеланием) при августейшем приезде в Одессу.

А теперь возможно, что я свободен. Я даю уроки сейчас, готовлюсь к экзамену, у меня мало времени — и оттого я свободен, Вы меня понимаете.

Достаточно ли убедительно доказал я Вам, что мое молчание далеко не от неблагодарности? А теперь Вам обязан я за то, что будет — я просил бы Вас очень, очень о присылке журнала. Мое объяснение дает мне право на эту просьбу. Теперь это уже нашатырный спирт, а не опий, а я нуждаюсь сейчас в нашатыре.

Главное там — эмпирическая правда, а я люблю помощь от эмпирики. Вы знаете, Ваша готовность до того не похожа на весь наш русский быт с зачитыванием книг и т. д. до неотвеченных писем включительно, что временами у меня является чувство необходимости говорить с Вами по-немецки. Неужели Вы русский профессор? Ваше письмо хотело носить на себе Марбургский штемпель, об этом говорила каждая строка. Еще и еще раз тысяча благодарностей. Во всей этой истории со слухом бездна комизма — только не по вечерам.

Сердечный привет Анне Александровне и более непосредственно выраженный лирический порыв к Але и Леве.

Ваш Боря Пастернак

Абсолютного слуха не было: у Мусоргского, у Бородина, у Кюи, был превосходный у Чайковского, Римского-Корсакова, феноменальный у Рахманинова — вполне отсутствует у Скрябина[1] и т. д.

Впервые. — Автограф (Архив РАН, ф. 652, оп. 2, д. 164). Датируется по содержанию.

[1] О сомнениях по поводу абсолютного слуха у Скрябина Пастернак писал в «Охранной грамоте» (1931).

15. О. М. ФРЕЙДЕНБЕРГ

1 марта 1910, Москва[1]

1. Ты понимаешь, конечно, что я пишу из химико-бактериологической лаборатории, куда меня отвезли после страшного приступа баязетовой болезни[2]. Я корчился на перроне, в судороге про-

* казуса Авраама *(нем.)*.

износя твое нежное, дорогое имя[3]. Потом я лихорадочно влез на дебаркадер. За мною полез жандарм и сказал, что уже 12 часов. Я посмотрел на часы. Публика рыдала. Дамы смачивали мои раны майским бальзамом. Кондуктор хотел меня усыновить.

2. Так глупо! В таком состоянии, и тратить 8 копеек! Нет, серьезно, мне грустно. Так вот, я приветствую тебя! С приездом. Здесь стоит старушка, она готова меня убить — я у ней взял карандаш. У меня на это ведь есть перронный билет! Дорогая Оля, ты, может быть, думаешь, что за этим кривлянием — Мясницкая, 21[4] и спокойная комната после ужина? Quelle idee?*, когда эта открытка — замаскированная погоня за тобой, и все это на вокзале!

Впервые: Переписка с О. Фрейденберг. — Автограф на двух открытках. Датируется по почтовым штемпелям.

О. М. Фрейденберг — двоюродная сестра Б. Пастернака, дочь сестры Л. О. Пастернака Анны Осиповны и М. Ф. Фрейденберга, изобретателя и журналиста.

[1] Две открытки были посланы сразу после отъезда О. М. Фрейденберг в Петербург из Москвы, куда она приезжала в гости на неделю.

[2] Название болезни — вероятно, одно из выдуманных словечек лексикона О. Фрейденберг и ее друзей, в игру в которые включился Пастернак. Оно образовано от имени героя средневекового эпоса Баязета (см. стих. Брюсова «Баязет», 1900) и в то же время соотносится с базедовой болезнью щитовидной железы.

[3] Эпизод с обмороком на вокзале использован в прозаическом фрагменте «Когда Реликвимини вспоминалось детство...», 1910 (Т. III наст. собр.).

[4] Адрес квартиры Пастернаков, находившейся в здании Училища живописи, ваяния и зодчества.

16. А. Ф. САМОЙЛОВУ

1 апреля 1910, Москва

Дорогой Александр Филиппович!

Я не знаю, зачем это делаю, но это факт: получается необыкновенно сильный диссонанс, с которого так удобно начать современный nuldigunslied** — я говорю о том, что нет большей жизненной противоположности между тем, как Вы прислали мне книгу и как я Вам отвечаю на это. Если я Вам скажу, что четыре раза писал Вам, где я помимо понятной благодарности высказывал или

* Что за мысль? (*фр.*)

** песнь уничтожения (*нем.*).

лучше пытался высказать те внутренние мотивы, которые побуждают меня подозревать некоторую случайность в работе немузыкальных композиторов, главным образом генезиса их творчества, иного, чем это наблюдается у композиторов музыкальных, — если я скажу Вам, что не доканчивал этих писем, потому что эти мысли очень легко выразимы в беседе, а для письма слишком пространны, и главное, если я прибавлю, что эти попытки последовали непосредственно за неожиданным прибытием ящика Пандоры[1], — Вы, конечно, не поверите мне, или поверите в силу глубокой своей культурности. Я жалею о том, что так преступно опоздал с этим ответом главным образом потому, что Вам теперь наверное тягостно выслушивать хотя бы мою признательность, а о том, чтобы говорить со мной, об этом нечего, конечно, и думать. А между тем мне именно Вам хотелось бы многое сказать по поводу статьи и ее темы, и я все-таки думаю о выполнимости этого желания, несмотря на то, что Вы вероятно заподозрили мою порядочность. А это жаль.

Но Вы конечно понимаете, *как* я благодарен Вам, *как* неожиданно явилась книга, — Вы понимаете ведь, что мы всегда подставляем себя, чтобы понять действия окружающих, и ясно, что должен был я почувствовать, когда перенес себя в Казань и представил себе *такого* Absender'a![*] Это совершенно необычайный контраст! И вот это чувство, которое Вы вызвали во мне, я шлю Вам сейчас, сгустив контраст еще более своим возмутительным промедлением.

Я никогда не высказывал такой горячей благодарности, которой бы сопутствовала такая бичующая самооценка. Значит у меня нет не только абсолютного слуха! Gott sei Dank[**] — есть и другие дефекты.

Преданный Вам и благодарный, глубоко Вас уважающий

Боря Пастернак

Впервые. — Автограф (Архив РАН, ф. 652, оп. 2, д. 164). Датируется по содержанию.

[1] *Ящик Пандоры* в греч. мифол. был источником всяческих бедствий и раздоров. Подобным предметом споров и душевного разлада стал присланный Самойловым номер журнала со статьей о «музыкальных» и «немузыкальных» композиторах.

---

[*] отправителя (*нем.*).

[**] Слава Богу (*нем.*).

17. И. Д. ВЫСОЦКОЙ

Март-апрель 1910, Москва

Моя родная Ида!

Ведь ничего не изменилось оттого, что я не трогал твоего имени в течение месяца? Ты знаешь, ты владеешь стольким во мне, что даже когда мне нужно было сообщить что-то важное некоторым близким людям, я не мог этого только потому, что ты во мне как-то странно требовала этого для себя. А тут в Москве произошло много сложного, чисто жизненного. Саша, Женя, я и Зайка. Ты знаешь, есть еще Наталка такая[1]. Она очень серьезная; у нее та же болезнь, что и у Др. Тауэра, что-то нервное. Она никогда не говорит громких слов и очень углубленная. Может быть я буду летом у нее на юге жить. Она совершенно одна сейчас в какой-то русской глуши. Мы с ней так расстались, что нужно было бы часто и много ей писать. Я хочу сказать, что накануне ее отъезда я ей < >.

Я сейчас вернулся от вас[2]. Весь стол в розах, остроты и смех и темнота к концу — иллюминованное мороженое, как сказочные домики, плавающие во мраке мимо черно-синих пролетов в сад. А потом желтый зал с синими и голубыми платьями и Зайкино переодевание, танец апашей, имитации и много-много номеров с капустника и Летучие мыши.

Ты мне написала фразу, которую я читаю совсем иначе, чем ты ее наверное сказала: «Нужно ли тебе, чтобы я приехала в Москву». Я ее читаю, как глубокий лирический привет, знаешь, тот, который приходит каким-то чудным ангелом-гонителем ко всем чуждым предметам и людям[3], оставляет только родные, замыкает рай твоего глубокого одиночества, обращается к тебе, идет тебе навстречу. Это уже не тот мучительно любимый ангел, который сделал отдаленно тусклым все то, что копошилось близко вокруг тебя до его появления; это уже лучистый полубог в твоем лирическом Эдеме. Может быть у меня нет права думать, что ты *так* пришла ко мне. Но вот я отправил свое идиотское письмо — и у меня началось что-то странное, какое-то истерически отрывочное существование, и ты стояла близко, близко надо мной, так что я мог тянуться к тебе и, знаешь, ты была таким гонителем и ангелом-привратником; ах, Ида, ты читаешь только слова и не знаешь, какое это глубоко реальное и большое чудо. Ты жила во мне эти дни и не только так, как это говорят. Я рано вставал; не мог спать. И вот на заре я чувствовал, как ты бродишь, как ты *ша-*

гаешь в том мире, который я зову собой[4]. Что это ты делала там? Иногда ты покидала дорожки, мое сознание теряло тебя и ты начинала утренний восторженный танец по траве и грядкам. Тогда мне становилось больно какой-то смутной радостной болью и ты блуждала каким-то бессознательным хаосом у меня, тем хаосом, который еще дает новые всходы в сознании. И ты тяжело запирала ворота для всего случайного и чужого. Тебя наверное боятся, потому что все отступило, обособилось, а ты вошла и заняла весь горизонт и все дали. Моя Ида, я не вижу и не знаю ничего сейчас кроме тебя. < >

Я пробовал писать там о том «отчаливании» от жизни, о том символическом умирании в бессмертие, о том, словом, обобщающем, удаляющемся духе, который так ясен и широк в тебе и который ты даже часто почти дословно, так же как и я иногда с вынужденной нескладностью выражаешь на почти моем языке. И это «почти» конечно в твою пользу: ты ведь заметила уже вероятно с неприятным изумлением, как бессилен я, какой у меня немногочисленный выбор нужных и приобретенных тобою слов; ведь мне сейчас совсем не до этого.

Впервые. — Черновик письма. Датируется по содержанию. И. Д. Высоцкая — дочь чаеторговца и мецената Д. В. Высоцкого, о которой Пастернак писал в «Охранной грамоте» (1931). Письма Пастернака к Высоцкой не сохранились.

[1] Имеются в виду А. О. Гавронский, двоюродный брат И. Д. Высоцкой, ставший впоследствии кинорежиссером, его будущая жена Е. Гавронская и И. А. Добровейн, тогда студент консерватории. *Наталка* — неизвестное лицо.

[2] Во втором наброске этого же письма, написанном на следующий день, Пастернак писал об этом вечере: «Вчера в Чудовском был ослепительный Седер; весь стол был в розах, несколько новых людей, смех, непринужденность, потом полнейший мрак к десерту с иллюминованным мороженым, которое проплыло сказочными красными домиками между черно-синих пролетов в сад, при натянутых шутках. Потом опять снежная скатерть, электричество в хрустале и розы. А потом желтый зал и голубые девочки, потом полумрак и какая-то легенда, разыгрываемая лучами пламени в зеркалах, сваями мрака в окнах, твоими прелестными сестрами и Зайкой и скучной пепельной пошлостью остальных». Дом Высоцких находился в *Чудовском* переулке в районе Мясницкой улицы.

[3] Объяснение этого образа во втором наброске письма к И. Высоцкой: «Знаешь, ты — как ангел-гонитель! Ты вошла в мой мир и сделала многое чужим и отдаленно-тусклым, и замкнула вновь какое-то полное одиночество; мое одиночество с тобою. Смотри, сколько было людей, которых я называл близкими: [Саша], Зайка, Женя, Наталка и кто-то еще.

И все изгнаны при одном твоем появлении. И знаешь, начались первые лирические дни и необыкновенные ночи, я покинул наш союз около Саши, остался один, и я чувствую, как ты бродишь, как ты *шагаешь* на рассвете в том мире, который мой и только мой. Все стали чужими и отсутствующими — кроме Саши, а ты — какая-то глубокая лучистая радость, которой я жду». См. также: «Можно было бы ангелами-гонителями стать друг возле друга и сделать всех чужими...» (письмо № 19).

[4] Ср. в «Охранной грамоте» (1931) о влюбленности в Высоцкую: «...Очевидность чувства, которая каждое утро опережала все окружающее достоверностью вести, только что в сотый раз наново подтвержденной».

18. С. Н. ДУРЫЛИНУ

Июнь 1910, Москва

Воскресенье.

Ну как Ваше здоровье, дорогой Сережа? Вчера я лег спать с воскресеньем над Клязьмой, у вашего дивана, в ухабы которого падает столько чудных вещей, ритмов и даже босой доктор Кноп; и потом представились жасминовые детки на крокете за окном, и все возможные теории. Вот видите, я хотел повторения. Но это не выйдет, я не могу поехать к Вам. А что такое например среда на фабрике? Или четверг? Вот я возьму да и посмотрю, как вы вращаетесь там вокруг солнца.

Когда я шагал от вас в Тарасовку[1], я не знал, что тащу через этот грустный вечер какую-то вершу за собой. Наверное я загреб много много грусти; по Клязьме в кустах; потом попался вывод из этих воспаленных туманом лесов, — подавляющих посылок; и этот мгновенный вывод оказался встречей с белыми спорящими девушками, которых я расспрашивал с трогательным многословием об этой вечерней Тарасовке. А у меня таким триптихом пело что-то вроде лирического силлогизма: так как сейчас весь этот большой лесной, речной и квакающий вечер сведет все небо без остатка на землю, и вот через 8 или 10 минут будет ночь, т. е. совсем невообразимые леса перегороженные луной и растопленные в реке, и в реке поленья мрака будут разлетаться синими искрами звезд, и многое многое другое, и так как мы еще в дошкольный семестр записались где-то на большое сообщение и эта запись где-то далеко, далеко, но проходят сроки, и путешествие лесов через звезды совсем не хочет стать аудиторией, и белые спорящие, далекие — тоже не хотят, и так как там поезд бросил перед собой поток стучащих шпал, и лес как рыдающий отлив после парового вопля, и еще целое кругосветное плавание этих так как, как коль-

ца Сатурна вокруг всех вещей, *так как...* (порыв и сердцебиение вместо запятой), *то* вы, белые, спорящие — и тут они должны были бы предицироваться мною при помощи какой-нибудь несуществующей, невозможной поэмы, чего-то поставленного на голову, как мираж, и как мучат обвиняющего мир в пустыне в сравнении с его небесной извращенностью. Но вся эта невозможная даже для гения, нечеловеческая дикость была бы заключением из мира = б. посылки через женственность = средний термин.

Я теперь люблю невозможности, потому что знаю, что творчество это в своем возникновении отрицательное и в своей цели — положительное творчество, какая-то вечная пенка вокруг этого невозможного. Но это неважно.

Тарасовка, Тарасовка. Вот фланелевые люди и сен-бернар идут по полю под салатистые облачка. А за мной все та же верша, и уже тяжелая. И вдруг попалось село туда, вечернее и праздничное. И только когда оно уже за спиной было, я испытал, что ведь это размывающе грустно, если такой широко облупленный ремень, как это шоссе, медленно сползает на горизонт безучастно вложенный между избушек и заборов, стирая травку околиц. И хотя я не слышал звону, но вероятно там такая колоколенка с жестяным благовестом, которая хочет кататься по холмам, чтобы небо оплывало стоном, — а сама не может — мерцающая, слабая. И эта людная грусть на дороге, жилеты, и целая Лета подсолнуховой шелухи, забвение и покинутые сараи и калитки. Иногда косынки и возгласы, — потом снова ухает полями вечер. И уже мускулы дрожат, потому что верша оттягивает, и наверное в костях жужжит такое певучее утомление. При первой встрече с женственным — опять желание опрокинуть к ним весь этот путевой улов, как вывод из лирических заводей. Все это конечно совсем не нужно, а есть что-то нужное (и я уже догадываюсь об этом), которое бесконечно более ново для меня и интересно, чем все эти наблюдения, которые я даже развезу по стихам.

Это теория творчества, чистого творчества, кажется новая, для которой как примеры (даже сокращенные: например) понадобится то, что я считал бы в другое время нагроможденным и святым — то, чем мы питаем лирику.

Эстетическое, религиозное эротическое (платоновски) — все это придет только «например». Итак, теория. Но я хочу облечь ее в жизнь. И это будет один человек и один день, рассвет, прогулка и город — но сильная эссенция, что-то вроде года, окрашивающего микроскопическое; один только день и много страниц; для этого целые охапки дней будут положены под пресс; я мечтаю об

этой эссенции. Я хочу писать летом большой рассказ, мне кажется, я могу. И я боюсь сознаться вам, как я уже кричу от радости при ожидании зайца, как тот мужик.

Вас может быть удивляет < >

Впервые. — Автограф. Неотосланное письмо, датируется по содержанию.

С С. Н. Дурылиным Пастернака познакомил отец в 1908 г., знавший его по работе в толстовском издательстве «Посредник».

[1] Дурылин жил в *Тарасовке* и репетиторствовал в семье С. И. Чернышева, инженера и владельца ткацкой фабрики в Пирогове.

19. А. Л. ШТИХУ

2 июля 1910, Москва

Дорогой Шура! Я начал так брату. И не будет противоречием, если продолжу тебе: только возьму вправо, по светлой, православной дороге на крокет (помнишь две дороги, и ты, как Вергилий, сказал: Dante, andante, правее, налево дорога в прачечную, а рай это там, где ревет Володя[1]). И ты думаешь, что я все буду так глупо шутить? Ne quidem*.

Вот ты не поверишь; а тогда вечером я сел в купе на столик в уровень с полевой темью и весь окунулся в букет, который мы рвали втроем, между поездами; весь ушел в маргаритки и фыркал там, как в чашке с чем-то полным, полным и стало быть грустным. И ведь мне нужно было вернуться; в Мытищах я подумал о том, что в Спасском начинается твоя ночь. Я очень много думал двумя образами, которые упорно кочевали за мной: тобою и Леной[2].

Ах, как ты лег тогда!

Ты не знаешь, как ты упоенно хотел этого; ты не спрашивай себя, ты ничего не знаешь; я тебе говорю — ты бы *не* встал. Можешь не верить себе — это третьестепенно. Я никому и ничему не верю, — но это я знаю, ты бы остался между рельс. Ты ведь был неузнаваем. А Лена меня поразила. Она сказала: «Я ему не дам, это *мое* дело», и потом тебе: и я даже не слышал, потому что она взяла тебя за голову так, как это предписал Софокл одному своему символу переполнившейся нежности, в самом начале своей лучшей драмы, которая живет сейчас может быть только за этот жест. Знаешь, в первом стихе Антигона держит (зачерпнув) голо-

* Конечно нет (*лат.*).

ву Исмены: О, общей братской кровью близкая голова Исмены! — Потом возникнет много, много жалоб, много греческого лепета, они разойдутся, потом смерть и все это зачерпывает этот жест; здесь можно срезать и этот отрезок А-В будет прелюдией. Там на Кадмейской стене[3]. Здесь на рельсах. Ты не смейся.

Но ты даже не подозреваешь, до чего я по́шел![4] Ведь в сущности я был влюблен в нас троих вместе. И я не только неопределенно, но как-то, как днем, хотел продолжения. Мы бы могли сидеть на станции с «теми»; и каким бережком лежали бы они вокруг нашего волнения; ведь это такое странное состояние, когда все золотые пустяки вокруг превращаются в уники. Потому что все дорого (неужели есть сейчас сегодня город этот, вот этот) как прошлое. И настоящее не приходит, — его отрываешь, оно драгоценно, археологично, из другой страны. И эти здешние только выжигали бы нас, как полочки[5].

И мы рассказывали бы им о какой-нибудь вагонетке или сторожке, захлебываясь тем, что она на свете и может быть последней каплей в чаше, то есть устроить потоп; — а они недоумевали бы и оглядывались: «где же наводнение?» — Но окурки успокоительно осыхали бы им навстречу, а мы бы переглядывались под смеженными лампами и было бы конечно сухо и пыльно на бережку, но это и была бы прелесть, и все вещи вылетали бы стуча зубами из тронувшейся пустыни и в нас был бы праздник сострадания к ширящейся жизни: «Простыню корове».

Можно было бы ангелами-гонителями[6] стать друг возле друга и сделать всех чужими; бараки, карусели чужих — и все это родное, чуть только близкий брат-гонитель заговорит об этом. Мы могли бы пережить какую-то вечернюю секту, и я хотел, я должен был бы остаться — и шел как аппарат под давлением стольких-то атмосфер и оскорблял тебя и Лену этой бритой логикой!!! А наутро снова был пароксизм малярии маляров[7]. Я только вот что хотел сказать тебе сейчас. Когда я возвращался домой, я страшно сильно любил тебя и хотел дать тебе об этом знать. Как смешно! А ведь это редко у меня; и когда бывает — очень сильно. Я даже объяснить тебе не смогу этого. У меня были такие минуты с Сашей, с Зайкой. Вот тебе повод пожать плечами!

Я многое хотел писать тебе <в> воскресенье, но прочел и ужаснулся. В сущности этого не нужно бы давать, оно не так глупо, как кажется; но ты не поверил бы (правда?), если бы я сказал тебе. Шура, я написал тебе письмо и порвал. Так вот, я рву эту чушь на твоих глазах. Сейчас уезжаю. Логос[8] держи эти 2 недели на пуховых подушках. Бережно!

Когда приеду в Меррекюль Эстл. губ. Дача № 42
Бор. Леон. Пастернаку,
то напишу; а это зияние (hiatus) в придаточном предложении выражает просьбу и скромное понукание: пиши. Verte*.

Затем подойди к двери и прищеми себе руку — это я жму ее; явись такою же дверью к Лене.

А теперь прощай. Логос. Не опрокинь керосину или кумыса на Степуна! Это даже не Сережина книга[9]. Еще раз тебе, Лене, тебе, Лене, те, белене.

Как видишь, уезжает викинг.
Живи счастливо, пей кумыс,
Пей молоко и с ним грызи Кинг
И постулируй. Твой Борис.
А Кинг это такие черные Альбертики у Эйнема[10].

Впервые: «Россия». Venezia, 1993, № 8. — Автограф (РГАЛИ, ф. 3123, оп. 1, ед. хр. 35). Датируется днем отъезда Пастернака из Москвы.

[1] *Володя* Виноград — пятилетний двоюродный брат А. Штиха.

[2] Е. А. Виноград — двоюродная сестра А. Л. Штиха, в будущем героиня книги Пастернака «Сестра моя жизнь» (1917). Речь о прогулке А. Л. Штиха, Е. А. Виноград и Пастернака в Спасском вдоль полотна железной дороги, когда Штих лег между рельсами.

[3] Первые слова монолога *Исмены* из трагедии *Софокла «Антигона»*. Действие происходит в Фивах на *Кадмейской стене*.

[4] Это слово признает автобиографическую основу юношеского мировосприятия Юрия Живаго и его «тройственного союза» друзей в романе. «Область чувственного, — говорит Веденяпин о нем, Тоне Громеко и Мише Гордоне, — которая их так волнует, они почему-то называют "пошлостью" и употребляют это выражение кстати и некстати».

[5] В начале века в моде были полочки, украшенные выжженными русскими узорами. Они изготовлялись в Абрамцеве по рисункам Е. Д. Поленовой.

[6] См. этот образ ангела-гонителя в черновом наброске письма № 17.

[7] Имеется в виду ремонт Почтамта, ежедневно наблюдаемый Пастернаком из окон квартиры на Мясницкой.

[8] Журнал, выходивший в издательстве «Мусагет» в 1910–1913 гг., одним из редакторов которого был Ф. А. Степун.

[9] То есть не С. Н. Дурылина.

[10] Стих. написано на конверте. *«Кинг»* и *«Альберт»* — сухое печенье, изготовлявшееся на кондитерской фабрике Эйнема, где работал врачом отец Штиха, а сам Александр Львович давал уроки наследнику фирмы. *Кумыс* был предписан А. Л. Штиху для лечения болезни почек.

---

* Переверни (страницу), смотри на обороте (*лат.*).

20. О. М. ФРЕЙДЕНБЕРГ

7 июля 1910, Меррекюль

Дорогая Оля! Я не могу писать. Идут целые стопы объяснений; их нельзя довести до конца. Все это так громоздко. И три письма последовательно друг за другом пошли к черту. Цель их была — возвести в куб и без того красноречивый многочлен доводов в пользу твоего приезда сюда.

Дорогая Оля, ради Бога приезжай сюда и поскорее. Тебя, наверное, рассердило мое зимнее безмолвие, и вообще ты предубеждена против таких самоочевидных и простых максим, как, например, необходимость твоего присутствия здесь. Что мне делать?

Два слова о зимнем безмолвии: тогда тоже письма шли к черту; и это были большие письма, о Мопассане и Нильсе и о тебе[1], и этих писем было три. (Это у меня предельная цифра.) Это совсем не интересно. Только я не молчал. И если можешь, не сердись. *Мне так хочется видеть тебя, что боюсь сказать.* Я сюда приехал на две недели. Три-четыре дня я уже здесь. Мне немного осталось. Знаешь, что мне представляется? Большие, только здесь возможные, интересные прогулки с тобой; я нарочно прикусываю сейчас же «язычок». Но поверь мне, Оля, что все это может быть восхитительным. Скорее, скорее, завтра выезжай. Мама, вероятно, так убеждена в успехе моих молений, что просила помолиться и за нее. Занятый сейчас ее четками, я вдруг вспоминаю, что есть подушка и одеяло твои, которые ты должна привезти; и потом один фунт грибов: белых, сушеных, *без* корешков, еще раз белых, первый сорт. И может быть, они не будут червивы? Тогда вообще на кухне будет светлое воскресение.

Дорогая Оля, как ты только поймешь, что, даже будучи неприязненно настроена ко мне или к кому-нибудь из здешних, ты все-таки многое выиграешь от этой поездки в чудную местность со сказочными условиями, как только этот призывный посев взойдет в тебе аксиомой, ты тотчас пожни его на телеграфе. Ради Бога телеграфируй о номере поезда и дне. Я тогда выеду на станцию встретить тебя. Если ты решительно противишься* такой встрече, подпишись на телеграмме Ольга вместо Оля. Оля будет пропуском на станцию. Оля вообще будет громадным пропуском. Оля, дорогая, едь скорее. Станция *«Корф»*. Это будет так хорошо. Я прямо не верю.

---

* В письме стрелка, указывающая на слова «неприязненно настроена».

И не собирайся. Ради Бога *завтра же*! Я тебя тогда расспрошу о том, почему у тебя на подозрении философия. Я тебя хочу о многом спросить. Обними тетю Асю[2]. Я хочу ей ответить на днях. Я почти обижен. Все-таки это издевательство. «И ты, Брат, тоже?! ты тоже в заговоре и улыбаешься?»[3]

Да! Конечно, это не почтовая бумага. Слава тебе, Господи. Ведь я тоже не слепой и вижу. Но это и не та, которой ты, может быть, готова окрестить ее. Упаси Боже. Ее назначение если и не литература, то и не музыка. Просто это оберточная бумага в столетний юбилей Магницкого. Дело в том, что стопку с Меркурием[4] охраняет сейчас родительский храп. Ну и сейчас еще раз, последний раз серьезно и с нажимом: Оля, дорогая, приезжай. Умоляю.

Впервые: Переписка с О. Фрейденберг. — Автограф. Датируется по содержанию.

[1] Речь идет о романе Е. П. Якобсена «Нильс Люне», который очень волновал Пастернака. Он дал его почитать О. М. Фрейденберг, которая писала: «Знаю, почему ты мне дал эту повесть, и чем она тебе нравится» (10 марта 1910; «Пожизненная привязанность». С. 23). Отправляя по просьбе матери 8 июня почтовый перевод, Пастернак писал на бланке: «Дорогая Оля! Так как этот клочок картона уже без моей приписки стоит 55 р., то мне остается прибавить очень мало. Это деньги за рояль, и они тонут в маминой благодарности. И я буду стоять в почтамте в длиннейшей очереди перед “приемом переводов” и, честное слово, не буду проклинать тебя. Помнишь, в этом году был снег, ах, как это давно было; я еще тогда получил от тебя два письма, одно за другим. Зимой, а потом весной я порывался писать тебе, но когда попадал на темы 1) о Нильсе, 2) о том, что мне нужно и можно заниматься философией, то страницы застилали горизонт и мне делалось тоскливо. Дорогая Оля, я тебе напишу еще. Очень целую всех» (там же. С. 24).

[2] Анна Осиповна Фрейденберг.

[3] Обыгрывается реплика Цезаря из трагедии Шекспира «Юлий Цезарь»; имя убийцы Цезаря Юния Брута Пастернак заменяет обращением *«Брат»*.

[4] Марка почтовой бумаги.

21. О. М. ФРЕЙДЕНБЕРГ

23 июля 1910, Москва

Помнишь ли ты еще полдень с кричащей собакой и пропадающими Энгелями. Вечер наступал быстрее чем мы; вообще мы почему-то ленились; мне хочется, чтобы ты помнила и то, что мы свернули с этой независимо обсаженной дороги влево и, оказа-

лось, сказочку должен был я рассказать тебе, это когда пыль улеглась и Энгели пропали. Если ты даже совсем, совсем-таки шутила, то это одно и то же; ведь, и шутя, ты оставалась правой: я все больше и больше становился должен тебе; и это был *сказочный* долг; тогда я хотел рассказать тебе сказку о заставах, о той самой заставе, где я находился в тот миг, где улица такая простая, привыкшая к себе, прямо погребенная под какой-то мощеной привычкой тротуаров, такая простая и привычная в центре, — переживает на пóводах больших дорог, где кончается город, глубокое потрясение, где она, взволнованная, машет клубами пыли горизонту на зеленой привязи, где она изменяет себе и, оставаясь теми же раскатами города, начинает сентиментальничать одноэтажным и деревянным, как элементами высшей нежности. Это легко принять за провинцию, как легко спутать нежность с простотой или наивностью; но весь аристократизм такой заставы в том, что тут замирает от полноты грохот рассуждающих площадей и мостовых и эта музыка одаренной тысячной, миллионной жизни, что тут молчание, а не косноязычие; но это все неважно; вообще я отошел в сторону, и, слава Богу, ты дальше увидишь, как невыносимо тяжело мне не уклоняться от главного. Так я еще «уклонен»: о заставе духа, о заставе, где сходятся улицы, где они своим свиданием обязаны границе, начинающей невымощенные словами духовные «пространства», и где эти улицы становятся крайностью, вывесками, вперившимися в лужайки с жестянками от консервов, вывесками, спускающимися с окраины в огородную природу навстречу небу, как Иоанну Крестителю; и о заставе, где весь рассуждающий перекатывающийся грохот громад охватывает нежность приобщенности к одному и тому же рубежу. Я тебе, наверное, когда-нибудь покажу эти «Заставы», то, что сделано и что еще будет. Итак, я мог бы рассказать сказку о двух волчках, которые запели и закружились одновременно, как их пустили на заставе. Но я не хотел рассказывать, знаешь, я был немного озлоблен: я знал, вот ты, рядом, такая чуткая, что в чуткости твоей можно потонуть, вместе со мной переживаешь это *наступание* окружающего, то, что еще больше волнует, чем красота, и что в тебе нагорает преданность, почти посвященность этой поступи наступания; то, что мы называем так коротко: лиризмом, когда чувствуешь, что и сам наступаешь; и тогда хочется отсчитывать этот такт спокойного, нетрагического (почти вызывающего радость принадлежности чему-то) фатума. Отсчитывать в признаниях о наступлениях в природе и в себе. Наш долг был однороден, у тебя и у меня,

один и тот же долг радостной преданности; но только я должен был гасить этот долг, а ты идти и слушать, и это было несправедливо еще и вот почему (ты и не поймешь, как, ширясь, наступала ты сама далеким, далеким долгом во мне). Это как-то называется: такое состояние. Ты понимаешь, ты была свободнее меня; ты принадлежала только своему миру; а я больше всего принадлежал тебе, тебе как беззвучному событию, которое спрашивало одним своим появлением только; ты только являлась, молчала и не спрашивала. И вот сейчас, сегодня я хотел тебе сказать, что эту сказку рассказала ты мне. Она началась в вагоне; это почти исступленная сказка; это — шестисотверстная ночь у окна, где столько мест, вскочивших в фонарях, где по-разному: глубже и ровнее, внезапно или «гипнотизирующе» нет тебя, где ты не можешь наступить, хотя бы как событие, и где приходится считать и различать одно и то же твое отсутствие, и сейчас, этот надтреснутый, полый город!

Что сказать мне тебе, родная Оля? И разве письмо, которое я посылаю тебе с этим — единственное письмо? И почему оно лучше других, из которых ты должна была узнать, что на всех станциях я подбегал к тому последнему wagon-lit*, который стоял твоим сновидением, помнишь, ты сказала, — он будет сниться мне сегодня. И знаешь, он ни разу не попал на платформу, и всегда нужно было выйти из-под навеса; там кончался асфальт, и стояли твои героические бочки, и был кусочек выщипанной черной травы, она гербом лежала на песке; все линии вагона были зарыты в какую-то оседлую, не вокзальную ночь, этот вагон был оторван, принадлежал твоему сновидению, стоял и снился тебе; на пятиминутных остановках никогда не стоят за поездом и водокачкой, там, где на человеческий рост от шпал вагонные дверцы. Вот отчего я как-то не относился к этой ночи — перегону.

И разве не разыгрывали что-то зарницы? Они ложились подолгу в облака, зарывались, мотыльками трепетали в них, или протирали всю линию облаков, как запотевшую в фантастических пятнах стеклянную веранду. И чем? Бело-голубым пламенем, которое расшатывало будки и попадало со своими черными обгрызенными нитками палисадников, ящиков и переходящих пути сторожей мимо рельсовых игл, в которые нужно было вправить эти далекие нити. Но к чертям эти огрубелые копавшиеся ладони туч, перебиравших полустанок и равнины. Разве не разыгрывали что-то и звонки, русыми отшельниками заходившие на станции; тог-

---

* спальному вагону (*фр.*).

да из зал бежали люди без шляп, с поднятыми воротниками, не своей походкой, и прямоугольные экскурсии ламп разделяли эту толпу, и в каждом наделе лампы выгоняли тени под колеса, под буфера на водопой. Да все отметала, отметала в сторону эта невыносимая ночь.

Я тебе писал в вагоне; в Чудове или под Чудовым я бросил его в реку. Потом это ужасное состояние стало до такой степени острым, что я на какой-то станции пошел за алкоголем ради отупения; но даже эта значительная доза не изменила ничего и вообще не подействовала, я продолжал стоять у окна и присел только утром у самой Москвы. А Москва? Она меня ничуть не тронула, ничего не разгладила, напротив, отшатнула от себя тем, что здесь удаление от Петербурга стало апогеем (и то, что я сказал — пошлая неправда), и особенно ненавистны и чужды были мне все эти места своим незнанием о тебе, безотносительностью к тебе (и вот только это — правда); мне не нужно было распаковывать корзину, и совсем равнодушно вспомнил я об оставленном ключе; вскрыли, я вошел, знакомый запах, связанный с прошлыми приездами и первой музыкой первых осенних свиданий с городом; этот знакомый запах накатывает прошлое, как валики по твоему «сейчас», и вот хочется прильнуть к музыке и отпечататься лирическим шифром. Это я и делаю. Выходит что-то вроде предания; я прямо поражался тому, сколько небывалых перекрестков и закоулков в этой музыке импровизаций, — вечернем городе, такими незнакомыми фигурами спотыкающемся над твоим извозчиком.

Извозчик грустно размыкает все толпы на углах, как живые, ползучие замки́, и складывает и раскладывает фасады, как кубические дверцы несгораемых касс. Несгораемых, хотя, прыгая с пивной на пивную, их лижут лампы и рожки. Извозчик закрывает за собой стены и площади и плывет с одного вокзала на вокзал, который — на другом конце города. И вот, импровизируя, я сейчас так же в полусне правил на «тот конец» музыки; и вся эта импровизация была как лирическая пересадка, и, может быть, это был Измайловский проспект. Словом, я искал чего-нибудь связанного с тобою; я перечел письмо в Меррекюль. Там ты говоришь о другом письме, которое еще на столе и на тему из другой оперы; мне стало больно, но не так просто больно, а так, что я убежал из дому, при мысли, что я мог попросить его у тебя в Петербурге и не сделал. Федя был за городом. Иначе я вызвал бы много «догадок» у него односторонним рассказом о лете, рассказом о тебе. И все нарастала невыносимая тоска. Я поехал к Сереже[1], на край горо-

да; он сидел у окна; но я вдруг понял, что решительно «никто» и «ничто» живут и существуют в Москве; я не зашел даже и уехал; я подходил к ресторану, кинематографу, книжному магазину, своим тетрадям, ко всему — и не входил.

Тогда я вдруг стал ребенком и лег совершенно без сил на матрац и плакал, как в одесском детстве[2]. И наконец, чудовищно медленно, но сделалось поздно. И я только ужасался, что же будет дальше, что это будет за жизнь? А теперь уже пятница. Доброе утро, Оля, как ты поживаешь после прогулки по самым страшным суткам в моей жизни? А ты не покидала ни одной секунды в них. А теперь ты спросишь о том, что же это такое? И вот что я тебе скажу.

Я говорил тебе о детстве внутреннего мира, которое связывало нас. И даже не говорил, а, может быть, слушал твои воспоминания об этом. Но постепенно эта романтика духовного мира, которая отличает детство и кульминирует в 15–16 лет, захватывает внешний мир, который до этого момента мы просто наблюдали, схватывали характерное, имитировали, умели или не умели выражать. Теперь, на этой новой стадии, город, природа, отдельные жизни, которые проходят перед тобой, реальны и отчетливо сознаются тобой *только* для той функции духа, при помощи которой ты только *считаешься*, так сказать, с ними, реальны, пока ты имеешь их в виду как данные, пока они только даются твоей жизни. Если бы ты захотела, я точно и ясно определил бы реальность как этап лишь. Но для этого нужно много фраз, которые сюда не относятся, потому что я хочу лишь выяснить для тебя и для себя эту боль по тебе. Но разве я только считаюсь с окружающими? Иногда предметы перестают быть определенными, конченными, такими, с которыми *порешили*. Которых порешило раз навсегда общее сознание, общая жизнь, та жизнь, в которой спасается Маргулиус[3]. Тогда они становятся (оставаясь реальными для моего здравого смысла) нереальными, *еще не* реальными образами, для которых должна прийти форма новой реальности, аналогичной с этой прежней, порешившей с объектами реальностью здравого смысла; эта форма — недоступная человеку, но ему доступно порывание за этой формой, ее требование (как лирическое чувство, дает себя знать это требование и как идея сознается). Оля, как трудно говорить об этом!!

Помнишь, это было у меня (и у тебя, кажется), когда мы оказались в Питере. Тогда, на извозчике, этот город казался бесконечным содержанием без фабулы, материей, переполнением самого фантастического содержания, темного, прерывающегося, лихорадочного, которое бросалось за сюжетом, за лирическим

предметом, лирической темой для себя к нам. Если ты готова признать особенность и исключительность таких восприятий города, вообще всего объективного, и если ты живо чувствуешь эту особенность, ты поймешь меня, если я скажу, что творчество с таким настроением не отмечает характерное, не наблюдает, а только так или иначе констатирует факт, что и глаголы и существительные переживаемого мира, воплощенные существительные, и глаголы стали прилагательными, каким-то водоворотом *качеств*, которые ты должна отнести к носителю высшего типа, к предмету, к реальному, которое не дано нам. И не к предмету религиозного чувства, а к предмету лирически творческого восторга или грусти (т. е. они даже тожественны в своем главном определении: лирическое). Я уже говорил тебе, что, как мне кажется, сравнения имеют целью освободить предметы от принадлежности интересам жизни или науки и делают их свободными качествами; чистое, очищенное от других элементов творчество переводит крепостные явленья от одного владельца к другому; из принадлежности причинной связи, обреченности судьбе, как мы переживаем их, оно переводит их в другое владение, они становятся фаталистически зависимыми не от судьбы, предмета и существительного жизни, а от другого предмета, совершенно несуществующего как таковой и только постулируемого, когда мы переживаем такое обращение всего устойчивого в неустойчивое, предметов и действий в качества, когда мы переживаем совершенно иную, качественно иную зависимость воспринимаемого, когда самая жизнь становится качеством. И, чтобы раз навсегда бросить эти скучные рассуждения, я скажу тебе, что так же, как есть одиночное вдохновенье, есть вдохновенные восприятия объективного: тогда все эти гуляющие на Стрелке или вечер на Измайловском проспекте делаются покинутыми, брошенными, грустными, поэтому и легендарными качествами без предметов. И эта беспредметная фантастика фатальна и преходяща, а ее причинность — ритм. И она наступает, и ее отметает время и вновь и вновь наступает. Обыкновенно я был один за всем этим, всех людей, которые приходили (а некоторых из них я сильно любил и люблю), всех людей я находил там, в объекте. И это даже отождествилось: такое отношение к романтике качеств и любовь. Так что я влюбился в Петербург и в вашу смешанную семью, особенно в тебя и в папу[4]; в какую-то глубокую фантастику не решенных для меня характеров; я тебе говорил об этом чувстве. Но ты не знаешь, как росло, росло и вдруг стало ясным для меня и другое, мучительное чувство к тебе. Когда ты так

безучастно шла рядом, я не умел выразить тебе его. Это какая-то редкая близость, как если бы мы вдвоем, ты и я любили одно и то же, одинаково безучастное к нам, почти покидающее нас в своей необычной неприспособленности к остальной жизни. И вот я говорил тебе о какой-то деятельности, сменяющей наблюдение, о переживании жизни, ставшей качеством, предметов, покинувших предметность жизни (о как скучно это для тебя, и как трудно выразить это); разве не владело это и тобою? И тогда, Боже, что это было за сектантство вдвоем! Теперь отбрось все. Я не скоро верно привыкну к тому, что и один могу любить и думать обо всем этом. Мне совсем нестерпимо, когда я вспоминаю о том, что, подавленный этой посвященностью, принадлежностью к жизни, приходящей за высшей темой, своеобразно посвященной городу и природе — всему, я в этом чувстве так же женственен, т. е. зависим, как и ты; и что ты в нем так же деятельна, сознательна и лирически-мужественна, как я. Я не знаю, так ли все это, и я хотел бы получить на это ответ. Но понимаешь ли ты, если даже и далека от этого всего, отчего меня так угнетает боль по тебе, и что это за боль? Если даже и от любви можно перейти через дорогу и оттуда смотреть на свое волнение, то с тобой у меня что-то, чего нельзя покинуть и оглянуться.

Ах, Оля, вот я тут написал много, много слов. Я хотел этой артиллерией защититься от недоразумения, которое было бы горько. А ведь ты бы могла подумать что-то другое, если бы я только сказал, что все стали чужими, что я задрожал, увидавши на окне клочок *Петербургской* газеты, и что я умоляю тебя что-нибудь написать мне, даже открытку (!!!), но скорее, сейчас, и приехать в Москву! Оля, напиши, можно ли *так* писать тебе? И не бойся огорчить меня. Если ты другая, нужно это сказать; я ведь немного высказался, тебе, может быть, легче будет писать. Может быть все это было признанием. Признанием в том, что я влюблен в Меррекюль, нашу поездку, первый вечер, дяди Мишин день (когда я искал помощи у тебя), Стрелку, Петербург, тебя во всем этом, в вокзал, во все, что непрестанно задавалось *мне и тебе вдвоем* — и вот только в конце вся тяжесть признания, все признание.

Видишь, я не умею писать. Но я многое имел рассказать тебе и о многом спросить; когда я начинал, ты меня не перебивала, не спрашивала, не принимала в этом участия; я замечал, что тебе это не может быть интересно, и быстро покидал затеянное. И теперь я тоже прошу тебя простить мне этот теоретический просеминарий. Долго, долго жму твои руки и целую.

Боря

Сейчас звонил Зайка: один 22-летний композитор, из наших, которого я считал уравновешеннее других, умер от острого помешательства[5]. Зайка просил меня приехать, я умолял его не приезжать ко мне хоть неделю. Напиши мне хоть что-нибудь.

Впервые: Переписка с О. Фрейденберг. — Автограф. Датируется по содержанию.

[1] С. Н. Дурылин.

[2] Каждое лето до 1902 г. семья Пастернаков проводила в Одессе, где жили тогда и Фрейденберги.

[3] Александр Лазаревич *Маргулиус* — муж Клары, сестры Р. И. Пастернак, путевой инженер.

[4] Отец О. М. Фрейденберг — Михаил Филиппович, ниже: дядя Миша.

[5] Друг И. А. Добровейна, неустановленное лицо.

22. О. М. ФРЕЙДЕНБЕРГ

26 июля 1910, Москва

Оля, я знаю, посылка такого письма, как мое, требует «мужества» и «непосредственности», чтобы выразиться мягко. Я рад (ты знаешь анекдот с еврейкой, которая умирала, бормоча «ура» проезжавшему государю), да, так я рад, что еще нет ответа от тебя: может быть, еще удастся предупредить его. Все эти дни я по праву мучаю себя за эти чудные качества, которые я выказал, которым не помогут сейчас и эти псевдонимы непосредственности, наивности и т. д. Но если я тебе скажу о настоящей (как мне, по крайней мере, кажется) причине такого тяжеловесного и во многом смешного многословия, я, во-первых, дам тебе возможность оставить его без внимания, не отвечать на письмо, что было бы, вероятно, тяжело тебе, и затем, может быть, и поздно (что — хуже, чем никогда) и наверное неубедительно, постараюсь показать тебе, что такой «непосредственностью», «необдуманностью» и т. д. страдаю не хронически, что это лишь исключение, непростительный эксцесс, что хочешь, но что оно не лежит в моем характере.

По-видимому на меня слишком сильно подействовал внезапный переход от массы разнообразных впечатлений, перевитых и усиленных неоправдавшейся надеждой на то, что от них, как от общей почвы, можно будет отправляться к личным мыслям и наблюдениям с теми людьми, которые делили со мной эту общую почву; от этих впечатлений (ты ведь и сама пережила их численную смену) к пустой для меня Москве, пустой чисто условно, вероятно; пустой

только потому, что в первый момент она означала только конец праздника, каникул и их апогея — Петербурга — и больше ничего; была границей той отеческой атмосферы воскресных улиц, когда гимназистиком выходишь в гости, и когда даже пасмурный сентябрь: «сегодняшняя погода», как опекун страхует твой предстоящий диалог. И вдруг настали будни, совершеннолетний учебный день, когда все отвернулось и нет опоры во всех этих неодушевленных опекунах; вот и все. И даже на таком уравновешенном и трезво-рационалистическом характере, как мой, при этом максимуме самообладания, должны были сказаться результаты такого перехода. Это и дало себя знать в письме. Надеюсь, ты извинишь мне его. И затем, ты стала в верную, единственно возможную (как мог я надеяться на другое?) и справедливую позицию по отношению к нему, если нашла это письмо смешным и «в лучшем случае» странным. Во всяком случае, безусловно искренно здесь то, что я себя до физического отвращения ненавижу сейчас.

А теперь поблагодарим нацию, школы, миллионные населения городов, тысячи профессий за то, что они создали такие удобные, легко постижимые понятия и, выработав такой точный и содержательный язык, тем самым приняли благосклонное участие в этом интимном объяснении, и принесли, так сказать, посильную помощь, и простимся прежними разъехавшимися родственниками.

Кланяйся, пожалуйста, всем. И если будет солнечный день, когда ты схватишь подходящую интонацию для упоминания о Феде и для приветствия Карлу[1], зайди, пожалуйста, к нему и серьезно кланяйся от меня; скажи ему, что я в его Элевзинских подтяжках чувствую себя окрыленным на лиловый лад, что это — мистерия (и это опять серьезно) воспоминания о невыносимой духоте, которая могла быть незаметной и становилась такою иногда, о милой иронической лавочке, которая не хотела знать, что юмор дальше от меня в подобные минуты, чем даже сама лавочка... и ты ведь слишком умна, чтобы не понимать, что я, по-видимому, вновь испытываю переход или что, ради всех святых, что я наговорил тебе там? Ну так это самое я, очевидно, переживаю вновь, и еще того и гляди явится посыльная, как говорят там, на дереве, на нашем родовом дереве, посыльная помощь. И кланяйся тоже Лившиц[2]. И Карлу, если он страдает в такой же мере Федишизмом, как тетя Ася, скажи, что я переговорил с Федей; он готов быть похожим на Карла. Но все это при условии, чтобы Казанская площадь оплывала топленым небом. Разве полдень не грустнее лунных разных там ночей, которые представляются мне

минерально железистыми круглыми пилюлями, голубыми пилюлями нервности, которые несколько раз в месяц нисходят в городские глотки, в остальном нечувствительные. Да, так не скупись на поклоны. Тете Асе я хочу написать. А теперь, что сказать мне тебе, Оля. Вот, разве еще нужно повторять, ты стоишь на верном пути, если, как я думаю, я вижу твою спину. Теперь оглянись и посмотри, что это за прелесть издали, эти уходящие заграничные подтяжки! И это даже не грубо, так уходят в жару в Европейских городах. И наконец, addio, я измучен этой глупой болтовней. Что сейчас? Утро понедельника.

Твой Боря

Есть точка, на которой ты можешь считать это сегодняшнее письмо несуществующим, ненаписанным даже, имей это в виду. Но это только возможность, такая радостная! Есть такая одна точка. Но *ее нет*, вот в чем дело.

Впервые: Переписка с О. Фрейденберг. — Автограф. Датируется по содержанию.

[1] К. Е. Пастернак, отец Федора.

[2] Елена *Лившиц* — гимназическая подруга О. Фрейденберг.

23. О. М. ФРЕЙДЕНБЕРГ

28 июля 1910, Москва

Сначала я писал тебе о том, как трудно (что даже все сознание, все способности противятся этому), как трудно заговорить после того, что я услышал от тебя[1]; потому что ты и представить себе не можешь, как глубоко ложится все, что ты говоришь; даже слова у тебя — какие-то могуче спокойные пространства; и ты что-то возводишь, закладываешь; как мне отделаться хотя бы просто от этого мерного ритма ступающей тоски, в котором ты выстроила свое посещение, свое завещание. Потом я хотел сказать тебе, что ведь есть у меня слух, какое-то глубокое, первично, извечно взволнованное внимание, с которым я ждал всю жизнь, с которым я вскрывал сотни конвертов, и столько встреч, и каких встреч, как конверты, вскрыл я, и *я* ведь знаю жизнь (ты ведь понимаешь, Оля, что это не то, что называется жизнью, и еще в кавычках, а моя жизнь), да, так если бы тебе только рассказать, сколько протянутого мне (иногда я желал этого и сам создавал) вскрыто мною... И вот вчера пришло оно, то, чего не было в этой долгой жизни

получаемых так или иначе конвертов; да, твоего письма искал я, а это были разные почерки. Понимаешь, если это риторический шаг, то оно слишком пошло и грязно даже: тогда это — красноречие приказчика. Но ты понимай это просто, в сантиметрах. Я хочу сказать, что много большого, редкого и чистого, может быть, даже обогащающего, вдохновляющего шло мне навстречу. Но навстречу. А здесь, ведь здесь какое-то спокойно величественное «рядом»; ты какая-то участница того самого, от чего мечется в стороны вся судьба моя! И отчего, спрошу я тебя, не обрывала ты меня, когда я говорил тебе такие слишком знакомые вещи, твое «твое». Может быть, мы пошли бы дальше; а я шел как болван мимо этих елок и говорил тебе о таком существовании, когда живешь через улицу даже от собственной жизни, и смотришь: вот там зажгли огонь, вот там хотят писать прелюдию, потому что пришли домой в таком-то состоянии... и тогда перебегаешь улицу, кидаешься в этого, так или иначе настроенного, и пишешь ему его прелюдию; может быть, этот пароксизм больного восторга в такие минуты происходит от того, что прекращается это объективное «через улицу», и все обрушивается в субъект, в это чистое, твое, Оля, чистое духовное существо. Ну так это неважно. А ты слушала столь знакомое тебе!! Понимаешь ты, это странное «*рядом*». За несколько дней до твоего приезда я потянулся за одним дорогим, долго не прибывавшим конвертом и многое сказал об этом слове.

И вдруг это произошло с тобой. У меня нет ничего, что просилось бы к тебе, туда через улицу; если даже и есть, то это несущественно; существенно то, что ты ничего не прибавила, не обогатила меня, как это бывало у меня, или я не замечаю этого за тем бóльшим, что как мистерия, за которой хочешь следить, как следишь за музыкой, голосовыми мускулами «символически активно»; за тем бóльшим, что должно быть выражено, как это ни трудно. Итак, ты не прибавила ни единой монеты к тому, что передо мной; но ты первая действительно сделала эти металлические условия живым глубоким богатством. Меня как-то необычно утомило какое-то недельное соучастие с тобою в том, где я всегда был одинок. И вот такое минование мимо жизни, природы, которое так родственно у нас, *именно это* имели (как какую-то ценность) в виду денежные знаки жизни, условное богатство, идеальным и необходимым условием которого является то, что поставило нас рядом. Понимаешь, если ты даже и положила там целые пригоршни золотых, и я их увижу и уже переживаю, то это ничтожно, незначительно в сравнении с тем, что ты реализовала их, что все

это потеряло условный характер; прибавила ты или нет страничку к этой книге, я не знаю, слишком поразительно то, что этот переплетенный куб сделала книгой ты. Как я тебе сказал, у меня нет ничего, что имело бы смысл для тебя, было тебе интересным, ценным; и это потому, что слишком поразило меня твое письмо; оно — как до высшего maximum'а увеличенное Я. Эта «жизнеупорность», это покидание жизни, это: «Я сама возможность, и себя мне не страшно»[2], все это подавило меня своим родством со мною и превосходством размеров; но я хочу все время до боли какого-нибудь движения, посвященного тебе, носящего твое имя; и вот мне хочется продолжаться, — как будто я — твой вид, маленький варьянт, который не может пойти навстречу, или встретить, а лишь продолжает, специфицирует родовое, что за ним и что в нем как родное.

Ах, ведь я только хотел сказать тебе, что написал тебе много листов, где было раскаяние и бесконечная, не дававшая передохнуть благодарность. Я хотел отправить письмо на вокзале курьерским поездом, чтобы сегодня же утром задушить то преступное, гадкое письмецо. И как мог, торопливо, я просил тебя вчера понять эту гадость. Боже, как часто, если не почти всегда, приходилось мне делать этот духовный реверанс, как это отвратительное письмо, написанное с горечью и ложью; знаешь, я терпеть не могу оставаться непонятым, не оттого, что жалею собеседника или друга, нет, тут эгоистическая причина, я боюсь подозрения в претензии на оригинальность, несходство с другими и т. д. И вот, я говорил тебе, что живу как-то «например», преходяще, как бы только для того, чтобы пережить ряд мыслей как идеальный скелет своих чувств, даже самых дорогих, и вот я рассказываю такому Сереже какое-нибудь новое свое «прозрение» и слежу за ним; он увлекается этим высказанным, но *так*, так шаблонно не понимает главного, из-за чего вообще только стоит трогать как-нибудь общую всем собственность, *так* увлекается этим, что я вдруг тушу все огни, нет, сегодня не мое рождение, я обманул вас, или мне, наверное, показалось, что я родился на несколько шагов дальше, или я даже прочел это или выучил, или я болен, туп, нарочно подстроил это и т. д., давайте говорить о другом, сегодня будни.

Оля, пойми буквально: слишком невероятно то, что было как чаянье и оправдало себя, то, что мы, считая обще-незначительные, неподчеркнутые свои движения значительными, символическими и читая (еще зимой) в этих движениях, читали то, что другой вписал туда, не вписывая. Ты говоришь, что поняла все на вокзале; у тебя значит больше: ты понимала и была уверена в том,

что все это стоит там, в тексте движений. Я только понимал, только постигал, до меня доходило все, все; я жил его многозначительностью, но было невероятно, чтобы это не снилось, что это так на самом деле. И хотя я не мог не послать всей этой «артиллерии», — но после вдруг я вспомнил о том, как все это может стать смешным в чужих руках... и сделал этот ужасный отрицающий жест. Против рук твоих, рук первой сестры согрешил я. Прости меня, а то мы заразим друг друга этой виной. Но Боже мой, ведь это невероятно, что эти руки не снятся. Ты говоришь о каком-то ложном представлении. Ах, нет, его не может быть, так абсолютно реальна вся ты сейчас! Ах ты такая, такая! Это возмутительно, что ты еще не знаешь о полной несоединимости, нерастворимости всего твоего и банального даже с внешней стороны; я понимаю твою учительницу теперь: твое письмо на границе музыки, я его читаю вполголоса, оно как-то падает, нисходит.

Потом я писал тебе о том, как зимой, в дни обращения моего пишущей братией[3], я задумал такую фабулу. Композиторская бессонная ночь над нотной бумагой, какое-то наитие, в котором после долгих страниц набрасываются истерически небывалые, но как-то спокойно и бесповоротно явившиеся строчки, и потом долгий экстаз чистого духа (о котором столько говоришь ты и который ты чище и больше и чаще переживаешь, чем я), когда случайно и проблематично все, родные, жизнь, город (странно, язык остается, он не случайный); прогулка по комнате; и потом порыв: зарегистрировать, отметить навсегда все вокруг: пляшущие мысли, состояние просветления, обстановку, имя, все, чем можно отметить, пометить даже этот миг. Это набрасывается у окна, масса листков, а пока просыпается улица; потом уже вполне рассветная, утренняя осень хлопает дверями за окном, внизу (все это можно так описать, что дождь будет течь по строкам), идут в школу дети и не дети, кучами и в одиночку; в экстатической комнате отпирается окно, потом дверь... и он уходит в булочную. А листки на подоконнике. Сквозняк, и вдруг все эти белые приметы «одиночества в экстазе» летят за окно и на уровне последних этажей вальсируют над слякотью, а внизу проходят в школу дети и не дети, они стоят и ждут. А потом это падает, и разные жизни бросаются за этими «симптомами ночи». И много несущественного, школьных выходок и потом одна, другая, нешкольная жизнь, подобравшая листки, мало постигшая, но отобравшая у остальных эти, пока еще иероглифы для нее. Потом порывисто идущее развитие, может быть, влияние даже этих подобранных фраз, и масса своего,

оригинально-одинокого, потому что это — влияние по-своему комментированных знаков; и затем встреча оригинала с переросшей его копией, даже не копией его, может быть, даже антитезой. Я не сказал тебе о главном, ради чего конструируется эта фабула, о постоянном фатальном чувстве объективности, зависимости, которая проникает героя — дополнение и заставляет его постоянно согласовать все свое развитие и его этапы — переживания с незнакомым ему, странно любимым подлежащим. Все целиком — сложный случай, когда жизнь в роли художника, когда портрет пишется элементами психическими, целыми, своеобразно формирующимися наклонностями и воззрениями, только мнимо несамостоятельными и тем более субъективными и независимыми, что их преследует постоянное сомнение «героя»; мне было интересно это как вид, где и психическое, как краски и звуки, становится средством в творчестве, средством выполнения задуманного. Но вся эта повесть о quasi-заказанной жизни совершенно ни к чему здесь, если бы я не хотел сказать тебе, что у меня такое состояние сейчас, как будто я когда-то на рассвете шел и ждал падения твоих листков; так много такого у меня, что принадлежит тебе! Но я припоминаю, нет, ведь не подбирал я ничего, Оля? Что же это?

Вот с поездом хотел я многое отправить тебе. Наступило 11 часов, я простился с тобой, и о ужас, я был заперт в собственной квартире. Пойди стучись здесь! Уже сегодня выяснилось, что я по рассеянности не прикрыл двери и провел целых полдня в настежь открытой квартире. Швейцар, осматривавший вечером классы, не знал, вероятно, что мой ключ в Меррекюле, и «исправил» мою оплошность. Ты знаешь эту боль, когда волнуешься, смотришь на часы, зависишь от этого освещенного вокзала, куда прибежишь, как будто можно повидаться, — и вдруг дверь, плоская и —дверь до последних мелочей... Сегодня утром я так мило орал на весь двор, чтобы меня отперли, и как долго нужно было объяснять это все!

Я перечел письмо и положил его в камин, как положу и это, если не брошу сейчас. Потому что все это так мало, и так трудно писать, Оля, ты же знаешь, как я жду тебя, но *не* пиши мне, если и тебе это так мучительно трудно, я же боюсь своих писем к тебе и не буду писать. Но если бы ты приехала к Тоне!!![4]

Не пиши мне таких писем, они столького требуют! Надо стать подвигом, твоим подвигом, прочитавши тебя. А я! *Я отвечаю!* Оля, родная, это гадкое письмо из Вруды; и сейчас, эти фразы человека, пораженного пудостью, и вообще вся эта тикопись после твоего письма![5] Правда ли, что мы передавали друг другу этих: кон-

дуктора, извозчика и этого дорогого морского жителя, который искал соли и тоже находил сказочное в Меррекюле! Он ведь едва, едва сдерживал ресницами целый взрыв романтического смеха или какой-то веселой погони за чем-то... и все это висело на рыжем волоске!! Я ведь ими, их присутствием, заменял прямое выражение какой-то строгой нежности к тебе.

О, как ты страдаешь! И я хотел бы успокоить тебя, но не потому, что старше и сильнее. Ты старше, ты сильнее. Но может быть, можно успокоить слабостью.

Ведь мы еще раз увидим друг друга? Мне это матерьяльно невозможно, но если и ты не можешь, я поеду в Петербург, если хочешь, через месяц. А теперь дай мне руки свои; простят ли они меня?

Впервые: Переписка с О. Фрейденберг. — Автограф. Датируется по содержанию.

[1] В ответ на письмо № 21 О. Фрейденберг писала 25 июля: «Знаешь, я раскрыла его, смотрела и держала его, и не прочла: мне захотелось прочесть его не глазами, и выслушать не слова. И когда я ощутила его дух и все взяла от него духовно, перечувствовала и передумала, — тогда я стала читать. Меня ничто не удивило теперь; я могла "выслушать" все. Боря, да это "завещание"; и как много, много ты мне завещал!..» («Пожизненная привязанность». С. 40).

[2] Из письма О. Фрейденберг: «Я эту ночь спала только три часа, но чувствую себя такой бодрой, сильной и мне хорошо. Черт возьми, какая я "жизнеупорная"». И в другом месте: «И я ничего не боюсь, даже возможностей: я сама — возможность, и себя мне не страшно» (там же. С. 44, 42).

[3] Имеется в виду вступление в литературно-художественный кружок «Сердарда».

[4] Подруга О. Фрейденберг, жившая под Москвой.

[5] Письмом из Вруды Пастернак называет свое предыдущее письмо № 22. *Вруда, Пудость, Тикопись* — железнодорожные станции Балтийской дороги, финские названия которых стали символами совместного возвращения из Меррекюля.

24. Г. И. ЧЕЛПАНОВУ

Сентябрь 1910, Москва

Глубокоуважаемый Георгий Иванович.

К сожалению я не смогу присутствовать на сегодняшнем заседании Семинария[1], так как держу экзамен по латинскому языку.

С уважением

Б. Пастернак

Впервые. — Автограф — Архив МГУ. Печ. по машин. копии, предоставленной А. А. Пузыреем. Датируется по содержанию.

[1] На философском отделении историко-филологического факультета в 1910–1911 гг. Пастернак занимался в семинаре профессора Г. И. Челпанова по экспериментальной психологии. О. Фрейденберг, вслед за своим отцом, талантливым самоучкой, скептически относилась с занятиям Пастернака философией. В письме 19–20 авг., заканчивавшем летнюю переписку обоюдными насмешками, Пастернак писал О. Фрейденберг о Г. И. Челпанове: «Скоро у меня экзамены. Один убийственно интересный! Основной курс чистой логики. Профессор уже знает меня с весны, я поступлю к нему в просеминарий по опытной психологии, но он меня предупредил, что, может быть, я разочаруюсь, так как слишком отвлеченно мыслю (это после экзамена по философии)» («Пожизненная привязанность». С. 57).

25. А. О. ГАВРОНСКОМУ

Осень 1910, Москва

О, это бывает так часто, и сегодня конечно не первый раз, но, Боже, как я сейчас думал о тебе! Я загнал себя так далеко, так далеко отсюда к тебе; и вот, мне кажется; или лучше, у меня такое чувство, как будто встреча уже наступила наша, и это первое: «родной Саша с восклицательным знаком» мы пережили с тобой вновь, Саша, мы с тобой сейчас были, и у стольких предметов в комнате оборвалась их общедоступность и безвредные их будни, как обрываются голоса у свидетелей; и, ну как это тебе объяснить, да и незачем!

Помнишь ты те объемистые ночи, которые мы, как томы, снимали с какой-то фантастической полки; одну ночь за другой; и гостиная нас осеняла; ах, не было ни одного предмета, который бы стоял и издевался над нами; как они поступали к нам, все эти бессонные гостиные; как если бы мы распространили слух об эмиграции, и не все ли равно, что говоря о выселении, мы злоупотребляли кличкой «лирическое», но как вся эта обстановка, весь этот сценарий квартиры, сценарий улиц и заплывшего хлопьями переулка, как этот мир неодушевленного, для которого и грустила в нас эта необходимость *выселения* пережитого, как они мгновенно откликались на этот бродивший в нас замысел выселения конкретного за пределы непосредственного.

Да, как если бы дело шло о выселении, записывались к нам тысячи вольных вещей; и я не знаю, как у тебя, но у меня есть такая запись; целый ряд углов, и урывки смеркающихся встреч и неубранные скатерти на рассвете и ловля сардинок и сыра и патрон наш —

Св. Нарзан, и мучительница дорогая, дорогая мучительница Женя[1] и повторный приступ зимы тогда, утром, перед репетицией Никиша[2], когда, как четыре непохожих друг на друга апостола одного и того же учения сошлись: вытянувшийся бескровный свет окон, какое-то утро амбулатории; потом, родные этому утру кресла благородного собрания в чехлах; и рядом, совсем иная и свесившаяся как налитой кровью глаз — зала с ее височными люстрами; и наконец порывистый сквозняк между открытыми настежь оркестром и кошмаром нашей убийственной бессонницы; помнишь, как сквозило! Родной, родной Саша мой! Помнишь, как сквозило на той репетиции? И может быть ты еще помнишь, что, как исписанная тревожностью тетрадка на сквозняке, сбежало всеми своими листками и вернулось и вновь взбежало и сбежало и забилось сердце, когда вошла дорогая мучительница, такая далекая, такая царящая в своей скорби; помнишь, как она вошла и ничего не отвечала, а ты боялся, не устанет ли она стоя. О, как нужно было тогда укрыться в Экстаз; но он был такою дрянной тогда беседкой; и столько в нем оказалось щелей, и так жалобно сквозило там; и ровно-ровно дуло какою-то темой, подхваченной Женей — Зайкой — тобой — мною, и можно было подумать, что так может листовать сердцем только бессердечие, которому нужно занять сердце у близкого, и которому отдают это сердце как брошюру или тетрадь: тогда отдают с просьбой — не растерять листков, не растрепать.

Зачем припоминать всю эту святость, братски поделенную между нами; и мы питались своими по-разному изготовленными муками; но это были просфоры какие-то, и мы хранили их и жили иссушенной, зачерствевшей, но окропленной жизнью; может быть мы, оглядываясь назад, должны были обшаривать названия, соседние старому слову: подвижничество. Но это не так неотступно, это испытанное подвижничество, — как неотступные условия положения и предметы, окружавшие нас; как неотступен сценарий, эта гостиная, потребовавшая драмы потому, что в ней было уже все повешено и нараспев расставлены предметы, словом все было готово и на подмостки этого меблированного мира вошли люди с темой, сплотившей их, с вращавшейся вокруг них темой, с «гигантскими шагами» темы, с фабулой, головокружительно отделившейся от земли, когда эту фабулу разогнали вовсю. О, раз входят люди с темой, с целым посевом признаний и расспросов в душе, раз входят такие люди в инсценированную неодушевленным комнату, они входят одаренными к драме и выполняют требования сценария, они кормят обстановку драмой; и разные углы

разбирают тему шагающих друг к другу людей. Можно помнить обо всех этих углах, о комнате и квартирах, тогда помнишь о требовательности вещей и о вступивших туда одаренных людях. Прошлый год... какая неразборчивая тоска, грусть; я вглядываюсь в эту запись выселившихся предметов, пойди разберись в них!!

На полях (как если бы кто-нибудь прочел и захотел поправить) громадная ремарка: Женя. Что это отдельные строки задеты ей, или эта надпись хочет исправить все?

А на уголке, или в уголке этой записи, краеугольная во всем этом волнении, страдающая тобой и Зайкой (отчего так мало Женей?!!), вошедшая в это страдание, идущее ей, как идет ей такая же угловая косынка — страдная Наталка в этом «Свете».

Ты знаешь, приготовляют гири из картона, подделывая цветом и формой под чугун. Когда это предлагают кому-нибудь поднять, в нем все мускулы подыгрывают к сюжету: чугун. Кто-нибудь подходит, и картон смешно взлетает в его руках. Представь себе, сделали бы цинковую имитацию самой папиросной какой-нибудь афиши.

Иногда можно было подходить ко многому, не вынимая рук из кармана, надеясь на ветер, который сорвет афишу; так по крайней мере представлялось сразу; но если случалась Наталка рядом; она кричала всеми своими движениями, что вот то, что мы хотим сейчас взять на себя — *цинковая* афиша; что нужно и к такому мнимо легкому подходить с глубоким мышечным предчувствием, со вздохом и разбегом и все она хотела произвести от руды, от тяжелого глубокого сырья, подделанного под невесомое на каком-то психологическом эксперименте с обманом.

Так она учила дотрагиваться до всего. Так она проходила, с содроганием вглядываясь искоса в перегруженную снаряженную жизнь; и я не знаю, если бы паруса, паруса забились целым портовым небом перед ней, не забыла ли бы она тревогу о гавани, которая с тем, чтобы утопиться, обвесила горизонт раскачивающимися плитами; и не бежала ли бы она от каменных парусов? Ты можешь смеяться, такая для меня Наталка! Но я ничего не писал ей, ничего никогда не скажу ей.

< > к плоскому и холодному, понимаешь ты, к ножу, положенному плашмя, к нежизненному, неестественному плоскому ножу (тупости растянутой до бесконечности). Но ты не переноси этого на Наталку. Такая странная она! Ведь, если бы хоть раз она взглянула на себя, она открыла бы в себе легкий и тонкий очерк, какой-то ласковый очаг или очаг ласки; столько воздушности в ее природе; и вся

она слегка-слегка по недостижимой глуби проложенная Наталка, как корочка далеких городских крыш, присыхающих к живой, почти проточной дали зимнего неба по вечерам. Может быть Наталка произошла в расчете на то, что спутником будет радость; и как улыбка, скомканная внезапной серьезностью, такова и она: чистая просветленность и внезапное то, что окружает ее гнетом; по ней бегут какие-то переливы, напоминающие больных у Достоевского.

Впервые. — Черновик письма; на обороте перевод стих. Рильке «Die Engel». Датируется по содержанию.

[1] Вскоре *Женя* стала женой А. О. Гавронского, который, по устным воспоминаниям, считал этот брак причиной ссоры с Пастернаком (см. письма к ней № 28, 35; о ссоре с Гавронским письмо № 31).

[2] Имеется в виду репетиция концерта в Колонном зале Благородного собрания 16 марта 1910 г., на котором Артур *Никиш* дирижировал «Поэмой Экстаза» А. Н. Скрябина.

26. С. Н. ДУРЫЛИНУ

Середина ноября 1910, Москва

Вы теперь, вероятно, заняты, Сережа; я даже с некоторой робостью пишу вам, вы верно готовитесь к выступлению в Пироговском обществе[1] — а я вот надоедаю.

Но мне нужно вам что-то сказать. Может быть вы (как и я в свое время) случайно во время беседы столкнетесь, ну как бы вам сказать наименее притязательно, ну, с такой серьезной, длительной, выдержанной незаурядностью в Иде[2], с какой-то безупречной самобытностью и такой, которая дремлет в ней, потому что она глубока; и, правда, иногда мне казалось, что это изначальное глубоко, глубоко от рождения вогнано в ее жизнь и вот, слой за слоем поднимаются ее дни; я не знаю может быть вас тошнит от этого слоеного modus dicendi* < >

Впервые. — Черновик письма; на обратной стороне наброски переводов двух стих. Рильке. Датируется по содержанию.

[1] На общемосковском заседании Общества им. Н. И. Пирогова 27 ноября 1910 г. Дурылин читал доклад на тему «Пирогов и будущее воспитание и обучение».

[2] По протекции Пастернака Дурылин некоторое врия давал уроки русской литературы Иде Высоцкой.

---

* способа выражения (*лат.*).

27. ЕВГЕНИЮ

1910, Москва

Но что выше всего: тогда, давно, давно ты стоял здесь с таким странным сердцебиением, потому что (как почудилось тебе) ты придумал причину паломничества этих лесов за реку; и от этой причины ты стал чистой магнитной стрелкой: каждый раз ты спрашивал себя и вздрагивал постоянно у той, внезапно обретенной вечерней точки.

Ты понимаешь, каждый твой порыв направлялся к тем далям, которые живут там, *через дорогу* от твоего восторга. Да, так я заговорился; я хотел только сказать: вот ты был здесь, когда-то и Ида еще только наступала (как новая страна света для твоей магнитной стрелки), и у тебя, как уже выше упомянуто, был какой-то воспаленный миг; и представь себе, ты, оказывается, заразил все эти места, потому что теперь, через пять лет, они встречают тебя, охваченные твоим же собственным, тем, тогдашним неповторимо новым сердцебиением; как будто ты тогда близко близко дохнул на них как на стекло, и вывел пальцем свое имя и имя дня, на этой до горизонта стелющейся тайне в дождевых червях. Ах, Женя, тебе может быть смешно; но трудно передать все это. Я говорю тебе это вот почему только: при таких непреодолимых воспоминаниях впервые чувствуешь, что есть какое-то «я», которого еще нет, но которое задано тебе, и что его нужно не создать, не сотворить, нет, просто решить. Решать все.

Отсюда — странный символизм этой задачи, который можно назвать легендарной материей творчества и который выражает множественность ее разрешения[1]. Действительность, которая вызывает лирическое сознание и лирический субъект, — эта действительность восприятия[2] неопределенна и ирреальна по отношению к творчеству, потому что это его задача еще. Вот почему я так часто говорю слово легенда.

Ты понимаешь? Лирическая реальность должна быть создана как выполнение этой задачи. Пока еще она нереальна в лирическом смысле, пока она еще легенда, не ставшая лирической реальностью. Если ты этого не понимаешь, то вина лежит на мне; а может быть и нет; трудно на двух страницах выложить принципы целой возможной системы, философии творчества, как это называет мой сообщник, вдохновитель и близнец, Саша. Мы, конечно, вернемся ко всему этому потом когда-нибудь. А теперь, если у тебя хватает человеколюбия и самопожертвования, чтобы слушать, я продолжаю.

Теперь представь себе, что действительные в восприятии, выполненные восприятием предметы приходят как лирические неизвестные, как лирические *задачи* к субъекту творчества. И если ты спросишь, что это за диковинный субъект, не есть ли это asylum ignorantiae*, то я тебе скажу, что он объективирует себя в таких состояниях, как восторг, вдохновение и лирический порыв. Их и все то, что по этом выполнении ты называешь объективно существующими предметами. То есть существуют не предметы, а *задачи*, которые ты выполняешь. Предметы же лишь выполненные задачи. Значит и мир, которым ты все время живешь, не существует, а существует лишь задача мира, задача, мимо которой все время как прохожий следуешь ты и решаешь, осуществляешь эту задачу. Этот мир — выполненная твоим познанием задача мира. Все это, сказанное притом отвратительно гадким слогом, довольно старо. Но это мы имеем в мире восприятия. Кто выполняет эту задачу? Какой-то глубочайший несознаваемый, необъективируемый субъект восприятия.

Теперь представь себе, что действительность из определенной[3], *выполненной*[4] тобою, данной (тобою и тебе) в *одном* определенном переживаемом[5] тобою экземпляре превращается во что-то переживаемое, но легендарное. Тогда этот уже выполненный в восприятии мир, это *решение* задачи, поставленной субъекту *восприятия*, приходит новой высшей *задачей* к другому субъекту, субъекту твоего лирического *творчества*.

То, что *восприятию* представляется действительностью, то есть *выполненной* задачей, — то для *творчества* еще не действительность, потому что это *невыполненная* лирическая задача творчества[6].

Так что возьмем грубую аналогию, чтобы назвать этот субъект. Пусть это будет лирический восторг. Тогда та легенда действительности, которая вызывает этот восторг, приходит как требование. Хотя действительность является здесь задачей, однако кажется, что прекрасное требует своего продолжения, и это потому, что оно становится высшей задачей и требует следующего разрешения. Пока творчество собирает аналогии, то есть подчеркивает проблематичность действительности, вызывающей лирическую активность, или оно говорит о том, что у него есть задача.

То, что мы имеем под именем искусства, есть развивающееся упражнение. Это растет способность понять из того, что в лири-

---

* прибежище незнания (*лат.*).

ческой задаче как таковой в силу ее нерешенной проблематичности, имеет место множественность возможных предполагаемых разрешений, множественность лирических потенций. Вот откуда проистекает богатство лирических ирреальных данных.

Пока творчество целиком болезненно, потому что оно исповедь о мире — задаче, об объекте лирически ирреальном. Искусство лирично лишь постольку, поскольку оно лишено лиризма, то есть оно говорит о ненаступившем выполнении лирической проблемы. Искусство это повышающаяся исповедь, мир бессилия.

Тогда это будет лирический мир, конструированный из реального в восприятии мира как из не оформленной лиризмом материи. Есть только патологическое искусство. Хоть эту правду оно должно признать: *проблематичность* выполненного восприятием мира как лирической задачи, его ирреальность и свое безнравственное бессилие. Это и выполняет искусство.

Оттого *и первичная* взволнованность. Потому что не выполнено. Нет *лирического* опыта и лирического прошлого. Я, индивидуальность, самосознание и душа, есть непрерывность синтетических решений, выполнений и т. д. ее задачи, поставленной восприятию.

Впервые: Пастернак. Об искусстве (с купюрами). — Автограф. Датируется по содержанию. Адресат не установлен.

[1] В наброске разбираются основные положения творческой эстетики, нашедшие выражение в докладе Пастернака «Символизм и бессмертие» (1913). Момент *множественности разрешения* задачи — обозначен буквой b).

[2] *...действительность восприятия...* — обозначена буквой c).

[3] *Определенность* действительности — буквой c).

[4] *Выполненность* действительности — буквой a).

[5] *Определенность переживания* — буквой b).

[6] *Лирическая задача творчества* — буквой a).

28. Е. ГАВРОНСКОЙ

Зима 1910–1911, Москва

Женя дорогая!

Вот я прочел его, твое письмо; а потом за ним оказалось столько доверия, столько неожиданной веры в то, что я подниму эти маленькие строчки: «Боря, как страшно!», и буду нести их как из пропасти, как пряди волос сорвавшегося вниз < >. Кто тебе

сказал, что я так буду читать тебя? А ты и не слышишь, кого зовешь; это и не Зайка, и конечно не я, и не «еще кто-то». Только зачем ты смеешься надо мной: «Юпитер... осел»; разве я заслужил иронии?

Женя, ты прости, что я ничего не говорю сейчас, это только пока. Знаешь, вот через полчаса придет ко мне ученик и прервет; а я много скажу тебе сегодня. Я сейчас устроил твое присутствие; ах, как это редко и трудно, присутствие человека.

Женя, Саша ведь — ложь, и Зайка — ложь и всё и все — ложь, зачем тебе люди. Знаешь, каждый из нас задан себе самому как урок; или может быть наше одинокое прошлое — какая-то странная, забытая задача. То есть?

Вот так остаешься один. И вдруг попадаешь на такое место, где тебя ждут воспоминания, как прибор, который ждет тебя пять лет (какая масса вечеров!). Женя, откуда знают здесь, что ты придешь голодный? И вот пять лет ждет накрытое прошлое, как ужин. И вот садишься на скамью; а внизу, справа и слева бездыханный поход лугов и оврагов туда, на мутное небо, и деревни, как проводники в лохмотьях, и из мира угнали весь шум, как табун в ночное.

За что это вдруг такая вера?

Женя дорогая, ведь я совсем не ждал письма, и еще такого! И ты конечно видишь, как я сижу ночью и пишу тебе много, много страниц и уже на второй и на третьей соскальзываю с Парижа и твоего горя и начинаются фразы, где бесчисленные «Я» пестрят как обойные гво́здики. Ты видишь этот перст Божий над о. Какая дикость; при твоем состоянии и чтобы оцветочить гвоздь в гвозди́ку! А вот ставишь ударение, как будто это так же нужно, как и все прочее. Итак у меня недавно гостило такое письмо к тебе, где ты была такая чудная, а я старался рассказать тебе об этом. Но там было слишком мало Парижа, а Зайка тоже был где хочешь, в Нижнем, в своем детском переулке, на бульваре со своей необычайной походкой, которой он хочет сказать, что порывает навсегда со всеми песками, травами и тротуарами земли — словом он был везде, но не в моем письме.

Ну и я прогнал эти страницы.

А теперь он уехал на Волгу к своим; ему наверное хорошо. Он много писал — и это были сочинения Зайки. Я не знаю, почему и откуда, но во мне взошла недавно такая сухость, и так растет с каждым днем, что я говорил с ним последние дни на языке канцелярий (я знаю, что это будет и дальше так).

А он, этот ангел-каторжник, пришел ко мне накануне отъезда в Нижний, и вдруг рассказал об одной скале на Черном море и об одной буре, которая бежала с ночью и морем через дорогу от Зайкиного проясненного восторга. Он так действует рассказывая! Я нарочно сказал со своим неискренно деланным стилем, чтобы на следующей строке мое письмо размыло его врожденным сиянием; знаешь, он сказал: «и вот, после этой ночи на скале мне было так тягостно и смешно идти тропинкой, извилистой и маленькой, после того как море и небо метали всю ночь *гигантские прямые!*» Может быть ты и не оценишь, но эти прямые линии неба рядом со свернувшейся как творожок дорожкой — ведь это правда исключительный контраст!

Потом он говорил о том, что в такую минуту понимаешь все — не через цепь рассуждений, а сразу с ударом молнии пронзаешь всю грозовую суть природы. И потом он велел мне читать Эдгара По[1].

Когда он рассказывает это, то кажется, что после он идет в прокуратуру с заявлением о тысяче языков, ведущих бесцветную жизнь во рту.

В этот вечер я заснул обвиняемым. Зайка как маятник. Сегодня я его видел в пелерине и шляпе там, где — вечер и где знают, что он лирик — и где все просят его длинными тенями о сказке.

Впервые. — Автограф. Датируется по содержанию.

[1] Имеется в виду повесть *Э. По* «Низвержение в Мальстрем», в которой водоворот у берегов Норвегии олицетворяет собой неуправляемую силу рока.

29. Е. Д. ВЫСОЦКОЙ

Начало апреля 1911

Дорогая, дорогая Лена! Я не пойму того беспокойства, которое мешает мне сейчас работать. Это нечто вроде искушения: я вглядываюсь в книгу, — по ней бегут тени; я отворачиваюсь, откладываю книгу — и во мне пусто.

Когда же, собравшись силой, я сосредоточенно вникаю в свое чтение, я начинаю вдруг чувствовать ваш приезд и предстоящее лето.

О какая это тревога! Наша неточность доходит до распущенности. Я не скажу, что ожидаю вас с нетерпением. Я скажу, что иногда меркнет все кругом, и в меня швыряют будущим, это как игра в мяч, — и я не отражаю этих призраков.

Это не мечты, — это какие-то учащающиеся толчки или биения, в них сокращается все существо как в припадке. Ты часто, часто мелькаешь сейчас! У меня столько просьб к тебе.

Я это написал и остановился, — теперь я не знаю ни одной из них.

Впервые. — Автограф. Неоконченное письмо к сестре И. Высоцкой. Датируется по содержанию.

30. Р. И. ПАСТЕРНАК

19 апреля 1911, Москва

Ну как у вас?[1]

Скоро у меня экзамены — 3 или 4 очень трудных. То есть они не доставят мне никакого труда, и они вообще не трудны, но я не посещал лекций, а изданных нет. Я узнал, что оставаясь на факультете, можно будет записаться на курсы физико-математического; это доставило мне большую радость. На проверку выходит, что летом я остаюсь здесь. Ну до свидания.

Впрочем при попытке целовать вас всех, я вспомнил, что Лиду целовать нельзя.

Это наводит меня на мысль о коклюше. Как он у Лиды? Прошел верно? Ну что я говорил? Ага! Как чувствует себя бабушка? Это единственный вопрос, который я могу задать серьезно. Я совсем не умею спрашивать, если не считать таких пустых вопросов, как: «Который час?» — «Десять». — «Уже?» Ну тогда прощайте; а то мне выдали из университета книгу, максимум до субботы, а теперь уже вторник, десятый час вторника, нужно заниматься. Все ж таки я лучше провалюсь на экзамене, но протискаюсь меж стульев и шкафа и пожму руку Г. Герстена возле кровати с голубым одеялом. Будет ли из вас кто-нибудь у дяди Абрама?[2] Да? Ну тогда, пока вам будут размешивать сироп в бокале, постарайтесь, перекричавши углекислый грохот мастерской и громкие требования входящих, сообщить ему и его жене, что я совершенно не скучаю по них, потому что вышло так, как будто я о них прочел в книге и они произвели на меня сильнейшее впечатление и остались навсегда, вовсе не в Одессе, а так себе. Но вы ведь верно уже скушали глазированные фрукты и сидите на бобах в смысле слащавостей, так что вам если говорить что, так уж сладкое непременно. Ну хорошо: я желаю всем, всем решительно счастья, и совершен-

но безграничен в своей благодарности за прием. Геникесы[3] исключаются, Пуриц в кубе[4]. Кончу все-таки подлостью. Знаешь, мама, я нашел, что если сложить комнаты, кашли, обеды, портпледы, ссоры, визиты, счета, аппетиты, пульсы и сны и, ах я это забыл, оно должно было идти после портпледов: родственные чувства; если все это сложить, так, представь себе, вовсе еще не получается жизни, как суммы.

И вот если бы ты вдруг встретила меня на извозчике (то есть ты была бы на извозчике, а я шел бы), и если бы на секунду остановленная лошадь сделала тебя лаконичной, и если бы вынужденная краткостью, ты спросила бы: ну как поживаешь, я молчал бы так долго, что извозчик тронул бы. Но вдогонку тебе я послал бы: «я гибну». Тогда ты пожала бы плечами, «ай, философия...», тем более, что это было бы на Пушкинской 68 и до дому и обеда оставалось бы 5 минут и два квартала. Может быть, тебе пришло бы в голову перебирать все эти слагаемые: здоровье, сон, аппетит, пищеварение, ход занятий в школе, отношения друзей etc. и ты поочередно спрашивала бы себя и находила бы, что все это у меня в прекрасном состоянии. Да, мама милая, я гибну; все больше и больше, начиная со скарлатины[5]; и мне ясно, что в этом виновато то насилие, которое я сделал над собой; сравни меня прошлой весной и этой и ты поймешь; мне ясно, что все это чуждое мне благополучие, благодушие etc. — увеличивающаяся гибель. Пока не поздно, я верну себя себе. Для этого я останусь здесь на лето. Я конечно буду и есть и пить и спать и еще многое, многое.

Я останусь. Это решено. От вас зависит сделать это спокойной, основанной на взаимном уважении разлукой на лето или же сопроводить это неизбежное для меня решение ссорами и неприятностями.

Прощайте! Неужели ты не веришь, что все, что есть сейчас живого во мне, я перенесу на поцелуи и на приветы родным?

Твой Боря

Впервые: «Знамя», 1998, № 4. — Автограф. Датируется по содержанию.

[1] Поездка матери в Одессу, куда ее с девочками сопровождал Борис, была вызвана тяжелым коклюшем, которым болели дети, особенно младшая Лида. Они остановились у бабушки Б. С. Кауфман.

[2] *Дядя Абрам — Г. Герстен* — двоюродный брат Розалии Исидоровны, владелец маленькой фабрики и магазина газированных напитков, где работал инженером покойный дед Бориса Исидор Кауфман.

[3] Племянница Л. О. Пастернака Софья Иосифовна *Геникес* и ее три дочери: Евгения, Мария и Таисия.

[4] Константин Николаевич *Пуриц* — друг Л. О. Пастернака по медицинскому факультету Новороссийского университета, врач.

[5] Пастернак перенес тяжелую форму *скарлатины* зимой 1911 года.

31. А. Л. ШТИХУ

30 апреля 1911, Москва

Дорогой Шура! Всю неделю жили твои цветы[1]: семь дней я дышал своей больною совестью.

Я благодарю тебя за то, что ты сейчас или раньше или еще раньше сделал возможным, что я с такой любовью сейчас пишу тебе. Я не переслал тебе тотчас же после получения посылки своего радостного и изумленного возгласа: мне хотелось отложить письмо до конца недели, до вечера субботы; я боюсь, когда я на воле; а именно так я чувствовал бы себя в письме к тебе; и вот я отложил до кануна праздника; в этом столько мещанской прелести; но, правда, в воскресенье книжные полки слагают с себя свою напускную официальность и стол допускает тебя.

И вот сейчас: вечер субботы; совсем так, как когда-то, помнишь, я назначал какую-то далекую пятницу, и вот строили почтамт напротив, а потом вдруг в 6 часов я мчался на вокзал и зарывался с тобой в глубокое, глубокое лето.

Милый Шура, ты для меня сейчас выхвачен из этого Спасского. Я не знаю, повторимо ли прошлое. Utinam![*] Я не знаю, возможно ли письмо к тебе. Я лежал в скарлатине. Шла уже 4-ая или 5-я неделя. У меня не было книг, но во всяком случае моего времяпрепровождения нельзя было назвать мечтанием. Меня естественно подмывало в ближайшее будущее; и вот я из осени и из кусочка зимы как из квадрата белой бумаги складывал всевозможные фигуры: голубя, коробку, пароход, шляпу, рамку и еще что-то; т. е. я представлял себе весну и лето, или даже выздоровление на разные лады. Но ведь ты знаешь, что от таких операций остаются следы «сгибы», и ты затем только следуешь им, как у тебя уже получается голубь или пароход, но непременно. Это приводит к тому, что действительность оказывается изборожденной этими глупыми фантазиями и становится больно: отчего она не гладкая! Ибо из действительности ни за что не выйдет ни пароход, ни что-нибудь в этом роде; а сгибая доиграешься до того, что она и вовсе разлезется.

---

[*] О если бы! (*лат.*)

Да, к чему это писать! Я лежал в скарлатине. И страшно скучал, прямо тосковал. Вдруг является из-за границы Саша Гавронский. Я страшно волновался, когда он зашел.

Он стал мне рассказывать о том, что было у него за границей; он рассказывал о людях, которые окружали его. Я никогда не слышал, чтобы так подло и противно говорили о других. Меня это испугало. Это ужасно, когда так предательски воруют факты. Ведь вор иногда не знает, для чего существует вещь. Ему, например, может показаться, что золоченая рама, вот что нужно унести. Он вырежет полотно, потому что с полотном эта вещь не портативна или потому, что в прошлую свою кражу он стащил олеографию; ему кажется, что он поступил замечательно остроумно, и он даже самодовольно хихикает. Конечно, он прав, он поразительный мошенник; правда, его положение очень выгодное и не глупое: ведь он-то украл у такого-то и такого-то, а не наоборот. Можно, конечно, возразить, что красть у вора нельзя уже потому, что его собственность возникает только в такие моменты; и вообще это не единственное возражение. Итак, Саша, выделяя смешные моменты, благодаря которым он ассимилировал себе недоступные переживания чужих (они становились портативными), рассказывал о разных перипетиях любви, интриг и связей у близких ему людей.

Теперь я себя презираю: я только-то всего-навсего заметил ему о том, что было здесь весной и как хорошо, что он 1) не застрелился, 2) не бросился из окна, 3) не задохнулся под хлороформом.....n-1) не сошел с ума — ...и n)^2, как плохо, что он не выдержал экзамена.

Неправда, этой прогрессии я не изложил ему. Я верно очень труслив: я только намекнул на весну и умолял извинить меня. Видишь, что я за ничтожество! Потом он куда-то пропал. Он залег в Вильне в военный госпиталь[3].

Когда я вполне удовлетворительно сдал скарлатину, меня выпустили на улицу. Я помню, в этот день я как-то сильно и неуклонно увлекся фактом своего существования; ужасно просто и по-детски. Как раз выдалась грязная и какая-то жалобная, затертая февралем Москва; за свою болезнь я перезабыл, что на свете такая бездна живых; а когда я представлял себе улицы, то я почему-то видел их неестественно широкими и пустыми. Ты знаешь, отвыкаешь за два месяца от жизни. А тут как раз таяли тротуары и стены как-то ползком окружали тебя; даже туман был. И вот прохожие передавали его из уст в уста, вместе со зданиями и дугами и Чистыми прудами; все это разносилось из уст в уста, все это как-то

разглашалось; я страшно люблю эту круговую непрерывность туманной улицы весной: ты что-нибудь подумаешь, скажешь или дохнёшь и потом тебе возвращают это в любом предмете, на который ты наткнешься, в любой встрече. Прихожу домой; телефон охвачен приступами беспощадных звонков, — до возмутительности! Меня это злит, так может звонить только Саша или что-нибудь в этом роде. Оказывается, Женя, его жена, которая совершенно неожиданно приехала, только что с вокзала, она беспокоится, не знает, где Саша, что с ним. Она ужасно нудная, и я не люблю ее, она это знает, я ведь говорил ей это; но я понимаю ее и Саша возмущает меня. Мы находим его в какой-то гостинице. Его как раз нет. Мы садимся в коридоре. Ждем. Вдруг он прибегает (внизу ему сказали, что — студент у него и вот он спешил) — трясет мне руку, говорит, нет гонит, бешено гонит какой-то ряд бессвязных диких фраз: «ах, это ты; а я вчера обедал у мамаши, так пришел себе и т. д.», вращает какими-то почти стеклянными глазами (ему впускали атропин) и... не замечает Жени рядом со мной. Он «не узнает ее». Это так дико и грубо и незаслуженно «загадочно». И он с этими черными фальшивыми глазами так пошло-страшен! Я убегаю, меня это отталкивает, и за моей спиной начинается «утро обмороков».

Вечером, по настойчивым просьбам Жени, положение которой ужасно, я прихожу в гостиницу. Саша просит меня войти, он лежит на постели, у него болит голова, рядом с ним в полной темноте сидит существо; он обнимает существо и произносит прочувствованно: «Боря — это Аня» или «Аня, а вот это — Боря». Я жму руку существу. Как он неосмотрителен! Как этот момент смешон. Несравненно уморительнее всего того, о чем он так любит рассказывать. Но то — другие! А рядом в соседней комнате Женя. Если это не вызывает боли, то это ну... словом, оно не портативно! Потом он вскакивает с постели и говорит мне что-то в коридоре. Что-то незаурядно злое по моему адресу. Мелко, как месть — но страшно талантливо как выполнение ее. Он знает, что независимость убийственна по отношению к нему; он жалит за независимость. Ну прекрасно.

Ты прости меня, Шура, какое это имеет отношение к тебе. Дальше, в конце ты увидишь, насколько касается это меня, насколько важно, чтобы я изменился; я хочу рассказать тебе это. Пока же я прерываю; у нас в доме нет почтовой бумаги, и если ждать будней и открытия магазинов, то письмо до понедельника не отойдет, а я хочу, чтобы ты поскорее услышал мой привет. Продолжение в понедельник.

Впервые: «Россия». Venezia, 1993, № 8. — Автограф (РГАЛИ, ф. 3123, оп. 1, ед. хр. 35). Датируется по содержанию.

[1] Цветы были присланы из Италии (Нерви), где Штих лечился в клинике своего дяди А. С. Залманова.

[2] Весной 1910 г. Гавронский находился в тяжелом душевном кризисе, выйти из которого ему помог Пастернак. См. стих. «Так страшно плыть с его душой...» (1910).

[3] А. О. Гавронский вел дело об освобождении от воинской повинности.

32. А. Л. ШТИХУ

Начало мая 1911

Шура! У тебя есть начало одного гадкого и глупого письма[1]. Оно было очень несправедливо по отношению к Саше. Вот покаяние. Я думаю, тебя неприятно удивит, когда ты узнаешь, какой грубый инстинкт толкнул меня на эти сплетни.

Ну вот: Саша меня долго упрашивал прочесть ему мои стихи. Я a priori знал, что это немыслимо; я знаю его вкусы. Но случилось так, что я прочел. С великим трудом собрал он лицо в серьезную складку и, поборов внутренний смех, заявил о том, что «здесь излишек содержания в ущерб форме...» или что-то в этом роде, «что это нехудожественно... и... слишком глубоко для искусства». Я же чувствовал, что он ничего не понял и что он вообразил себе, что видит в моем лице новоявленного ИДИОТА[2]. На следующий день я был связан этой своей неудачей: не приди я к нему, он обвинил бы меня в мелочном самолюбии. Случайно я сказал что-то неприятное ему. Тогда он вытаскивает кожаную книжечку и преподносит мне злостнейшую пародию на меня, где перемешаны все слова и положения. Но он не останавливается на ней; его прямо относит каким-то вихрем, — я никогда не слышал, чтобы человек так несся через фразы, эпизоды, анекдотические положения, он прямо захлебывался от такой быстрой речи. Рассказ о человеке, закричавшем петухом (и это я), о музыканте, который не умел играть, но целые ночи бороться со сном — это было его дарованием (опять я)... Он воспользовался всем, что знал обо мне.

А я был связан своей неудачей. Я должен был находить все это милым. Словом — он выпустил когти, когда я заикнулся о его жене.

Теперь ты верно понял психологию моего письма? Будь справедлив ко мне. Я не то написал тебе, что нужно было. Я хотел напомнить тебе один вечер в Спасском, когда ты тянул кефир и уго-

щал меня персиком. Я почему-то запомнил, что ты со мной говорил тогда о сходстве «крайне» серьезного с тем, что вызывает хохот. Меня часто смущало, что стоит лишь переместить точку зрения и все, что я писал или лучше хотел писать, хотел хотеть писать и т. д., становится непростительно забавным набором слов и что оно бросает на виновника их появления отблеск самой безотчетной глупости. Теперь, когда мои опасения сбылись и с такой неожиданной стороны, они исчезли, и их место заняла ясная уверенность в какой-то неприкосновенности принципов.

Принципы?

С разных сторон я убеждаюсь, Шура, что в своем теоретизировании дилетанта я стоял на верном пути и что этот путь ведет далеко. Видишь, я теперь получаю заверения от исторических данных и систем современности.

Это громко, ты думаешь? Значит я неумело выражаюсь. Я хотел сказать тебе, что мне немного грустно: все или, кажется все, замерло во мне, сошло на нет. Я всегда анализировал себя и находил вину в себе самом. Несмотря на то, что это страшно скучно, я хочу указать тебе то, что окончательно стерло меня. Ты знаешь, есть слово, которое в его теперешнем значении появилось сначала в отечественной литературе, затем в публицистике, далее в переводных драмах, в фойе символического театра, в рампе и жизни[3], на secretaire'чиках ее подписчиц... и вернулось вновь в отечественную литературу. Любишь ли ты слово «Жизнь» и его значение?

Я ненавижу жизнь.

Милый мой! Мне не удалось кончить письма. Особенно смешно это осекшееся рассуждение о жизни. Я когда-нибудь, и скоро вернусь к нему. Вероятно, я буду писать тебе летом, и, если ты мне напомнишь об этой неаргументированной ненависти, я обосную ее. Лето уже наступило, но уши у меня заложены. Завтра я вынимаю эту вату окончательно: дело будет об истории древней философии, надеюсь на весьма удовлетворительно[4].

Так что на днях наступают каникулы, которые протекут в Одессе. Когда-то я имел глупость начать: «Неужели есть сейчас, сегодня город тот, где ребенок, июль и месяц путали друг друга, где мазанок глинистая ночь встает etc, etc. Я хочу сказать, что когда-то меня туда тянуло. Месяц тому назад я вернулся из Одессы, куда препроводил маму с девочками. Я пробыл там с неделю[5]. Странно, это почти голодный город; но ты верно поймешь меня, если я скажу, что там царит настроение, которое наступает после третьего блюда. Ну, вроде Спасских послеобеденных залежей на-

верху. Я теперь знаю свою природу: я страшно несамостоятелен, мне нужен вдохновитель. Поэтому не удивись, если я после этих стоячих вод вернусь совсем лягушкой. И сейчас я нечто хладнокровное. Мне неловко просить тебя писать. Только. А то бы письмо состояло из просьб.

Вот тебе темы, меня интересующие: твое здоровье, твой жизненный тон сейчас, твои перспективы, восторги и сетования и т. д. Иногда мне Нюта[6] говорила о том, что ты пишешь много. Ты понимаешь, я кончил первостепенным. Ну, садись и пиши, пожалста.

Чего тебе пожелать?

Безнаказанности в уклонениях от личного? Верно это необходимое пожелание. Никто не желал мне безнаказанности. Вот я и поплатился.

Впервые: «Россия». Venezia, 1993, № 8. — Автограф (РГАЛИ, ф. 3123, оп. 1, ед. хр. 35). Датируется по времени последнего экзамена.

[1] Речь идет о письме № 31. Кроме того, сохранился черновой набросок обещанного в нем продолжения, написанный на обороте страницы конспекта «Платон и христианство»: «Я не люблю неудачных совпадений. А как-то на прошлой неделе, или недели 2 тому назад у меня совпало пошлейшее желание сплетничать с некоторым серьезным огорчением. Я был страшно несправедлив к человеку, о котором писал тебе. Объясняется это очень просто и психология этого «эксцесса» очень некрасива: дело в том, что я читал Саше стихи мои, после долгих его просьб; они ему не только не понравились, но на следующий день появилась на меня пародия, и очень злая. Инстинкт озлобленности (и такой неуместный здесь) завел меня дальше, по отношению к нему, чем это следовало: я написал тебе, совсем непричастному, о его интимных делах; хорошо, что был праздник и наши почтовые запасы вышли, иначе акт гнуснейшей мстительности зашел бы еще дальше. Это все я считал нужным сказать тебе. Но я не могу здесь остановиться. И так как мне уж суждено устранять недоразумения, то...».

[2] Вероятно, имеется в виду герой романа Достоевского.

[3] «Рампа и Жизнь» — название театрального журнала.

[4] Экзамен по истории древней философии был перенесен с 17 на 24 мая.

[5] Пастернак пробыл в Одессе со 2 по 14 апреля.

[6] Анна Львовна — старшая сестра А. Л. Штиха.

33. Р. И. ПАСТЕРНАК

17 мая 1911, Москва

Дорогая мама! Не знаю, придется ли мне попасть к вам раньше, чем остальным Пастернакам: второй зачет я перенес со вторника 17-го на вторник — 24, так как не успел подготовиться. Таким

образом университетские дела затянутся еще на неделю. И кроме того, с этой недели я берусь за выяснение своей будущей военной карьеры, ибо до 15 августа должно быть подано прошение об отсрочке. Кроме того мне, вероятно, придется отнять верхнюю челюсть, такое у меня делается с зубами; но я еще не был у Анны Лазаревны. Папа ей все еще должен, и оттого просто неудобно являться, а затем и страшно: особенной нежности она к отпрыску такого непростительного должника не проявит; и я бы первый назвал это естественным, если бы она изводила меня так же рассеянно и небрежно, как это допустил папа по отношению к ним в уплате. Но, понятно, все это не так, она человек благородный; между тем все же — страшно.

Возьми-ка ты, мамаша, лист бумаги да напиши мне правду, кто у вас и чем болен и вообще что у вас делается; а я переписку оставлю в тайне. То есть я расскажу-то папе, да ты этого не будешь знать: вот и выйдет, что ты боишься обеспокоить папу, бережна к нему и т. д., и тебе же будет легче, поделишься настоящей причиной того, что так долго не выезжаете. Если эти дожди символические, то кого они олицетворяют: тебя, Жоню, Лиду? Кто нездоров? Бабушка? Если же они не символические, то тогда совсем плохо, и вы наверное простужены поголовно от реальных дождей.

Кстати — у нас палит и пылит отчаянно. Ида лето проводит в Сокольниках у Над. Григ. — На днях был экзамен консерватории[1]. Лучше всех Зайка и Фейнберг. Вероятно лучше — Зайка. Тебе бы он больше понравился, он законченный артист и играет очень естественно, вселяя спокойную уверенность в то, что завтра будет играть еще лучше; то есть он не ограничивается данным вечером, Фейнберга вы бы с папой отвергли: он гораздо сложнее; артисты редко бывают так сложны, дилетанты гораздо чаще. Оттого такие артисты, как Фейнберг, могут показаться с долей дилетантского произношения, от которого так трудно отучиться. Фейнберг играл убийственно много; он прямо блеснул широтой своей музыкальной памяти. Он предложил жребий по всему Баху, громадный концерт Генделя, 3-й концерт Рахманинова, фантазию Моцарта, этюды и ноктюрны Шопена, четвертую сонату Скрябина (ее только сам Александр Николаевич играл, адски трудная).

Наверное, Зайка получит медаль. Игра Фейнберга называется манерничанием (à la Гольденвейзер). Знаете ли вы, что Шура сдал устную математику на 5?

Вчера я углубился в те Сокольники, где ни ты, ни папа вообще никогда не бывали, этих Сокольников почему-то не знают.

Мы летом в Одессе? Ты знаешь, как греки называли море? Бесплодным. При этом они ставили это слово всегда в таком падеже, который оканчивается на óio и выходит похоже на вопль: atrügetóio. Мне это море кажется дурным вкусом, чем-то примитивным, как страсти в драме или пиеса в октавах и аккордах, без контрапункта. Я не знаю, можно ли испытывать перед морем ту задолженность художника, которую вызывает фантастическое нагромождение нежности весны в лесу. У моря нет такой бездны снесенных отрывков, неразработанных эпизодов. Море само разрабатывает себя. Я не знаю, может ли оно вдохновить художника. Мне кажется, море можно писать только реалистически. Подходы к морю почти всегда бездарны. Или нужно быть гением, чтобы и побережьем пройтись, как по полям, нагнуться к морю, сорвать, унести, вырастить у себя. Можно ли это?

Но это — мимоходом; я буду жить с вами летом. Мне хотелось бы свести наши отношения до minimum'а с тобой и с папой, не говоря уже о бабушке и детях. И знаешь, это не наглость, что я говорю. Ведь, положа руку на сердце, я могу сказать, что все то, что мне приходится здесь или там, сегодня или завтра переживать, все это, говорю я, нисколько не отличается от того, что переживали ты или папа. Или даже вернее, что мое поле гораздо у́же вашего; ведь это-то я знаю. Но я так же хорошо знаю, что каждое вдохновение толкало как тебя, так и папу дальше в этой же жизни; то есть вы оставались естественными, непосредственными. В то время как меня все значительное в жизни выталкивает из нее; для меня осознание выше всего, я не люблю жить, я люблю истолковывать. В этом отношении мы различны. Когда я забываю эти различия, вы мне кажетесь неглубокими, плоскими. Я должен вам всегда казаться скучно рассудочным, неестественно нарочитым и т. д.

Словом — это источник взаимных оскорблений. А между тем я таков именно на основании вас, я от вас и наследственно и всячески завишу, да и просто я как никто страшно ценю многое такое в вас, чего вы в себе не знаете.

Впервые: «Знамя», 1998, № 4. — Автограф. Датируется по содержанию.

[1] Этот экзамен должен был бы сдавать Пастернак, если бы он не отказался в 1909 г. продолжать свои занятия музыкой.

34. А. Л. ШТИХУ

28 мая 1911, Москва

Дорогой Шура!

Смотри, какое невзрачное насекомое in modo epistolary дожидалось отправки к тебе, когда вдруг пришло твое драгоценное письмо. Я получил его часа 2 назад. На него нельзя отвечать в той обстановке, которая сейчас меня окружает. И хуже всего, что я сам ее инициатор или даже «регент»: здание училища вивисецируется наполовину и на отхваченной площади воздвигается в будущем году 12-этажный дом! А посему мы на лето переводим все свои вещи (хаос книг и утвари в космосе шкафов и буфетов) в одну комнату; мамы и прислуги здесь нет, они в Одессе с девочками, папа занят — ergo у меня руки в пыли, разум в шкафах (оттого все это и глупо так, а шкафы тяжелы), а душа полна сложных чувств, вызванных твоим письмом.

Но тебе нужно ответить, ибо ты меня ввел в тот круг, законам которого подчинила меня музыка и последующие мои приключения. Знаешь ли ты, как ты сейчас глубоко романтичен и силен в этой романтике?! Шура, ты ни на одной строчке своего письма не сходишь с той глубоко творческой... «позиции», которая — ну знаешь, я затрудняюсь писать тебе сейчас! Во-первых, оттого, что ты сильно действуешь: ты пишешь не от себя, ты как-то надписываешь свою грусть, тоску, болезненность и всего себя, со своей прогулкой, такой странной... угрожающе-музыкальной (я боюсь сказать лирической) — ты надписываешь все это на обрывки улицы или на ночные войны с молниями, или наконец там, за твоей спиной или за письмом твоим блуждает, танцует (но опять-таки безумно и скорбно) — отторгнутое время, как посторонний спутник (в ритме стихотворения: каждый день в душе моей оставляет след огнистый... далеко — давно ушло...[1]. И потому, что ты так полно отчуждаешь себя полосою ритма, а этот ритм есть ритм вдохновения, мне нельзя писать тебе, как данному Шуре. Я даже не знаю, как сказать это. Ты подумай, от скольких или от сколького! получил я сегодня письмо в твоем конверте!! Это значит, что ты настоящий лирик, с совершенно ясной способностью участвовать в широком недосягаемом горизонте лирического поля как элемент его; т. е. что говоря о себе, ты указываешь в сторону; ясно, что тебе дано писать о переживании своем... и это не будет психологизм.

Но ты прости, что я говорю так о тебе: это сделали стихи твои до и все твое письмо. Ты и не знаешь, как все это хорошо и худо-

жественно зрело. Я не могу писать тебе сейчас; ты не знаешь, что этой спешкой я тебя оскорбляю. Через недели $1^1/_2$–2 напишу тебе, уже из Одессы[2].

Неужели это правда, что ты так болен? Ты знаешь, я не могу этого почувствовать должным образом потому, что слишком неотразимо пережил сейчас большую ценность твоего настроения; если оно и вызвало слезы у меня и какой-то трепет, то именно творческой своей проникновенностью. Ты говоришь о «неверности». Знаешь, зимой я случайно сказал: петь — это беспрерывно изменять себе.

Ну вот, это так торжественно и похоже на два скрещенных масонских жеста, наши совпадения.

Ты не смотри на эти письма: они непростительны, как письма к тебе. И потом, лучше бы ты не расспрашивал Нюту обо мне. Я боюсь, она тебе наскажет! Она, бедная, путаница большая. Раз я был у вас; она мне стала говорить о новой музыкальной теории, построенной на... ассоциации звуков и цветовых ощущений... понимаешь ли... до, например, красное! Я думаю, что и ты, Шура, разделяешь мою неприязнь к таким теориям, которые думают углубить рефлексию об искусстве анализом отдельных «содержательных» данных его материи и совершенно упускают из виду, что (даже) уже и самое искание таких «углубляющих» положений проистекает от смутного чутья, что центр искусства лежит не в созданном и не создателе, а в великом методе творчества вообще (в его идее)...

Так вот, я говорил, что терпеть не могу, когда ассоциативная психология, которую надлежит кроить, напускает на себя вид портного. В воздухе висели слова: прочное положение, из которого можно выводить ad infinitum... математика... понятие единства и множества, предела и непрерывности... и иррационального. Математика, логика... Миша соглашался[3]. Нюта нет. Представь себе, через несколько дней я узнаю от одного человека: «Что с вами сделалось, вы отрицаете все, что не подлежит осязательной проверке (ощупыванию)... признаете только эмпирическое данное и отрицаете искусство...» Все это было очень забавно. Так я на углу Арбата и Поварской[4] оказался... сенсуалистом и... утилитаристом. Ясно, что Нюта недовольна моим падением. Я тебя прокляну, Шура, если ты это расскажешь ей. Мне это было бы неприятно. Ведь это в сущности я всегда знал, и мы это на каждом шагу испытываем; много очень близких людей очень странно реагировали бы, если бы я заменил слово «крылья» или что-нибудь в птичьем

духе словом «метод» или слово «стиль» — словом «разложение». С другой стороны, вряд ли всем вразумительно, что вечность есть общезначимость и необходимость. Да, это с нами на каждом шагу бывает; зато тем ближе мы сходимся, мы, «наш брат».

Ну, до скорого свидания в Одессе.

Впервые: «Россия». Venezia, 1993, № 8. — Автограф (РГАЛИ, ф. 3123, оп. 1, ед. хр. 35). Датируется по почтовому штемпелю на конверте.

[1] Цитата из несохранившегося стихотворения Штиха.

[2] Не сохранилось, имеется только конверт от письма 31 июля 1911 г.

[3] Михаил Львович Штих, младший брат А. Л. Штиха.

[4] Место расположения Московской 5-й гимназии.

35. Е. ГАВРОНСКОЙ

1911, Москва

Каким счастьем было бы для меня получить письмо от тебя! Я достал у Л<ьва> Г<ригорьевича>[1] твой адрес. Я знаю, что-то *и мне* надо искупить перед тобой. Но только бы ты получила эти строки и ответила мне! Я бы часто писал тебе. Ты бы нашла, что когда я теряюсь в тебе, мне изменяют слова. Ты бы может быть сделала попытку определить это; и вот ты играла бы названиями; воспоминание, сожаление, дружба, любовь... А я писал бы тебе свои письма в эти дни, которые так жутко и так скорбно откинулись в то прошлое. Я продолжал бы посылать их — и ты бы подыскивала названия и играла. Боже, как росла бы проясняющая печаль от этой игры.

Иногда я задумываюсь, глядя в окно — и тогда я застаю себя с тобою. Я не знаю, отчего я не ответил тебе на твою записку осенью из Дании. Когда мы возили с тобою сундук, и вообще в те дни — я ничего не знал. А потом... я ведь его перестаю понимать, он непостижим, у меня рябит в глазах от него; — но теперь, теперь я от него отказался[2]. Мне хочется сказать тебе сейчас такую правду, которая была бы как пробуждение; мне и самому тяжело; и вот я хочу большой, большой правды, в которой было бы так одиноко, как в степи. У меня может быть нет сердца, которое мог бы услышать другой; но нагнись, прислушайся к волнению этой правды, — и твоя игра, — эти поиски слов для меня станет богаче и грустнее. Как сказать это? Дорогая Женя, он — он бедный и маленький и он не знает Бога. Я всегда был с ним, мне казалось — я нашел человека, который не может причинить страдания спутни-

ку. Мне рассказывали ужасное о нем; я сам испытал на себе его движения отравителя; — но все это проходило мимо. Женя, — есть даже убийцы, которые безгрешны! И знаешь, кто это? Это те, которые не видели никого, кроме Бога. И вот я думал, что он из числа тех. Своей любовью они <отгоняют > все предметы, всех людей. Если бы такой человек сказал... я люблю тебя, — это значило бы — «ты не здесь, ты не здесь, ты *не* заслонила своей вечностью». Человек отбрасывает от себя длинное, теряющееся будущее; — будущее не подходит здесь как выражение, Но ты представь себе нескольких людей, которые зачитались жизнью и даже в продолжение месяца не ложатся спать, — от них падает целый сноп какой-то просветляющей готовности; они не должны засорять друг другу глаза собою; — они должны встречаться там, в излучине; и любить — это значит находить друг друга в луче. Вероятно, падают где-нибудь эти уходящие дыхания людей; вероятно падают они в Боге. На нем их любовь должна верно стать греющим, издалека светящим кружком. О нет, это не освещение. Это — темная грусть, которую посылает туда каждый из них. Мне казалось, он ничего не видит вокруг, потому что всецело отдался такому росту. Я всегда знал, что смогу писать тебе свободно только тогда, когда отвыкну от естественных путей, которые ведут к тебе от этой ложной, мнимой доступности твоей... знаешь, когда «Ты» будет относиться не к тебе даже, а кому-то случайному, которому я стану рассказывать о Зайке. И не так, знаешь, кокетничая интимностью, простотой и ребяческой глубиной, нет, нет, не так, а в том серьезном тоне, который вырабатывается у тех, кто пишут биографии. Если хочешь, ты можешь сказать Высоцким, что я терпеть не могу, когда они с таким мгновенным изяществом касаются тебя, с обычным у них отсутствием чувства размеров.

Впервые. — Черновик письма. Датируется по содержанию.
[1] Возможно, Лев Григорьевич Левин.
[2] Имеется в виду А. О. Гавронский.

36. И. Д. ВЫСОЦКОЙ

Начало 1912, Москва

Этой тишиной, в которой перестаешь верить в то, что были когда-то те весенние школьные дни[1] — ею завершается все. Боже мой, — все становится темнее и неподвижнее вокруг меня — одну

за другою я растерял все свои черты, — теперь и ты кажется поставила на мне крест.

Привыкаешь произносить вслух невероятное: ты закрыта для меня навсегда! Ты закрылась, заставилась этими невидимыми годами твоего отсутствия — нет, не отсутствия — твоим отсутствием я бы жил все-таки, больно, больно жил, как это и было той весной, когда твои расстояния были еще новы для меня и преследовали своей невыносимой остротой; теперь же ты давно уж как перестала отсутствовать — теперь ты ведешь тот вид наполовину отвлеченного существования (на бумаге письма или в названии местности), который ничего не знает о жизни. Во мне есть что-то механическое сейчас. О, его много во мне! Я боюсь, что я заимствовал эту мертвенность из наших сношений в последние годы. Я иногда пугаюсь, ты мне кажешься далекой сплошной полосой страдания. Тогда ты — сестра. Или нет — надо быть точнее. Во мне прямо вызывает муку то, что ты так неуловима: мне трудно, невозможно представить тебя; я преследую твой образ, я строю предположения о твоей комнате, о людях с тобой, — но все это ускользает, — я оставляю это занятие; а потом у меня сохраняется какое-то смутное чувство, что я видел тебя, подхваченную каким-то вихрем, относимую какой-то погоней — и в этом, знаешь, есть нечто роковое. Вот я и связываю тебя с тем невольным содроганием, которое вызывает в нас подхватывающая человека судьба. Что-то гонится за тобой, — и мне так страшно становится за тебя, беззащитную и растерянную; — при этом совсем забываешь, что не *ты* растерялась, а растеряна моим припоминанием, что из его сломленного усилия — и только — возникает этот роковой облик. < >

Я боюсь, ты не догадаешься, что сейчас *нужно* писать мне. Я поправлюсь — здесь нет превышения права — < >

Ты подожди. Ты можешь ждать? Все так обезображено, осмеяно в моей жизни сейчас. У меня нет рук. Я люблю, — что же я иное, если не это?

Но я не могу говорить. Я скажу тебе, — почти до слез больно и так неутешно. Я не могу различить — ты ли это или я, твоя ли грусть или она мне принадлежит. Я сейчас теряюсь в тебе, в твоем письме так, как потерялся первого января[2] и в день отъезда. О мне так хорошо, так вольно и чисто и так печально в этой перепутанности. Если бы и тебе так было. Конечно, я твой < >

Неужели нельзя молчать, и только покоряться той грусти, в которой не разберешься — моя ли она или твоя — молчать и теряться в тебе? Тебе нужно знать об этом. Но разве об этом ска-

жешь? Как быть? Я не могу писать. Видела ли ты меня, когда ты уезжала? Я не верю сейчас себе. Ах, это ведь так невероятно: ты та, ты понимаешь, та.

Впервые. — Черновик письма. Датируется по содержанию. На обратной стороне стих. «Я грущу об утерянном зле...» (1911). Сохранился еще один набросок письма, возможно, относящийся к осени 1911 г.: «Как тебе сейчас, Ида? Приехала ли ты в тот город, о котором думала уезжая, и такой ли день встретил тебя, какого ты ждала? Вероятно нет. И верно к вечеру тебя смутило, что твои надежды и здесь обманулись? Не подумала ли ты вслух о том, "какая ты теперь...". Может быть ты не узнаешь в этом своего обычного восклицания».

[1] Имеется в виду весна 1908 г., когда Пастернак занимался с И. Высоцкой, готовя ее к выпускным экзаменам в гимназии.

[2] Вероятно, это было 1 января 1907 г. на праздновании Нового года, с которого Пастернак отсчитывал время своей влюбленности в Высоцкую. См. описание этого праздника в отрывке «Однажды жил один человек...», 1912 (Т. III наст. собр.).

37. И. Д. ВЫСОЦКОЙ

Начало 1912, Москва

Сказать: жди меня! Это значит ведь создать такую тишину, такую тишину! Ты говоришь: напиши мне. Я стал писать. Но то письмо попало с самого начала в неправду, как жук в ведро с белилами, и при малейшем поползновении на единое слово, пачкало этой неправдою. Подумай, как сильна неестественность положения сейчас: с одной стороны: этого ожидания и с другой — необходимости писать; подумай, как она сильна, если против нее не устояла и моя решимость, с которою я бросился рассказывать тебе об одном зимнем утре. Об одном зимнем утре, когда я встал с каким-то наспех и в большой тревоге состеганным сознанием. Оно, помнится, держалось несколько часов, а потом надломилось, как тонкая морозная кора и повалилось в предшествующую ему ночь.

Я работал всю ту ночь напролет. Я не знаю, смею ли я назвать это работой. Мне ведь никогда не удается рассказать, как я увидел тебя смеющейся. Но этот смех остался у меня в руках, а твой образ пропал. Черт возьми, у меня стояли слезы на глазах от жути, какую вызывала эта, оставленная тобою вещь. Неужели ты действительно забыла его у меня, и все эти месяцы нуждалась в нем? Может быть ты доискивалась: когда ты потеряла его. И вот ты представлялась мне такой горюющей; ты являлась всегда как-то це-

лостно грустной: может быть потому, что я запутался в твоем смехе и носил его с собой. Я должен был тогда разорвать эти путы; и вот я, неотступно имея тебя в виду, рассказывал вкривь и вкось о смехе людям, научившим меня рассказывать. Сперва смех был черной девочкой с веснушками, которая не знала, что нельзя ступать по ячменю, льну и по цветникам, и потому не понимала, за что ее отовсюду гонят, то есть она думала, что странствовать это и значит быть гонимой внезапно вскрикивающими людьми с граблями и в синих рубахах, которые машут, машут издали в ветреные, облачные дни.

Но не все ли тебе равно, что было дальше. Она появлялась вдруг где-нибудь на грядах и, блуждая взглядом, топтала цветы, которые, как ей казалось, означали тропинку, а потом она пропадала. Число людей, испытавших ее посещения, число прогонявших ее увеличивалось. Когда они, столпившись, рассказывали друг другу на больших дорогах об этой гонимой, им невольно виделась чья-то выправленная горизонтом спина, которая скрывалась в расплесканных ветром полях. Когда их стало так много, что спиною, составленной их рассказами, можно было заслонить облако, они позвали архитектора. Медленно и тяжко, как состарившаяся женщина над городом, ступая по его садам, наполовину в небе, мешая облака с синевою, приподымалась готическая церковь < >

Неужели ни одно из моих посещений, писем и обращений не дошло до тебя? Я не знаю, надо ли рассказывать о том, что легло когда-то в воображении, повлекши за собой новые слои, прикрывшие его как плотно сшитые страницы; я не знаю, можно ли вспоминать, не лежит ли в этом какая-то неправда, что-то вроде *сознательного* суеверия. Если это не так, то я постараюсь пережить совместно с тобою, здесь и сейчас то ускользающее и темное, что свойственно моей памяти о тебе, то, что позволяет мне узнать, кто́ собственно мерещится мне в эти странные минуты. Мне не хотелось бы найти в тебе того подавленного недоверия, которого так естественно ожидать; совсем обычного сомнения в том, что ведь не все же всегда должно быть *необычно и сложно и во что бы то ни стало глубоко.* Не стало ли это ремеслом наконец, обмирать в этой чуткости. Я не столько хочу защитить себя от таких подозрений, сколько меня занимает задача, хотя бы приближенно определить: где надо искать корни и необходимости этих преобразований того простого, дельного, действительно плодотворного и здорового, что окружает нас. Во что мы, пожалуй, даже безвозвратно вступили, и что, главным образом, лишено этой страшной опасности: притязательного ожидания оценки. Отчего нам так важно это, отчего мы бере-

жемся от того, что мы может быть ложно назвали миром *взрослых*, и зачем мы так ищем помощи других, чтобы приковать себя к какой-то загадке, тоже ложно обозначенной нами как «*детство*»[1].

Лучше оставить эти вопросы нетронутыми. Я и не надеюсь ответить на них. Я только не хотел бы, чтобы они остались, как слова, пустыми. Их нужно до краев долить живым, тревожным недоумением.

Впервые. — Черновик письма. Датируется по содержанию.

[1] Ср. в «Охранной грамоте» (1931) о «взрослом мире», к которому Пастернак, по его признанию, «с детских лет так яро ревновал В<ысоцк>ую, по-гимназически любив гимназистку».

38. Р. Д. ВЫСОЦКОЙ

Начало весны 1912, Москва

Милая Бебэ! В твоем лице приветствую всех. Мои мученья пришли, слава Богу, к концу. Теперь я займусь книгами, которые пошлю Иде через Шибанова, а не Образование[1]. Завтра приезжает Федор Давыдович[2] из Нижнего: я узнаю от него о месте и времени вашей ближайшей оседлости, чтобы книгам не пришлось кочевать вам вослед.

Завидую твоей встрече с Идой и Леной, что кажется мне почти несбыточным чем-то.

Твой Боря

Впервые. — Автограф. Открытка без адреса. Датируется по содержанию.

Ревекка Давыдовна (*Бебэ*) — младшая сестра Иды Высоцкой.

[1] Павел Петрович *Шибанов* — владелец книжного магазина на Никольской ул., «Образование» — книжный магазин Арона Львовича Фейгена, находился на Кузнецком мосту.

[2] Неустановленное лицо.

39. РОДИТЕЛЯМ

22 апреля 1912, по пути в Германию

Дорогие! Вот вам власть костюма: серый сюртук привык в дороге целый день лежать на полатях, полный Леонида Осиповича[1]; он как-то магнетически препятствует мне слезть с ночного ложа. Чудный день в Смоленске, древний кремль, кобзари и еврейский клар-

нетист обходят наши вагоны, о них, конечно, ничего не знают Express'ы, пролетающие безразлично по всей земле. А тут — фольклор, и я научился по запаху вагона распознавать губернию, по которой проезжаю. Пассажиры меняются ежечасно. Визг, детские слюни и польские евреи и еврейские поляки. Вам, конечно, ясно, что я здоров, жизнерадостен, штудирую Когена[2] под потолком и целую Вас.

Впервые: Памятники культуры. — Автограф. Датируется по почтовому штемпелю.

[1] Пастернак поехал в Германию на летний семестр в Марбургском университете. Для поездки ему был отдан отцовский сюртук.

[2] Герман *Коген* — глава Марбургской философской школы.

40. РОДИТЕЛЯМ

23 апреля 1912, по пути в Германию

Знаете, на что у меня уходят деньги? На Азров[1]. Они выстраиваются вдоль станций с курами и мацными булками в руках, с плачевным жаргоном на устах и с неисчерпаемой бесконечной скорбью в очах. А рядом: пьершь, пепшь, пеншь[2]. Это я написал еще вчера — в России. Сегодня же — неузнаваемая картина. Соберите всю вашу фантазию, вспомните Шопена и поляков у Гоголя, и главное, залейте зеленью, зеленью тополей, каштанов и фруктовых садов эту открытку. Заставьте ее гореть, как горит она сейчас, нагреваемая открытым окном возле Александрова. На границе я буду в 3 ч. дня, в Берлине в половине первого ночи. Ввиду такого часа телеграфирую Розенфельдам[3]. Что я сделал? Куда я еду? Обнимаю всех.

Впервые: Памятники культуры. — Автограф. Датируется по почтовому штемпелю.

[1] Древние кочевые племена Аравии; здесь: евреи.

[2] Звукоподражательная передача польской речи.

[3] Пастернака встречал в Берлине Володя Розенфельд, сын друзей Л. О. и Р. И. Пастернаков.

41. РОДИТЕЛЯМ

28 апреля/11 мая 1912, Марбург

Дорогие! Я думал, что за 1 Collegium[1] в университете платят по 7 m. 50; оказалось, что только 5 m; хотя явились еще расходы по взносам в семинарий и библиотеки. В общем, у меня сейчас на

жизнь 50 марок, что по здешнему масштабу довольно приличная сумма; поэтому вы можете не торопиться с деньгами. Мне все время страшно стыдно в душе перед вами; мне совершенно незаслуженно хорошо здесь. И я совсем не надеюсь оправдать моими занятиями того наслаждения, которым полна жизнь в этом городке. Есть еще другая сторона, которая смущает меня: живое очарование здешней природы, которою закрашены и переполнены здешние улицы[2], прерывает меня среди моего желания учиться; оно не мешает мне: я ведь умею от всего отвлечься. Но я знаю великую цену ее намеков и требований. Можно бросить все, и прежде всего, конечно, теорию и оставить налицо только одно: чуткую восприимчивость и какое-то послушанье полученным впечатлениям. Так именно начинается искусство[3]. Я, к несчастью, слишком хорошо знаю пестроту и фантастичность дневника, которые создаются, если только допустить его. А я приехал учиться сюда. В Москве, когда я оставался на собственный риск, я бросал иногда целое лето на растерзание этого Минотавра. Здесь я делаю вид, что не понимаю языка обольстителя; а не то из города Когена я привез бы: во-первых, — полное забвение философии или даже логического «права»; во-вторых, в лучшем случае несколько жалких разочарований в области прекрасного. Тогда вы встретили бы на Брестском вокзале несчастную карикатуру с участью, полною сарказма. Я познакомился уже с Наторпом. Но в семинарии у него я еще не говорил, — я еще недостаточно онемечен в своем говоре. Что касается идейной стороны — мои представления о немецкой аудитории были преувеличены.

Если бы это был только город! А то это какая-то средневековая сказка. Если бы тут были только профессора! А то иногда среди лекции приоткрывается грозовое готическое окно, напряжение сотни садов заполняет почерневший зал, и оттуда с гор глядит вечная великая Укоризна. Если бы тут были только профессора! А то тут и Бог еще.

Страшно обрадовался вашему письму. Шура совсем рассмешил меня.

Впервые: Памятники культуры. — Автограф. Датируется по почтовому штемпелю.

[1] Курс занятий у преподавателя.

[2] «Меня часто мучит мысль, — писал Пастернак 1/14 мая, — что здесь, в Марбурге, я только вижу, как мало во мне философского. И, кроме того, я уже говорил вам — это Оболенское и Меррекюль, а не резиденция кантианства!! По вечерам — ноги в росе, ночью ревут лягушки, на опушке леса

я видел зайца!!» (там же. С. 56). *Оболенское и Меррекюль* — живописные места, где Пастернаки проводили летние месяцы 1903 и 1910 гг.

[3] Об этом же в открытке 1/14 мая: «Я уже не раз повторял вам: здешняя природа и здешняя готика делают таким самоочевидным исключительное положение искусства! Настроения, замыслы, образы приходят и уходят. Такая далекая поездка и такое редкое присутствие самого Когена — все это условия, определяющие мои действия, отнимающие у них свободу» (там же. С. 56).

42. РОДИТЕЛЯМ

2/15 мая 1912, Марбург

*...той, если пройти мимо такой гостиницы равнодушным? Но обедаю я не у него. У него слишком хорошая душа для стряпни. Обедаю я в одной столовой, которую содержит венка. Эта вéнка заслуживает венка; и лучше бы она потратила свой Rabarbar** на это украшение, чем на компот; что за предрассудок давать шляпы на сладкое: а Rabarbar именно шляпа. Зато шницель и Kartoffelsalat*** надолго привязывают к земле. Самоубийство для Zeppelin'a, который завелся над нашими головами на этих днях и своими экскурсиями увеличивает потребность в шампуне[1]. Кстати — здесь праздники без конца: на днях отпраздновали день, который случайно прошел без праздника. Перед моими окнами партия немецких каторжников обращает луга в фруктовый сад. Каторжники эти какие-то полные молокососы с животами, без сюртуков и при часах. Стережет их старый такс и дрянная кукла в повозке. Боже мой, какие нравы! Беру газету: в Нейштадте жена фабриканта родила четверню, die Wochnerin und die Kinder befinden sich wohl****. В воскресенье я должен был сделать вид, что я объелся и сплю, а то меня арестовали бы за то, что я не наслаждаюсь. Но я объелся — этого было достаточно, и мне дали наслаждаться. Здесь цветет сирень в изобилии, я сорвал кисть, способную осчастливить целое общежитие, — коллекцию этих предсказаний вышлю вам[2].

Это безвкусно и неостроумно. Но если бы вы знали Марбург — вы поняли бы, что это и грубо и грешно!! Писать неумные открытки из города сверхъестественного по своему будущему в истории!

---

* Верхняя часть открытки оторвана.

** ревень (*нем.*).

*** картофельный салат (*нем.*).

**** роженица и дети чувствуют себя хорошо (*нем.*).

Странно и жутко сознавать, что следующей за Платоном и Кантом сваей, водруженной всемирно, на все века, оказывается *вот эта* закопченная аудитория и вот этот чудной запутанный и вдохновенно ясный старик, который дрожит и сам от потрясающего изумления от того поразительного чуда, что история была не понята до него, что эти века, туго набитые жизнями, мириадами сознаний, мириадами мыслей, так тускло молчат именно там, где его осеняет ясностью. Его слушатели боготворят эти часы, они участвуют в чьем-то величавом бессмертном счастье, которое по своим размерам действует, как трагедия. Его недосягаемость вызывает какое-то глухое страданье, я боюсь сказать, состраданье во мне. Он не говорит, а живет, движется... обитает в своей мысли. Я говорю вам — это драматично все. Конечно я еще не подошел к нему. Зачем оскорблять большие предметы!! Но я знаю: *я проработаюсь к нему*. Во всяком случае, нельзя было не видеть этого.

Впервые: Памятники культуры. — Автограф. Датируется по почтовому штемпелю.

[1] Приземление цеппелина (дирижабля) «Виктория Луиза», с рекламой шампуня, стало памятным событием в истории Марбурга.

[2] Пятилепестковый цветок сирени считался счастливым.

43. Ж. Л. ПАСТЕРНАК

4/17 мая 1912, Марбург

Marburg a/L 17/V

Моя дорогая вдумчивая Жоничка!

Теперь я знаю, кому я больше всего буду писать. Тебе так нравится гадать о красках, о свежести, о тишине, о случайных звуках и о том, как все это переплетено в душе человека. Я и сам когда-то находил самое глубокое и утомляющее наслаждение (как прогулка, после которой устаешь и весь в глине) в том, чтобы «представлять себе». Я любил писать как раз такие письма, как то, которое ты мне послала. Мне казалось, что только то и есть настоящее, что — воображение; и что все остальное только заводное, как игрушечные поезда с круглыми рельсами. Такие глупые поезда, с колесами, свистком, паром и вагонами — и все понапрасну: потому что самое интересное в железной дороге — то, что она заворачивает и не оканчивается, — отсутствовало у этих поездов. Я не только думал так, а это и мое теперешнее убеждение: удивительное и страшно серьезное и, как бы это сказать, глубоко грустное —

как пирожное (пирожное — грустно, а суп — как остроты в «Родине»[1]), нет, это чепуха и такое грустное, вдоль которого идешь и идешь и не сворачиваешь, потому что оно непрерывно верно себе и все еще что-то впереди обещает, как живая колючая изгородь сада, вдоль которой идешь затем, чтобы потом завернуть, когда и она завернет, и зайти в усадьбу, в которой летний день и воздух высоко в липах и колеи от кареты в парке; как будто изгородь дала слово завернуть. Да так значит удивительное и таинственное и свежее умеет подбирать только воображение, странствующее по своим догадкам. Твое письмо ужасно напомнило мне самого себя. Хотя я писал далеко не так хорошо, как ты. Ты замечательно верно и живо чувствуешь «субъективное» во всевозможных его состояниях. Рассеянность, затерянность среди города, который для тебя только сейчас в это холодное, в это *так* расположившееся утро только и начал существовать, перекличку с вокзалом, который вдруг подсказывает тебе твое происхождение, — все это ты воссоздала прямо поразительно. Ты воображай и дальше, другие местности и другие времена, заставай не одного человека с колодцем и ратушей за плечом, а двух или трех, или целое войско ночью в болотах, или не людей, а например, один пожар, или целый месяц, охваченный одним беспрерывно шумящим дождем. Застань их и подслушай. Или дай им застать себя и пиши, ты должна писать, Жоничка. Только пиши *правду, правду*. Как ты видишь их, а не так, как говорят, когда говорят о том, что видят. Не подделывай. Ты может быть уже усвоила себе некоторое умение как бы садиться в слова и фразы, которые везут непременно в тонко подмеченное и необычное, как линейки, отвозящие в праздник в определенные деревни здесь. Не делай этого. Не имей заготовленных неожиданностей. Это ведь скучнее арифметических задач. Окружающие не замечают этого в начале, и ты можешь достигнуть некоторого значения этим. Но ведь не в этом дело. Да это и не нужно тебе; в твоем письме есть бесспорные признаки того, что ты умеешь видеть, должна уметь видеть, и что много сказочно правдивого войдет в твой кругозор, если ты будешь держать его в чистоте. Эти видения не только упадут в твои зрачки, они *должны* выпасть над ними, как должен выпасть снег над северными землями. Потому что они-то, эти не рассказанные последования темных и пестрых предметов, создали глаза такими, на них держатся они, как солнце на стрекозах, а не наоборот.

Мне хочется еще раз сказать тебе это: вглядывайся в свое прошлое и в свои фантазии; правду о них трудно, страшно трудно ска-

зать; не кажется ли тебе, что правдиво сочиненное отличается от действительности так же, как оброненная, лежащая на земле вещь (например, кошелек или номерок от собаки или квитанция) от тех, которые на местах у владельцев. Эти утерянные, и только они, *суть* настоящие вещи. Ими владеет не карман, а кто-то живой, мечущийся по шкафам, расспрашивающий прислугу и телефонирующий знакомым. И вот вокруг того, что подбирает воображенье, мечется чья-то потерявшая все это жизнь, Райнер Мария Рильке называет его Богом.

Ты не подумай, Жоничка, что я хочу померяться с тобой в описаниях, если я вкратце исправлю твое представление о Марбурге. Здесь очень мало прямых улиц; здесь очень мало улиц, которые вообще *лежат* на земле; а вот что здесь есть: ты останавливаешься в каких-то сумерках, нагроможденных из древних, древних домов, воткнутых один в другой в виде каких-то еловых шишек из этажей: кончается один дом, и над ним начинается другой; потом — отстраняющий взмах сиреней, и дальше, уже заслоняя маленькое старое небо, продолжается все та же темная еловая шишка из домов друг над другом. Потом, когда осваиваешься в этом опрятном полумраке, то замечаешь серую неправильную уличку, которая сочится сверху, сцеженная в прихотливых, странных изгибах.

Здесь нет «*остатков*» старого Марбурга. Я учусь в старом Марбурге, в аудиториях с цветными окнами, сижу на скамьях, выбитых в стенах коридора, наваливаюсь всем телом на громадную, обитую железом дверь, которая не стала подвижнее оттого, что ее 300 лет отпирают, любуюсь скворцом, свившим гнездо в актовом зале с органом, где рыцари в окнах, похожих на медовые соты и высокие дубовые стулья. Здесь недалеко то местечко Münchhausen, из которого и т. д. Здесь нет остатков, здесь весь Марбург остался. Я живу на Gisselbergerstr. Но это не улица. Это старая дорога из Giessen'a, проходящая мимо Gisselberg'a, громадной горы, в лесах которой охотились здешние рыцари. Эта дорога, тысячелетние чудовища которой и сейчас сошлись над ней глухими сводами, эта дорога приводит к улице, ведущей в университет, нет, надо сказать иначе: к улице, которая в конце, совсем в конце после площади и колодцев и еврейского закоулка — *становится университетом, аудиторией*, прямо переходит в аудиторию. Эта улица начинается от ворот, носящих название Barfüsserthor*; вероятно, было

* ворота босомыг (*нем.*).

и здесь то же самое, что и на какой-то картине, которую я когда-то видел. Несколько десятков бунтовщиков должны были с веревками на шее, босыми войти в город и протоптать всю эту Barfüsserthorstrasse[2] по снегу. Это было зимой, было, верно, темно, и дома скучивались еще непригляднее, еще круче висели над головой, и только фонари, редкие и большие фонари над цирульнями и гостиницами разрывали, вероятно, эти черные цепи сумерек и давали падать их концам. Это были те самые дома, которые я завтра увижу по пути в университет. Здесь нет порогов: одно начинается в другом; над улицей можно перепрыгнуть, нет: просто шагнуть из окна в окно. В крохотном университетском саду живет пекарь, *водится* пекарь, напяливший на свои растопыренные локти окошко, ставни и крышу, целый дом с пристегнутой уличкой. Это кусочек города, который он испек, и все это находится над Когеном и Наторпом, беседующими на мостовой.

Здесь нет улиц: есть расходящиеся с маленькими промежутками дома. Тут не продают также ландышей: тут нет людей, у которых не было бы собственных цветов.

Все тесно связано здесь: на днях из деревни пригнали несметное стадо кудлатых овец. В реке стояло несколько крестьян и крестьянок; они ловили овец, которых им кидали в воду за уши и за хвост, как сумки с письмами. Стояло глупое поддразнивающее блеяние сотни морд. Потом, выстиранными, их вновь угнали в горы. На днях прохожу мимо Shutzenpfuhl'a*. Гостиница заперта[3], и весь двор набит этим блеющим бельем. Прачешная и зверинец! Сын моей хозяйки болен Heuschnupfen'ом**: ему надо жить в скалистой местности, он чихает при виде цветов, я говорю вполне серьезно, это страшно смешно. Здесь все — один сплошной цветник и ему поэтому оглушительно влажно живется. Когда я слышу эти нескончаемые каскады за стеной, я радуюсь тому, что где-то что-то зацвело. Но нехорошо над ним смеяться. Это совсем несчастный мальчик: в детстве его толкнул со всей силой учитель во дворе, и он сломал себе бедро и вообще сорвал ногу с сухожилий и тазобедренной кости. Этому уже три года, нога на 7 сантиметров короче и не растет, так что разница увеличивается; но хуже всего, что это причиняет ему страдания, не уменьшившиеся со дня того паденья; и оттого он не учится в гимназии, как он хотел, а пред-

---

* оборонительного водоема (*нем.*).

** сенной лихорадкой (*нем.*).

назначен к духовному званью: он не может долго сидеть и не может долго стоять, его гонит эта боль. Он худой, белокурый, высокий и весь изломанный. Что сделали учителю? Он скоро умер.

Я ждал с отправкой этого письма: мне хотелось приписать несколько слов о торжестве зачисления в студенты, которое только что происходило в «Aula»*. Такое странное ощущение вызывает эта тысяча дубовых спинок с тысячей голов в восковом, землистом полумраке зала, который создают сетчатые серо-зеленые окна из слюды, похожие на чешуйчатые крылья мух!!

После многих имен я услышал свое, подошел к ректору, пожал ему руку, и мне вручили «имматрикуляцию»[4] и лист, что я: durch Handschlag feierlich gelobt habe** и т. д. Т. е. я теперь действительный студент Марбургского университета в такой же мере, как и Московского. Университет основан в 1527 г. в помещении доминиканского монастыря. Он был возобновлен после 30-летней войны (1625 г.).

Здесь есть много гостиниц и домов с того времени. Покровительница города — св. Елисавета, жившая здесь в начале XIII в.

Письмо началось обращением к Жоничке; я думаю, на первой же строке оно сбилось с пути. Если оно свернуло из детской в спальню, то *я* это заметил только сейчас. А потому (и не только для того, чтобы попасть в тон), я перехожу на деловую почву. Деньги мне все-таки нужны. Если бы вы выслали мне 100 марок, то этого хватило бы на все лето. Высылайте сколько хотите (50, или 75, или 100), но высылайте, пожалуйста, на этих днях. Это не экстренно, но очень оттягивать тоже не нужно. С университетскими расходами было все-таки так, как я думал. 80 марок с чем-то, даже 85. (Я не принял во внимание приплат, которые здесь обязательны.)

Ты удивляешься, папа, что я ничего не пишу о Когене? Это тема не для письма. С Наторпом я уже говорил не раз. Вообще я первые дни отчаялся в том, что приехал: не устанавливался баланс между тратами и raison d'être***. Теперь же я вижу, что эта поездка имеет большое, очень большое значение. Если я даже и не философ, то ведь Коген — человек эпохи, вековая величина: надо же

---

* актовом зале (*нем.*).

** торжественно посвящен рукопожатием (*нем.*).

*** смыслом существования (*фр.*).

было увидеть, услышать все это на месте. Я беру этот minimum: я уеду только очевидцем. Но ведь и это значительно. А этот minimum — преувеличен. Я страшно хохотал, когда прочел твою приписку с «пейсою Когена».

Напишите мне подробно, как вы решили с летом. Если бы вы заехали сюда, на пути в Мариенбад! Не забудьте написать мне о вашем маршруте, действующих лицах и времени отъезда. — Я почти уверен, что, прочтя всю эту чепуху, ты не дашь ее Жоне, просто затем, чтобы не портить ее мышления, вкуса или даже потому, что не захочешь уронить старшего брата в глазах сестры. Я совсем чистосердечно поручаю себя твоей воле в данном случае. Ты только напиши мне: Боря, ответь Жоне сызнова. Пока поблагодари ее за письмо, от которого я, конечно, в восторге.

Целую всех. Феде напишу на днях, пока *обнимаю и кланяюсь.*

Милый, золотой Лидок! Ты, верно, совсем не знаешь, как опасно читать твои письма, например в трамвае, где нельзя оскалить зубы и заколыхаться от громкого, домашнего смеха. Я же не знал этого и чуть не выдавил стекла в столовой, стараясь после твоих строк разглядеть в окне совершенно ясную вывеску Raabe, Konsumanstalt*. Я же кусал свои губы и не мог разобрать: что это там за гусеница над дверью; ах, да, да, да, это не гусеница, там даже скорее несколько букв; пожалуй, это таки вывеска. Теперь я буду уходить в лес читать твои письма. Он совсем недалеко от меня; мой дом — предпоследний на юге. В лесу я видел (на опушке) зайца; а в чаще — множество белок.

Ну поцелуй Федю, Лидок.

И вот еще тебе поцелуй.

Впервые: Памятники культуры. — Автограф.

[1] Иллюстрированный еженедельный журнал с шутливыми и нравоучительными пояснениями.

[2] См. в «Охранной грамоте» объяснение названия улицы: «Босомыгами же в средние века звали монахов-францисканцев».

[3] В этой гостинице Пастернак остановился в день своего приезда в Марбург.

[4] Документ о зачислении в университет.

---

* Раабе. Потребительская контора (*нем.*).

44. Ф. К. ПАСТЕРНАКУ

6/19 мая 1912, Марбург

Скажи дорогой мой *Федя,* ты не сердишься, что на этой открытке нет ни гор, ни башен, ни мутных вод, ни наконец родовспомогательного заведения имени Св. Елисаветы? Ach, ich will es nicht verheimlichen, das ist keine Ansichtskarte![*] У меня нет секретов. Но если бы ты знал, в какой день понеслись мои мысли к тебе! Ведь сегодня и весь город Св. Елисаветы — открытка без вида. Зато, если бы я мог заполнить ее теми басовыми и пушечными звуками, с которыми толпы студентов совершали сегодня свои Fastpartien[**]: несколько оркестров < >[***] окрестные луга и < > какие-то куски < > Ипполитова-Иванова < > Потому что нас < > ровали сегодня: я < > студентов < > feierlich gelobt[****] и т. д. Ректор вручил мне кипу бумаг. Кто дал ему сведения о тех домашних обедах, которые составляют большую проблему зоологии и которые я поэтому съедаю с большим интересом? Любопытные животные лежат в основе этих жареных! Прелюбопытнейшие! Ты привез мне галстух? Ах Федя, Федя, ведь галстуха-то мне и недоставало, когда я уехал из Москвы. Наши, вероятно, сказали тебе, что это было за мучение для меня, что у меня не европейский галстук! И ты привез его?! Ну, так как дважды два четыре спасибо тебе!! Но как ты угадал, что мне нужно?!

Ты видел Иду? О, у нее замечательные дарования к заграницe.

Прости, что посылаю через наших. Я забыл твой адрес. Федя, мне всегда так стыдно бывает перед тобой!

Впервые. — Автограф. Датируется по почтовому штемпелю.

45. К. Г. ЛОКСУ

6/19 мая 1912, Марбург

Сегодня праздник, и у меня нет открытки с видом под рукой. Простите поэтому, дорогой Костя, что эта записка не будет соответствовать своему происхождению. Мне трудно представить себе место на земле, иллюстрированное в большей степени, чем Мар-

---

[*] Ах, я не хочу этого скрывать, это не открытка с видами (*нем.*).

[**] Гуляньe на Троицу (*нем.*).

[***] Пропуски в тексте на месте вырезанной марки.

[****] торжественно принят (*нем.*).

бург. И это не та поверхностная живописность, о которой мы говорим, что она восхитительна или прелестна. Испытанные, окрепшие в веках красоты этого городка, покровительствуемого легендой о св. Елисавете (начало XIII столетия)[1], имеют какое-то темное и властное *предрасположение*. К органу, к готике, к чему-то прерванному и недовершенному, что зарыто здесь. С этой чертой оживает город. Но он не-оживлен. Это не живость. Это какое-то глухое напряжение архаического. И это напряжение создает все: сумерки, душистость садов, опрятное безлюдье полдня, туманные вечера. История становится здесь землею. Это знают, это чувствуют все: ректор, производя торжественное зачисление несметной толпы студентов (и меня и меня и меня), пожелал нам, чтобы дыхание поэзии, овевающей город святой Елисаветы, унесли мы с собой как обет молодости. Коген — сверхъестественное что-то. Он часто как-то зло и горестно чудит. В семинарии не знают тогда, что делать. В нем много драматического. Я не знаю ничего, что было бы дальше от позитивизма, уравновешенности и благополучия, чем его мысль и его фигура. *Чисто* философская курия, очень немногочисленная, представляет собой редкое, величавое явление. Все это люди, в своем непрерывном, ежечасном росте ушедшие по плечи в какое-то небо идеализма. У подошвы этого хребта (ничего общего с корпорациями и чернью!!) чудачит горсть художественных enfants terribles. Это представители декаданса. Один из них молится на Когена; но Шелли, Свинберн и Эсхил, на которых он воспитался, заставляют его терроризировать кофейни с цитатами из Верлена на устах. С ним я познакомился. Я думал о вас.

Мой адрес: Herrn B. Pasternak Marburg a/L Gisselbergerstr. 15/II
Напишите мне закрытое письмо. Как Ваша статья о Леонтьеве?[2]

Впервые: Памятники культуры. — Автограф. Датируется по почтовому штемпелю. К. Г. Локс — университетский товарищ Пастернака, историк литературы, автор воспоминаний «История одного десятилетия».

[1] Легенду о св. Елизавете Пастернак приводит в «Охранной грамоте».

[2] Статья Локса о К. *Леонтьеве* неизвестна.

46. РОДИТЕЛЯМ

13/26 мая 1912, Марбург

Вы мне еще не ответили о здоровье Маруси Шор[1]. Отвечайте мне всегда на *эти* вопросы. Если я задаю их, то это значит, что у меня были дурные сны. Они повторяются, и я начинаю существо-

вать с ними как с действительностью. Потом я очень прошу вас не откладывать этих предприятий: пишите густые, полные и частые открытки, я нуждаюсь в этом питании. Ведь это не трудно. Мама и папа, вы не представляете себе, как это нужно мне, собственно от вас только. Если бы вы это истолковали в том смысле, что я привязан к дому, что я еще не вполне взрослый и самостоятельный, то вы не только ошиблись бы во всех этих предположениях; вы главным образом упустили бы из виду существенное. Тоска по дому, по родине, это все было бы еще не так страшно. Мне никогда не удается выразить того чувства, которое по временам не только не дает мне думать о чем-либо другом, но часто прямо-таки изнуряет меня.

Но, может быть, я высказал бы его, если бы назвал ваш образ воплощением какого-то немого упрека, нечеловеческого, непрекращающегося, который возникает предо мною иногда и зовет куда-то обратно, обратно.

И о, ужас, когда я начинаю вникать в это «обратно», в моем сознании вырисовывается вдруг кусочек подоконника в рабочей комнате Глиэра[2], на даче, и я слышу собственную сонату, но не это важно, а важен тот мир легендарной сказочной полноты и счастья, которыми заряжено это смолистое, яркое летнее дерево, и душистый сумрак переступающего сада; и эти как бы распечатываемые дальними криками и свистками чистые просторы, темные, матовые, растворенные горизонтами, с воздушной позолотой мошек; эти вечера, в которые можно бесследно совать какие-то мысли, слова, намерения, ненаписанные письма и т. д. и которые тысячекратно ценны именно как эти колодцы, в которые падало столько творчества. И тут начинается мое несчастье: я вижу тебя, папа, твой безусловный, абсолютный, классичесќи и непримиримо творческий дух, то образцовое в тебе, что мы всегда называли вечно молодым у тебя. Я вижу тебя с этим страшным значением *бессмертия* и себя как поколение, т. е. как противоречие, как оспаривание тебя с этими вечными вечерами!! А с мамой еще труднее!! Она совсем как-то скорбно, жертвенно и безгласно поникает... как мать «взрослого сына»; а за ней эта ее властная царственная душа музыки и опять этот язык бессмертия — нечеловеческий. Боже, Боже!

Мои занятия наладились. Сейчас неделя Pfingstferien*. Осталось познакомиться с Когеном. Сделаю это через неделю, так как хочу что-нибудь приготовить.

---

* Троицкие каникулы (*нем.*).

Впервые: Памятники культуры. — Автограф. Датируется по почтовому штемпелю.

[1] Возможно, Мария Соломоновна Шор, тогда студентка медицинского факультета, сестра виолончелиста Д. С. Шора. Пастернак спрашивал о ее здоровье сразу по приезде в Марбург 1/14 мая 1912 г.

[2] В 1908 г. Пастернак брал уроки у композитора Р. М. *Глиэра.*

47. Л. О. ПАСТЕРНАКУ

16/29 мая 1912, Марбург

Спасибо тебе за большое письмо, дорогой папа! Я не ответил тотчас: ждал ваших известий об экзаменах. Их еще до сих пор нет, но так как я всем очень сильно желал успеха, а мои желания, направленные на других, всегда сбываются, то теперь я поздравляю: миленького третьеклассника, Жонюрку, перевалившую во вторую половину всего гимназического курса и Вейерштрасса[1]. Сегодня только вновь наступили будни после 3-дневных Pfingsten с их суровым ограничением: нельзя достать хлеба, т. к. все должны есть пироги. Но каникулы продолжатся еще всего неделю. Сегодня я приступлю к чтению Когеновского труда о Кантовской этике, т. к. хочу пойти к нему на дом. Значит, это случится так через неделю. Для Лейбница, которым я занимаюсь у симпатичнейшего Dr. Hartmann'a, нужно, Шура, широкое знание теории аналитических функций комплексной переменной, а эта статья, в свою очередь, требует больших знаний интегрального исчисления. А я за эти месяцы забыл все прямо-таки виртуозно: начиная с первой строки. Придется по 40 верст в час глотнуть всего Поссе[2] и потом только найти эти знания недостаточными перед лицом этой небольшой, цепкой книжонки о Funktionentheorie*, которая своими формулами и отсутствием человеческой речи на страницах кажется каким-то не млекопитающимся существом вроде клещей, скорпионов и сколопендр. Прежде всего, однако, для семинария Гартмана нужно знание Лейбница. Я прямо и не знаю, что мне делать сейчас. Как не знаю? Конечно, прежде всего: Kants Begründung der Ethik** и затем сердцебиение на Universitätstrasse 62/1![3] Это нужно наполовину в целях твоего знакомства с ним, папа, и портретного вопроса, который очень кстати сейчас: в июле 70-й день рождения Когена, и мне пришлось истратить на складчину, которую

---

* Теории функций (*нем.*).

** Кантовы основы этики (*нем.*).

устроили студенты на подарок ему. О твоем намерении я говорил Dr. Hartmann'y, это его обрадовало и изумило. Этот Гартман, несмотря на свои 30 лет, написал уже не один 500-страничный труд о Платоне, Евклиде и т. д. Его владение греческим, его тонкий навык в преследовании их мыслей непередаваемы. Он — величина в Марбургской школе и уже 2 года доцентом. Несмотря на все это, он как-то неподдельно искренно и живо интересуется всем, что ему развиваешь; хотя меня несколько шокирует его просто-напросто игнорирование русского языка, который он знает; домик, в котором он живет — выстроен из батиста и стоит одиноко в стороне среди тяжелых каштанов, что еще больше увеличивает миниатюрность этого носового платка. Гавронский[4] — идеал точности и такой научности, которой прежде всего нет и у самого Когена. Его любезность преступает даже предписания самолюбия; однако мне она кажется той самой циничной игрой, которую себе всегда позволяют Илюша Гавр<онский>, Саша и их сестра Анюта. Они опускаются до ухаживания за другими только оттого, что им кажется бросающимся всем в глаза и ясным «*значение*» того, что *они* идут на компромисс, терпеливо выслушивают и т. д. Я боюсь этого ласкового взгляда и участия. Хотя, если это искренно, то Гавр<онский> действительно прелесть. Он мне одолжил несколько книг, так как в библиотеке здесь не достать как раз того, что всегда оставалось на полке в Московской библиотеке: трудов их корифеев.

Впервые: Памятники культуры. — Автограф. Датируется по почтовому штемпелю.

[1] Именем знаменитого немецкого математика К. Т. *Вейерштрасса* Пастернак называет брата, сдающего экзамены за первый курс математического факультета.

[2] Учебник К. А. *Поссе* «Курс интегрального исчисления». СПб., 1891.

[3] Адрес Когена.

[4] Дмитрий Осипович *Гавронский*, любимый ученик Г. Когена.

48. А. Л. и Р. И. ПАСТЕРНАКАМ

18/31 мая 1912, Марбург

Прежде всего я получил целое состояние 100 м. (деньги), за которое я бесконечно благодарю. Что касается того непечатного неприличия, которое, надо ему отдать справедливость, Андреев показал тебе в *рукописной* форме[1], то это, конечно, пустяки: моей

мечтой было бы, чтобы математика обратилась на меня одними хотя бы «уд»ами. Между тем я вижу только ленты ее чепца и китовый ус формул, которым зашнурована ее спина. И, приняв во внимание порхающий характер твоих подготовок, я только усиливаю свое поздравление. Я даже в семинаре о тебе рассказал одному двуногому желудю, рыжеволосому и в шотландских чулках, который, не изменяя выражения лица, раскрыл рот, словно подъемный мост опустил; и оттуда зашагали роты удивлений. Потом он подтянул это мешковатое свое учреждение, надел ранец и двинулся в путь, прямо из семинара в каникулярные странствия. Знаете ли вы анекдот о Мойше Пиш, который, перейдя в лютеранство, назвался Martin von *Wasserstrahl,* а затем Maurice de Lafontaine?* Мне рассказал это один англичанин. Дорогая мама, я и не знаю, как благодарить тебя за Марбург[2]. Собственно, сейчас только я стал по-настоящему работать, т. к. разобрался в том, что первостепенно и что нет. Многое я стал открывать в уже читанном только благодаря здешней честной методе изучения. Сам Коген этому живой пример. Он вдруг останавливается над строкой Канта, он, который сам создал его, он просит нас, чтобы мы подождали, и вдумывается и вертит так и сяк это предложение, пока вдруг, просиявши, не начинает объяснять тонко, внушительно и сдержанно, как Ключевский[3], немецкий перевод которого, со всеми чудачествами последнего, он составляет. Я уже сказал вам, что пойду к нему непременно, но через некоторое время; и теперь я могу с чистою душой сказать, что не боязнь останавливает меня, а та серьезность, которой не опишешь, серьезность гения, которою он нас заражает. Представьте себе человека, отбросившего всякую фразу, всякую претензию на оригинальничание (и все-таки неподражаемого в своем, усвоенном при изучении греческой мысли, афористическом стиле), человека, поклоняющегося математическому определению и методическому целомудрию и захватывающего, как мистерия, фантастического, как сказочная чаща. В нем теряешься; как при экстазе отмирают, увядают и уже надолго не существуют эти лишние навыки, непродуманные мысли, ставшие синтаксическими оборотами, пропадают даже термины. И остается как стройный, величавый покой в природе одно только основное, существенное, классическое в своей безусловной достоверности, той достоверности, которая в духовной культуре означает животворность, успешность, урожай. Видеть мудреца, т. е. ту сущность, ко-

---

* струя воды (*нем., фр.*).

торую мы только *подозреваем* в истории, — наглядно! Это последний семестр, что он читает. Какая случайность, мама!

Я пишу часто, т. к. боюсь, что иначе вы перестанете писать.

Впервые: Памятники культуры. — Автограф. Датируется по почтовому штемпелю.

[1] Профессору К. А. *Андрееву* А. Л. Пастернак сдавал курс высшей алгебры, за которую получил оценку удовлетворительно (уд.). Пастернак обыгрывает славянское значение этого слова.

[2] Поездка Пастернака в Марбург была осуществлена на деньги, скопленные матерью (см. «Охранную грамоту»).

[3] Лекции В. О. *Ключевского* Пастернак слушал в 1908 г. в Университете и в Училище живописи, ваяния и зодчества. В том же году Л. О. Пастернак сделал портрет Ключевского, где среди слушателей изобразил и своего сына (находится в Историческом музее).

49. РОДИТЕЛЯМ

23 мая/5 июня 1912, Марбург

Vous l'avez voulu, Georges Dandins!* 3 раза я отправлялся к Когену. То он был в Берлине, то он спал, то; но в этот, 3-й раз я таки попал к нему. Дело в том, что по пути к нему я вдруг очень просто представил себе, что если он преподает последний семестр и если моя научная, постоянная связь с философией сомнительна, т. е. если меня неотвратимо влечет к ней именно только его философия, т. е. ее чисто *творческая живая* ценность, которая во всех отношениях может преобразовать меня, к чему бы потом я ни приложил свои силы; что если все это так (а недоступность таких поездок за границу и его уход от преподавания только усиливают этот общий аргумент), то мне надо плюнуть на всяких Лейбницев и математику и философию как предмет вообще — и отдаться исключительно изучению *его системы*. А так как читает он только этику сейчас, а логики «потом» уже нельзя будет слушать по вышеозначенной причине, то, следовательно, оную я должен проходить дома, а у него испросить позволения посетить его раз-другой для переговоров. Этими доводами я сделал осмысленным и необходимым и в собственных глазах мой приход к нему и, с другой стороны, нашел оправдания для своего появления. Конечно, было бы грубо сказать ему: к моему ужасу, вы последний семестр и т. д.; я обходным путем пришел к моему вопросу: бросить ли все и ог-

* Ты этого хотел, Жорж Данден! (Ж.-Б. Мольер) (*фр.*).

раничиться... Но он был очень нелюбезен и нервически взвинчен. Может быть, я неудачно попал к нему. Он не дал мне договорить о моем отце, dem Professor der Mosk. Mal'akademie* и т. д.; он, мол, многим, всем отказывал и не может сделать теперь исключения[1] и т. д.

Я страшно рад, что он затронул если не мое собственное самолюбие, которого у меня решительно нет, то сознание высокого достоинства моих милых, которые обслуживают мои неудовлетворенные на стороне потребности в ласке. Вы знаете, какого я мнения о себе в музыке; я не страдаю идеализацией собственных сил. Но настолько философского дарования у меня бы хватило, чтобы liesten** то, что производят его любимцы.

Да я и не смущаюсь вовсе при расчете данных! Только при обсуждении живого интереса, при вопросе о назначении моей жизни, о том, что я в конце концов люблю, я прихожу в уныние от философии. Это вовсе не так неопределенно! Но, как я сказал, философия — дело *человека*, чем бы он ни стал.

Я очень хотел бы, чтобы Жоничка и Лида написали мне о торжествах[2]. Следующее письмо я напишу закрытое и подробное. Кажется, вы не особенно нуждаетесь в моем кликушестве.

Впервые: Памятники культуры. — Автограф. Датируется по почтовому штемпелю.

[1] Речь идет о желании Л. О. Пастернака написать портрет Когена. В письме № 51 дается развитие этого сюжета. Наброски с Когена Л. О. Пастернак сделал во время его лекции 23 июля 1912 г. Они были использованы в литографии «На улице».

[2] Имеются в виду торжества по случаю открытия памятника Александру III и Музея изящных искусств его имени в Москве 30–31 мая 1912 г.

50. А. Л. ШТИХУ

5/18 июня 1912, Марбург

O triste, triste était mon âme
A cause, á cause d'une femme.
Je ne me suis pas consolé
Bien que mon coeur s'en soit allé
Bien que mon coeur, bien que mon âme

---

* профессоре Московской Академии художеств (*нем.*).
** осилить (*нем.*).

Eussent fui loin de cette femme.
Je ne me suis pas consolé
Bien que mon coeur s'en soit allé...[1]

И она все та же, все та, которую знали вы, милые гимназисты, и потом Stürmer'ы и Dränger'ы[2], и потом больные, и потом мечтатели, а потом и сами такие же, как и я. Это не открытка — это непринужденность горюющего в публичном саду[3].

Я не могу сейчас отвечать тебе. Pereat mundis, fiat tristitia[4].

Она была здесь, в замке[5]. Знаешь ли ты, что она как царевна. И из замка заметили ее появление. Meine Dame, сказали ей там, Sie kamen in die Stadt, wir sahen sie*.

Это не открытка для любопытных, это — бродяга в городском саду.

Впервые: Памятники культуры. — Автограф (РГАЛИ, ф. 3123, оп. 1, ед. хр. 35). Датируется по почтовому штемпелю.

[1] Отрывок стих. П. Верлена из книги «Песни без слов». В переводе А. М. Гелескула: «Душе грустнее и грустней — / Моя душа грустит о ней. / И мне повсюду тяжело, / Куда бы сердце ни брело. / Оно ушло с моей душой / От этой женщины чужой, / Но мне повсюду тяжело, / Куда бы сердце ни брело».

[2] Речь идет об Иде Высоцкой, которая пробыла в Марбурге с 15 по 17 июня. Себя и своих молодых друзей-литераторов, знакомых с И. Высоцкой, Пастернак называет именем немецких романтиков литературного направления «Буря и натиск».

[3] Уподобление открытки публичному саду объясняет нелюбовь Пастернака к открытым письмам, выставляющим «непринужденность горюющего» на обозрение любого, желающего его прочесть.

[4] Пусть погибнет мир, да свершится грусть (*лат.*). Переиначенный девиз императора Священной Римской империи Фердинанда I: «Да свершится правосудие, и да погибнет мир».

[5] Со слов: «Она была здесь, в замке» текст написан на обратной стороне открытки вокруг изображения Марбургского замка.

51. Л. О. ПАСТЕРНАКУ

5/18 июня 1912, Марбург

Дорогой папа!

Меня попросил к себе тот г-н Рубинштейн[1], о котором рассказывал Конст<антин> Никол<аевич>, — это теперь более, кажется, любимый Когеном ученик, чем даже Гавронский. Когда я

* Госпожа, вы приехали в город. Мы вас видели (*нем.*).

пришел к нему, выяснилось, что и его мать — г-жа Рубинштейн — желала меня видеть по поводу твоего намерения сделать с Когена набросок. Мой визит у Когена оказался несчастным недоразумением. Поспешность, с которой он меня тогда принял, отняла у меня надежду на возможность вторичного приема. Это заставило меня при первом же знакомстве упомянуть о твоем желании. Он, как теперь рассказывает Рубинштейн, был изумлен и шокирован этим «навязываемым ему заказом», тем более что не знал твоего имени и нашей национальности. Рубинштейн оправдывает резкость этого старца тем, что в Германии не могут себе представить такого художественного предложения без корыстного умысла[2]. Теперь Коген узнал через них, что ты — знаменитость и что еврейство твое вполне безупречно; и затем, что всего важнее, они устранили недоразумение, о котором я говорю; я, конечно, с чистым сердцем подтвердил, что твоя идея очень естественна, что это задача с чисто культурной привлекательностью: увековечить и черты того, кто сам себя увековечил в своих творениях, что живой художник не может упустить этой возможности, в особенности если он еще через сына связан с этим именем и т. д.— и что, конечно, дико видеть в этом повод к наживе. Когда же они спросили меня, думаешь ли ты подарить ему оригинал, — то у меня было желание вылить им супник на голову, с какой стати, черт возьми, художник должен быть и еще святым, да еще в придачу и мучеником: он должен так же, как M-me Рубинштейн дарит ему свое восхищение или ее сын — свои философские успехи (которые способствуют его же собственному блеску) или Митя Гавронский — счастье близкой связи и возможность приват-доцентуры — как все они — он должен дарить всего себя в своем рисунке?! И еще экономически — подарить ему свой труд? Как это несправедливо узко, делать этот труд искупительною жертвой нашей экономики.

Чувствительность общества в этом пункте очень напоминает его тонкую поэтичность по вопросу о проституции, где те, кто не могут дотянуться до надуманного ими идеала, морщатся от того горя и тех несчастных, которые им нужны, потому что они же не могут дотянуться до идеала... Да, я хотел вылить супник; но вместо этого я просто сказал, что сомневаюсь в такой ничем не вызванной жертве с твоей стороны. Может быть, ты подаришь копию? Я и этого, конечно, не обещал. Итак, мне поручено сообщить тебе, что Коген не только жалеет об инциденте и не только дал полное его объяснение, но он чувствует все большее и большее желание быть написанным тобою; они даже говорят — это мечта его.

Я просил их, ввиду щекотливости положения, — ввиду того еще, что близкий юбилей (4-го июля) обостряет его, — и наконец просто по несчастному опыту — сказать мне все, что они думают или знают в связи с этим.

Тогда они, почти что прощаясь со мной, сообщают случайно и неполно, что ученики и поклонники Когена заказали «одному немецкому художнику-еврею» за плату рисунок с него (верно, с фотографии) — это секрет, и они не хотят говорить его фамилию[3]; но что это, мол, нас не касается, потому что-де и Коген ничего не знает; между тем как твое предприятие совершенно личное, платоническое, известное уже Когену и встреченное им в конце концов с благодарностью. И Когену и им я объяснил твое желание тем понятным чувством уважения к исторической величине, которая современна нам, прибавив, что мое увлечение им, может быть, достаточно для тебя, как отца. Если хочешь, взгляни в его Эстетику[4], которая у меня в шкафу на верхней полке сзади.

Поступай как знаешь, я нарочно рассказал тебе все дословно и беспристрастно. Меня же, признаться, не очень склоняет к тому, чтобы ты приехал из-за этого: что-то мне во всем этом несимпатично. Он прав: ни ты, ни я — мы не евреи; хотя мы не только добровольно и без всякой тени мученичества несем все, на что нас обязывает это счастье (меня, например, невозможность заработка на основании *только* того факультета, который дорог мне[5]), не только несем, но я буду нести и считаю избавление от этого низостью; но нисколько от этого мне не ближе еврейство. Да, делай как знаешь. В Берлине ты увидишь еще, верно, Высоцких.

Мама! Они были у меня 5 дней. Мне трудно было расстаться с ними, и вот я поехал в Берлин. Мы прибыли ночью; на следующее утро мне было еще труднее расстаться с ними, и я уехал в Марбург[6]. *Не знай* того, что я тебе сказал: мюнхенская их поездка и была, в сущности, поездкой ко мне. Родители будут недовольны, если (о Марбурге они уже знают) им станет известен и Берлинский эксцесс. Дорогая мама, если увидишь их, не шути с ними и приласкай их, как это ты сделала бы со мной. Они так одарены — Лена так умна, она была на Когене и так поняла и так развила его лекцию, когда я ей объяснил кое-что из математики. Лена так умна, и так восхитительна в ней женщина, которой несколько недель. Так чиста, так глубокомысленна!

А Ида, она так гениально глубока, глуха и непонятна для себя, и так афористично-непредвиденна; и так сумрачна и неразговорчива — и так... и так... печальна. Отчего она не владеет большим,

большим счастьем, как ты, например, мама, — а если бы ты знала, сколько у нее на это прав!..

Только не говори с ними обо мне; это грубо, мама, и не нужно. И если бы я не надеялся на то, что иногда, иногда ты умеешь побороть в себе инстинкт, я не просил бы тебя сейчас: серьезно и тепло подойти к ним, забывши, что есть у тебя связь через меня, — а то это деспотично.

Ты сделаешь это? Ну — и вот тебе этот поцелуй для передачи.

Боря

Я *вторично* в первый раз въехал в Марбург. И вторично вхожу в работу.

O mon Dieu — la vie est là
Simple et tranquille*[7].

Впервые: Памятники культуры. — Автограф. Датируется по содержанию. Письмо отправлено в Москву, но уже не застало там родителей, которые 19 июня с детьми выехали в Берлин и было повторено 22 июня / 4 июля.

[1] С. Л. *Рубинштейн* в 1912 г. защитил диссертацию в Марбурге по Гегелю. «Рубинштейн, — объяснял Пастернак отцу 22 июня /4 июля, — тот Рубинштейн из Одессы, о котором говорил всегда Пуриц (если же ты не знаешь, дорогой, то я не могу этому помочь, и пусть он будет *X* для тебя), так одесский Рубинштейн, любимейший из учеников Когена сейчас, который часто бывает у последнего и прямо близок с ним, позвал меня этак недели 2 тому назад к себе и объяснил мне причину и подлинную суть того казуса, того, хочу я сказать, непонятно возбужденного и почти негодующего приема, о котором я в свое время писал вам» (там же. С. 64). К. Н. *Пуриц* — одесский друг Л. О. Пастернака.

[2] «Он это принял за навязывание платной художественной услуги, в которой он не нуждается, и был изумлен дерзостью этого шага. <...> m-me Рубинштейн... извиняла его полною неспособностью Германии хотя бы вообразить себе такое бескорыстное желание со стороны художника. Предложить такую вещь означает здесь — предложить ее за вознаграждение. Когда же Коген узнал от Рубинштейнов, — передавали они, — о твоем значении в России, о том, что ты еврей, и, наконец, о том, что тебя привлекает эта задача по вполне естественной склонности обращать свое внимание и свой художественный интерес на то, что — значительно; когда он узнал, — что ты просто хочешь сделать рисунок с него, как живой, интересной, исторически и иначе величины, — он был растроган и каялся и т. д. и т. д.» (там же. С. 64–65).

[3] В день 70-летия Когена ему преподнесли гравюру Макса Либермана, «которую тот, кажется, сделал с фотографии; Radierung (гравюра. —

* О Боже — вот жизнь, проста и спокойна (*фр.*).

нем.) заказана докторами — бывшими когеновскими учениками по секрету от него и, конечно, за деньги, хотя Liebermann и "почитатель Когена"» (там же. С. 64).

[4] H. Cohen. Kants Begründung der Ästhetic. Berlin, 1889. «Что же касается дальнейшего, — писал Пастернак отцу, — то все же тебе просто было бы отрадно познакомиться с ним. Если ты и вынужден бы был пройти мимо его оригинальных и бессмертных заслуг в области точной мысли, — то, я думаю, от тебя не укрылся бы этот человек как таковой, как самобытнейшая и властнейшая фигура этого столетия; и вместе с тем, я думаю, ты оставил бы его — навсегда сохранив ту неясную нежность, которая возникает во всех...» (там же. С. 65).

[5] После окончания философского факультета лица иудейского вероисповедания не могли быть оставлены при кафедре. Следовательно, не могли рассчитывать на научную карьеру.

[6] Проводы сестер Иды и Елены Высоцких перешли в совместную поездку с ними в Берлин (см. «Охранную грамоту»).

[7] Неточная цитата из стих. П. Верлена «Le ciel est, par-dessus le toit...».

52. А. Л. ПАСТЕРНАКУ

8/21 июня 1912, Марбург

*...Передай папе, что Коген мечтает прямо о рисунке, по словам г-жи Рубинштейн; и что теперь его глубоко огорчило бы, если бы недоразумение и т. д. Я хотел бы сегодня же иметь подробные сведения о папином решении и вообще о ваших видах на Марбург. Когда уехали Ида и Лена, то после двух-трех дней полной покинутости меня стали замечать здесь; я уже говорил в двух семинариях, в одном сошел за знатока Лейбница и мне навязали реферат[1]. Сегодня я давал продолжительные объяснения не без некоторого пафоса о Когеновской логике[2]. Математик Рашке был против меня, но я переубедил его, Швандт стоял на моей стороне, Шенфельд не понял пустяков, Наторп слушал, записывал и был, как всегда, задушевен, как Христос. На этой неделе я, значит, открыл шлюзы, и небезуспешно. Но сердце мое молчало при этом и только старалось ударить в верный падеж.

Я думаю взять реферат у Когена. С этой стороны папино согласие усложнило бы и затемнило первое ознакомление полубога с одним из семинарских пигмеев. Вообще же надо тебе знать, что среда, суббота и воскресение — любезнейшие дни для меня, и если бы ты осчастливил меня своим приездом, то было бы хорошо, если

---

* Без начала, текст сохранился с 5-й страницы.

бы ты выбрал один из этих дней, конечно, если это тебе безразлично. Сюда 9—10 ч. езды из Берлина и стоит 15 m. 50 p. Эту поездку стоит сделать, ибо я живу наполовину в лесу и в поле, которое уже скошено, окружен горами и совсем непривычными для тебя чащами: я так и не написал вам, как однажды я встретил оленя, живого дикого оленя в лесу. У меня настолько просторная комната, что ты прекрасно бы мог ночевать: у меня есть чудный диван. Я бы съездил с тобою в Франкфурт, который как Клин от Москвы удален отсюда. Мы пошли бы в дом, где родился Гёте. Или же мы съездили бы в Кельн, Шура, в средневековый стройный Кельн с его соборными сумерками. Это было бы недорого, так как эти поездки мы произвели бы, как здесь все делают, в 4-м классе. А ты погрузился бы в самую гущу Германии. Не забудь, что ты увидел бы при этом Рейн! Но, что прежде всего, ты на несколько дней приехал бы в деревню, в настоящую деревню с белками и зайцами и завтраками в васильках. И так как я после первых радостей стал бы работать, то мы не стеснили бы друг друга и ты даром прожил бы на даче.

Ты проехал бы через черный Гарц, где еловые леса, угольные шахты и Рюбецаль[3]. И так как в Германии без всяких затруднений разрешается вылезть на промежуточной станции и с тем же билетом ехать потом дальше, а поездов много, то ты мог бы вылезть в Гарце, там, где бы тебе как раз понравилось из окошка (в Госларе, например, или Kreiensen), и, побродивши часа 3—4, ехать дальше: есть 8-часовой утренний поезд из Берлина сюда. С ним ты мог бы учинить такую штуку.

Опускайте письма рано утром *до 10 ч.* Тогда я их могу получить к вечеру. И пишите.

Впервые: Памятники культуры. — Автограф. Датируется по содержанию.

[1] В семинаре Н. Гартмана.

[2] В семинаре П. Наторпа.

[3] Персонаж сказок братьев Гримм, лесное чудовище.

53. А. Л. ШТИХУ

14/27 июня 1912, Марбург

Дорогая душа! Клянусь тебе, что закроюсь наконец и перестану посылать эти летние открытки без пиджаков! Но не могу собраться. Пока же, как флюгер, обращаюсь к тебе: ветрено, мой

друг, и я стал ветреным, а так как ты самая *снисходительная* страна света по отношению ко мне, то вот я и жеманюсь на А-Ш[1]. Кажется, я пригнал к тебе своевременно несколько печальных ягнят. Я думаю, эти козлы достаточно ясно сказали тебе о трагизме моего положения тогда. Я метался и вел себя безобразно; слово «плаксиво» просится сюда. А потом, я заговорил в семинариях. А еще потом посыпались рефераты. О Лейбнице я прочел[2]. Сложно: профессор не дал мне развить тех мест, где я если не оригинален, то, во всяком случае, стараюсь восстановить тонкое и единственно правильное понимание Лейбница, которое дал в свое время Гербарт. Я же не поддавался, не обошлось без колкостей, но в общем в конце концов я смазал все это минутной бульварною вафлей, и ее-то он нашел пикантной. Во всяком случае, это было подвигом для меня — при моей застенчивости даже в Москве. Удачнее, однако, у меня бывают свободные возражения, где я, несколько увлекаясь, дохожу до непозволительной самоуверенности. Сейчас — взял у Когена реферат! О, о, о! Осталось 4 дня. Я не приступал. Отказаться нельзя. Хочу приступить сегодня. Вдруг письмо. Из Франкфурта (2 часа отсюда). Оля![3] Еду во Франкфурт, снисходительная страна света. Отказаться нельзя. И это единственный раз в жизни — с Когеном. Поклон Нюте. Лене кланяйся. Поклонись и Мише. Перед Валей ляг, так и быть. Володя?[4] Ну провались перед ним сквозь землю.

Впервые: Памятники культуры. — Автограф (РГАЛИ, ф. 3123, оп. 1, ед. хр. 35). Датируется по почтовому штемпелю.

[1] Начальные буквы имени и фамилии Штиха.

[2] В семинаре Н. Гартмана. «Я был бы наверху блаженства, если бы не связался с Лейбницем и Гартманом, — писал Пастернак 9/22 июня родителям. — Мне совсем теперь не этим хочется заниматься — Лейбница можно и в Москве и впоследствии проходить. <...> Но Hartmann очень обидчивый и подозрительный человек, ему опасно отказывать. К тому же это несчастное письмо Гордона к нему обязывает меня к тому, чтобы симулировать неспособность быть недобросовестным» (там же. С. 64). Приятель по университету Г. О. *Гордон* учился в Марбурге и дал Пастернаку, собиравшемуся писать дипломную работу по Лейбницу, рекомендательное письмо к Н. Гартману.

[3] О. М. Фрейденберг, направляясь в туберкулезный санаторий в Швейцарии, остановилась во Франкфурте и оттуда написала Пастернаку. См. письмо № 54.

[4] *Лена*, *Валя* и *Володя* Виноградовы жили вместе со Штихами на даче в Спасском.

54. О. М. ФРЕЙДЕНБЕРГ

14/27 июня 1912, Марбург

Господи! Вчера ночью в кафе говорил о той осени одному человеку: сегодня не могу войти в нужную колею; — и вдруг Франкфурт!!![1] Отчего же мы не удивляемся, не удивляемся этой последовательности? Ты спрашиваешь день, час? А вот я, — не спрошу! Итак, существуй под дамокловым мечом. Я тебя не застану в гостинице? Ну, так я пойду в Гётевский домик. Там тоже нет? Ну, так я услышу, как трава растет. Словом — я отмстил тебе.

Понимаешь ли ты, что значит: из-за тридевяти земель, из-за тысячи дней наконец добраться до Когена и вдруг оказаться значеньем того слова, которое, между прочим, не воробей, ибо, когда оно вылетит, то, естественно, его не поймаешь. Это может, казалось бы, понять ребенок. И вот это слово: Pasternack вылетело у Senior'a* Семинария на вопрос боготворимого мага: кто ему будет реферировать в этот вторник. Отказаться нельзя. Но можно ли удержать, не растрясти поднос с таким множеством строк, как те книги, в которые нужно взглянуть для реферата, — при этой килевой качке: Марбург — Франкфурт. Милая, я бегу наконец от морской болезни. И если я перед лицом философии оказываюсь глупым как пробка, — то навигационный характер всей картины делает это качество, во всяком случае, завидным. Лейбница я уже отвел на место. Мазурка с этикой уже обещана[2]. Но — vogue la galère**.

Оставить тебе место для двойки с минусом?

В конце концов ты не знаешь, что тебе делать? — Ничего. Ты ничего не успеешь. Это — моментальная фотография за пятачок. И как всегда, ты себя не узнаешь. Но может быть, тебя оттолкнет мой тон? О нет, я не фамильярен. Я просто раб. И даже без твоего аншлага: «...остановилась не для тебя одного»[3] — даже и без него, говорю я, я тщательно вытер бы ноги, без шуму ступал по коврику и перед тем, как постучать, оправился бы, готовый встретить оживленное общество у тебя.

Я вообще не понимаю твоих предостерегающих замечаний. Разве я так самоуверенно лезу на интимность? — Хотя, быть может, иногда неудачный тон моих писем давал тебе основания так меня понять.

---

* старосты (*нем.*).

** была не была (*фр.*).

Мне даже нравится та нотка старшинства, которая против твоей воли вкрадывается в твои письма ко мне. Это как раз та нотка, с которой ты заказывала Шуре цветы. Что ж, я к твоим услугам.

В пятницу к завтраку низко тебя привечу. То есть завтра.

Впервые: Переписка с О. Фрейденберг. — Автограф. Датируется по почтовому штемпелю.

[1] Письмо О. М. Фрейденберг 26 июня 1912 о приезде во Франкфурт пришло на следующий день после воспоминаний Пастернака об августе 1910 г. и ожидании приезда Ольги в Москву.

[2] Имеются в виду недавний реферат у Гартмана по Лейбницу и предстоящий, по этике — у Когена.

[3] Цитата из письма О. Фрейденберг («Пожизненная привязанность». С. 65).

55. О. М. ФРЕЙДЕНБЕРГ

17/30 июня 1912, Марбург

Как бы это сказать?.. Мне досадно. Конечно, я вернусь и к твоему письму, и к сознанию тоже вернусь. *В понедельник вечером*[1]. А пока. Мне досадно, Оля, что ты так неосторожно запоздала со своим письмом; оно должно было прийти в августе 1910 года[2]. Как раз тогда, когда, вернувшись больным из Петербурга, я был извлечен в одно прекрасное утро на Божий свет одним сердобольным другом[3], и на его увещания, что так нельзя, — что так и погибнуть можно и что при таких условиях нужно, бросив все, вернуться в Петербург... На все эти увещания — сослался на преждевременность этой поездки. При этом я с трудом только втолковал ему, что мне нужно в корне измениться: приходили тети Асины реактивы — где фиолетовым на белом была начертана моя — недоброкачественность; твоего же письма из Франкфурта не было тогда. И вот я решил перевоспитать свое сознание (я, Оля, сейчас не синтетизирую, а точно обозначаю все) — для того, чтобы быть ближе «Петербургу». — Правда, цель эта держалась недолго, но первые дисциплинарные приемы мои определили для меня целое направленье работы над собой. Являлись иные цели: люди, которые тоже были, как и «Петербург», классичнее, законченнее, определеннее меня... — И вот я попросту отрицал всю эту чащу в себе, которая бродила и требовала выражения, — в угоду тех, кто... опаздывали, ибо, как это ни курьезно, до тебя, этим же летом я услышал тоже запоздавший «отзыв», которого не подозревал.

Я не знаю, поверишь ли ты мне, что меня согрело от того приветливого взгляда, который ты бросила в ту невозвратную даль.

Я и сам люблю его, бедного. И потому я не могу не быть тронутым тобой. И мне надо все это. Я тебе объясню в закрытом письме.

Не сердись на меня, Оля, но все это, правда, досадно. Если бы мне время повернуть.

Впервые: Переписка с О. Фрейденберг. — Автограф. Датируется по почтовому штемпелю.

[1] То есть после реферата на семинаре Когена.

[2] О значении запоздавшего письма О. Фрейденберг Пастернак писал в неотправленном письме к ней зимой 1913 г.: «Однажды утром, в обстановке немецкого университета, куда меня привел разрыв с иным, совершенно несходным прошлым, которое тогда казалось мне заблуждением, я узнал, что оно было живою истиною. Если до этого заявления я страдал просто непривлекательностью чуждых мне занятий, навыков и интересов, к которым я приневолил себя силою, как к некоторой обязательной норме, чтобы не быть таким смешным, лиловым, и таким одиноким, чтобы приблизиться к тем немногим дорогим мне людям, которые заставляли меня произносить длинные речи без конца и без ответа, и, очевидно, ждали другого языка, при котором они могли бы стать собеседниками; — то теперь к этому мученью присоединилось сознание, что все это было ни к чему, и что их былое молчание скрывало в себе согласие и было знаком единомыслия. Да, это случилось раз в Марбурге. Я бродил с письмом, которое запоздало на два года с лишком и все перепутало в моей жизни. Было так ясно: предстоял новый разрыв, и я не остановился перед ним. Хотелось многое восстановить» (там же. С. 54—55).

[3] Вероятно, А. Штих.

56. РОДИТЕЛЯМ

23 июня/5 июля 1912, Марбург

Ну, дорогие мои, и была же пьяная неделя у нас! Началось с моего реферата: сегодня первая ночь, что лягу прилично. Вчера был банкет в честь Когена. Было торжественно, тепло, вдохновенно, вкусно, светло, многолюдно, обширно. Чокался с ним. Его ученик, Кассирер, произвел своей речью на меня столь сильное впечатление, что для меня стало несомненным, куда мне набежать будущим летом, когда Когена в Марбурге не будет. Конечно, в Берлин к Кассиреру, — в особенности потому еще, что Коген переселяется туда[1]. Закончили чествование маминой скрипичной сонатой Баха и Моцартовской фантазией. С Шурой мы сжились[2], и очень хорошо; хотя ему, конечно, скучно.

Целую вас.

Боря

Гавронская передала поклон от вас. Спасибо.

Впервые: Памятники культуры. — Автограф. Датируется по штемпелю на открытке.

[1] О своем впечатлении от знакомства с Эрнстом Кассирером Пастернак писал в письме к его вдове Э. Гереншгейн 19 авг. 1959.

[2] «Приехал Шура, — писал Пастернак родителям 22 июня / 4 июля. — Я очень рад ему, он ведет себя с благородством, с которым ничто не может сравниться по отношению ко мне: стянулся почти в комок, почти не занимает места. Я звал его к себе, я думал, он приедет дня на 3. Он же приехал на $2^1/_2$ недели. Ну так что же. Ну так что же. Вам трудно — я слышал от Оли, как Вы потратились, — Шура явился с ног до головы олицетворением ваших трат» (там же. С. 65).

57. А. Л. ШТИХУ

26 июня/8 июля 1912, Марбург

Милый Шура! Из твоего письма я унес на себе какие-то паутинки, кусочки хвои, сырость леса, отголосок какой-то речи простуженного: так оно естественно.

Кстати — тебе удаются иногда поразительно краткие, выразительные определения — при помощи тех слов, которые редки в обиходе — но не редкостны — и которые поэтому не только всегда уместны, но и хотят *исправить* обиход. Ты прости, что я говорю о технике, но это моя слабость. Так твое письмо — ботанический сад, от которого отделилась жизнь — со всем парным налетом природы. Я совсем не вовремя припомнил сложное очарование северного лета, читая твои строки: сегодня я читал второй раз Когену; сейчас я утомлен: все-таки это волнение: в семинаре такой ученый народ; испанские профессора и доктора (Мадрид) — англичане и англичанки — немецкие доценты[1] и, наконец, просто мои немецкие Commilitonen*. — Эта публика, мертвенное ожидание Cohen'a, его шаги, шумная встреча, потом опять эта мертвая тишина и мои первые слова — все это несколько волнует. Но я люблю это, люблю готовиться, люблю уже по пути — в чтении — преодолевать волнение и превращать его в орудие логической интенсивности и в голосовое средство. Оба реферата удались мне. Второй раз, кроме того, я читал Канта, разбирая с Когеном прочтенные места[2]. Он остался доволен мною; сегодня же он даже пригласил меня к себе на дом. Это пустяки. Но я рад его приему. Это живая маска всего того мира, который уже второй год колы-

* товарищи (*нем.*).

шется над моей уединенной работой, эти драгоценные черты — дают мне столькое пережить! Думаешь о Платоновском Эросе[3]. И когда он так искренне радуется моему пониманию и замечаниям, ты понимаешь, тогда все это поклонение мое реализуется, оно становится жизнью. Но это не важно — это мое личное дело. Этот человек стареет. Достаньте ему что-нибудь от Мечникова[4]. Как это чудовищно, что он состарится (ему 70 лет)! Он сейчас седой-седой — Бальзак. Громадный, глухой и улыбающийся. Но он еще гениален. А его логика, его идея реальности, интеграла, самосознания государства — ! Господи! Как он был строен и прекрасен, — вспомнят и скажут о нем любившие его женщины — любившие его столетия, назначившие свидание всем своим лелеянным надеждам у него: так будет постоянно причитать бессмертие его об этом могучем юноше 1988 года. Смешно и безвкусно все в сравнении с этим. Молодой Коген!! Я не стану его учеником: я опоздал — это последний семестр его преподавания. Но я понимаю хорошо его учение. Если я буду философствовать — то только исходя от его неслыханных сооружений. Я не могу уже быть его учеником; если бы я приехал раньше, вся эта философская любовь имела бы более действительный результат; я знаю, я выдвинулся бы среди его любимцев — я это знаю. Я имею, чем ответить на его своеобразие. Вообще же в Марбурге не во всей чистоте (за немногими исключениями) понимают Марбургскую философию. Это досадно, — что поздно. Я не буду его учеником. Но я пойду к нему на ужин. А если бы я издал когда-нибудь стихи — я посвятил бы их философу инфинителимальной методы: и ради этого, за неимением собственных, я пошел бы даже на кражу во всей противоречивости этого словообразования. Десять лет назад у него учились Гавронский, Hartmann etc. etc. Я мог бы стоять среди них. Теперь я пойду ужинать к нему. Ничего, ничего. Это досадно.

Как же увеличивается досада, когда... Марбург... Коген... 1912... Я с рефератом в Марбурге для Когена... — когда, говорю я, это сочетание входит в непредвиденную — запоздавшую связь с... августом 1910... в Спасском... после Петербурга... с проектом коренного «самоперевоспитания» для сближения с классическим миром Оли и ее отца etc. Отдаление от романтизма и творческой и вновь творческой фантастики — объективация и строгая дисциплина — начались для меня с того комичного решения. Это была ошибка! Ты ждешь разъяснений. Связь между этими двумя моментами создает письмо из Франкфурта, пущенное мне в спину. Оно от Оли, той Оли Фрейденберг, и приходит в Марбург в день пер-

вого реферата. Когда я пришел в семинарий, мое сознание было из края в край удобрено этим бесконечным «увы», которое вызвано было этим письмом: «Я сплющился; она молчала тогда (1910), потому что происходило чудо — я говорил — говорил за себя, за нее, за ее отца, за ее жизнь и ее город; и именно так, как я тогда говорил (это было время товарных вагонов и двойников[5]) — надо было говорить — тогда я был выше ее и ей трудно было дотянуться, теперь же — я отстал — она больше, она дальше меня — я сплющился, я потерялся...»[6]. Что ты скажешь на эту oratio obliqua?* Боже, если бы она мне все это сказала тогда; если бы я не считал, что предстоит дисциплинарная обработка, в которой погибло все — в целях уподобления — классическому и рациональному; Боже, если бы я тогда держал это Франкфуртское письмо в Марбург! Ну что же тогда? О, я послал бы ей все, что я писал; то есть: я послал бы ей знаки; она бы приняла их, чудо бы продолжалось, — это было бы знаком мне, чтобы допустить то mimicri**, которое создается завтрашней жизнью по отношению к сегодняшней строфе: жизнь училась бы у знаков; нашли ли бы вы меня в Марбурге на уроке? Где вы нашли бы меня через эти два года? Разве не имею я права быть искренним? Разве я не оторвал от себя весь этот мир чувств и их препаратов *насильно*! Разве это не *наслаждение*, когда у пьяного Гафиза[7] есть строфа, с которой он просыпается в кофейне, упершись головою в полдень, с толпой, ступающей, как расплывчатый верблюд, — разве это не наслаждение — *сказывать*, фантазировать, фантазировать, сказывать, окликать, быть окликнутым и — в промежутках слушать, слушать, слушать: ставить палатку в пустыне. О чушь, чушь! Но это не шуточки!! Разве я не насильно сошел с пути!! — Так*** <...>

Впервые: Памятники культуры. — Автограф (РГАЛИ, ф. 3123, оп. 1, ед. хр. 35). Датируется по содержанию, по дню чтения второго реферата у Когена.

[1] Ср. из письма родителям 22 июня/4 июля: «О докторах и испанцах (не в ироническом, а Пиренейском смысле слова) я писал, чтобы дать вам понятие о том аккумуляторе, которым могло зарядиться мое волнение» (там же. С. 65).

[2] Узнав о необходимости этого выступления, Пастернак писал в том же письме: «...Мне, кажется, придется реферировать в следующий раз <...>

---

* косвенная речь (*лат.*)

** мимикрия (*англ.*).

*** Конец письма утрачен.

А на очереди стоит страшно интересное нечто: о государстве в праве, в котором надо найти истинную субъективность в противоположность ненаучной субъективности "профанов" — т. е. "субъективности" в духе Ницше и современности, которые понимают это в буквальном смысле как "Я" и т. д. У Когена же человек — это есть предмет *права* и т. д. И эту фундировку "самосознания" надо сравнить с интегралом в математике. И ко всему читать Канта и угадывать Когена, когда он прерывает чтение и задает вопрос. Если ему дают ответ в целой длинной фразе, он просто не слушает и переводит взгляд на кого-нибудь другого: он признает ответы и вообще выражения maximum в 3–4 слова. Это — maximum» (там же).

[3] Понятие эроса у Платона (диалоги «Пир», «Федр») означает влечение к совершенной красоте и тоску по идеалу.

[4] И. И. *Мечников* занимался методами предотвращения старения; с ним сотрудничал дядя А. Штиха А. С. Залманов — невропатолог, разрабатывавший лечение климатом и бальнеологическими процедурами.

[5] Имеются в виду неизвестные стихи 1910 года.

[6] Пересказ письма О. Фрейденберг от 28 июня 1912 («Пожизненная привязанность». С. 67–69).

[7] Пастернак мог знать *Гафиза* по переводам немецкого поэта-романтика Фридриха Рюккерта. Возможно также метафоризм этого пассажа отразил образную структуру «Западно-восточного дивана» Гёте, в первом стих. которого «Гиджра» упоминаются стихи Гафиза: «Где тропа тесней, отвесней, / Разгони тревогу песней, / Грянь с верблюда что есть мочи / Стих Гафиза в пропасть ночи...» (пер. В. Левика). Для Гёте «Гиджра» («Бегство») — новое начало, новый круг интересов, новая поэзия. Один из циклов «Западно-восточного дивана» называется «Книгой Гафиза». Экстатические образы Гафиза в письме отражают прорвавшееся тяготение Пастернака к лирическому самовыражению.

58. РОДИТЕЛЯМ

27 июня/9 июля 1912, Марбург

Дорогие! Шура не показал мне своего письма. Я боюсь идеализации с его стороны. Эти выступления, вернее мое самочувствие при них носит смешанный характер; радость отравляется досадой: существенного, своего мне не удается сказать; я даже боюсь, что он меня принимает просто за стилистически ловкого человека. Между тем есть пункты, в которых я понимаю его систему если не оригинально, то до самого основания. Когда я читал Канта, мне хотелось расширить критику и толкования. Удалось только местами, он не дает много распространяться. Мне не суждено стать действительным его учеником, т. е. ученым, вышедшим из Марбургской школы. Мне не суждено насладиться тем его уходом, который узнали, между прочим, Гавронский и Рубинштейн. Но я

не жалею об этом; странно заговаривать об этом в открытке... но ведь я не совсем выздоровел от той желтухи, которая так густо окрашивала мое детство и ее кругозор. Я все-таки знаю еще нападения лиризма и творческих несуразностей. Коген был для меня живым увлечением. В полуторагодовой работе изменился мой характер. Я все-таки пожертвовал кое-чем. Теперь я *живо* вознагражден. Второй раз он сказал мне: Aber sie machen doch das alles sehr gut, sehr schön*. Он сказал, что хотел бы меня очень видеть у себя. Он, наверное, скоро пригласит меня к себе на дом.

Что касается денег, то я страшно удручен своими расходами. Но вы сами поймете — сколько трат вызвал этот Когеновский юбилей; хотя, признаюсь, это не извинение. Так или иначе на Когена (банкет, фрак, пластрон, цветы, еще цветы и цветы Наторпу, кафе, где обсуждались действия, и т. д. — я уже не помню) — стоило мне марок 25—30!! Хозяйке уплатил сегодня 31 марку (стирка еще и хлеб и кофе). Вот вам 60 марок уже. Затем обеды за месяц — марок 15—18, да еще у меня из ста рублей в прошлый месяц марок пять ушло. Таким образом, со ста у меня осталось сейчас 15 марок. Шура изменил мой скромный обиход своим патрицианским аллюром; т. е. я-то держусь при своей системе.

Простите за Fliegenkakeen**.

Впервые: Памятники культуры. — Автограф. Датируется по штемпелю на открытке.

59. А. Л. ШТИХУ

29 июня/11 июля 1912, Марбург

Опять открытка. Закрытое невозможно. Я все скажу тебе, — письменность уже не жизнь для меня. Тебе нетрудно читать? Это не мелко? Из стихов, которые ты прислал мне, — наилучшее, замечательное по музыке: *Звезды моей* и т. д. Удивительно и то (по содержанию), где кровью отмечается счастья путь[1]. Но я говорю это наспех тебе. Потому что — мы о всем переговорим.

Коген был очень доволен мной. Я читал второй раз реферат. И Канта с разбором. Коген был прямо удивлен и просил меня к себе на дом. Я был страшно рад. Можешь себе представить, как я волновался перед всеми этими докторами со всех концов мира,

---

* Вы все делаете очень хорошо, даже прекрасно (*нем.*).

** мушиные какашки (*нем.*).

заполнившими семинар; и перед дамами. Я знаю, что выдвинулся бы в философии, — все то, что я иногда намечал в гостиной или в метель, hat sein gutes Reht*. Но в этом году, в Москве я сломлю себя в последний раз. Я имею многое рассказать тебе. Если бы я умел сейчас чувствовать, я бы сказал тебе, что целый ряд обстоятельств сложился чудовищно для меня. Боже, чего только я не делал в эти два года! Я имею много рассказать тебе. Я написал в день реферата — почти бессознательно — за 3 часа до очной ставки перед корифеем чистого рационализма, — перед гением иных вдохновений — 5 стихотворений. Одно за другим запоем. А тут раскрывались «обстоятельства». Была обнаружена со стороны моя подложность, неподлинность[2]. Я и сам хочу участвовать в сыске, который приведет к прошлому, разоблачит насилие и, может быть, изуверство этой работы над собой.

Я докопался в идеализме до основания. У меня начаты работы о законах мышления как о категории динамического предмета[3]. Это одна из тех *притягательных* логических тем, которые иногда могут сойти за безобидный наркотик. Но безобидности я не хочу. Боже, как успешна эта поездка в Марбург. Но я бросаю все; — искусство, и больше ничего. Господи, как мне просто ненавистны все эти связанные одной работой со мною люди!

Впервые: Памятники культуры. — Автограф (РГАЛИ, ф. 3123, оп. 1, ед. хр. 35). Датируется по штемпелю на открытке.

[1] Несохранившиеся стихи А. Штиха.

[2] Объяснения с О. Фрейденберг.

[3] Возможно, речь идет о проблеме «модальности понятий», которую, по воспоминаниям Н. Н. Вильям-Вильмонта, Пастернак затронул в разговоре с Э. Кассирером во время их встречи 4 июля (Генрих Нейгауз. Воспоминания. Письма. Материалы. М., 1992. С. 42–43).

60. О. М. ФРЕЙДЕНБЕРГ

29 июня/11 июля 1912, Марбург

Дорогая Оля! Если бы слова были необитаемыми островами, если бы их не осыпал скрытый в туманах архипелаг предположений, я бы просто сказал тебе, что таким письмом кончить нельзя, то есть просто словесно нельзя[1]. Вообще я писал бы то, что хочется. А то я должен объяснить тебе, что с философией у меня все обстоит отлич-

* оправдывается (*нем.*).

но. Коген был приятно удивлен моей работой; я даже вторично реферировал ему с еще большим успехом. — Так что мое молчанье — совсем не меланхолия после неудачи. Затем я должен был бы оговориться, что ничуть не предполагаю с твоей стороны какой-нибудь потребности в письме от меня — и это объяснение лишено всякой опоры в виде самоуверенности. И еще много было бы оговорок. — Но если бы слова падали с неба — как неорганические части, — и не разрастались в догадках, etc., я бы сказал тебе, что так кончить нельзя; потому что то твое письмо (страшно справедливое и чрезвычайно важное, почти спасительное для меня) — было каким-то предварительным. Ты там говорила о своем стремительном развитии. Я просто дивлюсь той проницательности, с какой ты уловила что-то чужое, общее и упадочное, что изменило меня. Ты и понятия не имеешь, как я сбился *со своего* пути[2]. Но ты ошибаешься: это случалось сознательно и умышленно: я думал, что у «моего» нет права на существование. Ты писала: я выразил тогда и твой мир. Неужели же ты откажешь мне в том, чтобы теперь дать известие о том, что сталось за два года с тем миром, который ведь был и моим. Я был в отъезде и от себя самого в философии, математике, праве. Может быть можно вернуться. Но я не говорю, что ты в долгу предо мной. Написать о том мире — это значит написать о себе. Но не так: я развилась, я выросла, я — в разбеге... О, какие полые глаголы с дуплом!! Ты, кажется, шутишь словами. У меня ж — серьезные трудные времена.

Впервые: Памятники культуры. — Автограф. Датируется по штемпелю на открытке.

[1] О. Фрейденберг писала Пастернаку в июле после их встречи во Франкфурте: «Все это очень скучно. Менее всего меня интересуют итоги. Вспоминаю, как ты говорил, что я бываю тебе нужна именно во время самоподсчета: в самое скучное для меня время! Очевидно, наши отношения поехали по рельсам нелепости» («Пожизненная привязанность». С. 72).

[2] «Ну, да — ты был в отъезде и теперь хочешь посмотреть, что сталось за два года с твоим покинутым краем. Боже, как ты неопытен; в таких случаях берут билет “aller et retour” (туда и обратно. — *фр.*) и в любую минуту возвращаются по удешевленному тарифу» (там же).

61. Ж. Л. ПАСТЕРНАК

2/15 июля 1912, Марбург

Дорогая моя Жонюрка!

Забудь то, что я сказал тебе об Иде[1]. Я не знаю, зачем я это сделал. В Иде ты находишь родного тебе человека, какого и я в

ней всегда находил и нахожу, — и как я посмел мешать тебе в этом? Дорогая девочка, поцелуй Лиду и передай папе, что Коген говорил со мной, советовал остаться в Германии и посвятить себя философии, то есть это значит преподавать потом при немецком университете[2]. Прежде меня несказа́нно порадовал бы такой совет; теперь же, как ты верно заметила, — я запутался во многом — и, главное, я не с вами. — Поэтому я предприму что угодно, но не стану философом в Германии. Я краснею от стыда, когда думаю, что сказали бы умные люди, прочитав такие строки, которые пишутся взрослым человеком ребенку о том, что этот взрослый человек бросает свои долгие, успешные и даже любимые занятия, в которые он верит, только оттого, что эти *нужные* далеко за пределами отдельных жизней и событий — труды отдаляют его от тех, кого он любит... Он, этот взрослый человек, не думает найти опять эту, утерянную в работе связь с дорогими людьми только тем, что прекратит эту работу: он вообще не надеется найти эту связь. Но работа не нужна ему; и все ему безразлично, — и он ждет писем от сестры, этот взрослый человек, и целует ее — и он ждет писем от Иды, этот взрослый человек, и тоже целует ее; и вместо семинария он пойдет в лес, и мало ли что он там будет делать...

Но он не станет преподавать в Германии, потому что товарищи вокруг — как паутина, от которой еще холоднее, еще более пусто...

И главное, потому что он ждет писем. От Жони и от Иды. И первая расскажет все второй, не показывая письма.

Впервые: Памятники культуры. — Автограф. Датируется по содержанию.

[1] Письмо написано в Киссинген, куда Пастернак ездил на день рождения Иды Высоцкой и виделся там с родителями и сестрами.

[2] О разговоре с Когеном см. также письмо № 62.

62. А. Л. ШТИХУ

4/17 июля 1912, Марбург

Милый Шура.

Господи — мне нехорошо. Я ставлю крест над философией. Единственная причина, но какая причина! Я растерял все, с чем срастилось сердце. От меня, явно или тайно, отвернулись все любимые мною люди. Этот разрыв ничему не поможет. Меня не любят. Меня не ждут. У меня нет будущего. Я могу сказать цельнее и ближе к действительности: весь мир, из которого я вышел, все,

что есть женственного, исключено для меня. Трогательнее всего было с Жонечкой. Боже, как выросла эта 12-летняя девочка! Я ехал 11 часов в Киссинген. Поехал на один день: 1-го русского июля — рождение Иды. Там Высоцкие, наши, Вишневский, Собинов etc. Но к чему это? Помнишь атмосферу вокруг Наташи Ростовой? Это я нашел вокруг Жони — Иды. Они серьезно обе дружны; серьезной и грустной связью. Мне так все безразлично сейчас, что хочется часто умереть. И как хочется! Когда я вернулся из Киссингена — голова у меня шла кругом. Ты думаешь, я не плакал этим летом? Как часто мне приходилось выходить из семинария! Горести связаны и с оскорблениями. —

Оля: «...Боже, как скучны эти твои итоги...»[1].

Ида: «...Попробуй жить нормально; тебя ввел в заблужденье твой образ жизни; все люди, не пообедав и не выспавшись, находят в себе множество диких небывалых идей...».

Жоня: «Скажи, Боря, ты стал глупее? Ты стал таким, как все? Твое *занятие*, может быть, отличается от других: ты не можешь принести пользы в нем, т. е. твое *занятие не* взрослый *человек*; но ты, как все в своих мужеских трудах, ты, кажется, затвердел в нем?...».

Жоничка хоть спрашивала не с холодным превосходством первых, а с состраданием, с горем на лице. Вечером я застал ее плачущей. Она присела ко мне с причитанием:

«Бедный Боря, ты запутался в прежнем и теперешнем, бедный, тебе теперь трудно, в тебе все должно определиться...».

Она так тонко, так непостижимо проницательно привела в качестве примера те вечера в Москве, когда я, раскачиваясь после иной работы, которая как плавание под парусом, отучает от верной почвы, начинал дико и взволнованно шутить, и отец никогда не понимал *природы* этих болезненных шуток, принимая их за неудачное остроумие. Она припомнила эту действительную рознь эпического и драматического, а потом прибавила, что теперь я и сам не пойму таких, каким был когда-то я: «...в Когене тебе подменили то, чего ты избег дома: формы обеспеченности...». И плачет, и плачет. И все так конкретно! В праздной распутности Киссингена, в его жидовстве — этот спаянный в одну целую цепь — летний день; дорога полем в Салины; — где добывают соль. Тоненькая, взрослая нежная Жонечка, окруженная заботливостью, улыбающаяся выходкам Вишневского; рядом Ида, величавая, просто до трагизма для меня прекрасная, — оскорбляемая поклонением всех, одинокая, темная для себя, темная для меня и прекрасная, прекрасная, в каждом отдельном шаге, в каждом вмешательстве ветра, в каждом соседстве деревьев... Она

видела меня раз в припадке, почти в безумье, когда она приехала в Марбург сказать мне (в ответ на одно мое письмо, подсказанное горькой обидой), — что я прав, что было необдуманно, не испытывая того же, что и я, вырастать так долго вместе, — и что надо расстаться — она видела меня таким — и Боже мой, какую нежность, как ее основу, узнал я тогда случайно в ней: в ее уходе за мной, в ее утешениях; Господи, мне тогда хотелось умереть в этих ладонях — и как мне было оторваться от нее? Это была нежность женского сожаления; — нежность «в сторону», — но однажды, рассказывая мне об одном человеке — (как мне определить его — это безукоризненное ничтожество, один из космополитических бездельников богачей, с большим поясом на животе, с панамой, автомобилем и всенародными формами движений развитого животного, которые зовутся у этих людей «культурой»...), — говоря однажды о том, как этот, противный ей человек домогался ее руки — и заявил в автомобиле о том, что без дальних слов она должна стать его женой, рассказывая об этом... она употребила бесподобное выражение: «Потом он приходил ко мне, плакал, терялся... и мне *так же точно (!)* приходилось утешать его...». Ты понимаешь, Шура, это значит, ее «мой бедный мальчик» — было уже неоднократно примененным средством в нужде... И я был тоже противным, далеким, домогающимся... Отчего меня вдруг перестали понимать! И кто? И так чудовищно истолковывать! — Я думал, меня излечит эта редкая оговорка. Стало еще хуже. Все хуже и хуже. За что это? — Какое-то странное, роковое чудо выслеживает меня; и даже в Жоне мне мерещились его чужие, недружелюбные глаза... В Киссинген я, «наученный опытом», приехал a priori спокойным, утвердившись в такой колее, — которая делает всякую близость и ее катастрофы невозможными. Но меня тянуло к ней в день ее рождения. Она так просто несчастна, — так несостоятельна в жизни — и так одарена; — у нее так очевидно похищена та судьба, которую предполагает ее душа, — она, словом, так несчастлива, — что меня подмывало какой-то тоской, и мне хотелось пожелать ей счастья; — я тебе говорю, как сложен был Киссинген!..

Я вернулся в понедельник совершенно разбитый; воскресенье колыхалось за мной; его уносили от меня, и я даже не знал, как крикнуть, как попросить о смягчении моей участи. На пустой, полуденной улице, возле парикмахерской встречаю Когена. В день моего отсутствия пришло ко мне приглашение его посетить его... «Um ihren freundlichen Besuch bittet Ihr Professor Herm.

Cohen»*. Я, конечно, извиняюсь. Длинный разговор. Между прочим расспросы, что я думаю делать... Россия, еврей, приложение труда, экстерном, юрист. Недоумение: «Отчего же мне не остаться в Германии и не сделать философской карьеры (доцентуры) — раз у меня все данные на это?»

Шура, мне хочется прямо внушить тебе, — в каком я сейчас замешательстве. Что ты не понимал связи государства и самосознания или интеграла и реальности — это не останавливало меня; что этого не понимали Анис<имов> и Станевич — тоже нет, и что Сережа[2] видел в моих занятиях шаг назад — также мало.

Но Ида, Жоня, Лена!.. Ты не читай собственных имен! Это-то ты должен понять! Это не интеграл! Я оборвал свои занятия. Я не знаю философии. Если я бросаю ее, то ничуть не надеясь этим вернуть себе утерянную связь! Но я не гнушаюсь тем трудом, которого не знает, не замечает, в котором не нуждается женственность. Так я брожу сейчас — и мне так горько — так горько. И так дики мне мои Когенианцы. И хуже всего, я знаю, что Коген исключает все, что это действительно Бог — так я не нахожу нигде опоры: перед собой мне стыдно — те же, кого я люблю, и не знают, что мне нужна их помощь. Странно.

Прости, это письмо длинное и бездумное. Я писал его почти что за кофе, — а то другие, вечерние и предрассветные, приходилось рвать. Ответь мне, умоляю тебя, просто, честно и обстоятельно. И скоро, без настроения.

Впервые: Памятники культуры. — Автограф (РГАЛИ, ф. 3123, оп. 1, ед. хр. 35). Датируется по содержанию.

[1] Из письма О. Фрейденберг из Глиона, написанного в первых числах июля. См. коммент. к письму № 60.

[2] В доме поэта и художника Юлиана Павловича *Анисимова* и его жены Веры Оскаровны *Станевич* собиралась литературная группа «Сердарда», в которую входили Пастернак и С. Н. Дурылин (*Сережа*).

63. А. Л. ШТИХУ

4/17 июля 1912, Марбург

Отвечай мне поскорее, Шура! Я здоров. Но я без сил. Что я сделал такого, что такое проклятие преследует меня. Было бы мракобесием сейчас с моей стороны заниматься тем, что так удач-

* «Вас просит дружески посетить его профессор Герм. Коген» (*нем.*).

но шло у меня несколько недель тому назад. Я не представляю себе также ничего иного. Что же остается мне? Я жду конца семестра, мне хочется родного леса. Но если бы ты только знал, как мне хочется встречи с тобой!! Наши поедут в Италию. Зовут с собой. Поехать сейчас туда значило бы совершить грязный поступок: с такой душой — и Италия, с такой сухою тряпкой. Этим я испортил бы ее вконец. Шура, Шура, ты мне не поможешь: надо заразиться сейчас моим состоянием, как я когда-то был способен по отношению к Саше[1]. — Захочешь ли ты это? Но пиши, пиши мне. А когда мы свидимся, я вложу уже тебе в уста все то, что мне нужно услышать от тебя. И тебе не будет трудно. Я уже говорил тебе: при всей внешней незначительности — личные события последних недель совершили какой-то примерный бой, сомкнутым строем, по команде... Учебная стрельба. Подумай, какая пошлость: Fakelzug* для Когена. И дернула же меня нелегкая на все это. — Скажи мне: да или нет? Чего мне ждать? Знаешь, во что я верю? В предстоящий спутанный лес; во вдохновенность природы — и в твою дружбу. Об этом я думал сегодня. Глупый, ты мне написал: «Я рад твоему лету»... нашел, когда радоваться, Иванушка-дурачок. Впрочем, я не предупредил тебя, свадьба ли у меня или похороны. Сегодня же поехал бы в Москву. Но хочу получить Abgangszeugnis** для родителей. Еще недели 2–3 осталось.

Сейчас же напиши мне. Сжалься надо мной.

Впервые: Памятники культуры. — Автограф (РГАЛИ, ф. 3123, оп. 1, ед. хр. 35). Датируется по штемпелю на конверте.

[1] Имеется в виду эпизод с А. Гавронским весной 1910 г. См. письмо № 31.

64. А. Л. ШТИХУ

6/19 июля 1912, Марбург

Дорогой Шура! Здесь неделями стояли душные и ослепительные дни. Сегодня первый пасмурный. Я проводил Шуру на вокзал. Когда я спускался в подземелье и, вынырнув, попал в тяжкий туман, я припомнил первое утро. Первое утро, когда я, обессиленный собственным недоумением, вышел и остановился: куда ты при-

---

* факельное шествие (*нем.*).

** свидетельство об окончании курса (*нем.*).

ехал, бессвязный идиот, где тебе, куда тебе... Я стеснялся тогда всех тех русских, которые уже давно — его ученики, и чуть что не извинялся своей наглости. Ты знаешь, уже верно месяц, как я ничего не делаю, не посещаю семинариев. Никогда я не вел еще такого бессодержательного существования. Но мне не хочется прикрывать той нагой правды, что я только жду, только выжидаю. Я ничего не боюсь. Что я запылился и ослаб и что я лишен того единственного, что заменяло мне недостающее дарование: что я лишен сейчас первого удивления молодости и еще одного, чрезвычайно важного: той непрерывности, с которой восторженность восприятия, восторженность чтения служила душою созидания и письма... что все это так — меня не пугает. Мне бесконечно милее (сравнение вообще невозможно!) эта карающая рука; это не желающее меня искусство — чем рукопожатье осьминога. О нет, не осьминога! Если бы мне выразить только это настроение, которое мною сейчас владеет! Оно было бы так любопытно тебе! Я очнулся в этом предложении стать немецким ученым как excusez le mot sentimental* — обманутая девушка в ту минуту, когда, благодаря порядку вещей, обман уже невозможен. Предложение Когена, то, о чем я и не смел мечтать, уезжая сюда, как-то нездешне оскорбило, обидело меня. Не Коген, не этот сверхчеловек обидел меня. Напротив, я удостоился большой чести в этом его предположении о моей карьере. Не Коген, но порядок вещей!! И я с такой горячностью возвращаюсь к тебе; не только к тебе, но тебе придется много выслушать, во многом посоветовать. Что меня гонит сейчас? Так странно: удача, возможность дальнейшего успеха? Порядок вещей? Понимаешь ли ты меня? Я видел этих женатых ученых; они не только женаты, они наслаждаются иногда театром и сочностью лугов; я думаю, драматизм грозы также привлекателен им. Можно ли говорить о таких вещах на трех строчках? Да, они не существуют; они не спрягаются в страдательном. Они не падают в творчестве. Это скоты интеллектуализма.

Сердечный привет Нюте. Когда я приеду, напомни мне рассказать о Наггу[1].

Впервые: «Вопросы литературы», 1972, № 9. — Автограф (РГАЛИ, ф. 3123, оп. 1, ед. хр. 35). Датируется по дате отъезда из Марбурга А. Л. Пастернака.

[1] С философом Генрихом Эрнестовичем Ланцем, учившимся в Гейдельбергском университете, Пастернак встретился в Марбурге.

---

* извини за сентиментальность (*фр.*).

65. А. Л. ШТИХУ

9/22 июля 1912, Марбург

Дорогой Шура! Я еще не получил ответа от тебя. Это не упрек: я только хочу устранить возможные недоразумения — иногда содержание таких «спорадических» писем ставится в связь с отправленными и еще не дошедшими до назначения... Я напишу тебе грубую открытку. Мой отец не Rentier* и не Renntier**. И то и другое — счастье! «Будущность» на философском поприще, которая в Москве с основанием казалась мне плачевной, вырисовалась здесь, как я тебе сказал — по-иному: Коген, жестоко бедствовавший в юности, дал мне свой совет (обосноваться в ученой Германии) *после того, как* я ему заявил о «несостоятельности» моих родителей. Это — реально обдуманный совет. Я не могу в письме выразить с достаточной вразумительностью, отчего я собственно так эпилептически отскочил от той дорожки, которая незадолго до этого довольно-таки усердно протаптывалась мною... и отскочил именно тогда, когда достиг на ней первого недвусмысленного успеха... Господи, у меня голова кружится от счастья! Я вернусь на родину; и эта родина — Россия, и эта родина — осень... Господи! Allein, wie gesagt, er ist kein Renntier***. Поэтому я решил пока что — переводить Келлера[1]. То есть перевести: это еще Futurum II. Есть произведения, которые, несмотря на сложность и разветвленность языка, уже в своем творческом возникновении движутся в переводе, уже охвачены переводом с самого начала. Таковы Якобсен, Флобер, Мопассан. Правда, это не перевод на языки. Скорее наоборот: с языков. Вся эта литература величаво спускается на словах — словно на плотах. Как нигде под ними познается несущая их сила одного топографически определенного искусства. Заговорить в их тоне значит потерять всякую иную почву под собой и ощутить только эту, единственную. Я не говорю, что Келлера легко переводить. Но он один из тех, для которых перевод типичен... от которого этого можно ожидать.

Привет Нюте.

Впервые: «Вопросы литературы», 1972, № 9. — Автограф (РГАЛИ, ф. 3123, оп. 1, ед. хр. 35). Датируется по штемпелю на открытке.

[1] Швейцарский прозаик Готфрид *Келлер*; возможно, Пастернак собирался переводить его знаменитый роман «Зеленый Генрих» (1855).

---

* рантье (*фр.*).

** скакун (*нем.*).

*** Только, как сказано, он не скакун (*нем.*).

66. А. Л. ШТИХУ

12/25 июля 1912, Марбург

Дорогой Шура! Меня удивило, что от тебя нет письма: я только что вернулся из Касселя, где я осматривал вместе с папой картинную галерею. Который уже раз я приезжаю в Марбург?! Идут, похаживают, стучат, постукивают поезда, поля, поля, поля — и горы, горы — и вдруг они разрешаются Марбургом. Стоит, как вкопанный, тихий, обезлюдевший вечер, — какое-то угнетенное безветрие листьев, в котором сошлись, стеной к стене, старые готические улицы. Как они стоят! Это — лучшее из всего, что они могут и хотят: так темно и слитно стоять и блаженствовать в звездной свежести. Потом проходишь церковь Елисаветы. — И обе ее складки, обе башни оперты внизу в ночной сумрак — выше они просто господствуют, громадные и непостижимые, как свернутые знамена, поставленные в ночи. И все такое величаво-сладостное! Как перемирие утомленных, давно не ложившихся великанов. Какое внезапное, загадочное и все-таки нерасслышанное замечание вставляет эта афористическая фигура из Кассельской галереи в нашу беседу[1]. Это, вероятно, — поэт. Или — публицист, может быть? Вообще — Кассель — редкая галерея. Там столько вдохновенной живописи. Рембрандт — это ряд сдач перед каким-то осаждающим потоком. Он не в силах обороняться. Орган тоже — допущенная стихия. Коген — уже совершенно, раз навсегда — прошлое для меня. Пиши. Целую. *Твой Б.*

Впервые: Памятники культуры. — Автограф (РГАЛИ, ф. 3123, оп. 1, ед. хр. 35). Датируется по почтовому штемпелю.

[1] Письмо написано на открытке с репродукцией портрета журналиста Николауса Бруининга работы Рембрандта из *Кассельской галереи.*

67. А. Л. ШТИХУ

20 июля/3 августа 1912, Марбург

Venezia, Poste restante*. Но книг не посылай уж, ты рассудил правильно; пусть уж это будет первым моим взносом в русскую книгопромышленность по возвращении[1]. Предполагается, что я через неделю еду к нашим прямо в Пизу. Вместо этого я, может быть, и вовсе не заеду к ним. У меня золотой отец, со-

* Венеция, до востребования (*фр.*).

вершенно не испорченный тем, что ему уже не 18 лет. Подумай, когда мне такие вещи Коген говорил, другой бы приводил доводы здравого смысла и т. д., а он вместо этого соглашался со мной[2]: тебе, говорит, надо все это стряхнуть, ты уже душевно сам на себя не похож, отправляйся al piacere* в литературную богему или к черту, но не стать же тебе в самом деле этим синтетическим жидом, за тридевять земель отстоящим от сумерек и легенд искусства... etc... etc. «Мы спелись с тобой», — пишет он мне! А?!

Нюта, я встретил Ланца. Это какой-то банан в жилетке, до того он худой и коричневый. Ничего. Подхожу я, значит, к нему и сказал про твою открытку. Он извиняется очень, у него были неприятности, и оттого он не мог ответить. Вероятно, он с ними переписывался. Сегодня был последний раз в университете. Это здание еще долго простоит, уверяю тебя. Прочная постройка. Остаюсь здесь еще шесть дней. Потом выеду на шестерке, покину философию навсегда. В России буду в середине родного августа, прости за болгарский юмор. *Боря*

Впервые: Памятники культуры. — Автограф (РГАЛИ, ф. 3123, оп. 1, ед. хр. 35). Датируется по штемпелю на открытке.

[1] В предыдущем письме Пастернак писал Штиху, что «решил остаться за границей, т. е. в Италии, до средины русского августа» и просил его купить и переслать ему: «*Блока* из собрания стихотворений II том; кажется, это — Нечаянная радость... — *Вяч. Иванова* Cor Ardens (тоже второй или третий том... и, наконец, Брюсова — ту его книгу стихов, которая представляет собою выбор из всех прежних, — не знаю, "Пути" ли это "и перепутья", или же "Все напевы", или еще что. Ты разузнай это в магазине. У меня есть в Москве Сологуб, кажется 1-й том, — не давал ли я тебе его просмотреть вместе с Белого "Пеплом"?» (13/26 июля 1912; там же. С. 70). Имеются в виду след. издания: Александр Блок. Собрание стихотворений. Кн. 2. Нечаянная радость (1904–1906). М., «Мусагет», 1912; Вячеслав Иванов. Cor ardens. (ч. 2). СПб., 1912; Валерий Брюсов. Пути и перепутья. Собрание стихов. Т. 1–3. М., 1908–1909. (Часть тиража III тома вышла под назв. «Все напевы. Стихи 1906–1909»); Федор Сологуб. Собрание сочинений. СПб., 1909. Т. 1; Андрей Белый. Пепел. Стихи. СПб., 1909.

[2] Л. О. Пастернак писал сыну 22 июля: «...Кажется, Коген у тебя потерял в обаянии — раз он тебя признает и одобряет. Для меня не нова и эта твоя метаморфоза».

---

* пешком (*ит.*).

68. О. М. ФРЕЙДЕНБЕРГ

15/28 августа 1912, Marina di Pisa[1]

Дорогая Оля. Вот уже среда, и еще будет четверг, а я все еще не еду: ключи от жилой Москвы оказываются у папы[2]: надо ждать. Ты может быть еще не заметила, что Домби с сыном[3] продолжают лежать все в той же хирургической клинике, куда я их положил в целях выпрямления? Книга уже разглажена, ты припоминаешь, она скомкалась в чемодане. Мы тебе перешлем ее из Москвы.

Вот опять страдаешь из-за меня!

Завидую твоей поездке и той радости, с какой ты вероятно прибыла в In<terlaken>[4].

Впервые: «Пожизненная привязанность». — Автограф. Датируется по почтовому штемпелю.

[1] Пастернак приехал в Марину-ди-Пиза к родителям 13 августа (по нов. ст.).

[2] Л. О. Пастернак уезжал из Пизы в Сиену на праздник Паллио, проходивший 17 августа.

[3] О. Фрейденберг провела неделю в гостях у Пастернаков и забыла у них роман Диккенса «Домби и сын».

[4] О. Фрейденберг должна была снова вернуться в Швейцарию.

69. К. Г. ЛОКСУ

23 декабря 1912, Москва

Дорогой Костя! Мое письмо выйдет личным, неинтересным, жалующимся. Просветите его светом сочельника, в который Вы возьмете его в руки.

О какая удивительная черная весна сейчас![1] Мой урок завлекает меня в самую глушь Разгуляя; немецкая семья[2] готовится к елке, это заметно по освещению, по состоянию печей и затиший, по распределению крови в сосудистой ткани их склеротических щек, и еще потому, что вынесены ковры из кабинета. О какой странный час, этот час урока. Куда не закатывается только время! Мне кажется, оно подкатывается под самый Разгуляй и тогда его ищут везде, и это — сумерки; и когда отчаиваются в поисках, ищут уже с фонарями; и вдруг его находят часам к восьми; и тогда его выкатывают снова с застав к циркулирующим центрам.

Английская раса[3] брошена как вызов; это идея, при помощи которой можно дать сжатое определение ее национальных черт. Обращаясь к ней, надо *поднять* ее, это долг благородства. Это поднятие народа на бóльшую высоту не должно быть смешиваемо с теми преувеличениями, которые говорят об отсутствии меры, а потому и о недостатках оценки. Байронизм или Бердслеизм, или Эстетизм, или наконец Эдгаризм Бодлэра[4] — все это виды тонкого пользования намеками, данными самою нацией, оказывающей эти влияния. Своим превосходством она говорит только о своем желании поравняться с другими.

Таков мой второй урок.

Как мало обещает сочетание слов: «Игорь Северянин».

Между тем после двусмысленностей, колеблющихся между косметикой и акосмизмом, следует поэма, развернутая во всем великолепии ритмики и мелодичности, которая составлена из названий мороженого, пропетых гарсоном на площади под нестройный плещущий гомон столиков[5]. В этом стихотворении при всей его вычурности на уровне первобытных наблюдений — схвачена печаль разнообразия — всякого разнообразия, — непокоренного целостностью. Что же касается дальнейших стихотворений, то в них уже — открытое море лирики. Пришлось забыть об Эстетике, ее серой обивке, ее мертвенности. Как жаль, что Вы не успели побывать на этом «четверге».

И опять «черная весна».

О как возвращаются эти состояния! Как забывшие захватить что-то, принадлежащее им, не замеченное тобою. Зачем я чувствую так свое бессилие! Силой воли, если ее чувствуешь в себе... «одолжается» у тебя природа и вообще вся цепь впечатлений — питается ею, и, наконец, благодатно покоряет тебя твоим же собственным оружием. Бессилие, напротив, есть какая-то неприступность человека, перед которой отступают все впечатления.

Ну, вот Вам и страничка резонерства. Сейчас отдышусь, отру шею и виски и буду продолжать.

Впервые: «Минувшее», № 13. — Автограф. Письмо осталось недописанным и не было послано. Датируется по упоминанию о сочельнике.

[1] См. назв. стих. И. Анненского «Черная весна» (1909). Эта метафора использована в стих. Пастернака «Февраль. Достать чернил и плакать!..» (1912), которое в первой публикации было посвящено К. Локсу.

[2] По-видимому, имеются в виду уроки с сыном немецкого коммерсанта Эдуарда Саломона Иоанном (Бубчиком). Другой урок — возможно,

с Вальтером Филиппом, где Пастернак учился английскому у его гувернантки.

[3] Слова об *английской расе* вызывают ассоциации с героиней «Повести» Пастернака (1929) Анной Арильд.

[4] В этом пассаже отразились занятия Пастернака английской поэзией. Перечисляются последовательные течения, называемые по именам поэта Дж. Г. Байрона, художника Обри Бердслея; переводы Эдгара По на французский, сделанные Ш. Бодлером, позволяют образовать определение: *Эдгаризм Бодлэра.*

[5] Имеется в виду вечер *Игоря Северянина* в Обществе свободной эстетики» 22 дек. 1912 г., где он читал стих. «Мороженое из сирени!» (сентябрь 1912).

70. С. П. БОБРОВУ

9 февраля 1913, Москва

Убежишь, как раз!

Кому Псел[1], а кому Ломоносов! «Надо, понимаешь ли, университет кончить». Сижу по целым дням в библиотеке за кандидатским[2]. Осталось 3 недели сроку, а я и не начинал. Хожу инкогнито в рединготе, не кланяюсь знакомым, ухожу из дому к письменному столу, переменил голос, сморкаюсь, держа платок промеж обоих указательных, сердце у меня лопается, душа у меня трескается — тысяча перемен.

Очень просто. По-армянски просто. Ex oriente lux[3], посему:

Совсем я на глупое солнце,
Армянское солнце похож.

Вы хоть *беглые* души — а я — совершенно — чичиковский продукт потребленья Елизавет Воробей[4], занятый кандидатским.

Фикция я и утоплый труп сейчас, вот кто я сейчас. Хочется кончить цитатой из Микельанджело о «Ночи» — не помню смысл (приблизительный:

Проходите, которые!
Запрещается останавливаться)[5].

Это потому, что мне в моем теперешнем положении также приблизительно удобно, как и ей, и также тяжко от раздающихся вокруг приветов:

Доброе утро.

Перевод с армянского.

Целую тебя и Николая.

Весь ваш Б. Пастернак

Впервые: «Встречи с прошлым». Вып. 8, 1996. — Автограф (РГАЛИ, ф. 2554, оп. 2, ед. хр. 563). Датируется по дате получения, поставленной Бобровым. С поэтом С. П. Бобровым Пастернак познакомился в 1911 г. в «Кружке для исследования символизма в искусстве».

[1] Имеется в виду Н. Н. Асеев, собиравшийся ехать к родственникам в город Сумы Харьковской губернии, стоящий на реке *Псел*.

[2] Кандидатское сочинение «Теоретическая философия Германа Когена» Пастернак писал у профессора Г. И. Челпанова.

[3] «С востока свет» (*лат.*). Возможно, ироническая отсылка к книге М. С. Шагинян «Orientalia» (М., 1913).

[4] Из «Мертвых душ» Н. В. Гоголя; символ выдуманного существования, рельно не существующего.

[5] Обыгрывается стих. Микеланджело к статуе «Ночь» в переводе Ф. И. Тютчева (1855): «Молчи, прошу, не смей меня будить. / О, в этот век преступный и постыдный / Не жить, не чувствовать — удел завидный... / Отрадно спать, отрадней камнем быть».

71. С. Н. ДУРЫЛИНУ

Февраль 1913, Москва

*...лежит во мне. Никто не говорит, и всего менее я сам, чтобы эта особность была счастливою моей чертой. Гораздо вероятнее то, что она приведет меня к дилетантскому прозябанию среднего порядка. Правда это или нет, — но в настоящую минуту я хотел бы только поскорее освободиться от университета и воинской повинности[1] — чтобы работать потом, работать впервые полно, серьезно и по-своему. И конечно, эти желанья ничуть и ни в чем не зависят от того или другого исхода моих недавних маленьких выступлений. Если я спрашивал и спрашиваю о согласии Метнера[2], — то не потому, что полагаю свою судьбу в этом. Недостатки же свои я и сам очень сознаю, и мне больно, когда близкие хотят сыграть в их мнимое отсутствие. Я бы и сам обратился к Эмилию Карловичу, да это, кажется, не принято. Вы не встречаетесь с ним? Вы прочтете все это, и от вас, может быть, ускользнет главное: простая моя благодарность за вашу заботливость относительно меня. Если же вы ее отыщете, то вы услышите в ней признательность и за то, что в вас осталась нетронутою верность тому миру и времени, которые свели нас.

Может быть, все это патетично. Не знаю. Все это печально, во всяком случае.

---

* Начало письма не сохранилось.

Что мне выбрать из Марбургского хлама? Я согласен с «...жизнью неслышною»; она относится к небольшому циклу, носящему <заглавие> «Покой песков». Пусть это обозначение перейдет к стихотворению[3].

«Февраль» тоже близок мне, «там, над чернилами, навзрыд» — поправка, которую я охотно принимаю; в таком случае не надо точки после «изрыт»:

доколе песнь не засинеет
там, над чернилами, навзрыд[4].

«Сегодня мы исполним...»[5] тоже можно печатать, хоть оно слишком элементарно и беспомощно до степени лепета в нескольких местах. Обработка стихов, ставших уже прошлым, как-то неприятна и не дается вообще. Но я не согласен с «Дождем» и «Глухою мыслью о себе»[6], где я для устранения хореямба поставил бы:

И это — смерть; застыть в судьбе
Судьбе — формовщика повязке.

Не заменить ли этих двух стихотворением, которое начинается: «Как бронзовой золой жаровень» и т. д. или «Розами» (где «сумерки»), или «Утром», где «Кареты рель<еф?>»[7]. Вообще, я против «Мысли о себе» ввиду ее сухости и против «Дождя» ввиду того, что в последнем стихотворении не сохранился тот живой и непосредственный образ сплошного, стершегося безземелья, которое свелось только к дару песен, сумеречных песен без слов, который вызвал во мне один неизлечимый, трехдневный дождь в Марбурге и которому я посвятил стихотворение. Что он не выдержан в стихотворении, лишенном без этого всякой цены, — ясно без доказательств.

Любящий вас Боря

Первая строчка (в черновике) была:

«О дождь, обезземеливший патриций,
Чье сердце смерклось в даре повестей!»

Впервые: «Встречи с прошлым». Вып. 7. М., 1990. — Автограф (РГАЛИ, ф. 2980, оп. 1, ед. хр. 695). Датируется по содержанию.

[1] Пастернак в июне закончил университет, освобождение от воинской повинности из-за сломанной в детстве ноги получил через год.

[2] Э. К. *Метнер* возглавлял издательство «Мусагет» и литературно-философские кружки, образованные при нем для молодежи. О своих выступлениях на них Пастернак упоминает в письме. О подготовке к докладу на заседании кружка по исследованию символизма в искусстве, проходив-

шем в мастерской скульптора К. Ф. Крахта на Пресне, сохранилась записка к Дурылину: «Сережа, против воли я надоедаю Вам. Мне надо свидеться с Вами перед собранием у Крахта, а Вы, как я знаю, очень заняты. Как узнать, когда Вас можно видеть? Вот что: условимся так. Я зайду к Вам завтра, воскресенье в одиннадцать» (Музей С. Н. Дурылина в Болшеве). 10 февр. 1913 г. Пастернак читал там доклад «Символизм и бессмертие». Позднее Дурылин вспоминал о реакции Э. К. Метнера на доклад Пастернака: «Метнер — германист и кантианец — пожал плечами с улыбкой. Я знал эту улыбку. Она означала: "очень ювенильно"» (Воспоминания. С. 54). Однако шел разговор о намерении Дурылина устроить публикацию доклада в журн. «Труды и дни», редактируемом Э. К. Метнером.

[3] Речь идет о подборе стихотворений для альм. «Лирика» (1913). *Марбургский хлам* — стихи, написанные в летом 1912 г. Стих. «Я лежу с моей жизнью неслышною...» сохранилось в черновой рукописи, под назв. «Piazza S. Marco», вошло в раздел «Первые опыты».

[4] Стих. «Февраль! Достать чернил и плакать...» открывает цикл «Начальная пора». Конечные строки оконч. редакции: «И чем случайней, тем вернее / Слагаются стихи навзрыд».

[5] Стих. «Сегодня мы исполним грусть его...» Пастернак записал в альбом Дурылину в марте 1911 г.

[6] Имеются в виду стих. «Бесцветный дождь... как гибнущий патриций...» и «Я в мысль глухую о себе...».

[7] Стих. «Сумерки... словно оруженосцы роз...» и два неизвестных.

72. С. П. БОБРОВУ

12 июня 1913, Молоди

Милый Сергей Павлович! Спасибо тебе большое за твои заботы в тот вечер. Мне стыдно и досадно. Потом еще я оставил у тебя калоши. Не злобствуй на них, обойдись с ними кротко. В дилемме: выкинуть ли их в Москву-реку или оставить на воле в прихожей, выбери, пожалуйста, последнее. На днях я буду, вероятно, в городе.

В конце недели или в начале следующей сюда переберутся наши[1]. Выжди этот период брожения, когда все заживет, непременно соберись сюда. Я буду тебе несказанно рад и не думаю, чтобы кого-нибудь это стеснило. Я опять забываю, что на днях увижусь с тобой очами в очи, уста в уста etc.

Мне, кажется, уже давно пора опомниться, а между тем я пребываю все в том же самообмане. Почему я с вами, с тобой и с остальными, почему я, а не твой или мой брат, или кто-нибудь другой. Кто сказал, что у меня есть какое-то отношение к лирике, к поэтам, к вашему делу и вашему духу? Если я напомню тебе, что ничего еще никогда не сделал, и скажу, что пустейшие и ничего не

стоящие строчки были и остаются всегда у меня плодами самых смешных с моей стороны усилий, которые свидетельствуют скорее о прямо противоположных словесному творчеству задатках, чем о каких бы то ни было ничтожнейших способностях по этой части, ты поспешишь, вероятно, выйти из этого неловкого положения и сведешь разговор на тему о критике, этом убежище людей с претензией, неправильно начатой жизнью, некоторым вкусом и лишенных дара творчества. Но и это дружелюбное твое движение мне придется отстранить: цех критиков призревает только людей с знаньями, я же, ты это знаешь и сам, нечто бесподобное по невежественности.

Скоро я дам себе во всем этом отчет окончательный и бесповоротный. Ты понимаешь, конечно, что мне надо было во всем этом тебе признаться, несмотря на то, что эта тема совратила меня на путь Бартеневски эпистолярного красноречия[2].

Впрочем, тут сказался дух всяких поминальных обедов, который, разумеется, веет и в моем письме. А празднословие поминок — простительно.

Который раз я забываю, что мы свидимся скоро!

Твой Борис Пастернак

Ты думаешь я не умею быть читателем написанного мною?! Да, но как сообщить тебе и эти ощущенья, не впадая в дурную бесконечность?

12 июня, Молоди.

Впервые: «Литературная Россия», 9 дек. 1988. — Автограф (Музей Маяковского, ф. С. П. Боброва).

[1] Пастернак уехал на дачу в Молоди, не дожидаясь общего семейного переезда.

[2] Намек на письменные разносы, которые устраивал Боброву П. Ю. Бартенев за небрежение обязанностями секретаря редакции «Русского архива».

73. К. Г. ЛОКСУ

20 июня 1913, Молоди

Молоди.

Дорогой Костя! Я вам писал в первые же дни. Несколько вечеров подряд выходил я, с пустой тоскою в сердце, на Пречистенский бульвар, который белел какой-то свернувшейся и брошенною оболочкой наших экзаменов. Поразительно быстро стало все

это отдаленным прошлым. Может быть я ускорил это превращение. Почти вслед за вами снялся и я с прискучившего места и целую неделю до самого переезда наших провел в полнейшем уединении[1]. Но оно было совершенно бесплодно до сих пор. Книги ваши, как и пальто на вате и пр. — будет лежать у нас, застрахованное от моли и от соблазнов ломбарда. Во всяком случае спасибо вам большое за блестящую вашу мысль, которая могла родиться только после года непрестанной богемы.

Я писал вам в первые же дни. Потом мне показалось, что мне не о чем писать, потом я с сожалением убедился в справедливости этого, потом я целые дни проводил в траве, отгоняя слепней, избегая муравейников, и старался не думать о том, что я опустошен окончательно и что самое умение закидывать приманку для улавливания космической благодати в свои руки оставило меня. Потом все переменилось, и переменилось еще раз.

Но знаете, здесь прекрасно как-то свыше сил, и без обиняков и примечаний. Дом Екатерининского времени. Комнаты невероятно велики и тех уже размеров, когда несколько кресел у письменного стола, лампа, и человек за книгой образуют отдельную, внутреннюю группу среди прочей пустыни. Но все же свою комнату делю я с братом. Правда, это не детская уже. Здесь неизреченно хорошо. Как мне поверить, что все это чудо «за моим подоконником» так же чудесно и у соседей, и дальше, и вероятно у Вас. Что Вы делаете, как себя чувствуете, как проводите время, благосклонен ли к Вам ваш ангел-хранитель? Может быть он сопутствует нам только до получения выпускного свидетельства. Во всяком случае я оставлен всеми богами.

Хотя здесь церковь вблизи, тоже старинная, парящая как-то в высоте, куда она увлекла за собою версты необъятных лесов.

Но погоды пасмурные, с укоризненно светлыми, безответными вечерами. Они не оставляют ни следа за собой, несмотря на то, что я прилагаю все старания. О нет, это неправда. Я ничего не делаю. Я рассуждаю теперь только во сне. Но у меня все же философская жилка: вы поймете, как пагубна эта черта при таких условиях.

Писем не запирают, как запирают cafés. Но я расстаюсь с Вами, потому что мои намерения вероятно ясны уже для Вас: это письмо ради ответа, которого я буду ждать с нетерпением.

Зачем я в таком случае писал? Да, правда, зачем было писать это. Мне хочется вас видеть. Но если бы мы встретились, я дал бы Вам говорить первому. Вы бы не начинали? Все-таки это было бы лучше.

Ах да, мой адрес:

ст. Столбовая Моск.-Курск. ж. д. имение Мóлоди, Бородина мне

Все наши, как всегда, очень порывисто выражают Вам свои чувства и пожелания.

Ваш Боря

Впервые: «Минувшее», № 13. — Автограф. Датируется по почтовому штемпелю.

[1] Пастернак получил выпускное свидетельство 7 июня 1913 г. и 9 июня уехал из Москвы в Молоди.

74. К. Г. ЛОКСУ

10 июля 1913, Москва

Бедный Костя! И мне как-то стыдно от сознания своей свободы и временной обеспеченности. Надо однако пересилить в себе это чувство. Мне трудно писать, испытывая его. А лишнее письмо, полученное Вами, послужило бы для Вас развлечением. Да и мне хочется писать. Вы на кондиции[1]. Но это не начало той обезличивающей регистрации со стороны жизни, которой мы оба так боимся. Все большие люди классической Германии начинали так. Так начинают учителя, но так же начинали и гуманисты.

Еще в городе, вскоре по Вашем отъезде начался и у нас длинный разговор о моей предполагаемой карьере. Я буду искать какого-нибудь секретарского или корреспондентского места в каком-нибудь коммерческом деле. Помните железный закон Рикардо?[2] Федя говорит (и это явилось вместе с тем ответом на мой запрос о Муни[3]), что множество юристов и людей со специальным образованием, просят приставить их к банку, но эти предложения сильно превышают спрос. Требования специальны: знание новых языков, практическое, с обязательностью английского среди них. Затем банковские должности нечто вроде табели о рангах: поступают чем-то вроде мальчиков и движутся дорогой повышений. Федя и сам, как оказывается, начал с чего-то такого. За какую работу усадит он меня? Он может, пожалуй, доверить мне переписку этикеток, но ту же работу может сделать и артельщик. Задачи посложнее требуют его объяснений и указаний, но банк не учебное заведение.

Я себе представляю впереди такой mélange*: частный урок, секретарство или корреспонденция и литературное рукоделие.

---

* смесь (*фр.*).

А пока, свободное лето. Не одиночество, правда, и что еще хуже — нечувствительный как давление атмосферического воздуха на кожу — гнет обычных установившихся соотношений в семье, с какой-то моральной немыслимостью превращений в тебе. Ты все тот же брат, сын, сожитель по комнате и т. д., о тебе спрягаются глаголы в будущем времени... и все равно предсказанья ли это или мягкие принуждения — ты уже занят, оккупирован заранее и уже заранее использован в известном вкусе.

Но у меня святой отец и может быть, да, наверное, такая же мать — и у меня опускаются руки.

Но свобода, та, которая добыта сейчас одинаково мною и Вами, свобода с печатью учебного округа в уголке — она нисколько не дар случайный, дар напрасный...[4] Она мне очень нужна сейчас и еще более нужна будет вскоре, и я впиваюсь в нее руками.

Мне не работается. Но это ничего, я не боюсь[5].

Книга Сергея Павловича давно лежит уже на почте здесь, о чем я дней 15 назад был извещен повесткой. Но почта в 12 верстах отсюда и не было попутной оказии. Завтра соберусь специально туда[6].

Читаю немного, и как-то антологически, по кусочкам. Но за это письмо я взялся, закрывши Гофмана, которого перечитываю в оригинале. Разумеется: — Э. Т. А., а не покойный, сколько помнится Виктор[7]. Это тоже величина, которая подлежит литературной переоценке. Он умнее Бальзака, с чтением которого у меня перемежалось поглощение его новелл, что же касается реализма (метафизического) и художественности, то он и остывает гораздо медленнее последнего и с ним нельзя расстаться на полдороге, предоставив ему одному скитаться в его собственном замысле. Но за ним следуешь до самого конца, и даже полусумасшедший этот карьерист и визионер отстает за тобой и ставит точку раньше, чем ее ставишь ты, его читатель.

Нельзя затеять письма о «Золотом Горшке» или «Доже и догарессе», но если чтение «Майората» предшествовало письму или даже вызвало его, можно простить себе невольное многословие. Вообще, преступление под руками романиста — это событие, где эффект и мотивы одновременны. С точки зрения композиции, убийство Гордиев узел драмы.

В «Майорате» преступление что-то вроде окиси, и ее реактив — реальность. Θαυμασία* философа стерилизует представле-

---

* удивление (*греч.*).

ния в пользу истинного, *напряженно истинного* бытия. Но это до крайности редкие наития. Есть его суррогаты.

Я помню одно октябрьское пасмурное утро, когда можно было выйти на улицу в обед, почувствовав себя на рассвете. И этот рассвет не сходил с горизонта, он не грозил солнцу и не обещал его. Даже и не «пленившись... заботой детей, прудящих бег ручья»[8], можно было испытать окаменелость времени. С большими усилиями старался я вызвать в себе веру в то, что, встречные и прохожие люди — сборище разных «я», и что они абсолютны и оригинальны, что можно начать с каждого из них как с центра тот рассвет, который конически заключался мною самим. Передо мною шагало существо, которому я присваивал самое резкое свойство в мире, свойство оживленности и называл его самым острым словом в свете: живым. А между тем, это наименование и мысль, заключенные в нем, лежали вперемежку со всеми остальными мыслями, как тупое холодное оружие в хламе, не прорывая их. Это шило оказывалось возможно утаить в том мешке. И вдруг мелькнул пред сознанием безусловный, метафизический запрет, лежащий на убийстве, и я в то же самое время ощутил, как одно из тысячи моих безразличных действий, совершенно однородное с ними движение моей руки встречается с каким-то слоем иного порядка и периода; лучше, что это движение попадает в ту сферу, где обрывается эмпирическое... И предо мной зашагала, в своем воплощении метафизическая эта *невозможность*. «Убийство со знаком отрицания» — вот где значит острое это понятие живого существа прорезало безразличие остальных представлений и вырвалось, одинокое, наружу. Тогда мне показалось, что все эти смежные переводные «я» разделены между собою пролитием крови. Кровью под знаком отрицания[9].

Вот какой особенностью отличаются преступления у Гофмана. Эдгар По обращается с ними как с психологическими категориями. Для Гофмана они порождения онтологической Θαυμαστ'и, бороздящие бытие там, где оно — клеточно по своему строению, где оно — во множестве монад, жизней, личных эпопей. Философское изумление напрягает бытие до сути. Новелла достигает того же подстановкою преступления в быль.

Одна только представившаяся сейчас возможность послать на почту может заставить меня послать Вам эту настойку из нафталина. Впрочем, есть еще время крепким рукопожатием исправить содеянное.

Ваш Боря

Впервые: «Минувшее», № 13. — Автограф. Датируется по почтовому штемпелю на конверте.

[1] Локс жил в имении И. И. Листовского как учитель его сына.

[2] *Закон* английского экономиста Д. *Рикардо* касался трудовой теории стоимости.

[3] Вероятно, *запрос о Муни* (Самуил Викторович Киссин) касался его поисков службы. Локс познакомился с ним у Брюсова, на сестре которого Муни был женат; Локс писал о нем в повести «История одного десятилетия». В 1914 г. Муни был призван в армию и вскоре покончил с собой.

[4] Парафраза первой строки стих. Пушкина 1828 г.: «Дар напрасный, дар случайный, / Жизнь, зачем ты мне дана?..»

[5] В письме С. Боброву 2 июля Пастернак писал точнее: «Все-таки я кое за что брался, теоретическое и нетеоретическое. Но все это, написанное или только намеченное, нисколько не любо мне. И я слишком быстро настраиваюсь на враждебный лад относительно этой дряни» (Собр. соч. Т. 5. С. 73–74). Этим летом Пастернак написал большую часть стихотворений, составивших его первую книгу «Близнец в тучах», и намеревался написать книгу статей на основе доклада «Символизм и бессмертие».

[6] Пастернак писал С. Боброву 2 июля: «Я еще не получил твоей книги, дорогой Сергей Павлович, почтовое отделение здесь верстах в десяти, — но у меня есть повестка на получение заказного, может быть, это твои Вертоградари, и если бы не погода, я отправился бы за нею. Это вопрос двух-трех дней. <...> У меня есть одно сильное ощущенье, связанное с нею, это — вечер 29 января у тебя, первый вечер с тобой, Николаем и Локсом, когда стол был осыпан корректурным цветением и я с восторгом копошился в нем» (Собр. соч. Т. 5. С. 73, 74).

[7] Имеется в виду поэт и прозаик В. В. Гофман, одно время близкий Брюсову и Бальмонту. Его самоубийство в 1911 г. создало ему жертвенную славу.

[8] Цитата из стих. А. Фета «Когда б в полете скоротечном...» (1870): «На миг пленился б я заботой / Детей, прудящих бег ручья...».

[9] *Метафизическая невозможность* убийства, *«убийство со знаком отрицания»* стало для Пастернака главным пунктом его несогласия с временем. Тема невольного убийства случайного человека, «ближнего» по заповеди, лежит в основе «Детства Люверс», писавшегося революционной зимой 1917–1918 гг. «Воздушные пути» и «Лейтенант Шмидт» посвящены нравственной неприемлемости расстрела. Сцена расстрела в партизанском отряде — кульминация ужаса в романе «Доктор Живаго».

75. А. Л. ШТИХУ

14 июля 1913, Молоди

Вероятно, я неправильно адресую тебе на дачу, напишу по городскому адресу. По городскому адресу сообщу я тебе, что начинаю беспокоиться даже о твоем существовании. Здоров ли ты?

На этих днях лето близится, по-видимому, к заключению. Осень еще не вступает, но дни уже торопятся как-то. И не от них ли мне тревожно стало? Скажи, ежедневно ли ты даешь уроки своему шоколадному принцу?[1] Если с промежутками в день-два, и если этот перерыв можно пригнать к воскресенью, тогда, приняв во внимание даже материальные расходы — необходимость дважды взобраться в вагон — стоит и очень стоит тебе в наши палестины. А мы бы покейфовали с тобой в полное наше удовольствие, приняли бы не один стог, увязли бы не в одном болоте, и заглянули бы глубоко друг другу в душу, как в танце апашей. Здесь ведь не дача, а большая усадьба Екатерининского времени, в нашей комнате большой письменный стол и стены темного бордо, и ко всему, — комнаты — безбрежны. Ты мне напиши педагогическое расписание своих занятий с Мсье Какао — и вот я буду как-нибудь (в зависимости от твоих указаний) в Москве — и все устроим. Но предварительно надо списаться.

Остальное — молчание[2]. Молчат две дести писчей бумаги на столе и редко, редко давал я сказать пару строф героям книжной полки. Меня ждут поиски труда, вероятно, секретарского в какомнибудь коммерческом деле.

Конечно, грустно.

А все же, досадно, что так скоро вакации прошли, последние для меня. Не найдешь ли ты способа замедлить их бег в течение остающихся 2-х–3-х недель? Может быть, я что-нибудь бы сделал.

Всего прискорбнее то, что я неисправимо невежествен, чтенье же лирики сбивается у меня на ознакомление с содержанием поэта или его характером и никак не оставляет в памяти живых его строк. И такой человек когда-то думал писать стихотворения, и этим «когда-то» или «когда-нибудь» продолжает называть свое темное, неизвестное будущее.

Иные, со школьной скамьи, когда память впивается односторонне и стихийно в излюбленный предмет и вбирает его без остатка, освоились со всею поэтической литературой или с большей ее частью.

Конечно, я разумею не тебя.

Когда пришел я к ней? Потертый, помятый, состарившийся в своем мире, не в возрасте, конечно. И память стала орудием, прибором. Она уже не помнит о том, как действовала она без ведома ее обладателя, вроде какого-то самостоятельного, паразитарного организма.

Грустно, говорю я.

Сравни это письмо с теми, недавними. Да ты и сравниваешь, вероятно.

Бобров прислал мне только что вышедшую книжку. Она серьезнее «Обители», но стихи Анисимова ярче и сочнее. Ценность «Вертоградарей» больше[3]. Годом раньше, к счастью, я бы их не понял. Нет, так невозможно писать! Поставлю точку. Но еще долго буду думать о тебе, о себе. Ты же найдешь здесь место для стихотворения. Напиши его.

Твой Боря

Ст. Столбовая. Моск.-Курск. жел. д. Село Молоди. Имение Бородина.

14 июля.

P. S. Получил хорошую открытку от Нюты, ответил ей письмом, слишком длинным для письма, прерванным ночною катастрофой в деревне. Милая, она не дала мне своего адреса. Но для стихотворения все же остается место.

Впервые: «Россия». Venezia, 1993, № 8. — Автограф (РГАЛИ, ф. 3123, оп. 1, ед. хр. 35).

[1] Штих давал уроки сыну Ю. Ю. Грейса, директора кондитерской фабрики Эйнема, далее «мсье Какао».

[2] Последние слова Гамлета: «The rest is silence».

[3] Стихотворные книги, вышедшие в изд. «Лирика» в 1913 г.: «Обитель» Юлиана Анисимова и «Вертоградари над лозами» Сергея Боброва.

76. С. П. БОБРОВУ

15 июля 1913, Молоди

Дорогой Сергей Павлович! Скучные разъяснения ты найдешь в post scriptum'e, а сейчас поздравляю тебя от всего сердца, благодарю тебя за все, начиная от книжки и кончая надписью. Ну, мне противно (я не знаю стенографии) излагать своими словами тот взрыв восторга, который ты должен был бы прочесть тут. Но в таких случаях даже и архифлижная скоропись — какой-то тормоз Вестингауза[1] чувства, зашнурованный и пломбированный, т. е. беззубый.

Как могли эти стихи существовать в отдельности и в рукописи? Так цельны они, и как будто всегда составляли сборник, который можно раскрыть в средине или читать с конца, и тогда остальные стихотворения скрыты, как архитектурные части дома, в котором живешь и страдательно подлежишь действию этого за-

мысловатого целого. Понимаешь, твоя книга окружает при чтении со всех сторон, это одна из тех книг, которую любишь и считаешь пережитыми, если даже, или лучше при условии, если два-три листа остались неразрезанными в ней. Но я разрежу их, не бойся.

Мне хотелось бы ограничить обсужденье книги тремя письмами, кажется, это minimum допустимый: и сегодня я буду говорить о первой. Что жатва твоих вертоградарей — чистая поэзия, это ты знаешь и сам, и ты конечно обрел то сердце, за которым тебя «пламенник милый в путину глухую занес»[2]. Прости за членовредительство, ты видишь, мое письмо надо читать, обеспечивши себя насчет красного креста. Впрочем, мне памятно письмо Бартеневское и героизм сестры милосердия, может быть, она поддержит тебя и тут.

Не мне тебя просвещать также и относительно своеобразия этой поэзии. Оно свойственно всему ее ладу, ее основному строю и составляет энергию, а никак не материю стиха. Т. е. его можно найти, его нельзя не искать, но его нельзя увидеть. Оригинальность ее в том, что самое начало лирики, поэзия как стихия или лучше как климатический, где-то туземный пояс, составляет часто предмет или неотвязное memento этих стихотворений. Водяной этих чистых живых вод почти на поверхности, и можно поверить в него и не понаслышке. Что же это — эстетический идеализм или это — символизм? Конечно, второе, и было глупо ставить такой вопрос.

Я не помню, кажется, местонахождение Нептуна было выражено в математических отношениях раньше, чем была наблюдена самая планета среди и относительно других звезд. Этого же достигает «в рассуждении» блуждающего тела символического параллакса первая твоя книга. Это книга звездных свидетельств или голоса многих зримых звезд об иной искомой, незримой, о ночи их ночей (мечта мечты), и не ты ли ее осязаешь, когда развертываешь все сложное дело их соприкосновений с нею. Кстати, не этим ли объясняется некоторая (ты поймешь, как я это думаю) отвлеченность, идеологичность многих эпитетов, приложенных к импрессионистическому телесному образу. Твоя работа объясняет эту особенность: твои образы осязают своего вожака, они мыслят и поступают символически; ты же, выговорив себе право наивной простоты, достигаешь полярного символизма, символизма через предмет, а не через творческое внушение. Существуют книги отражений. Твою первую мне хотелось бы назвать книгою сечений,

книгою плюрисекций. Подожди минуту. Двадцать первых стихотворений, и в особенности посвященных памяти г. Лерберга[3], указывают на расположение страны мечты (нет, не так, замени это слово более подходящим) относительно страны жизни и на сечение ее последнею. Часто содержание твоей поэзии — отрывочные заметки о неизреченной флоре этого царства, а самое стихотворение (лирическая его суть) измеряет собою напряжение угла того сечения. Жизнь, природа, история личной души, все это — некая среда преломленья идущего оттуда луча. Иное стихотворенье приносит с собою меру прозрачности или же плотности этой проводящей толщи, тогда оно импрессионистично, говорит об обстановке символической силы и о свойстве междупланетных атмосфер. Тогда по этой зачеркнутой в стихотворении пробе того флюида мы властны в своем переживании мысленно найти изломы символического луча. Таковы I, II, III, IV, VII, IX, XII, XIII да и все отчасти и XX! Другие стихотворения, те, которые, было время, почитались философическими (их прекрасно определила Н. Л. Баратынская в заметке о муже)[4], наоборот, дают как бы дуговые индексы того взаимоотношения, и мы можем представить тот или другой из пережитых нами медиумов и коэффициентом преломления, приводящим к такому синусу.

Это — все остальные пьесы, исключая, пожалуй, «Грозу» и «Bienfaits de l'amour», стихотворение прелестное о прелестном, где последние 2 строки — замечательны.

Мне трудно сейчас, не обдумавши как следует и не вчитавшись в остальные 2 книги (о которых напишу спустя несколько дней) сказать тебе ясно и точно о том, как я понимаю твое своеобразие и в чем я его вижу. Если надо некоторые стихотворения предпочесть другим, я бы сделал это в отношении: «Памяти Лерберга», «Очарования», «Дня», «Потока», и я бы остановился на XVIII и XIII только из опасения не сдержать последнего обещания, перечисливши всю книгу...

Впервые: «Литературная Россия», 9 дек. 1988. — Автограф (Музей Маяковского, ф. С. П. Боброва).

[1] *Тормоз Вестингауза* — пневматический железнодорожный тормоз, получивший название в честь американского изобретателя Дж.Вестингауза.

[2] Стихотворение не установлено.

[3] Шарль ван *Лерберг*, фламандский поэт наряду с Верхарном и Метерлинком преобразивший французскую поэзию. Автор сборника «Миражи». В 1918 г. Пастернак перевел три его стихотворения по заказу «Всемирной литературы».

[4] Настасья (Анастасия) Львовна *Баратынская*, жена Е. А. Баратынского. Вероятно, имеется в виду ее ответ на статью Ив. Головина памяти Е. Баратынского. Впервые опубликована Г. Хетсо в сб.: Scando Slavica (T. 10. Copenhagen, 1964). Пастернак мог знать выдержки из этой заметки по биографическому очерку в издании: Евг. А. Баратынский. Сочинения, М., 1869. Рукопись А. Л. Баратынской — РГАЛИ (ф. 51, оп. 1, ед. хр. 200).

77. С. П. БОБРОВУ

2–8 августа 1913, Молоди

2. VIII. Молоди.

Дорогой Сергей! Ты узнаешь мой почерк на конверте, но мое письмо разочарует тебя, оно не будет о Вертоградарях, но только о Cinema, не больше.

Мне хочется или, лучше, приходится ухватиться за эту возможность заработка[1], потому что иные еще дальше от истинного моего призванья, чем эта. И я до сих пор радуюсь этой счастливой случайности и тому, что ты будешь ее виновником.

Мне хочется написать тебе сейчас о той стороне кинематографа, которая позволила бы мне искренно и без всяких сделок с совестью поставить его выше театра и служить ему. Если можешь, выслушай меня внимательно, а я постараюсь быть точным. Конечно, драма в «Кине», драма людей или артистов, настолько же мало — искусство, насколько она мало — жизнь или презренная действительность в театре. Кинематографическая драма есть движущаяся фотография с десятка людей, занятых своим актерским ремеслом, но не фотография драмы. В драме ведь существенна игра вокруг некоторого лирического равновесия известной среды; поэтому кинематографический фильм фотографирует второстепенный естественный элемент, а никак не драматическое в драме. Если подвижной объектив запечатлевает пантомиму на сцене, то на пленке получаются ведь просто невнятные слова, а никак не глагольные движенья. Словом, с людьми дело плохо. И вот я обращаюсь к главному, на мой взгляд, преимуществу кинематографа.

Драматичнее всего сцена; сама сцена, момент борения подмостков с зрительным залом, или реальности идеи с темным простором, в котором разменивается, в котором получает свое осуществление замышленная ценность идеи[2]. И как это ни странно, этот момент, момент драматизма самой сцены, остается не использованным на сцене, и в самом деле, как было бы его ввести в построение трагедии? Романтики, с их метеорическим появленьем

автора из-за кулис, преследовали, и ты понимаешь, неудачно, именно эту, быть может, цель. Мы, вдоволь изучившие зарожденье лирического всхода с отпечатком личности на нем, мы слишком хорошо наблюдали, как заверчен и поддержан он окружным водоворотом, еле замеченным, оставшимся без названья и сейчас же нами забытым. Ты поймешь меня, если я назову действительность, и действительность города предпочтительно — лирической сценой как раз в том смысле, о котором я говорил. Именно; город как сцена состязается и входит в трагическое соотношенье с пожирающей нас аудиторией Слова или Языка. Партеру предвечного Слова вольно думать, что его потрясение вызвано нашей игрою — жизнью, созерцаемой и постигаемой им. Между тем зрительский экстаз Слова (искусство) вызван тем, к чему у него нет никакого доступа: бессловесной иррациональной материей, к которой мы пригвождаем его око (его значение) тем, что сосредоточиваем в ней свое, сродное ему, движение. А вслед за тем, за движением нашим и явилось сюда слово, чтобы вперяться в него и его понимать.

Перемещенье цели, напряженье, самообман, — эти или подобные им обозначенья мне хотелось бы поставить на манометре лирики. Ты понимаешь, я говорю не об обстановке, не о действительности и даже не о природе, но о тех бортовых колках, которые натягивают и возносят основную мачту лиризма, в которой ветер поет только оттого, что он пленяется ими и остается заточенным в снастях.

Кинематограф должен оставить в стороне ядро драмы и лиризма — он извращает их смысл; мне уже ясно почему, скажу ниже. Но только кинематограф и способен отразить и запечатлеть окружную систему ядра, его происхождение и туманность, и его ореол; а только что мы видели, что эта оболочка зерна и есть центральная драма сцены. И следовательно, кинематограф может схватить первостепенное в ней потому, что второстепенное ему доступно, и это последнее есть то первое. К счастью, кинема<тограф> извращает ядро драмы потому, что он призван выражать ее истинное — окружную плазму. Пусть он только фотографирует не повести, но атмосферы повестей. И с другой стороны, пусть его виды будут видами, которые созерцаются драмою в них.

Тогда будет основанье искать нам имена для десятой музы.

Прости за беспорядочность и поцелуй Николая[3].

Что ты думаешь об этом?

Твой Б. Пастернак

P. S., разделенный неделею.

Это письмо лежало 8 дней; все же я пошлю его, может быть, тебе достаточно будет одного этого неудачного намека, чтобы понять мою мысль. Ответь мне скорее и сообщи о деле. К 15-му буду и я в Москве.

Впервые: Собр. соч. Т. 5. — Автограф (РГАЛИ, ф. 2554, оп. 2, ед. хр. 563).

[1] Возможно, эти рассуждения о специфике кинематографа возникли в ответ на опубликованную в журн. «Вестник кинематографии» анкету об отношении писателей к кино. Не исключено также, что Пастернак думал о какой-нибудь работе в кинематографической фирме.

[2] *Момент борения подмостков с зрительным залом* лег в основу стих. Пастернака «Гамлет»: «Гул затих. Я вышел на подмостки...» (1946). Ср. также в «Апеллесовой черте» (1915): «...в жизни сильнее всего освещаются опасные места: мосты и переходы. Какая резкость! Все остальное погружено во мрак. На таком мосту, пускай это будут и подмостки, человек вспыхивает, озаренный тревожными огнями, как будто его выставили всем напоказ...».

[3] Н. Н. Асеева.

78. А. Л. ШТИХУ

Август 1913, Молоди

Дорогой Шура! Я тебе начинал несколько писем. Но высказав то, что мне хотелось высказать о твоих стихах, я прерывал их; потому что не мог писать дальше. Если я начну это письмо так же, как и те, его ждет тот же конец. Но вероятно на свете все-таки творятся чудеса и ты, быть может, не знаешь, не знаешь сам и ждешь этого вразумления от меня: что твое: «когда осенние непогоды с земли срывают цветной убор»[1] не кончается собой, и как-то бесконечно означает собою целый край лиризма, особый, как есть особые тональности и особые произведения, выдавшие эти тональности как *свои* тайны, а не как лозунг с таким-то и таким-то числом диэзов, лозунги общие творчеству многих. Вот как действует твое стихотворение. Не делай из этого опасных заключений! А то ты меня заставишь анализировать вещь и я скажу тогда, что не все стихотворение, а только отдельные строки его, и даже не строки, а их ритм... Но ведь в этом-то и сила непрерывности в искусстве, что глубина хотя бы одного элемента только — есть показатель дна всей области. Мне было так хорошо от твоих стихов. Какое-то болезненное наслаждение отдаться их потоку. «...Откликнись, светлая сестра... я дымный факел зажигаю». А потом этот вечер, который «сплав молчания скует» из зари! Мне не хо-

чется взять из стола твоего листка, я помню и, кажется знаю настроение этих стихов; если бы я положил их сейчас перед собой, я, разумеется, написал бы тебе больше; но мне именно не хочется этого делать — а то я превратил бы их в «тексты», которыми бы я критически вдохновился. Но я все же вдохновляюсь иначе, не как критик. И не ими, а настроением, которое их создало; лучше живой религией, практикой их, — аскетизмом, который в них вооружается ритмом.

Да, вот чем я вдохновляюсь в них, а затем и человеком, который как шов ведет через них. Так вот все кончается тобою; так странно, не по-дружески, не человечно даже: мне нужно употребить какое-то усилие чтобы поверить, что тебе нездоровится. Но это лучшее, что я могу почувствовать к человеку.

Приезжай же скорей в Москву. Я тоже туда скоро поеду.

Вот все, что я могу сделать: писать о тебе. Но чем дальше, тем мне делается все грустнее. И это серьезно.

Прощай дорогой.

Напиши мне еще сюда, я прошу тебя! И знаешь о чем? О творчестве жизни, о том, что ты назвал не усложнением, а развитием линейных движений. Я тебя понял только общо; мне кажется, ты можешь что-то интересное сказать по этому вопросу. И потом, какие это искания идут в этом направлении. Назови их мне, меня это очень заинтересовало. Пиши только о себе.

Впервые: «Россия». Venezia, 1993, № 8. — Автограф (РГАЛИ, ф. 3123, оп. 1, ед. хр. 35). Датируется по содержанию.

[1] Здесь и далее приводятся строки неизвестных стиховорений А. Л. Штиха; позднее автор собрал свою книгу стихов (1916), но цитированные здесь не вошли в нее.

79. А. Л. ШТИХУ

Начало сентября 1913, Москва

Милый Шура! Мне не хочется держать этой книжки сейчас у себя[1], когда я не могу как следует читать ее за неожиданно занятым временем; ведь за умирающим садом в ней следуют странички, которые ждут дальнейших записей и неохотно остались бы у меня до 15 сентября, конечного срока моих испытаний[2]. Конечно, я прочел ее; но я бы хотел лучше вчитаться, и надеюсь сказать ей до свидания только. Ты ведь опять дашь мне ее в руки? О некоторых стихах, вроде: «...Зачем вам далекое небо, — о люди», мне

хотелось бы поговорить с тобой. В них часто интересные и нужные мысли, красиво высказанные, напрашивающиеся на трактат в духе Рескиновских писаний. Но это не стихи, они не решаются быть стихами по соседству с другими, как хотя бы то, что следует за этой образной идеологией. — Это действительно замечательно певуче: «Я знаю, что образ каждый возникший в душе моей... Усталую грудь — Я знаю».

При всей углубленности мысли — это музыка, в особенности эта пауза и повторное «Я знаю». Сейчас в моем отсутствии был Анисимов и провел 20 деятельных минут за моим письменным столом, на котором куча чернового мусору, не ожидавшего посещений.

Впервые. — Автограф (РГАЛИ, ф. 3123, оп. 1, ед. хр. 35). Датируется по содержанию.

[1] Речь идет о самодельной книжке стихов А. Штиха, некоторые из которых Пастернак далее цитирует в письме.

[2] По-видимому, срок сдачи в типографию книги «Близнец в тучах». В письмах С. Боброву 21 и 25 сент. Пастернак вносит новые исправления (стих. «Вокзал») и добавления («Лирический простор»).

80. Н. В. ЗАВАДСКОЙ

25 декабря 1913, Москва

«Может быть, Вам захочется ответить мне...» — о какая жестокая мысль! Вот дата: 25 декабря. Вы сейчас представите себе вечер после визитов, отравленный чувством досады, назойливое желание остаться наконец одному — и вообразите: 25 декабря, не накануне или неделей раньше, этому человеку захотелось писать. И Вас покинет личный Ваш опыт, и Вы забудете, что написали лишь тогда, когда желание писать не стало мешать Вам. Оно мешало мне. Вы уже измерили, вероятно, его продолжительность. Простите, пожалуйста, мне не пришлось скрыть его от Вас, и Вы его вволю изучили. А теперь... Веселые ли у Вас праздники? Да? Тогда я Вас понимаю. Так наступало для меня Рождество в прошлом году. Нет? Тогда я тоже понимаю Вас. Так сказались для меня Святки нынешний раз.

Платон где-то сравнивает движение идей с полетом голубиной стаи. Есть какой-то жизненный период, когда эти голуби — почтовые. Недавно я думал, что иначе и быть не может. Что всякое бесцельное скитание, о котором пишете и Вы, заставит тебя к

вечеру, в отсутствие господина всей этой жизни, прямодушного дня, заменить все те имена, которые он дал своим предметам, теми, которые грозят им в твоем скитании. Что в странном этом занятии, когда метафоры разгоняют действительность и заставляют ее проплывать как будто явь. Это такой мир, в котором чей-то взор блуждает навсегда, и смешивает, и сгущает краски до последнего предела бесцветной черной; всеми тонами насыщенной, и острой простотою насыщенной были, — что в странном этом занятии ты отыщешь самую щемящую загадку, — которую разгадываешь не раз, каждый раз по-новому, а потом и не разгадываешь уже, а просто, теснимый потоком уже данных решений, захлебываешься ими, уступаешь им, и, сами от себя, прибавляются новые и новые, и эти уже звучат как жалобы, и вот она — целая череда рокочущих мыслей, излитых загадочным родником — живое зрелище творчества, загадавшего себя и себя разрешающего. Тогда зовешь свидетеля, который разделял бы твое восхищение. Тогда, еще более того, быть может, вызываешь собеседника, для того чтобы говор этой тайны лег между тобою и им, в ваших речах. Так, мне казалось, что голуби Платона — почтовые голуби, что не может быть иначе[1]. Но как-то изменилось все. Как жаль, что Вы позвонили мне в этом году! Вы и не знаете, как страшно Вы опоздали![2] Образ дилетанта казался мне всегда соединением шаржа с нетленностью нимба. Потому что там, где художник — герой, дилетант — подвижник, и где, снова, художник — герой, дилетант — рыцарь Ламанча. Я перестал задумываться о том, о чем нельзя не думать. Об едином, всегда тожественном смысле всякого художественного движения, всякого, дарящего окраску прикосновения, всякого, наконец, лирического замысла, этого единственного желания, которое исходит не от тебя, но тебя окружает и, суживаясь и умаляясь, становится твоим собственным. Так идет, вдохновляя тебя, к тебе навстречу — лирический горизонт — окружившего тебя желания.

Я перестал об этом размышлять: это — размышление дилетанта. Оно-то и сияет над ним ореолом святости и чистоты.

Надо кончить. Это письмо до глупости громко написано. Где и как Вы станете его читать?

Нужно ли прибавлять мне, какую неожиданную, глубокую радость доставили мне Ваши строки. Если это не ответ на них, простите великодушно. Вероятно, я и не умею отвечать. Посылаю Вам книжку[3].

Я был бы очень огорчен, если бы Вы отказали мне в ответе. Мне хотелось бы знать Ваше искреннее и свободное мнение о

«Близнеце». XI-ое стихотворение объясняет заглавие или, по крайней мере, — ответственно за него[4]. Уверяю Вас, пределы книжки — мои собственные пределы. Не будьте снисходительнее ко мне, чем к ней. Это мучительно и даже обидно.

Ваш Б. Пастернак

Впервые: Собр. соч. Т. 5. — Автограф (собр. Н. В. Завадской).

Н. В. Завадская, впоследствии жена К. Г. Локса, познакомилась с Пастернаком в 1913 г., позвонив ему по телефону.

[1] Сравнение идей, точнее, знаний с полетом голубиной стаи взято из диалога Платона «Теотет». Издание книги становится таким же способом передачи мыслей читателю, как и почтовые голуби.

[2] Эти слова объясняются тем, что выход в свет первой книги переводил Пастернака в ранг профессионала, а в своем телефонном разговоре с Пастернаком Завадская назвала себя дилетантом, который, по ее мнению, лучше понимает чужую поэзию, чем профессионал.

[3] Книгу «Близнец в тучах» Пастернак подарил Завадской с такой надписью: «Нине Всеволодовне Завадской — первый камень для ее таинственной кладки — С нерешительностью — Б. Пастернак».

[4] Стих. «Близнецы» («Сердца и спутники, мы коченеем...»).

81. М. Ф. ФРЕЙДЕНБЕРГУ

Конец декабря 1913, Москва

Дорогой дядя Миша!

Вот явился наконец повод заговорить с Вами из того почтительного и смущенного далека, в котором я всегда находился относительно Вас. Вы помните те беспомощные и стесненные движения, в которых выражалось мое восхищение перед Вами, когда я как-то вечером оказался в Вашей квартире вместе с Олей, вернувшейся от нас[1]. Сейчас, позволяя себе говорить Вам все это в глаза, я знаю, что добровольно себя обрекаю на величайшую в мире пошлость. Но Вы так странно, таким особняком стоите в жизни, — и такими необычными сумерками собирается она вокруг Вас, что это дает какую-то решимость нарушить установленные формы в обращении к Вам.

Я с какою-то благодарностью думаю о Вас. Мне будет трудно объяснить Вам это, в особенности, если Вы сочтете все, что я скажу Вам сейчас, одним из тех видов метафизики, на которой не стоит останавливаться со вниманием. Итак я за что-то глубоко и исключительно благодарен Вам.

Вы заметили, как жестоко мы платимся во вторичных встречах с людьми за то, что в нашем сознании они стали прошлыми,

наполовину сказочными? Но замечательно, что и при первых столкновениях мы могли бы предсказать это предстоящее разочарование. Дело не в качествах людей, которые соответствуют или не соответствуют нашим представлениям о них. Но дело, может быть, в особом даре нескольких редких людей, который я бы назвал даром времени.

Люди захвачены настоящей минутой, которая никому не принадлежит и обнимает их общей бесцветною средою «данного времени» — действительности. Непрерывно наступает все новое и новое настоящее, столь же мало принадлежащее кому-либо, как случайность, постигшая без различия всех. И только прошлое повидимому множится в интимные ряды.

Однако, я встретил несколько личностей, которые как бы дышат своим собственным временем, у которых показания их часов, может быть, только — уступка общественному порядку[2]. Что это означает? Это означает, во-первых, некоторую черту бессмертия, проникающую их движения. И затем это говорит о какой-то одинокой их близости со своей судьбой. Судьба эта нисколько не порабощает их. Но она как-то неизменно родственна им, как близнец — обязанный тому же, как и они, происхождению. Это какая-то уж судьба самой судьбы — быть их судьбою.

Такие люди могут быть примерами, на которых можно наглядно развивать религиозность. Присутствие этих людей как-то прерывает действительность, относительно их разочарование невозможно: с ними говоришь и уже как будто воспоминание твое повествует о них, вероятно потому, что они никогда и не вступали в безразличную среду общего настоящего. —

В таких выражениях трудно дать об этом представление. Гораздо счастливее была бы попытка жизненно или художественно запечатлеть свой энтузиазм перед ними. И если бы такая задача была по силам мне, я неизменно думал бы о Вас.

Я думал бы о том, как невозмутимо и с каким странным неведением об этом завладеваете Вы тем хаотическим и близким к грезе впечатлением, которое оставляет по себе Петербург, как город — дух.

И о том, как словно выполняя какое-то недошедшее до нас предписанье Бальзака, фантазируете Вы над своими станками, вечером, с бескровною пустою далью окна за спиной.

И о том, как заражается этой, драматически разыгранной Вами жизнью мир предметов вокруг, вся эта тайна обстановки и комнат.

Может быть, нужны живые имена для того, чтобы связывать с ними пережитое. Вы не можете и представить себе, как легко и вольно моему прошлому вместе с Вами. Вот за что я хотел Вас благодарить.

Безделицы, которые прилагаются при сем, относятся к тому счастливому времени. Так досадно встречать эти запоздалые осуществления того, что было уже готово годы тому назад и было пресечено по собственному легкомыслию, вместо того, чтобы развиваться[3].

Преданный Вам Боря

Дорогая тетя!

Вы вскользь и меня назвали... Так с Новым годом же Вас!

Впервые: Переписка с О. Фрейденберг. — Автограф. Письмо не было отослано.

[1] Воспоминания о возвращении в Петербург из Меррекюля в августе 1911 г. (см. письмо № 23).

[2] Эти слова относятся к самому М. Ф. Фрейденбергу, талантливому изобретателю.

[3] Речь идет о стихах книги «Близнец в тучах».

82. К. Г. ЛОКСУ

11 января 1914, Москва

Дорогой Костя! Пересылаю Вам отрывок из письма Китса к Рейнольдсу, движимый сходством его мыслей с Вашим собственным образом жизни. Простите за безвкусицу перевода, которую можно объяснить себе крайней поспешностью чтения (книгу нужно вернуть через два часа).

«Дорогой мой Рейнольдс!

У меня явилась мысль, что человек мог бы провести жизнь в сплошном наслаждении такого рода: — пусть он прочтет в один прекрасный день какую-нибудь страницу, исполненную поэзии или отрывок утонченной прозы, пусть он отправится затем бродить без цели, не оставляя мысли об этой странице, пусть он согласует с нею свои мечты, размышляет о ней, сживается с ее жизнью, пророчит, на ней основываясь и видит ее во сне... как сладостно будет ему это... усердное бездействие... И никогда скупое это пользование благородными книгами не будет каким-то видом неуважения к писателям. Потому что почести, оказываемые людьми друг другу — быть может одни пустые безделицы в срав-

нении с благодеянием, совершенным великими творениями при их только пассивном существовании. Память не должна почитаться познанием. Многие, этого не подозревая, имеют самобытный ум, — они сбиты со своего пути Привычкой. В последнее время мне кажется, что каждый может, подобно пауку, выткать изнутри, из самого себя, свою собственную воздушную цитадель»[1].

Затем он говорит о том, что своеобразие каждой души при таком неуклонном удалении от соседней грозит уделом полной непонятности. Но опасность эта — только мнимая. Доведя свою исключительность до абсолютных размеров, каждый в этой абсолютности встретит однажды покинутого соседа.

Следуют две наивных строчки, которые хотят уверить Вас, что эти мысли были подсказаны поэту в одно весеннее утро неугомонным дроздом, избавившим его от бесполезных угрызений совести.

«Он сказал мне, что я прав давно уже не дотронувшись до книги.

О ты, с единой книгой из лучей,
Что тьму заветную питали, ночь за ночью,
Да будет день тебе тройной зарей...
Не требуй знания — нет знанья у меня
И все же песнь мою исторгло зноем
Не требуй знания — нет знанья у меня
И все же вечер внемлет...
. . . . . .
Тот бодрствует, кто мнит себя во сне...»

Теперь я знаю, кто вы такой. А затем, обнявшись с Вами, напоминаю Вам, что завтра, в 5 ч. мы увидимся у Анисимовых.

Ваш Боря

11.I.914

Впервые: «Минувшее», № 13.

[1] Письмо Джона *Китса* своему другу поэту Дж. Г. *Рейнольдсу*, автору «Садов Флоренции», датируется февралем 1818 г. К нему приложено знаменитое стихотворение дрозда: «O thou whose only book has been that light / Of supreme darkness, which thou feddest on / Night after night, when Phoebus was away! /To thee the Spring shall be a triple morn. /O fret not after knowledge! I have none, / And yet my song comes native with the warmth / O fret not after knowledge! I have none, /And yet the evening listens. He who saddens / At

thought of idleness cannot be idle. / And he's awake who thinks himself asleep». В дословном переводе Пастернака выпущена предпоследняя строка. Весной 1941 г. Пастернак написал свое собственное стих. «Дрозды» и закончил его строфой, непосредственно связывающей рекомендации Китса по поводу *усердного бездействия* с образом жизни художественной богемы, который был близок Локсу: «Таков притон дроздов тенистый. / Они в неубранном бору / Живут, как жить должны артисты. / Я тоже с них пример беру».

83. К. Г. ЛОКСУ

27 января 1914, Москва

Дорогой Костя! Все же Вы бы, может быть, урвали часок, чтобы лично зайти к Юлиану[1]. Резкость записки, отправленной ему, никак не имеет целью нанести ему новое оскорбление: я хочу, чтобы извинение с его стороны, которое могло бы послужить одним из двух, одинаково для меня желательных разрешений этого столкновения, не было подачкой разжалобленного оскорбителя. А так как в подобных случаях линия, разделяющая этот вид удовлетворения от полного и безусловного, стерта до неразличимости — пробным камнем полноты извинения будет служить тон независимости моей записки.

Ссылка на якобы подразумевающееся безмолвное заявление подобного же рода по адресу С. П. и Николая[2] никуда не годна, и лучше бы Юлиан не утруждал себя такою попыткой объяснения. Посылать подлеца одному отдельному человеку, опираясь на безмолвное убеждение в том, что все люди сплошь подлы, не значит устанавливать справедливое согласие и равенство между своими ближними.

Я не знаю, как быть с тем роковым, противоречащим истинному положению дел недоразумением, которое выросло на почве моего последнего посещения Анисимовых, когда и самая мысль о выходе казалась мне обидною для них и ввергала в состояние крайней нерешительности.

Так же как и встреча с Мешковым[3], лишний раз подтвердившая мне коренную, непоправимую чужеродность мою в глазах многих и многих, и фанфара того весеннего дня, пробудившая во мне чувство гордости и раздражения, и последовавшее за тем подписание «декрета», поступок, которым я хотел опровергнуть позорную славу вечной тихости и смирения затравленной касты, так же, как и вечное колебание мое в глазах Сергея, который воспри-

нимает Юлиана под никогда недопустимым для меня углом художественного ничтожества[4] (да Вы и сами ровно год тому назад были свидетелем того, как я разошелся с ним, а затем вслед за этим и с Вами в своем мнении о нем), — все это сознание только обостряет для меня сознание низкой несправедливости оттуда: им не пришлось выбирать, им слишком хорошо запомнился образ того колеблющегося, которого остановил первый безобидный шаг и первая неловкая ситуация в собрании, когда казалось претенциозной бестактностью обращать общее внимание на себя и чудилось в этом притязание на краеугольную значительность собственного положения.

Все это, говорю я, принадлежит мне: эти мысли занимают меня сейчас, когда у меня так много свободного времени и так мало охоты чем-либо заняться.

Юлиану, может быть, и не следовало этого говорить. Да, конечно, иначе призрак разжалобленности опять перейдет мне дорогу. Но Вы, может быть, охватите значительность настоящей минуты и Ваше обычное великодушие подскажет Вам, что записки недостаточны в данном деле и Ваш личный визит в Ржевский[5] редкостно неизбежен. Я понимаю докучливость моей просьбы слишком хорошо, чтобы не страдать вдвойне за все это.

Но Юлиан должен знать, что я нуждаюсь в немедленном и ясном и исчерпывающем инциденте до конца извинении. Обращение к человеческим чувствам здесь недопустимо; мой характер, мое рождение и тысяча других причин обратили бы такое движение в черту оскорбительной слабости. Да такое движение и невозможно сейчас: вот отчего я и предоставляю на Ваше всецело усмотрение, знакомить ли Юлиана с истинной подоплекой того моего посещения и настоящим побуждением, внушившим мне мысль подписать такой, — абсолютно официальный, ни к кому в отдельности не обращенный вызов[6]. Передряги последнего года, оскорбительный тон отдельных стилистически-этнографических замечаний[7] и, наконец, встреча с Н. Мешк<овым> таковы, что, должен признаться, моя подпись не только *не подделана*, но она с такою же правдоподобностью могла бы быть *единственной* подписью под этим листом, обращенным к неопределенно хилому — келейно подьяческому целому. Жаль только, что Сергей не был в числе адресатов и что Вы не были исключены из этого числа, рядом с Николаем. Все это может остаться в стороне от Юлиана.

Немедленное извинение, которое должно было бы последовать *сегодня же*, настолько это вопиюще нелепо и противоестественно и как-то не может быть поддержано живым днем да еще и следующим. Или же, в противном случае, обращение к «полю»[8], что необыкновенно освежающе отразилось бы на нестерпимом застое последних недель. Кстати, я этим настолько не шучу, что в случае отказа Юлиана и по этому второму пункту я считал бы свои предположения о действии по наименьшему сопротивлению доказанными во всей разительности такого доказательства.

Простите за это излишнее многословие; мне не хочется перечитывать написанного, и Вы встретите здесь следы ненужной рассеянности. Поторопите Юлиана.

Я, конечно, и не думал посещать их после происшедшего. Да и возможно его извинение нисколько бы не изменило моих намерений на этот счет. Но единственно возможная наша встреча должна произойти не дальше 29-го. Завтра, может быть, я на день отправлюсь в деревню. К вечеру извинение должно быть готово. Я был бы благодарен Вам за *такое* посредничество. Юлиан передаст Вам письменное извинение. Николай готов на посредничество в другом деле, он видел меня и знает, что отговаривать меня от этого бессмысленно и бесполезно[9].

Целую вас

Ваш Боря

Впервые: «Минувшее», № 13. — Автограф.

Письмо было послано с нарочным и не имеет почтового штемпеля на конверте. Датируется по упоминанию 29 января как последнего срока для встречи. В конверт вложена отдельная записка, написанная на визитной карточке Пастернака: «Дорогой! Не откладывайте этого дела в долгий ящик, и как только сможете (неужто этого нельзя сделать тотчас же после Вашего обеда), сходите к Анисимову; он должен знать, что и моя записка дань уважения к нему, что я не могу шутить с ним, как когда-то можно было шутить с Шершеневичем. В 3 ч. — $3^1/_2$ мой телефон 1-37-57, с 4–7 ч. — 5-39-03, и вообще я дома в это время, 7 до 8 — 5-05-09 и затем снова дома».

[1] Ю. П. Анисимову, оскорбленному «декретом» 22 янв. 1914, составленным по инициативе Боброва, в котором Асеев, Бобров и Пастернак, ссылаясь на «пассеистические, антихудожественные тенденции» в книгоиздательстве «Лирика», вынесли решение о его упразднении и образовании «Временного экстраординарного комитета “Центрифуга”».

[2] Бобров и Асеев.

[3] Поэт Н. М. *Мешков*, участник «Сердарды» и литературного салона Л. Н. Столицы, друг Дурылина, автор двух поэтических книг. В рецензии

на книгу его стихов «Снежные будни» (М., 1911) В. Ходасевич характеризовал ее как скучную, «от которой зевается» и которая ничем не может взволновать читателя («Московская газета», 2 сент. 1911).

[4] Позднее Пастернак писал об этом: «Мне были по душе супруги Анисимовы, Юлиан и его жена Вера Станевич. Невольным образом мне пришлось участвовать в разрыве Боброва с ними» («Люди и положения», 1956).

[5] Анисимовы жили в доме на углу Ржевского переулка и Бол. Молчановки.

[6] То есть подписание «декрета» об упразднении группы «Лирика».

[7] Имеются в виду бестактные придирки Анисимова к особенностям поэтического стиля Пастернака, воспринятые им как антисемитские. Ср. слова из письма Релинквимини к Гейне в «Апеллесовой черте» (1915): «...вскользь и туманно пройдясь насчет племенных и кровных корней поэзии...».

[8] Имеется в виду вызов на дуэль.

[9] Н. Асеев согласился быть секундантом на дуэли. Анисимов принес извинения, дуэль не состоялась.

84. Н. В. ЗАВАДСКОЙ

1 февраля 1914, Москва

...Нет, серьезно, это не письмо, как видите. Еще раз перечел Ваше. Писать Вам о себе, о книгах. Не знаю, проводил ли я когда-нибудь время так позорно бессодержательно, как последний месяц. Но теперь мне хочется снова работать. И, как всегда бывает в такие минуты, я доведу мое рабочее настроение до последней границы педантизма, с числом рабочих часов и постоянной ложью на устах прислуги о моем отсутствии при всяком посещении друга. Это ли не ответ на Ваш вопрос, что я думаю делать? Иногда (эти полосы длятся по несколько месяцев) с чувством стиха срастаешься как с органом каким-то. Каждую лирическую мысль слышишь уже стихом и тогда нет перехода между образом и исполнением. Когда это чувство оставляет меня, я совершенно бессилен и никуда не гожусь. Сейчас я как раз в этой печальной фазе. Этим Вы объясните себе и тот однообразный мотив скучных причитаний о себе самом, который, против моей воли, заполнил собою все письмо. А сейчас наступает ожидание, самое тяжелое на свете чувство. Сократите его, умоляю Вас на этот раз.

Б. П.

Впервые. — Автограф (собр. Н. В. Завадской). Начало письма потеряно, датируется по почтовому штемпелю на конверте.

85. РОДИТЕЛЯМ

10–12 мая 1914, Петровское на Оке

Дорогие мои! Вот уже третий день, как я здесь[1]. Мне всю жизнь, видно, суждено одни и те же чувства испытывать при переезде из города в деревню, и неизменно те же письма в таких случаях писать. Снова — чувство странного онемения, утрата способности выражения, какого-то кризиса, который переносишь из года в год и который ежегодно снова кажется непреодолимым. В городе последние дни мне хотелось писать, и я кое-что сделал, по-своему, по-новому, со всею резкостью удачи. Когда с Юр<ием> Каз<имировичем> вдвоем, сидя в вагоне-ресторане, мы говорили о предстоящей работе, и он, подтвердив мне свое предложение — переводить сейчас же по приезде Клейста, прибавил, что к осени, буде окажется время, он думает писать совместно со мною, под общим псевдонимом, оригинальную драму на сюжет из цикла легенд о короле Артуре, для Малого театра, — во мне еще свежо было то самочувствие, с которым я покидал Москву, и это предложение, которое мне в другое время должно было бы польстить, я принял как нечто должное. Между прочим, все это, конечно, секрет. Кстати, говорили о футуристах, он знает и признает Маяковского, как «подлинное дарование». Вообще Ю. К. заводит со мною разговоры самого красного характера.

Насколько город спокойнее любого солнечного полдня в природе! Господи, что может быть тревожнее этой зеленой неги и ее таинственности. Нет, — природа — для отшельников, и надо обладать всеми условиями такого одиночества, чтобы продумать до конца хотя бы одну единственную мысль, вызываемую природою.

Я еще с Жоржиком не занимаюсь. Он презанятный мальчик, импровизирует целые комические сцены, вроде Лидочки, которую вообще во многом напоминает. Мое письмо придет вероятно в самый разгар того периода, когда берегут от осложнений[3]. Воображаю, как мама измучилась!

Но не думайте, чтобы мне слишком сладко было. Пока еще я — гостем у Балтрушайтисов, послезавтра начну заниматься с Жоржиком, они прекраснейшие люди, ничем не стесняются и никого не стесняют. Но Клейст труден чертовски[3], и эта работа лишена всякой художественной прелести, комедия несколько однообразна, совершенно лишена достоинств лирических (красоты стиха), ее соль — в почти до слога Jugend или Simplicissimus'а[4] доходящем просторечии; коренной народный, непривыч-

ный немецкий говор. Как первая работа, она вряд ли удастся мне, хотя посмотрим. Мне надо заработать денег на осень — вот и все.

Как здоровье папы? Целую всех крепко-крепко, сейчас же телефонируйте Шуре и Жоне, и пусть они напишут мне несколько слов о здоровьи Лиды, о папе и тебе, мама, и вообще, о фактах.

Мой адрес. Ст. Средняя, Сызрано-Вяземск. ж. д. имение Бер, дача Балтрушайтис.

Впервые: «Знамя», 1998, № 4. — Автограф. Датируется по содержанию.

[1] Поэт-символист Ю. К. Балтрушайтис пригласил Пастернака на лето в Петровское домашним учителем его сына Жоржа.

[2] Младшая из сестер Лида болела весной корью; чтобы обезопасить других детей от заражения, Шуру и Жоню перевезли к знакомым.

[3] По поручению Балтрушайтиса, заведовавшего литературной частью организующегося Камерного театра, Пастернак должен был переводить комедию Г. Клейста «Разбитый кувшин».

[4] Немецкие сатирические журналы второй половины прошлого и начала XX века.

86. РОДИТЕЛЯМ

15–16 мая 1914, Петровское на Оке

Дорогие папа, мама!

Вас не должен смущать этот mélange* действительного чутья, напускного пуризма и самого откровенного недомыслия, — окрошка, без которой критика невозможна[1]. Что касается той чуткости, с какою неизвестный мне рецензент уловил основную мою особенность, — оригинальность и импрессионистичность, мою возбудимость, — я сильно подозреваю, что сделано это не по доброй воле, а по принуждению, — дело в том, что за этот год я стал известен в молодых кругах Москвы литературно, то есть не по знакомству, а так, что меня знают и говорят обо мне люди не знакомые мне и к счастью, остающиеся незнакомыми. Кроме того, дело не обошлось, вероятно, и без указания Брюсова. Надо еще прибавить, что этот «корреспондент», судя по псевдониму «Оаз» (оазис) принадлежит к кружку, имеющему выступить со своим альманахом и несколькими сборниками в наступающем сезоне. Один из обитателей этого оаза попался мне на глаза у Брюсова и изо всех сил зазывал меня в свой кружок. Это сообщество, однако, настоль-

* смесь (*фр.*).

ко уже даже издалека отдает бездарностью, что я самым непринужденным образом отказал ему в этом. Что касается до небрежности образа

«Висел созвучьем Скорпиона
Трезубец вымерших гитар»[2],

и вообще перечисленья подобных же неловкостей, то тут критик только хвост свой показал, чтобы не сказать этого по-немецки «den Pferdenfuss»*). Именно эта строчка и содержит в себе то, что он хвалит во мне, и настолько пластична, что ее-то именно я и выбрал, когда пришлось однажды читать перед Сологубом[3], и начал с этого Венецианского стихотворения о городе, где чуткость достигает того предела напряжения, когда все готово стать осязаемым и даже отзвучавшее, отчетливо взятое арпеджио на канале перед рассветом, повисает каким-то членистотелым знаком одиноких в утреннем безлюдьи звуков  [4]. Зато прав рецензент, журя меня за смешение стилей, и то, что он о стр<очке> «главою очертя»[5] говорит, тоже правда, хотя я не нуждался в его пояснениях и сам колебался, оставить ли мне это неправильное выражение в том виде, как оно мне, может быть, именно благодаря неправильности — нравилось, или же исправить его. Асеев, чуткий до всего этого, отсоветовал мне исправлять его. Прозаизм? Это он тоже уловил. Но это не прозаизм, а некоторый холод книжки, и признаюсь, вынужденное, мне не свойственное благообразие и умеренность ее.

Все, что я делал давно когда-то, показалось недопустимо революционным, опрокидывающим все понятия о стихе моим первым судьям, товарищам, из которых не один теперь, когда стало ясно, что если и тлеет где еще искра Божья, то только по временам в лагере футуристов, — потянулся к ним, нарвавшись сразу же на оскорбительное осуждение за поверхностно притворную новизну. Теперь, когда я многое над собою сделал, вроде того, что делают хлысты, — теперь какой-нибудь Серг. Павлович, ярый враг футуризма и противник моего жанра в прошлом — сейчас же странный претендент на звание новатора и корреспондент Marinetti, теперь С. П. Бобров печатает: книжка исключительная по дарованию автора или что-то в этом роде[6], или выслушивая мнение Брюсова обо мне, передает мне его в таком виде: Брюсов больше всего от нас троих ожидает.

---

* лошадиное копыто (*нем.*).

Я думал, что содеянное уж непоправимо. Однако свежая вдохновенность и вечная непривычность и новизна природы, которая ежегодно начинает снова, внушают мне надежду, что всю эту официальную патетичность, идущую от классиков, которые ее создавали, держали на своих плечах и которая только в таком происхождении была живой художественной правдой, — что ее можно стряхнуть с себя, да она и едва-то держалась на мне.

Моя новая книжка стихов должна быть свежею, что твой летний дождь, каждая страница должна грозить читателю простудой, — вот как — или пусть ее лучше и не будет никогда.

Перевод Клейста труден до невозможности. Сжатый Клейстовский язык, каждому односложному немецкому слову соответствует русское трехсложное; народный говор, шутки, ругательства, лукавые словечки, речь брызжет немецким юмором. Тройная по меньшей мере трудность: русская строфа постоянно перерастает немецкую (свойство русской этимологии, суффиксов, словообразования и т. д.), непереводимая игра на словах вроде: entscheiden и geschieden* и т. д. чуть ли не на каждом шагу. Звукоподражательный характер некоторых реплик: сварливая Марта, перебраниваясь с Фейтом, которого она подозревает в сокрушении кувшина, подхватывая Фейтовы слова и теребя их во все стороны, будто... икает на словах, я иначе не могу выразить этого свойства ее речи, того, что по-немецки выражается через hin und her zanken**.

Всего 60 страниц. Перевел 20 (500 стихов с небольшим), в числе их и довольно трудная сцена перебранки Марты с Фейтом и Рупрехтом, где пришлось в соответствующей положению стихии русского народного говора подыскать аналогичную, близкую к тексту игру слов. Осилив эту сцену, я прочитал ее Юрию Казимировичу (остальных еще не читал), он нашел ее отлично написанной, а вечером даже поблагодарил меня, сказав, что прекрасный будет перевод.

Надо гнать работу, скоро посылать режиссеру, да нужно и с Жоржиком заниматься, хотя он, бедняжка снова, на день поднявшись с постели, слег в сильнейшем жару. Ну да ничего, слава Богу, серьезного нет.

---

* решить — разведенный (*нем.*).

** цепляться за то и за другое (*нем.*).

Жоничка спрашивает, где Гофман ее и тот, которого я ей посулил. Обе книги в моем шкафу на Ленивке запертые стоят[7]. В середине июня буду там, выну их и ей предоставлю. В конце мая загляните в «Русскую мысль», Шура бы в читальню зашел, — нет ли чего. Хотя скорее осенью там будет обо мне и об Асееве[8].

Ничего не пишут о Лидочке. Стало быть хорошо, тьфу-тьфу чтобы не сглазить. Ну всего, всего, целую всех крепко, обнимаю.

Здесь гадюк — пропасть. Нельзя гулять без палок. На днях зашел в чащу, что-то из-под ног скользнуло и зашуршало. Жоржик видел ее, заголосил не своим голосом, взобрался на дерево, я внизу, с палкой, на часах. Не хотел слезать, я за ним полез, на руках вынес. К концу прогулки другую видел уже собственными глазами, у дорожки в кустах, большая, пестрая, с зигзагами, узенькая головка, глаза сощурены и как-то с зачесом, назад смотрят, потекла извиваясь. Кустами да в дупло, там ее гнездо, верно. Кабы ни кусты, помолотил бы ее, да тут не повернуться, а года два назад Беклемишева такая укусила здесь, он две недели в жару пролежал, доктора спасли. Ну да Бог миловал. Еще целую.

Ваш Боря

Шура пишет: К 24-му мая достань и т. д.[9] Насколько я понимаю, негодность первой бумаги в том и заключалась, что она раньше сроку составлена. Есть следовательно определенный день, *ранее которого* бумага не действительна. Не 24 ли это? Или нужно сейчас же послать вам бумагу, чтобы вы не позже 24 получили? Такой дурак! Разберись теперь! Свидетельство это достану, будь покоен.

Скрябины[10] летом жив<у>т в Гривне. Помнишь? Станция рядом со Столбовой.

Впервые: «Знамя», 1998, № 4. — Автограф. Датируется по содержанию.

[1] Речь идет о рецензии на книгу стихов «Близнец в тучах» («Столичная молва», 19 мая 1914), подписанной псевдонимом О. Аз. «Менее всего можно обвинить Б. Пастернака в бессодержательности, банальности и подражательности. Почти все стихотворения этой небольшой книжки подкупают подлинностью и остротой переживания, импрессионистической смелостью и новизной образов, иногда весьма метких...»

[2] Строка из стих. «Венеция» (1913) должна была, по мысли рецензента, продемонстрировать «неточность до утраты смысла» его образов.

[3] Встреча с поэтом Ф. *Сологубом* состоялась весной 1913 г.

[4] Знак трехзвучного арпеджио похож на трезубец.

[5] К стих. «Хор» был дан эпиграф, обозначенный как «вариант темы»: «Жду, скоро ли с лесов дитя, / Вершиной в снежном хоре / Падет, главою очертя, / В пучину ораторий».

[6] Вероятно, имеется в виду анонимный отклик Боброва на рецензию Шершеневича («Свободный журнал», 1914, № 11) в разделе «Книжные новости» сб. «Руконог», 1914.

[7] Зимой 1913–1914 гг. Пастернак снимал комнату в Лебяжьем переулке на Ленивке.

[8] Пастернак ждал выхода «Русской мысли» с ежегодным обзором поэзии, регулярно печатавшимся в газете В. Брюсовым.

[9] Речь идет о бумагах, связанных с воинской службой.

[10] В приписке сначала было написано «А. Н. Скрябин», потом дописано окончание множественного числа.

87. А. Л. ШТИХУ

1 июня 1914, Петровское на Оке

Ст. Средняя, Сызр.-Вяз. ж. д. Калужской губ.
Имение Бер. Ю. К. Балтрушайтису для меня.
Милый Шура!

Нежнейшее обращение к тебе я припас на тот случай, когда ты известишь меня наконец об исходе твоих последних испытаний. Сама терминология, как видишь, взошла на иронических дрожжах. Все же, и не исчисляя ∫-а* вероятности — от души тебя поздравляю. О, Моховая, уже за шеломянем еси![1] Если бы не собственное мое прошлое (почему же прошлое только? Гм, странно) не пестрело казусами à la Лидерт[2], ты бы не ушел от вопросов вроде: что думаешь дальше делать; как намерен лето провести и т. д. Ну, да Господь с тобою. Только ради Бога почувствуй и сам глубокую занимательность твоего положения, и всесторонне, слышишь. Серьезно, я жду от тебя полного удовлетворения на этот счет.

Ты думаешь, я смеюсь? Ты прав. Своего такого много, над чем привык подтрунивать, правда, всегда по спуске занавеса, — вот и осталось немножко и про тебя.

Да напиши про Бориса Анисимовича[3]. Очень скучал по нем. Вероятно, уже уехал?

Боже, как это глупо было с моей стороны попросить его не писать мне! Вот и сиди теперь и гадай, что-то он сейчас?

---

* Знак интеграла.

Итак, беспрекословно? В восемь страниц убористого письма! За десять — наградные в виде своевременного ответа. Не то!..

Причина Клейстова самоубийства найдена! Ей-богу, он нуждался в отдыхе после таких трудов. В поте лица его добываю хлеб свой (формула переводчика, отирающего рубахою затылок). Перевел $1^1/_2$ тысячи стихов, стихов до 500-т осталось. Трудности неимоверной. Вся ткань состоит из бранных слов и пересказа одного скандального происшествия. Вот и черпай вдохновение отсюда. Опасность германизма и переводческого жаргона уравновешивается опасностью вящей русификации. Пьеса в стихах, значит, должна быть оправдана нужда в стихе. Но лирически энергичный синтаксис с возвратной горячкой его словопорядка в корне расходится с прогрессивным параличом словопорядка прозаического. Между тем, «Разбитый кувшин» — комедия реалистическая, комедия с икотой и отрыжкой. И вдобавок скучнейшая комедия. Кстати. В свое время попалась мне на глаза премилая транскрипция моих деревенских мытарств, исполненная за чашкой утреннего чаю «Русским словом». Оказывается, переводит Балтрушайтис; автор — голландский (!) не красней... писатель, творивший в XVIII веке. Если тут не замешалась патология (но это было бы уж чересчур того), — он и не творился еще в этом веке.

Добрая половина дня уходит у меня на Жоржика; да, правду сказать, и больше половины. Неправда! Частью на Жоржика, частью же Бог весть на что, так, просто.

К 15-му июня надо отослать рукопись режиссеру Зонову[4], причем нужно будет какие-то там характеристики ему составить и произвольно на акты разделить (пьеса — в 13-ти (число-то!) сценах — но без деления на действия, занавес бездействует). Из перевода не помню ни единой строчки. Вот как «душа-то у меня к нему лежит»*. Ты бы полюбопытствовал, аметист мой, попробовал бы ты, не упуская из виду видов на игру актера, чистоту и некоторую инородную простонародность языка, прозаическую грубость и стихотворную естественность стихостроения — перевести 6-ю, 7-ю примерно, сцену! Юрий Казимирович меня и не спрашивает о переводе. Вероятно, без его редакции обойдется, хотя я бы желал ее. По своим убеждениям художественным он, оказывается, разительно близок мне. Представляет меня как «приятеля и сотрудни-

---

* Образец переводческого (не моего, Боже избави) жаргона. А как убережешься от этого, коли и нас с тобой переводили с немецкого. (*Прим. Б. Пастернака.*)

ка». Есть у нас секреты с ним, реальные основания коих совершенно мне непостижны. Вообще здесь знают что-то такое обо мне, чего я сам о себе не знаю, да и не признаю вероятно. Это чувствуется и в некоторых предложениях Веры Константиновны Ивановой — молоденькой жены В<ячеслава> Ив<анова>.

Ах, Шура, непривычная и опьяняющая это атмосфера, когда то, что изводило раньше сроку подтяжки наших ближних, в предплечьях, смекай, малый; когда это становится домашнею прозой и тебя даже не приглашают разделить ее, это само собой подразумевается. Пока что я, кажется, разучусь стихи писать. Не приходится за этим не клеющимся Клейстом! Ну целую! Поклон твоим и Нюте. Как Лене писать?

Твой Б. П.

Впервые: «Россия». Venezia, 1993, № 8. — Автограф (РГАЛИ, ф. 3123, оп. 1, ед. хр. 36).

[1] Обыгрывается цитата из «Слова о полку Игореве»: «О Русская земле! уже за шеломянемъ еси!» Штих окончил юридический факультет Московского университета (на Моховой).

[2] Н. Ф. *Лидерт* — владелец книжного магазина и библиотеки в Петровских линиях.

[3] Поэт Б. А. Кушнер, автор двух стихотворных книг, был членом «Центрифуги», в дальнейшем сблизился с Маяковским и Бриком, член группы коммунистов-футуристов и Лефа, был репрессирован. Объяснение настойчивости интереса Пастернака к нему в то лето см. в письме № 90.

[4] А. П. *Зонов* в 1914 г. был режиссером Московского театра имени В. Ф. Коммиссаржевской, с 1916 — Камерного театра.

88. С. П. БОБРОВУ

24 июня 1914, Петровское на Оке

Дорогой Сергей!

Ты безусловно прав насчет собаки и красноречия. Уныло озираюсь, заслышав твое нетерпеливое «апорт!». Когда-то мне давалось легче репетиторство. Сейчас, совмещенное с некиим срочным переводом, оно охолостило меня самым неприличным образом. Ты, наверное, недоверчиво сощуришься, если я самым клятвенным манером стану тебя заверять, что дать мне сейчас решительно нечего, со сказкою же альманах пойдет ко дну, да ее и раздобыть надо сначала, черновика нет со мною, а парадный экземпляр бесполезно томится в редакции «Заветов»[1]. Дикая эта мысль пришла Балтрушайтису в голову, послать этого несказанного Сазана в С-дековский журнал.

Ты знаешь, как капризна муза, в особенности, когда и ртуть пошаливает. Ничего нельзя знать вперед. Завтра может прорваться долго дремавшая производительность, хотя pardon — охолощенность наводит на грустные размышления. Вот, что Олимпов стихи тебе прислал[2], это великолепно; да и Ивневым[3] можно будет вешним нашим собеседникам носы утереть[4].

Что до Николая — ничего, каналья, не пишет, хотя я и изощрил все возможные средства выражения гению недоумения в отношении его поведения.

Кушнер вовсе не здесь. «Напротив», он в Витебске. Дело с Бер<ом> расстроилось.

Любопытно мне знать, что Брюсов в «Русской Мысли» написал[5], здесь его не достать. Придется утихомирить не в меру разыгравшуюся... любознательность.

Если соберешься мне писать, сообщи, пожалуйста, адрес Марьи Ивановны[6]. Случилось быть мне в Калуге, сначала стойку делал у порогов шляпных магазинов — это было разумно, булочных там в «дэсеть тысяч раз болше», затем по Московской раза три прошелся — но — ничего подобного. Вероятно чай пила Марья Ивановна.

В заключение будь здоров, не серчай, и не думай, чтобы мне слишком уже сладко здесь было. В последний это раз кондиции — больше никогда не стану браться за это.

Твой Б. Пастернак

Согласись, подпись несколько смахивает на покойного Франца Фердинанда[7].

Письмо твое в редакцию «Нови» искренне меня радует[8]. Очень дельно, исполнено чувства собственного достоинства, и главное, то что требуется — faisant une bonne mine au mauvais jeu*.

Впервые: «Встречи с прошлым». Вып. 8, 1996. — Автограф (РГАЛИ, ф. 2554, оп. 1, ед. хр. 55). Дата получения, поставленная Бобровым, — 26 июня 1914 г.

[1] Сказка про Карпа и Нафталена была по совету Ю. Балтрушайтиса, входившего в число постоянных сотрудников, передана в журн. «Заветы», издававшийся в Петербурге (с апр. 1912 по сент. 1914, когда был закрыт по приговору судебной палаты). Среди авторов М. Горький, Л. Андреев, О. Форш, Е. Замятин, А. Ремизов, Е. Лундберг. Сказка Пастернака не была опубликована, текст утерян.

---

* делая хорошую мину при плохой игре (*фр.*).

[2] Поэт-эгофутурист Константин *Олимпов* согласился дать стихи для Второго сборника «Центрифуги».

[3] Поэт Рюрик *Ивнев* примыкал к эгофутуристам, печатался в «Руконоге» и втором сборнике «Центрифуги», затем был близок к имажинистам.

[4] Имеются в виду переговоры с группой «Первого журнала русских футуристов» в первых числах мая. См. письмо № 90.

[5] В июньской книжке «Русской мысли» за 1914 г. была опубликована статья В. Я. Брюсова «Год русской поэзии (апр. 1913 — апр. 1914)», в которой автор писал о книгах молодых поэтов, в том числе и Пастернака: «Наиболее самобытен Пастернак. Это еще не значит, что его стихи — хороши или безусловно лучше, чем стихи его товарищей <...> Но все же у Б. Пастернака чувствуется наибольшая сила фантазии; его странные и порой нелепые образы не кажутся надуманными...» (С. 17, 3-я пагинация). Свое отношение к этой статье Пастернак высказал в письме к родителям (см. письмо № 94).

[6] Жена С. П. Боброва.

[7] Австрийский эрцгерцог Франц Фердинанд, убитый в Сараеве Г. Принципом 28/15 июня 1914 г.

[8] Речь идет о публичном объяснении в газете «Новь», которое Бобров был вынужден принести по поводу обвинения, с которым выступил поэт Илья Зданевич в самовольном использовании его имени как одного из авторов «Грамоты» (сб. «Руконог», 1914), подписанной также Асеевым, Бобровым и Пастернаком. «Грамота» содержала грубые выпады против авторов «Первого журнала русских футуристов». В этой неувязке Бобров обвинял Асеева. Пастернак известил об этом Асеева и писал Боброву: «Думаю, что вышло все это не по его вине, а так, как водится, Ларионов вместо Futurum exactum (будущее совершенное. — *лат.*) поставил обещание свое в настоящем времени à la "мы завтра выступаем из Кракова", или просто забыл Зданевича предуведомить, и в надежде на то, что исправит эту свою оплошность при первой возможности, совершил антиципацию факта. <...> Во всяком случае, номер, что и говорить!» (3 июня 1914; там же. С. 221). *Антиципация* — предвосхищение.

89. А. Л. ШТИХУ

Конец июня 1914, Петровское на Оке

Милый Шура, узнал ли ты что-нибудь о Борисе Анисимовиче?[1] Очень буду тебе обязан за всякий хотя бы даже отрицательный, но по возможности незамедлительный (чтоб не сказать немедленный) ответ. Кроме того, исходя из весенних его соображений, можно ожидать его приезда в любой из этих и ближайших дней. Как только ты придешь с ним в устное или письменное соприкосновение, оповести меня об этом, милый друг, — поверь, не

праздный интерес или досужие дружеские настроения делают меня столь настойчивым.

Сегодня, быть может, проснулся я после 3-хмесячной спячки, это тем вероятнее, что нынешний день, не в пример прочим, кажется мне своеобычным, то есть своеобразно обычным и до обыкновенности своеобразным. И ты простишь мне эту субтильность. Ясность эта позволяет мне, вот уже в который раз, освободиться от домогательств ближайшего прошлого, и я не вижу причины, отчего я должен был бы незаконченность вчерашней работы считать личной незаконченностью, и браться за то, что со вчера на сегодня себе оставил.

Если вчера лег я ко сну поэтом, разве значит это, что сегодня я тем же поэтом проснусь? Мне так же легко со всеми начальными этими заставками расстаться, как покончил я с концовками музыкальными etc.[2] Надо только воодушевляться лично истинным, — или вернее тем, что, пребывая истиною, может жить только ценою твоей задушевной особенности, — о, ты ведь понял, надо загораться лирическою правдою — или истиною в форме правдивости. События последнего времени стояли предо мной призраком истины без правдивости — стояли Словом без голоса и лирического напряжения. Газеты, статьи, разговоры, сцены, беседы, честь и человечность — все это гудело в воздухе, в сердце и в голове[3]. Между тем — в такой форме — все это для меня безжизненно и бездушно. Я достоин презрения за то, что поддался общему тону и напялил на себя слишком широкое, а потому мешковатое и до смешного трогательное просто-прямо-добро-мало-двое-душие.

Так нельзя и надо как-то иначе. Надо, подобно Дон Жуану отчеркнуть последнюю полосу, с несколько грустным, но неизменно шутливым «mille e tre»[4] — в бесконечной чересполосице душевных назначений. Надо встать в одно прекрасное утро без имущества, с верою в фаталистические схемы, осязательные, стереометрически секущие воздух, которым дышишь, надо, наконец, оскомину набить судьбою незрелой и фанатически ощутимой. К чему это болтаю я без толку, если главного, или, прости, это описка: если подлежащего в этом сказуемом Хлестаков тебе сказать не может, потому что среди всех своих превращений он где-то только (отнюдь не насквозь и не сплошь) должен между прочим и Хлестаковым оказаться — и может быть — voila le cas* — Хлестаков разоблачится в этой фазе. А если нет, — Господи, как любопытно

---

* в этом случае (*фр.*).

мне будет взглянуть когда-нибудь на эти — исподволь и в полном равновесии нацарапанные строки — на это празднословие на рубеже. Человек в отдельности, личность в форме единственности музыкального предложения — вот тебе Дьявол в теле. Но как алчет этой единственности все божественное! Странно! Напиши о Кушнере.

Впервые: «Россия». Venezia, 1993, № 8. — Автограф (РГАЛИ, ф. 3123, оп. 1, ед. хр. 36). Датируется по содержанию.

[1] Б. А. Кушнер.

[2] См. в «Охранной грамоте» о душевном перевороте, который переживал Пастернак после знакомства с Маяковским: «Если бы я был моложе, я бросил бы литературу».

[3] Имеются в виду события весны 1914 г. со скандальным появлением группы «Центрифуга», выходом сб. «Руконог» и полемикой с кубофутуристами.

[4] Рефрен арии Дон Жуана из одноименной оперы Моцарта: «...а уж наших испанок, так тысяча три...».

90. А. Л. ШТИХУ

1 июля 1914, Петровское на Оке

1.VII.1914

Шура! Какое тяжелое лето! Разрыв за разрывом![1] И наши отношения тоже на волосок от гибели. В твои руки предаю их и предаюсь. Вот я, живой человек с живым прошлым, с живыми привязанностями. Когда я встречался с тобой, все это перевешивало, даже и тогда, когда моментами ты в настоящем был далек для меня. Думаю, что противоположное происходило чаще, и никогда не поверю, чтобы не становился я с годами все антипатичнее и антипатичнее тебе.

Теперь ты накануне того превращения, когда поверхностное начинает своею особою жизнью жить, и у этого поверхностного есть свои клетки, и вот оно не поверхностно уже. Но именно потому, что ты накануне только, ты только завтра поймешь меня.

Если бы я написал тебе предисловие[2], то мог бы это только дружески искренно и художественно недобросовестно сделать. А это предисловие к стихотворениям — и вот я отказываюсь писать его. Минуту. Только при безусловном доверии могу дальше говорить с тобой. Самое грубое и жестокое о самом себе я уже сказал; хотя бы за это только слушай дальше. Я должен (чтобы писать в печати о твоих стихах) в воображении представить себе ту

область, в которой одно только имя сейчас способно взволновать меня; но это имя принадлежит к целому течению; и этим именем то течение свято для меня[3]. Всякое отступление отрезано мне: потому что Маяковский — это я сам, каким я был в молодости, может быть, еще до Спасского[4], и даже прошлое не сможет заступиться за *твоего* друга против *его* недруга[5]. Весна потому-то и сблизила меня с Кушнером, что он был свидетелем этого — внешне незначительного, внутренне сокрушающего — перелома. И, Господи, как чуток он был — чуток до сверхъестественности. Я крепко его полюбил не за одно это, конечно, за то, что я в нем нашел.

К чему тебе предисловие? Ты знаешь историю предисловия к «Близнецу»? От меня требовали собственного. Я отказал. Полемические мотивы «Лирики» (тогда она была органом Боброва) делали предисловие в его глазах чем-то существеннейшим в книге. Стихотворения считал он какою-то иллюстрацией к схватке с символистами («Сл<он> и Моська»[6]) — каким-то антрактом с прохладительным, когда сменяются тореадоры. Тогда, даже не затребовавши от меня стихов, предисловие написал Асеев — я всячески от него отбояривался — его положение казалось мне ответственным; на это он ответил мне подозрением: он заподозрил меня в том, что я недоволен его предисловием; и вот, чтобы его сомнения рассеять, я сдал предисловие в типографию. Да ты ведь знаешь про все это. Ты допускаешь возможность предисловия? Значит, есть у тебя сознание какой-то атмосферы и какого-то лирически-душевного строя, из коего они вышли; и может быть, этот строй, на твой взгляд, недостаточно ясно, или говоря о таком предмете недостаточно неясно, означен самими стихами? Тогда кто же, как не ты сам, способен наилучшее в этом духе предисловие написать. Тогда это было бы тем, что задумывал ты в своих статьях, что Николай Асеев в своем послесловии дал. Достань «Ночную флейту»[7] и ты поймешь, о чем я говорю. Есть другие предисловия — партийные. Я вообще не способен их дать. В данном случае нелепо было бы об этом и думать. Отвлекшись от жизни — я отказываюсь от себя — от того, что Брюсов, разбирая «Близнеца в тучах» в июньской «Русской мысли», называет порубежничеством[8] — я статьи этой не читал, но заглавие, сообщенное мне Бобровым, заключает в себе трагедию моего выступления и трагизм того моего невежества, которое заставило меня в 1911 году быть в Анисимовской клике[9], когда футуризм Гилейцев уже существовал, киты заплывали в лес[10] и могли бы заплыть в издательство Гилею. Однако единственное содержание этого письма

уже настолько тебя против меня восстановило, что ты, вероятно, сочтешь преувеличенным тот тон, в котором я говорю о трагедии моих первых шагов.

Напиши мне, пожалуйста, какие стороны хотел бы ты оттенить в заглавии или какое стихотворение думал бы сделать центральным в книге. Этим ты дал бы мне в руки путеводную нить, — без которой я чувствую себя слишком произвольно неопределенно. То же и о псевдониме. Что бы ты хотел выразить в нем? Эти две услуги — с радостью окажу тебе, хотелось бы только угодить тебе, и чтобы это возможно было — ответь мне, пожалуйста, на этим вопросы. «Близнец в тучах» — только отделка заглавия — дело рук Боброва. Еще в пивной у почтамта я читал тебе вещь, которая по тому чувству, которое я с нею связал, имела стать величиной собирательно-циклической. «Близнец за тучею» — назвал я этот цикл. «Близнец *в* тучах» — как имя книги — вот все, что оставалось сделать находчивому Боброву. Жду твоих распоряжений.

Твой Боря

Впервые: «Вопросы литературы», 1972, № 8. — Автограф (РГАЛИ, ф. 3123, оп. 1, ед. хр. 36).

[1] Хотя внешне отношения с Бобровым не прерывались, внутренне Пастернак переживал их как разрыв с «Центрифугой» и отказ от сотрудничества.

[2] Речь идет о просьбе Штиха написать предисловие к сборнику его стихотворений.

[3] Имеется в виду Маяковский, фактический лидер группы «Гилея», в которую входили братья Бурлюки, В. Каменский, В. Хлебников, Б. Лившиц, А. Крученых.

[4] То есть до 1910 г., когда Пастернак часто ездил в Спасское, где жили Штихи. Его первые стихи казались чем-то «недопустимо революционным, опрокидывающим все понятия о стихе» его друзьям из «Лирики», в частности Боброву, которого Пастернак называет «противником» его жанра в прошлом (письмо № 86).

[5] Пастернак имеет в виду самого себя в настоящем.

[6] Нападки Боброва на символистов Пастернак уподобляет конфликту между Слоном и Моськой в басне И. А. Крылова.

[7] Первая книга стихотворений Асеева, изданная «Лирикой», вышедшая с предисловием Боброва и послесловием Асеева.

[8] Статья Брюсова называется «Год русской поэзии. Порубежники».

[9] Речь идет о группах «Сердарда» и «Лирика».

[10] Этот образ возник в 1908 г. во время прогулки с С. Дурылиным в Сокольниках. В своих воспоминаниях Дурылин передает слова Пастернака: «“Смотрите, Сережа, кит заплыл на закат и отяжелел на мели со-

сен...". Это было сказано про огромное тяжелое облако» (Воспоминания. С. 56). Вероятно, Пастернак оформил эту метафору в стихах, которые он вспоминает как первые опыты своего поэтического самовыражения.

91. РОДИТЕЛЯМ

Первые числа июля 1914, Петровское на Оке

Что все-таки родительское сердце значит! Не припомню, право, что и писал вам, да и вообще не подозревал, чтобы открытка могла, будучи открыткой, свидетельствовать о нервности. Но угадали вы, изнервничался я настолько, что и всякую сосредоточенность утратил столь необходимую при всякой работе. Нет, ничего не поделаешь, придется и вправду, умно-глупо бездельничать, гулять, пить, есть, спать до 10-го — 12 августа, а там в Молоди, — а что до Молодей, то глупость тамошних прогулок, надеюсь, покроет все творческие пробелы этого лета. Бедный Бобров, все лето в Москве живет, засыпал меня письмами, я не отвечал, наконец, пятое меня столь растрогало, что ответил ему, наконец, и поделился с ним сетованиями своими. Не верит, понимаешь, говорит, что вру, мол, и наверное к осени лирический взрыв у меня заготовлен, а пороховая нитка в секрете содержится, по неисправимой скрытности моей натуры. Да, правда, такое бесплодие на меня не похоже. И вообще я не похож на себя сейчас. Все мои денежные мечты странным образом больше к вам, нежели ко мне самому относились и относятся. У меня была страшная потребность в какой-то реабилитации перед вами, и вот она удается только вполовину, а то и совсем нет. Потому что не верю я что-то в перевод[1]. Слишком памятны мне одни только затруднения, с какими я сталкивался в той работе, слишком памятны самые эти четыре трудовые недели — и зато не представляю себе совершенно, что вышло в конце концов. Вот и сложилось у меня впечатление какого-то свербящего пустого места, а за пустые места не платят. Вообще настроение мое вы уловили замечательно — тронула меня мама, тронул и ты, папа, тою чуткостью и знаньем душевного обихода, с какими ты гадаешь о перемене (предполагаемой) в моем humeur'e* и о несвоевременности письма. Нет, они всегда своевременны, и я сказать не смогу, сколько дает такое письмо. Между родителями и

---

* настроении (*фр.*).

детьми столько живого сходства, что такое письмо почти что разговор с самим собою; а с другой стороны и нет. И это волнует, и радует, и успокаивает.

Да я самолюбив, и не литературно только. Самолюбив и ты, и мама. Что бы вы ни писали, 10 августа я жду до изнеможения. Ты думаешь, не поблагодарил я его за письмо?[2] — Нет, ни слова теперь на литературные темы.

Здесь гостит М-me Оловянишникова, сдержанная, полная чувства собственного достоинства, набожная дама, хоть и седая, но бодрая и отрицающая всякую интонацию, — ровный, не терпящий возражения голос; очень симпатичная, мать М<арии> И<вановны>[3]. С нею племянница, кузина М. И., по внешности нечто среднее между Ольгой Курловой-Гилар и Катюшей Масловой[4]. Приехали дня на три-четыре. Падка очень на катанье, а через это и на что-то другое. Льнет без обиняков, приходится каждый вечер ей по ее аппетиту, холодное готовить. Два вечера кряду, до самой полночи по Оке на лодке катались вдвоем. Господи, не люблю у юношей мины наивности и неиспорченности, но раз навсегда заведенное правило увлечений при таких-то и таких-то обстоятельствах еще наивнее и пошлее. С какою безвкусицей все по нотам разыгрывается! Невольно думаю, вот была бы грузинская та княжна[5] — оказывается, что-то требуется все-таки для того, чтобы. А я, унаследовав от тебя, папа, твой невинный цинизм, воображал, будто роли только имеют значение, исполнители же безразличны. Выходит, что нет. Поскорее бы они уехали, к тому же и лампу от меня убрали; свеча же, открытое окно, и липы — все это так поэтично, что и прибавить-то нечего, сидишь и наслаждаешься.

Шура Штих осенью хочет свои стихотворения издавать; вот в этом письме второй раз приходится признать межевую линию там, где чудился переход незаметный и безразличие. Есть какая-то глубоко вырытая канава между вечно верным себе дилетантическим дарованием и себя не щадящим вечно себе изменяющим дарованием художественным[6]. О как неисправимо всегда и везде священнодействует дилетант. Какое отсутствие иронии над собой, смешка, легкости, простоты и какого-то будничного недоумения перед тем, как празднуют твои будни окружающие. А он просит предисловие ему написать, прислал целый тюк стихов, просит и заглавие и псевдоним ему придумать[7]. Задача! Только это — тайна его и, смотрите, не проговоритесь при встрече как-нибудь родителям или сестре его.

Они лиричны, теплы, искренни, но бледны, там же, где он становится смелее, я невольно готов его спросить, к чему мне самому издаваться вторично в расширенном, дополненном и разъясненном издании.

Отказать нельзя, во-первых, он не умеет защищаться и ссориться неспособен, животно-жизненные инстинкты отсутствуют у него, значит будет молча страдать и найдет все это справедливым, а с другой стороны, наверняка подумает: сам, мол, выкарабкался, Асеев не гнушался им, дал предисловие (вообще говоря, этот обычай молодых, и то Лирики единственно — сама нелепость), а став на одну еще только ногу, другим ходу не дает, и это кому! — другу, радовавшемуся всякой его удаче, крепостному — всех его перипетий!

Кстати о дружбе. Вот не советую таких отношений со мною заводить! Совершенно на это не способен, и скоро начинаю тяготиться взаимностью, а порвать — не хватает жестокости.

Что до Русской Мысли, не писал Феде потому, что днем он в банке занят и освобождается к закрытию магазинов. Но Льву Григорьевичу в город написал еще и потому, что журнал мне настолько же в рассуждении вас нужен (и вам будет доставлен номер), поскольку любопытно и мне самому.

Весь ваш Боря

Крепко, крепко всех обнимаю и целую. Шуре спасибо за приписку.

Впервые: «Знамя», 1998, № 4. — Автограф. Датируется по содержанию.

[1] Оконченный перевод Клейста 15 июня Пастернак отвез режиссеру Зонову. Спектакль поставлен не был из-за начавшейся войны с Германией.

[2] Речь идет о просьбе к Л. Г. Левину купить номер «Русской мысли» со статьей Брюсова.

[3] Мария Ивановна Балтрушайтис, урожденная Оловянишникова.

[4] Вероятно, сестра одноклассника Пастернака Георгия Курлова, сына прокурора, послужившего прототипом Коки Корнакова из «Доктора Живаго». Пастернак сравнивает ее с Катюшей Масловой из «Воскресения» Л. Толстого в иллюстрациях Л. О. Пастернака.

[5] Ассоциация с русской народной песней о Стеньке Разине и персидской княжне («Из-за острова на стрежень...»).

[6] Иной оттенок понимания дилетантизма, без иронической интонации см. в письме № 80.

[7] Книга А. Штиха вышла под назв. «Стихи» в 1916 г. без предисловия и под его собственным именем.

92. С. П. БОБРОВУ

6 июля 1914, Петровское на Оке

Сергей, выслушай меня до конца. Я ничего не писал, в этом я не обманул тебя. Однако, я ничего не сказал тебе о причине такого прискорбного факта. Я хочу писать снова так, как начинал я когда-то. Говорю не о форме, но о духе этих начинаний[1]. Твои советы были для меня незаменимою школой, и я никогда не забуду того, что ты сделал для меня. Но если бы я снова обрел тот, утерянный мною лад, — а только так я и согласен продолжать, и разубеждать меня в этом излишне, — я ушел бы от тебя и от Николая. И ввиду того, что только о такой возможности и можно говорить, — не молчать же приглашаешь ты меня, — прими уже и сейчас этот отказ мой[2].

Я знаю, все так запутано и так нечисто сплетено у нас, что ты легко можешь вообразить, будто бы этот отказ с моей стороны — поступок неслыханно мерзкий и ожидает твоего суда и расправы.

Такого осуждения я не боюсь. Я боюсь только того, что поставишь ты мое заявление в связь с весенними нашими злоключениями. Милый Сергей, мы слишком воодушевленно сплотились этой зимой, воспротивившись духу, царившему в «Лирике», положение мятежников, коих изображения за отсутствием их самих сожигаются всенародно, еще более связало нас — чтобы выходки этих снобов могли как-нибудь сказаться в личных наших отношениях. Вот почему, опасаясь за правильность объяснения, какое ты бы дал ему, я так долго медлил с этим извещением.

У тебя есть письмо мое, последнее. В нем ни слова нет об этом решении. Это похоже на обман. Да, я обманывал тебя, потому что и себя обманывал. Ты иногда бываешь редкостно чуток, Сергей. Что бы я отдал за то, чтобы письмо это попало к тебе в одно из таких мгновений. Тебя это оскорбит, я знаю. И это чувство не даст тебе вслушаться в правду — и правду, вконец истомившую меня, — в правду моих слов. Расставаясь с тобою, я это делаю потому, что надо мне расстаться с тем, во что я постепенно превратился в последние годы, — и если бы у меня были деньги, — я бросил бы все, что связывает меня с Москвою, и переселился бы — ну хотя бы в Петербург. Тебе тяжело читать это. Мне не легче это писать. Лучше кончим. Крепко жму твою руку.

Твой Борис

Впервые: Собр. соч. Т. 5. — Автограф (РГАЛИ, ф. 2554, оп. 1, ед. хр. 55). Дата получения, поставленная Бобровым, — 8 июля 1914 г.

[1] Пастернак считал, что под влиянием критики со стороны членов «Лирики» он нарушил свое естественное поэтическое развитие. Теперь после встречи с Маяковским он писал: «Маяковский — это я сам, каким я был в молодости» (письмо № 90).

[2] Речь идет об отказе Пастернака участвовать в выступлениях «Центрифуги».

93. А. Л. ШТИХУ

10 июля 1914, Петровское на Оке

Милый Шура! Обнимаю тебя за все то, что ты вернул мне в твоем последнем письме.

Нежданно-негаданно нагрянул ко мне сюда Бобров (приехал к жене своей в Калугу, а оттуда до нас верст 40 всего). Побыл дня 2–3 — и это помешало мне вовремя ответить тебе.

Заметки красным карандашом, которые ты найдешь на стихах — Бобровские — он овладел всею пачкою, лишь только увидал ее на столе, — отмечены им те, которые понравились ему: Рождение Афродиты; Гаспар; Огни вокзальные сбегали. — Завидую тому холодному жестокосердию его, которое позволило ему окинуть в целом все стихотворения. Мне это чрезвычайно трудно. Есть много частностей, которые мне нравятся в некоторых стихах — в целом нередко слабых. Я орудовал синим карандашом, отмечал то, что нравится — заметки отрицательного характера снабжены объяснениями, — если ты исключишь их, синему цвету возвращен будет от века ему присущий смысл.

Вот что я вынес в общем, несколько раз прочитав эту стопку, пожалуй изучив ее даже. В тебе очень много Тютчевского начала, но оно у тебя психологичнее и как-то празднословней, чем у самого родоначальника. Кроме того — у тебя, помимо лиризма творческого есть избыток лиризма лирических положений и состояний. Они формулированы подчас чрезвычайно сжато и выразительно; эти места заставляют сожалеть о том, что ты не пробовал писать большой повести на тонко психологических и в своей *образцово*-эмблематической структуре — символических дрожжах. Ты меня, конечно, понимаешь. Такой символизм только и был бы настоящим; это был бы сугубо реалистический импрессионизм, далекий от всякой аллегории.

Есть у тебя часто благородный, по роду своему напоминающий Блока — Верлена — колеблющийся между формой и свободным стихом — напев. Но лапидарность — это не твоя стихия и,

кажется, пока нелепость как начало остается прерогативою моею и некоторых футуристов и еще, пожалуй, символистов западных. У тебя же несколько этих глыб лежат, как будто занесены они сюда землетрясением по соседству. Вообще книжка твоя прежде всего будет оригинальна уже тем, что в том лагере, — куда следует отнести твой герб, девиз и происхождение (художественное) — оригинальность доселе была свойством внешних элементов, у тебя же при малой оригинальности периферии — оригинален самый подход, замысел, *лирический мотив выражения* и т. д.

Теперь о девизе и псевдониме. Если ты хочешь анаграммы из фамилии — то А. Тишинский, А. Львов, Эсти, Шипов, Дорн, Эгильет[1], право не знаю, так можно без конца: отец мой избрал себе псевдонимом французское Panais = пастернак, когда был гимназистом: — погляди в фр.-англ.-ит.-лат. словарях как на этих языках звучит слово «укол»[2].

Если хочешь псевдонима — эмблемы — то Господи Боже мой — нелегко забраться в чужую душу — это не обсерватория Триндинская. Помнишь моего Relinquimini?[3] Возьми, если хочешь. Хотя Анисимов, Дурылин и др. знакомы с ним.

Образуй Fut<urum> pass<ivum> на abor или ebor[4] от угодного тебе многознаменательного какого-нибудь латинского глагола, вот тебе и псевдоним. Карнеоль, Крепюскюлер, Урбан такой-то, Оппидан, Лунгано, Э(к)стампорель[5]. Или воспользовавшись ирландским О' (О'Коннель), дай восклицательное О. Даль или О. Синь (Signe*). — Я чувствую, — что чепуха. А. Н. Рюмэ. Турольд Альф Сигмат (A. S.). Л. А. Грим (lagrima)**. А. Леморн (le morne — Ал. мрачный). А. Тристей*** и т. д.

Название? «Когда дома без оснований», «Угли под пеплом», «Предпоследних наследие», «Кортеж встречей отмеченных», «Содроганья громад», «Почти притчи», «Город за порогом», «Залетные», «Плеск и шелест», «Тени в тенетах» или «Тенета и тени», «40 (смотря по количеству стихов) въездов в низвергнутый *** (звезды автора. — *Е. П., М. Р.*) ленд», «Девиз ирисов и бирюзы», «Центифолий» (колоколен), «Легенды бледных льдов», «Календы февраля», «Кобальт средь желтых шелков», «Рудоносная осени россыпь».

Ты видишь, это все — гаммы названий: сумеречная, постулятивно-спасская, городская, осенняя; вот еще, в таком же роде:

---

* Знак (*фр.*).

** lagrima — слеза (*ит.*).

*** От слова triste (*фр.*) — грустный.

«Некрытые галереи», «Контур курящихся тюрем», — заметь — заглавие нужно выбирать так, чтобы оно почти обложкою было. <Ландыши бенгальских лампад>, Бенгальские огни, Римские свечи. Или вместо — ночных часов: В свите пробивших дуодецим. В процессии надтреснутых дуодецим. «Заколдованные циферблаты», «Усыпальницы дома Этерн». «Гребни огней». — Или психологичные «Отречение за стертою подписью». «Отречение за стертою (с темною) подписью», «Проносящиеся лани»*, «Масон бессонниц», «Рыдающие якоря», «Хартия (бледного) севера», «Тмин и мята темных зим», «Пемза и пепел», «Нимб вкруг вымпела», «*Папоротник в цвету*» (вот тебе хороший, огненный образ искания и ночного искания, те же ночные твои пути).

И так без конца. Меня удивляет твоя просьба. Если тебе ничто из предложенного мною не подойдет, извести меня об этом и я пришлю тебе полсотни других. Сейчас же продолжать эти измышления дальше — чистое мучение для меня, потому что некоторые из них глубоко меня волнуют своей метафоричностью и отвлекают от тебя.

Впервые: «Россия». Venezia, 1993, № 8. — Автограф (РГАЛИ, ф. 3123, оп. 1, ед. хр. 36). Датируется по почтовому штемпелю на конверте.

[1] Имена, образованные от Dorn (*нем.*) — шип, aiguille (*фр.*) — игла.

[2] Перевод с немецкого фамилии Штих (Stich).

[3] Этот псевдоним, на латыни означающий «вы оставлены», Пастернак использовал для своих первых стихов, которые были известны Ю. Анисимову и С. Дурылину. В измененной форме это имя появляется в новелле «Апеллесова черта» (1915).

[4] Окончания лат. глаголов в будущем времени страдательного залога.

[5] Имена образованы от слов: crépusculaire (*фр.*) — сумеречный, urbanus, oppidanus *(лат.)* — городской, extemporale *(ит.)* — импровизация.

94. РОДИТЕЛЯМ

12–13 июля 1914, Петровское на Оке

Дорогие папа и мама! Страшно Шуре благодарен за присылку Русской Мысли[1] — открытка моя была некстати поспешна. Читал ли ты, папа, эту заметку Брюсова обо мне? Если нет и если видел ее только Шура и на словах пересказал вам ее содержание, то напишите мне об этом и я пошлю вам вырезку. Я этой рецензией не доволен, мне не нравится ее тон. Если в ней переставить

* Знаешь, лань Тристана, Парсифаля etc. (*Прим. Б. Пастернака.*)

фразы — все меняется. К чему, с первых же слов, такой обидный вывод, которым как бы отстраняется то несуществующее притязание на лавры, которое где-то померещилось ему. «Самобытнее всех их — Б. Пастернак; из этого однако не следует, что стихи его хороши или безусловно лучше его товарищей». — Если у вас нет этой книги под руками — то не стоит входить в разбор ее подробностей. Скажу вам правду, — столбец этот даже расстроил меня, исключительно за вас, — вы прочтете этот отзыв, не останавливаясь на тексте его, и у вас останется впечатление порицания или осуждения посредственности — а между тем, — в нем много — или скажу прямо — все справедливо. Неловкость формы? — Как хорошо, что Бр<юсов> не знает, что первая моя книжка не только первый печатный шаг, но и первый шаг вообще. Остальные начинали детьми; так, как начинал я в музыке; остальные знают классиков, потому что именно из увлеченных читателей и почитателей стали они писателями. Меня же привело к этому то свойство мое, которое, — как это ни странно — ни от кого не ускользает, и которое Брюсов называет самобытностью, фантазией, воображением, своеобразным складом души и т. д.

Мне кажется, художественное дарование заключается вот в чем: надо роковым, инстинктивным и непроизвольным образом *видеть* так, как все прочие думают, и наоборот, *думать* так, как все прочие *видят*. Это значит вот что: поле зрения не должно быть каким-то неизбежно навязанным сырьем, в котором глаз не повинен и не ответствен за него, — формы должны следовать из особого свойства каждого художнического внимания, как следуют выводы из мыслей остальных людей. И напротив — все ощущения отвлеченных вещей, вроде сознания времени, прошлого, сознание пространственных схем и т. д. — вообще все *мысли* художника должны *лежать* в нем в виде необработанно диковинной залежи, тяжелой, темной, телесной и осязательной. Если довести это до парадокса, можно сказать, что художник окружен снаружи своею мыслью и тем, что называют вообще душой, и что он носит *в себе* все то, что называется окружающим миром[2], все то, отчего люди загорают и простужаются, чем они дышат и что они возделывают. И если бы художник решился на самоубийство, скажи, разве это парадокс, если бы я сказал, что он должен затонуть сам в себе?

Оригинальность — это вовсе не свойство художника. Оригинальность — это особенность самого искусства, — которого нельзя определить именно потому, что в этом его определение: в том, что

пока ты назвал его, оно уже стало другим на свете — но оно осталось искусством, то есть способным и в этот момент ускользнуть от сходства с самим собой.

Искусство я представляю себе в виде какого-то векового вдохновения, которое мчится на одном коньке, скользя по душевным затонам отдельных избранных, и оставляя свой след на них, след одномерной, делимой только в одном направлении — в направлении историческом, — и не делимой никак иначе математической линии. Абсолютная оригинальность художника, его индивидуальность — это ведь сама неделимость того следа, который оставляет искусство, — если он отчерчен искусством, художник неделим, — как линия прохождения искусства — не иначе.

Я не знаю, понятно ли это.

Теперь о себе. Как я боялся всегда того, что те нелепости, которыми изобилует все, что я делал, — в музыке, в философии, в литературе — слишком похожи на неискреннее ломание тех, которые избавлены от этой вынужденно угловатой искренности — потому что только эта нелепость и угловатость и есть то, что ввергает меня бесповоротно в искусство, и следовательно я не могу и не хочу ее уничтожать или замалчивать, а то все эти труды мои станут чем-угодно, перестав быть искусством. Пожалуй даже не опасения за слух, но именно боязнь показаться намеренно кривляющимся, — заставила меня бросить музыку. Потому что таким обвинением не только был бы задет жизненный сердцевинный нерв всех моих начинаний, но оказалось бы нечто худшее: что основная тема, мелодия и содержание заглушены несущественным и не доходят до слуха.

Разве искренность всего только одна правдивость художника?

Разве художественная искренность величина моральная как бы совесть или добропорядочность произведения?

Разве искренность не дно художественного излияния, со всеми его чудесами и событиями, со всеми *приметами его глубины*. Тогда искренность — окраска и ткань произведения — и это дно должно быть видимо, не то произведение станет однообразною плоскостью — и тогда это его смерть.

Вот все чего я хотел. Чтобы моя искренность была замечена как художественная самобытность, а не как добронравие симпатичного Бори, с малых лет знакомого доктору Левину или основательно изученного Юлием Дмитриевичем. Что до него, вы знаете, как я его люблю — но это к делу не относится.

И как мне не радоваться тому, что эта-то особенность, которая понуждала меня ко всем моим ставкам, — отмечается всеми

искушенными и сведущими — как основное художественное волокно моих вещей. Подлинность, оригинальность, самобытность — вот что лелеял я и за что опасался, вот чем я болел, — и это бросается в глаза, а раз это так, то значит не как нравственное качество, а как интенсивность окраски доходит она до восприятия. — Простите, дорогие мои папа и мама, надоел я вам верно изрядно-таки, и вас, пожалуй, огорчит то, что это письмо мое не так ясно, как предыдущее, которое удовлетворило вас.

Всех целую.

Ваш Боря

Впервые: «Знамя», 1998, № 4. — Автограф. Датируется по содержанию.

[1] Валерий Брюсов. Год русской поэзии. — «Русская мысль», 1914, № 6, раздел 3. С. 16.

[2] Здесь дается объяснение нагнетенному метафоризму поэтики Пастернака, который говорил, что никогда не мог вести дневников, потому что впечатления виденного выливались у него непосредственно образами. В конце жизни он признавался: «I like this diary-keeping in rime, this sonnetized gripe...» («Я люблю вести дневники в рифму, в сонетных тисках». — Письмо Ольге Баттерворт 2 апр. 1959). См. также в письме № 84: «Каждую лирическую мысль слышишь уже стихом и тогда нет перехода между образом и исполнением».

95. С. П. БОБРОВУ

14 июля 1914, Петровское на Оке

Сергей, ты представить себе не можешь, как взволновало меня последнее твое письмо. В нем много горькой правды, в особенности, где говоришь ты о весеннем поведении нашем. И я ничуть не исправлю твоего впечатления, которое оно оставило в тебе, если скажу, что Синяковщина тут ни при чем[1]. Ты удивительный человек, Сергей. У меня на памяти еще один из весенних вечеров, когда ты застал у меня Костю Локса. Ты был неузнаваем в тот вечер, и глубоко растрогал меня своими воспоминаниями о первых шагах Николая и о твоем с ним знакомстве. Забытою какой-то свежестью и теплотой дышали и слова твои о Баратынском, Языкове[2], об импровизации. Прости, ты ошибаешься, уравнивая меня в моих поступках с Николаем[3]. В этот вечер я весь целиком был с тобой и мой совет — отказаться от письменных переговоров и пойти на личные объяснения с теми дикарями только таким живым участием и может быть объяснен[4] — ты ведь понимаешь, что после ре-

дакторского отказа в личных объяснениях это дело коснулось бы меня иначе и несравненно менее, чем как представителя издательства. Я никогда перед тобою душой не кривил и ничего за твоей спиною не подготовлял. Только потому-то я и написал тебе сейчас о моем обособлении, чтобы задолго до действительного повода для него и вообще только в предчувствии возможности в будущем самостоятельных моих выступлений вовремя тебя об этом уведомить. А до такого выступления еще далеко. Это ли не само чистосердечие? Ты, конечно, настолько доверяешь мне, чтобы уверовать в то, что этот шаг мой ни в какой зависимости от весеннего инцидента не стоит, и я не стану уверять тебя в этом. Иное дело все эти окрестные сорванцы. Ссылка на Николая с достаточной очевидностью показала, с каким вниманием следили и следят они за семейными нашими делами. И чтобы уберечь тебя, и скажу прямо, тебя как руководителя, помощника и друга, который тем сложнее обязывает и привлекает к себе, что временами, под давлением житейских невзгод искажается до неузнаваемости и тогда отталкивает и даже против себя самого вооружает, — чтобы уберечь тебя от новых ссылок на поведение твоих сотрудников, — я ничего в этот сезон не предприму, да и вообще мои действия никогда не будут тайной для тебя. У тебя невольно может зародиться вопрос. В чем же собственно дело? Человек объясняется тебе в любви и заверяет тебя в своей преданности — казалось бы и нечего желать лучшего. Позволь же мне, воспользовавшись тем единодушием, с коим мы недавно радовались чистому лиризму Ивнева и навсегда осудили прессованную под многоатмосферным давлением выразительность — прямо сказать тебе, что вызвало у меня это долго создававшееся охлаждение к Цфге*. Если как-то торопливо злободневна и рыночна Гилея и П<ервый> Ж<урнал> Р<усских> Ф<утуристов> — то это *умышленная* порча воздуха, это та принципиальная вонь, которая, по их понятиям, составляет неподражаемую прелесть и секрет их сыроварни. Это никак не оплошность, это сознательное озорство. Необходимость и надобность этой приправы к футуризму и по сю пору для меня загадочна. Но ведь у всякого свой ум и толк. Однако если от этих благовоний не свободен и Руконог — это (в связи с твоими последними словами о лирике, благородной и животворной по чистоте или простоте своего источника)[5] — недостаток; — и эта отрицательная величина — коэффициент случайный и неоправданный.

---

* Здесь и далее авт. сокращение «Центрифуги».

В небе гнездились мы также совершенно напрасно[6], я этого не только не хотел, но всем существом своим этому противился; — что ж тут удивительного, что выпал я наконец из гнезда. Разнообразие шрифтов находил я иногда обоснованным только у покойного Игнатьева[7] — оно ничем не мотивировано в Руконоге и изменяет той живости эпидермы, которой должна быть печать; — болезненность набора в том виде, как он дан был на обложке Р<уконога> — Л<ирики> — есть просто безжизненность кожи, какое-то дикое мясо. Затем, воевода Василиск это, увы, за исключением «Карманщика»[8], пожалуй, та же Хлебниковская оторопь. Вообще, если «Лирика» была смешна в положении священнодействующего редингота, Руконог был пока гадким утенком всего. Недостатки первого нашего выступления лишены всякого корня, никакого труда не требуется, чтобы избавиться от них, но я еще не знаю, признаешь ли ты предосудительность всех этих свойств Руконога или Центрифуги.

Ты выказал удивительную прозорливость и расторопность осенью, когда силою вещей стал вожаком нашей левой в «Лирике». Кроме того, литературные твои предсказания безупречны. Мне неудобно (это было бы как-то нецеломудренно) говорить тебе о ясности и прозрачной структуре твоей лирики. — Все это вместе дает счастливое сочетание тех качеств, которые требуются в редакционно-администраторской работе. — Ты во всем этом незаменим. И меня немало удивили твои уступки дурной моде последнего времени — ты мог бы и должен был бы дать нечто гораздо большее, ты владеешь такими данными, которые ставят тебя над модой и угрожают ей. Не сам ли ты сделал естественный тот вывод из Брюсовской статьи, который напрашивается сам собой: что Ц-ф-га — действительно — центральный для Москвы (да и для Петербурга ведь) — орган молодых[9]. Я скажу: могла и должна была бы быть органом руководящим и задающим тон. Действительно, ты накануне этого, но пока и только, хотя так легко, мне кажется, достигнуть такого положенья. Но почувствовав себя цесаревичем в царстве поэзии, говори и тоном аристократии. Вместо этого ты готовишь восьмистраничный ругательский выпад![10]

Опять за старое! Я тебя не понимаю, кой бес толкает тебя при каждой счастливой констелляции* так безжалостно разрушать свою же позицию. Я ведь знаю, как тебя воспринимают молодые в Петербурге. Неужели это уважение их и сочувствие, больше, ху-

* Здесь: стечение обстоятельств.

дожественная чуткость их по отношению к тебе как к поэту — неужели это не может служить тебе камертоном, указующим, какой лад должен воцариться в Центрифуге? Сергей, ты поддел и подкупил меня своею искренностью, прости мне ту бесцеремонность, с которой я берусь судить тебя. Но это вечное проклятие безденежья и необходимость все снова и снова отделываться дешевизною и скороспелою случайностью внешней стороны издания! Как ты думаешь бороться с этим? Господи, мы могли бы овладеть движением, если бы именинный фрак футуризма или, шире, лирической современности хранился в нашем шкафу! Сергей, прерву пока письмо и в таком виде тебе его пошлю, чтобы не ждал ты ответа и не нервничал.

Крепко целую тебя и сегодня же вечером сяду снова тебе писать; много чего надо мне еще сказать тебе.

Преданный тебе Б. П.

Впервые: «Встречи с прошлым». Вып. 8, 1996. — Автограф (РГАЛИ, ф. 2554, оп. 1, ед. хр. 55). Дата получения, поставленная Бобровым, — 16 июля 1914 г.

[1] Вокруг сестер Синяковых (Зинаиды, Марии, Надежды, Веры и Ксении) образовался кружок московской художественной молодежи. Пастернака ввел туда Асеев; Ксения Михайловна вскоре стала женой Асеева, он посвятил ей книгу «Оксана» (1916). Надежде Михайловне посвящена большая часть стихов книги «Поверх барьеров».

[2] В статье Боброва «Н. М. Языков в мировой литературе», в 1916 г. вышедшей отдельной брошюрой.

[3] Речь идет о разрыве Асеева с Бобровым и выходе из «Центрифуги». Пастернак сообщал Боброву об обмене письмами с Асеевым: «Николай прислал мне сначала письмо, в котором называет Маяковского хамом. В ответ на это я сказал ему несколько неприятных вещей. В результате письмо — которое огорчило меня своею сухостью и тоном сдержанной оскорбленности» (3 июля 1914; там же. С. 223). Ретроспективно Асеев иначе описывал свое расхождение с Бобровым, как с «человеком требовательным и ревнивым в литературе. Бобров весьма неприязненно относился к Бурлюку, а Маяковского, хотя и признавал за одаренность, но отвергал за примитивизм. <...> К Боброву я скоро охладел в своей литературной дружбе и хотя он много для меня сделал, но уйти от обаятельности Маяковского я уже не смог» (Маяковский в воспоминаниях современников. М., 1963. С. 402).

[4] Здесь и ниже речь идет о весеннем объяснении с членами группы «Гилея».

[5] Возможно, ссылка на статьи Боброва «О лирической теме» и «Лирическая тема».

[6] Из стих. С. Боброва «Турбопэан»: «И над миром высоко гнездятся / Асеев, Бобров, Пастернак» («Руконог». С. 28).

[7] Поэт И. В. *Игнатьев*, издатель многих сборников и периодических изданий петербургских эгофутуристов: «Всегдай», «Петербургский Глашатай», «Засахаре кры», «Развороченные черепа» и др. Экспериментировал в области визуальной и графической поэзии. Покончил с собой в день свадьбы 20 января 1914 г.

[8] Поэт *Василиск* Гнедов печатался в изданиях эгофутуристов и в «Руконоге». Пастернак называет его стих. «Бросьте мне лапу...».

[9] В статье «Год русской поэзии (апрель 1913 — апрель 1914). Порубежники» Брюсов пишет: «Но все же футуризм поэтов "Центрифуги" (не говорим о присоединившихся к ним писателях из "Петербургского Глашатая") имеет особый оттенок и сочетается со стремлением связать свою деятельность с художественным творчеством предшествовавших поколений» («Русская мысль», 1914, № 6. С. 16, 3-я пагинация).

[10] Вероятно, несохранившаяся статья Боброва, готовившаяся для следующего, невышедшего сборника.

96. А. Л. ШТИХУ

14 июля 1914, Петровское на Оке

Дорогой Шура! Меня неистово интересует, что ты выбрал из предложенного мною и вообще выбрал ли что-нибудь[1].Веселее, друг мой, как никак, а это ведь событие. Не откладывай дела в долгий ящик и напиши мне, как поступил. 10-го приехал наконец Вяч. Иванов и в первый же вечер у Балтрушайтисов был литературный чай; читал новый свой цикл Ю. К. Балтр<ушайтис>, много хорошего, но снова раздумья и зацветания мигов. Хотя есть несколько строф вроде такой: Но Зодчий дней, в любви суровой/ торопит каждый взмах крыла / чтоб мука смерти жизнью новой / и новой юностью была //. Или: Как срок дан искре, срок волне/ так сердце мечется во мне[2]. — Вяч. Иванов — не сужу его как поэта, — не чувствует элементарных вещей в поэзии, — ее корня и наиболее острого — метафоры, требуя от метафоры... тожества! Метафора по его словам, — впрочем, он не раз уже об этом писал — должна быть «символом», т. е. реалистическим (не в художественном, а «мистическом» смысле) раскрытием предмета. Каково? Вот тебе твои символисты! Это просто напросто антипоэты. Вот о чем попрошу тебя: если будешь в Москве, зайди к Лидерту в Петровских линиях и спроси, пожалуйста, отчего Балтрушайтису не высылают заказанные мною книги[3].

Впервые: «Россия». Venezia, 1993, № 8. — Автограф (РГАЛИ, ф. 3123, оп. 1, ед. хр. 36). Датируется по почтовому штемпелю на открытке.

[1] См. письмо № 93 с перечнем названий для его сборника стихов и псевдонимов.

[2] Строки из стих. Ю. Балтрушайтиса, написанных в Петровском в июне 1914 г. «В тревогах жизни, в час непрочный...» и «Как срок дан искре, срок волне...». Вошли в книгу «Лилия и серп».

[3] Поперек открытки красным карандашом надпись: Der Tod Artürs (Смерть Артура. — *нем.*). См. письмо № 85 о намерении вместе с Балтрушайтисом писать пьесу о Короле Артуре.

97. РОДИТЕЛЯМ

После 23 июля 1914, Петровское на Оке

Наконец-то! Это не упрек, я знаю, теперь не до писем вам, но когда же, как не теперь[1], так настоятельна и непреодолима потребность в том, чтобы увидеть вас! Произошла молниеносная перестановка явных и тайных симпатий и антипатий. Не говоря о специально-племенных чувствах (sapienti sat*), душевное расположение всякого кочегара культуры — а таков прежде всего художник — не нуждалось до сих пор в толковании. И вдруг! История не знает ничего подобного и узурпации Наполеона кажутся капризами, простительными гению в сравнении с этим бесчеловечным разбойничьим актом Германии. Нет, скажи ты, папа, на милость, что за мерзавцы! Двуличность, с которою они дипломатию за нос водили, речь Вильгельма, обращение с Францией, Люксембург и Бельгия! И это страна, куда мы теории культуры ездили учиться! Рядом с этими, укладывающимися в строчку, потому что и газеты уже набрали их печатным путем, чувствами — стоячий как кошмар, цельный и непроницаемый хаос.

Поездка Балтрушайтисов — на рассвете, почти бегство.

Целый день ливень, тоска, запустение. И это запустение, и эта тоска, и прежде всего, конечно, это ненастье, — во всякое иное время — столь благодатные для меня. Я не верю своему искусству, если заправляю его в солнечный день: легкий жар, с которым это действие всегда так связано, исходит как будто бы все от того же полдня, и ты не чувствуешь себя язычком пламени, зажженным на письменном столе в пасмурный утренник под оползающим, расседающимся небом. Такие дни — дни для лирика. — Эта подробность тоже не последняя светотень в сети частого этого безвременья.

---

* умному достаточно (*лат.*).

А когда я прочел воззвание Пуришкевича[2] к забвению всякой племенной розни — не выдержал и разрыдался, до того все нервы перетянуты были. Господи, до чего нас измучили! Может быть все позорно это: Оболенское[3] и вывод отсюда и то, что после приступа этого заныло, взвыло что-то во мне и я без лишних слов, как в собственную свою комнату, прошел к Ивановым, у них пианино, — но у Веры Константиновны брат офицер в Гродне!! Он не говорит вероятно о настроениях и о культуре и о Европе в эти дни и еще менее вероятно импровизирует. Но отчего же я остаюсь собою и не краснею? Нет, не шутка, вероятно и наше дело и достаточно в нем фатального, которое вдруг оказывается таинственным образом сродни общему фатуму этих дней.

День — как в паутине; время не движется, но капля за каплею высасывается каким-то узлом ненастья, — и подчиняясь этой топкости засасывающего неба, выходишь к вечеру за ворота, за плечами — тургеневская изгородь усадьбы — впереди — свинцовая пустыня, пустыри в слякоти, жнивья, серые, серые, воронье, комья пара, ни души, и только полный, невыносимо многоверстным кру́гом очерченный горизонт вокруг тебя — ты — центр его заунывных ветров и центр его усыпительного гипноза, и сколько бы ты ни шел, все будешь осью его, равномерно перекочевывающей осью.

На горизонте частые поезда, товарные, воинские. Это все один и тот же поезд, или еще вернее, чье-то повторяющееся без конца причитание об одном, последнем, проползшем поезде, который может быть прошел и вправду, до этого наваждения, до этой мертвой думы, от которой оторвалась последняя надежда, в последний день, быть может, 19-го, когда действительность еще существовала и выходили еще из дому, чтобы вернуться затем домой.

Я шел на станцию с повесткой о заказной какой-то бандероли. На Средней стоял воинский поезд с кавалерийским эскадроном. Солдаты вели себя как гимназисты на перемене, как камчаточники перед греческим уроком, который не пугает их, потому что они уже камчаточники.

Какая-то баба принесла пригоршню зеленых яблок, кавалеристы затеяли драку с командой, шуточной и нервно-остроумной, иронизирующей над завтрашним днем. В пролетах вагонов — морды лошадей, благородные, породистые, вероятно, офицерские, скучные глаза, далекие от наших тревог, пасмурные и поблескивающие.

Изредка труба горниста распарывающая серый туман. Поезд ждал встречного: Средняя — разъезд. Подошел этот поезд почто-

вый, переполненный, люди не только на площадках, но на переходных мостках между вагонами стоят. Вдруг, как по команде, бабье причитание вокруг, истерика — проводы запасных. Ты знаешь, слышал, наверное, в эти дни повторяющийся этот напев, в который хотят насильно втиснуть свой визгливый голосистый плач и утопить в нем все эти Каширские и Калужские, Алексинские и Тарусские золовки, невестки, соседки и молодухи?

Я прямо содрогнулся от восторга при виде того, как солдаты воинского поезда, когда прошел почтовый, — со снисходительной насмешкой отнеслись к женской этой кутерьме. На каждой станции вероятно — то же самое, а сколько было их, этих станций и сколько еще будет, — и многих провожали точно так же вероятно. О этот обыденный, как будто в порядке вещей он, — героизм их! Я твердо почувствовал, что если дело дойдет до крайности, и я, как и Шура, вероятно, поведем себя как парижане сорок лет назад перед пруссаками. Но об этом лучше не говорить. Может быть это слова только.

Зашел на станцию за бандеролью. Представь себе мое удивление: из Мусагета, новая книга Эм. Метнера «Размышления о Гёте», с собственною его надписью: Борису Леонидовичу Пастернаку... на добрую память от — Метнера; по адресу Балтрушайтисов и только мне, мне, которого он всего три раза видел, с которым я лично не знаком и т. д. И в такую минуту, в этой глуши, в необъятности ненастья и разорения, в день как бы смытый с лица недели, в день без назначения и наименования эта странная посылка неописуемо меня растрогала. Написал ему письмо на адрес Мусагета[4]. Бедный, в какое время выпустил. Дельно, отчетливо, философски без священнодействия, существенно написанная книга. —

Часто захожу к Ивановым. Он знает, что мы разных с ним толков, но нескрываемо, в особенности через посредство своей секретарши (напоминает Ек. Ив. Баратынскую[5]) — благоволит ко мне. Доказывает, что то, что я называю просто обостренною выразительностью и вообще истинной, оригинально созданной художественностью, — есть — я-с-н-о-в-и-д-е-н-и-е!! И когда я ему говорил что-то о наблюдениях над змеей, или о том, как я представляю себе солнце в Египте, с тою, свойственной мне манерой *независимости* от нехудожественной *привычки* и верности свежему впечатлению к каким бы неожиданностям оно меня не приводило, он повторял, что это все плоды ясновидения и если бы я умел это запечатлеть так, как я умею об этом рассказывать, я зая-

вил бы себя крупнее и значительнее, чем я быть может мечтаю об этом и т. д. То же, что я говорил тебе в одном из моих писем (о своеобразном в принципе подходе к творчеству, об исходном, и даже поддающемся теоретическому определению своеобразии своего дела), я чувствую с каждым днем решительнее, хотя ни единой строчкой не нарушил еще торжественного своего бесплодия последних трех месяцев. Вообще, В<ячеслав> Ив<анович> говорит, что я лучше и больше того, что я думаю о себе, хотя я ничуть перед ним не скромничаю; что никогда он не видал человека, который настолько бы вразрез со своими данными поступал, как я. Он имеет при этом в виду то рабское подчинение ритмической форме, которое действительно заставляет меня часто многим поступиться в угоду шаблонному строю стиха, но зато предохраняет меня и от той опасной в искусстве свободы, которая грозит разливом вширь, несущим за собой неизбежное обмеление.

От М<арии> И<вановны>[6] получил сегодня письмо. Громадное спасибо тебе, папа. Правда ли, что Федя хочет в р. п. п.?[7] Вот хорошо было бы! Пишите же поскорее мне! Если бы хоть скорее в Москву мне попасть!

Как тетя Ася? Уговорите ее в Москву переехать. Получил от квартирной своей хозяйки письмецо. Рад тому, что мужа ее не тронули.

Если Балтрушайтисы вернутся, испрошу у них разрешения съездить к вам на пару дней. Сейчас чуть ли не ежедневно бываю у Ржевских и Ивановых. Вяч. Ив. остроумный, глубокомысленный собеседник, и в прошлом, в молодых своих вещах серьезный поэт чистой воды. В нем есть что-то напоминающее Гёте, конечно только в манере держать себя. Девять семестров провел он в Берлине — но о Guillaume'e[8], как он его называет, говорит с тонким юмором.

Целую тысячекратно.

Боря

Впервые: «Знамя», 1998, № 4. — Автограф. Датируется по содержанию, написано после письма К. Г. Локсу 23 июля 1914 («Минувшее», №13).

[1] 19 июля / 1 авг. 1914 г. Германия объявила войну России.

[2] Одиозный политический и общественный деятель В. М. *Пуришкевич*, член Государственной думы 2–4-го созывов, один из лидеров «Союза русского народа» и «Союза Михаила Архангела», участник убийства Распутина.

[3] Речь идет о событиях 1903 г., когда на даче в Оболенском Пастернак упал с лошади и сломал ногу. Нога срослась с укорочением, что стало причиной его освобождения от воинской повинности.

[4] Э. К. Метнер получил письмо Пастернака в конце 1914 г. в Швейцарии. По его словам, Пастернак восхищался «Рассуждениями о Гёте», восхваляя «юношеский пыл и дьявольское хладнокровие автора» (М. Юнгрен. Русский Мефистофель. Жизнь и творчество Эмилия Метнера. СПб., 2001. С. 119).

[5] Первая учительница Пастернака до его поступления в гимназию.

[6] М. И. Балтрушайтис.

[7] Сокращение не расшифровывается. Возможно, Ф. К. Пастернак думал идти добровольцем на фронт. Позднее он был интернирован как австрийский подданный и войну пробыл в Уфе.

[8] Французское произношение имени германского императора Вильгельма II.

98. РОДИТЕЛЯМ

21 августа 1914, Петровское на Оке

Бедные, бедные папа и мама! Получил сегодня от Шуры письмо и все узнал. Одна несправедливость за другой![1] Неужели еще не заслужили вы безусловного, ничем не омраченного отдыха. Если бы только знали вы, как больно мне за вас. Дорогие, неужели вы можете допустить, что и воображения у меня нет никакого, что неспособен я представить себе того внезапного разгрома, которым был наверное ваш внезапный, сложный, непосильный душевно и физически подкашивающий переезд из Молодей? Но теперь это все ведь за плечами. Теперь главная тревога за Жонюру, ее состояние, исход болезни. Как пишет Шура, болезнь протекает хорошо; я боюсь сглазить, но в этом хотя бы судьба пощадила вас. Ради Бога не предавайтесь темным мыслям о материальном поддержании жизни. Дикостью кажется вам вероятно эта фраза и оскорбляют наверное вас эти слова, как слова. Но не слова это. Вы так благородны, так исключительны в душевных качествах ваших, и это я говорю не в розовом свете семьи, не как сын, а вообще, что не могу себе представить никак и допустить не могу, чтобы судьба вас могла или хотела бы оскорбить или доставить горе; — ах это трудно выразить. Есть что-то вроде веры или это даже вера сама, — которая подсказывает мне, что на жизненно прекрасном и на жизненно осмысленном судьба не может не останавливаться с любовью, — одним словом, неужели же судьба меньше любит вас и к вам привязана, чем я, если и меня она только, судьба, вас любить

и страдать за вас научила. Я боюсь этих слов. Может быть я не прямо выражаюсь, может быть это стыд наш, так называемых интеллигентных людей. Но собственно не о судьбе я говорю, но о каком-то ангеле судьбы, бесконечно глубокомысленном, и постоянном сверстнике нашем[2], с которым мы остаемся наедине, когда говорим сами с собою на прогулке или размышляем, или чувствуем себя одинокими на людях. И в конце концов о Боге. Это кажется если не кощунственным, то по меньшей мере праздным и никуда не годным представлением о нем, если я скажу, что весь твой личный опыт, папа, и твой, мама, и ваше горькое сетование: «За что же опять это?» — это опыт самой той, направляющей вашу жизнь силы, которую вольны вы называть как хотите, и признавать или не признавать, но и сама эта сила скорбит о том ударе, который вам наносит, чувствует вашими чувствами, и замышляет выход из этих пут и осуществляет его. Ах как трудно это выразить. Ну вот вам в кратчайшей форме этот символ веры, в котором, думая сейчас о вас, я захлебываюсь почти. Чистый (не мелкий, конечно, и не тот, который этим словом принято обозначать), одухотворенный *эгоизм* каждой, в себе самой сосредоточенной жизни, — есть эгоизм самого Бога, и Бог эгоистичнее всякого эгоиста.

Каждый человек, в конце концов не может любить себя самого так, как он любим самою жизнью.

Я чувствую, папа, тебя раздосадует все это, сказанное мной, главным образом возмутит тебя косноязычием своим и непонятностью. Но я пишу это при невозможных условиях: сейчас я должен заниматься с Жоржиком, пишу урывками, в то время, как он тут же работает, и совсем голову я потерял, узнав о постигшем вас. Так вот, ты не сердись. А прибавлю я вот что. Я не хотел все время вам правду написать о той моральной истерзанности, в которой я пребываю эти дни здесь в зависимости от происходящих событий. Наступил такой день, когда я твердо решил как-нибудь пробраться в Бельгию или во Францию и поступить добровольцем туда. Почему не в нашу армию? Наше положение несравненно счастливее угрожаемого немцами Парижа. Да кроме того на днях об этом поговорим. Теперь я не вправе и думать об этом. Если долг семьянина способен быть преградой такому решению, то у меня является теперь такой долг. Смешно в это время, когда самому почти что зубы на полку положить придется, мечтать о поддержке кого-нибудь. А между тем я мечтаю об этом. И ту крайность душевного напряжения, с какою понятно был связан мой (отнюдь

не героический, а просто освобождающий меня от отвратительного нравственного презрения к себе) план, это напряжение я приложу к тому, чтобы во что бы то ни стало как-нибудь помочь вам. Не обсуждайте, пожалуйста, этих слов моих и забудьте о них, пожалуйста. Но все становится для меня чепухой в сравнении со святыней дома, с тайной личного роста и тех, которые тебя взращивали, а тем самым взращивали и эту тайну, наконец, в сравнении с высоким смыслом первенства и старшинства в семье. Горячо вас целую. Не пишите мне уже сюда.

Ваш Боря

Впервые: «Знамя», 1998, № 4. — Автограф. Датируется по почтовому штемпелю.

[1] Речь идет о внезапной болезни Жозефины и срочном отъезде в Москву.

[2] Ср.: «Когда он лишь меньшой из взрослых / И сверстник сердца моего» — «Баллада» («Бывает курьером на бóрзом...», 1916).

99. А. Л. ШТИХУ

6 февраля 1915, Москва

Ленивка. Лебяжий п. д. 1 кв.7.

Милый Шура! Получил твое письмо. Спасибо. Оно меня крайне огорчило. Что ты! Свет не клином сошелся, борись изо всей мочи с твоими настроениями: они опасны, и ты не закрывай мне рта тем возражением, что они незнакомы мне, это неправда; это неправда, уж кто-кто, а я-то их знаю и даже боюсь, не мое ли влияние сказалось на твоей меланхолии. Ты не осердись на меня, знаю, что письмо выйдет не таким, каким легко бы мог я отделаться, последовав внушениям моих чувств к тебе. Я же умышленно встану наперекор этим чувствам с тем, чтобы показать тебе, насколько жесток ты относительно себя самого, — утешать я тебя не собираюсь, — потому что не в чем утешать тебя, и доказать тебе это совсем легко, если ты не будешь упорствовать в своих настроениях.

Но чувствую, обернешь ты все мои слова, и еще скорее самый тон письма (видишь, оно у меня с языка уж срывается) — обернешь ты его к тому, что летом мы кинематографом прозвали, и будешь прав по-своему.

Тебе 24 года, их никогда уже больше не будет. Искренне и серьезно я могу пожелать тебе только полного выздоровления. Все остальное просто прилагается к этому единственному, жизнью заповеданному символу молодости.

Искусство? Но ведь я распростился с ним однажды. И по правде — никогда в этом не раскаиваюсь. Отсутствие абсолютного слуха у меня было только подставным, думается мне, моментом. Важно было бросить музыку: теперь я знаю, как сузил бы я себя, если бы остался при ней. Марбургское приключение мое было... было после долгих лет бесплодно мечтательного и робкого влечения первым живым и до чрезвычайности болезненно завершившимся движением[1]. Смысл его таков. Девушка, которая была действующим лицом в этой трехдневной интермедии, в первый раз была привлечена мною к ответу по всем основным параграфам сердца, о которых нельзя говорить, которыми нельзя «делиться» — словом, которыми нельзя шутить. Она оказалась тончайшею толковательницей женственности при полной неосведомленности своей относительно того, чего я от нее домогался. Милый мой, я говорю не о невинности неведенья, конечно, я говорю о душе, три ночи не сымавшей пиджака и не показывавшейся на пороге своего дома, а потом, при всем противодействии создавшихся привычек, громко и вслух возроптавшей на всяческие пенюары и пиджаки[2]. О душе, не пожелавшей ни за что на свете оставить комнату в отеле, когда об этом попросили, сначала девушка и потом лакей. Если я и писал тогда о женственности, то только потому, что сильно заблуждался: я не знал, что приступ страсти благороднее всяких до неузнаваемости разукрашенных слов о ней.

Потому что этот приступ, что за счастье! может быть только у *того* человека и у *того самого*, который так возвышенно и мистично, по-Метерлинковски говорит о нем: и если изобретение Земли было гениально вдохновенной затеей, то изобретатель Земли не только не поступился ничем, построив ее; но только при этом условии он и мог ее создать, при условии неослабного повышения своей изобретательской горячки.

Женственность — Гётевское слово. Прочитай его биографию, и ты перестанешь пользоваться им. Вообще это — не детское, не отроческое, не юношеское даже слово. К седым волосам, пожалуй, подберется и сложится оно — преждевременно склеротическое, но никогда не слюнявое, не у тебя, не у меня тоже — отвяжись, пожалуйста, не знаю у кого, прочти биографию Гёте, наверное есть у Штуцеров[3]. Не сердись.

С марбургскою женственностью твоей мне хочется тебя поздравить. Столкновения действительно враждебных сил бывают чересчур оглушительны, чтобы о них еще писать приходилось одному из тел, участвовавших в этом инциденте. Часто оно совершенно поги-

бает. В лучшем случае об этом знают, против воли своей, знакомые и тем более друзья столкнувшихся. Есть особый вид детского, поэзией слов, обращений и т. д. расчесанного, растревоженного увлеченья; это не любовь, разумеется. Убедиться в неладной полуизмышленности таких отношений случается всегда в обстановке таких слов и обстоятельств, что создается какой-то туман несчастной любви. Ложное положение затягивается, оно еще мутит, душит, печалит, кажется выхода нет из этого унылого тупика. Между тем это-то и есть впервые привидевшийся выход в жизнь. «Несчастная любовь» разлагается: по счастью, это не любовь. Я бы не осмелился писать тебе всего этого, если бы не писал отчасти или даже преимущественно о себе: о той жалкой луже, в которой я барахтался до самого Марбурга.

Первая влюбившаяся в тебя женщина научит тебя всему тому, чему ты сам — по дьявольской фантазии природы — будешь, шаг за шагом, учить ее. Она не слышит, что вся она — подсказана тебе, или слышит, но это неважно, важно тут же, без промедления, ежемгновенно подхватывать подсказанное.

Ты живой человек, тебе 24 года, говорить тебе все это — дело совершенно пустое и лишнее.

Пользуйся своим разочарованием. О своем я говорил всегда приблизительно так же, как имеешь обыкновение рассказывать и ты. Но я рано привык видеть в этих сгустках сомнений то элементарно чистое вещество, которое, хочешь не хочешь, само толкает на эксперименты. Неужели ты думаешь, что все отречения мои были бескорыстны?

Брось *свое* искусство, если ты почувствовал, что оно не выражает тебя, брось и «женственность» свою, без разговоров, окончательно, чтобы не заслоняли они от тебя то лучшее, что — по тебе — потому что в третий уже раз — *ты живой человек на земле живого человека, т. е. на своей собственной земле человека, 24 лет твоей собственной, вдаль бегущей заманчивой жизни.* Эта истина обладает цельностью живой клетки с протоплазмой, ядром etc.

А теперь, — до свидания. На меня свалилась куча работы. Был у Лундберга[4]. Отнес ему новеллу, итальянскую, страстную, клокочущую[5]. Принял в журнал, — издаст отдельной книжкой, вообще хочет издавать меня.

Просит писать свободно, по-своему, думает, что меня бы на роман, на драму и т. д. хватило. Денег пока — по-прежнему ни гроша. Не верю ничему, летние удачи перед глазами[6].

Боря

Впервые: «Россия». Venezia, 1993, № 8. — Автограф (РГАЛИ, ф. 3123, оп. 1, ед. хр. 36). Датируется по почтовому штемпелю.

[1] Речь идет об объяснении с Идой Высоцкой в Марбурге летом 1912 г.

[2] В письме № 122 Пастернак называет Высоцкую «другом детства в нежнейшем пеньюаре...».

[3] Штих жил гувернером в доме управляющего заводом А. И. Штуцера в Романове-Борисоглебске и был влюблен в его дочь Наташу.

[4] Е. Г. *Лундберг* — писатель, журналист, сотрудник редакции петербургского журнала «Современник», органа, близкого народникам и социал-демократам.

[5] Имеется в виду «Апеллесова черта».

[6] Из-за начала войны театр отказался от постановки пьесы Клейста.

100. Н. СУХАНОВУ

7 марта 1915, Москва

Многоуважаемый Г-н Суханов!

Простите, что вынужден в такой форме обратиться к Вам, зная Ваши имя и отчество лишь по инициалам.

Две мои вещи: статья о Г. Клейсте[1] и перевод комедии «Разбитый кувшин» были приняты Е. Г. Лундбергом в мартовский № Современника.

Предназначаются ли они и сейчас для *этого* номера?

Если да, то я чрезвычайно был бы Вам признателен за своевременную присылку корректуры, которой в таком случае надо ожидать на днях, и еще, более того, за более или менее скорый ответ[2].

Уважающий Вас *Пастернак*

Москва 7/III. 915

Впервые. — Автограф (ГАРФ, ф. 1167, оп. 1, ед. хр. 2991). Письма Н. Суханову сохранились, в составе «Коллекции вещественных доказательств», изъятых при обыске в редакции «Современника». Н. Суханов в то время был сотрудником журнала.

[1] Текст статьи Пастернака «Генрих фон Клейст» (1914) не сохранился.

[2] Журнал переживал серьезные затруднения, и ответа на вопросы Пастернака не последовало. Следующее письмо (без даты) было обращено напрямую в редакцию журнала: «Редакция журнала “Современник” чрезвычайно обязала бы меня своевременным осведомлением о том, в каком № журнала имеет появиться перевод комедии Г. Клейста “Разбитый кувшин” и статья о Клейсте — моей работы. То и другое было сдано (как принятые для печатанья в мартовском №-ре вещи) Евгением Германовичем Л<ундбергом> в редакцию» (там же).

101. В РЕДАКЦИЮ ЖУРНАЛА «СОВРЕМЕННИК»

Середина апреля 1915, Москва

Если это принцип редакции «Современник», то в таком случае журналу надо иметь личных представителей в Москве, Киеве, Одессе и т. д. для устных переговоров с сотрудниками, участниками и т. п.

В настоящее время я очень бы желал услышать от редакции: 1) на каком языке надо обращаться к ней, 2) по какому адресу и 3) какими марками и во сколько оплачивать желательный ответ для того, чтобы попытки эти не остались бесплодными. Как только я буду извещен об этой специальной и мне не известной форме сношений с журналом, я повторю в новой этой, гарантирующей ответ форме старый свой вопрос, с которым я в свое время обратился к г-ну Н. Н. Суханову, а недавно и в секретариат редакции:

1) для какого №-а журнала предназначаются перевод комедии Клейста «Разбитый кувшин» и статья моя о Клейсте.

Когда и в каком размере будет выслан мне гонорар и могу ли я надеяться на получение корректуры[1].

Вразумлений относительно способов сношения с редакцией нельзя, по всей вероятности, ждать ранее Фоминой[2]. В таком случае имею честь сообщить новый свой адрес:

Москва, Пречистенка 10, д. Филипп. Борису Леонидовичу Пастернаку[3].

Марки для ответа приложены к двум предыдущим письмам.

Примите и пр.

С почтением. *Пастернак*

Впервые. — Автограф (ГАРФ, ф. 1167, оп. 1, ед. хр. 2991). Датируется по содержанию.

[1] Корректуры не были присланы и через месяц, хотя публикация предполагалась в мартовском номере, и 15 апр. Пастернак снова писал, обращаясь к Суханову: «М<илостивый> Г<осударь>! Вынужден по многим соображениям затруднить Редакцию не раз уже выраженной просьбой о присылке мне корректурных листов моей статьи и стихотворного перевода. Если Редакция вообще и принципиально отказывает авторам в этом праве, я с радостью подчинюсь этому принципу. Но в том или в другом случае Редакция равно обяжет меня своим ответом по этому поводу. Мои работы: "Генрих фон Клейст"» и переводная комедия "Разбитый кувшин" назначены на май» (там же).

[2] Фомина неделя, то есть вторая неделя после Пасхи. В 1915 г. Пасха приходилась на 22 апреля.

[3] Дом коммерсанта М. Д. *Филиппа*, в семье которого Пастернак служил домашним учителем.

102. Н. СУХАНОВУ

3 мая 1915, Москва

М<илостивый> Г<осударь>!

Из вопросов, на днях предложенных мною редакции, в первую очередь меня занимает судьба моей статьи о Клейсте, которой среди корректурных оттисков перевода я не нашел. Думает ли Редакция пустить статью без авторской корректуры? И если да, то избавит ли она меня от тех досадных искажений текста и ампутаций, коими изобиловал перевод?

В заключение я просил бы Редакцию о присылке мне нескольких оттисков перевода по его напечатании.

С уважением. *Б. П.*

Впервые. — Автограф (ГАРФ, ф. 1167, оп. 1, ед. хр. 2991). Датируется по почтовому штемпелю на открытке.

103. Н. СУХАНОВУ

7 мая 1915, Москва

М<илостивый> Г<осударь>!

Прошу препроводить прилагаемое заказное письмо Алексею Максимовичу, который, как я слышал, руководит художественным отделом Современника[1]. Мне непонятны те искажения текста, которыми изобилуют гранки: сокращения, прозаические вставки, выкидки наиболее ярких мест комедии и т. п. Восстановить коррективным путем первоначальный текст — превыше сил моих.

Придется, очевидно, мириться с появленьем моего перевода в таком виде. Тем настоятельнее прошу я редакцию вернуть мне назад рукопись, перевод пойдет отдельным изданием, и не по журнальному, конечно, варианту. Что намерена делать Редакция с моей краткой статьей о Клейсте?

Эта статья, по моим соображениям, от перевода неотделима. Какое вознаграждение имеет предложить Редакция автору перевода и когда она намерена его выслать?

Перевод — стихотворный, и Редакции придется отступить от своего обычного minimum'а (за печатный лист прозы), как это водится со времен Гутенберга[2].

С почтением. *Пастернак*

Впервые. — Автограф (ГАРФ, ф. 1167, оп. 1, ед. хр. 2991). Датируется по почтовому штемпелю на открытке.

[1] Письмо Горькому не сохранилось. Правка перевода, на которую Пастернак жаловался, была сделана самим Горьким. «Вместо благодарности редакции "Современника" я в глупом письме, полном деланной, невежественной фанаберии, жаловался Горькому на то, что со мною были внимательны и оказали мне любезность. Годы прошли, и оказалось, что я жаловался Горькому на Горького. Комедия была помещена по его указанию, и он правил ее своею рукою» («Люди и положения», 1956).

[2] То есть со времени изобретения книгопечатания Иоганном *Гутенбергом* в XV в.

104. Н. СУХАНОВУ

9–11 мая 1915, Москва

Москва, Пречистенка 10

М<илостивый> Г<осударь>, Г-н Суханов!

Благодарю Вас за Ваше обстоятельное письмо. Вступать в пререканья по поводу способа печатанья принятых журналом вещей или их исправления — не имеет уже смысла. Придется мириться с теми улучшениями, которые внесла редакция в мой текст. Всякий сведущий в этом деле, думается, легко отличит неполный 4-стопный ямб от четырехсложной к нему надбавки и узнает в ней чужую руку. Только на эту очевидность двойного происхождения текста и надеюсь.

Цель этого письма — другая. — Хочу напомнить Вам, что, говоря о присылке рукописи, имел в виду *и возвращение мне статьи*, той самой, которая Редакции неподходящей показалась. Уверенность моя в том, что статья пойдет в том же номере, что и перевод, — была такова, что копией с нее я не обзавелся вовремя.

Между тем, статья дорога мне по многим соображениям: между прочим, она пойдет вместе с переводом отдельным изданьем.

Надеюсь, что Вы не задержите ее, тем более, что никакой ценности она для Вас не представляет.

Таким образом, на днях я рассчитываю получить:

майский № «Современника», 10 оттисков перевода,

рукописи: перевода и статьи[1] и... при первой (?) возможности — гонорар.

Очень жалею о том, что литературные эти сношения мои с Вами не были свободны от некоторых досадных придатков для меня, как, впрочем, вероятно, и для Вас.

С совершенным уважением. *Пастернак*

Впервые. — Автограф (ГАРФ, ф. 1167, оп. 1, ед. хр. 2991). Датируется по содержанию. Следующее обращение к Суханову написано 26 мая: «М. Г.! По сей день ни журнала, ни оттисков не получал. Между тем, с неделю уже как майский № вышел. Спасибо за возвращенье рукописей. Когда приблизительно думает Редакция выслать мне гонорар? *К сожалению*, вопрос этот для меня немаловажен. С совершенным уважением. *Пастернак*» (там же).

[1] Рукопись статьи была возвращена.

105. Н. СУХАНОВУ

2 июня 1915, Москва

М<илостивый> Г<осударь>!

Очень огорчен запозданием номера[1]. Все же, просьбы мои остаются в силе. Не знаю, заходил ли в редакцию мой знакомый, во всяком случае, спешу сообщить Редакции, что адрес мой изменился[2]. Прошу адресовать мне посылку, деньги и вообще что бы то ни было по следующему адресу: Москва, Волхонка 14, кв. 9.

С совершенным почтением. *Пастернак*

Впервые. — Автограф (ГАРФ, ф. 1167, оп. 1, ед. хр. 2991). Датируется по почтовому штемпелю на открытке.

[1] Ответ на объяснения Суханова по поводу денежных затруднений журнала, обусловивших задержку печатания журнала.

[2] Письмо написано после антинемецкого погрома в Москве, когда был разгромлен и подожжен дом Филиппов на Пречистенке. При этом сгорели рукописи и книги Пастернака.

106. Н. СУХАНОВУ

19 июня 1915, Москва

М<илостивый> Г<осударь>!

Мне не очень хотелось бы разжалобливать Редакцию своими доводами.

Гонорар мне сейчас до крайности нужен, и у меня нет возможности ждать того случая, когда Редакции будет удобно выдать мне его.

Однако, я далек от мысли вводить Редакцию в интимное средоточие тех или иных моих горестей или радостей. В «Современнике» с февраля лежал мой перевод; $1^1/_2$ месяца уже, как он напечатан.

Как своевременно был аккуратен я, также, мне думается, аккуратна должна быть Редакция в этом вопросе.

Мой адрес: Крестовоздвиженский д. 1, кв. 3. Б. Л. Пастернаку[1].

Впервые. — Автограф (ГАРФ, ф. 1167, оп. 1, ед. хр. 2991). Датируется по почтовому штемпелю на открытке.

[1] Филиппы после погрома переехали к старшей дочери в Крестовоздвиженский переулок. Не имея никакого ответа, Пастернак 27 июля снова посылает открытку в редакцию: «Редакцией, вероятно, затерян мой адрес. Иначе как объяснить себе то, что в течение 2-х месяцев по выходе журнала я не получил ни обещанных оттисков перевода, ни даже майского №, хотя бы, не говоря уже о гонораре, который месяц назад должен был ожидаться мной со дня на день» (там же).

107. Н. СУХАНОВУ

10 августа 1915, Москва

М<илостивый> Г<осударь>!

Вы перестали отвечать мне: Вы отнесли, наверное, мои напоминания к категории докучливых и неотвязных просьб и таким образом ликвидировали это дело, решившись раз навсегда отделываться молчанием по поводу гонорара. У меня нет средств, достаточных для того, чтобы съездить в Петроград единственно по этому поводу. Вы избавлены силою вещей от того, чтобы форма моих напоминаний изменилась хоть сколько-нибудь. Вы или Ваш секретарь будете коллекционировать эти открытки, у Вас ведь есть корзинка для письменных и печатных отбросов. Но скажите, пожалуйста, что предпринять мне?

Мы живем сейчас в такое время, когда жупел эгоистической заботы о себе самом готов хоть кого вогнать в краску. Не воспользовались ли Вы своевременно и этим жупелом? Тогда я отдаю должное Вашему остроумию: Вы затянули дело платежа настолько, что теперь даже само благородство готово воскликнуть: «О разбитом ли кувшине или о каком-то там надоедливом Пастернаке думать нам сейчас!!».

Благоволите все же хоть сколько-нибудь поставить меня в известность о том, до какого предела Вы намерены затягивать эту расплату. Если мне вообще осталось еще надеяться на предел[1].

С совершенным почтением. *Пастернак*

Адрес мой: Шереметевский пер., д. 3, кв. 90[2].

Я часто меняю свои адреса. Ведь это тоже — показательно.

Впервые. — Автограф (ГАРФ, ф. 1167, оп. 1, ед. хр. 2991).

Датируется по почтовому штемпелю на открытке.

[1] Через неделю Пастернак снова просит об ответе: «$2^1/_2$ месяца назад тот тон неуверенности, с которым я заговорил о выплате гонорара, привел Вас в негодование: "'С<овременник>' никогда еще не задерживал гонорара; неужели Вы могли усомниться и т. д.". Но даже для того хотя бы, чтобы одалживать деньги в счет этой, безнадежной получки от Вас, — даже для этого единственно — должен ведь я, согласитесь, хотя бы приблизительно знать тот максимальный срок, в течение коего эта выплата воспоследует» (там же). Среди бумаг «Современника» сохранился ответ редакции Пастернаку, вероятно не отосланный, где излагаются трудности финансового положения журнала, связанные с цензурным давлением, что не давало возможности ни издавать следующие номера, ни платить сотрудникам. Вскоре журнал был закрыт.

[2] Филиппы сняли новую квартиру в Шереметевском переулке, туда же с ними переехал Пастернак.

108. Д. П. ГОРДЕЕВУ

16 декабря 1915, Москва

Москва 16/XII. 1915

Глубоуважаемый Дмитрий Петрович!

Меня чрезвычайно тронуло Ваше предложение. Я искренне Вам благодарен за то, что выбор свой Вы остановили на мне, но выбора этого не одобряю и не могу понять.

Вы, наверное, не знаете, какого невысокого мнения я обо всем том, что происходило и происходит в русской литературе и поэзии за последние десятилетия и в наши дни. — Работы Вашего покойного брата ничем не хуже и не лучше всего остального в этом роде. Они оригинальны постольку и оригинальны в том, в чем и поскольку оригинальны все явления этой бедной неплодной эпохи, не исключая, разумеется, и моих собственных блужданий и заблуждений в этой области.

Вы спросите, быть может, как согласовать мое участие в футуристических сборниках с этими убогими признаниями? О, этот вопрос завел бы меня с Вами слишком далеко, в область исследования характера случайности и случайностей характера. Последние года два мне не приходилось заниматься писательством серьезно — были другие дела. А такое полусерьезное отношение и позволяло мне мириться со многим таким во мне самом и в окружающих, что вообще в замкнутой системе творчески правдивого и живого организма существовать не может.

Я отказываюсь от Вашего предложения. Я отказываюсь потому, что все сделанное нами пока — ничтожно, и потому, что оставаться верным этому духу ничтожества я не в состоянии.

Крепко жму Вашу руку. Не сердитесь.

Ваш Б. Пастернак

Впервые: журн. «Литературу ли сакартвело», 1969, № 43 (воспроизведено факсимильно). Место хранения автографа неизвестно.

Д. П. Гордеев — искусствовед, архитектор, брат поэта Б. П. Гордеева (Божидара), участника «Центрифуги». Письмо — ответ на просьбу Д. П. Гордеева написать предисловие к посмертному изданию сборника стихов Божидара.

109. Р. И. ПАСТЕРНАК

21–24 января 1916, ст. Всеволодо-Вильва

Ст. Всеволодо-Вильва — Пермской ж. д.

Дорогая мамочка! Получили ли вы уже мои открытки? Я скоро неделю уж здесь[1]. Тут чудно хорошо.

Удобства (электрическое освещение, телефон, ванны, баня etc. etc.) с одной стороны — своеобразные, нехарактерные для России красоты местности, дикость климата, расстояний, пустынности, — с другой. Збарский[2] (ему только 30 лет, настоящий, ультра настоящий еврей и не думающий никогда перестать быть им) за познанья свои и особенные способности поставлен здесь над 300-численным штатом служащих, под его ведением целый уезд, верст в шестьдесят в окружности, два завода, хозяйство и административная часть, громадная почта, масса телеграмм, поездки к губернатору, председателям управ и т. д. и т. д.

Провинциальная местная «интеллигенция» держится в должном страхе и почете. Здесь есть зато и симпатичный молодой ученый из Москвы, его лаборант, а Збарский здесь хозяин, и если надо будет, он может что угодно сделать, хотя лучше бы я этого не писал.

Вероятнее всего призываться поеду все-таки в Москву. Ну да до этого еще далеко. Пока постепенно вхожу в тон работы, хотя сильно я от рук отбился, надо сказать.

Сегодня утром я, Збарский, его жена[3], лаборант-поляк и Егор объездчик ездили расставлять капканы на рысей. — Весь день из кадок каких-то бездонных льется белизна и рядом с ней как уголь черная масса кедровых и еловых лесов, туманных, дымом обволакиваемых гор, — свежесть, свет, крупные масштабы, целый день меняют лошадей, шагу пешком не ступят, быстро спускается ночь,

сразу везде зажигается само собой электричество, так день проходит за днем.

Как твое здоровье, дорогая мама? Как папа, дети как? Что вообще нового дома?

Пусть напишет кто-нибудь мне. Крепко тебя, папу, детей, Шуру обнимаю и целую.

Кланяйтесь Вальтеру[4] и Филиппам через него, если будете иметь случай. Еще раз крепко целую.

Твой Боря

Впервые: «Знамя», 1998, № 4. — Автограф. Датируется по содержанию.

[1] Предполагаемая дата приезда Пастернака во Всеволодо-Вильву по рекомендации Е. Г. Лундберга на работу в конторе химического завода 14–16 января 1916 г.

[2] Б. И. *Збарский* — главный инженер и управляющий завода.

[3] Фанни Николаевна.

[4] Ученик Б. Л. Пастернака, сын М. Филиппа.

110. Л. О. ПАСТЕРНАКУ

30 января 1916, Всеволодо-Вильва

Дорогой папа! Здешний быт, климат, природа; здешнее препровождение времени мое и мои занятия, — все это настолько далеко от Москвы, — хотя бы географически: четырьмя ночами пути по железной дороге отделен я от Ярославского вокзала; — настолько далеко и несходно, что мне не верится, будто назад две недели я еще был в Москве; и затем я настолько себя в другом мире здесь чувствую, что не могу не воспользоваться оказией, представляющейся сейчас. Может быть это лишнее, но мне казалось вчера, что если ты с мамой (если мама здорова) или Шура с Жоней, зайдете в аптеку на Моховой против Румянцевского музея и вызовете там владельца, Михаила Самсоновича[1], который вчера ужинал у нас здесь, у Збарских, слышал мои импровизации etc. etc., — то это хотя и будет совершенно излишне в смысле сыновнего сентимента, зато будет использованьем возможностей действительных сношений.

Кстати, через несколько дней он едет снова сюда и этим тоже можно воспользоваться: у меня нет пластронов[2], купите, пожалуйста, и пошлите мне пару 39 №, такие как у Шуры, или вообще какие-нибудь.

Может быть Шура будет так добр поищет те номера Театрала[3], где имеют быть тексты пьес, это вы тоже мне пришлите, если бы где-нибудь достать Островского тоже недурно, и если связать все это в плотный сверток, то я думаю, в случае если бы Островского можно было достать в Училище или у знакомых, можно было бы не стесняться числом томиков, 4, 5, скажем. Затем я не повез Современника с собой, где мой перевод. Ваш экземпляр у Энгелей. Так тот экземпляр, что дома у нас, перешлите мне. В конце концов, если «Театрал» будет, можно Островским пожертвовать или наоборот. Здесь имеется театр заводский, и в Соликамске, уездном городе, тоже, я хочу играть и здешний народ на зрелища подобного рода очень, очень падок, а мне и тут хочется пройти Хилковский stage* от машиниста до М.П.С.[4]

Здесь имеется провинциализм и больше, уездовщина, и больше, глухая уральская уездовщина неотстоенной густоты и долголетнего настоя. Но все это или многое уже уловлено Чеховым, хотя, надо сказать, нередко со специфической узостью юмориста, обещавшегося читателю смешить его. Этот дух не в моем жанре, и литературно вряд ли я мои здешние наблюдения использую. Косвенно конечно, все эти тени и типы в состав моей туманной костюмерной войдут и в ней останутся. Вообще, мне трудно решить, кто я, литератор или музыкант, говорю, трудно решить тут, где я стал както свободно и часто и на публике импровизировать, но увы, техникой пока заниматься не <удается>**, хотя это первое прикосновение к Ганону и пианизму на днях вероятно произойдет[5]. Госпожа Збарская смеется: «а что будет, Боря, если ваша музыка Евгению Германовичу (Лундбергу) еще больше, чем ваша литература понравится?» — Ничего конечно не произойдет. — Я написал новую новеллу[6]. Я заметил теперь и примирился с этим как со стилем прямо вытекающим из остальных моих качеств и задержанных склонностей, что и прозу я пишу как-то так, как пишут симфонии. Сюжет, манера изложения, стороны некоторые описаний, вообще то обстоятельство: на чем мое внимание останавливается и на чем оно не останавливается, все это разнообразные полифонические средства, и как оркестром, этим надо пользоваться, особенно все это смешивая и исполняя свой вымысел так, чтобы это получилась вещь с тоном, с неуклонным движением, увлекательная и т. д. —

---

* путь (*англ.*)

** При переходе на следующую страницу пропущено слово, восстановленное по смыслу.

У меня страшно разболелись зубы и может быть я поеду в губернский город, в Пермь (12 часов езды, ведь Соликамский один уезд — целая Франция по площади). Я чуть сегодня не поехал к вам и с единственной целью — зубы полечить. Глупо, что я вас послушался и поехал не залечивши. Здесь это и неудобно, придется в Перми в гостинице с неделю жить, и дороже, чем у Анны Лазаревны[7], и конечно, гораздо хуже. Но ведь надо было соблюсти несходство с д<ядей> О<сипом>[8]. Замечательно, посторонние люди лучше узнают меня, чем ты, папа, и мама за тобой, с *вашими* родственными аналогиями, которые торчат в семьях Кофманов[9] и старых Пастернаков и до меня и нашей семьи никакого отношения не имеют. Ты конечно понимаешь, папа, что раз я заговорил тогда с тобой, то только потому, что это я ведь решил один ехать и жить здесь. И ты не причем был. Но с зубами было глупо. А может быть я как-нибудь с одонтологической целью в Москву явлюсь; может случиться порученье с завода и мне тогда поездка ничего не будет стоить. C'est possible, que je donnerai faire ma révision médecinale ici, j'avais déja fait la connaissance d'un médecin, il faudra faire le mÍme avec deux autres médecins de ce département. En ce cas je resterai ici un termine indéfini, peut Ítre jusqu'a l'automne.

Nous verrons encore; il y a une combination industrielle; mais, si le pied-court faira son affaire, il serait imprudent de se lier a l'usine; ma liberté viens de se rendre féconde*.

К концу апреля это выяснится само собой[10], т. е. я хочу сказать, в апреле мы перестанем об этом думать. Тогда к началу мая я съезжу в Ташкент и может быть посещу Федю[11]. Если Збарский останется здесь, но это entre nous (несмотря на то, что у него редкое положение и место это очень выгодное), он ученый не рядовой, и сделал открытие (страшный секрет, наше домашнее дело здесь) в технике производства хлороформа, которое до смешного все упрощает и известно только ему одному и лаборанту его и смутно мне, ибо я везде здесь шатаюсь. Это-то обстоятельство, то что

---

* Возможно, что я буду проходить медицинское освидетельствование здесь, я уже познакомился с одним врачом, надо будет сделать то же с двумя другими врачами этой комиссии. В этом случае я останусь здесь на неопределенный срок, может быть, до осени. Мы еще посмотрим; на заводе есть такая возможность, но если укороченная нога сыграет свою роль, будет неразумно связываться с заводом; и моя свобода окупит себя (*фр.*).

он человек высшей марки, и может оказаться причиной того, что я сказал. Контракт у него с госпожой Рейнбот[12] на два года и она его страшно ценит, но ему не нравится вялость и допотопность ведения дела здесь. Я пишу сейчас на рассвете; электрическая лампочка дышит, энергия получается с завода. Так, если все условия будут таковы как сейчас, летом я вернусь из Ташкента ли или откуда сюда. — Сюда приезжают часто из центров за хлороформом, спиртом, ацетоном и т. д. Если вам по сердцу такой способ сношений, его можно будет повторять. Может быть ты позвонишь, папа, хотя это неважно, Энгелю, или Балтрушайтису, может быть есть случайно переводная работа; если стихотворная, я бы взял и тогда просил бы переслать мне то, с чего переводить.

Крепко всех целую. Как здоровье мамы. Душевно кланяюсь всем знакомым, — Энгелям, Филиппам, Павлу Давыдовичу, Высоцким etc. etc. Ожидаю известий от вас и от тебя, папа, так как мы условились.

Твой Боря

Всев.-Вильва 30 янв. 1916.

Впервые: «Знамя», 1998, № 4. — Автограф.

[1] Аптекарь М. С. Пузрин закупал хлороформ на заводах во Всеволодо-Вильве.

[2] *Пластрон* — крахмальная грудь белой мужской рубашки, которая надевалась под сюртук.

[3] *«Театрал»* — название журнала, ориентированного на нужды народных театров и публиковавшего пьесы, рекомендуемые для постановки.

[4] Имеется в виду судьба князя М. И. Хилкова, начинавшего карьеру офицером, затем служившего в Министерстве иностранных дел, а после бывшего слесарем, рабочим на железной дороге в Англии и Америке и в конце концов ставшего министром путей сообщения в России.

[5] *Ганон* — сборник музыкальных упражнений и этюдов, названный по имени автора Ш. Л. Ганона (Анона). Занятия техникой начались через несколько дней, 3 февр. Пастернак писал родителям: «Я полторы или две даже недели ничего в этом отношении не делал, а вчера взялся в первый раз за семь лет за упражнения — можешь себе представить, что я при этом испытал и сколько совершенно исчезнувших из моей памяти ощущений этот звук Ганона под рукой вызвал во мне. Я этого не оставлю теперь и буду отныне как когда-то регулярно ежедневно заниматься. Но, Боже мой, какие деревянные у меня руки и я даже не предполагал, насколько они окостенели! Не тот это возраст уже! И сразу эти семь лет встали передо мной, в первый раз в такой целости. Но я ни о чем не жалею и нет худа без добра» (там же. С. 169).

[6] В следующем письме, уже 3 февр., Пастернак сообщал: «Занимаюсь значит сейчас и пишу в духе той 1-ой новеллы вторую, думаю на днях кон-

чить и начну переписывать» (там же). Что это за «вторая» новелла, неизвестно, она осталась недописанной (см. письмо № 113).

[7] Зубной врач в Москве.

[8] О. И. Кауфман.

[9] Родственники со стороны матери в одесском написании их фамилии.

[10] Из опасений военной перлюстрации писем, Пастернак пользуется для этой темы французским языком (см. также эту тему в письме № 114).

[11] Федор Карлович Пастернак, как австрийский подданный, был интернирован и выслан в Уфу.

[12] Владелица заводов во Всеволодо-Вильве, вдова Саввы Тимофеевича Морозова Зинаида Григорьевна, во втором браке *Рейнбот*, во время войны переменила немецкую фамилию на русскую и стала З. Г. Резвой.

111. РОДИТЕЛЯМ

Середина февраля 1916,
Всеволодо-Вильва

Дорогие! Бесконечное спасибо вам за ласку, за привет, за внимание и за гостинцы. Воображаю, сколько эта эффектная, вкусная и декоративная коробка шоколаду по нонешним ценам стоит! Ну к чему это! А впрочем это настолько роскошный рог изобилия, что даже не жалко. Все прочее, купленное вами для меня, ставлю в счет своего возникающего с этою тратой денежного долга моего вам.

Описать вам здешней жизни нет возможности. Дать сколько-нибудь близкую действительности характеристику людей, то есть хозяев, хотел я сказать, тоже невозможно. В особенности сам Збарский — воплощение совершенства и молодости, разносторонней талантливости и ума — словом, моя истинная пассия.

Когда мы увидимся, будет, словом, о чем порассказать вам. Здесь все, не исключая и Евг. Герм. Лунд<берга>, который уже недели 2 как здесь живет, окружили меня какою-то атмосферой восхищения и заботы обо мне, чего я, по правде сказать, не заслуживаю; да я и не таюсь перед ними, и они знают, что я за птица; повидимому, им по душе как раз та порода птиц, к которой отношусь я со всем своим опереньем. Фанни Николаевна, хозяйка — недовольна только тем, что я г-на Пузрина, залетного аптекаря, известного уже вам, избрал посланцем в деле наших сердечных и товарных сношений. Она боится, что, взглянув на него, вы подумаете, что этот покупатель госпожи Морозовой — Рейнбот — Резвой — их, Збарских, знакомый (между тем как это — лицо случайное и сто-

роннее здесь) — и таким образом составите себе превратное представление о них и их круге. Я же лично ничего против этого аптекаря возразить не имею, и он, кажется, очень милый человек. Вот и сейчас не знаю, как избавить вас от его звонка; я ему сказал, что никаких поручений нет, но он все же собирается вам привет мой передать. Что ж, ничего не поделаешь! Если это неминуемо, а впрочем и без всякого если — пришлите с ним (во второй раз, он еще сюда за партией хлороформа приедет) — пришлите с ним нот для чтения (очень прошу), Вагнера, если можно, Шуберта, Моцарта быть может (Дон Жуана или что-нибудь еще) — но только то, что у нас в черном шкафчике имеется. Конечно, не те ноты, что тебе, мама, нужны. Да, притом нужные тебе настолько мне по слуху известны, что не по ним же мне чтению нот учиться! Не знаю, у нас ли Тристан и Изольда, Мейстерзингеры? Парсифаль, Тангейзер тоже должны быть и, если не ошибаюсь, — то и Валькирия[1].

Ты знаешь, папа, здесь есть специальная «приезжая», то есть отдельный дом и хозяйство для приезжих. Не катнуть ли тебе сюда? Ведь это чудно было бы, ты не стал бы жалеть об этом; а здесь — полная чаша. Целые дни я бы тебя в санях катал верст по 25 в сутки по здешним местам на сибирках, которые прямо по воздуху несут и представляют собой верх лошадиного благоразумия вместе с тем! — А какие здесь пейзажи! Прямо Oberland[2], — но суровей немного. И главное, живешь здесь не так, как вообще — на даче или в гостях у средних помещиков, но так, как среднему человеку вообще и во сне не снится.

Ах как я волновался, когда в первый раз в жизни из Маузера стрелял! Треск и эхо в лесу такие стоят, что уму непостижимо. Вы не беспокойтесь, бахвальства и молодечества у меня никакого нет, я знаю, что мне не к лицу это и был бы я только смешон, если бы на себя напустил его. И товарищи мои не мальчишки тоже. — Здесь относишься к снегу как к воздуху. — Бывает — целые дни я в снегу. Лыжи здесь не столько удовольствие, сколько просто необходимость; пройти в валенках (у меня громадные, как ботфорты, выше колена, так называемые пимы) в сторону от дороги значит по пояс в снег уйти. Одно время я здесь кассиром был на заводе, пока кассир отпуском пользовался. Когда я в расчетный день рабочим несколько тысяч роздал, сидя за решеткой от 3 ч. дня до половины 9-го вечера, я пришел совсем шалый домой, а ведь выдачи аптекарские, одному около ста рублей, другому какие-то

37 коп., у них особые книжки, а у меня — их ведомость, конторская и целый пук внеочередных ассигновок: харчевых, ремонтных, пенсионных и т. д. и т. д. И каждую выдачу сверять приходится и печати ставить. А касса сошлась копейка в копейку с отчетностью! И это я так, по-домашнему, по знакомству, как приключение проделал. — Но что такое война, совершенно нельзя себе представить, не сделав выстрела и не пробуравив громадного ствола навылет.

В конце концов если что я и делаю сейчас, то это — пальцевая техника. И на это, странно сказать, у меня столько сил уходит, вероятно, не физических только, что после двух-трех часов (я страшно сосредоточенно занимаюсь и постоянно, походя, за делом, тут же себе упражнения полезные выдумываю) — у меня нет никаких желаний. А я не ленюсь ведь, но это фатально, что в 26 лет мне приходится делать то, что многие, совсем заурядные и музыке посторонние люди в 12 лет с большим успехом успевают проделать.

Лундберга это огорчает, и он сердит на мою музыку. Он говорит, что литературные мои особенности налицо и они чрезвычайно редкостны и ценны сейчас. А что музыка только личное мое дело. Нервы, говоришь ты, папа, и недостойный молодого человека тон? Что ж, у меня есть причины и на то и на другое. Как трудно и горько поступаться чем-нибудь, а совместить почти невозможно. А если ты скажешь, — можно — то как? Дилетантски посредственно? — Ну, я заболтался слишком, пора и честь знать. Еще раз спасибо за все.

Крепко всех целую.

Ваш Боря

Впервые: «Знамя», 1998, № 4. — Автограф. Датируется по содержанию.

[1] Оперы Рихарда Вагнера. Пастернак увлекся им и полюбил его музыку в 1906 г. в Берлине.

[2] Область в северной части Альп.

112. Р. И. ПАСТЕРНАК

22 февраля 1916, Всеволодо-Вильва

Дорогая мама! С наступающим днем рождения тебя![1] Береги себя и не волнуйся даже и тогда, когда мы, четверо чудовищ, даем тебе повод волноваться. Большое спасибо за конфекты. Сегодня первый день поста, на масленой было много пито et caetera[2]. Как

видишь, я опять вас беспокою порученьями; может быть, Шура урвет время и займется этим?

А дело вот в чем: в апреле текущего года исполняется 300-летний юбилей со дня смерти Шекспира и Сервантеса. Мне надо этим непременно воспользоваться, т. е. написать статьи или лекции в Перми и Екатеринбурге устроить, а для этого надо по крайней мере иметь понятие об их биографиях. Посему моя просьба: взять в училище Живописи (ведь я могу с оказией, тут часто ездят, возвратить эти книги) все, что имеется Шекспира и о Шекспире на каком угодно языке; то же касается и Сервантеса. В издании Суворина имеются Гамлет, Лир, Макбет и т. д., надо спросить Жоню и Шуру, у нас эти книжки имеются. Кроме Дон Кихота имеется еще новелла Сервантеса у нас, ты ее, мама, читала, она в таком цветистом переплетике (издание Insel-Verlag).

Я напишу также кое-кому из знакомых об этом и попрошу их к вам отнести, что будет, а затем это можно с Пузриным отправить, это ничего, что тяжело выйдет. Очень прошу Шуру сходить в Петровские линии к Лидерту и его самого, старика Лидерта, попросить, он меня знает, в издании Reklam's Universal Bibl. — Сервантеса все что имеется и Шекспира, Шекспира только в том случае, если его по-русски не достанете[3]. Если это вам в тягость, то не надо, мир обойдется и без моих статей, хотя Лундберг говорит — кому же писать о них, как не мне. Ну, до свиданья, дорогая мама!

У меня страшно зуб болит, надо бы в Пермь съездить, да это расходы большие (придется пожить там, до Перми 250 верст). Крепко тебя и всех целую.

Твой Боря

Дорогие сестрички и Шура! Большое вам спасибо за приписки ваши. Может быть, снимусь я здесь в снегу (здешний сапожник, Акатьев фотографией занимается) и тогда Carte postale вам пришлю. Целую крепко.

Спешу к поезду. *Боря*

Впервые: «Знамя», 1998, № 4. — Автограф. Датируется по содержанию. Первый день поста в 1916 г. приходился на 22 февраля.

[1] *День рождения* Розалии Исидоровны Пастернак — 26 февраля.

[2] О катании на санях и лыжах на масленицу Пастернак написал стихотворение, черновой автограф которого сохранился у Ф. Н. Збарской: «Улыбаясь, убывала / Ясность Масленой недели, / Были снегом до отвала / Сыты сани, очи, ели...».

[3] В открытке 6 марта Пастернак торопил исполнение просьбы о Шекспировских материалах: «Какую-нибудь биографию или две, разных ав-

торов, лучше всего английскую одну, *Шура, спроси у Иды по телефону, я уже писал ей об этом.* Кроме того все, что Шекспировское, имеется: в русской Суворинской библиотеке, у Антика!, и в немецкой Universal Bibliotek у Лидерта в Петровских линиях, а также и у нас в шкафах (у папы в мастерской тоже) — собери и прикупи» (там же. С. 175). В. М. *Антик* — владелец книгоиздательства «Польза», инициатор «Универсальной серии» дешевых изданий.

113. РОДИТЕЛЯМ

4 марта 1916, Всеволодо-Вильва

4 марта, Вильва

Дорогие мои! Большое спасибо папе за присылку вырезки. Номер Русских Ведомостей с этим же столбцом пришел с тою же почтой, что и письмо папино со столбцом этим[1]. Но это верно: я непременно бы пропустил это известие по той простой причине, что газеты читаю редко и урывками. Это черт знает что: тут получается целая кипа газет и чуть ли не все журналы России, я имею возможность читать все и не дохожу до этого, потому что не приходится как-то, в этом виновата безалаберность моего характера. Меня столбец этот взволновал, и я находился в нерешительности относительно того, ехать ли мне в Москву или здесь призываться. Но так как в конце концов и в Москве *первою* инстанцией этих перипетий явилось бы присутствие, в которое я пошел бы на испытание, а та же инстанция, но с шансами большего внимания и т. д. и т. д. имеется и здесь, и в случае, если бы я при негодности моей явной, все же (что — маловероятно) попал бы, то и дальнейшее все здесь ясно мне и доступно, — то я и *решил* призываться здесь и это будет в совсем недалеком будущем, хотя срок еще не установлен. Теперь я очень прошу вас не думать об этом совершенно, как я об этом просил и Збарского, оговариваясь тем, что в таких случаях с меня быстро слетают мечтательность и неотмирасегошность и я лучше других во всем этом разберусь.

Вы конечно получили мою телеграмму, а также и открытку с видом? Вы знаете, таким образом, уже, что Збарский собирается в Москву к Резвой[2]. Я был бы очень доволен, если бы меня призвали здесь (в уездном городе Соликамске) в его отсутствие, потому что этот человек относится ко мне как старший брат к младшему и, наверное поехал бы со мной туда, а в положении покровительствуемого в таких случаях я совершенно утрачиваю свою роль, которую мне, кажется, дано проводить с успехом там, где я выступаю с собственным риском; а в роли покровительствуемого, в роли

второго любовника может быть я порчу весь ансамбль, как его не испортил бы ни один любовник, второй от рождения и по призванию. — Но Збарский не согласен отсутствовать в дни моих обнажений догола и приурочит свою поездку к сроку этих обнажений, т. е. так, чтобы до них успеть в Москве побывать или после них туда съездить.

Итак, будьте спокойны, — и перейдем к другой статье. Збарский зайдет к вам, он может быть с вами по телефону сперва снесется. Мне очень хотелось бы (но я этого не навязываю вам), чтобы вы его по-семейному приняли, к обеду что ли или еще как-нибудь и ты бы, папа, о чем-нибудь здешнем, о заводе что ли или об именьях Резвой заговорил, чтобы он как-нибудь высказался, он вам очень понравится, а мне он нравится чрезвычайно тем, что он — совершенство во многих областях; и поняв в этих областях всю живую прелесть совершенства, усвоил себе, в качестве манер, манеры общего совершенства. У него в прошлом и настоящем много специальностей. Расспросите его также обо мне — как родителей вас тронет его отношение. И о разных шишках лесных здешних густопсовых, — тебя, папа, тронет его наблюдательность и светлый взгляд на все. Это ведь очень редкий случай, — я не умею писать, — а для этого нужно уметь, ты понимаешь, писать, — чтобы всю прелесть тех сочетаний, которую здесь дают национальность и положение и те ситуации и групповые сцены, которые это положение создает, описать. Так вы, значит, сердечно его примите. У них сын 2-х лет Эли[3], прелестное существо, расспросите о нем, скажите, что писал, он и тут выскажется. — Впрочем это оставляю все на благоусмотрение ваше. Когда он поедет, я вам особо напишу и попрошу Шуру что-нибудь рублей на 30—40 купить аппарат что ли фотографический или еще что, а пока еще эта минута, когда моя неотмирасегошность с меня в этом пункте соскакивает, не наступила.

Ну так. Теперь о себе. Не хотелось мне ехать отсюда, чтобы времени не терять так непроизводительно. А — потерял бы. Потому что, несмотря на то, что впечатление у меня такое, будто я ничего не делаю, я занят почти весь день, и, думаю, это пойдет еще crescendo. А впечатление неплодотворности, я понял, является у меня от контраста между моими фантастическими и скороспелыми намерениями и практикой их исполнения. Мне, например, кажется: вот, месяц как следует музыкой заняться и в результате чуть что не концерт. И я занимаюсь как следует месяц, но

разумеется картина результатов далеко не так заманчива, как это в намерении рисовалось. Прежде, бывало, это разочаровывало меня и я тогда все бросал. Теперь же я научился радоваться тому, что картина результатов вообще есть и будет еще большая после второго месяца и т. д.; дальше больше, как говорится. Вот я и не унываю. Тот же контраст и в литературном деле. Раскидываю так: на новеллу неделю, положим, значит — четыре в месяц, таким образом — книгу можно будет до весны написать. Но на деле контраст тут получается еще больший. Я сейчас кончаю тут вещь, которая тут же у меня зародилась и была мной начата, — ну скажем 2-я новелла. И что же! Я бьюсь с этим проклятым концом, да так и нужно, а иначе не стоит — и тут, тоже не унываю я.

По настояниям Лундберга и всех отослал прошлогоднюю вещь[4] в Русскую Мысль с таким письмом, которое было сообща здесь уничтожено и заменено более мягким. Не знаю, но ощеряется все во мне, как только к журналу обращаюсь: «Милостивый Государь мой г-н редактор» и все в таком же духе, — «заметки на полях вызваны у меня вовсе не уверенностью моей в том, что вы примете эту вещь, но они предназначаются вообще для наборщиков, когда будет набираться та книга, которая и т. д.» — Здесь все за меня делается, дают кому-то переписывать мои вещи в контору Резвой, кажется, платят за это, списываются с редакциями и т. д., а я почти ничего не знаю — и главное за что, pour les beaux yeux?* — А тороплюсь я в работе сейчас с тем, чтобы новеллу закончив, за Шекспира взяться и тут мне тоже хочется показать, как неожиданно оригинален, свеж и часто парадоксален естественный, непринужденный и простой подход к теме[5]. А вторую новеллу я тоже, написав, куда-нибудь пошлю (список, копию, разумеется) и забуду о земной ее судьбе, пока не получу ответа от редакций. Потому что настоящая судьба этих писаний заключается в том, чтобы книгу образовать, а не в чем ином.

Пожалуйста не вздумай, папа, посвящать Збарского в такие детально интимные секреты, в какие ты д-ра Левина посвятил. Это совершенно лишнее, а ты ведь можешь, если бы я тебя не предупредил; так же точно не хотелось бы мне, чтобы ты о денежных моих делах с ним говорил. Если бы случилось то или другое, мне пришлось бы уехать отсюда, а мне не хочется.

Заклинаю тебя, остерегись.

---

* ради прекрасных глаз? (*фр.*)

Как здоровье мамы?

Напишите мне об этом, не забудьте. Теперь Лидино рождение приближается[6]. Поздравляю тебя Лидок и крепко целую. Желаю тебе удачи во всем и совершенно безоблачного расположения духа дома и в школе.

Как прошла выставка в Петербурге?[7] Продал ли ты что-нибудь, папа? Ну еще о чем спросить? Что Шура, сдает ли он экзамены и как у него с повинностью дело обстоит?

Насчет книг по Шекспиру и другого лично через посредство Збарского передам. Пока, до свидания. Крепко целую всех. Всем привет. Филиппам давно не писал, как-нибудь на днях напишу; поклон им. Как-то незаметно день проходит. Ну всего хорошего.

Боря

Впервые: «Знамя», 1998, № 4. — Автограф.

[1] Извещение о переосвидетельствовании и призыве в армию ранее получивших освобождение или отсрочку. Пастернак прошел призывную комиссию летом 1914 г. перед началом войны и был признан негодным из-за сломанной в детстве и сросшейся с укорочением ноги.

[2] Речь идет об открытке 2 марта с видом реки Чусовой («кусочек летнего Урала»). Пастернак писал в ней: «Быть может в Москву поедет Б. И. Збарский и тогда зайдет к вам. Мне хотелось бы, чтобы вы познакомились с этим редким человеком, о котором я много бы написал вам, если бы умел. Книги тогда передайте с ним» (там же. С. 172).

[3] Илья Борисович Збарский.

[4] «Апеллесова черта».

[5] Пастернак написал две статьи о Шекспире, текст которых не сохранился. «Русская Мысль, — писал Пастернак 6 марта, — предлагает отвести место в номере для юбилейной статьи. Следовало бы воспользоваться. Времени уже мало, а у меня никаких материалов нет» (там же. С. 175).

[6] 8 марта 1916 г. Лиде Пастернак исполнилось 14 лет.

[7] Л. О. Пастернак участвовал в выставке, организованной в помещении Интимного театра Б. С. Неволина на Крюковом канале в Петербурге под назв. «Художественные сокровища Казани».

114. РОДИТЕЛЯМ

11 марта 1916, Всеволодо-Вильва

Дорогие мои! Большое спасибо за открытку. Энгелям и сам хотел писать, — написал. 15-го или 16-го (завтра или через день по получении вами письма) в Москве будет Збарский и к вам зайдет, предварительно с вами созвонившись. О нем и о его приезде, и о

моих пожеланиях я уже писал вам на днях. Все, что нужно передать, и поручения — устно через него. Но есть одно поручение, очень нужное — и я страшно буду благодарен Шуре, если он его исполнит. Вот что. Мне бы хотелось сделать Збарскому подарок — фотографический аппарат — у них нет и он собирается купить в Москве.

У тебя, папа, есть моих еще 50 р. не в бумагах, а на руках, кажется. Пожалуйста, приобретите у Кодака хороший *в пределе 50 руб.* (если хороший за эту цену можно теперь иметь) и не ниже 30—25 р.

Когда у вас уже будет аппарат, вы при первом же звонке его по телефону предупредите его, что аппарат для него уже есть у вас (чтобы он не покупал) ну в такой что ли форме, что от С° Кодак к вам на его имя по моему заказу посылка. Боюсь только, что за такую цену хорошего теперь не достать. Спросите сейчас же по телефону в магазине, чтобы уже знать это наверняка и Бориса Ильича (Збарского) предотвратить при первом знаке, какой он о себе подаст, от излишней покупки. Жаль, если этого нельзя будет сделать. Если же в пределе обозначенной суммы вы достанете аппарат, то с условием возможности переменить и это же условие упомянете Збарскому при передаче аппарата; разумеется, это не условие sine qua non*.

Все же, что касается книг, нот, шляпы летней и летнего пальто и т. д., напишу ему на записке, а теперь не хочу утруждать вашего внимания. Простите за такую массу таких частых просьб и поручений, — а этим аппаратом вы мне большую службу сослужите.

Збарский расскажет вам также о вопросе, о котором я телеграфировал вам и который вас так интересует[1]. Несмотря на обилие дел, он хочет быть здесь ко дню лотереи, а я его отговариваю, все равно ведь у меня личные данные есть для выигрыша. Ты, папа, расспроси его о том, как он думает насчет лотереи вот для чего: он хочет и на денежный путь встать, если нужно будет; а я ни за что не хочу, во-первых, это мне весь мой последующий humor навсегда испортит, а во-вторых, и денег жалко, тем более, что ничего опасного в перспективе нет. На это он мне отвечает: не ваше дело, вы ничего знать не будете. С какой стати! А я боюсь, что он все-таки рискнет. Ты спроси его и от этого отговори. Кроме того, прими (это уже в смысле общих бесед, какие у вас могут происходить) во внимание те мои замечания о моих секретах, которые я так глупо тебе сообщил и о чем я уже писал в прошлом письме.

---

* необходимое условие (*лат.*).

Ну пока всего, всего лучшего, крепко всех целую. Мама, ты не знаешь, как меня радует каждая вещественная строчка твоя.

Мне бы хотелось фунта $1^1/_2$ или 2 (словом, такую коробку, какую вы мне прислали) шоколадных конфект с Метерлинком, пьяными, моккой и т. д. г-же Збарской Фанни Николаевне. Если найдешь возможность, закажи, пожалуйста, мама. Ну обо всем расскажет вам Збарский. Он чудный рассказчик, настолько хороший, что даже его провинциализмы и неправильности говора ему в рассказах не помехой[2]. Он очень интересно и рискованно-деятельно провел время в возрасте между 18 — и 21 годами и знал очень близко много очень исторических личностей[3]. У него в Москве много дел. Он едет раскрыть и преодолеть интриги, созданные по отношению к нему разными «гудошниками» в стиле, достаточно знакомом тебе, папа, творцу этого выражения. Ты его спроси, как у него эти дела окончились с Резвой, сославшись на мое письмо. Впрочем — как хотите. Мне очень хочется угостить его вами и вас им, и это вытекает из моих чувств к вам и к нему.

Крепко целую. Не сердитесь. *Ваш Боря*

Впервые: «Знамя», 1998, № 4. — Автограф. Датируется по содержанию. В открытке 12 марта Пастернак повторяет переданное «во вчерашнем письме (о приезде Бориса Ильича)» и возобновляет просьбу о книгах.

[1] Речь идет о весенней медицинской комиссии, которую Пастернак собирался проходить на Урале; 28 февр. он послал родителям телеграмму: «Остаюсь здесь. Не беспокойтесь=Боря».

[2] Свидетельством дара Збарского как удивительного рассказчика могут служить его воспоминания, приведенные в повести А. П. Штейна «И не только о нем...». В журнальной публикации, несмотря на фантастичность многих рассказанных там эпизодов, повесть названа документальной («Театр», 1988, № 1–3) — в отдельном издании (1990) претензия на документальность снята.

[3] Б. И. Збарский принимал участие в подпольной революционной деятельности и был вынужден эмигрировать в Швейцарию, где оказался в кругу известных деятелей русской социал-демократии.

115. РОДИТЕЛЯМ

19 марта 1916, Всеволодо-Вильва

Дорогие мои! Письмо это придет вероятно уже после того, как вас посетит Збарский. Я уверен, что надоедливые и досадные мои просьбы, вплоть до покупки аппарата, вами исполнены и потому

большое вам на том спасибо, и не сердитесь на меня за такую настойчивость и неотступность.

Напишите мне, пожалуйста, какое впечатление на вас Збарский произвел, как прошло посещение его и как он принял аппарат. Если он еще здесь в Москве, перешлите мне через него, пожалуйста, сто рублей, хотя это не так неотложно и вообще не важно.

Теперь о себе. Желания и намерения мои таковы: май провести в Туркестане, куда я по всей вероятности в конце апреля отправлюсь отсюда[1]; остальное лето у вас, — если это возможно и не в тягость вам и если — не сердитесь, не сердитесь, не сердитесь, — если в Молодях по примеру прошлых лет будет пианино*. Это очень важное условие, я опять ношусь с писаною торбой этой и постараюсь и в Ташкенте на месяц пианино напрокат взять. Я взялся за игру на рояле 1-го февраля — вот уже полтора месяца как я работаю, года два, если это угодно Богу (а ведь я серьезно боюсь и волнуюсь, когда это говорю) — года два эти занятия игрой на рояле будут у меня на первейшем плане и волей-неволей, придется центр тяжести на эти занятия перенести. За полтора истекших месяца я сделал очень мало, надо принять во внимание, что суставы у меня уже не переходного возраста и что за период вольных импровизаций я усвоил не одну вредную и с практикой технической беглости враждующую привычку. Вообще — я начинаю — начинаю в 26 лет и пока еще Лиды кажется не догнал. Известите меня, пожалуйста, о том, как вы насчет лета думаете, мне очень бы хотелось с мамой заниматься. Но несмотря на то, что пока это все еще очень плачевно у меня выходит, я убежден, что мне это необходимо, что дело можно поправить и я знаю, что повести это надо в том масштабе возрожденной *специальности*, в каком я хочу это вести, а никак ни слабее, не по-«интеллигентски»; и ничто *на свете* меня от этого не остановит.

А останавливают! Уже (только полтора месяца) — останавливают! Лундберг например, негодует, что я «по целым дням» одни экзерсисы и этюды заучиваю — что мне надо книги писать, а музыке это не мешает, я мог бы например с нот читать, это бы не так меня утомляло, отымало бы у меня меньше рвения и больше бы рвения оставалось на литературу. ...Что из музыки моей — неизвестно что выйдет, а в литературе это с меньшею гадательностью

---

* А в сентябре — опять сюда, если Збарский здесь останется и выразит желание снова видеть меня здесь. Впрочем, до того времени еще все может измениться. (*Прим. Б. Пастернака.*)

можно предугадать. Он прав в одном только отношении: вторая, здесь написанная новелла вышла у меня неудачной, это всеми здесь признано и мною. Он говорит: там где у меня «бывал мрамор настоящий, здесь — гипс», как будто я пересказом себя самого занялся; вообще он злился на меня (это злоба очень благородная и неоценимо-дружественная) за то, что я ленив, что я стал лениво смотреть и лениво видеть. Он прав и в том отношении, что во многом винит он музыку и видит проявление лени моей в том, что я так педантически и однообразно музыкой занимаюсь. В последнем отношении он не прав и ничего вообще тут не понимает. Музыкой я занимаюсь последовательно, строго и, не обинуясь, скажу — умно. Я занимаюсь ею по-своему, и мой этот способ, по всей вероятности — есть сгущение школы Лешетицкого[2] и твоей, мама. Вообще я мог бы все эти два года без учителя обойтись и это благодаря тебе, конечно, мама — я ведь с детства свыкся с некоторыми особенностями твоей игры и техники — а склад мой таков, что когда я на чем-нибудь сосредоточусь, все секреты или целое множество этих секретов, таящихся в предмете, меня интересующем — открываются предо мной живо, непринужденно и запросто как-то. Меня поймете сейчас вы оба, это и твое, папа, качество и твое, мама. И мое, от вас унаследованное. Меня, признаться, не очень огорчает новая литературная моя неудача, о которой я рассказываю вам, я верю, что не пропаду, если это угодно Богу.

Я знаю, ты снова будешь корить меня в нервности и сентименте лишнем, папа, — но наряду с трезвым сознанием того, что в том удивительном, к чему я готовлюсь, нет ничего удивительного, и было бы удивительно, если бы этого не было; — наряду с этим самочувствием, говорю я — донимает меня немало чудный какой-то страх. — Почему это спрашиваю я, всякая отпетая посредственность может назначить себе урок и не на два года — зачем далеко идти, любая филармонистка тому пример — почему это с ее стороны нет риска и боязни — почему это им удается — а мне, у которого во всяком же случае столько же филармонических прав на успех начинания как и у них, — этот риск есть, и мне с каким-то суеверием приходится останавливать себя на каждом шагу: если Богу угодно.

Вам это смешно? Напрасно.

Вот о чем я вас еще попрошу. Напишите мне о том, когда годовщина смерти Скрябина и когда он родился — я хочу тут написать кое-что[3]. Глупо не заработать здесь, где я один из «первых в деревне».

Вообще жду письма от вас, и не заставляйте меня, пожалуйста, ждать долго и напрасно. Поздравляю тебя, папа, с петербургским успехом, страшно рад был. А что же этот богомерзкий Аполлон пишет?[4]

Пожалуйста, напиши мне.

Какое счастье, мама, что ты себя хорошо чувствуешь. Целую всех крепко. *Боря*

19/ III Вильва

Впервые: «Знамя», 1998, № 4. — Автограф.

[1] В Ташкент Пастернак собирался ехать для встречи с Надеждой Михайловной Синяковой, которая жила там у своей сестры Зинаиды. Это намерение встретило резкое противодействие родителей.

[2] Теодор (Федор Осипович) *Лешетицкий* — польский пианист и педагог, создатель исполнительской школы. В 1880-х гг. у него в Вене училась Р. И. Пастернак.

[3] Александр Николаевич *Скрябин* родился 25 декабря 1871 г., скончался 14 апреля 1915 г. Это намерение не было осуществлено.

[4] На выставке Союза русских художников была представлена картина Л. О. Пастернака «Поздравление», которая имела успех у публики; она была воспроизведена в журн. «Аполлон» среди репродукций представленных на выставке картин, но ни словом не упомянута в сопроводительной статье.

116. РОДИТЕЛЯМ

5–9 апреля 1916, Всеволодо-Вильва

Дорогие! Збарский приехал. Он рассказывал о своих делах у Резвой в Москве, а потом о сношениях с Анрепом в Питере[1] и наконец зашел ко мне в комнату со словами: «Ну, Боря» — дальше он не мог говорить и расплакался. Это относится к вам. Немного успокоившись, он сказал, что знакомство с вами — крупнейшее событие в его жизни. Но он ничего не хочет рассказывать о вас и только улыбается.

Это — обычная его манера, когда разговор заходит о чем-нибудь волнующем его и ему близком, я эту манеру в нем знаю и люблю. Тогда на все вопросы он отвечает одною этой улыбкой, не разжимая губ. Сейчас он очень занят, да и я ему помогаю. Летом в Молоди я наверное не приеду, а останусь со Збарскими.

Вчера мы сделали несколько фотографических снимков и тут же их проявили; очень хорошо получились; напечатаем, вам пришлем. Здесь опять наступила зима и очень скучно. Пишите, как

маме сейчас. Через год я, Пепа[2] и Фанни Николаевна едем в Японию; она уже стоит надо мной и торопит укладываться, следовательно, никаких сомнений в исполнимости решения быть не может. Впрочем, Фанни Николаевна сама вам хочет написать и я ей оставляю этот клочок.

Впрочем, лучше пусть Фанни Николаевна пишет вместе с Пепой. Мы только что пришли к этому благоразумному решению. А как только Пепа (Б. И.) освободится хотя бы на минуту, он напишет вам. Он извиняется, что не написал из Питера, — но дел было по горло. Сейчас же напишите, как мамино здоровье. Получили ли Энгеля мое письмо? Удивляюсь, что нет ответа.

Целый обоз поцелуев. *Ваш Боря*

Впервые: «Знамя», 1998, № 5. — Автограф. Датируется по содержанию.

[1] Збарский ездил по делам заводов, которые З. Г. Резвая продавала крупному фармакологу Василию Константиновичу фон *Анрепу*. Збарские переходили на работу к богатым промышленникам Ушковым, на их заводы в Тихих Горах на Каме.

[2] Домашнее имя Б. И. Збарского. Поездка в Японию не состоялась.

117. А. Л. ШТИХУ

7 апреля 1916, Всеволодо-Вильва

Дорогой Шура! Только что получил твою книжку и шумно и горячо тебя поздравляю с дебютом[1].

Внешность в стихах, — печатная внешность — может ли что важнее быть? — Печать ведь вообще — предательство. Твоя книжка не только не предает тебя, но и выигрывает от напечатания. Идеальный вид набранного и отпечатанного стихотворения тот, когда совокупность всех этих строчек лежит и покоится на странице в виде нотной совокупности четвертей, пауз, аккордов и т. д., когда стихотворная страница имеет лицо и мину — нотной. Таковы страницы твоей книги, ты родился под счастливой звездой. О стихах мы говорили часто и много. Нового могу сказать тебе только то, что очень хорошо, что ты их издал, они *во всяком случае* заслуживают того. Ты родился под счастливою звездой и потому, что в печатном виде эти стихи более похожи на те внутренне согретые творчеством представления, которые у тебя зарождались, чем на то, во что обращались они, охлажденные дефлегматорами слушателей и друзей. Они путаны и сложны и часто беспомощны, и тон выдержан с начала до конца редко в каком. Но этого всего

можно и нужно достигнуть, — а от этого первого дыхания веет истинною живостью. Это то поэтическое l'aspirant*, с которого начинается полный голос поэта, и эти прелюдии корят меня той бессердечной слепотой, с какою я отсоветовал тебе их печатать.

Дай Бог тебе истинного преуспеянья на этом пути, я страшно рад за тебя и пока ни о чем другом не хочу говорить. Разослал ли ты их в редакции газет и журналов. Узнай, когда в какой газете отзывы даются и следи.

Напиши мне скорее. Целую тебя. *Твой Боря*

Впервые: «Россия». Venezia, 1993, № 8. — Автограф (РГАЛИ, ф. 3123, оп. 1, ед. хр. 36). Датируется по штемпелю.

[1] Александр Штих. Стихи. М., 1916. 45 стр. Отпечатано в типографии «Синема».

118. РОДИТЕЛЯМ

17 апреля 1916, Всеволодо-Вильва

Мои дорогие! Давно, давно не имел от вас писем. Очень грустно. Стараюсь не беспокоиться, призывая себя к той мысли, что если бы с кем-нибудь из вас что дурное случилось, оно должно случиться бы еще раньше со мной, если есть справедливость и разум в творении. А я благодаря Бога — вполне благополучен.

Здесь кутерьма страшная, скоро уже месяц, как я в последний раз подходил к пианино, два месяца труда пропали даром, да я все же не плачусь — летом я непременно к вам, хочу и на зиму может быть в Молодях устроиться, если у меня с Русской Мыслью и с Биржевыми Ведомостями наладится, вот и наверстаю, начав на́ново. Как же быть иначе. Тяжело барабанить, видя как Борис Ильич работает[1]. Не могу сказать, чтобы помощь моя была действительно осязательна, хотя деловая переписка по распродаже имеющихся товаров — на мне, равно как и касса Резвой, ассигновки, выдачи и т. д.

Время пропадает зря, а уезжать все же неловко — пребыванию моему здесь придана — не по моей воле и в противоречии с настоящей действительностью — видимость помощи. Как быть. Лундберг поссорился со мной сегодня на том основании, что я статью одну в Русские Ведомости послал, а не в «Биржевые», где он сотрудничает. Оказывается он отказался от помещения своей статьи о Шекспире в пользу моей и известил об этом А. Измайло-

* устремление (*фр.*).

ва![2] Но ведь как это ни любезно и ни благородно, все же до сегодняшнего дня это было личною его тайной. Правда, он советовал мне в Биржевые Ведомости поместить и настаивал даже на этом. Но в последний момент я передумал. В Русские Ведомости посланы два отрывка, которые я как мог закруглил — (вероятно я нечто цельное и большее сделаю и тогда в Русскую Мысль или Летопись пошлю) — эти же клочки выхвачены из чернового плана этой работы и приведены в некоторый порядок. Я почти уверен в том, что Русские Ведомости этих отрывков не примут, не умею я писать газетным языком и не хочу. Для меня будет большою радостью, когда и в ненапечатанном виде эти статьи попадут в ваши руки. А я об этом уже распорядился, рукописи поступят к вам, я Юлию Дмитриевичу написал[3]. Справьтесь у него по телефону и напишите мне. С месяц уже или больше того — написал я Энгелям большое письмо и ответа на него не получил. Опасаясь того, что адрес у меня неверно записан, отправил бандероли с письмом Ю. Дм.-чу по адресу редакции «Русских Ведомостей». — Скажите и это ему, а то может быть он не дежурит сейчас и рукописи не скоро к нему попадут. Да, рукописи вернутся к вам. Напишите же, как они вам понравятся, только искренне. Чувствую, что не потрафил. Вот в том-то и штука. Все-таки лучшее время мое было в Лебяжьем[4]. Одним трудолюбием ничего не сделаешь.

А впрочем, это не к делу. Не верю я в Русские Ведомости. И в Русскую Мысль не верю. Получил от Татариновой (секретаря редакции) письмо, что редакция-де рукописью моей заинтересована, но вопрос о ней подлежит еще обсуждению. То же самое пишет Лундбергу и Франк[5], один из редакторов. Знаю я, чем кончится это обсуждение.

Ну да я все не о том. Ради Бога поскорее напишите. Не можете себе представить, как тягостно без ваших писем. Вам Борис Ильич писал. Если бы ты, папа, ответил ему, он был бы страшно обрадован. А вдруг пропадают все наши письма?! — Как мама себя чувствует?

Бедные вы, жить в городе при такой немилосердной, обнаглевшей дороговизне! Что с Шурой? Не коснулся ли его новый «срок»? Отвечайте же сегодня же. Статьи оставьте у себя. Долго, крепко и проникновенно целую вас всех, тебя, папа, тебя, мама.

Ваш Боря

Впервые: «Знамя», 1998, № 5. — Автограф. Датируется по содержанию (см. начало письма №119).

[1] Пастернак горевал по поводу прерванных занятий музыкой: «Два месяца я усиленно занимался упражнениями. Сознание, что близится на днях такой большой перерыв в занятиях меня волновало и выбило наконец из колеи. Тогда я окончательно бросил упражнения (неделю уже не подхожу к пианино и до самого приезда к вам больше уже не подойду)» (3 апр. 1916; «Знамя», 1998, № 4. С. 180).

[2] А. А. *Измайлов* с 1898 г. вел литературный отдел в «Биржевых Ведомостях».

[3] Энгелю, который сотрудничал в «Русских Ведомостях» как музыкальный критик.

[4] В Лебяжьем переулке Пастернак жил с осени 1913 по март 1914 г.

[5] Философ С. Л. *Франк*, один из авторов сборника «Вехи» (1909), в 1915 г. был приглашен на работу в редакцию «Русской мысли».

119. РОДИТЕЛЯМ

18 апреля 1916, Всеволодо-Вильва

18/IV. 1916

Дорогие мои. Беру назад мои вчерашние жалобы на ваше молчание. Письмо твое, папа, получил и прочел с благодарной радостью. Отчего мама ничего не пишет? Как ей сейчас. Мне стало легко на душе, лишь только прочел в твоем письме, что вы мне вольную дали[1]. Так право же лучше. Для вас и для меня. Для меня, это понятно почему. А для вас тем, что к моей привязанности к вам не будет примешиваться невыносимо горькое чувство, что в силу ваших фантазий мне «приходится» огорчать вас там, где я и в помыслах этого не держал. И вообще, чего настоящего здорового и серьезного можно ждать от меня, если я окончательно внедрю в себя привычку жить чужим, хотя бы и вашим, умом. Я настолько в вас пошел, склад мой настолько от вас унаследован и сбережен от нивелировки школы и среды, что и не знаю даже, как понять то, что вы этого не замечаете. Вы только достигнете своего, освободив меня из-под гнета вечной угрозы огорчить вас тем или другим. Огорчать вас я не только никогда не думал и не собираюсь, но напротив, нет такого личного каприза у меня, который бы не сопровождался у меня постоянно старанием нравиться вам и быть достойным вас. А если ты, папа, или чаще мама меряете мою человеческую жизнь днями и неделями, то этим вы и против себя грешите: многое из того, что может вам казаться моей склонностью или мечтой заветной или целью, имеет всего лишь цену преходящего средства для меня. Вообще я еще не встречал такого как я человека, который всякий бы пустяк свой, всякое движение свое обсуждал с болез-

ненной и больною мелочностью «с точки зрения огорчения родителей». Господи, вы и сами ведь видите, какая дикая чушь получается, лишь только эту дикую черту выразишь словесно.

Живу пока здесь. Исподволь помогаю Б<орису> И<льичу>. Река с неделю уже как вскрылась. Вчера совсем не спал. Лег в 12, встал в 2 ч. ночи, а в три уже с Лундбергом на реку пошел. Там нас ждали 2 фабричных мастера и вот мы на паре яванских пирог (на которых одним веслом гребут) сделали 20 верст по реке, воротясь домой по полотну железной дороги с... двумя бекасами и селезнем всего. Я совсем не стрелял, предоставив свое ружье лучшим стрелкам и задумав доставить себе это удовольствие как-нибудь solo. Сегодня встал в пять и пошел берегом. Куда девались все вчерашние бекасы? А я, заметив вчера, до какой степени их много, дал патроны наши все до последнего бекасинником набить и у меня патронов с крупною дробью не было. Правда, и утки, на которых я все же набрел сегодня, близко меня к себе не подпустили б. Возможности нет по сухому камышу неслышно ступать. К чему я так подробно рассказываю? А вот к чему. Исслонявшись по болотам битых четыре часа и не выпустив ни одного заряда, я так обозлился, что готов был хоть по вороне стрелять. Вот я и избрал себе наималейшую из всех живых целей на высокой ветке. Зачем я попал в нее! Бедная, бедная птичка! Когда я ее подобрал — она была на Лидка похожа и я себя прямо людоедом чувствовал. До сих пор мне мерзко[2]. А бекасы, утки, зайцы etc. — совсем другое дело!

— Итак живу пока здесь. Что дальше будет, куда и когда я отсюда поеду, пока не знаю. Сейчас пойду себе штаны заказывать, мои синие совсем в негодность пришли.

Пишите скорее. Крепко целую.

Боюсь, что мои наброски о Шекспире тебе, папа, не больше Центрифуги понравятся. Напиши мне об этом.

Впервые: «Знамя», 1998, № 5. — Автограф.

[1] Родителей волновала предполагавшаяся поездка сына в Ташкент, где жила у сестры Н. М. Синякова. «А что до Ташкента, — писал Пастернак родителям 3 апр., — то это *не должно* никого на свете огорчать; я ничего не понимаю — что может быть огорчительного для тебя, мама, в том, что я увижу Туркестан, сартов, верблюдов, Азию, ислам etc.? <...> В Ташкенте остановлюсь в гостинице. Одно за другое цепляется. Дико быть здесь, не побывав у Феди. Дико к Феде попасть, на границу индо-персидско-азиатского угла России, не нюхнув, чем он пахнет. <...> Я думал: отказаться от

поездки в Ташкент? Но это было бы глупо с моей стороны. Как мало было бы для тебя, мама, толку в том, что я стал бы, чтобы радовать тебя, "не делать" того или другого, и этим все бы ограничилось. Мне кажется, гораздо разумнее будет, если в моем сознании наряду со многими другими картинами виденного, которые можно всегда использовать, — будет и Ферганская область, очень любопытная и живописная, как привыкли думать все мы, судя по видам, воспроизведениям и т. д.» («Знамя», 1998, № 4. С. 180).

[2] Об этой птичке Пастернак рассказывал З. А. Масленниковой 20 июля 1958 г. (Зоя Масленикова. Портрет Бориса Пастернака. М., 1995. С. 42).

120. С. П. БОБРОВУ

27 апреля 1916, Всеволодо-Вильва

Милый Сергей!

Ты меня вконец растрогал письмами своими, хотел тебе тотчас же ответить, да все ждал прибытия Альманаха[1]. Вчера получил его наконец. Внешность у него великолепная, говорю совершенно искренно, непринужденно, непосредственно, как эстетическое двуногое, как первобыт. Шрифт великолепный, графически-штамповые пропорции не оставляют желать лучшего, страница довлеет себе и не вносит своей страничной тревоги в свою ношу. Так следует печатать все, что нам доведется печатать. Но об этом после.

Не перестаю судить об альманахе, как неискушенное двуногое, — так лучше будет и для тебя и для меня. Вот увидишь. — Сергей, ты страшно остроумен, очень умен и умеешь с разительною оживленностью менять голос в критических статьях. Меня восхищает (за очень немногими исключениями) твоя манера личной рокировки лично позиционных моментов (моментов идеи, убеждений, формулировок, дефинитивных сжатий и сокращений etc. etc.) — и в такой же степени радуют те бодрые и лаконические выпады, с какими ты объявляешь противнику мат в ту минуту, когда он менее всего склонен думать о составлении завещания, а напротив, готов воскликнуть: «Ну-с, по рюмочке!» Так, стало быть. — Но, Сергей, Сергей, — откуда у тебя бескорыстие это берется, с каким ты, например, пишешь статью типа «Философский камень фантаста» или «Два слова о форме и содержании»? — Скажи, много ль людей ты знаешь, с самой колыбели, со злокачественных и патологических тупиков детства, свычных с неудобствами сути и существенности. Воспитанных собственным размышлением в колодках субстантивизма, редко хаживавших в проходку на атрибутивные прогулки по придаточным предложениям. — Дво-

их, троих таких приведешь на память, и глядишь, обчелся уже. Добро бы времена Беме[2] были сейчас. Но ведь беда — налицо: так называемая современная мысль (исключая чисто научную) — гальванизируется запятыми и дрыгает лапками, разбрызгивая так называемые публицистические периоды.

Кто поймет тебя, Сергей? А? Я ведь не шутя тебя спрашиваю.

Дворец двух родительных падежей! Да ведь тут твое a priori, которое требует многого от мимоидущих, а они даже и шляпы не снимут[3].

Но меня эта бескорыстная смелость и непритязательная беспечность твои умилили несказанно и настроили на очень серьезный лад. Мне мало самого себя и двух-трех хронических собеседников там, где дело касается вещественной крепости мысли. *Правда*, конечно, на твоей стороне, и как знать — быть может, и выгода. Выгода потому, что соблюсти себя на стороне нет возможности. Большинство привыкло вообще понимать только то, что само оно в состоянии говорить во всех своих состояниях безразлично. Часто на эту-то удочку и попадаешься. Снабжаешь свою мысль разными трапами, веревочными лестницами и мостками для безногих. В конце концов уснащения эти достигают такой изобильности, что за ними уже не сыскать основной мысли. Так теряешь и утрачиваешь свой собственный облик. — Я нахожусь на пороге этой катастрофы. Последнего шага в теплицу тупиц я еще не сделал и делать не собираюсь. Но на этом пороге, уже дыша испарениями посредственности, я лучше, чем когда-либо, оценил ту сторону твоего характера, о которой у нас речь.

Продолжаю об альманахе. <1)> Из стихов (свои я тоже включаю в обзор) мне нравятся единственно: Хлебников — Бой в лубке до Малявинских красавиц (исключение), Страна Лебедия — особенно «Ах, князь и князь и конь и книга»... я знаю, что ты на это скажешь, а все ж...

2) Три последних стихотворения К. Большакова. — Я все-таки считаю Большакова истинным лириком — это не ново — мне приходилось и спорить по этому поводу, не с тобой, как кажется мне.

3) Из твоих следующие: Кинематограф, Конец сражения, Черные дни, На эти горных скал озубья, Кисловодский курьерский, Стрепеты стремнин стройных теснее... Вот и все.

Своих я не упомянул по той же самой причине, по какой я не назвал ни Кушнеровых, ни Ивневских, никаких прочих стихов. Если это может огорчить их, то меня, Dieu me benisse* — это не

---

* да простит мне Бог (*фр.*).

огорчает нисколько. Если я назвал Хлебникова, Большакова и некоторые твои, то потому лишь, что о вас можно говорить, или вернее: тут есть о чем говорить. Из круга нижеследующих соображений исключается Большаков. Я не знаю, достаточно ли условия живописно впечатляемой и ощущением усваиваемой сентенциальности для того, чтобы признать лирические строчки частями творчески укорененного целого. Если нет, — то и то немногое, что нравится мне в стихотворном отделе Альманаха, — значением похвалиться не может.

— Когда-то я и не подозревал о том, что можно задумываться над лирической тканью, подходя к ней извне. Если мне и казалось, что я теоретизирую, то на деле обстояло все несколько иначе: предо мной был динамический диапазон тематической склонности, метафорических приемов, ритмико-синтаксических напряжений и т. д. и т. д., одним словом, некоторая величина динамического порядка, некоторый расплывчатый потенциал.

К этому количеству личной валентности, изживая и живо укрепляя его в себе, я подходил лишь мнимо и по видимости одной — теоретически. На деле же я занимался фиском и переписью. Я не находил никаких проблем в этой валентности; я просто мерил теорией и при помощи чистых понятий описывал измеренное, находя радость в том, что имеется на свете неизмышленное и более походящее на самого владельца, нежели все майораты мира, имущество, которым можно овладеть всякий раз, как в этом владении усумнишься. Мы теоретизировали и размышляли над фактом пения валентности нашей. При этом в нас пела всё та же валентность и все по-прежнему — о пении валентности в нас. Милый мой, я уверен, что всякая метафора несет в своем теле чистую и безóбразную теорию своей данной для данного случая теоретической сущности, точно так же, как всякое число есть законченное и вращающееся отношение (perpetuum mobile). Я уверен в том, что только эта чистая циркуляция самосознания в метафоре (или, лучше, ее самосознание) есть то, что заставляет нас признавать в ней присутствие красящего вещества. Так размышлял и теоретизировал я когда-то. Я пользовался в этих размышлениях лишь тем разумом, тем самым разумом, который парился в лирической бане, и я пользовался парящимся этим разумом в тот самый миг, когда он достигал до уровня каменки и ничего, кроме лирического пара, не знал и знать не хотел.

Но как-то случилось, что я дал ему другое употребление. Для меня многое изменилось с тех пор, как мы по-настоящему виде-

лись с тобой в последний раз. Тут мне распространяться не о чем. У меня ничего еще нет такого, что я бы мог непреложным назвать, и за все с той поры по сей день истекшее время у меня еще не было ни одной такой прихоти, которую я бы решился, душой не покривив, превратить в настоящее, центростремительное желание. Ведь и я с печалью вспоминаю то время, к которому с печалью ты меня отсылаешь. Для меня оно невозвратимо, потому что я уже не тот, что тогда. Сделай одолжение, не сдабривай этих признаний моих элегичностью — элегичности тут и в помине нет.

Меньше всего мне хотелось бы с тобой о собственных моих намерениях говорить. У нас с ними, с намерениями моими, — совсем особый разговор. Многих намерений я и на порог к себе не пускаю. В одном только я уверен: пускай и благодатен был уклад старинной нашей юности, плевать мне на его благодатность, не для благодатности мы строены, ставлены, правлены. Еще мне нечего печатать. Когда будет, скажу. Пусть Платов[4] печатается. А не будет — тоже убиваться не стану. — И это только меня самого лично касается. Никому до этого дела никакого нет. А думаешь ты, что это для отводу глаз говорится, — Бог с тобой, думай себе на здоровье.

В первую голову мне хочется что-нибудь такое сделать, от чего бы несло хозяйничающей в нем значительностью. Как понимать это, я сам еще не знаю, не додумался еще, либо опыт мой еще слишком узок. Да кто я, в самом деле? Молокосос еще. А судьи наши? Мы же сами, опять*. А то еще хуже: инвалиды, нами же уволенные в отставку. Слов нет, что «павианы 20-го числа»[5] — павианы. Что старики[6] не больно хороши — в том тоже спору нет. Но из всего этого один только вывод за дверь возможен. Да что это ты меня за язык тянешь? С меня взятки гладки в этом пункте. Писать мне никто не поможет, а как напишу, тогда поговорим. И не думай, что я важничать вздумал еще и мне неведомыми, умышляемыми заслугами какими-то. Ничуть не бывало. Осточертело мне все. Потом, не понимаю. Гляжу я теперь трезвыми глазами на все и берусь здраво рассудить себя самого с тобою. Ради Создателя, что в Альманахе меняется или изменилось бы от наличности дюжины еще таких полярных вшей[7] или от их отсутствия? Нет, по чести говоря. А? Ну вот.

---

* Вот то-то и есть, что не сами, а друзья-приятели, для которых солидарность — вопрос собственного существования. (*Прим. Б. Пастернака.*)

Велика тоже радость с такой весомостью в ансамбль входить! Ты спрашиваешь про Иды[8]. Да ведь это же булавочная головка. Мало, что ли, таких Ид и Швей и т. п., и т. п.? Ты не берись меня разубеждать, порох напрасно потратишь. Масштаб совсем другой. Прежде меня задевало то, что Юлиан[9] мне глаза колол «*отдаленными догадками*» о том, что не *еврей ли* я, раз у меня падежи и предлоги хромают (будто мы только падежам и предлогам только шеи свертывали). Меня задевало это, мне этого хватало на цельное ощущение, я, так сказать, мог этим тешиться (ты поймешь). Теперь бы мне этих догадок на рыжок не стало. Теперь случись опять Юлиан с такой догадливостью, я бы ему предложил мои вещи на русский язык с моего собственного перевести. Тешился я и Шершеневичем, и сближением с Маяковским и Обелиском[10], и мало ли еще чем. Теперь не тешит это меня. Да на что я тебе! — Довольно. Одно знай, Сергей: очень ты меня растрогал, Альманах твой красив, статьи твои настоящие, мужественные, дельные, умно, самостоятельно написаны, примирение твое с Б<ольшаковым>, Х<лебниковым> и другими меня радует, и мне трудно было согласовать собственную мою сухость с той теплотой, которую вызвали во мне письма твои и Альманах. Сердечный привет Марии Ивановне. Как Мар?[11] Вот вырос, наверно?!

Е. Г. Лундберг отсюда выехал в Вятскую губернию. Знаю, что он написал тебе, он сам мне об этом сообщил, прибавив, что не обошлось у него письмо без легкомысленных и ложных наветов в мою сторону. Что он там состряпал — тайна вашей переписки. А ты не верь.

Если хочешь мне писать в ответ — адресуй в Ташкент до востребования. В начале мая думаю отсюда сняться. Бор. Ильич Збарский не раз тебя поминал, он очень симпатично к тебе относится и, если бы сейчас тут был, наверное, тебе бы приписал, как уже часто порывался, заслышав, что я тебе писать собираюсь. Но вот уж неделя, как он в отъезде. Да, твои обещания денег, гонорара и т. д. Тебе не стыдно, Сергей?! Что это за посулы за такие. Уж не подкупить ли ты меня собираешься? Да нет, глупый, меня и это в тебе до слез трогает. Только ты оставь. Тоже, Крез нашелся!

Кланяйся Борису Анисимовичу[12], если его увидишь. Я ему писал отсюда, просил стихов прислать для прочтения, искренне и серьезно интересовался ими, а он — ни слова в ответ. Странно.

Впервые: «Вопросы литературы», 1972, № 9. — Автограф (РГАЛИ, ф. 2554, оп. 1, ед. хр. 55). Дата получения, поставленная Бобровым, — 2 мая 1916 г.

[1] Второй сборник «Центрифуги». М., 1916.

[2] Русский перевод книги немецкого философа-мистика Якоба *Беме* «Аврора или Утренняя звезда в восхождении» вышел в издательстве «Мусагет» в 1914 г. Во Втором сборнике «Центрифуги» опубликована статья Боброва «Слова у Якоба Беме».

[3] В статье Боброва «Философский камень фантаста»: «Я вошел во *дворец двух родительных падежей*: во дворец искусства искусства».

[4] Ф. Ф. *Платов*, поэт, художник и критик, участник «Центрифуги», автор книги «Блаженны нищие духом. Семьдесят стихов Федора Платова» (М., 1915).

[5] Речь идет о государственных служащих, получающих по 20-м числам жалованье в отличие от лиц свободных профессий.

[6] Имеются в виду символисты.

[7] Стих. Пастернака «Полярная швея» из Второго сборника «Центрифуги».

[8] *«Иды»* — несохранившееся стих. Пастернака.

[9] Ю. П. Анисимов.

[10] Название журнала, которое предполагали издавать Кушнер и Штих. Сохранился рекламный проспект, отпечатанный в типографии Синема: «Литературный, художественный и общественно-политический журнал Обелиск будет выходить в Москве еженедельно, начиная с ноября 1914 г. Редактор Б. Кушнер. Издатель А. Штих».

[11] Сын С. П. и М. И. Бобровых *Мар* Сергеевич.

[12] Б. А. Кушнер в это время жил в Петрограде.

121. РОДИТЕЛЯМ

30 апреля 1916, Всеволодо-Вильва

30 апреля, когда везде в мире цветут разные бальные кусты, а здесь растет насморк на совершенно до неприличия голых березах.

Дорогие! Последний вздох конторского бланка Резвой![1] Больше уж никогда... но дальше я не могу говорить. Дело в том, что у меня гнуснейший насморк. Больше никогда уже Вильвы я не увижу! На совести у меня — недели последнего безделья, на верхушках легких — залежи мокроты, на верхушках осин — обрывки пасмурной мороси, на очереди — ответ на ваши последние письма. — Я не в силах ответить тебе папа, на твое последнее бодрое письмо. «Тараканиха» оказалась на уровне твоих представлений о журналах, редакциях и т. д.[2] Рукопись мне вернули, не приняв. Полюбуйся на прилагаемую мою корреспонденцию с «Русской Мыслью». Как тебе понравится это бесподобное «все-таки», с каким они все-таки не приняли моей вещи. «Все-таки»? Несмотря на что? — Этот казус с редакциями, равно как и присылка Бобровской Центрифуги навели меня на сурьёзнейшие размышления и я пробовал отдаться этим

размышлениям эпистолярно, в сообществе с тобой, но сразу же заметил, что это скорее в беседе выполнимо, если вообще выполнимо, и два начатых письма полетели к черту. —

На очереди также и ответ Жонюре дорогой, чудесное письмо которой произвело на меня должное впечатление и вызвало у меня сильнейшее желание sur le champ*, тотчас же ей ответить, — но это требует спокойной сосредоточенности, а я одной ногой уже на палубе речного парохода. К Феде — согласно последней инструкции я заезжать не стану. Маршрут мой: Кама и Волга до Самары и затем Азия, степь, степь степь и степь до самых сартов, верблюдов, Самаркандских мечетей, плоских крыш, плоских носов и т. д. — на ориент-экспрессе. В первых числах июня буду обратным порядком нестись и очень бы хотел в «*Ташкент*** *Гл. почтамт до востребования Борису Леонидовичу Пастернаку*» получить ваше извещение о том, *когда* и на *какую* дачу *вы* перебираетесь. До сих пор я этого определенно не знаю. Писем я оттуда может быть и не буду писать***, они идут целую вечность, а я всего две недели пробуду там и потом — домой. Вас же серьезно прошу, не дожидаясь ответов исподволь раза два в неделю, уведомлять меня о том, что дома делается.

Жоне от души желаю блестящего окончания гимназии, в чем ни на минуту не сомневаюсь, Лидку перехода в последний класс, настолько же несомненно успешного. С грустью расстаюсь со здешней двустволкой, с лошадьми и т. д. и с людьми. Север, оказывается, я недолюбливаю. То, что мы называли Севером (Московско-Калужский край) — Ницца в сравнении с этим полярно-плевритным апрелем. Но ведь на днях я съеду по рекам в самое пекло с тою незаметной быстротой, с какой проглоченная дробинка съезжает по склизкой кишке в appendix. То-то жара будет! Прелесть! Здесь несчастные почки, давно уже зеленые тужатся, тужатся бедные и ничего не выходит.

Вальтер писал мне, что Алексей Федорович уходит и Шура собирается его заместить[3]. Что-то не верю. Место хорошее, люди

---

* тот же час (*фр.*).

** Ферганской области можно прибавить. (*Прим. Б. Пастернака.*)

*** А если и буду (наверное буду), то не считайтесь с ними, при таких расстояниях отвечать и спрашивать — бессмысленно. (*Прим. Б. Пастернака.*)

тоже в основе симпатичные. Много конечно лжи и гадости конвенционально-условно-классовой, но на это можно глаза закрыть, хотя и скучно. Я бы может быть и — нет лучше этой мысли и не допускать. Один год сплошь minimum я сяду на упорнейшие экзерсисы. Два месяца я занимался и за это время увидал, что сто́ит, но уже больше месяца истекло с тех пор, как бросил невольно (тут суматоха началась), Борис Ильич с уморочной головой ходил, не хотелось еще свои гвозди ему в затылок забивать, вот и бросил. Теперь, благодаря перерыву, снова сижу как рак на мели и придется начинать сначала. Но я уже остервенел в этом намерении и меня не сдвинешь. Если вы в Молодях будете, я непременно там на зиму устроюсь, ни за что в городе жить не буду — и вот буду жарить во всю. Глиэровы приветы и наставления тронули меня. Он не знает, чего мне хочется. Ведь это меня и погубило[4]. Я не признаю тех стихотворений, которые не были бы автором написаны для собственного голоса и не сумею писать музыкальных вещей, не предназначенных для моих собственных рук. Во всяком случае путь новаторства и самостоятельного творчества для художника не-практика — закрыт. — Но все это — в сторону.

Да к Филиппам я поступать не собираюсь. Так заниматься музыкой, как я хочу, можно только в полнейшем одиночестве или же у преданнейших друзей (как было здесь в течение благословенных февраля и марта).

Как приеду к вам, начну снова с тех же азов, с каких начал и здесь. Знаю, что литература затормозится у меня за эти годы. Но это пустяки. Все дело в том, чтобы не было пробелов вялости и сонного тупоумия в собственном существовании. Энергия должна стать совестью и совесть — энергией. Когда сблизятся два этих угля — из их электрической работы сами собой проистекут и нравственная (в широчайшем живом смысле) — чистота, и счастье и здоровье душевное и близость человечеству (сейчас или по смерти все равно, тут важно человечество как градус, как деление индивидуальной шкалы). Ты может быть думаешь, что я знаменитостью собираюсь делаться? О нет. Это и не дано мне, и вообще, как задача — неопределенно слишком и принципиально бессмысленно. Ведь тех, кто делает художников знаменитостями, художники никогда не знают и не могут знать, а кучка доброжелателей и сторонников направления всегда более или менее неискренне себя настраивает на сочувственный лад. Искренним будет только потомство. Но опять-таки повторяю, нелепая эта мысль, которую я только что разобрал, и в голову мне не приходила.

Я буду думать о том, чтобы осуществлять себя так, как сам я себе это подсказываю. Сейчас вовсе не время для живых обобщений, а современные частности таковы, что на них вообще не стоит останавливаться. Сейчас во всех сферах творчества нужно писать только этюды, для себя, с технической целью и рядом с этим накоплять такой опыт, который лишен печати эфемерности и случайности. А когда наступит время...

Нужно конечно и в материальном отношении держаться как-нибудь. Но, с грехом пополам, я как-нибудь думаю просуществовать эти годы. В крайнем случае, под псевдонимом, от которого я всеми силами своей души резко отмежуюсь и никогда с ним не сольюсь, буду мастачить то легкое, среднее, посредственное и общедоступное, что «все-таки» «Русская Мысль» и «Русские Ведомости» принимают.

Нет, вру. Это невозможно. Для этого надо настроиться на равнодушный лад для той работы, которой смысл весь в том, что она свидетельствует о человеке в состоянии неравнодушия.

Нет, с таким противоречием я не справлюсь. Но что угодно, а пианистом для себя мне нужно стать в кратчайший срок. — Впрочем мы ведь скоро увидимся. Крепко вас всех целую. Сюда не пишите уже больше. А непременно умоляю вас, пишите в Ташкент до востребования.

Мама, сообщай о себе. *Ваш Боря*

Впервые: «Знамя», 1998, № 5. — Автограф.

[1] Письмо написано на бланке с грифом: «Контора и имения Уральских заводов ея превосходительства Зинаиды Григорьевны Резвой. Продажа уксусно-кислой извести, ацетона, спирта древесного разных градусов, хлороформа и древ. угля. Всеволодо-Вильва».

[2] По-видимому, имеется в виду секретарь редакции «Русской мысли» Татаринова, которая прислала отказ опубликовать «Апеллесову черту».

[3] После ухода Пастернака из дома Филиппов место учителя Вальтера занял окончивший университет в 1915 г. А. Ф. Лосев. А. Л. Пастернак не занимался с Вальтером.

[4] Занятия композицией у Р. М. Глиэра были прерваны в конце 1908 г.

122. Л. О. ПАСТЕРНАКУ

10–15 мая 1916, Всеволодо-Вильва

Дорогой отец!

Это письмо — исключительно к тебе. Ты не ближе мамы мне. Но на тебя я похож больше, чем на нее. А в этом письме — я не знаю еще, удастся ли это — я говорю почти с самим собой.

Дорогой отец, я боюсь.

Полоса тоскливого страха нашла на меня, как когда-то. Я не помню, где и когда я испытывал уже этот страх, но он знаком уже мне; и если я испытывал уже его, то тем сильнее он сейчас. Мне страшно то, что пока я располагал свободно своими желаниями, шли годы. Они шли мимо меня, их нагромождал не я, и я не замечал, как они нагромождаются; если бы я следил за этою работой времени, я одумался бы и перестал откладывать исполнение своих желаний; но я не видел, что происходит. А теперь мне это так ясно, что если бы я сказал, что мне 26 лет, я солгал бы так же, как тот магазинер, который считал бы одни лишь мешки, сваленные в помещении склада, и не видал бы мешков, втаскиваемых рабочими на склад. Сегодня мне тридцать с лишком лет, по той причине, что недостающие годы уже здесь, времени остается сделать шаг, и мой счет оправдается. И затем: время упражняется на нас, и дни рождений следуют друг за другом все быстрее и быстрее.

Итак, молодость уходит. Я уже не тот, что был. Но не в этом дело. Я не сделал ничего того, что мог сделать и испытать только в те годы. Потому что переносить, откладывая их, неисполненные желания из возраста в возраст значит перекрашивать их и извращать их природу. Потому что у каждого возраста свой спектр и своя перспектива, и то, что в двадцать лет есть квадрат, передвинутое на десять лет становится, может быть, ромбом, и никакие силы в мире не осуществят тебе квадрата в этих новых возрастных условиях.

Как же это случилось, и кто в этом виноват? И прежде всего: все ли то, что я откладывал, вызывает во мне раскаяние и страх, что я уйду когда-нибудь ни с чем? Все ли?

Нет, конечно, не все. Музыку я оставил из убеждения в собственной бездарности. Это был голос молодой и требовательной совести, и я рад, что этого голоса послушался. Теперь, быть может, я не столь требователен и не так суров к себе. Ясно, что музыкой мне суждено было заниматься теперь, в условиях настоящего возраста; ясно, что музыка моя могла существовать только в ромбе, а в квадрате — не могла и дожидалась этого ромба, чтобы уместиться в нем. Естественные и здоровые мотивы повели к здоровым и естественным следствиям; я не раскаиваюсь в том, что сложнейшие ходы научной философии стали мне доступны благодаря этому; и то, что я освоился с литературой как со вторым отечеством, не вызывает раскаянья во мне. Ты видишь, как тут, по внешней видимости, *отказ от желания* (отказ от композиторства), а в

действительности только тяжелый акт легкой совести привел к последствиям здоровым и счастливым. Но были и другие отречения от желаний, которые изумляют меня теперь. Что мной тогда руководило? Тогда, в те молодые годы, когда я еще не верил ни в какой авторитет и твоего влияния также не хотел признать?

Одни из них второстепенны. Второстепенными и маловажными делают их другие, серьезнейшие отречения от серьезнейших желаний. О первых не стоит говорить. Но чтобы ты имел о них понятие, приведу одно на память.

В литературе я начинал так, как впоследствии думал и хотел начать футуризм и не мог. И я тебе скажу, папа, живое, молодое, новое и искреннее это было начинание; страшно оригинальное всеми этими качествами. Но я был окружен пугливыми выучениками отживавшей школы[1]. Им это ударило в голову — и тут впервые я поддался прелести влияния и авторитета. Умерить себя значило попасть в тон всем этим посредственностям. А это казалось так легко мне. Я не знал, что принимал при этом отраву. Я не знал, что, умеряя себя, я себя умерщвлю и дойду на этом пути до равнодушия, близкого к отчаянию. И теперь на этом поприще песенка моя спета: потому что нет такого вдохновения у меня теперь, которое не было бы перевито навыками ослабления, нивелировки и умеривания. Зато в твоих глазах я стал говорить на человеческом языке.

Но эту метаморфозу назвал я маловажной, несерьезною и мало опасной. Потому что есть превращения похуже. Папа, мне трудно писать, и я попрошу тебя читать внимательно и точно меня понимать, а то у нас с тобой ничего не выйдет. Ты жаловался когда-то на то, что у тебя контакта с сыном нет. Я и тогда уже возмущался несправедливостью этих слов. В последнее время ты и сам, верно, видишь, как ты в этом заблуждался. Папа, теперь я готов, как ты тогда, жаловаться на то, что контакт с тобою стал для меня потребностью, по своим неестественным размерам принявший форму болезни.

Слушай же меня внимательно. Если ты найдешь сходство между моим стилем и стилем Индиди, когда он говорит о былом своем величии, отнеси это к вопросу о стиле; и затем я не знаю Индиди, может быть, и в его словах сквозит то, что, заставляет иногда слова складываться так, а не эдак. Если тебе моя речь напомнит эпизоды из жизни дяди Осипа, отложи и эти наблюдения до следующего, более удобного случая. Не развлекайся этими соображениями, прошу тебя. Они, может быть, и справедливы. Но дела они не меняют. Не отвлекайся.

Я сказал уже, что есть превращения похуже. И вот они. В твоей семье, папа, могли как угодно относиться к любви; эти неестественные уклоны пуризма любопытны и оригинальны, но миропорядка изменить они не могут, она существует на свете и существует так, как ей вольно существовать. Мне хочется рассказать тебе, как однажды в Марбурге со всею целостностью и властной простотой первого чувства пробудилось оно во мне[2], как сказалось оно до того подкупающе ясно, что вся природа этому сочувствовала и на это благословляла — здесь не было пошлых слов и признаний, и это было безотчетно, скоропостижно и лаконично, как здоровье и болезнь, как рождение и смерть. Мне хочется рассказать тебе и про то, как проворонил эту минуту (как известно, она в жизни уже больше не повторяется) глупый и незрелый инстинкт той, которая могла стать обладательницей не только личного счастья, но счастья всей живой природы в этот и в следующие часы; месяцы и, может быть, — годы: потому что в этом ведь только и заключается таинственная прелесть естественности, подавленной ложными человеческими привычками, развратом опытности и развратом морали: в том, что если эта естественность впервые, не опираясь на дозволенность, опрокидывает все и делает признание одним лишь немым своим появлением, то она уступает нескольким сотням десятин сплошного садового и лесного лета, всей гуще окружающей жизни, способной иметь краску, тепло и вкус, звучность и запах. Принять такой бросок от этой июньской баллисты значит выйти замуж за леса, за города, за дни и ночи. И когда она, отстраняя меня, привела на память «подобные» же случаи — предложения (!) плачущих Бродских, -манов, -бергов, -фельдов и прочих автомобилей, — она навеки оскорбила не меня только, но и себя и всю свою жизнь и все свое прошлое, эта отпетая слепая из Чудовского переулка[3].

Мне хотелось бы все это рассказать тебе. Но сначала нужно научиться писать так о весне, чтобы иные схватывали грипп от такой страницы или приготовляли кувшин с водой под эти свежесорванные слова. А иначе об этом говорить бессмысленно. Или действовать эффектами? Тем, например, что к ней являлся я в гостиницу всегда в сопровождении обмороков, а она была другом детства в нежнейшем пеньюаре?..[4]

Вот кем была искалечена навсегда моя способность любить.

Винить вообще можно только себя. А в этом себя не обвинишь. И потому: катастрофа эта была естественна как и то, что я говорил о музыке — и если последствия от этой катастрофы —

болезненны, — то эту болезнь надо было схватить и перенести, как схватывают и переносят корь и другие детские болезни. И тут чувство требовало ромба, а не квадрата и дожидалось времени, когда на месте квадрата будет ромб.

И это время пришло.

Но тут случилось нечто совсем непонятное, вначале чуждое и просто неудобное, а к концу — роковое и требующее того, чтобы с ним считаться. Тут явились вы с вашим дивным словом: «клоака»![5]

Как вы додумались до него. Кто надоумил вас на это и подал вам счастливую мысль? «Его очень легко доконать, — в прошлом он уже искалечен тем, что первая его любовь натолкнулась на позорнейший анекдот, на профанацию». Правда, теперь этого не случится, но чего вам стоит поставить дело так, что его знакомства гонят вас в гроб, огорчают, лишают сна и старят.

Он хочет вам показать ее? — Разразитесь благородным негодованием. Дядя Осип под рукой[6]. Смутите его смешным уподоблением, смешным только потому, что с детства вы приучили его к мысли, что это смешно. —

Как будто я не мог бы привести к отцу проститутку, если бы моя совесть и то, что называют умом (способность многое сосредоточивать в одном; способность, уже по одному тону рассчитанная на деятельный выход) — подсказали мне это. Как будто не в этом истинный контакт. Или такой контакт невозможен? Или контакт — налицо — там, где он не рискован? Где он подсказан не жизнью моей, не живым моим отцом, а *общепринятостью*? Но такой контакт есть вовсе не контакт с сыном. Такой контакт существует и на людях, в обществе, за столом. Такой контакт имеется и в открытых письмах с видами. Для этого не стоит жить. Открытки с их контактом переживут нас.

Если бы ты только знал, какими терзаниями переплетены эти последние годы. Дело так просто: ломается нога, срастается, образуется мозоль. Вмешайся-ка в это; попробуй посоветовать ноге расти не так, а иначе, — быстрей или медленней; скажи ей, что тебе не нравится это затвердевающее кольцо вокруг обломков, — что оно тебе напоминает строение клоак.

Я вышел в жизнь с надломленной в этом отношении душой. Надо было предоставить мне и природе залечивать это былое повреждение.

Ты нашел меня хромающим. Пойми же, что я не могу делать выбора, а выбор делает моя зарастающая нога; инстинкт ведет ее

к клоаке, прости, к тому, что вы так замечательно метко прозвали, инстинкт ведет эту поврежденную часть, и когда она будет оздоровлена, я, может быть, на собственных ногах пойду дальше; но выбора нет, и если я сомневаюсь и ты видишь это и говоришь: «Это чувство?» «Да тебе она вовсе не нужна?», — то ты только повторяешь то, что и мне самому известно, — что я не тверд на ногах и хромаю — и к моим сомнениям ты примешиваешь свои — безапелляционные, непогрешимые, категорические.

Ведь это закон природы.

Несомненно было только увлечение впервые. Разве можно требовать безошибочности в этих желаниях, если только они не стали привычкой? Дай мне тот аппарат, который бы указывал градусы привязанности, и на шкале которого, в виде делений стояли бы: влечение, привязанность, любовь, брак и т. д. и т. д.[7] — и я скажу тебе, измерив у себя температуру этих состояний, самообман ли это или не самообман. И почему всем людям дана свобода обманываться, а я должен быть тем мудрецом, который решит свою жизнь как математическую задачу? Я соглашаюсь с тобой не потому, что желанья мои совпадают с твоими, но только оттого, что ты видишь меня хромающим — и твоя правда, это действительно так.

Начало этого письма пролежало у меня на столе несколько дней[8]. Мне трудно его докончить. Письмо это написано заплетающимся языком, в состоянии прострации, близкой к отчаянию. Мы скоро увидимся, я тебе расскажу об обстановке, в какой оно возникло. Это письмо нездоровое потому, что оно трактует о нездоровом. Смысл его прост и ясен. Если жизнь человеческая не есть еда и питье и сон только, если, далее, и в искусстве и в работе мысли существуют по крайней мере два пласта: один поверхностный, полумертвый, общий всем и отслаиваемый без особенного риска и в полнейшем равнодушии теми, кто его отслаивает; и другой — специфически личный, подпочвенный, вулканического происхождения, живой и рискованный; — если это так, то я, во-первых, по всем качествам своим природным, которые мне выясняются все более и более, принадлежу (как и вы, мои родители) к тому разряду людей, у которых второй пласт преобладает над первым и должен был согласно этому жить и развиваться. Однако, — и это во-вторых, — с течением времени я все более и более убеждался в том, что теперь уже нет ни одного здорового, не искалеченного клочка в этом пласту, который по своим свойствам я вы-

нужден назвать истинной моей натурой, моим характером, природой, темпераментом и т. д.

Вывод — налицо не только в письме и в рассуждении, но и реально, на практике, в распорядке и нездоровом характере моих желаний.

Желания эти, к какой бы категории они ни относились — лишены непосредственности. Мне ясна их лечебно-ортопедическая, коррективная природа. Это былые юношеские желания, неудовлетворенные и в силу этого недомогающие. Весь я сейчас могу быть разложен на них — без остатка, и то, что хочется мне сегодня, не сегодня волей моей подслушано, но оказывается давно занесенной в мемуарные архивы воли — записью. Не во всем виноват всецело я. А то, в чем я виноват, мне легче всего исправить. Сейчас мне уже не хочется обо всем этом говорить. Я решил почему-то тебя посвятить в эту уродливую и отталкивающую тайну моего безволия, которое не стало еще апатией только оттого, что я прикидываюсь порывистым, жизнерадостным и самоуверенным. Притворяться в этом направлении мне очень легко потому, что перечисленные теперь только и притворные — черты — в действительности настоящие, основные черты моего типа. Я очень жалею о них, оздоровить их можно, но сама по себе такая задача — задача реставрационная, упадочная и старческая.

Я очень жалею также о том, что лучшие годы свои провел в Чудовском. Между прочим, там я свыкся с мыслью, что: «Никто лучше не мог бы писать об искусстве, чем Б<оря>, но для художника требуется еще что-то особое, чего у меня нет...» — Это правда — тем особым, что требовалось тогда, — было счастье быть только отдаленным знакомым Высоцких, которым я не обладал. Я жалею также о том, что влияние этих лет сказалось в первый год моего знакомства с клоакой. И о том, что во второй год это знакомство стало огорчать тебя и маму до того, что вы лишились сна, и я был поставлен в положение бездушного урода в семье. Я жалею и об этом.

Но я не жалею о том, что написал тебе это письмо. Ты знаешь, как я люблю тебя и маму, и ваши странности, ваши несходства с посредственными людьми. Я люблю вас так, как негр любил бы своих родителей среди белых.

1) Как своих родителей.

2) Как соплеменников.

3) Как редкостную достопримечательность, сделавшую достопримечательным и его.

Ты это знаешь. Об упреках в этом письме и речи быть не может. Но если ты задумаешься над этим письмом, ты, может быть, что-нибудь и превратишь в упрек. Но это твое уж дело.

Я не перечитываю написанного, чтобы не вызвать в себе ложного стыда в рассказанном; вообще не принято делать такие признания; но я не боюсь попасть в смешное положение перед тобой. Письмо вызвано у меня страхом. Страх — чувство детское. И с радостью я вспомнил о том, что мне дано еще такое счастье — рассказать тебе обо всем, что пугает меня. Этим счастьем я не могу не воспользоваться. Все это связано с тем, что я отказался от поездки в Ташкент[9].

Крепко целую тебя. *Твой Боря*

Впервые: «Знамя», 1998, № 5. — Автограф. Датируется по содержанию.

[1] Речь идет о литературной группе «Лирика», в которую входил Пастернак.

[2] О пробуждении *первого чувства* в эти же дни было написано стих. «Марбург», первонач. вариант которого под назв. «Из Марбургских воспоминаний — черновой фрагмент» был подарен Ф. Н. Збарской с надписью: «Фанни Николаевне в память Энеева вечера возникновения сих воспоминаний. 10.V.1916».

[3] См. об этом объяснении письмо № 62. Дом Высоцких находился в Чудовском переулке недалеко от Мясницких ворот.

[4] Ср. о Высоцкой в «Марбурге»: «Пеньюар был тонок, как хитон» и: «Стенает во мне / Назревшее сердце, мой друг в матинэ» (редакция 1916 г.).

[5] Этим словом родители называли богемную компанию, собиравшуюся у сестер Синяковых на Тверском бульваре.

[6] Речь идет о Н. М. Синяковой-Пичета, которая представлялась несоответствующей партией для сына, аналогично Осипу Исидоровичу Кауфману, женившемуся на медсестре.

[7] Ср.: «И даже в портняжной — каждый спрашивает / О стенном приборе для измерения чувств» («Полярная швея», 1915).

[8] Пастернак уезжал на два дня в Пермь. Б. И. Збарский в письме к Л. О. и Р. И. Пастернакам 11 мая 1916 писал: «Сейчас он в Перми, куда поехал на пару дней по моему поручению и вместе с Фанни Николаевной». По возвращении из этой поездки 17 мая писала им и Ф. Н. Збарская. Этим же числом датировано стих. Пастернака «На пароходе», подаренное Збарской.

[9] Б. И. Збарский писал Пастернакам 11 мая 1916: «Боря совсем уже собрался в Ташкент, но я пробовал (не настойчиво) убедить его не ездить. В последний момент он к общему "нашему" (понимаю и вашему) удовольствию отменил поездку». В тот же день Пастернак писал С. Боброву: «Дела задержали меня здесь, и в Ташкент я не поеду. Пиши сюда. В Ташкент послал заявление на почтамт, так что твое письмо не пропадет» («Встречи с прошлым». Вып. 8, 1996. С. 236).

123. Р. И. ПАСТЕРНАК

17–18 мая 1916, Всеволодо-Вильва

Дорогая мама! Ну как вам не стыдно было по поводу моей телеграммы беспокоиться?[1] Я уж и забыл о том, что про свою простуду вам писал, глупо поступил, что сообщил вам такой пустяк — а из сегодняшней открытки папиной узнаю вдруг, что вы с этим мой отказ от поездки в Ташкент связали! Ну да вы уже извещены верно г. Пузриным по телефону о том, в каком виде он меня нашел и как я его на станцию провожал. Свинья Пузрин, не сказался в Москве, что едет сюда. Вы бы и поклон передали! Да кроме того я и телеграмму вам успел уже дать, прямо стыдно ее было сдавать на станции (ведь станция вся на жалованье у завода, все друг с другом знакомы), телеграфист спрашивает: ну как вчера, поздно с охоты вернулись?— а ему суешь — в спортсменском костюме и в высоких сапогах — телеграмму: здоров мол и т. д. — собственно ввиду его присутствия и с его согласия я и дал несколько комическую телеграмму и сам присутствовал за тем, как он ее выстукал.

Здесь я последние 2–3 недели доживаю, потом к вам. Будете ли вы уже на даче? Я много верхом ездил, пока погода позволяла, и настолько хорошо галопирую, что непременно хочу в Молодях это полезное и замечательное удовольствие себе доставлять. Надо будет и Шуру научить. Первые два-три раза, когда лошадь на галоп переводишь, такое чувство, как будто вот-вот свалишься, а потом все увереннее и увереннее.

На днях думаем в соседние копи (24 версты отсюда) поехать. Там громадные шахты каменноугольные, пленные австрийцы (целый городок), китайцы (несколько тысяч) — китайская полиция — прямо из Китая, ужасные, со страшными нагайками, — каторга, на 10–20 лет приговоренные, скоро прибудут выписанные персы для работ. Надо посмотреть. По быту и нравам это рабство Римской эпохи, с погонщиками и т. д. Ужасно. А шахты интересно увидать[2]. От Бориса Ильича получу письменное удостоверение в том, что гожусь в жокеи, боюсь, в Молодях вы меня не пустите на лошадь.

Мама, вот что. Тут в Перми и в уездных лавках есть все, что бывает нужно в городах, по ценам, которые значительно ниже ваших московских. Не нужно ли чего тебе или папе, или Шуре, или девочкам на лето? Напиши мне об этом поскорее, с точными обозначениями там, где это требуется. Обувь? Материя? Confections?*

---

* Готовое платье (*фр.*).

Белье? Носки? и т. д. и т. д. вплоть до замков, гвоздей. Каков размер Шуриных воротников? Папиных перчаток? Жониных и Лидиных чулков? Твоих ботинок? Но поскорее, а то сюда (даже не в Пермь, а на заводы по заводским потребительским лавкам) приезжают коммивояжеры и из кооперативных складов все раскупают. Замечательно, как только мне пришло в голову, что можно вас кое-чем отсюда снабдить, так тотчас же стали вокруг раздаваться рассказы о том, как из столиц приезжают и разбирают и т. д.

Передали ли вам Энгели мои рукописи о Шекспире? Читал ли их папа? Ну всего, всего лучшего, крепко вас всех целую. Мне сейчас лошадь седлают, поеду за 10 верст.

Твой Боря

Впервые: «Знамя», 1998, № 5. — Автограф. Датируется по содержанию.

[1] В ответ на беспокойство родителей Пастернак 15 мая послал шуточную телеграмму: «Страдаю избытком сил. Пишу. Целую=Боря». Но ни телеграмма, ни письмо не успокоили родителей, считавших, что сын отказался от поездки в Ташкент из-за болезни; 25 мая он снова должен был объясняться по этому поводу: «Поражен маминой открыткой. Клянусь всем святым, что был совершенно здоров. Пузрин ведь виделся со мной, я его провожал на вокзал, ну вы, допустим, могли думать, что он от вас (от папы и мамы) что-то скрывает, но именно в таком случае он наверное сообщил бы что-нибудь Шуре или девочкам. Для меня эта история с моей «болезнью» прямо-таки непостижима. Все это было бы очень трогательно, прекрасно, великодушно и только, если бы вы себе этими фантазиями сердец не терзали, а как вас от этого уберечь? На свете существуют 2 способа письменных сношений: почта и телеграф. Я использовал и то и другое — других средств ведь нет. Я написал папе и тебе, мама, по заказному как раз в то время, когда у меня явилась необходимость в длинном капитально-эпистолярном сообщении. Когда же потребовалось вас разуверить в порождениях вашей мнительности, я своевременно вам телеграфировал, причем самый тон телеграммы говорил за то, что ни о какой болезни и речи быть не может. <...> Хорошо, что я действительно абсолютно во всех отношениях здоров, слава Богу. Ну а как было бы, если бы я, предположим, легонькую инфлуенцу схватил? Ведь это так возможно и так безобидно и безопасно. Ну что же тогда? <...> Нет, это ведь гибельнее пьянства, такой самоизвод по пустякам!! Умоляю вас, оставьте это. Я и не заслуживаю таких забот обо мне. А главное, я никогда так здоров не был. Чуть ли не ежедневно — верхом». Одновременно с этим письмом Пастернак телеграфировал родителям: «Открытка изумила. Беспокойства абсолютно несостоятельны. Писал заказным и не думал уже болеть=Боря» (там же. С. 163).

[2] Нечеловеческие условия работы на Продольном Великокняжеском руднике Кизеловских копей стали содержанием стих. «Рудник», написанного в 1918 г.

124. РОДИТЕЛЯМ

29 мая 1916, Всеволодо-Вильва

29 мая 1916

Дорогие! Бывают иногда такие материалы для сообщений, которых не хочется убить письменной передачей и которые ждут случая, чтобы стать изустною повестью.

Как-нибудь в тихий июльский вечер, на террасе Молодинского дома, за чаем, может быть в присутствии Левиных расскажу я вам во всех подробностях о нашей недавней экскурсии в Кизеловские копи.

Бог привел меня побывать в шахтах. Это я запомню на всю свою жизнь. Вот настоящий ад![1] Немой, черный, бесконечный, медленно вырастающий в настоящую панику! — Но, как сказано, — ни слова пока об этом! Чтобы не испортить себе этого «удовольствия», которое я предвкушаю, думая о том, насколько вам это будет интересно и ново для вас. — Это было позавчера. В этот день я отмахал 56 верст верхом. Вообще я себя в седле чувствую более чем превосходно. Хочется и Шуру к этому полезному удовольствию пристрастить и вместе с ним Молоди — как лимон выжать.

— Вот отчего и не пишется мне иногда. Писать вам открытки? Но я этого не умею делать. А калечить в письме то, что имеешь рассказать, когда это достигает известного градуса серьезности — не хочется. Так и получаются те перерывы в правильной переписке, которые на вас такой беспричинный страх нагоняют. Между прочим и я уже давно от вас писем не имел. Я не раз уже спрашивал о том, собираетесь ли вы на дачу, когда и куда собираетесь. Также спрашивал я и о том, у вас ли мои статьи о Шекспире? Занимается ли Шура с Вальтером? Окончились ли экзамены у Жони и у Лиды? Были ли у Шуры экзамены и как сошли? Как мама себя чувствует и ты, папа, и что ты делаешь сейчас? Но все это остается неотвеченным. А я в жизнь свою ничего хуже открыток не встречал.

Целую крепко. *Ваш Боря*

Впервые: «Знамя», 1998, № 5. — Автограф. Письмо написано на бланке конторы заводов Резвой.

[1] О впечатлениях от поездки на шахты Пастернак вспоминал в «Ответах на вопросы еженедельника “Visto”» в 1959 г., раздумывая о том, что «если бы наука... руководствовалась побуждениями добра и сострадания, то есть чистыми нравственными мотивами, а наша мысль была бы так исполнена теплом и любовью, что сделала бы нас не способными вырабатывать анти-

гуманные идеи, — человек давно нашел бы способ использования угольных ресурсов без насильственного принуждения, которому подвергались тогда (в 1915 году) китайские рабочие и каторжники» (Т. V наст. собр.).

125. РОДИТЕЛЯМ

1–3 июня 1916, Пермь

1 июня. Пермь

Дорогой папа! — (Читай про себя)

Отписку твою с общими заказами получил на станции вчера, выехав в Пермь. У меня страшно разболелись зубы и я приехал сюда их слегка подлечить. Основательным леченьем придется заняться уже в Москве. Поздравляю Жоню с блестящим окончанием гимназии. Лиду с переходом в следующий класс. По паре перчаток бесплатно! Шуру с весной и переездом на дачу. Брючный отрез за полцены. Три английских носовых платка бесплатно! Папу с Поляковым[1]. Штиблеты скороход полцены!

Маму с хорошим состоянием здоровья. Перчатки бесплатно! Чулки и туфли за полцены!

3 июня. Покончив с раздачей премий, спешу закончить письмо. Милый папа, это письмо пишет ничтожество.

Ничтожество пробыло в Перми три дня, потратив при современной дороговизне массу денег (не на покупки, на прожитье). Ты не можешь себе представить, папа, до какой степени верно и подходит то определение, которое я себе тут даю.

Видишь ли, ничтожеству страшно хочется перед тем, как к вам возвращаться, повидать Надежду Михайловну и с ней из Самары до Нижнего на пароходе поехать, — ему очень этого хочется и больше того, оно, ничтожество, знает, что там, где начинается осуществление его желаний, ничтожество перестает существовать и на его место вступают радостно и свободно реализующиеся задатки, ничтожеством придушенные. Но вместо этого, по всей вероятности, ничтожество предпочтет несамостоятельный, удобный и привычный шаг: поскорее к старшим.

Как странно! Зачем ты всегда потворствовал нерешительности и отсутствию собственной воли во мне. Ведь это же позор, что я и тут своего желания не исполняю. Какое добро может это принести, кроме скуки и проворонивания молодости. Это ли immer heiter?* Я не знаю, хватит ли у меня силы воли, бодрости и созна-

---

* все веселее (*нем.*).

ния самостоятельности в почине, не прямо к вам, а вперед так, как мне бы хотелось. Вряд ли. Всего вероятнее к вам прямиком поеду.

Целую вас всех крепко.

Ваш Боря

Впервые: «Знамя», 1998, № 5. — Автограф.

[1] Вероятно, речь идет о портрете недавно скончавшегося банкира Л. С. Полякова.

126. РОДИТЕЛЯМ

20 июня 1916, Всеволодо-Вильва

*<Карпов на заводе> Ушковых[1] ждет его для совершения торжественной этой церемонии 27-го. Описывать вам всех подробностей ликвидации дел Резвой и тех трений, которые возникали между новым владельцем и Пепой (Б<орисом>И<льичем>), а в его отсутствие, между тем же милордом и мной[2]; не стоит — и было бы затеей слишком кропотливой. Постановка хлороформного завода у Ушковых и переезд Збарских в Тихие Горы — дело без стонов отлагательств не терпящее. А тут еще вызов Пепы в Москву с точностью определил тот день, когда им выехать отсюда станет *необходимо* и неизбежно, тогда как даже при force majeure** — ликвидационные дела к этому дню закончены быть не могут и закончатся дня на три, на четыре позже. Вот Пепа и спросил меня сегодня, очень ли неотложна моя завтрашняя поездка в Уфу.

Я понял, в чем дело и... и словом мы с ним решили, что все они в пятницу или даже четверг (сегодня понедельник) отсюда со всем скарбом выберутся, а Пепа сдаст мне свои полномочия или их часть и доверенность (и я здесь пробуду до тех пор недолго, дней пять), пока не вывезут всего угля Резвой закупившему его бельгийскому заводу Сольвэ, пока я не получу тех 17—18 тысяч, которые нам еще с них следует, пока акцизное или санитарное (еще не выяснено) ведомства не заберут остаточного спирта и пока от Резвой не придет окончательное решение ее о том, какую сумму определяет она служащим и рабочим на двух своих заводах и в имениях, и я всей этой куче людей на Вильве и на Иваке этой суммы не распределю и не раздам.

---

* Первые страницы письма утеряны.

** чрезвычайные обстоятельства (*фр.*).

Завтра я отправлюсь на этот завод Сольвэ, поездка займет двое суток, я побываю на верховьях Камы, получу там черт знает сколько тысяч, проведу сутки в благоустроеннейшей бельгийской гостинице (тут ведь чудный институт: приезжие, — т. е. отели, содержащиеся заводами для контрагентов, клиентов, приезжей администрации края, фабричной инспекции и вообще всех, имеющих какое-нибудь дело до завода). На «приезжей» у меня будет уйма времени, и я вам наверное оттуда напишу.

Ключ от корзины я передам наверное Пепе и вы ее непременно откройте, чтобы вещи не испортились. Если вас удивит неточное следование мое тем указанным вами количествам, о которых вы пожалуй уже и забыли, знайте, что это все, что я мог купить — либо все разобрано — либо мне больше отпустить не хотели. В суматохе Пермского Мюр и Мерилиза[3] мне всучили в дюжине черных чулок три пары восьмого номера. Они явно малы для девочек и я их дал Фанни Николаевне. При случае куплю подходящие. Если штиблеты папе не годятся (хотя думаю, что впору) — возьму их я (Шуре велики). Платочки горничноподобные — девочкам, — горошком — Шуре. Брючный отрез — папе, Шуре — спортивная шикарная рубашка — того, что он хотел, не было, а это ничуть не хуже. Платки папе дорогие — мне дешевые. Перчатки всем нам, маме в особенности *козловые* и кажется, шведские. Машинка для расправления перчаток приложена. Денег ни у кого не занимал, и расчет будет проще, чем думаете. Отрывайте пломбы, закрыв глаза, думал, что сам все это вам вручу, обезвредив от цен. Цены не соответствуют действительности, мне делали скидку 50%. Если цвета или сорта не соответствуют просимым, значит не было!

Прилагаемые снимки сделаны, проявлены и отпечатаны в течение полусуток мной и Яковом Ильичом (братом Бориса Ильича)[4].

В стороне от дороги на Ивакинский завод (не зная Урала, трудно себе это представить — пятиверстная кремовая лента, воланами пропущенная через курчавый без конца и края пучащийся океан гористых лесов à la Шварцвальд или Oberland).

Так в стороне — или не так начать нужно: — берешь в сторону от дороги дремучейшим лесом, делаешь примерно полверсты и, житель равнин, бессознательно думаешь, что все будет в порядке — лес, лес или луг в крайнем случае. Делаешь еще шагов десять, лес не редея — обрывается — ночь становится сразу тяжело облачным днем, перед тобой вырастает каменная гряда, похожая

на цепь бойниц с каменной площадкой вдоль брустверов. Влезаешь, ничего еще не зная — на площадку и заглядываешь через край — гладкая каменная стена спускается отвесно, вышиной с 20-ти этажный дом, — на дне — речка и долина, видная верст на тридцать кругом, поросшая лесом — никому неведомая, как кажется, доступ к которой отсюда отрезан.— Целый мир со своими лугами и борами, и горами по горизонту, и со своим небом, и все это в глубокой зеленой чашке, черт знает какой глубины.

Такие каменные срывы называются здесь шиханы[5].

Впервые: «Знамя», 1998, № 5. — Автограф. Датируется по содержанию (понедельники в июне 1916 г.: 6, 13, 20, 27).

[1] Лев Яковлевич Карпов — известный химик, партийный и общественный деятель РСДРП, был директором завода Ушковых в Тихих Горах.

[2] В. К. Анреп, с которым Збарский вел переговоры, по поручению Резвой, о продаже заводов во Всеволодо-Вильве и соседней Иваке; «новый владелец этого трехмиллионного ломтика, — писал Пастернак родителям, — предлагал через Бориса Ильича мне служить у него на каких угодно условиях, чем угодно, лишь бы остался тут. Но это, разумеется, — чепуха, вышло бы повторение Филиппов, хотя в будущем можно это иметь в виду» (22–23 июня; там же. С. 167).

[3] Большой универсальный магазин в Москве на Петровке.

[4] У Ф. Н. Збарской и у А. Л. Пастернака сохранились фотографии, сделанные во Всеволодо-Вильве. Среди них Борис Пастернак за пианино, верхом на лошади, с Ф. Н. Збарской и Эликом среди снежных сугробов, в группе со Збарскими и Лундбергом за столом и другие.

[5] В романе «Доктор Живаго» сцена расстрела в партизанском отряде происходит на таком же скалистом гребне (*шиханé*), который описан здесь. Среди посланных родителям фотографий сохранились две, сделанные Я. И. Збарским на этом шихане.

127. С. П. БОБРОВУ

24–25 июня 1916, Усолье

С. Усолье, ст. Солеварни Соликамского уезда, Содовый завод.

Дорогой Сергей!

География cum grano salis*, как видишь, очень насоленные места, как говорил однажды попутчик еврей при мне соседу по купе, будучи совершенно не в силах произнести пару iотированных *е* не переводя дыханья. Корзина моя сдана на хранение во избежание

* С иронией, букв.: с щепоткой соли (*лат.*).

засола по соседству от этого «соленья», я не имею возможности подробно написать тебе о том, что мне более всего пришлось по сердцу в твоих «Записках»[1] — веришь ли, со столь инородными усилиями памяти и интеллекта приходится мне, чередуя их, перемешивать те виды сосредоточенности, которые на откупу у личного да и у чужого творчества, что не подкрепленные однородными ассоциациями, впечатления эти, извлеченные из-под спуда, оказываются вовсе лишенными хлорофилла, водянистыми и малоконкретными. Будь книжка под рукой, они мгновенно бы восстановились. А сейчас: «Записки стихотворца?» — Ах, точно! Да, да, это — сеанс мучительного флюса в купе, по дороге в Пермь, с толстыми горчичниками из чеков, квитанций Порайонного Комитета, вагонов овса и крупчатки, нарядов, английских булавок, забравшихся под самую рубашку, и чего-то вроде маленькой пушки на левой ягодице. Записки стихотворца»? Да, да, это, кроме того, еще ряд бессовестно, вымогательски вынужденных улыбок, вырванных автором силой у больной, бедной челюсти. Улыбок одобрительного восхищения, когда загадываешь наперед: это место надо будет с восклицанием: «каково?! — а вы вот говорили, что этих самых, как их там... футуристов надо бы...» — показать тому-то и тому-то. «Записки стихотворца»? — Это ряд мастерски написанных определений, где *формула* пользуется всеми льготами сентенции, — где у формулы есть пенсне, чтобы саркастически поверх него сверкнуть в нужную минуту, и где *сентенция* лишена всех обычных льгот сентенции; — где сентенцию нельзя выгнать на местное пастбище всех сентенций симментальской породы и арбатски-зубовской масти, но зато ее как формулу можно послать за океан, где навинченная на соответственную идею, она будет идеально делать свою работу независимо от климата страны, преобладающего возраста туземцев и того, к какой лингвистической группе относится тот мертвый язык, на котором они уже не говорят и которого не знают. «Записки стихотворца»? — Вот именно. Это занумерованная часть разборной духовной машины. Машина эта не может без нее работать. Она работает с ней. В этом смысле новый экземпляр этой идеи — не новость. Но было бы нелепостью думать, что духовная машина может обойтись без точных и усовершенствованных резервов. И было бы нелепостью думать, что эту резервную часть можно скопировать со старой, находящейся в деле и действии: это также невозможно, как невозможно отлитие резервного инжектора из того самого железа, которое пошло на изготовление старого. — А если вспомнить, что

сентенции, точные как формулы, — что идеи — резервные как части машин, — возникают тогда, когда портятся соответствующие части собранные, то надо сказать: духовная машина пущена снова по незначительном перерыве тогда-то и тогда-то, в тот самый момент, когда разбор Тютчевского «...она с небес нисходит к нам, небесная — к земным сынам и на бунтующее море льет примирительный елей...»[2] —; «Недалекое будущее» (быть может переврал — прости), о любви к Пушкину и многое другое — были снабжены винтовой нарезкой с диаметром, установленным для всех чистых идей. — Ты молодец, Сергей, вот что. Спасибо за «Записки». «Распевочное единство»[3] не разрезано еще. Все время в разъездах — оттого и не отвечал. И это не ответ, конечно. Все еще в дороге и по делам. На большое письмо твое отвечу при первой возможности. Получил сегодня «Солнце на излете» от тебя и от Большакова. Спасибо. Ему не говори, что от меня письмо получил, обидится. А ему сейчас писать ни малейшей возможности не имею, и голова у меня не тем занята, меня тронула его посылка. Не успел еще как следует прочитать. «Поэма событий» кажется посвежей «Солнца» будет. Хотя moulage* там во многом от Маяковского[4]. — Вообще — разочаровательный какой-то он. Характеристика его прежде всего исключает всякое подозрение в холодной и бесстрастной всеприимчивости эклектика à la Шершеневич. Он несомненный лирик и как таковой, a priori, оригинален должен быть (ты понимаешь, конечно). Между тем, при повышенной сложности эпизодического образа в духе «Мезонина»[5] (пример: образец невозможной «новой художественной прозы» Шершеневича) он этой искусственной мерой часто ничего, кроме разоблачения пустой ее искусственности, не дает — *дремлют губами на ругани люди*?[6] Многое, многое еще — почти все этими вычурными протоколизмами испорчено. Мне душа этого протоколизма непонятна и незнакома. Уж на что я «сложно» начинал: «загорают дни как дыни за земли-стым детством с корью», «как будто мимо захолустной станции — <товарные>** вагоны тянутся... мертвого дождя»[7]. А Маяковский? — Но потенциал этих истуканных сложностей отзывоспособен по отношению) ко мне. А искусственность Большакова часто грешит чисто Шершеневическим грехом. Часто фактура его такова, что так бы *мыслил* человек, с затхлостью поэтических тайн незнакомый, сочиняя *пародию* на современность. В построении

---

* копия, слепок (*фр.*).

** В тексте: товарнорные.

его много механического следованья какой-то рецептуре сложности quand mí me*. Ну, слушай, Сергей, я лучше кончу письмо. А то не видать тебе его. Прости, что пишу поверхностно. Знаешь, в какой обстановке и при каких условиях я его строчу тебе? На так называемой приезжей квартире для приезжающих по делам на завод Любимова — Соева и К°. Перед окном — Кама — сбоку маленькая промышленная Бельгия — элеваторы, трубы, бетонные скелеты, подъездные пути, исполинские цистерны Т-ва Мазут и т. д. Завтра мне в контору к ним за получением денег — уголь мы им поставляли, невозможное число вагонов, потом мне к директору с новым предложением. Но во Вс. Вильву я уже больше не поеду и после Уфы и Самары месяца на два приеду к своим. Пиши мне уже и сейчас по адресу ст. Столбовая М.-Курской или «Молоди» Бородина. По дороге к своим, разумеется, с тобой повидаюсь. Привет Марии Ивановне.

Твой Б. Пастернак

Пиши и теперь уже в «*Столбовую*», не заказным по возможности (за заказными за 14 верст ездить надо), мне перешлют родители, когда адрес мой установится.

Впервые: «Встречи с прошлым». Вып. 8, 1996. — Автограф (РГАЛИ, ф. 2554, оп. 1, ед. хр. 55). Написано на бланках конторы заводов Резвой. Дата получения, поставленная Бобровым, — 29 июня 1916 г.

[1] Сергей Бобров. Записки стихотворца. М., 1916.

[2] Неточная цитата из стих. Ф. И. Тютчева «Поэзия» (1850): «Среди громов, среди огней, /Среди клокочущих страстей, / В стихийном, пламенном раздоре, / Она с небес слетает к нам — / Небесная к земным сынам, / С лазурной ясностью во взоре — / И на бунтующее море /Льет примирительный елей».

[3] Книга Божидара *«Распевочное единство»* была издана с предисловием и комментариями Боброва.

[4] Константин Большаков. Солнце на излете. Вторая книга стихов. 1913–1916. М., 1916; Константин Большаков. Поэма событий. М., 1916. Ср. слова И. А. Аксенова из письма Боброву 23 июля 1916 г.: «"Поэму событий" я люблю больше "Солнца"» (РГАЛИ, ф. 2554, оп. 1, ед. хр. 5, л. 45 об.). Первую книгу стихов Большакова «Сердце в перчатке» (1913) Пастернак получил от автора в январе 1915 г. с надписью: «Борису Леонидовичу Пастернаку в знак свершившейся дружбы» (собр. Л. М. Турчинского).

[5] «Мезонин поэзии» — издательство московских эгофутуристов, в котором сотрудничали В. Шершеневич, Хрисанф (Л. Зак), К. Большаков, Р. Ивнев, Б. Лавренев и др. Были выпущены сборники: «Вернисаж», «Пир во время чумы», «Крематорий здравомыслия» (1913).

---

* несмотря ни на что (*фр.*).

[6] Первая строчка второй строфы стих. Большакова «Вечер» («Огни Портовой таверны...») из книги «Солнце на излете».

[7] Этот текст Пастернака неизвестен.

128. Б. И. и Ф. Н. ЗБАРСКИМ

Начало июля 1916, Самара

Мои родные!

Одно письмо уже умчалось в Столбовую на имя Пепы[1]. Сейчас в четвертый раз заходил на телеграф. Какое счастье! Телеграмма от вас. Меня она взволновала — спасибо, спасибо. В Уфе я места себе не находил от тоски (несмотря на массу знакомых) и чувствовал себя брошенным на произвол... своей собственной природы. Писал совершенно негодные болезненные и жалкие письма, из которых одному — не миновать Пепы (в Столбовой), другому Вас, Фанни, здесь, в Тихих Горах. Сейчас я — на седьмом небе от счастья, что может быть встречусь с ним в Столбовой. Я второй день в Самаре и один еще. О том, что сознательно в Уфе среди родных не остался, конечно, не жалею. Рассказы мои все время вокруг пережитого вертелись и только подливали масла в огонь, еще и сейчас наверное не потушенный на А. Ржевине[2]. Но что, не рассчитав, в Перми не остался лишний день, об этом сильно жалею.. Я ведь тогда со свежей истерикой пришел с пристани на вокзал, ничего не мог в толк взять, ко мне еще Бурштейн пристал с расспросами о Леви, а все это стало уже таким полинявшим и прошлым для меня! Я буквально прятался от Бурштейна и бегал его по всему вокзалу, а он меня отыскивал и несмотря на то, что я ни слова ему не отвечал, потому что потерял билет и никак не мог найти его, Бурштейн не унимался и полуночным сонным голосом рассказывал мне о том, как кто-то где-то тоже что-то когда-то потерял, как я — свой билет. Я был шесть часов в Екатеринбурге, где великолепный вокзал, широкие улицы, кинематографы, концерт-холлы и т. д. — В Уфе, где прекрасный парк и, по словам одного высланного из Москвы, — памятник Е. Пугачеву, бывшему Уфимскому губернатору, проведшему воду в городе и выстроившему дом имени К. Аксакова (ничего подобного, разумеется[3]), в Уфе пробыл двое с половиной суток, узнал много свежих новостей о своих. Перегон между Челябинском и Уфою — Урал в расцвете своих размеров. Непременно потащу будущую весну отца в Златоуст. Самара — лучший, греховнейший, элегантнейший и благоустроеннейший кусок Москвы, выхваченный и пересаженный

на берега Волги. Прямые асфальтированные бесконечные улицы, электричество, трамвай, Шанковские-Бишковские витрины, кафе, лифты, отели на трех союзных языках с английской облицовкой, пятиэтажные дома, книжные магазины и т. д. Дороговизна ужасающая. Пароходы переполнены, и я наверное сокращу водный свой путь до Сызрани[4].

Впервые. — Автограф. Датируется по содержанию.

[1] Б. И. Збарский собирался навестить Пастернаков в Молодях (Столбовой). Пастернак направился в Уфу навестить Федю, потом в Самару, где было назначено свидание с Н. М. Синяковой.

[2] *А. Ржевин* и упоминаемые далее *Бурштейн* и *Леви* — неизвестные лица.

[3] Это выдумка *одного высланного из Москвы* о несуществовавшем губернаторе Емельяне Пугачеве и его благодеяниях Уфе.

[4] Вместо предполагаемого путешествия по Волге до Нижнего Пастернак с Н. М. Синяковой доплыли до Сызрани, где пересели на московский поезд.

129. С. П. БОБРОВУ

18 сентября 1916, Москва

Дорогой Сергей!

С приездом тебя, ложись же и выздоравливай[1].

Вчера был у Вермеля, сдал ему весь подвижной состав[2]. Что до заглавия — колеблюсь. Колеблюсь оттого, что самостоятельной ценности в отдельном стихотворении не могу сейчас видеть. Старое понятие техничности в книжке тоже не соблюдено, и если подчеркнуть заглавием этот момент, произойдет легко предвосхитимое недоразумение.

Новая техничность, поскольку она у других на практике осуществляется, а у меня в теории существовала — (Черный бокал[3]) — тоже с очевидностью целым рядом вещей нарушена в сторону старейших даже, чем наши, — привычек. В книжке — с десяток вещей невиннейшего и наивнейшего свойства à la Жадовская[4], чтобы не сказать хуже. Войдут в хрестоматии. Вот предположительные заглавия:

Gradus ad Parnassum*.

44 упражнения.

---

* Ступень к Парнасу (*лат.*).

Поверх барьеров, Налеты, Раскованный голос, До четырех, Осатаневшим и т. д. и т. д. — Раскованный голос кажется мне le moins mauvais*. От тебя на ушко, конечно, что заглавия эти придуманы не столько мною, сколько вот этим пе<ром>. О, негодное, оно расщепилось в самую нужную минуту, и я вставил новое. Если эти названия тебе не по душе, сообщи мне, я тебе в следующем письме предложу на выбор лучшие, их еще нет у меня, а там, за письмом, в строку и вытанцуются. (Примат начертательности над мышлением всухомятку.) C'est ça**.

О Николае ничего не слыхал. Марья Ивановна сообщила мне о выходе «Елисаветинцев»[5], и завтра я ее проведаю и книжку захвачу. Спасибо. Сергей, это чудесно, что мы вместе опять. Вермель не нахвалится, говоря о тебе, о Цфуге, Николаевой книжке, — словом обо всем Царицыном переулке[6]. Вообще, он очень мил и засыпал меня, не знаю, насколько искренними, комплиментами. Ближайшее будущее мое никому еще, а стало быть и мне — не ясно. Жду ответа от Збарского. Возможно, — в скорости уеду на Каму. Локс в Москве, и я приспособляю его к новым взглядам на Центрифугу и ее позицию относительно МГУ[7] и других незыблемостей.

Выздоравливай же и пиши.

Твой Б. Пастернак

Вермель просит объем книжки, поелику возможно, увеличить. Есть у меня кое-что в резерве, да дрянь. Ну, да там видно будет.

Впервые: «Встречи с прошлым». Вып. 8, 1996. — Автограф (РГАЛИ, ф. 2554, оп. 1, ед. хр. 55). Дата получения, поставленная Бобровым, — 20 сент. 1916 г.

[1] Письмо послано в Железноводск, куда Бобров уехал лечиться.

[2] Самуил Матвеевич *Вермель*, поэт, издатель и режиссер, финансировал наряду с И. А. Аксеновым издания «Центрифуги», выходившие в конце 1916 — в 1917 гг. Пастернак сдал ему собранную вторую книгу стихов «Поверх барьеров», далее предлагаются ее предположительные названия.

[3] Название статьи Пастернака во Втором сборнике «Центрифуги» (1916).

[4] Ю. В. *Жадовская* — популярная писательница и поэтесса.

[5] Сб. переводов И. А. Аксенова из английской драматургии елизаветинской эпохи (М., «Центрифуга», 1916).

[6] В «Центрифуге» печаталась вторая книга стихов Асеева «Оксана»; *Царицын переулок* на Пречистенке — адрес редакции. «Свист Центрифуги

---

* наименее плохим (*фр.*).

** Так-то (*фр.*).

действительно оглушителен, — писал Пастернак Боброву 24 сент. 1916. — Более всего меня радует, что Цфг уже и сейчас издательство серьезное, солидное, перворазрядное и передовое, и обещает преуспеть в этих отношениях еще и больше. Радует меня также и то, что мы опять вместе все» (там же. С. 239).

[7] Смысл аббревиатуры неясен. Бобров спрашивал Пастернака 23 сент.: «Что Локс. Проникся ли ЦФГ-альным духом. Кланяйся ему от меня» (там же. С. 241).

130. С. П. БОБРОВУ

25 сентября 1916, Москва

Милый Сергей!

На твое почтенное за № 480 письмо[1] спешу поставить тебя в известность, что большинство моих стихов объемисты и многочастны. Частей я не считал, а то вышло бы значительно большее число вещей. Да их и так уже около 50 (48 или 49 штук). Из них вновь перепечатанных только штук 5 или 6, все остальное — печатается впервые. Я мог бы и еще с десяток вещей предложить, да может быть и сделаю так, пока же их 50 штук. Если давать еще что, я бы пустил вновь в набор 2 вещи из «Лирики» (Февраль, Как бронзовой золой жаровень) и несколько вещей предшествующего периода[2]. Мне почти не пришлось выбирать — весной прошлого года, как ты помнишь, вероятно, я горел, и у меня ничего не осталось[3]. Книжка и так выходит объемистая, до 4-х — 5-ти печатных листов. Впрочем, я в типографском деле мало что смыслю и может быть вру. Об этом тебе Вермель отрапортует. Что скажешь ты? Стоит ли старое трогать. Оно мне по-своему дорого и, наверное, многим свежей моих последних вещей. Вот и не знаю, как поступить.

Рад, что ты о Локсе заговорил. Вчера отправил тебе заказное письмо, где много о нем говорил[4]. Адрес его: Пречистенка. Мертвый пер. д. 11, кв. 2.

Тяжел он на подъем; это правда, но тяжеловесность эта сейчас работы его не касается, книжка, на мой взгляд, совсем готова и закончена, да и он в тяжелоподъемности много потерял; я думаю, он с радостью на твое письмо откликнется. А то, что ты о нем пишешь, дает мне смелость с Вермелем о нем поговорить, — повторяю, книжка его — находка для нас. Николай прокорректирован Ф<илиппом> М<атвеевичем> — младшим Вермелем[5] — и сдан в типографию — вот и все, что могу тебе о Цфге сообщить. Был вчера в Камерном на «Виндзорских проказницах». Прости за

мазню — в этом больше «Виндзорские» виноваты. Слабо как играют! Работы Экстер очень мне понравились. Хороши Лентуловские ширмы[6]. Но театр «как таковой»![7] О, ужас! А может быть и мы таковы. Сколько таланта надо, чтобы хоть крупицу нового в оборот ввести. Тогда оно действительно ново. Если есть природа первая, и есть вторая натура — привычка, то гениальность — натура третья. И в одной из этих природ — должен найти человек свою природу соответственно своей собственной. Ну, да эти соображения до дела не касаются нисколько. Получил от Кушнера письмо и сборник Бриковский по теории поэтического языка[8]. Не читал еще. На днях буду у Вермеля. Он окончательно переутомился и даже у врача на днях был. Говорят, скоро за нас, белобилетников, возьмутся. Пока ничего еще не опубликовали, одни газетные слухи. Ну, будь здоров, судя по твоим письмам, в Железноводске еще лето, — достойно зависти. Здесь мразь, слякоть и вифлеенция[9].

Твой Б. Пастернак

Итак, «Поверх барьеров»?[10] Будто это осуществлено? Самоуверенно это, а посему и наивно. Самоуверенность бы и ничего — а вот наивность — нет уж лучше как-нибудь иначе. Ну, да увидим еще — заглавие дело последнее.

Твой Б. П.

Впервые: «Встречи с прошлым». Вып. 8, 1996. — Автограф (РГАЛИ, ф. 2554, оп. 1, ед. хр. 55). Дата получения, поставленная Бобровым, — 27 сент. 1916 г.

[1] Бобров вел делопроизводство «Центрифуги» и нумеровал корреспонденцию.

[2] Более ранние стихи не вошли в книгу «Поверх барьеров». В окончательном тексте — 49 номеров.

[3] Имеется в виду пожар дома Филиппов во время антинемецкого погрома.

[4] В письме 24 сент. 1916 Пастернак писал Боброву о Локсе: «Есть у него теоретическая книжка здравая, зрелая, сжатая, содержательная, формулятивно краткая — как катехизис — словом, как раз то, чего ты от меня все время требуешь и, если я советую тебе написать ему об этой «Философии Искусства» с целью издать ее в Цфге, то говорю как член центрифугальной семьи, заранее гордясь тем, что к полнопробности нашего комплекта присоединится и эта вещь — полновесная, компактная, затронувшая все вопросы, случайно или неслучайно сцепленные с проблемами творчества в наши дни. Каждая тема — параграф, формула за формулой, отчетливые, по-своему глубокие, там, где своя глубина без претензии — редкость в наши дни. Лучше всего то, что это Traité лаконично не по-современному, картезиански просто, исчерпывающе» (*Traité* — трактат. — *фр.*;

там же. С. 240). Речь идет о книге Локса «Катехизис незабываемостей». В кн. Боброва «Восстание мизантропов» (М., 1922) работа Локса названа в числе готовящихся книг «Центрифуги».

[5] Имеется в виду Филипп Матвеевич *Вермель*. 2 октября 1916 г. он писал Боброву: «Насколько я знаю, Ваши книжки набираются, однако корректур я еще не исправлял и не видал. Что же касается Асеева, то он был весь лично мною прокорректирован и вновь отдан в "Автомобилист". Книга Пастернака названия еще не имеет — возможно, что будет называться «Раскованный голос» (между прочим, необыкновенные и удивительные стихи — гениальные)» (РГАЛИ, ф. 2554, оп. 1, ед. хр. 22). «*Автомобилист*» — название типографии, где печатались книги «Оксана» Асеева и «Поверх барьеров» Пастернака.

[6] Художница А. А. *Экстер* в 1916–1921 гг. работала в Камерном театре. Для спектакля по комедии Шекспира «Виндзорские проказницы» оформила фойе и занавес. А. В. Лентулов был художником этого спектакля.

[7] Здесь очевидна отсылка к книге Н. Н. Евреинова «Театр как таковой. Обоснование театральности в смысле положительного начала сценического искусства в жизни» (СПб., 1912).

[8] «Сборник по теории поэтического языка» (Пг., 1916). О. М. Брик в 1916 г. переписывался с Бобровым по поводу его стиховедческих работ. Для Третьего сборника «Центрифуги» предлагал стихи Маяковского (Письма Брика к Боброву — ф. 2554, оп. 1, ед. хр. 16).

[9] Искаженное: инфлуэнца, название гриппа.

[10] Из перечисленных в письме № 129 заглавий книги Бобров выбрал «Поверх барьеров».

131. С. П. БОБРОВУ

1 октября 1916, Москва

Сергей! В твоем письме (от 28-го с<его> м<есяца>), полученном мною сегодня, есть несколько пунктов, требующих немедленного ответа. Как дико ты все понял и истолковал! Неужели о таком понимании «метаморфозы» я стал бы писать тебе, радуясь этому и думая тебя этим порадовать[1]. Зачем ты становишься перед Локсом якобы, а в сущности, косвенно предо мною в такую незаслуженно нелепую позу! Ты ведь слишком умен, чтобы не предвидеть заранее того, что я тебе на все это скажу. Дело ясно, речь идет как раз о том, о чем и ты не раз речь заводил и заводишь. О количестве Цфгальных изданий, о непрерывном и порывистом их появлении, о качестве этих изданий с книгоиздательской точки зрения. (Ведь «Елисаветинцев» не Вермель же издавал!!) Что ты в самом деле дурака разыгрываешь? Причем тут Вермель? Отношение твое к Локсовой книге естественно и с моей стороны ничего, кроме сочувствия, встретить не может. Я и по отношению к себе хотел бы тебя видеть

настолько же беспристрастно-хладнокровным. Мне могло и не быть известным все то, что тебе в воображении твоем или фактически ведомо. Не знаю, подчиняется ли Локс тому тону, в котором я иногда говорю с ним о тебе, но у него выходит это тем искреннее, что неискренности его со мною я и вообще в основе не допускаю. В отсутствии чутья меня тоже, не взяв греха на душу, — обвинить нельзя, — и раз я пишу тебе о нем — то этого достаточно уже. При тех условиях недоброжелательства его к тебе и т. д., о которых ты пишешь, этого, поверь, не произошло б. Что же касается до твоего к нему строгого и разборчивого подхода — то, повторяю, ничего в этом для Локса обидного я не вижу. Разборчивость эта твоя и некоторое недоверие относительно его — мне известны, известны и ему самому — однако это препятствием послужить не могло к тому, чтобы о нем с тобой заговорить. Очень тороплюсь, пропускаю слова и повторяюсь — сам виноват. Твой сегодняшний комментарий к моим письмам мог бы* меня и обидеть, допусти я хоть на минуту мысль, что ты серьезно все это пишешь, не оставив про себя лучшего и естественнейшего — единственно возможного и прямого толкования моих слов. A propos. Может быть, Вермель сообщил тебе о том, что я за книжку 150 р. взял, и ты находишь это чрезмерным? В таком случае 1) издание книжки — необязательно и «сделку» еще можно расторгнуть; 2) назначил я эту цену не тебе, а Вермелю, думая, что тяжесть этой цифры на тебя не ляжет. Вообще, я думаю, что сношений моих с Центрифугой с моими сношениями с тобою смешивать не следует и последние от первых не проиграют нисколько. А? Не так ли? Если это не так, то я от первых отказываюсь совершенно. Меня страшно обрадовало бы, если б ты лично мне подтвердил, что это разграничение натурально и возможно. Спешу это письмо отправить сейчас же.

Относительно твоих книг справлюсь, равно как и относительно моей и Николаевой. Вермель совершенно неуловим и действительно занят по горло. Звонился к нему в течение недели — он с утра до поздней ночи в театре. К вечеру выясню все; зайду, если позволишь, к «Автомобилисту». Словом, завтра либо послезавтра жди письма от меня. Это же, как видишь, устраняет ряд недоразумений и создает одно новое, с моей стороны — которое и прошу тебя, по возможности поскорее — рассеять.

Твой Б. Пастернак

1/X. Москва

---

* В тексте описка: мы.

Впервые: «Встречи с прошлым». Вып. 8, 1996. — Автограф (РГАЛИ, ф. 2554, оп. 1, ед. хр. 55).

[1] Ответ на письмо Пастернака 24 сент. 1916, в котором он радовался солидности, которую приобретало издательство, и писал: «Локс восторженно относится к *метаморфозе* Центрифуги» (там же. С. 240).

132. К. А. БОЛЬШАКОВУ

11 октября 1916, Тихие Горы

Милый Константин Аристархович.

Дико немножко благодарить Вас за книги с таким серьезным запозданием. Целый ряд обстоятельств затруднил мне прямой контакт с поэзией, по крайней мере, лишил его естественности и равновесия. Если я сегодня взялся за «Солнце на излете»[1], то это потому, что он впервые восстановлен.

Очень хороша у Вас метафорическая материальность содержания — она высоко поэтична более, чем во многих местах. Ваш новый синтаксис почти всегда достигает цели — в этом у Вас соперников нет и по моим понятиям не будет. Лиризм ломаной выразительности становится формой Вашего выражения, а это достижение оригинальное и немаловажное, поскольку все иные известные мне примеры таких же приемов механистичны, производны и отрицательны[2].

Более всего по душе мне: отделы I 1, 3, 9. II 1, 5, 6, 9, 13, 14, 15. III 2, 5, 7, 8. IV 1, 3, 7, 9. V 2, 4, 5, 7, 8. VI 2, 3, 4, 5.

Поэма событий еще того свежей. Поздравляю Вас от души. Спасибо за посвящение[3].

Не знаю, где застанет Вас это письмо. Я справлялся о Вас у общих знакомых. Говорят, Вы кончили военное училище и служите теперь[4]. Если это правда, то тем вещественнее и горячей мои пожелания вам счастья и удачи.

Если будете иметь хоть какую возможность написать мне, то известите меня, пожалуйста, о своем житье-бытье, а пуще всего об этой стороне Вашего существования.

Дружески жму Вашу руку.

Ваш Б. Пастернак

Адрес мой: Тихие Горы Вятской губ. Елабужского уезда, Б. И. Збарскому для меня.

11/X. 1916.

Впервые. — Автограф (ИМЛИ, ф. 416 К. А. Большакова).

С поэтом К. А. Большаковым Пастернак познакомился в начале мая 1914 г. во время встречи, на которой выяснялись отношения между группами «Гилея» и «Центрифуга». В дарственной надписи на книге стихов «Сердце в перчатке» (1913) Большаков в январе 1915 г. отметил начало их «свершившейся дружбы». В «Охранной грамоте» Пастернак пишет о Большакове, как о единственном, в обществе которого «за Маяковского не болело сердце»: «Обоих можно было слушать в любой последовательности, не насилуя слуха».

[1] Вторую книгу стихов К. Большакова «Солнце на излете» Пастернак получил в подарок весной 1916 г. См. письмо № 127.

[2] См. в письме № 120: «Я все-таки считаю Большакова истинным лириком».

[3] Стих. «Бельгия» из цикла «Тень от зарева» посвящено Борису Пастернаку.

[4] Большаков кончал Тверское кавалерийское училище.

133. РОДИТЕЛЯМ

13 октября 1916, Тихие Горы

Тихие Горы. 13/X.1916

Дорогие мои! Получили ли мою телеграмму? Пока еще не служу, на днях выяснится, на какое я место поступлю, но суть дела уже гарантирована. Пепа старается добыть мне такую службу, при которой я мог бы время и своей работе посвящать. А таких видов службы здесь не много, все работают с утра до поздней ночи. Ничуть не опоздал, здесь можно, как я и говорил, за два дня приехать и не поздно будет. Чем бы ни служил — цель достигается. Ирония судьбы; очень вероятно, что буду вести стол по освобождению и отсрочкам военнообязанных. Как только этот вопрос будет окончательно вырешен, напишу тотчас же. Как здоровье мамино? Пишите мне обстоятельно и не формально, т. е. без установленного шаблона, который начинается словами: «маме слава, слава Богу» и кончается всегда однообразным и неизменным улучшением день ото дня. Ради Бога, — факты. Беспокоить меня они не могут, потому что я знаю, что у мамы ничего опасного нет, но ей самой может быть фактически скверно, и на этот счет обольщаться и быть обманутым мне не хотелось бы. Я еще ни разу не надевал фуфайки и очень редко, выходя, надеваю летнее пальто. Со дня приезда в Казань до нынешнего — ясные солнечные погоды, ровная, теплая безоблачность[1]. Сейчас же набросился на Свинберна[2]. Но в тон еще не попал. По-видимому, зимой мне до вас не добраться, сообщение крайне затруднено и до весенней навигации мы, всего скорей, не увидимся.

Вот о чем просил бы вас настоятельно. Кажется у нас получается «Вестник Европы». В июльском или августовском №№ этого года

(или в смежных по ту и другую сторону №№-х) должна быть статья Пепина учителя А. Бах «О Льве Шестове, о науке и т. д.»[3] или в этом роде. Если вы найдете этот № и вышлете его заказной бандеролью, я страшно благодарен буду вам. Ну крепко, крепко вас всех целую; здесь так спокойно и ясно, что страшно просто! А Кама какая!

Справься-ка, Шура, у С. М. Вермеля, скоро ли мне вышлют корректуру. Скажи, что это книгу задержит недели на три, так как письма сюда 9 дней идут, но чтобы с этим считались они и книгу мою некорректированную не выпускали[4].

Ваш Боря

Впервые: «Знамя», 1998, № 5. — Автограф.

[1] О необычности погоды Пастернак писал также М. И. Бобровой 11 окт.: «Пока что погоды здесь на редкость теплые, солнечные, мягкие. Даже ненормально. Настолько, что тихим помешательством отдает тишина и тупым полоумьем — тепло» («Встречи с прошлым». Вып. 8, 1996. С. 246). Ср. стих. «С тех дней стал над недрами парка...» (1916): «Не стало туманов. Забыли про пасмурность».

[2] Перед отъездом в Тихие Горы Пастернак спрашивал Боброва: «Не подойдет ли Вам, г. издатель, Swinburne (Свинберн) в моем переводе? Его стоит перевести, хотя страшно он труден <...> Есть у него лирика прекрасная, есть и драмы. «Аталанта в Калидоне» несовременная вещь и распространения широкого не получит; есть трилогия из времен Марии Стюарт, оригинальная трактовка этого не раз трактовавшегося сюжета могла бы, в удачном переводе, попасть на Императорскую сцену. За перевод еще не брался, присматривался только и сразу же увидал, что трудности почти непреодолимые: сжатый, насыщенный образами язык — слова сплошь односложные и придется многим при переводе жертвовать» («Встречи с прошлым». Вып. 8, 1996. С. 243). В октябре-ноябре 1916 г. Пастернак переводил первую часть трилогии Суинберна о Марии Стюарт «Пьер де Шателяр» («Pierre de Chastelard»).

[3] В «Вестнике Европы» за 1916 г. такая статья не обнаружена.

[4] Для Пастернака корректирование книги было важным и обязательным этапом работы. Но его условие не было соблюдено, книга «Поверх барьеров» вышла с огромным количеством опечаток, что всю жизнь его мучило. Ему казалось подчас, что Бобров нарочно вносил бессмыслицу «для футуризма». Во всех дарственных экземплярах он красными чернилами вносил исправления.

134. РОДИТЕЛЯМ

16 октября 1916, Тихие Горы

Тихие Горы. 16/X. 1916

Дорогие мои! До сих пор нет от вас писем, но это объясняется расстоянием и медленностью доставки почты. Получили ли вы первое мое письмо? Думаю, что да, и посему на счет тех климати-

ческих неудобств, о которых писала бабушка, вы должны быть отныне спокойны. Этот вопрос для меня совершенно отпал и настолько, что я уже не в состоянии представить себе того климата, в котором вопрос этот возникает и стоит, не допуская разрешения. В этом, а пожалуй и в других отношениях здесь живешь в полном смысле как у Христа за пазухой.

Я кончил переводить 1-й акт Свинберновской трагедии, начал II-ой. Писана вещь большим мастером, поэтом Божией милостью, располагающим неисчерпаемым запасом средств изобразительности и лирического воздействия на читателя. Но эта драма — действием бедна, сценически однообразна и т. д. Только для того, чтобы не укрепляться в свойственном мне недостатке — бросать вещи не доведя их до конца — решил продолжать начатый перевод. Вреда мне от этого не будет. Все равно — кто-нибудь да переведет Свинберна когда-нибудь, переведет хуже, следовательно косвенные мотивы для продолжения занятий имеются. В первый раз в жизни пишу вам как во сне, не тревожась за вас и не переживая разлуки болезненно. Виновато в этом общее мое состояние — оно таково, что и близких людей (Пепу, например) воспринимаю я как сквозь стекло, и даже недобросовестным мне представляется мое гощение здесь. Ну да не стоит задавать себе таких вопросов. Кончится общий дурной сон и проснемся все. Однажды не писал я вам из Вильвы в течение 3-х недель. Помните, как вы тогда беспокоились и как меня потом в этом упрекали. Если бы не эта тревожимость ваша, я бы теперь ничего вам писать не стал. А потому смотрите на это письмо только как на весточку от меня, с его содержанием ничуть не считаясь. Крепко целую вас всех. Скучно в общем страшно. Если Пепа и Ф<анни> Н<иколаевна> узнают, что я вам писал и не поклонился от них, будут они очень на меня сердиться. Самовольно кланяюсь вам от них. Пепа сейчас отдыхает, работ у него по горло.

Ваш Боря

Впервые: «Знамя», 1998, № 5. — Автограф.

135. С. П. БОБРОВУ

20–22 октября 1916, Тихие Горы

Дорогой Сергей! Ты верно уж в Москве и верно уж в претензии на меня — не знаю — мерещишься ты мне с недовольной миной на лице — причины мне ее неведомы, и начинаю я переби-

рать в уме все поводы, по каким она могла б явиться. Мое молчание? Но ты был в Железноводске и последние дни там проводил. Напиши я тебе туда — в ноябре б тебе письмо все равно в Москву переслали, — напиши в Москву — оно дожидалось бы тебя. Так побоку это. — Локс? Но я был в Москве, когда писал тебе о его книге и полагал, что буду иметь случай лично с тобой о ней поговорить по ознакомлении твоем с нею. Что это значит? А вот что. Теперь могло у тебя такое создаться мнение, что я тебе свою оценку высказал всю сполна, без дальнейших рассуждений, и навязываю ее тебе. — Моя книжка? Но тут моя мнительность разыгрывается вовсю, я берусь за градусник — и письмо в опасности! — Сделай милость, напиши, откуда эта мрачность? Что слышно насчет книжки моей? Как твои идут? Скоро ли появятся? Вышла ли Николаева?[1] Читал отзыв Брюсова об «Елисаветинцах» на очевидную тему: «Как жаль развратниками их назвать». Никогда не предполагал, что в Центрифуге корпоративно участье принимают такие отдаленные родственники![2]

Каковы референции ЦФГи! Три века, чертова уйма рек, стран и народов, канал в придачу — а ей — как пить дать. Лишь бы сомнительность в сюжете была; что ж; делать нечего; это ведь мы Вербицкую издавали, и все на нежных тайнах настаивали[3]. — Ну и Валерий! Договорился. О Форде есть у Суинберна сонет. Может быть переведу его для III сборника.

Пиши мне, пожалуйста, Сергей. Как выйдет что у тебя, присылай. Адрес мой известен Марии Ивановне. Низко ей кланяюсь. Крепко жму твою руку.

Твой Б. Пастернак

Сказочно медленно идут отсюда письма и приходят сюда на десятый день. Живу в ожидании призыва. Смотри, не проговорись, наши этого не должны знать, мать больна, думают устроился.

Увидишь Костю, кланяйся. Напишу ему на днях.

Твой Б. П.

Адр. Тихие Горы, Вятск. губ. Елабужск. уезда зав. Ушкова Б. И. Збарскому для меня.

Впервые: «Встречи с прошлым». Вып. 8, 1996. — Автограф (РГАЛИ, ф. 2554, оп. 1, ед. хр. 55). Дата получения, поставленная Бобровым, — 31 окт. 1916 г.

[1] Ник. Асеев. «Оксана».

[2] Имеется в виду интерес Брюсова к изданиям «Центрифуги». Пастернак обыгрывает название драмы Дж. Форда «Как жаль ее развратницей назвать», вошедшей в сб. «Елисаветинцы». Брюсов дважды рецензировал «Елисаветинцев» («Русские ведомости», 1916, № 235; «Известия литературно-художественного кружка». Вып. 16). Тон обеих рецензий одобрительно-снисходительный. Основное внимание рецензент уделяет самим драмам и их авторам, а не составителю и переводчику И. А. Аксенову. Пастернак имеет в виду следующее место из брюсовской рецензии: «Под маркой Центрифуги мы привыкли видеть тоненькие брошюры одной из фракций наших футуристов. Настоящее издание выгодно отличается от предыдущих. Это большой том, недурно изданный. <...> Форда, Вебстера и Тернера объединяет их пристрастие к экстравагантным, можно сказать рискованным, сюжетам, что и служит некоторой связью их творчества с тенденциями Центрифуги». Отзыв Пастернака о рецензии Брюсова Бобров включил в составленный для Третьего сборника «Центрифуги» библиографический обзор без указания источника (РГАЛИ, ф. 2554, оп. 2, ед. хр. 106, л. 13, 14).

[3] Характерный антисимволистский пассаж. А. А. *Вербицкая* — популярная писательница, автор сентиментальных романов. *«Нежная тайна»* — книга стихов Вяч. Иванова.

136. РОДИТЕЛЯМ

25 октября 1916, Тихие Горы

Тихие Горы. 25/X. 1916

Дорогие мои! Вас вероятно смутила моя радостная телеграмма, отправленная вам вчера утром. Но меня так порадовала первая открытка с известием о выходе мамы, что при мысли о том, что отклик на эту радость дойдет до вас Бог знает когда, мне грустно стало.

Если текста телеграммы не перепутали, то никаких сомнений насчет смысла таких сношений возникнуть у вас не могло, и при случае, буду этим видом переписки со своей стороны пользоваться. О чем писать вам отсюда?

Пепин завод уже работает, и на днях Пепа думает его передать своему помощнику в полное заведыванье. Занимаюсь ежедневно с Карповским мальчиком[1], очень славным, типа среднего между Юрой Серовым (в детские годы)[2] и Жоржем Балтрушайтисом (северные дети Тенишевско-Врубелевского типа, лохматые, сообразительные, детский сад, лепка, наглядное обучение, курточки). Сам Л. Я. Карпов — страшно не подходит фамилия — английский, сероглазый Джек с проседью широкие плечи, высокий, окутанный дымом, приятно-глухим грассированьем, — два-три взмаха футбольных штиблет: столовая — кабинет, два тех же взма-

ха; кабинет — столовая и, на ходу какая-нибудь мальчишески недоконченная мысль, размашисто и косолапо созданная за столом, донесенная до кабинета и донесенная потом обратно: словом, плавает в меняющихся как облака — несовершенствах молодого, британского, типа настолько же, насколько Пепа пускает сквозь зубы струю напряженных совершенств. Корабельный юнга, недостает трубки, — voilá*: где у Пепы — подзорная труба или корнет-а-пистон — у Карпова — чубук с выпяченной губой. Если я еще прибавлю: пьет, не летает и не дает молока, то это будет окончательно похоже на армянскую загадку, разгадка коей состоит в том, что вчера было празднование открытия завода (втайне и про себя я праздновал благополучное окончание II-го акта Свинберновской трагедии) и что сегодня на западе встало ясное громадное солнце и по-осеннему томительно и изнывно потащилось на восток. Из окна я вижу широкие холмистые поляны, поросшие сухой клочковатой полынью. Они трясутся и бегут при налетах ветра, как бывает на кинематографических фильмах. Простите, дорогие мои, за весь этот сумбур, похожий на бред первого человека. Сегодня в голове у меня нечто вроде двухтомной Библии с металлическими застежками, и я мыслю не легче графа Орлова-Давыдова[3]. Завтра примусь за 3-й акт Свинберна. Хочу, чтоб перевод был безукоризненный, но этого еще не достиг. Многое такое, что в лирике иностранной над сентиментом и сладостностью возвышается, по-русски приобретает какой-то салонно расслабленный тон. Это потому, что рыцарство там было историей настолько же конкретной, рыжей и грубой, как у нас казнокрадство и обжорство, — для нас же рыцарство настолько же светло-синяя и отвлеченная идея, как для Запада сальные свечи и белые медведи на Невском. Если принять во внимание, что я вам на днях напишу, то здесь можно своевременно закончить и с точкой на пере и пеной поцелуев у рта пожелать вам того здоровья, о котором я составил здесь себе прочное и укрепившееся понятие.

Ваш Боря

Впервые: «Знамя», 1998, № 5. — Автограф.

[1] Сын Л. Я. Карпова Владимир.

[2] Сын художника, в пятилетнем возрасте изображенный на известной картине В. А. Серова «Дети» (1899).

[3] Граф В. П. *Орлов-Давыдов* — один из самых богатых русских помещиков, известный общественный деятель и публицист.

---

* так (*фр.*).

137. С. П. БОБРОВУ

31 октября 1916, Тихие Горы

Тихие горы. 31.X. 16

Милый Сергей!

Ты и не догадаешься, вероятно, на какое это письмо я твое отвечаю. На датированное 21 октября! Только сейчас оно пришло. А настоящие мои признанья в десятых верно числах ноября до тебя досягнут, не раньше! Невероятно прямо, на привет с ответом уходит здесь 3 недели с лишним, около месяца! Будь же хоть ты аккуратен в ответах, Сергей, а то просто с тоски помрешь тут.

Заказные посылай по тому же адресу, как и простые. Пришли мне, пожалуйста, если таковые имеются у тебя, оттиски Трудодневных твоих статей, одна из них, помню, замечательная: о Шоровском альманахе[1] — хочется здесь похвастаться тобой. Шли также все выходящее в ЦФГе, не задерживая, нетерпение мое несколько улеглось после нынешней краткой твоей отписки, но ею оно не удовлетворится и возгорится с пущей силой. Стыдишься, говоришь ты, упоминая о верстке «Алмазных лесов»?[2] А мне-то каково, Сергей? Ведь мой-то стыд усугубляется тем, что моя книжка, что называется, ни вашим, ни нашим, а твоя, как это и требуется от всякой новости в области лирики, моложе молодого. Кстати. Истинного мнения твоего о моей книжке я и по сию пору не знаю. Материал был представлен Вермелю, и хотя его восторг я квалифицировал, помимо личностного, и как издательский, и ЦФГальный в силу неписанной доверенности или, вернее и больше: в силу компанейских его прав; но лично твоего мнения не слышал. При свидании том с тобою я тебе наудачу прочел несколько вещей, лучших, но не единственных в сборнике. Тогда тебе остались неизвестны несколько вещей, ничем не хуже прочитанных, я знаю. Но ведь о той дребедени, которой тоже немало в сборнике, ты и понятия не имел!

Не слишком ли определенно перевешивает в книжке эта дребедень? Или еще вопрос построить можно так: скажи прямо, не обинуясь; с *чем* граничило твое «удивление», когда ты все рукописи по приезде домой улицезрел? «Твоя книжка — прекрасна» — выносишь ты за текст своего письма. Значит, вынести можно? Напиши же мне искренно, знаешь ведь и сам, что ценю твое мнение и пользе его цену знаю. Пришли мне также Маяковского вышедшего[3], если это тебя не затруднит. Сочтемся потом, тем безусловнее, что есть у меня до тебя и еще просьба. Справься, пожа-

луйста, библиографически, какой материал имеется о Марии Стюарт (исторический, об эпохе и т. д.). Если можешь достать что (и биографию более или менее подробную прежде всего) — достань. Хорошо бы, если можно — одолжить или в библиотеке университетской или иной какой — почта здесь исправная, хотя и черепашья, а у меня тоже паспорт есть и благонадежен я; а что доступно рублей до 10-ти — послать бы мне, ну хоть наложенным платежом, что ли. При этом имей в виду, что я уже и брату писал, но толковый во всех отношениях, здесь, боюсь, проявит он досадную бестолковость: у него нет филолого-литературного вкуса к справкам такого рода[4]. Ты бы созвонился с ним (5-05-09), чтобы избегнуть повторений. А затем выписал я уже от Башмаковых из Казани 1) английскую историю Грина, 2) биографию М. Стюарт О'Нейля (Университетская Библиотека) и 3) Гардинер и Эйри «Пуритане и Стюарты». Вперед знаю, что окажутся непригодны мне, в особенности весь почти Грин за исключением нескольких страниц; но под рукою не было иного справочника, кроме тощего Башмаковского каталога. Ты и Маяковского можешь наложенным платежом слать. Подвинь на это дело розыска и добычи книг и Локса (у него есть многокнижные знакомства). Стыдно прямо, до сих пор не написал ему, а хочется.

Для альманаха пока ничего у меня нет, и это надо понимать буквально. Ничего сюда с собой не привез — а здесь все время занят был переводом Суинберна; перевожу трагедию «Шастеляр», полработы сделал, остались 4-й и 5-й акты. Монотонный немного стих получается: за совсем незначительными исключениями окончания строк у него мужские — я и выбросил эти исключения, в переводе они имели бы вид недоуменно-случайный; таких мужских строк у него много-много полдюжины на протяжении 100 стр. печатного текста. Может быть он с французской точки зрения на эти выходы смотрел?

Дело в том, что e muet* в английском языке хотя и существует (таких окончаний строчных у Суинберна — пропасть), но не облечено той фонетической условностью в просодике, что «е» французское. Французское e muet предоставляет стиху единственную фонетическую возможность создать properispomenon** — у английского стиха таких возможностей не меньше, чем у русского или

---

* «э» немое (*фр.*), обычно в конце слова.

** облеченное ударение в древнегреч. языке, ставящееся на втором слоге от конца.

немецкого. Вряд ли Суинберн, уснащающий свою вещь стихами *на французском языке*, посвящающий свои трагедии В. Гюго и т. д., в этой галломании зашел так далеко, что решил и прибедниться французом. А трагедия — лирическая, и эта стилизация белого стиха (мужского и значит ямбического насквозь, и в переносах) — вещи пристала. Ну, заговорился я с тобой.

Дружески жму твою руку. Привет М<арии> И<вановне>.

Если в течение ближайших 2-х недель (переводные рационы сокращу) что-нибудь напишу, пришлю для альманаха. Кланяйся Локсу.

Твой Б. Пастернак

Заявился ко мне в Москве Дм. Петровский[5]. С сияющим лицом оповестил меня о том, что ЦФГа ему ненавистна, что тебе он будет мстить за Петникова (или Божидара), а Вермелю за Хлебникова. Если в немедленном спуске с лестницы его мною произошла задержка, то только потому, что на мои слова, что я его просто-напросто знать не желаю, чудак этот ответил: «Но ведь как *к человеку* вы можете ко мне иначе отнестись!».

Впервые: «Встречи с прошлым». Вып. 8, 1996. — Автограф (РГАЛИ, ф. 2554, оп. 1, ед. хр. 55).

[1] В сб. «Труды и дни», тетрадь 8 («Мусагет», 1916) напечатаны две статьи Боброва, написанные в резко-критическом и даже издевательском тоне: «Вестибюль российской благонамеренности» (заметка о рецензии А. Полянина на «Петербург» А. Белого) и «Девяносто шестая проба» (рецензия на «Музыкальный альманах» под ред. Г. Ангерта и Е. Шора); «Девяносто шестая проба» подписана псевдонимом Э. П. Бик.

[2] Вторая книга стихов Боброва «*Алмазные леса*» («Центрифуга», 1917).

[3] В. Маяковский. Простое как мычание. Пг., 1916.

[4] Пастернак писал родителям 20–21 окт.: «Мне бы очень хотелось сейчас каких-нибудь книг по эпохе Марии Стюарт и прежде всего хорошей и полной ее биографии на каком-нибудь из 4-х доступных мне языков. У меня здесь нет энциклопедического словаря, по которому я мог бы справиться и прямо назвать вам, что мне нужно. Не знаю, кому эти поиски, добычу и доставку поручить. <...> Есть много в тексте мест темных мне, только потому, что в них скрыты намеки на факты, мне не известные. Да и помимо всего я был бы деревянной колодой, если бы, переводя эту вещь, не испытал бы сильнейшего желанья ознакомиться с тем временем, которое я себе представляю очень смутно и то только потому, что не представляя его себе вовсе, я бы и переводить не мог» («Знамя», 1998, № 5. С. 170).

[5] Пастернак познакомился с поэтом Д. В. *Петровским* весной 1914 г.; наиболее близки они были в 1919 — начале 1920-х гг.

138. К. Г. ЛОКСУ

31 октября 1916, Тихие Горы

Тихие Горы. 31/X. 1916

Дорогой Костя! С радостью узнал сейчас от Сергея, что готовите Вы атаку на антропософов[1]. В добрый час! Вообще большим облегчением для меня было узнать о Вас с чужих слов. — Вы недоумеваете? Объяснюсь. Странное место занимаете Вы в моей душе. Вы ближайший сосед моему воображению, а оно настроено, вообще сказать, трагически. Ах, Вы должны понять это. Любой беспокойный вымысел на Ваш счет дается мне с той же легкостью, с какой родятся такие фантазии относительно близких людей. Оттого-то и трудно так писать Вам. Я давно уже хотел адрес Вам свой сообщить. Откуда это тяжелое сознание личной ответственности за свои слова, от которого, по отношению к Вам, мне никогда не избавиться?

Я вижу Вас залитым таким-то и таким-то светом, и небезразличен нагрев атмосферы, которой дышите Вы. И знаете, только почувствовав и себя в условиях одноименно конкретных, я улучаю возможность прямо с Вами заговорить. Как будто сношения с Вами доступны мне только в тех случаях, когда и мое воображение объединяет нас. Вы догадываетесь верно, что так оно есть и сейчас.

Все это, знаю, очень смешно. Еще того смешней аспирирующий тон, каким сделаны эти признания. Ничего не поделаешь: услышать трезвое и спокойное упоминание о Вас было истинным для меня облегчением.

Что Вы поделываете. Атакуйте богоугодное это заведение, это угодно Богу. Контора отымает у меня 5 часов; $1^1/_2$ часа уходит на занятие с Карповским мальчиком. Остальные часы пожраны и будут еще с месяц пожираться Суинберном.

Я видел, как коченеет Кама. Этого не опишешь. Лучше и не пытаться. Были ли Вы на лекции Андрея Белого?[2] Если были, напишите мне о своем впечатлении и по возможности о тезисах, если, на Ваш взгляд, они существенны и не бутафоричны, как сказал бы, верно, Сергей. Видели ли Вы мою книгу в корректуре? Вы хотели, кажется, посмотреть. Напишите мне о ней, мне очень хочется Ваших мыслей, для коих книжка явится поводом или точкой приложения. Укажите мне на главные мои и ее недостатки, и, если у нас с ней есть и достоинства, упомяните и о них. И не забывайте меня. Мой адрес: *Тихие Горы, Вят-*

ской губ., Елабужск. уезда, зав. П. К. Ушкова, Б. И. Збарскому для меня.

Крепко обнимаю Вас. Да не останется сие без ответа.

Ваш Б. Пастернак

P. S. Письма идут сюда около 10-ти дней. Примите это в расчет при переписке со мною, если Вы ее желаете и не станете бойкотировать меня, отмалчиваясь.

Как идут Ваши работы? Пишете ли? Что Сергей? Кланяйтесь ему и М. И.

Привет Вере Николаевне и Мих. Павловичу[3]. Пишите, очень прошу Вас.

Впервые: «Минувшее», № 13.

[1] С. Бобров заказал Локсу критическую статью на книгу А. Белого «Гёте и Рудольф Штейнер в мировоззрении современности. Ответ Эмилию Метнеру на его первый том "Размышлений о Гёте"» (на титуле — 1917), вышла в ноябре 1916 г.

[2] Доклад Андрея Белого «Гёте и Рудольф Штейнер» состоялся в октябре 1916 г. В письме 1 ноября Пастернак спрашивал Боброва: «Пришли ли к каким-нибудь результатам твои планы относительно Анд. Белого и ЦФГи» («Встречи с прошлым». Вып. 8, 1996. С. 251). Судя по письму И. А. Аксенова Боброву 16 февр. 1917, Бобров предполагал привлечь А. Белого к издательству «Центрифуга». Аксенов отнесся к этому неодобрительно: «О Белом слышу в первый раз. Я его очень люблю, но по-моему в ЦФГе ему не место — для него есть "Скорпион", Пашуканис, "Мусагет" и Некрасов. Все хорошо на своем месте, право» (РГАЛИ, ф. 2554, оп. 1, ед. хр. 6, л. 8 об.).

[3] *Вера Николаевна* и *Михаил Павлович* Столяровы. В «Повести об одном десятилетии» Локс вспоминал о свадьбе подруги Веры Станевич и поэта и философа Столярова, которая состоялась в Дедове, имении близких родственников Владимира Сергеевича Соловьева с участием Сергея Михайловича Соловьева, недавно принявшего сан священника.

139. РОДИТЕЛЯМ

5 ноября 1916, Тихие Горы

Тихие Горы. 5/ XI. 1916

Дорогие мои! Для вас полнейшей загадкой явятся вероятно сообщения Ф<анни> Н<иколаевны> и Пепы о том, что я так сильно работаю[1]. А как же контора, спросите может быть вы? Дело в том, что в конторе такая путаница, что директору, Л. И. Карпову* пришлось бы потратить с полдня на ознакомление меня с делами

* Авт. описка, надо: Л. Я. Карпову.

и на то, чтобы меня ввести в исполнение моих обязанностей. Таких 5-ти свободных часов сплошь он никак урвать не может, а я рад этим воспользоваться, тем более что я уже занесен в список служащих и кое-что уже делаю. Таким образом и получилось то, что за три недели я перевел 105 страниц (печатных!) белым стихом, мне осталось еще штук 25 и Шастеляр будет переведен.

Работаю я действительно запоем, настолько, что, как вы это, верно, заметите, работа даже изменила мой почерк. Читали ли речи Асквита и Бетм. Гольвега (30 окт.)?[2] Не кажется ли вам, что тон этих речей несколько нов и неожидан? Сегодня — воскресение и как всегда в праздник бывает, — время по круговой поруке окружающих складывается нелепо и бездельно. А мне хотелось сегодня 4-й акт докончить; видно не придется. Бессмысленно задавать вам вопросы; ответы на них через месяц приходят. Вы сами знаете, как важно мне знать, что в доме, как мама, как папа работает (этой фразы я никогда не решаюсь произнести без примечания) — итак — как, удается ли папе улучить возможность работать.

Дорогая мама, видела бы ты, как старая мать Б<ориса> И<льича> держится! Ты помнишь, я тебе о ней говорил и даже не знал, чем и как она больна. Она говорит, что отсутствие мнительности ее спасает и это правда. Мне хочется поскорее Суинберна отработать. Мы постараемся за него хорошо получить, а еще более того — хорошо издать его. И тогда не стыдно будет такую книжку и вам преподнести. Не слыхать ли чего о Шуре Штих[3].

Ах родные мои папа и мама, чувствую я, что не так вам пишу, как хотелось бы, есть о чем сейчас словом перекинуться, — да лучше я обниму вас покрепче и расцелую.

Ваш Боря

Впервые: «Знамя», 1998, № 5. — Автограф.

[1] В письме Пастернакам от 4 нояб. Ф. Н. Збарская пишет: «Относительно Бори — Вы должны быть спокойны. Он верно Вам пишет обо всем обстоятельно. Но Вы не знаете, как много он работает теперь над переводом. Буквально по целым дням. Я как-то ему сказала, что он может переутомиться — так он не на шутку на меня рассердился. Но это временно, так как ему хочется использовать время до начала занятий в конторе». В посланном одновременно письме Б. И. Збарского: «О вас мы часто, когда бывает свободный час, сидя вместе с Борей, говорим, вспоминаем. Боря здоров, очень много работает (заражен атмосферой здешней)».

[2] Премьер-министр Великобритании Г. Г. *Асквит*, граф Оксфорд, и германский рейхсканцлер Т. Бетман-*Гольвег* — инициаторы развязывания Первой мировой войны.

[3] Пастернак волновался по поводу призыва в армию А. Л. Штиха. «Писал с дороги Нюте Штих с просьбой ответить мне, что слышно о Шуре? Ни звука. Если вы знаете или можете узнать, не забудьте написать мне о том, взят ли он, в вашем ближайшем письме», — просил он родителей 1 нояб. 1916 (там же. С. 171). Штих вскоре получил освобождение по медицинским показаниям.

140. С. П. БОБРОВУ

8 ноября 1916, Тихие Горы

Дорогой Сергей!

Снега, сороки, пошевни, трубы, <осве>тительные шкалики, печи, ночи, свечи — но где же письма в таком случае? Что сталось с ними? Не заклевал ли ворон в поле их, или на злого половца наехали, горемычные?

Носят зайцев, носят глухарей и тетеревов, несут, наконец, околесицу, неуязвленную сомнением. Но где же письма в таком случае? Что мне с того, что кухне пишут с фронта. Не пишу ли и я на фронт?

Ясно — дальше так продолжаться не может. Я упраздняю зиму, снег, сорок, глухарей и тетеревов — это не то, не то. Это, конечно, символически выявляет лик современности, спору нет, но все-таки, общего с нею во всем этом нет ничего, и, о, современник мой, яви мне лицо свое без покрывала Майи — я это предпочту.

Письмо это кончается на 4 еры. Это пока. От 5-ти ы меня спасет только добросовестность корреспондента. Под сим, последним из безответных, подписуюсь.

Б. П.

Впервые: Собр. соч. Т. 5. — Автограф (РГАЛИ, ф. 2554, оп. 1, ед. хр. 55). Датируется по штемпелю на открытке.

141. С. П. БОБРОВУ

14–18 ноября 1916, Тихие Горы

Дорогой Сергей!

От души благодарю за Языкова[1]. Только что его получил. Радость читать. Руку! Контора занимает у меня теперь весь день. Работа напоминает рябиновку, разведенную теплой водой. Розово-тошнотворная. В коридорах мигреневой кладки мечется замурованный годами запах мочи умученных. Ленивая толща ламп и камня под Ярошенка[2]. Арестантская прострация, окурки, шкапы и тупики.

Но я тебе говорю — не бывать по-ихнему. До сих пор не знал пущей злобы: дело сделано втрое против положенного скорей — нового нет, у твоего ближайшего «шефа» — тоже — а ты сиди и участвуй в его куда как назидательных беседах. Все, что налает Русское Слово[3] за день, полагается здесь на конторскую музыку и развивается на разные лады. Но, впрочем, как сказано, это пока только. Кстати, мой начальник, человек не без достоинств и не дикарь; можно и столковаться с ним, в сочувствии он мне не откажет. Может быть удастся и при таких условиях работать. А работать мне хочется *чрезвычайно* (влияние языков уже сказалось). Перевод Свинбернова «Шастеляра» сделан вчерне. Надо обработать. Телеграмму твою получил. — Из обещанных в ней 5-ти писем получил пока всего три. С нетерпением жду письма, в котором ты отчитаешь меня за книжку. Покамест ты о ней ни словом не обмолвился, если не считать лаконического — «прекрасно», что вовсе невероятно.

Вообще ты так сух и сжат, как квас в плитках. Что это не жалуешь ты меня. А настоящему письму от тебя я рад был бы совершенно несказанно, ибо: дружба дружбой — а твоему просвещенному мнению соперников я не знаю, и кого слушать, когда не тебя? Отец сообщает мне о получении на мое имя «Елисаветинцев» с надписью автора. Ее несправедливой лестностью Аксенов растрогал меня до сердца. (Отец в письме сообщил ее мне.) У меня явилось желание в достойной форме выразить ему свою признательность по сему поводу. Я перевел сонет Swinburne'a о Джоне Форде и, если такие вещи допускаются, думаю попросить тебя поместить этот перевод в «Московских Мастерах» с посвящением И. А. Аксенову от меня[4]. Посвящают ли переводы? Тебе лучше это знать. Перевод при сем прилагаю. Отделать сонет как следует нет времени, да и тебе спех с альманахом, как думаю. Годится ли адрес, сообщенный тобою в срочной телеграмме, для частных сношений с И. А.? (Как его по имени и отчеству полностью?) Пиши же мне, Сергей, побольше и почаще. Удалось ли тебе что-нибудь о Марии Стюарт найти. У Башмаковых ничего не оказалось. Грина английская история, как я тебе писал, ввела бы меня только в излишние расходы. Так что Башмаковскому отказу я с этой стороны был даже рад. Но жаль, что О'Нейля у них нет (Университетская библиотека). И книга о пуританах и Стюартах (дельная и былевая) была бы кстати[5]. Ну, всего лучшего.

Твой Б. Пастернак

Если сонет безобразен, лучше не помещай.

Прости, сгустил краски с досады: — мой шеф прекрасный человек. *Б. П.*

Впервые: «Встречи с прошлым». Вып. 8, 1996. — Автограф (РГАЛИ, ф. 2554, оп. 1, ед. хр. 55). Дата получения, поставленная Бобровым, — 26 ноября 1916 г.

[1] Речь идет о книге С. П. Боброва «Н. М. Языков о мировой литературе» (М., 1916).

[2] Пастернак имеет в виду художника-передвижника Н. А. Ярошенко и тематику его картин из быта заключенных и социальных низов — «Кочегар», «Заключенный», «Всюду жизнь» и др.

[3] *«Русское слово»* — ежедневная московская газета, издававшаяся И. Д. Сытиным в 1895–1917 гг. Редактировалась В. М. Дорошевичем. Ср. описание рутинной интеллигентской среды в мемуарах Эренбурга «Люди, годы, жизнь»: «Взрослые играли в карты, пили клюквенный морс и читали "Русское слово"» (И. Г. Эренбург. Собр. соч. Т. 8. М., 1966. С. 26).

[4] Журнал «Московские мастера» был издан в 1916 г. С. М. Вермелем, в нем принимали участие В. Хлебников, Б. Лившиц, Р. Ивнев, Д. и Н. Бурлюки, Н. Асеев, К. Большаков, В. Каменский. Перевод сонета А. Суинберна «Джон Форд» не был напечатан при жизни Пастернака; сохранился в архиве Боброва и впервые опубликован в 1984 г. (ИОЛЯ, 1984, № 6).

[5] Полные названия книг, которые Пастернак заказывал в казанском магазине Башмаковых, см. в письме № 137.

142. РОДИТЕЛЯМ

16–23 ноября 1916, Тихие Горы

Дорогие мои! Простите, что долго не отвечал на открытку папину; ту, в которой он сообщает о лестной Аксеновской надписи[1]. К сожалению, лично с ним не знаком и имени-отчества его не знаю; адрес же его официальный мне известен. А я уже писал вам о протекционной телеграмме Боброва — это я должен был Аксенову (саперный капитан) прошение посылать[2]. Уже запросил Боброва об его имени и отчестве и ему напишу*.

Пока же, чтобы достойным образом ответить на столь задушевный отклик, перевел Свинберновский сонет о том самом Дж. Форде, которого Аксенов перевел в «Елисаветинцах»; перевод решил напечатать с посвящением Аксенову в ближайшем альманахе ЦФГи[3].

---

* Т. е. конечно о надписи, книге и т. д., а не о чем ином. (*Прим. Б. Пастернака.*)

Надеюсь вы должным образом оцениваете мои упреки по поводу вашего молчания.

В неизменном порядке следуют друг за другом — отсылка моих укоризненных писем и приход папиных дорогих открыток. Боже, как я рад, что маме — лучше! Эти разминки в корреспонденции, растягивающиеся подчас до месячного срока, являются для меня и по сю пору тягостью непривычной.

Третий день работаю в конторе. В будущем думаю добиться работы 5-ти или 4-х часовой — покамест на контору весь день уходит. Вставать приходится к 8-ми часам; так что вечером тоже за своей работой не больно уж разгонишься.

Но из неискоренимого, чистого и безукоризненно-аристократического высокомерия (к чему тут скромность) веду себя (и пред собою) так, будто эти 8–9 часов совершенно для меня незаметно протекают. По приходе домой, днем здесь все спят и отдыхают, я с обеденного стола палубною поступью путешествующего лорда перехожу в комнату маленького Карпова и занимаюсь с ним в течение дневного перерыва. Вечером, шагом ничуть не менее отдающим спокойной и безмятежной надменностью прохожу к себе в комнату и набрасываюсь на то, что только и заслуживает в моих глазах названия работы.

Чувствую, что ожесточаюсь в своем поклонении Свинберну, поэзии и т. д.[4] Вокруг — такая белесая скука отпетой посредственности — что досадно прямо, к чему я столько воротников и манжет привез?

Ну целую вас крепко

Боря

Дорогая мама, целую тебя крепко, радостные известия о тебе приводят меня в какое-то тихое и немое исступление с гусиною кожей.

Не пишите на адресной стороне открытки. Взимают доплату и задерживают.

Впервые: «Знамя», 1998, № 5. — Автограф. Датируется по содержанию (в соответствии с письмом № 141).

[1] О дарственной надписи Аксенова Пастернаку на его сб. «Елисаветинцы» см. письмо № 141.

[2] В своей телеграмме Бобров излагал условия, необходимые для поступления Пастернака вольноопределяющимся в армию под начало И. А. Аксенова. Отвечая на нее, Пастернак писал: «Горячо благодарю <за> заботы. Пока нет надобности. <При> нужде воспользуюсь. Недосуг. Статью <для> альманаха к Рождеству охотно, если успею до выхода. Пиши чаще <о> себе, делах. Дружески жму руку=Пастернак» (12 нояб. 1916;

«Встречи с прошлым». Вып. 8, 1996. С. 252). «Трогателен Бобров, — писал Пастернак родителям в тот же день. — Он меня до слез растрогал. Я получил от него десятирублевую срочную телеграмму делового и спасительного содержания. Он узнал верно от жены или от общих знакомых о моих беспомощных метаниях перед отъездом (его не было, он был на Кавказе), списался с кем нужно и телеграфировал мне обо всем, вплоть до того, куда и в какой форме и с приложением чего — посылать прошение. Словом — протекция, которая теперь совершенно излишня, но способна действительно растрогать» («Знамя», 1998, № 5. С. 173).

[3] Третий сборник «Центрифуги» не вышел в свет, сонет остался в архиве Боброва.

[4] Поклонение Суинберну отразилось в эпиграфе к книге «Поверх барьеров»: «To the soul in my soul that rejoices / For the song that is over my song» («Душе моей души, радующейся песне, которая прекрасней моей»), взятом из стих. Суинберна «I am last and least voice of her voices...» («Я самый последний и слабый из ее голосов...»).

143. РОДИТЕЛЯМ

26 ноября 1916, Тихие Горы

26/ XI Т<ихие> Г<оры>.

Дорогие мои! От души поздравляю вас с улучшением маминого здоровья и крепко целую. Письмо ваше было большой, безмерной радостью для меня. Вот счастье!

Дорогая Жоничка, ответить тебе отдельно не имею ни малейшей возможности. С 8-ми утра до 12 часов дня занят в конторе, перерыв дневной уходит у меня на обед и на занятия с маленьким Карповым; отзанявшись с ним, еду тут же снова в контору и там до 8-ми, а по средам и четвергам (перед заседаниями Елабужского комитета) и до ночи. Все время провожу в глупом (по роду и качеству работы) и непроизводительном напряжении; в моем ведении все, касающееся отсрочек и прочих военных отношений 2-х тысяч рабочих и еще больших сотен деревень, работающих от подрядчиков, от обществ и т. д., которых надо отстаивать перед разными земскими и уездными инстанциями, а то их погонят на принудительные работы по Ижевскому казенному заводу (наш сосед). Основной материал, над которым я ношусь prestissimo* по 9 часов в день — целые орды татар с тарабарщиной и путаными сведениями на устах и еще более дремучие совершенно отчаянные и безнадежные беловежские пущи татарских каракулей с отчаянно перевранными категориями, годами; и т. д.

---

* очень быстро (*ит.*).

В конторе я веду себя истым чиновником, гоню в коридор, высокомерно и безапелляционно раздражаюсь и т. д. Побриться нет времени.

Дальше читай только папа, в крайнем случае мама еще. Есть и иные, слишком отрадные причины, именующиеся терминологически счастьем, которые делают для меня пребывание здесь — делом тяжелым для моей совести (вы догадаетесь)[1] — и вот я прямо не знаю, как быть. Я получил страшно по местным почтовым условиям запоздавшее письмо от Кушнера из Пб., где он предлагает мне поступить на завод под непосредственное его начальствование[2] и спрашивает меня, не слишком ли тяжело здесь. Я ответил ему телеграфным запросом о том, когда в СПбе <быть>; если по его ответу выйдет, что я еще успею, то хорошо и всесторонне это обдумав, я, пожалуй, и уеду отсюда.

Не бойтесь, мне кажется, что уже поздно и этого шага мне делать не придется. Если же вы категорически решите, что уезжать отсюда мне не следует или же рискованно, или это вас волнует или вам не по душе или еще что, то телеграфируйте мне сюда, чтобы я оставался. Очень тороплюсь, представляется возможность послать это письмо с курьером до Казани, а то и до Москвы. Так что оно дойдет до вас со скоростью исключительной. Если будете телеграфировать мне, то можете прямо, без всяких ребусов и обиняков; исключая конечно то, что запретит вам простая скромность: т. е. все, что угодно, кроме интимностей. Относительно последних скажу вам сразу, чтобы вас успокоить, что Пепа относится ко мне по-прежнему; но что многое в кодексе благородства подсказано литературным понятием свободы и независимости личности. Что я не люблю этих слов, потому что знаю, что это слова. Что я ни на минуту не теряю способности и умения отличать серьезное важное и реальное от интеллигентской, подчас страшно симпатичной — весь Чехов таков и Ибсен — блажи. Что я держусь так, как должен держаться, побывав хоть раз в жизни у родника *безусловности и определенности нечеловеческой*: у вдохновенья. Что на этот счет ни тебе, ни маме беспокоиться нечего — и даже уезжать мне отсюда настоятельной и настоящей надобности нет, хотя это и желательно. Что все, словом, прекрасно, но могло бы быть еще прекраснее по тем силам души, которые мне не дают места и покою; и которые страдают, подавляемые конторской чепухой; и которые страдают, неиспользованные ложным гуманизмом бедного «освобожденного» милого современного человека. Sapienti sat*.

---

* Умному достаточно (*лат.*).

Крепко целую. Жду писем.

Какой ужас с Верхарном[3]. Ведь это погиб Верхарн, спешивший на лекцию, цельный Верхарн, а не какой-нибудь Верхарн, раньше этого аннулировавший себя добровольчеством и участием в войне! Обнимаю.

Боря

Писал как бешеный. Вообще я бешеный сейчас.

Лидок дорогой, спасибо за письмо.

Впервые: «Знамя», 1998, № 5. — Автограф.

[1] Речь идет о психологических трудностях, возникших в связи с пребыванием Пастернака в семье Збарских. «*...отрадные причины, именующиеся терминологически счастьем...*» — это знаки душевного расположения, оказываемые Фанни Николаевной Пастернаку. Объяснение неладов между супругами, высказанное Збарским «за ночной... беседой в Елабуге», приводится в письме № 149. Эти причины вынуждали Пастернака к необходимости срочного отъезда. Решение вопроса он оставляет на усмотрение родителей.

[2] Кушнер проходил военную службу в Петербурге вместе с Маяковским в автомобильной бригаде.

[3] Речь идет о трагической гибели Верхарна в уличной катастрофе. Отец и сын Пастернаки познакомились с Верхарном в декабре 1913 г., когда он был в Москве. В память об этом знакомстве остались портрет Верхарна работы Л. О. Пастернака и надписанные им обоим книги.

144. С. П. БОБРОВУ

26 ноября 1916, Тихие Горы

26 ноября, Т<ихие> Горы

Милый Сергей!

Спасибо за присланного Маяковского[1]. Зачем ты сделал такую надпись, не дождавшись ответа моего на твое предложение? А я как раз отклоняю его, единственно по вине некоторых его деталей. Я органически не способен искать у Маяковского неловкостей стиля. Это было бы возможно, если бы у Маяковского то, что ты называешь уклоном в сторону извозчичьего langage'а*, не было явно намеренным исканием и нахождением собственного стиля. Но не в этом дело. Это соображение, абсурдно выраженное к тому же, я высказываю для того, чтобы ослабить следующее. На мой взгляд, Маяковский единственный среди всех нас, пишущих — поэт, если относиться с некоторой обя-

* языка (*фр.*).

зующей взыскательностью к этому слову. А раз это так, то ни о какой чистке его фразеологии говорить я не возьмусь; и браться за это не стану по той единственной причине, что это претило бы моей душе и расходилось бы с тем чувством восхищения перед М. — которое, как тебе небезызвестно — неискоренимая и основательная моя слабость. Меня только удивляет, как это ты додумался до того, чтобы искать у Маяковского того, что при некоторой слепой рачительности может быть найдено у меня, у кого хочешь, наконец, но не у него, потому что в этом-то ведь и его величавость и чистота, что литературные и словесно-критические мерила к нему абсолютно неприменимы. Надо радоваться тому, что есть один такой и нет другого, а не коверкать этого последнего. Меня, было, обидело даже твое письмо с этой стороны, и в сердцах я чуть не наговорил тебе лишнего. А потом вспомнил твою взбалмошность, Сергей, и у меня несколько от сердца отлегло. А все-таки, как тебе не стыдно, Сергей? Ведь не слепой же ты. А ведь я тебе завидую, что у тебя иммунитет какой-то есть, которым я по отношению к таким явлениям, как Маяковский, не располагаю. Жду письма. Жму руку.

Твой Б. Пастернак

Дня через три отправляю тебе стихи для альманаха. Не грызись там слишком. Боюсь, подведешь ты меня там чем-нибудь таким, что для меня участие в альманахе сделает невозможным. Ну, вот, к примеру, хоть — травлей Маяковского.

Впервые: Собр. соч. Т. 5. — Автограф (РГАЛИ, ф. 2554, оп. 1, ед. хр. 55).

[1] Бобров прислал Пастернаку книгу Маяковского «Простое как мычание» (1916) с надписью: «Милому Боре по уже изложенным основаниям. Не Маяковский, а Сергей Бобров». Для Третьего сборника «Центрифуги» Бобров просил Пастернака написать рецензию на эту книгу; сборник не был издан.

145. С. П. БОБРОВУ

27 ноября 1916, Тихие Горы

Милый Сергей!

Боюсь, тебя моя вчерашняя приписка[1] обидела. Сам виноват. Ты, в общем, ужасный человек, Сергей! Как я радовался восстановлению наших добрых литературных отношений! Литературных — ибо никакие иные в восстановлении не нуждались. И я уверен, что ты не преминешь сделать все от тебя зависящее, что-

бы сделать их невозможными. Видно, ты ими не дорожишь, да, верно, и дорожить-то нечем; видит Бог, я это чистосердечно и без всяких ужимок говорю: перед лицом Маяковского я в своих глазах всякий смысл и цену теряю. Но к чему тогда было, ими не дорожа и дорожить основания не имея, зря меня волновать такими чистыми перспективами ЦФГи — которые не могли не вызвать во мне энтузиазма сильнейшего! Чтобы потом тем больней дать мне ощутить прежний «Руконогом» отдающий дух затхлой и узкой партийности. Отчего ты не хочешь стать выше всего этого, ты, лучше всякого другого способный в своих идеологических экскурсах прямо подходить к сути дела, то, что называется брать быка за рога? Чем твой фаворитизм, основанный на личных знакомствах, дружелюбии и недружелюбии и прочих видах лицеприятия, лучше всякого другого? Нет, он многим хуже всяких иных коечных и теплоугольных формаций. Я понимаю это в среде ископаемых типа Русской Мысли, Вестника Европы и прочих ихтиозавров: «честные стариканы», они требуют от «литератора», чтобы он был непьющий, носил очки и разрешал проблемы. Желательно также, чтобы он курил, ходил в глубоких галошах и чтобы суковатая его палка имела резиновый наконечник. Я понимаю фаворитизм символистов. Лукавые авгуры, не имевшие к тому же и гроша за душой, они не могли ходить без камертона в одном и кукиша в другом кармане и нуждались в еженедельной спевке. На что, скажи мне на милость, на что можешь пожаловаться ты, с твоей проницательностью, прямотой натиска и изощренностью непритупленного аппетита, что поддаешься соблазну кружковщины? Тебе это проститься не может. Насколько это к лицу всей вышепомянутой гнили, настолько же не пристало тебе, в силу нескольких перечисленных и целой массы не перечисленных отличных твоих качеств. Но довольно. К письму приложено несколько стихотворных моих неудач. Воспользуйся ими для Альманаха[2].

Ах, как мне хочется взяться, наконец, за статью, начало коей уже набросано. Статья начинается следующим:

«Она еще надеется, что ее чердаком не обделят. Она еще надеется, что шумная чаша шарканья там, за углом, на катке, будет истинным и единственным краем света и она его сердцем в те часы зимних вечеров, когда она еще раз преисполнит его до краев. Что днем к ней не ввалится гражданственность с подписным листом и не почтит ее предложением: подписаться под коллективным актом возвеличения посредственности.

Она еще надеется, что все вдохновенные ремесла, *волнующееся воодушевление* которых сейчас доплескивается до звезд, ее! поэзию! *оставят* в покое» и т. д.[3]

Но в конторе я занят по горло и вероятно сбегу отсюда. Ах, как тошно среди хороших людей, не отравленных талантливостью! У Збарских этого не было: они люди живые и еще очень молоды. А тут культурный, добросовестный чеховский интеллигент — брр! К средине декабря будет в Москве г-жа Карпова[4]. Хорошо б, если бы моя книжка к тому времени была готова и ты бы с ней мне с десяток экземпляров переслал.

Ну, всего лучшего.

Твой Б. Пастернак

Сердечный привет милой Марии Ивановне.

Пиши мне прямо, минуя Збарского, теперь меня уже контора знает.

Впервые: «Встречи с прошлым». Вып. 8, 1996. — Автограф (РГАЛИ, ф. 2554, оп. 1, ед. хр. 55). Дата устанавливается по содержанию. Бобров получил письмо 5 дек. 1916 г.

[1] Имеется в виду письмо № 144.

[2] Вместе с письмом были посланы «Два посвящения»: «Когда я был в парах токая...» и «Я говорю тебе: Сибирь...».

[3] Текст неизвестен.

[4] Анна Самойловна *Карпова* — жена Л. Я. Карпова.

146. С. П. БОБРОВУ

27–28 ноября 1916, Тихие Горы

Милый Сергей!

Большое спасибо за Оксану[1]. Удивительный Николай! Сколько в нем настоящей сладостности, романтической, невменяемой, сколько упорства и силы в мечтательности; неослабной, неусыпной. Замечательное дарование! Страшно хотелось бы знать, что он теперь делает и где он. Я уже с год его не видел и ни разу не писал ему. Местами он до слез трогает *безукоризненностью* своей глубины, ты понимаешь? Лучшие вещи в книге, мне кажется, — вновь напечатанные, Ой, конин и Зор[2]. А Тунь, Шепоть и Песнь Ондрия — настоящие перлы. По отношению к нему или лучше к этим трем вещам, которых никогда не забывал — понятие «песни» теряет свою приторную, дурную и скользкую метафоричность.

Очень бы хотелось мне написать о нем: и не только в ЦФГе, но и в несколько видоизмененном стиле на страницах какого-нибудь из Петербургских толстяков[3]. Но веришь ли — голова идет кругом от количества конторской работы. И, верно, не выдержу я. А пока надо работать; хотя бы для того только, чтобы потом иметь возможность уйти отсюда и может быть Аксенову бумаги послать[4]. Отпр<авленное> еще не получил. Что книга? Высылай «Алмазные леса»[5].

Твой Б. Пастернак

Впервые: «Встречи с прошлым». Вып. 8, 1996. — Автограф (РГАЛИ, ф. 2554, оп. 1, ед. хр. 55). Дата получения, поставленная Бобровым, — 7 дек. 1916 г.

[1] Четвертая книга стихов Ник. Асеева.

[2] В сборнике объединены четыре книги Асеева: «Ночная флейта» (1913), «Леторей» (1915), «Ой конин дан окейн» (1916) и «Оксана» (1916). Пастернак выделяет впервые напечатанные вещи.

[3] Пастернак написал рецензию на книгу Асеева для несостоявшегося Третьего сборника «Центрифуги» (см. письмо № 151).

[4] Пастернак запрашивал Боброва телеграммой по поводу бумаг, требующихся для прохождения военной службы при штабе Аксенова: «Принято ли во внимание в предложении Аксенову мое происхождение?» (3 дек. 1916). Опасения были не лишены оснований: перечисляя Боброву необходимые для этого документы, Аксенов добавляет: «Если бы дело шло не о иудее, то я был бы совершенно уверен в успехе, а теперь за успех 95%» (РГАЛИ, ф. 2554, оп. 1, ед. хр. 5, л. 64).

[5] Вслед за «Оксаной» ожидался выход «Поверх барьеров» Пастернака и «Алмазных лесов» Боброва.

147. РОДИТЕЛЯМ

9 декабря 1916, Тихие Горы

Тихие Горы. 9/XII

Дорогие мои! Если до Вас дошло уже сумасшедшее мое письмо одно, в котором я пишу о желании моем уехать отсюда и отдаленно касаюсь мотивов этого желания — прочтите его и предайте забвению[1]. В тот день, как пришла посылка ваша, события достигнув кризиса, быстро покатились под гору, и «развертывание» их прошло сплошь по светлой солнечной стороне междучеловеческих сношений. Сейчас все прекрасно, мне не на что жаловаться и, думаю, жаловаться на что-либо некому. В этом смысле посылка лишний раз доказала истину о вещей силе родительского, вернее материнского сердца; мамино письмо, не говоря о той радости, которую оно мне доставило безотносительно к чему-либо,

имело значение материнского присутствия здесь в очень нужный момент и может быть эта приуроченность его особенно меня взволновала.

Когда-нибудь я вам расскажу про все то, что темными намеками вторгается в последнее время в мои письма к вам. Теперь я сделать этого не могу, да и не вправе. Вам важно знать сейчас, что ничего особенного не произошло и не произойдет — и вы должны этому верить: такие вещи не воспаления легких, о которых сообщают родным, называя болезнь насморком или гриппом. О таких вещах иные люди иного склада и с иной связью с домом — молчат вовсе, не видя надобности о них кому бы то ни было говорить. — Иные. — Иные же, заговаривая о таких вещах, договаривают все до конца. Середины тут не бывает и она не имеет смысла. И раз я проявляю все признаки откровенности и неспособности молчать перед вами, то вы должны принять за правило, что высказываясь, я высказываюсь до конца и без остатка. Итак — ничего не произошло и не произойдет и все прекрасно.

Опять вся способность моя на тоску по чем-либо сосредоточилась в тоске по работе. Сейчас она не находит себе удовлетворения: я по целым дням занят в конторе.

Однако я думаю это изменить: я еще не закабален и закабаления никогда не допущу. То, чего я хотел, в согласии с вашими желаниями, отправляясь сюда, — достигнуто. Я не знаю, сообщал ли я вам это в виде определенного факта. Возможно, что нет. Теперь вы это знаете. Затем — лично для себя — я хотел перевести Свинберновскую драму. Достигнуто и это. Наконец, — в ходе событий некоторых — нет это слово здесь не подходит — скажу — в ходе некоторых насущных бесед и разговоров я пожелал устранить ту ложь, которая заключается в склонности нашей людской: называть именем «житейских драм» праздную порчу жизни, которая проистекает от книг, когда они в руках читателя, книги не производящего. — Поскольку это было в моих силах, я достиг и этого. Лучше сказать: я сделал все, что мог. Теперь, в ближайшем прошлом, я не вижу за собой ни одного достойного желания, которое так или иначе не было бы удовлетворено. Вот почему я и сообщаю вам: все прекрасно.

Милые папа и мама, не ждите теперь от меня частых и подробных писем. Глупых пустяков я вам писать не умею и не хочу. Серьезные же схожденья с вами требуют времени и свободной, не загрязненной конторским мусором головы. Такую роскошь мне сейчас себе не позволять стать. Дождусь более удобного времени. Уезжать отсюда — я не уеду. Да и не от чего и не к чему.

Пробегая газеты, я часто содрогаюсь при мысли о том контрасте и о той пропасти, которая разверзается между дешевой политикой дня и тем, что — при дверях. Первое связано привычкой жить в эпоху войны и с ней считаться; — второе, квартируя не в человеческих мозгах, принадлежит уже к той новой эре, которая, думаю, скоро за первой воспоследует. Дай-то Бог. Дыхание ее уже чувствуется. Глупо ждать конца глупости. А то бы глупость была последовательной и законченной и глупостью уже не была. Глупость конца не имеет и не будет иметь: она просто оборвется на одном из глупых своих звеньев, когда никто этого не будет ждать. И оборвется она не потому, что глупость окончится, а потому, что у разумного есть начало и это начало вытесняет и аннулирует глупость. Так я это понимаю. Так жду того, чего и вы наверное ждете. Иными словами: я не ищу просвета в длящемся еще сейчас мраке потому, что мрак его выделить не в состоянии. Зато я знаю, что просвета не будет потому, что *будет сразу свет*. Искать его сейчас в том, что нам известно, нет возможности и смысла: он сам ищет и нащупывает нас и завтра или послезавтра нас собою обольет.

Напиши мне, папа, что ты об этом думаешь. Письмо это, которое будет послано с оказией из Казани, я заканчиваю тем, чем можно было начать: взаимным поздравлением, — с тем что маме кажется — не плохо, что ты — кажется — работаешь с очевидным успехом и удачей, — что мрак скоро — кажется — сменится светом; что мне уже не кажется двойственным мое положение здесь, ибо двойственность его миновала и я — снова я.

Напишите непременно Збарским. Человечно, великодушно, умно, интересно и словом — в достойном стиле. Они оба этого заслуживают. У Пепы были огорчения заводского характера, но и это миновало.

Целую. *Боря*

Впервые: Борис Пастернак. Из писем разных лет. М., «Огонек», 1990. — Автограф.

[1] Имеется в виду письмо № 143.

148. РОДИТЕЛЯМ

10-е числа декабря 1916, Тихие Горы

Дорогие мои! Спешу вас порадовать известием, которого вы никак верно не ждете. Вчера вечером я приехал из Елабуги, где был на переосвидетельствовании, признан был комиссией совер-

шенно неспособным и *освобожден навсегда*. Для вас это верно явится полнейшей неожиданностью. Дело в том, что по спискам, представленным в комитет, я не прошел, т. е. в отсрочке мне было отказано. Я вам этого не писал, чтобы вас раньше времени не тревожить, и теперь радуюсь, что этого не сделал.

Все это произошло при деятельнейшем и ближайшем содействии Пепы. Мы вместе с ним ездили на 2 дня в Елабугу, ночевали в Ушковской конторе, а наутро ему пришлось не меньшие (если не большие), чем мне, волненья пережить на дворе дворянского съезда, в продолжение тех 2-х часов, что я ждал своей очереди и подвергался переосмотру.

Вообще, о Пепе мне бы хотелось тебе, папа, и маме много и поскорей поговорить и меня немало удручает возмутительная медленность наших почтовых сношений.

Ну что как выставка в этом году?[1] Что папа выставил? Что говорят? Что папа сам думает? Продано ли уже что-нибудь? Если будет иллюстрированный каталог или открытки, не пошлете ли Збарским? Ах, что б я отдал за то, чтобы папа написал Пепе *как мне*, и не только как сыну родному, но как такому сыну, который по своим особенностям именно во встрече с этими же *особенностями у него* нуждается. И не «благодарное» письмо за услуги или любовь и т. д., а то это даже унижает, а человечное, философическое; как папа умеет. Пепа сейчас не в состоянии вам писать, хоть и хотел бы очень[2]. Мамино письмо его страшно растрогало. Но не говоря о том, что у него мало времени, у него еще сверх того, что важнее и серьезнее — сплошная полоса самых невеселых настроений и мыслей. Но об этом особо — папе пишу. И маме разумеется.

Ах, какой он чудный, этот Пепа, — страшно временами на Зайку похож и в существенном, в человеческом страшно близок мне.

Ну целую всех крепко.

С праздником вас.

Боря

Я и сам чертовски занят. До слез жалко! Хотелось бы Жоне, Лиде и Шуре написать, ведь праздники! А как книги о Марии Стюарт?

Впервые: «Знамя», 1998, № 5. — Автограф. Датируется по содержанию

[1] На выставке Союза Русских художников в числе других работ Л. О. Пастернака был выставлен большой декоративный портрет Е. Я. Левиной в синем платье, сделанный пастелью и вызвавший особое внимание публики; сейчас находится в собрании ГМИИ.

[2] В письме «дорогой родной семье Пастернаков» Б. И. Збарский благодарил за посылку: «У нас все обстоит благополучно. Относительно того, что Боре удалось совершенно избавиться от угрозы попасть в солдаты, вы уже знаете. Много было волнений, но, слава Богу, все обошлось хорошо».

149. РОДИТЕЛЯМ

Середина декабря 1916, Тихие Горы

Читайте папа и мама только.

Дорогая мама! На радостях, что освободили меня, хотел я вам что-нибудь на праздники послать. Трудно допустить, чтобы живность в дороге не испортилась, да тут утверждают, что не портится. С очень слабой надеждой на то, что индейка и гусь прибудут к вам в состоянии той же свежести, в каком они здесь были уложены, отослал их вам сегодня. Кушайте на здоровье, сказал бы я, если бы не был уверен в том, что их на почтамте не продержат в тепле. Даже Б<орис> И<льич> уверен, что не испортятся — а он — авторитет для меня почти во всем. До Казани-то они по снегу пойдут и им ничего не сделается; у ворот же Казани вера моя в птицу иссякает, — железная дорога, натопленные почтамты и т. д. Ну будь что будет. Колбаса же и мед во всяком случае нетленны. Их вы получите в исправности. Мед — от Фанни Николаевны. Она хотела написать тебе, мама, и на днях напишет, я же ждать не захотел.

Ты как-то спрашивала о моей службе. Я уже писал вам однажды, что заведую регистрацией военнообязанных. Когда-то, до моего вступленья на эту должность, главные служащие конторы во главе с директором хором стонали при каждой новой мобилизации — теперь эту же партию исполняю я соло.

Чепуха это страшная, но рискованная в том смысле, что всех несметных сотен татар, вотяков, башкир и т. д., целыми деревнями закрепощенных новыми видами подучетности и трудовых обязательств, созвать и записать нет возможности, и надо довольствоваться сведениями, сообщаемыми волостными правлениями; это же настолько невдомечная абракадабра подчас, что волосы дыбом становятся, а если и не абракадабра, то груда бессистемных завалов, состоящих не всегда из фамилий, из всевозможных категорий (1 и 2 ополчения, флот, белобилетники, новобранцы), всех призывных годов, просроченных, преждевременных, демобилизованных на казенный Ижевский завод и т. д.; среди них есть и призывные 1899 года; есть и буробилетники; есть и «старики на лошадях» и всевозможные Бабаи и Малаи.

Чепуха эта — рискованная и ответственная, говорю я, в том смысле, что за дремучим этим лесом деревьев не видать; а сплошь он — из деревьев состоит. И ясно, что даже и призывной 1899 года — не гоголевская мертвая душа, и не вымышлен, и если из 3-х — 4-х этих тысяч, числящихся в нашем уезде и 2-х — 3-х — в соседних уездах Казанской и Уфимской губерний, пропустишь или ко времени не подашь ходатайства в Комитет хоть на одного; то именно этот один и будет взят в солдаты, и винить будешь в этом себя самого — и к тому же будет это бесчеловечно и несправедливо. Вот сегодня хотя бы, брякнулся один из таких Миннибаев в ноги, чтоб я его на смерть не посылал. Не беспокойтесь. На смерть ему идти не придется. Все, что можно, делаю я, в пределах «законности», как меня просил тот же Миннибай. Но Л. Я. К<арпов>, директор, щепетилен и мнителен до крайности, что трудно вяжется с его умом, добрым сердцем и способностями недюжинного интеллигента. Жертвой этих двух черт его сделался было и чуть было не остался и я: списка именного на собственную мою персону не провели; в отсрочке мне отказали. Но в ней я и не нуждался, имея права на освобождение. Я уже писал вам, что был на переосвидетельствовании и получил окончательный белый билет.

Вам может быть странно, что остаюсь я на службе — в конторе? К тому же, она и в тягость мне. В тягость — бессмысленной пустотой, всегда чреватой осязательнейшими последствиями для других. В тягость непроизводительным напряжением. В тягость бездарнейшей скукой — а также и тем, что все тягостные ее качества нота в ноту совпадают с тягостными свойствами современного великого момента, переживаемого мировой посредственностью. Вам может быть странно, что остаюсь я на службе? Но я живу в доме директора и дискредитировал бы учреждение, которое я сам сейчас олицетворяю собой (вы понимаете) — уйди я сейчас со службы.

Комната, в которой находится мой «стол» — называется «продовольственным» отделом; им заведует московский интеллигент, милый средний чеховец. На милого среднего чеховца, занятого ведением другой половины великого момента, переживаемого ломовым человечеством — свалилась бы и вся первая половина, опекаемая мной; а я знаю, что это за прелесть; и трудно предложить ему взять эту тошнотворную кучу, с которой я уже свыкся, на себя.

Через месяц я заговорю о подыскании мне заместителя. Через два я службу оставлю. Через три я стану подумывать о переезде к вам. Через четыре — вас навещу.

Здесь, сохраняя в силе тот тон, коим я делаю все эти признания, кстати будет сказать вам об истинных причинах Пепиной меланхолии. Это не превратности семейных «нахес»[1] — он, по задаткам, по богатствам своим, хочу я сказать, и по роду своих аппетитов — не интеллигент, как и я; а такой же дикарь. Жизненная, т. е. деловая его стезя — ложна и обидна сейчас. Когда-то он был полон научных идей в том же роде, смысле и значении, как и я — музыкой. Как я—не музыкант сейчас, так и он — не ученый. В том же горьком смысле и значении. Хлороформ и блестящее его положение, конечно, — ерунда. Не этим жив человек. Он дает понять, что в этом виновата — она. Не как женщина, не в категории чувств и нахес; не как женщина, как человек. Это вопрос темный. Быть может, он пристрастен. Она привязчива, идеальная жена, подруга, — хороший человек. Нет, конечно, он неправ и пристрастен. В его меланхолии виноват и его темперамент и дарование.

Таким и должен быть *мой* друг. В его драме не должно быть «интересной» психологии и нескольких действующих лиц. В его драме действующим лицом должен быть волчий вой его ненасытного духа — и все аксессуары культурного интеллигента — лицом бездействующим. С тем и конец всему вопросу. Данные данного анализа, сами собой подобравшиеся за ночной нашей беседой в Елабуге, накануне моей явки в комиссию, доставили мне наслаждение чрезвычайное. Человек говорил мне о своем горе. Сочувствуя ему, я им восхищался.

Не идеализируйте жизни техников, механиков и химиков, работающих на оборону. Они «творят» из-под палки обстоятельств. Следовательно — это животные. Не животные они только потому — что они безжизненны и не дохнут, как случилось бы с безжизненным животным. Серый этот сброд рассуждает о политике, хмурит брови и страдает изжогой пучащейся порядочности. Среди этого навоза сверкают и тускнеют глаза известного вам Пепы. Он себя не знает. И он порой «обсуждает создавшееся положение». Как ему не стыдно. Он не знает себя, и когда я раз сказал ему, чтобы он не воображал, что и он, как они — интеллигент, то лишь к концу моих заверений он с хохотом признал парадоксальную их справедливость. Как чудно это вышло у Вильсона[2]: «обе воюющих стороны воюют приблизительно за те же идеалы». Прелестно. Лучшего мороженого ко всему утомительному обеду и не придумать. Но Мануйлов и Родичев[3] возмущены. Как, и те так же благородны, как Родичев и

Мануйлов? И весь мир сплошное благородство Родичевых и Мануйловых? И их так много? И Вильсон не хочет видеть оттенков серизны? Здесь этого не понимают. Здесь тоже рассуждают и возмущаются.

Здесь нет пианино. Вообще — грошовая жизнь. При малейшей возможности начну опять ежедневно опаивать себя Свинберном. Неиспользована еще вторая его трагедия. Первая называется Шастеляр. Вторая — Мэри Стюарт. За нее-то и возьмусь.

Начал я письмо маме — привлек к середине и папу — расстаюсь теперь с обоими вами. Будьте вы здоровы и бодры, встретьте Новый Год, как вы его встретить вправе, как заслужили, как подобает вам: с презрением к тому, что другие называют огорчением, печалью и т. д. — для чего же талант и резкая (почти грубая) — человечность его природы среди мрази — если не для того, чтобы праздновать его и ему радоваться, как празднуется праздник среди мрази будней.

И пожелайте мне спокойной ночи.

Заговорился. Целую. *Боря*

Впервые: «Знамя», 1998, № 5. — Автограф. Датируется по содержанию.

[1] Счастье, обычно употребляется в ироническом смысле *(евр.)*.

[2] Американский президент Т.-В. *Вильсон* был инициатором вступления США в Первую мировую войну.

[3] Ф. И. *Родичев* и А. А. *Мануйлов* — депутаты Государственной Думы, известные деятели Конституционно-демократической партии.

150. С. П. БОБРОВУ

22 декабря 1916, Тихие Горы

Милый Сергей!

Сейчас получил твою телеграмму и несколькими часами раньше письмо № 723. Вперед о нем, а потом о книжке. То-то и дело, что посланные тебе стихи «весьма пристойны, приятны и т. д.» Другой оценки им дать нельзя. Потому-то их появление в альманахе и недопустимо. Я уже тебе об этом телеграфировал и считаю это делом конченным[1]. Участие мое в альманахе, вероятно, ограничится рецензией о Николае, может быть о Маяковском. О Белом[2] надо бы тоже написать, но за недостатком времени (всего 3 праздничных дня, которые наполовину будут поглощены всевозможными визитами и обедами) придется, вероятно, от этой мысли отказаться. С кондачка я вообще не люблю работать, а в таком вопросе тем более. Ничего ужасного в том, что в альманахе меня не будет (не считая рецензий или статей о Николае и может быть о

Маяковском) — не вижу ни для себя лично, ни для альманаха. Пока что об этом рано говорить: домой возвращаюсь поздно вечером и писать пока нет никакой охоты.

Если верить тому типографщику, который тебе пообещал книгу приготовить к 22-му[3], то сегодня она, по-видимому, готовится к выходу. Хотелось бы мне на нее поглядеть. Я ведь до сих пор не знаю, сделала ли Экстер к ней обложку[4], как об этом говорил Вермель и писал в свое время ты. Как только будет возможно, пришли мне ее в одном экземпляре с надписью от тебя. А вслед за тем — экземпляров 10 (когда окончательно будет заказ типографией выполнен). Да не пришлешь ли ты мне кстати и «Близнеца» — экземплярах в 4-х?

Позаботься, Сергей, о книжке. Разошли по редакциям — и, если это не выходит из пределов досягаемости, — по мере возможности следи за отзывами, буде они появятся. И мне сообщай. Тут ведь это совсем недоступно. Милый Сергей, если бы я сейчас в Москве был или если бы я здесь занят был настоящей своей собственной, насущной работой, то, уверен, все это меня несравненно бы менее интересовало. А при данных условиях — уподобляюсь «бывшему человеку», и, каюсь, некоторую отраду в выходе книжки нахожу. Знаю, впрочем, что — преждевременную. Ибо взгляну на нее, и, верно, сердце сожмется от содеянной ошибки. Жаль, очень жаль, что вещи лучших лет были у меня пожраны «пожаром 1912» — весной пятнадцатого[5].

Как дела твои, Сергей. Как с Марией Ивановной праздники вы провели? Желаю вам радостно и хорошо Новый год встретить. Здесь пьянство царит поголовное и свирепое и карточные ноктурналии высокоазартного свойства.

Боюсь, будет глаз мне резать первая железнодорожная станция пестротой своей на возвратном пути — до такой он степени укачан волнообразным царством серого цвета и среднего человека. Ну, да я и тут найдусь и, понятно, не поддамся. Это — не Урал. Там, прошлый год, чудо как хорошо было! Здесь я прямо нахалом стал — не вижу пред собой ни возраста, ни положения и, случается, скандалю.

И не рассказать, как меня порой на волю тянет. И занятие же! От степени моего рачения, *между прочим*, зависит, попадает ли данный азиат в 4-й серный или в 4-й гренадерский[6].

Твой Б. П.

Сердечный привет Марии Ивановне. За сообщенный адрес Николая благодарю.

Впервые: «Встречи с прошлым». Вып. 8, 1996. — Автограф (РГАЛИ, ф. 2554, оп. 1, ед. хр. 55). Датируется по содержанию, дата получения, поставленная Бобровым, — 31 дек. 1916 г.

[1] 27 нояб. 1916 Пастернак послал Боброву для Третьего сборника «Центрифуги» «Два посвящения», но 11 дек. срочно телеграфировал: «Выпускай альманах без моего участия. Посланное тебе ниже критики. Живу в условиях, невозможных <для> настоящей работы. Белого получил вчера. Рад бы писать, сплошь недосуг, <что> зависит <от> многого» (там же. С. 259).

[2] Рецензия на книгу А. Белого «Гёте и Рудольф Штейнер в мировоззрении современности. Ответ Эмилию Метнеру на его первый том "Размышлений о Гёте"» (книга вышла в ноябре 1916 г. — на титульном листе: 1917 г.) не была написана.

[3] Речь идет о печатании книги «Поверх барьеров»; еще 19 дек. 1916 Пастернак запрашивал Боброва: «С наступающим тебя и супругу. Телеграфируй состояние книги = Пастернак» (там же).

[4] А. А. *Экстер* не оформляла книгу «Поверх барьеров».

[5] Имеется в виду пожар дома Филиппов 28 мая 1914 г. от погрома.

[6] То есть останется ли он на заводе в 4-м серном цеху или пойдет в армию в 4-й гренадерский полк.

151. С. П. БОБРОВУ

30 декабря 1916 — 2 января 1917,
Тихие Горы

Милый друг Сергей!

Письмо это опустит в почтовый ящик в Москве Анна Самойловна, г-жа Карпова, по прибытии своем туда. Она пробудет в Москве неделю, а потом воротится сюда в десятых числах января. О том, как разыскать тебе ее, буде это понадобилось бы, сейчас сказать не возьмусь. При случае сможешь справиться о ее местонахождении по телефону у Елены Эмилиевны, г-жи Виллер. № отыщешь в телефонной книжке: А. Э. Виллер, Покровка, Введенский пер. д. 16 (или 14).

Надежды мои, возлагавшиеся мною на праздники, потерпели крушение. Ты не поверишь просто, как адски я занят был вплоть до самого сочельника конторской ерундой. А тут еще подоспела объявленная здесь на первые числа января явка к поверочному переосвидетельствованию белобилетников 1909–1901 г. Как я уже тебе вероятно писал — «воинским столом» и сношениями с Воинским

начальником, Комитетом, Воинским присутствием и т. д. заведую я; в нашем Манчестере белобилетников таких до 500 человек; все они по роду занятий, по документам и т. д. в высшей степени разнообразны: ибо нет, я убедился в этом, такого человека, который был бы только белобилетником и ничем другим бы не был; в худшем случае он хоть бы балбес или голоштанник, а то и татарин. Привести эти пять сотен разнообразных к необходимому единообразию и притом соблюсти непобедимость ошеломляющего их разнообразия должен был я. И всю эту неделю приводил, значит. И только сегодня привел. А если не привести, то «парень солдат ходить будем; а мы — сульпат работам, третьей серной работам»; или «бадалип работам» (водоливом состоит). А сегодня уже 30-е число. Но ведь завтра все равно весь день сидеть в конторе. Разница только та, что вернусь домой в положенное время и вернусь без головной, быть может, боли. Ты не устаешь повторять мне: Николай, Маяковский, Белый. Что ж ты в самом деле думаешь, что лень мне писать? Ведь о Николае сам я вызвался писать. И кое-что уж набросал. Но дальше набросков этих дело у меня, не по моей, конечно, вине, и по сей день не подвинулось. О Николае все же, быть может, напишу. Тогда эта статья попадет тебе в руки вместе с сим письмом. Что же до Маяковского и Белого, то я толком даже и не видал их, как этого требует задача. На днях я отказался от службы, но освобожусь не ранее 1-го — заместителя нет[1].

Сергей, я был на переосвидетельствовании и был забракован. На учете я не состою. Случилось это недавно. Досадно, что сроки так сошлись: вплоть до первого буду я занят, как собака, а к первому тебе все просимое тобой представить надо, и нет его еще у меня. Того хуже: поездка Карповых в Москву = возможность пересыла в 3-х дневный срок. (Они поедут на курьерских и 270 верст в сутки отжарят.) Уже на следующий по их отъезде день — посылка неминуемо насладится обычной восьмидневной волынкой.

А едут они — как это тебе понравится? — второго. Все это приводит меня в бешенство. О Маяковском я в письме тебе, каюсь, пересолил. — Может, напишу о нем (если это к отъезду Карповых готово не будет, ты рецензий раньше 15-го и не жди). И не злобствуй; рассуди: с первого становлюсь я только человеком; второго едут они; и в праздник трудно, невозможно здесь замкнуться в себе: завод, интеллигенты; а только и остается в моем распоряжении, что один этот день; и не в моей власти сократить почтовые проволочки.

О рецензии на Белого и не думай. Надо же хоть раз его вперед прочесть! И мне бы очень не хотелось Белому в руки оружие отда-

вать. И как возликовала бы антропософия, имея власть и силу <охудить> наше на нее нападение. Я говорю «имея», а не говорю «имей она»[2].

Поспешность здесь приводит к первому, осмотрительность — ко второму. Ну, не Самуил ли Смайльс[3]. Следующей темой явится, вероятно: бережливость, а затем. — А затем. Вот что. Третьего только дня получил я известие из дому, что из «Летописи» торжественно прибыла турнутая оттуда рукопись старинной моей прозы. Это «Черта Апеллеса» или «Черта Апеллесова», или, как найдешь лучше, если она тебе подойдет. Евг<ению> Герм<ановичу> она нравилась чрезвычайно[4], Костя тоже очень сочувственно отнесся к ней. Получить ее можешь у родителей. Если возьмешь, припечатай: Борису Збарскому.

Жаль, что дома все свои бумаги в беспорядке побросал и даже не помню, где, а сюда ничего не повез. А то, помнишь ты сказку про Карпа и Нафталена; вот дай напомню тебе:

Раскладай, торгаш, свой скарб,
На небо воззрися.
Видишь сытый, сытый карп
Оплывает выси.

Попроси по телефону брата, если хочешь; скажи, пусть поищет на этажерке внизу; рукопись напечатана на машинке; ищет пусть среди беловых; может быть они у меня отдельной стопой положены; сейчас не помню. Посвящена она была Ксении Михайловне[5] (это на случай печатания).

Относительно «Апеллесовой» сам сказать затрудняюсь. Карп красочен, сгущен и техничен; по технике «Апеллес» — не на высоте современности. Там ты немало найдешь вздора. Но написана была вещь с увлеченьем и с подъемом. Может быть эти качества пропорционально связаны. Может быть сугубая техничность (я ведь чертовски мало на своем веку работал, стыдно сознаться и даже страшно несколько, я все бросал и бездельничал и мяк на заработках у Филиппов; и наторелости у меня нет никакой), — может быть сугубая техничность, по моей неумелости, подъем изложения исключает, отымая много сил на вертикальные насыщения и для горизонтальной стремительности их не оставляя. Одно скажу тебе. С той весны, как я написал «Апеллеса», я делал не одну попытку прозой заняться, клонясь в сторону техничности. И не в силу ли этого остались они бесплодны? Так что осу-

дить совершенно «Ап<еллесову> Черту» я не мог бы по справедливости.

По приезде сюда я урывками набрасывал кое-что по интуитивно предпосланному наброскам предвкушению технического рая. Мертворожденные строки. Тогда само отчаянье пришло мне на помощь, как перерождающий человека пароксизм болезни. Я стал что-то писать. Незаконченное и почти бессюжетное, очень личное впрочем, прозоизлияние это чем-то напомнило мне «Ап. Черту». Духом своим, может быть, и тем как раз, который мне мешает «Ап. Черту» забраковать. Вещь наивнее <и> тусклее «Черты». Я мог бы ее обработать и тебе послать, если проза вида «А<пеллесовой> Ч<ерты>» тебя не отталкивает совершенно. Ты знаешь, что со мной обо всем этом можешь говорить свободно и не обинуясь. Дилетант, вероятно, на деле, я по принципам моего душевного строения никогда им не был и не буду. Мне вообще временами становится грустно до безысходности; отбросив в сторону всякую скромность, скажу тебе, что еще помню я себя жившим в обладании какого-то общего дара, который был физиологией моей, и радостной какой-то обыденщиной, и еще многим чем; — представь себе, я установил его полное исчезновение. Как это возможно? — Я и не пытаюсь это явление осмыслить. Но исчезновение его — так страшно, так таинственно, и, фатальной бесшумностью и бесследностью своей так загадочно прекрасно, так интересно! Это ведь грандиозно, Сергей, по торжественной своей горечи! Ясно, что проворонил я гибчайшее время, навыков никаких не приобрел, немногие свои познания растерял окончательно, и вот, выродился в тип невежественного дилетанта. Я не жалуюсь. Ты ведь видишь, я говорю об этом тоном пустынных актовых залов.

Книжки я еще своей не получил по вине почты. Но уже знаю о ее выходе. Спасибо тебе, Сергей, за заботы твои о ней. В какие редакции разослал ты ее для отзыва? Не забудь, *среди прочих* «Летописи», «Русских Ведомостей» и «Речи».

Дорогой мой Сергей!

Получил книгу[6]. Чудно ты ее издал, чудно отцу отнес, он писал мне; от души тебя благодарю. Есть досадные опечатки и немало их, — но и так уж книжка так хорошо, так хорошо, так дружески, верно, горячо, сочувственно и мужественно издана, что хоте-

лось ехать мне в Москву, академику моему на письмо его ответить[7] и тебе на письмо и на присланную книгу.

Ах, Сережа, надежды мои на освобождение с 1/I летят к черту; нет заместителя. Посылаю тебе с Карповым страшный вздор о Николае, переработай его, если нужно, и сократи, мне недосуг[8]. Возможности нет сосредоточиться. Спешу страшно, только что закончил статью, через час подадут лошадей, а мне своим еще написать нужно. Сходи к ним, милый, возьми рукописи, да зайди посиди у них, отец пишет, извозчик тебя тогда ждал. Впрочем, я и брата попрошу о том, чтобы он тебе рукописи снес, — не знаю, кто резвей из вас будет. Как прочтешь «Черту», напиши мне о ней, что думаешь. Как-то попрекнул ты меня Свинберном, Сергей, — безответственно, мол, это. Я знаю. Да ведь надо чем жить. На перевод С<винберновых> драм смотрю, как на заработок. Наверное не тебе предложу — какому книгоиздательству — не знаю; но на ЦФГе зарабатывать неловко мне; хочу (с продажей в полную собственность) по 50 р. за печатный лист (не меньше) запросить; а за две драмы это рублей 900–1000 составит.

А очередная книжка у меня для вас — книга прозы — эдак к весне, что ли. Но это уже в зависимости от того, как ты найдешь «Черту». Впрочем, выше я уже писал тебе об этом.

Ты пишешь, тоскуешь, Сергей. Да и мне тут несладко. Сейчас вру. Книга чем-то страшно порадовала меня. Тем, что в ней от ЦФГ, и тем, что обещает она.

Тороплюсь закончить, Сергей. Крепко тебя целую. Обними Локса. Я ведь писал ему и хорошо писал. Разве письма моего не получил он? Сейчас написать ему не успел. На днях напишу. Привет Вермелю, если его увидишь. Он мне писал, никак не могу собраться ответить ему. И не сердись, Сергей. О Николае написал главным образом потому, что тебе не хотелось во всем отказать; а писать наспех ой как противно!

Пиши, пиши, Сергей. О книге можешь не писать, надоело, небось, тебе уже говорить о ней и не надо. Ты уже много мне о ней радостного сказал, много, много; и теперь мы уже о ней говорить не будем. «Надо о завтрашнем дне подумать!»

Твой Б. Пастернак

P. S. Спасибо за высланные 10 экземпляров. Если понадобятся еще, зачти мне в счет будущего гонорара, иначе я не желаю; знаю ведь, что в убыток тебе это все[9].

Твой Б. П.

Впервые: «Встречи с прошлым». Вып. 8, 1996. — Автограф (РГАЛИ, ф. 2554, оп. 1, ед. хр. 55). Датируется по содержанию. Бобров получил письмо 15 янв. 1917 г.

[1] В 20-х числах дек. 1916 Пастернак писал родителям: «Явился очень удобный предлог и повод от службы в конторе вовсе отказаться <...> С первого января или с первых его чисел я снова освобождаюсь на целый день и надеюсь все свободное время с той же пользой для себя употребить, как и первый месяц здешнего моего пребывания» («Знамя», 1998, № 5. С. 178).

[2] Отказ Пастернака писать рецензию на книгу А. Белого Бобров не счел убедительным. Через две недели пришлось телеграфировать ему снова: «Озадачен телеграммой. Писать <о> Белом отказался категорически <в> большом письме со статьей <об> Асееве, доставленном тебе Карповой. Там же писал <о> назначении рукописей. Дошлю только <о> Маяковском. Больше ничего не жди. Будь другом, отличай свои пожелания от моих намерений. Да, что могу. Альманах задерживать нечего. Привет» (15 янв. 1917; там же. С. 266).

[3] Сэмюэл Смайлс — английский философ-моралист, автор книг «Self-help» (русский перевод «Самодеятельность»), «Характер», «Расчетливость», «Долг», «Ум и энергия».

[4] Лундберг хотел опубликовать новеллу в «Современнике» (см. письмо № 99), но напечатал в 1918 г. во временнике «Знамя труда».

[5] «Сказка о Карпе и Нафталене» с посвящением К. М. Синяковой-Асеевой не была опубликована, рукопись не обнаружена.

[6] Выход книги «Поверх барьеров».

[7] Письмо отца с отзывом на книгу — «письмо академика к футуристу», как назвал его Б. Пастернак в письме 3 янв. 1917. Л. О. Пастернак был выбран действительным членом Академии художеств в 1905 г.

[8] Статья Пастернака о книге Ник. Асеева «Оксана» предназначалась для несостоявшегося Третьего сборника «Центрифуги»; сохранилась в архиве С. Боброва.

[9] Нужда в добавочных авт. экз. появилась вскоре; 14 янв. 1917 Пастернак просил о новой посылке: «Благодарю Аксенова. Жду 10 экземпляров. Телеграфируй получение рукописей = Пастернак» («Встречи с прошлым». Вып. 8, 1996. С. 266). Благодарность Аксенову, вероятно, объясняется его отзывом на книгу «Поверх барьеров», которую в письме Боброву он называл лучшей за год (18 февр. 1917; РГАЛИ, ф. 2554, оп. 1, ед. хр. 6).

152. РОДИТЕЛЯМ

1–3 января 1917, Тихие Горы

Дорогие мои! С Новым годом! Какой счастливый Шура наш! Как завидую я ему, что он лично знаком со щенком Росцием[1]. Будь я в таком положении, я бы превкусно утолил те свои желания, которые сейчас ненасытимы и этим надолго отравили мне мой душевный покой. Ах, я искал бы случая встретиться с ним во вполне русском интеллигентном кругу «живущих искусством» экс-Фейнбергов (к примеру) или Герцбергов. И в разгаре самых Врубелианских бесед, я, так вполоборота, через стол (предварительно втянув его в беседу с обворожительно предупредительной почтительностью), мило и хладнокровно бы заметил, — в ответ на какое-нибудь идеологическое утверждение его: «Какая у вас рыжая борода» или «Скажите, Росций, к какой породе мухоморов причисляете вы себя?» А затем, окатив его неожиданностью этого перехода, — упомянул бы о всех тех истинах про критика и незаменимую насущность его назначения, которые не могут быть ему самому неизвестны и не могут не отравлять ему втихомолку существования.

Как великолепно вышла у него например его рецензия о «супрематистах»[2], где меж строк стоном прорывалась затрудненность судьи, попавшего в совершеннейшую ловушку, и где это дрыганье приводило сего прелестного к признанию талантливости в конце концов за всеми; к признанию, варьированному на разные лады, чтобы читатель не подумал, что Росций отстал, и чтобы читатель не застиг Росция без штанов, неспособного произнесть ни одного человеческого слова. Трогательное ничтожество; как мило барахтаешься ты и какие у тебя очаровательные лапки!

Ты конечно догадываешься, папа, что статья о Союзе и ее ослепительный конец попались на глаза мне сегодня[3]. Нет злее мести вше, чем, случайно оговорясь, после многократных почитаний ее насекомым, инзектом, культурным деятелем или еще как иначе, вдруг по «какой-то необъяснимой оплошности» назвать ее — нет, не вошью, но тем именем, каким — бывают же минуты вшиной искренности — ну хотя бы когда вошь разводит детей и обзаводится домком — тем именем, каким она сама называет себя в эти минуты.

Но к черту его. Когда я голый стоял перед приемочной комиссией, некоторые из членов ее стали бормотать: «Пастернак, Пастернак....?», что-то припоминая. (Что, я потом как-нибудь расскажу.) — Резкий конец этому бормотанью положил молодой военный врач в форме, бросив в сторону всех этих усов, эполетов и гражданских воротников сухо и отрывисто — «это знаменитый русский художник» таким тоном, каким на экзамене говорят: «деление это такое действие, в котором по двум данным числам находят третье так, как и т. д.» «Да» — согласился я с ним и тут же прибавил: я — его сын. Тут этот военный мною завладел окончательно, стал меня класть, мерить, находить какие-то атрофии и т. д. и очень торопился, потому что городской врач (тот, кому было замолвлено словечко), паршивый старик à la Котик, к крайнему моему изумлению и ужасу, стал протестовать, говорить о каких-то уничтоженных статьях, о неправильности и т. д.

А этот военный врач, даже на врача и не похожий, а скорее на офицера типа душки Аркадия, — вселивший в меня немало опасений в тот миг, как я его за столом увидал, офицер этот, ничего обо мне не знавший — меня все-таки отстоял; и сделало это только твое имя, папа. Эта подробность сообщила совсем особую восхитительность всему происшедшему; я ощутил в себе поток самой нервной какой-то признательности к этому молодому офицеру с таким открытым лицом, за то, что он знает тебя. Мне хотелось познакомиться с ним потом; но лошади были поданы и надо было до темноты выехать из Елабуги. Я узнал, что его зовут Морев.

Сегодня я получил Лидино письмо с твоей, папа, и с маминой припиской. Поздравляю тебя, папа. Очень хотелось бы посмотреть на портрет Левиной; жаль, что не придется: когда окончится выставка, он поступит вероятно в обладание владельцев. Лидочке большое спасибо за письмо. Но вероятно не читали вы

моих писем, ты и мама. — Так чувствуется. У Лиды проскальзывает упоминание о какой-то посылке. Кроме той, которая вместе с бельем прибыла, никакой другой не было. Верно еще придет[4].

Телеграмму вашу получил. «Посылку получили спасибо стихи вышли благополучно родители». — Еврейская телеграмма. Сжатость, деловитость и официальность глядят из-за каждого слова. Мне стало грустно почему-то; я не почувствовал жизни ни за одним из этих слов. Благополучно, говорите вы? Письмо это непосредственно переходит в ряд поручений.

1) Шура, отыщи на этажерке внизу среди беловых (переписанных) рукописей «Сказку о Карпе», которая у меня на пишущей машинке переписана и сложена, кажется; посмотри, чтобы вся она была, с началом и с концом (начало: Заглавие и описание восхода Солнца, конец — моя подпись). Эту-то рукопись, как и возвращенную из Летописи «Черту Апеллеса», — *обе* передай Боброву, который за ней зайдет или пришлет кого-нибудь[5].

2) [Позвони Локсу (телефон спроси у Боброва); если Локс будет спрашивать обо мне, скажи, что я огорчен тем, что он мне ничего на письма не ответил, а писал я ему дважды; одно большое и другое, маленькое — письма. Но поручение состоит не в этом, а в том, чтобы взять у него № моего «Современника». Получив его — как именно, ты сговоришься с ним, — присоединишь к той массе покупок, которые вам предстоит еще сделать для меня и с Анной Самойловной переслать.][6].

3) Собери то, что приготовлено вами для меня на тему о Марии Стюарт. Если это еще не сделано, *надо это обязательно сделать*. Надобность в этом не ниже потребности в туши, готовальне, физике, рубашке, кобальте и т. д. Мне это нужно, чтобы заработать деньги. Вы кажется думаете, что я за шоколадом собираюсь развлекаться превратностями жизни Марии Стюарт и ее приключеньями?

4) Если это не затруднит папу, был бы страшно благодарен ему за экземпляра два «Воскресенья» в Сытинском издании[7]; можно, впрочем, и один экземпляр.

5) a) Пары три манжет 26–27 № (но не папиных — велики.)

b) Несколько воротников

c) Черный галстук самовяз длинный (купить).

6) Купить: дюжину ножей для бритвы «Gillet», настоящих, не имитацию (я купил американские у Мерилиза, пришлось бросить, совершенно тупы). Можно на Тверской у Майера или кажется у того, фамилия которого «Сон».

Дорогой папа! Письмо твое привело меня в истинное безумие! Вот все, чего я желал! Книга выполнила свое назначение. Я удовлетворен. Я так страдал всегда от того, что ты во мне собственных черт своих не видел; что ты мерил меня мерилом посредственности; что не находя их во мне, жаловался на отсутствие контакта с тобою, меня в этом виня; что называл клоакой то, что воспитало «Барьеры», что их переплело в голубую обертку и на извозчике доставило тебе их на дом[8].

Ты скажешь: одно дело Бобров и ЦФГа, другое ---*; но ведь ты валил все в одну кучу. О, я не укоряю тебя, что за мысль, дорогой, я только рисую тебе картину моей боязливой настороженности перед выходом книги[9], моего ожидания недовольства с твоей стороны и апелляции к Левину или Эттингеру; — и степени радостной озадаченности моей затем, когда я распечатал твое письмо![10]

Спасибо, спасибо, спасибо. Без конца!

Книга от Боброва и письмо от вас пришли одновременно. Я раза три перечел твое письмо, пока решился вскрыть бандероль. Ах, это письмо твое! Я им горжусь: письмом академика к футуристу. Кому-то Гюго так писал из начинающих, и потом надежд Гюго не обманувшему, сейчас не помню кому. Ну это ли не счастье! Чудный Бобров! Как он постарался! Ты не ошибаешься; он трогательно предан мне. Но теперь я не мальчик уже. Дружба дружбой, а дело делом. Я и сам люблю его и ценю за остроту понимания, за эрудицию, за нервность его, за его идеологию, за его верность в отношениях. А как часто я его обижал!

И *мне* нравится книжка. Что ни говори — она — реальна, возможна, не случайна, и мало на что-нибудь, кроме себя самой, похожа. Ее и письмо — получил в конторе, после обеда, значит у подошвы шестичасового подъема, восхождение на который предстояло мне. Как я высидел, не знаю!

Вот уже 3-е января, а я все еще не свободен, заместителя нет. Да, о книжке! Жаль — куча опечатков. Это огорчает меня, местами до чудовищности. Что делать, за то я в Бóндюге сижу (название завода).

Папа, убеди Шуру исполнить то, о чем прошу, лучше даже отнести это Боброву: Погодинская, 4. 45.

Это надо на трамвае до средины Девичья Поля доехать, и там городового спросить, оба конца займут не более 40 минут. А то они (Бобров и Вермель) альманах из-за меня задерживают. А насчет

---

* Так в письме.

Марии Стюарт, пока достаточно; хотя, конечно, это не то, что мне хотелось. Надо было в энциклопедическом словаре под М. С<тюарт> посмотреть литературу (в конце каждой статьи прилагается) и выбрав наилучшую среди имеющихся в продаже биографий, купить и прислать мне. А то в О'Нейле, то что мне интересно (о Шастеляре) расписано на полутора страничках.

Для всех покупок ссудите меня деньгами, запишите, сколько истратите на меня, и потом сочтемся. Сейчас у меня деньги тут разошлись, но абсолютно не нужны (через неделю жалованье получу); и послать не могу, а бумаг тоже трогать не стоит.

К покупкам присоедините: Книжку: Райн. Мариа Рильке «Записки Мальте Бригге», русский перевод, издание Некрасова два томика — хочу подарить ее Анне Самойловне.

Хорошей почтовой бумаги (у Аванцо или Дациаро) под полотно или еще какой, пусть папа, если будет случай, выберет подарить — Фанни Николаевне. Но очень хорошей, не жалкой и не претенциозной.

Я это подарю от себя, здесь, так что вы это просто во всю посылку заверните. Хорошо бы еще книжек ребятам здешним трем, двум — сытинские детские какие-нибудь художественные (Элику и Юре), — а старшему Карпову — немецкую: сказки, что ли, Андерсена или Гауфа[11]. Если есть у девочек и не жаль им расставаться с ними и чистые они — их бы. Только не Spielmann[12], вообще не стихотворные. Немного, по экземпляру на брата.

Ну вот и все относительно поручений, кажется. Черт знает, на что я годен! Я абсолютно неспособен сейчас, перед отъездом Карповых припомнить все то, что мне казалось нужным написать вам и поручить.

Итак 1) Боброву две рукописи.

2) Мне — книги — перечисленные в письме[13] (покупки).

3) Бритвенных лезвий, 1 галстук (покупки).

К галстуку присоединить имеющиеся в шкафу 2 моих черных коротких «до неузнаваемости» черных галстука.

Манжет и воротников (не покупать, из запаса).

Ну целую вас крепко. 1917 г. начался для меня хорошо; мне еще в 1913 г. казалось, что счастливыми будут 13-й и 17 год.

Как бы не сглазить[14].

Вот моя программа

а) 2 переводных (стихами) драмы Свинберна (одна уже готова, к другой приступлю) — издам не в ЦФГ, ибо неловко, они заработные и денежно спекулятивные.

в) После войны переиздам «Разбитый кувшин», может быть в ЦФГ, отдельной книжкой со вступительной статьей.

с) Книга художественной прозы подобной «Апелл<есовой> Черте» (ЦФГ). 3 вещи: сказка, Апеллесова Черта и новая вещь, которую начал и бросил, отвлеченный конторой, уже готовы.

Это из того, что уже намечено. Выступать надо часто и бить настойчиво в одно место, которое называется: Борис Пастернак.

P. S. Посылка получена. Збарские пишут в ответ.

Ради Бога: 1) простите за приложенное тут, датой запоздалое письмо, за его брюзгливость.

2) Не посылайте конфет и сластей, что за излишняя расточительность; я этого не желаю; больно и глупо.

3) Будьте здоровы и счастливы.

P. P. S. Если узнаете что о книге, при случае пишите. Ты, папа, прав; конечно, сидеть в этой дыре лучше, чем в ней не сидеть. Ну крепко вас всех обнимаю и целую.

Ваш Боря

P. P. P. S. Посылаю вам окорок, который надо еще запечь: если нет у нас русской печи, есть у кого-нибудь на дворе, отдайте запечь и кушайте на здоровье. Как дошла посылка гусиная?

A propos. Купите мне конвертов хороших (вроде того, в котором это письмо лежало) и почтовой бумаги финляндской руб. в 1,50—2. Ну спешу. Они уже едут. Получили ли письмо мое об освобождении?[15]

Ваш Боря

Маме — геркулесовской бодрости и здоровья от всей души и всем.

Кланяйтесь Энгелям, Гене[16], всем, всем. Чтобы *не спутаться*, дети, *перепишите все поручения на отдельный листок*. Самому нет времени, как нет и возможности поблагодарить вас по-настоящему за дорогие ваши письма. Но ни Жоня, ни Лида, я знаю, не будут настолько глупы, чтобы со мной письмами считаться.

Боря

Впервые: «Знамя», 1998, № 5. — Автограф. Датируется по содержанию. В конверт вложены также две приписки на отдельном листке, относящиеся к написанному 1 янв., — одна красным карандашом: «Письмо написано до получения посылки и главное — папина письма о “Барьерах”»; другая приписка — чернилами: «Поручения, кроме О'Нейля и Современника остаются в силе».

[1] Литературный псевдоним художественного критика А. М. Эфроса, отзывавшегося с неизменным недоброжелательством о Союзе Русских художников, одним из членов-учредителей которого был Л. О. Пастернак.

[2] Статья Эфроса о «Бубновом балете» — «Русские Ведомости», 8 ноября 1916.

[3] Статья о выставке Союза Русских художников («Русские Ведомости», 21 дек. 1916), в которой Эфрос упрекает это объединение в отсутствии «свежести, силы, разнообразия, движения вперед». Особенно рассердил Б. Пастернака *ослепительный конец* статьи, посвященный представленным на выставке портретам Е. Я. Левиной, «хорошо вписанному и крепкому», и В. А. Маклакова, который «похож, с ним можно раскланяться, — но и только». «Возмутительный тон по отношению к папочке» заметок А. М. Эфроса в «Русских Ведомостях» вспоминал Борис Пастернак и через 12 лет в письме 16 нояб. 1928 к О. М. Фрейденберг. (Благодарим американскую исследовательницу Риму Салис, чьей работой мы пользуемся для этого комментария.)

[4] Красным карандашом вписано: «Теперь получена. Теперь объяснилось».

[5] В письме 11 янв. 1917 Пастернак писал: «Я сдал "Черту Ап<еллеса>" <...> в Бобровский Альманах (выйдет в феврале). Мне хочется видеть ее в напечатанном виде, это до некоторой степени лабораторный опыт: дилетантские вещи всегда в рукописи лучше, чем в печати; вещи настоящие — наоборот. А потом повести пойдут отдельной книжкой, если результаты лабораторного опыта издателя и автора удовлетворят» («Знамя», 1998, № 5. С. 184).

[6] Второе поручение вычеркнуто красным, и по полю записано: «С получением посылки требует поправки».

[7] Л. Н. Толстой. Воскресение. Под ред. и с примеч. П. И. Бирюкова. С рисунками академика живописи Л. О. Пастернака. Типография Товарищества И. Д. Сытина. М., 1915.

[8] *Клоакой* родители называли обстановку дома Синяковых (см. письмо № 122).

[9] В 20-х числах дек. 1916 Пастернак, вспоминая свои разговоры с отцом, не понимавшим его стихов, и в ожидании выхода книги признавался, что боится, как бы она не стала «новым огорчением для папы, который наверное откроет в ней высокую наличность всевозможных "кички-пички". Заранее прошу, — продолжал он, — этой темы не касаться. Я ведь ясен тебе, папа, по поведению моему и поступкам, по мыслям, по вкусам и т. д.; по письмам. А литературу мы оставим в стороне» (там же. С. 179).

[10] По поводу «апелляций» отца к мнению друзей, Пастернак писал 11 янв. 1917: «На меня обыкновенно наводят ужасную тоску и печаль те суждения, из которых с необходимостью следует, что было бы мне лучше от *"моих странностей"* освободиться, ибо-де у меня есть способности и пр. и жаль, если и т. п. А это бывало иногда (например, Павел Давыдович, Юшкевич): ведь эти "мои странности" и есть то как раз, что сказывается вероятно в образности моего языка, в стиле, в выборе тем и т. д.; иными словами это и есть те мои "способности", с которыми даже другим жаль

расставаться, даже советчикам, а мне-то, конечно, и подавно» (там же. С. 183).

[11] *Элику* Збарскому, *Юре* и Володе Карповым. В следующем письме, 11 янв. 1917 Пастернак изменил свою просьбу: «Если ко времени получения этого письма Карповы будут еще в Москве и вы успеете это сделать, купите недорогое издание "Князя Серебряного" (Алексея Толстого) и присоедините к книгам; я его хочу Володе Карпову подарить. В таком случае, если книги немецкие ему *еще не куплены, то и не надо покупать, а дать просто какие-нибудь немецкие сказки* (Андерсена или Гауфа или скандинавские что ли там какие) из детского шкафа на прочтение, если девочки позволят или если их щедрость до этого дойдет — в полное ему обладание. Но вообще-то говоря немецкая книга такого рода необходима мне для занятий моих с ним. В отсутствие Ан<ны> Сам<ойловны> я с ним провожу больше времени, чем обычно, рассказываю ему много и за ним наблюдаю» (там же. С. 183).

[12] Серия дешевых детских изданий «Der Deutsche Spielmann» («Немецкий музыкант»).

[13] То есть в письме 1 янв. 1917, вложенном в тот же конверт.

[14] Вернувшись в Москву весной 1917 г., Пастернак снял ту же комнату в Лебяжьем переулке, в которой жил в 1913 г. «Я поселился здесь вторично / Из суеверья...» (стих. «Из суеверья», 1917).

[15] Речь идет о письме № 148.

[16] Генриетте Петровне Лунц-Орловой.

153. К. Г. ЛОКСУ

12 января 1917, Тихие Горы

Дорогой Костя! Я очень перед Вами виноват. Но все же, согласитесь, не в такой степени, как Вы предо мною.

Отчего Вы оставили совсем без ответа то мое письмо, которое Вам было написано месяца два назад?[1] Для меня это с месяц уже как стало загадкой, с тех самых пор, как я перестал ждать от Вас отклика на него. Меня это огорчает, но и только: я хочу сказать, что Вас это ни к чему ровно не обязывает. И, примирясь с этой мыслью, я уже не стану задавать Вам вопросов в этом письме. Надо уметь лелеять хоть тень надежды на то, что на них последует хоть тень ответа; а Вы в этом смысле друг ненадежный. Сергей часто пишет мне о Вас, и однажды из одной такой реляции я узнал о Вашем недоумении по поводу моего, — как говорят в таких случаях, — молчания. За это-то недоумение и хватаюсь я сейчас, вознамерившись побеседовать с Вами, дорогой мой; а то за разгадыванием «молчания» *Вашего*, не имей в руках я Вашего недоумения, я наверное потерял бы всякую веру в то, что для Вас

мое существование не вовсе безразлично. Как ни запутан этот период, синтаксически он безупречен; иными словами, вопрос этот можно почесть исчерпанным. Я встретил Новый год (как нелепо было бы тут поставить точку!). Каждый естественно ждет окончания фразы: обстоятельства образа действия. Обстоятельства? Вот: — шампанское, 80 человек народу обоего пола, ужин после первых, чай после вторых петухов; разъезд в восьмом часу утра. Образ действий? — Нно — это — неудобно. Новый год я встретил сносно, но скучно. Теперь скажу Вам серьезно. Я верю в этот год. Сейчас Вы уличите меня в эгоизме. Хорошо. Я верю в этот год, он начался для меня недвусмысленно хорошо: три первых дня его сплошь (лучше сказать трое суток — я спал в течение этого времени дробным каким-то сном в четыре приема, не проводя различий между ночью и днем) — трое суток — мною владела какая-то осточертелая осатанелость, я многое набросал, одну вещь (вроде новеллы, только получше) закончил и переписал, многое в себе и себе выяснил[2]. Вру. Это все было 26-го и 27-го декабря — когда конторы как не бывало. Но 48 рождественских этих часов так на 16-й год не похожи! Вот отчего я начал с них этот 17-й год. Может быть, это его ворс, и выделка? Может быть, вся штука того же качества, что и этот образчик? Я посвящу Вам эту вещь, если не напишу лучшей.

В этом году— Но, Костя, я суеверен! Мне хочется работать, я знаю и чувствую, что могу, и, если это угодно Богу, я буду много и часто выступать. Центрифуги, думаю, я не опозорю, дело ЦФГи считаю я делом родным, и если у ЦФГи есть еще деньги, мои выступления будут выступлениями ЦФГи.

Книжка моя пестрит опечатками. Злит это меня немало. Но Сергей так прекрасно ее издал, что, глубоко растроганный его заботами, я этого недостатка сразу и не заметил, а заметив, тут же как-то и забыл. А более всего подкупает меня в Сергее его непредубежденность в отношении ко мне. Он, конечно, страшно преувеличивает в своем воображении размеры моих данных. Но, имея полное право игнорировать мою индивидуальность (я ничем ее еще не проявил, а между тем становлюсь в позицию, не зависящую ни в чем от программы футуризма) — *он* — (это, Костя, проявление благородства очень высокой марки) — *он правом этим ни разу не воспользовался* и веры моей в мое дело ни разу ни в чем не пошатнул. Напротив. Мне приходится часто, и не из скромности одной, его сверхмерный пыл охлаждать. Я не говорю о Вас, Костя. Это ведь явно излишне. Вы первый сказали мне, что мне надо

делать, и взяли меня под свою защиту, когда в этом была нужда. Излишне говорить также, какие это все во мне вызывает чувства. Прозу, — если я когда-нибудь научусь писать — прозу писать научили меня Вы.

Отчего Вы лишаете меня Ваших писем, Костя? Я так ждал их от Вас. Или я и впрямь совсем Вам не нужен? — Костя, я прерываю это письмо на полуслове. Я уже не раз писал Вам за это время и расписывался до бесконечности. А так как это форма для писем неподходящая, то Вы их и не получали. А я все же хотел бы до Вашего слуха долететь. Целую Вас крепко.

Любящий Вас

Б. Пастернак

Впервые: «Минувшее», № 13. — Автограф. Датируется по почтовому штемпелю

[1] Имеется в виду письмо № 138.

[2] Вероятно, «История одной контроктавы». По поводу этой работы Пастернак писал родителям: «...Я окончил и переписал вещь стиля "Апеллесовой Черты", но многим ярче и серьезнее этой вещи. <...> Это было на Рождестве 26-го и 27 числа, вернее с ночи на 26-е. Я вскочил ночью, увидя всю эту вещь от начала до конца и не в состоянии будучи заснуть, встал и начал писать; писал двое суток, засыпая по ночам на пару часов и просыпаясь с продолжением этой вещи. Но 28-го числа надо было в контору идти (праздники кончились) и вещь пришлось бросить. 7-го я служить перестал, в три дня вещь обработал и переписал. Я не дал еще ей названия. Она оригинальнее "Ап<еллесовой> Черты" и по сюжету и по письму и сильнее по вложенному в нее темпераменту» (11 янв. 1917; там же. С. 183).

154. А. Л. ШТИХУ

Середина января 1917, Тихие Горы

Тихие Горы

Милый Шура!

Ты зарекся писать мне. Ничего. Я своими по временам о тебе осведомлялся. Но вот я узнал от них вчера, что 9-го (день этот уже миновал) тебе предстояла новая явка. Зная, как слаб ты здоровьем, я очень обеспокоился этим известием и теперь заклинаю тебя сегодня же ответить мне, где ты и что с тобой. Как странно, что не воспользовался ты отсрочкой для поправления своего здоровья и устроенья дел! Впрочем, не мне судить.

Против Урала и прошлогоднего житья моего — мое нынешнее местопребывание скучнее могилы — гроб, как сказал бы Миша Либаков[1]. Лысые холмы, дюжины с полторы фабричных труб,

люди, проведшие «всю жизнь в газу», безлесные татарские деревни. Словом, все располагает к работе. Я и работаю. Между прочим, наши сообщают мне о том, что вызвался ты материал мне биографический о М. Стюарт доставить. Большое тебе спасибо за готовность; острота нужды моей в этом несколько притупилась. Жоня прислала мне Антиковскую биографию «О'Нейль М<ария> Ст<юарт>». Если тебе удалось бы найти что-нибудь более богатое фактами и подробностями или же что-нибудь по этому вопросу, *переведенное лет 50 назад* с переводною политической терминологией *того времени* (переводы с терминологией 60-тых примерно годов), то я искренно был бы рад и тебе невообразимо благодарен. Вообще же говоря, особенно в этих розысках стараться не стоит, не стоит их, быть может, и предпринимать. Объекты моих вожделений, знаю, лежат в плоскости публичных библиотек широкого масштаба — и в покупательный фокус не входят. А то, что находится и помещается в нем — вряд ли для моих целей пригодно. Как-нибудь обойдусь и без них.

Что ты поделываешь вообще, Шура. Занимаешься ли с Гейсом?[2] Кого встречаешь?

Виноват я перед Леной[3]. Когда я смотрю на нее и говорю с ней, я на прощанье не могу не пообещать ей писать. Я и вообразить себе не могу иначе. Мне так ясно тогда, о чем и как я ей буду писать: круг тем и тон. И я уехал, заручившись ее словом отвечать мне на письма. — Расскажи это ей, это ведь смешно. Она будет смеяться. — Садись писать. Целую.

Твой Боря

Впервые: «Россия». Venezia, 1993, № 8. — Автограф (РГАЛИ, ф. 3123, оп. 1, ед. хр. 36). Датируется по содержанию.

[1] Неустановленное лицо.

[2] Правильно: Грейс, сын директора кондитерской фабрики Эйнем.

[3] Речь идет о Елене Виноград.

155. К. Г. ЛОКСУ

28 января 1917, Тихие Горы

Дорогой Костя! Спасибо Вам большое за Ваши добрые ко мне чувства. Письмо Ваше получил я вчера, и, как часто это со мной в жизни бывает — в на редкость урочное, нужное время. Я по уши зарылся опять в работу по переводу Свинберна (третьей драмы)[1]:

она до крайности длинна и велеречива; один лишь первый акт растянут на шестьдесят без малого страниц, и, исключая немногие эпизоды, довольно, надо-таки признаться, скучноват этот первый акт.

А я, как это всегда у меня водится (заставить себя работать каким-нибудь иным способом не могу и не умею), пошел на пари с моей же собственной суеверностью, что если, дескать, переведу я шестьдесят страниц в десять дней сроком, то будет то-то и то-то; а если нет, то мне будет так плохо, что род этой недоли и злосчастья уже и в предвкушении его просится в сказку. Мне оставалось еще два дня работы и всего восемь непереведенных страниц. И тут во мне что-то прямо-таки по-кобыльи уперлось и — ни с места. Целые сутки потратил я на покушенья этого вселившегося в мою трудолюбивую душу беса; его невозможно было сдвинуть с места ни лаской, ни угрозами. Я вконец отчаялся пари свое выиграть. Печальные перспективы проигрыша и его провиденциального значения открывались мне. Это до такой степени тоскливо было и глупо (я не шучу), что бежать от самого себя хотелось! В таком состоянии бабьей растерянности и уныния застало меня Ваше письмо. Тороплюсь Вам ответить в особенности еще и потому, что на другой или третий день по отсыле вашего письма Вы получили, вероятно, мое заказное, которое должно было прозвучать для Вас тоном незаслуженной укоризны[2].

Вы очень верно выделили в «Барьерах» существеннейшее их начало: дифирамбическое. Помнится, я уже в весенние свои беседы с Лундбергом (это когда предполагалось наше с Вами сотрудничество в подыхавшем «Современнике») — говорил ему о том, что уже и у символистов, а у футуристов тем более, за очень немногими исключениями, совершенно не оправдана самая условность поэтической формы; часто стихотворение, — в общем никакого недоумения не вызывающее, его вызывает только тем единственно, что оно — стихотворение; совершенно неизвестно, в каком смысле понимать тут метр, рифму и формальное движение стиха. А все это не только должно быть в поэзии осмыслено, но больше: оно должно иметь *смысл*, превалирующий надо всеми прочими смыслами стихотворения. Когда говорят, что наибольшим значением в губернии пользуется губернатор, то на практике понимается это так, что кто бы то ни был, если он губернатор, есть величина по губернии значительнейшая; тогда как на самом деле это должно было бы пониматься так: никто, кроме значительнейшего в губернии, губернатором быть не может.

Все, что говорилось в дни нашей юности о примате формы над содержанием, звучало так, будто форма не только существует,

но вдобавок даже и обладает уже этим превосходством своего значения; тогда как на самом деле эти рассужденья были полусонными выражениями прямо противоположной мысли: что если форма может быть создана (даже и состоящая в прямом потомственном родстве с когда-то живыми предками), то она может быть создана только в виде живого — иррационально осмысленного своею способностью самоподвижности организма. Я ни на минуту не задумаюсь поставить прямое равенство между тем, что называют вдохновением (оно существует) и тем, чего не называют осмысленностью формы. Нельзя писать в той или другой форме, но нельзя также писать и так, чтобы написанное в приливах и отливах своих формы не дало, то есть не подсказало созерцателю своего упрощенного, моментального, родного, однопланетного, земного — и близкого самой моментальности внимания — очерка; потому что нет того дива на земле, перед которым стало бы в тупик диво человеческого восприятия; надо только, чтобы это диво было на земле, то есть в форме в своей указывало на начало своей жизненности и на приспособленность своего сожития со всей прочей жизнью. Это и есть то, что Вы назвали дифирамбизмом «Барьеров». Очень верно и удачно. А Ваши слова о «развернутых голосах трагедии» бьют в больное как раз мое место. Принимаю я их как редкостно чуткое и щедрое пожелание. Спасибо Вам, Костя. Я многим обязан Вам. Вы это знаете.

От Вашего письма веет очень плохо скрытой грустью. Не щадите Вы себя, Костя. В каждом человеке — пропасть задатков самоубийственных. Знал и я такие поры, в какие все свои силы я отдавал восстанию на самого себя. Этим можно легко увлечься. И это знаю я. За примерами далеко ходить не приходится. В строю таких состояний забросил я когда-то музыку. А это была прямая ампутация; отнятие живейшей части своего существования. Вы думаете, редко находят на меня теперь состояния полной парализованности тоскою, когда я каждый раз все острей и острей начинаю сознавать, что убил в себе главное, а потому и все? Вы думаете, в эти нахлыни меланхолии — сужденье мое заблуждается, Вы думаете, на самом деле это не так и в поэзии — мое призванье?

О нет, стоит мне только излить все накипевшее в какой-нибудь керосином не просветленной импровизации[3], как жгучая потребность в *композиторской биографии* настойчиво и неотвязно, как *стихийная претензия* начинает предъявляться мне потрясенною гармонией, как стрясшимся несчастьем. Это так навязчиво! Опешенность перед долголетнею ошибкой достигает здесь той

силы и живости, с какой на площадке тронувшегося поезда вспоминают об оставленных дома ключах или о печке, оставшейся гореть в минуту выезда из дома.

Я бегу этих состояний, как чумы. Содеянное — непоправимо. Те годы молодости, в какие выносишь решенья своей судьбы и потом отменяешь их, уверенный в возможности их восстановленья; годы заигрывания со своим δαιμον'ом* — миновали. Я останусь при том, за чем застанет меня завтра 27-ой день моего рождения.

Ну вот так бывает всегда. Не ясно ли Вам, что я, что называется, договорился? Торжественность последнего моего заявления по импозантности своей напоминает ископаемое. Я говорю, так бывает всегда. Нет того, горько освещенного яркой тоскою чувства, которое не отбрасывало бы своей четкой тени. Его тень — ирония мировой задушевности; сама тоска смеется над ним.

Целую Вас крепко. *Б. П.*

Пишите мне чаще, Костя. Что у Вас с рукой было?
Какой ужас! Конверта нет. Спрошу у соседей.

Впервые: «Вопросы литературы», 1972, № 9. — Автограф. Датируется по упоминанию дня рождения Пастернака — 29 января.

[1] Кончив первую трагедию из трилогии Суинберна, Пастернак принялся за перевод последней. «В Таухницовском издании моего Свинберна, — писал Пастернак родителям 11 янв. 1917, — в томик вошли только две части его Стюартовой трилогии: 1-я называется "Шастеляр" (первые годы пребывания Марии Стюарт в Шотландии) — III — называется "Мария Стюарт" (год перед казнью в тюрьме и в Фотерингэйе)» («Знамя», 1998, № 5. С. 184).

[2] Имеется в виду письмо № 153.

[3] Пастернак любил импровизировать в темноте, не зажигая лампы. См.: « — Но можно ли быть ближе, / Чем в полутьме, аккорды, как дневник, / Меча в камин комплектами, погодно?» (стих. «Рояль дрожащий пену с губ оближет...», 1919).

156. С. П. БОБРОВУ

3–4 февраля 1917, Тихие Горы

Дорогой Сергей!

Твоей телеграмме не повезло. Она была завезена черт знает куда и к кому и лишь по истечении недели доставлена мне — по счастливой случайности. Твоему заказному был я несказанно

* гением (*греч.*).

рад — и ответил бы на него тотчас, будь у меня статья о Маяковском написана, но я подходил к гениальному мычанью и так и сяк[1] и все меня это не удовлетворяло; а послать тебе опять холостое письмо мне не хотелось, я решил, что в ответ на твое тебе будет послано это письмо мое с осязательным приложением.

Не знаю, как тебе сия последняя моя попытка понравится. После самых разнообразных вариантов я пришел к тому заключению, что о Маяковском писать с той специальной деловитостью, с какой я писал о Николае и готов говорить о тебе, о моих собственных намерениях и т. д. — невозможно. Бегло просмотрев прилагаемую статью, ты сразу же поймешь, под каким углом зрения я разбирал его, и догадаешься почему. Я знаю, как неприятен будет тебе «естественно-исторический» привкус статьи[2], — но этот привкус неизбежен. В самом деле, рассуди-ка сам. Первые его вещи ярче последних. Род их яркости близок мне и тебе, может быть, памятен; до знакомства с Николаем и с тобой я писал именно так[3]. Я этой яркости достоинством превосходным не считаю; иначе какого дьявола я стал бы подавлять в себе этот сумбур. Но не в этом, конечно, дело. А дело в том, что отметь я у Маяковского упадок образности, ничего к этому замечанию не прибавив, я бы явно покривил душой. Вышло бы, что эти первые его вещи годятся в прототипы форм желательных для развития поэзии; тогда как это — образцы явно нежелательных форм, несмотря на всю их живую полновесность. Я думаю, в этом ты согласишься со мной. Не стану развивать этих презумпций — скучное и лишнее дело. Ты сам сообразишь, как несправедливо было бы по отношению к ним голословное предпочтение последних его вещей в ущерб первым. А эти противоречия в плоскости самой реальной поэзии разъяснению и примирению не поддаются. В статье имеется достаточно указаний на то, что самобытности в сфере конкретизированного искусства места я не отвожу, потому что не нахожу в нем для нее места. Но я считаю недопустимым обойти молчанием ее явление. Вот откуда и явилось у меня все то, что ты, наверно, почтешь за фразы, к делу не относящиеся. От быстрых своих слов о нем как о единственном поэте и т. д. я в письме к тебе отказался. Напиши мне, пожалуйста, как получишь статью, что ты о ней думаешь. К чему нам разбирать Андр. Белого? Эта антропософия до литературы никакого касательства не имеет. Неужто же за всякое поминание символизма нам все еще по старой памяти хвататься? Зачем приурочивать нам наши мысли и замыслы к их случайным выступлениям? — Сергей, ты знаешь, как хладнокровен я во всем,

что касается нашей общей будущности, но можешь мне поверить, Сергей, лишенные нашего к ним пусть и враждебного интереса, — они скоро заскучают и подберутся к нам на ролях высокомерных расценщиков для начала, а потом, как увидят, что их не слушают, — в качестве доброжелательных и, «в сущности, родственных нам» толкователей. Их надо донять невниманием, и больше ничего. Если вообще благополучие их тебя хоть сколько-нибудь занимает. Мы ведь отказали им во всем, в чем только можно отказать художникам; не в даре одном только, более того: мы установили у них наличность такой апатии, до которой не доходил и чеховский обыватель; для них в большей, чем для провизоров, степени безразлично, существует ли искусство вообще и будет ли существовать; любви к материальной выразительности, к многоосмысленной, ко всеосмысленной, скажу, точности в них нет ни на грош. Дальше идти некуда. Они сами себя отлучили от того общества, в котором мы могли бы с ними повстречаться.

Кроме книги художественной прозы, которую думаю приготовить к апрелю, я задумал еще идеологическое нечто[4]; быть может, там при случае разверстка с Белым будет навязана самой темой. Могу загодя сказать, тебе она ничего, кроме удовольствия, не доставит. Хотя я осужу его и не с той стороны, с какой ты, может быть, ждешь. Я считаю, что с книгою этой придется столкнуться мне в изысканиях на тему об... организованной посредственности. Как понять Белого? Ведь он же талантлив, Сергей! Что это значит все?

Печально было мне прочесть все, что ты о себе пишешь. Скажи, Сергей, — Сологубом хваленые вещи (Молодость золота, Свобода и т. д., у меня тут нет «Черепов»[5] под рукой) войдут в «Алмазные леса»[6]? Да? Тогда чего же ты? — Вообще боюсь, что все то, что ты о себе пишешь, относится скорее к общему нашему времени, нежели к тебе специально. Разумеется, мы многим лучше предшественников. Но и хуже того, чем должны бы наконец стать. Ах, Сергей, трудно обо всем этом писать, словоупорная это тема. Жду «Лесов» с нетерпением. Как получу, напишу тебе. У Аксенова много счастливых элементов. Степень счастливости их подчас — первой руки. Но в восхищенье все это меня не приводит. В телеграмме своей я упомянул, кажется, о нежелательности повторений (одна из проз в Альманахе и потом, она же — в книжке), впрочем, предоставляю это на усмотрение твое. На печатанье «Двух посвящений» согласился с большой неохотой[7]. Рад буду, не найдя стихов в Альманахе. Что же делать, когда удачных у меня сейчас нет

совсем (почти не пишу). Свинберна переводить бросил. Сегодня отошлю статью о Маяковском, и таким образом, счетам моим с Альманахом — конец. Если потребуешь, могу послать тебе книжку Белого. Теперь думаю взяться первым делом за прозу.

Дружески тебя обнимаю. Шли скорей книжки свои.

Твой Б. Пастернак

Привет Марии Ивановне. В Москве ли она и как поживает?

Впервые: «Вопросы литературы», 1972, № 8. — Автограф (РГАЛИ, ф. 2554, оп. 1, ед. хр. 56). Датируется с учетом почтового коэффициента. Дата получения, поставленная Бобровым, — 13 февр. 1917 г.

[1] Речь идет о рецензии на книгу: «Владимир Маяковский. Простое как мычание». Она была послана Боброву для несостоявшегося Третьего сборника «Центрифуги». Сохранилась в архиве Боброва.

[2] См. в рецензии о Маяковском: «Писать о его книге значит набрасывать план... естественной истории современного таланта in genere» (как такового. — *лат.*). См. Т. V. наст. собр.

[3] После встречи с Маяковским Пастернак писал родителям, что под влиянием окружения он был вынужден упростить свою манеру, потому что его ранние стихи казались всем чем-то «недопустимо революционным, опрокидывающим все понятия о стихе», и в частности, Боброву, как «противнику» его «жанра в прошлом» (письмо № 86).

[4] См. об «идеологической книге» в письме № 158.

[5] Встреча с Ф. Сологубом была весной 1913 г.; речь идет о стих. Боброва, опубликованных в альманахе эгофутуристов «Развороченные черепа» (1913).

[6] Сергей Бобров. *«Алмазные леса»*. М., «Центрифуга», 1917.

[7] Пастернак 31 янв. 1917 телеграфировал Боброву: «Обе телеграммы получил сегодня. Печатай <Посвящения>, если надо. Повести, во избежание повторения в альманахе, печатай. Готовлю книгу прозы к весне». Стих. «Два посвящения» при жизни автора не печатались.

157. А. Л. ШТИХУ

5 февраля 1917, Тихие Горы

Тихие Горы. 5.II.1917

Дорогой Шура!

Спасибо тебе большое за теплое твое письмо и поздравление. Страшно рад за тебя и в свою очередь тебя поздравляю с избавлением от ежемесячных пыток[1]. Вот видишь, как прав был я, когда на основании определенно неблагоприятных данных предсказал тебе и себе равно благоприятный из всех этих затруднений исход. (Это было так: ты собирался домой и я, прощаясь с тобой, задер-

жал тебя на лестнице — помнишь?) — Поздравь же, пожалуйста, от меня и родителей своих — мои пожелания не были одним пустословьем, как всегда в таких случаях кажется. А при нонешней высоте народного здравия, когда понятья годности и негодности явно канканируют, — согласись, наше с тобой общественное положенье — прямое волшебство.

Из твоих стихотворений понравилось мне первое — второе совсем нет. Книжку я тебе послал. У меня всего только десять экземпляров, которые уже распределены литературными знакомствами и т. д. Этим объясняется то обстоятельство, что родительский экземпляр гуляет по местам, столь близким мне, как Чудовский переулок. Этим также объясняется и то, что несмотря на все мое желание снабдить «Барьерами» Лену и Нюту — лишен возможности это удовольствие себе доставить. Нет экземпляра даже для своих — им был он издательством ЦФПи доставлен. Изданием я очень доволен. Огорчает множество опечатков. Твоего экземпляра я не разрезал и посему исправил далеко не все опечатки, например

Опилки подчас звучат звончей

и т. д.

Вслед за накидкой *ваточной*

и т. д.

И *вод* в их панораме

и т. д.

Заря вздым*и*лась грудью

и многие другие[2].

Но так как вообще в этой книжке уже нет строк, а начинают появляться цельные вещи, то эти опечатки огорчают гораздо меньше, чем если бы это имело место в блаженной памяти «Близнеце». Материал Барьеров очень случаен, отцу — на диво — нравится!

Обнимаю тебя. Привет твоим.

Твой Боря

Напиши, что думаешь о Барьерах.

Впервые: «Россия». Venezia, 1993, № 8. — Автограф (РГАЛИ, ф. 3123, оп. 1, ед. хр. 36).

[1] Речь идет об освобождении от воинской повинности.

[2] Строки из стих. «Как казначей последней из планет...», «Скрипка Паганини», «Последний день Помпеи», «Заря на Севере». В книге выправлено более 30 опечаток в 49 стих., не считая пунктуации и цензурных сокращений.

158. РОДИТЕЛЯМ

7 февраля 1917, Тихие Горы

Дорогие папа и мама! С днем свадьбы вас, и Шуру с днем рождения[1]. Горячее вам всем спасибо за все. — Ах если бы вы знали, с какой всегда тоской берусь я за бумагу: писать письма так трудно! Одно терзанье! Все равно не выскажешь всего. И что сказать наперед, что опустить!

Ты пишешь так чудно, мама, и снабжаешь свой рассказ примечаньями о малой будто бы занимательности для меня того, что пишешь, как раз в тех, обыкновенно, местах, над которыми у меня проступают слезы: что Маруся подкупает тебя своей добротой, прямотой и безыскусственностью, что устроили обед для Жониных подруг с пирожками, мороженым и пр. и позвали Локса, Бэбэ и других. —

Кстати, спасибо за Локса, — он ужасный меланхолик и самоед и я порадовался за него, узнав, что он у вас был. За Боброва простите — он так наивен — боюсь, он вам немало докучал — он не признает никаких градаций и говорит то, что думает (а это ведь хорошая черта). Я знаю, он совершенно бескорыстно радуется моим удачам — хотя видит их чаще, чем они дают себя видеть на самом деле и преувеличивает их размеры. Это не друг, по дружбе питающий хорошие чувства к моему делу, но больше, человек, становящийся вернейшим и решительнейшим другом в те минуты, когда его пониманье находит себе пищу в моих вещах и на них набрасывается.

Вас может быть удивит (он ведь ходячая карикатура на самого себя), что мнением его я дорожу больше, чем чьим иным из мне известных, — ты понимаешь, папа, во всем, что касается специальных тонкостей и глубин нашего цеха; в оценке, — все — дилетанты перед ним. Иного подкупит сказавшееся вдруг обывательское добродушие — поэтичность; другого, на лиловых соблазнах сказавшаяся романтика второстепенностей (как в Художественном театре, принцип которого состоит в том, что зрителя колышут в люльке качеств, относительностей, признаков и принадлежностей, не дав ни разу ему ушибиться об суть; об то, что имеет качества, признаки, оттенки и т. д.). Наконец, другие из молодых и «сознательных» теоретически усваивают себе то, что плохо то, что втайне нравится им, и что втайне не нравится — то хорошо... А потом, незаметно для себя они к этому настолько привыкают, что их совесть научается и в лежачем состоянии мертвого сна, не

подымаясь, переставлять эту нужную стрелку суждений куда нужно. Есть пассеисты, дилетанты-обыватели, есть непримиримые пуристы-передовики. Сергей Бобров с поразительной и неожиданной (по идеологии его) — меткостью выделял, превознося, в вещах моих всегда то, что и лично для меня, в воспоминанье, связано бывало с — фактом так-то и так-то пережитого вдохновения (вещь как губка пропитывалась всегда в таких случаях тем, что вблизи ее находилось[2]: — приключеньями ближайшими, событьями, местом, где я тогда жил, и местами, где бывал, погодой тех дней).

Да, уклонился я в сторону, запросив прощенья у мамы за невольную «докуку». Чудно ты пишешь, мама! А папа! До чего он весь в этих 42-х сантиметровых фразах (моя, по наследственности слабость), крупповских, разрастающихся, возвращающихся вспять, как на подъеме, раза три скатывающихся под гору и наконец, на четвертый, сразу берущих с места и выносящих на равнину. Как хорошо! А твои письма, мама — это — самопишущее сердце какое-то.

Я хотел начать с благодарности за подарки. Но они также живы, как письма, и также о них трудно говорить. Отчего это все трогает так! Стилограф от мамы и фрукты и шоколад, и бумага — каждое по своему, как разные одним родным голосом сказанные слова. Господи, до чего я нервен! Вот сейчас я импровизировал (чем лучше, тем больше горе) — и у меня такая тоска и так скучно — хотелось бы поскорей выспаться или каким-нибудь средством аптекарским быстро, моментально восстановить подъемом исчерпанные силы! —

Я сейчас разное пишу, бросаюсь от одного к другому. Книгу прозы пишу. Нельзя забывать и стихов. Я знаю, как ты, папа, к этому относишься; общее явление: *самым* высоким на свете (ввиду того, что и великие не всегда этот уровень творящего напряжения выдерживали и, следовательно — часты отступления от *самого* высокого; чаще чем от высокого вообще и тем более среднего) самым высоким всегда занимается на свете (видя все в ореоле отступлений) самая многочисленная низкая и бездарная сволочь. Пример — религия и церковь. Еще пример — поэзия. Стихотворений на свете так мало, что поэзия была бы «Ко и нор'ом»[3], не пучась она от изобильного множества стишков; стишками занимаются стада, табуны. Им обязана поэзия своим обликом притязательной бездельницы.

Кроме прозы думаю еще написать книжку идеологическую[4]. Знаешь, вроде таких бесед, какие я иногда веду — об искусстве, о большом человеке, о том, например, что чувства, живые и также

осязательно проникающие межчеловеческую среду, как воздушные испаренья садовую заросль и луга летом, в полдень, после грозы, — что такие чувства, которые каждый носит в себе и биографически осуществляет — находятся на содержанье у человечества и миллионы живущих своими жизнями, как податью — и т. д. и т. д. и т. д. отсюда — о *«податном сословье»*, об искусстве — казенной палате. И об его чиновниках. И т. д. и т. д. и т. д. Чем нравственно всякое истинное искусство? Тем, что оно никогда не спит. Если бы его, истинного, не было, кто бы учил детей открывать и закрывать глаза? И т. д. и т. д. и т. д. Там будет много теории. Но так как я не ношу синих очков и даже отдаленного посвиста разных физицсских, эстетицсских и цских и ицских терминов на данной моей стезе не терплю, то полагаю переплесть эту идеологию с наивозможнейшей конкретностью разных вымышленных ссылок на никому не известные авторитеты, и вести частью в форме дневника, частью в диалогической. Ну заговорился я!

Обнимаю всех вас крепко.

Ваш Боря

Впервые: «Знамя», 1998, № 5. — Автограф.

[1] День свадьбы родителей — 14 февраля, день рождения А. Л. Пастернака — 12 февраля (по ст. стилю).

[2] Образ губки, как метафора поэзии и искусства вообще, появляется у Пастернака в стих. из цикла «Весна» («Что почек, что клейких заплывших огарков...»), 1914: «Поэзия! Греческой губкой в присосках...» и в статье «Несколько положений» (1918): «Современные течения вообразили, что искусство как фонтан, тогда как оно — губка».

[3] Крупнейший бриллиант британской короны.

[4] Речь идет о книге теоретических работ о природе искусства «Quinta essentia», из которой сохранилась одна статья, напечатанная в альм. «Современник» (1922, № 1) под назв. «Несколько положений».

159. С. П. БОБРОВУ

8 февраля 1917, Тихие Горы

8.II.17

Милый Сергей!

Твое 129-е получил и живо порадовался письму и вложению. Непременно пришли мне Аксеновскую книжку о Пикассо[1]. Судя по проспекту, очень содержательная и живая книга вроде «Елисаветинцев» (Envoi*). Многого жду также от 3-ей ЦФГи. Ты пи-

* Посылкой (*фр.*).

шешь — трудно тебе и грустно со мной работать. Сергей, ты ошибаешься. В будущем, увидишь, тебе все легче и веселей со мной работать будет. Объяснюсь: в том случае, если мне удастся провести мою программу рабочую, и то немногое, что у меня, если Богу угодно, есть, приумножить себе и тебе на пользу. Знаю, скукой повеет на тебя от этих слов. На меня от них веет новизной. Так на дело не смотрел я еще никогда. Это первый год, что я решил серьезно начать учиться — писать книги. Боюсь, ты прочтешь эти строки тоном, по торжественности — убийственным. Но не в этом тоне произношу их я.

Вчера вечером не по расписанию и вопреки ему бросил писать прозу, которой был занят, и начал нечто поэтическое (по <живом> побуждении). Утром телеграфировал тебе об этом отрывке. Если не поздно будет к 20–23 февраля — вышлю эти наброски для III сборника[2]. Ввиду того, что они еще не застыли и шлифовать их рано, придется послать их тебе в сыром виде (вышлю вскоре по получении ответной твоей телеграммы, сообразно с ее значением). В соображение чего и прошу тебя, Сергей, совсем непринужденно и свободно взглянуть на их истинное художественное достоинство. Если ты этот писчий лист отвергнешь, я ни капли на тебя не обижусь. А самому мне об этом трудно судить. Слишком еще говорит в этой вещи неостывший порыв, живая ночь ее написанья, предвкушенье ближайших суток, других, в течение коих я буду эти наброски приводить в порядок и т. д. — т. е. сплошь невесомые все моменты в отношении эстетической сути вещи, которая тебе будет видней. Не обо мне ли статья твоя «Казначей последней планеты». Если да — глубоко тронут — спасибо, Сергей! Если даже и нет, спасибо за сочувствие к моему реченью[3]. На днях сопровожу посылку большим письмом.

Твой Б. Пастернак

Впервые: «Встречи с прошлым». Вып. 8, 1996. — Автограф (РГАЛИ, ф. 2554, оп. 1, ед. хр. 56).

[1] И. А. Аксенов. «Пикассо и окрестности» (М., 1917). «Пастернаку покажите в “Пикасе” место, начинающееся словами: “всем пришлось призадуматься”. Может быть, оно подействует на него отрезвляюще в смысле ретроградных наклонностей», — писал Аксенов Боброву 3 апр. 1917 (РГАЛИ, ф. 2554, оп. 1, ед. хр. 6, л. 16).

[2] Речь идет о работе над поэмой, отрывки из которой под назв. «Наброски к фантазии “Поэма о ближнем”» Пастернак послал Боброву для неосуществленного Третьего сборника «Центрифуги». Сохранились в архиве Боброва.

[3] «Как казначей последней из планет...» — название стих. из книги «Поверх барьеров». Статья Боброва об этой книге, написанная 6 дек. 1916 г., предназначалась для Третьего сборника «Центрифуги». Осталась неопубликованной.

160. Л. Л. ПАСТЕРНАК

10 февраля 1917, Тихие Горы

10/II — 17 Тихие Горы

Дорогой Лидок! Ты еще не знаешь ведь, что от твоего четверостишия был я в восторге. Чудный ритм и задорно так! А рифма поэтами — bĺte, amie* — просто прелесть; как верно чутье тебе подсказало, что всякое такое: эполетами, кометами, раздетыми — Карапетами и т. д. было бы глупо и пошло. Чудно! Прости дорогая, что не ответил тебе сразу. Не умею писем наскоро писать, расписываюсь до бесконечности, много приходится с Москвою, часто с Бобровым, по делу, — сами видите, каким издательством ЦФГ стала! Как счастливо это все сошлось! Как было не «лениться» мне, — если это назвать ленью в оные дни, когда предстояла перспектива мне наслаивающихся без всякой пользы рукописей, неизданных, обиженных судьбой, дующихся и задувающих всякую новую искру. Года через три буду и я говорить начинающим: вы о напечатанье не заботьтесь, пишите для себя и т. д.

Папа увидит эти строки и скажет, верно: «что за свинья, не я ли говорил ему, что надо издаваться, что на изданье я могу денег достать» и т. д.; скажет и был бы прав, если бы только мои слова о «советах», относились к нему; но в том-то и дело, что к нему они ни в малейшей мере не относятся, и не о нем, поминая советчиков, я говорю. А просто резкое различие прошлого и настоящего года у меня перед глазами; что будет в дальнейшем с ЦФГ, я не знаю, пока же, это самое художественное и цветущее книгоиздательство. Правда С. Бобров черномаз, как сапожный ёжик, т. е. пичужный ножик то есть, как говорит профессор Каблуков[1] (спроси у Шуры нашего), но он славный товарищ, знает и ценит меня и пользуется взаимностью.

Да, говорю я, как славно! Скоро выходит III сборник ЦФГи. Там будут мои: сказка о Карпе; две статьи: об Асеевской книжке, о Маяковском — в сторону папы: я душой не кривлю, пишу только о тех, в ком есть искра Божья; посланные Боброву стихотворные пустячки я

---

* зверь, подруга (*фр.*).

опротестовал вслед за посылкой же, так что Бобров долго успокоиться не мог, что стихов-де моих в сборнике не будет. А потом примирился. И только недавно телеграммой меня запросил и добился наконец; телеграфно же я разрешил ему две безделицы напечатать[2]; и кончили мы на том, что больше у него со мной разговоров о III сборнике не будет. И вот, как это уже второй раз здесь со мною (первый — повесть à la Апеллес, писал папе), пишучи по расписанью следующую по счету новеллу (3-ю: «Карета герцогини»[3]) — должен был бросить эту прозу, подвигнутый на этот шаг каким-то крепчавшим во мне замысловым побужденьем (оно было порождено одним здесь разговором, развернувшим передо мной такую, приблизительно, неожиданность, как если бы вдруг за чаем, после первого стакана, выпитого в обществе N, которого ты знаешь, как отца родного, после беседы с ним, второй стакан ты бы начала и бросила, став вместо дочери, в молниеносном озарении вывода из его слов, чем-то неизвестным, невыясненным и потрясающе новым раз навсегда). — Но это к делу не относится и мне, пожалуй, за этакие сравненья от папы влетит. Словом, начал я в стихах набрасывать широкую вещь; местами вроде Петербурга и Метели (в начале) — вроде «Марбурга» в некоторых местах, и *по строению* — вроде «Паганини» и «Баллады»[4]. Я сейчас же телеграфировал Боброву о задержании III сборника, потому что хочу этот набросок как набросок же и напечатать; дело в том, что печать, как элемент, входит *в состав* лабораторного опыта над словом, а не следует за ним, *за* его пределами не находится.

Третьи сутки сучу эту нить; завтра верно будет телеграмма от Боброва[5], завтра же или послезавтра вышлю ему, за чем застанет меня его депеша, и буду продолжать. Совместить писанье стихов (как я это понимаю) с писаньем прозы — нет возможности: разные два человека пишут во мне: один одно, другой другое.

Ну, Лидок золотой, расцелуй Жоню, маму, папу, Шуру. В моем письме вам, дорогие, так и не пришлось папе передать своего восхищенья по поводу «отца земного» и «Отца Небесного»[6]. Вообще, не пришлось ни о чем том поговорить, о чем завел ты, папа, речь. Оттого и боюсь я трудности писем. Вы может быть, раскрывая их, не находите того, что ждете.

Целую. *Боря*

Уехала ли уже Маруся? Если нет, поздравьте от меня и поцелуйте. Если да, то куда именно, если знаете.

В Барьерах — куча опечатков. Пошлю вам правленый экземпляр без надписи (всей семье). Примирились ли с ней П<авел> Д<авыдович>, Левины; Бари и пр. и пр.?

«Барьеры» первая, пусть и тощая моя *книга*. Этим я и занимаюсь сейчас. Учусь писать не новеллы, не стихи, *но книгу новелл, книгу* стихов и т. д.

Впервые: «Знамя», 1998, № 5. — Автограф.

[1] Профессор математики С. П. *Каблуков* был ославлен за свою рассеянность и стал «героем» многочисленных анекдотов.

[2] Речь идет о «Двух посвящениях», посланных Боброву для альманаха.

[3] Текст повести не сохранился.

[4] Перечисляются стихи из книги «Поверх барьеров», объяснявшие сложную композицию «Поэмы о ближнем», наброски к которой должны были заменить в альманахе Боброва прежде посланные «Два посвящения».

[5] Пастернак послал запрос Боброву по поводу «Поэмы о ближнем» и ждал ответа: «Успеешь ли включить <в> Альманах набросок страницы две? Телеграфируй. Получишь <в> двадцатых числах февраля» (8 февр. 1917; «Встречи с прошлым». Вып. 8, 1996. С. 269).

[6] Текст письма Л. О. Пастернака неизвестен, но сопоставление «Отца Небесного» и «отца родного» потом повторялось в разных его письмах к сыну.

161. С. П. БОБРОВУ

11 февраля 1917, Тихие Горы

Дорогой Сергей!

Получил ли ты уже заказным письмом мои «Наброски» и как они тебе нравятся? Я тебе выслал их вчера, о чем дал тебе сегодня телеграмму[1]. В ней же прошу извинения за тот налет резкости, которому причина — телеграфический лаконизм. Сейчас все тебе объясню. Писал (и продолжаю писать) я эту вещь с большим напряжением, сейчас у меня голова болит, тоска, не знаю, куда деться, хотелось бы выспаться, обновить силы и за дело опять. Совсем как сумасшедший. Посланное тебе — половина приблизительно того, что у меня уже в черновике имеется; пишу разрозненно, наметил части, то одно придет в голову, то другое. Как было в телеграмме тебе выразить всю настойчивость моих пожеланий насчет «Набросков»? А теперь ты об этой настойчивости некоторое понятье составишь. С большой неохотой согласился на печатанье «Посвящений» — это не ново: телеграфировалось и писалось. Ты требовал стихов. Их не было у меня. На твой взгляд лучше представить себя малохарактерно и слабо, чем остаться вовсе не представленным. Я держусь мненья противоположного. Я уступил против желанья. Хорошо. Начинаю писать вещь (поэму), в которой узнаю себя самого и тотчас тебе телеграфирую. Твой ответ уклон-

чив и малоприятен. Ты прав в одном. Где я раньше был и чего зевал. Но, дорогой друг, что пришло мне в голову (под впечатлением действительного событья) в этот, скажем, вторник и стало с ночи на среду быстро выписываться, не могло ни днем раньше на меня найти. Ты скажешь, вещь можно издать отдельной книжечкой. Что ж, это мне улыбается. Это заманчиво и приятно. Но ты просил у меня стихов в Альманах; — только то, что я послал тебе вчера, я называю (в границе моих собственных попыток, конечно, как это ясно из статей моих о Николае и о Маяковском) — стихами; остальное — версификация, не знаю что; таковы «Посвященья». Почему «Наброски» как раз? Потому что не закончены, может быть будут изменены, представляют собой и теперь уже — половину всего намеченного целого. Дожидаться печатанья всей поэмы не хочу. Я писал тебе уже, как тронул меня заголовок одной из статей твоих в III ЦФГе[2]. Если это обо мне, то «Наброски к поэме о ближнем» — я сам; следовательно — кстати в 3 Ц<ентрифуге>. Дорогой Сергей, прошу тебя, выкинь (исключая сонет — из-за посвященья) всю мою стихотворную дребедень — (слава Богу, всего две штучки) из лирического отдела и, пожалуйста, сделай милость, напечатай «Наброски». Статьи и Карп остаются. Затем ряд просьб. 1) Умоляю тебя, прокорректируй *как следует* «Наброски»; опечатки в них страшно меня огорчат. Если к выходу 3-ей Ц. у тебя может быть времени не станет, привлеки к этому делу Костю; напишу ему о том. Ах нет, вспомнил, Костя корректировать не умеет. Неужели нельзя было на отдельном листке «Опечатки, замеченные в "Барьерах"», напечатать, хотя бы с опозданием, и разослать в книжные магазины и те места, куда все эти «мне» вместо «мига», «описки», «восточные накидки» и т. д. и т. д. розданы и разосланы? Все это очень печально было мне видеть, хотя чувство живейшей благодарности тебе за твой порыв, который во всем, в письмах твоих, в предложениях и т. д. сквозит — пересиливало, и я тебе об той досаде, с какой я исправлял «Барьеры», рассылая и раздавая их здесь, — ничего не писал. В особенности же мысль о том, что в редакциях разные критики увидят в этих досадных курьезах признак моей эстетической «недалекости», меня возмущала.

Кстати о «Барьерах»: не заметил, как все у меня разошлись. Если не можешь прислать мне еще 5 экземпляров, то пришли по крайней мере свой и Локсов, хотел тебе и ему сделать надпись и послать — у меня всего один свой остался; пожертвовал бы им, да пошлю тебе, Костя обидится, пошлю Косте — ты, а ссорить вас

мне не хочется. Еще просьба. Поставь дату у Карпа: 1913 г. (не помню, конец самый 1913 или январь 1914). Когда ж ты наконец «Алмазные Леса» мне пришлешь? Давно мне о них пишешь, а все не пришли еще. Сообщаешь, что отослал, спасибо. Как получу, напишу.

P. S. Шли скорей, вслед за «Алмазными Лесами» «Лиру лир» и «Пикассо». Сейчас принесли почту, но «Алмазных Лесов» еще нет. Не забудь об опечатках, пожалуйста, прокорректируй как следует. Неужто же ты статьи о Маяковском не получил? Странно. Выслал ее недели уже две назад.

Не сердись на меня, Сергей. Пиши побольше. Кланяйся Косте. Большое ему спасибо за хорошее письмо. На днях ему отвечу. Сейчас чувствую себя ужасно, не сплю, закрываю глаза, и какие-то фильмы мчатся. Страшно меня интересует, что ты о Поэме скажешь. А пока твой отзыв о ней до меня дойдет, я уж, верно, забуду о том волнении, которое и сейчас меня не покидает и в котором я находился, отсылая тебе отдельные ее кусочки. Прошу тебя, напечатай ее в 3-ей Ц.; да протелеграфируй мне о согласии или несогласии своем ее в 3 Ц. поместить, как только ты посылку получишь. В том ли, в другом ли случае два стишка: Посвящения отправь к черту.

Дружески обнимаю тебя.

Твой Боря

Впервые: «Встречи с прошлым». Вып. 8, 1996. — Автограф (РГАЛИ, ф. 2554, оп. 1, ед. хр. 56). Датируется временем отправки телеграммы; Бобров получил письмо 20 февр. 1917 г.

[1] «Выслал прозу. Статьи даю при условии непременно напечатать посылку. Извини за краткость: Телеграфирую. Объяснение <в> письмах» (11 февр. 1917; «Встречи с прошлым». Вып. 8, 1996. С. 271).

[2] Третий сборник «Центрифуги», далее — «3-й Ц». Имеется в виду назв. статьи Боброва «Казначей последней планеты» (см. конец письма № 159).

162. К. Г. ЛОКСУ

13 февраля 1917, Тихие Горы

13/II

Дорогой Костя!

Простите, что так долго не отвечал Вам на доброе Ваше письмо. Карповы привезли его 3-го, и вот уже более недели прошло со дня его получения мной, а я никак не собрался написать Вам. Были неприятности, меланхолия нахлынула страшная, потом взялся за

продолжение начатых «проз», потом вдруг налетело что-то такое, в чем я и сейчас себе ясного отчета дать не могу, и под гонением этого последнего я стал без передышки писать какую-то крупную вещь в стихах. Говорю какую-то, так как и сам не предвижу, как в целом сложится у меня эта «Поэма о ближнем». Часть ее отослана вчера Сергею, и Вы найдете ее у него уже и сегодня, если только почта не отколет какой-нибудь штуки в стиле прежних своих коленец (одно письмо Бобровское шло, например, дольше двух недель). Я просил его напечатать эти наброски в III ЦФГ взамен никуда не годных «Двух Посвящений». Писал я эти отрывки с большим увлечением, и меня очень интересует, что Вы мне о них скажете. Но что бы ни сказали Вы, я эту вещь буду продолжать, уже и сейчас она в черновике вдвое против посланного Сергею больше. Это, конечно, не то, что виделось Вам, по незаслуженной мною щедрости Вашей, дорогой мой, в моем, Вами идеализированном будущем; говорю сознательно: потому что и сам я *наметил* себе на лето (буду в Москве заниматься в Румянцевской) совсем иную вещь, на иных началах покоящуюся, с иными, нежели «поэма» эта, традициями связанную и т. д.[1] Это, словом, не то. Но это первая попытка выйти за тесные границы лирической миниатюры (которую так легко самому автору разбить под тяжелую руку — как, спрашиваете Вы? — подозрением в произвольности, хотя бы, в импровизационной случайности возникновения и т. д.). Затем, приводит меня за этой работой в хорошее возбуждение то, что в этот на всей моей бытности первый обширный у меня загон врывается все жизнеспособное из — чуть не сказал: «Барьеров» — но в Барьерах очень немного крупного скота; за удалением вовсе безногого останется только несколько жеребят. Из чего же в таком случае? Но это мало занимательно и смешно. Бросим этот разговор.

К маю думаю быть в Москве[2]. Если б Вы могли до того времени остаться! Мне так хочется, так необходимо Вас повидать! Сергея-то я увижу. Вы тоже должны на неделю хотя бы остаться. Я б ликеру привез. Мы бы у Сергея заседанье ЦФГ устроили; военный совет марки Curaçao de Chipre или Д.О.М.! А? Честное слово. И смаковали бы глоток за глотком — ближайшую будущность издательства и его ближайшую, по счастью уже не полемическую только и зависимую, но положительную и спокойно независимую программу. А? Вы только марку назовите мне и останьтесь на первые числа мая в Москве.

Сергей пишет мне о новой Вашей книге! «О естественном человеке»[3]. Он хвалит ее; говорит: «*очень приятно и остро*». Что это

такое, Костя? Отчего Вы мне о ней ничего не пишете? Отчего не заканчиваете Вашего «Катехизиса *Небезразличного в искусстве*»? Верьте мне, это очень хорошая книга; ее непременно надо закончить и издать; она сплошь существенна, нагнетена, лаконична. Вы находите в ней краткие прекрасные формулы и определения для многого такого, что сейчас до неузнаваемости замутнено символистической фразеологией, и то не по вине ее *касательства* до всех этих тонкостей; до всех этих тонкостей она и коснуться-то бессильна, потому что и не подозревает о их существовании; не по глазу они ей; но тонкости все эти тем не менее символистической фразеологией замутнены; потому что водянистость этой фразеологии паводком разлилась по лицу всей критики, всей теории, всего horribile dictu* «интеллигентского» словаря наших дней! — Ах, неисправимый самоненавистник Вы, Костя; бросьте это. Меня это обижает, наконец. Вы просто слушать меня не желаете или не верите мне. То и другое — одинаково, конечно, лестно. Вы не можете? Вам противна книжка? Какая наивность! Вы, наверное, забываете, что в каждом из нас живет отвратительный, ленивый пошляк, который иногда лорнетирует нас после обеда и, подчас остроумно, критикует. И это-то животное считаем мы (по наглости его) — аристократом в нас! Черт Вам с его аристократизмом! Да будь он хоть Д'Альгеймом![4] Довольно с Вас того, что этот торчащий в Вас барон ни одной строчки не написал из всех написанных Вами; шагу не ступил на Вашем пути; где он пропадает, когда Вы любите, например; — блистал ли Вам в такие минуты высоко аристократический его лорнет? Как? Только *не врите*. Или, учтивей: не заблуждайтесь. Вы не смотрите, что важностью осанки он в Барбэ[5] самого пошел, или взыскательностью — в Флобера. Я знаю, что *не он*, торча и в этих (только посредственность его не замечает и этим *невниманием своим этого солитера убивает*) — и в Барбэ и во Флобере — писал о фанфаронаде и дэндизме; об аристократической нетерпимости «стиля без помилованья»[6]. *Не он*. Конечно, в Пушкине сидел Онегин — простите за азбучность — я даже на сию одну минуту пожалею, что не прочнее он в Пушкине сидел, потому что сиди он в нем и Барбароссою в горе[7], то и в таком случае я сказал бы: Так. Но Онегина написал *не он*, а Пушкин. «Онегиных» Онегины не пишут.

Вот еще экземпляр, в другом немножко духе. Сергей. Как нравятся Вам «Алмазные леса»? Постойте. Мне он делает такую над-

---

* страшно сказать (*лат.*).

пись: «Дорогому Боре — не обижайся, коли скучно будет». А как *это* Вам нравится? Постойте. Не будь такой надписи, не говори Сергей о своих печалях и сомнениях, как легко было бы мне тогда ему о книге написать. Мне она не только нравится; сильно и просто мне нравится, например, Маяковский. Но мне еще более нравится то, ка́к нравится мне она. Вы не понимаете? А это очень просто. Нечто подобное я испытал, читав на́свеже в первый раз «Оксану»[8]. Я об этом писал Сергею в свое время[9]. Свежесть и своеобразие этого впечатления я, по несвойственности его нашей современности и мне, пропитанному ею, — утратил, не удержал. «Алмазные леса» это впечатление воссоздали и напомнили мне о нем. Выйди они раньше, я своей статьи об Асееве так бы писать не стал. Теперь я хватился, да поздно. Николай прочтет многое такое в статье (к нему относится только атрибутивно), что его уродует, стилизует, искажает. Вовсе не образность у него существенна. И не всегда она самостоятельна. По счастью в «Алмазных лесах» ткань яснее и проще. Вы правы были, сказав Сергею, что в книге много задушевности. В ней все — задушевность. Но я все же не раскрыл Вам смысла моей фразы о том, как нравится мне она. Многие из нас (я в том числе) делаем все, от нас зависящее, чтобы сделать совершенною редкостью тип чтения не воспроизводящего, чтения про себя, когда читатель, напав на углубленность авторских *смыслов* и убедившись в *разъяснимости* их, не как в одной понятности только в современном значении этого слова, — отдается этой игре, как особому наслаждению; игре проникновения в автора, характер того движения, с каким это проникновение совершается и может быть совершено, коэффициент разъяснимости придает характер всей книге; это ее дыхание. Таков, в идеале, Баратынский. Но не Языков, конечно. Это составляло сущность Коневского. Сейчас это редкость. Говорю Вам, «Алмазные леса» напомнили мне только Николая, разве. Не книгу его, не жанр, — но только род пользования такой поэзией. Но Николай сложнее. Он слишком, подчас, многосоставен. Может быть «Алмазные леса» слабы? Эту мысль надо отбросить при первом же появлении ее. Требование грубой силы к этому роду искусства непредъявимы. Зачем делать такие надписи? Многое очень тонко — все поразительно *чисто,* тою чистотой лиризма, которая тоже утеряна. Не ее ли устыдившись (несчастное малодушие, которому подпадаем в известное время все или почти все мы, мальчишки) — бросил Сергей эту линию? Я не знаю, что пишет он сейчас. Но вести эту линию и дальше следовало. Замечательно! О чем ином, как не о прелести участия этой линии в эпике

жизни, говорит книжка? А предисловие? — Что же делает автор? Бог дал ему способность разыскать это волокно во всем плетеве всех прочих; автор силою положения не мог видеть это волокно *непоэтически*; Богу угодно сделать его поэтом *так*, а не как-нибудь еще. Что же, говорю я, делает автор? Ведь он знает, где и как пробегает это волокно. Вот и можно, значит, теребить и колоть его, дергать в стороны и вивисецировать. Вот что общего между Вами, Костя, и Сергеем. Вы не сердитесь на меня, Костя. Но как это все тяжело мне и больно. Как страдают от этого отношения! Кстати, о Сергее. Настолько же, насколько легко мне было писать Вам о нем, настолько трудно будет ему. Я уже сказал Вам почему, и не знаю, когда он письма от меня дождется. Во всяком случае, и половины того, что я Вам о нем пишу, от меня он не услышит: *лучшей* половины. Виновата надпись. Игнорировать ее — не могу. Весь разбор получает характер разубеждающего: «Да что Вы! Напротив!» Кланяйтесь, Костя, ему от меня. Пусть не сердится на меня, если письмо мое запоздает. Сам виноват.

Помните, Костя, что я люблю Вас искренне, и Вы многое из сказанного мной должны мне простить. Как и он. Все это похоже на какое-то послание по епархии, и мне даже немного стыдно. Крепко целую Вас.

Ваш Боря

Привет Вере Николаевне и Мих. Павловичу[10]. Что они поделывают?

Впервые: «Вопросы литературы», 1972, № 9. — Автограф.

[1] Имеется в виду драма «Смерть Робеспьера» из времен Великой французской революции. От этого замысла сохранились «Драматические отрывки», напечатанные в газете «Знамя труда» (1918, 1, 16 мая).

[2] Пастернак вернулся в Москву в начале марта 1917 г., вскоре после Февральской революции.

[3] Книга «О естественном человеке» неизвестна. Не сохранился также и «Катехизис незабываемостей» (см. о нем в коммент. 4 к письму № 130).

[4] Древний баронский род эльзасского происхождения, получивший свое достоинство от императора Священной Римской империи Карла V. Представителем этого рода в начале XX в. в Москве был известный музыкальный критик Петр Иванович *д'Альгейм*.

[5] Французский писатель Ж.-А. Барбе Д'Оревильи, славившийся своим остроумием и изысканностью одежды, автор знаменитой книги «О дендизме».

[6] Термин принадлежит Локсу. Характеризуя западный роман XIX в. в письме Ст. Спендеру, Пастернак писал: «Трагическое очаровывающее обаяние флоберовского стиля или манера Мопассана коренится в том, что

их повествование непоправимо, как приговор, и как решение суда не подлежит отмене» (22 авг. 1959; пер. с англ.).

[7] По легенде, император Священной Римской империи Фридрих I *Барбаросса* не умер, но, сидя в пещере на троне, спит и ждет, что его разбудят, когда Германия окажется в опасности.

[8] Книга Асеева. Об этом же впечатлении Пастернак телеграфировал Боброву, получив книгу: «Получил твою книгу. Нравится. От души поздравляю. То, что писал <в> письме <к> тебе <о> безупречности Николая, относится больше <к> тебе. Костя прав. Обнимаю» (13 февр. 1917; «Встречи с прошлым». Вып. 8, 1996. С. 273).

[9] Имеется в виду письмо № 146.

[10] Философ М. П. Столяров и его жена.

163. С. П. БОБРОВУ

14 февраля 1917, Тихие Горы

Дорогой Сергей!

Спасибо большое за книжку. Ты либо глупишь, либо лицемеришь, хаючи «Алмазные леса». Что за бессмысленная надпись?![1] Тебя надо проучить за нее: об «Алмазных лесах» ты услышишь ровно десятую часть того, что услышал бы, не сделай ты такой надписи. А так как я не шучу сейчас, то погоди минутку, вперед надо мне прикинуть, что сказать тебе, что оставить несказанным. Так. Номер первый. Разъяснение поздравительной моей телеграммы остается под спудом. Пусть тайна ее останется для тебя тайной. Воображаю, как вкусно ее перепутали! Там стояли рядом два слова: «Костя прав» (о задушевности)[2]. Готов об заклад побиться, что это заявление явилось к тебе в костюме костоправа. Ты ликуешь? «Комментарий задвигался»? Не спеши радоваться. Сопоставление с первым впечатлением от Николаевой Оксаны останется под покрывалом. Вообще, разбора не будет. Можешь домой идти. На прощанье только вот что. Больше всего мне нравятся ⟆VII, ⟆XI, ⟆XII, ⟆XIV (это о цельных вещах). Частями: I (строфы 1 и 2-я, 2-я особенно две первые строки: «Жизнь, ты как красная роса»), еще I («Благословлял земные долы»: первая строфа; чем она нравится мне — не скажу — это подчинено девяти молчаливым десятым, 9/10-м. IV (очень хорошо:

Земля протягивает свою лампаду
На краткий звук, на ночи зов)

VI, VIII, последняя строфа IX (здорово, Сергей!)

Волна небес у дымов брега
Мои покачивает слова.

Как пени... и до самого конца; так что можно сказать ∫IX. Так и есть. Я просто пропустил в ряду интегралов эту вещь. X две первые строфы и конец. В особенности вторая.

Не пред тобой ли *охладели*
Сказанья ровные росы.

Вся 36-я страница.

XVI — конец

XVII Рая метанные в небе сны.

XVIII Слабеющими очами
Обнимать этот тонкий взор.

XXI Морей застывших и далеких
Мне будет ли сиять венец.

На глади ночи этот зыбкий
И неистомный лабиринт.

Я понимаю тебя. Тебе стыдно, что книга эта сыграна тобой не на барабане? Это-то и нравится мне. Думаешь, не услышат тебя? Это-то и не нравится мне. Что за грязное отношение к своей музе, Сергей! Ты-то ведь понимаешь, что я не шучу. Но мне трудно говорить с тобой. Девять десятых все меня с толку сбивают. Боюсь то и дело, что язык равновесие утратит и тогда... Так ты можешь домой идти, Сергей. — Прекрасное предисловие. В особенности хорошо написана первая часть: верно, глубоко, без лишних слов, т. е. без лишнего «образного пустословия», — в духе книги. Прочитав это вступление, я почувствовал как-то сразу и как-то элементарно просто и живо (в таких как раз случаях и волнуют особенно подобные мысли), что вкус духовной зрелости уже усвоен нами, что если и не созрели мы еще, то понятие о духовной зрелости у нас имеется (прости, что и себя в это широкое «мы» включаю); я полагаю, Сергей, что в этом как раз залог того, что поэзия (хотя бы и не нами) будет когда-нибудь выведена на ту царскую дорогу, с которой ее свели в детские, в альковы, в притоны теургии ли или разврата — безразлично. Замечательно, что о духе зрелости символисты имели представление самое слабое; пусть они и космогонии изготовляли — от слов их о космосе веет каким-то космическим провинциализмом. Так говорят о столицах в самых отдаленных захолустьях никогда не бывавшие в них. Как ты дума-

ешь, Сергей, сколько провалов в глубокомыслие вырыл бы символист из матерых, заставь он себя, например, написать что-нибудь подобное Гамлету? Т. е. поставь он себе такую задачу. Как сошлись бы брови при самом уже начертании заглавия? Это было бы сплошным *провалом всех глубин*. Мне очень нравится простота твоего слога во всем первом абзаце (особенно на первой странице). О содержании я и не говорю! Молодец! Ты знаешь, что к таким темам надо подходить запросто, как к свычному предмету, как к таблице умножения духа, на таких предметах воспитанного, без лишней и ложной Иерихониады[3]. За твоей книжкой потянуло меня к Вам в Москву. Хотелось бы сойтись с тобой и с Костей. Раньше мая об этом и думать не придется по невозможной трудности и финансовой недоступности сообщения. Вообще-то говоря, я рад, что здесь. В Москве не имел бы той, что здесь, возможности работать. А работать хочется.

Прости, Сергей, что такую шумиху поднял вокруг посланных тебе стихов. Вчера еще писал Косте об этой вещи приблизительно в том же тоне, что и тебе. А теперь стыдно мне. За эти сутки прошла для меня целая вечность. «Наброски» отошли в какое-то побудничному далекое прошлое. Скучно и тяжело. Но писать поэму все же не оставлю. Если можешь и хочешь, напечатай ее все же, как я тебя просил. Пускай и не интересная, она для меня очень характеристична. Рад быть в ответе за нее. Обнимаю тебя.

Твой Боря

Впервые: «Встречи с прошлым». Вып. 8, 1996. — Автограф (РГАЛИ, ф. 2554, оп. 1, ед. хр. 56). Датируется по содержанию; Бобров получил письмо 25 февр. 1917 г.

[1] «Дорогому Боре — не обижайся, коли скучно будет». Надпись приведена в письме к Локсу № 162.

[2] Текст телеграммы 13 февр. 1917 см. в коммент. 8 к письму № 162. В ней говорится не *о задушевности*, а «безупречности Николая».

[3] Имеется в виду библейская история о разрушении стен Иерихона звуками священных труб (Нав. 6).

164. РОДИТЕЛЯМ

Конец февраля 1917, Тихие Горы

Дорогая, дорогая мама! Получил твою открытку, родная! Что же ты грустишь. Не надо! Два месяца эти и не заметишь как пройдут, а в мае увидимся[1]. Грустно и мне: не спорится что-то у меня за

последнюю эту неделю работа моя. А я-то думал Бог весть чего навезти к весне, вас порадовать. Вот и не придется видно, боюсь я таких, ни от кого кроме самого себя не зависящих заминок. Упрется что-то в тебе и — ни с места.

Судя по открытке, Жоня так-таки и не получила письма моего в срок. Жаль. Зато Лидок будет счастливей[2]. Стал уже подумывать о лете. Все чаще мечтаю и все с большею верой в исполнимость этой мечты о драме (классического типа, но в современном духе — т. е. как я современность понимаю) — ...боюсь сказать — о ком[3]. Для этого придется мне много в Румянцевской библиотеке поработать.

Здесь я усвоил себе некоторые рабочие навыки (не в технике, но в обращении с собою как с ленивым невольником). Куда исчезает то, что называется вдохновением, когда побыв у тебя несколько суток, вогнав в пот холодный и лишив сна — оно уходит не оставив даже воспоминания о том, каково оно с виду, чтобы можно было его потом разыскать и приволочь к себе?

Каждый новый раз это — вещь совершенно новая, и хотя по первому дыханию уже узнаешь: это оно — вглядеться в него не успеваешь. Что за притча! А Боборыкины пишут двухтомные «Психологии творчества»[4].

Очень уж люблю я это слово! Страх как люблю. Вообще, надо сказать, много живых слов, с мякотью и с соком развел современный интеллигент! Ах, мама, надоел я вам верно всем — моими «литературными» письмами этого года.

Крепко, крепко тебя обнимаю. Целую папу, Шуру, сестер.

Твой Боря

Впервые: «Знамя», 1998, № 5. — Автограф. Датируется по содержанию.

[1] Пастернак вернулся в Москву в начале марта 1917 г., узнав о Февральской революции, незадолго до этого он писал: «А ведь может быть скоро я и приеду, дорогие мои! Папа и мама родные, объясните тем из нашей семьи (Жоня, Лида, Шура) — кто этого не знает: что собственно означает: любить вас до самой болезненной крайности и не иметь сил скучать по вас, и скучать вместе с вами, по поэзии, по трехмерном нормальном пространстве для тех вещей, которые еле-еле представляют себе планиметрически сейчас и, значит, вовсе себе не представляют» (там же. С. 188).

[2] День рождения Жозефины 6 февраля, Лидии — 8 марта.

[3] Речь идет о замысле драмы «Смерть Робеспьера», о которой Пастернак писал в 20-х числах февраля: «...я задумал действительно крупную вещь и *ее исполню*. Но ее даже и набрасывать нельзя, не имея соответствующих материалов. За ними только дело и стало. Придется, как приеду в

Москву, поработать в библиотеке» (там же. С. 188). См. коммент. 1 к письму Локсу № 162.

[4] П. Д. Боборыкин — автор многочисленных романов, повестей, драм и теоретических сочинений о мастерстве актера, о теории европейского романа и пр. Двухтомную «Психологию творчества» Пастернак ему приписывает иронически.

165. С. П. БОБРОВУ

1 марта 1917, Тихие Горы

Дорогой Сергей!

Рад, что понравилась тебе статья о Маяковском. Хочется видеть тебя. Сергей, если мои пассеистические тенденции (о, это не пассеизм) — и теперь тебя от меня не оттолкнут, то тебе предстоит много со мною потрудиться — ...Масса мыслей. Что писать перестал? Если не обманываюсь — если это не самообольщение — если это не висячие сады бессонницы, то ты не пожалеешь, что я о Вячеславе и Белом статей не писал.

Вот черновой отрывок (не скажу откуда)[1]. Если плохо, не сердись. По этому отрывку о целом судить нельзя. Ни о том, что в целом происходит, ни что производится им или должно производиться.

Буду скоро в Москве. Хотя боюсь, не дадите работать — понима<й> как надо. — Ах, как надо мне с тобой повидаться. А собственно рано еще. Но здесь невыносимо.

Ваша приписка, милая Мария Ивановна, привела меня в восторг неописуемый. Чем рассмешить мне Вас в благодарность за Ваш лаконический и меткий юмор? Не стану и пытаться.

Ах, здесь была раз замечательная сцена. В приложениях к «Ниве» имеется книжка рабочих записей Чехова (наброски сюжетов, «подслушанные» — знаем мы — выраженья — etc.). Читалось за столом. Восхищались. Что значит мастер!.. «Чем занимается ваш супруг? — Принимает пилюли» и т. д. Я поманул маленького инфанта за дверь — (Сергей его знает, малыш хоть куда![2]) и посоветовал ему брякнуть на другой день, что в голову взбредет, побессмысленней, а спросят откуда, сказать — из белой книжки — и все подхватят поясняюще: «Разумеется, Чехов». — Все так точка в точку и сошлось. Мы с ним ликовали. А знаете, что он сказал: «Видать, богатый: во всем сомневается». — Ну не мило ли? И еще в другом роде: «Жил как отшельник. Загримировался на два года и не выходил». И Вы не улыбнулись даже?

Ваш Б. Пастернак

Впервые: «Встречи с прошлым». Вып. 8, 1996. — Автограф (РГАЛИ, ф. 2554, оп. 1, ед. хр. 56). Дата получения, поставленная Бобровым, — 11 марта 1917 г.

[1] О каком тексте идет речь, неизвестно.

[2] Имеется в виду Володя Карпов.

166. Е. А. ВИНОГРАД

23 мая 1917, Москва

23/V

Сейчас проводил поверенного по делам Л. Н.[1] Надо удивляться энергии этого человека. Он вышел, я присел писать Вам и из окна вижу, как он спускается к полотну железной дороги. В Златоусте очень неспокойно. Нельзя между тем отрицать, что здесь, на Урале рабочие более чем где-либо подготовлены к самостоятельному веденью предприятий. Уже и в прошлом году я восхищен был высотою их умственного уровня и особым закалом мастеровых, предки которых не испытали гнета крепостного права. Завтра еду в Мотовилиху. К. Д. поседел и неузнаваем.

Вы спрашивали об уральских камнях. В большинстве подделка все.

Впервые: Е. Б. Пастернак. Борис Пастернак. Материалы для биографии. М., 1990. — Автограф (РГАЛИ, ф. 3123, оп. 1, ед. хр. 124). Открытка с видом: «Урал. На Таганае» без почтовых штемпелей; не была отослана, сохранилась в бумагах А. Л. Штиха.

[1] Называемые здесь персонажи неизвестны. Текст этой и следующей открыток написан от имени выдуманного лица и стилизован под речь типичного интеллигента, интересующегося вопросами социальной экономики, подобного персонажам прозы Пастернака этого времени. Мистификация отражает интересы Елены Александровны Виноград и должна была развлечь ее.

167. Е. А. ВИНОГРАД

25 мая 1917, Москва

25/V. Пермь

Под рукой оказалась неиспользованная открытка с дороги. Воспользуюсь ей, хотя та картинка, которая развертывается здесь предо мной, ничего общего со средним Уралом не представляет. В сегодняшнее же утро успел перевидать множество народа, знакомого мне по прошлой бытности моей тут. Речи за год изменились, лица мало, город — вовсе нет. Река точь-в-точь такова,

какой стояла в моем воспоминании. Кстати! Не сообщите ли Вы мне адреса Пастернака. Кажется, просил Вас уже о том. Вид с Сибирской улицы живо мне напомнил тот вечер, когда случайно повстречавшись с ним у Городского Театра, я очень мило скоротал с ним часок другой. Он служил где-то тут, близ Соликамска. Привет.

Впервые: Е. Б. Пастернак. Борис Пастернак. Материалы для биографии. М., 1990. — Автограф (РГАЛИ, ф. 3123, оп. 1, ед. хр. 124). Открытка с видом: «Урал. На Таганае» без почтовых штемпелей; не была отослана, сохранилась в бумагах А. Л. Штиха.

168. В. А. ВИНОГРАДУ

28 июля 1917, Москва

28/VII

Милый Валя! Сию секунду получил и прочел Ваше письмо, Вы просите телеграфировать, значит все это из категории молний и бурь.

Так это и будет исполнено; это письмо же покаместь имеет уведомить Вас, что нынче суббота и сейчас $^1/_2$ часа седьмого вечера, завтра воскресенье и следовательно канцелярия закрыта и только послезавтра удастся мне навести все требующиеся Вам справки[1]. Немедленно протелеграфирую. Сомневаюсь, чтоб это письмо до Вас раньше телеграммы моей доползло, да это и несущественно. Мне только хотелось на месте же и в момент получения Вашего письма установить невозможность исполнения всего просимого сию же минуту, как может быть я бы сделал при других обстоятельствах. В понедельник я все разузнаю. Спасибо, что обратились ко мне.

Дружески жму Вашу руку.

Ваш Боря

Жаль, что ни полсловом не обмолвились о своем житье-бытье. Письмо затевать — дело долгое, знаю, знаю — заняты Вы; но при готовом письме telle qu'elle soit*, — другой лишний завиток — дело минутное — и очень жалко, что Вы этого не сделали.

Это не упрек, — не вообразите чего доброго — ради Бога — нет, нет. Просто жалко. Итак, до понедельника. *Б. П.*

---

* какое бы оно ни было (*фр.*).

Впервые. — Автограф (РГБ, ф. 721, к. 1, д. 26).

Валериан Александрович Виноград в Балашове вместе со своей старшей сестрой Еленой занимались организацией земского самоуправления в волостях.

[1] Просьба уладить вопрос о продлении учебного отпуска в университете, так как из-за работы Виноград не успевал вернуться к началу занятий и сдаче экзаменов за первый курс. Об этом же идет речь и в следующих письмах.

169. В. А. ВИНОГРАДУ

31 июля 1917, Москва

31/VII

Милый Валя! Сейчас из канцелярии. Посылаю телеграмму: «Оставят второй год, письмо следует».

Телеграмму Вы получили уже верно. Письмо — вот оно. Сроки экзаменов не выяснены пока. Предполагаются в течение всего сентября (на младшем отделении). Практические занятия начнутся раньше, по вероятности с середины августа. Да не введет Вас эта информация в заблуждение: я ничего не напутал и изменя Вашей условной справке, распадавшейся на два типа, просто думаю, что и оставление на второй год на I курсе может в хорошую минуту не придтись по вкусу Вам. Об исключении и речи быть не может. Если не ошибаюсь, одно только невнесение денег за учение в установленный срок влечет за собой исключение, которому я не раз в студенческие годы подвергался, неизменно зачисляемый снова, по выполнении всех требовавшихся формальностей.

Что до отпуска, то письменное ходатайство о продлении оного Вы должны направить в факультетскую канцелярию, приложив к прошению старый отпуск (не просроченный еще, следовательно в конце августа); кроме того Вы должны будете представить удостоверение от своего «начальства» или учреждения, в котором служите, о факте Вашей службы, о том, следовательно, что Вы не байды бьете[1].

На этом я с Вами и расстанусь, пожелав Вам удачи и удовлетворения в занимающей Вас сейчас работе.

Длинные письма принимаются плохо людьми, как люди в длиннополых сюртуках мешком, отдающих Министерством Народного Просвещения.

А то я имел в виду дружески посоветовать Вам года все-таки не терять, выполнить все, что надо в течение месяца и затем вернуться к прерванному делу. Но Вы ни за что этого не поймете и будете в претензии на меня за обсужденье вопросов, меня не каса-

ющихся. Все люди так умны и так воспитаны и с такой точностью скажут вам в любой момент, где ваш мир кончается и начинается их собственный, что человеку, который только отдаленно думает, что позволительно во всем этом сомневаться, лучше держаться в стороне.

Ваш Боря

P. S. Я только что получил письмо от Лены со штемпелем от *27* числа, передайте ей, пожалуйста, что просьба ее уже исполнена и ежедневно будет исполняться[2]. И сердечный, сердечный привет.

Передайте также, что Маруся Шведова очень ее просит писать ей[3].

Валя, пишите мне изредка. Я Вам буду письма писать в ответ какие захотите, — веселые, смешные, содержательные, изобилующие фактами или сентенциями, настроениями, чем угодно. Не требуйте только лжи.

Итак, пишите.

Впервые. — Автограф (РГБ, ф. 721, к. 1, д. 26).

[1] То же, что бить баклуши *(южн.-русск.)*.

[2] Судя по сохранившейся копии письма от Е. А. Виноград, просьба состояла в том, чтобы успокоить ее мать, и, вопреки тому душевному отчаянию, в котором она находилась и о котором писала Пастернаку, сообщить матери, что у нее все хорошо и она счастлива.

[3] Подруга Е. А. Виноград по Высшим женским курсам.

170. В. А. ВИНОГРАДУ

15 августа 1917, Москва

Милый Валя, спасибо за письмо и дай Вам Бог бодрости и удачи в Вашем хорошем деле. Зачем Вы сделали эту глупую приписку о малосодержательности? Вы очень хорошо пишете о деревне и хорошо, что все, что Вы видите в ней хорошего — сплошь одна правда; что это не вложено, а вынуто.

Вы не поняли меня, когда я пожалел, что мое вмешательство в Ваши планы останется для Вас неприятной неловкостью[1]. Это не так, судя по Вашему письму, — а с тем и слава Богу.

Но говорил я не о том, что Вы-де неспособны постигнуть азбучной премудрости о нежелательности потери целого года, — а о другом совсем.

Это все неважно. Спасибо за то, что рассказали мне о себе. Мне это интересно было знать и письмо Ваше меня порадовало. Ответа от Вас на эту отписку я не жду, потому что вопросов она не содержит и потому еще, что Вам не до этого. Вы молодец, Валя. Любо Вас слушать. Пусть не смущает Вас тот тон, в котором я это Вам говорю.

Все мы, не исключая и меня конечно — дети.

В этом виновата война и четырехлетний застой в истории человечества и то, что войне предшествовало и к ней уже относилось, как предгрозье к грозе.

Особенные дети — военные, что находится в цельнейшем согласии и с святостью подвига их и с тем, что в них есть греха.

Я думаю, что производство возрастов и в пределе отдельной человеческой жизни есть дело истории или дело культуры или как хотите — но не дело клетки, которая только вотирует или, препятствуя, отвергает, а сама изобрести возраст (душевную зрелость) — не в состоянии.

Москва живет сейчас Совещанием[2]. Вы узнаете о его ходе из газет. Сегодня третий день, как оно собралось и заседает.

На очереди обращение живых сил страны к правительству. Поговаривают, будто бы все и всех цветов они, силы, будут просить скорейшего заключения мира. Тут к соседу моему приехал дядя, кооператор с Дону, провинциальный, коричневый, славный, в очках. От него я узнал кое-что о предстоящем. В учреждении волостного земства и сам усмотрел вчера, за чтением речей Авксентьева и Прокоповича, единственное основание спасения[3].

Ну до свидания. Я чувствую себя грешником страшным среди всего, и это не слова.

Еще раз спасибо за письмо и еще раз — бодрости Вам и успеха.

Ваш Б. Пастернак

Впервые. — Автограф (РГБ, ф. 721, к. 1, д. 26). Датируется по содержанию.

[1] В письме № 169 совет не терять год, а сдать экзамены сопровождался опасением, что он будет воспринят как претензия старшего руководить младшим.

[2] Имеется в виду Государственное совещание, созванное Временным правительством 12 августа 1917 г.

[3] Н. Д. *Авксентьев* и С. Н. *Прокопович* — министры Временного правительства. Занятия В. А и Е. А. Виноградов отразились в теме стих. «Лето» (1917): «Вводили земство в волостях...».

171. О. Т. ЗБАРСКОЙ

Ноябрь-декабрь 1917, Москва

Милая Ольга Тимофеевна!

Ну и спасибо же Вам, без конца и без краю! Скажу кратко и уверенно: как только поулягутся события, жизнь на жизнь станет похожа, и будем мы опять людьми (потому сейчас тут не люди мы) — выйдет большая моя вещь, роман, вчерне почти целиком готовый[1]. Так вот, попадется он Вам на глаза когда-нибудь, хоть не скоро это, знайте и запомните, что первую часть его подымать помогли мне Вы. Не шучу нисколько. Вы и вообразить себе не можете, как чудесно, насколько впору и кстати Вы вдруг вспомнили обо мне.

Вчера все вечером вышло. А при этой работе, в напряжении, заметил я, сгораешь чудовищно быстро. Подхожу я к окну, веско так, с думой на неделю, как быть, что-то завтра Бог пошлет, ночь темная, непроглядная, обычная стрельба в вымершем городе — что-нибудь пошлет непременно, думаю, кого-нибудь, нематериальное что-нибудь, поддержку какую-нибудь, или радость на подтопку, знаете, бывает так. И что же, утром звонят по телефону, длинный разговор о каком-то сборнике, назначаю плату, принимают, о радость! — как Вас звать, очаровательный тенор — так-то и так-то. Раз. А потом брат ко мне является: посылка тебе от Ольги говорят Тимофеевны, если не спутали у Ушковых в конторе.

Нет не спутали в конторе у Ушковых, только не сказали ему, чем я заслужил у Вас такую память, щедрую такую и животворящую?! Ах, милая Ольга Тимофеевна, да объясняй я Вам битый час значение совершенного Вами, Вы ведь все равно вполне не поймете, что это за богатство, как просто — проницательно, свободно и благородно вышло это у Вас и — пришло ко мне от Вас и от вчерашнего Бога.

Вы не смейтесь, пожалуйста, я ведь сам сумасшедший немного, по-своему суеверен, и вероятно уже стар и дик душой — и год этот — ужасный, и город этот голодный, смертоносный и разрушающийся, не произведший за этот срок ни одной живой пылинки, — все это, взятое вместе, способно лишить толковой речи хоть кого.

Но довольно об этом. Теперь Вы и сами уже уверились, что Вы — ангел. Сегодня как раз Фанни Николаевна уезжает. Страшно хотелось бы послать Вам чего-нибудь хоть отдале-е-е-нно напоминающего о значении Вашей посылки. Но в Москве ничего

такого не найдешь или если есть что, так нет приступу. Вам расскажут побывавшие тут. Что мы одним чудом спасаемся, знайте Вы, одно из его чудесных орудий.

А потому, не взыщите ради Бога, на том ничтожном, что попрошу передать Фанни Николаевне — Вам. Говорят, у Вас в этом недостаток ощущается. Это чистый вздор, но Вы ведь не осудите меня за то?

Я расспрашивал Фанни Николаевну о Вас и Якове Ильиче, она что могла и имела рассказала мне, только немного. Вот будет хорошо, если Вы напишете мне, как живете и что думаете, вспомянув, как чудно сиживали мы зимними вечерами в той всегда превшей комнатушке, где занимались военными и продовольственными и, в общем, татарскими делами. Вы, — сдерживая душивший Вас смех; я закуриваясь до одурения; В. Е. — насмешливо и резонно косясь из-под пенсне. А «картины» (кинематограф)! Существует ли он еще?

Вы где теперь живете? Напишите мне непременно. И пусть Яков Ильич, как приедет, коли будет охота. А я Вам отвечу. А к тому времени лед тронется, и с навигацией может наладится почта. А то с оказией: от Вас ведь ездят в Москву рабочие и служащие; и я тоже буду наведываться.

Скажите, счастливее ли стали у Вас люди в этот год, Ольга Тимофеевна? У нас — наоборот, озверели все, я ведь не о классах говорю и не о борьбе, а так вообще, по-человечески. Озверели и отчаялись. Что-то дальше будет. Ведь нас десять дней сплошь бомбардировали[2], а теперь измором берут, а потом может статься подвешивать за ноги, головой вниз, станут.

Ну, прощайте. Еще раз огромное спасибо. И еще от людей Вам неизвестных, которых тоже попользовал. Дружески жму Вашу руку.

Ваш Б. Пастернак

Привет Якову Ильичу. Поклоны всем, кого встречаете и кто заслуживает.

Впервые: Борис Пастернак. Из писем разных лет. М., 1990. — Автограф (собр. А. Б. Збарского). О. Т. Збарская — жена Я. И. Збарского, брата Бориса Ильича. После отъезда Пастернака и Б. И. Збарского из Тихих Гор семья Я. И. Збарского оставалась там.

[1] Имеется в виду роман, отделанное начало которого было издано как повесть «Детство Люверс».

[2] Речь идет об октябрьских боях в Москве.

172. А. Л. ШТИХУ

21 декабря 1917, Москва

Милый Шура!

Мне неприятно, что мы так расстались. В ту сцену в передней и на лестнице затесалась легкая фальшь, в которой ты никак не повинен, и я намеренно обострил неловкость. Отсюда и безобразие прощанья. Мне тем сильней и живее хотелось бы твоего извинения, т. е. чтобы ты извинил меня, что нам, вероятно, очень, очень долго совершенно невозможно будет встречаться. По крови я еврей, по всему остальному за ее вычетом — русский. Института рыцарства не знала история ни того, ни другого народа. А других этнографических элементов в моем мире не имеется, как бы я к этим двум имеющимся ни относился. Мы наверное разойдемся с тобой в понятиях о благородстве и мужественности, в которых я всегда расхожусь с теми, кто в них замешивает романтизм. С последнего для человека начинается слабость и туман. Я не люблю ни того ни другого.

Ты, кажется, любишь Лену[1]. Уже само предупреждение о том, чтобы ты со мной о ней не заговаривал, заключало бы довольно двусмысленности для того, чтобы на долгое время отказаться от всяких встреч. Это неприятно и нескладно, но делать нечего.

Твой Боря

21.XII.17

Впервые : «Россия». Venezia, 1993, № 8. — Автограф (РГАЛИ, ф. 3123, оп. 1, ед. хр. 36).

[1] Речь идет о Е. А. Виноград.

173. С. П. БОБРОВУ

16–17 июля 1918, Москва

Дорогой Сергей!

Прошу тебя о большой дружеской услуге: прочти начало романа[1], о котором слышал отзывы самые противоречивые, из всех мнений дороже мне, конечно, твое и вот отчего до последней минуты колебался и избегал тебе его показывать — это должно было произойти в минуту решительную, в момент последней авторской читки, так как вкусу я учился между прочим и у тебя, в чутье твое верю больше, чем в свое собственное, а что до нелицеприятия и беспристрастия, то и в этом отношении я тебя безмолвно и со стороны испытал. Мне очень важно будет знать твое суждение об этом опыте. Может быть припомнишь все, что случалось мне зимой говорить насчет объективных форм, нейтрализованной художнической среды, заботы о человеке и тому подобных модерантически-пассеистских[2] вещей. Ну вот, все эти соображения отразились на этой вещи. Иногда приходит в голову мне, что все-таки ведь, невзирая на всяческие эти scrupules*, роман писал я, и тогда мне становится легче среди чада всех этих, как оказалось, ненужных и мало чем со мною связанных сомнений. Надо, вероятно, пройти и через эту отвратительную полосу восстанья на все, что в тебе живого есть, в угоду неизвестно каким неорганическим и чуждым моментам.

Перед тем как приступить к обработке существеннейшей второй и наисущественнейшей третьей части, мне бы хотелось как-нибудь реализовать или по крайности заручиться видом на реализацию целого на основании переписанных $^3/_4$ первой части. А наперед надо навести порядок в своем собственном отношении к

---

* сомнения (*фр.*).

вещи. Тут-то ты и должен мне помочь своим суждением и советом. Очень тебя прошу, если есть время, не откладывай чтенья в долгий ящик и займись этим, как только можно будет.

Не знаю, надо ли делать это замечанье: вторая и третья скрепленные порции (тетради) связаны воедино попыткой показать, как складывается в сознании момент абстрактный, к чему это впоследствии ведет и как отражается на характере. Тут это показано на идее третьего человека.

Если захочется тебе и придется, можешь делать заметки карандашом на левых половинах. Я буду тебе за это несказанно признателен. Лундберг (вот не ожидал!) вещь забраковал как сонную, скучную и добродетельно-тенденциозную по внешнему тону и виду.

На два дня уезжал к родителям[3], эту неделю вероятно пробуду тут. Зайду послезавтра.

Роман будет называться «Три имени» или что-нибудь в этом духе. Пока что это неважно. Пред тем как кому-нибудь сдавать, слегка местами подчищу — lim=0. Так что смотри на это как на беловой список.

Твой Б. П.

Впервые: Собр. соч. Т. 5. — Автограф (РГАЛИ, ф. 2554, оп. 1, ед. хр. 56). Дата получения 18 июля 1918.

[1] Речь идет о *начале романа* «Детство Люверс», рукопись которого содержит пометы Боброва (РГАЛИ, ф. 379, оп. 1, ед. хр. 25).

[2] То есть: умеренно-традиционных.

[3] Лето 1918 г. родители Пастернака жили на даче в Очакове по Киевской железной дороге.

174. В. Л. КАРПОВУ

2 января 1919, Москва

Милый Володя!

Я думал зайти за тобой поутру и предложить тебе пройтись со мной, предполагал пойти на Павелецкий, осмотреться среди южной контрреволюционной провизии, как собирался, да вспомнил, что ты гимназист и утром тебя дома быть не может. Нам не удастся свидеться сегодня, я ночь сплошь работал и с трех часов, верно, лягу спать. Так что ты и по телефону мне не звони до девятого часа вечера, а то это дело трудное — днем уснуть. Завтра либо послезавтра снесусь и сам с тобой по телефону, очень хочется тебя повидать, вчера я ждал тебя и ты меня успокоил, сказав, что гости у тебя, а то я стал тревожиться, не сбился ли ты с дороги, ведь в

таких потемках даже профессора и кошки названья улицы не разберут. А у нас тут фонари коптили и при старом режиме, когда в общем было в Москве светлей. Если застану маму сейчас, то на словах ей все передам.

А если мое посещенье ограничится одной передачей тебе книги[1], то не забудь передать ей и папе мой привет, как это ты наверное опять забыл сделать.

До свиданья, милый. Я страшно устал.

Твой Б. Пастернак

2.I.1919

Впервые. — Автограф (собр. В. Л. Карпова).

С Володей Карповым, сыном известного химика Л. Я. Карпова, Пастернак занимался предметами в Тихих Горах и очень полюбил его. См. о нем в письмах родителям 1916–1917 гг. из Тихих Гор. По приезде в Москву завязалось семейное знакомство с Карповыми; Л. О. Пастернак сделал с Л. Я. Карпова несколько портретов.

[1] Л. Н. Толстой. Детство, отрочество и юность. Изд. Т-ва И. Д. Сытина с дарственной надписью: «Милому мальчику мрачного и страшного вида, но очень сердечному и хорошему, Володе Карпову с лучшими пожеланиями успехов и беспечного детства и отрочества от Бориса Пастернака. Москва 1/I 1919 н. ст.» (собр. В. Л. Карпова).

175. П. Н. ЗАЙЦЕВУ

1919, Москва

Благодарю, Вас, Петр Никанорович, за обе услуги (мне и Ивневу)[1]. Расписки прилагаю. Если не сбился в счете, то должен будто 6 рублей Вам сдачи (104 + 150 + 100 = 354, а послано 360, — видите — соображаю).

Но у меня не было мелочи и это останется за мной. Непременно, как только сможете, соберитесь ко мне. И непременно предупредите по телефону. Да не откладывайте, смотрите, до моего выхода на волю[2]: перспектива все меняется и тогда я Вас только наполовину дома приму, тогда как теперь я тут *дома всецело*. А первое будет приятнее мне и Вам. В течение двух еще дней Вас будут ждать ржаные лепешки, которые быстро переплывают стих и мрут повально. Если думаете собраться завтра в воскресенье, то после 3-х, ибо утром завтра у меня — куча частных посетителей. Еще раз спасибо. Жму руку.

Ваш Б. П.

Впервые. — Автограф (ИМЛИ, ф. 15, оп. 2, ед. хр. 105). Пастернак познакомился с поэтом, журналистом и издательским работником П. Н. Зайцевым в начале 1910-х гг. в кружках молодого «Мусагета».

[1] Пастернак благодарит Зайцева за публикацию своего стих. «Плачущий сад» («Дождливая ночь») и стих. Рюрика Ивнева в «Вестнике Воронежского округа путей сообщения» № 4–5 за 1919 г.

[2] Пастернак тяжело болел во время эпидемии гриппа.

176. Д. В. ПЕТРОВСКОМУ

6 апреля 1920, Москва

6.IV.1920

Дорогой Дмитрий!

Очень обрадовался Вашему письму. Что ж это брат Ваш? Помнится, он ведь уже болел раз тифом в Петербурге. Бедный! Помните Вы свое зимнее тогда посещение с ним, на Сивцевом Вражке?[1] А чудесная ведь была пора, хотя и холодно было! Дорогой Дмитрий, что сказать мне Вам в ответ на Ваш вопрос, жив ли я. Вот, как видите.

А ужасная зима была здесь в Москве, Вы слыхали, наверное. Открылась она так. Жильцов из нижней квартиры погнал Изобразительный отдел вон; нас, в уваженье к отцу и ко мне, пощадили, выселять не стали. Вот мы и уступили им полквартиры, уплотнились[2].

Очень, очень рано, неожиданно рано выпал снег, в начале октября зима установилась полная. Я словно переродился и пошел дрова воровать у Ч. К., по соседству. Так постепенно с сажень натаскал. И еще кое-что в том же духе. — Видите, вот и я — советский стал.

Я к таким ужасам готовился, что год мне против ожиданий показался сносным и даже счастливым. Он протек «еще на земле», вот в чем счастье.

Только что писал своей двоюродной сестре (тоже хороший человек, настоящий) в ответ на вопрос ее, «чем живу еще я, не положен ли еще на лопатки»[3]. Много я ей написал, а об этом сказать позабыл. Нехай. Вам оно будет. Чем живу?

Все тем же. Все так же идут дни за днями. Как же они идут? А так, что не из вчерашнего Вас в сегодняшний толкают, а завтрашний Вас выволакивает из нынешнего. Обычно, когда жилось хорошо, все настоящее было сплошь будущим, и помните, по временам все волненье наше проистекало от такого затеканья, засасыванья времени. Сейчас это вытягиванье человеческого невода

не так ощутимо. Но ведь вот существую я еще? Значит где-то в отдаленном будущем работают рыбачьи мышцы и скучно сейчас только оттого, что со слишком уже большого расстоянья доходит это действие. О, где-то по-настоящему шумно и молодо еще!

Тут советская власть постепенно выродилась в какую-то мещанскую атеистическую богадельню. Пенсии, пайки, субсидии, только еще не в пелеринках интеллигенция и гулять не водят парами, а то совершенный приют для сирот, держут впроголодь и заставляют исповедовать неверье, молясь о спасенье от вши, снимать шапки при исполнении интернационала и т. д. Портреты ВЦИКа, курьеры, присутственные и неприсутственные дни. Вот оно. Ну стоило ли такую кашу заваривать.

Не стану я Вам писать о своих литературных делах. А то Вы чего доброго вообразите, что я им какую-нибудь цену придаю. Нет. Мертво, мертво все тут и надо поскорее отсюда вон. Куда, еще не знаю, ближайшее будущее покажет, куда. Много заказов, много звонких слов, много затей, но все это профессиональное время-препровожденье в вышеописанном приюте без Бога, без души, без смысла. Прав я был, когда ни во что это не верил. Единственно реальна тут нищета, но и она проходит в каком-то тумане, обидно, вяло, не по-человечески, словно это не бедные люди опускаются, а разоряются гиены в пустыне. Вообще — безобразье. А ведь и у вши под микроскопом есть лицо.

Слушайте, милый мой, закончу-ка я свой синодик, а то Вы, пожалуй, еще заснете под эту обывательскую колыбельную песню.

У меня к Вам просьба большая, а услуга, которую Вы бы могли оказать, прямо неоценима. Домашние поставили бы Вас превыше памятника на Страстной.

Пол-Москвы живет почтовыми посылками из краев, подобных Вашим. На этой неделе вышлю Вам тысячи три или больше, если добуду со следующим моленьем. Посылайте исподволь продовольствие: сухари, если можно будет — мед, крупу, сало, — если можно это у Вас достать. Красноармейцы имеют право посылать всякие продукты, обыкновенные смертные — одни сухари, но и это тут — величайшее благо. Посылать может одно лицо какому-нибудь одному лицу два раза в месяц по 20 фунтов. Кажется обходят это тем, что поручают отсылку кому-нибудь или отсылают от чьего-нибудь имени, хорошо бы — красноармейца. Узнайте все это точно, если почта не слишком далека от Вас, и окажите мне эту помощь. Это легче, удобнее, вернее и т. д., чем привоз.

Вот Вам наш адрес точный (хотя он и так известен Вам) Волхонка 14, кв. 9. Вот Вам адресаты, на случай учащенья посылок (чтобы не дожидаться сроков, положенных на каждое лицо) — Борис Леонидович, Александр Леонидович, Лидия Леонидовна и Жозефина Леонидовна Пастернаки. О посылке, а главное о том, от чьего имени посылка — предупредите письмом. Нечего говорить, как я за это Вам буду благодарен.

Хотя, должен огорчить Вас. Странно я слажен и странно живу. Всю жизнь вокруг меня друзья, по-разному делающие мне разные услуги, поддерживающие меня просто морально, преданностью своей, верой, многим другим. И вот — я не знаю, за что это, иногда мне бывает страшно больно от мысли, что никому я никакой радости настоящей не сумел никогда доставить.

Ваш Б. Пастернак

Пишите о себе побольше, если не скоро приедете.

Впервые: «Литературное обозрение», 1990, № 2. — Автограф (собр. М. П. Гонты).

Знакомство Пастернака с поэтом Д. В. Петровским в 1919–1920 гг. переросло в теплую дружбу. В конце 1917 г. Петровский вернулся на Украину и стал активным участником гражданской войны. Близкий анархистам, он организовал вместе со своими братьями отряд красных партизан, захваченный армией Петлюры, был приговорен к расстрелу.

[1] Пастернак снимал комнату в Сивцевом Вражке (д. № 12) в 1917–1918 гг. Он вспоминал об этом в «Охранной грамоте».

[2] В доме № 14 по Волхонке, где жили Пастернаки, расположился Изобразительный отдел Наркомпроса (ИЗО). В квартиру Пастернаков вселились В. И. и Е. И. Устиновы.

[3] Письмо к О. Фрейденберг не сохранилось.

177. Д. В. ПЕТРОВСКОМУ

1 июня 1920, Москва

1.VI.1920

Спасибо, спасибо, дорогой Дмитрий!

Получил повестку, не сказано от кого и откуда, пошел на почтамт, спрашивают (иначе не выдают), наугад называю вас, Городню. — Так и есть. Он, Дмитрий. Сухари. Чудно! — оно; я тотчас вам деньги переведу, а может быть, и раньше. Как будут.

Ну а теперь о другом. Отчего Вы не напишете ничего о себе? Как брат Ваш! — Опять событья развертываются совсем под бо-

ком у Вас[1], и очень за Вас боюсь и тревожусь. Той зимой, Дмитрий, что я Вас узнал[2], стало близко Ваше дело мне и Ваша жизнь. Верно, больно Вам часто бывает, как и мне тут, а ничем не поможешь. Горько то, что быть бы таким людям, как Вы — счастливыми, как цветам — цвесть и в грозу дождю идти. Да ведь что поделаешь? Люди такие пачкуны, что просто дивишься, как природе не надоест их на свет выпускать. Да и ни при чем она тут, природа. Она, бедная, в дивном неведенье своем продолжает выгонять ту породу, которою рай когда-то в шесть дней поразила: двух неповторяемых детей по седому образу и подобью Божью. А всякая эта сволочь тупоумная заводится в городах и из книжек выскакивает. А это — господа положенья. Вы думаете, что неестественная шваль не знает, что они — незаконнорожденные! Знают прекрасно! Раскройте Библию, и в ней Вы себя и все, что у вас пред глазами, и лето в Дроздовицах[3], и свою бессонную ночь, и небо найдете: обо всех рассказано. Но об этих «деятелях», об интеллигенции, о «подполье» ни слова там нет.

Адвокатов и зубных врачей не имеется там. А между тем и над ними — небо из Библии, и липы из Библии над ними, и ночь из Библии, Ваша, Дмитрий, ночь — у них. Ну не воры ли? Никогда еще лето не казалось настолько странным в Москве, как в этом году, где его оскорбляют на каждом шагу обыватели и не обыватели. И каждый раз, что хочу я с последним взять искреннюю летнюю ноту и сердечно заговорить как с людьми, — оскорбляют и меня. И ох как горько подчас! И величаво. Потому что ведь и лету горько, и Вам, и всему, что раем пахнет. И чувствуешь: — вместе мы, слава тебе, Господи, слава тебе! Обнимаю Вас.

Ваш Б. Пастернак

Был тут Петников[4]. Он тоже ведь, есть грех, из Ламанчи. С ним не так одиноко себя чувствовал.

Впервые: «Литературное обозрение», 1990, № 2. — Автограф (собр. М. П. Гонты).

[1] С 6 мая по 12 июня польские войска оккупировали Киев, то есть кульминация советско-польской войны происходила в непосредственной близости от тех мест, где жил Петровский.

[2] С Петровским Пастернак познакомился в 1914 г.

[3] Петровский жил тогда в селе *Дроздовицы* Черниговской губернии.

[4] В 1919 г. Пастернак печатался в издававшихся поэтом Г. *Петниковым* в Харькове журн. «Пути творчества» и альманахе «Сборник нового искусства».

178. Н. А. ПАВЛОВИЧ

28 июня 1920, Москва

Милая Надежда Александровна!

Спасибо за письмо. Я получил его вчера, 27-го. Спешу ответить, хотя Ваших просьб еще исполнить не успел, а постараюсь сегодня.

Радуют меня Ваши сообщенья, радует доверье, радует тепло[1]. Спасибо за все. Все больше и больше крепнет во мне решенье переехать в Петроград. А здесь все продолжается московская бестолочь, наперекор природе укрепляемая принципом: «кто трудится, тот не ест». Два раза выступал в кафе[2] и второй раз особенно хорошо, т. е. особенно неудачно. Это был «доклад», я им дело говорил, а они ждали «теории» «научности» и, что всего важнее, — полуторачасового цеженья сквозь зубы. Я же отрапортовал им в пять минут. А люди деньги платили. Всего замечательнее было то, что они моими же книгами старались побить; задавали вопросы, что я чувствовал, написав то-то; как я писал, писав то-то, люблю ли я прозу А. Белого; какова будет та проза, которую я напишу? и т. д. и т. д. — Все это мне порядком надоело. На днях закончу я это все: выступления и работу в Союзе[3]. Надо что-то настоящее сделать, а пока этого нет, тошнит от этой «круговой профессиональной поруки». Вы знаете, как я смотрю на все происходящее кругом. Помните, я говорил Вам, как и когда я оживу опять. А жить на счет какого-то создавшегося кредита, жить вообще в кредит не могу, не хочу, не умею. Вот скоро уеду.

Страшно только то, что время так быстро идет, пустое, негруженое. Так вагоны возвращают на станцию отправленья, сплошными составами. Получается впечатленье, будто время это не поступает, а отливает назад. Хорошо, когда бы так. Ну, да что меня слушать! Из пяти возможностей издать «Сестру м<ою> ж<изнь>»[4] не использовал ни одной и, кажется, на время брошу. Она не пропадет. Я, вероятно, пошлю Вам кое-какие рукописи — рассказ, статью (вчерашний «доклад»), еще что-нибудь, еще не надумал. Может, пригодятся там. Борису Николаевичу[5] большое спасибо за память. Пока он жил тут, я сильно сдерживал себя, чтобы не увеличить числа звонков, и стуков, и посещений в его доме еще одним — тяжелым. Вот так всегда. А теперь его тут нет.

Впервые: «Литературное обозрение», 1990, № 2. — Автограф (собр. М. С. Лесмана). Датируется по содержанию. Поэтесса Н. А. Павлович с

1918 г. входила в президиум Всероссийского Союза поэтов; Пастернак был знаком с ней по совместной работе в Лит. отделе Наркомпроса. От этого времени сохранилась записка Пастернака С. Ф. Буданцеву: «Дорогой Сергей Федорович! Эта папка для Надежды Александровны Павлович. Если Н. А. сегодня в Лито не будет, то заприте папку (если можно в шкап в Вашем кабинете). Я зайду еще раз часа в 4. *Б. Пастернак*». (ИМЛИ, ф. 60, ед. хр. 44). Возможно, эта записка имеет отношение к рукописи первого тома «Сочинений» Пастернака, запроданного весной 1920 г. в ЛИТО.

[1] Н. А. Павлович уехала в Петроград для участия в организации Петроградского отделения Союза поэтов и стала его секретарем.

[2] В кафе Союза поэтов в 1920 г. Пастернак выступал дважды: 20 июня с чтением стихов и 27 июня с докладом «Мысли о прозе и поэзии», излагавшим содержание статьи «Несколько положений».

[3] Имеется в виду Союз поэтов («СОПО»), организованный в 1918 г. под председательством В. В. Каменского, В. Я. Брюсова и Г. А. Шенгели. Пастернак был избран членом президиума.

[4] Книгу «Сестра моя жизнь» Пастернак предлагал нескольким издательствам, но издание удалось осуществить только в 1922 г.

[5] А. Белый находился в Петрограде с февраля по июль 1920 г.

179. А. Л. ШТИХУ

18 июля 1920, Касимов

Дорогой Шура!

Дорога в этот рай[1] была чистою Шехеразадой. Когда-нибудь расскажу. Но завез я сюда прегадкую штучку под мышкой: целое гнездо фурункулов, которым народною медициной присвоено гнуснейшее наименование[2]. Ах, Шура, и так «не вяжется» с данными моего путешествия и с Касимовскою поэзией эта крестообразная «повязка» осьмеркой и «связанное» с ней сиденье дома и бездействие и безделье! Ты и представить себе не можешь! Хоть плачь! Будто трех лет этих как не бывало, и вдруг как к прерванному разговору вернулся я к душевному возрасту и тону того лета, — а в Рязани, — ты бы послушал меня, плохо ли я читаю[3], — оно и понятно, — тени, тени мы все в Москве. Думал, приеду я в Касимов и тотчас же пущусь кружиться по уезду и стану в Рязань наезжать и — снова в Касимов — высыпаться — и Москва стала под знак вопроса, — а тут: борная, марлевый бинт, клеенка, вата и прочая дрянь. Пока что, конца этому не предвижу. Но теперь ли унывать после такого освеженья!

Милый друг, найди мне комнату, — у тебя была ведь на примете. Жить опять, как раньше, я не намерен. Я опять увидал себя, я опять знаю, что себе не принадлежу и дому, что счастливым мне

не бывать, но не о ком и не о чем мне тужить и нечему радоваться, как тому только старшему и юнейшему, которого я увидал опять, я ли это или не я, не знаю, но пять раз я слышал его над собой, и им надо быть, им надо стать, им надо остаться навсегда, окончательно. Заходил ли ты к Шуре за карточками и книжками?

Вижу я, кажется, вижу, и все лучше и лучше, революцию. И для того чтобы заключить, что она реальна в классе, в крестьянах, — видеть ее не надо. Это факт кабинетно неоспоримый, это факт «трансцендентальной социологии». А видна она не в мужиках, а во взвешенном виде между доисторической осенью 1916 г. и темным послереволюционным близким будущим. — В Москве она нейтрализована и начинается за Перервой. Привет твоим. Обнимаю тебя. Приеду вероятно через неделю. Глупое письмо. Я знаю.

Твой Боря

18. VII. 1920

Впервые: «Россия». Venezia, 1993, № 8. — Автограф (РГАЛИ, ф. 3123, оп. 1, ед. хр. 36).

[1] Пастернак приехал в Касимов к своему дяде, земскому врачу Осипу Исидоровичу Кауфману, подлечиться от фурункулеза, помочь с огородом и запастись на зиму овощами.

[2] Сучье вымя.

[3] Пастернак получил приглашение провести авторский вечер в Рязанском Союзе писателей.

180. РОДИТЕЛЯМ

Июль 1920, Касимов

Дорогие мама и папа! Надеюсь, вы уже в санатории. Поймете ли вы уже наконец, что хотя бы в этой новой обстановке, далекой, по счастью, от дома, вам надо забыть про все заботы и простонапросто жить, есть, пить, спать и фантазировать в оптимистическом духе? Вы и не представляете себе, как до слез больно бывает вас вспоминать, как *обидно* бывает о вас думать. Еще шаг один в этом направлении, и попадешь на те границы души, за которыми начинается сумасшествие. Надо было прямо уметь, несмотря на все значение папы, наперекор естественному типу, наперекор всему скопить за долгую жизнь такой запас психической депрессии, душевной анемии, тяги к призрачным несчастьям и т. д., какой всегда витал над нашей семьей и в лучшие годы.

Вас не исправить, вот что ужасно! И хочется поневоле спросить: зачем вам понадобилось это все?

Зачем давно, давно когда-то повели вы эту линию, исполненную робости, неверия в судьбу, опасливости и сплошь трагическую, потрясающую, как подумать?

Зачем всегда прибеднялись вы и подсказывали обстоятельствам, что они могут безнаказанно принять вас за бедных, бесталанных, вечно чем-то откуда-то угрожаемых? И это при той-то силе, заложенной в вас обоих! Семья? Но теперь-то ведь она не из грудных ребят у вас?

Вот вечный отвод, вечный «козел отпущения» для глубоко укорененных, неисправимых уклонов вашей общей душевной стати. Вас надо изолировать от этого «козла» во что бы то ни стало. Я серьезнейшим образом думаю с вами поговорить о переезде вашем в Касимов. Не мечтал ли папа о покое, который он думал обеспечить себе по достижении Лидою совершеннолетия? Не продолжает ли он мечтать и сейчас о заграницe? Если бы не только ему, но тебе, мама, тебе всего более удалось *наглядно показать* легкость и приятность переезда, а затем и самую жизнь тут, *жизнь в полном смысле довоенную*, допускающую самый разнообразный выбор форм, — если бы это можно было сделать, убеждать бы мне вас не пришлось: судорожное окоченение, в которое привел всех нас московский общий дух, прошло бы само собой при первом же взгляде на картину того и другого (путешествия и Касимова), как это и случилось со мной и с Лидой.

Мне кажется, что даже и при условии «достижимости» заграницы слишком уж спорно, сбивчиво и противоречиво то, что про нее узнаёшь. Во всяком случае папе должно быть ясно, что до «отдыхающих» там очень мало дела теперь. Это ведь не то, что до 1914 г. было. А *русская провинция* (папа, русский художник, ведь совсем, совсем ее не знает!), это *именно то, что он сам подразумевает*, того не ведая, *когда говорит про свою мечту о покое*, теперь будто бы расстроившуюся. Нет, она ничуть не расстроилась, эта мечта! В той форме, в какой я ее себе представляю, она так же близка к осуществлению, как в 1913-м году. Для ее осуществленья требуется всего-то навсего только та доза доброй воли на каждого из вас, как требовалась она от меня и от Лиды, *и больше, слышите ли, ничего*, и тогда вы без всякого труда — у цели.

А цель эта, вот она: *жить так, как вам не снилось в Молодях!*

Касимов (для краткости) это что-то вроде русского Марбурга. Он древнее Москвы, бывшая столица татарского царства, очень

живописен, в одной своей части по своему гористый, а люди, — надо сказать, что теперь роли переменились, Россия оживает, и в Салтыкова-Щедрина просится уже не провинция, а, в сравнении с ее разумной, жизнерадостной человечностью, скорее уже сама Москва.

Впрочем, будет время поговорить об этом по приезде. Хотя на что это вам? Ведь это сулит действительное благоденствие и беспечную, хорошую жизнь. А к этому, надо признаться, у вас никогда влеченья не наблюдалось. Почему, почему это все так? Крепко обнимаю вас.

Ваш Боря

Впервые: «Знамя», 1998, № 8. — Автограф.

181. Д. В. ПЕТРОВСКОМУ

15 декабря 1920–19 января 1921, Москва

Дорогой Дмитрий! Вот так всегда (то есть вовремя, несмотря на желанье не отвечать), имени этому нет. Распорол я Вашу посылку, и все это такой Шехерезадой красоты показалось, что не хотелось мне, чтобы домашние до этой груды дотрагивались, а чтобы лежала эта гора всегда на столе, тигровая, гранатовая, сразу же влюбившая в себя нашу лампу, которая ничего подобного никогда не видала, и побледнела при виде ее больше, чем требовалось для полной Вашей победы. Ну да что я Вам эстетику развожу. Это — Гомер и баста. Бронза, чайные розы, чернь и кармин. Этим бы Дориан Грей[1] не побрезговал. Сидел бы сидел, как за своим Готье, и перебирал и переворашивал. Я бы об этом не заговарил, если бы не думал, что и Вы знали, как посылали, и уверенно подняли занавес над этой фруктовой трагедией, и что действие Ваших «Цыган» для Вас не сюрприз. А если я так долго на действии Вашей посылки останавливаюсь, то это потому, что мне она другой случай напомнила.

Перебирались мы как-то на другую квартиру[2]. Все в отъезде были, только я да мать. Это давно было, я еще ребенком был. Я помогал ей укладываться. Трое суток на это ушло, трое круглых суток, в обстановке вещей, сразу же ставших неузнаваемыми, лишь только их сдвинули с несмываемых квадратов, которые они отстояли за свою верную девятигодовую стойку. Трое круглых суток

провели мы с мамой в чужом доме, и мне было страшно за маму больно, что она загромождена таким количеством пыльной, деревянной, шерстяной и стеклянной неприязни, и не только никто этого не знает, но попробуй кому-нибудь сказать, так тебя обличат во лжи: как же скажут, ведь все это сплошь Ваши вещи, и квартира Ваша: какой же тут чужой дом? Но вот что замечательно, и для чего я Вам это рассказываю. Стоило среди всей этой злорадной (перебираетесь, мол, дом на снос пойдет) рухляди попасться чему-нибудь такому, о чем эстетики пишутся, то есть тому, что называют красивой хорошей вещью или еще как-нибудь, как тотчас же эти действительно красивые ноты (жирно гравированные) или перчатки или еще что-нибудь приковывали все мое вниманье вот чем: оказалось, что, куда их ни ставь и как не клади, они врагами дома не делаются, не грозят, а утешают, помнят и знают нас, и желают маме успеха и доброго пути, и обещают перевесть счет всего нашего прошлого с этой улицы на любую улицу, куда их повезут, как переводят долг с лица на лицо. Я помню, как отрывала меня мама от этих заступников — и торопила. Нельзя так, Боря. Ты чего зазевался. Ну в чем дело? Свеча как свеча. А это? — Ленты. Вам, Дмитрий, это, наверное смешно, значит, я не сумел передать, как надо. Потому что верьте, это наблюденье верное. Настолько верное, что если бы я когда-нибудь, расфилософствовавшись, решил заняться проблемой прекрасного, то в тридцать своих лет, человек живший, читавший, любивший, писавший, знавший людей, как Вы и я, и других, ни на меня ни на Вас не похожих, я обязательно бы вернулся к описанному ощущению, и его обособил, и попристальнее вгляделся в его своеобразие, и проанализировал бы не любовь, не жизнь, не стихи, не Вас, не себя, а именно: успокоительное простосердечие этих дивных вещей, не менявшихся, не изменявших человеку, при перемещенье. Их было мало, помню. Хотя это, вероятно, от настроенья зависело. Потому что, когда все было уложено, я как-то всем этим вешалкам и шкафам простил и уверился, что (как я бы теперь сказал) что и мышеловку Фидий мастерил.

Что-то подобное этой меланхолии овеяло меня при виде Вашего подарка. Только мне теперь не домашних было жалко, а того Дмитрия, которого тут кроме сестер никто не знает и которого трогали руками, и на весы клали, и куда-то волокли, — потому что с одухотворенностью этой мертвой природы я невольно Ваш хутор связал и почему-то Вашу маму и Вас, и еще тысячу больших неясностей. Еще несколько слов о том же, и я Вас в покое остав-

лю: не думайте, что все это — сентиментально. Нет, нет это только неумело выражено, это тогда язык мой — нюня. А чувство это в основе своей — правильное и здоровое, и что-то подобное этому чувствуется где-то кем-то у Ростовых в «Войне и Мире», или это только кажется мне.

12 января 1921. Месяц просрочки, да еще и письмо с месяц в столе пролежало! Его бы не следовало посылать, да Вы ведь не поверили бы, если бы я теперь сказал, что не вовсе я свинья, и писал Вам, но только вдался в излишний психологический миниатюризм, что всегда в своей основе вздорно и смешно. Ну, да не боюсь я, знайте меня и смешным, Вы человек свой и близкий. Теперь о фактах.

Лито (Лит. отдел) распадается, или, как говорят — реорганизуется. Кузько[3]— там, и остается. Вот Вам пример, вывод сделайте сами. Меня очень любят там, зеленейшая молодежь начинает мне подражать, делает из меня мэтра. Поправлюсь: речь идет только о той молодежи, которая не ловится на удочку громких слов, выступлений, популярности, признанности и так далее. Меня выделяют (меня и Маяковского) — Брюсов[4] и за ним вся его служилая свита в Лито. Прошлою весной я собрал для них все написанное и составил том (Сочиненья. 1-й том. Стихотворенья). Они его тогда же купили, несмотря на величину (5.000 с лишним стихов). Часть уплатили мне летом, часть же (80.000) должны были уплатить осенью, когда эти деньги еще имели некоторую ценность. И вот, в теченье полугода тянется это дело и до сих пор я не получил из этого остатка ни гроша. То у них «реорганизовывали» бухгалтерию и отчетность, то в кассе не оказалось ассигнованных на это сумм. Теперь на эти деньги в Москве купишь фунтов 5 масла, но я не знаю, что на них можно будет купить, когда они наконец выплатят их мне.

То же и с академическим пайком. Я зачислен на него с апреля месяца. И до сих пор он «не реализован». То же и с изданьем книги. Нашлись люди, деньги, типография, бумага. Вы думаете, она будет издана?

19.I. Окончательно выяснилась реконструкция Литературного Отдела. Во главе, вместо Брюсова станет Серафимович[5]. Журнал «Художественное слово» вероятно прикончился[6]. Я сдуру, поверив в обещанье пайка и изданье «Сестры моей Жизни» уже два месяца как бросил службу и теперь без денег и продовольствия. Больше всего меня бесят эти обещанья. Не будь их, все шло бы своей тихой, бездарной и бесплодной колеей. Четыре месяца я ходил на службу в «Гудок» (железнодорожная газета), ничего не делал, ни строчки для газеты не написал, исправлял чужие стихи и получал

хороший красноармейский паек. Потом стали мне обещать со всех сторон: из Всемирной Литературы, академический и т. д. Я бросил службу, впервые за три года стал что-то писать, и вот результаты: опять на положеньи дармоеда. — Слушайте, Дмитрий, я ведь Вам пропасть денег должен, за сухари и за яблоки. Не сердитесь на меня, что не высылаю. Сейчас нет возможности. Когда-нибудь сочтемся, а Вам спасибо большое.

Ваш Б. Пастернак

Впервые: «Литературное обозрение», 1990, № 2. — Автограф (собр. М. П. Гонты).

[1] Главный герой романа Оскара Уайльда «Портрет Дориана Грея» (1891).

[2]Пастернак вспоминает семейный переезд в 1911 г. с Мясницкой на Волхонку.

[3]П. А. *Кузько* в 1918–1919 гг. был членом коллегии Наркомпрода, в 1919–1920 — помощником начальника войск внутренней охраны Наркомпрода, с 1920 — ученый секретарь ЛИТО Наркомпроса.

[4] В. Я. *Брюсов* в 1920–1921 гг. был заместителем заведующего, а затем заведующим ЛИТО Наркомпроса.

[5] А. С. *Серафимович* возглавлял в это время литературный отдел «Известий», агитмассовый отдел Моссовета и издательский подотдел Наркомпроса, то есть вся издательская деятельность ЛИТО контролировалась им.

[6] Временник ЛИТО Наркомпроса «Художественное слово» прекратил свое существование после ухода Брюсова с поста заведующего ЛИТО.

182. А. М. ГОРЬКОМУ

5 февраля 1921, Москва

Дорогой Алексей Максимович!

Однажды я по пустячному поводу, без основанья и несправедливо поднял ненужную и глупую историю о правке «Разбитого кувшина»[1]. Вы наверное уже ничего не помните, и это письмо, может быть, удивит Вас и покажется непонятным. Но дайте мне выложить то, что на душе у меня, я его пишу не для Вас, а для себя. Я страшно виноват перед Вами, я без вины перед Вами виноват, и этой вины я ни изжить, ни искупить не в состоянии: не знаю как. Горечь этого сознанья не оставляет меня, особенно ужасно мне было первое открытье этой моей вины, которой я за собой раньше не знал, я Вам пишу чистосердечно, то есть без преувеличений, и говорю: вина, ее и разумею, как бы противоречиво это ни казалось, как бы ни просилось на язык логически более удоб-

ное «недоразуменье». Если бы я оправдывался (хотя бы перед самим собою), психологические условия моей роковой оплошности могли бы иметь значенье, но оправдаться я никак не надеюсь — тут важен результат, тут важно то, что в сумме целого ряда несчастных случайностей я оказался несмываемо виноватым перед Вами, вот и все. И оттого я называю это виною. Так оно и есть. Я Вам пишу о своем горе, дочтите письмо до конца.

Никогда в жизни я так не бледнел от чувства непоправимости при внезапном каком-нибудь известии, как в тот вечер 18 года, когда летом я вернулся от Вас после первого моего посещенья[2] и узнал то, что уже три года влачил за собою, того не зная. Я места не находил от этого чувства и бросился Вам писать. Но это так некстати и так досадно сплелось с тем, что я у Вас по делу был, что этот шаг, такой необходимый и такой единственный, показался мне немыслимым, невозможным. Я не знаю, за что судьба послала мне этот случай. Но я не преувеличиваю его тягостности: чувство это, как сознанье проклятья, пошло трещиной по всему моему миру, раздвоив все то, чем приходится жить, когда пишешь. И я не каюсь Вам. В чем мне каяться? И не винюсь. Какое тут может быть извиненье? Но эта роковая бессмыслица, отравившая мне мое отношенье к двум людям, с этой бессмыслицей связанным: к себе и к Вам, к себе в особенности (о хаотической путанице, царящей в последнем чувстве, уже совсем нестерпимой, мне нет надобности говорить), эта бессмыслица мне не под силу.

Я это опять испытал, будучи у Вас по просьбе Пильняка[3]. Мне кажется, что когда Вы узнаете все это, у меня станет чище и яснее на душе.

Письмо это я передам лично: я знаю, что это покажется Вам отвратительным — это сознанье мое — лишний пример того, как множится и плодится бацилла этой моральной горечи во мне, как в ней ни двинься, куда ни глянь, ее растишь, ее множишь: это линия безвыходности, всякий выход из которой ее удлиняет. Что же делать? Но надо было, чтоб Вы это узнали.

Если б я Вам рассказал, как двойственно и как несчастно сложился мой «литературный путь» после этого случая, Вы бы увидали, как планомерно и последовательно казнит жизнь за всякий поступок, сделанный без согласья с характером человека, т. е. за всякую нечаянность, оплошность, за все то, словом, за что может винить человека только мысль мистика. За недоразуменье.

Ваш Б. Пастернак

Впервые: ЛН. Т. 70. — Автограф (Архив Горького. КГ-П/44).

[1] Не зная, что корректуры перевода комедии Г. Клейста правил Горький, Пастернак 8 мая 1915 г. просил переслать ему свои претензии по поводу непрощенной редактуры. Письмо Горькому не сохранилось (см. коммент. 1 к письму № 103).

[2] Пастернак приходил к Горькому летом 1918 г. по поводу заказа на переводы для издательства «Всемирная литература».

[3] По просьбе Б. А. Пильняка в январе 1920 г. Пастернак передал Горькому рукопись его романа «Голый год». Из-за трудностей почерка и стиля Горький не дочитал романа и ответ Пильняку был послан через Пастернака. Несколько глав из романа было опубликовано в альм. «Дом искусств», № 2.

183. Д. В. ПЕТРОВСКОМУ

1 мая 1921, Москва

1. V. 1921

Дорогой Дмитрий! Не пошли Вы своей открытки, так я б Вам и не написал. Ждал Вас, думал, приедете, на словах обсудим, разберу я Ваше горе, во все вникну; на свете у людей ничего не бывает непоправимого, а если исправить нельзя, значит, оно и само исправно, то есть так и надо, и тогда трагизм естественен, положителен; тогда в нем никакой обиды, никакого искаженья нет; тогда он черен как ночь, как туча, а не как клякса, не как пятно. И не навсегда. Нет такого живого цвета, который был бы постоянен. За всяким цветом, позади и впереди — целая история. И если Ваше горе таково[1], а оно наверное таково, Вас-то я хорошо знаю, то есть если горе Ваше целиком от Вас, от Вашего детства и первой юности пошло и к Вам вернулось, ничем сторонним не осложнясь, ни в чем не заблудившись, то оно именно таково, как туча и как ночь, которая была днем и днем станет. Ну да разве можно об этом в письме? Оттого-то и не писал я Вам, не писал и после сухарей, когда это уже просто грубо и странно стало, и домашние, зная меня (но мало понимая), стали интересоваться: ты, мол, по обыкновению, Петровскому, верно, не написал. А я ждал, ждал Вас, ждал особенно после большого Вашего письма. — А теперь эта Ваша открытка! — Но так как Вы уже за письмом и читаете его и заняты им, и, значит, настолько со мной и в моей воле, насколько это вообще заочно возможно, то торопиться мне нечего, я задержу Вас, и об открытке — в конце. — О длинном же Вашем письме вот что. О горе, как сказано, не хотел я Вам, дорогой мой, до встречи писать. Зато очень хотелось мне Вам вот что сказать. Книжке Вашей и всему, что Вы о ней пишете, рад я до крайности[2]. Глаз на это закрывать не хочу: Ваша

книга будет книгою дилетанта. Но быть может, это пока единственная книга, о которой я стал бы говорить или писать публично, с готовностью, с радостью и по собственному побужденью. Мы давно не видались, и это признанье нуждается в поясненье. А то Вы его не поймете. В теченье последнего времени ко мне очень часто обращались молодые с просьбой «сказать что-нибудь» при том или ином выступленье, при дебютах или в других случаях. В этом никогда не отказывает Андрей Белый. Делают это многие. Но Вы знаете, Дмитрий, я не так-то уж легко очаровываюсь. Как это ни больно, ни вредно и ни опасно (житейски) порою, я в сентимент не впадаю и говорю этим поэтам то, что чувствую. Когда их огорчает моя резкость, я говорю им: «Вы зачем пришли! Чтобы найти выход из своих сомнений или чтобы услышать приятное! Первого Вы добились, а если Вы за вторым пришли, то вы ошиблись адресом. Ступайте к Аксенову или еще к кому-нибудь, в интересы этих людей входит поддерживать сомнительное, они сами таковы, и про вещь, о которой я вам сказал, что она даже отдаленно не отдает талантливостью, не говоря уже о неудачности, незрелости и так далее, вы услышите там одно приятное». Они идут и потом удивляются, как это я заранее знал все, что они им скажут. Так вот, не было ни одного до сих пор случая, где бы я не отказал желающим во «вступительном слове» и где визитеры мои не пожалели бы о своей мысли о публичной моей оценке, слышав ее от меня с глазу на глаз. — О Вас же — Вы это уже услышали. А почему? Потому что на стезю сомнительного Вы не вступали ни разу. И я представляю себе дух Вашей дикой, неслаженной и, вероятно, очень беспомощной книги, и радуюсь ей, и буду ее защищать, если это понадобится. Между прочим о Петникове. Он тоже к сомнительному касательства не имеет и в поддержке сомнительного не заинтересован. И у него есть хорошие качества, и на несколько миллиметров он — поэт. Он мог бы и должен был бы развиться. Я часто об этом с ним говорил. У него есть над чем работать, и некоторая его несамостоятельность — случайна. Но у него есть черты, которые этому, может быть, помешают. Он, например, до смешного — рекламист. В его журналах все о нем пишут, и подчас мне неловко было с ним говорить. Скажешь ему, например, что-нибудь об искусстве вообще, в связи с разговором о нем как о том, что он тебе показывает, и вот он подхватывает это и говорит: вот Вы бы написали об этом, Б. Л., об этом надо писать, а то что, говорит, разговоров мало: — и тут же о деньгах. То же, что Вы пишете об его отношении к Хлебникову[3], — просто возмутительно.

А теперь об открытке, Дмитрий. Как это ужасно, что она в Страстную пятницу пришла! Мне хотелось телеграфировать Вам, чтобы Вы ничего не предпринимали, никуда не шли, пока мы не свидимся или, по крайней мере, не спишемся. Но теперь частных телеграмм не принимают. В особенности такой, которая начинается со слов «Умоляю и так далее». Я решил через какое-нибудь военное учрежденье. Везде заперто, занятий нигде нет, и люди, которые могли бы приказать принять депешу, — в разъезде. До среды занятий не будет. Мне сказали, что телеграмма не скорей письма дойдет. Но как на горе, и почтамт заперт, а простым не решаюсь. — Но вот ведь попало Вам письмо это в руки, верю и знаю и хочу верить, — и вот ведь я с Вами говорю. Так вот. Заклинаю Вас, Дмитрий, не предпринимайте ничего, никакого не делайте шага, предварительно не сделав вот чего. Если не можете приехать, напишите мне ясно, яснейшим и честнейшим образом, что Вы думаете в открытке сказать. Тут мало догадок, такими вещами не шутят. Напишите мне и ждите ответа. Напишите ясно. А всего лучше свидеться бы. Ну вот. Это заменяет телеграмму. Выпалил и не знаю, что еще сказать. Выпалил все. — «Самый дорогой друг», — так назвали Вы меня, Дмитрий; спасибо; Вы не ошиблись, — но на что я Вам, если в самый существенный момент Ваших страданий или незадач Вы ограничились кратким извещением, иероглифически темным, и не спросили меня — (Вам смешно это?) — но ведь этого не случилось — я крепко-крепко целую Вас и жду ответа немедленного и полного. Слышите, Дмитрий!

Ваш Б. Пастернак

Впервые: «Литературное обозрение», 1990, № 2. — Автограф (собр. М. П. Гонты).

[1] О каких событиях в жизни Петровского идет речь, неизвестно.

[2] Вероятно, имеется в виду сб. Петровского «Пустынная осень» (Городня, изд. «Верблюжонок», 1920), в который вошли, по словам Петровского, черновики его юношеских стихов. Тираж книги был привезен в Москву и, по словам Петровского, им отапливался потом книжный магазин на Арбате. Сохранилась записка Пастернака в книжную лавку П. Н. Копелиовичу, Т. М. Левиту с просьбой поддержать Петровского денежно: «Милые Лев Лазаревич, или Павел Наумович, или Теодор Маркович! Будьте, пожалуйста, добры принять от Д. Петровского 10 экземпляров его книги по цене Центропечати (по 3000 за экземпляр) и уплатить ему за оные 30 тысяч. За это стою я. К голосу моему присоединяется и Буданцев. *Ваш Б. Пастернак*» (РГАЛИ, ф. 1648, оп. 1, ед. хр. 17).

[3] Петровский был под сильным влиянием В. Хлебникова, был близок к нему, сохранил многие рукописи его стихов, впоследствии написал воспоминания о нем.

184. Ж. Л. ПАСТЕРНАК

21 июля 1921, Москва

Гранатный 24 кв. 7. Тел. 40.00[1]
21/VII. 21
Дорогая моя Жонюрочка!

Не обижайся, что я тебе еще ни разу не написал[2]. Писал, да вдался в непозволительные гм глубины, и словом, получился гемоглобин. А ты прямо чудесные писала письма, пока что из вагонов. О прелести их — ниже, а надо тебе знать, что получились тут только те письма, которые ты, за неименьем более верного, на твой справедливый взгляд, пути, — воленс неволенс — опускала в почтовый ящик: представительств ни в Новых Иерусалимах, ни в Вержболовых нет, вот ты и доверяла их почте: и представь — она функционирует до трогательности исправно, как и вообще, — очищающе и классически трогательно все то, что, как детали окружает твой отъезд и переезд.

Таким образом, да будет известно тебе, что письмо и посылка, врученные в Риге проводнику, до нас не дошли, проводника разыскивали спустя рукава и не разыскали, я же более энергично подумав о тебе, искать воздержался; — связан он с зарей первого твоего путешествия и остался дорог и мил, каким тебе в те первые сутки пути казался, несмотря на эту оплошность, простительную и понятную: посылка погибла из-за начинки, из-за того, вероятно, шоколадного фарша, которым был начинен — книжный этот и печатный в остальном пирог; ну и мы не сердимся на него за это проявленье непосредственности и сластолюбья.

А Эглит очень помнит тебя, кланяется, и просит сказать, что посылки, если захочешь что послать, так как по почте сомнительно, да и не примут, посылай в Наркоминдел *на его имя с передачей* (приписка на адресе) — нам; я ему телефон наш сказал и если что будет, позвонит. А письма — заказными, по почте простым и верным путем. Зовут его Роберт Андреевич. Он очень, очень мил. A propos des voisins*: если что слать, то книги, — а так, не траться и, милая, сострадательного сердечка не труди. Мы неожиданно

* Буквально: насчет соседей; здесь: кстати, к слову (*фр.*).

тут немножко развернулись. Матерьяльно. Нельзя только сказать, на большой ли срок.

А письма у тебя — изумительные. В день твоего отъезда, Люси, на черте Виндавского перрона[3] понял я, что стихия чудесного омывается морем эпически волнующегося умиленья, что это море бездонно, а не потрясающе, что оно почти безмолвно, а не оглушающе, что чудо лепечет и не договаривает, а не гласит и не пророчествует, что чудо провожало с пригорков твой проносившийся поезд, что оно встретило и приютило тебя в Риге, что, наконец, каждая твоя строчка была чудесна, поскольку она передавала ту стихию, в которой купалась и купаешься ты, и ты пребываешь в жестоком заблужденьи, думая, что как-нибудь уместны твои извиненья, когда на твоих глазах эти газы чудесности вытесняют все чужое, — дела и факты, Башкировых[4] и чистый разум. Неуместны последние, неуместны и извиненья.

К примеру, — Башкиров. Немало не интересно мне, хорошо или плохо исполнила ты мое, — допустим теперь, — порученье. И если интересно как, то лишь в меру того, что на своем пути, диккенсоидальная комета, ты на час или десять минут вошла и в горизонт этого человека, что тебя видали и на Николаевской, тебя и хвост твоих, первых в нашей жизни, — чудес.

Порученье, говоришь ты? Но тогда, поручая накануне, разве знал я, что ты назавтра напомнишь нам о жизни и маме — о здоровьи; и далее, через день — о природе и еще через другой — о невымышленности бывшей войны и о невымышленности мира; и потом — об исполнимости лучших фантазий, и сначала до конца о существованьи фактов, как принципиальных чудес, если подходить к ним с верой и не отмахиваться от вещей и людей, их окружающих. И вот, все это сделала ты, чудотворица.

Ты помнишь, Люси, то место, где по поводу твоей поездки из города в город его прорывает в дилижансе несколько раз сряду фразою: «Возвращен, возвращается, возвращается к жизни»[5].

Это ведь точка в точку та самая атмосфера чудесной сердечности (незаложенных ушей и снятого с трудпайка воображенья-состраданья), de qua у нас с тобой res agitur*. И вообще эта «Повесть», как она изумительным своим духом подыгрывает всему, что, пережив, ты заставила, — и это главное, — нас пережить. По-своему, каждый из нас — доктор Манет. Папа и я прежде всего. Пассивный и величавый в своем неведенье о собственном стра-

* о чем речь (*лат.*).

даньи, величавый в своем беспомощном бесплодьи стук молотком по башмаку: у того — кистью по совпортрету, у этого пером по совстиху. По-своему Манеты и мама, и Шура. Лида, кажется, по молодости — пощажена.

Что я под этим разумею? Механизацию привычки, низведенье профессии или семейной роли до шарниров умопомешательства, безмолвие мысли относительно заочного факта, превращающегося в пустое слово, бессердечную глухоту к его значенью. Или мы не знали, что́ было на тех полях и что это было в действительности? И вот, ты отымаешь у нас этот злостный молоток из рук и выносишь за дверь привычную колодку.

Произошло это не сразу. Прошла неделя и другая, пока сказалась твоя психиатрическая роль. Ко мне вернулся смех. Я опять знаю, что есть барьеры, которые существуют для того, чтобы оглянувшись по взятьи их, любоваться их низостью. Это ты несешь и сыплешь мне деньги.

Если злостная тяга к молотку не одолеет старой башмачницы, мама проулыбается в этот период больше, чем за всю прочую Волхонку и часть Мясницкой. Если тяга к колодке не повысит в глазах старого башмачника на минуту пошатнувшихся цен на «житейскую мудрость» и «здравый смысл», закон смертной угрозы, страхом коего направлялись все поступки и планы, уступит место законам живой веры в жизнь, которая так оказалась легка, прекрасна и надежна на твоем примере. Ах, дорогая моя, все это я уже знал раз и назвал это чудо. Это-то ведь и есть сестра моя жизнь.

И ради Бога не настраивайся, per usum epistolarem*, на сухой и информирующий лад; не предательствуй в тоне ради сообщенья фактов, ради информации, пока пары чудесности, которыми дышишь ты и твои строки, не осаждены и, капля по капле, не слились с потоком жидких фактов, истинное происхождение которых — таково же. Очень скоро у тебя наступит время, когда твое прямое и отчетливое возвращенье из какой-нибудь университетской канцелярии домой, по улице, утерявшей задушевность новизны, или задумыванье немецких дел на завтрашний немецкий день переместит сферу чудесного и в эту объективную плоскость, и тогда и цены, и уклад Берлинской жизни, и новые послевоенные соотношенья будут рассказаны тобой, как деятелем, а не как доглядчицей, то есть парообразно, с сохраненьем той душевной соразмерности, какою меня поражают твои сообщенья.

---

* по законам эпистолярного стиля (*лат.*).

Есть умствованья. Существует бессодержательность. Схематизм. Дневники в духе... чтобы сказали, — Амиеля. Целые графы Гаррахи эмоциональных соусников и глубоких и глубочайших тарелок, блещущих своей фарфоровой белизной и — ожидающих наполненья, которое согреет их ледяной и пустой и бессмысленный смысл[6]. Все это достойно насмешливого отвращенья. Все это не то. Твоя же, кажущаяся тебе «беспочвенность» и «газообразность» — матерьяльна, химична; она дает нам в душевно распущенной форме основной состав действительности, о которой ты прямо не говоришь, и мы властны распорядиться присланным и материю воссоздать; и, как сказано, у нас является вкус к рельсам, глаз на Латвию, уши для Берлина. А пока, о чем фактическом писать тебе сюда, когда два доклада, которые наверное, делала ты у Гозиасонов, а потом у Розенфельдов и Феде, разве это не торчком ставшие страницы той же «Повести», разве это не тот же роман; и разве, в этой еще стадии новизны — обстановка твоих рассказов, эти комнаты, полные разинутых ртов и вещей, и окна, полные шумящих городов и жизней, эти *факты* интересные нам, разве покамест еще они не декорации только — державшихся тобою речей о пережитом тобою и нами. И они — газ, газ, газ, пока.

Так не бойся же быть субъективной, пока это — единственная объективность для нас и тебя. Сохраня ту же выказанную тобой душевную симметричность, ты станешь воистину объективной, когда объективность станет твоей собственностью и ее тебе не придется занимать. Praesens, употребляющийся в письме, относится к поре твоего въезда в Берлин. Для тебя он уже давно устарел. И как раз сейчас ты, вероятно, уже занялась перегонкою фактов, тем, что стоит у меня в futur'e, — объективностью. Пиши же и о ней, если это так. Если это так, то и тебе о ней говорить будет любо, так как и это (трамваи в Берлине, дорогие мои... или, что же касается до высших школ, или... к России относятся тут) — будет исповедью.

Когда я жил в Тихих Горах, меня раздражало все, что не говорило о Волхонском здоровьи, о знакомых, о том, чтó работает папа и как идет ваше ученье. Мое письмо неизбежно раздосадует тебя, как бы ты себя и меня не обманывала. Вместо хлеба я даю тебе литературу. Это уж такое правило, что в подобных случаях проза семейных сообщений и пережевыванье изжеванного обихода оценивается на вес золота. В разлуке это-то и хочется жевать. Но я позволил себе огорчить тебя для того, чтобы правило это тебя с толку не сбило. Чтобы ты не подчинила себя ему. Есть из него исключения. Таков твой случай. Пиши свободно, Божья коровка, о

том ли, как ползается тебе, или о том, что ползает у тебя в головке. Я хотел много и хорошо написать Феде. Я душу тебя в объятьях, мой дорогой. Ну не Гамсуновские ли мистерии вся эта история?

И еще, Жоня. Я думаю, сказанное мною сегодня отвечает тому, что чувствуем мы все. Я дам им письмо на прочтенье. Это лучшее, что я мог тебе сказать; и оно сказано наихудшим образом, то есть торопливо без пауз, — а ведь это, ты понимаешь, — тема для трактата. Скоро напишу о себе и о них. А с этою темой (Люси, возвращается) следовало разделаться.

Крепко любящий тебя

Боря

Впервые: «Часть речи». Альманах литературы и искусства. 1981 / 2. № 2 / 3, Нью-Йорк. — Автограф (Hoover Institution Archives, Stanford).

[1] Летом 1921 г. Пастернак снимал маленькую комнату, предложенную ему М. Л. Пуриц в доме на углу Гранатного и Георгиевского переулков.

[2] Ж. Л. Пастернак первая из всей семьи уехала в Германию в конце июня 1921 г.; 3 июля она была в Берлине.

[3] Пастернак называет сестру именем героини «Повести о двух городах» Диккенса *Люси* Манет. *Виндавский* вокзал — теперь: Рижский; Жозефина ехала через Ригу, так как между Германией и Россией не было дипломатических отношений.

[4] Поэт Б. Н. *Башкиров* с 1920 г. жил в Эстонии, затем перебрался в Германию.

[5] Пастернак продолжал начатую игру в ассоциации и сопоставлял отъезд сестры в Берлин с освобождением и «возвращением к жизни» узника Бастилии доктора Манета, героя «Повести о двух городах» Диккенса.

[6] Продолжается начатый почти десять лет тому назад разговор с сестрой о принципиальных моментах творческой работы писателя. Анализ ее писем в Москву, предпринятый с этой точки зрения, напоминает тоном и содержанием давнее письмо, которое писалось ей, еще двенадцатилетней девочке, из Марбурга, где излагались законы художественной прозы, ставшие определяющими в поэтике самого Пастернака (см. письмо № 43). Уподобляя умствования и схематизм дневниковых записей роскошному магазину фарфора братьев Гаррахов на Кузнецком мосту, он требовал от эпистолярной прозы матерьяльности, дающей *основной состав действительности.*

185. В. П. ПОЛОНСКОМУ

Лето 1921, Москва

Дорогой Вячеслав Павлович!

Очень жалею, что Вас не застал. Мне хочется последовательно ознакомить Вас с другими моими работами, с художествен-

ной прозой, статьями и т. д. Для начала вот Вам большая порция прозы. Несколько слов о ней[1]. Это начало (5-я — примерно — часть) большого романа, который я задумал, частью написал и частью наметил в 1917 — весной 1918 года и тогда бросил. Вообще, весною 1918 года мне пришлось оригинальные работы оставить и взяться за переводы (заказы)[2]. Вот история этой вещи. До 17 года у меня был путь — внешне общий со всеми; но роковое своеобразие загоняло меня в тупик, и я раньше других и пока, кажется, я единственно, осознал с болезненностью тот тупик, в который эта наша эра *оригинальности в кавычках* заводит. Тут, в записке, трудно об этом говорить обстоятельно и точно; но у меня есть обвинения времени формулятивные, продуманные, и я как-нибудь ими с Вами поделюсь. Пока достаточно Вам будет знать, что на море произвола, открывавшегося за нашим неоэстетизмом, я готов был заболеть своеобразной морской болезнью. И я решил круто повернуть. Я решил, что буду писать, как пишут письма, не по-современному, раскрывая читателю все, что думаю и думаю ему сказать, воздерживаясь от технических эффектов, фабрикуемых вне его поля зренья и подаваемых ему в готовом виде, гипнотически, и т. д. Я таким образом решил дематерьялизовать прозу и, чтобы поставить себя в условья требовавшейся объективности, стал писать о героине, о женщине, с психологической генетикой, со скрупулезным повествованьем о детстве и т. д. и т. д.

Три года назад я этой вещи литераторам не показывал. Неискушенных она приводила... в трепет. Потом я о ней забыл. Этой весной мне принес ее С. П. Бобров. Я перечел ее, и вот мое о ней мненье. Печатать я ее не буду. Она перепрощена донельзя и перегружена сентенциями и длиннотами. Не буду ее и перерабатывать. Время и труд, потраченные на нее, потерянными не считаю. Такую ванну следовало принять, значенье ее, вероятно, воспитательное и школьное. Значенья этого я, вероятно, еще не в силах оценить. Оно скажется на первой же вещи, которую я возьмусь писать.

Но, к сожаленью, в последнее время эта вещь попалась на глаза нескольким молодым беллетристам, и они превознесли ее превыше небес. Видел ее и Горький. Боюсь, что верить в искренность его слов *мне* нельзя, так как однажды (по роковому недоразуменью) очень резко и незаслуженно его обидел[3]. Большие люди в

таких случаях до гипертрофии доводят беспристрастье и, боюсь, такого происхожденья и его советы относительно этой вещи и похвалы[4].

Прочтите ее, Вяч. Павлович. Превозмогите психологизмы, там есть и свежие места, существенные, но читайте подряд, мне очень дорого и важно Ваше мненье.

Ваш Пастернак

Впервые: ЛН. Т. 93. — Автограф (РГАЛИ, ф. 1328, оп. 1, ед. хр. 268).

В. П. Полонский — литературный критик, с 1921 г. редактор журн. «Печать и революция», директор Дома печати, где регулярно устраивались литературные вечера. Приводим текст записки от апреля 1922 г.: «Глубокоуважаемый Вячеслав Павлович! Если у Вас ближайшая программа еще не составлена (на Страстную), то прошу Вас меня на пятницу не объявлять. Совсем не сообразил, что это на Страстной выйдет. Поместите меня, пожалуйста, на пятницу через неделю (21/IV). *Ваш Б. Пастернак*» (РГАЛИ, ф. 2208. Новое поступление).

[1] Речь идет о «Детстве Люверс».

[2] В 1918–1920 гг. были переведены три стихотворные драмы Клейста, интермедии Ганса Сакса, поэма Гёте «Тайны», стих. бельгийского поэта Шарля ван Лерберга, комедия Бен Джонсона «Алхимик».

[3] См. письмо № 182 и коммент. к нему.

[4] Свое отношение к «Детству Люверс» Горький выразил в предисловии к неосуществленному американскому изданию: «...можно надеяться, что эта книга разбудит много хороших мыслей о маленьких людях, которых мы весьма беззаботно вводим в наш огромный, но все-таки тесный, шумный, но не очень веселый мир» (ЛН. Т. 70. С. 310).

186. В. В. БУДАНЦЕВОЙ

14 сентября 1921, Москва

14-IX-21

Милая Вера Васильевна,

Я пришел вместо Сережи.

Soit tranquille. Je sois libre, mais il faut mentir pour te transporter à* Дом матери и ребенка. Сергей

Сер<ежа> сегодня попал в засаду. Обещали освободить дня через два или скорее. О Вас хлопочут. Все сведения с санкции Льва Л<ц> и Бориса Леонидовича. Т. Левит

---

* Будь спокойна. Я свободен, но надо врать, чтобы перевести тебя в (*фр.*).

Целую, до скорого свиданья в лучших условьях. On vous racontera que Serge alla à prison, mais c'est une invention de nous tous. Nous somme ici, trois bohemiens que nous sommes, et nous nous cassons les tí tes, en cherchant des moyens etc. etc.*

Крепко крепко целую

Yankey doudle!!

Preussische Kriegsgefangenenausschusskomission**.

Адрес происходящего: Napoli. Riva del Volin***. Покупка и продажа.

Боря Пастернак

Волин беспокоится, что Вас обеспокоит такое количество языков на одной странице[1]. Хотел приписать и он, но ушибся сегодня, т. к. шепотом разговаривал с человеком поблизости от... неудобно, ---**** фонаря.

При сем прилагаются: 2 ф. белого и 2 ф. черного хл<еба>, 2 стакана молока и 34 золотника масла.

Кланяйтесь Борису Сергеевичу[2]. Т. Левит

Впервые. — Автограф. В. В. Буданцева (Ильина) — поэтесса, жена С. Ф. Буданцева. Письмо адресовано в больницу, где В. В. Буданцева родила сына Бориса. Письмо написано тремя разными людьми: жирный курсив — рука С. Буданцева, курсив — Т. Левита., прямой — Пастернака. Шутливая форма, обыгрывающая будничную реальность тех лет, — арест мужа, — прикрывает намерение забрать Веру Васильевну с ребенком из больницы; продукты, посылаемые ей в передаче, убедительно передают голодную обстановку времени и опасность затяжного пребывания в больнице. С поэтом и прозаиком С. Буданцевым Пастернак познакомился в 1920 г., когда Сергей Федорович работал в ЛИТО и потом был членом президиума Союза писателей (1920–1921). Шутка веселых «цыган» обернулась в 1937 г. страшной реальностью ареста и расстрела С. Ф. Буданцева, к тому времени ставшего известным прозаиком.

[1] Имеется в виду участник революции и член редколлегии «Правды», партийный функционер Борис Михайлович *Волин.*

[2] Новорожденный сын Буданцевых.

---

* Вам расскажут, что Сергей попал в тюрьму, но это наша выдумка. Мы все тут, три цыгана, ломаем голову, выискивая способы и т. д. и т. д. (*фр.*).

** Немецкая комиссия по делам военнопленных (*нем.*).

*** Неаполь. Набережная Волина (*ит.*).

**** Так в письме.

187. Л. Л. и Ж. Л. ПАСТЕРНАКАМ

23 ноября 1921, Москва

23 ноября

О, Лидок! Я прочел твое замечательное письмо Шуре, где обо всем, и между прочим, о лекции в Фармакологическом институте за городом. Какие счастливые папа и мама, что у них такие одухотворенные, чтоб не сказать больше, законченно-исправные, оглушительно перворазрядные дочери! Как все это близко, когда перечисляешь ты вещи, на которых можно разгуляться испаряющемуся, рвущемуся вверх и наружу, к Богу и в выразительность, взрывчатому и воспаляющемуся духу.

О, молодец, родная, родная моя. Ты такая талантливая! А Жоня! Если у нее и не бывает таких завидных по конкретной художественности страниц, то это оттого, что как торпеда, она вся эластично, целостно и упруго пущена за все заборы проб, исполнений, попыток и присестов в сферу законченного, кристаллизующегося совершенства. Этой остается только подняться и летать, и летая, поучать, на словах или даже безмолвным примером. А сейчас я вспомнил ее первые письма с дороги и покаялся: нет, она в выраженьи безумнее и смелее только, она — экспрессионистка, а это — верь моему опыту, труднее и терзательнее, чем твое. Но, на днях, твое слово о Черемушках![1] Или, — сейчас — эта академическая зима в Берлине.

Твои обмолвки о моем недовольстве вами справедливы; но основанья для этих обвинений — в первых моих письмах; эти основанья шатки, как и они. Мне представлялось, в виде специфической возможности для вас, — особых, — именно все то, что ты так легко и вдохновенно, вскользь, сегодня в своем письме оговорила. И я боялся, что этою возможностью вы не воспользуетесь. Что пласты четырехлетней косности (математика ржаных рационов; рационализм карточной системы; романтика, то есть неизвестность ближайшего будущего ванны или водопровода) — что эти противоречивые пласты, что эта гроза однообразья встанут между вами и вашей молодостью и одаренностью, личною и той, за которою в потенцированном виде вы ходите в университет. Я боялся, что 1) либо затмит это недавнее прошлое блеск того, чем твое письмо наэлектризовано; 2) либо же оно извратит ваш взгляд на семью, на братьев, на родителей, на Волхонку и Фазаний уголок[2]. Я боялся, что вы успокоитесь на неисчерпаемости этой знакомости, и будете жить ею, и забудете о черпаках, которые добываются вне семейной неисчерпаемости, в том витаньи, которым отдают

твои бега по Берлину, в том университете, где ты так завидно взволновалась, вероятно, когда вам жали руку. Дорогие, милые традиции des akademischen Brauchs*. Так было и при мне[3]. Шарканье, рукопожатье при имматрикуляции etc. etc. Неужели кто-нибудь осмелится сказать вам, что это неэмансипированно и смешно? А — равное орга́ну в средневековьи — разнообразное движенье по современному городу! Надземность, подземность, отрывистая сверстка и разверстка этих светопульсирующих пролетов через цветные часы: туманные, поперечные, продольно-бережные, угольно-вокзальные, плачуще-снежные, за Bellevue!

Это начато назад с неделю. А теперь: раскройте рты. Сейчас будет взрыв. Сейчас будет страшный взрыв благодарности![4] О, мученицы, подвижницы! О, штаны, штиблеты, о Келлер и Рабиндранат! О золотые мои!

А теперь: закройте рты и подберите брюки и юбки. Сейчас будет потоп. Сейчас будет потоп растроганности и изумленья!

Все чудно, что пишешь ты, Жонюриноцеросочка[5], о нет, о Боже мой, о конечно, не носорог, нет, Жонечка, Жонечка! Все чудно, что пишешь ты в Дюшене, все понимаю, но напрасно ты думаешь, что я настолько в бытии. И ничуть вы меня не знаете. Я не только был такой же, как ты, я в этом лирико-этическом (долженствующем) уклоне зашел, было время, слишком далеко, не дай тебе Бог идти так же, это вредно и опасно. И все, что пережила ты и твоя запись, и все это — это я сам, только у тебя выразительнее, резче и удачнее. А твое письмо о перспективе Средневековья и о Данте — массивная, душевно зрелая и действительная истина. Когда я Боброву рассказал, он думал, я присочинил, тоже понял, — мы до твоего письма с ним за дней пять тогда говорили о том же и все карачкались, а у тебя резко, исчерпывающе, рельефно. —

Глупые дети, если бы вы знали, сколько я учился «вести себя» так, чтобы ничего не было видно! А вы — «он, мол, другой, он — то, он — се» и когда это сталось?

Но это не упреки и не претензии. Куда бы вы девались, если бы стали писать и мне? Честное слово не кривлю душой. Прошу, не пишите.

А Фришманы действительно душевные, милые люди[6].

Письмо лежало более 10 дней.

---

* академического уклада (*нем.*).

Впервые: Письма к родителям и сестрам. — Автограф (Pasternak Trust, Oxford).

[1] О совместном с братом походе за картошкой в деревню *Черемушки* вспоминала в своем письме Лидия.

[2] Название пансиона в Берлине, в котором жили родители.

[3] См. письмо из Марбурга № 43.

[4] Конец письма вызван благодарностью за посылку и сопроводительное письмо от Жозефины с приложением книг, которые Борис просил ему прислать: «Переписку Поля Гейза с Келлером», новые романы Ромена Роллана и Рабиндраната Тагора.

[5] От слова rinoceros — носорог *(фр)*.

[6] Семейство *Фришманов* по приглашению Л. О. и Р. И. Пастернаков заняло после их отъезда освободившиеся комнаты в квартире на Волхонке. Они бежали во время войны из Полесья и собирались вскоре перебраться в Берлин, где жил брат отца семейства — поэт Давид Фришман, вскоре внезапно скончавшийся, что изменило их планы, и они остались обитателями квартиры до 1940 г.

188. Е. В. ЛУРЬЕ

22 декабря 1921, Москва

Среда 22 ?/ XII. 21

Женичка, я из твоего отсутствия не создам культа, мне кажется, что я не думаю о тебе, сегодня первый «спокойный» день у меня за последний месяц, но — весь этот день у меня, со вчерашнего, — безостановочно колеблющееся сердцебиение, точно эти пульсации имитируют что-то твое, дорогое и тихое, может быть ту золотую, рыбковую уклончивость, с которой начинаешь ты: «ах попа<лась...>».

Такова и погода, таковы и встречи. Т. е. я без шума и без драматизма, звуковым и душевным образом, полон и болен тобой.

Женичка, Женичка, Женичка, Женичка! Ах я бы лучше остался при этом чувстве: оно как разговор с собою, оно глубокомысленно бормочущее, глухо каплющее, потаенно-верное, — ходишь и нехотя перелистываешь что-то тысячелистное в груди, как книгу, не читая, *ленясь читать*. Я бы остался при нем и не писал тебе, если бы не родная твоя шпилька! Я убирая, отодвинул диван, она звякнула и опять: «ах попа<лась...>». Не сердись на меня, золото, со стороны это глупо и сентиментально-смазано, вероятно, но это потому, что не поддается разговорному выраженью. Твой голос, оставшийся в углах этой тишины, он больше мой, чем твой. Он далекий и темный и самый родной, больше — мой.

Ты напишешь мне, как доехала. Не пересаживали ли по дороге? Чувствую, что не топили, несмотря на человека, смотревшего на тебя сквозь голубые очки. Помнишь, как содрогался я, когда ты меня укоряла — в розовых? Ах, дорогая, дорогая!

И все — дрова! Сегодня в 9 часов утра опять привезли. По ошибке? — Постепенно они вырастают, кто-то шлет их по своей особой рассеянности, заразившись — моей. Так я утрами переселяюсь в какой-то лес, заснеженный, недоспавшийся, мокрый, смешанный, — осиновый скорее, нежели березовый. И эти мужики по утрам правы: я — в лесу. Я действительно как в лесу без тебя. Величественно темно, однообразно захватывающе. Это ты. Но из этого леса надо выбраться, и по нескольким путям сразу. Я и буду. А ты дыши домом и близкими, — радость, — работай, отдыхай, гляди, как копошится, дымит и колдует кругом тебя Петербург, как он вершит свою Блоковщину, и пиши, пиши мне, если можешь! Я тебя долго, долго, продолжительно мучительно нежно целую.

Дорогая Женюрочка моя, что делать мне, и как мне назвать мою намагниченность и напетость тобою, если не тою растерянностью как раз, которую ты велишь, и я бы хотел разогнать! — Как в лесу.

Впервые: «Существованья ткань сквозная». — Автограф. Первое письмо к будущей жене, студентке ВХУТЕМАСа, в Петроград, куда она уехала к родителям.

189. Е. В. ЛУРЬЕ

23 декабря 1921, Москва

23/XII. 21

Женичка ласочка, одной рукой ты прижимаешь куклу, а другой держишь ее за ножку, тебе шесть (?) лет и я люблю тебя![1] Женичка, я читал опять про принцип относительности; автор не Эйнштейн, а другой, философ[2], все равно кто, но он эти мысленные винты на диво как хорошо протирает и полирует, и как жар горят логические шарниры, и все зданье хаотически одинокой современной гениальности скользит и отливает, катастрофически страшное и математически застрахованное, как внутренность колоссальной какой-то электрической станции в головоломном каком-нибудь Лондоне, где, как известно тебе, ни души, ни пылинки и все — напряженье и почетный караул тянущих и тянущихся

магнитов и бессонной меди. Они втягивают в себя бессветную ночь и, втягивая ее, ей светят.

Женичка, душа и радость моя и мое будущее. Женичка, скажи мне что-нибудь, чтобы я не помешался от быстрот, внезапно меня задевающих и срывающих с места. Женичка, мир так переменился с тех дней, которые когда-то нежились на страницах наших учебников, когда некоторых из нас снимали — куколкой с куклою в руках! И не попадались тогда эти птички, а щебет их срисовывал ветром по лазури уже нарисованные весною в полдень побеги распускавшихся лип, и журчанье этой рисовальной резвости ручьями лилось через окошко в некоторые дневники и ручьями — под карандаш, срисовывавший маму: с тихой фотографии на тихую бумагу[3].

И ты еще читаешь эти глупости, ясная моя! Женя, а теперь он по-иному молод, этот куда-то сквозь коридор, нет лучше сквозь ущелье человеческого бессмертия мчащийся свет! Мы поедем с тобой на полигон, по которому мчится он, мы будем в Европе! Но чему учили нас! Ведь это — Средневековье в сравненьи с тем, что происходит там в физике и, значит, в философии. Ну вот распутай это: поклоненье гению и поклоненье евгении![4] О Женичка, Женичка! Сейчас же напиши мне что-нибудь, я тебя услышу.

Опять — вечер, на улице было тихо, пока я читал и безумствовал; вдруг прошли с гармоникой, я проснулся и стал писать тебе, стараясь без безумств.

Женичка, вероятье ветвей каких-то мерещится мне при мысли о тебе. Не то на пути у тебя в гости куда-то был вечеревший и заснеженный сквер, сдавленный тесно сошедшимися кругом петербургскими домами, не то сама ты подошла к окну, равняясь по гардине, и перед глазами у тебя было это графическое вероятье. Но есть это где-то. Есть. Это бы совсем не существенно, если бы рядом с этими деревьями не вставали две двойственные, горькие как питер* (приторно-горькие) мысли. — Она, эта, стоящая у окна, она окидывает взглядом последнюю осень, и не знает, не любит, сомневается, нет, даже иначе: поскальзывается, и скользнув по ноябрю, видит ясно и беспрепятственно: август или май и другого человека. Это — она! Что ж с того, что это ее зовут Женею. Так вдумывается и задумывается *она*. Но — *ты*, Женичка, ты, — (как странны оба этих чувства!) ты назовешь меня, когда тебе или ей станет грустно или обидно? Ты назовешь меня, не правда ли! Меня,

---

* Строчная буква в автографе.

и этот жалкий гадкий ноябрь? Да? Да? О, не сердись и пощади. До следующего. Ведь ты прочла? Ты поняла, где были тут меж слов поцелуи?

Твой Б.

Впервые: «Существованья ткань сквозная». — Автограф.

[1] Речь идет о подаренной Пастернаку детской фотографии Е. В. Лурье.

[2] Книга Германа Вайля «Пространство. Время. Материя» (1918).

[3] Имеется в виду рисунок Е. В. Лурье с фотографии матери, по которой она тосковала в Москве.

[4] Обыгрывается общая этимология слова с евгеникой — наукой об улучшении наследственности, поэтому имя собственное написано со строчной буквы.

190. О. М. ФРЕЙДЕНБЕРГ

29 декабря 1921, Москва

Москва, Волхонка, 14, кв. 9

Дорогая Оля!

У меня до сих пор лежит летнее письмо мое в ответ на твое издевательское и жестокое[1]. Ты меня тогда не поняла и жестоко высмеяла. Помнишь? Но я так устроен и так люблю твой humour (это шире ведь, чем юмор?), что полез к папе и сестрам хвастаться тобой: каково, мол, отхлестала! И нашим нравилось, как ты меня отчехвостила, несмотря на то, что моего письма к тебе они не читали и, следовательно, судить о справедливости твоей карикатуры не могли. Так как для тебя не было бы приобретеньем усвоенье более правильного взгляда на все то, что я в своем письме тогда разумел, а ты для меня не делаешься хуже от того, как на меня смотришь, то больше не будем этой темы касаться, а вот что. Немедленно же, немедленно, прошу тебя, напиши мне, как вы все поживаете, тетя Ася и ты и Сашка, как живете и что ты делаешь. И ради Бога, пофактичнее (прости за варваризм). Промедленье в этом отношеньи с твоей стороны очень меня бы огорчило и даже взволновало. Ради Бога, садись писать, не откладывая. Где же я был до сих пор, скажешь ты, если мне так загорелось все это узнать? Оно и правда, да мне и самому неясно, зачем я предпочел месяцы провесть в неосновательных пожеланьях вестей о вас и от вас, ни разу не сделав попытки заложить для этой мечты оснований. Не будь же строга в меру моей глупости, избери ее в мерку своей снисходительности.

Пусть тур эпистолярного контрданса замкнется до истеченья года, я прошу тебя, поскольку это в силах-возможностях почты. А если новогодняя ночь ляжет промеж привета и ответа, то вот тебе и тете и Сашке мой поцелуй, за всех шестерых, крепкий и молчаливо до краев налитой всею терпкостью невыразимого в его глухой силе пожеланья, того, которое братается с фатумом и в своей фатальности сбывается, того, которое в живой своей горечи дает богатую пену правдоподобного оптимизма, того, которое видит будущее за теми, к кому обращено.

С Новым годом, Олечка!

Прости, что пишу тебе только сердечно, а не и содержательно вдобавок. Прости за небрежность. Я пользуюсь перерывом между двумя порциями новообразовавшегося за последние мои годы глухонемого безделья. Как глухонемые, эти приступы безделья и идиотичны кроме того. А я не хотел, чтобы письма к тебе пошли от идиотов. Оля, прошу тебя, садись писать сейчас же. И не пиши *ответа* на письмо: т. е. не считайся с ним; что оно-де тебя огорчило или тебя порадовало. Оно ни на мизинец не должно урезать твоего письма, став хотя бы вводной его темой, приступом, поводом или придиркой. Пишут ли вам наши из-за границы? Ты знаешь, они ожили там, и письма родителей моложе адресатов и тех глаз, которые тут их читают, стыдно сознаться.

О себе не пишу. Это либо вскорости в очередном письме (за твоим), либо же еще как-нибудь. Мне не хочется целоваться с тобою и тетей после того новогоднего объятья, которое было почти калечащим по иллюзии: оно размягчило мой почерк и заставило руку плясать.

Твой Боря

Впервые: Переписка с О. Фрейденберг. — Автограф.

[1] Весной 1921 г. Пастернак узнал от подруги О. Фрейденберг о ее предполагавшейся командировке в Москву. Не вступая в объяснения по поводу обиды Фрейденбергов на то, что родители перед отъездом в Германию в сентябре 1921 г. не заехали к ним проститься, Пастернак писал: «Но ты должна знать, что приехать тебе *обязательно надо*. Нам, узко, — нам вдвоем и нам, шире, семьею, надо о многом поговорить. Мне кажется, я мог бы тебе быть практически и житейски полезен. <...> Смотри, не раздумывай и поскорее приведи это доброе намерение в исполненье. Было бы непоправимо глупо и непростительно, если бы ты этого не сделала. Не хочется ни о чем “говорить”, как принято образно выражаться в письмах, в виду скорого бескавычечного разговора» (там же. С. 60–61).

1922

191. В. Я. БРЮСОВУ

12 января 1922, Москва

12/I. 22

Дорогой и глубокоуважаемый Валерий Яковлевич!

Ради Бога простите меня и на этот раз. Всего более меня бы огорчило, если бы Вы на меня рассердились. Всего более, в особенности после нашего разговора о форме и Вашего большого подарка.

Конечно будет большим уроном для меня остаться за бортом Вашего сборника[1] (а боюсь, что так оно и будет по спешности его и в виду ряда обстоятельств, о которых — ниже). Мне придется об этом пожалеть. Но только не сердитесь, не сердитесь, Валерий Яковлевич, прошу Вас. В последние годы я пропитался какой-то стихией скверной безалаберности, от которой страдаю более всего и единственно я сам.

Завтра я уезжаю на неделю другую в Петербург[2]. Эта поездка еще большею тяжестью лежит на моей совести, нежели запозданье со стихами. И тут все просрочено до последней возможности, и «просьбы о прощеньи». Как бы то ни было, по сегодняшнему настоянию Стефаниды Михайловны (секретарши издательства Гржебина) долго думал, думал, как найти выход из получившегося и вот что единственно мог надумать. Вам будет доставлен весь имеющийся в Госиздате стихотворный матерьял (он обнимает Сестру Мою Жизнь и все последующее). Распоряженья относительно этого отданы. Он вероятно в ужасном виде, сомнительно, чтобы имелась нумерация страниц и вообще, я бы никогда не решился предложить Вашему вниманью такой ералаш из опечаток и наверняка перепутанных страниц, растворенных, вероятно, до невидимости современной ремингтонною лентой, шепелявой и

непроизносящей наинужнейших букв. Для чего же я это сделал? Для того чтобы сделать что-нибудь. Говоря серьезно, мне придется поплатиться на этот раз и выбыть из столь завидного и показательного строя в том случае, если сдача материала действительно дело ближайших дней.

Я вернусь к концу января, а может быть и раньше. Было бы большим для меня счастьем, если бы этот срок покрылся подготовительными работами по собиранью матерьяла, и я все-таки поспел бы со своим.

От Вас я пошел тогда с радостным предвкушеньем той помощи, которую Вы обещали мне оказать при выборе матерьяла. С этой мечтой я не расстался, если меня не обманывает только вера в то, что через две недели мост еще не будет поднят.

С этой мечтой я не расстался, но менее всего я представлял себе, что Ваша любезность ляжет на Вас таким недопустимо отвратительным бременем, как эта непозволительная кипа из Госиздата, которую Вам принесут. Итак? Итак, Вам принесут ее, а Вы на нее и не глядите. Ради Бога, Валерий Яковлевич, это я по опыту говорю, ведь я ее раз мельком видел, и у меня не стало духа ее прокорректировать.

Пусть она лежит у Вас и только.

Ведь надо было что-нибудь сделать. Этого требовала секретарша Гржебина. Это для них. И — для них — работы достаточно. Шапирштейн (так она мне кого-то назвала) пойдет, будет хлопотать и т. д. и т. д.[3]

Дорогой Валерий Яковлевич, самое важное иной раз бывает трудно сказать в лицо *именно в той форме,* в какой это — натурально. Но за глаза, Боброву, скажем, или Буданцеву, или Адалис, это говорится у нас так: молодец Валерий! Это про «В такие дни», как и про Верхарна[4]. Так это говорится у моих друзей лишь еще про Белого, которого Вы не любите, и про Маяковского. Это когда взят на всю жизнь тон идеального, вневременного возраста: роста. И неприятно, что я Вам все же это *так* и сказал.

Впервые: «Россия». Torino, 1977, № 3. — Автограф (РГБ, ф. 386, к. 97, д. 37).

Кроме творческого интереса к поэзии друг друга, Пастернака с Брюсовым связывали издательские отношения, но всякий раз не осуществлявшиеся по причинам трудностей времени. Сохранилась телеграмма, свидетельствующая о деловой заинтересованности Пастернака летом 1917 г., предмет которой выяснить не удалось: «Валерий Яковлевич. Крайне важно лично побывать у Вас. Ваш телефон поврежден. Вынужден телеграфно

просить назначить день и час, если возможно днем. Мой адрес Нащокинский 6/16 = *Борис Пастернак*» (РГБ, ф. 386, к. 97, д. 37).

[1] Издание сборника не было осуществлено.

[2] Пастернак ездил в Петербург для свидания с Е. В. Лурье.

[3] В фонде Брюсова в РГБ сохранилась доверенность Пастернака: «Настоящим доверяю тов. Я. Е. Шапиршейну получить для передачи Валерию Яковлевичу Брюсову рукопись 3-й и 4-ой моих книг стихов, под общим заглавьем «Жажда в Жар», находящуюся в портфеле Госиздата. *Борис Пастернак*. 12/I 22» (там же).

[4] Стихотворный сб. «В такие дни» (М., 1921) Брюсов подарил Пастернаку с надписью: «Борису Леонидовичу Пастернаку автор как любимейшему поэту наших дней. 1921. 31 декабря». Эмиль Верхарн. Стихи о современности в переводе Валерия Брюсова. М., 1906.

192. П. Н. ЗАЙЦЕВУ

12 января 1922, Москва

12. I. 22

Дорогой Петр Никанорович!

В последнюю минуту звонят мне по порученью Валерия Яковлевича с требованьем во что бы то ни стало завтра доставить материял для сборника, редактируемого им, кажется, для заграницы, с переводами на трех языках[1]. Правда, об этой вещи говорил мне Брюсов уже с месяц назад, но потом нашли праздники, встречи семи последовательных новых годов и т. д., так что напоминанье его застигло меня чуть что не на приступке вагона. Думал, думал, как быть и ничего не мог придумать, кроме следующего выхода. В Госиздате среди рукописей осталась та кипа стихов («Жажда в жар»), о которой шел недавний спор между Госиздатом, Гржебиным и мною. Теперь ведь Госиздат, благодаря особенно Вашим усилиям и помощи, великодушно от своих прав на все эти стихи отступился[2]. Рукописи собственно и незачем больше быть в архиве Госиздата. Как бы то ни было, посодействуйте, пожалуйста, лицу, указанному Брюсовым, получить хотя бы временно на руки означенную кипу для передачи ее Валерию Яковлевичу. У него на руках будет доверенность, которую он Вам предъявит. Простите, простите, милый Петр Никанорович, что приходится так Вам надоедать. Думается, что эта просьба со стороны Госиздата возражений не встретит. В противном случае пусть это будет одолжено «для исправлений». Заранее большое спасибо.

Ваш Б. Пастернак

Впервые. — Автограф (РГБ, ф. 386, к. 97, д. 37).

[1] См. письмо № 193.

[2] Госиздат передал права на книгу издательству З. И. Гржебина, где в мае 1922 г. вышла книга «Сестра моя жизнь».

193. Ю. И. ЮРКУНУ

14 июня 1922, Москва

Москва, Волхонка, 14, кв. 9
14/VI. 22
Дорогой Юрий Иванович!

Посылаю Вам альманах, в котором напечатана моя повесть, а Михаилу Алексеевичу только что вышедшую «Сестру Мою Жизнь»[1]. Эту последнюю хотелось бы надписать и Вам, да делать нечего, — в день ее выхода почти все авторские были расхватаны никогда мне скучать не дающими приятелями, сплошные посещенья которых, кстати сказать, останутся не последнею причиною того, что работать мне совершенно не приходится, редко счастливится что-нибудь прочесть, о письмах же, а то и просто об минуте-другой молчаливого про себя размышленья и не мечтается. Последствий такого положенья много, к числу их отнесите и мое молчанье, которое, быть может, Вас и не удивляло, но тяготило мою собственную совесть после того, что я прочел Вашего причудливого и чудного Пичуаса[2], который, конечно, ближе и роднее мне сегодняшней и вчерашней, майской и мартовской, Московской и Петроградской, временной и местной и потому, разумеется — несовременной, ведущей сомнительное существованье (появляется, не составляя явленья) «художественной» прозы. Говорю о ней безо всякого отчаянья, без сетующего поминанья лучшего прошлого, говорю так оттого, что ее и наше будущее — постижимое, одно — разумом, другое — волей. И несомненно, только творческое малодушье может заставить людей нашего возраста и возраста наших старших друзей согласиться с той схематической классификацией, которую создала критика. Не буду говорить о себе. Но я считаю родными себе тех людей, самый расцвет впечатлительности и способности выраженья коих совпал с началом войны. О них установилась аксиома какая-то «дореволюционности», «выслушанности читателями до конца», «высказавшего себя без остатка мастерства», «символизма, акмеизма, буржуазности» и т. д. При установившемся у нас — час по нашим часам назад — взгляде это, как Вам, верно, известно, означает что-то вроде доисторического происхожденья. А между тем ведь

эти: семнадцатый, восемнадцатый и так далее, разве были бы они вообще чем-нибудь стоящим на земле, а тем паче годами великой революции, если бы не были эти годы моим или Вашим тридцатым или чьим-нибудь сороковым, пятидесятым? Или при шестидесятом Вы приметесь качать головой? Ну а если я, подав Вам семидесятый, не удовольствуюсь и потянусь за следующим? Когда это художники перестали кровно *нуждаться* в долгой жизни и жадно желать *необходимого*, как роскоши? Когда стряслось то, что из их мечты о бессмертии, *осязательно* напоенной всею флорой поясов, в которых мы додыхивались до единобожия, ушла и выпала земля, это шарообразное зерно вышеописанной мечтательности, долгой, прожекториальной мечтательности, полосою слепнущего нетерпенья, скопом биографического фосфора, рвущегося Бог знает куда, — когда это случилось? Это случилось в годы нашего упадка, и в нашей воле все это изменить.

Вероятно, есть люди одаренные среди «Серапионовцев»[3]. Вероятно, очень хорош Замятин, изобретший быт. И вероятно, недурен Пильняк. Все это — люди Революции (за исключением Замятина) (когда это слово произносится под эмфатической подливкой и оканчивается на еры)[4]. Вот. И они, конечно, — беспартийные. О моей партийности Вам нечего говорить. Но знаете, чем я такой народ* теперь люблю ошарашивать? Я серьезно и запальчиво заявляю им, что я — коммунист, неопределенных разговоров не вожу, а затем уже раздраженной скороговоркой прибавляю, что коммунистами были и Петр, и Пушкин, что у нас, — и слава Богу, Пушкинское время, и, как ни дико быть Петербургу в Москве, ему было бы легче этот географический парадокс осилить, если бы все эти «люди революцыи» не были бы личными врагами памятника на Тверском бульваре и, *следовательно*, — контрреволюционерами[5]. И это не только поза, скажу Вам. Это не только поза оттого, что все нестилизованные и бесстильные революционеры и люди времени берутся за высказанное, как за свой собственный стиль, как неожиданно и независимо он им ни высказывается.

К примеру, вот мои две вещи, которые Вам посылаю. Найдите в них хоть что-нибудь «революционное» в ходовом смысле. Просто смешно, до чего «Сестре» посчастливилось. Мало сказать, аполитическая, — книга, в которой при известной натяжке можно выудить политическое словцо, да и то это оказывается — Керенский[6],

---

* Такой разговор был у меня с Пильняком. (*Прим. Б. Пастернака.*)

книга — эта должна была вызвать самые ходячие и самые натуральные нападки, а между тем — и эту терминологию можно простить — она признается «революционнейшею». Я бы ничего этого не писал Вам, Юрий Иванович, если бы оно не было интересно в качестве симптома и пробы своего на другом. Я почти убежден, что Вам порывистая определенность, экспрессионизм, *выразительная расправа* с содержаньем, туго и лично накапливающимся, жизненно мечтательным, etc. — сродни и по душе. Вот, значит, и Вы петербуржец, вот и Вы коммунист и человек революции — и я был тем первым дураком, на котором это предложенье доказалось, как на яблоках. Вот какими я сейчас истинами ушиблен. Что если это и не так (о, конечно), то надо *так сделать*, чтобы революция была временем скорых темпов, зрелых исповедей и мужественно-сказочных притязаний. В прямой связи со сказанным ото всей души и горячо желаю Вам скорейшей и успешнейшей работы. Я обращаюсь к Вам не как к собеседнику, а как к Юркуну. Я мог бы пожелать того же (т. е. чтобы Юркун взялся за работу и *начал*, забыв о достиженьях) любому *Х*-у, или игреку, или самому себе, как читателю.

В той же связи, странно сказать, хотелось мне надписать книгу и Кузмину и Ахматовой. В случае с Анной Андреевной боязнь показаться фамильярно-панибратствующим (а как это было бы далеко от истины!) преодолена чувством живого знакомства с ней. В этом духе я и сделал ей надпись: как человеку, несправедливо потерпевшему от дружественной критики, преждевременно объявляющей человека мастером, канонизирующей его в меру своих умеренных требований и больше ничего от него не желающей[7]. А когда я книжку ей надписывал, я видел перед собою чуть что не девочку с тем восприимчивым воображеньем, которое чурается всякой обобщенности и отвлеченья, даже того малого, какое заключается в понятии «зрелого человека», не говоря уже о той абстракции, которой подвергается человек, мирящийся со званьем мастера. А сколько еще роящихся и не сроившихся элементов в «Нездешних вечерах»[8]. Мне очень близок и дорог прием мгновенного и мимолетного затрагиванья пейзажа и задеванья за него в вещах большой лирической скорости и прямого сердечного назначенья. И я не далек был от того, чтобы Кузмину надписать книгу как товарищу, который тоже торопится и жалеет об упущенном и ничего еще не сказал, — Вы понимаете. Но такая надпись действительно свидетельствовала бы о недалекости. А между тем если на что я и отзываюсь сейчас восхищенно и горячо, то именно всегда *так* только, в порядке порывистого *сверстничества*, не разбираясь в подробностях возраста и творческих заслуг.

Но я заболтался с Вами. Так жаден и тороплив я стал оттого, что пятый уже год ничего не делаю, не делаю и по сей самый день, и для того, чтобы снять с себя горб этого закоснелого безделья и выпрямиться для дела, задумал я в близком будущем месяцев на 6 съездить за границу, верно, поселюсь где-нибудь в Марбурге или Геттингене, да я, быть может, об этом Вам и говорил. От Берлинской литературной шумихи, в которую я уже без моего ведома и против воли отчасти втянут, буду, разумеется, держаться в стороне. Дорогой Юрий Иванович, я, верно, никогда не кончу этого несчастного и многословного письма. Но мне действительно и серьезно хочется переписываться с Вами. То обстоятельство, что это письмо я дописал и что оно не у меня в столе останется, — факт беспримерной редкости, — и меня очень огорчит, если Вы мне до моего отъезда не ответите.

Пробуду я тут еще с месяц. Мне так жалко, что не удалось побывать у Михаила Алексеевича и с ним познакомиться[9]. Одно время я утешался мыслью, что до отъезда побываю еще в Петербурге или поеду на Ревель. Однако эту мысль теперь придется бросить. До возвращенья в Россию свидеться нам не удастся. По возвращении же думаю вообще на жительство переехать в Петербург и там обосноваться.

Напишите же мне обязательно. Читали ли Вы «Версты» Марины Цветаевой и «Стального соловья» Н. Асеева. Прекрасные книги — не правда ли? Асеев весной приехал с Дальнего Востока, и я ожил — это лучший мой друг. Всего лучшего, Юрий Иванович, жму крепко Вашу руку и от души приветствую М. А.

Ваш Б. Пастернак

Впервые: «Вопросы литературы», 1981, № 7. — Автограф (РНБ, ф. 400, ед. хр. 148). Ю. И. Юркун, прозаик, друг М. А. Кузмина.

[1] Повесть «Детство Люверс» была опубликована в альманахе «Наши дни» (М., 1922). Кузмин откликнулся на получение книг: «Я не удивлюсь, если прекрасная, делающая событие в искусстве, повесть Пастернака "Детство Люверс" пройдет менее замеченной, чем, скажем, стихи того же автора, несравненно слабейшие, но в которых отдана обильная дань формальному модничанию...» («Жизнь искусства», 1922, № 31). Экз. книги «Сестра моя жизнь» с дарственной надписью М. А. Кузмину (собр. И. С. Зильберштейна).

[2] Персонаж романа Юркуна «Дурная компания».

[3] Литературная группа «Серапионовы братья» возникла в Петрограде в 1921 г. В нее входили Вс. Иванов, М. Слонимский, М. Зощенко, В. Каверин, К. Федин, Н. Тихонов и др.

[4] Имеется в виду подчеркнуто-эмоциональный пафос, с которым недавно выдвинувшиеся официальные лица гордо произносят слова «люди революцыи».

[5] Пастернак объявляет враждебным подлинному духу революции непонимание революционной сущности гения, проявившейся в таких явлениях, как Петр I или Пушкин, и символ которой он видит в памятнике на Тверском бульваре. В том же смысле он надписал книгу «Сестра моя жизнь» Б. К. Зайцеву, как подлинному художнику, который «не доставляет огорчений петербургскому памятнику на Тверском бульваре» (15 июня 1922; Музей В. В. Маяковского).

[6] В стих. «Весенний дождь»: «Рвущееся: Керенский, ура!» (1917).

[7] См. надпись: «Анне Ахматовой, поэту — товарищу по несчастью. Дичливой, отроческой, и менее чем наполовину использованной впечатлительности, и потому: — особо-исключительной жертве критики, неумеющей чувствовать и пытающейся быть сочувственной, жертве непрошенных и никогда не своевременных итогов и схем, с любовью от человека, который все силы свои положит на то, чтобы изгнать отвратительное слово "мастер" из прижизненной обстановки людей, осужденных выражать себя и себя в этом выражении складывать, с клятвенным обещанием повысить требовательность века до тех натуральных норм, когда можно будет прохаживаться в размышлениях, не рискуя расшибить лба об неожиданную апофеозу, и темени, при естественном отскоке назад — об еще более неожиданное и оправданное только принципом архитектурной симметрии развенчанье. *Б. Пастернак.* 6/VI — 1922. Москва» (ЛН. Т. 93. С. 654). Пастернак отстаивает Ахматову от современной критики, причислявшей Анну Ахматову, «неизлечимо больную зарей вчерашнего "Вечера"», к тем поэтам, «высокое мастерство» которых «слишком законченно и зрело», чтобы найти «новые слова на новых дорогах» (В. Чудовский. «Начала», 1921, № 1. С. 209–210). Аналогичная позиция была высказана в статье К. Чуковского «Ахматова и Маяковский» (1921); Маяковский на вечере «чистки поэтов» в Политехническом музее (19 янв. 1922) причислил Ахматову к «последышам рухнувшего строя, никчемным, жалким и смешным анахронизмам» (Д. А. Фурманов. Собр. соч., 1960–1961. Т. 3. С. 280).

[8] Сборник стихов М. Кузмина 1921 г.

[9] С Кузминым Пастернак познакомился в Петрограде в августе 1922 г. накануне отъезда в Германию. В апреле 1926 г. Пастернак надписал ему маленький сборник «Избранные стихи» («Узел», 1926): «Михаилу Алексеевичу Кузмину. Прошлой зимой я перечитывал Вашу трехтомную прозу, и это было любимейшим чтением того года. Если я чем-нибудь стал Вам далек или досаден, преданность моя Вам такова, что я не боюсь и справедливого Вашего забвения. Когда заслужу, первая победит второе. Мне почему-то мерещится встреча с Вами в обществе Марины Цветаевой, если это случится у Вас, и в обществе ее и R.M.Rilke, если мы попадем за границу. Основание для такой, не справляющейся с Вашими симпатиями мечты нахожу в собственном чувстве сквозной и круговой тяги. — Книжечки этой не читайте, т. к. она о границах издательских возможностей Узла дает большее понятье, чем о моих авторских. *Ваш Б. Пастернак*» (Wiener Slawistischer Almanach, Bd. 5. 1980. S. 67. — Собр. А. Д. Левинсона).

194. М. И. ЦВЕТАЕВОЙ

14 июня 1922, Москва

14/VI. 22

Дорогая Марина Ивановна!

Сейчас я с дрожью в голосе стал читать брату Ваше «Знаю, умру на заре, на которой из двух» — и был как чужим перебит волною подкатывавшего к горлу рыданья, наконец прорвавшегося, и когда я перевел свои попытки с этого стихотворенья на «Я расскажу тебе про великий обман» я был так же точно Вами отброшен, и когда я перенес их на «Версты и версты и версты и черствый хлеб» — случилось то же самое[1].

Вы — не ребенок, дорогой, золотой несравненный мой поэт, Вы не ребенок и надеюсь, понимаете, что́ это в наши дни и в нашей обстановке означает, при *обилии* поэтов и поэтесс, не только тех, о которых ведомо лишь профсоюзу, при обилии не имажинистов только, но при *обилии* даже и неопороченных дарований, подобных имени, *осчастливленному Вашим посвященьем*[2]. Простите, простите, простите! Как могло случиться, что плетясь вместе с Вами следом за гробом Татьяны Федоровны[3], я не знал, с кем рядом иду. Как могло случиться, что, слушав и слышав Вас неоднократно[4], я оплошал и разминулся с Вашей верстовой Суинберниадой (если Вы даже его не знаете, моего кумира, — он дошел до Вас через побочные влиянья и ему *вольно* в *Вас*, родная Марина Ивановна, как когда-то Байрону было вольно в Лермонтове, как Якобсену и России вольно в Рильке)[5]. Как странно и глупо кроится жизнь! Месяц назад я мог достать Вас со ста шагов[6], и существовали уже «Версты» и была на свете та книжная лавка в уровень с панелью без порога, куда сдала меня ленивая волна теплого плоившегося асфальта! И мне не стыдно признаться в этой своей приверженности самым скверным порокам обывательства. Книги не покупаешь потому, что ее можно купить!! Итак простите, простите. Но как простить мне Вам *два* Ваших равно непростительных промаха? Первый. Отчего, идучи со мною по Плющихе[7], не сказали мне Вы, слово в слово, следующего. «Б. Л., мне думается, Вы поэт, а следовательно, Вам почти не приходится восхищаться современниками. Может быть у Вас на памяти один такой случай (ранний Маяковский), все же остальные, даже и Блок и Ахматова и безукоризненно изумительный Асеев, только виды душевного довольства, удовлетворенности, почти что — *нравственные* оценки — признанье душевной порядочности, — и только. Я, думает-

ся мне, — тоже поэт, Б. Л., — и знаю по себе, как тяжко то, что так резко разнятся эти два разряда. Вот, если Вы хотите пережить такое восхищенье, бурное восхищенье читателя на миг и почитателя на весь век свой, примите к сведенью, Борис Леонидович, а также передайте это и друзьям нашим, Асееву, Ахматовой и тени Блока, что случай восхититься так выдался на днях; и кстати: не говорите мне таким глупым голосом, будто это нивесть что такое, о приятии одной книжки Маяковским[8]; Вы, как о бестактности, будете потом об этом жалеть. Если хотите принять душевную соленогромовую ванну — прочтите "Версты". Это — версты поэзии. Говорят, — их написала я».

Другой Ваш промах в том, что Вы сочли меня недостойным Вашей книжки и, зная прекрасно наперед, к чему бы такое посланье привело, мне своей книжки не послали. Как странно и глупо кроится жизнь. Как странно и глупо и хорошо.

Теперь благодаря нелепости этой, я имею счастье и повод желать высказаться до конца, и так как такое желанье — неудовлетворимо, то я ударюсь удовлетворять его на все лады: за письмом, если позволите, последует другое, об этой чистой, абсолютной, исключающей всякие взвешиванья и соображенья возможности восторгаться будет говориться и писаться мною с тою радостью, какой обязывает нас такой акт избавленья от мерил справедливости. Вам не следует читать их. Читает их — женщина. Пишет же, плавит и раздувает — первостепенный и редкий поэт, которому в этом возвышении над женственностью, позавидовала бы и Марселина Деборд-Вальмор[9]. Счастливая! И как я счастлив за Вас!

Я и сам собираюсь за границу. Непременно захочу Вас видеть иначе, нежели всегда хотел, — а хотел и всегда, как хотел бы видеть Ахматову или — (да Вы уже понимаете — два разряда), — захочу, лишь только смогу польстить себя надеждой хоть отдаленно заплатить Вам тем же, чем Вы сегодня меня подарили. Если же Вы согласитесь ответить мне на это письмо по адресу: Berlin W. Fasanenstrasse 41, Pension Fasaneneck, Herrn Pr. L. Pasternack — мне — Вы доставите мне большую и мало еще заслуженную радость[10]. И не забудьте сообщить в письме, простили ли Вы меня или нет: просьба моя об этом — нешуточна и увесиста. О, теперь я понимаю Илью Григорьевича![11] Охотно в поклонении поменяюсь с ним местом. Может быть пошлю на Ваше имя недавно вышедшую «Сестру мою жизнь», вероятно без надписи, и Вы окажетесь *единственным* современником, дело которого одушевленнее, живее, и неожиданнее его самого, ввиду чего белеет только к лично-

стям обращенный титульный лист, в прочих случаях испещряемый до отказу[12].

А теперь, как проститься с Вами? Целую Вашу руку.

Потрясенный Вами Б. Пастернак

Впервые: Цветаева. Пастернак. Письма 1922–1936. — Автограф (РГАЛИ, ф. 1190, оп. 3, ед. хр. 155).

[1] Стихи из книги М. Цветаевой «Версты» (М., изд. «Костры», 1921).

[2] «Версты» имели посвящение Анне Ахматовой.

[3] Похороны вдовы Скрябина Татьяны Федоровны Шлецер были 24 апр. 1922 г.

[4] Пастернак слушал Цветаеву в январе 1918 г. на вечере у поэта М. О. Цетлина и зимой 1920 г. в Союзе писателей, где она читала «Царь-Девицу». О первом он писал в «Охранной грамоте»: «Не зная и тогдашних замечательных ее "Верст", я инстинктивно выделил ее из присутствовавших за ее бросающуюся в глаза простоту. <...> Мы обратили тогда друг к другу несколько открытых товарищеских слов». О втором вспоминала Цветаева в ответном письме 29 июня 1922 г. На ее вопрос к залу: «Господа, фабула ясна?», Пастернак ответил: «Фабула ясна, дело в том, что Вы даете ее разъединенными взрывами, в прерванности» (М. Ц. Собр. соч. Т. 6. С. 223).

[5] В стихах Цветаевой Пастернак почувствовал близость с А.-Ч. Суинберном, подобно тому, как Байрон слышен в поэзии Лермонтова. О влиянии на Рильке прозы Е. П. Якобсена Пастернак писал в очерке «Люди и положения» (1956): «Для Рильке живописующие и психологические приемы современных романистов (Толстого, Флобера, Пруста, скандинавов) неотделимы от языка и стиля его поэзии».

[6] Цветаева уехала из Москвы в Берлин 11 мая 1922 г.

[7] Похоронная процессия шла из дома Скрябина в Николо-Песковском переулке по Плющихе на Новодевичье кладбище.

[8] Речь идет о книге Маяковского «Простое как мычание» (1916), собравшей его ранние стихи; зимой 1917 г. Пастернак писал на нее рецензию.

[9] Французская поэтесса *Марселин Деборд-Вальмор*, автор проникновенных стихов о неразделенной любви, ее творчество служило образцом для молодого Лермонтова.

[10] Пастернак давал адрес родителей, считая, что вскоре сам приедет в Берлин; Цветаева послала 29 июня 1922 г. по этому адресу свое письмо Пастернаку, оно было переслано ему в Москву.

[11] Свое письмо Цветаевой Пастернак пересылал через И. Г. Эренбурга, который сопроводил его запиской: «Дорогая Марина, шлю Вам письмо Пастернака. По его просьбе — прочел это письмо и радуюсь за него. Радуюсь также за Вас — Вы ведь знаете, как я воспринимаю Пастернака. Жду очень Ваших стихов и писем! Нежно Ваш Эренбург». А. С. Эфрон вспоминала, что, прочтя записку Эренбурга, Цветаева сказала с усмешкой: «Мы его любим — а он нас воспринимает!» (Ариадна Эфрон. О Марине Цветаевой. М., «Советский писатель», 1989. С. 142).

[12] Вместе с письмом Пастернак послал Цветаевой «Сестру мою жизнь» с надписью: «Марине Цветаевой. Б. Пастернак. 14. VI. 22. Москва» (РГАЛИ, ф. 1190, оп. 2, ед. хр. 166). Известны распространенные дарственные надписи на этой книге А. В. Луначарскому, М. А. Кузмину, Н. Н. Асееву, А. А. Ахматовой, В. Я. Брюсову, Б. К. Зайцеву. Н. Я. Мандельштам вспоминала, что книга с надписью была подарена также О. Э. Мандельштаму, но он передарил ее В. Катаеву, сказав: «Ему нужнее».

195. Н. К. ЧУКОВСКОМУ

11 июля 1922, Москва

11/VII. 22

Милый Николай Корнеевич!

Исполненьем обещанной большой услуги Вы настолько превзошли все мои ожиданья, что теперь, по прошествии недели со дня полученья рукописи, к выраженьям живейшей моей благодарности Вам примешаются извиненья.

Простите, что не тотчас поблагодарил Вас за помощь и за верность слову[1].

Сегодня говорил о Вас с Мандельштамом. О<сип> Э<мильевич > очень правильно и тепло о Вас отзывается.

Он говорил о некоторых качествах Ваших стихов, тонко и справедливо оттеняя их задушевность. Проводя параллель между «добротою души», сказавшейся в них без ущерба для поэзии, и поэзией Мёрике — он до полной ясности оттенил эту на вид несколько расплывчатую характеристику, и я не мог не согласиться с ним, как ни мало, чтоб не сказать ничтожно, мое с Вами знакомство. Крепко жму Вашу руку. Буду рад встретиться с Вами в Петербурге.

Душевный привет Корнею Ивановичу. Передали ли Вы ему, что с его выбором я вполне согласен! Передали ли Вы также, как тронут я его отношеньем, как благодарен ему за сочувствие и за его, правда, и не совпадающие с моими собственными, — пожеланья?[2] Неудобно-неловок путь подобных передач там, где имеется возможность непосредственного и личного обращенья. Но Вашему папе я не пишу оттого, что мне пришлось бы отправить ему целый пакет пролегомен[3] в объясненье некоторых возражений, с которых такое посланье обязательно бы началось, и которые без этих пролегомен повели бы к недоразумению. Так, довольно определенный строй мыслей, которого бы я никак не миновал, навел бы его на ошибочную мысль о ложной моей или даже, может быть, лживой скромности. Другой круг утверждений, которо-

го бы я тоже никак не избег, навел бы его на противоположное и столь же ошибочное предположенье о неоправданной заносчивости и т. д. Всего же хуже — и чутье тут никогда не обманывает — было бы то, что более или менее безотносительная и в эту именно меру — абсолютная беседа — независимая, — была бы истолкована под знаком отношенья к себе и к другим в самом худшем для «литератора» смысле.

Как было бы *понято* или, лучше сказать, сколько понадобилось бы утомительных для собеседника разъяснений, *чтобы понято* было мое отношенье к нашей «неофициальной» печати в подавляющей ее части. Я понимаю Бунина, понимаю Цветаеву. Здесь нечего раскатываться в интонации, запятых не поставишь, двух-трех назвал и обчелся. Из таких «журнала» не наберешь. Я понимаю эту породу, являющую собой бином из двух противных бесконечностей. Темперамент, дарованье, чутье, нахрап достигают той определенности, которая живьем помещает их в истинное отечество бесконечно больших величин — в культуру. В том высоком стаде, в каком ходят они (в культуре), уже не любопытствуют о стойле, в котором тепло телилось их домгновенное несуществованье. Существованье их стирает и затмевает этот, для верховного фермера небезынтересный момент.

А политико-социальные их взгляды так бесконечно малы, что легко и отрадно для чистоты воззренья и счета, — приравнять их нулю.

Я понимаю коммунизм, — двучлен обратного строенья. Индивидуально-осязательное, эстетическое, экземплярно-симментальское нулевого значенья. Политико-социальное — *потрясающе* громадно (и нас, и, в частности меня, *трясло*, и не так, как в концертах или на Парсифале![4]»).

Но что мне сказать о персонажах «Утренников», «Пересветов», «Костров»[5] и т. д. и т. д.? Что сказать о людях, в противоположность названным (начинавшим себя с личности или с государства) — ориентировавшихся на маршрутных поездах, на новой «биологически общественной России» на «обовшивевшем ее пути»[6] (как ново!), на бытовых компликациях, на множественностях, на разъездах за литературными гонорарами и репутациями, на поле, на бабах... — но, черт возьми, надо же, наконец, различать энергию и ее приложенье: где только не видите Вы ужимок электричества: прощупайте его пути — и Вам придется перегладить ладонью чуть что не весь инвентарь вселенной, это верх разнообразья; когда же вы перенесетесь к электричеству техническо-

му, к электрифицированному городу — проволока обежит с вами все места и положенья, удостоившиеся изображения Шекспира и Диккенса, опередит фантазию Уэллса, побывает везде, где ждут и не дождались еще нового Достоевского, услышит выстрел, приканчивающий Пушкина, и, швыряя вас с выступа на выступ и из-за угла за угол, внезапно вернет в неожиданно-плохо освещенную, с краснотцой, — уборную глухой какой-нибудь квартиры! Как множественны приложенья!

Но как скупа конструкция этого бога в бегах! + –, два полюса и даже уже это плеоназм. А Вы представляете себе, что получилось, если бы это электричество ориентировалось на многом множестве электрифицированных уборных, на маршрутах, на вшах, на письмах в редакцию и на дружбе со мной, с Андреем Белым или с Вашим отцом?

Вот этого-то класса явлений, в противность двум, вполне понятным мне, я не понимаю. И я не люблю того бинома, который дает мне чистейшую в сумме посредственность, хотя бы она давалась и в максимальной, Лутохиночарующей дозе[7].

Вот видите. Не то что к Корнею Ивановичу, — в письме к Вам пришлось прибегнуть к икре![8] Речь тут шла об одном приятеле моем с тем «симпатичным» дарованьем, которое не могло меня в свое время не подкупить. — Теперь это любимец, если не божок, — всех вышеохарактеризованных журналов. Эта посредственность не ломается, — она искренна — она ломает дурака и дает тему для статей об этом. Но искренняя мина «мастерства» так натянуто-топорна на лице этой посредственности, что я смешнее ничего не знаю. И этим захлебываются все знатоки электричества, производящие энергию от узора прокладки.

Я не смею его называть[9]. Мы еще приятели. Я назову его завтра, послезавтра, когда, начав открытую войну с биномами третьего вида, объявлю его главным лобовым слоном этой вражеской карфагенской экзотики.

Ваш Б. Пастернак

Впервые: «Литературное обозрение», 1990, № 2. — Автограф (собр. Д. Н. Чуковского). Николай Корнеевич Чуковский, старший сын К. И. Чуковского, поэт, прозаик, переводчик. Входил в кружок учеников Гумилева «Звучащая раковина», на собрании которого в квартире Иды Наппельбаум в январе 1922 г. познакомился с Пастернаком.

[1] Возможно, речь идет о пересылке рукописи каких-нибудь переводов Пастернака, делавшихся для «Всемирной литературы» и оставшихся неизданными.

[2] По-видимому выбор стихов, за который Пастернак благодарит К. И. Чуковского, делался для какого-то несостоявшегося журнала. Далее Пастернак высказывает свое отношение к современным журналам.

[3] *Пролегóмены* (*греч.*) — предварительные рассуждения и объяснения.

[4] Опера Р. Вагнера.

[5] Альманахи «Утренники» (Пб., 1922, вып. 1 и 2); «Пересвет» (М., вып. 1 – 1921, вып. 2 – 1922); «Костры» (М., 1922).

[6] Цитата из письма Б. Пильняка из 2-го вып. «Утренников»: «Я больше не буду сотрудничать в газете "Накануне". Я верю и знаю, что идет, пришла Новая Россия и *на обовшивевшем ее пути* — по новому пути поведет ее новая, родившаяся теперь, биологически-теперешняя общественность...».

[7] Д. А. Лутохин — редактор альманаха «Утренники», автор первой большой статьи о Пильняке в «Вестнике литературы», 1920, № 8.

[8] Перед этим вычеркнут абзац в 11 строк. *Икрой* называли точки, заменяющие выкинутые цензурой места.

[9] Возможно, имеется в виду Борис Пильняк.

196. В. Я. БРЮСОВУ

15 августа 1922, Петроград

Петроград 15/VIII. 1922

Дорогой Валерий Яковлевич!

Если бы я попросту и запросто собирался к Вам все то долгое время, что я мечтал о посещении Вас, ссылка на многочисленные помехи, тому препятствовавшие, не имела бы смысла. Находил же я время, между дел, для встреч с приятелями, для чего хотите, и среди последнего, в первую голову, для мечтаний о настоящей встрече с Вами. Вот эта-то мечта, совсем особенная, и сообщила препятствиям характер непреодолимости, которого у них на деле не было. Встреча с Вами должна была, по мысли моей и по чувству, быть отчетной и исчерпывающей, ей должен был быть посвящен целый день, — в том смысле, — что часу, который бы Вы разрешили мне провесть с Вами, не должно было предшествовать ничего отвлекающего и ничто постороннее и озабочивающее за ним не должно было следовать. Таким мыслился мне этот, гадательный и теперь уже утраченный день в меру той нешуточно глубокой признательности, вне и без которой я не могу и никогда не смогу сделать ни одного Вам навстречу шага. Вы склоняете к простоте и короткости в обращении, — склонили многих и не таких, как я, — склонился бы к этому и я, — да Вы тут верно ни при чем.

Вероятно, эта моя признательность глубже хорошей учтивости, — и по-видимому, поток этой благодарности, всплывающей при

всякой моей мысли о Вас, направлен столько же к Валерию Яковлевичу, сколько и к Брюсову, к поэтической силе высокой (по размерам и по степени) заразительности, к родной и, вместе с тем, — старшей стихии, которая сначала с помощью заочной заразительности сложила тебя и как бы вызвала к существованью, затем — тебя заметила и тебя назвала — и — наконец (как кажется многим) — в деле рук своих и в своем предвиденьи оказалась правой. Если бы я сказал, что я сплошь и целиком — ученик Ваш, что я вышел из Вас, — так, как из Вас вышли Гумилев, Ходасевич и многие — это было бы лестью, это было бы неправдой. — И это было бы приниженьем той правды, которая меня с Вами связывает, которою я горжусь и которая многим значительнее зависимости от Вас упомянутых.

Если у индивидуальности есть лицо, и если оно — целостно, то в любой из эмоциональных плоскостей этой индивидуальности (любовной, волевой, творческой и пр.) — обязательно имеется *другое* человеческое лицо, к которому целостность первой восходит как к своему началу и в присутствии которого лицо индивидуальности — потрясается, освещается, собирается воедино.

Таким лицом в сфере моих художнических, артистических, мужественно творческих чувствований, в сфере ощущенья *поэта* в себе — являетесь Вы. Это трудно объяснить, Валерий Яковлевич, — и значило бы стать вовсе фантастичным, если бы, воспользовавшись подсобным определеньем, я бы просто, аналогизируя приемы уравнительные, выразился алгебраически и безапелляционно: больше всего я Вам благодарен за то, что, кажется, не подражав Вам — иногда чувствую Брюсова в себе — это тогда, когда я чувствую над собой, за собою и в себе — поэта.

Странность этого ощущенья богата следствиями и производными. Так, например, при всяком внешнем успехе я радуюсь ему и им горжусь. Радость оставляю про себя, как нечто интимное, детское и приватное. Гордость же по этому странному балансу целиком отписывается Вам. Знайте, Валерий Яковлевич, что никогда я не горжусь собою, но всегда тем, что Брюсовское дело (поэзия порывистая и выразительная, нескоро стирающаяся) преуспевает, идет от признанья к признанью. Так, — тут, например, в Петербурге сильно и крупно выделил мою прозу (напечатано в «Наших днях») Мих. Ал. Кузмин, поставив ее выше Белого и Ал. Толстого, не говоря уже о Пильняке и Серапионцах[1]. И — объясните это мне, Валерий Яковлевич, — я *порадовался за Вас*, вспомнив Ваши вкусы, Ваши заказы и заветы литературе, Ваших друзей и уклоны, Вам не улыбающиеся. И когда я уже так близок был к

отъезду, что, казалось, не оставалось уже надежды поспеть к Вам, я все-таки твердо верил, что Вас увижу — и вот подробность: ко мне зашел брат Софьи Парнок — Валентин Парнах. — На моей совести большой грех: его книжка, надписанная Вам, пролежала у меня несколько месяцев. Последнее время, по выходе «Сестры Моей Жизни» я положил Парнахову книжку с Вашим экземпляром «Сестры» рядом[2]. Парнаху я его книги, Вам предназначенной, не отдал, уверив, что отнесу вместе со своей.

Это было уже накануне отъезда. Я все еще надеялся. Но вот, не пришлось. Не пришлось оттого, конечно, что я не умею жить, ибо уменье жить (в лучшем смысле этого слова) — в том и заключается, чтобы уметь делить время между важным и неважным, существенным и насущным, важного и существенного этим дележом не ущербляя и не профанируя. Кончилось тем, что я обе книжки увез с собой в Петроград. Теперь с пути (я еду за границу) посылаю их Вам по почте.

Я еду в Германию на полгода или на год, если удастся. Еду работать. То же неумение жить не дает мне возможность поделить время между работою и не-работой, как того требует Москва.

Оттого и еду. Я знаю, что внешне — порчу себе, так как, несомненно, меня в мое отсутствие так же быстро покатят вниз, как вкатили, меня не спрашиваясь, наверх, — на высоту вполне условную и еще не заслуженную и малопонятную. Сделают это «молодые», т. е. те, из которых (представьте себе!) некоторые пишут кровным моим тоном, вовсе этого за собой не зная и не видав «Сестры», — благодаря вторичным — горизонтально-круговым заимствованьям друг у друга. Живой пример. Некий Цветков в Москве приходит ко мне и аттестуется: «юный земли поэт» — передайте, пожалуйста, эти мои стихи Есенину, если увидите, — я крестьянский поэт — его, мол, десятка. Потом развертываю — живая «Елена»[3], — другое — того чище, то есть в такой степени, в какой я б этого ни о ком не сказал!

А Вам, Валерий Яковлевич. — Неловко, право, всерьез говорить с Вами об этом новом «мастерстве». — Две-три тощие тетрадки, — Вам вот что скажу. Честное слово, я не придаю этим удачам никакого значенья, кроме одного только. Что я на верном, кажется, пути, и что на нем нельзя останавливаться.

Меня очень удовлетворил отзыв Городецкого о Ваших новых книгах (в Известиях — июль, кажется)[4]. Хотя подход мне несвойственный и — слегка поверхностный, все же сознанье серьезности задачи — налицо, и должная оценка разбираемого дана в *тоне* разбора.

Перед самым отъездом вызвал меня к себе Троцкий. Он более получаса беседовал со мною о предметах литературных, жалко, что пришлось говорить главным образом мне, хотелось больше его послушать, а надобность в такой декларативности явилась не только от двух-трех его вопросов, о которых — ниже; потребность в таких изъясненьях вытекала прямо из перспектив заграничных, чреватых кривотолками, искаженьями истины, разочарованьями в совести уехавшего.

Он спросил меня (ссылаясь на «Сестру» и еще кое-что, ему известное) — отчего я «воздерживаюсь» от откликов на общественные темы. Вообще он меня очаровал и привел в восхищение, надо также сказать, что со своей точки зренья он совершенно прав, задавая мне такие вопросы.

Ответы и разъясненья мои сводились к защите индивидуализма истинного, как новой социальной клеточки нового социального организма.

Проще: я начал с *предположительного* утвержденья того, что я — современен и что даже уже и французские символисты, как современники *упадка* буржуазии, тем самым принадлежат нашему времени, а не истории мещанства: если бы они с мещанством разделяли его упадок — они мирились бы с литературой периода Гюго и молчаливо-удовлетворенно погибали — а не остро чувствовали и творчески себя выражали. Я ограничился общими положеньями и предупрежденьями относительно будущих своих работ, задуманных еще более индивидуально. А вместо этого мне, может быть, надлежало сказать ему, что «Сестра» — революционна в лучшем смысле этого слова. Что стадия революции, наиболее близкая сердцу и поэзии, что — *утро* революции и ее взрыв, когда она возвращает человека к *природе* человека и смотрит на государство глазами *естественного* права (американская и французская декларации прав), выражены этой книгою в самом духе ее, характером ее содержанья, темпом и последовательностью частей и т. д. и т. д. Очевидно, придется как-нибудь написать об этом.

До свиданья, дорогой Валерий Яковлевич, — и еще раз — горячо Вас за все, что Вы из меня и для меня сделали, — благодарю.

Не разочаровывайтесь во мне как части Вашего собственного дела, если (по некоторым соображеньям) внешняя судьба теперь изменит мне.

Не знаю, отчего я об этом заговариваю, и, может быть, ошибаюсь. Однако больно мне будет перестать «гордиться Брюсовым» — как выше, — хотя бы на время. Я напишу Вам еще из-за

границы, где на первых порах остановлюсь на Fasanenstrasse 41, Pension Fasaneneck, Berlin W.

Крепко жму Вашу руку. От души желаю Вам всего лучшего и побольше счастливых досугов. До свиданья.

Любящий Вас Б. Пастернак

15/VIII Петроград

Впервые: «Россия». Torino, 1977, № 3. — Автограф (РГБ, ф. 386, к. 97, д. 37).

[1] Кузмин писал: «За последние три-четыре года "Детство Люверс" самая значительная и свежая русская проза. Я нисколько не забыл, что за это время выходила "Эпопея" Белого и книги Ремизова и А. Толстого» («Жизнь искусства», 1922, № 31).

[2] Надпись на книге «Сестра моя жизнь»: «Валерию Яковлевичу Брюсову с горячей любовью и пожеланьем долгого процветанья от много обязанного ему Б. Пастернака. 1./VI.22. Москва» (РГБ, ф. 386). Там же хранится и книга В. *Парнаха* «Карабкается акробат» (Париж, 1922).

[3] Цикл стихов *«Елене»* вошел в книгу «Сестра моя жизнь».

[4] Статья *Городецкого* «Алый вечер» о книгах Брюсова «Последние мечты», «В такие дни», «Миг» («Известия», 1922, 28 июня).

197. А. Л. ПАСТЕРНАКУ

16 августа 1922, Петроград

16 / VIII. 22. Петроград

Дорогой Шурочка! Завтра утром мы отбываем на Гакене[1] из Петрограда. Мы два раза звонили тебе по телефону: раз — это было с Абрашей[2], он тебе верно передал, — другой провели на станции (в понедельник) полтора часа, с $^1/_2$ 12 до часу ночи — и когда до нас дошла очередь, линию заняли правительственным разговором, а Московская линия была испорчена.

Если бы мне рассказали в Москве, что́ мне придется испытать в смысле таможенных, внешторговых и военноцензурных хлопот в Петрограде, я конечно предпочел бы сухой путь с несколькими границами этому одному с целой сетью бюрократических придирок и фантазий. Однако теперь, когда все уже сделано, и книги по требованию военной цензуры переложены из чемодана в три деревянных ящика, и когда нам предстоит только выспаться, чтобы завтра чуть свет отправиться на пристань — я нахожу наше положенье идеальным и чувствую себя на седьмом небе от радости.

Пиши нам, Шура, по адресу наших, пиши о том, о чем в свое время просили писать они, по своем отъезде. По-видимому, ты

некоторое время после нас пожил на даче и слава Богу, что это так. Тебе надо подправиться.

Всю неделю, что мы пробыли тут, провел в безобразнейших и дичайших хлопотах. Дело пошло так сказать вспять и аналитически. Личные разрешенья наркома[3] пришлось автоматически шаг за шагом разложить на все те звенья, которые эти разрешенья охватывали и покрывали. Таможенный округ (две инстанции), внешторг (художественные матерьялы и Женины работы — два разных отдела). Военная цензура, портовая таможня — все это вместе взятое не только не дало мне возможности выступить тут, но лишило удовольствия посетить двух-трех людей (Ахматову, Чуковского и др.) — побывал только у Кузмина, с которым пошел познакомиться после прочтения его статьи в газете[4] (посылаю ее тебе) — случайно купил на Невском в день приезда. Газету эту посылаю тебе в двух экземплярах. Покажи Вильяму и крепко его от меня поцелуй[5]. Если будешь по собственной охоте у Равделя[6], который просил тебя захаживать, покажи и ему. Я этой статье очень рад не как похвале, а главным образом как сужденью, метко и правильно разрушающему мнимую связь между мной и теми именами, с которыми меня связала близорукая и плохо осведомленная молва. Пускай это и друзья — Эренбург к примеру — но меня создала не дружба их и под делом их я не всегда готов расписаться.

Шурочка дорогой, взгляни, сделай милость, в телефонную книжку и сообщи мне в письме точный адрес Брюсова. Зайти к нему я не успел, отправляю ему «Сестру» и письмо отсюда, по приблизительному адресу «Дворца Искусств». Боюсь, не дойдет. А о том, получил ли он посылку*, можно было бы справиться у Ник. Ник. Вильяма. Я очень был бы рад такой справке, и тебе и ему благодарен. Доработать (денежно) — в Петербурге по недостатку времени ничего не удалось[7]. Шура дорогой, хотел отсюда послать тебе общую доверенность, да второпях образчик (папину доверенность) сунул в общую кипу писем, бумаг, адресов и т. д., — сданных под печать военному цензору. Пришлю из Берлина. Ходил ли ты или лучше — собираешься ли ты пойти за моим пайком и акденьгами?[8]

Непременно при первой возможности съезди в Петроград и его осмотри основательно. Он мне нравится с каждым разом все больше. Теперь я его основательно изучил.

Пиши поскорей. Кланяйся Фришманам и Устиновым. Выздоровела ли Паша и в городе ли уже Стелла? Действительно ли

---

* «Сестру» и письмо. (*Прим. Б. Пастернака.*)

собирается Шмидт (управдом) очищать квартиру[9] или же это надо понимать так, как я понял. Это сообщил мне Абраша. Ну крепко-крепко целую тебя и обнимаю и Вильямов — перед тем, как занести ногу за рубеж. Adieu Choura, adieu Russie!

Боря

Впервые. — Автограф.

[1] Название парохода «Обербургомистр Хакен».

[2] Абрам Вениаминович Адельсон, сосед по квартире на Волхонке.

[3] А. В. Луначарского, наркома просвещения, который подписал разрешение на выезд.

[4] Еженедельник «Жизнь искусства», 1922, № 31. См. коммент. 1 к письму № 196.

[5] Николай Николаевич *Вильям* (псевд.: Вильмонт) — младший брат невесты, а потом жены А. Л. Пастернака Ирины Николаевны, тогда студент Института Слова.

[6] Ефим Владимирович *Равдель* — художник и скульптор, директор ВХУТЕМАСа. Ему Пастернак передал право на первое издание книги «Темы и варьяции» и 18 сент. 1922 писал брату: «...Вам там лучше известно, насколько я вообще вправе располагать "Темами", — в моем же сознании книга числится за Равделем. Не понимаю я также твоей фразы: "brauche Geld"*. Только ли это извещенье о твоей потребности или же я тебе еще и должен? Надо тебе знать, что по существу это для меня безразлично: нужны ли тебе просто деньги, или ты считаешь, что имеешь их получить от меня, все равно, если книгу продать можно, если Равдель не издает или контракта не соблюл (а можно ли в этом смысле продать книгу, думается, знает Ник. Ник.) — значит продавай, с Богом <...> Равдель должен был выплатить 450.000.000, то есть 100 долларов Вильяму в случае напечатанья "Тем" или же, в случае неуплаты, — переуступить право изданья "Тем" — Вильяму <...> Не продешевите книги. Здесь она продана без права распространенья в России, т. е. факт ее изданья за границей гонорара понизить не может». Имеется в виду издание книги в «Геликоне» (Берлин, 1923).

[7] Пастернак рассчитывал устроить свой поэтический вечер.

[8] Академические паек и пособие.

[9] Речь идет о постоянных угрозах выселения со стороны Наркомпроса.

198. А. Л. ПАСТЕРНАКУ

16 сентября 1922, Берлин

16/IX. 22. Berlin. Fasanenstrasse 41

Дорогой Шура! Велика была разница между Западом и Россией в довоенное время, велика она и сейчас. Еще мы были в

* нужны деньги (*нем.*).

Петербурге, — очаровательный между прочим он, и обязательно тебе бы следовало туда поехать, — ведь это пустяк, чего тебе стоит! — Еще мы расплачивались с извощиками на Васильевском, у пристани, мало чем больше Московских за Краснохолмским, еще панорамой кругом чернел, белелся и отливал ржавчиной, синевой и солнцем великолепно раскинутый и превосходный по (действительно) гениальной величавости Петроград, еще ступив было на пристань я перебежал мостки купить у мальчишки Лаферма[1], а уже через полчаса, что мы топтались в очереди перед комнаткой пограничной стражи, пройдя дозор, мы очутились за границей, в Германии, стоявшей на якоре и отделенной от провожающих, от извозчиков, от папиросника и от Петербурга — тремя короткими бревнами и целым цветником реющих платков. Как искусство, то есть как нечто отделенное от жизни родовым своим совершенством, — как искусство уже тут воспринял я ту спокойную и ни с чем не сравнимую пластическую расторопность, с какою, будто ничего не делая и не подымая рук матросы сложили, куда надо, весь багаж (а были и ящики, и сундуки с рояль) и также, глядя куда-то мимо, одну за другой, наложили ряд балок, свинтили их, покрыли смоленою холстиной, переложили новыми балками, накрыли толем, еще чем-то — и в пять минут при лениво слаженных и бесподобно уверенных движеньях была готова новая палуба, бесследно покрывшая собою недавно еще пестрый, сложно досадный и тревожно спутанный багаж, то есть сделали именно то, чего никогда бы не сделали и не стали делать в России, ибо сделанное предполагало допущенье, что может быть качка, и чемоданы и ящики будет обдавать водой, тогда как у нас именно возможная виновность моря, погоды, стихии и природы и явилась бы тем естественным аргументом, который бы заранее избавлял от всяких забот в этом направлении, — ибо что бы стал делать недовольный при ссылке на этого естественного виновника?

Потом вскоре пошли: «Mahlzeit»*, свои постоянные места и свои салфетки в картонных трубках за столом, мучнистые супы с запахом спаржи, вареная рыба под распущенным маслом с крутым яйцом и сухарями, шницели с лимоном, уксусные компоты, Kalte Aufschnitte, zweimal Münchner, einmal Rheinwein**, утренние

---

* обеды (*нем.*).

** порция нарезанной колбасы и ветчины, два — Мюнхенского пива, одно — Рейнское вино (*нем.*).

кофе с вареньями, сардинками, газово-сигарно-пивные запахи, кельнера в белых кителях, девушка в широкой юбке-клош, — и еще это все под Питером, и еще вот миновать Гутуевский остров, Морской канал, море, Кронштадт.

И потом вскоре — слева вдали Эстония, справа изредка — Финляндия, и пока еще видны берега, — сплошное наслажденье — читай, играй в шахматы и в карты, бегай по палубам, переходи на нос, где как на гигантских качелях, вверх вниз, грозно-газированный гейзер, при таянии замывающий дурную черноту внезапно обнажающею зубы зеленью, и бурная чернота неимоверно большого за тобою двора с деревянными постройками, снастями и мачтами, поминутно падающего вниз со всеми строеньями, сараями, крышей, мачтами и мокрой, скользкой и крашеной землей, где вдали и в глубине знакомая лесенка со снежно-крохотной калиткой, за которой пьют кофе, пьют пиво, вино, едят шоколад и разговаривают. А потом, — открытое море, уже окончательно приковывающее тебя к бортам или к носу, так неестественно и беспричинно тошнотворны ходящие под тобою ковры, вздыхающие линолеумы и ускользающие из-под рук диваны[2].

А там, на палубе или на корме ты взлетаешь по совершенно *ясной* тебе причине и с основаньем, достаточным для того, чтобы тебя не стало рвать. Морскую болезнь до конца, до рвоты, вызывают главным образом закрытые помещенья: привычная обстановка в непривычном движении; сколько бы ни двигались эти предметы, живыми они стать не могут, и *неполно* мертвое их состоянье превращается во *вполне обморочное, сонно-кружительное*. Тут-то и накатывает Федя[3]. Если со мной этого не случилось, то только от того, что до самого сна я в особо бурные моменты простаивал на воздухе среди этих беспрерывно-бездомных, безбрежно-безродных водных гор, а спать бежал в каюту со всей поспешностью беременного, торопясь прийти в горизонтальное состоянье раньше, чем меня в него положит изнутри накатывающее побужденье. Но Женя пострадала. — *Все ожиданья* и расчеты относительно впечатления, которое должна произвесть на русского заграница — после отрезанности этих 8-ми лет, 1919-го и 20-го, холода и голода, дикарства и разрухи и т. д. и т. д. — *оправдываются*. Как ни оправдываются эти учтенные и предвосхищенные ожиданья, — все же впечатленье получается неожиданное и непредвиденное. Поражает главным образом — тишина площади в Берлине пе-

ред Stettin Bahnhof* при резкой ее иллюминованности целою сотней стоящих автомобильных кареток, автобусов, трамваев, носильщиков, красных шапок и пассажирских толп и резко пронзительное Vorsehen** — так одиноко в своей акустической структуре звука среди безмолвия, что его относишь к бетонным накатам вокзала и связываешь с ними скорее, чем с миром звука; они ослепляют глаз и как бы не касаются слуха. Поражает медлительная уверенность всего движущегося и снующего, даже и совершенная в этом смысле медленность мчащихся Untergrund'ов***.

Вообще *сравнительные* достоинства Берлинской жизни для нашего брата так высоки, что самое живое воображенье из-за рубежа их предвосхитить не в состоянии, ибо многие навыки нами уже основательно забыты и о целой сотне удобств мы забыли настолько, что на границе больше дивишься мере человеческой забывчивости и степени этого полного исчезновения из памяти целого ряда вещей больше, чем самим вещам. Далее, даже и при дороговизне, дошедшей тут до 30 000 за готовый мужской костюм и до 500 марок в день за пансион (second class); при паритете даже, который часто почти что получается с русскими ценами, при переводе некоторых местных цен на наши, — надо сказать, что дешевизна тут абсолютная, почти трансцендентная, то есть трудно объяснимая и в изживании проистекающая из того ощущенья, что платя хозяйке, платя по магазинам и платя целый ряд налогов на иностранцев, ты все еще не видишь, чтобы ты платил за *существованье* этих разнообразных товаров, за существованье этих великолепно оборудованных магазинов, книгоиздательств, кафе, путей сообщенья и т. д. И ты конечно всего меньше платишь за существованье Германии, Германии XVIII–XIX в. или Германии XV в., с ее уже не относительными и абсолютными достоинствами, куда попасть тебе в любой час и миг легче и приятнее, чем из Москвы в Пушкино — 100–150 марок — экспресс, салон-вагон, широкие светлые окна, поезд шпарит по 90–100 км в час, жарит $2^1/_2$ часа без остановки, короткая трехминутная остановка в Halle, это уже давно Саксония, $2^1/_2$ часа назад был дождь, серое небо, равнина шкиперско-померанского, — петрово-прусского порядка, — теперь гористая местность, Саксония, закат солнца, виноградники,

---

* Штеттинский вокзал (*нем.*).

** Внимание! (*нем.*)

*** метро (*нем.*).

леса, замки и Burg'и*, что ни поворот головы, то в светлом стекле, слизывая горлышко Fachingen'а**, скользя по десятку плакеток, кожаных и медных штук и частей, покачиваясь, проплывают, поворачиваясь вбок и ребром к рельсовому закругленью — города, города, города — готика, черепицы, ратуши, крошечные разнообразные, фруктовые сады, сливы, груши, уголь, известняк и вновь город, тут черт являлся Лютеру — Виттенберг, Эльбах, мимо, мимо. — Так, на $1^1/_2$ дня мы съездили в Веймар. В эти полтора дня я прожил больше, чем за целый месяц своего переезда и впервые за долгий срок, вобрав воздуха *безотносительно* прекрасного, *абсолютно* действительного, *вспомнил* об искусстве, о книгах, о молодости, о существованьи мысли на земле и т. д.[4] В этом тоне и ритме, который удалось мне удержать и по возвращении в Берлин хотелось бы мне повести свою жизнь теперь и свою работу. Не преувеличивая говорю: это первое безотносительное переживанье с 1914 г. (если исключить лето 1917 г., тоже абсолютное, как и перемежкою, период между 14 и 17 г., еще по инерции временами абсолютный, по инерции, еще встречавшийся «в тылу»). А в остальном: революция относительно лучше *X*'а или *Y*'а, коммунизм сравнительно лучше «демократии», имевшейся у нас; Берлин по удобствам и дешевизне сравнительно лучше России; я сравнительно лучше Кусико́ва; Германия человечнее по *сравнению* с Францией, как страдающая и т. д. и т. д. И, сколько будет в моих силах, я распространю на это дивное море современной полуторадневной или полуторадесятилетней сравнительности[5] безразлично единообразное отношенье — стенающей и несчастной пренебрежительности. Гоняться за оттенками этой сравнительности; глядеть на то, как она складывается в буржуазной Франции или в демократической Германии или коммунистической России; как выписывается эта относительность тут и какие расписки (художественно-идеологические) дает там — довольно, довольно, довольно.

Довольно, впрочем, и с нас обоих, на сей раз. Очень уж я расписался и главное вдался в ненужную детальность. Хотел же я главным образом коснуться некоторых психологически невесомых сторон поездки, имея в виду тебя, и — вот что. Левины чудно съездили и поездка их, и главным образом культурно-незадержавшийся полноправный отъезд, как при открытых границах меня просто восхитили. Это уже не 20-й и не 21-й год. Это — наш

---

* крепости (*нем.*).

** минеральной воды (*нем.*).

Oberbürgermeister Haken* (сели в Петербурге, заплатили и вот и все), это вторая часть Haken'a, — пожили, закупили, достали разрешенье на вывоз и — в Мамоновский[6]. Просто и без «того света» как звена в цепи, — не невежественно фантастично. Молодцы. Кланяйся им от нас, я их очень люблю. Так вот. Съездил бы и ты так. Месяц на Волхонке, с точки зрения квартиры — сущий пустяк: представь себе не заграницу, а в Петербург или на дачу на месяц — вообще мысли в этом — Левински простом, образованно-позитивном, полноправно-подвижном роде. Что может грозить квартире в течение месяца? Ведь это абсурд. Сколько таких месяцев прошло и пройдет против Храма[7] незаметнейшим образом? Как часто *более чем на месяц* откладывались со дня на день дела однодневной срочности, вроде домкомовских очисток, поручений, исправленья водопровода, уборок, ответов на залежавшиеся письма?! То есть месяц в Москве это неделимый временной атом, даже не атом, а та Демокритова пустота, которая их отделяет: τό μηόν — несуществующее, нуль. Я говорю о домохозяйстве, о тебе, как о хранителе. А между тем в Веймаре можно прожить в полтора дня целую неописуемую вечность. У тебя значит есть возможность прожить 10–15 вечностей плюс недели две с родителями в относительно превосходном Берлине, накупить кучу изумительных вещей, — пойдешь на вокзал, да нет, тут рядом есть Reisebüreau**, между делом купишь в D zug'e*** билет в Гарц, в Гамбург, в какую-нибудь древнюю дыру вроде Вимпрена, в Гейдельберг, наконец в Базель; съездил (а в окне-то что делается!), вернулся и в другой город, и в третий (а передвиженье дешевле жизни). — Я бы очень тебе советовал. Главное — разрешенье. Выездное тебе ведь устроят (Рыков, Богданов![8]) — въездное же выхлопочу тебе я, хоть и сейчас, с Wohnungsamt'ом**** (наши на редкость наивны и сами хлопотали, как написано, а так только в очередях стоять) на Берлин. Главное напиши, сейчас еще можно, и я себе представляю, как это сделать, позднее может быть труднее станет. Ни за что не покупай марок. Представь, я в Петербурге еще *продал* (много потеряв) все марки, которые мне С. С. Фришман дал. Я их получил по 12,5, а продал едва по 7, то есть почти за половину! Продал и даже при такой конъюнктуре не пожалел; правда, не взяв их в Москве, а расплатившись

---

* Обербургомистр Хакен (название парохода) (*нем.*).

** Бюро путешествий (*нем.*).

*** Дешевый класс поезда (*нем.*).

**** Жилищное управление (*нем.*).

русскими деньгами, я имел бы вдвое больше долларов, чем получил их (покупка — продажа — покупка! тройная потеря не говоря о половинном уменьшении марки). Но даже и так, даже оставшись и при половине тех долларов, что я бы мог иметь в Москве, я все же опередил то внезапное паденье марки, которое шло еще быстрее[9]. В море я вышел с одною тысячей марок! — обратив все остальное в доллары. — Итак скорее напиши о разрешении, — доставать ли.

Теперь вкратце о деле. Я не знаю, о каком моем долге Вильяму ты говоришь? Деньги от Воронского (получил ли ты их?) должны сплошь пойти на уплату Пепе[10]. В таком духе я и передал это ведь тебе. Вильяму платить ничего я тебе не поручал и твой вопрос относительно этого вызывает у меня полное недоуменье. Уплатить 300 миллионов Пепе, вот все, что я тебе поручил. Звонить Воронскому (Националь, доб. 217), получить с него эти деньги и отдать их Пепе, вот все мои порученья. С Вильямом у меня дела, тебя нисколько не касающиеся и связывающие его с Равделем. Если у него какие-нибудь недоразуменья, пусть напишет сам. Ни Воронскому, ни Ник. Ник. *не говори об этом* письме, они обидятся, что им не пишу. Николаю же Николаевичу, которого очень люблю и о котором часто вспоминаю, передай прилагаемую открытку: не знал его адреса, помню Машков, а № не помню. Да кстати напиши его адрес и адрес Брюсова (посмотри в телефонной книжке), я тебе уже об этом кажется из Питера писал, получил ли ты письмо? Что касается академических денег или тех, что потом, по издании Госиздатом Сакса и Гомбурга[11] мне придется получить, то бери их себе и как хочешь ими распоряжайся. Удосужился бы ты как-нибудь зайти в Акцентр[12]. Не пропадать же этим деньгам и пайку, жалко! А сбереженье, которое таким образом у тебя получится — и в Москве кажется нестоящим — здесь даст тебе чемоданы, несессеры, галстухи, поездки в старинные города, костюмы, книги, пальто, трости, ботинки и пр. и пр. Как ни занят ты, это сделать можно; так как и я очень нерешителен, анимично предан всяким устанавливающимся препятствиям, как ты, то я знаю, что́ тебе и при военной мобилизованности мешает туда сходить, и знаю, как это можно сделать. Хотелось бы очень передать поклоны Буданцевым и Боброву и всем друзьям, но поклоны предполагают письмо, а о нем, как сказано — ни слова. Только пусть Ник. Ник. напишет, если у него что неладно. Крепко тебя обни-

маю, напиши скорее о своих намереньях (разрешеньи) и о том, что может меня интересовать.

Твой Боря

Впервые. — Автограф.

[1] Вероятно, марка папирос.

[2] Это описание вошло в стих. «Отплытие» (1922).

[3] Эвфемизм «тошноты».

[4] Одновременно с письмом брату 16 сент. 1922 Пастернак посылает открытку с фотографией дома Гёте в Веймаре А. Л. Штиху: «Берлин относительно хорош, превосходен и сногсшибателен. Мы тут прожили (и опять живем) больше месяца. Но тот день (ровно один день), что мы провели в Weimar'e, изумителен абсолютно, отбрасывает в лучшее прошлое и лучшее будущее, и кажется целым годом в сравнении с Берлинским месяцем» («Россия». Venezia, 1993, № 8. С. 227).

[5] Пастернак отсчитывает время с 1906 г., проведенного в Германии.

[6] В *Мамоновском* переулке жили Левины.

[7] Дом на Волхонке стоял напротив *Храма* Христа Спасителя.

[8] А. И. *Рыков* — председатель ВЦИК, П. А. *Богданов* — председатель ВСНХ. Л. О. Пастернак сделал портрет Рыкова, они оба были изображены на картине Л. О. Пастернака «Заседание президиума ВСНХ» (1920).

[9] Германия после окончания Первой мировой войны переживала обвальную инфляцию.

[10] У А. К. Воронского Пастернак взял аванс под корреспонденцию в «Красную новь». «Когда я у Пепы занял 300 миллионов, равнявшиеся 64 долларов (по 4.500.000), — писал Пастернак брату через два дня, — то такую сумму обещался выплатить тебе по моей доверенности Воронский».

[11] Переводы Пастернака из Ганса Сакса и трагедии Клейста «Принц Гомбургский» не вышли в Госиздате.

[12] Центр по распределению академических пайков. Пастернак писал брату 18 сент. 1922 по поводу «акпайковых денег»: «Ак. паек. и деньги по нему причитающиеся я просто решил передоверить Вильяму ничуть не в погашенье долгов моих ему (это должен был Равдель сделать), а просто для поддержки его, так как он очень молод, способен и дорог мне, и с делами это ничего общего не имеет. Когда я уезжал, я все это тебе очень отчетливо изложил и расчленил; ты слушал и вероятно спал тем временем».

199. М. И. ЦВЕТАЕВОЙ

12 ноября 1922, Берлин

Berlin W. 15, Fasanenstr. 41. Bei v. Versen
12/XI. 22
Дорогая Марина Ивановна!

Насколько чистым наслажденьем было для меня написать тогда Вам из Москвы о Вас одной по собственному побужденью,

настолько угнетала и беспокоила меня мысль об ответе, к которому Вы меня обязали присылкой «Разлуки», «Словами на сон», письмом и Вашей обо мне статьею[1]. Угнетала она меня тем, что хорошо зная за собой полную мою неспособность быть или только воображать себя человеком всегда и во всякое время, я справедливо боялся, что долго еще моя благодарность, родясь в неблагодарную для меня пору, останется моей тайной и дойдет до Вас с таким запозданьем, что ничего уже Вам не скажет и не даст. Источники моей признательности Вам разнообразны, и сразу же обсужденье их мне хотелось бы начать со «Слов на сон». Однако прежде коснусь выше названной своей неспособности: быть может начало письма показалось Вам темным. Я знаю, Вы с не меньшей страстью, чем я, любите — скажем для короткости — поэзию. Вот что я под этим разумею. Я больше всего на свете (и может быть это единственная моя любовь) люблю правду жизни в том ее виде, какой она на одно мгновенье *естественно* принимает у самого жерла художественных форм, чтобы в следующее же в них исчезнуть. Телодвиженье это жизни не навязано со стороны. Бирнамский лес[2] по собственной своей охоте лезет в эту топку. Не надо обманываться. Вероятно мы односторонни. Весьма возможно, что жизнь разбредается по сторонам и что ее поток образует дельту. Нам, с досональной болью знающим одно из ее колен, позволительно представлять себе устье именно в этом изгибе. И на любом ее верховье, ничего не знающем о море, можно, закрыв глаза при крайней, сверхчеловеческой внимательности к тону ее тока и пластике ее плеска представить себе, что с ней когда-нибудь будет на вольной воле. И, следовательно, какова ее сущность и сейчас. Как ни мало сказано этим уподобленьем, и в нем уже несколько перехвачено через край. Чтобы обойти всякий пересол, скажу точно. Мне свойственно, по особенной моей односторонности, отождествлять с жизнью тот нетерпеливый, как потребность в наслажденьи, огонек, который начинает блуждать в ее глазах, когда она задумывается о *бессмертии*, когда ей начинает казаться, что она любит его, когда она в этом убеждается, когда забыв про все другое, она бросается к нему. *Волнующе связная наглядность* жизни или что то же, красота, есть не что иное, как именно этот выбор, с отчаяньем и отвагой произведенный ей; когда *ей ничего лучшего как стать бессмертной* не остается, и не изменясь в других отношеньях, т. е. не став умнее и справедливей, она до неузнаваемости преображается единственно лишь тем, что теперь навсегда на нее падает зарево *вечной наклонной плоскости*, т. е. знаменье *того именно*

духа, который когда-то заставлял ее течь и катиться, и сделал неуловимой, и поставил эти слова в кавычки, почти приравняв «наклонную плоскость» к красоте. Сколько раз принимались Вы грызть ногти, в Вашей статье, и совершенно неосновательно! А сколько у меня сейчас оснований повторить Ваше движенье! Всего больше хотелось бы мне хоть отдаленно описать Вам то чувствованье, без которого вход в искусство в моих глазах немыслим, — и которое охарактеризовать, по-видимому, невозможно. Как часты у меня поводы к полному, отчаянному и решительному бездействию — при таком взгляде на жизнь в ее отношеньи к художнику — судите сами. Грустно быть призванным писать лишь под таким-то и таким-то видом. Но что мешает встречаться с друзьями и писать к ним в такие нерабочие или «ненаклонные» полосы? Мне думается, однако, что письма пишутся людьми живыми. Мой же взгляд на жизнь так узок, что в эти периоды мне кажется, будто я не живу. Я не знаю, на что похожи эти растянувшиеся медитации. Если их внезапно оборвать, они сойдут за вступленье. Так и поступлю.

У «Разлуки» те же достоинства, что и у «Верст». Та же многоохватывающая порывистость, т. е. счастливая содержательность, давшаяся торпеде без тормозов. Книга в руках человека чувствующего не ждет посещенья знатоков, ее берешь, отправляясь к друзьям в Пушкино, как свою собственную, кровно ею гордясь и ей радуясь.

Совершенно же особенное спасибо Вам за «Слова». У меня было ощущенье (и оно не прошло), что во многом, вплоть до самого звучанья «Слова на сон» до крайности близки, — и намеренно — миру «Сестры». Не смейтесь надо мной и простите, если это не так. Если же я не ошибся, дайте объясню Вам, почему так особенно я Вам за них благодарен. Они мне страшно нравятся, и в минуты, когда Калигуле[3] кажется, что у него голова стеклянная, видя в «Словах» прекрасную, чудную, красящую все, на что она ни обратится, бессонную, удивительную, удивительную голову, он перестает ощупывать свою собственную и либо окончательно успокаивается, либо же, в худшем случае, черпает неполное спокойствие в мыслях о пользе стекла. Надо ли объяснять Вам, что «Слова» — поддержка в минуты сомненья в себе, — на что я — мастер вне соревнованья, — надо ли после пониманья, подчас загадочного, которое показали Вы некоторыми сторонами своей статьи?

И чтобы ограничиться наизамечательнейшим, — отношенье «Сестры» к революции охарактеризовано та́к, с такими зачастую

совпаденьями в аргументации, что не грех задуматься о тайной шалости вовремя не замеченных радиосвязей. Serment du jeu de paume[4], — говорите Вы. — Чем ознаменовываются, говаривал я (таких случаев было два-три у меня на памяти, а тайны «революционности» книги доискивались у меня люди, недоуменно искавшие ее среди тем и набранных букв и знавшие ее наизусть силой этой самой невыясненности) — чем ознаменовываются первые взрывы истинных революций?

В качестве *прирожденной природы*, почти лирически — провозглашаются *права* человека и гражданина. Дух *естественного* права[5], сметая условности и отвлеченья, торчавшие на станциях и по канцеляриям во всей их, — недавно казавшейся предустановленной, *натуральности* лилово спиртовой, *денатурированной* казенщины — превращает ненадолго мир в какой-то рай. Нет, не в какой-то. Здесь просто фраза не выписалась. Нет, действительно, — *Природе* — возвращается то преувеличенно бездонное значенье, какое она имела в Раю[6], в этой ботанической части истории, в этой главе о порожденном, о *выросшем* мире. Не *естественно* ли еще там единобожеское богосознание? Не *натурален* ли там Бог. Не грехом ли, уже и там, названа та знаменитая и замечательная оплошность, с которой в книге начинается и вводится... общественность... лица.

Несколько дней поглощены развивающейся пневматикой упразднений, устранений, — сметается все, что этому духу обожествленной природности кажется *неестественным*, — *безбожным*. Пуритане, жирондисты[7], анархизм. Это происходит весной. Все валится с ног, исчезает бесследно. Кто же, кто остается на ногах, грозя с них сбиться? Этимологически странно звучит ответ на это «кто». — Остается *ЛЕТО*[8]. Лето, день и ночь на ногах, повсеместное, играющее перекатами, хóркающее и блещущее, беззакатное, потрясающе милосердное *своей* вежливостью к человеку, потрясающе послушное в своем темном повиновении ночному небу, под которым, заломя голову, оно ходит по земле, апокрифически неповоротливое, как мастодонт, доверенный уходу детских садовниц. Иначе говоря. Породить революцию можно лишь по-жирондистски. До степени же факта, когда его уже исторически не вычеркнуть, утучняют ее всегда якобинцы[9]. Достаточно сказанного, чтобы понять, что искусство, современное революции, неизбежно, волею самой революции, уйдет в дни и годы, пораженное *днем ее рожденья*, и это лишь вина его впечатлительности, что памяти этой в нем никакие усилия новых условников и денатураторов не

изгладят. До того отдаленного дня, в другом поколении, когда историк, тот же жирондист, что и художник, даст по-жирондистски естественную и непривычную апологию отошедшего в прошлое якобинизма.

Дорогая Марина Ивановна, может быть один неосознанный расчет на Вашу снисходительность так утомительно распространил это отступленье.

Касаясь «Послесловья», Вы замечаете о Маяковском[10]. Неужто и это — случайность? Или может быть знаете Вы, что это — любимейшее его стихотворенье?

«Всесильный Бог Деталей»[11]. Теперь — строчка в стихотворении, одинокая и темная, как оговорка. Кто намекнул Вам о том, что это — формула? — *Первоначально таково было заглавие всей книги.* Никто этого не знает. Напомнили об этом Вы *и мне.*

Но в одном замечаньи о фразе: «Нельзя, не топча мирозданья» — говоря об ответственности *каждого шага*, с содроганьем при мысли, как бы: *не нарушить*, — Вы великодушно и самоотверженно обокрали самое себя. Это у Марины Цветаевой сказано.

Пляшущим шагом прошла по земле. Неба дочь.
С полным передником роз, ни ростка не наруша[12].

Хочется думать, — и тогда бы я искренно порадовался за Вас, за себя и за них, — что Вы давно успели подзабыть часть затронутых здесь предметов. Я сознательно шел на неловкость, в которую неизбежно поставит меня Ваше заслуженно удивленное «о чем это он?» — при прочтеньи письма. И так как все-таки стыдно потчевать столь сильно перестоявшимся ужином, сойдемся на этот раз на том, что однажды я горячо благодарил Вас, а если и неудачно, то только оттого, что с самого же начала слишком сконфузился Ваших бровей, приподнявшихся с первого же моего слова. Если Вы уведомите меня о получении этой рукописной брошюрки, я буду радоваться, при всей заслуженной краткости такого уведомленья, что не трудно себе представить. Вопросов, в согласии с только что сказанным, задавать не решаюсь.

Целую Вашу руку.

Ваш Б. Пастернак

P. S. Я был очень огорчен и обескуражен, не застав Вас в Берлине. Расставаясь с Маяковским, Асеевым, Кузминым и некото-

рыми другими, я в той же линии и в том же духе *рассчитывал* на встречи с Вами и с Белым. (Маяковского тогда тут не было еще.) Однако разочарованье мое на Ваш счет — истинное еще счастье против разочарования Белым. Здесь все перессорились, найдя в пересечении произвольно полемических и театрально приподнятых копий фикцию, заменяющую отсутствующий предмет. Казалось бы, надо уважать друг друга всем членам этой артели, довольствуясь взаимным недовольством, — без которого фикции бы не было.

Последовательности этой я не встретил даже и у Белого, который, страшно сказать, не прочь жить и *такою* жизнью. Я же, по его словам, зову на луну, где жить не всякому к лицу и по нраву.

Впервые: Цветаева. Пастернак. Письма 1922–1936. — Автограф (РГАЛИ, ф. 1190, оп. 3, ед. хр. 155).

[1] Ответ на письмо Цветаевой 29 июня 1922 был послан в Чехию, куда М. И. уехала 31 июля 1922 г. Следом за письмом Цветаева послала статью «Световой ливень» («Эпопея», 1922, № 3) и книги «Стихи к Блоку» и «Разлука» (Берлин, 1922). Последняя с надписью: «Борису Пастернаку — навстречу!». В конце книги — записано стих. «Слова на сон» («Неподражаемо лжет жизнь...», помеченное: «Берлин, 8-го нов. июля 1922 г. — после Сестры — моей Жизни — Марина Цветаева» (собр. Л. М. Турчинского).

[2] Шествие *Бирнамского леса* — образ предсказанной и сбывающейся невероятности из трагедии Шекспира «Макбет».

[3] *Калигула* — римский император, требовавший себе равных почестей с богами, был убит солдатами пресвитерианской гвардии.

[4] В статье «Световой ливень» Цветаева цитирует стих. Пастернака «Лето» («Тянулось в жажде к хоботкам...»): «Топтался дождик у дверей, / И пахло винной пробкой. / Так пахла пыль. Так пах бурьян. / И, если разобраться, / Так пахли прописи дворян / О равенстве и братстве. (Молодым вином: грозой! не весь ли в этом “Serment du jeu de paume”?)» — имеется в виду присяга Национального собрания в зале для игры в мяч Версальского дворца в 1789 г. Сопоставление атмосферы «Сестры моей жизни» с временем Великой французской революции Пастернак отчетливо выразил в «Послесловье» к «Охранной грамоте» (1931).

[5] Ср. в письме В. Я. Брюсову № 196 о «Сестре моей жизни» о том, что «*утро* революции... возвращает человека к *природе* человека и смотрит на государство глазами *естественного* права».

[6] Эпиграфом к стих. «Тоска» из книги «Сестра моя жизнь» первонач. были слова из Книги Бытия (3, 24): «...поставил на востоке у сада Едемского Херувима и пламенный меч обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни».

[7] *Жирондисты* — политическая партия во времена Великой французской революции, возглавившая правительство после свержения монархии (1792).

[8] Подзаголовком книги «Сестра моя жизнь» стоит «Лето 1917 года», об этом говорит также стих. «Лето», рисующее общую картину приро-

ды и времени, насыщенного запахом «прописей дворян / О равенстве и братстве». См. также характеризующие революционное лето слова из стих. «Балашов»: «В природе лип, в природе плит, / В природе лета было жечь».

[9] *Якобинцы* — наиболее активная часть Якобинского клуба, группировавшаяся вокруг вождей Французской революции М. Робеспьера, Ж.-П. Марата, Ж. Дантона и Л.-А. Сен-Жюста, в 1793 г. установила якобинскую диктатуру.

[10] Цитируя в статье «Световой ливень» стих. «Любимая, — жуть! Когда любит поэт...» (из цикла «Послесловье»), Цветаева сопоставляет: «Пастернак и Маяковский. Нет, Пастернак страшней. Одним его "Послесловием" с головой покрыты все 150 миллионов Маяковского».

[11] Из стих. «Давай ронять слова...». Цветаева пишет: «Земные приметы, его гениальное "Великий Бог Деталей"».

[12] Пастернак сопоставляет строчку из своего стих. «Степь» со словами Цветаевой из ее стих. «Знаю, умру на заре! На которой из двух...» (книга «Версты»).

200. Н. Н. ВИЛЬЯМУ-ВИЛЬМОНТУ

23 ноября 1922, Берлин

<...> Не отступайте от той работы, которую Вы — вот это, наверно, напрасно! — задумали представить в качестве зачетной![1] Я не знаю, какими словами заклясть Вас, чтобы Вы уверовали в их настойчивую нешуточность. Сохрани Вас Бог отложить хоть на время ее или в ней усомниться, почерпнув для того сомнения в современном окружении, только этим и богатом. Меня и тогда Ваша заявка поразила исчерпывающей полнотой и цельностью расположенья тем. Мне не хочется назвать ее удачной комбинацией — это построение настолько напрашивается само собою, что его дедуктивная убедительность смутила меня более всего другого. Мне показалось странным не то, что я так плохо знаком с метафористикой Шекспира или лирикой Гёте, но то, как я, столь фатально связанный особенностями и судьбами с метафорой, так ни разу не прошелся вверх по ее течению, о каковом верхе говорит любая ее струя силою своего движущегося существования. Так называете этот предмет и Вы, говоря про «Повесть об одной волне материи» и пр. Мне не хочется говорить об этом по существу: Вы знаете, как круг этих мыслей мне близок. С гётеанским происхождением Ленау и Тютчева надо Вас поздравить как с открытием, уличившим меня в невежестве, что, может быть, немного ослабляет силу такого поздравления. Главное — не отступайте, пока не будут сцеплены и сведены в труде все ветви затронутого Вами мира. <...>

Впервые: «Новый мир», 1987, № 6. С. 202. — Автограф (собр. Е. Н. Вильмонт).

Отрывок из письма приведен в контексте статьи Н. Н. Вильяма-Вильмонта «Борис Пастернак. Воспоминания и мысли», где автор вспоминает о своем знакомстве и дружбе с Пастернаком. Здесь же автор признается, что письма Пастернака к нему «почти все затерялись»; далее он приводит выдержку из другого, полученного им из Берлина, в ответ на его стихи, «одного из последних писем, к счастью сохранившегося»: «Вообразите, что вестями и размышлениями перекинулся я с Вами дважды и что в первый раз я описал Вам, как, не могши нарадоваться на Ваше первое письмо и на вложение, я прочел их Е<вгении> В<ладимировне>, делясь с нею как своею кровной радостью, впечатлением от того и другого. Это в первом письме. А во втором, во втором — рассказал Вам об одном эпизоде, когда в результате длинного ряда "гражданских" свар и потасовок, без которых эмиграции, очевидно, не жизнь, я, по всеми молчаливо прощенной мне легкости и жизненной незначительности, этою стихией пощаженный и оставленный в стороне, был внезапно ею замечен, потревожен и воззван к деятельности. Еле-еле отделался ценою ухода в одиночество, уже полное и, боюсь, окончательное. Это ускорит мой приезд. Второе воображаемое письмо печально в той же мере, в какой первое — о Вас — радостно» (С. 209–210).

[1] Н. Н. Вильям учился в Институте Слова. Речь в отрывке идет о задуманной им зачетной работе об историческом развитии метафористики в мировой поэзии. Тема возникла у Вильяма под впечатлением чтения «Сестры моей жизни», а статья должна была называться «Повесть об одной волне материи». Несмотря на одобрение Пастернака, работа не была окончена.

201. А. Л. ПАСТЕРНАКУ

24 ноября 1922, Берлин

24/XI. 22

Дорогой Шура!

Надо же мне наконец побеседовать с тобой. Не удивляйся поэтому, если не найдешь в письме ответов на интересующие тебя вопросы. Впрочем, более всего тебя кажется тревожит судьба комнаты. Не знаю право как и быть, но напомню, что перед самым отъездом я спросил тебя, хочешь ли ты взять их в свое неограниченное распоряжение, или же мне ограничить тебя в этой инициативе поселеньем Шуры Штиха или Риты[1] или еще кого бы то ни было точно так же, как были подрезаны в нашем произволе и выборе мы через вселение ФФ[2].

Сказать тебе по правде, на Волхонке по возвращении в Москву я поселюсь (при *неизменившейся* картине) только в том случае, если мне никак не удастся устроиться еще где-нибудь. Однако нам

с тобой обсуждать это пока еще преждевременно. По своей воле я раньше весны в Москву не поеду: срок нашей немецкой визы истек уже недели две назад, я подал прошенье о ее продлении, — может случиться, что и откажут, к приезжим нынешних сроков относятся гораздо хуже, чем к прошлогодним, так как тут количество перешло уже в качество (то есть настолько велико и так подозрительно связано в своей стихийности с состояньем марки). Однако несмотря на все вышесказанное я это письмо к тебе сопровождаю документальным извещеньем, которое быть может тебе для чего-нибудь потребуется.

Но неужели не удастся тебе добиться у Цурюпы* или еще у кого-нибудь охранной грамоты на *твое* имя (мастерскую при одной комнате ты ведь вправе иметь) и при твоих в особенности новых конъюнктурах, с которыми не успел еще тебя поздравить, мне кажется, тебе бы это провести удалось. Согласись, при той неопределенности моих перспектив, которые я вынужден поддерживать, так как это непосредственно связано с духом моего призванья (об этом ниже) — мне неудобно, неловко, и даже просто логически трудно мыслимо набиваться на милости, которые мне быть может вовсе и не понадобятся.

Во всяком случае, если ты не согласен со мною, а впрочем даже и в случае согласия, — посоветуй или подскажи, что мне сделать или вернее, *что нужно тебе, чтобы я сделал?* В смысле хлопот о комнате от моего лица у Л<уначарского> или К<аменева> или Т<роцкого>**. Мечтаю я, если это выполнимо будет, вот о чем. Я бы хотел весной или летом на месяц приехать в Москву и потом снова на год сюда уехать. Если же этого нельзя будет сделать, я вероятно буду стараться либо в Петербурге поселиться, либо же в какой-нибудь глуши, вроде Касимова, может быть в Сибири.

Ты сейчас увидишь, отчего так расплывчаты мои предположенья, и почему я не только не ищу привести их в ясность, но даже этой бессознательной и привившейся ко мне тенденции противлюсь. Ты помнишь время, когда мне все некогда бывало, когда трудно бывало понять и сообразить, где и на какие средства я существую и к чему готовлюсь, что намерен предпринять и т. д. Вот именно в эти-то позорные периоды, когда я не мог не огорчать ближайших людей нелепостью своих губительных причуд, вот именно за эти годы, когда я разрушался на глазах у отца и матери,

---

* Правильно: Цюрупа.

** Эта фраза приписана на полях.

сложилось у меня то немногое, что теперь получило больше значенья, чем я бы того хотел. Последний год весь без остатка был отдан целям, разумности, организующему началу, планам, срокам и маршрутам. Я не скажу, чтоб он был принесен в жертву: выбора у меня не было, ужасать и огорчать я утерял способность. Ты не можешь себе представить, насколько трудно мне было реконструировать хотя бы в мысли мир, — вне которого думать и работать не судьба мне. Лишь недавно, лишь на третий месяц нашей жизни здесь я стал мало-помалу припоминать очертанья этой анархически замкнутой атмосферы. Постепенно я вхожу в нее, ибо лишь в ней я и почерпываю побужденье к деятельности. Если бы даже званье не связало меня с нею так прочно, как это случилось за последнее время, я бы ничуть верно не меньше стремился к ней. Последнее обстоятельство только довершает тревожность моего положенья. Надо тебе знать, что чем сильнее и отчетливее черты злободневной современности, облегчившие многим писателям уживчивого и сговорчивого толка их задачу, тем труднее мне: качественная высота и отчетливость моих бессмысленных (по кажущейся несвоевременности) «химер» должна обладать какой-то еще добавочною дополнительною силой, служащею художественной самозащитой. Я, как и все эти пять лет, ничего пока не пишу. Но лишь в этот последний месяц я бездеятелен в том смысле, в каком бездельничал до 17-го года, что резко отличает это бездействие от пятилетнего безделья. Иными словами я радуюсь этой давно позабытой потенциальной полноте и, вероятно, «огорчая и ужасая» берегу ее от всяких, и ближайших, прикосновений. У меня опять нет времени. Иногда страшит и печалит и меня (а это гораздо хуже, ночами) роковое устройство этого колодца, которое замыкает одухотворенную чувствительность ободком видимой бесчувственности.

Тут мама и папа рядом, в коридоре. Сколько б ты отдал или сколько отдашь потом когда-нибудь за то, чтоб это было так. И что же? Вероятно пользуясь этой возможностью, я дни провожу вместе с ними? Ничуть не бывало. Я не преувеличу, если скажу, что вижусь с ними, не чаще и не больше, чем в мою бытность у Розловского[3]. Ужинаем мы врозь. Встречаемся лишь внизу за общим обедом. Что касается ужина, то это частность, имеющая другие причины. Наших нельзя уговорить попользоваться хотя бы грошом медным из моих или твоих денег. И ты думаешь, верно, что это так оттого, что я — зверь? Да-да. Но осенью, когда мне еще не полагалось быть им, я растерянным и тоскующим взглядом, не

умевшим отличить этого благоденствия от смерти, окидывал это семейное счастье как в его целом, так и в той части, которая была привнесена мной. Я не знал, для чего мне подниматься с постели по утрам и куда деваться от всех этих удач, от себя, столь успешного и радующего их и их знакомых, и от Женички еще более радующей их, и от них — и — что скажешь ты мне на это, Шура?

Должен сказать, что против прежнего (лучше давнопрошедшего) точки моего недовольства собою, окружающим, всяческими данными всех порядков и прочая, и прочая умножились до того, что скоро все стороны человеческих установлений и сношений станут в моих глазах гранями разнообразного моего с ними несогласья. Ни живого места кругом. Ни до чего не дотронуться, не пожалев об этом после или предварительно не сообразив, насколько условно и ограничительно такое прикосновенье. Но ты бы очень ошибся, если бы отнес эти замечанья на счет заграницы. Нам очень хорошо тут живется и я доволен Берлином, как местом, где я опять *так* могу проводить время и может быть стану снова собой. И единственно живое место, допускающее дотрагиванье, это та мысль, которая другого могла бы испугать, — мысль, что неужели нужен колоссальный город, чуждый, сложный, с тысячею улиц, сношений, удобств, красот, возможностей и развлечений, неужели нужна жизнь в нем, сопряженная со множеством затрат и условностей только для того, чтобы сидеть в комнате битые дни за Диккенсом в русском переводе или ни за чем вообще, и для этого ли ездят за границу. Этой мысли я как раз и не боюсь. И это недоразуменье уверенно и радостно разрешаю.

Впервые. — Автограф.

[1] Пастернак предлагал брату на время его отъезда в Германию прописать на своей площади Штиха или Маргариту Николаевну Вильям.

[2] Фришманы.

[3] Журналист, хозяин квартиры в Сивцевом Вражке, где Пастернак снимал комнату в 1918 г.

202. С. П. БОБРОВУ

15 декабря 1922, Берлин

15/XII. 22

Дорогой Сережа!

Сейчас, направляясь с Женею к ее портнихе, зашли мы мимоходом в Геликон. У А. Г. Вишняка[1] состоит на побегушках прелестный мальчик Paul, шарфом, башмаками, дутьем в кулак, на-

ливной декабрьской краснотцою и отсутствием пальто позаимствовавшийся у Диккенса. Он, смеясь и не расставаясь со свойственной ему вообще веселостью, отстаивается за десятерых в хвостах перед почтовою конторкой. Так как предыдущее письмо пошло заказным, то догадаешься, что оно прошло через его руки. При его вручении разыгралась следующая, согретая двумя голландками и до ослепительности раздутая, взбитая и смыленная в обмылки двумя дуговыми лампами сцена. Завидев имя адресата, «разрешите переписать адрес», — робко заикнулся издатель. «А на что Вам», — умело приступая к торгу, запросила Женя. «Я хотел бы издать "Ночного Гаспара"»[2], — пауза. «Я хотел бы издать его самого». — Пауза. — «Я хотел бы издать все, что он мне предложит». — Пауза. — «Прозу. Я слышал много о его прозе».

Однако моя собственная, Сережа, пришла в такой упадок, что дальше продолжать в этой «живой, повествовательной» форме я не в состоянии. Вот, вот — (если только их не изымет, перлюстрируя, цензура) — вот клок моих собственных волос, вылезших из этой, пронизанной экстазом, выразительною и безмерно изнурившею меня первою страницей. По необходимости (врачи прописали) прибегаю к холодку. Продолжаю равнодушно, в историко-литературном духе. (Заведи будильник, рядом, на всякий случай, поставь туфли.) Сошлись вот на чем. Если хочешь, он расплатится с тобою книгами, в размере 15% всего завода. Издаст же так, как тут издают (прямо загляденье). Или же даст по английскому фунту с листа (оригинального), по 16 английских лотов ($^1/_2$ ф.) с переводного. Это те самые, по существу мизерные условия, на которых и я тут с ними договаривался. А я тебе вот что скажу, сумма суммой, а ты спроси Колю[3], чего-чего только не накупила Лиля Юрьевна Оксане на те 5 фунтов, что Коля им дал. Так вот, если бы нашелся у тебя человек (командированный, что ли), который бы согласился на обратном пути в Россию взять с собой все те вещи, что можно было бы на гонорар купить, то такой расчет представлял бы для тебя очень большую выгоду. Все это справил бы тебе я, а ты бы мне сообщил №№ или лучше размеры ботинок твоих, брюк и пиджака, белья, перчаток и прочее и прочее. Спешу заметить, что таковое широкое согласье командированного или вообще путешествующего лица не только делает этот фортель выполнимым, но с покладистости такого доброжелателя собственно и начинается область посылок стоящих и, в смысле затрат, — производительных. Брики, например, *не могли* не стеснить меня в размерах. И без того они везли чуть что не 12 чемоданов, наполовину заня-

тых подобною же альтруистикой. А это родовым образом отразилось на разумности и целесообразности моей посылки. Я послал до 36 предметов, в сумме им (предметам) надлежало *не превысить* такого-то и такого объема (очень скромного). А такие задачи, на maximum и minimum, как относящиеся к высшей математике, даром не проходят, так как жизнь и рынок строятся не по dx. Посылка, в общей сложности, стоила мне больше полутораста тысяч марок, не считая 60% так называемого налога, который, по счастью, был взыскан с показанных Женею цен, она же их уменьшила вчетверо. Словом, ты по вещам, посланным тебе, или по тем, что увидишь, может быть, у Коли, Ксении, Буданцевых[4], Вильяма, или, позднее, у Кости и у Шуры, о малости вещевого соблазна не суди. Была бы лишь готовность со стороны едущего, да деньги.

Женя же Вишняку предложила следующее условье: чтобы при равенстве предположительного гонорара, затратам по проезду и подъемным он взял сверх того на себя хлопоты по этому делу, и так сказать, выписал тебя сюда, т. е. *выхлопотал бы и выслал тебе разрешенье на въезд*. Он и на это изъявил столь же прямое и радостное согласье. А мы с ней принялись фантазировать на эту тему. Подумай об этом, Сережа. Спишись с ним и как-нибудь сделайся. Ах, как чудно было бы тут с тобой и как хорошо бы и тебе было! Ведь несмотря на несчастную надутость Маяка, нигде его не покидающую и везде ему предшествующую (он, например, заказывал обнищалым, другими вовсе вещами озабоченным, немцам пива на двоих: «für mich und mein Genie»)*, он был до гола, как малый ребенок, обезоружен, растроган и восхищен живою огромностью города, романтической подоплекой истинно немецкой (и до него дошедшей) стихии, больше же всего теми штуками, которые, ныряя под землю или летя поверх крыш, железнодорожных вокзалов etc, etc., отпускает подземная железная дорога[5]. Такой, чудный и трогательный, ходил он больше недели.

Вчера писем у тебя не просил. Сегодня же, по приведенному поводу, прошу скорейшего ответа. Думаю, напишет тебе и Вишняк. Меня же просил уговорить и поспоспешествовать.

Твой Б. П.

Часто ли видаешься с Костей Локсом? Мне рассказывали, Третьяков с Большаковым[6] тоже в Москве. Как они? Что Коля? Очень ли ты на меня сердит? Странно, за письмом тебе схватил

---

* «для меня и моего гения» (*нем.*).

насморк. До слез расчихался. Бросаю, не было бы жару. А то тут испанка свирепствует. Всем поклоны.

Впервые: «Встречи с прошлым». Вып. 8, 1996. — Автограф (РГАЛИ, ф. 2554, оп. 2, ед. хр. 563).

[1] Абрам Григорьевич *Вишняк* — владелец берлинского издательства «Геликон», в котором была издана книга Пастернака «Темы и варьяции».

[2] *«Ночной Гаспар»* — сб. стих. в прозе французского писателя Алоизиуса Бертрана (1807–1841). Перевод Боброва не был издан.

[3] Имеется в виду Н. Н. Асеев, который просил Л. Ю. Брик купить подарки его жене.

[4] С. Буданцев 30 янв. 1923 г. благодарил Пастернака за присланные подарки и звал скорее возвращаться, предлагая сотрудничество во вновь образованном издательстве «Круг» (РГАЛИ, ф. 2268, оп. 1, ед. хр. 63).

[5] Маяковский приехал в Берлин в середине октября 1922 г. Л. Ю. Брик вспоминала аналогичный эпизод: «...в ресторане он заказывал обед официанту: "Geben sie ein Mittagessen mir und meinen Genius"» («Подайте обед мне и моему гению». — *нем.*). (Маяковский в воспоминаниях современников. М., 1963. С. 351.) Маяковский посвятил Германии очерк «Сегодняшний Берлин», описав разоренную репарациями страну, но не сказав ни слова о красоте и комфорте европейской цивилизации, которые его так взволновали.

[6] С. М. *Третьяков* приехал из Читы в августе 1922 г. К. А. *Большаков* в 1922 г. демобилизовался из армии (см. его автобиографию: РГАЛИ, ф. 1675, оп. 1, ед. хр. 1).

203. С. П. БОБРОВУ

23 декабря 1922, Берлин

Дорогой Сергей!

Вскоре по приезде я впал в престранное унынье, от которого и по сей день не избавился и которому не подыщу причины: любая подвертывающаяся кажется правдоподобной и, следовательно, ни одна не подходит. Всего легче свалить вину на заграницу, как оно обыкновенно и делается: гнил-де Запад, пускай его и отчитывается, благо у него других забот нет. С него и взыскивай, на общих основаньях, если во что бы то ни стало захочешь кому-нибудь попенять за мою несообщительность, ничегонеделанье и прочие заслуги перед собой и друзьями. Однако, не шутя, — основанье этого наважденья лежит глубже, и в его розысках я дошел до полного отупенья. Но не в поощренье «проклятых вопросов» этого рода взялся я, наконец, за перо. Дело на этот раз в шляпе, — редкий случай его действительно в ней увидеть. Кроме того, оно в шарфе, при помочах, с галстуком и в перчатках, и если, в итоге,

оно не на выходах в варьете, то естественно ждать его, сверх перечисленного, и в штанах, в пиджаке и в жилете. Однако, несмотря на шляпу, дело довольно-таки голо. И без того уже жаловались Брики и Маяковский на объемистость нашей посылки во всей ее сложности. Тебе, как и Коле[1], послали: шапку, шарф, кашне, галстук, теплые перчатки, подтяжки и карманный электрический фонарик. Так вот, не сердись, что мало. Больше не пришлось: и то Шура и Костя (до следующей оказии) покамест остались за флагом. Приношенья эти, невзирая на всю их ничтожность, не могли быть навязаны Брикам для людей, вовсе им незнакомых. Получателей пришлось расположить концентрически, вокруг их непосредственных знакомств. На тебя повел радиус через Колю, на Вильяма через Риту Райт, Буданцевы не покажутся резко эксцентрическими как по природным своим качествам, так еще и потому, что и непосредственный круг задуман и описан от руки и сильно сбивается на ромб. Однако не знаю, в виде какой фигуры пришлось бы изобразить кружок опоязников и конструктивистов, чтобы сделать что-нибудь для прирожденных эксцентриков, каковы Костя и Шура. Этот метагеометрический кивок, однако, ни на йоту не уменьшает нежнейших наших чувств к покуда обделенным, равно как не уменьшит, надо надеяться, и нашей грузоподъемности в отношении их. Но это при ближайшей лишь возможности. Вещи в Водопьяном[2] или у Коли. Справься. Пришли, пожалуйста, «Мизантропов»[3] в двух экземплярах. Надо кое-кому показать. Интересуются. Целую крепко.

Я уже и теперь бы с большою охотой воротился назад, — Женя восстает под тем предлогом, что стыдно и бессовестно возвращаться на столь конфузном легке и со столь пустыми руками после тех трудностей, которых стоил переезд со всеми приготовлениями. Да она и работает, надо отдать ей справедливость. Она тебя очень любит. Не сказал ей, что пишу тебе, а то б она приписала.

Твой Б. П.

Впервые: «Встречи с прошлым». Вып. 8, 1996. — Автограф (РГАЛИ, ф. 2554, оп. 2, ед. хр. 563). Датируется по почтовому штемпелю.

[1] Н. Н. Асеев.

[2] В *Водопьяном* переулке жили Брики.

[3] Фантастический роман С. Боброва «Восстание мизантропов» (М., 1922).

1923

204. М. И. ЦВЕТАЕВОЙ

Начало января — 3 февраля 1923,
Берлин

Дорогая Марина Ивановна!

Я давно хотел и должен был поблагодарить Вас за «Царь-Девицу»[1]. Однако, при Вашей исключительной подлинности, — мне с Вами переписываться не легче, чем с самим собой. Всего охотнее я бы оставил эти слова, как достаточно, вероятно, понятные Вам безо всякого объясненья. Если же это потребуется, все последующее их объяснит.

Четыре месяца я тут проболтался, больше не могу. Как я рад за Вас, что по причинам, быть может горьким и стеснительным, Вы вынуждены жить не в Берлине.

Чтенье Вашей поэмы было истинным счастьем для меня. С наибольшей легкостью из театрального склада в Кузнецком переулке[2] (помните? — не двор, — впадающая площадка, по всем окнам вывески) — отпускаются напрокат опашни, охабни[3], кокошники и телогрейки. Вот наверное отчего так дурна всякая Билибинщина[4], а также и артельная кустарщина арбатского (т. е. просвещенно-городского) происхожденья. Дурна она вероятно своей относительностью. Признаки стиля отобраны по сравненью с каким-нибудь другим, путем вычитанья. Эта отрасль говорит о рынке, о вывозе. На этой мякине проводится иностранец, англичанин Стэд. Вещи эти словно созданы на то, чтоб на них глядели вскользь, мельком, вполглаза. Они — художественно бессодержательны.

Берлинская акционерная болтальня на паях затруднила мне сношенья с собою до невозможности. Ваша книжка у меня под рукой, читал я ее дважды, но делом большой трудности, чем-то вроде путешествия о четырех визах представляется мне простой

переход от слов к делу, от общего описанья ее достоинств, к разметке ее карандашом. Я ее буду читать не раз еще, и раз как-нибудь сделаю это. Тогда из этой равномерно-прекрасной книги я выделю те, почти без остатка ее и образующие части, которые особенно изумительны по своей безукоризненности, прозрачности и чистоте. Я обведу рамкою те страницы, по которым целым полотнищем, без складок, падают чистейшие, бесстильнейшие и только себе равные песни, редкие, редкостные, завиднейшие. На других я отмечу, где начало и где конец тех штук и отрезов, на которых так облагороженно-наглядно* разыгрываются: движенья Царь-Девицы, прощающейся со своими, движенья взбегающих по лесенкам, шаги спускающихся, движенья моря, движенья ветра, движенья постепенно обнажающейся, не в пору зевнувшей, движенья сидящих на корме, движенья принятых на борт. Движенья радости и движенья печали, хотел еще прибавить я и вспомнил, — про изумительные песни эти я уже сказал. Дух содержанья: ждалось бы соединенье *умеренной* лирики со сказочностью (*образностью*), освобожденной от меры. Совсем не то. Редкое и неожиданное сочетанье совершенно безмерного, ну совершенно, совершенно безмерного лиризма с беглым, подробно-опрятным, не копостким[5] и крайне оформленным реализмом. А стиль? Подзоры-то и кровельки, балясины и коньки? Что о них-то?

Вот в том-то и состоит главная прелесть поэмы, что она глубоко первообразна, а не производна, что поверхностной вязи на ней нет, что на нее не ловится иностранец, что беглым и лишь *естественно* завивающимся говорком в ней *излагаются*: движенья и состоянья, картины и чувствованья, сплошь *языком* растворенные, языком прирожденно складным, промывным, текучим, не только не думающим о резном орнаменте, но и вообще не знающим отдыха, неустанно-содержательным. Спасибо за доставленное наслажденье. Сейчас его не с чем сравнить. О Билибинщине говорил (неужели не догадались?) с целью. Ее мыслимость, ее существование рядом, ее соседство, — все это превращает вольные достоинства Вашей сказки в едва оценимые *заслуги*.

Это письмо лежит у меня более месяца. Отчего же я его не докончил и не отправил? Сейчас перечел его и не вижу тому при-

---

* «О, поэт, движеньем души живописующий движенье тела!» *(Прим. Б. Пастернака.)*

чины. Но я помню ее. Вероятно в заключенье мне хотелось, как говорится, вывернуть перед Вами свою душу, а это по счастью никогда не удается. Ведь и самая потребность в таких излияньях есть свидетельство слабости, болезненности, волевого изъяна. И замечательно, эта же болезненность и слабость парализуют свое выраженье. Хорошо это устроено. А то что бы получилось? Тяжело мне, ах как тяжело. И ведь бóльшая часть моей жизни прошла так, и кажется, — нет, зачем же так, лучше прямо сказать: — и вижу, так пройдет вся остальная. Но опять я вступаю на эту круговую дорожку. Не к чему. Посылаю Вам книжку, называется она «Четвертой книгой стихов» (какая чушь!), не люблю я ее[6]. Этой книжки не люблю я за то, что первою своей половиной она представляет «завершенье» Сестры, если позволительно так называть разрыв с нею. В остальном же она скучна и второразрядна[7]. Неужели это огорчит Вас больше, нежели меня самого?

Преданный Вам Б. Пастернак

Впервые: Цветаева. Пастернак. Письма 1922–1936. — Автограф (РГАЛИ, ф. 1190, оп. 3, ед. хр. 155). Первая часть письма датируется по содержанию, вторая — по почтовому штемпелю.

[1] *«Царь-Девица»*: Поэма-сказка (Берлин, «Эпоха», 1922) с дарственной надписью: «Борису Пастернаку — одному из моих муз. Марина Цветаева. 22 декабря 1922. Прага» (Частное собр.).

[2] *Кузнецкий переулок* — теперь часть Кузнецкого моста, от Б. Дмитровки до Петровки. Магазин предметов народного творчества помещался в доходном доме, построенном в русском стиле.

[3] *Опашень* — старинный долгополый кафтан с широкими, короткими рукавами; *охабень* — широкий старинный кафтан с большим воротником и прорезями в рукавах.

[4] Слово образовано от имени художника И. Я. Билибина, знаменитого иллюстратора русских сказок.

[5] В северных диалектах — мелочный, робкий, кропотливый (Толковый словарь В. Даля).

[6] «Темы и варьяции. Четвертая книга стихов», Берлин, «Геликон», 1923. Дарственная надпись Цветаевой была сделана сразу после ее выхода в свет: «Несравненному поэту Марине Цветаевой, “донецкой, горючей и адской” (с. 73) от поклонника ее дара, отважившегося издать эти высевки и опилки, и теперь кающегося. *Б. Пастернак*. 29. I. 23. Берлин» (собр. Е. С. Левитина). Определение «донецкой, горючей и адской» взято из стих. «Нас мало. Нас может быть трое...», первонач. назв. «Поэты». В ответ на слова *не люблю я ее* Цветаева писала: «Я знаю, что можно не любить, ненавидеть книгу — неповинно, как человека. За́ то, что написано *тогда-то*, среди *тех-то*, *там-то*. За то, что *это* написано, а не то. — В полной чистоте сердца, не осмеливаясь оспаривать, не могу принять» (М. Ц. Собр. соч. Т. 6. С. 235).

[7] Называя первую половину книги «"завершеньем" Сестры», Пастернак имеет в виду циклы «Разрыв» и «Болезнь», ту часть, которую в надписи на книге назвал «высевками и опилками». В своем ответном письме Цветаева протестует: «Вы вторую часть книги называете "второразрядной". — Дружочек, в людях я загораюсь и от шестого сорта, здесь я не судья, — но — стихи! "Я их мог позабыть" — ведь это *вторая* часть!» (там же. С. 234–235).

205. В. П. ПОЛОНСКОМУ

2 января 1923, Берлин

Fasanenstrasse 41 III bei v. Versen. Berlin W 15
2/XII*. 23
Дорогой Вячеслав Павлович!

Я сам, сидючи тут, мог как угодно отзываться о себе самом, о видимой, покамест, бессмысленности моей поездки, о душевной тяжести, мешающей мне тут работать и пр. и пр. И верьте мне, в горечи этого признанья я всякое чужое порицанье превзошел.

Когда при расставаньи с Вами я в особенности настаивал на желательности личной переписки с Вами, я настолько же мало кривил душой, как и прощаясь в том же духе с давними и испытанными своими друзьями, которые мое молчанье, наверное, как-нибудь объяснят, но ни за что на свете не поставят нашу дружбу под угрозу этого толкованья, удачного или неудачного.

Меня часто беспокоила мысль о неоправданном Вашем авансе. Эта мысль беспокоила бы меня еще больше, если бы, будучи связана непосредственно и причинно с целым рядом других и превосходных беспокойств, она не тонула в их море с угнетающей гармонией и симметрией. Успокаивала ли меня согласованность этих невзгод? Нет, увы, далеко не успокаивала. Напротив того, боюсь, что я питал и поддерживал этот мрак своей «обеспокоенностью беспокойствами». Однако я не терял надежды услышать и иную музыку, твердо зная, что Ваш трагический аванс разрешится в ней неожиданным консонансом. Между тем, стороной узнал я, в каком свете сложилась у Вас эта история с моим эксом[1]. Как это ни обидно для меня, повторяю, всего неприятнее мне то, что при таком толковании Вы должны были необходимо усомниться в моем к Вам, по меньшей мере, уважении. А если Вы играете им, значит оно Вам не нужно. Значит, мое отношенье к Вам Вас мало трогает и интересует. Вот что

---

* Авторская датировка ошибочна.

огорчительно весьма. Как поправить это дело и поправимо ли оно вообще, надо будет выяснить по моем приезде домой. Что же касается аванса, он будет Вам возвращен в самое ближайшее время. Я не знаю, что составят сейчас те двадцать долларов, которые я достал за те осенние 100 миллионов, — во всяком случае, я перешлю деньги в долларах Вам, равно как и О. С. Литовскому, который вероятно тоже решил, что я наперед все знал и уехал, радуясь своей требовательности к себе, часто осуждающей меня на молчанье.

Когда Вы получите деньги, не почтите, пожалуйста, их за брошенную перчатку и не подумайте, qu'on prend congé de vous*. Даже и ребенку должно быть ясно, что занятые деньги надо возвращать, и если я их задержал и стал бы задерживать и далее, то только оттого, что был в неясности относительно характера этого займа и смысл его понял слишком распространенно и широко.

Однако это обстоятельство нисколько не умаляет признательности, с которой я их Вам возвращаю, и огорченье, причиненное Вами мне и выше объясненное, служит только доказательством моего небезразличья к тому, каких Вы обо мне держитесь мыслей и чем мне отвечаете на мое, скажу на этот раз, уваженье.

Крепко жму Вашу руку.

Ваш Б. Пастернак

Нежнейший привет (если Вы только и тут не подгадили мне своею кровавою недоверчивостью) ото всего сердца дорогой Валентине Ароновне Мильман и Черняку с женою[2].

Б. П.

О способе пересылки денег выясню на днях. Если у Вас есть прямой и хороший способ, тотчас же меня о нем известите. Эту просьбу исполните, пожалуйста, точно, т. е. не заменяйте ее исполнение неожиданной и (как Вы думаете), незаслуженной любезностью.

Впервые: ЛН. Т. 93. — Автограф (РГАЛИ, ф. 1328, оп. 1, ед. хр. 268).

[1] Имеется в виду аванс *(экс* — экспроприация), который Пастернак получил перед отъездом в Берлин в журн. «Печать и революция»; аванс был также взят и в «Известиях» у ответственного секретаря редакции *О. С. Литовского.* Деньги в счет долга были посланы в конце января 1923 г.

[2] В. А. *Мильман* была в то время секретарем Дома печати; Яков Захарович *Черняк* — литературный критик и редактор журн. «Печать и революция», автор рецензии на «Сестру мою жизнь».

---

* что с вами перестают иметь дело *(фр.).*

206. С. П. БОБРОВУ

9 января 1923, Берлин

9/1. 23

Дорогой Сережа!

Только что получил твои письма, а сестра[1] — Мизантропов. Отец за перелистыванием этих последних разрешился сентенцией. Изо всех, дескать, твоих приятелей один-единственный с действительным талантом — этот; с первого взгляда видно. Он одновременно брызжет желчью, цветами, вином, остроумьем, слюной и жемчугом, — но — живое порожденье достоевщины как стихии. Главное, есть что сказать. — По-видимому он будет первым читателем Мизантропов на немецкой земле, т. к. томиком уже завладел, отложив его на вечер. — Спасибо за письмо. Сегодня же отправлюсь в «Геликон» для переговоров. Всего лучше поступишь, если впредь до моих распоряжений наложишь узду на уже разыгравшееся воображенье. Кроме трепки нервов ничего это преждевременное нетерпенье обыкновенно не приносит. На время об этих делах позабудь. Они в моих руках, и ты будешь извещен об их исходе. Успешность его предрешена. Когда тут был Маяковский, я часто с ним говаривал о желательности Колина приезда. Разрешенье на въезд было бы нетрудно ему выправить. У нас, однако, было впечатленье, будто сам он не очень-то рвется сюда. Если же это не так, хотелось бы услышать это от Николая. Ведь не в пример тебе он в большом фаворе у лиц, от которых многое зависит и в денежном, и в иных отношеньях. Кроме того, он служит живым доказательством того, что в виде исключений приязнь эта расточается иногда и за дело, а не всегда за одну лишь мрачную бесполезность и никем не раскушенную тяжелоподъемность, как в моем случае. Поехав, он все бы надежды с избытком оправдал, попутно доставив много радости себе и другим. Под новый год я перечитывал его «Оксану» и восторгался. Л<или> Ю<рьевна> увезла у меня «Бомбу» и «Соловья»[2]. Ежели увидишь Колю, попроси, чтобы напомнил ей, пусть бы отослала назад, как обещала. Вышла моя 4-я книжка. Это не у тебя ли я, обознавшись, стащил нечаянно названье? Называется она «Темы и Варьяции»[3]. Лично я книжки не люблю, ее кажется доехало стремленье к понятности. Не взирая на это, все тут, словно сговорившись, покончили со мной, сошедшись на моей «полной непонятности». Меня бы все это печалило, если бы в самые последние дни я не взялся наконец за работу, которая, пока что, кажется дается мне. Продолжаю прозу, напеча-

танную как-то раз весною в Понедельнике[4]. Если додержу тон, возьмусь за Люверс. Вот я все пишу, пишу тебе, а ну как и ты тоже давно на меня рукой махнул, как, вероятно, все!

Кланяйся Локсу. Тут будет оказия. С ней пошлю ему всяких безделиц. С ней же и деньги возвращу, авансом взятые, Литовскому и Полонскому.

Впервые: «Встречи с прошлым». Вып. 8, 1996. — Автограф (РГАЛИ, ф. 2554, оп. 2, ед. хр. 563).

[1] Ж. Л. Пастернак поддерживала дружеские отношения с Бобровым, переписывалась с ним по отъезде за границу.

[2] Сб. стихов Н. Асеева «Бомба» (Владивосток, 1921) и «Стальной соловей» (М., 1922).

[3] К письму приложено примеч. М. П. Богословской-Бобровой: «Название невышедшей книги стихов Боброва "Варьяции на Лиру Лир". "Лира Лир" вышла в 1917 г. в «Центрифуге».

[4] В еженедельнике «Московский понедельник» (12 июня 1922) были опубликованы «Три главы из повести», сюжетно и именами некоторых персонажей связанные со «Спекторским» (1930) и «Повестью» (1929).

207. В. П. ПОЛОНСКОМУ

10 января 1923, Берлин

Berlin W 15. Fasanenstr. 41 III bei v. Versen

Дорогой Вячеслав Павлович!

Получили ли Вы мое письмо, посланное Вам летучею почтой? С его отсылки прошло немного времени, но за это время случилось вот что. Во-первых, я после многолетнего перерыва стал опять работать, чем отчасти обязан Борису Зайцеву[1], догадавшемуся пожелать мне написать что-нибудь такое, что он бы полюбил (счастливая по простоте формулировка потребности в художестве), — во-вторых, в чем отчасти виноваты Вы, — я связал обычные для меня при всяком новом приступе к настоящей работе ощущенья тревоги и боязни (что не доделаешь, не кончишь, помешают или упустишь, или вообще, что это яйца выеденного не стоит и т. д. и т. д.) — с Вами. То, о чем я говорю сейчас, никакого отношенья к «Печати и Революции» не имеет. Опять заварившаяся беллетристическая моя кашка ни на йоту моей задолженности Вам не уменьшает, дела с корреспондированьем не пододвигает ни на шаг, и вообще предложенного Вам в прошлом письме возвращенья аванса не затрагивает и не касается. Это — дело решенное и пойдет своим порядком. Что же до сегодняшнего моего письма, до моей встревоженности,

и той именно, в которой обращаешься к друзьям, возобновляешь замершую было переписку и т. д., то это совершенно иная статья. Вероятно, оттого, что всего менее у меня оснований ждать удовлетворенья этой странной жажды именно с Вашей стороны, мне почему-то особенно занадобился десяток-другой живых слов от Вас, о Вашем житье-бытье, о том, что Вы меня не забыли, о чем хотите, сколь угодно далеко лежащем от несчастной трудности писанья по-настоящему, вызывающей всегда это периферическое, волнообразное и вихревое влеченье к людям в моменты постигнутости этим трудом. Я почти не понимаю, что пишу, у меня язык заржавел, и почти уверен, что Вам знакомо описываемое явленье. Напишите мне, Вячеслав Павлович, непременно напишите.

Я оглядываюсь кругом, присматриваюсь к себе и одновременно готов прийти к двум выводам: что никто сейчас из живущих не чувствует искусства в его специфической требовательности к автору с той остротой, что я, и никто, вероятно, не настолько, как я, — бездарен. Все что-то делают, что-то или о чем-то пишут и, за двумя-тремя исключеньями, друг друга стоят. Ни труда этого (легкого и почетного), ни благополучья я разделить не в состояньи. Есть какой-то мне одному свойственный тон. Как мало дорожил я им, пока был им беснуем! Вне этого тона я не способен пользоваться даже тем небогатым кругом скромнейших ощущений, которые доступны любой современной посредственности, чаще всего — мещанской. Будто исчезновеньем этой одержимости я прямо-таки выключаюсь изо всего обихода, на весь срок ее исчезновенья.

На днях после пятилетнего отсутствия у меня в зрачках, кажется, опять забегали эти зайчики. До этой недавней радости я не раз рвался домой. Теперь же повременю. Занялся развитием одного отрывка[2], однако эта проба ввела меня в тон брошенной когда-то большой работы (романа). Если за этой небольшой работой сохраню в целости эту загипнотизированность, возьмусь за продолженье романа. Как ужасно, что для моего существованья этот внутренний свист и грохот — условье sine qua non*. Замечательно, что эти ремни должны безостановочно кружиться и находиться в деятельности для того, чтобы пробуждались и пассивные способности: пониманья, восприятья и т. д. Так обстоит у меня, например, с чтеньем. Для него требуется досуг. Для досуга требуется приостановка писанья. Но достаточно мне забросить мазню *хоть на месяц*, как вслед за этим месяцем тут же, под

* без чего не обойтись, необходимое (*лат.*).

рукой, неведомо откуда и в срок каких-нибудь двух-трех часов вырастает затяжное и продолжительное, неописуемо тупоумное бездействие, и когда эта временная опухоль начинает бледнеть, то с ужасом обнаруживаешь, что: *то прошло пять лет!* Вы поняли? Мне трудно описать это оглушительное чувствованье ближе. Неужели Вы хоть на минуту всерьез плохо подумали обо мне? Как Вам не стыдно! А не бросилось ли Вам в глаза то, что даже Маяковский написал свою автобиографию для Ященки[3], я же отказался наотрез участвовать в этой сборной телефонной книге, равно как и в «Накануне», участие в котором того же Маяка и теперь Асеева меня огорчает. Неужели Вам ничего не сказало то, что обо мне Вы перестали вообще слышать, именно вот это обстоятельство, именно оно, само по себе. Уж не объяснили ли Вы себе его простейшим и бездушнейшим образом? Неудачей? Упал, мол, в цене — что-то ничего о нем не слыхать. А, помнится, я предупреждал о том, что «литературы» в Берлине делать не собираюсь[4]. Для чего же я наперед глушь — Марбург — избрал? В Марбург мне попасть не удалось: жена заболела, а потом удачно стала работать (она художница). Но теперь я о нем и не думаю. Теперь место моей тетради, как она с вечера ложится, — мое собственное. Дорогой Вячеслав Павлович, в таком роде, с описками и колоратурами, утомительно и коловратно, я бы мог с Вами еще до многого дописаться, однако довольно. В ожиданьи чего-нибудь отрадного от Вас, крепко Вас обнимаю. Я горячо и упорно люблю Боброва, Асеева и Маяка. Для оценки их данных мне, их одноротцу, не надо было сюда забираться. Но тут мы кажемся богами.

Ваш Б. Пастернак

P. S. О пересылке денег поговорю с Гринбергом. Очень буду ждать письма от Вас. Вот видите, не лучше ли было мне молчать, как раньше, не беспокоя себя лишними и сомнительными надеждами? А теперь молчанье это нарушено, и по утрам уже справляешься, нет ли писем. И, конечно, их нет.

Б. П.

Впервые: ЛН. Т. 93. — Автограф (РГАЛИ, ф. 1328, оп. 1, ед. хр. 268).

[1] Б. К. *Зайцев* по просьбе Пастернака в 1921 г. читал «Детство Люверс». В своей книге «Далекое» он вспоминал: «Этот высокий, с крупными чертами лица, несколько нескладной фигурой, крепкими руками и нервами, очень умными глазами, тридцатилетний человек принес мне рукопись: отрывок произведения в прозе. Рукопись тоже походила видом на хозяи-

на своего: написано крупным, размашистым почерком, нервным и выразительным. <...> Подробностей не помню, но общее впечатление такое: никакого крика, никакого футуризма, написано человеческим, а не заумным языком, но очень *по-своему*. То есть — ни на кого не похоже и потому ново. Ново потому, что талантливо» (Вашингтон, 1965). Пастернак подарил Б. Зайцеву «Сестру мою жизнь» с надписью: «Борису Константиновичу Зайцеву, Художнику, — среди только умиляющихся и только прекраснодушных, в благодарность за то, что и в лагере москвитян он по вышеназванной причине не доставляет огорчений петербургскому памятнику на Тверском бульваре — *Автор*. 15/ VI. 22. Москва» (Музей В. В. Маяковского). О памятнике Пушкину на Тверском бульваре, который Пастернак воспринимал как памятник революционной сущности художественного таланта, см. в письме № 193.

[2] Речь идет о работе над повестью, главы из которой Пастернак публиковал в 1918–1922 гг. См. письмо Боброву № 206.

[3] В октябре 1922 г. в критико-библиографическом журн. «Новая русская книга», № 9 (Берлин, ред. А. С. Ященко, изд. И. П. Ладыжников) был напечатан ряд писательских автобиографий, в том числе и Маяковского «Я сам».

[4] Ср. в письме № 193: «От берлинской литературной шумихи, в которую я уже без моего ведома и против воли отчасти втянут, буду, разумеется, держаться в стороне».

208. А. Л. ПАСТЕРНАКУ

15 января 1923, Берлин

Дорогой Шура!

Меня очень огорчает все то, что у тебя сейчас по твоей собственной вине творится. Ты не удовлетворяешься тою пропастью мрачнейшего анализа и взвешиванья, которые ты уложил уже сам на это дело. Теперь ты привлекаешь к этому плодотворному занятью еще и нас шестерых. Разве тебе не ясно, что сколько бы ты ни разбирал и не раскладывал этого дела, этот разбор его ни на шаг не подвинет. Тебе же прекрасно известно, что все будут на седьмом небе от радости, когда ты женишься, и что все, в особенности мы с Женей, И<рину> Н<иколаевну>[1] очень любим. Тебе ведь это хорошо известно. Однако ты ждешь и ищешь не этого, тебе во что бы то ни стало занадобился *совет*. Между тем я не советую и тебе самому советоваться с собою в этом вопросе. Было время, когда ты не был знаком с И. Н. Занимался ли ты выкладками и Гамлетовыми вопросами в день, когда само собой состоявшееся и ничего не значившее знакомство перевело тебя из состоянья незнакомости в это новое состоянье? Я большой разницы между тем днем на Шатурке и твоею нерешенною перспективой не вижу. Женитьба

ни в физическом, ни в духовном отношеньях не поставлена в условья какого-то островного или исключительного мира, с каким-то преддверьем, перед которым можно или нужно было бы стоять в нерешительности. Я бы сказал, что это жизненное учрежденье является совокупностью отборнейших бессмыслиц, зиждущих жизнь, если бы только настоящая, совершенно безумная любовь, превосходящая отношенья, предшествующие браку по своей химически чистой безумности, не превосходила по бессмыслице и женитьбу. Так что брак — осмысленнее и вернее любви, ближе, так сказать к житейскому побыту, к обыденщине и посредственности нашей. Это одна из тех немногих вещей, которые если когда кем и делались, то только необдуманно. Так их и надо делать. Всего лучше сделать эту вещь сквозь сон, с тем, чтобы порадоваться затем, что он такой хороший. Как хорош будет твой, мы уже предрешили, зная тебя и ее. При большом обдумывании становится невозможно даже и человека в гости к себе зазвать. А ведь это гораздо проще, чем ввод нового и желанного человека в семью (мне это слово между прочим чуждо) — скажем лучше, в круг наиболее тесных и наиболее частых жизненных соседств и встреч.

Что касается будущего, относительно которого принято думать, что о нем следует думать, то должен сказать, при этом всегда разумеется нечто другое, а именно: средства, борьба за существованье и т. д. и т. д. Относительно этого должен я сказать следующее. Никогда и никак не разоряются в жизни только полумертвые существа, выживающие лишь в порядке неразложимости камня. Человеку же суждено в том или ином смысле разоряться и собираться, сгорать и обновлять себя. Нет ничего на свете разорительнее той или иной страсти. Тут человек сплошь платится собой, ничего кроме яркости, громадности и безумности расплаты не приобретая. Замечательно, что никогда бы ты не стал запрашивать родителей, следует ли или не следует тебе безумствовать, сожигая себя во славу такого-то и такого предмета, лишаясь сна, смысла и устойчивости защитных микроорганизмов. Не правда ли, *действительная* разорительность этого пути исключает всякие в его надобности сомненья. Между тем, самый тон этой потребности так близок человеку, так человечен, что приходится брать скорее мерилом это чистое ослепленье в обсужденьи явлений этого порядка, нежели противоположное состоянье безрасходного прозябанья. И вот, как это ни странно, но без парадоксальничанья должен сказать, — всякая, и бесприданная жена является статьей доходной для живого человека уже в меру одного

того приближенья от чисто разорительной жизненности (все равно, хотя бы и платонически идеальной) в сторону более умеренную, которую приносит с собой брак. — Ты прости, что я так пишу, но уже самая *потребность* твоя в совете как бы локализует трактовку этого предмета, помещая его в сферу утилитарно разумную. Так я и вынужден писать. Всего больше хотелось мне разъяснить два-три заблужденья, в которых находятся папа и его выученики в этом отношеньи, папа — бросая до конца *недоговоренные* положенья, ты же, скажем, по этим положеньям поступая, или вернее — отказываясь от поступков. Что чистая *гениализированная жизненность* претерпевает от брака больший или меньший ущерб, меньше всего стал бы и я отрицать.

Однако никогда отец не приводил нам положенья о несостоятельности брака, аргументируя его доводом такого порядка. Не только с его стороны не могло быть опасений за целость в нас разрушительного и саморазрушающегося безумья, но вряд ли он вообще своим детям бы возделыванье такой стихии порекомендовал. Так что слова его, часто слышанные тобою, представляют собою вступительную часть некоей теоремы, без существенной, замалчивавшейся части, лишенной всякого содержанья. Ссылки же его на факты и вообще доводы его таковы, что прямо бросают в объятия брака. Наверное когда ни спросить его, — что́ лучше, жить ли сумасбродно или разумно, он посоветует последнее. А между тем, если чем брак и плох, то только тем, что он разумен, что он не фантастичен, что он людей не губит, а сохраняет или даже плодит.

Гибель же обладает своей особой морфологией: перед тем как погрузить человека окончательно в пучину, она заставляет его пролететь в воздухе рельефно и во весь рост, чего нигде, кроме как на пороге гибели, — не бывает.

Это — о браке, о Л. О. П<астернаке>, о Стриндберге, о лекции в Политехническом музее. Индивидуальный же случай от общих положений отличается тем, что первые вводятся в мир симпатически, вовлеченные в мир желаньем, вторые же существуют во всех головах для того, чтобы в двух-трех — хороших о них высказывались лучше и предпочтительнее истины, чем заблужденья. Я начал со второго, как ты хотел. И насколько возможно, — был беспристрастен. Теперь позволь мне из-под этого принужденья выйти. Я от души желаю, чтобы тебе удалось жениться на Ирине. Не ставь решенье всего вопроса в одну зависимость от себя. Это не по-хорошему бестактно. Мы ее очень любим. Что это семья не

еврейская, конечно только лучше, а не хуже. Тебе мои симпатии и антипатии известны.

По совести говоря, невзирая на все папины последние устремленья[2] — симпатии и антипатии эти — общесемейные. Сердцем (а не головой) и они конечно русских любят больше, чем «своих». Кроме того, я еще не видел ни одного еврея, который бы сохранял свои специфические, просящиеся в анекдот черты, в силу особой какой-то одаренности. Скорее наоборот. Они выживают по принципу ничтожности. У Бялика этих черточек нет.

Крепко тебя и И. Н. целую.

N.B. И. Н. этого письма не показывай: оно ее *не по моей вине* обидит.

Впервые. — Автограф.

[1] И. Н. Вильям — сестра Н. Н. Вильям-Вильмонта, невеста А. Л. Пастернака.

[2] В 1918–1919 гг. Л. О. Пастернак познакомился с известными деятелями еврейской культуры и написал портреты Д. С. Фришмана, Ш. Анского (С. Рапапорта), Н. О. Соколова, Якова Мазе, М. О. Гершензона и др. В 1923 г. семь цветных репродукций этих портретов, написанных ранее Ю. Д. Энгеля, Х. Н. Бялика и автопортрет были объединены в альбоме («Явне», Берлин).

209. С. П. БОБРОВУ

17 января 1923, Берлин

17. I. 23

Дорогой Сережа!

Бертрана тебе выпишут. Кроме того, запродал твоих «Изобретателей Идитола»[1] Вишняку (издательство Геликон). Он завтра же закупит в<се> под твою рукопись из расчета 1 фунт с листа, т. е. всего 7 фунтов. Условья его таковы. Он предполагает издать книжку в 4000-х экземпляров, с правом распространенья издания и в России, в согласьи с каковым пунктом ты лишаешься права запродажи ее какому бы то ни было издательству и в России, до полного расхожденья издания, однако же на срок не более 2-х лет. Вышеприведенная подробность договора является причиной неприемлемости для него Мизантропов и Лотофага[2]. Одна книга уже издана, другая запродана. О книгах статей предлагает поговорить немного погодя и предполагает подумать в дальнейшем. Стихами пока обременен и вынужден отклонить. Итак, если условья (которые во всей точности соответствуют тем, на которых мы дого-

варивались с ним и о моих вещах) тебе подходят, немедленно вышли мне (переписанную на машинке) рукопись Изобретателей. Прошлою зимой я пересылал кое-что просто по почте, правда это были не рукописи, а книги... Не думаю, чтобы это было в каком бы то ни было отношении рискованно. Может быть ты придумаешь какой-нибудь другой, удобнейший или вернейший способ? Собственно, ведь это по твоей, наркомпочтельской части; значит тебе и видней, и судить об этом деле, и решать в нем сподручней, чем кому другому. Кстати, околачивается тут некий Зискинд[3], на первый взгляд очень милый и простой мальчик, секретарь вашего наркома, о тебе говорит как о гордости комиссариата, оспаривая у других права на равное участье в таком разговоре, с особым преимуществом и претензией, как, скажем, любой индус говорит о Рабиндранате Тагоре. Мне этот мальчик чем-то, — может быть этим-то, так же, как и тем, что видел Шурину постройку[4], равно как и свежей неиспорченностью и прямолинейностью своего коммунизма, — показался мил. Может быть ты бы его пребыванъем тут воспользовался с этою целью, может быть у вас с ним сношенья установлены, он ведь сюда вами командирован?

Это о запродаже и о присылке рукописи. Теперь о твоем приезде. Если ты решил серьезно ехать, если тебе того так же хочется, как и нам, сообщи об этом немедленно, и мы сами, помимо всяких Вишняков и тому подобных, достанем и выхлопочем тебе въездную визу. Есть основанье надеяться, что это продолжительных хлопот не потребует, ибо мы пойдем по совершенно иному пути, нежели отец, хлопотавший обо мне прошлый год долго, с большим для себя трудом и меньшею удачей. Той суммы, которую тебе останется должен Вишняк, за глаза тут бы тебе хватило на три месяца. Беру нарочно срок преуменьшенный. При меньшей опасливости в расчетах за другого и всяких присоветыванъях этот срок можно было бы, положа руку на сердце, — удвоить.

Вопрос о стоимости проезда, о визах отпускных и транзитных и об источниках добытия оных придется решать тебе самому. Думаю однако, что полученье разрешенья на въезд в Германию послужило бы толчком и доводом к их изысканью. Между прочим, да будет известно тебе, что авансы, данные мне Полонским и Литовским, я им в полной сохранности возвращаю. Я их пошлю в валюте, полностью покрывающей обе суммы (Полонскому 20 долларов, Литовскому 30). Мне пока что отработать и оправдать их не пришлось, а в вечности их доброго мненья я куда как не уверен. Сегодня окажешься обманщиком, завтра неверность их

перекинется на твои политические убежденья, послезавтра за грудобрюшную преграду, а еще когда-нибудь тебе преподадут, как писать и чувствовать надо, раскаявшись в своем незаслуженном... легковерии. Это меня не шутя огорчает, ибо о них я думаю хорошо. Так вот. Доллары устойчивы; когда ни посылать их — разницы не составляет. Не смог ли бы ты перевесть этот аванс на себя? Все равно они тебе там на месте для самой поездки бы понадобились, так что вопрос о пересылке их в Москву на имя обоих от этой варьяции гадательной никакой перемены не терпит. Они будут высланы. Однако, не откладывая дела в долгий ящик, замолвил бы ты (о себе и об этом) слово обоим. Главное, с их стороны такое авансирование тебя никаких бы новых затрат не потребовало. И видя, как риск их со мною успокоительно обернулся (дескать, возвращает), быть может, отважились бы они продлить только срок своего кредита, почтенного ими уже за пропащее дело, списав его на тебя. А ты сейчас на ходу и все эти годы в работе. Что ты их ожиданья бы оправдал, яснее дня. Должен тебе между прочим сказать, что мое упущенье в этом деле явленье только частичное. Т. е. я и на себя ничего за все истекшее время не сделал. Лишь за самые последние дня взялся за работу. Оттого-то и захотел видеть тебя тут. Хотя болото здешнее ничего иного, кроме прозвища этого, не заслуживает, все же стоило бы его всколыхнуть. Тогда пришлось бы помириться тебе со Шкловским, вдвоем бы мы этого ни за что не подняли. Не вижу также возможности, как ужился бы ты тут, не примирившись с Эренбургом. Это очень хороший человек и мне от души хотелось бы, чтобы он был иным, т. е. посдавши своей хорошести, позаимствовался остротой у несравненно менее приятного, но более приемлемого Шкловского, который подчас поразительно все-таки разбирается в тех тонкостях, без коих наш брат и призванье наше немыслимы. Что тут иного пути не имеется, ты выяснил бы, вероятно, тотчас по приезде, не затрачивая на этот плодотворный разбор тех 4-х месяцев, что затратил я. Надеюсь, ты моих слов криво не истолкуешь. Я не занимался тут приисканьем удобных конъюнктур, да и для чего б они мне понадобились: лоботрясничать можно со всеми, как и в одиночку. Нет, я не то хочу сказать. Но сосвежу, из Петербурга, от Кузьмина*5 приехал я без предвзятых приязней и неприязней. Без предубежденья заговорил со всеми. Послушать их, так они всем скопом на редкость как хорошо ко мне относятся. Но Ходасевич,

---

* Так в письме.

спервоначала подарив меня проницательностью «равного» вдруг, по прочтении Колина отзыва в «Нови»[6] стал непроницаемою для меня стеной с той самой минуты, как на вопрос об Асееве я ему ответил в том единственном духе, в каком я и ты привыкли говорить об этом поэте. То же следует сказать и о Белом, которого я привык любить и который наверное меня разлучит с этой дорогой мне привычкой. Единственно, что меня радует, так это то, что Эренбург, к примеру сказать, и среди них популярен. Какой-либо обидной нетерпимости (политической, национальной, сословной или возрастной) здесь нет и в помине. Здесь есть нечто другое. Все они меня любят, выделяют, но... «не понимают»*[7]. Вдруг я оказываюсь — кубистом (?!). Внезапно для помещенья отзывов о моих стихах требуется подзаголовок «Искания», с симметрически следующей затем рубрикой «Достижений» — дающей отчет о «Счастливом Домике». Марина Цветаева помещает большую статью обо мне в Эпопее[8] с подразделеньями: Пастернак и дождь, Пастернак и быт и т. д. Статью посвящает Эренбургу. Тогда в «Руле» перестают вообще мыслить эти три судьбы раздельно, и получается видимость, будто мое белобилетничество и коротконожье зашли так далеко, что не под руку с приятелями я вообще ступать не учился. Марина — истинный поэт, и соседство это нисколько меня не роняет. Эренбург — прекрасный человек, слишком однажды возлюбивший Достоевского, в сущности кающийся патриот, человек большого кругозора и добрый друг, — соседство это может быть только радостным. Но, простите, если уже без соседств нельзя, если это уж никак, никак невозможно и не видано, чтобы художнику солировать под своей ответственностью и за свой страх, то ведь я был когда-то футуристом и не им ли остался я, стращая вас «кубистической» непонятностью, «высоко изобразительной и неподдельной», как хочется думать и Б. К. Зайцеву? Если уж на то пошло, то истинные соседства у нас имеются и Бог весть когда уж подсказаны чутьем и сердцем, а потом закреплены долговременным житейским побытом, признанным, наконец, и со стороны, читателем, критиком, да нет — проще, — вкусами и тяготеньями целого поколенья[9]. Или этого просто не существует? И все упорядочивается обыкновенною заявкой? Приедет Бобров — будет он, не приедет, — нет его. Приедет Вс<еволод> Иванов, — Бобровым

---

* Цитирую по Белому, Ходасевичу, Горькому, — они «трудились» над «Темами и Варьяциями» и отступили перед абсолютной их непонятностью. (*Прим. Б. Пастернака.*)

будет Иванов. Приедет Вера Лурье[10] — она же ею и будет. Приедет Пастернак, — будет он Лурье Верой.

Любопытное наблюденье. У нас там стерты все геральдические бородавки. Все стригли под один номер. Тут всех величают «господами» и машинистка в Геликоне, при всем демократизме, есть лицо подчиненное. Там одна партия, здесь десять. Здесь совесть свободна, индивидуальность... как Прометей у Шелли. В дальнейшем, как и до сего, говорю не о немцах, но об эмиграции. И замечательно. Тут нет ни возрастов, ни полов, ничего ровно. Восстановленье хотя бы ничтожных различий между писателями, читателями и издателями так страстножелательно, что уже потребности твоей в этом разнообразии никто не понимает. Высказанное столь часто уже напоминало по афористичности действия зевающего, что слово приобрело тут новое свойство, лишь по имени соответствующее старому, давно известному. Оно обладает заразительностью, — заразительностью зевка. Его подхватывают и повторяют. Однако растолкай этого говорящего скворца. В его повторении не заключается ни согласия, ни возраженья.

Тогда, спрашивается, на какого черта я тебя сюда зову? Одно дело цвет нашей мысли, другое — немцы, лучше сказать, — Германия. О подземной дороге справься у Маяка. Порасспроси ездивших — Лидина, Савича. Стыдно сказать, — (это значит подбивать на косвенную эксплуатацию да и расписываться в собственном матерьяльном убожестве не ахти как лестно), — но тут-то ты только машину и увидишь, да и оденет она тебя, и чем надо снабдит. Ради одного этого уже стоит. Ну, до свиданья. Крепко тебя целую. Понял ли ты насчет денег? Они будут отосланы через неделю П<олонскому> и Л<итовскому>; получены же ими через две. До их полученья тебе бы следовало свахлять с ними это дело. Тогда ты прямо доллары (что тебе и надо) и получишь. Не придется покупать. Пиши.

Твой Б.

Как будешь отвечать, напиши, не стали ли плохо ко мне относиться: ни от кого писем нет.

Впервые: «Встречи с прошлым». Вып. 8, 1996. — Автограф (РГАЛИ, ф. 2554, оп. 2, ед. хр. 563).

[1] Фантастический роман Боброва «Спецификация идитола» вышел в изд. «Геликон» в 1923 г. Обложка книги — работы Л. М. Козинцевой-Эренбург.

[2] Рассказ «*Лотофаг*» не был издан.

[3] А. *Зискинд* — секретарь коллегии Наркомата почт и телеграфа при наркоме В. С. Довгалевском. Бобров работал в статистическом отделе Наркомпочтеля.

[4] А. Л. Пастернак участвовал в проектировании здания химического института им. Л. Я. Карпова.

[5] М. А. Кузмин, с которым Пастернак познакомился в Петрограде перед поездкой в Берлин, высоко оценил «Детство Люверс», считая, что в книге «Сестра моя жизнь» Пастернак отдал дань формальному модничанью («Жизнь искусства», 1922, № 31).

[6] Рецензия Н. Н. Асеева на «Счастливый домик» В. Ф. Ходасевича была напечатана в «Красной нови» (1922, № 4).

[7] Взятое в кавычки слово «трудились» принадлежит Ходасевичу. Ср.: «Однажды мы с Андреем Белым часа три трудились над Пастернаком, — вспоминал Ходасевич, — и весело смеялись, когда после многих усилий вскрывали под бесчисленными капустными одежками пастернаковских метафор и метонимий — крошечную кочерыжку смысла» («Дни», 13 июня 1926).

[8] Марина Цветаева. Световой ливень. Поэзия вечной мужественности («Эпопея», Берлин, 1922, № 3).

[9] См. о том же в письме к В. П. Полонскому № 288 от 10 янв. 1923.

[10] *Вера* Иосифовна *Лурье* — поэтесса, приятельница Андрея Белого, жила в Германии, где в конце жизни вышла ее книга «Стихотворения». Poems. Berlin, 1987.

210. РОДИТЕЛЯМ

5 февраля 1923, Марбург

Дорогой папа! Вот мы и катаемся на санках. В Касселе сейчас совершеннейшая весна: цветут анютины глазки, подснежники, и сирень стоит в почках, солнце разливается над садами, над парком за галереей, над щебетом птиц и детей. Не преувеличивая — погода как в апреле на Пасху в Москве. Мы были тут с тобой 10 лет назад[1]. Многое вспоминаешь. Я прямо как в трансе сейчас[2].

Дорогая мама! Ах, если бы выйти тебе сейчас погулять здесь! Поедем со мною на Willhelmshöhe![3] Сделав весь путь, указанный Федей, мы только полдня пробыли близ Ширке. Лил весенний дождь, ветер срывал с ног и валил набок даже и горы. Тогда мы проехали весь Гарц насквозь, но уже как ездят ради красот панорамных, а не спортивных. А тут еще градус-другой прибавить и будет лето.

Впервые: «В кругу Живаго». Пастернаковский сборник. Stanford, 2000. — Автограф (Pasternak Trust, Oxford). Датируется по почтовому штем-

пелю на двух открытках: отцу — с репродукцией автопортрета Ламберта Ломбарда, матери — «Благословения Якова» Рембрандта из Кассельской галереи.

[1] Пастернак вспоминает поездку в Кассель с отцом в 1912 г. См. письмо № 66.

[2] О посещении Марбурга Пастернак писал Боброву на открытке с видом университета: «Дорвался, наконец, попал в него, удивительный, удивительный город. Собирался ведь именно туда, шесть месяцев проторчал в безличном этом Вавилоне, теперь перед самым отъездом домой, в Россию, улучил неделю и съездил в Гарц, в Кассель, в Марбург. А ради него ведь всю кашу заваривал. Два всего дня был, и будто по губам — да как! — помазали. Горько, горько, ругательски досадно» (11 февр. 1923; «Встречи с прошлым». Вып. 8, 1996. С. 289). Поездка в Марбург была предпринята в надежде устроиться там на некоторое время для работы. Пастернак писал об этом Полонскому: «А как бы мне хотелось переехать в Марбург, куда попал я лишь по шестимесячном сидении в совершенно ненужном мне Берлине, бескачественном и сверхколичественном! И всего лишь на два дня. Но — жена у меня» (11 февр. 1923; ЛН. Т. 93. С. 693). «Впоследствии мне посчастливилось еще раз наведаться в Марбург. Я провел в нем два дня в феврале 23-го года, — вспоминал Пастернак в «Охранной грамоте». — Я ездил туда с женой, но не догадался его ей приблизить. Этим я провинился перед обоими».

[3] Парк на горе вблизи Касселя, где расположена картинная галерея.

211. А. Л. ПАСТЕРНАКУ

15 февраля 1923, Берлин

15/II. 23

Дорогой Шура! Мы действительно в самом непродолжительном времени собираемся ехать домой.

Я сейчас основательно простужен и не выхожу. Кроме того, мне следовало бы полечить пришедшие в полное разрушенье зубы. За всем тем, лишь только выйду, думаю обратиться к дорожным сборам. Если расчеты меня не обманывают, надеюсь с Женею быть в Москве в начале марта[1].

Я легко представляю себе, каких тебе усилий стоило отстоять квартиру, и без наплыва большой тебе за это благодарности об этом предмете не думаю. Так что менее всего ты угадал бы истинный тон того, что последует ниже, если бы прочел в моих словах претензию, просьбу или расчет на какие-нибудь действия с твоей стороны. Я знаю, как это неприятно и невылазно-неисполнимо. Единственно, о чем я тебя очень попрошу на этот счет, это написать мне *без промедленья*, и хорошо бы воздушною почтой, каковы

твои собственные виды и планы по дому, и не изменилось ли положенье квартиры в том отношении, что его бы удалось наконец изменить[2].

Вот, с моей стороны, матерьял для твоих по этой линии размышлений и соображений, матерьял наполовину недосказанный, поскольку он касается моих с Женей перспектив, наполовину гадательный, поскольку он опирается на наши, относительно тебя и И<рины> Н<иколаевны> предположенья.

1) Мне с Женею, во всяком случае с осени, — одной комнатой никак не обойтись. Ты, пожалуй, уже и догадался, в чем дело, однако на сей счет ни под каким видом ни перед кем не распространяйся. Надо при том сказать, что если с осени эта потребность в двух комнатах приобретет громчайшую выразительность красноречивейшей очевидности[3], нет никаких оснований для того, чтобы в таком расширении отказать себе с самого начала. Уж теперь-то во всяком случае мне придется со всей решительностью засесть за работу, что́ бы это слово в отношении меня ни означало. Иными словами: уж теперь-то во всяком случае мне тотчас же по приезде придется уединиться в отдельной комнате etcaetera etcaetera.

2) Фришманы. Плохо было, и остается, коротко говоря, главным образом то, что живя с нами, они лишают нас, в отношении себя элементарнейших качеств справедливости, беспристрастия, признательности. Жизнь с ними делала нас и будет продолжать делать относительно их всех: несправедливыми, пристрастными, с худшей стороны неблагодарными. Тема эта начисто антисемитическая. Глубочайшие по противоречивости, невылазности, фатальности и трагизму свойства и основы, дилеммы и антиномии нашего существа и существованья подчеркнуты, изъязвлены, собраны в комок и посыпаны солью фактом их соседства. Обстоятельство это невыносимо и нестерпимо. Одна мысль уже о том, что можно жить под снопом зловещего этого света (поскольку он вообще брошен в нашу жизнь) без искусственного этого рефрактора, сообщающего всем этим темам ненужную и совершенно нелепую резкость сверхпроблематического и уже не трагического, а какофонического анекдота, — уже одна, говорю я мысль о том, что их не было и может не быть в квартире — кажется достаточно уважительным и в глубине своей вполне нравственным основаньем для того, чтобы желать избавленья от них с чистой совестью и сердцем. Выше сказал я уже, чем особенно досаждает их соседство: не живи они у нас, я постоянно бы о них думал с теми наилучшими к ним чувствами, какие вызывают они во мне в воспо-

минании, отвлеченном от воспоминанья об их Московском адресе. Я с той же теплотой думаю о подарках всем им, как и о подарках Косте Локсу или Устиновым, или еще кому. Однако тут же я ловлю себя на опасливости и на политиканстве; я всякий раз боюсь того, как бы пустейшее проявленье вызванного ими и вполне ими заслуженного хорошего чувства не повело к укрепленью и утвержденью их в сознаньи прочности этого злополучного и несчастнейшего сожительства. Ах, боюсь я, что по приезде вопрос этот придется поставить во всей неприкрытой остроте[4].

Видит Бог, я доводы свои считаю не только не сомнительными, но даже и не оскорбительными для них, коль скоро они им каким-нибудь чудом стали бы известны во всей их мучительной наготе. Напротив того, всякое прикрашиванье их неразрывно связано с обидностью. И эту элегию, в которую я прошу тебя вчитаться, я закончу тем, что прибавлю, чем еще морально тяжко именно это сожительство. Оно тяжко не тем одним, что делает нас несправедливыми, грубыми, неблагодарными и т. д., но еще и тем, что всякая попытка с нашей стороны хоть отчасти приоткрыть им глаза на наше нежеланье жить с ними, неизбежно показывает нас с непривлекательнейшей и наихудшей стороны. Это оттого, что в полную известность относительно наших мотивов их поставить невозможно или во всяком случае трудно. А то бы они увидали, что за обнаруженьем по-видимому некрасивейших, граничащих с подлостью черт кроются места наиболее наболевшие наиболезнейшие. Говорю тебе, если бы они проникли в суть наших стиснутых стенаний, они бы ужаснулись своей миссии, своей роли и своего положенья относительно нас. Вот что о соседях.

3) Как думаешь ты устроиться с И. Н.? Мы представляем себе и заранее радуемся тому, что она переедет к нам. Можно было бы предпринять легкий ремонт. И во всяком случае приятно и отрадно было бы завести общее или не общее, как тебе самому понравится, но во всяком случае, светлое, опрятное, обобщенное и своим тихим порядком охватывающее территорию всей квартиры, лишенное крикливости, экзотики и грязи (и, кажется, крыс!?) хозяйство (которому Устиновы не были бы препоной), с прислугой, по всей вероятности. А? Что ты на этот счет скажешь. — Если очень строги «площадные нормы» и нас четверых оказалось бы мало для того, чтобы эту площадь оправдать (говорят, в этой области имеются некоторые, мне не знакомые новшества, вот отчего я так осторожно — предположителен), я мыслю уплотненье скорее со стороны Н<иколая> Н<иколаевича>[5] или еще кого-нибудь, хотя на-

деюсь, что *двумя* семьями при Устиновых мы площадь бы всеми правдами и неправдами отстояли.

Кончаю второпях. Я еще кое о чем хотел тебе написать, о Германии, о неохоте с ней расставаться, о разных, к делу нейдущих вещах. Однако мама настаивает на отсылке готового уже у нее письма к тебе, и мне особенно разговориться с тобой не придется.

Женя пишет меня теперь[6], сейчас придут убирать комнаты. Затем она засядет за работу. Ей вообще удалось тут поработать немного. Папа ею доволен и считает даже (в основе) способнее Гольдингер[7], да это его мненье, и не знаю, беспристрастное ли. Мы здесь сталкивались с очень милыми людьми (из немцев и немок, четвертого, подчиненного сословья), когда им трудно бывало, кое в чем, чем могли, помогали. Трудно будет расставаться с Германией, как с совокупностью молниеносных поездов, ежедневно и в любое время направляющихся вглубь Саксонии, Бадена, Гессена, Тюрингии и т. д. С Берлином затруднений не предвидится: ни к чему на свете я не относился холоднее. Ввиду того, что Берлина не хаял разве лишь ленивый и что это избитейшая привычка, я особенно воздерживался от хулы по его адресу и боялся повторять этот трюизм. Однако, хочешь не хочешь, а это оригинальное мненье поневоле разделишь, побыв хоть несколько среди истинной природы и глухой истории. Когда я возвращался в Берлин, его постепенное получасовое приближенье и разрастанье начиная с Потсдама меня смешило и отвращало. Это было ночью, после всяких Гарцев, Крейензенов и Госляров. Да по существу и без всякой потуги на остроумие, — это давно уже нисколько не немецкий город. Здесь даже лень правильно по-немецки говорить, и среди подлинно берлинского словаря и у христиан имеются прусские слова: мецпе и мишиге*.

Помимо неиспользованной и неоправданной привязанности к настоящей Германии, близкая поездка омрачается для меня еще и тем, что я слышу о Москве и России из самых разнообразных, самых противоположных кругов. Левые и правые, старые и молодые, даже и коммунисты, удачники и неудачники сходятся в одном мнении, рисующем положенье, скажем Москвы, жизнь и атмосферу наинепригляднейше. Получается впечатленье, будто жизнь изменилась с нашего отъезда определенно к худшему. Подумай, прежде чем мне на этот вопрос ответить, в самом деле *так*

---

* Букв.: звездочет; придурковатый, дурашливый; употребляется в ироническом смысле (*евр.*).

ли это? В ответе на этот вопрос не оговаривай своего сужденья той или иной точкой зренья, а ответь по общему своему ощущенью и главное, относительно: в сравнении с осенью, которой я вполне доволен. Хуже ли эта зима, чем прошлая.

Поспеши написать мне по всем трем пунктам (квартира) и по поводу последнего вопроса (общая жизнь в Москве), поговори, не сказав зачем, с Вильямом, он знает состоянье «гуманитарий».

Всего лучшего. Крепко тебя целую. Не откладывай письма и пиши, не мудрствуя лукаво.

Твой Боря

Впервые. — Автограф.

[1] Пастернаки вернулись в Москву в 20-х числах марта.

[2] Надежда на то, что Фришманы освободили занятые комнаты.

[3] 23 сентября 1923 г. у Пастернаков родился сын.

[4] Вопрос о том, чтобы Фришманы подыскали себе другую квартиру.

[5] Имеется в виду Н. Н. Вильям-Вильмонт.

[6] Речь идет о работе над масляным портретом Б. Пастернака.

[7] Екатерина Васильевна *Гольдингер* — художница, ученица Л. О. Пастернака.

212. С. П. БОБРОВУ

19 февраля 1923, Берлин

19. II. 23. Берлин

Дорогой Сергей!

Больше недели я провел дома, никуда не выходя, был простужен. С Идитолом тебя поздравляю. Очень занимательная, увлекательная вещь, читаешь, не оторваться. Очень хорошо, что сразу же по прочтении главы о морских маневрах попадаешь in medias res*. Вообще этим достоинством отличается вся первая часть. Прекрасно описаны изверженья, где очень хорошо охарактеризованы волшебные свойства Идитола неуваженьем аппарата к законам земного притяженья. Хороши эпизоды социальные. Хорошо, что вещь, бесспорно относясь к роду захватывающей и так называемой «авантюрной» литературы, — *действительно* захватывает читателя, не говоря уже о том, что захваченный читатель занят действительно литературой, пускай и «авантюрной». Особенно существен первый пункт. Сейчас ведь много говорят о бульварном, кинематографическом, авантюрном и другом романе; и хотя в

* в самую суть (*лат.*).

наше время всякая номенклатура есть набор возмутительнейших несоответствий и всяческого неподобья, надо сказать, совершенно исключительно этим грешит формальная терминология в искусстве. К черту трагедию, слышим мы, — дайте нам оперетку[1]. При этом, однако, представляют себе, что *один* уже отказ от серьезности, лучше сказать, одно уже это проявленье разумной осторожности в человеке, обжегшемся на «серьезной литературе», — есть чуть что не эта самая уже оперетка, которую он должен еще написать, между тем как эта вспышка осмотрительности не только еще не оперетка, а все еще дурная трагедия непристроенного бумагомараки. «Я пишу кинематографическую вещь, вам это чуждо, Борис Леонидович?» Да нет, знаете... да, конечно. И тут же думаешь о Пупсике Легара[2], под дифирамбические ревы которого немцы шли умирать на Запад. Люди забывают, что всякое А=А. Человеку кажется, что если его поползновенья создать некое N в одной из областей художества приводили к рвотному камню, он порвет с законами тожества, переехав в область с более легким климатом, где, вероятно, всякое «ни два ни полтора» и будет в глазах его соотечественников и в его собственных той самой вещью, над которой ему заблагорассудится «работать». Твоя же вещь настолько приковывает, что вполне начинаешь жить вторым, якобы без автора существующим и отчасти ему известным планом, слоем действительности, так сказать, о которой его еще можно порасспросить, и тогда к напечатанному и прочтенному прибавится больший или меньший рассказ автора, составленный из ответов на твои вопросы, при постоянно бесконечном, неисчерпаемом и раззадоривающем вопрошателя остатке. Это и есть тот элемент, без которого вещь необъективна и себе равняться не может. Твой же «прозроман» объективен настолько, что например от встречи Ральфа с Порком, а тем более от столкновенья их обоих с Идитолом, в особенности на островке, хотелось бы большего. Неявный его диалог с ними над морем показался мне прекрасным, потому что обещал нечто по глубине, страстности, возвышенности и героической фантастике, простоте (не сердись, это трудно бегло и вскользь, не выписывается) — нечто потрясающее. Обещанье это поддерживалось и артикуляцией предшествующих главок и частей, равно как и глубоким «гуманизмом» по всему роману рассыпанных оговорок и недомолвок.

А между тем глава 63-я (Ральф, Порк, Идитол) оставила меня очень неудовлетворенным[3]. Это — необъективная поверхностная глава, это сочинено, это «кинематографично». Так ли и о том ли

следовало им говорить? Не должна ли была твоя задача в этом месте хоть несколько отличаться от той, которая перед тобой стояла при разработке Трипль-Ойля, как слагаемого. Проводил же ты до сего места достаточные между ними различья! Жалко. Этот ложный трюк мог бы даже испортить все дело, превратив его в ту дешевую выдумку, о которой я выше говорил. Однако ничтожность долевого значенья этой полустраницы в отношении остальных пятидесяти шести — спасает дело, и я легко представляю себе читателя, которого этот островной эпизод не покоробит и который срыва тут не ощутит. Правда, ты и сам перекрыл этот случай, если и не наново, то во всяком случае достаточно неопределенной и сотканной из умолчаний пеленою, заставив занавес ко всей вещи упасть именно над этим беспардонным местечком. — Роман я прочел в один присест. Спасибо. Не знаю, разожмутся ли и как именно разожмутся у меня челюсти в ответ на твой вопрос о причине моего близящегося возвращенья в Москву. Пускай кажется тебе это решенье беспричинным и опрометчивым, — ехать я должен, — причины скажутся и станут тебе известны. Без крепящей и довольно сытной порции некоторого ужаса я об этом возвращеньи не думаю. Не говоря уже о том, как не хочется уезжать мне отсюда после моего недавнего наезда в Марбург, я еще вдобавок и издержался почти что в конец (только-только на поездку хватит). Как это ни странно, последнее обстоятельство привязывает меня к Германии еще более ее уездной готики: здесь все-таки можно себя оправдать и русскому писателю, даже и писателю, несколько на это обозначенье походящему. Состоянье в героях «Тружеников Моря» не навязано тут каждому несогласному с Гюго[4]. Угроза того, что этот героически туманный текст, настоянный на зауряд-осьминогах, устрицах и медузах, вот-вот разоблачится в виде довольно-таки безводной пустыньки, над тобою не витает, и тебе позволительно о воде даже вовсе ни в ту, ни в другую сторону не думать. Всего больше я боюсь того неизбежного самоугнетенья, которое возникает в ответ на неуклонность однообразья казенного, и хотя направлено в другую сторону, этого направленья столь же неуклонно никогда не меняет. Да и цены у нас (т. е. у вас) неприступные. Это ведь не цены, а какие-то числовые индексы наглости, нахальства, необузданного измывательства. Ты знаешь, что невидаль эта, Валдайская возвышенность, жемчужина мира с валютой, опустившейся чуть ли не до земного центра, «выработала» «жизнепорядок», который идет по рублю за доллар, т. е. что в Англии на фунты легче и дешевле жить, чем на фунты же — в третьем

этом Риме. И слова-то ведь все пустяковейшие. «Выработала». Мы видали ведь, небось, как она это «вырабатывала». Сколько примерно стоит жизнь в Москве? — спрашивает иностранец и думает про себя: жизнь — понятье переносное, с достаточным содержаньем, хочешь — наставишь на Берлин, хочешь на Лондон, — места меняются, содержанье остается, под ним мыслятся — пути сообщенья, жилища, индустрия, большая или меньшая доступность цивилизации, — сыпучего обиходного факта, — в уровень нашей муке. А поди объясни ему, что ЖизньвМоскве — это одно слово, и жизнь тут совершенно не при чем, если только это не слагаемое отрицательное. В параллель его представлениям о путях сообщенья придется говорить о путях в Дамаск[5]; жилища — слово непроизносимое и смысл его не выяснен; что же до доступности цивилизации, то она доступна, но ее нет и в помине. За собранье же этих загадочных картинок приходится платить как за вынутый, положенный, принятый тобою и использованный в твое удовольствие Нью-Йорк. Вот что обидно.

Оттого-то и звал я тебя сюда[6] и просил бедности авторского гонорара не удивляться. Тут-то перехожу ко второй, существеннейшей части письма. Идитол будет завтра передан издателю. Человек, выхлопатывающий «въездное» за известную мзду, — имеется. Как намерен ты поступить? Тотчас ли сделать ему для тебя заказ или хочешь ты нас дождаться? На этот вопрос ответь мне немедленно. Связи у меня с издателем и с людьми, которые это смогут все сделать, сохранятся и по переезде в Москву. О тебе можно будет хлопотать и оттуда. Так как же быть? — На днях был у нас Лундберг[7]. Передал ему Мизантропов, рассказал об Идитоле. Ты на его счет осторожней выражайся, — он ценит и любит тебя, как мало еще кого. То, что ты о стихах своих пишешь, конечно не преувеличено. Сдержанность Вишняка в этом отношении совершенно принципиальная, стихи тут расходятся плохо и он опротестовывает вообще рифму как таковую, но не в рассуждении авторов или направленья. Стихов не берет. Твоей прозаической комбинации не отклонил, но о чем бы то ни было кроме Идитола пока говорить воздерживается, так как конъюнктура теперь тут очень тяжелая: валюта взмыла дня на три на четыре до высот небывалых; чуть запоздав, полезли за ней товарные цены; теперь валюту понизили на 100%, однако цены не падают и, верно, не упадут. — Ты моим приступам брюзжанья и досадливости не придавай значенья. Назад меня тянуло ведь и прежде, чем это стало необходимостью, предъявленной мне Женею. Когда же это становится фак-

том, пугает его Гаргантюическая невыгодность и бессмысленность. Целую.

Целую руку М<арии> И<вановны> и сердечно ее приветствую. Жду от тебя инструкций. *Твой Б.*

Впервые: «Встречи с прошлым». Вып. 8, 1996. — Автограф (РГАЛИ, ф. 2554, оп. 2, ед. хр. 564).

[1] Высказывание можно рассматривать как ссылку на теоретиков ОПОЯЗа и ЛЕФа. См. у В. Б. Шкловского: «Самое живое в современном искусстве это сборник статей и театр Variétée, исходящий из интересности отдельных моментов, а не из момента соединения. Нечто подобное замечалось во вставных номерах водевиля» («Zoo или письма не о любви» // Собр. соч. Т. I. М., 1973. С. 216). О. М. Брик писал в заметке «Не в театре, а в клубе»: «У нового клуба есть союзники в театральном мире. Это цирк и эстрада. У них то, что ему надо» («Леф», 1924, № 1. С. 22).

[2] *«Пупсик»* — оперетта не Ф. *Легара*, а немецкого композитора и дирижера Жана Жильбера, написанная в 1912 г.

[3] В этой главе происходит встреча на необитаемом острове трех изобретателей мощного взрывчатого вещества — идитола. Их случайная гибель производит на читателя впечатление сюжетного трюка для завершения романа, что Пастернак, по-видимому, и воспринял как его недостаток.

[4] Имеется в виду состояние напряженной борьбы за существование, в котором, подобно герою романа Гюго «Труженики моря», постоянно находится оппозиционно настроенный человек в Советской России. См. далее описание уровня жизни в Москве после «выработки» искусственного долларового эквивалента, официально продержавшегося у нас до 1980-х гг.

[5] *Путь в Дамаск* — синоним чудесной встречи с Христом Савла, после которой он стал апостолом Христа (Павлом), вместо его гонителя.

[6] Пастернак серьезно подготавливал приезд Боброва в Берлин и выправил ему визу, о чем писал 3 марта 1923. По поводу «соотношения между товарными ценами и валютным курсом» Бобров запрашивал Жозефину Пастернак. Объясняя несоразмерность «выработанного» курса, Пастернак писал: «...Я думаю, правильно намечу его границы, если определю сытое и безбедное существованье без излишеств ресторанного характера и сверхсметных приобретений долларов в 18—20 ежемесячно. Тут же следует, конечно, прибавить, что при общей благоустроенности и насыщенности всякими желдорными и электрофикационными удобствами понятье скромной безбедности почти совпадает с аллюром совбурского свинства <...> Вещь твоя выйдет, вероятно, в начале мая. Она Вишняку очень нравится. Копи же доллары и помогай тебе в этом Бог. Сколько бы ты ни скопил, и какие бы мы тебе справки ни давали, радостного потрясенья тебе на границе не миновать, ибо никакая подготовленность не ослабляет живого изумленья, вызываемого внезапным конкретным удешевленьем вселенной в одно прекрасное утро, заговаривающее внезапно на новом и мало знакомом языке» («Встречи с прошлым». Вып. 8, 1996. С. 294). Однако Бобров в Берлин так и не поехал.

[7] Е. Г. *Лундберг* в Берлине сотрудничал в издательстве «Скифы».

213. М. И. ЦВЕТАЕВОЙ

22 февраля 1923, Берлин

22/II. 23

Дорогая Марина Ивановна!

Хотя бы даже из одного любопытства только, не ждите от меня немедленного ответа на письма[1], потому что, будучи без сравненья ниже Вас и Ваших представлений, я не принадлежу сейчас, как мне бы того хотелось, — ни Вам, ни им. Я не могу не предполагать у Вас некоторого ожиданья письма по причине того трудно сдерживаемого нетерпенья, с каким сам я жду и ищу за него приняться, и Вы простите мне этот неловкий, но естественный перенос моих собственных чувств с себя на вас.

Целую Вашу руку. До скорого свиданья. *Ваш Б. П.*

Впервые: Цветаева. Пастернак. Письма 1922–1936. — Автограф (РГАЛИ, ф. 1190, оп. 3, ед. хр. 156).

[1] Ответ на два письма по поводу «Тем и варьяций».

214. М. И. ЦВЕТАЕВОЙ

6 марта 1923, Берлин

6/ III. 23

Дорогая Марина Ивановна!

Мы уезжаем восемнадцатого марта[1]. В мае 1925 года я увижу Вас в Веймаре, даже и в том случае, если мы свидимся с Вами на днях[2]. Этого последнего я бы желал всей душою. Я не боюсь того, что мне станет после этого трудней уезжать отсюда, потому что Веймар останется впереди, и будет целью и поддержкой[3]. Я не боюсь также, что лишусь Вашей дружбы по моем свиданьи с Вами, что бы плачевного я Вам ни рассказал и Вы бы ни увидали, потому что то и другое явится естественным продолженьем Ваших догадок не обо мне, как, за всеми поправками Вам все-таки угодно думать[4], — о далеко нет, но о том родном и редкостном мире, которым Вы облюбованы вероятно не в пример больше моего, и которого Вы коснулись родною рукой, родным, кровно знакомым движеньем.

Темы «первый поэт за жизнь», «Пастернак» и пр.[5] я навсегда хотел бы устранить из нашей переписки. Извините за неучтивость. Горячность Ваша иного назначенья. Многое, несмотря на душевнородственные мне нотабены, препровождено у Вас не по принадлежности. Будьте же милостивее впредь. Ведь читать это — больно.

За одно благодарю страшно. За позволенье думать, что обращаясь к Вам, Вам же и отвечаю. Это — подарок. С этой надеждой я не расстанусь. Но Вы забыли может быть?[6] Это у Вас в первом письме. «Когда бы Вы ни писали, знайте, что Ваша мысль — всегда в ответ». А вот другое внушенье, это из второго. «Сумейте наконец быть тем, кому это *нужно* слышать, тем бездонным чаном, ничего не задерживающим, чтобы сквозь Вас, как сквозь Бога, — прорвой!». Этого наказа я не принимаю, я его парирую. Мне в нем не нравятся два слова. «Сумейте» и «наконец»[7]. С Вами я меньше всего хотел бы что-нибудь *уметь*, слышать мне Вас без уменья *надо*, без установки на Вас, дело опять не в этом. Дорогая Марина Ивановна, будемте действительно оба, всерьез и надолго тем, чем мы за эти две недели стали, друг другу этого не называя. В заключенье позвольте отнять у Вас право сердиться на меня за это письмо. Ему надлежало выразить две вещи. Одну, простейшую, непомерной глубины — Вам в лицо. Другую, тоже простую, но запутанности чрезвычайной, — всем вообще, о судьбе, о житье-бытье, о всякой всячине. Эту нелегкую долю оно с себя с самого же начала сложило. Напишите тотчас, приедете ли Вы, так как я пишу в расчете на живой и близкий разговор с Вами[8]. *Ваш Б. П.*

Впервые: Цветаева. Пастернак. Письма 1922–1936. — Автограф (РГАЛИ, ф. 1190, оп. 3, ед. хр. 156).

[1] Пастернаки уехали из Берлина 21 марта 1923 г. Отвечая на это известие, Цветаева писала: «Все равно, это чудовищно — Ваш отъезд, с берлинского ли дебаркадера, с моей ли богемской горы, с которой 18-го целый день (ибо не знаю часа!) буду провожать Вас — пока души хватит» (9 марта 1923. М. Ц. Собр. соч. Т. 6. С. 238).

[2] Цветаева надеялась приехать в Берлин. «Пастернак, просьба: не уезжайте в Россию, не повидавшись со мной <...> Итак, Пастернак, предупредите, я приеду» (10 февр. 1923; там же. С. 232).

[3] «А теперь о Веймаре. Пастернак не шутите. Я буду жить этим все два года напролет», — отвечала Цветаева 9 марта 1923 (там же. С. 238).

[4] Цветаева обдумывала, как скажется несостоявшееся свидание на их отношениях: «не из лукавства (больше будете помнить, если не приеду. *Не* больше — ложь!), не из расчета (слишком буду помнить, если увижу! Все равно *слишком* — и больше нельзя!) и не из трусости (разочаровать, разочароваться)» (9 марта; там же. С. 238).

[5] Из письма Цветаевой 10 февр. 1923: «Вы, Пастернак, в полной чистоте сердца, мой первый поэт за жизнь» (там же. С. 228).

[6] В письме 9 марта 1923 Цветаева отвечала на этот вопрос: «И еще не забыла ли я? Нет, не забыла, если *я* забуду, мысль моя к вам не забудет» (там же. С. 239).

[7] Из письма 11 февр. 1923 (там же. С. 236). Цветаева уточняла эту мысль 9 марта 1923: «А то, от чего открещиваетесь, надо читать так: "Сделайте чудо (у меня: "сумейте"), будьте наконец тем"..."Наконец" — не к Вам, так с пера сорвалось» (там же. С. 239).

[8] Цветаева не смогла приехать и 9 марта 1923 писала: «Дорогой Пастернак, Я не приеду, — у меня советский паспорт и нет свидетельства об умирающем родственнике в Берлине...» (там же. С. 237).

215. М. И. ЦВЕТАЕВОЙ

20 марта 1923, Берлин

Дорогая Марина Ивановна.

Вы видели, Вы слышали это? Призовите на помощь Ваше родное воображенье и представьте себе жизнь со всеми ее странностями и непорядками. Осмотритесь в этом представленьи: в нем найдите объясненье моего сдержанного величанья Вас и дикого этого запозданья. Увы, даже и это письмо преждевременно и пронесено тайком, под полою. В чем же дело? Пройдет время, которое не будет принадлежать ни мне, ни Вам, пока станет ясно моей милой терзающейся жене, что мои слова о себе и о Вас не лживы, не подложны и не ребячливо-простодушны. Пока она увидит воочию, что та высокая и взаимно возвышающая дружба, о которой я говорил ей со всею горячностью, действительно горяча и действительно дружба, и ни в чем не встречаясь с этой жизнью, ее знает и ее любит издали, и ей зла не желает, и во всем с ней разминаясь и ничем ей не угрожая, разминовеньем этим ей никакой обиды не наносит. Это роковая незадача, что мы не встретились втроем. Тогда от этой низкой тяжбы избавлены были бы все трое. Я уверен, она полюбила бы Вас так же, как Ваши книги, в восхищеньи которыми мы с нею сходимся, без тягостностей и недоразумений. Как рассказать мне ей то, что нас с Вами связало, когда *даже и Вам* мне этого не выразить, ибо единственным выраженьем этого будет ближайшая наша жизнь в ее труде, в ее сосредоточенной тишине и в той *силе*, которую я единственно силою-то и почитаю и которая предшествует *размерам* и их творит и зарождает, которая равна быть может точке и, дыша, отепляет своею умною нежностью безмерную вселенную, развернутую, раскинутую и сдерживаемую ее теплом. Что сказать мне Вам обо всем этом, если уже и сейчас возможность писать Вам или «взяться с Вами за дело» (в чем мне пока отказано) я *заменяю* чтеньем Толстого, ну хотя бы Воскресенья, что под рукой сейчас у меня. Вы — сестра мне, — и подумайте, с какой болью я закусываю

при каждой новой строчке губы, чтобы не дать прорваться этому слову величайшей нашей мужской выразительности, дабы его горячая правда не попала в беду по моей ли малости, или Вашей молодости или по чем еще ином, как это всегда почти бывает с лучшими, с наилучшими достояньями человека.

Надо ли Вам, *такой* сестре, так по-родному хорошо знакомой со всеми секретами породистого и *нравственно*-породистого благородства (субстанция печалящая и усмешливая) говорить, что не Елена книжки — моя жена, что *то́* все ушло в катастрофу, в несуществованье[1], что существованье далось мне ценой перелома, что я учился долго и трудно равнодушью, что полюбив, не дал этому чувству расти, а женился, чтобы не было опять стихов и катастроф[2], чтобы не быть смешным, чтобы быть человеком, — и что я узнал чувства делимые, множественные, бренные и фрагментарные, не выражающиеся в стихах и их не знающие, но как бы наблюдающие человека и его сердце и их безмолвно обвиняющие. Надо ли говорить Вам, что я далеко не тот, чтобы легкомысленно над этими *призраками чувств* дающими жизнь на земле не призракам, *но живым детям,* насмеяться за то только, что они не поют и не хватают за сердце своим одиноким и неделимым и бесследным богоподобьем, а смотрят, всматриваются и размножаются деленьем. О трудно мне об этом и так, второпях. Но свято и это. Однако иначе, суше, совсем иначе, чем принято это умиленно выражать. Осенью ждем мы ребенка, это ее, бедную, и погнало домой. Вот и едем. — Марина[3], если Женя проснется, я оборву письмо и так пошлю. Этот один обман да простится всем нам троим, — он невольный, дальше поднимемся, другого никогда не будет.

Когда я прочел Ваше последнее письмо, у меня сердце сжалось от боли. Но это было заблужденьем. В следующую же минуту я поблагодарил Бога за то, что не встретил Вас летом 17 года. А то бы я *только* влюбился в Вас (и с Вами не было бы катастрофы, ибо их было бы две, а этого не бывает (т. е. у Вас и у меня)). Т. е. много бы ненависти осталось у нас по том, и такое потом обязательно бы последовало.

Письма не кончил. Опять просьба уже раз высказанная Вам. Не думайте обо мне и об ответе, они придут сами собой. Стихов до Москвы читать не смогу. Пока не напишу из Москвы, — письма́, если бы написали, не посылайте. Всего огорчительнее было бы, если бы то, что пришло от Вас, залегло и сообщилось моей жизни (*даренье* большой *нравственной* и облагораживающей силы) в от-

даленном моем выраженьи показалось чудны́м, смешным или непонятным Вам. А мне кажется, что судьба сводит нас *так* для того, чтобы кругом нас и рядом с нами не было искажений, обманчивости, измен. До свиданья. — Спасибо за Эккермана[4].

Ваш Б. П.

Впервые: Цветаева. Пастернак. Письма 1922–1936. — Автограф (РГАЛИ, ф. 1190, оп. 3, ед. хр. 156). Датируется по почтовому штемпелю на конверте.

[1] *Елена книжки* — Е. А. Виноград, адресат стихов «Сестры моей жизни», весной 1918 г. вышла замуж за наследника Ярославских мануфактур.

[2] Об обучении «сдержанности», «бесчувственности», «холоду» и приобретении «объективности воззренья» во избежание душевной катастрофы, пережитой в 1918 г., Пастернак писал в письме жене № 230: «Но если бы я просто покорился своей природе <...> я бы недосягаемую книгу написал тогда <...> но <...> насквозь изнизанная влюбленными стихами, как роза — скрипучестью и сизыми тенями, — *ты неизбежно бы досталась другому*».

[3] Это первое употребление имени *Марина* без отчества. В письме 9 марта 1923 г. Цветаева просила: «...во-первых, освободите меня в обращении от отчества: я родства не помнящий! во-вторых, подарите мне Ваше прекрасное имя: Борис (княжеское!)...» (М. Ц. Собр. соч. Т. 6. С. 240).

[4] Цветаева 11 марта 1923 просила Р. Б. Гуля купить в Берлине и подарить Пастернаку перед отъездом «Разговоры с Гёте» Эккермана (там же. С. 524).

216. Я. З. ЧЕРНЯКУ

12 июня 1923, Костино

Дорогой Яков Захарович!

Так и не удалось нам свидеться в городе. Но это можно и нужно поправить. Соберитесь как-нибудь к нам на воскресенье. Очень удобный поезд отходит с Ярославского вокзала в 12.45, однако проверьте. Ехать надо за Пушкино до станции Братовщина Северной железной дороги. Тут слезете и пойдете через село «Братовщину» в деревню «Костино», Вам всякий дорогу укажет. Живем мы в крайней, последней избе по деревне «у Сергея», так спросите. Изложение этого маршрута кажется отбивает охоту ему последовать. Впечатленье это обманчивое. Трехверстного пути Вы и не заметите, тем более что с этого поезда у Вас всегда будут к нам попутчики, а может быть и знакомые. Просим с супругой, если она хороший ходок и эти три версты ее не пугают. Если Вам улыбается приехать в большем обществе, сообщите, пожалуйста,

все эти сведения Косте и Нине Всеволодовне Локсам, которых я тоже очень хотел бы видеть и все равно наверное на одно из воскресений законтрактовал. Вы можете в облегченье розысков созвониться в городе с братом, Александром Леонидовичем (11-66) или же с Ник. Ник. Вильямом (1-92-87), и поехать с кем-нибудь из них. До свиданья. Крепко жму Вашу руку. Сердечный привет Вашей жене.

Любящий Вас Б. Пастернак

12/VI. 23

P. S. Если можете, привезите, пожалуйста, последний номер «Печати и Революции» и, если Вы располагаете и этим журналом, то, хотя бы на время, и «Красную Новь».

Впервые. — Автограф (РГАЛИ, ф. 2208. Новое поступление).

217. П. С. КОГАНУ

Конец ноября 1923, Москва

Глубокоуважаемый и дорогой Петр Семенович!

У меня до Вас просьба, личная, настоятельная, горячая. Я знаю Вильяма, знаю его дело[1] и считаю своим долгом не перед ним только, а также и перед Вами поставить Вас в полную известность о том, как смотрят<ся> подобные происшествия выходя из ведомственной обстановки, попадая на открытый воздух и доходя до чьего-нибудь непредвзятого сознания, — в данном случае хотя бы до моего. Если его исключенье претендует хотя бы отдаленно на какой-нибудь смысл, то таковой мне представляется разве только вот как. Дореволюционный порядок блистал парадоксами произвола. Революции надо за это мстить. Если бы она мстила бы только тем, кто этой мести заслужили, то это было бы *не вполне* произвольно. В произвольности надо эти образцы превзойти. И вот из людей, по несчастью знающих один иностранный язык, неумеренно любящих просвещение, и, о ужас, даже по внешности англоподобных, надо наудачу кого-нибудь выбрать, разъяснить (ведь даже Сенат ни одной своей чепухи не оставлял неразъясненной и недообоснованной), и выкинуть, тем более, что как всегда в России — это временно, завтра будут другие порядки, и Вильям будет выставлять сам, как неп*, как спец,

* Разговорное, вместо: «нэпмен».

или еще как кто-нибудь. Неужели никогда у нас не проснется вкус к широким, большим, временным перспективам и мы все будем «делать ошибки», «не боясь в них открыто сознаваться»[2]. Как блестяще! Пишу Вам так, зная Ваши взгляды и помня то, что Вы однажды мне в разговоре со мной сказали, будто бы у нас многого можно достигнуть, если заявлять громко о тебе известных правонарушениях.

Я был у Вас однажды в институте и вынес самое тяжелое впечатление именно от той крестьянской аудитории, которая постепенно вытесняет интеллигентский элемент и ради которой все творится. Я завидую тем, кто не чувствует ее, мне же ее насмешливое двуличие далось сразу и дай Бог мне ошибиться. Теперь же о Вильяме. Отчего не предупреждали при поступленьи? Не ложитесь в эту больницу, как только вы придете в сознанье, вас выбросят на улицу с несросшейся ногой.

Да, но это все же о Вильяме. Он не мужичок. Он не предатель. За его честное слово я поручусь, как за свое собственное. Он не в ячейке (а то бы он исключал!!). Он не гений (а то бы он жил в XIX-м или в XXI веке). Он способен, как я, как Вы, как Маяковский, как те, с кем мы дружим и кого мы знаем. Изо всей молодежи, ко мне ходившей и мне известной, выделил и приблизил я его оттого, что для него время началось не с Лефа и на нем не кончится, оттого, что он живет мыслью и культурной тягою, как дай Бог всякому.

Искренне Вас уважающий *Б. Пастернак*

Впервые: «Вопросы литературы», 1990, № 2. — Автограф (РГАЛИ, ф. 237, оп. 1, ед. хр. 96). Датируется по содержанию. П. С. Коган — историк западно-европейской литературы, критик марксистского толка, профессор 1-го и 2-го МГУ, с 1921 г. — президент ГАХН, в ведении которой находился литературно-художественный институт им. В. Я. Брюсова.

[1] Н. Н. Вильям-Вильмонт был исключен из Брюсовского института во время идеологической чистки студентов как «политически и социально неприемлемый». Я. З. Черняк 29 нояб. 1923 г. записал ответ Брюсова на его вопрос «о причинах исключения Вильмонта — талантливого молодого поэта»: «Да, тут академических причин нет (ему осталось всего полгода до окончания курса), но он идеалист, участвует во всех оппозиционных кружках студентов, в его стихах молитвы, иконы, Бог... он держится вызывающе... Я, — говорит Брюсов, — на одном заседании его отстоял, но на следующем вопрос был пересмотрен и его исключили» (Воспоминания. С. 120).

[2] Стандартные формулировки партийной пропаганды.

218. Н. Н. ВИЛЬЯМУ-ВИЛЬМОНТУ

26 декабря 1923, Москва

Дорогой Николай Николаевич!

Не балуйте и не смущайте меня Вашим молодым вниманием. Я ценю его и оживаю, встречаясь с его выражением, так оно прекрасно, то есть настолько переплетено побегами самостоятельного вдохновения и восторженности, не только мною не вызванной, но даже ко мне и не относящейся. А если я прошу оставить эти Ваши мечты не о своей, а о моей будущности, то есть тому причина. Как ни мало обязываете Вы-то сами меня к чему бы то ни было этим доверием, страху все же прибывает от него в минуты потерянности и отчаяния, когда в отличие от далекого прошлого, пугавшего меня только бесследным исчезновением неоправданного и неостановленного времени, я теперь пугаюсь и той отдачи, которую рождает эта лавина проигранных лет в среде Вашего дружеского доверия, мимо которого она прокатывается... И какого бы родного мира Вы ни касались в своих предположениях, не соединяйте Ваших планов и чаяний с моей судьбой — ни даже в справедливой мысли о нашем родстве и сходственности. Легко может статься, что когда-нибудь придется разувериться во мне. И Вы понимаете, каким неизбежным бедствием грозилось бы это строю ни в чем не повинных и счастливых мыслей, совместно со мною затрагивавшихся, в том случае, если бы неосмотрительная симпатия чересчур связала их с человеком, подверженным всяким превратностям и вдруг потерпевшим банкротство. Точка поставлена здесь с целью отстранения всяких догадок за их преждевременностью.

Обнимаю Вас и крепко жму Вашу руку. *Б. П.*

Впервые: Н. Н. Вильмонт. Борис Пастернак. Воспоминания и мысли // «Новый мир», 1987, № 6. — Автограф (собр. Е. Н. Вильмонт).

219. М. И. ЦВЕТАЕВОЙ

Март-апрель 1924, Москва

Дорогая Марина! Так странно Вам писать! Мне кажется, Вы знаете и видите все, мы никогда не начинали, мы никогда не перестанем. Живите долго, живите вечно, я только на это надеюсь теперь. Как объяснить Вам? Я мог бы простыми и строгими словами рассказать, что́ теперь со мною и как сложилась жизнь, как трудно тут. Всего бы лучше так и сделать. Но я не знаю, далось ли бы Вам то волненье, с каким бы я их сказал. Я писал бы Вам о своем житье-бытье, и чем подробнее и точнее на нем останавливался, тем чуднée и жутче было бы Вам; что я с таким усердьем себя помню. А между тем, подробно и точно писал бы я о Вас, о Вас давнишней, о Вас отдаленной, и далекой в будущем. Что Вы такое, Марина? Вы в ряду тех величайших вещей, которых можно не замечать, без угрозы обидеть их и их лишиться. Вы сердечный мой воздух, которым день и ночь дышу я, того не зная, с тем, чтобы когда-нибудь, и как-то (и кто скажет как?) отправиться только и дышать им, как отправляются в горы или на море или зимой в деревню. Только раз пять или шесть не больше слышал я в жизни другую такую незаметность, водопад существованья, грохот невымышленного мира, частый, как несущаяся конница, град отвесного, во весь рост, чутья, предполаганья, испуга, восторга, поклоненья и утаиванья, — такие звуки знакомы окнам весенней ночью. О том, как услыхал я это в предпоследний раз писал я в бытность мою поэтом. В следующий, в последний раз, я это услышал из Верст, и потом от Вас, изо всего, что от Вас шло, и за что я никогда не благодарил вовремя, как за отдаленное, всю ночь держащее тебя у окна, молодое, горделивое, немолчно играющее молчаньем, торжественно тихое одиночество далекого, далекого во-

допада. Зачем я пишу Вам глупости, они Вас за разметываемую красоту не вознаградят, и Вас не возвратят мне, если Ваше терпенье истощилось, если мое поведенье Вам в тягость и я Вас потерял. Я часто представлял себе, что было бы, будь Вы тут. Я боюсь говорить об этом, так ясно я все вижу, ничего не назвав. Но одним разочарованьем было бы в жизни у Вас больше, потому что до какой бы бледности и опущенности я ни дошел, войдя к Вам и оставшись при Вас, я бы их за собой не знал, за оглушающим грохотом полной подлинности, за счастьем и наверное недоумевал бы и огорчался, когда Вы и другие глядели бы на меня трезвыми глазами. Потому что красить Вас и Вас дополнять нечем и не к чему. И как легко бы я стал ничтожеством (для Вас неловким). Есть устойчивый, бестрепетно сторожевой порядок, порядок Верст и расстояний, без которых некуда было бы удаляться далям, неоткуда катиться их гулу. Они умнее нас. Их разорять нельзя. Я заметил, что думая о Вас, всегда закрываю глаза. Я тогда вижу свой дом, жену, ребенка, всё вместе, себя, лучше сказать то место среди них, куда я должен откуда-то вернуться и возвращаюсь. И вот с закрытыми глазами продолжаю я видеть их в какой-то их радости, в подъеме, точно приток неведомо откуда взявшихся планов или надежд влился в них, или у них праздник, и они не знают, как его назвать, я же знаю (и может быть говорю им) и имя этому празднику — Вы. Ничем у меня из головы этого представленья не вышибить. Я уже раз Вам о нем говорил. Я верю в это чутье, слишком часто оно мне является, и мое постоянное любованье Вами сопровождает. Я ему слепо доверяюсь, хотя ни понять, ни осмыслить его не в силах. Возможно, что это предчувствие какое-то, — безо всякой мистики, лишнего глубинничанья и литературы. В том, как я люблю Вас, то́, что жена моей любви к Вам не любит, есть знак неслучайный и себе подчиняющий, — о если бы Вы это поняли! Что он может значить? А Бог его знает. У него может быть только два значенья. Либо нам не суждено свидеться (ну скажем меня вдруг завтра не станет, и тогда к чему было бы понапрасну их огорчать или отчуждать). Либо же суждено нам, и в это я верю, встретиться вне всякой неправды, как бы непонятно и несбыточно это ни казалось.

Я ловлю себя на том, что говорю уже не с Вами, а о Вас с самим собой или с двойником моей Жени. Это ведь неуклюже и не касается Вас, и Вам скучно наверное, родной, родной мой воздух, насильно с воли втянутый в комнату к посторонним! Сегодня ровно год, как я сдерживаюсь, таюсь и для Вас не существую[1]. Дань

неправде ведь и эта нарочитая нищета. Мне хочется писать Вам. Я буду писать про всякую всячину, без иронии, я буду обо всем пробалтываться Вам. Это будут (если пойдут) — ровные, почти неподвижные письма. Сразу же, как только я обращаюсь к Вам, Марина, меня подымает до самого предела преданности и этот уровень длится ровно, без спаданий, головокружительно.

Ваш Б. П.

Ищите случая как с Синезубовым[2], рассказывайте о себе, передавайте все что можно, стихи же посылайте полностью, все, все, что напишете, одна Вы еще поэт под этим нашим небом.

Мой адрес: Волхонка 14 кв. 9. Прощайте.

Впервые: Цветаева. Пастернак. Письма 1922–1936. — Автограф (РГАЛИ, ф. 1190, оп. 3, ед. хр. 157). Датируется по содержанию.

[1] Предыдущее письмо Пастернака написано 20 марта 1923 г.

[2] Речь идет о встрече Цветаевой в Праге с художником Н. В. *Синезубовым*, учеником Л. О. Пастернака и участником группы «Маковец». Вероятно, через него Пастернак послал свое письмо Цветаевой, а та передала цикл стихов под назв. «Стихи к Вам», включивший в себя написанное в феврале 1923 г.

220. Ф. К. и Ж. Л. ПАСТЕРНАКАМ

17 апреля 1924, Москва

Дорогие Федя и Жоня!

Теперь и вы стали большими и взрослыми[1]. Мы как-нибудь приедем к вам, когда вас дома не будет, и спросим у горничной, дома ли gnädige Frau*. Велите тогда ей провести нас по дому, у вас, наверное, будет тихо, светло, много цветов и рояль в углу. Так как вы оба сущие ангелы, то вы, конечно, не будете так звереть друг на друга, как это у нас с Женей случается, — обстоятельство, лишающее ваш тихий брак в теплом климате при раскрытых окнах признака *настоящих* уз[2].

Что ж это вы выдумали и как это направленье называется? Да ведь вы почти независимыми будете? И путешествовать? И все повторится? И, может быть, у вас где-нибудь под диваном можно Молоди обнаружить? И Пречистенку? И Гастона с орешками?[3] Как это удивительно, что все эти десятилетья где-то (как тикающие часы) жила и сохранялась неизменная, свойственная семье мелан-

* уважаемая госпожа (*нем.*).

холическая нежность, временами казавшаяся серою, как Шура, и она все сберегла и все под ее неощутимым призором сохранилось. И теперь все это у вас.

И далекое, далекое детство, Мясницкая, Мансбах[4], Pichon, Варсонофьевский переулок, все лета со всеми дачами, скарлатина, Пречистенка, война, Уфа, революция, октябрьские бои и окопы, немецкое посольство, железный занавес блокады, голод и холод, папа в куцавейке, польский коридор[5]. — И все это опять сошлось и больше всего, если не сказать — все, — у вас, Федя и Жоня. И папа и мама у вас и их миры (там-то и теплилась все сберегшая нежность), и Лида, и скоро Шура будет, и не случайно, что не будет меня.

Ах, не сберегло меня ничто, и все, что я отдал, уже не вернется ко мне. Нет музыки и не будет. Может еще быть поэзия (Люверс), но не должно быть и ее, потому что надо существовать, а никак не ее требует современность, и придется мне импровизацию словесную также оставить, как и фортепьянную. Это печально. Это та печаль, которою была окаймлена долголетняя нежность, все сохранившая, и вот выразить ее на деле, в судьбе, пришлось мне.

Но не думайте, что я тут в каком-то особо плохом положении или терзаюсь миражем, призрачными страданьями. В таком положении и Андрей Белый, и многие еще, и веку не до того, что называлось литературой. Со всем жаром, на какой только способен, поздравляю вас. Крепко, крепко обнимаю вас обоих и целую.

Пишу в субботу на Страстной. Все убрали, и Шура с Женей стелют скатерти и расставляют куличи и пасху, яйца, ветчину. Какие глупости! А кулич с пасхой от Эйнема, который теперь называется Красный Октябрь. А на дворе снег, густой, густой. Я почти плачу, пиша вам.

Впервые: Письма к родителям и сестрам. — Автограф (Pasternak Trust, Oxford). Датируется по упоминанию Страстной субботы.

[1] 2 апреля 1924 г. состоялась свадьба Ж. Л. и Ф. К. Пастернаков.

[2] Известие о свадьбе Жозефины было встречено Пастернаком взрывом негодования, обрушенным на родителей, способствовавшим этому браку (письмо не сохранилось). Приводимое здесь обращено уже непосредственно к молодоженам. Через месяц пришло письмо сестры, посланное тайком от родителей через Лидию, где Жозефина называла причиной своего брака душевную невозможность настоящей любви после сжегшей ее отроческой влюбленности в сводного брата композитора, Владимира Николаевича Скрябина, в 1913 г. в Молодях, и воспитавшей в ней мечту о монашестве. «Мне несказанно больно за Жонечку, но и Федю мне страшно жалко, — писал Пастернак жене 22 мая 1924. — Ты подумай, все это

происходит на второй месяц этой благословленной стариками абракадабры, он сидит в банке или вернее мечется по нем, а тем временем она пишет это письмо (!) — и ждет его (?!) — но ведь и этот человек, милый и чудесный, — он тоже этой каторги не заслужил. Как это у них все происходит. Как чудовищно. Как фатальна была эта скрытность у нее! Да ведь проговорись она, у меня нашлась бы сотня советов ей и внушений, а у тебя тысяча, вместо этого одного, заверенного всеми этими — носителями цилиндров» («Существованья ткань сквозная». С. 53).

[3] Под страницей Пастернак сделал примеч.: «Это на рожденье всякого из семьи Федя такой торт приносил».

[4] Жозефина училась в гимназии Мансбах на Басманной.

[5] Перечисляются обстоятельства и события последних лет жизни в России Ф. К. Пастернака.

221. Н. С. ТИХОНОВУ

21 апреля 1924, Москва

21/IV. 24

Напрасно, дорогой Николай Семенович, обиделись Вы на меня и даже, как мне передавали, — рассердились. Взаимное сношение поэтов требует большой веры друг во друга, и если я замедлил ответом, Ваше воображенье должно было подсказать Вам какие угодно другие объясненья моего безмолвия, но никак не те, которые могут рассердить или обидеть. Вот видите, не будь у Вас сердца на меня, я прямо бы начал с извинений, а теперь же случай проводит меня прямо к Вам мимо них.

Вы спрашивали о моей поэме[1]. В начале зимы затеял я большую отчетную вещь, трезвую, сухую и немолодую, в представлении моем носились только: тон и размер, — и всего менее я стал бы звать ее поэмой, — да, затеял я, значит, ее писать и сделал глупость, показав ее кое-кому на неделе же ее первого возникновенья. Теперь этого не поправить, да и целая зима прошла, утвердив мою оплошность, и потребуются слишком длинные нитки, чтобы этот, на год отплывший, не продолженный кусок приметать к продолженью, чем далее, тем менее терпимому и предвидимому. В той же форме, которой поспособствовали слабость воли, обстоятельства и прочая вспомогательная дребедень, порция этого многословия вскорости выйдет в «Лефе», и Вы успеете ею восхититься. Вчера я держал ее корректуру и должен сказать, что по скуке и тупоумию это произведенье вполне совершенное.

Когда Ахматова про Вас сказала, будто собираетесь Вы порвать навсегда (я не помню выраженья) с писанием стихов «сю-

жетных» и «о чем-нибудь», я громко эту ее фразу подхватил и за Вас порадовался, и под налетом этой темы и закончился ночной чай у Асеева, где все мы до этого читали, радовались друг другу, сожалели о брошенных молодых наших путях, кляли отклоненья и собирались встретить утро решительно переменившимися к лучшему (то есть ставши прежними и новыми в одно и то же время).

Посылайте мне скорее все, что Вами сделано нового. Вышло ли у Вас что-нибудь (отдельным изданьем) после «Браги»?[2] Вы поэт моего мира и пониманья, лучше не скажешь, и нечего прибавлять. В литературное коловращенье я не вставился и механически с частями шестерни не сообщаюсь. Вот отчего многого я не вижу и не знаю, с чем автоматически сталкиваются другие. Жалко, что не читавши регулярно «Красной Нови», пропустил несколько Ваших вещей. Их хвалили[3]. Мне нравятся Ваши стихи в «России»[4]. Теперь вот что сделайте. Напишите точно, в каких именно номерах каких журналов Вы имеетесь, я их достану.

У меня был очень тяжелый во всех отношеньях год.

Крепко жму Вашу руку.

Ваш Б. Пастернак

Впервые: ЛН. Т. 93. — Автограф (собр. Н. С. Тихонова). С Тихоновым Пастернак познакомился у Бриков в конце 1923 г.

[1] Поэма «Высокая болезнь» была напечатана в журн. «Леф» (1924, № 1/5).

[2] Вторая книга стихов Тихонова «Брага» вышла в 1922 г.; была подарена автором с надписью: «Борису Пастернаку, великолепному мастеру и собрату — человек "Браги" и "Орды" Николай Тихонов».

[3] В «Красной нови» были напечатаны следующие стихи Тихонова: «Сами», «Колымага», «Не по часам с проверенным ходом...», «Песня об отпускном солдате», «У меня была шашка, красавица станом...» (1922, № 4, 5); «Сон в лесу», «Трактор», «Утро», «Пилоты», «Осень», «Шахматы» (1923, № 4–6); «Америка» (1924, № 1).

[4] Стих. «Дождь» («Россия», 1924, № 1).

222. Е. В. ПАСТЕРНАК

8 мая 1924, Москва

8/V. 24

Дорогая гулюшка! У тебя сегодня вероятно страшно трудная ночь. Я себе живо с болью рисую, как ты с трудом над Женичкой ворошишься, колдуешь, тихо и мучительно хлопочешь. Если ты не перешла в другое, двухместное отделенье, то много ты муки

примешь за этот переезд[1]. В конечное благополучье его я горячо верю, улыбку вы довезете оба, чудесное ваше сходство страшно усилилось в купе, когда и ты вдруг стала беленькой маленькой девочкой, чуть-чуть старше Жени и много худей. Так в деревнях сестры подростки нянчат маленьких братьев.

Трудностей дороги мы все-таки не учли, и слава Богу. Как ни горько такой вывод делать, надо все же сознаться, что при меньшей решительности и наивной смелости с твоей стороны ты бы не уехала. Удивительное чувство я испытываю, думая о вас или, лучше сказать, живо вас в окошко купе видя. Точно вы впервые стали реально существовать. Вы отделились, стали в стороне, и разлука, как закатывающееся солнце, ровно и мягко осветила вас, сбоку и как-то снизу; в таком свете я вас никогда не видал. Ну и что же. *<Осязат>ельно подлинные. *Настоящая* женщина и настоящий ребенок. Мои. Вот именно эти и такие. То есть на моем языке (на котором, когда-то начав лепетать и проговорив всю жизнь, я когда-нибудь прощусь с нею) — эти два слова: жена и сын — ничего лучшего и полнейшего означать не могли. За окошком сидели идеальные образцы этих слов, единственные их изображенья. Не знаю, поймешь ли ты, что мне невозможно вообразить себе других *моделей* этих двух слов и для других мужей и отцов. Напиши мне поскорей о переезде и как ты себя чувствуешь.

Когда мы вышли с вокзала в город, стало внезапно как-то прохладно (как летом) и темно. Няня мелкой дрожью дрожала, говоря о мальчике. Все же она видно очень привязалась к нему. Доехав до Почтамта, решил я с Мариечкой[2] к Брику завернуть. Насчет денег и видов всяких на будущее журнала[3]. Брик уходил, комната ярко освещена, заведен граммофон, по комнате перекатывается шотландский терьер и грызет изношенную калошу, в горшках цветы, Лиля в кимоно, Оля Третьякова, потом входит Маяковский, потом мы с Мариечкой и Третьяковой уходим, по дороге встречаем Асеева, Коля говорит, что в четверг через неделю я и он назначены читать в Кубу[4], доходим до Колиных ворот, расстаемся, Третьякова предлагает зайти к какому-то японскому журналисту[5], который поблизости от нас будто бы живет. Я вдруг вспоминаю, что шкафы все еще отперты, тогда выясняется, что японец в Княжем дворе[6] квартирует, я забегаю к себе, к своей радости узнаю, что няня еще не возвращалась, запираю все у себя и у Шуры, отправляюсь в Княжий двор. Разговор происходит по-английски.

---

* Уголок письма оторван.

У журналиста в гостях молодой лощеный и разутюженный дипломат из нашей японской миссии.

На стене огромная карта Токио. Несколько цветных полос, и они покрыты густым дождем завивающихся стрелок, крестами и цифрами. Цветные полосы обозначают, в какой из шести дней, что длился пожар, сгорела территория, данным цветом закрашенная. Стрелки показывают на направленье ветра. Он образовывал смерчевые воронки. Смерчей было несколько. Цифры (в тысячах) говорят о числе обугленных и неиспепеленных трупов[7]. Страшно видеть, на каких ничтожных клочках земли гибла такая тьма народу. Всего в городе сгорело 250 000. Очевидец (русский дипломат; он был в Токио во время землетрясенья и последовавшего пожара и чудом уцелел) рассказал нам о неописуемо жутком, прямо сверхъестественном по ужасу явлении. Дело в том, что ветряные воронки образовывались от раскаленности воздуха. Сила же тяги была так велика, что на воздух, кружась, поднимались горящие люди, давно уже удушенные. И чем больше они обгорали, и чем больше становился жар, тем выше и тем в большем числе они взлетали. Их было множество и, болтая руками и ногами, они производили впечатленье живых. Дико было после этого говорить о «литературе», о том, что мы думаем о «русско-японской дружбе» и т. д. и т. д. Я на два дня взял у них несколько японских журналов. Страшные зрелища разрушений. Зловещее сочетанье поэтичности пейзажа с разрушенными мостами и насыпями железных дорог. Но какая цивилизация и какое трудолюбье! Очень красноречивые картины. Надо это видеть, на словах не передать.

Сейчас лягу спать в пустой и гулкой комнате. А вы катитесь и катитесь, шибко-шибко и ты возишься с мальчиком, и страшно трудно тебе с пеленками, с кормленьем, с соседями, с криком мальчика и с их куреньем, и негде ведь лечь тебе, такие узкие диванчики, бедная, золотая моя. Но Бог тебя не оставит и мучительность перевьется со счастливостью, как именно, не знаю, но верю, верю.

Твой Боря

Сердечный привет самой старой Женичке, твоей маме. Когда будешь моей писать, непременно о поездке напиши. И вообще, поклон всем твоим. Не давай слишком долго Х<иле>[8] и вообще ничему чужому при тебе и мальчике быть.

Все о тебе расспрашивают, все говорят; только что японец не спрашивал. А то все и так нежно.

Впервые: «Существованья ткань сквозная». — Автограф.

[1] Е. В. Пастернак уехала с сыном к родителям в Петроград.

[2] Мария Павловна Гонта — жена Д. В. Петровского.

[3] Журнал «Леф», редактируемый О. М. Бриком, в котором печаталась поэма «Высокая болезнь».

[4] *Кубу* — Комиссия по улучшению быта ученых, расположенная на Пречистенке, теперь — Дом ученых. Там была столовая, где Пастернаки иногда обедали.

[5] Японский поэт Тамизи Найто. Сохранились фотографии, сделанные А. А. Вознесенским в тот день около здания ВОКСа с Маяковским, О. В. Третьяковой, С. М. Эйзенштейном, Л. Ю. Брик. На одном из отпечатков Пастернак сделал надпись: «Томитесь и знайте: Тамизи Найто» (Музей В. В. Маяковского). На следствии в НКВД в 1937 г., по словам О. В. Третьяковой, эта серия фотографий послужила вещественным доказательством для ее обвинения в шпионаже в пользу Японии.

[6] Гостиница, находящаяся в северном крыле того же дома на Волхонке, 14, где жили Пастернаки.

[7] Речь идет о землетрясении в Токио, случившемся в сентябре 1923 г.

[8] Домашнее имя Абрама Бенедиктовича Минца, мужа сестры Е. В. Пастернак.

223. Е. В. ПАСТЕРНАК

9 мая 1924, Москва

9/V. 24

Сегодня жаркий солнечный день, лето, и со двора несет теплой вонью пригретых отбросов. Встал утром с быстротою пожарного, нет действительно, — и в полчаса умылся, прибрал комнату, попил чаю, покрыл наглухо Женичкину кроватку простынями, вообще оголил комнату. — Шура ушел в Муни[1] и в ожиданьи его я вознамерился в том же пожарном темпе, который меня подымает, молодит и избавляет от всех страхов, заняться переводами для Укриздата[2], которые все же исполню, урывками, на затычку. Как вдруг — Горбунков![3] К сожаленью я не успел предупредить соседей, что на все лето я перестаю бывать дома, и этот хлопотливый и юркий ценитель времени успел ко мне проскочить. Пожарный сбор на нынешнее утро был сорван. В 12 часов пришел Шура и вскоре та дама, которой нужен бандаж. Дала червонец. Между прочим ей и люлька понадобится. Сколько она нам стоила, и что у нее за нее взять? Потом мы занялись зимними вещами и коврами и провозились с ними до 3-х. Все выбито и лежит на диване под старой простыней. Купим нафталину и сложим сегодня же. К няне приехала дочка, славное безмолвное и смущающееся существо. Они внизу сидели и стерегли вещи. Няня попросила по-

зволить ей одну ночь тут переночевать. Я, разумеется, позволил, что несколько мне испортило отношенья с Шурой, которого ковры, жара и пыль истомили. Потом случилось недоразуменьице с обедом. Я еще с Кубу не сорганизовался, — там надо еще вперед заявленье на обеды подать и разрешенье получить. О нежеланьи Паши и Ю<лии> Б<енционовны>[4] давать свои примусы в пользованье няне я ничего не знал. Вскоре эта тайна всплыла наружу во всей мгновенной остроте и пикантности. Устроились по-студенчески и пообедали тремя сортами хлеба, яйцами и колбасой. К вечеру может быть будут котлеты, но не няниного изготовленья. Сейчас отнесем белье китайцам. Потом займемся начинкой сундуков. Пианина я еще не передвинул в вашу комнату и если не говорить о пожарной прыти, то в остальном все складывается не сразу так, как я думал. Но на чтенье в Кубу я согласье дал[5]. Выступлю с Колей. Женечка, начинаются звонки по телефону, — всякие знакомые и знакомыя, то, чего с тобой не бывало. При тебе была другая черная и оборотная сторона, нежели это. А теперь, как когда-то, когда я был одинок и что-то делал: тогда, до встречи с тобой, главная трудность и опасность (я их боялся) была в этих вдохновенных звонках.

Целую.

Впервые: «Существованья ткань сквозная». — Автограф.

[1] Московское управление недвижимым имуществом.

[2] Переводы современной революционной немецкой поэзии для сборника, который составляли Петровский и Петников. Антология «Молодая Германия» вышла в Харькове в 1926 г. В переводе Пастернака представлены 11 авторов и более 20 стихотворений.

[3] Митрофан Петрович *Горбунков* — знакомый Пастернака по Марбургу.

[4] Соседки по квартире Прасковья Петровна, домашняя работница Устиновых, и Юлия Бенционовна, сестра Л. Б. Фришман.

[5] Вечер в КУБУ состоялся 15 мая 1924 г. О том, как он прошел, см. письмо № 224.

224. Е. В. ПАСТЕРНАК

14–15–19 мая 1924, Москва

Среда–четверг–понедельник

Милая белая девочка! Я сегодня взглянул на ту карточку, где ты с Бетти[1] снята, и не мог без улыбки глядеть на твой большой лоб. Чудное, достойное, непреднамеренно прекрасное лицо. Сбыточна ли твоя поправка, можно ли тебе будет отдохнуть и попол-

неть? Об этом я ничего не знаю. Говорил сегодня с Х. (у меня рука не подымается полностью писать это дикое, нечеловеческое имя, придет же фантазия так называться![2]). Он острил, говоря про тебя и мальчика, — это хорошо, что в природе остроумие не иссякает, но замечательно, как мало наблюдательны все ваши, кроме мамы, и как не успели они по моей сдержанности и подчеркнутой простоте во всех таких случаях угадать, насколько мне эта фамильярность не по душе. И сквозь этот специфический тон ничего я не узнал и не увидел о вас обоих.

Второе от тебя письмо получил. Это хорошо, что ты меню приводишь. Вот мне в этом отношении и легче стало на душе. А мама лучше тебя пишет, расцелуй ее за лирику. Просто не знаю, что дальше будет и что нас ждет. Говорю о квартире, об излишках и ненужностях. Неделю об этом не думал, забыл. Сейчас Василий Иванович костяшками пальцев постучал в дверь, и завел речь и напомнил, нехорошо, сухо. Я как с неба свалился[3]. Увы, этими устами старости, боюсь не говорила бы ими сама грядущая действительность. И вновь оглянулся кругом. И струхнул. Это страх чуждого, ненужного. Страх полусмерти. А вот другой есть страх — бессонный, возвышающий, родной. О, гулюшка, я все эти дни говорю с твоей душой или *со своей о твоей*. Какая неделя! Все знаю, все вижу, и от непрекращающегося *сопутствованья* этих духов жизни душа гудит. А ты не захочешь, ты не уверуешь, ты возревнуешь и тогда — тогда что станется с белым моим миром в двух лицах под одним именем? Что станется с Евгеникой[4]. Но я про все тебе напишу, про всех размеров вещи, тут и маленькое велико и великое мало.

Во-первых. В Доме Ученых редкостная столовая, с пальмами, с фонтаном, стеклянным потолком, сквозняками и бассейном. Ослепительные столики, на каждом по миске со звонкой свежею красной капустой. Обед из двух блюд стоит 45 коп. Я имею право брать сколько угодно талонов.

Раз повел Шуру с Ириной. Приходят с судками и набирают по 4 по 5 обедов на дом. Вывод: в будущем году избавимся от кухни. Следовало раньше сделать. Думал о том, как свести все до одной комнаты так, чтобы ты могла работать. Вывод. Буду уходить в Университет или в Исторический музей и работать в библиотеках. Можно хоть целый день.

Получил от Цветаевой стихи[5]. Ах какие стихи, Женя! Вильям, Дмитрий и др. без ума от них. Помнишь, как я тебе и Шуре

«Версты» читал? Они изумительны, я их в «Современник» отдал, наверное Коля Вильям о ней статью в журнал даст[6]. В четверг с утра прошел на слух Высокую Болезнь для вечера. Многое оттуда выкинул и сжато сильно получилось. Вечер был назначен Колин (Асеева) и мой.

Вдруг среди дня мне представилось, что Коля не придет, и вечер тощ будет (рассказа я своего из редакции не мог получить[7]). Тогда решил Колей заняться и на всякий случай наготове быть, чтобы самому его прочесть. Ах да, важное упущенье. К вечеру еще вернусь, теперь расскажу, что сказать забыл, — а важно. Во вторник вечером, после девочек Энгелей[8] и предшествовавших им деловых посещений странный, сияющий и почти нездоровый по своей светлой взволнованности пришел Коля (Асеев) с виновницей своей перемены. Она похожа на Бубчикову жену Фросю[9], ужасно хорошенькая, т. е. она того склада и разряда красоты, как ты. Почему-то они находили, что я их плохо принял и не был им рад. Это неправда. Это может быть оттого, что я с ними был прост, как с самим собою. И опять это оттого, что с Жоней, с Месхиевой[10], с тобой, с Фросей (ну, Фросю я тут, ты пойми, ради точности называю, то есть как один из образцов этого разряда сердечно и задушевно прекрасного, исправного облика) так вот, говорю я, в мире этих обликов я чувствую себя родным, товарищем, братом, мужем, тут слушаешь и ждешь, что скажут и слушаешься, тут нет охоты, тут не ловишь случая, нет грозы, нет судьбы, нет неволи. Тут царство доброй воли, широкой, прозрачной, тут нежность и благодарная забота и способность чувствовать за другого. Тут я выбрал тебя и стал жить семьей.

Теперь возвращаюсь к четвергу.

Уже приближалось время в Кубу идти на выступленье. В тот день у нас бездействовал телефон и с нами не соединяли. Вдруг является Коля, в лице ни кровинки, и рассказывает, что с ним в одном учреждении днем случился сердечный припадок, он упал в беспамятстве на пол и очнулся в какой-то амбулатории, куда его из учреждения привезли. Я сейчас же его уложить хотел и разумеется и слышать не пожелал ничего о его выступлении, пообещав все собой покрыть. Он же все-таки мысли о вечере не бросал, хотя у него ничего с собой не было, а у меня все его книжки неизвестно кем растасканы, помнить же своего он ничего не помнил. И вот уже к 9-ти часам, когда начинать нужно было, попросили Дмитрия съездить к Брикам за книжками для Коли. Вечер хорошо прошел, хотя я его провел в полнейшей рассеянности, не помня себя, не видя публики и о своем голосе не думая, а все время неотступ-

но следя за сидевшим рядом Колею, как бы что с ним не случилось. Ах, раскатился я тебе не это рассказать, а что-то другое, ну да теперь и для рассказыванья оснований нет. Однако если когда-нибудь спросишь, при свиданьи расскажу. Ах как письмо залежалось! Это свинство, что пятый день оно лежит, ведь ты поди привыкла уже к частым письмам.

Женичка, я хорошо соскучился по тебе, но это ничего не значит. Надо нам обоим помолодеть. У Шуры с разрешеньем все устроилось (без залога поедет) и деньги ему переведут[11]. Сегодня пишет Эренбург, что в «Беседе» (Заграничный журнал Горького) рассказ пойдет мой (тот же, что и в Современнике, и с тем кончиком, который...[12]).

Золотая моя, я пишу тебе черт знает как, то есть я дописываю давно написанное и нарочно сейчас, потому что ждет меня на бульваре Вильям, и собственно я должен был бы уже быть там. Таким образом я письмо сегодня же и сейчас отошлю и в переписке не станешь ты для меня Жонею, мамой, папой и теми, которым сердечнейшие письма в запечатанном виде годами лежат у меня на столе. Ну прощай и не обращай внимания на конец письма. Впрочем долг платежом красен; ведь и ты небось носом клевала, мне писавши, и конец твоего письма полон милых, кровно родных, хорошо знакомых зевков.

Крепко тебя обнимаю, крепко, крепко, крепко, и по счастью для тебя, без последствий. Ах, скотская наша жизнь! Ну поцелуемся.

Твой Боря

Впервые: «Существованья ткань сквозная». — Автограф.

[1] Подруга Е. В. Пастернак по Высшим женским курсам.

[2] Домашнее имя мужа сестры Е. В. Пастернак — Хиля.

[3] В. И. Устинов, сосед по квартире, напоминал о необходимости хлопот по вопросу о выселении. «Но эта неизвестность насчет дома тучей повисает надо всем, — писал Пастернак жене 11 мая 1924. — «Как это возмутительно! Я хочу пойти к К<аменеву>, но ты знаешь, как мало сбыточно это желанье. <...> Просил Левина о К. Неудобно это видно ему, но говорил не об этом, а о том, "что получилось бы, Боря, если бы К. всеми квартирными делами занимался?" И его правда. Посоветовал написать К. письмо». В это время Каменев был председателем Моссовета.

[4] *Евгеника* — наука о наследственной передаче умственных и физических качеств; здесь — метафора, объединяющая двух членов семьи «под одним именем» Евгению и Евгения.

[5] Пастернак недавно получил циклы стих. «Провода», «Несколько слов» и «Ариадна», написанные в марте — октябре 1923 г. и вошедшие потом в книгу «После России» (1928).

[6] Пастернак опубликовал подборку стих. Цветаевой в «Русском современнике», но журнал не принял вступ. статьи Н. Н. Вильяма-Вильмонта.

[7] Пастернак собирался прочесть рассказ «Воздушные пути», рукопись которого была отдана в журн. «Русский современник».

[8] Ада и Вера, дочери Ю. Д. Энгеля.

[9] Ефросинья Ивановна Новикова — жена И. Э. Саломона, бывшего ученика Б. Пастернака.

[10] Актриса Варвара Владимировна Алексиева-*Месхиева* на вечерах в Доме печати читала стихи Пастернака.

[11] А. Л. Пастернак получил разрешение на поездку в Германию.

[12] Эренбург из Берлина сообщал, что рассказ «Воздушные пути», посланный в журнал «Беседа», издаваемый М. Горьким в Берлине, пойдет в очередном номере. Пастернака обрадовало известие об этом, потому что в «Беседе» текст печатается целиком, *с тем кончиком, который* был снят цензурой в «Русском современнике». Но в последнюю минуту рассказ был вынут из «Беседы» по настоянию Ходасевича, дезинформировавшего Горького о его публикации в «Лефе». Полный текст «Воздушных путей» остался неизвестен.

225. Е. В. ПАСТЕРНАК

20–21 мая 1924, Москва

Дорогая Гулюшка. У нас стоят холода, у меня кончились деньги, Шура приступил к добыванию паспорта[1], время идет, и один я бездарен. Что у тебя слышно? Я боюсь, ты вспыхнешь и рассердишься, но бывают же чудеса: удается ли тебе рисовать временами? Пофилософствуй чуть-чуть со мной. Я сквозь твои мысли положенье вещей лучше увижу, нежели в прямом изображеньи.

Я очень хочу, чтобы ты работала, без искусства тебе не жизнь, и ты меня понимать бы перестала. Говорю так прямо и неделикатно как раз потому, что работать ты будешь. Нам надо будет это иначе, не по-мещански устроить, не так, как представляла ты себе (две прислуги). Опереться надо будет на организацию, на Кубу. Потом не мешало бы тебе на короткое время мгновенно и сильно, но только, пожалуйста, в идее, в какого-нибудь мальчика влюбиться вроде тех, которых столько у тебя было в прошлом. А то ведь до сих пор не знаешь ты, что у меня с тобой, зачем я тебе нужен, и что ты составляешь для меня. Удивительное дело, я мог бы тебе всего этого не говорить, тем более, что фактов никаких нет, но меня так печалит туман, временами похожий на полусмерть, которым ты, неуступчивая и вспыльчивая, по моей уступчивости у меня дышать научилась, что я и о возможностях фактов готов говорить как о свершившихся.

Как рассказать мне тебе, что моя дружба с Цветаевой один мир, большой и необходимый, моя жизнь с тобой другой еще бóльший и необходимый уже только по величине своей и я бы просто даже не поставил их рядом, если бы не третий, по близости которого у них появляется одно сходное качество — я говорю об этих мирах во мне самом и о том, что с ними во мне делается. Друг друга этим двум мирам содрогаться не приходится, но им часто, если не ежедневно приходится вздрагивать от десятка виденных женских лиц, от безразличия именно красоты, от ее повседневности, рассеянности и бесконечности. То, что у нас иногда бывало, тому не пример. Смешны были те лица, которые тебе известны, и может быть нарочито смехотворны. Может быть с бессознательным умыслом я позволял этой третьей стихии грозиться только столь игрушечными средствами, чтобы не причинять боли тебе в себе самом, чтобы роскошью и прихотью являлись те размолвки, на месте которых был бы естественен только смех, заразительный, детский, как на комедии. Но ведь не всегда так будет. В верхнем этаже номеров за окном каждое утро умывается невозможная красавица, я на нее не гляжу, но не видеть ее нельзя, солнце разыскивает ее первую и бьет прямо в нее, она вся крупная, золотистотемная, и все это о себе знает и это знанье заставляет вольно и ровно смеяться всю ее. Я ее не знаю и у нее не был, ничего еще нет и не будет, но и дальше говорить мне ничего не хочется. Я вдруг перехватил твой взгляд, давний и знакомый, страдающий в гораздо слабейшей мере, нежели просто преступный и убийственный по отношенью ко мне. Ты чудная, Женя, такая одухотворенная и белая по существу и замыслу Творца, и у него мною добытая, я так бы преданно и просто мог бы любить тебя и люблю, но ты со мной, в моих руках такая самолюбивая, узкогрудая, корыстная, такая чужая, такая ненавидящая. И как ты распорядилась мной! Как оскорбительно легко, без пользы для себя. Зачем, зачем?

Среда

Когда я вчера кончал письмо тебе, Гулюшка, то последние слова прямо со страстью вырвались у меня к тебе, моя тихая без-без-без-без-брежная прелесть.

О радость моя, чего тебе стоит быть такой, какой ты рождена. Милое мое туманящее, колеблющее и к горлу подступающее сокровище, ведь это ты можешь быть и должна быть вечною моей умывающейся красавицей, белой, ясной, большелобой, той, от которой я не отступил в стихи. Той, чудная калевушка[2] моя, какая ты есть, какая в Женины глаза вложена, какая в гробу будет и в

моем загробном воображеньи. Стань такой, умоляю тебя. Будь собой, не останавливайся в душевном росте, не связывай колебаний, присущих тебе как звуку из звуков и волне среди волн, с тем, что ты среди людей составляешь, и что между ними и тобою делается. Вернешься, давай будем враждовать, давай будем беспощадны друг к другу — но без барабанной дроби и разговоров. Давай будем мгновенны, что хочешь, но будем опять собою. Давай будем знать, кто мы такие. О, это надо знать, Гулюшка, и ты это знаешь меньше, чем я. —

Я получил письмо твое с рисунками, милая. Не жалей мальчиковой дырочки[3]. Бог даст все хорошо будет, живи в Петербурге и о приезде сюда не думай. Так надо. Пишу, а за окном какая-то вьюга водяная, дождь со страшным ветром, холодно и у нас. Что с того, детка, что я еще ничего не написал. У меня только еще глаза раскрываются и уши для дела. О чем твержу я тебе все это время. Чтоб не верна была ты мне, а верила в меня и мне верила. Это одухотворяет, а первое мертвит. А ты от меня требуешь обратного. Начал я это письмо тебе почти что плача. Да ведь и доведет до слез ужасное сознанье того, что́ в твоем лице дано мне, и что́ ты с лицом и дареньем делаешь. Точно вас две. Разве не правда?

Утро. 5 градусов по Реомюру. Следовательно, у вас снег.

Хорошенькая погодка. Женичка, подкинь мальчика Александре Николаевне или Оле Фрейденберг, но чтоб не знали, что наш, затем разведись со мной по всем статьям и правилам, и потом скорей, скорей приезжай ко мне, я люблю тебя, и нельзя иначе, ты из этого сделана, да будут на веки вечные прокляты дураки, которые кругом, и это сделали, — детка, мы переживаем социальную драму. Или вдохновись, напитайся в одиночестве музыкой, греческой прелестью и внимательностью христианства и тогда приезжай с мальчиком, осенью, но обязательно в сияньи вышеописанного мира, непременно в нем, я волосы осмотрю!

Прощай, подруга. *Твой Б.*

Впервые: «Существованья ткань сквозная». — Автограф.

[1] А. Л. Пастернак собирался поехать в Германию к родителям.

[2] Калева, калевка, калевочка — кроха, крошка, зерно, пылинка (Словарь В. И. Даля).

[3] В письме Е. В. Пастернак 17 мая 1924 высказывала свои волнения по поводу Жениного рахита: «Бедный Женя, бедная дырочка на его головке, через неделю ему 8 месяцев, а у него ни одного зуба, и он еще не сидит сам» (там же. С. 43).

226. Е. В. ПАСТЕРНАК

25–26 мая 1924, Москва

Дорогая Женюра, ради Бога не придавай значенья иным моим быстрым словам. Я знаю, бывает только шевельнется чувство или мысль, тут же и брякнешь и часто черт знает что. И ничего кроме огорченья ни для кого не получается. Идиотские мои слова насчет рахита, прорвавшиеся прямо над твоим письмом[1] (я только получил его и читал) удивляли и пугали меня уже через минуту после их написания. Я весь день думал о маленьком страдальце. Я наводил справки, не у докторов, а у матерей. Я так себе дело представляю.

Было ошибкой, когда ты боялась простудить его зимой, перенося в Шурину комнату, и не переносила и не проветривала спальни. Воздух в ней был всю зиму, как в теплице, — неподвижный, рыхло-сухой, и пеленки сушились. Этим он дышал и не умер, и вот он уже у начала большого и тоже не смертельного пути, где добываются непропорционально большие головы, кривые спины, искривленные ноги. Напрасно мы пугались его простуд, если они и грозили смертельностью крошке (не думаю), то во всяком случае не несчастным пониженным прозябаньем средней руки. А ничего нет хуже этого. Надо сказать прямо — эту зиму рахитом страдала ты — рахитом сердца — да и я конечно. И все это было отвратительно.

Спешу утешить тебя, рахит в форме настоящей английской болезни был у Ирины Николаевны, — правда страшных усилий и нескончаемой возни стоило родителям ее вылечить. В легкой форме был рахит и у Глебушки Столярова[2]. Она вот от чего предостерегает. Ни в коем случае не сажать и не ставить до того, как самостоятельно не сядет в кроватке и не пойдет. Не способствовать пробужденью этих способностей и не ускорять их появленья. Это может повести к кривизне. Все время держать на воздухе (причем открытые окна или даже терраса не годятся, тут нужно движенье воздуха, но не на солнце). Это все говорят. Но ты вот пишешь, что холодно, и, вспоминаю, как с погодой считалась. Вероятно надо быть смелее, и я бы тебе советовал в любую погоду, то есть уверуй в воздух, как в Бога, доверь ему ребенка, и если он его убьет, что воздух лучше знает, что надо, лучше смерть, но не рахит. Гулюшка, теперь я не на ветер говорю и глубоко чувствую каждое слово. Ты не пугайся их и не сердись. Потом о питаньи. Да, и значит о воздухе: целый день пусть лежит, пускай это законом для тебя будет, порасспроси насчет нянь, возьми себе, чтобы всегда при нем

была; Паня и Феня, верно, не годятся[3], потому что они через тебя о нем заботиться будут, а это посредство уже вредное: ты ни о ком заботиться с чутьем неспособна, потому что лишена даже простой здоровой заботы о себе, то есть ты жизнь за кого-нибудь положишь, но без проку для кого бы то ни было, если не в ущерб. Мне приходится это прямо говорить, потому что все-таки мальчик и мой тоже и ведь я люблю его и жалко мне.

Ах, Женичка.

Потом о питании. Говорят, овощи надо и бульоны, а зимою рыбий жир с фосфором. Но опять не врачи. Баландера я расспрошу[4] и всего бы лучше, если бы ты написала, что Абрамович посоветовал и предписал[5], а Баландер бы мне по этому сказал, что это у него, в каком градусе и как ему советы твоего врача нравятся. Однако главное (если в твоих это силах), выдели из советов чрезвычайное, существеннейшее от попутного и бей по первой точке неотступно и беспрестанно. И не бойся, главное, решительности в его судьбе. Правда, ведь это лучше одной только скупой и скудной сохранности.

Оставанье на земле само по себе никакой радости не составляет.

Ах, Гулюшка, пишу тебе и все время думаю: ведь это собственные её слова, столько раз мною слышанные. Как я увлечен теперь тем током в себе и кругом себя, который при поверке оказывается тем ритмом, который не только тебя сложил, но еще и в размолвках нынешней зимы просыпался в тебе и свое достоинство от рахитов отстаивал.

Женичка моя, нежная, нежная девочка, и моя прелесть, как привык я отстранять эти простые приливы умиленного восхищенья тобой, оттого верно, что они к добру не приводили и восставали в твоем лице на весь мой склад души, на образ мыслей моих. И теперь, когда одного представленья живого о тебе достаточно, чтобы я всем существом заволновался, я гоню от себя это волненье, тогда как на нем одном, на подобных-то только состояньях и держались все эти влюбленья мои, и теперь, дай я этим постоянным, готовым ежеминутно объявиться налетам, свободу и власть над собой — да мы б роман имели неслыханный, чудная моя, изумительная Изольда! Милая моя прелесть, как я боюсь, что ты уже успела мне ответить на одно из этих ежедневных за последнее время писем, начавшихся после перерыва. Как я боюсь, что ответила уже и что твой ответ меня огорчит. Не огорчай меня, не надо, прошу тебя. Думала ли ты обо мне и помнишь ли меня?

Понедельник утро.

Боже мой, я вижу капочку, как везли его на вокзал, в трамвае, когда он потолок разглядывал! Что за сокровище! Дурацкое чудное мурло! И неужели не будет он здоровым, удачным ребенком! Женичка, напиши мне подробно, что доктор приказал. Я уже говорил тебе, зачем мне это надо. Теперь еще вот что. После этого письма я с неделю тебе писать не буду, то есть ты писем не жди и не удивляйся, если их не будет. А это нужно так. А то пишу все то же, и так как несмотря на всю бедность писем содержанием, я все-таки немного волнуюсь за ними, то это отражается на всем дне, и иногда я опять становлюсь мнительным и опасливым под влияньем написанного письма.

Скажи мне слово ласковое, милая моя Женюра. *Твой Боря*

Впервые: «Существованья ткань сквозная». — Автограф.

[1] Имеются в виду слова из письма 24 мая 1924: «Этот рахит еще более чем огорчает, еще и *оскорбляет* как-то и обижает меня и тебя (во мне). Ты менее щепетильно и мелочно что ли к нему относись, т. е. веселее, беспорядочней и хладнокровней. А то я боюсь, что бережно леча маленький рахит в слабой форме, мы придем к большому в сильной, а бережно пользуя от этого, подымемся ступенью дальше. Лечить его ты должна своею молодостью и красотой и их в себе поддерживать, то есть в настроении, в беспечности и уверенности. Ты должна нравиться его судьбе и воздуху, которым он дышит, то есть природе и тогда они будут считаться с тобой» (там же. С. 54).

[2] Сын Веры Николаевны и философа Михаила Павловича Столяровых.

[3] Прислуги в доме у матери Е. В. Пастернак А. Н. Лурье.

[4] Абрам Осипович *Баландер* — детский врач, женатый на племяннице Р. И. Пастернак.

[5] *Абрамович* — врач в Петрограде, которого Е. В. Пастернак пригласила к сыну.

227. Е. В. ПАСТЕРНАК

27–28 мая 1924, Москва

Нежно любимая моя, я прямо головой мотаю от мучительного действия этих трех слов, — я часто так живо вижу тебя, ну точно ты тут за спиной, и страшно, страшно люблю тебя, до побледненья порывисто. Ах какое счастье, что *это ты* у меня есть! Какой был бы ужас, если бы это было у другого, я бы в муках изошел и кончился.

Твой особый неповторимый перелив голоса, грудной, мой, милый, милый. И когда ты улыбаешься и дуешься в одно время, — у тебя чудно щурятся глаза и непередаваемо как-то округляется подбородок, ты знаешь, про что я говорю, нет? — Ну как тебе это сказать. У тебя среди документов такая есть карточка.

Женя, Женечка, Женечка!

Ты слышишь? Женечка!

Но, рыбка моя, золотая моя любушка, сейчас эти трамваи пройдут и пароходы отвоют, улучи миг затишья, вслушайся, Женичка, слышишь, как я с тобой шепчусь. Милая, милая моя сестра, ангел и русалочка, ты всего меня пропитала собою, ты вместо крови пылаешь и кружишься во мне, и всего мне больней, когда раскинутыми руками и высокой большой грудью ты ударяешься о края сердца, пролетая сквозь него, как наездница сквозь обруч, о сожмись, сожмись, мучительница, ты же взорвешь меня, голубь мой, и кто тогда отстоит твою квартиру?!

Ненаглядная моя голубушка, у меня пересыхают губы от ласкательных слов, скользящих и свищущих по ним. Я беззвучно смеюсь и грущу, и пирую, и нравлюсь дождю, лепеча тебе весь этот вздор, и широко, замедленно долго, беззаветно и безотчетно, как глубокую и большую реку держу тебя в руках и дышу в тебя и дышу тобою. Красавица моя, что же ты все худенькая еще такая! Милое аттическое бесподобие мое, не увечь моей ширящейся, как туман, особенной, высокой, боготворящей тебя, возвеличивающей тебя страсти. Здоровей и поправляйся, толстей, толстей, радость моя! Нельзя, недопустимо быть щепкой при таком голосе, при таких губах, при таком взгляде.

За волною этой нежности к тебе был возвращен на землю стуком в дверь. Подали твое письмо. (Это то, где о моем отце и заглушенных и высоких нотах[1]). Как ты права во всем, моя умница, да разве сам я всего этого не знаю! Но вперед вот о чем. У тебя голова кружится при выходе на улицу и тошнит?!! Как это понять, кровно родная моя прелесть, прелесть, прелесть! Напиши мне толком, что в Петербурге, для чего ты там и как понимаешь смысл и пользу твоего тут пребывания? Не решай опрометчиво, но, если ясно тебе, что для тебя там резкой и полной поправки не будет, то золото мое, какого черта ты там будешь маяться. Или что Сретенку собою красить?[2] Но не стоит она того. Я и не знаю ее, да знаю. Тогда мигом собирайся назад, да дай только заблаговременно знать, надо

будет няню сплавить (представь, этот мост вздохов все еще в Венеции[3]). А я тогда выясню насчет санатория хорошего с ребенком, это лучше всего будет, да иначе и нельзя.

Богом заклинаю тебя, друг мой, толком мне об этом напиши, как на то у тебя все данные имеются: глубина и здравость взгляда, сужденья и соображенья. Напишешь? И о работе. Обязательно надо тебе работать. Но вот как с няней быть? Не с этой, разумеется, с Евдокимовной, чтоб ей ни дна ни покрышки, а вообще: как и кого к ребенку искать? Разумеется *только* няню. Никаких этих «одних» прислуг. Приспособлена ли Феня? Если, по зрелом обсуждении, тебе она представляется в качестве няни подходящей, мы экспроприируем ее[4], и от всех своих страхов я отказываюсь, мы ее просто в плен возьмем, и передачи ей будем допускать только заочные, через сновиденья или же через нас самих. Гулюшка, это письмо твое меня страшно опечалило. Радость моя, неужели ты меня не любишь? Ты так привыкла к словам этим, к мысли самой, что тебе трудно уже отличить действительное от допустимого? Так ли это?

Но как же быть тогда, мой друг? Ты только не грусти и не скучай, лапушка. Ты знай, что я Бог знает как способен закапываться в мусор повседневности, жалкий, скудный и бедственный, и тогда я про все забываю, тогда сердце затихает у меня. Ничего я тогда не помню. Я враг тогда себе и всему своему. И говорите вы, милые мои глаза, что я и ей врагом был, душе в вас светящейся, ей, неотторжимо милой моей, моей жене? Грусть моя и прелесть, скорей, скорей хочу сказать тебе, что горячо люблю и всегда любил тебя, и только часто от тебя отступался, и не верю, чтобы вовсе это не нужно было тебе, слишком большое было бы это горе. Я отвезу письмо сейчас на Николаевский вокзал[5]. Теперь уже 7 часов, ускоренный отошел верно уже, но думаю, что и с 9-ти часовым письма ходят. Это чтобы поскорей попасть к тебе, и обнять тебя, и с тобой поговорить. Прости, сам вижу, — письмо бестолковое.

Твой Боря

В холода я вынул часть вещей из сундука.Сегодня назад клал. Твоя шубка привела меня в трепет. Я целовал ее.

А как ты чудно о папе пишешь[6]. И как пишешь вообще. Умница моя!

Вчера я к поезду опоздал. Они все теперь на час раньше отходят и курьерский отбыл в 8 ч., а не в девять, как я предполагал.

Дорогая моя, а зачем ты о смерти своей говоришь? (Я опять все о том письме, где о глухих и высоких тонах, о папе и о Сретенке). Впопыхах, задумавши с письмом к курьерскому поспеть, об этом не заикнулся, а теперь эти слова меня преследуют. Белая моя Женюрочка, дочка моя, белоножка, сядь на пол, положи ручки в подол, и взгляни, какая ты маленькая еще, только не вставай, сиди, на ковре ты лучше поймешь.

Господи, как люблю я, когда ты дуешься и не то подбородок у тебя чуть-чуть подбирается, не то это в щеках дело, плотнеют они, горделивеют, хорошеют, и губы чуть-чуть поджаты, и на глазах близкие слезы. Но ты с полу не подымайся. Видишь, ведь ты вылитая козочка Маруся (Братовщинская), помнишь ее?[7] Ведь твоя смерть кроме горя и слез и потери всех козочек и тоски была бы таким преступленьем, такой слепой, возмутительной и к небу вопиющей жестокостью судьбы и спутников твоих в жизни, людей и вещей, что после нее, как убийцы, ни я, ни Женичка — мальчик, ни стихи, ни цветы, ни травы места бы себе во всей вселенной не нашли и всегда, вечно, во всех мирах этим бы казнились. Ведь это вот как вышло бы: сидела на полу, вся в белом, вся — жизнь и живость, вся — одаренность и огонь, вся в будущем и в обещаньях, неповторимая, исключительно-особенная, вся — нарядный бессмертник, большой, большой, и сколько души было, и ума, глухого, ваяющего, — и сын был, чуть моложе ее, просто сказать, младший ее братец — и вот, недосмотрели, и кто-то спичкой спалил ее, или булавкой проколол, и не звав на помощь, не пожаловавшись, дала случаю сжечь себя, и никто, никто не знал. Гулюшка, к чему слова тратить. Я никому и ничему тебя не отдам. Не отдам и смерти. Я туда вперед тебя отправлюсь и встречу, ты ведь так несамостоятельна. Да пускай я сейчас это сквозь волнение и ласку говорю, но серьезно скажу тебе и в другом роде. Но потом как-нибудь, в другой раз. Эта мысль не уйдет. Я тянусь к жизни с тобой, беспечной, верующей, без теплой воды в душе, без пыли в груди и в мысли. Ты увидишь, Женичка. А сейчас прощай, я боюсь говорить о планах и намереньях.

За письмом незаметно вошел в полосу размышлений, которые пусть лучше пока моим секретом будут. На днях пошлю тебе денег немножко, ты наверное в них нуждаешься, и страшно боюсь, что успеешь в ближайшем письме об этом сказать, мне бы так хотелось предупредить твою просьбу. Получила ли ты мою весточку из Японии и как ее находишь? Как возмутят тебя верно все эти слова (в предыдущих письмах) о мальчике! Золотая подруга

моя, разберись в них, они так же искренни, как то, что я тебе о тебе самой говорю.

Ведь я тем и плох, что часто все дела сдаю чувствительности, ведь именно доброта делает бездельником меня. Ведь ты это знаешь. Прикинь и сравни с этими жесточайшими моими словами то, что иногда рассказывала ты мне о своем отце и его капризах, и ты поймешь, как все это далеко от эгоизма. Суровые вещи, которые иногда прорываются у меня, не от меня они идут, а через меня.

Я люблю эти проскоки высочайшего чутья сквозь свои склонности, они идут от того, что за мной и надо мною, и им поклоняюсь. Это веянье больших крыльев природы, которую на целые годы забываю я, и которая врывается, красуясь и требуя веры в себя и восхищенья. Одна и та же сила внушает мне, что ребенка надо доверить ей, что она, некомнатная, в ветрах, дождях и солнце, должна стать между нами и капочкой, а про тебя, что *я* в ветрах дождях и солнце должен стать между тобою и смертью. У ней голос один, а внушенье о яблоновой гусеничке и о тебе — разные.

Гулюшка, отчего я и теперь, в самой полноте и силе чувства к тебе не чувствую в тебе союзника? Детка, прояви и ты хоть чем-нибудь, хоть как-нибудь, что некоторые из слов до тебя дошли. — Что ты намерена Жоне написать, получила ли ты мою копию с ее письма? Напиши папе, отцу моему, хоть половину тех чудесных мыслей о нем и нас, которые у тебя в письме ко мне.

Да кстати, деньги, что я тебе слать собираюсь, часть их подарка: я 50 долларов получил, Шура их у Елиной взял[8]. Ответь на существеннейшие вопросы из вчерашнего письма. О статочности твоей поправки и пр. В три кольца обвиваюсь вокруг твоей груди и шеи.

Твой удав

Впервые: «Существованья ткань сквозная». — Автограф.

[1] См.: «Папу твоего, которого я уважаю больше всех, — писала Е. В. Пастернак, — с кем приходилось мне встречаться, создала работа. Ты на папу не похож, он сдержанный и собранный и весь построен на заглушенных тонах — у тебя напротив все тот час же извергается и выбрасывается то, что подвернулось и захвачено порывом, у тебя постоянно звучат высокие ноты» (26 мая 1924; там же. С. 57).

[2] См.: «Я живу в отвратительном районе вроде Сретенки, окружена измученными больными людьми, а у самой кружится голова, как только выйду на улицу, тошнит и нет сил» (там же. С. 58).

[3] Няня Евдокимовна, которую Пастернак называет по имени знаменитого венецианского «Моста вздохов», по-прежнему жила у него, хотя ей было отказано от места месяц назад.

[4] Многолетняя прислуга в доме родителей Е. В., которая была еще няней у маленькой Жени Лурье.

[5] Теперь Ленинградский вокзал.

[6] Оказавшись в родительском доме, Е. В. сравнивала его с атмосферой пастернаковской семьи, с которой познакомилась в Берлине: «О твоем отце часто думаю, о том счастье, какое было у вас, которое вы не полностью оценили и использовали» (там же. С. 57).

[7] Козочка из деревни Братовщина, где Б. Л. и Е. В. Пастернаки жили прошлым летом.

[8] Надежда Григорьевна *Елина* — приятельница старших Пастернаков, в 1924 г. была проездом в Берлине и виделась с ними. Посылая 30 мая 1924 г. 50 руб. из этих денег, Пастернак писал на бланке почтового перевода: «Дорогая Женичка, сообщи, когда получишь. Прости, что так мало, как только смогу, пришлю больше. Жалко, что переводом нельзя послать тебе чудесной сирени и кучи других цветов, цветущих и благоухающих на театральном сквере, который вижу в окно (почтовое отделение в Метрополе). Жаркий солнечный день, центр сияет, тени фиолетовые, зелень ярко-зеленая, дорожки оранжевые, разносчики в белых передниках продают желтые лимоны. Боже, какой глупый тон! Так в 16 лет пишут. Обнимаю» (там же. С. 65–66).

228. М. И. ЦВЕТАЕВОЙ

14 июня 1924, Москва

14/ VI. 24

Марина, золотой мой друг, изумительное, сверхъестественно родное предназначенье, утренняя дымящаяся моя душа, Марина, моя мученица, моя жалость, Марина. Отчего не у Вас еще эти имена с рассказом об оставшихся, дышащих тем же, что и они! Как они ненавидят бумагу! Стоит одному из них точно по недосмотру рассвета слететь и лечь на страницу, как тотчас же просыпается страшная сволочь, — письмо. Оно ничего не видит и не знает, у него свое возбужденье, оно сыплет *своими* запятыми. Только отвернулся, глядишь, а уж оно и любит, любит, — а я не хочу, чтобы письма любили Вас. Вы не поверите, сколько я их написал и уничтожил! Их было больше десятка. Но это, последнее, я отошлю и в том случае, если засамовольничает и оно. Пока же это еще мой голос. — За что я ненавижу их. Ах, Марина, они невнимательны к главному. Того, что *утомляет*, утомительной *долготы* любованья, поляризации чувств они не передают. А это самое поразительное. Сквозь обиход пропускается ток, словно как сквозь воду. И все поляризуется. На улице, смеясь, разговариваешь со знакомыми. Вдруг содрогаешься, такою отталкивающей силой ни с того ни с сего наделяются их слова. И вдруг чувствуешь, что это действуют

не они, что они поляризованы, что их перевели в этот полюс. *Они — не она*, вот в чем вся их сила. И какая! И когда сжимается сердце, — о эта *сжатость* сердца, Марина! Какой удивительный след неземного прикосновенья в этом ощущеньи! И насколько *наша* она, эта сжатость — ведь она насквозь *стилистическая*. Как мы ее понимаем! Это — электричество, как *основной стиль* вселенной, стиль творенья на минуту проносится перед человеческой душой, готовый ее принять в свою волну, зарядить Богом, ассимилировать, *уподобить*. И вот она, заряженная им с самого рождения и нейтрализующаяся почти всегда в отрочестве, и только в редких случаях большого дара (таланта) еще сохраняющаяся в зрелости, но и то действующая с перерывами, и часто по инерции, перебиваемая реторическим треском самостоятельных маховых движений (*неутомляющих* мыслей, порывов, *любящих писем*, вторичных поз) вот она заряжается вновь, насвежо, и опять мир превращается в поляризованную баню, где на одном конце — питающий приток безразлично многочисленных времен и мест, восходящих и заходящих солнц, воспоминаний и полаганий, — на другом *бесконечно малая*, как оттиск пальца в сердце, когда оно покалывает, щемящая прелесть *искры, ушедшей в воду*, и фасцинирующей ее со дна. Ее волненье удивительно своей неуловимостью. Оно производит работу, перед которой скаканье морских бурь смешно и ничтожно. При взгляде же на ее поверхность ничего не увидать, тихая, ровная гладь. Но она растворяет миры, как в детстве, она стаскивает их в себя, воспаляет вниманьем, разлагает, проясняет. Она подчиняет сердечной сжатости все разнесенное и раздутое человечеством, смывает слова, слои посредственные, искажающие. Она впитывает только чистую природу, и проволакивая по своему дну все воспринятое, относит восстановленное вещество к точке своего поклоненья. Вот этих неподвижных бурь письма не передают!

О если бы по их страницам проволакивался хотя бы тот песок, который тащит по дну души это теченье. О как чудно было бы! Как много сказали бы Вам царапины и борозды, и линии осадка. *Движенье* и *содержанье* чувства должны Вас интересовать. Что дива в одном его факте?

Какие удивительные стихи Вы пишете! Как больно, что сейчас Вы больше меня! Но и вообще — Вы — возмутительно большой поэт! Говоря о щемяще малой, неуловимо электризующей прелести, об искре, о любви — я говорил об *этом*. Я *точно* это знаю. Но в одном слове этого не выразить, выражать при помощи

многих — мерзость. Вот скверное стихотворенье 1915 года из «Барьеров»:

Я люблю тебя черной от сажи
Сожиганья пассажей, в золе
Отпылавших андант и адажий
С белым пеплом баллад на челе,

С заскорузлой от музыки коркой
На *поденной* душе, вдалеке
Неумелой толпы, как шахтерку,
Проводящую день в руднике[1].

О письмо, письмо, добалтывайся. Сейчас тебя отправят. Но вот еще несколько слов от себя. Любить Вас так, как надо, мне не дадут, и всех прежде, конечно, — Вы. О как я Вас люблю, Марина! Так вольно, так прирожденно, так обогащающе ясно. Так с руки это душе, ничего нет легче! Я жалею, что я о бане Вам писал, это не Вам надо было рассказывать. И все равно не изобразить прелести и утомительности труда, которым необходимо заработать Вас. Не как женщину, — не оскорбляйтесь, — это завоевывается именно маховым движеньем, слепо и невнимательно, точь-в-точь так, как любят письма, пылкостью и красноречьем минуты. Нет, иначе, и опять я чуть не начал рассказывать, как именно, и опять ни к чему. Вы видите, как я часто зачеркиваю? Это оттого, что я стараюсь писать с подлинника. О как меня на подлинник тянет. Как хочется жизни с Вами. И прежде всего той его части, которая называется работой, ростом, вдохновеньем, познаньем. Пора, давно пора за нее. Я черт знает сколько уже ничего не писал, и стихи писать наверное разучился. Между прочим я Ваши тут читал. Цветаеву, Цветаеву, кричала аудитория, требуя продолженья[2]. Часть Ваших стихов будет напечатана в журнале «Русский Современник». Туда же одно лицо давало хорошую статью о Вас (Вы этого человека не знаете, мальчик, воспитанник Брюсовского института, исключенный за сословное происхожденье, знающий, философски образованный, один из «испорченных мною»[3]). Они статью не поняли и возвратили. Хочу писать и я статью. А Бобровскую в «Печати и Революции» получили?[4] Вздорная, но сочувственная. А потом будет лето нашей встречи[5]. Я люблю его за то, что это будет встреча со *знающей* силой, т. е. то, что мне ближе всего и что я только в музыке встречал, в жизни же не встречал. За то, что это встреча с таким же электрическим вниманьем, со способностью заряжаться, воспроизводить правду, упо-

добляться подлинному, сжиматься, как я их знаю по себе. И вот, тут я борюсь с письмом и воздерживаюсь от восклицаний. Это будет как возвращенье на ту далекую родину, где еще женились на сестрах, так еще редок, образцов и баснословен был человек. Потом эта даль затуманилась, когда же туман разорвался, их уже не существовало. Вы говорили о том же, назвав себя полубогом.

И вот опять письмо ничего не говорит. А может быть даже оно Ваши стихи рассказывает своими словами? Какие они превосходные!

Постарайтесь с оказией прислать Психею[6], и все что издано у Вас после Ремесла. Очень нужно. Все присланное замечательно. Совершенно волшебен «Занавес»![7] Спасибо.

Впервые: Цветаева. Пастернак. Письма 1922–1936. — Автограф (РГАЛИ, ф. 1190, оп. 3, ед. хр. 157).

[1] Из стих. «Скрипка Паганини», вариант строки 5 в книге «Поверх барьеров» (1917): «С загрубевшей от музыки коркой...». Стих. посвящено пианистке Н. М. Синяковой. Характеристика таланта — «черной от сажи / Сожиганья пассажей...» — согласуется с определением, данным поэтам в стих. Пастернака «Нас мало. Нас может быть трое...» (1921).

[2] Пастернак читал стихи Цветаевой на вечере в КУБУ 15 мая 1924 г. См. о нем в письме № 224.

[3] Имеется в виду Н. Н. Вильям-Вильмонт (см. письмо № 217).

[4] В своей рецензии на две книги Марины Цветавевой «Царь-Девица. Поэма-сказка» (М., Госиздат, 1922) и «Ремесло. Книга стихов» (М.–Берлин, «Геликон», 1923), опубликованной в «Печати и революции» (1924, № 1), С. П. Бобров писал: «Пожалуй, что только с этих двух книг начинается серьезная история М. И. Цветаевой как поэта» (С. 276).

[5] Назначенная встреча в Веймаре летом 1925 г. не состоялась. Цветаева перенесла ее еще на год из-за рождения сына.

[6] Марина Цветаева. «*Психея*. Романтика». Берлин. Изд. З. И. Гржебина, 1923.

[7] Стих. «Занавес» было в подборке стих., присланных Цветаевой; опубликовано в «Русском современнике» (1924, № 3).

229. Е. В. ПАСТЕРНАК

19 июня 1924, Москва

19/VI. 24

Дорогая девочка, жена моя и друг! Ведь у меня нет никого родней и лучше тебя на свете, не исключая сестры и отца и Марины. Я не могу видеть тебя как-нибудь иначе, чем поражающе светлой, потому что это чувство не освещать не может. Когда же я перестаю видеть тебя в воображеньи, и *думаю* о тебе, то и в угаше-

нии справедливой мысли ты выходишь из ее скупых границ, и волнуешь качествами, немыслимыми ни у кого другого. Когда я вспоминаю, что ты не любишь меня, то тут же порывисто и возмущенно взвивается твой образ, любящий и преданный, верный тебе во весь рост, с головы до ног тебя повторяющий. Это — ты, живая ты, но до боли связанная со мною, видящая, слышащая, понимающая меня. И почему бы тебе с этим образом спорить? Нет такого недостатка, находимого мыслью в тебе, из которого бы ты в следующее же мгновенье не вырвалась и не выросла на ее глазах.

Это оттого, что чувство, которому бы следовало обратиться к моему воспитанью, не отрываясь воспитывает твой образ. Я сильно люблю тебя.

Эти четыре слова с такой стремительностью и силой оторвались от письма, что пока я наносил их, они были уже неизвестно где. Они прозвучали страшно далеко, точно их произнесли в Тайцах. Они пронеслись мимо меня физически заметные, и потрясающим действием обладала именно их неожиданная и мгновенная самостоятельность.

Неужели есть сейчас, в этот самый миг, темная, нечитанная мною местность, где у подошвы огромной, снегами грезящей ночи, полосуя лампою деревья, в их гуще, камушком на краю большого поля белеется твой двухэтажный домик! О какая ты бесстрашная в своей заметности, в добровольности принятых размеров, в невооруженности против тишины пространств и времен, точно знающих, гдé ты, и всем небом льющихся в твои глаза и уши, между тем, как, — жизнь моя, ты согласилась быть женщиной и человеком, то есть быть еще меньше, чем домик, почти теряющийся на горизонте со стороны поля, когда оно, напрягаясь всею темнотой простора, тихим ветром на рассвете тянет тебе в лицо, и не видит тебя снизу, и утомляя сердце и глаза, дремлет и просыпается, коротая долгую зарю, а потом увидит, ты встанешь кормить мальчика и, может быть, подойдешь к окошку.

Ты для меня сердцевина этой сказки, страдающее и свежее ее зерно в душной и двойственной скорлупе: скорлупою должна была бы быть природа, как ее чувствует поэт, скорлупою стала колтунная, свалявшаяся, окостеневшая пыль и паутина. О мне кажется, что этот слой распался сам собою. Я тебя добываю из ночи, из собственных гаданий и надежд, из предположительных и призрачных картин, вызываемых звуком Тайцы, я добываю тебя из всего этого, как вынимают орех из пышной оборчатой и плотно сжимающей его обкладки, на пути к тебе, чтобы достать тебя, прижать к

сердцу и причинить ему излюбленную его боль, — перетрогаешь чуть ли не весь мир, ты мне упоительно трудно достаешься, ты возрождаешь меня.

Слава, слава тебе, мое счастье, волна моя, заливающая глаза мне. Гордись, смейся и плачь, красуйся, не обращай вниманья на меня и не уходи. Отсутствуй как Бог, и как Бог будь при мне. Отсутствуй, распростертая рядом, раздетая человеком с твоим кольцом на безымянном, но раздетая им так, как раздела бы тебя рука счастливейшего твоего воображенья, или раздела горячая летняя ночь, как раздевает воспоминанье, — отсутствуй, раздетая мною, потому что недосягаемое отсутствует, а ты — предел и выше высокого и лучше лучшего, лежи закрыв глаза, не гляди на меня и не знай, что я есть, когда я тебя боготворю и целую.

И будь всегда и вечно со мной, холодное мое небо, мечтающий нерв, бессонная жилка лесов и полей, когда они в цвету. Мы оба ходили высоко, откуда все видно, где невозможно скучать, когда сошлись с тобой, прелесть, прелесть, прелесть. О только оттого, что у нас имелись адреса, родители, родные, друзья и обязанности, кольцом обступившие два пустых кружка на земле, могло казаться, что нашего существованья мы не прерывали. Мы держались на окружении, придававшем геометрический смысл пустоте.

Что делали кругом нас люди и обстоятельства битые эти два года? Искали ли они исчезнувших на тех местах, где их привыкли встречать? Или это они толпились на двух могилах? Как же смели они улыбаться нам. О родное мое в горле вставшее имя, о девочка с Евгеньевской[1], о жена моя, о моя надежда и любовь, о волна, о глубина, о смех, в который я сейчас брошусь, о милосердие, в которое я нырну, о гордая моя ширь, умница, губы, волосы, плыву, люблю, люблю, люблю!

Станем и будем, умоляю тебя. Мерзкое время, ведь во многом виновато оно. Странно подумать, оно мешает желать счастья, есть эгоизм, который внушен Богом, как легко забывается его полный, отдаленно трепещущий гул, когда ты с людьми.

А какое людское время! Но приложим усилья. Веруй, моя родная. Ты знаешь, это мое «ты», что я говорю тебе, оно так непривычно и так волнует! Знаешь, какое оно? Словно оно вторую неделю, насильно сдерживаемое, взрывом вылетает из принятого будто бы между нами «Вы» и содрогается, позволив себе такую смелость и не в состоянии отказать себе в ней.

Кастрюли, червонцы и ссоры, какая неслыханная фамильярность! Как мог я себе позволить такое панибратство с тобой. О как

мне хочется сейчас до последних закоулков договориться! Моя любимая подруга, даже гулюшкой или ведьмочкой я тебя больше не буду звать. Твое имя (Женя ли? или санскрит? или час ночи, место на земле или имя чувства?), твое имя сейчас равно жизни моей, ты его смогла бы прочесть в глазах моих, я буду называть тебя силою взгляда, отяжеленного тобой, нет правда, я говорю серьезно, я даже при людях буду поднимать голову и целовать тебя тягой зрачка, и этот выделенный миг будет звательным падежом, обращеньем, обращеньем *только к тебе*, к тому, что остается, когда снято за платьями и все, ношенное в жизни и изношенное ей.

Больше не могу. Милая, мне невесело живется тут. И я не жалуюсь. Я так счастлив тобою, — не прерывай меня, я знаю, что ты скажешь, но ты знаешь, что я отвечу тебе, а отвечать я покамест не могу, я дал слово. Кому? Себе, себе, тебе в душе моей, кому же еще. И у меня есть просьба к тебе. Выйди одна с этим письмом куда-нибудь на поле, на лесную опушку и перечти его. Наверное, оно скверно написано, но сердце так бушевало у меня над ним, что если это как-нибудь не сказалось в нем и не передастся тебе, то о чем же еще тогда говорить!

И тут хотелось бы кончить мне и лечь спать (хотя время послеобеденное), чтобы увидеть во сне поле и тебя, но надо еще что-то сказать, потому что так, как я зову тебя теперь, мы еще не жили, и тебе молчанье мое может казаться забывчивостью или упущеньем. Я так боюсь судьбы, что не решаюсь ни об одном из дел тебе рассказать, пока они не станут фактами свершившимися. Радость, радость моя, каждую минуту приливает к сердцу нежность к тебе, и становится мученьем, совершенной невозможностью разговор о деньгах, о планах. О Боже.

Нигде в Москве денег нет. По жестокой случайности я, уже заполнив переводный бланк и имев 5 червонцев для тебя, их не послал. Вот как это случилось. В два часа дня я в центре (на Театральной площади) чуть получил их, пошел в почтовое отделение тебе их отправлять. Говорят — перерыв до трех. Спрашиваю, как в Главном Почтамте, смутно помня, что кажется там присутствие без перерыва. Говорят, что перерыв и там. На этот час, не зная куда деваться (и какая жара!) забираюсь к Гите. Сижу, сижу, слушаю, что-то говорю, удивляюсь, что Гита это слушает, отсиживаю перерыв. Между прочим узнаю, что ты сильно нервничаешь. С Нюниных слов Гита говорит, что как-то ты от меня письма ждала и его не было и ты плакала. Я, разумеется, не только (из понятного тебе чувства) решительно принимаюсь отрицать возможность этого, но

и в душе-то мало этому верю, и страдая, что это все же не так, мысленно говорю тебе по-английски Keep your feelings, что значит, прячь свои чувствованья, а то живо по бабьей улице пойдет, и вот, наконец, иду на Почтамт, пишу бланк, направляюсь к стойке, чтобы деньги сдать, и узнаю, что только что прием кончился, и пока я у Гиты сидел, деньги принимали, работая без перерыва. Ну что ж делать, отложил на утро. И тут началось.

Надо ли говорить тебе, что для себя я к деньгам твоим и не прикоснулся. Но это оказался последний день взноса подоходного налога. Если не внести, то позднее — в двойном размере. Потом няня, наконец, ушла. Но слушай, я из-под земли их достану и завтра тебе пошлю. И давай простимся, а то я разревусь от тоски по тебе, от веры в счастье и бед, и неудач.

Весь твой Боря

Как все-таки жалко, что плакать от отсутствия моих писем ты не можешь.

Женичка моя, Женичка моя, Женя, это ведь я объясненье тебе написал. Боже, что со мной!

Впервые: «Существованья ткань сквозная». — Автограф.

[1] Дача в Тайцах находилась в Евгеньевском переулке, д. № 3.

230. Е. В. ПАСТЕРНАК

20 июня 1924, Москва

Милый друг! Мне так тяжело, так тяжело на сердце, словно ты в слезах отчего-то, словно я тебя чем-нибудь огорчил. Это оттого, что вчера написал я тебе письмо, в которое вложил всю душу. Я писал тебе и сидел на окне у тебя, и гуляли мы, и садились по дороге отдохнуть и поговорить. Это таким водоворотом вошло в мой день, что я ждал чудес, чего-то вроде апельсинного дождя над землей, или крылатого ангела в дверях, несущего на руках тебя, или чего-нибудь еще чудеснее.

Вместо этого я столкнулся с кристаллически сволочными фактами, которые всегда меня так возмущают. Это из того разряда явленья, которые волнуют своим тупоумьем и бесцельностью. Вдруг представители того или иного вида закона требуют с тебя таких вещей, которые доказывают, что вместо тебя они разумеют кого-то другого. И особенно оскорбительно это было в день, ког-

да с неба должны были дождем падать апельсины. Зачем они это делают, я никогда не уступал им, не получат они с меня ничего и теперь и верно удовлетворятся этим. Но к чему эта их потребность в спорах, в разоблаченьи чепухи и в бесплодной трате времени. О бездарная, бездарная посредственность, прирожденная могильщица, призванная отрывать человека в редчайшие минуты от живейших мыслей и дел.

Кажется ведь Микобер (телячьи котлетки в «Крошке Доррит») без ума был от своей Микоберши? Неужели я, того не замечая, уподобляюсь Диккенсову герою? Но это сравненье ввела ты[1]. Я тебе этих неприятностей (их несколько) не называю.

Говорю же я о них потому, что удивительно складывается мое огорченье. Я тебя так сильно теперь люблю, что все, что́ со мной делается, отношу к тебе. Точно я душой и телом твой, и когда больно телу или печально на душе, я страдаю за урон, причиненный твоей собственности. Я не могу отделаться от нелепой мысли, что если мне грустно сейчас, то тем более грустней тебе. И людей, досадивших мне, я ненавижу, как твоих мучителей. Знакомо ли тебе это чувство, оно отличается такой определенностью. Словом, я не знаю, куда деваться от того, что так огорчают *тебя* и не дают денег, и требуют их с *тебя*, и не восхищаются твоим *имуществом*, и не прощают ему ничего. У меня *настроенье* лета 17 года[2].

Но странно, вот что я тебе скажу. Только оттого и строится мое прозябанье в средние поры по форме настроений, что в лучшие времена бывают у меня настроенья почти метафизической значительности, то есть такие, *которые делают меня в сильнейшей степени доступным действию* того, что ты называешь *причинами*. Так оно и сейчас. Я до боли размечтался о тебе. Ты неописуемо хороша в моей мечте и в нескольких разрозненных и отдельно стоящих воспоминаньях. Я горжусь тобой. — Высотой требований, которые предъявляет твое существо, как краска свету, для того чтобы существовать. Ты можешь быть и не быть. Вот ты есть, и я души в тебе не чаю, заговариваюсь тобой и ты требуешь все большего и большего.

Назвать ли мне точно то счастье, которое я себе обещаю. Ты убедила меня в том, что существо твое нуждается в поэтическом мире больших размеров и в полном разгаре, для того чтобы раскрыться вполне и дышать, и волновать каждою своею складкой. Ты была изумительным, упруго скрученным бутоном, когда тебя уловили фотографии твоих детских документов и удостоверений Девичьего поля, и Станевич[3], и еще кто-то. Твоя сердцевина хва-

тала за сердце тою же твердой и замкнутой скруткой, горьким и прекрасным узлом, когда быстро и беспорядочно распустившаяся по краям, ты имела столько рассказать о мастерских[4] и о жемчужинке. Как рассказать тебе о том, что произошло дальше. Мне больно вводить в письмо все дешевые пошлости, которые приходится говорить о самом себе. Я расскажу как-нибудь на словах. Но если бы я просто покорился своей природе, горячо любимая моя, я бы ровным, ровным теплом самосгорающего безумья окружил тебя, я бы ходячим славословьем тебе бродил среди друзей и смешил их или тревожил загадочностью своего состоянья, я бы недосягаемую книгу написал тогда вместо одного того письмеца Кончаловскому, и бережно, лепесток за лепестком *раскрыл бы твое естественное совершенство*, но раскрывшаяся, напоенная и взращенная зреньем и знаньем поэта, насквозь изнизанная влюбленными стихами, как роза — скрипучестью и сизыми тенями, — *ты неизбежно бы досталась другому.*

О как я это знаю и вижу.

У меня сердце содрогается и сейчас, словно это и случилось, от одного представленья возможности того, и я тебя к этой возможности глухо ревную. Ты неизбежно бы досталась другому прямо из моих рук, потому что с тобою в сильнейшей и болезненнейшей степени повторилось бы то, что бывало у меня раньше[5]. Я не боюсь это сказать, как ни смешно и жалко это признанье на обычный глаз. Но этот глаз — предел пошлости, и, говорю я, глаза этого я не боюсь.

Тогда и началось это странное и смертельно утомившее меня прозябанье[6], при котором я стал учиться сдержанности, так называемому здоровью и, как это всегда бывает, от производного, от ассистентов перешел к руководящему, к основанью этой чуждой и вначале страшившей меня науки. То есть я стал стараться успевать в бесчувственности, в холоде, и приобретая объективность воззренья, стал переставать видеть тебя или видел искаженною, опороченною этим наблюдающим и судящим глазом. Я совершенно безбоязненно говорю тебе об этом и сейчас, в апогее смеющейся нежности к тебе, потому что это рассказ о моем горе, теснейшим образом связанном с тобой. Пускай все это было глупостью, вроде неизвестных мне Жониных тайн, но дело было сделано. Это делалось полгода, до 26-го февраля[7], и мои слова о смысле свершавшегося никак не отвлеченье, то есть я не строю схем и не предаюсь их плетенью теперь, а наглядно вспоминаю свои состоянья и привожу решенья и мысли, точно так же звучавшие и тогда.

В те полгода мне казалось необходимым отказаться от музыки и стихов, от мира, рвавшегося раскинуться над тобой и вокруг тебя волною поклоненья, постиганья и одухотворенного ухода, и как ни странно, я в этом преуспел. Размах этого горького и мертвящего усилия, развиваясь все дальше и дальше продолжал действовать и тогда, когда и мнимой, воображавшейся надобности в нем не стало. Те вещи, которые я с таким идиотизмом постарался усвоить, были усвоены. Лень, невнимательность, глухота, пониженность страсти душевной, ослабленность эгоизма и порывистости, все эти сокровища, вселясь в меня, помогли инерции затянуться на чудовищный срок. Я пока говорю о себе. Я знаю, что с тобой сделалось. Но вперед покончим с этим.

Я опустошил себя неслыханно. Прямо хоть плачь. Я любил тебя так, как сейчас. Когда ты была у меня с Мишей[8], предчувствие и предвосхищенье готовы были у меня политься с губ и с пера. О, не недооценивай последнего слова. Оно обладает могуществом, мало кому известным. Я знал, я мог сказать, как будет. Я вглядывался в тебя и убеждался, что в тебе очарованья и действительных данных (души, талантливости и ума) более чем довольно, с лишком и с каким (!) довольно, чтобы эта неподвижная буря тронулась и пошла обреченно-круговым, до слез торжественным движеньем, хоронящим и отпевающим себя, как вращенье неба.

Я знал, что согрею и расправлю тебя, что ты вольно и без боли распустишься под бережным дыханьем поэзии, я знал, что ты ее и меня полюбишь, что *только* я буду тем единственным, кто не причинит ни малейшего вреда тому в тебе, что прекрасно и чем в тебе любуется Бог.

Я знал, что это само себя подтачивающее обожанье способно стать вторым рожденьем для тебя, и конечно оно больше матери, нарочно данной каждому человеку Богом, чтобы быть внимательной к тому, на что Бог не обращает вниманья. Я знал, что ты полюбишь меня и скоро запечалишься и станешь недоумевать, узнав, что с этим перегретым и благотворным миром жить нельзя, что о нем Шекспиры пишут «Сны в Летнюю ночь» и не более того. Я знал, что, огорченная и оскорбленная, ты уйдешь от меня, отдохнувшая и оправившаяся на таком воздухе, вдесятеро прекраснее и моложе, чем была, с раскрывшимися на себя глазами, с душой моей и мукою на кушаке, как с дорожным подарком. К другим.

И тогда я предпочел ужаснуть тебя всеми пошлостями, которые были неизбежны. Я отмел весь мир, который хоть ценою стра-

данья, но скрашивал смехотворность и стыд открытья. Ты поэзии и поэта не видала. Я спрятал их от тебя, а потом и прятать стало нечего. Ты не полюбила меня, ты не прибыла, не расцвела, не согрелась, не отдохнула, ты замерла, ты свернулась, ты вобрала и те лепестки, что трепетали и топырились на тебе, раскрывшиеся проще и хуже и болезненнее, чем твоя прелесть заслуживала, но все же раскрывшиеся, сложились и съежились и они, ты попала в полосу, когда раем тебе мог и должен был казаться Леонардо[9], *но ты не ушла*. Ты должна была бы знать меня таким, каков был я раньше, чтобы поверить мне, что превращенье, случившееся со мной, твои страданья уравнивает.

О, Женя, что сделал я с собой. Для того, чтобы заморозить тебя, как это случилось, я должен был убить весь свой смысл. О теперь послушай. Мне гнусно и мерзит копаться в этом. Слушай, родная сестра моя по страданью, слушай самопожертвованье, два года делившее со мною могилу, о скажи мне, может ли этот мир мне изменить? Верится ли тебе, чтобы я навсегда разучился жить стихами?

О, ведь это невероятно, ведь мне кажется, что возвращается этот мир. О любимая, любимая, где слова взять, чтобы сказать тебе, какими застает нас эта, кажется согласная возродиться, стихия. Если сказать не смогу, положи руку на эту часть письма, закрой ее, замени слова своими, лучшими, но улови смысл. Если я скажу тебе, что ты возвратилась к ранним воспоминаньям, ты рассмеешься. Если я скажу, что в моих глазах в напряженности пробужденья ты еще более затянутый, весь в будущем, тугой и плотный бутон, если я скажу, что *только* твоя девическая фотография жива в тебе, если я скажу, что жаркий и грезящий мир вниманья и постиганья налетает теперь на меня, чтобы взять *свое, ему принадлежащее, тебя,* чтобы выхолить, взлелеять, взрастить, зашептаться до смерти, заглянуть во все закоулки души и мира, если я тебе скажу, что эта первая действительная его любовь приходит ко мне, как к сторожу, и хвалит, что я сберег тебя на льду — о ради Бога не смей смеяться тогда, о ради Бога не смейся. Или ты вдруг вспомнишь о времени, о годах? Но не с ним ли попробовали мы ужиться по добру, по соседству. Время? Оглянись, и ты не найдешь его там, где на тебя из прошлого глядит печальное счастье. Ты его откроешь лишь в тех пустотах, по которым ходит скупая, разумная безотрадность. Что нам время. Упаковочный материал. У нас его не будет. Слушай, ангел мой: жизнь, *моя жизнь,* однажды выставленная мною за дверь, близится и возвращается ко мне. И за кем,

думала ли бы ты, она идет? За мною? Ничуть не бывало. Она возвращается за тем, что ей принадлежало, в чем ей было отказано. За тобою! За тобою!

Впервые: «Существованья ткань сквозная». — Автограф. Датируется по упоминанию «вчерашнего» письма, написанного 19 июня 1924.

[1] Мистер *Микобер* — герой романа Ч. Диккенса «Дэвид Копперфильд». Даже испытывая денежные затруднения, он никогда не терял удовольствия от «телячьей котлетки» на ужин. Совместное с женой чтение Диккенса относится к берлинской зиме 1922–1923 г.

[2] Летом 1917 г. были написаны стихи книги «Сестра моя жизнь», и понятие «лето 17-го» для Пастернака обозначает состояние поэтического вдохновения.

[3] Имеются в виду фотографии на документах Высших женских курсов, находившихся на *Девичьем поле*. *Станевич* — сокурсник Е. В.

[4] В то время, когда Пастернак познакомился с Е. В., она училась в мастерской Кончаловского во ВХУТЕМАСе (Высшие художественные мастерские).

[5] Речь идет о замужестве героини стихов «Сестра моя жизнь» Е. А. Виноград.

[6] Ср. в письме № 215: «...что существованье далось мне ценой перелома, что я учился долго и трудно равнодушью, что полюбив, не дал этому чувству расти, а женился, чтобы не было опять стихов и катастроф, чтобы не быть смешным...».

[7] *26 февраля* 1922 г. — по-видимому, день бракосочетанья Пастернака.

[8] М. Л. Штих вспоминал, как они с Е. В. приходили к Пастернаку летом 1921 г.

[9] *Леонардо* Михайлович Бенатов — французский художник, учившийся во ВХУТЕМАСе в мастерской П. П. Кончаловского, где среди студентов получил имя *Леонардо*; уехал в эмиграцию в 1922 г. О неприятных для нее отношениях с Леонардо в годы их совместного обучения остались записи в дневнике Е. В. Пастернак.

231. Е. В. ПАСТЕРНАК

20 июня 1924, Москва

20/VI

Родная, родимая. Тебя еще не тошнит от патоки, изливающейся на тебя? А я только сдал письма к тебе и деньги, и опять готов. И опять мне печально, и страшно за тебя, не грустно ли это *тебе* на самом деле, и только отраженно — мне. Большое настроенье нашло на меня, рыданье мое во плоти, и видя силу настроенья, я больше всего, — мне даже кажется больше действительного здоровья озабочен тем, не грустно ли тебе. Но зачем грустить тебе? Вертись, радуйся, бедокурь, — ты победила.

Ты шла по проезду Тверского бульвара, и вдруг потребность в поручнях, в наплечниках, в большой страсти, объявляющей тебя арестованной и берущей в железа[1], остановила тебя и преградила нам дорогу. С порывистою уклончивостью ты повернулась, мы стояли на мостовой и рядили извозчика.

Как это всегда преображало тебя! Красавица моя, горячая моя девочка, сколько в тебе высокого благородства в эти минуты и грации и греции. Несчастный мальчик. Он не меньше любил тебя тогда[2].

Помнишь ты? Шел снег, это мы у Б. кажется были, на Смоленском бульваре.

Помнишь «Екатерину»[3] в драматическом театре в страшный, страшный мороз? Помнишь чтение Пушкинских писем, чтенье дальнейшей Люверс, диван поперек комнаты, прогулки по каркавшей надо мною зиме, пока там, у меня, ты раздевалась. Ты, девочка моя. Ты — и наступал вечер. Жестокий, безысходный.

Но сердце было так полно тобой, твоей высокой аристократической простотой, твоей, — чертою самоубийства перечеркнутой близостью, что — клянусь, и тогда я был счастлив. Это счастье было похоже на снег и на сумерки, по этому счастью с карканьем носились вороны, под ним в другом городе и позднее, — чернелась Фонтанка, — но я дышал им — и все оно отдавало тобою. Я не меньше тогда любил тебя.

Помнишь? Давали Валькирию[4], ты была в черном бархате, ты уже была моей женою.

Помнишь, что музыка делала со мною? Помнишь, как положила она мою голову к тебе на плечо и лилась и заливалась, там и на сцене.

Помнишь, как, когда Х<иля> или мама удивлялись, отчего я такой грустный, как содрогался я от вопроса, как думал: да, они правы; о если бы они знали причину.

И теперь знаю я. Они не были правы. Причин теперь нет, а я пишу и плачу, как тогда (действительно, Женя, плачу и утираю глаза, и дальше пишу), и как тогда люблю тебя. Нет, тогда еще я был нормален, как и сейчас. Тебя любить можно только сильно. Сильно любить значит любить по-гречески, по-христиански, под трагедию, под орган, под жизнь, посвященную Гофмановой сказке, заряженному грозою стиху. Помнишь вдоль канала, над санками крупно-кружевную вырезную раму из белых, заиндевелых жестких берез и вязов и черно-синее небо и лебяжью гладь снежного пути. Помнишь, как в эту ночь в Петроград пришли погля-

деть на тебя улицы, которых в нем никогда не было, и пропустив наши санки, убирались откуда пришли, и за нашей спиной все приходило в порядок.

Помнишь, ночь в Серебряном Бору у Буданцевых, на полу. Помнишь другую, после душного дня, когда ты вся была, как шиповник на сквере, окно вдыхало тебя, розовую, сквозную, неподвижно движущуюся, на грани беспамятства, сладкую, золотую. О Боже! Помнишь?

Потом была одна ночь в Берлине. Как это я не понял, что это все в тебе было, а не во мне? Но любил тебя я, и не знал, вся ли ты отвечаешь мне, как будто в этом чувстве дело, а не в «счастливой случайности» полной красоты, и вот, переоценив сердце и недооценив зрелища, я стал требовать у тебя абсолютной свободы для себя, господства. Помнишь? Знаешь зачем? Чтобы ночь осталась не единственной, чтобы еще не раз так тебя любить.

Бедная пятая страница. Несмотря на шиповник и Берлин, я не плакал над ней. Я не исходил над этими воспоминаньями кровью сердца, как над предыдущими. Странная мысль пришла мне в голову, тихая моя и далекая, — странная мысль. Тут аборты дотронулись до нашей судьбы и до твоего тела. Если бы это было у других, чем я и ты, людей, что бы это изменило? Тут не только в болезненности твоей суть.

Но не следовало ли уже и тогда нам впустить капочку к себе? Прямо за валькириевыми улицами? А? Да, разумеется, вина моя. Надо было быть сильнее и смелее. И вот, мы несли наказанье за малодушье свое, за то, что — за комивояжерство. Несли два года. Это было низостью с моей стороны.

Ты говоришь, что я не на все отвечаю в письмах. Я слишком слушаю и люблю их, чтобы понимать их отдельные мысли. Ты чудно пишешь. Вероятно я только подражаю тебе. Ты шевелишь словами и фразами, как ветер занавесками, ветвями деревьев. Я читаю твое письмо и слышу, — Женечка веет, тянет, дышит.

Я закрываю глаза и отвечаю встречным дуновеньем. Зачем говорить, что подражаю тебе. Нет, это и у меня прирожденное. Я три раза перечитывал твое письмо. Помню место в парке, чердак, желанье плакать и спать в письме к моей матери, то что она серебряная (а ты золотая)[5].

Помню поразительную преисполненность молодой матери ребенком, которого она носила в животе, а теперь осуждена но-

сить в земном полушарьи. Я перечту его и опять впаду в забытье, в полуобморок по отношенью к частностям, — это и есть прямой на них ответ — как полусон ответ на пенье петухов, на их ступенчатое, поочередно удаляющееся кукареканье. Для того, чтоб точно ответить тебе, мне пришлось бы письмо переписать и разграфить, как с А<брамом> О<сиповичем>[6]. Ненаглядная моя радость, неужели не найдешь ты ответов на все в этих последних письмах?

Как отвечать тебе, когда твои письма действуют на меня, как летний вечер? Мне иногда слышатся вещи, которых ты не писала. — Пыльная ли Москва? Не так, как в прошлом году. Введена обязательная поливка. Петровские еще тут[7], — денег нет, как и у всех.

Спокойной ночи, мой вневременный друг. Горячо, всей жизнью и смертью своей тебя люблю. Поцелуй капочку и не мытарь себя так из-за него. Вспомни, что и я в нем представлен, не ты одна. Значит он твоих жертв не заслуживает.

Все, к кому меня не несет поэзия и природа, кажутся мне случайными.

Посылаю тебе деньги. Это письмо пробеги хоть при всех[8]. С другими уйди куда-нибудь одна. Они плохи тем что страшно длинны. Ты заскучаешь, их читав.

Ах, я об этом не подумал вовремя. Но теперь поздно. Не читай их тогда сразу. Я дрожу за их судьбу, словно познакомился с тобой и написал тебе объясненье. Ужасно волнуюсь, ты не поверишь. Что со мной делается? Я умопомрачительно люблю и предан тебе.

Гляди на меня, если хочешь, с любопытством, но не разрушай естественности движений временным недоверьем. Пожалуйста, умоляю тебя, ты ведь мне дороже, чем сама себе.

Я хотел послать тебе такое письмо, которое бы ты на себе носила, которое бы тобой пропитывалось и мучилось, когда тебе жарко. Я хотел набрать тебе полосатого (в дымно-зеленую по белому полосу) маркизета и хорошо (в желтую бумагу, вот образец) завернуть и запечатать лиловым сургучом[9], огромною слезой темного расплавленного обожанья (не маркизет, Боже упаси, а обертку) — но — как — мы — бедны! Не придется. Я думал 6 червонцев достану, 5 тебе, а 1 себе, на полосатое письмо к тебе, для нательного ношенья.

Достал только 5. Не четыре же тебе посылать. Так что дымчатое письмо дошлю, когда можно будет. Ангел мой, как я — Ну —! Люблю. *Боря*

Прости, что такой маленький образчик бумаги[10]. Надо же для конверта оставить. Чудная, чудная моя, правда мы бедные и золотые оба? Ам ммммммм.

О Боже мой! Любушка.

Поблагодари маму за письмо, которое в данную минуту подали, я его еще не читал. Также и от тебя, с черновиком к моей маме. Но надо скорей ехать Гите передать[11]. Хочется мне заказные по почте послать, но ведь заждешься ты тогда!

Впервые: «Существованья ткань сквозная». — Автограф.

[1] См. те же образы в стих. «Вслед за мной все зовут вас барышней...» (1914): «Вслед за мной все зовут вас барышней; / Для меня ж этот зов зачастую, / Как акт наложенья нáручней, / Как возглас: "Я вас арестую"». Так же передается момент пробуждения чувства в Марбурге по отношению к Иде Высоцкой: «...вне железа я не мог теперь думать о ней и любил только в железе, только пленницей» («Охранная грамота»).

[2] М. Л. Штих.

[3] Спектакль по пьесе Н. Н. Лернера «Петр III и Екатерина II» в Русском драматическом театре Ф. А. Корша.

[4] Опера Р. Вагнера «Валькирия» в Мариинском театре.

[5] К письму Е. В. Пастернак 16 июня приложен черновик ее письма к Р. И. Пастернак: «Я не отвечала на все ваши полные сердца и заботы письма, дорогая, ласковая, *серебряная*. Но, мне так было трудно и так все время хотелось спать» (там же. С. 80).

[6] Имеется в виду ответ на письмо Е. В. Пастернак с описанием желудочного заболевания сына и рекомендациями врачей. Посылая советы А. О. Баландера жене, Пастернак писал: «Гулюшка, ты видишь, я переписал твое письмо, тщательно его расчертив, чтобы ему легче его читать и делать на полях соответствующие заметки» (там же. С. 71).

[7] «Где же Мариечка и Дмитрий. Вообще, что делается в Москве. Приняла ли она уже летний, пыльный и опустевший вид. Мне кажется, что ты на многое в моих письмах не ответил» (16 июня 1924; там же. С. 80).

[8] Имеются в виду письма № 230, 231, на конвертах которых Пастернак надписал: «Заказные № 1 и № 2».

[9] Конверты с письмами заклеены *лиловым сургучом*.

[10] В конверт вложен кусочек светло-желтой папиросной бумаги. В письме к Ж. де Пруайяр 2 авг. 1959 Пастернак вспоминал, что в молодости любил сочетание желтого и лилового цветов: «Это был темно-лиловый (почти черный) цвет в сочетании со светло-желтым (цвета чайной розы или кремовым) в такой пропорции: например, обложка или переплет должна быть лиловая (цвета пармских фиалок), и матовая, водянисто-желтая наклейка с именем и названием». В лиловой обложке с желтой наклейкой была издана в Берлине книга «Темы и варьяции» (1923).

[11] Письма сильно опоздали именно потому, что были переданы с сестрой Е. В. Пастернак Г. В. Лурье, которая ехала в Петроград к родителям.

232. Е. В. ПАСТЕРНАК

23 июня 1924, Москва

23/VI. 24

Мне казалось, что я тебя скоро увижу. Эта мечта, которую я от тебя скрывал, определяла все мои письма. Когда она мне казалась сбыточной, я писал тебе с кажущейся небрежностью и наспех. Когда осуществимость ее становилась сомнительной, мои слова к тебе наполнялись мыслью и кровью. Все силы соединились в последние дни, когда я стал запечатывать письма сургучом. Сила надежды и сила отчаянья. Я видел тебя ясно перед собой и почти уже знал, что не скоро увижу.

Теперь, когда невозможность близкой нашей встречи стала достоверною, я раскрываю тебе свои карты. Мне сейчас уезжать не только не на что, было бы непозволительною легкостью по отношенью к тебе поддаться чувству, и побросав дела, когда они только завязываются, оставить Москву.

Как я тут живу? Охочусь за мелкою дичью, — о суммах больше двух-трех червонцев даже заикаться не приходится. Однако все уладится, обойдется. Сегодня утром сидел у Мещерякова в Госиздате[1]. Окна комнаты выходят во двор. Внизу визжал, рокотал и заливался точильный камень. Каменная коробка подхватывала и удесятеряла этот скрежещущий гул и кабинет редакционной коллегии был им полон. Мне было трудно говорить с заведующим, так как временами я терял уверенность в том, что отвечаю человеку, а не камню. Вероятно завтра внизу точить ножей уже не будут, и я опять туда пойду. Может быть переговоры приведут тогда к лучшим результатам. Сплошь и рядом слышишь и узнаешь много лестного для себя, но все это ни в малой мере не уравновешивает вражды, которая живет ко мне в разных углах и закоулках, а также не смягчает и опасности, заключающейся в утрате полного голоса, в возрасте, во власти парализующих безотрадных мыслей и тому подобном.

Я даже не столько утерял свой тон, сколько добровольно от него отказался, не сразу, правда, но путем ряда уступок обстоятельствам и духу времени, на взгляд которого мои особенности и впрямь должны казаться чудными, оскорбительно ничтожными, обидно «сверхчеловеческими».

Но полно об этом, тебе скучно станет, этой песни ты вдоволь наслышалась. Я надеюсь на тебя. Я надеюсь на какую-то твою помощь, но ближе оформить этого смутного чаянья не берусь.

Иногда мне кажется, что вдруг на этой неделе я получу что-нибудь от тебя, чего получать не привык, когда же я пристальнее всматриваюсь в это ощущенье, то нахожу, что я просто жду очередного твоего письма, что и предшествующие твои письма были непривычны, что непривычна ты, что я привык к необычности и ею избалован. Слабых *напоминаний* о тебе не бывает. Тебя подсказывают всегда внезапные и острые ощущенья неудовлетворенности, — среди людей, за работою, на улице, в учрежденьях.

Обедая в Кубу, я часто встречаю множество милых людей из литературного, критического и историко-словесного мира. Сюда с Кавказа приехал Вячеслав Иванов и остановился в Доме Ученых. Он собирается за границу, в Италию. С ним очень славный мальчик, его ученик, в морской форме[2]. За супом и котлетами часто вижусь с Майей (помнишь, с волосатым Ланном однажды приходила приятельница Эренбурга, настоящее ее имя М. П. Кудашева). Она простая и по-хорошему экспансивная женщина, пишет французские стихи и состоит в переписке с Ромен Ролланом и Анри де Ренье.

Вера Оскаровна (жена Анисимова), уехала в Крым, в Коктебель, к Волошину, куда перебралось пол-Москвы. Она давно собирается написать статью о моих книжках, я должен был их занесть к ней в канун отъезда, зашел, но, разумеется, без книг, пообещал на другое утро, не сдержал обещанья, пообещал надослать Сестру и Темы по почте и тогда обнаружил, что у меня ни одного, и своих экземпляров не осталось. Там же и Андрей Белый.

У Марины Цветаевой есть сестра Анастасия, после вечера, на котором я читал Маринины стихи[3], она мне позвонила, прося позволенья познакомиться со стихами, у ней почти все собрано, написанное сестрой. Я у ней бывал несколько раз, теперь она в санатории в Болшеве. Она большая умница. Она сама писательница, только прозу пишет. У ней две книги напечатаны, в характере дневников (вроде дневника Марии Башкирцевой). Третью, афористическую, собранье хороших и образно слаженных мыслей она предлагала Современнику и в рукописи дала мне почитать[4]. Она заряжена долей взрывчатости, дарованья и темперамента, как и сестра, и вероятно была хороша собой, что у нее и сейчас еще в голосе и в улыбке осталось, но они очень рано начали жить и жили не щадя себя и очень бурно. Теперь она ударилась в набожность и смотрит как на грех, даже на поэтическое творчество Марины. Она с большим треском и красноречьем возражала мне на самые скромные мои утвержденья. Я никогда не встречал человека, ко-

торый бы быстрее, увереннее и утомительнее говорил. Ее фразы раз в десять длиннее моих, и при этом она ухитряется не растерять ни одного из членов предложенья.

Как-то случилось, что были у меня Ланн (приятель Кудашевой), потом Антокольский. В Ланне есть что-то отталкивающее. Антокольский очень настоящий человек, с подлинным дарованьем, голосом и глазом. Жалко, что он ничего не пишет, то есть я говорю о лирике и вообще о литературе. Он занят театром. Он написал для третьей студии пьесу по трем романам Уельса[5]. От Уельса там очень немного осталось. Есть энергические и даже вдохновенные места, но в общем он лучше мог бы. И затем я не понимаю, как, говоря о «Машине времени» или ею пользуясь в заимствованьях и переработках, проходят мимо того, о чем я в темноте однажды у тебя на Рождественском в передней говорил одной Шуриге[6], потому что я не тебе, а *тобою* говорил.

В нашу семью (Мясницкая, Петровский[7]) вошел новый человек. Это Н. Тихонов. Ему моя «Высокая болезнь» не нравится. Он тут читал нам прекрасную вещь, которую отказывался принять Казин (Красная Новь)[8]. Он раза два был у меня, по утрам. Радость видеть такого человека. Он единственный, с кем я говорил о тебе. Тогда он преобразился, полез в кармашек своей куртки военной, порылся, помычал, ничего не нашел, что-то пробормотал, ничего не сказавши. Это было в первое посещенье. На другое утро я просто спросил его, нашел ли он карточку жены[9].

Он звал к себе, я объяснил ему, что нужно для того, чтобы мне попасть в Петербург. Просил кланяться тебе, как давно мне это поручили Петровские, Брики, Асеевы и Маяковский, постоянно о тебе спрашивающие.

Тебе наверное не нравится это письмо. Как сделать, чтобы жизнь была непрерывно напряженной и напоенной звуком? Как тягостны эти срывы в пустые часы, часы, дни недели. Неизбежны ли они?

Весь твой Б.

Впервые — «Существованья ткань сквозная».

[1] Н. Л. *Мещеряков* — главный редактор Госиздата.

[2] Вяч. И. Иванов провел с 1920 по 1924 г. в Баку. Моисей Семенович Альтман записал свои встречи с Вяч. Ивановым в Баку и Москве («Разговор с Вячеславом Ивановым». СПб, 1995).

[3] Вечер 15 мая 1924 г. См. о нем в письме № 224.

[4] У А. И. Цветаевой вышли два сборника лирической прозы: «Королевские размышления. 1914 год» (1915) и «Дым и дым» (1916). В 1920-е годы, судя по всему, ей ничего не удалось издать.

[5] Сохранилась записка Пастернака *Антокольскому*: «Дорогой Павел Григорьевич. Жаль, что не занесли мне альманаха, он сегодня мне нужен был. *Ваш Б. Пастернак.* 31/V. 24» (РГАЛИ, ф. 1010, оп. 3, ед. хр. 68). Речь могла идти о номере журнала «Русский современник» (1924, № 1) со статьей С. Парнок «Пастернак и другие». Она позволяет датировать знакомство Пастернака с Антокольским и темы их разговора о нереализованной работе над романами Герберта Уэллса. *Третья студия* — первонач. название театра Вахтангова.

[6] Полина *Шурига* — приятельница Е. В. Пастернак со студенческих времен, когда она жила на Рождественском бульваре.

[7] Своей семьей Пастернак здесь называет Лефовский кружок, собиравшийся у Бриков на Мясницкой, 29, куда входил также и Д. *Петровский.*

[8] Поэма «Лицом к лицу» (1924) была опубликована в альм. «Недра», 1925, № 6. В. В. *Казин* заведовал в «Красной нови» отделом поэзии.

[9] Мария Константиновна Неслуховская.

233. Е. В. ПАСТЕРНАК

28 июня 1924, Москва

28/VI. 24. Новый день, и опять от тебя ни привета ни ответа. Даже из Владивостока что-то доходит. А из Тайц ничего. Подают книжки стихов с Тихого Океана[1].

Почтовая бандероль, Арсений Несмелов, хорошие стихи. Звонюсь к Сене[2] и узнаю, что в Петербурге все благополучно. Это у них. Но если бы у тебя что-нибудь было, знали бы и там. Убежден, что кто-нибудь у тебя гостит, Нюня[3] или мама, и с ними тебе ни весело, ни одиноко, ни хорошо, ни плохо, и во всяком случае не до меня, не до судьбы, не до роз, не до всякой этой, как в таких случаях говорят ---* фантастики. Очень печально и обидно. Черт их дернул загостить как раз в эту неделю, когда я спиритизмом занимаюсь и твой дух вызываю. А они его держат.

Виноват, pardon, ба. Да передала ли тебе Гита мои письма? Или лучше сказать, когда она их тебе передала?[4] Ну не томи же меня и пиши. Ну? Милая, милая, милая.

Будто у меня мало неприятностей и печалей. Как на грех я еще этим нетерпеньем зарядился. И оно растет. День, другой, третий. Это как три части большого романа. И ты молчишь в трех частях. Невозможно растянутые части, без главного лица, тоскливые, пустынные, читать нельзя. Главное лицо, главное лицо, явись, стройная боготворимо-своя, наполни мне день. Главное

---

* Так в письме.

лицо! Ты видишь, я уже тоже не пишу тебе. Это одна видимость. Как разговаривать с воздухом.

Впервые: «Существованья ткань сквозная». — Автограф.

[1] Книга стихов поэта Арсения Ивановича Митропольского, писавшего под псевдонимом Несмелова, «Уступы». Через Дальний Восток Несмелов вскоре уехал в Харбин. Переписывался с М. Цветаевой.

[2] Брат Е. В. — Семен Владимирович Лурье.

[3] Старшая сестра Е. В. — Анна Владимировна Минц.

[4] Письма были привезены на дачу только 23 июня 1924 г.

234. Е. В. ПАСТЕРНАК

29 июня 1924, Москва

29/VI. 24. Воскресенье. Сейчас получил и прочел твое письмо. Спасибо. Теперь тороплюсь это написать, и буду писать, как ты говоришь, — что под перо подвернется, потому что хочу его скорей на вокзал отвезти.

Таким путем оно, может статься, обгонит целый поток тех несправедливых писем, что я успел наслать тебе в последние дни. Но я так скучал по тебе, так ждал сегодняшнего! Я хандрил, я раздражался, и главное, только в последнем я умудрился подумать о том, в субботу ли ты (в день приезда Гиты в Питер) получила мои письма, как все время был в этом уверен. И вот теперь из сегодняшнего узнаю, что только в понедельник. Я же рассчитывал, что в субботу, и твое молчанье томило меня, мучило. Теперь прости.

Как печально. Твое сегодняшнее письмо останется единственным. Так тепло и ласково ты со мной уже больше не будешь говорить всю неделю. Потому что по своему обыкновенью ты будешь ограничивать себя тем, что от меня идет, то есть зависеть от моих слов, от чувств и их выраженья. Как странно, в эту позу, оборонительную и выжидательную, ты ведь собственно встала из оскорбленной гордости, то есть от избытка силы, от того, что от природы тебе дана абсолютная, своя, наступательная, первоначальная роль и тема. То же самое случилось и со мной. Ничего не может быть нелепее. Давай же вернемся к самовольным и неосматривающимся движеньям. Станем дышать, не думая при том, теряем ли мы или приобретаем. А то ведь поприщу относительности конца нет, нет той мелочи, которая была бы на нем достаточно мала. Вот и совершенствуешься, то есть мельчаешь, что дальше, то больше.

Мы скорее совпадем друг с другом, если не будем друг с другом считаться, если не будем стараться попасть в ногу. Так мы будем перебивать друг друга, или нет, это неверно, а лучше сказать: так мы, каждый порознь, отравим себе радость естественного и вытекающего из нашей природы шага, между тем, как вверившись одной своей походке, мы иначе, чем в ногу, пойти не сможем. Это случится само собой.

Сколько таких доказательств дали мы друг другу в переписке. Заметила ли ты их. Поразительные примеры. Как часто натыкаясь на какое-нибудь место в твоем письме, думалось мне: теперь она об этом прочтет в том письме, что отошло к ней вчера или третьего дня. Так было с деньгами. Так это теперь с моим приездом, с твоими словами о твоей удаленности от искусства, о худобе и о веснушках[1]. О сургуче. Все что ты о сургуче говоришь. Я сдерживался. Сказать или не сказать? И прекрасно, — не надо было, ты все насквозь видишь[2]. Ах, ты того не зная, часто видишь меня и мое не только потом, когда оно получается тобой, но и в миг самого возникновенья этих вещей. Ты живешь со мной и часто твой глаз погружается в мою мысль, в то, что со мной делается или меня окружает. Он погружается в эту среду, и ее волнует. И тогда я волнуюсь, привожусь в движенье под твоим взглядом и благодарю тебя и люблю. Ты *знаешь* все или могла бы знать, если бы не ленилась, в том же смысле, в каком я могу все *вообразить* и был бы готов, когда бы не лень.

Ты знаешь, я воображаю.

Меньше ли мое твоего? Ты часто об этом пишешь. Нет, нисколько. Даже и в смысле прочности, верности. Вот в чем разница. Твое знанье, твоя феноменально свежая, неиссушенная интеллигентскостью, синтаксисом и «философией» интуиция оставляет для тебя всегда открытым выбор: действовать ли тебе или нет. За твоим знаньем тут же, сейчас же, как за площадкой лестницы открываются два водопада ступеней, и ты обладаешь волей и порывистостью, нужными для полных, безоговорочных поступков. Ты вся в движеньи. Вот ты и разбегáлась по жизни, вниз и вверх, всегда быстро, всегда решительно, гулко, полно, с опасностью. Теперь если ты возьмешь вот это свое знанье (площадку с мгновенной задержкой перед прыжком вверх или скачком книзу) и вберешь в него все ступени, впитаешь их как бы в площадку, — ты получишь мое воображенье. Оно обладает такою силой, что отбрасывая несущественное, можно сказать, что я не расщеплен, что у меня нет противоречий, то есть что в противоречиях я — не я, не

человек, меньше ничтожества. Как человек же я целиком подчинен ему.

Что же это такое? Это знанье, без четкого, гулкого и электризующего соседства шага, действия, поступка. Оно само наэлектризовано. Поступки и шаги втянуты им в себя и растворены. Это знанье, изнутри пропитанное электричеством, опасностью, чувством, самопожертвованьем, движеньем. Это знанье, которое историей и культурой признается за *дело*. Если я скажу еще одну вещь про него, оно будет охарактеризовано полностью и сказанного будет достаточно.

Немногими случаями действительного движенья и настоящих поступков, имевшихся у меня в жизни, я обязан только ему. Если ему довериться и отдаться, оно развивает какие-то движущие магнетические силы. Видишь вперед, предвосхищаешь, и вдохновенье так пропитало тебя, что даже можно и предпринимать что-то, двигать руками и ногами, — *поступать*, потому что, подымая руку, подымаешь руку, отяжеленную и проспиртованную им.

Я не могу переделать себя в главном. В мелочах можно перевоспитывать себя сколько угодно. Я делал попытки. Мне часто казался неказистым, второразрядным этот мой склад.

Ну что же. Двухтактного человека, находящегося постоянно в знаньи и движеньи (как ты), что меня пленяло и чему мое воображенье поклоняется, — я бы создать из себя не мог. Для этого нужно вновь родиться. Но удавались мелкие пробы: быть как все.

Однако, какой безотрадный мир открылся мне тут. Я остался ни с чем. Теперь я опять убедился в жизненной, житейской, элементарно правдивой и *положительной* ценности этой силы. Я с ней прожил лучшую часть своей жизни, с ней и умру. *Только* она свела меня с тобой и тебя мне возвращает.

Я сделал ошибку, заговорив с тобой о ней. Этого не следовало делать. На будущее время воздержусь. Она являет себя сама, ее лучше не называть, не теоретизировать. И потом, все равно ни к чему. Своими частыми словами о настроеньях и причинах ты обнаруживаешь высокое и приковывающее меня к тебе качество: ты *не знаешь* своей лучшей *союзницы*. Так это и должно быть. Ты говоришь о том, что сама называешь фантазией, книгой[3], и что по существу есть дух верности и преданности, и попрекаешь призрачностью то, что только и не призрачно: это-то и есть сила любви, которая только тогда и жива, когда ей тесно, когда она разбрасывается, отливает назад — и видит тебя в прошлом, забегает вперед и говорит о тебе, встреченной там, где тебя еще нет, и дразнит и раздражает тебя этим виденьем.

Пускай это называется фантазией. Qu'importe?* Таков я, ты не сможешь с этим не подружиться, когда увидишь, как эта сила следит за тобой и тебе служит.

Приезд. Вот еще удивительное совпаденье. Так же точно, как и все, связанное с дачей: «мой дом» (помнишь), мои расспросы о местонахождении дачи и т. д. — и *Евгеньевский пер.*[4]

— А знаешь, зачем я так о точном адресе просил? Я уже и тогда рвался к тебе ехать и казалось — завтра-послезавтра увижу тебя.

Теперь, когда ты об этом заговариваешь, не ясно ли, что ты мечту об этом вычитала из сургуча. А что другое сургуч, как не новый приступ был надежды: сегодня же, чуть только «Современник» или, завтра, когда Лежнев...[5]

Но нет, невозможно покамест.

Я уже сказал тебе вчера.

Доехать до тебя легче вдесятеро, чем выехать. А если на все плюнуть, слишком большой козырь получат домоуправленье, фининспектор и пр. и пр. в свои руки.

Пожертвовать квартирой? А не слишком ли жирный для них будет кусок. Нет, скрепя сердце, добьемся своего.

Целую пульку в сердце твоем, хорошенькую, благородную, тихую[6].

Впервые: «Существованья ткань сквозная». — Автограф.

[1] «Но не страшно ли тебе. Ведь я от искусства за много верст, я худа и в веснушках и думаю, что стара» (25 июня 1924; там же. С. 105).

[2] «Твое желание прислать мне "нательное письмо" и желтая бумага, и лиловый сургуч, один из тех, которые тебе так нравились, и так хотелось их тебе употребить, и ты тогда еще не знал, когда и где, — большое, большое тебе спасибо» (там же. С. 104—105).

[3] «Твои письма для меня пока книга. Я не знаю, поймешь ли ты, что я этим хочу сказать. Помнишь, как ты говорил мне про письма и стихи Цветаевой, что они написаны поэтом и это дань поэтическому темпераменту, а не реальному чувству» (там же. С. 105).

[4] «Дача вполне твоя до странности», — писала Е. В. Пастернак 6 июня 1924 (там же. С. 72). Находилась эта дача в Евгеньевском переулке, д. № 3.

[5] Пастернака задерживали в Москве бесконечные отсрочки выплаты гонораров за отданное Госиздату второе издание «Сестры моей жизни», договор с которым был подписан весной, за «Воздушные пути», публикующиеся в «Русском современнике». Должен был заплатить также И. *Лежнев*, которому в журн. «Россия» были переданы «Белые стихи» (1918).

---

* Неважно, не все ли равно? (*фр.*)

[6] «Знаешь, Боря, — писала Е. В. Пастернак 25 июня 1924, — капочка это пулька, которая попала мне прямо в сердце. Удалить ее — верная смерть. Жить с нею можно, но бегать, быстро ходить, волноваться, не чувствовать ее, принадлежать своим желаниям нельзя» (там же. С. 104).

235. Е. В. ПАСТЕРНАК

9 июля 1924, Москва

9/VII. 24. Милая подруга! Завтра я уже выйду наверное и думаю, что у меня весь день продержится нормальная температура[1]. Какие скоты в Госиздате! Неделю назад они клятвенно пообещались заплатить мне 8-го (вчерашний день). Так как я еще не выхожу, а Шура опять занят таинственной работой в острой и скоротечной форме, то попросил Абрашу сходить с доверенностью. И вот оказывается отложили платеж больше, чем на неделю. Когда же я наконец к тебе попаду! Мне трудно теперь писать, я понять не могу, откуда на меня напала такая слабость. Словно я кровью истек. Господи, как я тебя люблю и как всеми помыслами и каждою жилкой к тебе тянусь. Неужто опять обманут?

Они обещают теперь дать денег в четверг через неделю. Если не случится чего-нибудь непредвиденного, выеду в пятницу. В будущую, стало быть, субботу буду у тебя. Ты не огорчайся, дорогая, что все это становится непохоже на то, что нам раньше представлялось и желалось. Это только так кажется. Это оттого, что тон писем стал у меня другой. Да как ему было и не измениться. Я пишу тебе, как из тюрьмы, из самой гущи безысходно пустого и скучного дня. Я вынужден воздерживаться от чувств и впечатлений, вызываемых посещениями друзей. Одни, исходящие от их рассказов и от разговоров с ними, я подавляю, чтобы температура у меня не поднялась, сильно, как оказывается, отзывающаяся на всякое волненье.

Другие, идущие из глаз в глаза, я отвожу оттого, что тебя люблю и что ты самолюбива и ревнива. А безразличной пестроты, то есть улиц, незнакомых людей и пр. и пр., я не вижу, под дождями и под солнцем не бываю, не пишу, и только может быть сегодня за чтенье возьмусь. Мне стоило бы большого и мучительного напряженья вновь вообразить Тайцы и тебя, и я этого соблазна избегаю. Нет, нет, любимая моя, ты ни о чем не думай и ничего ни с чем не сравнивай.

От наших (от мамы и Лиды) получилось письмо с ответом на то твое, о котором я тебя недавно запрашивал. Я тебе пересы-

лать его не буду, а с собой привезу. В мамином много чувства, в Лидином много ерунды, но будто все это мимо, чем-то не понравилось мне письмо. Я все больше и больше убеждаюсь в том, что для меня искусство в целом, его мир, тип человека, который оно вырабатывает, его историческое прошлое, трудности, им преодолеваемые в наше время, его будущее, о котором можно гадать, вся его семейная хроника кровно нужны мне, как воздух, которым я всегда дышал и дышать буду. У меня были родители и сестры, пока они определялись тем же свойством, пока они, сами ли качаньем этого воздуха занимались, или просто находились в нем, косвенно с ним связанные. Я любил своих *только* так и *только* в этом отношеньи. Читая Лидино письмо, я пришел в раздраженье оттого, что этого там нет. И не отходя от стола написал им резкое, нехорошее письмо. Сейчас, разумеется, каюсь и сегодня же буду у них просить прощенья. Засыплю их ласковыми словами, но почувствовать *без* этого возвышающего фона у них за плечами *не смогу*. Это не относится к папе, который с ума сходит от красок в Палестине.

P. S. Милая гулюшка, я тебя крепко люблю, крепко целую, крепко обнимаю. Я совершенно не знаю, как с тобой буду жить. Я тянусь и рвусь к этому, как к предельно глубокой, неповторимой по тонкости, нечитанной мною и мною не сочиненной книге, где все достигнуто и выражено с тем совершенством, с каким в полдень спит послеобеденным сном солнце, и сквозь сон говорят петухи в бездонно тихом и голубом море прожитого; — человеческих воспоминаний, из которых состоит летний неподвижный воздух в тридцать лет.

Прости. Этого вкуса бытия, вяжущего, захватывающего и усыпительного, я передать не в состоянии. В выраженьи это становится чепухой.

Свет в твоем присутствии представляется мне тем белым светом Ван Гоговского созерцанья, при котором *от зрачка* художника, страстного и повествовательного, падает тень на луг и на полотно. Звук — таким сильным и еле уловимым, словно это звук слова, произнесенного год назад и каким-то чудом задержавшегося в своем долгом пути. Страшная отдаленность заряда и зарожденья. Страшная сила разрыва, преодолевающего громадные расстояния. Тонкость и неуловимость проявлений, победивших огромные расстоянья. Тишина, залитая солнцем, в которой уголь и гром.

О прости, такие вещи пишутся не так и не второпях.

Впервые: «Существованья ткань сквозная». — Автограф.

[1] Пастернак неделю провел в постели с тяжелой ангиной и температурой 39°, о чем писал в несохранившемся письме 4 или 5 июня.

236. Е. В. ПАСТЕРНАК

14 июля 1924, Москва

14/VII. 24. Вечером. Моя родная, я облился слезами, прочитав про твой сон[1]. Это сон в руку и слава Богу, что, кажется, миновал, отоснился. Ты и не подозреваешь, сколько в нем правды, и как поразительно, что я сегодня как раз про него узнал. Увидимся, расскажу. Но как мне сказать наверняка уж и теперь, когда я приеду: я сегодня в первый раз вышел на несколько минут. Пришлось скоро домой вернуться, пошел дождик. Какая неудачная карточка, но что за чудесный мальчик на ней! Какой-то задорно-созерцательный, настороженный и грустный. Страшно милый и удивительно, что наш. Слава Богу.

Письмо, которое сопровождало карточку, если исключить приписку насчет роз, огорчило меня. В нем в первый раз за все лето сказался незаслуженный холод, и счастливцем ты назвала меня некстати, не вовремя, я тебе и про это расскажу.

Однако я знаю, как действуют такие сновиденья; и чего стоит физическая подоплека повышенной чувствительности *теперь также узнал*. Так вот. Лучше уж огорчай меня, но да минуют тебя такие сновиденья. И лучше будь безжалостной, чем жалостной, потому что у жалости есть свои медицинские причины. Но мы скоро увидимся. Какое счастье! Это тоже представляется мне сном. Дай Бог, чтобы не был он кратковременен. Ты все боялась моей изменчивости. Я не этого опасаюсь.

Шура все еще не уехал, хотя у него уже больше трех недель заграничный паспорт в кармане. Пепа привлек его к работе по мавзолею[2], и по обыкновенью, он работал сплошь, дни и ночи. Мы немного ссорились с ним, потому что в дни, когда я так нуждался в его помощи, он не оказывал мне ни малейшей, раздражался и плохо себе представлял, что со мной.

Теперь горячка рабочая у него миновала, и сегодня он будет в Госиздате по моему порученью. Если ему дадут денег, я завтра же тебе пошлю по Петербургскому адресу. Прости, что так задержал,

не моя вина. Оставлять дачу и не думай. Никогда вперед нельзя знать, какая будет осень. Особенно нужно это сказать тебе в эти дни, которые и у вас, вероятно, дождливы. Здесь тоже ветер и дождь.

Ах Женичка, Женичка, вчерашнее твое письмо со сновиденьем! Какая близость, какая сопряженность в судьбе. Мы рядом с тобой — и кругом опасная стихия случайности.

Впервые: «Существованья ткань сквозная». — Автограф.

[1] В письме 11 июля 1924 Е. В. рассказала страшный сон о напавших на них огромных механических птицах, приснившийся ей в тот день, когда Пастернак тяжело заболел.

[2] Б. И. Збарский занимался мумификацией Ленина. По его просьбе А. Л. Пастернак составлял альбом красок для поддержания натурального цвета кожи лица и рук. За эту работу Збарский помог ему с получением визы для поездки в Германию к родителям.

237. Е. В. ПАСТЕРНАК

17 июля 1924, Москва

17/VII. 24. Дорогая Женичка! Ура, ура, ура! Я уже совершенно здоров, третий уже день как выхожу, и постепенно начинаю себя самого и дела в порядок приводить. Мы еще поживем с тобой, именно так, как вначале предполагали. Приехала Гита и кое-что рассказала. На карточке ты ужасно худа. Это и она подтверждает. Гулюшка, надо тебе самой своим здоровьем заинтересоваться, это во власти человека, ты обязана поправиться и это задача выполнимая, — я это на себе проверил. Я именно оттого так убежденно об этом говорю, что у меня очень капризная разыгралась вещичка на почве ангины, с которой казалось бы нет никакого слада, потому что она не от одного питанья и режима зависит, и вне человеческого контроля. И все же, мне так хотелось выздороветь и к тебе попасть, что я с ней, слава Богу, совладал и вполне здоров опять. У меня температура держалась оттого, что налеты очень медленно с горла сходили. А это было вызвано слабостью. Слабость же зависела оттого, что сердце у меня сплоховало. Левин нашел у меня какую-то ослабленность сердечных мышц. Это наверное оттого, что я тебя слишком крепко люблю. Выражалось это в том, что у меня около двух недель был пульс, по частоте не соответствовавший температуре. Температура была уже ниже тридцати восьми, а пульс такой, как бывает при очень высокой. А я себя считал человеком искренним и правдивым.

Мне не хотелось тебе об этом писать, чтобы не волновать тебя зря, хотя тут собственно нечего было волноваться, но ты бы, может, к этому всему придралась и заволновалась. Сейчас же говорю потому, что все это миновало, не оставив ни следа. Но я и теперь бы болел, если бы не хотел так сильно выздороветь. Прости, дорогой друг, что я так много об этом говорю. Но мне так радостно, что я опять в полном смысле слова на ноги встал! Я нарочно ничего не делаю, и слава Богу, мне это ничегонеделанье не в новость и не в тягость. Поработаю у тебя, на даче.

Я все привезу, о чем ты просишь, но зачем тебе было меня дожидаться, ведь это, верно, не бог весть каких денег стоит (подрамок, кроличий клей и т. д.). Когда приеду, сказать не могу. Но можешь быть убеждена, что без причины откладывать не стану. Наверное извещу. Все-таки я еще и слаб и совсем без денег. Письмо отправлю с Николаевского вокзала. Мне захочется, вероятно, расцеловать зданье. Это было последнее здоровое впечатленье и теперь — одно из первых. Обнимаю тебя и мальчика. Верно, он препотешный и трогательнейший.

Впервые: «Существованья ткань сквозная».

238. О. М. ФРЕЙДЕНБЕРГ

3 августа 1924, Тайцы

Тайцы. Балтийской. Воскресенье.

Олюшка, дорогая моя сестра! Ради Бога, не торопись говорить мне подлеца, не зови негодяем и выслушай. В минувшую среду от поезда к поезду я был в Петербурге[1], и не надо говорить, как меня подмывало повидаться с тобой. Физически это было возможно. У меня было три часа времени. Но я был не уверен в том, как ты, и в особенности тетя, встретите меня. Если уже от этих нескольких слов веет здоровьем, устойчивостью и благополучьем, то я просто писать не умею. Ничего подобного нет. Ничего нет, ничего не было. Если бы я пришел, ты это прекрасно знаешь, то никогда не с тем, чтобы показывать и рассказывать что-нибудь — я ведь не допускаю мысли, чтобы тебе или тете как-нибудь недоставало меня, но только оттого, что это чувство испытываю я к вам, оттого, иначе сказать, что в этой большой, далеко в глубь прошлого уходящей, еще продолжающейся, заторможенной на десять лет, тяжелой, невыносимой повести, которую мы признаем за нашу жизнь, вы — лучшие, люби-

мейшие, глубочайшие главы. Я пришел бы, мы поговорили бы втроем, и я *засуществовал* бы вновь, с вами, за вас, ты все это знаешь.

И вот я боялся, что вместо этого всего будут Мони, Яши, Берлины[2], обидные темы, недостойные комнат на Канале[3], — и, дорогая Оля, о неужели заслуженные мной? В три же часа успеть подготовить письмом и потом прийти нельзя было, и я эту возможность упустил, обалделыми глазами следя за тем, как мимо трамвая бегут улицы города, который для меня летом есть город Оли, — город Оли, и никакой другой.

Помнишь, тринадцать лет тому назад возвращались мы из Меррекюля. Помнишь, как звучали названья станций — Вруда, Пудость, Тикопись?[4] Мы их потом никогда не вспоминали. Они попадались впоследствии в датировках Северянинских стихов[5].

А ты мне тогда о нем рассказывала, на извощике кажется, по дороге с вокзала. Помнишь? Помнишь все? Как тебя тогда папа, дядя Миша встретил! Как я любил его в этот вечер! Помнишь, Оля? Я поворачиваю голову в сторону и вглядываюсь в эту страшную даль. Точно недавно ударившим ветром это все за край поля отнесло, подбежать — подберешь.

Слушай, как чудно́, как безрадостно чудесно. Я пишу тебе из Тайц, со станции, смежной с Пудостью. Ты — петербуржка, тебя этот язык Балтийской дороги не может удивить и привесть в возбужденье, ты летами, вероятно, возобновляла прямо или косвенно звучанье этих чухонских заклятий. Но можешь себе представить, что делает этот словарь со мной. Вот как это случилось. К весне Женя измучилась и истощилась до невозможности: надо тебе знать, что у нас ребенок, мальчик, зовут также Женичкой, она малокровна, кормила, изнервничалась, и материальные обстоятельства всю зиму у нас были прескверные. Вот она и отправилась к своей матери, где тоже свои незадачи, болезни, трудности. Летом ей сняли верх в две комнатки в Тайцах.

Я остался в Москве, чтобы поработать, написать Илиаду, Божественную Комедию или Войну и Мир и таким образом радикально поправить дела надолго. Надо ли говорить, что я с таким самочувствием и до Аверченки не поднялся, т. е. попросту ничего не сделал. Тем временем я успел захворать, болел пустяковейшей ангиной, которая, однако, отозвалась на сердце, страшно скучал по Жене, и все никак не мог достать денег, чтобы оплатить квартиру за несколько месяцев, разделаться с долгами и к ним съездить. Теперь я наконец попал к ним в Тайцы, и вот тебе объясненье моего трехчасового пребыванья в городе. Первою мыслью моей было просить

тебя погостить у нас, об этом бы я стал просить тебя на коленях, принимая на себя все обидные слова и клички, которые ты написала в Берлин. Скажу вскользь, наверное, ты права, наверное, я мерзок, я этого не чувствую, не знаю за собой, но тебе лучше знать, что с того, что в моем опыте с тобой и с тетей ничего от неловкости, оплошности и т. д. нет, а только всегда порыв, волненье, интерес и преданность. Но это мимоходом. Я собирался в город вчера, в субботу, но опоздал на поезд. Мне хотелось завезти тебя на воскресенье. Дело в том, что по приезде в Тайцы я увидал, что поселиться просто у нас тебе негде будет (ты сама увидишь), т. е. что тебе тесно будет, неудобно и отдыха никакого. Тогда же Женя стала подыскивать для тебя комнату поблизости, и одна уже есть на примете, точно узнаем на днях. Письмо это преследует одну цель. Напомнить о себе и о том, что пишет письмо не собака. Начинать с этого при встрече было бы тягостно. В середине недели (среда, четверг) днем буду у тебя. Был бы и раньше, но, как сказано, до письма боюсь. При проезде же настоящей причиной того, что не зашел, была невозможность видеть кого бы то ни было до своих, я по них сильно стосковался. Теперь они тут, и, начав письмо, об этом забыл. Крепко целую тебя, тетю и Сашу.

Твой Боря

Впервые: Переписка с О. Фрейденберг. — Автограф. Датируется по содержанию.

[1] Пастернак выехал из Москвы 29 июля 1924г., 30-го был в Петербурге и уехал в Тайцы.

[2] То есть разговоры о родственниках, живущих в Берлине, и обидах на Б. Пастернака, о которых О. Фрейденберг писала в Берлин дяде. Соломон и Яков Якобсоны — двоюродные братья О. Фрейденберг и Пастернака.

[3] Фрейденберги жили в доме на Екатерининском (Грибоедовском) канале.

[4] Названия пригородных станций под Петербургом, памятные по лету 1910 г. (см. письмо № 23).

[5] Авт. примеч. к стих. Северянина «Я — композитор»: Ст. Вруда, поезд, 1912.

239. О. М. ФРЕЙДЕНБЕРГ

11 августа 1924, Тайцы

Тайцы. Понедельник.

Дорогая Олюшка! У меня болит горло и несколько повышена температура (37,4). В другое бы время я не обратил на это вниманья и приехал в точности в назначенный час, тем более что это для меня одно удовольствие и счастье победить твою несговорчивость насчет

издателя[1] и поездки к нам, но летом я очень провозился с ангиной, трижды возвращавшейся и отразившейся на сердце, что и делает меня до смешного осторожным. Слово тети о тяжести понедельника таким образом сбывается с неожиданной стороны. Я приеду в город в следующий приемный день Современника[2], т. е. в *пятницу* в три часа, как предполагал сегодня. Не сердись же на меня, если тебе из-за меня пришлось потерять два-три дневных часа, и ради Бога, не наказывай меня за движенье бактерий, которое не в моей воле. Вот на всякий случай наш адрес: Тайцы Балтийской ж. д., Евгеньевский пер. 3, дача Карновского. Если бы ты собралась к нам до пятницы, это было бы для нас большой радостью. Жене мало тебя, она еще очень просит тетю и горячо вас обеих целует. От вас на Балтийский ходит трамвай № 2, остановка на углу Садовой и Гороховой, как ты мне говорила. На сегодня у меня был такой план. Если бы мне удалось уломать тебя на завтра (вторник) к нам в гости приехать, то мы бы отправились с тобой на поезде, отходящем из города в 9 часов утра (по городскому времени), и для того, чтобы не проспать его и вовремя поспеть, я бы к вам ночевать напросился. Следующий, к сожаленью, идет только во втором часу (1.40 по городскому), а это поздно, половина дня пропадает.

Ах, Оля, как жалко, что я тебя сегодня не увижу. Но если два часа назад у меня еще были колебанья и некоторая надежда, что, может быть, я все же поеду, теперь об этом и говорить нечего: у меня жар увеличивается. Итак, если Бог даст, — до пятницы.

Целую тебя и тетю. Поклон Саше и его жене. *Твой Боря*

Впервые: Переписка с О. Фрейденберг. — Автограф. Датируется по содержанию.

[1] Речь идет о заказе на перевод «Золотой ветви» Дж. Фрезера для О. Фрейденберг. Пастернак хотел познакомить ее с издателем «Всемирной литературы» А. Н. Тихоновым.

[2] Редакция журн. «Русский современник», где была опубликована повесть «Воздушные пути» (1924, № 2).

240. О. Э. МАНДЕЛЬШТАМУ

19 сентября 1924, Москва

19.IX.24. Волхонка 14, кв. 9

Дорогой Осип Эмилиевич!

Мне следовало давно извиниться перед Вами за наше исчезновенье из Петербурга без прощального визита, который мы со-

бирались Вам нанести, и по какой-то непредвиденной причине не успели. Надеюсь, Вы вполне тогда же оправились от инфлуэнцы, разыгрывавшейся у Вас в те дни. Перед отъездом заходил я к Кузмину, но не застал его дома. Думал повторить посещенье, и тоже отчего-то не вышло. Хотя мы в Москве всего с неделю, но кажется мне, что дни, проведенные в Петербурге, дело прошлого года. Всего больше жалею я, что так и не услышал Вашей прозы, хотя, конечно, это моя вина. Я несколько раз у Вас был и помногу часов отымал у Вас и Н<адежды> Я<ковлевны> обыденнейшими разговорами, вместо чего можно было попросить Вас ее почитать. Закончили ли Вы ее уже? Когда можно ждать появленья «Воспоминаний»?[1]

Мне пожаловаться не на что. Все неприятное, с чем я тут в Москве столкнулся, я более или менее предвидел всегда и предчувствовал этим летом. Хотя ежедневно ведутся с нами разговоры о площади и тому подобном, но комнаты мы, вероятно, отстоим, так мне, по крайней мере, кажется. Служба у меня обещает получиться по статистической части. Так как я в юридических дисциплинах ничего не смыслю и вообще в отношении теории, как уясняется мне, гораздо наивнее, чем мог предполагать, то придется мне на месяц засесть за разнообразные курсы, до преодоления которых не буду себя считать вполне человеком. Что-то сделалось в мое отсутствие с Дмитрием Петровским. Он пишет что-то громадное[2], мало с кем встречается и при первом же моем звонке объявил мне, что не желает меня видеть. Надо знать Дмитрия так, как знаю его я, а также и степень, давность и глубину нашей дружбы. Я понял, что причины этой перемены лежат где-то глубоко, и не только не обиделся, но даже и не огорчился, а как-то порадовался за его болезненным усилием воли проводимое одиночество. Я не ошибся. Он виделся с женой, его объясненья ее удовлетворили и показались достаточными и благородными. Она мне их не передала, связанная словом. Но этот крупный духовный подъем у Петровского, заставляющий его сторониться меня, совпадает с внешней стороны, объективно по смыслу и по времени с некоторой атмосферой холода и отчужденья, которые я тут застал. Говоря безотносительно, — она заслужена мной, я давно уже ничего особенного не писал и притязать на ровное и постоянное вниманье не вправе. Вы, конечно, понимаете, что говорю я не о мнениях, комплиментах, оценках или баллах. Но я даже готов допустить, что и на чувство дружбы я претендовать не вправе, если ее не поддерживаю постоянно и непрестанно, так, как это нашему брату

подобает. Замечательно, насколько противоположны тут действительные и субъективные причины. Мне ясны те и другие и ясно их различие.

Все это меня печалит лишь в том смысле, что целиком доходит до меня, и темные эффекты жизнью, таким образом, даром на меня не тратятся: я их воспринимаю. При всем том мне нравится категорическая серьезность теперешней моей участи. Это положенье меня от многого замкнет и от еще большего освободит. Матерьяльно, думается, мне удастся прожить довольно сносно. Здесь поставили «Алхимика»[3] в моем переводе, и Гос. Изд. Укр<аины> собирается его издать. Никогда еще я не смотрел вперед с таким бодрым удовлетвореньем.

Пишите, что у Вас делается. Засудили ли столяра?[4] Еще раз большое спасибо за помощь в Петербурге. Крепко жму Вашу руку. Привет Надежде Яковлевне.

Ваш Б. Пастернак

Впервые: Вестник РСХД, Париж–Нью-Йорк, 1972, № 104–105. — Автограф.

[1] Имеется в виду «Шум времени».

[2] Петровский работал в это время над повестью о гражданской войне и своем пребывании в плену у Петлюры в 1918 г. под назв. «Повстанья».

[3] В сентябре 1924 г. в Московском драматическом театре им. Коммиссаржевской был поставлен «Алхимик» Бен Джонсона в переводе Пастернака.

[4] По словам Н. Я. Мандельштам, они никак не могли договориться со столяром, чтобы он сделал дверь в их квартире на Морской улице, — столяр брал деньги и исчезал.

241. РОДИТЕЛЯМ

20–23 сентября 1924, Москва

20/IX — 23/IX. 24

Дорогие! Мы дома уже 8 дней. Я застал тут ваши письма:

1) Шуре от папы с припиской Пепе от 12/VIII 1924; 2) Шурино московское мне[1]; 3) *Шурино деловое с папиной припиской от 20/VIII;* 4) Мамино о мальчике с папиной припиской об Оле и тете Асе и 5) Жонино от 18/VIII, досланное сюда из Тайц.

Начну с делового вопроса. Цитирую Шурино деловое от 20/VIII: «Когда я уезжал из Москвы, я имел свиданье в Кремле с Нарком.труд'ом Шмидтом. Он просил меня узнать у папы, на каких условьях он продал бы им «Заседанье ВЦИК'а» и «Заседанье Пре-

зидиума ВСНХ» (в первом — Лутовинов, во втором — Карпов[2] — у нас в столе имеются репродукции и т. д.). *Эти вещи продаются за тысячу рублей*». То есть Шура хочет сказать, что они продаются по 500 р. каждая? Не дешево ли это? Или по 1000 руб. каждая? То, что следует дальше, неясностей не заключает и не встречает наших возражений. Оценка же этих групп по 50-ти червонцев (500 р.) показалась мне и Жене низкой. В том же письме Шура говорит о своем письме к Лиле Шмидт. Там, верно, уже фиксированы им эти условья? По полученным сведеньям, Л. Шмидт приехала из Крыма вчера. Я ей не звонил еще, у нас телефон в неисправности, но, разумеется, не в этом дело, а в оценке и в некоторой ее неясности, — позвонить же можно и по любому другому аппарату. Напишите о цене тотчас же.

Еще мы получили письмо от Шуры, Феди и Жони поздравительное с днем рожденья мальчика. Большое спасибо за вниманье. Хотя его рожденье послезавтра, 23/IX, но Фришманы уже подарили ему шерстяной матросский костюмчик (чрезмерно ценный подарок, он не меньше 16 рубл. стоит), и мальчик очень смешон, в особенности, когда он в штанах с пришитой жилеткой, — тогда ему только пиджака недостает, чтобы явиться перлом трогательности и комизма, — костюм замечательный и впору ему. Вообще, как, вероятно, вам уже рассказывал Шура, Юлия Бенционовна с большим тактом и совершенно незаслуженно, и стараясь сделать это незаметно для нас, заботится о нас и всегда готова прийти на помощь, и всегда значительную. Когда я болел, она ходила за мной (готовила, а прислуга их убирала комнату). Из Петербурга мы въехали в чистую, убранную квартиру, где порядок был настолько образцов, что можно лишь мечтать о поддержании его на том же уровне. Сейчас очень захворала Елизавета Ивановна[3]. Она вторую неделю в постели, у нее — разлитие желчи и держат ее на строжайшей диете.

Так как Фришманы и Устиновы не поладили с самого начала (с въезда первых в квартиру) и друг друга не любят и ревнуют, то достаточно было первых признаков дружелюбия между нами и Фришманами, чтобы в той же мере Устиновы охладели к нам. Я это уловил и усвоил. А так как я в этом отношении очень инертен и, заметив то или другое отношенье к себе, сейчас же тем же настроеньем проникаюсь, то непроизвольно и бессознательно я, вероятно, это положенье поддерживаю той некоторой сдержанностью,

которая у нас по отношенью к Устиновым нова. На деле же для нее, кроме этой моей черты, нет никаких оснований.

План предстоящей зимы сам собою сложился этим летом. В нем нет ничего особенного или незаурядного, он для меня нов только тем, что он трезв, суров и серьезен. В той его части, которая касается меня, он подготовлен давно рядом причин широчайшего и общего порядка, того порядка, где кончаются имена и начинаются социальные разряды, типические и массовые явленья и прочая и пр. В той же части, которая касается Жени, он своей ясностью и точностью во многом обязан тете Асе, которая с обычной для нее страстностью с вечера на третий (мы часто у нее бывали) говорила о том, что нам надо жить так, чтобы Женя поправилась и, главное, могла поработать, чтобы уяснить себе, человек ли она или нет, так как в жизнь она вступила, не успев себя полностью узнать и обнаружить.

То обстоятельство, что об этом именно заговорила тетя Ася и как раз теперь, и именно так как она все снова и снова возвращалась к этой теме, показалось мне очень веским и в каком-то отношении очень знаменательным. Бывают вещи в жизни (это могут быть даже безответственнейшие слова), которые по своей непонятной теплоте и свежести, превосходящей все, что видишь и слышишь кругом в это самое время, кажутся голосом самой жизни или правды, или того скрытого теченья времен и вещей, которое несет нас и является нашей судьбой и о котором мы догадываемся лишь редко и косвенно. Этим признаком *превосходной* жизненности и какого-то чутья, на которое следует опереться, были проникнуты все вечера у тети.

Я уже писал папе, как выделяет она Женю из всей семьи и как ее любит. Она ей подарила выездной театральный капор (или башлык) своего вязанья, парижский веер и белую голландскую кофту с оторочкой и распахнуто-стоячим воротом старинного покроя (в XVI веке так носили) — прямая копия той кофты, что на одной краснощекой крестьянке-невесте у Иорданса, может, помнишь. Она ее себе в Париже или в Бельгии купила или сделала, намеренно копируя этот стиль. Кофта эта сущее загляденье. Потом она еще подарила брошку с аметистами Фене, — прислуге, водившей Женю в гимназию в Могилеве и теперь состоящей нянею при мальчике у нас.

Тетя Ася была преувеличенно дурного мненья о состоянии наших финансов и о моих видах, и я только с трудом отговорил ее от писанья писем вам и зачем-то Феде. Я говорю это на всякий

случай. Если бы вы получили какое-нибудь письмо от них на эту тему, то знайте, что оно действительности не соответствует и продиктовано только ее повышенной бережностью и нежностью к Жене и очень неосновательными фантазиями на мой счет. —

О них (тете Асе и Оле) и о твоих советах и практических предложеньях, точно так же, как и о твоих собственных делах, — ниже, в конце, или же, может быть, не сегодня.

Итак, в первую голову этой зимой надо поправить Женино здоровье. Когда возвратятся Левины, я хочу сходить с нею ко Льву Григ. Пока же надо обратить вниманье на питанье. К сожаленью, она очень непослушна, нервна и склонна к вздорным состояниям. Масло в нее приходится забивать чуть что не молотком. По счастью, положенье спасет, вероятно, то обстоятельство, что болезнь и здоровье, как и для меня, не могут у нее составить *темы* жизни, и она все-таки постарается избавиться от того, чем вечно заниматься — неинтересно и неумно.

Далее, нужно ее избавить от той части хозяйственных хлопот, которые не так настоятельны. Мы не готовим обеда дома, а ходим обедать в Дом Ученых и оттуда же достаем обед для прислуги. Стряпать и почти весь день ей приходится на мальчика, когда же мы достанем дров, и это перестанет делаться на примусе, то и эта часть стряпни будет производиться разом и сократится во времени.

Вероятно, через месяц я поступлю на службу. Кажется мне придется служить по статистике, и так как я ничего в ней не смыслю, то и решил достать нужные книги и подзаняться[4].

Без регулярного заработка мне слишком бы неспокойно жилось в обстановке, построенной сплошь, сверху донизу, по периферии всего государства в расчете на то, что все в нем служат, в своем единообразии доступные обозренью и пониманью постоянного контроля.

Итак, я решил служить. К этой мысли склоняет меня более всего одно наблюденье. Два эти года я пользовался почти неограниченной свободой, жизнь была сравнительно легка, и счастье и удача, как сказал бы всякий посторонний человек, мне улыбались. Между тем я ничего не писал или, лучше сказать, *не мог* писать. Я оставляю это наблюденье необъясненным, хотя причины его, кажется, мне понятны. Может быть, перемена в образе жизни и заработка изменит положение этих вещей. А может быть и нет. Во всяком случае дальше так продолжаться не может. Тайну этого странного факта оставлю пока про себя. Но мне хочется оторваться от свободы, счастья, удачи и некоторых преимуществ, которыми

я пользовался, потому что при современном положении вещей все это слова в кавычках, потому что об изменении общественного положенья я мечтаю как об истинном освобождении.

— Как всегда это в жизни бывает, все сошлось в одну точку с самых различных и непредвиденных сторон. И очень хорошо, что точка эта не навязана обстоятельствами, что морально она мною предрешена была и намечена наперед. Ничем я не буду обязан «обществу» теперешнему и здешнему. Ничем, кроме рядового и честного труда. Все же остальное, как когда-то, будет моим собственным делом, будет или не будет, но во всяком случае не будет чужого ума делом. «Любовью», «значеньем», «известностью» я не буду пользоваться, точно так же, как и «заимообразной свободой», «заимообразным званьем». Я буду жить без этих отвратительных ссуд и не буду знаться с ростовщиками этого рода.

И точно уже это случилось, этой осенью все сразу изменилось вокруг меня. Вокруг меня образовалось пустое место и, вероятно, с теченьем времени оно увеличится. Только я приехал и уже узнаю: вот от меня отворачивается преданнейший друг, вот другой встречает меня с непривычным холодом, вот знак безразличья, вот язык скрытой вражды, вот проявленье неприязни открытой. И странно, меня это не тревожит и не смущает. Меня это не сбивает с панталыку, а скорее наоборот, тем прочнее вводит в избранную колею. Меня это, конечно, не оставляет бесчувственным и, конечно, слегка печалит. Восприимчивость я, ведь, не собираюсь притуплять.

Странно попадать в Москву после Петербурга. Дикий, бесцветный, бестолковый, роковой город. Чудовищные цены. В Петербурге они равняются по человеку. Чудовищные неудобства. В Петербурге багаж (8 мест, 12 пудов) был доставлен на тележке. Здесь не привыкли. Здесь надо дать заработать артельщику, ломовику, хитровцу, который глядит, чтобы части вещей не утащили при переноске, и другому, за то, что он не был этим другим. Чудовищные мостовые. Я сел на полóк и уже при выезде с Каланчевской мысленно распростился со всем, что бьется и ломается, что сделано при помощи винтов, гаек, стекла и прочих нерусских предрассудков. Так, в мыслях я пожертвовал «мальпостом» (детскою коляской, которая обошлась в 50 рублей). Я сидел, взлетал на воздух, падал и взлетал при перескоках через круглые канализационные покрышки и, глядя на эту топчущуюся в сухой известке и песке толпу, понял, что Москва навязана мне рожденьем, что это мое пассивное приданое, что это город моих воспоминаний о вас и

вашей жизни, резиденция нашего громоздкого инвентаря, кукольная оболочка всех моих становлений — несовершеннолетья, созреванья трех последовательных призваний и, короче говоря, легко обобщимого и самостоятельно смыкающегося прошлого. Что я все силы приложу к тому, чтобы отсюда переехать, на первое время, — скажем, — в Петербург.

Надо еще сказать, что по смешанному своему стилю, составу населенья и пр. и пр. Москва теперь производит в высшей степени фальшивое впечатленье. Бывает время, когда тут начинаешь чувствовать, что дышишь ложью, всеобщею и сплошной, пропитывающей решительно все кругом, начиная от кирпича и кончая людскими разговорами.

Революция, хороша ли она или плоха, близка ли мне или далека, есть все-таки осмысленная и единственная реальность с какою-то своею закономерностью и логикой. В Москве она даже этой закономерной логики своей лишается. В то время как в Петербурге ее до некоторой степени уясняешь себе как нечто определенное и в своей определенности связанное, как с Петром, Радищевым, декабристами, Пушкиным, 905-м годом, так и просто с самим городом, морем, Кронштадтом, прямизной улиц и всеми особенностями *«окна в Европу»*, в Москве она представляется верхом многокачественности, так что истинной революцией подчас становится оглядка на Азию, попятный путь от города к деревне, от рабочего к мужику, и нет той реакционной дичи инстинктивного порядка, которая бы путем ничего не стоющей уловки не выдавала себя с успехом за «подлинный смысл» революции. Тут голоса рынка, невежества, ограниченности, расовой неприязни и пр. блестяще и беспрепятственно смешиваются с противоположными элементами. От них эти темные подголоски получают свою *обязательность*, которой они и в самые мрачные периоды не имели. Внезапно оказывается, что научная или художественная незаурядность есть проявленье мещанства или, вообще говоря, качество, которого надо стыдиться. Правительство и партия так, конечно, думать не могут и не думают, но тон и уклад жизни задают не верхи и личности, а власть количества.

Интеллигенция испытывает на себе враждебность того косного слоя, который по социальному своему значенью (крестьянство) составляет часть революции, по существу же остался верен своим вкусам допетровских времен «немецкой слободы». Все это со стороны очень любопытно с точки зренья исторической. Но дышать этой путаницей, в высшей степени скользкой и двойствен-

но условной, очень тяжело. Такова Москва. В Петербурге — значительно легче, там дух этой революции чище, безусловнее, прямей. Фальшь и противоречие там не возведены в систему. —

Москву следовало бы оставить еще и оттого, что она перенаселена сверх меры, и постоянные терзанья с квартирой будут возобновляться все вновь и вновь. Не знаю, застал ли еще Шуру новый декрет о сведéнии площади к строгой норме в 16 кв. аршин и об уплотнении и праве жильцов на самоуплотненье. Тогда он должен знать, какое это нешуточное явленье и как оно широко охватило всех живущих в Москве. Мебель теперь (в связи с этим декретом) распродают за бесценок. Как анекдот (хотя уверяют, что это на самом деле так), передают, будто несколько десятков тысяч родственников надвигаются из провинции на Москву, вызванные с целью самоуплотненья. Я отказался от проходной (бывшей столовой) в пользу домоуправленья и предложил им отнять часть мастерской (надворную) путем перестановки перегородки. Они же облюбовали Шурину комнату и переднюю и уступать не желают, не без основанья возражая, что мое предложенье не подходит им.

В Кубу назначена перерегистрация всех охранных грамот[5]. Не знаю, утвердят ли мой предположительный план. Так как социальное положенье Шуры очень шатко и пестро (он и безработный, и на иждивеньи, и не на иждивеньи, и пр. и пр.), то с такими апокрифическими данными ему комнаты не отстоять. Его ссылка на право полуторамесячного удержанья тоже малоутешительна для кого бы то ни было. Пока мы разговариваем и пишем, время идет, и полтора эти месяца больше полутора же не протянутся, а конец этого срока не за горами. Да и при такой постановке вопроса, когда все дело в том, что она на запоре и может быть на нем в течение шести недель, ясно, что по их истечении никаких оснований не будет отказывать в уступке его комнаты или придумывать новые, что совсем неудобно. Поэтому мы отстаиваем мастерскую и Шурину комнату по Кубу. В охранной грамоте будет значиться, что все (включая и Шуру) впятером живут в мастерской, его же комната закрепляется за мной в качестве рабочей. Когда он вернется, то в том случае, если его планы изменились (он хотел у Вильямов жить и мне о том говорил), он по-прежнему займет свою комнату с тем только ограниченьем, что я буду у него заниматься по временам.

Институт[6] предлагал нам переменить квартиру. Мы ходили их смотреть. Одна — бывшая часть Громогласовской, две окончательно отсыревшие и черные от копоти комнаты со взорванными по-

лами, по площади соответствующие нашим надобностям. Другая — часть Давыдовской (Шура знает, кто это такой): четыре крохотных комнатки, наглухо друг от друга отделенных, общей сложностью в 84 кв. аршина. В двух из них надо будет пробить дверь, причем площадь их при таком порядке скрадется без остатка. С санитарной точки зренья она приемлемее первой, но если бы мы и пожелали, то туда можно въехать только с дачным инвентарем.

Еще один лишний раз «проблема» мебели встала перед нами. Правда, вы уполномочили нас все распродавать. Однако если даже я и не воспользовался бы ничем из выручки, то и в таком случае не избежать, — нам лично, а может статься, и Вам, неприятных ощущений. Дело в том, что когда является та или иная *необходимость* продавать мебель, вещи и проч., то она является у всех, как в настоящее время. И тогда она отдается за бесценок, почти что даром. Когда же период этой дешевки проходит, то только благодаря тому, что настоятельность необходимости для всех ослабляется. В эти периоды легче становится и нам, и тогда я перестаю видеть основанье распоряжаться чужой собственностью как своей.

Меня вообще удручает чувство и сознанье того, насколько полно подпадаешь каждый раз под общее правило. В этой подчиненности повальным, переписным и многотысячным процессам мне трудно отделить невольное от добровольного. Потому что тем, как я держу себя и как лажу свою жизнь, я и сам часто намеренно движусь от положений исключительных в сторону общих и обывательских. Какая тяжелая путаница. Может быть, я сплошь только и делаю, что ложные шаги да ошибки. Удивительная вещь. Всякий из тех немногочисленных случаев, что я бывал изъят из общего правила, я чувствовал себя в какой-то атмосфере легкости и зависти, авантюризма и недоброжелательности. Но стоило, бывало, мне повернуться лицом в сторону неподведенной обыкновенной жизни, которой никто не превозносит и не унижает, как тотчас же на спину ложилась тяжесть общих, статистических и массовых явлений, которые я переставал признавать за факты своей собственной жизни, слишком хорошо видя в них их общую природу. Это направленья встречные и противоположные. В конце одного из них — лицо и факт, в конце другого — тип и общий закон. Меня удручает то, что всю жизнь я похаживаю *взад и вперед* по *обоим* этим направленьям, никогда на этих прогулках далеко не уходя. Это не только тяжело, это в каком-то отношении и стыдно.Письмо Шуры из Мюнхена глубоко огорчило нас. Оно скучно, несостоятельно и бесцветно. Это он — за границей, у предела

своих желаний. Давайте будем говорить прямо и жестоко. Похоже на то (да и в самом деле оно так и есть), что он существует, поскольку тобой, отцом, накоплен громадный аккумулятор (я теперь его измерил и об этом еще расскажу), состоящий из *имени,* средств, знакомств, сообщенных ему знаний, постоянных советов, денежной и моральной поддержки и прочего. По существу, мот и кутила, расточающий отцово наследство, ярче и выше его в градации жизненных типов. Это я говорю потому, что если бы, скажем, тебя не было и все скопленное тобою сосредоточилось в его руках, то и этого было бы мало: недоставало бы тебя как советчика, который бы объяснял ему и внушал, как всем этим воспользоваться, и толкал бы его — в природу, в трактиры, к женщинам или на железные дороги. Все это я с такой отчетливостью изложил вот зачем. *По существу, с этой точки зренья мало чем отличаюсь от него и я.* И Жоня. Кажется, Лида — исключенье. Но о ней еще рано говорить, и как знать, не поведет ли и она вдруг твою линию вниз, через год ли или лет через пять, ведь все мы достигаем зрелости к четырем десяткам. Поразительно, я, кажется начисто избавляюсь от способности страдать и радоваться за себя. Мне страшно горько и обидно за тебя, за то, что с тобою в нас сталось.

Здесь поставили Алхимика в театре имени Комиссаржевской[7]. И его собираются печатать в Харькове. И то и другое явилось неожиданностью для меня. Сперва, на другой день по приезде, мрачный, как и все мои мысли теперь, я узнал о его приобретеньи издательством и пошел на Лубянскую площадь договариваться. Слезая с трамвая, я увидел забор, облепленный афишами, где в ряд, аршинными буквами значилось то, за чем я ехал. Подбежав к забору, я так и решил, что это чей-то чужой перевод (как со мной уже раз было с «Разбитым кувшином»). Оказалось, что — мой. Издание и постановка ни в какой связи между собой не находятся и друг о друге не знают, это случайнейшее из совпадений в один и тот же час. Все это сделалось, пока я в Тайцах жил и моего адреса не знали. Никакой решительно важности в событии этом нет, да и с матерьяльной стороны никакого блеска: театр маленький. Но меня поразил самый факт совпаденья: приезд в Москву, ощущенье неуверенности и позабытости всеми богами (какова-то зима будет), звонок по телефону: Алхимик (издание), афиша на улице; Алхимик (постановка). Теперь этому вторая неделя. Его ставят. Режиссер[8], никак не могший добиться меня в теченье месяца, Бог знает что сделал с текстом, но Бен Джонсона поставил талантливо, и актеры хорошо играют.

— Вчера, накануне Женина рожденья (ему сегодня исполнился год), я отправился к агенту Общества драматических писателей за «поспектакльными» за неделю. Я должен был утром получить в Гос. издательстве за второе издание «Сестры» и не получил. У меня не было ни гроша в кармане и на эти авторские с театра я возлагал все свои надежды. Мне казалось злым предзнаменованьем встретить Женин день порожняком. Представитель общества живет в Каретном ряду, в Спасском переулке, принимает по вечерам. Мне сказали, что он на заседании и будет через час. Положенье было таково, что мне надо было его повидать во что бы то ни стало. Я решил дождаться его и в ожиданьи вышел на улицу побродить кругом, пока вернется.

Я пересек Садовую и скоро очутился против бывшей Духовной Семинарии, в Оружейном переулке. Я знал по вашим упоминаньям, что я не то там родился, не то где-то там поблизости[9]. Я бродил и бродил там, и ничто моим воспоминаньям не говорило, пока я не пошел по продолженью Оружейного, по Божедомскому переулку. Тут недалеко от скрещенья Божедомского с *Волконским* пер. я все увидел и узнал. Я увидел забор и большое одинокое дерево над ним (из Семинарского сада), и боковую часть сада, и кривизну заворачивающего влево по кругу переулка, и увидел так и такими, какими их видел всегда в смутном своем воспоминаньи. Замечательно, что ведь с тех пор я ни разу за 34 (или 32) года, живя в Москве, туда не попадал. Я ходил и ходил по переулку. Толчок к сближеньям был дан сам собой. Я их не производил. Я вернулся к воротам Семинарии (там теперь 3-й дом Советов и без пропуска не впускают, мне хотелось по саду пройти, там я бы нашел, по драгоценности, настоящие Микены[10]).

Я стоял против неважного дома, в котором с несомненностью жили мы, где ты начинал свою карьеру в одной из квартир вроде тех, что теперь нам предлагали и мы не берем, или еще похуже, и откуда ты повел свой корабль через Мясницкую, Волхонку, заграницу, семью, жизнь в шести душах и за них и т. д. и т. д. Мне был год тогда, и отцом годовалого сына стоял я там, зажигались огни в Каретном, на Угольной площади, на Тверских-Ямских, в Оружейном, в Лихове переулке, и я думал о том, как теперь эти четверо душ сидят на Волхонках и за границей, пока те и другие их держат, и ползут назад, в Оружейный, всякий раз, как добытые, достигнутые тобой позиции перестают их держать. И меня в этих сужденьях и чувствах подкрепляли мелочь за мелочью обстоятельства кончавшегося дня.

У агента денег не оказалось. Этим была обстановка празднованья предрешена. Я пришел домой на минутку, мне надо было в театр (спектакль для прессы), можешь себе представить, как я себя там чувствовал. Следовало бы пойти за кулисы, к актерам, я этого не сделал, боясь, что мне весело будет, а Женя ложится рано (она дома осталась) и пр. и пр. The rest is silence. Остальное — молчанье[11].

23/IX. 24. Наконец я кончил это бесконечное письмо. Не сердитесь за многословье. Горячо благодарю за письма мальчику. Вы спрашиваете о мерках и пр. Но как назвать наши пожеланья. Вот максимальные, так что их не надо полностью исполнять. Мне — две-три коробочки лезвий для бритья: Mond Extra Gold (но *никак не бебе*, тупы), и две-три палочки мыла (не Wolf'a, а дешевого без étuit). Женя большая мечтает о недорогом теплом платье (не капот), чтоб можно было дома носить и выходить в гости, мерка по Лиде или Стелле. Маленькому, если можно, шерстяной костюм (типа Bärchen), как на улицах носят, то есть шапочку, куртку и брючки, на полутора-двухлетнего мальчика. Просьбы изложены наспех, ибо он гуляет, Жени нет, а я письмо хочу отправить сегодня. Может быть, на днях пошлю воздушной почтой и тогда: о картинах, о тете Асе и Оле.

Обнимаю вас крепко всех, и Федю, и Жоню, и Стеллу.

Впервые: Письма к родителям и сестрам. — Автограф (Pasternak Trust, Oxford).

[1] А. Л. Пастернак уехал в Берлин в середине августа 1924 г.

[2] Л. О. Пастернак по заказу Советского правительства выполнил большие композиции «Заседаний» в Кремле в 1921 г.; они были куплены в 1920-х и в 1930-х гг. уничтожены. Юрий Хрисанфович *Лутовинов* — кандидат в члены Президиума ВЦИКа.

[3] *Елизавета Ивановна* Устинова — соседка по квартире.

[4] Статистикой занимался С. П. Бобров в Наркомате почт и телеграфов, и он предложил Пастернаку книги, чтобы подготовиться.

[5] *Охранной грамотой* назывался выданный Наркомпросом документ, подтверждающий право владения комнатой, коллекцией, библиотекой и др.

[6] *Институт* Народного образования располагался в нижнем этаже дома, где жили Пастернаки.

[7] Пастернак переводил комедию Бен Джонсона «Алхимик» в 1919 г. Московский драматический театр им. Коммиссаржевской поставил ее.

[8] В. А. Сахновский; в 1940–1941 гг. он ставил во МХАТе «Гамлета» по переводу Пастернака.

[9] Пастернак родился в доме Веденеева на углу площади Старых Триумфальных ворот и *Оружейного переулка*; когда ему было полгода, семья переехала в дом Лыжина напротив здания *Духовной семинарии* в Оружейном переулке.

[10] *Микены* — центр Эгейской культуры XV в. до н. э., где при археологических раскопках были обнаружены дворец и богатые усыпальницы; здесь — в смысле драгоценных воспоминаний прошлого.

[11] Последние слова Гамлета из трагедии Шекспира.

242. О. М. ФРЕЙДЕНБЕРГ

Конец сентября 1924, Москва

Дорогая Олюшка! Не думай, что я о твоих делах забыл[1]. Я с первого же дня стал наводить нужные справки, но пока ничего, на мой собственный взгляд, стоящего упоминанья не узнал. Твои предначертанья я исчерпал на третий же день по приезде. Председатель Цекубу[2] не Покровский, а Лавров, лицо мне неизвестное и совершенно для тебя непригодное, т. к., судя уже по тому, где и по каким делам он принимает, он в ученых, а тем более специально филологических вопросах совсем некомпетентен. Мне сказали, что принимает он в учреждении, ведающем муниципальным и национализованным имуществом г. Москвы, т. е. это больше касается местных передряг по квартирным делам, нежели твоего дела.

Но я ведь взялся не только тебя слушаться и по твоей записке жить, вот отчего и предпочел бы ничего тебе пока не писать. Если я еще не посылаю тебе телеграммы о выезде, то только оттого, что сейчас почти все нужные люди в отпуску. Я говорил с Женей о том, что всего лучше было бы тебе сейчас уже к нам приехать, потому что походя, при разговорах и упоминаньях ты возбуждаешь тут большой интерес, а вообще говоря среда моих приватных знакомств непосредственно и постепенно переходит в ту, которую составляют люди с полномочьями и влияньем. Женя меня разбранила, говоря, что, как ты тут во всякое время и на любой срок желанна, должно быть известно и маме и тебе и что не в этом дело, а в том, что ты с тетей Асей без экстренных оснований разлучаться не согласна. Если дело действительно так обстоит, то это очень жалко. Если же ты могла бы отлучиться недели на две, то я был бы на седьмом небе от счастья и стал бы тебя звать уже и сейчас. Между прочим, твое недовольство Кубу разрешимо по установленной форме. Можно протестовать о дисквалификации. Заявленье о повышении квалификации подается в местное Кубу (значит в Лен-Кубу) с приложеньем отзыва двух членов Кубу по данной специальности не ниже 4-й категории. Но мне хочется для тебя совсем другого, и хотя я ясно не представляю, чего именно, но продолжаю действовать в принятом направлении, в котором и надеюсь

достигнуть обязательно чего-нибудь радостного, конкретного и по размерам вполне тобой заслуженного. На днях напишу тебе еще и о том, как мы приехали. Все в наилучшем порядке. Крепко тебя и тетю Асю целую.

Твой Боря

Женя будет на меня сердиться, что отправляю письмо без нее и ее приписки. Но это и не письмо вовсе, и пишу я второпях. Поговорим по-человечески в следующем. Но ты знай, что каждый день занят чем-нибудь и из твоих дел.

Впервые: Переписка с О. Фрейденберг. — Автограф.

[1] О. Фрейденберг после окончания университета и написания диссертации не могла найти работы по профессии.

[2] Центральная комиссия по улучшению быта ученых. В 1924 г. ее председателем был М. Н. *Покровский*, затем А. Б. Халатов.

243. О. М. ФРЕЙДЕНБЕРГ

28 сентября 1924, Москва

28/IX. 24

Дорогая Оля! Как сильно и выразительно ты пишешь! Не бывши там, я с твоих слов все увидал и пережил и потрясся![1] Странное совпаденье. Точно столетний юбилей того наводненья, что легло в основу Медного Всадника. И это совпало со столетьем ссылки в Михайловское.

А тут — бабье лето, по зною и духоте не уступающее настоящему. И сквозь пыль, летящие бумажки, серые бульвары, вновь поехал в полные зною, сору и бестолочи комиссарьяты — твоя правда — во главе экспертной комиссии — Покровский. Но ты очень заблуждаешься, если думаешь, что это что-нибудь для тебя значит. По каким дням принимает? — Никогда и никого не принимает — ?? — А по какому делу. — Излагаю, приблизительно, с дозволенной степенью приближенья. — Подать заявленье в местное Кубу. Если речь идет о Ленинградском, то тем паче: оно обладает и компетенцией высокой и полномочьями, равносильными Цекубу — это все провинциальное отделенье. — Да я не про то, да вы послушайте и т. д., и т. д. Посоветуйте Вашим знакомым написать в экспертную комиссию сюда, если, как видно из Ваших слов, это дело исключительное; тогда, в меру исключительности, оно, быть может, дойдет до Мих. Ник-ча. Мы рассмотрим.

К чему я пишу это тебе? К тому, чтобы ты не упорствовала на своем отношении к этому делу, вернее, на одной детали своих планов или предположений. Чтобы ты знала, что такого порядка, который готов и тебя ждет и эмбрионально заключает возможность разрешенья твоего дела, — нет.

В моих расплывчатых и, может быть, требующих недели времени и твоего присутствия представлениях гораздо больше опыта, знанья обстановки и чутья, чем ты думаешь. Приезжайте вдвоем с тетей Асей! Ну чем это невозможно или трудно! У вас будет отдельная комната. Мы будем действовать с тобой вовсю. Представь, я мог бы ворваться к Покровскому. Но этот прорыв имел бы смысл только с тобой. Когда ты будешь тут, мы этого, мы и многого другого добьемся.

Вот мы хотим тут все порядки Кубу вверх ногами поставить, а для твоей поездки, что, объективно рассуждая, гораздо легче, требуется повод, зацепка, основанье, вызов. Но ради Бога, выезжай без вызова, — завтра, послезавтра. Стань на ту точку зренья, что ты отправляешься пожить у нас и познакомиться с той частью Москвы, с которой тебе познакомиться будет полезно. Твой взгляд на очную ставку, на красноречивость внезапного визита вполне правилен. Но тут-то ты только или я с тобой и увидим, кому и когда и какие визиты надо нанести, т. е., иными словами, почвы щупать тут не приходится, все готово, и я бы даже мог соврать тебе с преспокойным видом: Покровский, дескать, принимает по средам от двух до трех, — и в среду утром на Волхонке 14, кв. 9 (вход со двора, трамвай 34)[2], обман бы этот обнаружился, а в пятницу вечером мы бы пошли к Луначарскому или не к Луначарскому, потому что до пятницы мы еще бы кого-нибудь увидали, и у того бы блеснула гениальная мысль, и этот «тот» бы, конечно, был, во всяком случае, коммунистом, сведущим, знающим и пр. и пр. Это построенье тем естественнее вырастает передо мной, что ты мне всячески запретила идти путем ходатайств и просьб за человека, с целью улучшенья той или иной его участи. Что речь идет о деле, говорящем за себя, и о человеке, ни о чем другом говорить не желающем.

Вначале ведь и тебе это все представлялось в таком свете. Ты помнишь, как говорила о том, что воспоследует за пятнадцатым сентября. Потом изменилось. Да кстати, если на этот вопрос ты мне не ответишь уже устно, с глазу на глаз, — скажи, напиши, что нового у тебя с диссертацией?[3] Вернулся ли Марр?[4]

Когда ты будешь защищать ее? Или все осталось в той фор-

мулировке, за какой мы с тобою расстались? Если Покровский — виденье Жанны д'Арк, то ему, конечно, надо довериться. Я в навязчивость таких представлений верю, и сам многим их силе обязан. Как странно, что ты еще не тут! Какая глупая переписка! Но отпуск ты должна взять минимум недельный. А что б тебе тетю Асю уговорить! — Но какие вы маловеры! Это мы-то забыли вас?!

Итак, — Б. Конюшенная, второй или третий дом по левой с Невского стороне, городская касса Октябрьской жел. дор., 2-й этаж, окошко, кажется, 21, плацкарту на *спальное* жесткое место до Москвы в *ускоренном*. В Москве, конечная остановка трамвая 34, несколько левее выхода вокзального, против смежного с Николаевским, — Ярославского вокзала.

Против ваших, в особенности тетиных, ожиданий въехали мы в квартиру, олицетворявшую чистоту, порядок, внутренний мир и тишину, и сделано это было как раз руками соседей, и никаких у них нет бород, и ничем у них не пахнет, и все это было, когда еще чистая сволочность нашей породы не знала никаких смесей и мерила были непоколеблены. Теперь же, на мой грешный и еще немного сволочной глаз, наша квартира Лицей, Στόαποίκυλη*, пропилеи в сравнении с Ямской.

Здесь ждал меня сюрприз, в форме случайной и неожиданной, обостренной предшествующим контрастом. Когда с остатком от проданной медали в кармане[5], с договором с Ленгизом на книжку прозы, для которой я должен написать новый рассказ (и тогда окупится все старое), которого я не напишу, потому что перестал понимать, что значит писать, когда с этими отрадными вещами и ощущеньями в левом боку я подскакивал на телеге с десятью местами багажа и глядел на Москву, словно ветром вытащенную в сентябрь из мукомольного амбара — смертельно жаркую и серо-белую, всю в глицериновых каплях мух и пота, я, собственно, не понимал, зачем я тут и что все это значит. В сумерки мучной характер миража сменился мышиным, измученность взяла над нами верх, мы впали в стадию святости и легкой походки, какая бывает после бессонницы. Естественно, что с этим Тютчевским «изнеможением в кости»[6], толкнувшись к друзьям и знакомым, среди которых много всякого такого от «юного племени», я поотрывал, что дело дрянь — кто поохладел, а кто и вовсе врагом стал, — знаешь ты это ощущенье, когда вдруг кажется, что начатая глава кончилась и, словно без тебя, в твое отсутствие ее дочи-

* Цветной портик в Афинах (*греч.*).

тали, и надо новую начать, тебе надо, и будет ли — так вот, в таких духáх я встретил первый вечер. И всегда я теперь боюсь Сашкиной нумизматики. Что твой упадок тебе вычеканят с полной художественностью, и твою грусть поймет лучше всех и разделит (на себе ощутив) твой кошелек. Надо ли говорить, что я тут разумею тó, как флюиды отражаются на бюджете? И твое *душевное* состоянье станет *физической* действительностью для двух ни в чем не повинных Евгениев.

Прескверная и неотвратимая метаморфоза. — На другой день утром я по телефону узнал, что вещь, о которой я давным-давно и думать позабыл, перевод пятиэтажной, сорокаведерной, во сто лошадиных сил, похожей по объему на оба дома на Троицкой, комедии Бен Джонсона (171 стр. в лист рейнгтонного шрифта) принята к изданью в Украинском Госиздате (Харьков)[7]. Это несколько освежило нумизматические центры. Я отправился sur le champ* в представительство Издательства. Сходя с трамвая, я инстинктивно взялся за голову. С афишного столба на меня глядел «Алхимик», выведенный аршинными буквами. Он же смеялся надо мной с заборов. Я подошел к столбу, откашливаясь, в убежденье, что где-то кто-то ставит комедию, о которой я сейчас буду договариваться, через три дома налево, конечно, как бывает, как *должно* быть, *не в моем* переводе. Но как очистились и освежели упомянутые центры, когда рядом с именем режиссера я увидал свое! Замечательно, что эти факты ни в какой связи между собой не находятся ничего общего между постановкой и печатаньем нет, и друг о друге они даже и не знают. Я готов поспорить, что это совпаденье, что эту чепуху породила за ночь моя беспросветная неутешность, и я сделал большую ошибку, успокоившись после афиши. Не расстанься с пессимизмом я и тут, я убежден, душевный мрак стал бы порождать случай за случаем, подобные названным, и, может быть, за исчерпанностью форм примененья, «Алхимика» стали бы в этот день пить, курить, употреблять в качестве шин для автомобилей, ставить в кино, применять в политике и в виде почтовых и гербовых марок. Но я поторопился успокоиться.

Когда по многим личным основаньям, в связи со справками для тебя, с особенною же легкостью на генеральной репетиции ко мне вернулось утраченное сернистое настроенье, оно уже оказалось стерильным и неплодным. «Алхимика» не только не разыгрывают в лотерею, не только не шпигуют им гусей, но и ставить-

---

* тотчас (*фр.*).

то, вероятно, его, будут недолго, и, во всяком случае, с убывающей частотой: он поразительно скучен и глуп на сцене, несмотря на то, что режиссер сделал из него фарс, и фарс этот актеры играют совсем недурно. Вероятно, виноват бедный Бен. Перевод мой хорош. По моему крайнему разуменью, все, что мог, сделал и режиссер. Но вещь не сценична. Это та форма домольеровской комедии, все движенье которой сводится к последовательной экспозиции характеров и фигур. С этой стороны вещь, и особенно в чтеньи, обладает крепостью своего рода. Но я, кажется, забываю, что пишу письмо, и может случиться, что предисловье к изданью начну словами «Дорогие тетя Ася и Оля! Часто ли к вам ходит Юлиус?[8] Бен Джонсон, современник, приятель и литературный антипод Шекспира и т. д., и т. д.».

Приезжай, Оля, вот все, что можно сказать, приезжай, и думаю, мы об этом не пожалеем. Свиданья с Покровским, я думаю, мы добьемся, в особенности при твоем убежденьи, что это правильный путь и что «войти» к нему ты сумеешь. Во всяком случае, я твоего дела не оставляю и, если у тебя еще нет билета на поезд, напишу на днях. Ты же в свою очередь извести меня о состоянии своей диссертации и не раздражайся, если что в моем письме тебе покажется недостаточно живым и порывистым. Я пишу в конце дурацкого дня, немножко устал и вообще — писать не умею.

Дорогая тетя Ася! Спасибо за золотые строки! Все мы крепко обнимаем вас обеих и любим. *Ваш Боря*

Впервые: Переписка с О. Фрейденберг. — Автограф.

[1] Имеется в виду наводнение в Ленинграде в сентябре 1924 г.

[2] Адрес Пастернаков.

[3] О. Фрейденберг в 1924 г. написала диссертацию «Происхождение греческого романа».

[4] Н. Я. *Марр* в то время заведовал секцией в Институте литературы и языка Запада и Востока.

[5] Пастернак с помощью А. М. Фрейденберга, занимавшегося нумизматикой, продал золотую медаль, полученную по окончании гимназии, чтобы расплатиться за дачу в Тайцах.

[6] Из стих. Ф. Тютчева (начало 1830-х гг.) «Как птичка раннею зарей...»: «Как грустно полусонной тенью, / С изнеможением в кости, / Навстречу солнцу и движенью/ За новым племенем брести!..».

[7] Издание комедии Бен Джонсона «Алхимик» в Харькове не состоялось.

[8] Речь идет о Ю. Гозиасоне, дальнем родственнике Пастернаков и Фрейденбергов.

244. О. М. ФРЕЙДЕНБЕРГ

11–13 октября 1924, Москва

<11>*/X. 24

Дорогая Олечка! Что же это все значит? Здоровы ли ты и тетя? Прошу тебя, ответь поскорее.

13/X. 24. Я, собственно, не знал, что дальше писать, и это должно было бы скорее служить текстом телеграммы или во всяком случае и всего прежде — почтового перевода. Я очень хорошо и скоро понял, что мерзко с моей стороны слать тебе письма с запросами, и увидал, у какого почтового окошка место мое в этой переписке о переезде[1].

Это фатально, что до сих пор я перед это окошко встать не волен. Сегодня пришло твое письмо, которое, несмотря на свою высокую содержательность и насыщенность сюрпризами, ни в какой мере для меня не было неожиданностью. Из него я вывел заключенье, что через неделю-другую ты заявишься к нам, — таков смысл приписки, с другой же стороны, и у меня за эти полторы недели, быть может, несколько прояснится горизонт. Мне больше ничего прибавлять не хочется, желаю тебе от всей души полного и заслуженного успеха. Побывать в Москве тебе обязательно надо, и, судя по твоим заключительным словам, это не за горами.

Назначенье настоящей записки сказать тебе, что твое письмо во всем и по всем статьям дошло по принадлежности. В самом непродолжительном времени я, может быть, сообщу тебе что-нибудь более <приятное>* и отрадное.

Ты и сама не знаешь, какая счастливая случайность, что ты мне написала это письмо, и так написала. Знаменательный по исчерпывающей отчетливости и определительности документ. Его значенье еще как-то или в чем-то скажется. Итак, до скорого свиданья, до ближайшего отчетного (с моей стороны) письма, где будет уже дело, а не чувствительная словесность.

При всей скромности наших трудов и дней нам, однако, не на что пожаловаться. Мы здоровы и благополучны, хотя призрак всевозможных болезней похаживает вокруг да около, в непосредственной близости от мальчика. Не посчастливилось той комнате, которою я в этом году поступился в пользу <молодого поко>-ленья[2]. Несколько дней в ней лежала прислуга соседей, больная брюшным тифом. Ее сменило трое вселенных студентов, из кото-

---

* Угол письма оторван.

рых один похож на водолаза, так как у этого Митрофанушки голова сплошь обмотана полотенцами и лицо скрыто марлей — у него экзема по всему бытию. А комната эта, уставленная теперь койками и благоухающая смесью естественнейших запахов с махоркою и карболовой кислотой, — проходная на пути в кухню, к воде и пр. и смежная с мальчиковой. Вчера, хлопоча за одного невинно сосланного мальчика[3], попал в Кремле на квартиру, где дифтерит. Однако, как говорили в старину, Бог милует и проносит. Мальчик охрип, ежедневно на все лады выводя «тотя Уоля». По странности, у него образовалась прочная ассоциация: 1) Тети Асиной фотографии у нас на <стене, 2) яблока и>* 3) слов тудль-дудль. <Мальчик сов>сем уже вырос.

Крепко тебя и тетю целую. *Твой Боря*

Впервые: Переписка с О. Фрейденберг. — Автограф.

[1] Окошко для посылки денежных переводов.

[2] В одной из комнат в квартире Пастернаков некоторое время жила молодая чета Ивановых; затем комната перешла трем студентам.

[3] Речь идет о заступничестве за И. Ф. Кунина, арестованного за причастность к молодежной меньшевистской организации. Пастернак добился его приезда в Москву из ссылки на операцию начавшегося перитонита, после чего срок ему был заменен на условный.

245. О. Э. МАНДЕЛЬШТАМУ

24 октября 1924, Москва

24/X. 24

Дорогой Осип Эмилиевич!

У меня к Вам большая просьба. Не откажите тотчас по получении письма сообщить мне адрес А. И. Пиотровского[1]. Он у меня записан: ул. Красных Зорь, д. 12, кв. 11а, Ленинград. Между тем он оказывается неправильным, я ему послал несколько писем и не получил на них ответа, с месяц же назад отправил посылку с тремя драматическими переводами и сейчас получил повестку почтамта о ненахождении адресата. Может быть, превратность моих сведений так велика, что я и называю неправильно Адрианом Ивановичем Пиотровским молодого режиссера с правильными и приятными чертами лица, с которым Вы меня познакомили в Ленгизе? В таком случае исправьте и эту мою ошибку и вместе с

* Угол письма оторван.

адресом сообщите имя его и отчество и правильную орфографию его фамилии. Я часто читал про А. Пиотровского и думал, что это он. Если можете, то не задержите ответом, так как по смыслу повестки посылку можно еще передоправить, если успеть вовремя. По приезде сюда я писал Вам. Получили ли Вы то мое письмо? О смерти Брюсова Вы, конечно, знаете и читали о похоронах и речах[2]. Сегодня получил письмо от Ходасевича из Сорренто, занимают они там с Горьким и еще кое с кем вчетвером большой дом, наслаждаются одиночеством, работают и нам сочувствуют.

Горький, слава Богу, поправился.

Как Вам и Надежде Яковлевне живется? Закончили ли Вы свою прозу? Я чувствую себя неплохо и хорошо настроен, хотя муниципальное дыханье города по временам слишком учащается и то нас выселяют, то предоставляют льготы. Пишу Вам в стадии выселительной. Торопитесь же мне ответить на Волхонку, а то через две недели я буду, может быть, путешествовать по воздуху в качестве трамвайного трабанта. У Вас чудесное стихотворенье в «России», о статье же мы с Вами за завтраком говорили[3]. Обнимаю Вас. Сердечный привет Надежде Яковлевне. Жена, с соответствующими перемещеньями, присоединяется.

Ваш Б. Пастернак

Адрес мой: Москва, Волхонка, 14, кв. 9 — мне.

Впервые: Вестник РСХД, Париж–Нью-Йорк, 1972, № 104–105. — Автограф.

[1] Режиссер *А. И. Пиотровский* работал тогда в Театральном отделе Института истории искусств в Петрограде, и Пастернак хотел предложить ему для постановки на сцене что-нибудь из переведенных им пьес: «Принца Гомбургского» и «Семейство Шроффенштейн» Г. Клейста или «Алхимика» Бен Джонсона.

[2] В. Я. *Брюсов* умер 19 октября 1924 г.

[3] В журнале «Россия» (1924, № 3) были опубликованы статья Мандельштама «Выпад» и стих. «Концерт на вокзале».

246. РОДИТЕЛЯМ

25 октября 1924, Москва

25 <X>[1]

Восьмой час утра, сквозь сон, лежа в гостиной, слышим тонкое, тихое, заунывное Со святыми упокой, оно близится по коридору, хор проходит по передней, поют тихо, словно боятся разбу-

дить нас, притворяют дверь — она у нас неплотно заперта, и мы знаем — это выносят Елизавету Ивановну[2], скончавшуюся третьего дня. На дворе, вероятно, снег, поют, верно, монашки в белых платках, потом осторожно и нещедро грохочут ноги в сапогах, это несут тяжелый гроб.

Потом начинается утро. Четыре семьи моются, ходят на кухню, что-то кипятят, бегают в церковь и приходят оттуда, в передней, в которой у нас теперь и столовая, пол усыпан елкой и лепестками хризантем, на дворе снег тает, пасмурный темный день, отпевают около пяти часов, до часу, я на кладбище не иду, отправляюсь в читальню Наркоминдела читать иностранные журналы (что-то вроде службы), выясняется, что ночью был пожар на электрической станции, и трамваи ходить не будут.

Когда возвращаюсь домой, на сквере — тьма, как в 1919-м, узнаю, что был поминальный обед. Василий Иванович несколько раз падал в обморок, был ласков и любезен с Женей, угощал ее.

Потом приходит Ватагин рисовать и лепить меня[3], потом выяснилось, что дом превращен в коммуну и всех будут выселять. И все-таки, если я переведу Шекспира, это будут лучшие переводы[4].

Крепко вас обоих целую.

Боря

Впервые: Письма к родителям и сестрам. — Автограф (Hoover Institution Archives, Stanford).

[1] Приписано в конце письма Е. В. Пастернак.

[2] Е. И. Устинова.

[3] Этот портрет скульптор Василий Александрович *Ватагин* подарил Пастернаку.

[4] О начале работы над переводом «Гамлета» см. в письме № 248.

247. Ж. Л. ПАСТЕРНАК

31 октября 1924, Москва

Дорогая Жоничка! Спасибо за нежное письмо. Не относись только с преувеличенной восторженностью к тому, что я пишу. Когда нам с Женей бывает особенно трудно, я с чувством большого облегченья думаю о вас обоих. Меня не перестает радовать то, что Шура пристроился и, кажется, с успехом работает и зарабатывает[1]. Потому что, если бы вам было скверно или продолжало быть плохо Шуре, это было бы несравненно хуже, чем когда

бывает что-нибудь подобное со мной. В моей жизни бывают только невыносимо нелепейшие и совсем неожиданные шлагбаумы, которые обыкновенно опускаются перед носом в моменты самого легкого и многообещающего разбега. Я пишу тебе как раз в таком полосатом пейзаже, и ни словом не обмолвлюсь о нем. Когда пишешь о бедствии в бедственный период, то говоришь не о нем, а о своей удрученности, говорить же о чувстве значит питать его: целый ряд чувств только лишь и разрастаются по упоминании или в выражении. Вот отчего любовь или некоторый род ее так декламационны. Когда я буду по ту сторону этого загражденья, я, может быть, вспомню о нем и расскажу.

Если бы в моем случае все сводилось к тому, чтобы жить широко и много зарабатывать, этот вопрос был бы давно разрешен и всего менее нам с тобой пришлось бы переписываться издалека. Но я человек наименее *свободный* из нас четверых. Если даже, как в обиходе это называется: «я не знаю, чего хочу», то вот именно в данных кавычках мне этого знать не полагается во всю жизнь. Под несвободой я разумею несвободу от себя самого, несвободу предназначенья. И все-таки, все-таки, все это утрясется и уладится, и как мне всего больше бы хотелось, половину дня я буду ходить в лямке большинства (это ничуть не тяжело и мне нравится и меня развлекает), половину же отдавать своему незнанию.

По роду моей работы (я участвую в составлении библиографии по Ленину, и взял на себя библиографию иностранную) мне приходится читать целыми комплектами лучшие из журналов, выходящие на трех языках[2]. Ты даже не представляешь себе, как их много. Там подчас попадаются любопытные вещи. Я врежу себе, на них задерживаясь, так как я подряжен сдельно и вырабатываю пропорционально количеству и скорости требуемых от меня находок. Любопытные же вещи лежат в стороне от требуемого. Так сегодня я подумал о мамочке, прочитав в каком-то из №№-в американского журнала The Forum воспоминанья Станиславского о Рубинштейне, где он очень живо и с большой любовью нарисован. Оказывается Станиславский в молодости был одним из директоров Русского Музыкального Общества и по долгу службы встречал Рубинштейна на вокзале в его наезды из Петербурга в Москву (на симфонические). Станиславский вспоминает о двух *«великих людях»* — о Рубинштейне и Л. Толстом и очень хорошо передает содержанье, заключающееся в этом понятии, трактовкой обеих фигур. Когда у тебя будут время и возможность, почитай непременно следующих авторов: Томаса Харди (T. Hardy),

Джозефа Конрада (величайшего современного английского романиста), Джемса Джойса (James Joice) и Марселя Пруста. Я сужу об их достоинствах по переводам, неполным и отрывочным, и по тому, что о них говорится в журналах. Особенно интересны Конрад и Пруст[3].

Я бы не писал тебе пока что, когда бы не задушевность твоего письма, требующая немедленного ответа. Если хочешь знать, и пусть тебе это не покажется пустой претензией, то грустнее всего мне потому, что я чувствую, до чего я нужен тебе, и Лиде, и Шуре, и родителям, и в особенности тебе, или скорее твоему изображенью, оставшемуся в Москве, или вашим следам, стертым с паркетов, или той форме *неполноты,* которую неизбежно поприобретали вы, частью по зрелости лет и оторванности от детства, частью же потому, что, живя за границею, вы неглубоко в ней сидите. Словом, помимо служб, сколько бы я их ни накапливал, постоянно остается какая-то сердечная должность и задолженность миру, который вы вправе забыть, если даже и знали его. Я еще не бросил мысли поспеть когда-нибудь на это нужнейшее дежурство, хотя совсем недавно, когда для меня стало установленным фактом, что я вновь за него берусь, все обстоятельства перевернулись и легли плашмя поперек этой естественнейшей и нужнейшей дороги.

Не я один нахожусь тут в таком положении. Еще (и значительно) хуже Белому и Кузмину. В существе своем это не ново и мне бы хотелось отделаться только от того, что есть нового в этой трудности. А этого не опишешь. Как-то осенью писал я Ходасевичу в Шотландию. Теперь он в Сорренто, живет с Горьким. Опыт обоих подсказал им, что у меня недоговорено, и им легко было вообразить себе, под чем тут изнемогаешь. Чистосердечно повторяю, что это отнюдь не ново в России и она перестанет быть собою, когда станет замечать и выделять людей не с тем, чтобы медленно их потом удушать и мучить.

Впервые: «Знамя», 1990, № 2. — Автограф (Hoover Institution Archives, Stanford).

[1] А. Л. Пастернак работал в Берлине в мастерской архитектора А. Беервальда.

[2] Библиография готовилась Институтом В. И. Ленина при ЦК ВКП(б) под ред. И. Владиславлева. Издание не было осуществлено.

[3] Ср. во Вступленье к «Спекторскому», написанном в 1930 г.: «Меня без отлагательств привлекли / К подбору иностранной лениньяны.../ <...> Знакомился я с новостями мод / И узнавал о Конраде и Прусте».

248. О. М. ФРЕЙДЕНБЕРГ

2 ноября 1924, Москва

2/XI. 1924

Дорогая Олечка! Что у тебя нового и как вам живется? Последний вопрос очень меня тревожит. Как твоя диссертация. Хотя, кажется, и не полагалось мне писать до твоего циркуляра, но вовсе не из повиновения тебе я был все это время так молчалив. Я и сейчас не прервал бы молчанья, когда бы не беспокойство за вас и желанье узнать, как твои дела. Писать же значит писать о себе. Всего менее я стал бы делать это сейчас. Опять это не та жизнь, которую я себе наметил.

А все началось так чудесно. Я нашел работу, которую не назову службой только оттого, что она — сдельная и я не включен в штаты. Во всем же остальном это самая настоящая должность. В своем роде она даже приятна.

Я получил работу по составлению библиографии по Ленину и взял на себя иностранную часть. Для этого хожу в библиотеку Наркоминдела, где получается большинство иностранных журналов, и тону в них и захлебываюсь статьями, рецензиями и публикациями с десяти до четырех. Того, что от меня требуется, всего в них меньше. Но мимолетом просматриваю множество интереснейших вещей, по отношенью к которым «Современный Запад»[1] с Прустом и Сати лишь отраженье в малой капле. Так было с месяц назад, когда я соразмерил все потребности жизни и свои собственные чаянья с величиной этого заработка, с размером остающегося досуга, со сделанными долгами, с двумя договорами, по которым я должен был получить деньги из Харькова и Петербурга, и очень порадовался возможностям и вероятьям, представившимся мне при том. Я тут же раскрыл Гамлета и принялся за его перевод, — замысел, который у меня откладывался годами.

О предположеньях оригинальных не хочу говорить, — их смутным ощущеньем всегда бываешь полон. Но тут это не было похоже нисколько на пассивное и темное колыханье непроверенной потенции. Нет, вновь, как когда-то очень давно, все это представлялось делом каждого дня, перспективой постоянных и регулярных, ежевечерних осуществлений. И вот, еще Горацио не успел усомниться в действительности появленья тени, как из Харькова, а вслед за тем и из Петербурга, пришли отказы от договоров, из которых один находился в стадии заключенья (на «Алхимика»), а другой, на прозу, был уже и подписан Ленгизом и мной, в мою бытность у вас —

оставалось только рассказ один им дослать и деньги получить. Ты легко себе представишь, насколько тверды были мои расчеты на эти поступленья: что может быть надежнее аффирмированного договора, — так было, по крайней мере, до сих пор. С «годовой росписи» скинули таким образом до 100 червонцев, в общей сложности. Ты сама догадаешься, что со дня полученья таких известий я и внешне изменился и из Наркоминдела стал приходить в 9-м часу, — хорошо еще, что там библиотекарши сменяются и читальня с 10 до 8-ми открыта. Было бы прямо спасеньем, если бы принцип сдельности проводился на манер чистых математических пропорций. Но боюсь, что тут имеются абсолютные критические пределы, выше которых отработанного не исчисляют. Боюсь также, что критический этот предел просто совпадает с тем, что мне было предположительно предложено. Думаю, что больше ста двадцати рублей в месяц мне не отработать и при двойной работе. Но так как все равно дома после пяти я ни о чем, кроме как о вероломности случая, думать не в состоянии, то и предпочитаю забивать эти часы еженедельниками, трехмесячниками, ежегодниками и прочим. Вот как обстоит у меня дело, и когда я возвращаюсь домой, то «обои» Жени уже ложатся спать. Конечно, я все усилия приложу к тому, чтобы это положенье изменить и дело поправить; да и хоти не хоти, все равно придется, библиографией мне и долга Фене (Жениной няне) не покрыть; я ей, не считая жалованья, должен 120 рублей.

Чтобы сразу с этой темой покончить, прибавлю, что жаловаться мне не на что. Я сам во всем виноват, на службу следовало уже поступить прошлую зиму. И еще скажу, что, несмотря на все «вышеописанное», я внутренне себя чувствую так хорошо, как уже давно не запомню. А теперь, таким образом, избавившись от ваших вопрошающих взглядов и их удовлетворив, кончу тем, с чего начал. Напиши про себя и про свою работу. Все, когда-то сказанное тебе о твоем приезде и прочем, остается в силе и в ней только еще приобрело. Никакого отношенья моя информация до наших осенних планов не имеет. Чем грустнее мне, тем больше вероятия, что эта грусть при твоем появлении пройдет. Чем больше у меня причин возмущаться широтою госиздатовских телодвижений, с тем большим возмущеньем я брошусь в разговоры о тебе и за тебя. Засим, как писали, прощай. Крепко тебя и тетю целую.

Впервые: Переписка с О. Фрейденберг. — Автограф.

[1] Журнал «Современный Запад» издавался в 1922–1924 гг. в Петрограде при издательстве «Всемирная литература».

249. О. Э. МАНДЕЛЬШТАМУ

Начало ноября 1924, Москва

Дорогой Осип Эмильевич! Спасибо за письмо. Среды ждать недолго, часы прихода почтальона мне известны, буду три дня волноваться, как влюбленный. О «ревантологии» слышал, и сам подумал про Гервега[1]. В деньгах, в пристройке вещей нуждаюсь, как никогда, институт[2] жидоморничает, второй месяц не платят, оплачивают скуднее, чем было обещано, и, как на беду «продолженьем или лучше: повтореньем себя» занялся, кажется, не на шутку.

Вчера у Асеева слышал чудесный анекдот о том, отчего наводненье случилось. Оказывается, Нева узнала, что ее собираются Розой Люксембург назвать, и из берегов полезла. Правда, хорошо? Но эта прелесть, верно, прямо от нее, из Ленинграда, и Вы, вероятно, эту шутку слышали.

Вы знаете, что с «Камнем»[3] я был знаком поверхностно? Да, да, конечно, Вы должны были догадаться не раз об этом при встречах наших на основании Вашего знания меня и тех шероховатостей, которые при *этом знаньи* неизбежно становились промахами и пробелами в отношениях, требовавшими объясненья. И Вы его находили, не правда ли, и догадывались. Когда-то очень давно, у кого-то в гостях, и не поручусь, что это не было у Амари[4], я прикасался к книжке физически, но так как это происходило в атмосфере, вкривь и вкось пропитанной воздушными прикосновеньями хозяев ко всем вещам, которых много еще было в те времена у них под руками, то естественно, что этот случай скорее составляет часть их домашней хроники, чем моих воспоминаний. После этого при всяком удобном поводе я искал книжки, но так, как всего ищу, непростительно сонно и вполовину. Спрашивал и у Вас. Недавно, на этой неделе, мне посчастливилось ее достать.

Милый мой, я ничего не понимаю! Что хорошего нашли Вы во мне! Кто внушал и подсказывал Вам статьи вроде «Российских» или той, что в «Русском искусстве»[5]. На что Вы польстились? Да мне ведь и в жизнь не написать книжки, подобной «Камню»! И как давно все это сделано, и сколько там, в тиши и без шума понаоткрыто америк, которые потом продолжали открываться с большею живописностью только оттого, что сопровождались плутаньем у самой цели и провалами в Саргассовых морях, с плеском, бултыханьем и всеми прелестями водолазных ощущений, всегда импонирующих, как паровозы и полисмены в фильмах.

Мне было бы совсем легко писать все это Вам, как и твердить кругом, если бы не одно обстоятельство, которое всегда отравляет мне такие восторги. Я не знаю отчего (это красной нитью проходит через мое прошлое, а последние годы только сплошь из нее и тканы), но я ни разу в жизни не сделал ничего из того, что хотел или считал должным, приятным или полезным. Вся она составилась из кусочков, подбиравшихся помимо воли и мимо чаяний и главных устремлений. Ее целостность — явочного порядка. Слитность памяти явилась сама собой. Ведь даже кусочки свинца обладают силою сцепленья. Конфузы, неожиданности, несчастные и счастливые случайности стали элементами какой-то судьбы или деятельности только оттого, что легли рядом и слежались.

Письмо лежало целую неделю. Причине не поверите.

Впервые: «Вопросы литературы», 1972, № 9. — Автограф.

[1] Речь идет о переводе «Стихов живого человека» Георга *Гервега*, вскоре изданных отдельной книгой в серии «Революционная поэзия Запада» (М., ГИЗ, 1925).

[2] Институт В. И. Ленина.

[3] Первая книга стихов О. Мандельштама (1913), была переиздана в 1916 г.

[4] В салоне у *Амари* (М. О. Цетлина), где в январе 1918 г. был устроен вечер, на котором присутствовали Маяковский, А. Белый, М. Цветаева, И. Эренбург и др. См. об этом в «Охранной грамоте» (1931).

[5] Имеются в виду статьи «Vulgata. Заметки о поэзии» («Русское искусство», 1923, кн. 2–3) и «Борис Пастернак» («Россия», 1923, № 6).

250. О. М. ФРЕЙДЕНБЕРГ

30 ноября 1924, Москва

Дорогая Оля! Выезжай. Я тебя просил об этом в каждом письме, и теперь очень рад, что и у тебя самой приезд стоит на очереди. Дело в том, что я на свои письма смотрю иначе, чем ты, и если в каком-нибудь из них есть что-нибудь о приезде, последуй тем советам, что там имеются. Из того, что помню: захвати обязательно с собою работу, если можешь, то в двух экземплярах. Если это удобно и не вне твоих планов, то посоветуйся с Марром, чего и как тебе добиваться и возьми у него письмо к Л<уначарскому>[1]. Только не сердись и не отчаивайся. Твой диспут был реальным фактом в реальной обстановке[2]. Неужели ты думаешь, что в реальные условья поставлена ты одна, я же нахожусь в пространстве, насквозь пропитанном симпатическими токами и постро-

енном в согласии с моими взглядами, чувствами и намереньями. Единственное, что было и остается в моих силах, это вывести тебя и твое дело из зависимости от меня и того, что с нами делается. Что это значит, узнаешь, когда приедешь. Между прочим, мне не раз бывал нужен Л<уначарский> и я воздерживался от встреч с ним, потому что берег его про тебя. Твое письмо меня естественно очень огорчило. В нем сказались признаки такой несправедливости, которая по своим размерам указывает, что ее источники субъективны. Тем нетерпеливей я тебя жду. Л<уначарский> нас примет. Это я тебе гарантирую.

Крепко тебя и тетю целую. Счастливой дороги.

P. S. Олечка, дорогая, и если только это возможно, то не откладывай поездки в долгий ящик, — мне Л<уначарского> и самому надо неотложно видеть — на этой неделе обязательно будь. И не мудрствуй. Обнимаю тебя. *Б.*

Счастливой дороги. Протелеграфируй — я или Женя тебя встретим.

Твой Боря

Впервые: Переписка в О. Фрейденберг.

[1] О. Фрейденберг в письме 27 нояб. 1924 просила Пастернака устроить ей прием у А. В. Луначарского.

[2] Речь идет о защите О. Фрейденберг диссертации 14 ноября 1924 г. Академик Н. Я. Марр поддержал диссертацию во время диспута.

251. О. М. ФРЕЙДЕНБЕРГ

Середина декабря 1924, Москва

Дорогая Оля! Что ты наделала![1] Это уже шестое письмо тебе в ответ, — такие темы не по мне, — не могу, делай что хочешь. Разбирать, убеждать, доказывать? Какая чепуха. Все было ясно как день, обо всем было говорено больше трех месяцев, и вдруг оказывается, дело не в тебе было и не в твоей работе, а просто ставился психологический опыт со мной. Ну и поздравляю. Только не стоило столько нервов на это тратить. Я бы подписался под любой твоей или тетиной аттестацией с самого начала, как в конце концов всегда и делал. Вы не можете жить без галереи мерзавцев, ну и чудесно, — коллекция пополнилась мною. Как это все тонко и похоже на правду. И для всего у тебя есть блестящие формулировки (вроде сопровожденья к деньгам). Были живые чувства, были живые планы, мы уже видели тебя приехавшею, я в каждом

письме об этом писал, ты и сама знала и чувствовала, что за твоим приездом и за твоей работой все дело стало, но поездка откладывалась до диспута, наконец эта причина отпала и надо было либо приехать, либо в чем-то себе и другим честно сознаться, либо же, наконец, искать новых причин, чтобы не сделать простейшего и настоятельно-необходимого шага. И самым удобным тебе показалось искать их во мне, в каких-то моих недостатках, словно для исправности Николаевской железной дороги и для надежных перспектив исключительного по качеству научного труда требуется наличие в Москве совершенного ангелоподобья. Да ты и успела бы еще разочароваться во мне, приехавши и осмотревшись. Вот этот пункт изумляет меня всего больше и доводит до отчаянья. При чем тут я и мои качества, когда ты ничего не желаешь делать и, по-видимому, весь наш летний разговор — сплошное недоразуменье. А если это так, то на что я тебе дался, и отчего *ты сама*, Оля, не остановишь мамы или сама не объяснишь Жене: что Вы, дескать, мало в это посвящены, а я понимаю, — Боре *нечего* вообще делать без меня и моего языка, и моих потребностей, и моего труда. Оля, Оля, как тебе не стыдно так играть правдой! Ведь вся эта история только (отчасти) ясна мне и — вполне — тебе. Жениной же маме, Жене самой и пр. можно говорить что угодно, это аудитория удобная[2]. Я и этой потребности не понимаю. Я негодяй, пустослов, бахвал, мерзавец, — ты — естественная этому противуположность, все это я принимаю без спора; — но мне казалось, будто речь шла не об этих легких победах и пораженьях и вообще — вне детской комнаты — моей или твоей, — отчего же это все вдруг настолько изменилось и отчего ты вовремя не объявила мне и другим, что переносишь дело в детскую? Так вот. Столь же живо, как живы эти мечты, должна ты была съездить к нам. С верою, с готовностью проездить зря, как ездит живой человек в твои годы. Вместо этого, как воск на огне, видоизменялись и таяли переговоры по поводу приезда. Ты словно торговалась со мной или с судьбой. Скажите на милость, иначе ты не можешь! А я, помню, *требовал* этого, *такого* приезда. При неоформленности (фатальной и объяснимой как у всех, и у меня) твоих претензий и потребностей в настоящих условьях, надо было и поступать так, т. е. добиться всего неожиданно, мимоходом, за чаем, где не ожидали. — Ах, если этого не желать понимать, то к чему и объяснять!

О чем говорить. В близкой связи со всем происшедшим, я могу только об одном. Что было задумано *живое* дело. Поездка твоя в Москву, в административный центр, где ты бы у нас жила, с

нами бы, при желании, свои планы обсуждала и приводила в исполненье, где я бы тебе своими знакомствами помог (когда я дохожу до этого пункта, я не знаю, как выражаться: ты болезненно самолюбива). Отсюда: 1) Я выражаюсь бледно; тогда ты в этом усматриваешь слабую увлеченность тобой, — пустословие и пр. 2) Я выражаюсь отчетливее; тогда ты отстраняешь меня и указываешь точные границы: узнать часы приема у Покровского; ворвешься же ты сама. И врываешься.

Ввиду того, что это намеренье еще не осуществилось, то его-то только и осталось осуществить. В этом отношении ничего не изменилось. *Только* в этом направлении я и вижу тебя и тетю, и способен думать с вами и на близкую вам тему. Вот отчего я и не отвечаю на твою выходку: это область ошибок, микробиотики, неприбранных комнат, маленьких драм и, словом, тот край, куда лучше не соваться, — тоска без форм, без сметы, вроде паутины, — тронуть, — не оберешься, не исчерпаешь. Так что все, что вне твоего приезда, — осталось за флагом.

Плюнь на все, Олечка, и езжай. Мы с тобой надо всем этим посмеемся и так, в лучшем настроении, отправимся к Л. Без тебя я не пойду, так и знай. Такой уж я мерзавец. Чудно было бы, если бы приехала ты на Рождество, самое и для дела время. Глупо было, что ты деньги отослала, тебе приехать надо было на них, потом бы, при первом авансе от издательства, возвратила.

Ты на мгновенье сильно упала в моих глазах, я подумал о том, как я бы поступил в твоем случае. Так карьеры не строят и путей не прокладывают. Езжай же, Оля, умоляю тебя, а то ничего из тебя не выйдет, если тебе до Москвы доехать такое дело мудреное.

Говорил о тебе с Марром и Ольденбургом. Когда приедешь, расскажу, что про тебя говорили.

Ах, тетя, тетя! И Вы все это видите и не защитите меня! Да гоните ее к нам, ей приехать надо, вот что. А папа прав был, я Вашу простоту и широкость переоценил[3].

Впервые: Переписка с О. Фрейденберг. — Автограф.

[1] Возмущенная предложением взять письмо от Марра к Луначарскому, О. Фрейденберг отказалась от поездки в Москву: «...Никогда я не научусь в ученом видеть влиятельного человека, никогда не начну форсировать научное доброе отношение к себе и менять его на звонкую монету <...>. Да если бы я внутренне могла брать записки у ученых, была б ли такая у меня жизнь!» (3 дек. 1924. «Пожизненная привязанность». С. 115).

[2] Речь идет о письме О. Фрейденберг к Е. В. Пастернак 27 нояб. 1924: «Заключить невыполненные, оборванные в клочки обещания родствен-

ной подачкой! Как это бестактно само по себе! Если б Вы знали, какая горечь, какая жгучая боль в этой сторублевке!» Имеются в виду деньги от Л. О. Пастернака сестре в Ленинград. Пересылая их, Б. Пастернак писал: «Дорогая тетя Ася! В закрытом письме я более подробно напишу о том, как папа меня упрашивал скрыть от Вас происхождение этих денег из боязни, что Вы его обидите и их не возьмете. Живое чувство подсказало мне его в этом отношении не слушаться. Уже с месяц назад он поручил нам продать одну его картину, и только теперь это удалось сделать. Вырученная сумма в частях получила разнообразное назначенье. Сто рублей он просил переслать Вам. Что у Вас и у Оли слышно? Скоро напишу. Целую. *Ваш Боря*». 19 нояб. 1924 (там же. С. 111).

[3] Л. О. Пастернак писал: «Так как я хотел тете Асе что-нибудь уделить, то пока пошли сто рублей ей — (сразу мне больше трудно, да и ее это отпугнет; еще лучше было бы, если бы не от меня — а если бы тебе удалось сказать, что от тебя — ты-де получил за свою старую работу — что-нибудь в этом роде. От меня ей будет очень трудно взять — а потому пусти в ход всякую хитрость)» — Октябрь 1924; там же. С. 108–113.

252. Л. Л. ПАСТЕРНАК

25 января 1925, Москва

25/I. 25

Дорогая Лидочка! Вероятно, я буду говорить с тобой печальным тоном о хороших вещах. Причина очень простая. У меня в теченье этой осени дружно повылетали все майзелевы пломбы[1]. Странная солидарность, не правда ли? Впрочем, она нарушена тем, что часть зубов поломалась, часть же осталась в виде потухших кратеров. И вот один из последних стал давать знать себя, в особенности с нового года. У меня, вероятно, небольшое воспаленье, работать с такой болью я не в состояньи, разговаривать с тобой, будь ты тут, стал бы, вероятно, так же мало, как говорю последние дни с домашними, вот и подумалось мне поболтать с тобой на бумаге, не двигая челюстями и не разнимая их.

Беседа такая, наверное, удивительно удастся нам, единственное, за что я не могу поручиться, так это за то, что она пойдет в ритме уанстепа или на тему: расскажи, мотылек, чем живешь ты, дружок. Так как я все-таки меланхолик; страшный, ужасный меланхолик. Так как я все-таки тряпка, страшная — то есть я хотел сказать, половая, мокрая половая тряпка. Так как, наконец, last not least*, это все-таки флюс.

Да, кстати. Получили ли вы мое письмо с английскими отступленьями, или иностранные вставки до вас не дошли?[2] Между прочим, ты можешь отвечать мне совершенно безбоязненно, громко и уверенно. Я пойду к врачу завтра в 7 часов. К тому времени, как ты письмо получишь, я, наверное, уже буду в состоянии посылать воздушные поцелуи и перегрызать даже макароны и котлеты.

---

* последнее не худшее (*англ.*).

Заметила ли ты, что я явно уклонился от темы? Кажется, мы собирались поговорить о том, как смотрят окружающие нас с незапамятных времен обстоятельства, когда, расставшись с ними на ночь и укрывшись одеялом, просыпаешься между четырьмя и пятью и, перевернувшись на другой бок, видишь их с неожиданной стороны и в новом, то есть очень слабом и рассеянном свете.

Крыс я все-таки не люблю, как бы меня не разуверяли. У меня какое-то необъяснимое предубежденье против них, против зубной боли и задолженности, хотя, конечно, всюду жизнь, и я не знаю вещей живее только что названных.

Архивами называются такие учрежденья, где становятся документами и достопримечательностями последние пустяки. Какой ни на есть хлам, на который бы ты даже в другом месте не взглянула, в архиве величается материалом, хранится под ключом и описывается в реестре. Таков уже и мой возраст[3].

Это звучит невероятно глупо. Для других, объективно, я очень еще от него далек. Но у меня хорошее чутье, и я чувствую его издали. Вот в чем его отличие. Что все становится матерьялом. Что начинаешь видеть свои чувства, которые дают на себя глядеть, потому что почти не движутся и волнуют тебя разом и одной только своей стороной: своей удаленностью, своим стояньем в пространстве. Ты открываешь, что они подвержены перспективе. Точно так же, как в детстве можно было бояться сходства одежи на кресле с кем-нибудь сидящим в углу в лунном луче, так окидываешь ночью спросонья комнату, ища, не стоят ли мысли, не стоят ли тревоги, или недоуменья твои у печки, обойдется ли intérieur без... забот. В их круг входишь, как в задымленную комнату. От их присутствия воздух становится гуще, свет — менее прозрачен. Точно в прошлом было набегано, начувствовано, наволновано, — как *накурено*, и вот это *видишь* теперь: висит клубами, очертанья хаотичны, это не образы, конечно, это эмоции. Прежде они двигали, метали тебя по сторонам, ты их не замечал. — Теперь у них нет дела, они тебе соприсутствуют, тебя сопровождают.

Трудно усомниться в моей любви к маленькому Женечке. Могут ли идти в сравненье с этим чувством взмыленные, полувымышленные, не случайно и подозрительно связанные со стихами былые мои «увлеченья». Казалось бы, нет. И конечно. А между тем, даже если объявить их сплошною ложью, ложь эта летела куда-то и лгавшего за собой устремляла. Видеть там было нечего и глядеть не полагалось. То было движенье, кончавшееся смехом, счастьем, горем, плачем. Свою жалость к мальчику я вижу, я оставляю ее в

комнате, уходя из дома, и знаю, где и как застану ее, когда возвращаюсь домой.

Сейчас из гостей пришла Женя, она была в разных местах и, между прочим, у Вильямов. Завтра к нам придет Ирина Николаевна. Еще Женя говорит, что она глядит здоровее своей сестры Риты. Это передай Шуре. Ее проводил Коля. У него сделалось сердцебиенье. Пока мы с ним это обсуждали, Женя пробежала написанное мной. Теперь, когда я снова взялся за письмо, она с дивана говорит мне, что чем глупости писать, которые на вас нагонят скуку, лучше бы и я ложился. Вероятно она права. Она должна быть правой, потому что иначе моя ссылка на ее слова становится «демагогическим» подвохом. Вряд ли бы я стал так недобросовестно играть ею, собою и твоей требовательностью только для того, чтобы доказать, что я выше вашего пониманья. Вывод из этого один. Нельзя описывать болезненных, мертвенных явлений. К их числу надо отнести то новое, что входит в мою жизнь, и меня своей новизной поражает. Это приносит с собой возраст.

На днях ночью я проснулся, и многое мне представилось в том ракурсе дикости благодаря самостоятельной оторванности от меня, какой когда-то Жоню заставлял плакать по ночам, а у меня разряжался в музыке. Жоня — жена Феди — живущая в Мюнхене и притязающая на тождественность с Жоничкой, папа, мама, ты и Шура, спящие сейчас в Берлине (о, как я его вижу) — вы двумя группами оторвавшихся призраков находились где-то, расположась в пространстве, которое было когда-то сердцем, а теперь стало перспективой, тоскливо-глубокой, неисчерпаемо-наглядной, нездорово созерцательной. Нет, этого не выразить.

Может быть, я с тобой заговорил об этом затем, чтобы ты мне сказала — только хватит ли у тебя свежести и святой прямоты, — что слова эти не дошли до тебя, что я вяло и без огня копался где-то в стороне от того места, где собирался остро и с огнем начать раскопки. Тогда бы я признал эти определенья ложными, а мне бы очень этого хотелось. Мне бы очень хотелось думать, что жизнь на всем своем протяженьи однородна, что она есть постепенно замедляющаяся молодость. Мысль, что разные возрасты более различны, чем века и государства — мне тяжела.

Как бы в ее опроверженье коснусь того, о чем всегда в письмах заговаривал и о чем постоянно думаю в часы вынужденного, как сегодня, досуга. Несмотря на все затрудненья, главная закваска года, его сердцевина глубоко удовлетворяет меня. Тут много причин и перебирать их нечего. Освободилась, индивидуализи-

ровалась жизнь. Мои затрудненья особенные, они не собирательного характера, как в эти переходные годы. Возврат к полному организму идет медленно и он еще не достигнут. Но полдороги уже, верно, сделано. Я опять стал марать бумагу и к чему-то приду[4]. Но это не скоро скажется. То, что мы подчас живем прескверно, совершается *вопреки* возможностям. Их множество, доступных мне и сейчас, и даже в литературной, лучше сказать, журнальной области. Довольно было бы мне вчетверо уменьшить напряженье, которое я считаю обязательным, чтобы сразу учетверить свой заработок. Говоря иначе, легче всего мне было бы улучшить матерьяльно жизнь в шестнадцать раз. Можно было бы сказать, что для моего случая 16 есть коэффициент отношенья смысла к бессмыслице или, как прежде говорили, духа к материи. Ты этого не знаешь, папа скажет тебе, что это явленье старо как мир.

В том-то и прелесть, что старые, как мир, законы начинают мало-помалу приходить в движенье. Вне их действия я утрачиваю осязанье. Теперь оно возвращается ко мне. Еще недавно, на ваших глазах, в Берлине я был анестетически (бесчувственно) благополучен. Положенье об эстетическом неблагополучии напрашивается само собой, но лучше простимся, Лидок, а то я засижусь и завтра встану смутным, а это мне не полагается.

Всех крепко расцелуй, я покажу тебе, как.

Твой Боря

Впервые: Письма к родителям и сестрам. — Автограф (Pasternak Trust, Oxford).

[1] Пломбы, поставленные у зубного врача в 1923 г. в Берлине.

[2] Письмо неизвестно; вероятно, содержало выписки из читанного в библиотеке Наркоминдела.

[3] См. об этом времени во Вступленье к «Спекторскому»: «Свой возраст взглядом смеривши косым, / Я первую на нем заметил проседь».

[4] Имеется в виду начало работы над «Спекторским».

253. Ж. Л. ПАСТЕРНАК

26–30 января 1925, Москва

26/I. 25

Дорогая Жонюра! Вчера я ни с того ни с сего пустился Лиде писать письмо[1]. Только что мы с Женей о тебе говорили. Я сел работать. Тихо открывается дверь, из-за плеча протягивается рука Фени (Жениной няни), и твои книги ложатся в лужи, на мостовую, которую я описываю[2]. Что это ты вдруг? Зачем тратилась. Но

что и говорить, радостный сюрприз! Спасибо, спасибо. Теперь я никогда не буду тебе писать о книгах. Неужели ты мои слова поняла как намек? «Бродяги» Конрада я не читал, «Каприз» же Олмейра (Allmayer's Folly) есть у меня в переводе. Виноват, может быть, я все-таки просил тебя прислать? Женя положительно и уверенно это утверждает, и будто бы читала в давнишнем моем письме к тебе. Тогда прости. Но я этого не помню.

30/I. Семейное свойство. Начало письма залегло с неопределенной целью на неопределенный срок. Сейчас получено твое. Ты пишешь о предполагаемом приезде. Это было бы замечательно. Только это намеренье надо освободить от глубоких, далеко идущих предпосылок и от сопровождающей его душевной комментации. Отчего тысячи людей без всяких поводов и целей передвигаются до земному шару, — ездят, приезжают и уезжают. Мы же всегда нуждаемся в целевом оправдании. Такая поездка — пустейшая прогулка. Чего проще? Если же ты теперь немецкая подданная, то это проще простого.

Я убежден, что это будет приезд на время, и во всяком случае ты, не испытав себя и своих чаяний не проверив, ни о чем другом, как о таком налете в гости не говори и не думай, а то это становится несерьезной мыслью, то есть такою, которая, как бы она ни была бездонна, не осуществится. Не говоря о той радости, которую и мы и ты вместе бы испытали, сойдясь и свидевшись, такая поездка очень много, вероятно, тебе бы дала.

Переезд границы, не сомневаюсь, произвел бы на тебя угнетающее впечатление. Так было сто лет назад, так будет и через сто. Культуру, — книжку, плотно убитую картинками, страницами музыки, философии, городами, Диккенсовскими густотами и прочим — сменят поля, нищие тучи, нищие галки. Ты будешь плакать и будешь одна в купе, очень сером и очень обширном. Проводник на остановках, очень продолжительных и частых, будет громко скидывать охапки дровяных чурок в тамбуре, с площадок будет тянуть холодком и вонью. Но, разумеется, это родина (великая вещь), и в смешанной горечи этих ощущений много волнующего, обогащающего, поучительного.

Дом вызовет в твоей душе много сцен и положений, которые, как тебе кажется, у тебя на памяти, и которых ты, конечно, не помнишь. Минут пять ты не в состоянии будешь говорить. Потом ты найдешь, что комнаты, освещенье и тысячи сторон и свойств, не попавших в словарь и не разнесенных по категориям, несоизмеримо мягче, глубже, таинственнее, чем были в твоем предвос-

хищении. Многое, что может и должно в тебе жить, тут в этот первый день оживет. Если бы я был святым и у меня не было своих желаний, я бы тебе посоветовал приехать на одну неделю.

Кроме того, ты увидишь мальчика, и у тебя с домом произойдет то же, что и с родиной. Ты испытаешь полножизненное, то есть противоречащее себе во всем — ощущенье. Он, новый и неизвестный тебе, чужой мальчик неизбежно представится тебе естественнейшим средоточьем картины, то есть не — гостем мира, который ты вправе считать своим, а его хозяином. Ты его возненавидишь, то есть полюбишь с болью, то есть действительной, а не полагающейся любовью. Говоря кстати, он далеко не таков, каким его изображают в письмах. Он китайченок, некрасив, похож на меня, иногда — этнографичен. Он очень живой и, вероятно, наделен хорошими задатками (впечатлительностью, переимчивостью). Он рано начинает говорить, но язык ему уже поломали няня (белоруска из черты оседлости) и соседи. Может быть, это мне только кажется. Вместе с тем людей лучше не сыскать. Со стороны Фришманов вообще очень мило и нами совсем незаслуженно так с ним возиться. Няня же (прислуга Жениной мамы) — свой человек и на нее можно больше положиться, чем на самое Женю. Конечно, не всегда так останется и со временем всякие изъяны выправятся и восполнятся недочеты. Но это все не к делу.

Да, так о тебе. Ты наглотаешься тут драгоценнейших вещей и поедешь назад их переваривать и с них крепнуть. Зачем себя этого лишать. Смешно рассуждать, для чего живет человек. Ясно. Цели призрачны, их ставит вымысел и новый упраздняет. Но как легко и жизни стать призраком! Вот единственная, пожалуй, цель для человека в историческую эру: стараться, чтобы жизнь не стала призрачной; перебивать тенденцию к улетучиванью положеньями, наливающими соком, весом, смыслом. Это положенья — доступнейшие, естественнейшие, никакой в них нет хитрости, ни дерзости, ни риску.

Такой рисуется мне твоя поездка, и если Федя и папа с мамой не советуют тебе того же, что и я, я бы назвал их поведенье тупоумным и бесчеловечным, если бы не знал тебя. Несомненно, ты уясняешь себе плохо свою потребность и, верно, еще хуже ее формулируешь. У тебя есть привычка, подымаясь по лестнице пятиэтажного дома, объявлять, что ты подымаешься на шестой. Разумеется, люди пугаются и останавливают тебя на площадке второго, не желая тебя видеть в состоянии свободного полета, между тем как никому никогда не возбраняется ходить и спускаться по

лестницам, сколько угодно без всяких уяснений про себя на этот счет и соответствующих деклараций для окружающих Может быть, это и моя болезнь и в моем случае дело только тем хуже, что меня никто не останавливает, и, вопреки своим словам, расшатывая веру, я никогда не попадаю выше чердака и тогда забрасываю навсегда мысль и о скромнейших подъемах, примирясь с постоянным партером. Отвратительное сравнение, опять сбившее меня в сторону.

Ты должна будешь съездить в Ленинград к тете Асе. Вообще — в Петербург. Это изумительный город. Надо в нем побывать и немного пожить, чтобы чувства к родине и мысли о ней разместились в должном порядке и пришли в равновесье, свое, особенное, без петербургских впечатлений недостижимое.

Есть обстоятельства, которыми бы ты могла воспользоваться. Если Шура собирается домой, ты могла бы поехать с ним.

Может быть, придем в движенье и мы. В виде чистейшего пока мечтанья подумываю я о посылке «внука» с Женею к нашим, а она, — но об этом, еще будет особый разговор с зондированьем почвы, запросами косвенными через Лиду и Шуру, чтобы ответы были свободные и не вынужденные, — она о такой поездке хочет думать только в том случае, если бы оказалось возможным оставить мальчика у мамы и Лиды на полгода, а ей на этот срок поехать учиться в Париж. Если бы это осуществилось, то — весной, — и вот ты могла бы вместе с ними поехать. Однако эти комбинации совершенный вздор. Ты своих планов к ним не приурочивай и на них расчетов не строй.

Ах как было бы чудно с тобой тут пожить![3] Мы часто об этом с Женей мечтали, да, вероятно, и писали тебе. Передаешь ли ты мои поклоны Феде? Он мне ничуть не дальше тебя. В галерее чувств, установившихся с детства, ничего ведь не сместилось. Разговоры разговорами, а элементарные привязанности — это трудно объяснить.

Письмо тебе покажется, верно, холодным, потому что я стараюсь писать без прирожденной растрепанности. Я уже благодарил тебя за книги. Теперь спасибо за готовность посылать еще. Спасибо. Пока не надо. Джойса вообще не надо и Пруста достану здесь.

Сейчас произойдет схватка с Женей, она станет задерживать письмо, чтобы приписать от себя, я же лучше отошлю, пусть пишет отдельно, довольно оно лежало.

Обнимаю тебя и целую. *Твой Боря*

Впервые: Письма к родителям и сестрам. — Автограф (Hoover Institution Archives, Stanford).

[1] Письмо № 252.

[2] В первой главе «Спекторского» дается картина ранней весны в Москве, залитой талой водой: «Распутица цепляется за вожжи, / Торцы грозятся в луже искупать».

[3] Пастернак быстро сделал все, что нужно было для приезда сестры, и 18 февр. 1925 писал: «Только что отосланы: 1) письмо Радека Крестинскому (русскому послу в Берлине) о Жоне, то есть что она явится и чтобы дать ей визу. 2) копия письма с личной просьбой Радека в ГПУ, чтобы они сообщили в Берлин в полпредство, что препятствий ко въезду нет, и, наконец, от меня личная записка товарищу Мирову, сотруднику полпредства о том, чтобы он Жоне все сделал сам, не заставляя ее слушать полный курс Введенья в Полученье Виз». Но поездка не состоялась, родители решительно воспротивились этому. «Ни я, ни мама, мы не можем ни с какой стороны этой затее ни симпатизировать, ни одобрить. О Феде я не говорю — не знаю, не спрашивал; и не надо быть семи пядей во лбу, чтобы не знать, что едва ли это ему улыбнется и что он слишком добр и благороден, чтобы препятствовать» (там же. Кн. I. С. 50, 52).

254. О. Э. МАНДЕЛЬШТАМУ

31 января 1925, Москва

31/I. 25. Москва. Волхонка 14, кв. 9

Дорогой Осип Эмилиевич! Сейчас ко мне звонил Уречин (Вы его знаете?) и передал от Шкловского, живущего с ним об стену, вести о Вас и от Вас и все Ваши поклоны[1]. Так как я получил все это из третьих рук, то не знаю, с которых начались превосходные степени и были ли они в источнике. Я узнал — если верить человеку бесхитростному и правдивому, каков Уречин — я узнал, что Вы мне не отвечали, потому что чересчур меня любите, а не отвечали о том, имеются ли в Ленгизе возможности, оттого, что их слишком много. Факты в корне своем настолько радостные, что даже необыкновенная форма, в какой они сообщены, ничего к ним не прибавляет. Радоваться больше нельзя, и веселого изложенья не замечаешь. Теперь у меня две цели. Досадить Вам, чтобы Вы ко мне охладели и написали. Поостеречься Вам досаждать, чтобы Вы навели у себя требуемые справки и — и — и оставили их про себя, так, что ли? — Я разлетелся, не предусмотрев, к чему меня приведут посылки. Нет, правда, давайте толком говорить и впредь о делах. «Прими к сведенью... отнесись серьезно и пр.», — говорит Уречин (мы с ним на ты) о чем-то, что называет Вашими предложеньями и чего ближе оформить не может (третьи руки). Я уже

Вам писал, вероятно, что у меня есть несколько, скажем, три, капитальных ресурса, которые дожидаются капитальной реализации. Это:

1. Известные Вам «Темы и варьяции», книга стихов, вышедшая за границей и в России не издававшаяся. Я ее снабдил дополненьями, сильно ее отличающими от заграничного изданья и увеличивающими ее размер против него примерно на четверть (общей сложностью в 2000 строк)[2].

2. «Алхимик» — переводная комедия Бен Джонсона, размером больше 4000 строк (таков и подлинник), вещь очень густая поначалу и слабеющая к концу, на тему, сближающую ее с современным антирелигиозным движеньем (одурачиванье суеверов, насмешка над лжемудрием, каббалой, оккультизмом; галерея тунеядцев, тонущих под бременем собственной паразитарности и пр.). В двух первых актах и в нескольких сценах третьего — на редкость терпкое, реалистическое, во множестве подробностей воплощенное свидетельство эпохи.

3. «Принц Гомбургский» Клейста. Вещь более известная, чем «Алхимик». Драма. 2400 строк[3].

Видите, как я стараюсь, на аттестации «Алхимика» даже легкий лекторский, доцентский налет. (Симпатичный голос, пенсне на снурке, вьющиеся каштановые волосы, задумчивость, телодвижения...).

Но как мне без смеха — в скобках: хороший смех! — просить Вас об ответе? А между тем, как мне узнать, можно ли что-нибудь сделать и если можно, то какую из рукописей слать Вам, а если не одну, то в каком количестве? Тут без переписки не обойтись. Вот и выходит, что она, не говоря о душе, даже и в делах — вещь необходимая. Положенье безнадежное. Еще вопрос. Ведь Ленгиз слился с Гослитиздатом. Через Питер ли надо, т. е. лучше сказать, можно ли, *довольно* ли действовать через Питер? Ионов, кажется, тут. Мне почему-то кажется, что он меня не любит. Может быть это оттого, что я часто слыхал фразу: Ионов ненавидит А. Н. Тихонова[4]. Она повторялась. Осталось: «Ионов ненавидит», вроде того, как «Маркс сказал». И я ее перенес на себя. Но точно я сон видел о его предубеждении против меня.

Еще замечание. «Темы и варьяции» могу послать только в случае окончательного решения издательства, наверняка. Когда у меня истощилась возможность приобретать книжку и ее не стало в лавках, я принялся отбирать их у знакомых. Но и эта пропасть не бездонна.

Как же Вам живется? Виноват, я все забываю, ка́к Вы меня любите. Что Надежда Яковлевна? Вышла ли уже во «Времени» Ваша проза?[5] Очевидно, нет: Вы бы догадались прислать. Когда выйдет?

Я живу чрезвычайно скромно, чтобы не сказать бедно. Чувствую себя как никогда хорошо. Спокойно, уверенно. Даже что-то стал марать. Ей-богу, — и кажется во что-то оформлю. Но совсем недавно, и знаете: раньше роса очи выест и пр... Если заставит необходимость, то кусок помещу в Современнике, хотя страшно бы не хотелось, пока не увижу целого[6]. Это возвращение на старые поэтические рельсы поезда, сошедшего с рельс и шесть лет валявшегося под откосом. Таковыми были для меня «Сестра», «Люверс» и кое-что из «Тем». Я назвал и «Детство Люверс», то есть не сказал Вам, проза ли это или стихи.

С начала января пишу урывками, исподволь. Трудно неимоверно. Все проржавлено, разбито, развинчено, на всем закаляневшие слои наносной бесчувственности, глухоты, насевшей рутины. Гадко. Но работа лежит далеко в стороне от дня, точь-в-точь, как было в свое время с нашими первыми поползновениями и счастливейшими работами. Помните? Вот в этом ее прелесть. Она напоминает забытое, оживают запасы сил, казавшиеся отжившими. Домысел чрезвычайности эпохи отпадает. Финальный стиль (конец века, конец революции, конец молодости, гибель Европы) входит в берега, мелеет, мелеет и перестает действовать. судьбы культуры в кавычках вновь, как когда-то, становятся делом выбора и доброй воли. Кончается все, чему дают кончиться, чего не продолжают. Возьмешься продолжать и не кончится. Преждевременно желать всему перечисленному конца. И я возвращаюсь к брошенному без продолженья. Но не как имя, не как литератор. Не как призванный по финальному разряду. Нет, как лицо штатское, естественное, счастливо-несчастное, таящееся, неизвестное. Если бы Вас об мне спросили, ответ один — занимаюсь библиографией (по Ленину), как оно есть и в действительности. Трудно, заработок мизерный.

Однако довольно, можно и чистую страничку оставить.

Рассказывал ли Вам Шкловский про конференцию Лефа?[7] Если нет, то Вы много потеряли. Ничтожнее, забавнее и доказательнее зрелища я в жизнь не видал. Я сидел гостем, в зрителях, и если бы не легкая обида за Маяковского и Асеева, то все бы прекрасно: я мирно, беззлобно торжествовал. Это демонстрировался вывод из ряда ложных долголетних допущений. Это был абсурд в

лицах, идиллический, пастушеский абсурд. Они только что не объявили искусством чистки медных дверных ручек, но уже Маяковский произнес целую речь о пользе мела, в чаяньи возможности такого провозглашенья. Я увидел их бедными, старыми, слабыми рыцарями, катящимися от униженья к униженью во славу своей неведомой и никому не нужной дамы.

Крепко жму Вашу руку. Из того, что я пишу к Вам, не заключайте, что чувствую слабее, чем Вы. Привет супруге.

Любящий Вас Б. Пастернак

Впервые: «Вопросы литературы», 1972, № 9. — Автограф.

[1] Пастернак ждал от Мандельштама известий об издательских возможностях в Петрограде.

[2] «Темы и варьяции» были изданы в Берлине в 1923 г., переизданы в составе «Двух книг» в 1927 г.; в расширенном составе не публиковались.

[3] «Алхимик» и «Принц Гомбургский» были переведены в 1918—1919 гг. для издательства «Всемирная литература», но оставались неизданными до 1930-х гг.

[4] И. И. *Ионов* — заведующий петроградским отделением Госиздата. А. Н. *Тихонов* — секретарь издательства «Всемирная литература».

[5] Имеется в виду «Шум времени» Мандельштама, который вышел в 1925 г. в издательстве «*Время*».

[6] Речь идет о романе в стихах «Спекторский», отрывок из которого не удалось поместить в «Русский современник», так как журн. был закрыт.

[7] Пастернак присутствовал на «Первом московском совещании работников левого фронта искусств», проходившем в январе 1925 г.

255. И. А. ГРУЗДЕВУ

Начало мая 1925, Москва

Милый Илья Александрович!

Я получил Ваше письмо. У меня написана только одна глава (первая) романа, представляющая, сколько могу судить сейчас, — не более одной десятой замысла. Я мечтал о том, чтобы печатать начать не раньше исполненья всего целого. От этой мысли пришлось отказаться, больше жить в долг стало невозможно. Я сам открыл свой секрет, и теперь вещь известна. То, что написано, пойдет в очередном альманахе «Круга»[1]. Было бы большим подспорьем для меня и поддержкой в дальнейшей работе, если бы «Ковш» согласился взять несколько отрывков из этой главы (в общей сложности, скажем, не больше чем 100 строк). Так поступила «Россия»[2]. В ремингтонном списке, который я Вам вы-

сылаю, этот отрывок отчеркнут карандашом (Встреча Нового Года). Его, значит, брать нельзя, он из Вашего выбора исключается. Однако как ни кстати это было бы для меня, не думаю, чтобы «Ковшу» мое предложенье улыбнулось. В главе есть партии самостоятельного значенья, так, например, вступленье (Городской рассвет) и заключительные 5 строф (Не спите днем). Во всяком случае у меня будет к Вам просьба, тотчас же по полученьи материала и письма мне написать, что да как (и свое мненье). Вещь, кажется, нравится тут, холоднее отнеслись ваши петербуржцы. Шкапской и Н. Чуковскому[3], как мне показалось, она не понравилась, то есть за приятными словами я не слышал непосредственного голоса, вероятно, они ждали большего. Теперь, если я в заключенье попрошу Вас передать самый задушевный привет Федину и Тихонову, то знайте, что это просьба очень серьезная, а не так, к слову пришлось. Первому мне следовало написать давно, потому что за чтеньем «Анны Тимофеевны»[4] я пережил минуты настоящего художественного наслажденья, что в особенности относится к последней части повести и жизни героини, где насыщенно-яркое, но в своем *внимании* однообразное немного письмо сменяется движеньями настоящего большого художника, как бы задумывающегося среди самого текста и как бы не знающего, что принесет ему на следующей странице его размышленье. Тогда именно однородный поток любованья, всегда состоящий в родстве, пускай и сколь угодно отдаленном, с дурными и слабейшими родами искусства, каковы: ровное великолепье стилизации или прикладной трафарет, сменяется подлинным дыханьем творящей стихии. То есть искусство начинает двигаться самостоятельно: раскачивается, мотает хоботом, прядет ушами, уписывает сено огромнейшими копнами и пр., и его видишь — в глубине, за решеткою текста или вымысла, как слона в клетке — это бы хотелось телодвиженьем выразить[5].

К Тихонову же долго лежало у меня начатое письмо, открывавшееся обращеньем: «Тихонов, моя радость!» Я его оставил не потому, что обращенье несколько напоминает хлестаковское «Душа Тряпичкин» (кажется, так)[6], а оттого, что в нем разоткровенничался донельзя. Жена в ужас пришла, так завещанья пишут, и вот, рано мне их писать, а Тихонову читать рано. Когда с Тихоновым войду я в другой голос (более человеческий и охлажденный), тогда станет возможно нам переписываться, то есть мне вовремя на его письма отвечать. А ему скажите, что молодец он, что не сдает позиции, и я его очень люблю.

Кроме того, ему порученье. Чтоб не давал он Вам покою, пока Вы мне не вышлете «Ковша» и Фединских Городов и Годов[7]. Это Ленгиза не разорит. А Ковш у меня был день только и очень сутолочный, я только-только принялся очаровываться, как пришли за книжкой и отобрали. Покажите Спекторского Тихонову. Между делом, за писаньем я вчерне сообщал его Осипу Эмильевичу. Редакция, у него имеющаяся, отменяется[8]. Илья Александрович, теперь у Вас сложится впечатленье, что для моих просьб Вам надо особого секретаря завести. Это иллюзия. Окиньте их взглядом. Просьба написать мне. Взять отрывки для «Ковша». Кланяться всем, но в особенности Федину и Тихонову. Выслать Ковш и Города и Годы.

Крепко жму Вашу руку. Спасибо за память, простите за беспокойство.

Ваш Б. Пастернак

Очень жалко, что не нашли меня. Всегда так бывает. Кого хочется видеть, тот адрес перепутает или еще что-нибудь. А другому так объяснишь, что, кажется, никак не найти, и хоть на край света уйди, — найдет.

Вот и работай.

Впервые: «Звезда», 1994, № 9. — Автограф (Архив М. Горького, ФГ 8. 8/10).

Датируется по содержанию. Знакомство Пастернака с И. А. Груздевым состоялось через Н. С. Тихонова, который вместе с Груздевым учредил журнал «Ковш».

[1] «Круг», кн. 5, 1925.

[2] «Россия», № 5, 1925.

[3] Поэтесса Мария Михайловна *Шкапская* в 1924 г. организовала литературный салон, где бывали Н. Тихонов, Ю. Тынянов, В. Каверин, А. Введенский. Там познакомился с ней Н. К. *Чуковский*, который выступал в то время как поэт, потом — как прозаик и переводчик.

[4] Повесть Федина *«Анна Тимофеевна»* вышла в альм. «Круг» (кн. 2, 1923). Потом — в сб. «Пустырь» изд-ва «Круг», 1923.

[5] Ср.: «Как воз среди сенного склада, / Стоит дремучая громада. / Клыки ушли под потолок. / На блоке вьется сена клок... / Подошву сжал тяжелый обод, / Грохочет цепь и ходит хобот, / Таскаясь с шарком по плите, / И пишет петли в высоте. / И что-то тешится средь суши: / Не то обшарпанные уши, / Как два каретных кожуха, / Не то соломы вороха» («Зверинец», 1925).

[6] Из письма Хлестакова: «Спешу уведомить тебя, душа Тряпичкин, какие со мной чудеса» (Н. В. Гоголь. Ревизор. Действие 5, явл. 8).

[7] Имеется в виду первая книга «Ковша», в которой напечатаны проза М. Зощенко, А. Толстого, С. Семенова, Л. Леонова и А. Голикова, стихи Н. Тихонова, О. Мандельштама, П. Антокольского, Е. Полонской, Вс. Рождественского и К. Вагинова. *«Города и годы»* Федина вышли осенью 1924 г.

[8] Отрывки первой главы были переданы Мандельштаму в январе 1925 г.

256. О. Э. МАНДЕЛЬШТАМУ

Май 1925, Москва

Милый мой мучитель!

Что ж это такое! Если у Вас нет мненья о Спекторском или Вы такого низкого, что не хотите меня огорчать, то ведь Вы бы могли написать мне о ревантологии[1] и о деньгах. Как обстоит с этим дело? Посланные отрывки всего бы лучше Вы уничтожили: я их во многих отношеньях исправил[2]. Вообще вещь уже не тайна. Я отдаю первую главу в печать. Целиком пойдет эта глава в «Круге» (6-й альманах), отрывок в «России», другие думаю пристроить у Вас в ленинградских журналах[3], попрошу Асеева, который собирается съездить, или же Тихонова.

Отчасти в этом опубликовании неотлежавшейся части еще отсутствующего целого виноваты и Вы. Небольшая ревантологическая поддержка, а тем более моральная в виде отклика или совета помогли бы мне продержаться еще тот недолгий срок, которого бы хватило, чтобы хоть набросать вторую главу.

Еще бы лучше было, если бы Вы меня разбранили, как, повидимому, в душе и сделали, оставив меня в совершенной неизвестности о своем осужденьи. Я на Вас не сержусь, люблю, как всегда, в то, что ответите, не верю, целую руку Надежде Яковлевне и желаю ей доброго здоровья. Собирается ли она в Крым и когда?

Ваш Б. Пастернак

P. S. Сейчас, правив ремингтонный список Спекторского, дал себе слово не видеть правды. Он скучен и водянист, но я буду сдерживаться, сколько будет возможности, а то вещи конец, а я ее хочу написать. Поэтому можете ругать ее последними словами: *мне это не повредит* и неожиданностью не явится.

И рев'ы не перестали интересовать меня.

Впервые: Вестник РСХД, Париж–Нью-Йорк, 1972. № 104–105. — Автограф. Датируется по содержанию.

[1] Имеется в виду «Революционная антология Запада», в которой Пастернак надеялся опубликовать свои переводы немецких поэтов.

[2] Мандельштам приезжал в Москву в январе 1925 г. на несколько дней, видимо, тогда ему были переданы отрывки начальных глав «Спекторского» с просьбой устроить их публикацию в Ленинграде.

[3] Главы 1–3 вышли в альманахе «Круг» (1925, № 5), отрывок под назв. «Встреча Нового года» — в журн. «Россия» (1925, № 5).

257. И. А. ГРУЗДЕВУ

7 июня 1925, Москва

Дорогой Илья Александрович!

Хотя это Вам теперь уже ничего не скажет, но Ваше письмо со словами о моей близости Вам растрогало меня до глубины души. Мне бы хотелось, чтобы это так на самом деле и было. Насколько помню, ответа на Ваше письмо требовало не только чувство, им вызванное, но и обстоятельства дела. Таким образом, мое поведенье было свинством всесторонним. Я пробовал Вам ответить и, как это всегда со мной бывает в случаях сильного желанья много сказать, я только расстроил себя без всякой радости для Вас. Это была всем и всякому известная попытка выложить со дна до краев словами глубину безотчетной симпатии, чтобы дать ее предмету понятье о ее кубатуре. Если на свете пишутся письма, не доходящие до адресатов, то только оттого, что их иногда пишут слишком в упор. Простите меня и будем друзьями.

Я напишу сегодня и Тихонову. Асеев привез его замечательную «Дорогу»[1]. Она мне понравилась именно тем, чего больше всего сейчас ищет и требует мой слух у себя и других: серьезным *поэтическим* содержаньем, отбрасывающим края формы за барьер художнического одиночества и достигающим того, что форма становится формой слушанья или пониманья собравшихся, формой их расположенья в комнате и их восхищенья. Работу над Спекторским придется отложить на некоторое время. У меня были огорченья, было много неудач, главное же я обманулся в некоторых расчетах (житейского порядка). Между прочим, не удивитесь, если Ионов станет разъяренно требовать какой-нибудь экзекуции над Спекторским или просто выкинет его из Ковша.

Своими величественными посулами, на которых я строил свои летние расчеты, он меня поставил в глупое и безвыходное положенье. Он дает великодушные обещанья и раздраженно изумляется напоминаньям о них, точно это твои собственные выдумки или тебе приснилось. На днях это меня так взорвало, что не сдержавшись я написал ему очень резкое и лаконическое письмо. Если даже он исчерпал свой темперамент в своей прежней неприязни ко мне (причин ее я не знаю), то моя записка явится источником ненависти бездонной. Вот как обстоит со мной, дорогой Илья Александрович. Вчера у Асеева познакомился с Садофьевым[2]. Славный кажется человек. Но он не обворожил меня. Дружески жму Вашу руку.

Tout à vous Б. Пастернак

Впервые: «Звезда», 1994, № 9. — Автограф (Архив М. Горького, ФГ 8. 8/11. Датируется по письму к Тихонову — № 258.

[1] Поэма Н. Тихонова, посвященная путешествию по Кавказу. «В ней около 6000 строк и столько напихано туда, что дочитать до конца без отдыха невозможно, — писал Тихонов Пастернаку. — Один перечень введенных лиц занял бы полстраницы: Тифлис, Мцыри, медвежонок, хевсуры, тигр, осетинская девочка, бандиты, белые, красные, полосатые — баня, дорога и пр. и пр. и пр.» (Декабрь 1924; ЛН. Т. 93. С. 671).

[2] Илья Иванович *Садофьев* — поэт, активный деятель Пролеткульта, входил в редколлегию «Ковша». Письма Пастернака Садофьеву неизвестны.

258. Н. С. ТИХОНОВУ

7 июня 1925, Москва

Дорогой Николай Семенович!

Извиненья и выраженья чувств до вас наверное своевременно доходили через других людей. Удивительно, что я Вам не написал по ознакомлении с «Дорогой» у Асеева. Он ее прочел восхитительно, Вам так не прочесть. Потом я стал ждать выхода «Ковша» для дотошного ее разбора[1]. С такой безоговорочностью мне у Вас нравилась одна «Брага»[2]. Наибольшее впечатленье в слушанье на меня произвели: тигр, осетинская пастушка, перевал через хребет. В особенности последний эпизод. Теперь говорю по воспоминанью. Я хотел было взять рукопись, но потом рассудили, что надо ее повезти на дачу к Брикам. Теперь скоро ее увижу. Катаев видел «Ковш» сверстанным.

У нас снята дача под Москвой, а переехать все не удается, — холода и безденежье. Когда будете тут, обязательно к нам. Надо, справившись с расписаньем по рубрике Немчиновка — Усово (Александровской железной дороги[3]), взять билет на поезд, совпадающий с поездами этой ветки. Билеты на эту линию выдаются *без очереди*. Билет надо взять в Усово. Пересесть в Немчиновке. По приезде в Усово спросить, как пройти в Александровское. Переход через Москва-реку (вброд или кликнуть перевозчика). В Александровском спросить новый дом (избу) Шарова. Окраина деревни. Бурная встреча друзей.

Вышел ли отдельной книжкой Ваш «Бамбери»? Я журнала не получаю и не читал[4]. Его очень хвалят. Если вышел, пришлите.

Садофьев сказал, что большинство меня в Петербурге не принимает. В той форме, в какой он эту сентенцию высказал, это было некоторой новостью для меня, глубоко и до странности меня огорчившей. Врет? Врет?!

Вы всегда несправедливы к Маяковскому[5]. Прав все-таки оказался я в своем к нему отношении. Он написал «Парижские стихи», бесподобные по былой свежести[6]. Интересно, что Вы скажете насчет «Лисьей шубы» Казина, которую прочтете в «Красной нови»?[7]

Вы спрашивали, связным ли романом будет «Спекторский»? Да, надеюсь. Несвязного в нем пока лишь то, что в самый разгар работы над 2-ой главой мне пришлось все побросать и наспех омолоди... — виноват — омладенчиться[8]. Впадать в детство мне придется, по всей вероятности, сплошь все лето. Таковы обстоятельства. Долгов у меня столько, что я скоро стану державой. Вы, конечно, догадались, что я говорю о вещах для Маршака и Чуковского.

Крепко Вас целую. *Ваш Б. Пастернак*

7. VI. 25

Впервые: ЛН. Т. 95. — Автограф (собр. Н. С. Тихонова).

[1] «*Дорога*» была опубликована в альм. «Ковш» (кн. 2, 1925).

[2] Н. Тихонов. «*Брага*». М.–П., «Круг», 1922.

[3] Теперь — Белорусская.

[4] Н. Тихонов. «*Бамбери*». Повесть для юношества. Л., ГИЗ, 1925. Первонач. была опубликована в журн. «Новый Робинзон» (1925, № 3–6).

[5] Тихонов писал Пастернаку: «Футуристический гиперболизм Маяковского перешел в самый осмысленный и строгий анекдот или в сюжет. — Тут поезд идет еще, но идет под откос» (Декабрь 1924; там же. С. 672).

[6] В. Маяковский. Париж. М., 1925.

[7] Василий *Казин*. «Лисья шуба и любовь» («Красная новь», 1925, № 5).

[8] Чтобы выбраться из долгов, Пастернак по заказу К. И. Чуковского и С. Я. Маршака написал две книжки детских стихов «Карусель» и «Зверинец».

259. В. А. СИЛЛОВУ

Июнь 1925, Александровское

Дорогой Володя!

Отчего Вы не приехали в последнее воскресенье? Чуковскому о Вере или нигилистах написал[1]. Я был в городе на прошлой неделе, но всего только один день и никого из знакомых не видал. Так как я в город ездил со все уменьшающимся успехом, то меня туда не толкают и пневматические законы часто устанавливающейся у нас пустоты. Если Вы нас не забыли, то на этот раз приедете. Если приедете, то у меня к Вам просьба. Зайдите, если не трудно Вам, к соседям на нашу квартиру (со двора кв. № 9) за почтой и вестями. Кроме того, если это Вас не обременит, привезите 1-й и 3-й №№ «Былого» (у меня Ваш 2-й[2]). Простите за навязчивость. А что с Синяковыми и

Уречиными? Живы ли и здоровы они? Обещали быть в истекшее воскресенье и надули. Если они не знают, как мы им бываем рады, то каков вообще, в таком случае их образовательный ценз?

До скорого свиданья. *Ваш Б. Пастернак*

Впервые: Воспоминания. С. 94. Датируется по воспоминаниям О. Г. Силловой-Петровской. Пастернак познакомился с Силловыми, приехавшими из Читы по приглашению Асеева, в 1921 г. Ими совместно был издан сб. стихов «Зрачки весен» (Фудзядзян, 1921). В Москве В. А. Силлов опубликовал несколько критических разборов и читал лекции в Пролеткульте.

[1] Пастернак обратился к К. И. Чуковскому с просьбой найти издателя пьесы Оскара Уайльда «Вера или Нигилисты», над переводом которой работала жена Силлова О. Г. Петровская.

[2] О. Г. Петровская вспоминала, что, начав работу над поэмой «Девятьсот пятый год», «Борис Леонидович углубился в разыскивание исторических материалов <...> нередко заходил к нам за журналами «Былое» и за другими книгами, где он находил нужные ему исторические сведения» (Воспоминания. С. 93–94).

260. М. И. ЦВЕТАЕВОЙ

2 июля 1925, Москва

Месяц тому назад я получил Ваше письмо, Марина. Бог знает как оно до меня добралось. Говорят, Вы мне ответили на мое прошлогоднее. Но то не дошло.

О Вашей радости я узнал раньше от Аси[1]. Подробности рожденья мальчика действительно чудесны. Вы об этом пишете с заразительной таинственностью, полным шепота ртом. Когда я читал Ваше письмо, мне представилась детская ночью, где-то мыслилась маленькая кроватка, Вы над ней наклонялись и производили какие-то движенья над лампой. Свет заражался Вашей озабоченностью и повторял Ваши движенья.

Мне живется очень трудно и бывают времена, когда я прихожу в совершенное отчаянье. Я пишу Вам как раз в один из таких периодов.

Жена и ребенок в деревне, на даче. Теперь крестьяне стали строить большие светлые избы и сдают их на лето. Там очень хорошо. Я приехал в город доставать денег, и это мне не удается. За квартиру не плочено три месяца, а это по нашим законам предельный срок, после которого подают в суд и выселяют. Тем же самым грозит мне неплатеж налогов. Родители, сестры и брат за границей, квартира переуплотнена, я единственный тут остался. Нам

остались две комнаты, но одна из них, по размерам, сущий манеж (старая папина мастерская), и получается площадь, которая поглощает половину моих заработков. Сократить ее нельзя, этому мешает расположенье и устройство печей. Переехать тоже невозможно, не только оттого, что некуда, а и потому еще, что тут папины работы за всю его жизнь и вещи семьи, и сдвинуть этот заколдованный массив мог бы только человек без мнительности и воображенья, решительный, здоровый и дневной. Все это со стороны должно быть смешно, и если Вы не улыбнетесь, мне будет стыдно Вашей снисходительности.

А кругом люди, как ни бедственно положенье многих, делают подарки женам, ходят не в отребьях и, принимая друзей, развлекаются и не отпугивают их унынием. Мне горько за своих, страшно себя и стыдно мысли, что в чем-то таком, что составляет существо живого человека, я глубоко бездарен и жалок.

Четвертый день я хожу по издательствам и редакциям. Мне надо достать во что бы то ни стало около трехсот рублей, чтобы отстоять квартиру и заплатить налог. Я с трудом достал пятьдесят и не знаю, что делать. Это очень унизительная процедура. Поведенье людей лишено логики. Чем выше балл, который они тебе выставляют, тем он мертвее. Всего меньше считают себя обязанными делать вывод из своего мнения те, по мнению которых я делю поэтическое первенство с Есениным[2]. Манеры, способ обращенья и проч. у этих людей выработались из сношений с этим последним. Они привыкли к грубостям и запанибратщине, и к тому, чтобы на них действовали нахрапом. А мне это претит. Это я о житейской, матерьяльной стороне. Что же касается до существа этого сопоставленья, то нельзя ничего придумать пошлее. Не говоря уже о Маяковском, о живых еще, по счастью, Сологубе и Ахматовой, я Мандельштама и Асеева ставлю выше как поэтов. Но не в этом дело. Я был бы рад делить поэтический уровень только с Вами. Только в этом наблюденьи была бы какая-то правда, объективная, живая, моментальная, без первенств и порядковых чисел. Первым был Брюсов. Это не по нашей части. Анненский не был первым[3]. О, с какой бы радостью я сам во всеуслышанье объявил о своей посредственности, только бы дали посредственно существовать и работать! Как трудно, как трудно!

Я долгое время (около 6-ти лет) совершенно не мог писать. Были случайные исключенья, и ни одного из них нельзя признать удачным. «Высокую Болезнь» я так широко и свободно отрицаю, точно она еще в меньшей степени написана мною, чем все, что не

мною написано в мировой поэзии. Я неудачно выразился: мировая поэзия хороша и близка нам, а эта вещь до призрачности ничтожна. Дальше так продолжаться не могло. Осенью я решил, как в таких случаях говорится, бросить литературу. Я получил работу по библиографии. Заработок был мизерный, заниматься приходилось с утра до позднего вечера. В этом заключалась приятность этой работы. Свободного времени она не оставляла. Пять месяцев я прохлопотал в совершенном забвеньи имен, соревнований, направлений, журнального разврата, журнальных обысков и доносов, которым стал подвергаться перед этим разрывом с литературой (что его и вызвало[4]). И вот к весне, что-то тронулось и пошло, как семь лет назад. Я начал роман в стихах. Я дал себе слово таить работу, пока всего не кончу. И опять, непреодолимые матерьяльные причины легли поперек работы и механически отсекли то, что стало первой главой. Мне пришлось ее показать и понести на рынок. Вещь у меня оторвали с руками. Матерьяльное положенье достигло у меня той посредственности, о которой я мечтаю. Но вторая глава сложнее и глубже по духу. Я задержался. Потом увидал, что часть матерьяла должна еще попасть и в первую главу. Стал ее дописывать. И опять я не соразмерил времени, опять стало туго.

Я взялся за писанье детских вещей, на которые тут большой спрос, все пишут. Написал веселую, хрестоматийного рода «Карусель». Сошло. Тогда, по просьбе Чуковского и как бы для него, написал более серьезный и содержательный «Зверинец». В чаяньи удачи с ним перевез семью в деревню. И вот я никак не могу его пристроить[5]. Удивительно, что я Вам об этом так подробно пишу.

Тут у меня был очень милый молодой человек, Фонтенуа, французский поэт. Он обещал переслать Вам первую главу романа. Получили ли Вы ее?[6] Потом я послал Вам книжку прозы. Она так и должна была называться «Проза». Издательство заставило меня назвать ее «Рассказы», из тех соображений, что «Проза» названье смешное и чересчур «изысканное» (!). Последняя вещь в этом сборнике лишена конца. Это была краткая формула, выражавшая психологический тупик смертной казни, и цензура этот кусок запретила[7].

Вам не понравится мое письмо. Мне очень хотелось Вам написать, очень трудно было отказать себе в этой потребности и еще труднее дышалось за письмом. Вы знаете, я изнемогаю. Что-то дальше будет? Нет почти вероятья, чтоб оно Вам что-нибудь сказало. Вот я завтра поеду к жене и сыну. Как я им в глаза взгляну? Бедная девочка. Плохая я опора. Марина, попробуйте мне напи-

сать прямо по адресу: Волхонка 14 кв. 9. И ради Бога пришлите с оказией все новое. Ведь я еще и Психеи не знаю[8].

А если мне еще суждена работа, то в ее разгар, когда нет на свете близости, равной моей мысленной с Вами, моим отдыхом и праздником будет разговор с Вами о жизни, не этой, унизительно говорившей сегодня вместо меня, а той, которая ударяет в голову одиночества и которой никто не слышит.

Вы чище и крепче меня, потому что не изменились. А меня бы Вы не узнали. Если талант, в аналогии, представляется каким-то изгибом шейной мышцы, по особому приподымающей подбородок, то эту горделивую породистую жилку постоянно находишь в Вас и не перестаешь замечать: мне кажется, я бы мог *Вас описать*, разбирая свое собственное чувство в минуты поэтического подъема. Но Вы и сами ее обнажаете, Вы пишете с раскрытым воротом, Ваш лиризм по-прежнему молод, святая поза осталась в нем. Я же перестал слышать себя, и свое чувство, и жизнь, и хотел бы знать только одну работу, которая мне кажется каким-то низко и плашмя освещенным фантастическим миром, отсвет которого падает на руки и на лицо, отбрасывая тень на все, чем и в чем я был когда-то. Только не оставляйте меня.

Ваш Б. П.

Впервые: Цветаева. Пастернак. Письма 1922–1936. — Автограф (РГАЛИ, ф. 1990, оп. 3, ед. хр. 157).

[1] У М. И. Цветаевой 1 февраля 1925 г. родился сын. В письме 14 февр. она писала: «Борис! 1-го февраля, в воскресенье, в полдень родился мой сын Георгий. Борисом он был девять месяцев в моем чреве и десять дней на свете, но желание С. (не требование) было назвать его Георгием — и я уступила. <...> В самую секунду его рождения — на полу, возле кровати загорелся спирт, и он предстал во взрыве синего пламени. А на улице бушевала мятель, Борис, снежный вихрь, с ног валило. Единственная мятель за зиму и именно в *его* час!» (М. Ц. Собр. соч. Т. 6. С. 242).

[2] В ответ на распространенное мнение о поэтическом соседстве Пастернака с Есениным Цветаева писала: «Сопоставление с Есениным, — смеюсь. Не верю в него, не болею им, всегда чувствую: как легко быть Есениным! Я тебя ни с кем не сопоставляю» (14 июля 1925; там же. С. 248).

[3] «Ты никогда не будешь Первым, только первый — великая тайна и великий шантаж, Борис! — только какая-то степень последнего, тот же «последний», только принаряженный, приукрашенный, обезвреженный. У первого есть второй. *Единственный не бывает первым* (Анненский, Брюсов)» (там же).

[4] Судя по всему, речь идет о чьем-то доносе по поводу содержания повести «Воздушные пути», закрытии журн. «Русский современник», изъятии повести из журн. «Беседа» и пр.

[5] Стих. *«Карусель»* было опубликовано в журн. «Новый Робинзон» (1925, № 9); *«Зверинец»* удалось напечатать в «Огоньке» (1925, № 25).

[6] *Жан Фонтенуа* — французский журналист, аккредитованный в Москве, коммунист, друг писателя Бриса Парена, который женился в то время на дочери Г. И. Челпанова. Фонтенуа передал Цветаевой первые главы «Спекторского» и сб. «Рассказы», о чем Цветаева сообщала 14 июля 1925.

[7] Книга «Рассказы» надписана: «Марине, удивительному, чудесному, Богом одаренному другу Б. П.» (РГАЛИ, ф. 1190, оп. 2, ед. хр. 167). Цветаева отозвалась на присылку: «Название "Проза" настолько органично, а "Рассказы" настолько нарочито, что я ни разу, с тех пор, как взяла книгу в руки, не говорила о ней иначе, как «Проза» Пастернака <...>. Проза, это *страна*, в ней живут, или море — черпают ладонью, это *цельное*. А рассказы — унизительная дребедень. Дурак издатель» (14 июля 1925; М. Ц. Собр. соч. Т. 6. С. 248). Последняя вещь в книге — повесть «Воздушные пути», конец которой остался неизвестен. Она была перепечатана в журн. «Своими путями» (Прага, 1926, № 6–7) в том же сокращенном виде, как в сб. «Рассказы».

[8] Марина Цветаева. *«Психея.* Романтика», Берлин, Изд. З. И. Гржебина, 1923.

261. Я. З. ЧЕРНЯКУ

25 июля 1925, Александровское

25/VII. 25

Дорогой Яков Захарович!

Как всегда, — просьба. Но ни одной еще не было наглее этой. Я попрошу Вас о книгах, о целой куче книг. Не знаю с чего и начать. Я давно уже опять на мели. Подробно расскажу при личном свидании. Но с этими мелями надо попытаться покончить раз навсегда, мне хочется отбить все будки и сторожки откупных тем, дольше я терпеть не намерен. Хочу начать с 905 года[1]. Будьте мне проводником и пособником по литературе! У Вас у самого хорошая библиотека, и кажется есть связь с другими. Из одной книжонки, посвященной 9-му января, выписываю библиографию, к ней приложенную.

1. В. И. Ленин. 1905 год. Т. VI.

2. Сверчков. На заре революции.

3. Айзнафт. Зубатовщина и Гапоновщина. Изд. ВЦСПС, издание 2-е, 1924.

4. «Красная летопись» за 1922 г. № 1.

5. «Былое» № 11–12 и № 2 (?) — 24 за 1917.

6. А. Ельницкий. История рабочего движения в России ч. II, XX век (1918 г.)?

7. С. Пионтковский, «9 янв. 1905 г.»

Не смогли ли бы Вы достать мне что-нибудь из перечисленного, страшно и нелепо просить всего, и иметь у себя под рукой в редакции, на случай моего внезапного на днях появленья? Я невежда. Вы человек образованный и наверное улыбнетесь, пробежав этот случайный список, выведенный рукой в этом вопросе абсолютно невинной. Вы наверное знаете лучшие источники. Тогда замените ими. Кроме того, тут подобран матерьал только по 9-му января, мне же нужен вообще 905 год. Книга Троцкого у меня есть[2]. Простите и кляните меня с какого хотите конца. Хотите — мою беспомощность, хотите — свою судьбу, познакомившую нас друг с другом. Да кстати, насчет обмеленья. Кажется с осени я вновь возьмусь мешать Вам при составлении Ленинианы[3]. Однако это угрожающее известие я бы мог сообщить Вам при личной встрече, в более мягкой форме, и неизвестно, зачем упомянул в письме. Тогда же расспрошу о Ваших и Вашем житье-бытье, и о себе расскажу. Мои живут ни на что не глядя и ничего не ведая о фарватере. Питаемся надеждами и грешневой кашей. Клевером. Необычайными красотами природы. К сожаленью о детях я вспомнил, когда издательства стали о них забывать[4]. Может быть и революция уже не в моде? Боюсь опоздать и в городе буду не то в ближайший понедельник, не то во вторник. А может Вы в отпуску? Тогда прекрасно, рад за Вас и это будет перст Божий (наплевать на книги). Обнимаю Вас. Привет жене и дочке.

Ваш Б. Пастернак

И еще: Покровский. «Русская история в сжатом виде». Ч. III.

Покровский. Очерки по истории революционного движенья в России XIX и XX вв.»

Морской. «Зубатовщина»

Георгий Гапон. «Записки».

Впервые: Воспоминания. С. 707–708. — Автограф (РГАЛИ, ф. 2208, новое поступление). Начало знакомству с Я. З. Черняком положила его рецензия на «Сестру мою жизнь», напечатанная в журн. «Печать и революция», 1922, № 6. В гражданскую войну он был комиссаром дивизии, в 1920-е — секретарем редакции журн. «Печать и революция».

[1] Начало работы над поэмой «Девятьсот пятый год». Ко времени написания письма пролог поэмы «Отцы» был уже написан, его автограф датирован 20 июля 1925 (РГАЛИ, ф. 379, оп. 1, ед. хр. 13).

[2] Л. Д. *Троцкий.* Литература и революция. М., «Красная новь», 1923.

[3] Я. З. Черняк был инициатором участия Пастернака в составлении библиографии при Институте Ленина.

[4] Имеются в виду трудности с изданием детских стихов «Карусель» и «Зверинец».

262. М. И. ЦВЕТАЕВОЙ

16 августа 1925, Александровское

16/VIII. 25

Я во многом перед Вами виноват. И запоздалость ответов против других грехов еще вина последняя. Но как-то странно, как раз в тех случаях, когда ответ на многое в Ваших письмах вырывается за их чтеньем безотчетно, восклицаньями, — ответные письма залеживаются или не удаются.

Невольно вскрикнул я над двумя местами. Над известием о кончине Рильке и над предложеньем помощи[1].

Начну с последнего. Было последним свинством посвящать и Вас во всю эту грязь. Я называю это грязью потому, что это затрудненья никак не человека, а мытарства мещанские, до непозволительности мещанские, то есть до такой степени, что будь Вы тут, Вы и сами мне их так в глаза назвали. Коротко говоря, чтобы Вам все было ясно, это вот что. Это — часть отцовой квартиры, втрое по квадратуре площади превосходящая то, что нам троим нужно, по количеству же и устройству комнат и печей не поддающаяся сокращенью; это, затем, целый арсенал совершенно не нужной нам мебели и вещей из иной и уже давно чужой эры, двусмысленных и вредных на чужой взгляд и, как никак, порабощающих нас хотя бы своим количеством. И наконец — это двойственная, всегда полуподавленная, наполовину же раздраженная психология самих обитателей, это мое сознанье, что большая часть моих усилий пропадает даром, и что целость этой нелепости, переживающей обостренье за обостреньем, — лучший нравственный патент моего безволья, нерешимости и ненаходчивости. И вот, всему этому Вы хотите прийти на помощь! Как Марина, как большой и, значит, строгий и проницательный голос правды, как друг, как что хотите, Вы уже конечно угадали мой черновик, т. е. в той же мере и черновик жены, — потому что она резче и решительнее меня на все это смотрит. И значит прибавлять ничего не надо. Но если бы, не дай Бог, я не успел Вам этого сказать, и Ваши намеренья остались жить, я бы одно их существованье переживал как громкую несообразность, как пощечину, данную себе на всю жизнь. Это дико. Вам в тысячу раз трудней, и трудность Вашей жизни слышна истории, она *современна*, стесненье, в котором Вы живете, делает честь всякому, кто к нему прикоснется. А мои матерьяльные неурядицы — архаизм, дичь, блажь, мыльные пузыри, практическое несовершеннолетье. И я так горячо все это расписываю не в отклоненье только предложенного: об этом и разговору быть не может, и это бы значило в открытое ломиться, это и Вы сами

поняли, и жар моих представлений тут излишен. Но мне просто хочется, чтобы Вы это знали, и не думали обо мне лучше, чем я того заслуживаю, зрелище неблаговидное, говорю Вам. Также за намеренное, подтвержденное оскорбленье сочту я и присылку чешского гонорара за перевод прозы[2], если это гадательное предположенье осуществится (гадательным же оно кажется мне по неинтересности, т. е. ненужности, безжизненности этой прозы в наше время). Нет, ради Бога, Марина, пусть все будет по-прежнему, умоляю Вас, умоляю во имя пониманья *дела*, на которое я так всегда любовался. А по-прежнему это значит я Ваш должник, и моего долга не обнять, ни простить, ни оплатить. Вот оно. Иное расположенье не отвечало бы жизни, т. е. было бы почему-либо фальшиво.

А когда я прочел о Рильке, я попросту разревелся вовсю. Что удивительного! Одно время, т. е. после глухого семилетнего разъединенья между Европой и Россией, я страшно боялся, что Рильке уже нет в живых и с этим страхом поехал за границу. Можно просто сказать, что это опасенье было моим единственным дорожно-душевным грузом. В нем сходилось, завершаясь, все. Чувство неизвестности о Германии, чувство сострадательной тревоги за нее. Чувство неизвестности и тревоги за свое детство, за свои собственные корни. Какая-то перемешанность времен, разных и противоречащих, одновременно расквартированных в разных местах и то наступательных, то эвакуирующихся, временных в разной степени, и несвоевременных в одной — высочайшей, бесконечной. Писать в таком духе на эту тему — чистый разврат. Но если хотеть сказать точнее, то бегло, в письме, надо было бы сказать, что Рильке среди всего этого душевного замешательства, разумеется, не было места, в олицетворенье этого сумбура он годился всех меньше, да и вообще не годился никто с лицом. Не годилась, для примиренья и объединенья этих мотавшихся горизонтов, и личность, их качку переживавшая. А между тем, эти не вымышленные и не наснившиеся призраки концов, разрывов и пр. и пр. какой-то точки, вокруг которой бы они уживались, требовали. И вот, бессознательно, я так сказать посвящал все эти ощущенья Рильке, как можно посвятить кому-нибудь свою заботу или время. Мне думалось, именно в этом химерическом воздухе, только и делавшем, что превращавшем нас в химеры или же нас химерами объявлявшем: Жив ли Рильке? Что он об этом думает? В какой он рамке, если он жив и — Рильке? Кто он теперь, если он ни во что не обрамлен?

И как удивительно, что я не собрался к нему в Швейцарию? Если я когда чаял какой-то награды за принятую и поднятую в этой жизни горечь, то только всегда в мечте о поездке к нему. —

И вот в 22-м году я узнал, что он жив, но давно ничего не пишет. Мне даже обещали адрес его достать. И тут я перестал за него бояться, точно когда узнал, что он «так, ничего, как все смертные», уверился, что ни ему, ни мне, ни его адресу, ни исполнимости моего желанья не будет никогда конца.

Сызнова я стал думать о посещеньи его при мысли о встрече с Вами. Вы часто спрашивали, что мы будем с Вами делать. Одно я знал твердо: поедем к Рильке. И даже одно такое сиденье у него однажды снилось мне. В этой сцене много было материально-элементарного, природного, много такого, чему он развязал язык своими книгами, немало чего перешло от него ко мне, да отчасти и к Вам.

Еще недавно, но до известия о его смерти, в ответ на запрос Либермана для голландского ежегодника[3] (он запрашивал ведь и Вас), я приписал ему главное и решающее на себя влиянье. Мне страшно хотелось, чтобы это признание попалось ему на глаза. Если Вы что-нибудь знаете о его смерти поподробнее, непременно напишите. А я за этим известием вмиг осиротел и на много-много лет состарился. Но эта весть попала на благодарную почву — я уже и говорю-то трафаретами, как пенсионеры.

Нет, правда. Я больше стал думать, чем чувствовать, и — Вы не смейтесь, — без этого не обойтись. Я по собственному опыту начинаю теперь понимать, из чего должна была быть у этого человека рамка, если бы он жил и оставался собой. Интерес к упущенному, пополненье пробелов, оставленных удивительной нашей невежественностью по части всего, что не обняла в отрочестве наша метафора или рифма, воспитывает, горбит, стыдит, но зато и обещает связать бессвязное. Сколько лет ушло на наших глазах, как далеко те годы, в которые мы себя помним! А ведь по-настоящему и этого-то, интимнейшего, чувства нам голыми руками уже не передать! Мы хиреем, и если чего-то нам не сделать сейчас, то скоро мы не в состоянии будем измерить и горечи нашей и возраста и оставленности, и самого нашего, наиближайшего. Это оттого, что в память нашу, как бы она ни была жива, вошло очень мало существенного в свое время, т. е. такого, что сложило событья и определило теперешнее время. Мне трудно например видеть в перспективе себя и свое, настолько же трудно, насколько легко это «сто лет назад» давалось моей непосредственности. И без нашего ведома, мы таким путем обращаемся в полную противоположность тому, что так любили в искусстве. Секреты дали и близости, расплывчатости и точности, предугаданности и внезапности, т. е. тот такт неповторимости, который отли-

чает жизнь и поэта от словесности, — все это начинает уплывать из рук, переставших вновь и вновь, по-живому, этими тайнами обращаться. Это оттого, что многое, бывшее нам природой, успело стать, не по-газетному, а поистине — *историей*. А ее нужно знать в глаза, и за глаза о ней знать столько, сколько надо для оценки ее головы, заглядывающей в комнату. Без этого мы становимся византийцами, мастерами мозаики, и наше дело уплощается до двухмерной орнаментальности. Мы рискуем быть отлученными от глубины, если, в каком-то отношении, не станем историографами. Марина, простите за эту беспорядочную болтовню, — в ней должно б быть порядку, но это требованье у меня теперь распространяется на все, что мне дорого и дышит, т. е. на то, вокруг чего есть воздух, что невымышленно существует, с чем я сношусь по разряду глубины. Скоро воздух, воздух жизни, мой и Ваш и нашего скончавшегося поэта, воздух крепкого и срывистого стихотворенья, воздух мыслимого и желающегося романа, станет для меня совершенно тождественным с историей. Мне все больше и больше кажется, что то, чем история занимается вплотную — есть наш горизонт, без которого у нас все будет плоскостью или переводной картинкой. Мне хочется, чтобы у атмосферы был возраст и сожаленье, чтобы лучи преломлялись средой, которая помнит, числит и ценит расстоянья. Даже огурцы должны расти на *таком* припеке, на припеке исторического часа. Понимаете ли Вы эту чушь?

Ну и вот, оттого-то я и не писал Вам. Нечего мне Вам в этом отношеньи показать, нечем поделиться, не о чем спросить и посоветоваться. Когда-то сделаются такие вещи! Сколько надо работать! И только набредешь, нащупаешь, как и где кладутся пирамиды, не с тем, чтобы самому их класть, а хоть бы чтобы не мешать и не быть смешным занятым их кладкой, глядишь — тут дыра, там прореха (это в житейских обстоятельствах), и сломя голову надо бежать их заделывать какой-нибудь дешевой чепухой, отвратительной, давно тобой самим осужденной поделкой. Вот когда и отчего я и прихожу в отчаянье, только в таком смысле я и жалуюсь на нашу участь. Работать не терпится, без работы душе нашей конец, полное выбытье, беззубость, а работать не дает именно то время, которое с угрозою взывает к ней. Это не письмо, а позор, я его поскорее поспешу смыть. Пока простите.

Ваш Б.[*]

---

[*] Нет, действительно, не отвечайте, пока не пришлю поприличнее. (*Прим. Б. Пастернака.*)

Сейчас я на рассвете приехал в город. В проходе трамвайного вагона недалеко от меня стояла женщина. Она могла бы быть Вами. Никакого сходства, но что-то в чертах открытого, хорошего лица и в глазах от Аси и может быть от Вас. Я глядел на нее и радовался пасмурному утру и московским домам в лесах и знаках малярных работ, и непререкаемости закона, по которому подмосковные дачи в серые осенние утра выбрасывают на первые поезда такую кучу народа, и тому, что Вы тоже как все, и спешите с нами на службу. И разумеется, лишь только я это лицо заметил и, распорядясь воображеньем, объявил Вашим, как сразу же улыбнулся глупости, никчемности и многословию письма, написанного накануне, перед городом. И если бы это чувство было хоть чуточку слабее, я бы поколебался, посылать ли его Вам. Но оно такое верное, старинное, издалека укрепленное, что ему вообще никакого дела до писем нет.

«Молодца» я не получил и книжек жду с нетерпеньем.

Впервые: Цветаева. Пастернак. Письма 1922–1936. — Автограф (РГАЛИ, ф. 1991, оп. 3, ед. хр. 157).

[1] Ни в черновых набросках писем Цветаевой, ни в копиях, сделанных А. Крученых, известия о смерти Рильке нет; понять, откуда взялся этот ложный слух не удалось. Пастернак запрашивал об этом сестру: «Жоничка, золото, писала мне Цветаева, что Рильке скончался, но только вскользь и так, точно это всем известно. Когда это случилось, и что ты об этом знаешь? Не надо говорить, что́ я почувствовал, это прочитав. А я-то еще думал побывать у него когда-нибудь в Швейцарии, и жил этой мечтой» (3 авг. 1925; Переписка с родителями и сестрами. Кн. I. С. 59).

[2] Речь идет о намерении С. Я. Эфрона издать сб. прозы Пастернака по-чешски.

[3] С. П. *Либерман* — сотрудник издательства И. Ладыжникова в Берлине. Текст анкеты неизвестен.

263. О. Э. МАНДЕЛЬШТАМУ

16 августа 1925, Александровское

16/VIII. 25

Дорогой Осип Эмилиевич!

В свое время Вы, конечно, были правы, не отвечав мне ни на письма, ни на присылку прозы с моей глупой надписью[1]. Вышла Ваша[2], и не дело было дожидаться книжки от Вас, это было с моей стороны просто бестактно. Теперь забудьте все и будем снова друзьями.

«Шум времени» доставил мне редкое, давно не испытанное наслажденье. Полный звук этой книжки, нашедшей счастливое

выраженье для многих неуловимостей, и многих таких, что совершенно изгладились из памяти, так приковывал к себе, нес так уверенно и хорошо, что любо было читать и перечитывать ее, где бы и в какой обстановке это ни случилось. Я ее перечел только что, переехав на дачу, в лесу, то есть в условьях, действующих убийственно и разоблачающе на всякое искусство, не в последней степени совершенное. Отчего Вы не пишете большого романа? Вам он уже удался. Надо его только написать. Что мое мненье не одиноко и не оригинально, я знаю по собственному опыту, то есть так же, как я, судят о Вашей прозе и другие, между прочим Бобров. Ваш в этом отношении шире, и тем большим повтореньем слышанных похвал и благодарностей покажется Вам мой отзыв. Слыхал, что Вы в Луге. Как здоровье Надежды Яковлевны?[3]

Читали ли Вы «Города и годы»? Молодец Федин[4]. Не правда ли? Мне за лето ничем путным позаняться не пришлось. Дернула меня нелегкая за детские стихи взяться. Одно ничего, сошло, с другим случилась заминка[5], и поехало, неудача за неудачей. Я заметался вовсю, и один месяц у меня начисто впустую вышел, и весь в долг стал. Как-то среди этих метаний напал я на работу редакционную, бывшую для меня совершенной новостью. Вот заработок чистый и верный! Мне бы очень хотелось на зиму сделать редактуру основным и постоянным своим делом, не знаю, удастся ли[6]. Вы бы хоть раз-то написали мне, что Вы и как, какие у Вас виды и намеренья, что делали или собираетесь делать. У меня было много планов к весне. Помните, я Вам писал еще тогда, что по-старому стал чувствовать и что вера в дело вернулась[7]. И надо же было этой задержке с детскою вещью случиться и на целый месяц меня выгнать из дому с глупой и озадаченной рожей в редакции, где такая мина никогда к добру не ведет и припоминается потом как цепь унижений. Ощущений, среди которых заваривался и уже не на шутку варился роман, как не бывало. Печально. Прощайте. Да скажите же, наконец, прямо, почему не пишете и чем я против Вас оплошал?

Ваш Б. Пастернак

Впервые: Вестник РСХД, Париж–Нью-Йорк, 1972, № 104–105. — Автограф.

[1] Пастернак послал Мандельштаму свой сб. «Рассказы» (М., «Круг», 1925).

[2] Осип Мандельштам. «Шум времени». Л., «Время», 1925.

[3] У Н. Я. Мандельштам обнаружили туберкулез. Часть лета 1925 г. Мандельштамы провели в Луге.

[4] Конст. *Федин. «Города и годы»*. Л., ГИЗ, 1924.

[5] «Зверинец» не удалось издать в Ленинграде, он был напечатан в конце года в журн. «Огонек» (1925, № 52).

[6] Об этой работе ничего не известно, она была вскоре вытеснена напряженной работой над поэмой «Девятьсот пятый год».

[7] Письмо № 254.

264. Р. Н. ЛОМОНОСОВОЙ

17 августа 1925, Москва

Глубокоуважаемая Раиса Николаевна!

Крайне тронут Вашей отзывчивостью. Корней Иванович показал мне Ваше письмо[1]. Переводить на иностранные языки я бы и в крайности не взялся, хотя по-немецки говорю довольно свободно. По той же причине придется отказаться и от обзоров для Nation и New Republic[2]. Правда можно было бы эту работу с кем-нибудь разделить, но я никогда не буду уверен в качестве переводов.

Горячо благодарю Вас за желанье авансировать меня из Вашего запаса. Хотя это и недопустимо и я и слышать об этом не хочу, это нисколько не умаляет моей признательности за одну готовность.

Зато за вашу мысль перевести Epistola[3] я ухватился с радостью, написал К. И. и жду от него ответа и книги.

Не знаю, как Вас и благодарить. Всего хорошего. Не на Lietzenburger ли Str<asse> Ваше почтовое отделенье?[4] Или на углу Prager Pl<atz>? Я оба их как сейчас вижу.

Ваш Б. Пастернак

Впервые: «Минувшее», № 15. — Автограф (Russian Archive, Leeds University). Датируется по почтовому штемпелю. Р. Н. Ломоносова — жена известного инженера, бывшего заместителем министра путей сообщения, посланного в Берлин главой Российской железнодорожной миссии. Основала литературное бюро для налаживания связей между современной западной литературой и советской.

[1] Р. Н. Ломоносова весной 1925 г. познакомилась в Москве с К. И. Чуковским, который согласился стать консультантом организованного ею бюро. Чуковский рекомендовал ей в качестве переводчика Пастернака: «Я считаю его одним из самых выдающихся русских поэтов, и мне больно, что он так беспросветно нуждается» (22 июля 1925; «Минувшее», № 15. С. 195).

[2] Нью-йоркские журналы либерально-критического направления, в которых Ломоносова предполагала публиковать обзоры советских литературных журналов.

[3] «Epistola: In carcere et vinculis» (Письма. В тюрьме и оковах. — *лат.)* — немецкий перевод М. Мейерфельда посмертно опубликованных сочинений Оскара Уайльда «De profundis», 1905 («Из глубины воззвах») и «The Supressed Portion of "De profundis"», 1913 (Пропущенная часть книги «Из глубины воззвах» — *англ.*). Эту книгу Пастернак получил от Чуковского, но перевод сделан не был.

[4] На конверте писем Ломоносова указывала номер почтового ящика, жили они с мужем на Lizenburgerstrasse, 11.

265. С. П. ЛИБЕРМАНУ

19 августа 1925, Москва

19/VIII. 25

Глубокоуважаемый Семен Петрович!

Получил Ваше извещенье о выборе стихов[1]. Буду Вам очень признателен за присылку журнала. Если набежит что-нибудь гонорарное сейчас или в дальнейшем, Вы известите меня о его размере и препроводите его родным, находящимся в Берлине. Я тогда попрошу сестру или кого-нибудь из своих купить на месте, что нужно будет. Сумма ведь, наверное, будет невелика, а до перевода прозы и совсем ничтожная. Простите, что не ответил вовремя на Ваше милое и обстоятельное письмо, и не сердитесь на промедленье. Адрес родителей. Bayreutherstr. 17 bei Dr. v. Niederhöffer. Prof. L. Pasternak. Да, кстати. Не перешлете ли Вы им рукописи Спекторского? Я уже старшей сестре в Швейцарию писал, что она может получить ее у Вас[2], а ей прочитать может быть будет любопытно.

Крепко жму Вашу руку.

Ваш Б. Пастернак

Если Вы встречаетесь с Groeger'ом[3], и будет к тому повод, скажите ему, что я его люблю и считаю себя свиньей перед ним, но что двухлетний срок моего молчанья так велик, и в смысле вины — тяжел, что и прерывать-то его как-то неловко. Если знаете что-нибудь о нем, сообщите. Издает ли он оригинальные (свои) книги?

Впервые. — Автограф (собр. А. С. Либермана, Париж).

[1] В издательстве И. Ладыжникова С. Либерман составлял сб. стих. Пастернака по-немецки.

[2] Из письма 3 авг. 1925 Жозефине Пастернак: «Если ты еще в Германии, а в особенности если в Берлине, и тебе интересно, что я начал писать (увы пришлось пока бросить), то начало этого романа в стихах (покамест

называется «Спекторский») ты можешь получить у Семена Петровича Либермана по следующему адресу: Rankestr. 33, I.Ladyschnikov-Verlag (тел. Steinplats 7960; 7927). Позвони, чтобы зря не ходить, вызови его, скажись моей сестрой и попроси иметь на руках рукопись, когда придешь. Она ему не нужна, они собираются, кажется, мелкие стихотворенья переводить» (Письма к родителям и сестрам». Кн. I. С. 58–59).

[3] Вольфганг Е. Грёгер, немецкий поэт и переводчик, послал несколько своих переводов Пастернаку; в его бумагах сохранились переводы на немецкий двух стих. из книги «Сестра моя жизнь»: «Из суеверья» и «Давай ронять слова...».

266. Р. Н. ЛОМОНОСОВОЙ

16 сентября 1925, Москва

16/IX / 25

Глубокоуважаемая Раиса Николаевна!

Я у Вас не прошу извиненья, потому что мне его нет. Я хотел, мог и должен был ответить Вам в день привоза этих денег женою из города в деревню, но у меня не было там Вашего адреса (номера почтового сейфа)[1], и оттого что я этого не сделал, когда нужно было и хотелось, — а я только спустя неделю попал в город, чувство стало намереньем, то есть со свежего горячего следа сошло на ту трясину, которая по счастью кажется незнакома Вам, и является второю родиной людей, запускающих дела тем больше, чем они ближе и дороже им, а за ними и самую жизнь. Но мне хочется рассказать Вам, как все случилось. В тот Женин наезд в город за гонорарами, задолженными издательствами, у нее с ними ничего не сварилось. Вероятно Ваша курьерша пришла с Вашим письмом вечером[2], в ее отсутствие из дому, соседи по квартире положили пакет на стол в неосвещенном коридоре, и жалко, что не в чулок, а то бы это совсем было рождественским чудом (по-французски) на другое утро, когда, в намереньях начать новый дневной обход олицетворенной безнадежности, она натолкнулась на эту «почту» и, вскрыв конверт, нашла в нем радостное и прямое, как ей казалось, разрешенье от всех забот, потому что не знала ни истории этих билетов[3], ни их происхожденья, ни своих прав на них. Она побежала в банк, разменяла их, расплатилась за 4 месяца за квартиру, успела еще много другого и в то же утро поехала на дачу сообщить мне о своем успехе. Как ни отвратительны вообще, по бесполезности и анемии, всякие полаганья и предположенья, твердо знаю одно. Я был бы в это утро настолько же медленен и подавлен, насколько быстра и при-

поднята она. Я даже решусь сказать, что денег бы вероятно не взял, и не из щепетильности, как пишете Вы, а оттого, что у меня так много долгов, так много, что теперь, когда это распечатанное письмо примкнуло к ним и завершило их ряд, я боюсь думать о том, когда, т. е. как скоро я смогу их Вам возвратить. Вы мне очень помогли, как-то странно, в самую пору, как ничто никогда, и эту осень я только этим случаем и жив. До сих пор я говорил только об этой случайности, т. е. о том, как Ваше движенье вошло в мой обиход, и ни словом не поблагодарил Вас, но письмо не было бы письмом, если бы нуждалось сверх сказанного, еще в этой придаточной фразе.

А теперь о том деле, которое и вообще улыбнулось мне и улыбается тем больше, что в какой-то связи с ним и никак не иначе мне рисуется погашенье этого нового и непохожего на другие, долга.

Я когда-то читал по-английски, никогда не говорил, чудом, в котором много места занял словарь, перевел однажды Бен Джонс<он>ова Алхимика, и однако английского я совсем не знаю. Но у меня есть знакомые, даже и пишущие по-английски, и они охотно разделят со мною труд*.

Мне очень бы хотелось писать в Nation и New Republic, и если подачу статей можно открыть с января, я бы уже и сейчас к этому обязался. Можно ли отложить корреспондированье на такой срок, и таким образом, чтобы за это время дела не упустить? Можно ли переписываться с ними (по этому делу) по-немецки?

Об отсрочке я прошу вот по каким причинам. Хотя не во всех изданьях журнальный год начинается с января, в большинстве с осени, а в каких и летом, потребность в системе и полноте обозренья как-то толкает меня искать согласья с календарем. Но это конечно решительные пустяки. Настоящая причина та, что Ваша идея застает меня в самом разгаре работ, намеченных и начатых далеко не случайно[4]. Их нельзя оставить без ущерба даже и для самих статей. Если издательства такую отсрочку допустят, все обернется очень счастливо. Я рассчитываю сообщить статьям должную меру живости, интереса и некоторого... историзма, а с последним как раз того, чем я так сейчас поглощен. И опять я пишу обо всем этом без извинений и благодарностей, с первого раза вполне измерив Ваше участие во всех этих вещах, потому что, если

---

* Т. е. будут переводить статьи, написанные мною. (*Прим. Б. Пастернака.*)

бы я и стал искать слов для выраженья ну хоть бы моего удивленья, я бы их на этот раз не нашел. Крепко жму Вашу руку.

Ваш Б. Пастернак

Впервые: «Минувшее», № 15. — Автограф (Russian Archive, Leeds University).

[1] Ломоносова послала Пастернаку аванс за корреспондирование в английских газетах; вместо адреса она давала номер абонементского ящика берлинского почтового отделения.

[2] Приятельница Ломоносовой Елена Алексеевна Правдина, заместитель помощника наркома путей сообщения.

[3] Денежные чеки на сумму в 20 фунтов стерлингов.

[4] Имеется в виду начатая работа над поэмой «Девятьсот пятый год» и отложенным весною «Спекторским».

267. Ж. Л. ПАСТЕРНАК

Осень 1925, Москва

Дорогая Жоничка! Начало твоего письма меня очень опечалило. Главное ты ничего не говоришь, и невозможно догадаться о причине и источнике твоего настроенья. Я и не отвечаю на него. Шуру расспрашивать не о чем[1]. Он мне дорог как сильнейшее воплощенье нашей семьи, и главное, ее слабостей. Он находит существо вещей не там, где я, а может быть, вовсе его и не ищет. Переписываться о личной жизни и о душевных состояниях очень трудно. В твоем же случае это просто невозможно. Что же до меня, то, вероятно, я вполне счастлив, потому что даже и во сне перестал думать о своей участи и перестаю понимать, что это значит. Письмами личного свиданья не заменить. То, что ты не приехала зимой, не только большое лишенье для меня, но как факт, и часть твоего обихода. Если к этому отрывку быта прибавить мненье об этой затее, услышанное от Шуры, тоже косвенно позволяющее заключить об атмосфере, из которой он приехал, то все становится так загадочно и противоречиво, что я просто и не смею разбираться. Да и не для этого мы близки друг другу. Разговор бы между нами во всяком случае пошел мимо личностей и дома, и счастья и несчастья в их изоляции. Всякое время есть эпоха, и во всякую эпоху существованье домов и личностей в ней удивительно. Если бы мы и прямо не говорили на эту тему, то, наверное, гуляли бы на таком воздухе. Твои слова о Венеции замечательны. В книжке Рильке[2], при беглом осмотре меня поразило то, что находясь, как

казалось бы, под действием совершенно иных сил и условий, чем мы, русские, он стал хуже писать, что и мы. Это очень большая тема. Ты и представить себе не можешь, насколько в пору и кстати пришелся твой подарок. Из всего, что ты мне присылала, эта книжка всего интимнее и всего плодотворнее войдет в мою жизнь.

Горячее спасибо за все. Целую тебя и Федю.

Впервые: Письма к родителям и сестрам. — Автограф (Hoover Institution Archives, Stanford). Приписка Пастернака в конце письма жены. Датируется по содержанию.

[1] А. Л. Пастернак вернулся из Берлина в сентябре 1925 г.

[2] Книга Рильке «Сонеты к Орфею», присланная Жозефиной.

268. И. А. ГРУЗДЕВУ

1 декабря 1925, Москва

1/XII. 25

Не сердитесь на меня, дорогой Илья Александрович! Я болел и запустил работу, потом за нее взялся, оттого и не поблагодарил Вас вовремя за книжку и не отвечал на деловое письмо. Свиньей я стал во мнении друзей и близких, давно потеряв возможность отвечать на письма, и мне теперь уже никогда не обелиться. По-настоящему, совестно сознаться, я и Вашей книжки не читал, а только тыкался промеж страниц[1], и этого достаточно, чтобы живо пожалеть о дальности Рождества, на которое я отложил все, вплоть до разговоров с женою и сыном. Вы просто не поверите, как я занят. Приходится читать кучу материала и бóльшую часть совершенно зря, потому что макулатура, общие места и пустяки[2]. Хотя я пропускаю юбилейные сроки и всякий раз оказываюсь позади них, но при каждой новой части вновь и вновь пытаюсь попасть число в число с ними и теперь, например, бросил Потемкинскую эпопею на начальном эпизоде, надеясь продолжить позднее, ради вооруженного восстания в Москве, сроки которого уже на носу[3]. Не знаю, успею ли в полторы-две недели, что мне остаются. К работе еще не приступил, только-только справился с матерьялами. Вот видите, какая гонка. На всякий случай посылаю Вам, что написано дальше. Все это предназначено для Харьковских альманахов Издательства «Пролетарий». Отсылаемый кусок пойдет во II-м альманахе, а сейчас готовится только еще первый[4]. Если приемлемо положенье, какое получилось со «Спекторским» (с Кругом), то можно было бы взять для Ковша эпизод восстанья, начиная с

красной черты «Все сбиралось всхрапнуть», или же одну экспозицию, картину моря от слов «Лагеря. Рыбаки» до красной черты, но обязательно что-нибудь одно[5]. Вообще рукопись пестрит слабыми, смазанными местами, это где разъясненья, психология, исторически обязательные связки. Но я на это не смотрю. Если вещь примется и предложат издать книгой, пройду всю ее вновь и тогда видней будет, что выкидывать, чем дополнять. Пока скажу, что Лодзинское восстанье будет совсем заново переделано и в совершенно другой трактовке. Верно воспользуюсь авторским и личным «Мне четырнадцать лет», имеющимся у Вас, и этою же фразой открою воспоминанья рабочего, может быть бундовца, или вообще рабочего с-дека, который к 14-ти годам уже вполне человек и на баррикадах, а там в гимназии в снежки играют и Скрябин[6]. Есть у меня такая мысль. Я не жду ответа от Вас потому что Вы вправе на меня сердиться. Что же до Ковша, то это еще мое предположенье, для окончательного сговора потребуется еще подтвержденье от меня: а я тут в Пролетарии узнаю, как на это посмотрят. Может быть нельзя. Чем кончились Ваши тяжебные дела? А я слыхал, что Ленгиз кончился и Ковш, и все вообще кончилось. Крепко жму Вашу руку.

Ваш Б. Пастернак

Привет Тихонову и Федину от меня и жены.

Впервые: «Звезда», 1994, № 9. — Автограф (Архив Горького, ФГ 8. 8/2).

[1] И. Груздев. Максим Горький. Биографический очерк (по новым материалам). Пг., «Кубуч», 1925. Пастернак прочел книгу после праздников: «Очень увлекательно написано, при огромном множестве сведений и цитат, уложенных, однако, так умело, что все растворяется в вольности изложенья и никаких швов не видать» (24 янв. 1926; там же. С. 78).

[2] Поэма «Девятьсот пятый год» писалась к двадцатилетнему юбилею революции, в работе использовались исторические свидетельства и документы.

[3] Речь идет о главах «Морской мятеж» (о восстании на броненосце «Потемкин») и «Москва в декабре», посвященной декабрьскому восстанию.

[4] Через некоторое время Пастернак забрал материал из Второго альманаха «Пролетария».

[5] Пастернак посылает Груздеву первонач. редакцию главы «Морской мятеж», первая строфа «Лагеря. Рыбаки...» вскоре была исключена из текста.

[6] Глава получила название «Мужики и фабричные», в ней идет речь о восстании в Лодзи. Предлагаемый вариант глазами *бундовца* или *рабочего с-дека* не был сделан. *«Мне четырнадцать лет»* — начало главы «Детство».

269. Ф. К. ПАСТЕРНАКУ

Конец декабря 1925, Москва

Дорогой Федичка! Век целый я тебе не писал и от тебя ничего не имел. Вижу тебя вечно занятым и постоянно, несмотря на дела и в их разгаре — внимательным, ласковым и веселым. Есть у меня навязчивая мысль, не знаю, когда она у меня зародилась, что когда-нибудь занесут тебя дела сюда, и мы тебя у себя увидим, и в эту кажущуюся нелепость верит даже Пречистенка, улица, по которой ты последние годы чаще всего ходил, и воробьи на бульваре. Ты тогда непременно с Жоней приезжай и обязательно нас предупреди письмом об этом. Пишу и все более и более мне кажется это правдоподобным. С праздником тебя — хотя мы республика передовая, и не только нам эти слова не к лицу, но даже и я перестаю в них вкладывать какой бы то ни было смысл. А все-таки дни, конечно, неприсутственные, и елки зажжены повсюду. Я понемногу вылезаю из той бездны паденья, в которую скатывался в теченье всех этих лет, еще с той поры, когда наши тут на зиму мороженый турнепс заготовляли, и даже ты был большевиком, а я просто-напросто бабой. Что у тебя делается хорошего? Я захвачен работой о 905 годе и очень увлечен. Если столкнешься с Моней, кланяйся ему очень. Кондоленции по поводу смерти Лизы вырвались у меня сами собой, и я много перечувствовал за письмом к нему. И потом вдруг дядя Леон[1]. Бедный, бедный. Но писать теперь не хочется, впрочем я вздор говорю, напишу, конечно, а всего скорее Шура с Иной, у которых от Эльзы[2] большое письмо.

Обнимаю, целую. *Твой Боря*

Да! С Новым Годом тебя и Жонечку! Никаких чтобы перемен, и только все хорошее, что в истекшем в положительной степени, пускай будет в превосходной!

Впервые: Письма к родителям и сестрам. — Автограф (Hoover Institution Archives, Stanford).

[1] Жившие в Берлине Соломон (*Моня*) и *Лиза* — дети сестры Л. О. Пастернака Екатерины и *Леона* Якобсона, скончавшегося вскоре после смерти своей дочери Лизы, в замужестве Гозиасон. Письмо Б. Пастернака С. Л. Якобсону со словами сочувствия по поводу смерти сестры не сохранилось.

[2] *Эльза* — жена Соломона Якобсона, у которой останавливалась И. Н. Вильям в Берлине.

1926

270. М. И. ЦВЕТАЕВОЙ

4–5 января 1926, Москва

4/I / 26

Наверное эта капля переполнила чашу и незачем писать, меня ничто не извинит. Я годами заболеваю графофобией. Если это состоянье Вам неизвестно, я давно осужден и сейчас лью чернила впустую. Но у меня лежит третий месяц Асино письмо к Вам, и так как немыслимо было посылать его Вам без сопровожденья, то я попал в некрасивое положенье и перед нею. Однажды, когда, как это часто бывало, мне казалось, что я Вам напишу на другой день, я сделал уже просто черт знает что: я на ее тревожный запрос о письме соврал ей, что оно уже послано. Если даже и допустить житейский софизм о дозировке бессовестности, то и в таком случае мне нет извиненья. Я думал, что пробуду лгуном не больше суток, а эти сутки выросли в несколько недель. И вот я Вам пишу в самое неподходящее время. У меня мучительно болит зуб, я только что от врача, он мне не помог, зуб только пуще разболелся, я себе места не нахожу, самое лучшее перенестись к Вам в Прагу[1]. Но все это, все это пустяки. Есть две важные вещи, о которых будет разговор, и позвольте мне обратить их в порядок. Вы уже конечно узнали о смерти Есенина[2]. Этот ужас нас совершенно смял. Самоубийства не редкость на свете. В этом случае его подробности представились в таком приближенном и увеличенном виде, что каждый их точно за себя пережил, испытав, с предельным мученьем, как бы на своем собственном горле, людоедское изуверство петли и все, что ей предшествовало в номере, одинокую, сердцеразрывающую горечь, последнюю в жизни тоску решившегося[3].

Он прожил замечательно яркую жизнь. Биографически, в рамках личности — это крайнее воплощенье того в поэзии, чему нельзя

не поклоняться и чему остались верны Вы, а я нет. Последнее стихотворенье он написал кровью[4]. Его стихи неизмеримо ниже его мужества, порывистости, исключительности в буйстве и страсти. Вероятно я не умею их читать. Они мне, в особенности последние (т. е. не предсмертные, а те, что писались последние 2 года), говорят очень мало. Стихией музыки все это уже давно пережито. Я не помню, что́ именно я писал Вам летом о тягостности, связанной у меня с ним и его именем[5]. Между прочим и он, вероятно, страдал, среди многого, и от этой нелепости. Из нас сделали соперников в том смысле, что ему зачем-то тыкали мною, хотя не было ни раза, чтобы я не отклонял этой несуразицы. Я доходил до самоуничиженья в стараньи разрушить это сопоставленье, дикое, ненужное и обидное для обеих сторон. Там кусок горящей жизни, бездонная почвенность, популярность, признанность всеми редакциями и издательствами и пр., здесь — мирное прозябанье, готовое расписаться в своей посредственности, постоянная спорность, узкий круг, другие, несравнимые загадки и задачи, конфузящая обстановка отказов и двусмысленностей. И только раз, когда я вдруг из его же уст услышал все то обидное, что я сам наговаривал на себя в устраненье фальшивых видимостей из жизни, т. е. когда, точнее, я услыхал свои же слова, ему сказанные когда-то, и лишившиеся, в его употребленьи, всей большой правды, их наполнявшей, я тут же на месте, за это и *только* за это, дал ему пощечину[6]. Это было дано за плоскость и пустоту, сказавшиеся в той области, где естественно было ждать от большого человека глубины и задушевности. Он между прочим думал *кольнуть* меня тем, что Маяковский больше меня, это меня-то, который в постоянную радость себе вменяет это собственное признанье. Сейчас горько и немыслимо об этом говорить. Но я пересматриваю и вижу, что иначе я ни чувствовать, ни поступать тогда не мог и, вспоминая ту сцену, ненавижу и презираю ее виновника, как тогда.

Я не знаю, как у Вас там, но и происходило все это, и дни шли, и догорал и сгорел он, и Молодца Вашего я получил, и треплюсь и раскалываюсь, и письмо Вам пишу я в воздухе, в котором поэзии нет и который на нее не отзывается. Я к этому еще вернусь, если о себе в конце заговорю.

Ну тут извиняться, объяснять уже просто гадко. Можно без этого? Спасибо, спасибо, спасибо. Большая радость, большая честь, большая поддержка. Большое горе: если Вы еще о посвященьи не пожалели, то пожалеете[7]. Годы разведут нас в разные стороны, и я от Вас услышу свои же слова, серые, нехорошие, когда

их тебе о себе самом возвращают, как открытье. Так будет, потому что — скользнуло предчувствие. Потому еще, что я знаю смысл своих усилий, и знаю, что с собой делаю и куда веду, и знаю Вас и Вашу верность своему лицу, вспыхнувшему разом, в молодости, на все времена, и увиденному в стихе и в жизни, и пущенному на дно души, как переживанье облика, постоянного, на все времена[8].

Теперь о сказке[9]. Настоящая сказка, несмотря на то, что менее кондовая, уставная, чем Царь-Девица, более своя, более прихотливая. Но все отходы от торной сказочности утверждены, даже самые причудливые. Может быть расписываюсь в собственном невежестве, но кажется, будто есть такая, должна быть, несмотря на неожиданность мраморов в снегах и деревца и всего, в них творящегося. Драматично и больно, трогательно. Не хочется оглядывать в целом, поддаваясь чутью, что сказочное событье несет сторожевую, символическую службу. О целом, о единстве не думаешь, не сплывается, а катится, развертывается, роится. Написано очень широко, очень разгонисто, приходится говорить о партиях, мельчайшее деленье — совокупность нескольких строф. В этом отношеньи прекрасно строют и подгоняют изложенье, сразу указывая широту неделимых долей и быстроту их следованья, замечательные, лейтмотивные

..... У Маруси выше всех. .....

и

..... Проводи меня Маруся до ворот.

Дальше для краткости буду поскупей и вместо цитат просто привожу страницы. 17–18–19. Мастерски передано движенье на воздухе, и его совместность с душевным движеньем в один и в другой конец. 27–28. Выпытыванье. 31. Важная. Книжная. 38–40. Чудесно изложено заклятие. Как справились! И какая точность в экспозиции всего последующего, при всей сложности и прихотливости провозвещаемого. Барин и Мрамора́ (сказочная красочность). 62–63. *Очень хорошо.* Настоящая Ваша лирика. 70–71. Гости. 76; 79; 82; *очень хорошо.* 77–78. *Очень хорошо.* Повторенья (ритмические и тематические) из I-й части! На селе. Возглашенья, сплетающиеся с голосом собственной души Маруси. Конец. Все это так чудесно льется в своей однородной щедрости, что некоторые строчки, сами по себе невинные по языку и стилю, в этом потоке кажутся описками. Это «Все промахи чувств» (52), «Судит зрело» (65), «Что зуб то брешь» (80) — но и то написал я, и мне стыдно стало. Точно я Львовым-Рогачевским становлюсь[10].

Больше всего поразила широта письма. Три-четыре приведенных (и подчеркнутых) восхитительных места разбрызгиваются по всей ткани, задают ей тон, в нее незаметно переходят. *Кажется, что все так же хорошо написано, как эти лирические сгустки.* А это завидное свойство большой, со вкусом проведенной композиции, подчинить легкие части основным так, чтобы они казались их качественным продолженьем.

5 /I / 26

Вчера вечером я Вам писал, еще состоя в человеках. За ночь у меня сделался флюс, впервые в жизни. Теперь сижу кругом обмотанный ватой и фланелью, чувствую себя свиньей-копилкой и даже направленье мыслей какое-то поросячье под хреном. В таких духах совершенно не в состояньи обременять Вас своим присутствием. Воспользуюсь превращеньем и напишу родителям, которым не писал больше полугода. Может быть до спада опухоли успею также написать и Эренбургу. С Вами же поспешно прощаюсь, и Вы не глядите в мою сторону, если по московскому обычаю еще с час, расставаясь, протопчусь на пороге. До свиданья. Не смейте думать, что вот, мол, и этот дождевик лопнул и осыпал сушью. Это не так.

Когда я уверюсь, что рифмы и размер у меня окончательно ни к селу ни к городу, я стану третьестепенным историком. Пока же поправляю ужасные дела и еще ужаснейшую репутацию большой работой в стихах о 1905-м годе. Это не поэма, а стихотворная хроника. Пишется в календарной последовательности, в форме отдельных картин. Кое-что уже сделал, юбилейные сроки все пропустил, будет выходить в 1926-м году. Когда напишу о Шмидте, пошлю эту часть Вам. Я знаю, Вы им увлекались.

Откуда Вы взяли тогда о Рильке? Он, слава Богу, жив и здравствует. Я получил из Германии его «Sonette an Orpheus»*, книжку, написанную недавно, в 23-м году, после большого, затяжного перерыва. Меня она глубоко взволновала теми именно особенностями, в силу которых она поэтически невероятно для Рильке бледна[11]. Меня это близко тронуло, как простая, житейски понятная болезнь большого и дорогого духа. Прежде всего поразило, что с человеком, поставленным в совершенно другие, нежели мы, условья, делается то же самое, что и с нами. В этом сказалась общность эпохи и ее невымышленная, непреодоленная трудность. В этой книжке он (местами) ввязывается в разговор с духом вре-

* «Сонеты к Орфею» (*нем.*).

мени (машина, война, аэроплан и пр.), рассуждает, поучает, оправдывается. Тяжелые, дидактические эпизоды. Всегда, во все эпохи в искусстве сосуществуют взаимно обязанные друг другу: 1) хороший, преемственностью оправданный, до некоторой степени общий народу и времени стиль и 2) кто-нибудь один (или несколько человек, это безразлично), вновь и вновь, в который раз в истории, наперекор ее скольженью, восходящий к самому *началу* художественной стихии, к ее абсолютному роднику. Оригинальность по существу и есть тяготенье к первородному в искусстве. Если по отношенью к Рильке я не только его современников, но и лучшие немецкие традиции, вплоть до Гётевской, воспринимал как фон к его своеобразью, то надо сказать, что в этой книжке он заговаривает голосом фона. Поучительно и это обстоятельство. Этот шаг бессознателен. Но он доброволен. И все-таки книжка замечательная. Я ее без конца читаю. То, о чем я говорю, только оттенок, не более того.

На этом удручающем рассужденьи «о двух типах и пр.» я, забывшись, некстати заскрежетал зубами. Легко вообразите, что со мной сделалось. Прощаюсь с Вами с совершенно искаженным лицом, не хуже, т. е. хуже, гораздо хуже Вашего упыря[12]. Ответьте поскорее Асе и не слишком черните меня. За сказку не могу словами сказать, как благодарен. Я ее не стою, не стоил, не буду, не могу никогда стоить. Но это ничего. Нестоющее — принцип строенья материи, сыпучий, атомистический мир, в котором и я живу, вслед за Вами.

Ваш Б. П.

Впервые: Цветаева. Пастернак. Письма 1922–1936. — Автограф (РГАЛИ, ф. 1991, оп. 3, ед. хр. 158).

[1] Цветаева уехала из Вшенор (под Прагой) в Париж 31 октября 1925 г., но адреса Пастернаку не дала, письмо послано в Чехию и переадресовано в Париж.

[2] С. Есенин покончил с собой 28 декабря 1925 г.

[3] Ср. слова Пастернака, записанные Л. В. Горнунгом: «Есенин так недружески относился ко мне, что я не мог строить свое отношение к нему, основываясь на этом <...> И тем не менее смерть его поразила меня, чувствую какое-то оцепенение, будто у самого петля на шее» (Воспоминания. С. 72).

[4] Имеется в виду стих. «До свиданья, друг мой, до свиданья...», обращенное к молодому поэту Вольфу Эрлиху. Оно было опубликовано в статье Г. Устинова «Сергей Есенин и его смерть» («Красная газета», 29 дек. 1925).

[5] Пастернак писал Цветаевой в письме № 260 о распространенном мнении, по которому он делил «поэтическое первенство с Есениным».

[6] О сложности своих отношений с Есениным Пастернак упоминал в «Охранной грамоте» (не вошло в окончательный текст): «...Из современников один Маяковский знал, что я не измышляю, утверждая, что скорое признанье совершенно не нужно мне. Именно в этом пункте не верил мне Есенин. <...> И я не об антипатии, которую я принимал <...> но о том, что когда в беседе я говорил то, что думал, Есенин считал это с моей стороны кокетством. И вот только тот апломб, с которым он рассуждал всего увереннее, в те минуты, когда давал мне наиболее яркие доказательства своего незнанья, и взрывал меня».

[7] Цветаева посвятила свою поэму «Мóлодец» «*Борису Пастернаку* — „за игру за твою великую, / за утехи твои за нежные"...» (слова из былины о Садко) и надписала ему недавно вышедшую книгу: «Борису Пастернаку — Марина Цветаева. Прага, май 1925 г.». На обороте фронтисписа — автограф стих. «Русской ржи от меня поклон...», под которым примеч.: «Веймар, 1-го мая 1925 г.» — место и дата несостоявшегося свидания (РГАЛИ, ф. 1190).

[8] Предсказание полностью осуществилось во время их встречи в 1935 г. В письме Тихонову Цветаева буквально повторяла слова Пастернака о себе самом: «...Борис, лучший лирический поэт нашего времени, на моих глазах предавал Лирику, называя всего себя и все в себе болезнью» (6 июля 1935. М. Ц. Собр. соч. Т. 7. С. 552).

[9] Имеется в виду «Мóлодец», далее перечисляются эпизоды и сцены из поэмы.

[10] В. Л. *Львов-Рогачевский* — литературный критик.

[11] См. письмо № 267 к Ж. Л. Пастернак в ответ на присылку книги Рильке «Сонеты к Орфею», в котором Пастернак удивлялся, что Рильке, «находясь, как казалось бы, под действием совершенно иных сил и условий, чем мы, русские <...> стал хуже писать, что и мы».

[12] *Упырь* — главный герой поэмы Цветаевой «Мóлодец».

271. Ж. Л. ПАСТЕРНАК

Начало января 1926, Москва

Дорогая Жонечка! Спасибо за поздравленья, за подарки, за концерт зверей. Сейчас праздники. Морозы сменились оттепелью, на дворе гололедица, в городе тишина, все заперто, трамваи не ходят, на улицах одни пьяные и поздравители плетутся в гости и из гостей.

В доме тоже тишина, оттого, что чистые скатерти, полы натерты, и этот редкий порядок не располагает к суете и бессмысленным движеньям. Елка, орехи, пастила, жареный гусь, бестолковый вкусный ералаш, разные сорта водки и вина, ковры и портьеры. Мы, помнится, столбенели от елок, и великолепье сковывало нас в движеньях и что-то другое, связанное с мыслью о

родителях, печалило. Мальчик бегал вне себя вокруг огоньков и таща каждого за руку, кричал: смотри, смотри, вот жук, вот яблочко и пр. и пр.

Это было в сочельник. А вечером у нас собрались Бобровы, Петровские — очень немного народу, человек десять, Асеева жена не пустила, она второй год не выходит на улицу, у нее какая-то женская болезнь, а живут они в последнем, кажется 9-м этаже Училища Живописи на Мясницкой, где мастерские, помнишь этот дом? Лифт только на парадном, а к ним с черного хода. Это обстоятельство всех больных и стариков, живущих с той, Перловской стороны[1], обращает навеки в заключенных без прогулок.

Я воздерживаюсь от откликов по телефону, от приемов и хождений в гости, хотя я отдохнуть успел вполне в предпраздничную неделю, за беготней по редакциям и доставаньем денег. Я от этого отдыха был бы избавлен и проработал бы все время, если бы не сделал одной глупости непозволительной в наше время, ни вообще взрослому человеку в какие бы то ни было времена.

Мне в одном издательстве должны были выплатить 450 руб. и все откладывали. Наконец я пошел получать, оказалось, что они приготовили только полтораста и больше у них нет; и так как у меня со всех сторон эту работу просили и я отказывал, то я с шумом отклонил эти деньги и заявил, что рукопись отбираю и передаю другим[2]. Но тут же на улице, метавшейся в предпраздничных хлопотах от лавки к лавке, я понял, какую глупость я сделал. Взять-то у меня возьмут другие, но пока это оформишь, пока с Ленинградом спишешься и пр., времени пройдет немало, а тут праздники на носу. Нечего было фордыбачить, можно было с тремястами до нового года подождать, как те предлагали. Вот и пришлось по малым суммам второпях набирать, я и побегал несколько дней и ничуть не фигурально, безо всякой иронии отдохнул за этой ерундой. По счастью третье лицо помирило меня с издательством, и я все с них возьму в другое время, и праздничные траты покрыты тоже из сверхсметных поступлений. Так что даже лучше вышло, нет худа без добра. А горят деньги в эти дни. Больше ста рублей в трое суток как не бывало. Но что это за бухгалтерское вдохновенье у меня. В квартире, где живет Иринина семья, у соседей скарлатина и потому она праздники проводит без своих и хуже, чем ей думалось и хотелось. С нетерпеньем жду конца этого блаженства и — за работу, нам моргать и позевывать не подобает. Справедливы твои замечанья о 1905-м.

Высокий и героический период, радостно узнавать в нем корень настоящего.

Крепко тебя обнимаю. Прости, что пишу как бы на ходу. Новая привычка.

Впервые: Письма к родителям и сестрам. — Автограф (Hoover Institution Archives, Stanford).

[1] Здание Училища живописи, ваяния и зодчества, в котором жили Пастернаки до 1911 г., соседствовало с чайным магазином С. Перлова, называемым «Китайским домом».

[2] Речь идет о харьковском издательстве «Пролетарий», см. письмо И. А. Груздеву 25 янв. 1926: «Издательство "Пролетарий", куда я продал все уже написанное о 1905 г., в том числе и два отрывка, имеющиеся у Вас... — издательство это до невозможности задерживало со мной расплату и сделало просто невозможной дальнейшую работу над вещью. Я с ними ссорился, мирился и, наконец, на днях совершенно порвал всякие отношенья» («Звезда», 1994, № 9. С. 100).

272. Г. Ф. УСТИНОВУ

24 января 1926, Москва

Москва, Волхонка 14 кв. 9

24. I. 26

Глубокоуважаемый Георгий Феофанович!

Марина Цветаева обратилась ко мне со следующей просьбой. Она хочет писать поэму о Сергее Есенине (род реквиема, наверное, или лирической трагедии). Вот ее слова: «Напишите мне достоверности о смерти Есенина: час, день недели, число, название гостиницы, по возможности — номер. С вокзала — прямо в гостиницу? Подтвердите. По каким улицам с вокзала в гостиницу? (Вид и название.) Я Петербурга не знаю, мне нужно знать.

Еще: год рожденья, по возможности — число и месяц. Были наверное подробные некрологи. — Короткую биографию: главные этапы. Знала его в самом начале войны, с Клюевым. — Рязанской губернии? Или какой? Словом все, что знаете и не знаете.

Внутреннюю линию — всю знаю, каждый жест, — до последнего. И все возгласы, вслух и внутри. Все знаю, кроме достоверности. Поэма не должна быть в воздухе».

На днях я ей отправил вырезки из газет, в которых она найдет ответ на бóльшую часть поставленных вопросов. Сообщу, что знаю и я. Но из этих вопросов я в состоянии ответить не на все без исключенья. Номера, расположенья гостиницы «Англетер» и про-

чее не знаю и я. Дело однако не в этом. Естественно желанье расширить матерьял и его углубить. Цветаеву я считаю поэтом первостепенным, она очень талантлива, она вложит в работу много души и силы.

Несмотря на мое желанье помочь ей в этом деле, я буду ей мало полезен. Мы были с Есениным далеки. Он меня не любил и этого не скрывал, Вы это знаете. Много важного и едва ли не важнейшее можете сообщить Вы и Ваша жена, свидетели последних его дней и его последние собеседники.

Несмотря на объясненья, дававшиеся печатно, и на догадки, таимые про себя, нельзя отделаться от впечатленья какой-то, все же, тайны, кроющейся за этой смертью. Быть может Вам одним известна и ее разгадка. Вы о нем писали. Вашей статьи я до сих пор не мог достать[1]. Может быть Вы ее, а также и другие Ленинградские статьи, что окажутся под рукой, приложите к тому, что найдете возможным и нужным сообщить Марине Ивановне. Простите, что отзываю Вас в конце к мелочам о номере, улице и прочем, ею затребованным. Тут чем мельче и точнее, тем драгоценнее. Если бы почему-либо Вы предпочли переслать все это непосредственно ей, то вот ее адрес: À Mme Marine Zvetajeva-Efron 8, Rue Rouvet, Paris, 19 arr. В таком случае меня известите только об отсылке. Кроме того, просьба. Никому не говорите о том, что с таким запросом обращался к Вам я. У меня на то свои причины, они сложны не по моей воле, я их не стыжусь, но распространяться о них было бы утомительно, да и не к чему[2]. Жму Вам руку.

Ваш Б. Пастернак

Я не знаю Вашего адреса. Пересылаю через И. А. Груздева[3].

Впервые: Irish Slavonic Studies. 12/13 Spring/Autumn 1989. Published by Rimgaila Salys. — Автограф (ИМЛИ, ф. 221, оп. 1, ед. хр. 52).

Журналист Георгий Феофанович Устинов и его жена Елизавета Алексеевна — близкие друзья С. Есенина и свидетели его последних дней.

[1] Воспоминания Г. Устинова «Сергей Есенин и его смерть» были опубликованы в «Красной газете» 29 дек. 1925 г.

[2] Об отношениях Пастернака и Есенина см. письмо № 270.

[3] Пастернак писал И. А. Груздеву 24 янв. 1926: «У меня к Вам просьба. Перешлите, пожалуйста, прилагаемое письмецо Г. Ф. Устинову, я его адреса не знаю. Если он и Вам неизвестен, не откажите, пожалуйста, справиться, Вам там видней, кто его может знать, а тут и не догадаешься, к кому с этим обратиться» («Звезда», 1994, № 9. С. 100).

273. М. И. ЦВЕТАЕВОЙ

1 февраля 1926, Москва

1/I. 26*

Спасибо за карточку и за письмо. Еще большее спасибо за порученье. Я верю в Вас и мне хорошо при мысли, что это напишете Вы и вложите в это свою душу и силу[1]. Мне хотелось сделать это сколь можно полно. Получив Ваше письмо, я тотчас же заказал ремингтонные копии с вырезок, какие можно было тут достать. Я написал Устинову**, последнему, с кем виделся Есенин накануне самоубийства. Ответа еще не получил. Быть может он прямо вам в Париж напишет. Тогда я буду об этом знать. Не тесните меня сроком. Я могу все это послать по почте. Но надо быть уверенным, что все это дойдет. Я бы предпочел оказию. Мне кажется, хорошо было бы зайти со всем этим матерьялом к Луначарскому или в Главлит (в цензуру), чтобы быть уверенным, что со всем этим не произойдет какого-нибудь глупого недоразуменья. Оказия будет через недели две.

Месяц назад я вам писал в Прагу. В конверт было вложено Асино письмо. Получили ли Вы его? Судя по некоторым вопросам Вашего парижского, оно не дошло до Вас[3].

Часть сведений, сообщаемых Вами и имеющих отношенье до меня, мне помочь не могут[4]. С матерьяльными трудностями справляюсь. Но время трудное, — безо всякого комментария, трудное для всех, для всякого, везде. На мгновенье обманываешься новою работой, новым усилием раздвинуть свои границы, переселить чутье, честь и правду куда-нибудь еще, с места, на котором застал их в детстве. И всякая такая попытка кончается отчаяньем. Нарочно посылаю пробы. Это из большой работы о 905 годе. Интересно, что Вы скажете о стихах про вонючее мясо и пр.[5] Но что бы Вы ни сказали, я это болото великой, но болезненно близкой и внеперспективной прозы изойду из конца в конец, осушу, кончусь в нем. Начинаю с 905-го, приду к современности.

Правда, умоляю Вас, дорогой друг, напишите мне, резко и серьезно, что Вы думаете о вонючем мясе, разговорах и прочем. Дома (жена и брат) ужасаются, говорят гадость и где тут поэзия, вероятно, также думает и Маяковский. То, что нравится ему в цик-

---

* У Пастернака — описка.

** Кроме Устинова написано еще в Петербурге Лукницкому и Всев. Рождественскому[2]. (*Прим. Б. Пастернака.*)

ле, не нравится мне, — это Пресня, которой Вам не посылаю: романтизм, метафора, пустяки. А мне сейчас важно, как одолеть болото. Обязательно напишите. В письме в Прагу говорил о Молодце. Горжусь Вашим посвященьем, горжусь и как-то постоянно расстаюсь с ним. Молодец сейчас у Эвы. Если Пражского письма не видали, сообщите, напишу подробно, сейчас не хочу говорить, повторюсь, а вдруг Вам все же переслали. Три места там восхитительного лиризма, написано широко, швырком, разметисто[6].

Мне звонила Ася из «Узкого». Это санаторий Цекубу под Москвой. Она пробыла там месяц, скоро возвращается. Подробно расспрашивала про «Молодца», которого еще не читала (он от Эвы к ней перейдет). Говорит, отдохнула. Просила писчей бумаги ей послать. Пишет сказки, свои, знаете? Мне нравится род и складка ее фантазий, чутье живой формы. Вы понимаете? Но никуда ее писаний не пристроить, я и не берусь, да она об этом и не думает.

P. S. Только что пришел человек с матерьялами из Петербурга[7]. Среди них исчерпывающее письмо Лукницкого, со множеством важных подробностей. Думаю, это письмо будет стержнем испрашиваемых Вами достоверностей. Отнесли переремингтонить.

Узнал, что оказия будет между 10-м и 15-м февраля. Отложите работу на неделю. Жалко будет, если все это затеряют на почте.

Посылаю бандеролью «Кр<асную> Ниву» с автобиографией Есенина[8]. Это проба. Напишите, дошло ли.

Впервые: Цветаева. Пастернак. Письма 1922–1936. — Автограф (РГАЛИ, ф. 1190, оп. 3, ед. хр. 158).

[1] Поручение прислать материалы о Есенине для поэмы о Есенине, которую Цветаева задумала написать (По выпискам из писем, сделанных О. Сетницкой в 1941–1942 гг.; РГАЛИ, ф. 1334, оп. 1, ед. хр. 834).

[2] Павел Николаевич *Лукницкий* — собиратель документов о Н. Гумилеве, друг Ахматовой. Поэт Всеволод Александрович *Рождественский* — один из понятых при составлении акта о смерти Есенина.

[3] Письмо Цветаевой 4–5 янв. 1926, посланное в Прагу, пришло в Париж только 5 февр.

[4] По выпискам О. Сетницкой, Цветаева писала Пастернаку 18 янв. 1926 об отношении к нему в эмиграции: «Твоя слава растет. Тебе подражают решительно все пишущие. <...> Твой словарь, твои образы... <...> Появится книга — рвут на части <...>» (РГАЛИ, ф. 1334, оп. 1, ед. хр. 834).

[5] К письму приложены автографы двух глав из поэмы «Девятьсот пятый год»: «Детство» («Гапон») и «Морской мятеж» («Бунт на Потемкине») в ранних редакциях. *Стихи про вонючее мясо,* как о поводе к бунту, были впоследствии сняты: «А на деке роптали. Приблизившись к тухнувшей стерве, / И увидя, как кучится слизь извиваясь от корч, / Доктор бряк на-

обум: — Порчи нет никакой. Это черви. / Смыть и только, — и — кокам: — Да перцу поболее в борщ». В конце приложенной к письму главы «Бунт на Потемкине» даны авт. объяснения (вместе с текстом главы они были опубликованы в журн. «Версты», 1926, № 1): «Тендер — остров, около которого стоянкой стоял броненосец. Камбуз — судовая кухня. Спардек — одна из палуб, ближайшая к ней. Скатить палубу — команда к чистке судна, палубы моют содой. Вынесть щиты — разместить в море, на расстоянии выстрела от военного корабля мишени для учебной стрельбы. Кнехтами называются столбики, на которых наматываются канаты оснастки или причальные буксиры. Принесенным брезентом предполагали накрыть недовольных для беспорядочного расстрела».

[6] *Эва* — неустановленное лицо. См. в письме № 270 о посвящении «Мóлодца». Там же разбор поэмы.

[7] По просьбе Пастернака Л. В. Горнунг написал Лукницкому и 1 февр. получил от него пакет с материалами о Есенине. Вечером он отнес это Пастернаку. «Вместе читали присланные вырезки из газет и журналов, статьи Н. Тихонова, Б. Лавренева и письмо самого Лукницкого о последних днях Есенина» (Воспоминания. С. 72).

[8] В «Красной ниве» (1926, № 2) напечатана автобиография Есенина, написанная в 1923 г.

274. Ж. Л. ПАСТЕРНАК

6 февраля 1926, Москва

Дорогая Жоничка! Мне стыдно обращаться к тебе с просьбой, потому что сам я однажды писал папе о медиумизме и подыманьи карандашей. И вот я встаю со всеми этими взглядами в противоречье. Необязательность этой просьбы связана не с ее хлопотливостью, я думаю хлопот тут никаких не будет, а с тем, что книжка, о которой я тебя попрошу, вероятно, дорого стоит. Если это так, то тогда не надо. Называется книжка Sörgel. Dichtung und Dichter der Zeit*. Если книжка богата матерьялом и покажется тебе солидной, и вообще это возможно, пришли мне ее, пожалуйста, как это ты раньше делала. По тому, что я о ней слышал, она мне представляется удобным предметом для бескорыстной и корыстолюбивой эксплуатации, то есть для души, для обдумыванья, для сужденья о современной Германии, а вместе с тем для всяческих статей, переводов и т. д. Здесь одно время выходил журнал «Запад[1]», потом прекратился. Сейчас он и другой закрывшийся журнал «Восток» возобновляются в объединенном виде. Это то, чем в старину был

* Зёргель. Поэзия и поэты современности (*нем.*).

«Вестник Европы». Правда, тогда не надоедали сестрам, а сами книги выписывали. Что ни сезон, то мне кажется, что и я достигну этой нравственной и матерьяльной высоты, и пока все обманываюсь. Тебе же, если ты новых немцев не знаешь, я бы советовал достать «Menschenheits Dämmerung» Herausgegeben von Kurt Pinthus. Ernst Rowohlt Verlag Berlin*. Это хорошая антология, в ней много Бехера, Цеха, Гейма, фон Годдиса и Лихтенштейна. А впрочем, может быть, и лучшие появились, эта кажется вышла в 20-м году. Но ради Бога, чтоб не вышло недоразуменья: мне этого ничего не нужно, я говорю только о Sörgel'е, и то если стоит. Что же касается остального, то мне интересно твое мненье об этом движеньи немецкой поэзии, коммунистической, идеалистической, вытекающей из Рильке и Уитмена, верующей в исторические перспективы, близкой по духу к французским unanimiste'ам и пр.

Что ты поделываешь? Есть ли у тебя Анненский? Я спрашиваю оттого, что ведь были и есть еще в Париже какие-то издательства, которые что-то выпускали, и вот, может быть, у тебя он есть. Если нет, то мне бы хотелось его послать тебе. И это не во искупленье Sörgel'я, а просто так, хочется, чтобы он у тебя был. Лирики я, верно, больше писать не буду, нового своего ничего послать не смогу, а ближайшее (и лучшее, несравненное в этом роде) это, конечно, Анненский у нас, у вас — Рильке. Да, так это будет не за Зёргеля, а за Rilke. Sonette an Orpheus, которыми ты меня тогда так радостно подарила. К тому же я, верно, от них и иду.

Увлеченье работой (о 1905 г.) у меня спало. Я писал в одном размере, стало скучно и, по-моему, невозможно читать. Гораздо хуже Спекторского. Очень вообще безотрадно. В конце концов не на кого и работать. Факт классовой принадлежности, конечно, не выдумка, а неопровержимая истина, которую на себе чувствуешь, чем дальше, тем больше, и не извне, не по вине людей каких-нибудь, а внутренне. Черт знает где, в Париже вниманье на нас обращено больше, чем тут у себя, под боком. Когда проза вышла, там писали, теперь о Спекторском была статья в «Звене»[2], а тут строчки отдельные в рецензиях, и, главное, никому ничего не нужно.

Написала бы ты мне когда-нибудь. Что там кругом вас? Получили ли в Берлине карточку малыша, и если ты его видела, то как находишь? Была у меня мысль собрать Женю с мальчиком к вам, то есть к тебе на лето, и думал я об этом серьезно, настолько,

---

* «Сумерки человечества» Издал Курт Пинтус. Издательство Эрнст Ровольт, Берлин (*нем.*).

что даже Жене запретил писать, думал — пусть невзначай приедет (разрешенье я как-нибудь стал бы добывать стороной). Теперь так легко выдаю секрет, потому что убедился в его неосуществимости. Опять — разочарованья сезона.

Пока меня не примутся переиздавать, я буду всегда к месту со всеми ими прикован, к месту и к работе без горизонтов, к коротконосой, дальше своего носа ничего не видящей строке. Основные ресурсы писателя в переиздаваньи разошедшихся сочинений. Я и пытаться перестал и никакими надеждами себя не льщу. Постепенно в меня закрадывается мысль, что и действительно я никому не нужен, и эта мысль крепнет, абсолютно лишенная всякой болезненности, потому что она приходит трезво, рожденная чувством объективности. Субъективная же ее подкладка не столь приятна. Это сознание, что раз это так, или даже без всяких догадок — я и вообще-то говоря, вовсе ничем не взял, и это место в литературе очень случайно и призрачно.

По счастью, задумываться над этим нет времени, как нет его по-человечески переписываться с вами, как нет его вообще что-либо чувствовать и отдавать себе отчет в своих желаньях. Приложу все силы, чтобы следующее письмо было веселее.

Меня все-таки тянет в ту сторону (ближе не могу определить), где современность получает свое историческое осмысленье и отдает обещаньем или предвкушеньем *формы*. Это, конечно, где-то между революцией и социализмом[3]. Это положенье обязательное. Оно впитано уже мной и сидит прочно, механически, как забота о жене, доме и ребенке, которая меня, конечно, не покидает и тогда, когда мне кажется, что ее во мне нет. Этому сознанию исторической завязи эпохи, смутному даже и в моменты сосредоточенности и совершенно тускнеющему в жизни, на улице, среди людей, этому сознанию все-таки подчинены у меня все движенья, как бы отрывисты, разбросаны и полусонны они не были в отдельности. Вот чему сквозь толщу лени, безнадежности и проч. и пр. посвящены мои отдельные усилья. Это стремленье к тому, чтобы смутность темы рассеялась, чтобы расплывчатость чутья или тенденции насытилась формой, это и есть то, что заменяет мне теперь личную радость, личную боль, личную честь, личную жизнь. Это трудно объяснить. Но, вероятно, это схоластический призрак.

Что же, от смерти не уйти. А отчего именно кончается человек, может быть, и безразлично. Можно и от ложной иллюзии.

Целую тебя, Жоня. Кланяйся, пожалуйста, Феде. Хотел бы я на вас посмотреть. Напиши мне. Женя сейчас в школе[4], посылаю без нее.

Впервые: Письма к родителям и сестрам. — Автограф (Hoover Institution Archives, Stanford). Датируется по содержанию: в письме 7 февр. 1926 Пастернак писал сестре: «Спешу послать это письмо вдогонку за вчерашним» (там же. Кн. I. С. 68).

[1] «Современный Запад» прекратил свое существование в 1924 г., там Пастернак напечатал некоторые из своих переводов современной немецкой поэзии.

[2] Имеется в виду рецензия Д. П. Святополка-Мирского в «Современных записках» (№ 25, Париж, 1925) на книгу Пастернака «Рассказы» (М., 1925); в журнале «Звено» (№ 125, Париж, 1925) опубликована статья К. Мочульского «Проза Бориса Пастернака».

[3] Мечта об «идеальном социализме» и социалистическом искусстве появляется в нескольких письмах этого времени. См. об этом в письме № 277: «Наше время <...> глава истории русского общества, непосредственно следующая за главами о декабристах, народовольцах и 905-м годе».

[4] Е. В. Пастернак возобновила занятия во ВХУТЕМАСе.

275. И. А. ГРУЗДЕВУ

7 февраля 1926, Москва

Милый Илья Александрович!

Нахожусь в ужасном унынии по двум причинам. «Бауман» и «Пресня» никуда не годятся.

Посылаю же их оттого, что очень деньги нужны. Прочтите обе рукописи, как они ни скучны, и найдите, пожалуйста, выход из круга. В этом всецело полагаюсь на Вас, на Ваш вкус, на Ваше расположенье. 50 строчек из «Баумана» месяц тому назад взяла «Наша Газета», но еще их не напечатала, и не знаю, думает ли печатать. Газета малораспространенная, строчки были надерганы из разных мест отрывка, словом, Ковшу это не помеха. «Пресни» никуда не предлагал. В попытке сжать ее для Вас я было вычеркнул всю 5-ю страницу и одну треть шестой (со слов «Но всего бесприютней» до слов «Отдает свою сеть без суда»)[1]. Однако кроите ее и сокращайте как Вам заблагорассудится, если найдете стоющим. Независимо от этих деловых гаданий признаюсь вот в чем. В стремлении научиться объективному тону и стать актуальнее я в этих отрывках зашел в такой тупик, что с меня этой тоски на всю жизнь хватит. Хочется верить, что я в нем не останусь. Надо повернуть назад к лирической метафоре, сжатости и пр. Все силы положу на то, чтобы «1905 г.» оказался поворотным пунктом. Для книжки напишу другую Пресню, в другой трактовке и размере[2]. Вообще нетронутыми останутся только «Гапон» и «Потемкин».

Честное слово, я еще напишу когда-нибудь что-нибудь стоющее. Вот увидите. А об эту стену надо было стукнуться.

Жму Вашу руку. *Ваш Б. Пастернак*

7/II. 26.

Впервые: «Звезда», 1994, № 9. — Автограф (Архив М. Горького, ФГ 8. 8/5).

[1] В оконч. тексте глава наз. «Москва в декабре». Отмеченные цитатами строфы частично были сокращены уже в первой публикации главы и остались неизвестны (строки «Но всего бесприютней...» в тексте нет). «Отдает свою сеть без суда» — последняя строка 9-й строфы оконч. текста. Первая редакция главы была опубликована в «Огоньке» (1926, № 29).

[2] Для книжного издания («Девятьсот пятый год», М., 1927) Пастернак переписал главу заново, но стихотворный размер оставил прежним.

276. Е. Д. ЗОЗУЛЕ

Февраль 1926, Москва

Милый Ефим Давыдович!

Пробегите на глаз и подумайте. Если хотите, сократите. Была у меня мысль выбросить всю 5-ю страницу и первую строфу 6-й. Но я на этом не стою. Быть может Вам придут в голову другие комбинации. Судите совершенно свободно. Я об отрывке двойственного мненья, а может быть и плохого. Но и это пускай не влияет на Вас[1].

Зачем Вы говорите со мной «иронически-почтительно». Я ни личными своими качествами, ни моим отношеньем к Вам такого тона не заслужил. Никогда я никак не заносился, «поэтом» не держался, очень прост, прозаичен, несчастен и скучен. Если я Вам однажды откровенно высказал мое недоуменье по случаю с Люверс[2], то я ведь не предполагал, что это отразится на Вашем словаре и на Вашем отношении ко мне. Так ведь разговаривают с чудаками, невесть что воображающими о себе, а ни в судьбе, ни в характере у себя я не нахожу данных для такого представленья.

Свое же удивленье я высказывал тем легче, что оно и по сей день ничего не утеряло в своей свежести и силе. Вернемся же к былой простоте.

Жму Вашу руку.

Ваш Б. Пастернак

Впервые. — Автограф (РГАЛИ, ф. 216, оп. 2, ед. хр. 9). Датируется по содержанию.

Е. Д. Зозуля — писатель-сатирик, один из организаторов журн. «Огонек». Сохранилась записка Пастернака к Зозуле 30 авг. 1925: «Дорогой Ефим Давыдович! Не забудьте о наших летних разговорах. Смысл их таков, что я надежды на осень не оставил. Я только хотел Вам сообщить, что обстоятельства у меня к лучшему не изменились. Мне не хочется Вам надоедать, и если можно будет, я до середины сентября Вас беспокоить не буду. Если же и до этого времени библиотечка начнет пополняться, не пропустите, пожалуйста, меня, если только этому не встретится новых или мне неизвестных препятствий. Дружески жму Вашу руку. Всего хорошего. *Ваш Б. Пастернак*» (там же). О каком именно материале идет речь, не ясно.

[1] Имеется в виду публикация в журн. «Огонек» главы из поэмы «Девятьсот пятый год» — «Пресня» (в оконч. тексте: «Москва в декабре»). Напечатана в № 29, 1926 г.

[2] Возможно, речь идет о переиздании «Детства Люверс» и сомнениях по этому поводу в издательстве. См. письмо № 315 о разговоре с директором Госиздата О. М. Бескиным: «Отвод Люверс старый и по-старому возмутительный: дескать для избранных 3-х— 4-х тысяч, а не для 15-ти».

277. М. И. ЦВЕТАЕВОЙ

23–24 февраля 1926, Москва

23/II. 26

Получили ли Вы уже статьи о Есенине? Если нет, то на днях получите. Они будут Вам доставлены на дом.

Обращенье в гостинице. Ни в коем случае не барин. Вероятнее всего гражданин. Это трактирное, ходовое, как в старину с-ер[1]. В его же случае могло быть более прямое и теплое (если знали) товарищ Есенин или же просто по имени отчеству. Вероятнее всего товарищ Есенин, характеристичнее всего (для полового) — гражданин.

Гостиница «Англетер» на Вознесенском проспекте, близ Исакиевской площади, из окна номера вид на нее. Возьмите план и описанье Петербурга, думаю, можно найти. Путь от вокзала гадателен. Как Вы его ни восстановите по плану, он будет правдоподобен. К характеристике места. Область, в которой разыгрывается Преступленье и наказанье, сколько помню главным образом в Свидригайловской части[2]. Недалеко отсюда Сенная, притоны, короткие бредовые прогулки Раскольникова. Последнее время Есенин, встречаясь с людьми, отрывисто представлялся: Свидригайлов. Так поздоровался он раз с Асеевым. Слыхал и от других.

Шуба и меховая шапка. В сведеньях, сообщенных Лукницким, имелось указанье, что на ночь, оставшись один, потребовал в номер пива и наутро, когда взломали дверь, обнаружили три пу-

стые бутылки. Под этими словами была сноска. Лукницкий просил этой подробности не распространять. Прочтя это замечанье, я тотчас же вычеркнул все о пиве в рукописи Л<укницкого>. И потому в ремингтонной копии, отправленной Вам, Вы ничего этого не найдете. Я бы и Вам (следуя его просьбе) этого не сказал, когда бы не настойчивость Вашего вопроса с указанием на важность этого пункта для Вас. Прямого выраженья этой детали Вы давать не вправе, тут я к просьбе Л. присоединяюсь. Кстати, описанье, данное Л., наиболее полное и ценное из всего Вам посланного. Вы этот матерьял узнаете по заголовку. Точно его теперь не помню, но в нем названы: Устинов, Фроман, Шкапская, Эрлих и другие лица, которых Л. опрашивал[3]. Сам Л. — приятель Ахматовой, лично его не знаю, может быть знаете Вы. Отзывчивый и обязательный человек.

На днях узнал версию, кажущуюся мне вздорной и неправдоподобной. Надо будет переспросить Казина, на которого ссылался рассказывавший. Будто бы Е<сенин> перед отъездом говорил К<азину>: «Вот увидишь, как обо мне запишут». С этим хотят поставить в связь домысел о том, будто бы Е. хотел устроить *покушенье на* самоубийство, в чем, между прочим, ищут объясненье факта, что кисть правой руки была у него на горле и защемлена петлей. Так как я не думаю, чтобы к этой версии Вы отнеслись иначе, чем я, то я ничего и не делал для установленья ее источников и уточненья ее самой. Положенье же кисти в этом случае прибавляет лишнюю жутко-волевую черту ко всему облику катастрофы.

Ах Марина, Марина! Что бы я ни сказал Вам теперь, все это будет не лучше моих прошлых ответов, вызвавших наконец этот взрыв, которого я так давно ждал и боялся. Ваш отпор не только справедлив, но даже сильно смягчен и ослаблен, Вы щадили меня, нанося этот удар.

С чего начать, что сказать Вам? Я теряюсь от множества вещей, которые должны быть поняты и названы тут и тотчас же. Я теряюсь от радости, овладевающей мною, лишь только я с Вами заговариваю по-прежнему, хотя и теперешним только голосом, хотя и в ответ только на Ваш. Вы говорите мне, что я Вас потерял[4], а я радуюсь, потому что, едва попытавшись что-то сказать Вам про боль, причиненную Вами, я уже слышу удесятеренный отзвук моих слов, мыслимый только в обращеньи к Вам: это мое представление о Вас отзывается на них физически, как гулкость воли, — представленье о большой образцовой душе, которая не может не быть

большим умом, знающим все и любящим свое знанье. Я буду писать это письмо долго. Я буду его прерывать: я боюсь подпасть инерции чувства, разбегу мысли. А тут надо писать с натуры. Речь идет о существующем, неотменимом. Я Вас не потерял, я Вас потерять не могу. Было большой смелостью посылать Вам мои вахлацкие, безличные, ничего не значащие письма ради полученья Ваших, стоять перед Вами дуралей дуралеем, принимая Ваше «ты» и наполняя воздух нестерпимой глупостью своего обращенья. Неужели Вы думаете, что я не понимал, как может все это смотреть со стороны и чем должно тогда показаться?

О нет, я видел Двенадцатую ночь и Чехова в роли Мальвольо, я читал Горе от ума и помню Молчалина[5]. Но не думая о разительности такого возможного сходства, я нес по видимости равнодушный вздор, звал Вас на вы и как захлороформированный, давал времени делать со мной все, что ему заблагорассудится, без всякой заботы на этот счет, владея навсегда и неотъемлемо образом, говорящим мне из верст и Ваших юношеских книг. И опять этот тон: «образ», «говорящий из книг»! но вы на выраженьях не задерживайтесь.

Многое я успел давно сказать Вам, остальное подсказало Вам чутье. Вы не могли не оценить с самого начала *природы* нашей связи. Вы о ней говорили и писали, я молчал. Я так свободно, без краски, без примеси неловкости этого касаюсь, потому что это не Мальвольо и не Молчалин, потому что я знаю, о чем говорю. Потому что это не человеческий роман, а толчки и соприкосновенья двух знаний, очутившихся вдвоем силой этого содрогающего родства. Теперь я не уверен, знаете ли вы, о чем я говорю? Вот пример. Целую вечность я не слышал музыки. Сегодня случайно попал на симфонический концерт, посвященный Скрябину. Вы знаете, чем он был для меня. Я слушал не настраиваясь, без аффекта преданности, с той неряшливостью, которая бросилась Вам в глаза в письмах, спокойный насчет однажды измеренной глубины, память которой при мне, без зависимости от воспоминанья. Может быть я много потерял при таком слушаньи против той поры, когда жизнь воспринимал как лирическое стоянье на часах. Исполнялись вещи знакомые, когда-то заставлявшие меня сумасшествовать. Теперь многое прошло мимо ушей, многое показалось пустым и растянутым. Только было я стал думать о том, как нравственно беднеет человек, претерпевающий перемены, подобные происшедшей в последние годы со мной, как Бекман-Щербина[6] заиграла h-moll-ную (кажется) фантазию. И вот было место в этом

удивительном сочинении, где сменявшие друг друга, теснившиеся и наслаивавшиеся нарастанья, неся на себе все большее и большее аккордовое бремя, вдруг, на ужасной гармонической высоте смягчились, расплылись, задержались и, словно смерявши до самого дна достигнутую высоту, и как бы оглянувшись назад, на мелодию, как оглядываются на прошлое, внезапно, покорившись влеченью накопленных звуков, оторвались и пошли расти дальше.

Это было неожиданное разрешение доли несоразмерно бóльшего напряженья, допущенное вскользь, наперекор теченью, и тут же оттертое в невыносимую, только искусству ведомую давность. Тут было то, что я люблю. Тут была частность, изобличающая род. Тут был прием, каких в музыке тысячи, но именно тот из них, в котором для меня все ее существо. Явленье это протекло во всей его неповрежденной целостности: то есть слезы у меня хлынули *именно те*, которые эта гармоническая непредвиденность видела когда-то на человеческом лице, и с часа своего зарожденья навсегда в свое звуковое сверканье включила. Тут были Вы. Тут было мое отношенье к Вам, которое Вас не удовлетворяет и оставляет в недоумении. Тут было одно из начал таланта и то опять-таки, которое мне кажется всеобъемлющим и предельным. То, которое, выгоняя в высоту индивидуальность и тем неся ее прочь от человека, делает это во имя перспективы, для того, чтобы озираться на него, стоящего позади, в кругозоре, все более и более насыщающемся соками времени, смысла и жалости.

Одна поправка к сказанному необходима. В параллель с приведенным я ставил только Вас. Я говорил об этой искре в Вас одной. Я о себе не сказал тут ни слова. Себя я не знаю и не вижу. Содроганье родства, сказал я. Это я чувствую в том человеческом плане, где это чувство полагаю обязательным для всех и дарованным каждому. Если Вы его во всех вызывали, и в этой форме, я рад быть в их обществе, и согласен с Вами, что и я оказался как все. Вот Вам. Больше я ничего не прибавлю. Ничто на свете не заставит меня говорить не к месту и не ко времени. Потому что и время и место живые вещи, живые части нашей судьбы. «Здесь» и «теперь» не пустоты. Они живут и меняются. Я не хочу их умалять и обесценивать предугадываньем. Они больше и старше меня. Сейчас Вы и я живем порознь, живем с ними по трое. А Вы хотите меня слышать так, точно мы собрались вчетвером. Не от одной воли это зависит, в особенности сейчас, когда они во сто раз сильнее и одухотвореннее нас хотя бы одной своей неизвестностью и новизной, тем, что мы их лица толком не разглядели и не полю-

били, тем, что они разные у Вас и у меня там и тут. Эта противоестественность порождена нашей посредственностью и ленью. Когда мы ее победим, они сольются, мы очутимся опять на родине, мы с ними породнимся.

Этим я живу, на это направлены мои усилья. Как-то я говорил Вам об историзме. Но тут не говорить надо, а дело делать. Об этом напишу Вам как-нибудь в другой раз. Несколько положений стали для меня руководящими. Наше время не вспышка стихии, не скифская сказка, не точка приложенья красной мифологии. Это глава истории русского общества, и прекрасная глава, непосредственно следующая за главами о декабристах, народовольцах и 905-м годе. Когда она осядет и просветлится в стиле, когда она оставит потомству свой собственный, она окажется выше и серьезнее нынешних стилизационных штампов. Кроме того, глава эта в мировой истории будет называться *Социализмом* безо всяких кавычек, и опять-таки, в этом значении звена более обширного ряда, окажется богатой непредвосхитимым нравственным содержаньем, формировка которого однако прямо зависит от каждой отдельной попытки его предугадать[7]. Вот по чем голодает, пока еще совсем у меня беззубый, глаз. И опять-таки, в этой тоске по форме, которой наше время немилосердно лишено, есть, как и в мыслях о Вас и о Скрябине, постоянный у меня, частный и волнующий пункт. Это именно пункт совпаденья русской истории с мировой. Этим еще ничего не сказано, для эпигона Достоевского уже этого было бы достаточно, но схема ведет только запись в долговой книге. Это надо увидеть и показать. Это должно быть чем-то подобным какому-то полуобороту земного шара, в котором он виден *не* весь и тогда только *весь* реален, или чем-то подобным улыбке на человеческом лице. Но о чем я пишу Вам! Вам ведь интересно совсем не это. Карточки Вашей я не отдам, как и вообще ничего. Спокойной ночи, я страшно с Вами заболтался. Не перепечатывайте меня[8]. За гонорар спасибо. Здесь легче живется, чем у Вас. Никакого гонорара не надо. Свинство, что мы Вам ничего не шлем.

24 — II. 26.

P. S. Как нехорошо Вы меня успокаиваете насчет души и Нью-Йорка, Есенина и Маяковского. Помните? Эти сентенции запрошены не мной, они идут мимо, к какому-то воображаемому истукану, каким никогда не был и не буду. Он должен быть затаенно-тщеславным, скрепя сердце и изнемогая от его лицемерья, его из жалости кормят карамелью. Неужели таким я стал представляться Вам. Тогда некстати распутывал я перед вами путаницу моих

отношений с Е<сениным>, не мной созданную, всесторонне оскорбительную, лежащую ниже того мира, в котором когда-то жил и когда-нибудь еще поживу.

Вы спрашиваете, что из сообщенного Вами не может помочь мне. Помните? Ну вот. Вы угадали. Да, конечно, именно та любовь (литературной молодежи), о которой Вы пишете[9]. Во-первых, это чепуха, т. е. либо ее не существует вне Вашего доброжелательства, либо же, если она есть, то у нее *не может быть* должного наполненья. Потому что эта симпатия разнесена по двум разным мирам, неполным и в своей неполноте неблагополучным. Это опять об истории.

Тем же сознаньем объясняется «тревога», с какой я ждал Ваших слов об отрывках 1905. Меня интересовала возможность жанра, в котором я не уверен. Сохраняю ли я то, чем хороши поэты, в ломке, производимой над собой, над одним из них, или достигаю обратной цели. Т. е. этот интерес шире и серьезнее предположенного Вами (и показанного незаслуженно карикатурно).

В заключенье простите за нескладность и длинноту письма. Я боюсь таких писем. Все равно никогда не высказать того, что за ними подымается. Слог же это недопустимый, его следует бегать. В основе таких поползновений всегда десяток противоречивых порывов. Письмо разгорячается, точно оно способно заклясть получателя и его вызвать и поставить перед тобой. Письмо вдается в лирику, точно оно это явленье переживает. В то же время, лишенное чудесного сопротивленья действительности, оно философствует и его философствованью нет границы, которую ставит живая встреча. Напишите мне. *Ваш Б.*

Впервые: Цветаева. Пастернак. Письма 1922–1936. — Автограф (РГАЛИ, ф. 1190, оп. 3, ед. хр. 158).

[1] Ответ на вопрос Цветаевой, как может обращаться половой в гостинице к Есенину. *...трактирное, ходовое, как в старину с-ер.* — «Словоерс» — вежливое прибавление к слову *-съ* (сокращенное *сударь*). Далее — описание гостиницы «Англетер», где покончил с собой Есенин. См. вопросы, заданные Цветаевой, в письме № 272.

[2] Параллели с Петербургом Достоевского в «Преступлении и наказании» и самоубийством Свидригайлова.

[3] При составлении акта о смерти Есенина давали свои подписи Вс. Рождественский, М. *Фроман*, В. *Эрлих* и П. Медведев.

[4] Об этом несохранившемся письме Пастернак вспоминал 5 янв. 1929: «...Моему “ты” с тобою предшествовало твое предложенье разорвать отношенья, которые ты признавала обидным и недостойным заблужденьем с твоей стороны».

[5] Пастернак сопоставляет свою роль в переписке с Цветаевой с влюбленным дураком *Мальволио* в исполнении М. А. Чехова в пьесе Шекспира «Двенадцатая ночь» или *Молчалиным* в «Горе от ума» Грибоедова.

[6] Елена Александровна *Бекман-Щербина* — ученица Скрябина и одна из первых исполнительниц его произведений.

[7] Пастернак мечтает об осуществлении идей «нравственного» или «идеального социализма», теорией которого занимался Герман Коген, обруганный за это Лениным в «Материализме и эмпириокритицизме», как идеалист и реакционер. См. также письмо № 274.

[8] Речь идет о перепечатке в «Верстах» главы «Потемкин» («Морской мятеж»), опубликованной ранее в «Новом мире», 1926, № 2.

[9] В ответ на слова Цветаевой о популярности Пастернака в среде молодых поэтов Пастернак писал: «Часть сведений, сообщаемых Вами и имеющих отношенье до меня, мне помочь не могут» (письмо № 273).

278. И. А. ГРУЗДЕВУ

24 февраля 1926, Москва

24/II. 26

Милый Илья Александрович!

Спасибо за письмо и за услугу со «Звездой»[1]. Не создаю ли я Вам неловкости своими просьбами? О перемене, происшедшей в составе редакции «Ковша», давно слышал, но об этом возможном неудобстве для Вас вовремя не подумал[2]. Если оно имеется налицо, скажите мне, пожалуйста, открыто и направьте куда надо. Тогда я попрошу у Вас извиненья за доставленные непрятности, и деловая часть выпадет из нашей переписки. Если же шероховатостей нет, пускай все останется по-старому.

Возьмут ли Спекторского по рублю за строчку? Или он вообще не подходит? Если можно, и Ковш будет существовать, и с центром все улажено, пристройте по рублю. У меня денег только на неделю. Критическим моментом этого назвать еще нельзя, но они скоро понадобятся. Простите, если буду об этом вскоре напоминать.

Совсем некстати я задумал писать статью типа «взгляд и нечто» о всякой всячине[3]. Знаете Вы, этакие светлые минуты находят, когда, смакуя форму замысла и предвкушая его содержанье, находишь нужным основательное знакомство с историей вообще всех времен и народов, с гегельянством и марксизмом, по первоисточникам, и все это и многое другое затем только, чтобы построить большое, серьезное зданье в виде статьи, где бы исподволь, в двух-трех окнах, показывались и скрывались лица, скажем, Гумилева, Асеева и Цветаевой, или других, которым этот дом по-

священ. Все это сопровождается поразительной, только психиатру понятною верой в то, что требующийся для этого серый финский гранит может быть наломан и собран в теченье недели. Величественность и обширность десятиярусных библиотечных стен действует при этом как звездное небо на лирика; кажется, что книжки поставлены только для того, чтобы мерцать издали и вдохновлять своею многочисленной астрономической массой. Преследует чувство, будто можно цитировать пыль и поучаться на переплетах. Неделя разрастается в месяц. Попав во власть уже упомянутых иллюзий, идешь по этому пути и поддаешься новым. Все время спокойно сознаешь, что занят делом. Дело это так причудливо и призрачно, что ничем не отличается от полной свободы. Отзываешься на все звонки и на все приглашенья. Месяц проходит, он заработком не покрыт и не оправдан, прочитаны две-три книжки, неизвестно зачем, их можно было не читать, статьи никакой никогда не будет. Вот из дверей какого санатория я пишу Вам, собираясь во всей спешности его покинуть. Упущенье это трудно будет наверстать. Жму Вашу руку. Привет Тихонову, Федину и Мандельштаму. Знакомы ли с Петниковым? и ему.

Ваш Б. Пастернак

Впервые: «Звезда», 1994, № 9. — Автограф (Архив М. Горького, ФГ. 8. 8. 8/7).

[1] В «Звезде», 1926, № 2, была опубликована глава «Мужики и фабричные».

[2] Издание «Ковша» претерпевало трудности, вскоре произошла замена редколлегии, и оно было закрыто. Отрывок из 4-й главы «Спекторского» был опубликован в «Ковше» (1926, № 2).

[3] О своем замысле статьи о поэзии, в которой на примере Блока, Гумилева и Цветаевой Пастернак хотел определить ее сущность как таковую, см. в письме № 288.

279. Ж. Л. ПАСТЕРНАК

24 февраля—1 марта 1926, Москва.

24/II. 26

Дорогая Жоничка! Этот Sörgel останется навеки укором Шуре. Письмо в отмену моей просьбы было написано через одну ночь. Ты бы не могла успеть его купить[1]. Утром Шура с Иной куда-то собрались, я Шуру попросил письмо отправить, надо было марок купить. Он пообещал и два или три дня, злодей, носил его в кармане шубы. И тут пришел этот немец, с молниеносностью просто

непостижимой. Я его встретил с ненавистью, не обещающей ничего доброго. Я не знаю, как мы с ним уживемся. Я его терпеть не могу за то, что он без достаточного основанья так глубоко залез в твой карман. Обрадовался, сволочь! Кто его до меня спрашивал, кто до тебя покупал? Ну, да черт с ним, тебе же спасибо за самопожертвованье.

Тебе давно собирается написать Женя. Когда придет из школы, предложу.

Маленький Женичка страшно боится клизмы и подымает нестерпимый крик. Через минуту он в слезах и просветленный, сидит на горшочке, разрешаясь от внезапного заряда. Он наливается кровью и бледнеет, покрякивает и улыбается, и, услышав, как я говорю Жене, что он кричит так оттого, что он еще маленький дурачок, с приливом пытливости и общительности в голосе спрашивает: «А что, когда я стану большим дураком?».

Обнимаю тебя и Федю. *Твой Боря*

1/III/26. Письмо невозможно залежалось, оттого что Женя думала написать тебе. Теперь, таким образом, я перед тобой и Шурой виноват. Жениной приписки больше ждать не в состоянии. Задерживается она потому, что хотела задать тебе один вопрос, и это затея настолько трудная и щекотливая, что вопрос этот она задаст маме.

Речь будет идти о предположительной ее с мальчиком поездке к ним или к тебе на лето, то есть месяца на два на три. Тут не о чем было бы задавать вопросов, если бы она не нуждалась в безусловном месячном хотя бы отдыхе и поправке, то есть если бы не надобность подкинуть мальчика на этот срок, хотя бы номинально, то есть психологически, при ней и на ее глазах. Ей приходится в обдумыванье летних планов напирать на этот пункт избавленья ее от забот о Жене с тою же абсолютистской нотой, с какой я когда-то отстаивал свободное время для работы, ты — рвалась за границу во имя метафизики и пр. и пр. Это пункт очень простительного и понятного при надорванном здоровьи эгоизма. На мой личный взгляд мальчик никакой особенной обузой ни для кого, не занятого своим делом, быть не может. В наше время в Берлине были русские няни. Если это и теперь так, то Женя возьмет к мальчику человека.

Тут его очень любят, и Людвига Бенционовна[2] трогательно и прекрасно с ним играла и проводила бы целые дни, если бы мне *не приходилось* этому препятствовать в виду влияния на произношение, пункт, который их всегда обижает и огорчает, а за

ними и меня, так как это мелочь, в данном случае важная, а во всем остальном я их очень уважаю и люблю.

Обнимаю тебя. *Твой Боря*

Впервые: Письма к родителям и сестрам. — Автограф (Pasternak Trust, Oxford).

[1] В письме № 274 Пастернак просил сестру прислать немецкую антологию Зёргеля (далее в письме: «немец»); на следующий день он отменил эту просьбу: «Спешу послать это письмо вдогонку за вчерашним. О покупке Sörgel'я, ради Бога, и не думай. Не надо. Я вчера видел эту книгу, она, вероятно, марок 30 стоит. Кроме того, это — второй выпуск (экспрессионисты). Значит для ознакомленья с полною мыслью автора потребовался бы еще и первый том, а это уже попадает в разряд явлений, вроде Вальтеровых игр "меккано"» (там же. Кн. I. С. 65). Имеются в виду дорогие подарки для балованных детей.

[2] Фришман, соседка по квартире.

280. М. И. ЦВЕТАЕВОЙ

4 марта 1926, Москва

Марина, бездоннодушевный друг мой, соседняя топка житейской котельной, под теми же парами, пиши мне на вы, умоляю тебя, нам не надо взрываться. Твое «ты» делает меня куклой, гипокритом, круглым лицемером неслыханного диаметра, а я ни кукла, ни гипокрит. Мое вы к тебе найдено как равновес, как стиль 1905-го, как единственная мыслимость среди немыслимых трудностей времени, с которым и в котором весь я, со всею серою гаммой повадок, с семьей, с характерами, вырастающими на *этой гамме*, по этой конституции. Ах, как это объяснить! Верь, верь, верь, верь, верь мне, это главное. И не возмущайся всеми этими «равновесами», «возможностями», «мыслимостями», которые всколыхнут тебя кажущимся отливом золотой середины. Неправда, неправда! Но в этой тянущейся грозе однообразья, которой захвачено начало века, разрушенье обессмыслилось и я не слышу грозы в личной гибели, ни в причиненьи страданья другому. Я не боялся колоть Ваши руки мизерностью и сухостью своих отписок, потому что пасть Вашего духа знаю, как свою, и знал, что это пустяки, если только Вы не пожелаете прикинуть свою или мою повесть (безразлично) на общую болевую шкалу, градированную драматическими формулами. А Вы и не сделали и <не> сделаете этого. Вы не ломились в меня, это я в Вас первый с Верстами вломился. Вообще этот разговор — Я или Вы — так некстати, такое

житейское заимствованье, и тут же думаю о себе, что я во сто крат беспомощнее, потому что к письму от путаницы прихожу с чувством такого чего-то простого, чудесного, счастьеносного и понятного и в письме, пока суд да дело, так все это затуманиваю попыткой показать эту простоту! Вот, ну что это за неразбериха! Пишите мне на вы, Марина! У меня столько веры в то, что динамит можно подарить бедным родственникам, и что эту часть симфонии уже отстучали! Она называется эроикой ведь не только по обилью ударных, заполонивших первую часть! Скоро ей придется чистым содержаньем, настоящею музыкой оправдать свое названье. Тут-то нам будет работа! Марина, мы будем неогегельянцами, какими были молодые Энгельс и Маркс, мы еще с Вами будем обрушиваться на коммунистов с упреками в малодушьи и пессимизме, мы или те из молодых, которым будем радоваться, как своей поросли, и которые будут жить и дружить с нами. Марина, Марина, это все я о Вас пишу. Марина, чтобы Вам стало ясно: когда недавно, совсем в последнее время, я оглянулся на цепь смертей, павших на эти годы, не смерть Блока, которого я боготворил, не Есенина, столь близко придвинувшаяся, что вырастает в виденье, не Брюсова, который меня любил и был коммунистом, но гибель Гумилева показалась мне катастрофической непоправимостью, злодейским промахом эпохи, самоубийственной ошибкой. Удивляйтесь как хотите, но я чувствую и вижу, что проживи он до наших дней, он был бы человеком революции и эпохи, именно он, вызывавший в Блоке брезгливый отпор своим забегавшим вперед требованьем сжатой и собранной культуры. И опять тут всего ни объяснить, ни рассказать Вам. Но если Вас резануло слово «ошибка» по адресу человека, которого просто оплакиваешь и просто ужасаешься подлости, его прикончившей, последуйте за этим словом и за этим чувством, и Вы поймете, ка́к я все начинаю видеть и переживать. Мне хочется чувствовать через историю и за нее, и я не преувеличу, если назову это перерожденьем сердца.

Марина! Марина! Марина! Как я рад, что Вы так подробно написали про вечер[1]. Я вслед за последним письмом хотел попросить Вас об этом. Лично, кровно радуюсь, кружусь с Вами и поздравляю. Все близко, все словно тут, как у нас, вплоть до вечного измышленья редакций насчет «непонятности»!! Марина, берегите здоровье, цепляйтесь за жизнь, нам много предстоит дела впереди! О схожести судеб, не только моей с Вами, но и Асеевской и Маяковской, расскажу друзьям.

Другое совпаденье (как о вечере, в ответ на упущенную просьбу). О перепечатке Сельвинского[2]. Хотел писать Вам о нем и опять упустил. (Чудесно и верно Вы меня определили, сказав об отборе червей специально для Вас[3]. Не боюсь признаться в верности подмеченной черты. Она так схвачена, что стало быть знаете все остальное. Тогда не боюсь. О как люблю Вас!) Так вот, предупредили и это упущенье и как раз в той связи, в какой хотел о нем говорить. Он очень талантлив. Смешно говорить о моей или Вашей современности. Современен только он. Т. е. только такой в революции зародившийся сплав эпики, эклектики и нового акмеизма плывет, голова в голову с головою дня над мутью количества, и с ним ныряет, захлебывается и всплывает. И тут же утешительная поправка о современности: и однако в порядке временных и хронологических напряжений, он, временно, позади нас. Т. е. он умеет раскаляться и сиять при более низких и бедных температурах, нежели мы. Он так талантлив, что не может не оказаться впоследствии лирической индивидуальностью. Между тем его сила теперь как раз в том, что он, как думают (и он сам в том числе), — не лирик. О нем как-нибудь в другой раз. Меня удивляет, как это Вы или Св.-Мир<ский> его почувствовали с печатного. Его надо слышать. Прошлый год, всю зиму, его замечательно читал на память Асеев, куда бы ни пришел. Но о нем в другой раз. Марина, меня пугает, и сделает несчастным в будущем и совершенно обескрылит, если Вы ее еще раз подтвердите (если за ней окажется смысл), Ваша приписка: «Смеюсь на себя за все эти годы назад с тобой. Как смеюсь!» О Марина, Марина. Для меня время не движется лишь относительно Вас, и значит, «этих лет назад». Вы вправду хотите напомнить мне, как много тогда было и как не осталось ничего? Как же это случилось? Не говорите этой фразы, даже и про себя, и только!! Я не боюсь Вас, ни себя, ни времени, ни судьбы. Я не боюсь ни за смысл, связывающий нас, ни за его постоянное биенье, ни за его будущее. Но я пуще судьбы боюсь *этой Вашей фразы*, потому что знаю вес Ваших слов и то, как вся Вы в них окунаетесь, и вот Вы действительно пойдете «смеяться на себя за все эти годы», верная собственному слову, перестав слышать, что значит этот смех, и смеющаяся, и предмет насмешки. Умоляю Вас, пишите мне на «Вы» и перестаньте смеяться.

Простите за предшествующее письмо. Хотя и в нем, за нескладицей, много правды, и за огорченьем, постоянная нежность, вне которой я ни разу не слышал природы, ни разу с Вами не говорил. Не напоминайте мне про смех и про годы. Вот я сказал Вам

какую-то глупую, по-стариковски трогательную чушь и уже сдерживаюсь, и уже готов повиснуть у Вас на шее, сотни раз отлитой в душе, сотни раз облёснутой языками радости, гордости, близости, преклоненья. Неужели Вы не знаете? Неужели, неужели. Но не надо, нельзя, не трогайте, прошу Вас, и не смейтесь.

Давайте переписываться и без этих приписок. Хорошо?

Я бы покривил душой, если бы умалил радость, вызванную Вашими словами о 1905 годе. Значит, я не ошибаюсь и может быть и во многом остальном. Встречаетесь ли Вы с Ильей Григорьевичем? Если да, то не говорите обо мне. Я ему написал очень жестокое письмо относительно его вещи, и вероятно огорчил[4]. Но что мне было делать.

Матерьялы о Есенине верно получены уже Вами.

Впервые: Цветаева. Пастернак. Письма 1922–1936. — Автограф (РГАЛИ, ф. 1190, оп. 3, ед. хр. 159). Датируется по почтовому штемпелю.

[1] Цветаева описывала свой авторский вечер, состоявшийся 6 февраля 1926 г. и имевший большой успех.

[2] В журн. «Версты» были перепечатаны четыре стихотворения И. Л. Сельвинского.

[3] Имеются в виду «стихи про вонючее мясо» из посланной Цветаевой рукописи главы «Бунт на Потемкине» (см. коммент. 5 к письму № 273).

[4] Письмо И. Г. Эренбургу было посвящено его роману «Рвач» (см. письмо № 316).

281. И. А. ГРУЗДЕВУ

9 марта 1926, Москва

9/III. 26

Милый Илья Александрович!

Черкните мне, пожалуйста, что слышно насчет Звезды и Ковша. Получили ли Вы мое последнее письмо? Если это в Вашей власти и есть повод для придирки, нажмите, пожалуйста, чтобы выслали мне денег, так как я давно в них нуждаюсь, а «Лейтенант Шмидт», которого я, как часть книги, начал писать, напишется не скоро. Главное мне знать, на что мне из Питера надеяться и надеяться ли вообще. Последнее тоже существенно, потому что если высылки денег нечего ждать, я обращусь к последнему прибежищу, от чего бы хотел воздержаться, и возьму аванс в Новом Мире, куда предполагаю отдать Шмидта[1]. Расчеты у меня на Ленинград следующие. Звезда мне, по-видимому, должна 117 руб. за такое же количество строк матерьяла, если он взят по 1 р. и 175 р.

50 к., если по 1 р. 50. С «Ковша», если принят Спекторский, — 100 р. Не сердитесь и напишите хотя бы открыточку.

Приехала сюда на три дня Анна Андреевна. Я ее видел два года назад. По-моему, она поправилась и больше, — похорошела, помолодела, но очень грустна. Я боялся задать ей вопрос о том, как ей живется матерьяльно, потому что прошлый год, когда ходили слухи о ее болезни[2] и стесненных обстоятельствах, и я с Асеевым и Маяковским думали что-нибудь в этом отношеньи сделать (а мы Анне Андреевне горячо преданы и навыки приобрели не на улице, так что все, что тут тонкого надо было соблюсти, мы не хуже других знали), — до меня косвенно что-то дошло (не от А. А., а от ее знакомых), что легло тенью обидной щепетильности на наши намеренья.

Недавно тут был вечер в пользу Волошина, без афиш, устроенный знакомыми для знакомых, миром Пречистенки и Арбата[3]. Собрали 470 р. Я в нем участвовал, хотя Волошин во мне и доли того не вызывает, что Ахматова, как бы я хорошо к нему ни относился. И вообще в отношении А. А. формула этого товарищеского аффекта такова: изумительный поэт, человек вне всякого описанья, молода, вполне своя, наша, блистающий глаз нашего поколенья, надо чтобы долго жила, много еще скажет и сделает.

Если бы она объявила тут свой вечер, был бы сбор «битковый». Но она и думать об этом не хочет, и явленье это так чудесно в своей красоте и стройности, что со всеми его прихотями и пунктами хочешь считаться.

Я не знаю, к чему я Вам про все это так сложно и вскользь пишу. Ага, понял. Это я верно собираюсь от почтового ящика пройтись в Морозовский музей, где она остановилась[4].

Ваш Б. Пастернак

Если случится увидеть Мандельштама, кланяйтесь ему. Мы много о нем с Анной Андреевной говорили и кажется, одинаково его любим.

Впервые: «Звезда», 1994, № 9. — Автограф (Архив М. Горького, ФГ 8. 8/7).

[1] «Лейтенант Шмидт» печатался в «Новом мире» по главам (1926, № 8–9; 1927, № 2—5).

[2] Весной 1925 г. у А. Ахматовой было обострение туберкулеза, и апрель-май она провела в санатории в Царском Селе.

[3] Благотворительный *вечер в пользу Волошина* состоялся в помещении ГАХН на Пречистенке 1 марта 1926 г. Пастернак читал два отрывка из по-

эмы «Девятьсот пятый год»: «Детство» и «Морской мятеж» (Л. Горнунг. Встреча за встречей // Воспоминания. С. 74).

[4] В здании Музея западной живописи, расположенного в особняке коллекционера И. А. Морозова на Пречистенке, находилась квартира мужа Ахматовой В. К. Шилейко.

282. Ф. К. ПАСТЕРНАКУ

Середина марта 1926, Москва

Дорогой Федя! Большое спасибо за деньги, которые у меня уже пятый день в столе. Хотя я и надеюсь, что эти вернутся раньше целой кучи других, в свое время посылавшихся нам, но даже и как подручный резерв в промежутках между получками гонораров это серьезное подспорье. От Жени и Шуры я эту получку скрываю, потому что именно гляжу на нее как на такой экстраординарный резерв. А узнай о них Женя, она бы сейчас же их заперла для возвращенья вам и не дала бы к ним прикоснуться. Теперь у меня на очереди ответ Жоне на то ее большое письмо от 28/II, на которое я коротко ответил в момент его полученья, не вдаваясь в подробности. А теперь — в подробностях, и, собственно, это может относиться к вам обоим:

Жене никаких курортов не надо, ей нужны отдых и поправка, то есть все то, что добывается у Феррейна, у Чичкина[1], и, наконец, летом в двадцати верстах от Москвы. Если мы заговорили о заграница, то, собственно, поддаваясь побужденью показать мальчика нашим, потому что как критически я к нему ни отношусь, он даже и меня часто умиляет, и умиленье это таково, что мне кажется, и папа и мама бы его разделили, то есть в каком-то смысле это инстинктивно: хочется, чтобы еще раз им обоим улыбнулось глупо, по-детски то, что им улыбалось однажды глазами Шуры или Лиды, как отраженье собственной сути, судьбы, грусти и пр. в глупом стекле младенческой ясности. Все это так просто, что неминуемо усложняется в объясненьи. Я соберусь за границу не скоро, и если соберусь, то, вероятно, налегке, в Париж или дальше, во всяком случае с целью, во всяком случае не в нынешнем году. Да и не тот уже будет мальчик, и тот бог беспросветной глупости и вечного симплициссимуса, который по поговорке глаголет его устами[2], уступит место другому какому-нибудь. Да и теперь уже поздно, он потускнел и испортился.

Вот отчего и явилась мысль запросить вас об осуществимости такой к вам засылки. Я прекрасно понимаю, какая тут доля

желанья взвалить кое-какую тяжесть на чужие плечи, но ей-богу, существо затеи не в этом. Тяжести для меня никакой нет, я лето это встречаю с перспективами, разумеется, в смысле работы оно будет другим без них, нежели с ними, но и тут бабушка надвое гадала, так как нельзя учесть непривычности одиночества, вероятного беспокойства в разлуке и пр. Короче: цель поездки познакомить мальчика, наконец, с нашим, после стольких милых, но все же не наших семейств.

Придаточными предложеньями, не в смысле важности, а логической последовательности, идут соображенья об отдыхе Жени и ее поправке: то есть не будет Вхутемаса (как впрочем и на даче), последует жизнь в геркулесе, молоке, масле, рыбьем жире, мышьяке и пр. и пр. (как впрочем, при упорстве ее лишь наполовину, уже и тут).

Это же сообщите маме. Вы взвесьте все, что вам придет насчет этого в голову и поскорее отвечайте. Простите за наглость и навязчивость, но тут можно говорить только прямо, без обиняков. В согласьи с этим, прибавлю несколько слов в том же духе. Так как в смысле денежной самостоятельности я показал себя в эти годы в преплачевнейшем виде, должен прибавить, что поедут они только на свои деньги, и я в учете поездки не принимал в соображенье только таких вещей, как самостоятельное хозяйство, гостиница и пр., так как допущенье этих вещей уничтожало бы и возможность поездки, превращая ее в бессмыслицу (с точки зренья Женина отдыха). Надо, конечно, сказать и то, что эта подробность облегчает нам поездку до плевого пустяка, потому что дорога и пр. не Бог весть какая штука. Взвесьте и этот пункт, то, стало быть, что не в гостиницу.

Так как я тороплюсь, то ныряю в обсужденье этих вещей sans scrupule*: возможно, что когда я отфыркаюсь, а письмо уже будет в ящике, я спохвачусь, что то́ было море бурного нахальства. На вкус я пока этой соли не ощущаю. Но вы ответьте и, если можно, не откладывая, и ультимативно. Дело в том, что скоро начинается сезон разборки дач, это теперь у нас с марта делается. Я был бы последним дураком и уродом, если бы не знал, как много это вам будет стоить и как сильно это изменит бюджетную картину тут и многое другое, но честное, на этот раз, слово, дело для меня не в этом и не с этого оно у меня начинается. И я знаю, что вы потонете в хлопотах. Если отсюда доставать въездную визу будет не просто, то вот уже и эта тяжесть скоро навалится на Жоню.

---

* без зазрения совести (*фр.*).

Пока бурно целую до следующего раза, когда я с Жоней подробнее побеседую.

Женя об этом письме не знает: я для *быстроты* своих линий редко теперь говорю с Шурой, с нею и с кем бы то ни было, при большой любви к ним.

Впервые: Письма к родителям и сестрам. — Автограф (Hoover Institution Archives, Stanford).

[1] То есть в аптеках и в молочных, называвшихся по имени владельцев.

[2] *Вечный симплициссимус* — обыгрывается имя героя сатирических романов немецкого писателя Ханса Якоба фон Гриммельсхаузена XVII в. «Симплициссимус» (в 6 кн.) и других, связанных с ним.

283. М. И. ЦВЕТАЕВОЙ

19 марта 1926, Москва

19/III. 26

Прошлую неделю я мысленно переписал Вам множество писем, прожил несколько лет, сильно заскочив вперед, и сделал много такого же, бесследного и бесплодного. Вот как это случилось. В воскресенье вечером позвонила Ахматова, приехавшая в тот день из Петербурга, и через два часа зашла с Н. Н. Пуниным. Я ее не видал два года. Осенью она хворала, и слышно было, нуждалась. Теперь я нашел ее неожиданно помолодевшею. Она поправилась и к ней вернулась та мраморная красота, которая так ее выражает, что даже стала частью ее имени. Когда я мысленно обратился к Вам с этим «вы́кающим» наблюденьем, мне дико было говорить «вы», сообщая эту радость. «Ты знаешь, Ахматова и т. д.». Так хотелось и делалось.

Дни были весенние, схватывавшиеся к вечеру морозцем, черной улицей от фонаря к фонарю. Через два дня, таким именно вечером, взвинченно-чутким, когда чем редче звук, тем резче воспаляется ушная раковина дали, я пошел к ней, и мы говорили о ней, о тебе, о близких людях. Но это все были пустяки, в сравненьи с близостью, пахнувшей мне в лицо, когда, заговорив о Гумилеве, она, не замечая этого, свела речь к перечню заимствований и влияний, его объясняющих, часть которых установила в последнее время сама[1]. Тут не было и следа Брюсовского или Ходасевичевского любованья предметом с кафедры. Как раз наоборот, тут была прелесть подчиненности классной атмосфере. Тут, болтая ногами, гимназистка обсуждала с гимназистом, что у них пройдено по географии, и разговор этот происходил в отсутствии тебя, сестры по парте, в... учебном заведении, усеянном звездами, к вечеру

схватывающемся тонким черным ледком, от фонаря к фонарю. Все эти дни я говорил с тобой, строил теории и истоптался в оптимизме, т. е. ввел в походку всю стоптанность, заключенную в слове. Странно, что я не написал тебе тогда же, а выздоровевшую Ахматову, и кажется в тех же выраженьях, понес Эренбургу. Потом я получил твое письмо про то, каково твое ты. Оказывается оно бунтарское, и тебе ты не говорят. Ей-богу глупо было тут как раз со своим и сунуться. Тебе покажется, — из духа противоречья. Однако между твоим письмом и моей сегодняшней свободой нет связи. Ни даже бунтовской, супротивнической. Но это подавленное реченье вырвалось и потекло, став, как первоначально — школьным, чистым, детским. О порядках же учрежденья, о «наших нравах» напомнила мне именно она.

Теперь о Лондоне[2]. Лет тринадцать или больше назад я бредил Англией и, служа воспитателем (гувернером, подумай! в богатой немецкой купеческой семье), откладывал деньги для поездки в Лондон[3]. Т. е. «гувернером» я заделался именно ради Лондона. Тогда (как вспомнишь, как это все было неумело, глупо!) я читал англичанке-учительнице за плату курс русской истории литературы, которую она очень любила, а я знал не больше, чем теперь. Однажды она мне прочла Эдгара По в оригинале. Восхищенью моему не было конца. И вот вместо того, чтобы принять ее предложенье обмениваться уроками, я из скаредности (так дорожил грошами) собственными силами в три месяца сроку и на такой же, конечно, срок изучил язык. Это все было в те времена, которые описаны в первых страницах Бытия, т. е. когда я служил молодым Гегелем в немецкой семье, читал свободно по-французски, когда Бобров переводил Рэмбо, ты выступала с Асей, взявшись за руки, и Асеев занимал на вечер манжеты у Анисимова для посещенья Своб<одной> эстетики[4]. Все это былье я заворошил нечаянно, узнав, что ты попадешь в Лондон. Именно, мне вспомнилась зима, когда я зачитывался Китсом и Суинберном, и даже, из строки в десятую, понимал, что делал. И, разумеется, в стихах рос и творился свой Лондон, которого наверное на свете нет, но именно в этот Лондон я пишу тебе. Помню, ледяной, утихомирившейся, расчистившейся ночью, перед тем укатанной и обметенной вьюгой, — я жил тогда в Лебяжьем переулке в канареечной клетке, окном выходившей на Кремль — представился мне он вот как. Там в тумане, тронутом морозною проседью, осязало себя время, и стрелки на Вестминстере[5] и циферблаты других башен медленно, *как блюдца* подвигались сле-

ва направо, по кругу английского алфавита, и били, попадая на иные буквы, и скрытый туманом, таинствами языка и недоступностью, дух Англии, как спирит выросши над фиакрами и господствуя над Диккенсом, касался ободков кончиками пальцев. Стихов этих я теперь не помню, как и других той поры, и не знаю, где они. Теперь мне неясно, почему это Лондон, а не Мюнстер или не Флоренция. Но именно в пальцы кольнуло меня твое известие о путешествии, и от моего разговора с тобой, от слов, от платья, от усилия представить тебя там отделяется легкий треск. А сегодня ты пишешь, что какой потолок над тобой — неважно. Кроме того, это я забыл сказать — и тут все ассоциативные пружины наружу, ты поймешь, что твоей комнаты, твоего, наконец, «одиночества, — нет: единоличья» я никак иначе, как в Лебяжьем духе той своей комнаты вообразить не в силах, а стало быть это: колдовское, леденящее, забывающееся вдохновенье тех лет. Мельком видел я его тогда, — и вот оно с тобою.

Это предвиденье и пожеланье. Я хотел о многом написать тебе сегодня. И прежде всего, я хотел ответить на два твои последние письма. Потом я хотел рассказать тебе о жене и ребенке, о перемене, произошедшей в эти годы со мной, и — в эти дни; о том, как ее не понимают; о том, как чиста моя совесть и как, захлебываясь тобою, я люблю Женю и болею, когда она не пьет рыбьего жира, ты знаешь, что есть края и края, ты прошла всю эту постройку и видела многое по-моему. Только тебе можно говорить правду, только по дороге к тебе она не попадает в соли и щелочи, разъедающие ее до лжи. Будь счастлива в Лондоне, как я счастлив сейчас с тобой, не жди никогда слов, побывавших в кислотах, ты все знаешь. И о предположенном, о том, что хотел, не расскажу. Не надо. Ты все знаешь, все, все. Спокойной ночи. *Твой Б.*

Отправляю не перечитывая. Не суди как ответ. Свое и твое. Ничего не сказал из того, о чем, думалось, напишу.

Впервые: Цветаева. Пастернак. Письма 1922–1936. — Автограф (РГАЛИ, ф. 1190, оп. 3, ед. хр. 159).

[1] Интерес к поискам *заимствований и влияний* Ахматова пронесла через всю жизнь. На полях подаренного Гумилевым сб. его стихов «Романтические цветы» (1908) Ахматова отмечала поэтические аналогии с разными поэтами: Эдгар По, Бодлер и др. («Моей прелестной царице...». Публ. И. Сиротинской // «Встречи с прошлым». Вып. 8, 1996. С. 310.

[2] Тема Лондона была задана Цветаевой, которую пригласил туда Д. П. Святополк-Мирский и где она пробыла с 10 по 25 апреля 1926 г.

[3] Пастернак был домашним учителем в семье коммерсанта М. Д. Филиппа в 1914–1915 гг.

[4] Имеются в виду вечера в Обществе свободной эстетики, на которых собирались представители московского артистического круга 1910-х гг.

[5] Этот воображаемый Лондон отразился в стих. «Шекспир» (1919). Посылая Пастернаку в ответном письме открытки с гравюрами В. Холлара Лондона, Цветаева писала: «Лондон. Посылаю тебе — бандеролью — старинный Лондон до пожара. Эт<от> не тот. Не твой» (Цветаева. Пастернак. Письма 1922–1936. С. 158).

284. П. Н. ЗАЙЦЕВУ

19 марта 1926, Москва

Дорогой Петр Никанорович! Горячее мое желание и, соответственно этому, просьба к Вам, чтобы книжка Петровского была издана в весенней серии. Верьте, что тут не лицеприятие, не дружество, не еще что-нибудь, а мысли об Узле, о всех нас[1], в частности о Д<митрии> В<асильевиче> и, словом, много такого, чего ни *в беседе*, ни тем менее в письме сразу не рассказать. Все мы между собою хороши, меня с Вами связывают чувства приязни и взаимного уваженья, я считаю себя своим человеком в Узле. Всего этого достаточно, чтобы рассчитывать на доверие товарищей. С Петровским надо было обойтись как с ребенком в этом вопросе[2], как мы с Вами об этом условились. Простите, Вам верно это все надоело, Вы вправе мне сказать, что я от всех трудностей отстранился и не мне бы приступаться теперь с советами. Но это именно не *совет*, а горячая настойчивая просьба с моей стороны, и меня огорчит, если Вы обойдете ее вниманьем. Крепко жму Вашу руку.

Ваш Б. Пастернак

Впервые. — Автограф (ИМЛИ, ф. 15, оп. 2, № 105). Датируется по письму Д. Петровского Зайцеву 19 марта 1926 (ИМЛИ).

[1] Издательство «Узел» было организовано в 1925 г., его учредителями были П. Н. Зайцев, С. Я. Парнок, С. З. Федорченко и Б. Пастернак. Весной 1926 г. в «Узле» вышла книга Пастернака «Избранные стихи».

[2] Д. Петровский потребовал, чтобы на фронтисписе его стихотворного сб. «Поединок», печатавшегося в «Узле», был воспроизведен его портрет работы Н. Альтмана, тогда как серия дешевых книжек «Узла» шла без портретов. Редакция отказала Петровскому, тот забрал рукопись своего сборника. Письмо Пастернака Зайцеву, сопровождаемое запиской Петровского, сыграло свою роль, и книжка вышла с портретом.

285. Л. Л. ПАСТЕРНАК

20–21 марта 1926, Москва

Дорогая Лидочка! Папа в одном письме просит прислать что-нибудь из написанного. Журналы, в которых что-нибудь твое напечатано, даются обыкновенно в одном экземпляре. Редко они у меня сохраняются. Кроме того, из-за одной странички посылать целый кирпич нерационально. Буду изредка списывать для вас. Вот два отрывка из 1905. Гапон и начало бунта на Потемкине. Вряд ли вы захотите продолженья. Неожиданно, не правда ли? Но для кого, на чье пониманье приходится писать! Я не злорадствовал по поводу Кончаловского[1]. Мое отличие от него *только* в том, что когда он катится назад, то делает это с восхищеньем, не понимая, что с ним и почему происходит. Я же, подчиняясь тому же закону, ужасаюсь и скорблю. Все-таки серьезно почитайте, а не так тяп-ляп. Во-первых, тут «творческая драма», а затем и матерьялу на 750 рублей. Но ведь это не легко делается, деньги эти вот как достаются. Для этого я строфу разбиваю, строк по 10, по 11 в каждой. Иначе нельзя, чем же я виноват, что настоящие гонорары платят после смерти. Попроси прощенья у папы, что так мелко написано и прочти ему громко, хорошо, вслух, когда сама разберешься. Тут важно точное пониманье смысла, тут ни одного слова нет зря. Таких порций готовых у меня еще три: пролог (народовольцы), похороны Баумана и восстанье на Пресне. Сейчас пишу лейтенанта Шмидта (восстание на Очакове). Мне кажется, однообразье размера наводит скуку. Вот отчего, для книги я Пресню, которою и по другим причинам не доволен, перепишу в другом метре, как уже начинаю и Шмидта[2].

Тендер — остров в 100 верстах от Одессы, куда выходила на ученье Черноморская Эскадра. Камбуз — судовая кухня. Спардек — ближайшая к ней часть палубы. «Скатывать палубу» — техническое выраженье, означающее уборку, когда ее моют содою и швабрами. Щиты — учебные мишени для орудийной стрельбы, которые расставляют в море. Кнехт, буксирный кнехт — столбик с тарелкою, для наматыванья канатов. Команда: боцман, брезент! означала в этом случае расстрел. Не имея возможности отделить виновных, как хотел, командир прыжком с кнехта в гущу бежавших произвольно отделил кучку отставших и собирался, накрыв их брезентом, открыть по брезенту огонь.

Из посылаемых отрывков «Потемкин» напечатан в Новом Мире № 2. Гапон же является собственностью одного Харьковского издательства, которое своего альманаха все еще не выпустило[3].

Впервые: Письма к родителям и сестрам. — Автограф (Pasternak Trust, Oxford).

Датируется по содержанию.

[1] Отголоски несохранившегося разговора в письмах о выставке художника П. П. *Кончаловского*, у которого в классе училась Е. В. Пастернак. От авангардной молодости 1910-х гг. Кончаловский в своих работах теперь возвращался к академической живописи. Л. О. Пастернак писал по этому поводу сыну: «Хорошо ты в двух-трех репликах к Жениному письму даешь, Боря, картину, когда на выставке докатившегося до передвижников "борца" за новое искусство Пети всестороннего Балтрушайтис предложил начать заседание Свободной эстетики (не сердись, Женя, это, ведь, мой еще "шпитонок"» (17 марта 1926; там же. Кн. I. С. 74). П. П. Кончаловский был учеником Л. О. Пастернака в Училище живописи.

[2] Далее переписаны отрывки из поэмы «Девятьсот пятый год». В главе «Детство» имеется строфа, выкинутая из окончательного текста, покаянно фиксирующая трудные отношения подростка Бориса Пастернака в семье: «Запираюсь на ключ. Что за стыд этот быт живописца! / О, жестокого детства ревнивый и мнительный взгляд! / Подойдут зашиплю. Буду вечером с матерью грызться.../ Сколько сцен, сколько слез, валерьяновых капель и клятв!» Глава «Морской мятеж» («Потемкин») дана в первоначальной редакции. Письмо заканчивается списком употребленных в главе географических понятий и слов военно-морского обихода.

[3] Альманах «Пролетарий». Харьков, 1926.

286. Ж. Л. ПАСТЕРНАК

23 марта 1926, Москва

Дорогая Жоничка! Мне сообщили наши о письме Рильке[1] и это меня так выбило из колеи, что не могу сегодня работать. Взволновало не то, что наверное радует папу и маму, потому что вообще-то я рикошетом слышал, что где-то и кто-то, во Франции и Англии, знают, переводят, упоминают, но, разумеется, в глаза ничего этого не видал, а так, то Цветаева сообщит, то тут Ахматова рассказывала. Но надо тебе знать, чем был для меня Рильке и когда это началось. И вот эта новость была коротким замыканьем далеко отстоящих концов жизни[2]. Меня эта несообразность потрясла и опустошила. Я не знаю, за что мне приняться.

В довершенье всего тебе надо знать, кто такой Валери, если это только действительно Paul Valery, что совершенно невероятно![3]

Если папа всего этого не выдумал, то перепиши, пожалуйста, все письмо Рильке с начала до конца, потому что оно наверное изумительное и мне хочется прочесть его целиком. Если папа наболтал, то есть преувеличил, я ему это прощу конечно, но тогда

он не знает, что он сделал. Он говорит, что «Р. с восторгом отзывается обо мне». Я с Байрейтского языка перевел на свой, Скрябинский[4]. Веянье близости и любви, платонизм, равенство душевного божественному. И если это враки, то да простит [папу судьба]*.

Обнимаю тебя. *Боря*

Впервые: В кругу Живаго. Пастернаковский сборник. Stanford, 2000. — Автограф (Pasternak Trust, Oxford). Датируется по почтовому штемпелю на открытке с репродукцией рисунка Л. О. Пастернака с маленькой Жони.

[1] В письме 17 марта 1926 Л. О. Пастернак писал сыну: «...Я получил огромное, содержательное и радостное его (Рильке. — *Е. П., М. Р.)* ответное письмо, радостное, потому что он о тебе, Боря, с восторгом пишет...» (Письма к родителям и сестрам. Кн. I. С. 75).

[2] В письме Пастернака № 298 тот же образ: «Меня поразило чудо того, что я попался Вам на глаза. Это известие пронзило меня как током короткого замыкания» (перевод с нем.).

[3] Л. О. Пастернак ошибся; передавая слова Рильке о его знакомстве со стихами Бориса в журнале «Commerce», редактируемом Полем Валери, он писал, что Рильке «недавно читал в парижском журнале перевод Valéry» (17 марта 1926; там же).

[4] Желая восстановить подлинный смысл слов Рильке и очистить от семейных преувеличений «Байрейтского языка», называемого по Bayreuther Strasse, где жили родители, — Пастернак переводит сказанное на свой, понятный ему «Скрябинский» язык, то есть в признание «близости и любви».

287. М. И. ЦВЕТАЕВОЙ

25 марта 1926, Москва

25. III. 26

Наконец-то я с тобой. Так как мне все ясно и я в нее верю, то можно бы молчать, предоставив все судьбе, такой головокружительно-незаслуженной, такой преданной. Но именно в этой мысли столько чувства к тебе, если не все оно целиком, что с ней не совладать. Я люблю тебя так сильно, так *вполне*, что становлюсь вещью в этом чувстве, как купающийся в бурю, и мне надо, чтобы оно подмывало меня, клало на бок, подвешивало за ноги вниз головой** —

* Слова, взятые в квадратные скобки, вычеркнуты рукой Жозефины из суеверного страха за отца.

** Оттого-то я и проговариваюсь, и пишу. Ты такая прекрасная, такая сестра, такая сестра моя жизнь, ты прямо с неба спущена ко мне; ты впору последним крайностям души. Ты моя и всегда была моею, и вся моя жизнь — ты. (*Прим. Б. Пастернака.*)

я им спеленут, я становлюсь ребенком, первым и единственным мира, явленного тобой и мной. Мне не нравятся последние три слова. О мире дальше. Всего сразу не сказать. Тогда ты зачеркнешь и подставишь.

Что же я делаю, где ты меня увидишь висящим в воздухе вверх ногами?

Я четвертый вечер сую в пальто кусок мглисто-слякотной, дымно-туманной ночной Праги, с мостом то вдали, то вдруг с тобой, перед самыми глазами, качу к кому-нибудь подвернувшемуся в деловой очереди или в памяти, и прерывающимся голосом посвящаю их в ту бездну ранящей лирики, Микеланджеловской раскидистости и Толстовской глухоты, которая называется Поэмой Конца. Попала ко мне случайно, ремингтонированная, без знаков препинания[1]. Но о чем речь, разве еще стол описывать, на котором лежала?

Ты мне напомнила о нашем Боге, обо мне самом, о детстве, о той моей струне, которая склоняла меня всегда смотреть на роман как на *учебник* (ты понимаешь чего) и на лирику как на *этимологию* чувства (если ты про учебник не поняла).

Верно, верно. Именно так, именно *та* нить, которая сучится действительностью; именно то, что человек всегда *делает* и никогда не *видит. Так* должны шевелиться *губы* человеческого *гения*, этой твари, вышедшей из себя. Так, так именно, как в ведущих частях этой поэмы. С каким волненьем ее читаешь! Точно в трагедии играешь. Каждый вздох, каждый нюанс подсказан. «Преувеличенно — преувеличенно, то есть. Но в час, когда поезд подан — вручающий. Коммерческими тайнами и бальным порошком. Значит не надо, значит не надо. Любовь это плоть и кровь. Ведь шахматные же пешки, и кто-то играет в нас. Расставание, расставаться?» (Ты понимаешь, я этими фразами целые страницы обозначаю, так что: «Я не более, чем животное, кем-то раненное в живот» уже упомянуто шахматами.) Верно, пропустил, поэма лежит справа, взглянуть и проверить, но не хочу, тут живое, со слуха, что все эти дни при мне, как «мое с неба свалившееся счастье», «родная», «удивительная», «Марина» или любой другой безотчетный звук, какой, засуча рукава, ты из кучи можешь достать с моего дна. А у людей так[2]. После чтенья, моего, *такого* чтенья, — тишина, подчинение, атмосфера, в которой и начинается это «купанье в бурю». Как же это делается? Иногда движеньем брови. Сижу сутулясь, сгорбясь, старшим. Сижу и читаю так, точно *ты* это видишь, и люблю тебя и хочу, чтобы ты меня любила. Потом, когда они

перерождены твоей мерой, мудростью и безукоризненной глубиной, достаточно повести бровью и, не меняя положенья, бросить шепотом: «А? Каково! Какой человек большой!», чтобы сердце тут же заныряло, открытое в своей болтливости, и при всех проговорках законспирированное от них породою в раздвинутых тобою далях. Какой ты большой, дьявольски большой артист, Марина! Но о поэме больше ни слова, а то придется бросить тебя, бросить работу, бросить своих и, сев ко всем вам спиною, без конца писать об искусстве, о гениальности, о никем никогда по-настоящему не обсужденном откровении объективности, о даре тождественности с миром, потому что в самый центр всех этих высот бьет твой прицел, как всякое истинное творенье. Только небольшое замечанье об одном выраженьи. Я боюсь, что у нас не во всем совпадает лексикон, что в своем одинаковом отщепенстве, начавшемся с малых лет, мы с тобой не по-одинаковому отталкивались от последовательно царивших штампов. Слова артист и объективность могли быть оставлены тобой в терминологии кругов, от которых ты бежала. Тогда ты в них только слышишь, что они — Сивцево-Вражечьи[3], прокурены, облиты вином и оставлены навсегда за ненужностью на той или другой гостеприимной лестнице. Я же их захватил с собой, и об артистизме ничего не скажу, тут если не мое богословье, то целый том, не поднять. А об объективности вот что. Этим термином я обозначаю неуловимое, волшебное, редкое и в высочайшей степени известное тебе чувство. Вот оно в двух словах. Ты же, читая, прикинь на себя, припомни свое, помоги мне. Когда Пушкин сказал (ты знаешь это точнее, прости невежество и неточность): «а знаете, Татьяна моя собирается замуж»[4], то в его времена это было, вероятно, новым, свежим выраженьем этого чувства. Захватывающая пародоксальность ощущенья была гениально скопирована высказанным парадоксом. Но именно этот-то парадокс и прокурен и облит вином на Сивцевом Вражке и издолблен в лепешку по гимназиям. Может быть, только оттого парадоксальность объективности перевернулась в наши (мои и твои) дни на другой бок. Он менее парадоксален. Для выраженья того чувства, о котором я говорю, Пушкин должен был бы сказать не о Татьяне, а о поэме: «Знаете, я читал Онегина, как читал когда-то Байрона. Я не представляю себе, кто ее написал. *Как поэт, он выше меня*». Субъективно то, что только *написано* тобой. Объективно то, что (из твоего) *читается* тобою или правится в гранках, как написанное *чем-то* большим, чем ты. Знаешь ты это, знаешь? Все равно, я знаю это о тебе. И опять — больше, меньше — тут не чины,

не в этом моя объективность. Не в этом ее жалостная, роковая, убойная радостность. А в незаслуженном дареньи. Все упомянутое и занесенное, дорогое и памятное стоит, как поставили, и самоуправничает в жизненности, как его парадоксальная Татьяна, — но тут нельзя останавливаться, и надо прибавить: *и ты вечно со всем этим*, там, среди этого всего, в этом Пражском притоне или на мосту, с которого бросаются матери с незаконнорожденными, и в их именно час. И этим именно ты больше себя: что ты там, в произведеньи, а не в авторстве. Потому что твоим гощеньем в произведеньи эмпирика поставлена на голову. Дни идут и не уходят, и не сменяются. Ты одновременно в разных местах. Вечный это мир весь начисто мгновенен (как в жизни только молния). Следовательно, его можно любить постоянно, как в жизни только — мгновенье. Нет признака, которого бы я не желал вложить в термин: откровенье объективности. Прямо непостижимо, до чего ты большой поэт! Болезненно близко и преждевременно подступило к горлу то, что будет у нас, и кажется, скоро, потому что этим воздухом я дышу уже и сейчас. Mein grösstes Leben lebe ich mit dir*. Я мог бы залить тебя сейчас смехом и взволнованным любованьем уже и сейчас, поводив по своей жизни и рассказав про ее основанья, крылья, перистили и пр., показать тебе, где в ней начинаешься ты (очень рано, в шестилетнем возрасте!), где исчезаешь, возобновляешься (Мариной Цветаевой Верст), напоминаешь собственное основанье, насильно теснишься мною назад и вдруг, с соответствующими неожиданностями в других частях (*об этом в другом, следующем письме*), начинаешь наступать, растешь, растешь, повторяешь основанье и обещаешь завершить собою все, объявив шестилетнюю странность лицом целого, душой зданья. Ты моя безусловность, ты — с головы до ног горячий, воплощенный замысел, как и я, ты — невероятная награда мне за рожденье и блужданья, и веру в Бога и обиды. Сестра моя жизнь была посвящена женщине[5]. Стихия объективности неслась к ней нездоровой, бессонной, умопомрачительной любовью. *Она вышла за другого.* Вьюном можно бы продолжить: впоследствии я *тоже женился на другой.* Но я говорю с тобой. Ты знаешь, что жизнь, какая бы она ни была, всегда благороднее и выше таких либреттных формулировок. Стрелочная и железнодорожно-крушительная система драм не по мне. Боже мой, о чем я говорю с тобой и к чему! Моя жена порывистый, нервный, избалованный человек. Бывает хороша собой, и очень редко в пос-

* Своей высшей жизнью я живу с тобой (*нем.*).

леднее время, когда у ней обострилось малокровье. В основе она хороший характер, когда-нибудь в иксовом поколении и эта душа, как все, будет поэтом, вооруженным всем небом. Не низостью ли было бы бить ее врасплох за то и пользуясь тем, что она застигнута не вовремя и без оружья. Поэтому в сценах — громкая роль отдана ей, я уступаю, жертвую, *лицемерю* (!!), как по-либреттному чувствует и говорит она. Но об этом ни слова больше. Ни тебе, ни кому другому. Забота об этой жизни, мне кажется, *привита* той судьбе, которая дала тебя мне. Тут колошмати не будет, даже либреттной. Мои следующие письма будут скучны тебе, если ты не со мной сейчас, и не знаешь, кто с кем и почему так переписывается. О Rilke, куске нашей жизни, о человеке, приглашающем нас с тобой в Альпы будущим летом[6], — потом, в другом письме. А теперь о тебе. Сильнейшая любовь, на какую я способен, только часть моего чувства к тебе. Я уверен, что никого никогда еще так, но и это только часть. Ведь это не ново, ведь это сказано уже где-то в письмах у меня к тебе, летом 24-го года, или может быть весной, и может быть уже и в 22–23-м. Зачем ты сказала мне, что я как все? Ты ломилась? Зачем ты так заносишься в униженьи? И униженье нарочитое и заноситься не надо. Ты ломилась? Ты правда так думаешь? А я как раз в фатальных тонах все это воспринимаю *оттого только*, что такого счастья руками не сделать и вломом не достать. Ну куда б я мог вломиться, чтобы сделать тебя? Чтобы вызвать тебя на свет в один час со мною? Руки твои и свои я знаю, хорошие руки, но и воспоминанья стоят предо мной и воображаются твои. Сколько сделано людей, сколько в отрочестве объявлено гениев, доверенных, друзей, единственных, сколько мистерий! Отчего их так много? Не оттого ли, что по детской глупости *работалось* постоянно одно, то именно «ты», которое оказалось налицо, и это одно поролось за работой, за гнилостью нитки, за гнилостью затеи. И вот вдруг ты, несозданная мною, врожденно тыкаемая каждым вздрогом, преувеличенно, то есть /Во весь рост[7]. Что ты страшно моя и не создана мною, вот имя моего чувства. А я, говоришь, как все? Значит, ты создала меня, как их? Тогда за что ж ты не бросаешь меня и столько всего мне спускаешь? Нет, ты тоже не создавала меня, и знаешь, насколько я твой.

Всю жизнь я быть хотел, как все,
Но век в своей красе
Сильнее моего нытья
И хочет быть, как я.

Это из «Высокой Болезни», которую я, за вычетом этого четверостишья, терпеть не могу.

Как удивительно, что ты — женщина. При твоем таланте это ведь такая случайность! И вот за возможностью жить при Debordes-Valmore[8] (какие редкие шансы в лотерее!) — возможность — при тебе. И как раз я рождаюсь. Какое счастье. Если ты еще не слышишь, что об этом чуде я и говорю тебе, то это даже лучше. Я люблю и не смогу не любить тебя долго, постоянно, всем небом, всем нашим вооруженьем, я не говорю, что целую тебя, только оттого, что они падут сами, лягут помимо моей воли, и оттого, что *этих поцелуев я никогда не видал.*

Я боготворю тебя.

Надо успокоиться. Скоро я напишу тебе еще. Спокойнее, как раньше.

Когда перечитываю письмо, — ничего не понимаю. А ты? Какое-то семинарское удручающее однословье!

Впервые: «Дружба народов», 1988, № 6. — Автограф (РГАЛИ, ф. 1991, оп. 3, ед. хр. 159).

[1] Машин. «*Поэмы Конца*» Пастернак получил от библиографа Румянцевской библиотеки и историка литературы И. Н. Розанова. Посылая 6 апр. 1926 поэму Пастернаку, Цветаева удивлялась: «"Поэма Конца", которая *вся* на паузе, без знаков препинания! <...> И то, что ты полюбил ее *такой*, с опечатками (важен каждый слог!) без единого знака (только они и важны!) <...>. То, что ты прочел ее — вот ЧУДО» (Цветаева. Пастернак. Письма 1922–1936. С. 166).

[2] Пастернак читал «Поэму Конца», разошедшуюся в списках вместе со вскоре полученным «Крысоловом» многим знакомым. Е. Николаева спрашивала М. Шкапскую: «Читали ли Вы Цветаевой "Поэму Конца" и о флейтисте? У нас это ходит по рукам. Получил Пастернак — а там и пошло» (8 сент. 1926. РГАЛИ, ф. 2191, оп. 1, ед. хр. 101).

[3] Здесь название Сивцева Вражка употреблено для обозначения среды московской интеллигенции, проживавшей в переулках Арбата и Пречистенки. М. Цветаева в Сивцевом Вражке жила в 1911-м, Пастернак в 1917–1918 гг.

[4] Рассказ Л. Н. Толстого, который часто приводил его в разговорах. См.: Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников. М., 1955. Т. 1. С. 232 (Г. А. Русанов); С. 334 (С. Т. Семенов); Т. 2. С. 179 (Д. П. Маковицкий). Записала его Т. Л. Сухотина-Толстая («Воспоминания». М., 1976. С. 430); вспоминал об этом и Л. О. Пастернак («Записи разных лет». М., 1975. С. 181).

[5] Елене Александровне Виноград.

[6] Пастернак задумывает план совместной с Цветаевой поездки к Рильке.

[7] Цитата из «Поэмы Конца»: «То, что вчера по пояс / Вдруг — до звезд (Преувеличенно, то-есть: / Во весь рост)».

[8] Французская поэтесса конца XVIII — начала XIX в., прославившаяся стихами о неразделенной любви.

288. М. И. ЦВЕТАЕВОЙ

27 марта 1926, Москва

27/III. 26

Дорогая Марина, вспоминаю вчерашнее письмо с ужасом. Я хотел тебе дать понятье о своем счастьи, а написал тяжелую диссертацию об объективности. Опять наверное отобрал червей[1]. И вот снова это начинается. Что ж, это законно. Жизнь на расстояньи — платонизм. Платонизм — философия. Вот почему, когда у меня часто бьется сердце по тебе, я философствую. Когда обыкновенно в жизни говорят *мой друг*, то это равносильно твоему «Дитя годовалое: "дай" и "мой"»[2]. Мое горе, мой тип, мой талант, мое воспоминание, моя мать — звучат иначе и значат другое. Так звучишь ты, мой друг, без эгоизма присвоенья и прихоти, целиком от рожденья погруженная в чистый и негромкий трагизм слова «мой», как типическая сила моей жизни, как моя особенная и единственная смерть. Я думаю, мне легче будет с тобой, чем было бы с Богом. Ты общая сила, а не частность, ты поэт и артист, все отвлеченья от случая сделаны тобой давно, девочкою, ты — самопреображенная, генерализировать жизнь за взглядом, за беседой с тобой не надо, тут чистый разговор, тут две повести самопреображенья поверяют себя друг на друге, тут счастье, которому равного нет, — такая ты большая, такая большая. Я предвосхищаю встречу с тобой как счастье *предельной простоты*, какой не бывает даже в детстве со своими, а только в детском одиночестве, когда самостоятельно построенная физика неведенья не взорвана непрошенным просвещеньем. Мы-то с тобой знаем (как мало людей наблюдает себя и жизнь в час этого детского взрыва), мы знаем, *что и просвещенье разлетается вдребезги* в общем взрыве. Потом строют из общих и смешанных обломков вторую физику, навсегда свою, зацементировав бессмертием. Нов и смешан матерьял, замысел стар и первозданен, как до взрыва.

В эту неделю я тебя не полюбил больше, такой возможности на свете нет, я только как-то свихнулся. Меня подцепило мной самим, мне казалось, что жизнь моя закатилась неведомо куда, поглощенная до неразличимости общей историей дня, лицом существованья. Моя тяга к истории, к современному эпосу была бессознательной тягою к названной утопленнице. И оказывается эта загадочная личность жива, она отделена от меня расстояньем, временем, нищетою (ты не понимай последнее буквально, но для того, чтобы все уладить, у меня денег пока нет), она далека еще,

но о ней доходят вести, и я знаю, в каком направленьи к ней ползти. Тут я не о тебе только говорю, но и о себе и о многом.

Но вот опять растет диссертация. Поговорим о другом. Насчет «Крысолова» и всего, что у тебя есть нового, написанного за границей (за исключением Разлуки, Ремесла, Царь-Девицы и Молодца) произвел попытку, написал в Париж секретарю Раковского Корнелию Зелинскому[3]. Ты ведь страшная, ты что-то писала и говорила[4]. Написал ему в форме лаконической просьбы, категорически и просто, установив уровень факта. Думаю, твое медузоподобье его не остановит и он к тебе зайдет. Тогда «Крысолова» и что найдешь еще нужным, дай в двух-трех экземплярах, для показа, когда тут нужно будет. (Не на Арбате, там и без того любят, а в сердце времени, под пружиной, в царстве препятствий.) — Фома Аквинат на службе у романтики может быть хорошо, но существо мысли не устраняет ее относительной, историко-литературной формы. Ты не историко-литературна, ты не часть, не отрезок в калейдоскопе субъективностей. Я свои слова о тебе люблю больше. Ты объективна, ты главным образом талантлива, — гениальна.

Последнее слово зачеркни, пожалуйста. Его не должно быть в твоем лексиконе. В личном употреблении это галерочное, парикмахерское слово. Когда я с ним сталкивался, мне становилось не по себе, как, вероятно, и тебе. Его когда-нибудь о тебе скажут или не скажут. Все равно, не отрицательная гадательность шанса, а положительная загадочность слова висит всегда над тобой воздушною крышей, под которую, год за годом, ты выводишь свою физику. Важно то, чем ты занимаешься. Важно то, что ты строишь мир, венчающийся загадкой гениальности. В твои дни, при тебе, эта крыша растворена небом, живой синевой над городом, где ты живешь, или который за писаньем физики воображаешь. В другие времена по этому покрытью будут ходить люди и будет земля других эпох. Почва городов подперта загаданной гениальностью других столетий. Она небесна в своем историческом происхожденьи. И опять диссертация! Как от этого отделаться! Но еще два слова о Фоме. Прошлый месяц я задумывал статью о поэзии, на примере нескольких поэтов[5]. В предварительной росписи, что́ о ком, значится. Блок — дух времени, история, стиль, общество. Цветаева — талант, объективность. Гумилев — стихотворенье (борьба с субъективностью оружием культуры). Асеев — идея (дух содержанья, облик автора, Шиллеровская гуманность). Талант, артистизм, запущенная в самый характер бесконечность, владенье мигом, — вот ты по преимуществу. Никогда впрочем, эти замыслы (это я о статье) не при-

водятся в исполненье. В статье о тебе, которую для «Русского Современника» писал некий Вильям[6], милый молодой философ, говорилось о тебе, как о редком случае, когда говоря о поэте, приходится говорить о поэзии. Ты именно не особенная, как не особенный и Рильке. Т. е. тут та предельная оригинальность, которая свойственна всей области, как ее принцип. Но довольно, опять диссертация. Диссертацией была и статья В<ильяма> и ее ему вернули. Прости, прости. И тебе эта страница верно надоела и мне не нужна.

Ты с грустью говоришь, что мне о тебе нечего помнить и нечего от тебя ждать (Лондонское письмо[7]). Не было за эти четыре года такого случая, когда бы эти слова были справедливы. Они безусловно абсурдны. Но они были относительно правдоподобны в тот день, когда ты еще их писала. Что же произошло. Вообрази отъезд человека. Его редкое, предельное волненье сплошь состоит из быстрых, утилитарных, целесообразных мыслей и действий. Он смотрит на часы и у него бьется сердце. Он старается втиснуть в чемодан нужное, и видит прошлое. Когда он несется на вокзал, воображая, что боится, как бы не опоздать, он на самом деле видит то, чего еще не может видеть: дорогу, место назначенья, будущий год. К чему эта проза? Чтобы напомнить тебе, что предел волненья и одурелости не Дон-Кихотство, а буря соображенья, пучок целесообразностей. Вот что происходит со мной сейчас.

Я многое понял из того, что знал. Я нашел имя тебе и тому, чем был сам, и своей жизни и судьбе. И так как в эти дни такая именно толчея стоит у меня в голове, мыслей невпроворот, то тебе не надо прибавлять, что делается в сердце.

Я понял, что недооценил судьбы. И рад. Было бы хуже, если бы я переоценил ее. Я не знал, что она так угрюма и меланхолична оттого, *что такая счастливая.* Недооценив ее, я подавил в себе ребенка и поэта. Этим я стал заниматься с 19 года. Мне это так быстро не далось, как другим, сильнейшим (Маяковскому, например). Мне стало удаваться это только последний год (Спекторский, 1905 год, историзм, породненье с общественностью, Пастернак стал понятен, борьба с тобой, ответы на твои письма). Теперь я понял, что старая дорога свободна, что мне *не обязательно* находиться в детской времени с лепетом, общественнической погремушкой, понятностью и пр. и пр. Однако эту льготу надо было увидать в судьбе. В личную прихоть я не верю, я не ницшеанец, не эстет, не сверхчеловек. Но судьба это зелень, лето, правда тепла, правда породы, замысел ботаники. С души воротило, я верил времени, что эту касторку надо пить, шесть лет оттягивал, наконец

решился, стал готовить кофе с лимоном (1905 г.), вдруг входит огромная, удивительная судьба, как мать, и говорит, что эту дрянь надо вышвырнуть в окошко. Надо было прочесть Поэму Конца, чтобы увидать, что большая поэзия жива, что, против ожиданья, можно жить. К Поэме Конца присоединился еще один факт, тоже родом из большой поэзии. О нем после[8].

Когда летом 1917 г. ко мне в Нащокинский пришел знакомиться И. Г. Эренбург, то сделал он это по совету Брюсова. У нас ничего не вышло. Мне некоторые его стихи понравились, я же ему был совершенно чужд. Первого же моего ответа на его вопрос о том, кого или что я люблю, он совершенно не понял. Я сказал: больше всего на свете я люблю проявленье таланта. Он ответил, что именно этого-то он и не любит, и из слов его я понял, что ему представляется, будто он наткнулся на эстета и разубеждает его. Существо «Сестры моей жизни», главные стихи были тогда уже написаны. Я всех чуждался, я знал, что́ это такое, но лето было заряжено такой непомерной чувствительностью, я так любил в каждой грозе, в каждой уклончивости моей знакомой, в каждой внезапной поездке к ней в Балашовский уезд[9] проявленье таланта, что замыкался единственной силой этого тока. К Цейтлиным я попал после конца, после «Разрыва»[10]. Я не знал, кто рядом со мной. Я не знал, что рядом со мной сидит то, что я еще тогда любил больше всего на свете[11], то именно, чем я отшатнул И<лью> Г<ригорьевича>. И чудесно, что я еще тогда этого не знал. Тогда было невозможно, тогда все было бы погублено. После этих дат или годом позже, я повел не свой, насильственный, педагогический образ жизни. Я стал рвать со всем прирожденным во мне, стал учиться людскости, равнодушью. Я совершенным дураком поехал за границу в 1922 г. Уезжая туда, я смутно искал именно того, что сейчас на меня валится. Вот смысл восьмилетья.

Мне придется продолжать 1905 г. и книжку закончить. Тут я хотел о планах несколько слов. Но вот что. В искаженьи, понесенным жизнью за эти 8 лет я никому никогда не лгал. Я сдержу перед всеми слова, данные за этот срок. Я не умею писать письма. Но ты знаешь все. Больше тебе писать так я не буду. Рамка чуждости и заговора ложится тогда на семью. А я бы умер с тоски, если бы мне сказали, что двое этих людей из целей превратились <в> средства, и что жертвами сделал их я.

И пойми, что это не от тебя, не от твоего *ты*, не от твоих писем, а от потрясенья, от того, что́ во мне. Оттого, что я понял, что больше всего на свете люблю проявленье таланта.

Нынешним летом я хочу отправить жену и ребенка за границу к сестре (Мюнхен). Я не поеду. Я надеюсь вырваться через год, и, разумеется, к тебе и с тобой к Рильке. Давай опять переписываться по-старому. Прости за двойственность и если думаешь, как все, что лицемер, то порви со мной.

Впервые: Цветаева. Пастернак. Письма 1922–1936. — Автограф (РГАЛИ, ф. 1190, оп. 3, ед. хр. 159).

[1] В письме 4 марта 1926 Пастернак признавал подмеченную Цветаевой верность своей черты «отбора червей» специально для нее. Цветаевское определение стоит в связи со стихами из поэмы «Девятьсот пятый год» о «порченном мясе» как причине восстания на «Потемкине».

[2] Строка из «Поэмы Конца».

[3] Христиан Георгиевич *Раковский* в 1926 г. был зам. наркома иностранных дел и послом во Франции. *Корнелий Зелинский* — литературный критик из группы конструктивистов. См. письмо № 290.

[4] Для советского критика Зелинского Цветаева была *страшной* потому, что *писала и говорила*, то есть открыто заявляла о своей приверженности Добровольчеству. — Вероятно, имеется в виду ее недавнее выступление на вечере 6 февраля 1926 г., где Цветаева читала «Лебединый стан», который в советской критике нес устойчивое определение «белогвардейской книги» (там же. С. 170).

[5] О желании «построить большое, серьезное зданье в виде статьи..» см. письмо № 278.

[6] О статье Н. Н. Вильяма, посвященной поэзии Цветаевой и отвергнутой журналом, см. в письме № 228.

[7] Пересказ слов Цветаевой из письма, посланного из Лондона.

[8] Имеется в виду письмо от отца с известием о том, что Рильке читал его стихи по-русски и в переводе.

[9] Поездки к Елене Виноград в *Балашовский уезд* отразились в стихах книги «Сестра моя жизнь».

[10] Поэтический вечер у Цетлиных состоялся в последних числах января 1918 г., стихи зимы 1918 г. составили цикл «Разрыв».

[11] См. в «Охранной грамоте» о встрече с Цветаевой на вечере у Цетлиных: «Я не мог, разумеется, знать, в какого несравненного поэта разовьется она в будущем».

289. Ж. Л. ПАСТЕРНАК

28 марта 1926, Москва

Дорогая Жоничка! Разбойники вы там все и каннибалы! Ну где у вас воображенье! Бросить так, между строк, самый факт написанья письма Rilke к папе, и только, потом заслать его к тебе[1], с тем, чтобы потом, когда семейное употребленье из него на ме-

сте будет сделано, доставить для семейного употребленья мне, и конечно, в части, касающейся *только меня*, в столовом колечке «Боря», как одну из столь знакомых «радостей», как «Олю похвалил Мар», «Шуру — Мендельсон» и даже, и даже, и даже «папу написал Коринт»[2]. Пообещать мне такую салфетку (а я еще ее и не видел, и можно себе представить, сколько тут от гамлетовского пластрона, написал же ему папа про меня «ныне проявивший себя ярко русский поэт»[3], воображаю, как это еще по-немецки благоухало!!), пообещать мне ее, а я тут жди, улыбайся от счастья (а я так вот ревел и спать не могу третью ночь, потому что тут не «Коринт» и не «похвалил»), ходи в уборную, рэбэтай (работай, сказанное соответственно), восхищайся мальчиком, люби папу и маму и пр. и пр., а они... пришлют в следующем письме. Как мило! И «Гастона»? И мы все сядем, и Яков Максимович[4] придет.

Не знаю, что бы со мной было, если бы к этому источнику волненья, так тонко вами показанному и тотчас же любовно заслоненному, не присоединился более открытый и более прямой, той же стихии, но не оттуда же. До меня случайно дошла ремингтонная копия одной из последних работ Цветаевой, «Поэма Конца». По счастью это волненье никем и ничем не подавлено и нашло себе выход. У меня есть ее адрес, и я написал ей, кто́ она и что́ делает. Ах, какой она артист, и как я не могу не любить ее сильнее всего на свете, как Rilke. Это я тебе не с тем говорю, чтобы тебе что-то доверить, а вот зачем. Почитай ее. У тебя наверное есть знакомые в Париже, или у Феди. Попроси их прислать оттуда тебе все, что ее имеется, и почитай. Ты должна там много того же услышать, что и я. Там среди бурной недоделанности среднего достоинства постоянно попадаются куски настоящего, большого, законченного искусства, свидетельствующие о талантливости, достигающей часто гениальности. Так волновали меня только Скрябин, Rilke, Маяковский, Cohen.

К сожаленью я ничего почти из новых ее вещей этих лет не знаю. Мне с оказией привезли ее русскую сказку «Молодец», посвященную мне. Прекрасная романтика, но не то, что лучшие места в «Поэме Конца». Тут кое-что от меня. Но Боже ты мой, в какие чудные руки это немногое попало! Обязательно достань, и не для меня, а для себя одной. Все равно, послала бы, не дошло б. И тогда чувствуешь, о, в какой тягостной, но и почетной трагедии мы тут, расплачиваясь духом, играем! Такой вещи тут не написать никому. Ах какая тоска, тоска. Какой ужасный «1905 год»! Какое у

нас передвижничество!! Для чего все это, для чего я это делаю. Но постоянно так со мною не будет, ты увидишь.

Твой Боря

Поцелуй крепко Федю.

Весь мой «историзм», тяга к актуальности и все вообще диспозиции разлетелись вдребезги от сообщенья Rilke и Марининой Поэмы[5]. Это как если бы рубашка лопнула от подъема сердца. Я сейчас совсем как шальной, кругом щепки, и родное мне существует на свете, и какое!

Пришли же мне поскорее письмо Rilke. Не сердитесь.

Впервые: Письма к родителям и сестрам. — Автограф (Hoover Institution Archives, Stanford).

[1] Л. О. Пастернак писал о письме, полученном от Рильке: «Пришлем в следующий раз Лидочкой переписанные выдержки — боюсь оригинал прислать — как бы не пропало. Сейчас его Жоне отправлю — она будет в восторге» (17 марта; там же. Кн. I. С. 75).

[2] Приводятся примеры семейной гордости: похвалы акад. Н. Я. Марра работам О. Фрейденберг, или А. Л. Пастернаку со стороны известного архитектора Эриха Мендельсона, или портрет Л. О. Пастернака, написанный знаменитым немецким художником Ловисом *Коринтом*.

[3] Неточная цитата из письма Л. О. Пастернака 17 марта 1926. На самом деле в своем письме к Рильке 8 дек. 1925 он писал (по-русски): «Если бы Вы знали, как мои дети любят каждую строчку Вашу! Особенно мой старший сын Борис — прославившийся ныне и ценимый в России молодой поэт — Ваш самый горячий поклонник, Ваш самый серьезный и искренний ценитель — пожалуй, Ваш ученик и один из первых пропагандировавших Ваши творения, когда в России Вас еще не знали» (Письма 1926 года. С. 46).

[4] Я. М. Ромм — друг дома, любитель-музыкант.

[5] В письме № 288 Пастернак писал о сделанном над собой в последний год усилии «породненья с общественностью», «историзмом» своих поэм стать понятным для современности. «Поэма» Цветаевой показала ему, «что старая дорога свободна».

290. К. Л. ЗЕЛИНСКОМУ

28 марта 1926, Москва

Дорогой Зелинский!

Простите, что так: не знаю Вашего отчества. У меня к Вам большая просьба. Не могли ли бы Вы как-нибудь так переслать мне две-три книги, чтобы они до меня дошли. Спросите, если это Вас смущает, Раковского[1]. Речь идет о книжках М. Цветаевой, в

особенности о «Крысолове»[2], который, как кажется, является памфлетом на современное западное общество, на биржевиков и буржуев. Вы бы меня до крайности этим обязали. Напишите мне, не откладывая, окажете ли Вы мне эту услугу, и тогда либо я Вас попрошу зайти к ней в 19-й arrond. на Rue Rouvet, 8, либо о том же попрошу Марину Ивановну. Кажется, мы сходимся с Сельвинским[3], и есть надежда, что публичную ругань по моему адресу конструктивисты исключат из своих пролегомен и основоположений. Дружески жму Вашу руку.

Ваш Б. Пастернак

Адрес мой: Волхонка 14 кв. 9.

Если будете у М<арины> И<вановны>, то кланяйтесь ей от меня и попросите у ней все, что может дать. У меня из написанных за границей ничего, кроме Разлуки, Ремесла и Молодца, нет. Хотелось бы получить Психею[4].

Впервые. — Автограф (РГАЛИ, ф. 1604, оп. 1, ед. хр. 764). Датируется по почтовому штемпелю.

[1] Мнение полпреда Х. Г. *Раковского* должно было внушить Зелинскому смелость, чтобы познакомиться со «страшной», с его точки зрения, «белоэмигранткой» Цветаевой. Этой же цели служат социологическая характеристика «Крысолова», «советский» тон и лексика письма, разговор о полемике «конструктивистов», к которым принадлежали Зелинский и Сельвинский, с «лефовцем» Пастернаком.

[2] Марина Цветаева. «*Крысолов*». Прага, 1925.

[3] См. в письме № 280 похвалы Сельвинскому, стихи которого печатались в «Верстах».

[4] Марина Цветаева. «*Психея*. Романтика». Берлин. Изд. З. И. Гржебина, 1923.

291. РОДИТЕЛЯМ

29 марта 1926, Москва

Дорогие мои! Ну же где обещанный Рильке? Не мило ли это! «Мы не знали, что это тебя так взволнует»? Папа написал о письме Рильке в коротенькой приписке (переписываю точно)... радостное письмо, радостное потому, что он о тебе, Боря, с восторгом пишет... и недавно читал и пр.[1] И? Значит он и раньше читал, может быть, в оригинале, что для меня дороже?[2] Тысячи загадок и молчанье. И потом окажется, что какая-нибудь фраза одна, имеющая совсем другой смысл, нежели то, что из нее сделала се-

мейная фанфаронада! Это вы меня порадовать хотели? Как умно и умело, и какое знанье интимных сторон артистизма, скромных, бездонных и любящих!

Большое спасибо.

Впервые: Письма к родителям и сестрам. — Автограф (Pasternak Trust, Oxford). Датируется по почтовому штемпелю на открытке с репродукцией картины Л. О. Пастернака «Курсистка» (1906).

[1] Цитата из письма Л. О. Пастернака 17 марта 1926 (там же. Кн. I. С. 75).

[2] Рильке читал Пастернака также и в оригинале. Он писал Л. О. Пастернаку: «Последнее, что я пробовал читать, находясь в Париже, были его (Б. Пастернака. — *Е. П., М. Р.)* очень хорошие стихи (в маленькой антологии, изданной Ильей Эренбургом, — к сожалению, я потом подарил ее русской танцовщице Миле Сируль; говорю "к сожалению", потому что впоследствии мне не раз хотелось перечитать их)» (14 марта 1926; перевод с нем.; Письма 1926 года. С. 47—48). В антологии «Портреты русских поэтов» (Берлин, 1922) напечатано пять стих. Пастернака 1915 и 1917 гг.

292. Л. Л. ПАСТЕРНАК

1 апреля 1926, Москва

Дорогая Лидочка! Сегодня Стелла получила от тебя письмо. Спрашиваю, нет ли мне какой передачи? Удивленный взор. Неужели папа думал, что я подхвачу его фразу о восторгах и спокойно пущусь жить с ней? Ведь можно было вовсе не писать этого? Или написать по-человечески, именно его слова, *которые мне дороги.* Это точь-в-точь, как изложить Лермонтова. Там что-то о любви. О веточке. Об арабах[1]. Документ! Документ! Мы цитируем строчки и ценим их. Переводным восторгам грош цена! Вчера письмо от Жони. Те же представленья о жизни, о человеческой душе, что и у всех. Бездна гостеприимства, и о Рильке ни слова. Это вы нарочно карикатурите, что ли? Или это ваш Aprilscherz?* Но зачем выбирать такую тему!

А если, как я убежден, «Рильке с восторгом пишет о тебе» раздуто папой из совершенно незначащей фразы, с тем, чтобы «порадовать» меня, то, ведь, я ни минуты в жизни не жил *такими* «радостями» и как ему не стыдно так меня унижать!!! Главное же это игра с интимностями высокого порядка, о которых вы по-видимому представленья не имеете.

---

* первоапрельская шутка (*нем.*).

Впервые: Письма к родителям и сестрам. — Автограф (Pasternak Trust, Oxford). Датируется по содержанию.

[1] Вероятно, имеются в виду стих. М. Лермонтова «Ветка Палестины» (1837) и «Три пальмы» (1839).

293. РОДИТЕЛЯМ

1 апреля 1926, Москва

Дорогие мои! Только что вложил открытку Лиде в Шурино спешное письмо. Мне жутко и горько от этой недельной ссоры с вами. Как бы я ни был прав, надо было все в себе скрыть или побороть. Я вас всех крепко люблю и мои слова о папе, прорывавшиеся у меня эти дни, ничем не похожи на мое постоянное чувство к нему. Забудьте обо всем, как и я забыл о его фатальной приписочке. Ничего не было, ничего не знаю, ничего не помню.

Вхожу в серую, суровую, равнодушную колею, из которой было рванулся на минуту к большому чувству. Не надо быть мальчиком, не наше это дело чувствовать, как бывало. Случайность показала мне, как я был прав, закаляя свой характер и выдерживая его под уравновешенность старости. И как дико, что я взъелся на вас за то, что вы — современные люди, — как и я, наверное.

Простите за все. Крепко целую.

Забудьте мои открытки. Я их писал в крайнем аффекте. Возьму себя в руки. Ничего не жду. Но как вы меня измучили, и чего вы коснулись, если бы вы знали!! Итак, простите меня, и да будет все по-прежнему. Папа, прости.

Впервые: Письма к родителям и сестрам. — Автограф (Pasternak Trust, Oxford).

Датируется по штемпелю на открытке с репродукцией картины Л. О. Пастернака «Купание ребенка» (1902).

294. М. И. ЦВЕТАЕВОЙ

3 апреля 1926, Москва

3/IV. 26

Мне пришло в голову, и со всей абсолютной искренностью спешу тебе это сказать, как умнице и большому человеку. Мои последние письма ни к чему решительно не должны склонять тебя. Они тебя не связывают ответом. Я не жду его. Это должно тебе быть известно вот зачем. Наверное ты работаешь, у тебя есть пла-

ны, и, при всей неизвестности, время тобой уже предупреждено целиком и оформлено наперед предвосхищеньем себя самой за работой. Так вот, непредвиденность моих писем не должна нарушать твоей формы, и ты не была бы той, которой я писал, если бы это случилось. Но ты окончательно не была бы собой, если бы поняла меня так, что я пекусь как-то где-то о твоем ---* отношеньи ко мне, о его непроизвольности.

Если б не дурная форма моих писем, они бы не нуждались в этом торопливом и запоздалом добавлении. Но они в нем нуждаются. Именно этим они и плохи.

Я боюсь, что в них есть принужденье к отклику, что они приглашают к соответствию, и что за их чтеньем может показаться, что на них надо ответить и даже может представиться, чем. Неужели они до такой степени отвратительны?

Когда это происходит с людьми случайного и с неба валящегося типа, то такое подчинение предъявленному чувству подымает их и облагораживает. Тебе же, живому источнику формы, со своим особым строем *душевно допущенной* случайности — это просто вредно и опасно. В конце концов это прилив именно той неискоренимой жалости, за которую нас не без поверхностного правдоподобья зовут лицемерами[1], не зная, как это щепящее нас самопожертвованье чисто. Итак, не отвечай мне, пиши Цветаевские письма о себе и о деле, думай вслух по своей линии или вовсе не пиши, если тебе теперь не до того. Если эта просьба застанет тебя за работой, ты ее поймешь; если нет, она обдаст тебя холодом.

Теперь о деле. Ответь, пожалуйста, на прилагаемую анкету[2]. Воображаю, что ты переживешь при взгляде на этот анемично-водянистый, анилиново-отсутствующий опросник, живое воплощенье советской барышни, страдательного винта в перетершемся механизме, восходящем к Ржевскому, к дровам и пшену[3], — истлевающий оттиск истлевшей бабочки, не дающей и отдаленного понятья о гусенице-прародительнице! — Писать о тебе будет Д. С. Усов, тебя очень любящий[4]. Он и обо мне пишет, и о Блоке, и об Ахматовой, и не помню еще о ком. Сведенья давай в какой угодно пропорции, т. е., если ты в ударе и это тебя ни от чего не оторвет, воспользуйся после многих отклоненных случаев этим вновь представляющимся написать автобиографию, если же это не в твоем плане сейчас, отвечай коротко и только на что захочешь. Мне, при устном опросе, он изобразил работу со-

---

* Так в письме.

ставителей как нечто до крайности упрощенное. Это будет, по его словам, сборник сухих справок, воздерживающийся от характеристик, философствованья и оценок. Но, может быть он боялся приступа откровенности у меня и наклеветал на словарь из страха многословья? Не знаю. Во всяком случае отвечай как хочешь, но ответом не задерживайся, он ему нужен через две недели. Пришли по моему адресу, так он предложил. Еще что-то хотел сказать. Да, Потемкина, если по-твоему сто́ит, перепечатайте, — он уже напечатан. Гапон (мне 14 лет), конечно лучше, но он еще не появлялся в печати, хотя запродан с осени. А без Гапона, боюсь, Потемкин — басня. Только не перепечатывайте старья, вроде Матроса и пр.[5]

Да, о главном забыл. Издательство «Новая Москва» выпустило антологию поэтов XX в. по принципу составленья хрестоматии, т. е. составители, Ежов и Шамурин, собрали огромный том из безвозмездных перепечаток[6]. Издательство не только не задумалось о доле гонорара перепечатываемым, но даже не сочло нужным послать им вышедшую книгу. Она стоит 15 руб. и, разумеется, никому из нас недоступна. Я ее в глаза не видал. Кириллов и Герасимов[7] подали на «Нов<ую> Мос<кву>» в суд и выиграли процесс[8]. Суд присудил издательство к выплате гонорара по 50 к. за перепечатанную строчку. Основываясь на этом прецеденте, новый полноправный профсоюз писателей (секция работников просвещенья) собирается доправлять по каждому внесенному заявленью следуемое заявителю. Тебе выходит сумма около 90 руб. Ты сделай вот что. Пришли Асе доверенность на полученье следуемых тебе с «Новой Москвы» денег за перепечатку и т. д. и т. д.

Я в эти деньги не особенно верю. Но доверенность Асе пришли. Она удивляется, что от тебя нет писем.

Это не письмо. Это сопроводитель советской барышни. Как тебе работается. Заходил ли к тебе Зелинский?[9] О себе, о работах и пр. напишу вскорости.

Впервые: Цветаева. Пастернак. Письма 1922–1936. — Автограф (РГАЛИ, ф. 1190, оп. 3, ед. хр. 160).

[1] Цветаева, болезненно переживая аналогичные обвинения, живо отозвалась на эти слова: «А о жалости мне не говори — всё знаю, до таких дон, днищ, днъ (потому что — тройное дно!). Самая бездонная из бездн. Тебя в лицемерии, а <меня> в нещадности» (там же. С. 171).

[2] Приложена анкета Кабинета революционной литературы ГАХН с биографическими вопросами. Био-библиографический словарь, для которого собирались эти сведения, остался неизданным.

[3] То есть относящийся к первым годам послереволюционной разрухи. *Ржевский* переулок — между Поварской и Арбатом.

[4] Поэт Дмитрий Сергеевич *Усов*; статьи не были написаны, работа над словарем оборвана.

[5] Разговор о включении стихов Пастернака в журн. «Версты». Предпочтение отдается главе из поэмы «Девятьсот пятый год» «Бунт на Потемкине» («Морской мятеж»), потому что она уже напечатана в «Новом мире» (1926, № 2), тогда как отданный в альм. «Пролетарий» «Гапон» («Детство») задерживался с публикацией. *Старьем* названо стих. «Матрос в Москве» (1919).

[6] «Русская поэзия XX века: Антология русской лирики от символизма до наших дней». Составители И. С. *Ежов* и Е. И. *Шамурин*. М., 1925. См. письмо № 302.

[7] Владимир Тимофеевич *Кириллов* и Михаил Прокофьевич *Герасимов* — поэты группы «Кузница».

[8] См. письмо № 300.

[9] См. письмо № 290.

295. М. И. ЦВЕТАЕВОЙ

4 апреля 1926, Москва

4/IV. 26

Вырывается. Пишу во всей рискованности (отрывистости). О как я люблю тебя! Так просто, так соответственно, так, как ты меня, так вот. Вот я, вот Цветаева, вот моя работа, вот ее, вот мой порыв к ней, вот ее пониманье, вот ее диапазон, обнимающий как раз столько, сколько надо, чтобы спутать с самим собой, вот ее душа вынута из тела, вот моя (и мои времена и я в других людях и государствах), и вот она с ней, и не стыдно, а как раздеты! Я так люблю тебя, что даже небрежен и равнодушен, ты такая своя, точно была всегда моей сестрой, и первой любовью, и женой, и матерью, и всем тем, чем была для меня женщина. Ты та женщина.

Сейчас от младшей сестры из Берлина вырезка из немецкой газеты, статья какого-то профессора Diederichs'a, и копия письма Rilke к отцу со словами обо мне[1], и в ответ на эту любовь — благодарность тебе и слова, о как я люблю ее, Марину, охватывающую: и младшую сестру и мать, и горизонт и все, что случится, *знающую все так, как надо знать, как мне кажется, надо знать.* И пусть они все существуют, милые, отдельные, сыгравшие свою роль в этой, под тебя глядящей жизни, пусть живут дальше и продолжают играть свою роль и будем ласковы к ним отдельным, будем печься об их здоровье, желать им успеха и их любить, моя вся, моя общая, моя как жизнь умная, одухотворенная, умелая! Обнимаю и целую, как обнимают такое.

Послать так? Или записать листок? Тогда это два письма. Первое тут кончается. Больше нечего сказать. Мое счастье матерьяльно: оно в лицах, в случайностях, в стихах (только одна поправка: в таких, как были когда-то, о не в «1905»! — и какие будут), *в смене* антипатических и симпатических небес (слышишь: *в смене*; одни бы симпатические не дышали), в ворочаньи родины с боку на бок, то спиной, то лицом к тебе, в бесприкрасной, в пиджаке и с начинающейся проседью, деятельности, — мое счастье с провиденьем матерьяльно, мое счастье с тобой не одно духовидчество, мы где-то что-то с тобой уже делаем. Надо доехать. Не попрекай меня «инословьем». Не лови на метафоре! Ты — на метафоре?! Половина метафор сбылась. Я их знаю. Я знаю, как они дышат и как призраками глядевшись в окна, людьми входят потом в дом. Я не зря не еду тотчас на запад. Но к чему я все это говорю, ты ведь знаешь. Это не два письма, а одно. Как твой Есенин?[2] Долгое, подробное признанье со страшным концом о том, как я был с ним связан, сделаю тебе при встрече. Это была символическая драма. Теперь не до нее, да и это в глаза надо смотреть, когда рассказывать. Теперь не до нее, судьба ее доиграла. В момент, когда я на людях в кино, на постановке «Потемкина» (совпаденье до точности с моей трактовкой)[3] узнал о его самоубийстве, ужаснулся, и самое ужасное признанье вырвалось вслух. Третьяков сказал «на том свете сочтетесь». Нет. Я его больше не увижу никогда. Те светы у нас будут разные. Дай мне руку на весь тот свет[4].

Спасибо за гравюры Холлара. Это, верно, в ответ на «спиритическое письмо»?[5] Большое спасибо. Не пиши мне, работай. На адресе твоя рука, и слава Богу.

Впервые: Цветаева. Пастернак. Письма 1922–1936. — Автограф (РГАЛИ, ф. 1991, оп. 3, ед. хр. 160).

[1] Л. Л. Пастернак прислала выдержки из письма Рильке с его словами о стихах Б. Пастернака, которые он читал в переводе Извольской и порусски в антологии 1924 г.

[2] Намерение Цветаевой написать поэму о Есенине.

[3] Кинофильм «Броненосец Потемкин» Сергея Эйзенштейна.

[4] Строчка их стих. Цветаевой, обращенного к Пастернаку: «Русской ржи от меня поклон...».

[5] Серия из 15 открыток с гравюрами Лондона до Великого пожара работы чешского художника Вацлава Холлара: «W. Hollar (1607–1677). London Before the Great Fire. 15 pictorial postcards» была послана Цветаевой отдельной бандеролью (*на адресе твоя рука*) в ответ на «*спиритическое письмо*» № 283. После известия о пропаже писем Цветаевой Пастернак передал эти открытки «на хранение» А. Крученых 26 нояб. 1943: «Я запи-

сываю это на одной из открыток с гравюрами старого Лондона Вячесл. Голара из серии, подаренной и присланной мне Мариной из Лондона в апреле 1926 г., когда она была там...» (РГАЛИ, ф. 379, оп. 2, ед. хр. 104).

296. РОДИТЕЛЯМ

5 апреля 1926, Москва

Дорогой, дорогой папа! Я не успокоюсь, пока ты не скажешь, что не сердишься на меня, что меня простил и любишь[1]. Не пиши мне письма, это трудно, а только вот эти три слова: простил, не сержусь, люблю. Ах, эти постоянные столкновенья двух сторон жизни: справедливости, то есть мотивированности аффекта и несправедливой его адресации! Дорогой, большой, милый, черт знает сколько сделавший, ну чем ты виноват, что я такой мерзавец! Подтверди же мне, что простил. Обнимаю тебя и мамочку крепко.

Целую и вас, сестрицы мои! Ах, жизнь, жизнь!

«Сколько сцен, сколько слез, валерьяновых капель и клятв!!»[2]

И это повторилось.

Впервые: Письма к родителям и сестрам. — Автограф (Pasternak Trust, Oxford). Датируется по штемпелю на открытке с репродукцией картины Л. О. Пастернака «Жозефина и Лида» (1906).

[1] Переписанные Лидией отрывки из письма Рильке Пастернак получил 4 апр. 1926 (см. письмо № 295). Полный текст послать было нельзя из-за содержащегося в нем сопоставления страданий современной России с татарским игом и ностальгической влюбленности Рильке в «старую Россию». Отвечая на «кающиеся» открытки сына, Л. О. Пастернак объяснял, что задержка произошла из-за того, что все были очень заняты и надеялись, что Борис «погодит пару дней, пока письмо будет переписано (некоторые "несовременные" обороты его стиля не позволяли его целиком отправить...» (2–3 марта 1926; там же. Кн. I. С. 83).

[2] Строчка из посланного в письме № 285 отрывка из главы «Детство» поэмы «Девятьсот пятый год» (см. коммент. 2).

297. М. И. ЦВЕТАЕВОЙ

11 апреля 1926, Москва

11/IV. 1926

Меня больно кольнуло известие о Х<одасеви>че. Как мне избавить тебя от «стрел», направленных в меня? Может быть написать ему? Вообще я его во врагах не числил. Я даже как-то переписывался с ним, и это смешило и обижало И<лью> Г<ригорье-

вича>. Я уважал его и его работу, его сухое пониманье и его позу, которую считал временным явленьем. Мне она казалась чем-то вроде затянутости за табльдотом: съест человек новизну признанья и успеха, развяжет салфетку, отвалит в естественность, и мы его увидим в партикулярном беспорядке роста. Вот именно, я иначе представлял себе его развитье. Я и сейчас не утратил бы дружеского чувства к нему, если бы не твои слова о гадостях, которые он тебе делает из неприязни ко мне. А этому свинству уже имени нет. Он знает, как меня звать и как меня хаять. Мог бы непосредственно. И адрес мой, во всех отношеньях, ему прекрасно известен. Был бы чересчур тонок и фантастичен домысел, что, желая поразить меня в сердце, он за мишень избрал как раз тебя. Этого он вероятно не знает, хотя уже и в Берлине я говорил с ним о тебе, — горячей нельзя. Переписка наша оборвалась на его письме, написанном после смерти Брюсова[1]. Оно мне решительно не понравилось. Он повторил тупую, безглазую, бессердечную фразу о том, что мы все знаем, но что можно по-разному переживать. Для меня эта формула о Брюсове была личной трагедией и была бы таковой и в том случае, если бы он меня, как поэта, не так сильно любил. Его судьба взывала к мысли, как трагическая загадка, и в моей жалости к нему были все признаки большого путного чувства, без тени оскорбительности для него, хотя из того же чувства я готов был лгать ему. Впрочем кажется этого не случилось ни разу, хотя я не останавливаю Ж<анну> М<атвеевну>, когда она меня зовет его любимейшим учеником[2]. Та ходячая фраза, которою так легко отделался, и кто, Х<одасевич>! — в письме о своем собственном прототипе, была на устах у нас, сумасшедших дилетантов, именно в дни, когда Х<одасеви>чи закладывали основанье этой ледяной драмы. Из-за них именно и их несдержанности в те годы, *мне пришлось* сказать на поминках у Ж<анны> М<атвеевны> мучительное, судорожно-сведенное слово о том, что Б<рюсов> взывает к памяти, к *справедливости*, к историко-литературному изученью, а не к фразе о том, что он не говорит чувству. Поразительно, как идут из него тут вот Блок, там — Северянин, из переводов Верхарна — может быть, Маяковский; еще откуда-нибудь я. Ты ведь все это понимаешь? Да, а Гумилев! Главного забыл. Слова эти посеяли недоуменье среди пивших и евших. Понял, глубоко понял, что я сказал, один Рачинский и обнял и расцеловал[3]. Правда, я говорить не умею, всегда сумбурен, а тут к тому же и пили много. Остальные чуть что не попрекнули меня съеденным и питым. «А онто вас так любил», вырвалось у Ж<анны> М<атвеевны>, и я ска-

зал ей, что об этом никто не пожалеет, ни она, ни его память. Тут хотели медовой ходячей фразы в противовес ходячей желчной и удивились, ее не услыхав. А вскоре я получил письмо с ходячею желчью. На это письмо, может быть и по случайности, я ему не ответил, и переписка замерла сама собой. По отношенью к Х<одасевичу> точно так же, как и в отношеньи Брюсова, я всегда готов сдерживать всякий натиск ходячей фразы. Я не знаю, что его взвинтило против меня. Надо владеть техникой, надо быть умницей, надо чуждаться пошлости и смешного, надо уметь работать. Достоинства всего Х<одасеви>ча в целом составляют необходимую частицу минимального художнического идеала. Но ты представляешь себе, что бы случилось с зауряд-дураком, свались на него задача написать Гамлета. Из положенья, что это должна быть лучшая драма мира, а это положенье дураку было бы обязательно известно, он вывел бы заключенье, что писать ее нужно в условьях, в каких писались лучшие драмы мира, т. е. что для этого надо заразиться Эсхиловым кашлем пятого века и пр. и пр. Шекспир же знал, что это надо написать по возможности *дома*. Х<одасеви>ч далеко не этот дурак, надо отдать ему справедливость. Но драма этого дурачества и всех его заблуждений настолько перевита с культом старого мастерства, что только редкие уходят с собственным лицом со школьного маскарада. Только случайность, может быть, какая-нибудь особенность судьбы позволяет в настоящем свете увидать *естественную* панораму культуры, ту воздушную перспективу ее сырого величья, благодаря которой и держится ее сухой валютный курс. Это ты понимала еще ребенком. «Неповторимое имя Марины, Байрона и болеро». (Цитата неподходящая, но хочу напомнить то стихотворенье[4].) Тут-то и обозначается граница В<ладислава> Ф<елициановича>. Он не знает, что кроме сырости беспомощности, есть сырость силы, сырость большой, трудной формы. А может быть и знает, да не хочет знать. Между тем эта линия отделяет большое явленье от малого. Первое приходит со своей природой, с обозом своих шорохов и тайн. Оно с провиантом, у него обеспечен тыл. Но даже и в этом отношеньи я о Х<одасевиче> никогда ничего обидного не говорил. Если даже до него дошли мои слова о нем, сказанные зимой его первой жене, А<нне> И<вановне>[5], то и в них нет ничего дурного, они сказаны с сожаленьем и доброжелательством. Я сказал, что он жертва типического заблужденья, овладевающего большинством в стадии мастерства. Между прочим и Ахматова, отнюдь не футуристка, и

не только допускающая заимствованья, а по-видимому в изученьи поэта видящая только исследованье его источников[6], и та согласна со мной, что убежденье, будто на улицу надо выходить Тютчевым, чтобы воспринимать зелень, не может быть моралью артиста. Кроме того это всегда на руку Овсянико-Куликовским[7]. Их ученый кругозор ограничен портфельной кожей, сорт которой так же произвольно связан с именем Пушкина, как городские улицы и скверы, пароходы или иные сорта карамели. Важно то, что кожа эта выделывается в честь Пушкина точно так же, как Ленинград стоит именем Ленина. И вот, тебе хорошо известны их восторги, когда в Возмездии начинает чувствоваться легкое потрескиванье ямбической инерции, или когда в поэме Белого[8] ее треск совершенно оттесняет автора, или когда вдруг это происходит даже со мной (вот захлебывались Сакулины[9] (Высокая Болезнь)), или когда Есенин просто поселяется в Сакулинском портфеле, т. е. не только принимает его поздравленья, но и сам готов себя поздравлять с этой – утратой поэтического содержанья. Но довольно о Х<одасевиче>. Просто удивительно, что я так много о нем говорю. Может быть бессознательно я хочу тебя настроить на примиренье с ним. Помнится, он ко мне и к тебе хорошо относился. —

Шмидта дописал до половины. Думается, недели через 2–3, пред тем как сдавать, пошлю на твой высокий суд (если кончу). Уже определилось, что он ниже... посвятимости тебе[10]. Его поэтический уровень снижен тяжелыми гирями реализма, психологической правды и пр. Правда все это поднять нелегко. Только надо ли это? Этого вопроса не разрешить. Очередная работа стала перебиваться налетами внезапных состояний полу-диктанта, бессонниц со слушаньем стихов, относительно которых не всегда уверенность, что — свои, как в Сестру мою жизнь (acc<usativus> temporalis* = в пору, в среду). Боюсь сглазить, кажется дождался года, которого ждал восемь лет. Завел, как тогда, для таких инстинктивных записей — толщенную тетрадь in folio. Вообще такие состоянья люблю, — болезненное блаженство, но к их документациям отношусь с постоянным подозреньем. Т. е. тут могут быть редкие проблески. Но это совсем особый жанр. Такие вещи надо накапливать. Когда их много, выясняется, чего они хотят от тебя и тогда им следуешь. Каждое же в отдельности для обработки не годится. Ты спросишь, о чем я говорю? О двух категориях. Одни

---

* винительный падеж времени (*лат.*).

возникают за столом, с пером в руке. Другие в постели, за умыванъем после плохой ночи, еще как-нибудь. Из них два посылаю, чтобы до Шмидта чем-нибудь перекинуться с тобой. Одно — думал о тебе, лежал, и хорошо шло, почти как говорю. О другом два слова.

Не оперные поселяне,
Марина, куда мы зашли?
Общественное гулянье
С претензиями земли.

Ну как тут отдаться занятью,
Когда по различью путей
Как лошади в Римском Сенате
Мы дики средь этих детей!

Походим меж тем по поляне.
Разбито с десяток эстрад.
С одних говорят пожеланья,
С других, по желанью, острят.

Послушай, стихи с того света
Им будем читать только мы,
Как авторы Вед и Заветов
И Пира во время чумы.

Но только не лезь на котурны,
Ни на паровую трубу.
Исход ли из гущи мишурной?
Ты их не напишешь в гробу.

Ты все еще край непочатый.
А смерть это твой псевдоним.
Сдаваться нельзя. Не печатай
И не издавайся под ним[11].

Чтобы испытать, возможен ли на этой почве переход к настоящей прежней поэзии с воображеньем, идеализмом, глубиной и пр., я вслед за Шмидтом, прерывая работу над книгой, хочу написать... «реквием» по Ларисе Рейснер. Она была первой и может быть единственной женщиной революции, вроде тех, о которых писал Мишле[12]. Вот из набросков:

...Но как я сожалею,
Что я не смерть и ноль в сравненьи с ней.
Тогда б я знал, чем держится без клея
Людская повесть на обрывках дней.

Как я присматривался к матерьялам:
Валились зимы в мушку, шли дожди.
Запахивались вьюги одеялом
С грудными городами на груди.

Все падало, все торопилось в воду,
За поворотом превращалось в лед
Разгорячась, влюблялось на полгода,
Я даже раз влюблен был целый год.

. . . . . .

Смешаться всем, что есть во мне Бориса
Годами отходящего от сна
С твоей глухой позицией, Ларисса,
Как звук рифмует наши имена.

Вмешать тебя в случайности творенья
Зарифмовать с начала до конца
С растерянностью тени и растенья
Растущую растерянность Творца[13].

Прости бесстрашье, с каким засылаю тебя таким многословьем. Не боюсь и того, как взглянешь на рифмованный листочек. Ты, верно, тоже не придаешь значенья этим записям, *сопровождающим* естественное развитье, разделяющим их участь. Это не плоды, а процессы. Еще объясненье. Это письмо в ответ на твое двухцветное по возвращеньи из Лондона. Спасибо за себя и за Ан<ну> Андр<еевну>. Очень хороши твои замечанья о въезде в Лондон и о разочарованьи (топография слуха). И о лишенности поэтов непосредственности (нацеленность на слово — нацеленность на смысл). Конечно это так. Тут только может быть необходима та поправка, которая опять возвращает к разговору о Х<одасевиче>. Надо быть большим поэтом. Полет, рассеянность, горизонт большого умиленья, многое другое в том же роде — все это тоже непосредственность, т. е. лучше сказать, только это и есть планетарная непосредственность, из которой на разный фасон скроена отрывистая, вседневная. Тоже прекрасно и о волевом начале в люб-

ви. Безотчетно выделил все то, о чем и сам незадолго до твоего письма думал. Найдешь много и в моих. Так например о первоисточнике, это в том письме, где прошу не отвечать мне, только оттого, что к тому есть повод. — № Асина дома 18, кв. 8 (Мерзляковский пер.). — При перепечатке Потемкина набирайте в целую строфу, как в письме тебе посылал, а не с «Нового Мира», где разбита[14]. Ты видала? Не слишком ли портит впечатленье такая транскрипция?

Твой Б.

Впервые: Цветаева. Пастернак. Письма 1922–1936. — Автограф (РГАЛИ, ф. 1190, оп. 3, ед. хр. 160).

[1] В. Я. Брюсов скончался в декабре 1924 г.

[2] Жанна Матвеевна — жена В. Я. Брюсова.

[3] Григорий Алексеевич *Рачинский* — литератор, философ.

[4] Из стих. Цветаевой «Встреча с Пушкиным» (1913).

[5] Анна Ивановна Ходасевич (урожд. Чулкова).

[6] В письме № 283 Пастернак писал, что, разговаривая о Гумилеве, Ахматова «свела речь к перечню заимствований и влияний, его объясняющих...».

[7] Дмитрий Николаевич *Овсянико-Куликовский* — историк литературы.

[8] Пастернак иронизирует над «открытиями» исследователей, ограничивающихся ритмическими, аллитерационными и другими внешними формами поэмы Блока «Возмездие» или «Первого свидания» А. Белого.

[9] Павел Никитич *Сакулин* — теоретик литературы. Здесь его имя употреблено в нарицательном смысле и характеризует оценку «Высокой болезни» с точки зрения распространенной в то время социологической критики.

[10] Была окончена первая часть поэмы «Лейтенант Шмидт», которую Пастернак намеревался посвятить Цветаевой, но уже понимал, что «реализм» и «документальность» исторической поэмы встают в противоречие с ее пониманием Шмидта-романтика.

[11] Под прикрытием иронии в стих. выражено серьезное предостережение и беспокойство за Цветаеву в виду самоубийственных тенденций, выраженных в «Поэме Конца» и замысле о Есенине. Страшная подробность (5-я строфа) смерти Есенина (*паровая труба*) говорит о реальности опасений. Цветаева писала в ответ: «За стих спасибо. Если расшифр<овать> — хорош особенно конец. <...> Третья строка предпоследнего 4-стишия — зря. Мишурный — интеллигентское слово, ставшее ирреальностью. Кроме того гуща и мишурный — вразрез. Не надо. Замени. <...> Дай мои стихи без имени, — я хочу, чтобы их знали — кто знает, догадается. Ведь это, по существу, безымянно» (18 апр. 1926; там же. С. 184, 167). Стихотворение никогда не публиковалось Пастернаком.

[12] *«Реквием» по Ларисе Рейснер* под назв. «Памяти Рейснер» в переработанном виде вошел в сб. «Поверх барьеров» (1929). Стихотворение было написано по просьбе Карла Радека, мужа Рейснер, с которой Пастернак

познакомился в 1919 г. Л. М. Рейснер скоропостижно скончалась от брюшного тифа. Жюль *Мишле* — историк Великой французской революции. Цветаева писала в ответ на это стихотворение: «Первая и может быть единственная женщина революции? Ну а я — достоверно — первая и единственная обратного. И этой единственности я бы не променяла даже на *твой* Requiem мне» (там же. С. 183).

[13] «"Как *звук* рифмует наши имена". Ну что ж, Ваши как звук, а наши — как смысл. И своего имени я бы не променяла даже ради рифмы с твоим» (там же).

[14] В автографе, посланном Цветаевой 1 февр. 1926, текст записан строфами по четыре строки пятистопного анапеста, тогда как в «Новом мире» и во всех дальнейших публикациях поэмы строки разбиты на короткие интонационные отрезки. В «Верстах» была соблюдена авторская форма записи.

298. Р.-М. РИЛЬКЕ

12 апреля 1926, Москва

Великий, обожаемый поэт!

Не знаю, где бы окончилось это письмо и чем бы оно отличалось от жизни, позволь я в полный голос заговорить чувствам любви, удивления и признательности, которым насчитывается уже двадцать лет[1].

Я Вам обязан основными чертами своего характера, всем складом духовной жизни. Они Вами созданы. Я обращаюсь к Вам, как к тому, что давно случилось и стало источником всего, что произошло позже, а началось тогда. Во мне бушует радость, что я посмел быть признан Вами, как поэт, и мне так же трудно вообразить это себе, как если бы это был Эсхил или Пушкин.

Когда я пишу это, — ощущение невообразимости такого скрещения судьбы пронизывает меня щемящей невозможностью и не поддается выражению. Меня поразило чудо того, что я попался Вам на глаза. Это известие пронзило меня как током короткого замыкания.

Все ушли из дому, я остался один в комнате, когда прочел несколько строк об этом в письме Л. О.[2] Я бросился к окну. Шел снег, мимо проходили люди. Я не воспринимал окружающего, я плакал. Вернулись с прогулки сын с няней, затем пришла жена. Я молчал, — в течение нескольких часов я не мог выговорить ни слова.

До сих пор я был бесконечно благодарен Вам за широкие, бесконечные и бездонные благодеяния Вашей поэзии. Теперь я благодарю Вас за внезапное, сосредоточенное и благодетельное

вмешательство в мою судьбу, выразившееся в этом исключительном явлении. Входить в подробности значило бы претендовать на Ваше внимание, на что я никогда не решусь, пока Вы сами не позволите мне это сделать. Это значило бы также постичь цепь трагических событий истории и суметь рассказать о них, на что, вероятно, у меня не хватит сил.

Тем не менее всякий способный учиться, может усвоить из нашего жизненного опыта, что великое в своем *непосредственном проявлении* оборачивается собственной противоположностью. Осуществившись, оно становится *ничтожным* по величине и косным в своей активности. Такова наша революция — противоречие уже при самом возникновении: разрыв течения времени в виде неподвижной и пугающей исключительности. Таковы и наши судьбы, *неподвижные*, недолговечные, *зависимые* от темной и величественной исторической достопримечательности, трагические даже в самых мелких и смешных проявлениях. Однако что я говорю? То, что касается поэзии и поэта, иными словами, особого преломления света европейской всеобщности, то есть множества слитых воедино таинственных судеб современников, — что касается поэзии, то все здесь остается по-прежнему. Как раньше, так и теперь, — *здесь* все зависит от доброй воли случая, который, будучи воспринят глубоко и своевременно, создает отсутствующее преломление. Тогда все становится до глупости простым, внеисторическим и постигающим течение времени, свободным и фатальным. Тогда заново становишься поэтом, после того, как восемь лет не знал этого обессиливающего счастья. Так случилось со мной в последние дни. Перед этим долгие восемь лет я был глубоко несчастен и почти мертв, но даже и в самом глубоком унынии никогда не забывал о возвышающем трагизме революции. Я совсем не мог писать и жил по инерции. Все было уже написано в 1917—1918 году.

А теперь я словно родился заново. Тому две причины. О первой из них я уже сказал. Она заставляет меня онеметь от благодарности, и сколько бы я ни писал, это ничто по сравнению с моими чувствами. Позвольте мне сказать также и о другой причине, тем более, что для меня эти события взаимно связаны, и это касается поэтессы, которая любит Вас не меньше и *не иначе*, чем я, и (как бы широко или узко это ни понимать) может в той же степени, что и я, рассматриваться как часть Вашей поэтической биографии в ее действии и охвате[3]. В тот же день, что и известие о Вас, я здешними окольными путями получил поэму, написанную так

неподдельно и правдиво, как здесь в СССР никто из нас уже не сможет написать. Это было вторым потрясением дня. Это — Марина Цветаева, прирожденный поэт большого таланта, родственного по складу Деборд-Вальмор. Она живет в эмиграции в Париже. Я бы хотел, — простите, пожалуйста, мою дерзость и кажущуюся назойливость, я хотел бы, я осмелился бы пожелать, чтобы она пережила тоже нечто подобное той радости, которая, благодаря Вам, излилась на меня. Я представляю себе, чем была бы для нее книга с Вашей надписью, может быть «Дуинезские Элегии», известные мне лишь понаслышке. Простите меня, пожалуйста! Но в преломленном свете этого глубокого и далеко идущего совпадения, в состоянии ослепления я посмел вообразить, что истина именно в этом преломлении и что моя просьба выполнима и имеет какой-то смысл. Для кого и зачем? Этого я не мог бы сказать. Может быть, для поэта, который вечно составляет содержание поэзии и в разные времена именуется по-разному.

Ее зовут Марина Ивановна Цветаева, и живет она в Париже: 19me arr. 8, Rue Rouvet.

Позвольте мне считать Вашим ответом исполнение моей просьбы о Цветаевой. Это будет для меня знаком, что я и впредь могу писать Вам. Я не смею мечтать о прямом ответе. И без того я отнял у Вас столько времени своим растянутым письмом, заведомо кишащим ошибками и несуразицей. Начиная его, я думал лишь достойно засвидетельствовать Вам свое преклонение. Неожиданно и в который уже раз я понял, каким откровением Вы стали для меня. Я забыл, что чувства, которые простираются на годы, возрасты, разные местности и положения, не могут поддаться внезапной попытке охватить их в одном письме. И слава Богу, что забыл. А то я не написал бы и этих беспомощных строк. Лежат же исписанные листы, которые я никогда не решусь Вам послать за их многословие и нескромность. Лежат и две книжки стихов, которые по первому побуждению я собрался Вам отправить, чтобы осязаемо, как сургучом, запечатать свое письмо, и пусть лежат из опасения, что вдруг когда-нибудь Вам придет в голову этот сургуч читать. Но все становится лишним, стоит выговорить самое главное. Я люблю Вас так, как только может и должна быть любима поэзия, как культура в своей поступи славит собственные вершины, радуется и живет ими. Я люблю Вас и могу гордиться тем, что Вас не унизит моя любовь, ни любовь моего самого большого и, вероятно, единственного друга Марины, о которой я пишу.

Если бы Вы захотели меня осчастливить несколькими строчками, написанными Вашей рукой, я попросил бы Вас воспользоваться для этого Цветаевским адресом. Нет уверенности, что до нас дойдет почтовое отправление из Швейцарии[4].

Ваш Борис Пастернак

Впервые: Forum for modern language studies, Vol. VIII, 1972. University of St. Andrews. Publ. Chr. Barnes. — Автограф (Rilke-Archiv, Gernsbach — Baden). Перевод с нем.

[1] В «Охранной грамоте» (1931) и очерке «Люди и положения» (1956) Пастернак относит свое первое знакомство с поэзией Рильке к 1906–1907 гг.

[2] В приписке Л. О. Пастернака к письму 17 марта 1926 содержалось известие о получении «от Рильке очень приятного и драгоценного письма — особенно для тебя, Боря» (Письма к родителям и сестрам. Кн. I. С. 75).

[3] Понимая свою жизнь как часть «сборной, темной и бесконечной биографии» Рильке, Пастернак писал, «что истинная биография большого, векового поэта состоит в том, что делалось и случалось с людьми, его пережившими и на нем сложившимися» (письмо С. Дурылину 7 нояб. 1929). См. также «Охранную грамоту», где сказано, что биографию поэта надо искать «в биографическом столбце его последователей. <...> Область подсознательного у гения <...> составляет все, что творится с его читателями и чего он не сознает».

[4] Между Швейцарией и Советской Россией не было дипломатических отношений.

299. М. И. ЦВЕТАЕВОЙ

12–15 апреля 1926, Москва

Я получил твое письмо о переезде с детьми на море[1]. И опять совпаденья, совпаденья, совпаденья. Совпаденье нежеланья отвечать тотчас на мои письма с моей просьбой о том же, вероятно уже дошедшей[2]. Совпаденье буквальное твоих слов о герое твоей поэмы с моими собственными о моем собственном. Замечанье, которое растворится в целом, т. е. ты сейчас эту выдержку, не зная, откуда она, пропусти без вниманья: Он посвящает женщине Типические письма. *Он весь от а до ижицы* — Усвоенный разбег[3]. Совпаденье относительно Рильке. Если ты что-нибудь от него получишь, сообщи мне. Если будет что-нибудь для меня, просмотри, может быть, будет нуждаться в транскрипции. Кроме того у нас почтовых сношений со Швейцарией кажется нет. Кстати. Ты говорила раз о карточке. Попроси у Эренбурга, я ему однажды

послал. Тут заменю (полуправда — под рукою нет). Но этого не говори. Единственный раз, что я вышел, потому что снято во всех отношеньях моментально. Снимали Женю с мальчиком у фотографа, уже все было наставлено и готово, когда предложили и мне стать. Я и опомниться не успел, как вышел, т. е. удался. Был разгорячен, дело было летом, в Петербурге, мальчика на 6-й этаж нес перед тем, и на крыше под стеклом было душно[4]. Обыкновенно же выхожу кретином и гориллой, каков, не в разрезе момента, и в действительности. — Но покончим с совпаденьями. Теперь просьбы. Ради Бога, родная, удивительная, избавься от мысли, что ты *еще* обо мне не сказала, как никто, и в свой час еще это сделаешь. Гони от себя эту мысль, как и поползновенья отвечать вовремя. Во-первых, это уже сделано[5]. Во-вторых, не будь это даже так, гораздо большее, в том же направлении, делается тем, что я могу сказать тебе: я тебя не боюсь, мне с тобой вольно и просто, потому что ты гениальна.

Другая просьба. Ради Бога, не посылай ничего сыну[6]. Я до глубины души тронут тем, как ты об этом пишешь, как вообще о детях пишешь, о Георгии. И я знаю все, но ты не все знаешь, т. е. то, что ты знаешь — не все. Ты как-то спросила, отчего я о нем не пишу. Оттого, что он на руках у дома, уплотненного 4-мя семействами, оттого что у него не такая няня, какой бы я желал и какие бывали у нас; оттого что уплотненья и няня (белоруска) коверкают ему язык; оттого что мать целые дни во Вхутемасе, с утра до вечера, и в придачу к лишеньям, к которым ведет ее постоянное отсутствие, теряет здоровье; оттого что я ничего ей не могу сказать, потому что знаю, что и я бы ходил во Вхутемас и семья бы меня не остановила; оттого что всеобщая любовь делает мальчика эгоистом и баловником и умаляет его трогательность и подлинность в моих глазах, иногда видящих его иначе; оттого что моя любовь к нему испещрена примечаньями; оттого что это мое сочиненье пишется чужими руками, и я не в силах этого переделать, потому что чем шире разъезжается эта нескладица, тем больше приходится мне зарабатывать, тем меньше значит я ей принадлежу; оттого что это безвыходный круг. Вот отчего я не люблю говорить о нем. Он настолько похож на мою детскую карточку, что когда ее случайно нашли при разборке папиного архива, то выдали за снимок с него. Может быть он не так будет безобразен, как я, может быть, — только по-другому. Но все это, все это придется когда-нибудь переделать.

Третья просьба. Если в письмах, в противовес совпаденьям, у нас будут встречаться скрещивающиеся разновременные расхож-

денья, ты на них не обращай вниманья. Вот как я об этом думаю (я весь всегда в сентенциях!!). Не только у нас, но и вообще в человеческой атмосфере диаметральное разномыслие очевидный абсурд. Я не говорю о живом разнообразии мнений. Это — неприкосновенно. Но о спорности и противоречии истин. Это всегда основано на недоговоренностях, на недомолвках. Высказывается положенье так, как оно рождается в душе, сигналом, вырывающимся изнутри навстречу парящему, ширяющему *пониманью* и в расчете на его бессменное дежурство. И вот, мы живем одними тупыми, несчастными, *неудавшимися* недомолвками оттого, что даже и при желанье их развить и истолковать, с самого начала обманываемся в расчете: дежурство заслонено или оттеснено стихией посредственности. Людям в большинстве нечего сказать оттого, что им некому стало говорить, и этот отрывистый, недопонятый лай стал обычной формой душевной жизни. Бессмысленность стала ее стилем. Тебя стало быть не должно смущать, что мои слова о Брюсове в примененьи к Ходасевичу встречаются по почтовой дороге с твоим желаньем послать мне «Героя труда»[7]. Ни этот, ни подобные случаи впредь. У нас даже и всякая недомолвка значительна, и, чтобы сказать трезвее, не может быть во всяком случае ни одной, которая бы обречена была недомолвкою остаться.

14 апреля 1926 г.

Я уже начинал письмо с этой невозможной зубной болью. Это у меня в третий раз за последний год. В разгаре работы, при повышении нервной деятельности, разболевается правая половина нижней челюсти. Когда недавно флюс был — это другое, это слева. А тут все симптомы до точности повторяются. Боль благороднее зубной и невыносимей. Стоит с неудачной строфы перейти на оживающую, чтобы случился приступ. По-видимому, это воспаленье лицевого нерва. Когда, по прошествии двух недель, это мученье проходит, оно неизменно кончается странностью с левым глазом; трепетанье века, побаливанье виска, — но без дерганья, со стороны не заметное. Что за наказанье! Что мне делать? Завтра пойду сделать рентгеновскую съемку. Теперь я в апогее этой пытки. Главное, периодичность этих болей на что-то указывает, к чему-то взывает. Может быть это возмущенье нервной системы, бессильной вечно давать и давать, давно ничего не получавши. Отдыха тут мало. Я конечно не умею отдыхать. Т. е. те годы, что я ничего не делал, я докатывался до другой крайности: я утрачивал видимость душевной жизни, и такой отдых нравственно утомлял больше всякой другой работы. Но надо бы проездиться, попуте-

шествовать, побывать одному в пути, в переменах. Это все вещи, о которых не приходится и мечтать.

15 апреля 1926 г.

Это не зубная боль. Эта боль такова, что под карандашом отца она дала бы всего меня в двух линиях: правого бока челюстных салазок и левого виска. Ото всего меня остается одно это мучащееся очертанье лица. И вот, в это опустошенное болью пространство, постепенно покидаемое Шмидтом, реквиемом[8] и пр., за невозможностью писать их и обдумывать, пришло и взволновало меня письмо из Парижа от З<елинского>, из посольства, в ответ на мою просьбу прислать твои книги[9]. Если бы это еще требовалось, тут был случай понять лишний раз, как я тебя люблю, какая для меня это полная истина, предельно живая, т. е. прежде всего включающая те стороны жизни, которые кажутся не относящимися к чувству отдельных людей. Т. е. с тобой я люблю и историю, и тебя и себя в ней, и еще может быть больше, но в ее духе, как ее часть, — судьбу русского общества, родную и неясную, и требующую уясненья, но никак не того, какое до сих пор давалось с какой бы то ни было стороны.

Обрываю это письмо. Я зашел в область, о которой в двух-трех словах говорить нельзя. Может быть коснусь как-нибудь потом, в разговоре с И<льей> Г<ригорьевичем>. Ты ее тоже в письмах не касайся. Но если вспомнишь затрепанное Пушкинское: и в просвещении стать с веком наравне[10] (кажется так?), то вот круг руководящих аксиом, которые определяют мой приблизительный, незаполненный, медленно заполняющийся кругозор. Это убежденье, что настоящее живое искусство уже и в дни нашего детства было социалистическим[11]. И в силу того закона, который культуру каждой эпохи заставляет отожествлять с собою все вечные элементы предшествующих эпох, мне и Шекспир и Гёте кажутся выразителями той же ноты, подобно тому как романтикам они должны были раскрываться романтиками, символистам — символистами (я стал ужасно рассеянно писать, на каждом шагу описки). В чем я вижу признаки социалистической культуры, это разговор долгий, я может быть серьезно напишу тебе об этом и пришлю с И. Г. С этим связана и тенденция, которой проникнуты все мои намеренья. (Какая глупая тавтология!) Надо знать хорошо историю России со второй половины XIX в. до нашего времени. В большинстве и в лучшей своей части она — подпольная. Это значит, что я ее почти не знаю. Это, что гораздо важнее, значит и то, что узнать ее еще мало: в такой форме она ни тебя, ни меня не

удовлетворит. Но узнав, ее надо *подчинить той пластической, воссоединяющей со всем миром эстетике*, которою с лихвой, захлебываясь в ней и ее не заслужив, пользовалась официальная история гибнувшего государства, связываясь с миром через нашу семью, через наши нервы, наше дарованье, наше прошлое.

Не жди от меня некоторое время писем. По-видимому, мне нельзя будет писать. В здоровом состояньи и не замечаешь, что за этим волнуешься. А сейчас, точно в больном нерве ковыряешь. Приступ за приступом.

Больше никогда так писать не буду. Примусь за леченье. Главное, работу придется бросить. Посылаю как есть, чтобы что-нибудь послать.

Что ты вздумала морем поверять мои «идеалы»? Дюнами! Я горы так же люблю (Урал Люверс)[12].

Вычитай из всего, если можешь, большую нежность к большому.

Прерываю письмо окончательно. Боль разыгралась невероятная. Удовлетворись.

Впервые: Цветаева. Пастернак. Письма 1922–1936. — Автограф (РГАЛИ, ф. 1991, оп. 3, ед. хр. 160).

[1] Цветаева 15 апреля 1926 г. уехала на полгода в рыбачий поселок Сен-Жиль в Вандее: «Океан на полгода — для сына, для Али, для С. Я. — мой подарок...» (там же. С. 164).

[2] См. слова в письме № 294 о «последних письмах», которые «ни к чему решительно не должны склонять» и «не связывают ответом».

[3] Слова Цветаевой о герое «Поэмы Конца» совпадали с характеристикой героя поэмы Пастернака, Шмидта. Приведенная цитата взята из первонач., неизвестной редакции и не вошла в текст. Именно «типические письма» Шмидта стали главным пунктом критики Цветаевой поэмы Пастернака.

[4] Имеется в виду фотография Наппельбаума 1924 г., где Пастернак стоит за сидящей впереди женой с сыном на коленях. Снимала дочь фотографа поэтесса Ф. М. Наппельбаум. Об этой фотографии Пастернак в письме № 338 писал к Е. В. Пастернак, что она получилась благодаря ей и мальчику. В том, что он вырезал себя из группы, чтобы послать Цветаевой, Е. В. увидела «злой символ».

[5] Цветаева выражала намерение «написать» о Пастернаке. Слова Пастернака *«это уже сделано»* — относятся к статье «Световой ливень» (1922), по поводу которой Цветаева неоднократно выражала свою неудовлетворенность.

[6] Цветаева писала, что посылает с Эренбургом свои поэмы, статьи «и вещи тебе и сыну. О последнем я думала, — может быть твоей жене будет противно видеть на нем нечто причастное моим рукам? Но соблазн силь-

нее — прости меня! — посылаю. Просто мальчику, за жизнью которого слежу. Можно ведь? И похож ведь — чем-нибудь — на тебя?» (там же. С. 170).

[7] Свою статью «Герой труда» (1925), посвященную Брюсову, Цветаева посылала с Эренбургом.

[8] Имеются в виду неоконченные работы над поэмой «Лейтенант Шмидт», над стих. «Памяти Рейснер» (см. «реквием», посланный Цветаевой в письме № 297).

[9] Об этой просьбе см. в письме № 290.

[10] Из стих. Пушкина «Чаадаеву» (1821): «Учусь вознаградить в объятиях свободы / Мятежной младостью утраченные годы / И в просвещении стать с веком наравне».

[11] Разговор идет об общественных тенденциях в литературе, в частности — в русской второй половины XIX в. См. также о «*Социализме* безо всяких кавычек», как стиле современной главы в мировой истории, «богатой непредвосхитимым нравственным содержаньем» (письмо № 277).

[12] В письме 6 апр. 1926 Цветаева писала: «Борис, я люблю горы, преодоление, *фабулу* в природе, становление, а не сост<ояние>. <...> Становление одновременно себя и горы. Гора растет под ногой, из-под ноги. Ясно? Океан я — ты будешь смеяться <...> из-за твоих строк: Приедается всё — . Если ты сказал, — ты знаешь, и это действительно так. Я буду учиться морю» (там же. С. 164). Цветаева приводит первые слова из главы «Морской мятеж». Пастернак отвечает ссылкой на описания Урала в «Детстве Люверс».

300. А. А. АХМАТОВОЙ

17 апреля 1926, Москва

17. IV. 26

Дорогая, дорогая Анна Андреевна!

Как Вас благодарить, что не забыли Вашего слова в ответ на мое восклицанье, вырвавшееся так безотчетно и так ведь верно! Еще труднее описать чувство радости при получении этой удивительной карточки с удивительной Ахматовской надписью, совершенной в ее кажущейся случайности, как и все у Вас. Вы, может быть, забыли? Там сказано: «От этого садового украшенья»![1]

Но, Анна Андреевна, зачем Вы так небрежете здоровьем? Горнунг передает, будто Вы опять хвораете. А я-то на радостях написал Цветаевой (знаете, в тот вечер, что мы о ней говорили, она читала Вас в Лондоне[2]) — про сказочную перемену, которую нашел в Вас, и эта радость успела там распространиться. Если бы я не верил в доброту всякого глаза, устремленного на Вас, я бы из предосторожности перестал заикаться о Вашем здоровье. При таком же убеждении мне хочется просить Вас положенья этого не колебать. От всего сердца желаю Вам скорейшей поправки.

Анна Андреевна, у меня к Вам просьба, которую я испещрю оговорками только ввиду Вашей высокой, поразительной и редкой разборчивости в вещах практических. Однако, думается, ей в данном случае не может быть места. Речь идет о получении причитающегося Вам гонорара за перепечатку Ваших стихов в «Антологии русской поэзии XX века», выпущенной издательством «Новая Москва»[3]. Составители и книгоиздательство, собирая книгу, и не подозревали, что им когда-нибудь об авторах напомнят. Сделали это, в отношении себя самих Герасимов и Кириллов[4]. Суд приговорил издательство к выплате истцам гонорара по 50 коп. за строчку. Местком писателей (полноправный Союз), на основании соответствующих отдельных заявлений, предъявляет издательству аналогичный иск от лица всех, как говорится в таких случаях, — потерпевших. И вот, драгоценная и неповторимая пострадавшая, одного насморка которой не стоит вся антология со всем издательством в придачу, настойчиво прошу Вас о следующем. Пришлите Ю. Н. Верховскому или мне собственноручное заявление в Московский местком писателей при Союзе Рабпроса — о доправке с издательства «Новая Москва» причитающегося Вам гонорара за перепечатку Ваших стихов в «Антологии русской поэзии XX в.», выпущенной издательством. Пришлите также Юрию Никандровичу или мне доверенность на полученье денег, которые издательство обязано будет выплатить по принужденью суда, но, вероятно, не раньше осени. Вам приходится, если не ошибаюсь, около 200 руб. (немного больше или меньше, не помню). В доверенные я Вам навязываю двух лиц на выбор с тем, чтобы сузить наблюденье за Вашими дальнейшими шагами до полной обозримости. А то нельзя быть уверенным, что Вы что-нибудь предпримете.

Простите, что неприличнейшим образом исписываю листок со всех сторон. Не знаю, куда девалась почтовая бумага. Хочется верить, что Вам уже лучше. После Вашего пребывания в Москве началось для меня удивительное время. Было несколько радостных сообщений из-за границы[5]. Потянуло к работе. И вдруг разыгралась нестерпимая невралгическая боль в челюсти и в левом виске. Пришлось все бросить.

Адрес Ю. Н. Верховского. Остоженка, Коробейников (б. 1-й Ушаковский) п., д. 12, кв. 4.

Привет Н. Н. Пунину. Мой адрес: Волхонка 14, кв. 9.

Еще раз горячо благодарю Вас за все.

Преданный Вам Б. Пастернак

Впервые: Russian Literary Triquarterly, 1974, № 9. — Автограф (РГАЛИ, ф. 13, оп. 1, ед. хр. 149).

[1] Л. В. Горнунг, ездивший в Ленинград в конце марта 1926 г., привез Пастернаку «фото Ахматовой, на котором она изображена лежащей в позе сфинкса на пьедестале, — как записал он в дневнике 4 апр. 1926. — Она дала мне это фото с надписью в Ленинграде для передачи Пастернаку» (Воспоминания. С. 75). Об адресе Ахматовой Горнунг спрашивал П. Лукницкого; сохранился его ответ 9 апр. 1926: «Сообщаю Вам пока адрес Анны Андреевны для Б. Пастернака...» (ЛН. Т. 93. С. 656). Фотография была послана в ответ на подаренный Пастернаком сб. «Избранные стихи» («Узел», 1926) с надписью: «Анне Андреевне Ахматовой, с новой дерзостью в память четвертогодичной: с чувством неистребимой уверенности, что надпись делается накануне ее новой рабочей лирической полосы, а может быть, даже и опаздывает к ее началу. С пожеланьем единственного, в чем нуждается совершенный поэт. С пожеланьем полного здоровья. Б. Пастернак» (Музей Анны Ахматовой в Петербурге. Коллекция М. С. Лесмяна). *Четвертогодичной дерзостью* Пастернак называет подаренную Ахматовой «Сестру мою жизнь» с надписью (коммент. 7 к письму № 193).

[2] См. письмо № 283. Ахматова была в Москве 8–12 марта, Цветаева — в Лондоне с 10 по 25 марта, где 12 марта читала стихи современных русских поэтов. Из письма Цветаевой 27 марта 1926: «А пока вы с Ахматовой говорили обо мне в Москве, я в Лондоне говорила с эстрады тебя и Ахматову» (Цветаева. Пастернак. Письма 1922–1936. С. 158).

[3] Имеется в виду «Русская поэзия XX века. Антология русской лирики от символизма до наших дней». Сост. И. С. Ежов и Е. И. Шамурин (М., «Новая Москва», 1925), в которой опубликовано 35 стихотворений Ахматовой.

[4] Михаил Прокофьевич *Герасимов* и Владимир Тимофеевич *Кириллов* — поэты из группы «Кузница».

[5] Известия от отца о Рильке и чтение «Поэмы Конца» Цветаевой.

301. М. А. ВОЛОШИНУ

17–20 апреля 1926, Москва

Глубокоуважаемый Максимилиан Александрович!

До глубины души тронут Вашим незаслуженным подношеньем, усиливающим сверх обычной меры давнишнее желание увидеть все это своими глазами.

Боюсь, что и я злоупотреблю Вашим редким гостеприимством и, кажется, воспользуюсь Вашим любезным приглашеньем[1]. Впрочем, опасность пока еще не очень велика. Вероятнее всего, мне придется летом остаться в городе, к которому я буду привязан работой. Жену с ребенком я хочу отправить на лето к родным за границу, что и потребует, вероятно, непрерывного, непривычного и

вряд ли по его размерам, осуществимого, заработка. Но может быть, как раз в разгаре этой каторги предмет самой работы заставит меня съездить на несколько дней в Крым, и мое предположение, таким образом, не целиком измышлено[2].

Из всего того, что я о Вас знаю, слагается прекрасный и притягательный образ. Из рассказов о Вас я всего более люблю слова Анастасии Цветаевой, т. е. воспоминания, характеристики, рассужденья о Вас. И вот, дорожа Вашей дружбой с обеими сестрами, я, думаю, порадую Вас, если сообщу, что Марина Ивановна пишет замечательные вещи, из которых одна, попавшая ко мне случайно, в частично искаженном перепискою виде, «Поэма Конца», привела меня в крайнее волненье высотой и разрядом своих достоинств.

Эта вещь написана большим поэтом, написана не по-женски счастливо, с большим чувством и, что важнее, с большим знанием его природы. Но я бы никогда не решился подступить к кому бы то ни было с утвержденьями, основанными на личном впечатленьи, то есть убежденности не стал бы выдавать за истину, если бы меня в моем чувстве не поддерживали известия, идущие из-за границы[3].

Она пользуется там большим и возрастающим успехом, главным образом, среди молодежи. Сколько могу судить по отрывочным сведеньям, ее общая позиция очень независима и, кажется, не облегчена никаким подспорьем стадности, как это ни трудно в наши времена, когда одно уже местонахожденье человека кажется что-то говорящим о нем[4]. Разумеется, она в эмиграции, но от этого до того, что зовется «ориентацией», очень далеко. Говорят, она всех чуждается и дружит только с Ремизовым.

Еще раз горячо Вас благодарю за подарок и приглашенье.

Крепко жму Вашу руку. *Ваш Б. Пастернак*

Впервые: Ежегодник ПД, 1979. — Автограф (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, № 935).

[1] Имеется в виду акварель М. А. Волошина с надписью и приглашением в Коктебель, которым Пастернак так и не воспользовался.

[2] Пастернак собирался в ходе работы над поэмой «Лейтенант Шмидт» съездить в Севастополь, где происходили описываемые им события, и в Коктебель к Волошину, о чем 26 авг. 1926 писал Е. В. Пастернак, но для поездки не было денег.

[3] В первую очередь имеются в виду отзывы о Цветаевой Д. П. Святополка-Мирского, в частности в своей статье «О "Мóлодце"» он называл Цветаеву первым поэтом современности» («Современные записки». Париж, 1926, № 27).

[4] Пастернак имеет в виду ставшее нормой резкое неприятие эмиграции в советском обществе; возможно, что из этих соображений М. А. Волошин прервал переписку с Цветаевой, когда она уехала за границу.

302. М. И. ЦВЕТАЕВОЙ

20 апреля 1926, Москва

20/IV / 26

Завтра я встану другим, скреплюсь, возьмусь за работу. А эту ночь проведу с тобой. Наконец-то они разошлись по двум комнатам. Я тебе начинал сегодня пять писем. Мальчик болен гриппом, Женя при нем, еще — брат и невестка. Входили, выходили. Поток слов, которые ты пила и выкачивала из меня, прерывался. Мы отскакивали друг от друга. Письма летели к черту, одно за другим. О как ты чудно работаешь! Но не разрушай меня, я хочу жить с тобой, долго, долго жить.

Вчера я прочел в твоей анкете о матери[1]. Все это удивительно! Моя в 12 лет играла концерт Шопена и кажется Рубинштейн дирижировал. Или присутствовал на концерте в Петербургской консерватории[2]. Но не в этом дело. Когда она кончила, он поднял девочку над оркестром на руки и расцеловав, обратился к залу (была репетиция, слушали музыканты) со словами: «Вот как это надо играть». Ее звали Кауфман, она ученица Лешетицкого. Она жива. Я верно в нее. Она воплощенье скромности, в ней ни следа вундеркиндства, все отдала мужу, детям, нам. Но это я пишу о тебе. Утром, проснувшись, думал об анкете, о твоем детстве и с совершенно мокрым лицом напевал их, балладу за балладой, и ноктюрны, все, в чем ты выварилась и я. И ревел. Мама при нас уже не выступала[3]. Всю жизнь я ее помню грустной и любящей.

Мне понадобилось написать Волошину и Ахматовой. Два запечатанных конверта скоро легли в сторону. Меня потянуло поговорить с тобой и тут я измерил разницу[4]. Точно ветер пробежал по волосам. Мне именно стало невмоготу писать тебе, а захотелось выйти взглянуть, что сделалось с воздухом и небом, чуть только поэт назвал поэта. Вот колодка, вот мы друг для друга, вот голодный рацион, которого мы должны держаться год, если ты проживешь и обещаешь мне, что я тоже выживу. Родной мой друг, я не шучу, я никогда не говорил так. Уверь меня, что ты на меня полагаешься, что ты доверилась моему чутью. Я расскажу тебе, откуда эта оттяжка, отчего еще не я с тобой, а летняя ночь, И<лья> Г<ригорьевич>, Л<юбовь> М<ихайловна>[5] и прочая. Я это объясню потом.

В противоположность твоим сновиденьям я видел тебя в счастливом, сквозном, бесконечном сне. В противоположность моим обычным, сон был молодой, спокойный, безболезненно перешедший в пробужденье. Это было на днях. Это был последний день, что я называл себе и тебе счастьем. Мне снилось начало лета в городе, светлая, безгрешная гостиница без клопов и быта, а может быть и подобье особняка, где я служил. Там внизу были как раз такие коридоры[6]. Мне сказали, что меня спрашивают. С чувством, что это ты, я легко пробежал по взволнованным светом пролетам и скатился по лестнице. Действительно, в чем-то дорожном, в дымке решительности, но не внезапной, а крылатой, планирующей, стояла ты точь-в-точь так, как я к тебе бежал. Кем ты была? Беглым обликом всего, что в переломное мгновенье чувства доводит женщину на твоей руке до размеров физической несовместимости с человеческим ростом, точно это не человек, а небо в прелести всех плывших когда-либо над тобой облаков. Но это было рудиментом твоего обаянья. Твоя красота, переданная на фотографии[7], — красота в твоем особом случае — то есть явленность большого духа в женщине, ударяла в твое окруженье прежде, чем я попадал в эти волны божественного света и звучности. Это были состоянья мира, вызванные в нем тобою. Это трудно объяснить, но это-то и придавало сновиденью черту счастливости и бесконечности.

Это была гармония, впервые в жизни пережитая с силой, какая до тех пор бывала только у боли. Я находился в мире, полном страсти к тебе, и не слышал резкости и дымности собственной. Это было первее первой любви и проще всего на свете. Я любил тебя так, как в жизни только *думал* любить, давно, давно, до числового ряда. Ты была абсолютно прекрасна. Ты была и во сне, и в стенной, половой и потолочной аналогии существованья[8], то есть в антропоморфной однородности воздуха и часа — Цветаевой, то есть языком, открывшимся у всего того, к чему всю жизнь обращается поэт без надежды услышать ответ. Ты была громадным поэтом в поле большого влюбленного обожанья, то есть предельной *человечностью стихии*, не среди людей или в человеческом словоупотребленьи («стихийность»), а у себя на месте. —

Отчего, когда два года назад я в той же волне пустился собирать тебя и стал натыкаться на Ланов, я Ланам не придал никакого значенья наперекор твоей документации, наперекор, быть может, и нынешнему твоему возраженью, что у Ланов есть вес в твоем сердце. Отчего для меня существует только С<ергей> Я<ковлевич> и моя жизнь[9].

Ты же пишешь о женщине с мертвыми пальцами: ты, может быть любил ее? И это ты видишь меня и говоришь, что знаешь? Но ведь даже и если бы Э<льза> Ю<рьевна>[10] была полною себе противоположностью, то *и тогда* требовалось бы нечто исключительное, возвращающее от отдельных лет и лиц к первооснове жизни, ко входу, к началу — иными словами, требовалась бы ты — чтобы вывести меня из линии и довести до чего-нибудь достойного именованья. Я ведь не только женат, я еще и я, и я полуребенок. То есть у меня нет в этом частоты, которая грозила бы опасностью жизнеискаженья. И опять, понимаешь ли ты?

Есть несколько случаев, когда Женя страдала по недостаточным поводам, т. е. когда я начинал любить и не долюбливал даже до первого шага. Есть *тысячи* женских лиц, которых мне бы *пришлось* любить, если бы я давал себе волю. Я готов нестись на всякое проявленье женственности, и видимостью ее кишит мой обиход. Может быть, в восполненье этой черты я рожден и сложился на сильном, почти абсолютном тормозе.

Так вот, в том, что Э. Ю. не было даже среди недостаточных поводов, причинявших страданье Жене, и вся замечательность ее вероятной антипатии ко мне. Я ее видел два-три раза тут в обществе, чаще чужом, чем своем. При моем появлении она во всеуслышанье заявляла, что она так мол и так — а я на нее даже не обращаю вниманья. Я конфузился ее бестактности, ссылался на то, что я вообще тюфяк или бездушная кукла, и говорил все, что в таких случаях говорится. Мне пришлось у ней побывать не из-за ее напоминаний, а из-за твоего Есенина[11], по тому естественному закону, который до фантастики преувеличивает цену всего, что из чужого мира помогает как-нибудь мне с тобой. Она мне читала свою прозу, и я ее хвалил, где она этого заслуживала. Она не без способностей, но я сказал ей, что писателя и текст создает третье измеренье — глубина, которая подымает сказанное и показанное вертикально над страницей, и что важнее — отделяет книгу от автора. Я сказал ей, что этого у нее нет и что это, верно, приходит с работой. Я не знаю, зачем ей вздумалось искать или стараться симпатизировать мне. Действительных причин думать дружить со мной у ней нет. Я хочу сказать, что по всему я должен был бы быть нулем для нее или безразличен, как большинству тут, тронутому тем же противоречьем подражанья мне и пр. Неприятной стала она мне после твоего письма, и ты, конечно, мне поверишь, что не из-за слов о Гапоне (она его слышала только один раз, и я не ей его читал)[12], которые не новы для меня, а потому, что явилась из

ночи в твое письмо, в первое твое письмо, сделавшее мне невыносимым дальнейшее существованье без тебя.

Марина, позволь мне прервать это самомучительство, от которого никому не будет никакого проку. Я задам тебе сейчас вопрос, без всяких пояснений со своей стороны, потому что я верю в *твои* основанья, которые у тебя должны быть, должны быть неизвестны мне и составляют часть моей жизни. Ты на него ответь, как никому никогда не отвечала, — как себе самой. *Ехать ли мне к тебе сейчас или через год?* Эта нерешительность у меня *не абсурдна,* у меня есть настоящие причины колебаться в сроке, но нет сил остановиться на втором решеньи (т. е. через год). Если ты меня поддержишь во втором решеньи, то из этого проистечет следующее 1) Я со всем возможным напряженьем проработаю этот год. Я передвинусь и продвинусь не только к тебе, но и к какой-то возможности быть для тебя (пойми широчайшим образом) чем-то более *полезным* в жизни и судьбе (объяснять — это томы исписать), чем это было бы сейчас.

Тогда я попрошу твоей помощи. Ты должна будешь представить себе, *как* я читаю твои письма, и что со мной при этом делается. Я перестану совершенно отвечать тебе, т. е. никогда не дам воли чувству. Т. е. я буду видеть тебя во сне и ты об этом ничего не будешь знать. Год это мера, я буду соблюдать ее. Речь идет *только* о работе и вооруженьи, о продолженьи усилий, направленных на то, чтобы вернуть истории поколенье, видимо отпавшее от нее и в *котором находимся я и ты.* Ни о чем больше нет речи. У меня есть цель в жизни, и эта цель — ты. Ты именно становишься меньше целью, а частью моего труда, моей беды, моей теперешней бесполезности, когда счастье увидать тебя этим же летом заслоняет для меня все, и я не вижу долей этого целого, которые, может быть, увидишь ты. Распространяться тут — значит затуманивать. Марина, сделай, как я тебя прошу. Оглядись, вдумайся в *свое*, только в то, что кругом *тебя*, хотя бы это были *твои* представленья обо мне, или хотя бы слова, сказанные при тебе утром французскими твоими рыбаками, — осмотрись и в этом огляде почерпни толчок для ответа, но не в твоем желаньи видеть меня, потому что ты знаешь, как я тебя люблю, и увидать это тебе должно хотеться.

И отвечай тотчас же.

Если ты меня не остановишь, то тогда я еду с пустыми руками *только к тебе* и даже не представляю себе, *куда еще* и *зачем еще.* Не поддавайся живущей в тебе романтике[13]. Это плохо, а не хорошо. *Ты сама* шире этого *только,* а я как ты. Между тем если

еще есть судьба на свете, а я это увидал нынешней весной, то еще не тот кругом у нас русских воздух (а может быть, и во всем мире), когда можно доверяться человечности случая или лучше — приравненности неизвестности к поэту. Тут заряжать надо собственной рукой. А это — год. Но я почти уверен, что еду к тебе сейчас, побросав всякие работы. Все равно, пока ты меня не приведешь в порядок, я ни за что взяться не могу.

Посылаю тебе фотографию[14]. Я ужасно безобразен. Я именно таков, как на фотографии, — она удачна. Я только щурюсь, потому что смотрю на солнце, что и делает ее особенно неприятной. Глаз надо закрыть.

Не слушай *меня*. Отвечай свободно. Умоляю тебя.

Впервые: «Дружба народов», 1987, № 6. — Автограф. Одновременно с письмом Пастернак послал книгу «Избранные стихи» («Узел», 1926) с надписью: «Марине в день, с которого все принадлежит ей. Вместо открытки. В день наводнения в Москве. 1926 г.» (Копия А. Крученых. РГАЛИ, альбом, ф. 1334, оп. 1, ед. хр. 108). Датируется 22 апр. 1926 по почтовому штемпелю на конверте от бандероли (РГАЛИ, ф. 1190, оп. 3, ед. хр. 160).

[1] Вместе с письмом № 294 Пастернак послал Цветаевой анкету Академии художественных наук (ГАХН). Получив назад заполненную анкету, Пастернак прочел: «Мать — польской княжеской крови, ученица Рубинштейна, редкостно одаренная в музыке» (Письма 1926 года. С. 70).

[2] А. Г. Рубинштейн был инициатором поездки Р. И. Кауфман в 1881 г. в Петербург и присутствовал в зале; дирижировал оркестром директор Петербургской консерватории виолончелист и композитор К. Ю. Давыдов.

[3] Р. И. Пастернак после 1895 г. прервала концертную деятельность до 1907–1908 гг., но вынуждена была снова оставить регулярные выступления из-за болезни сердца.

[4] См. письма № 300 и 301. Через год Пастернак раскаивался в этих словах и писал Цветаевой, что подпал под «крайность самосознанья», когда «поставил в пару» Ахматову с Волошиным, — «по отношенью к ней это было низостью» (18 сент. 1927).

[5] И. Г. Эренбург и его жена Л. М. Козинцева.

[6] Имеется в виду дом 10 по Пречистенке, где Пастернак жил гувернером в семье Филиппов. Ср. варьирующийся лейтмотив поэмы Цветаевой «Попытка комнаты»: «Корридоры — домашнесть дали...Корридоры — домов туннели...».

[7] Пастернак получил от Цветаевой ее фотографию, сделанную П. И. Шумовым в Париже (см. письмо № 309).

[8] См. в поэме «Попытка комнаты» развитие метафор «стен», «пола» и «потолка», как составных частей комнаты, созданной сном в гостинице «Свиданье душ»: «Три стены, потолок и пол. / Все как будто? Теперь — являйся!..».

[9] Е. Л. Ланн и его жена А. В. Кривцова. Е. Л. Ланн познакомился с М. Цветаевой в 1920 г.; адресат ее писем 1920–1921 гг. «В одном ты прав —

С. Я. единственное, что числится. С первой встречи (1905 г., Коктебель)», — отвечала Цветаева 28 апр. 1926 (Цветаева. Пастернак. Письма 1922–1936. С. 190). Встреча Цветаевой с Эфроном состоялась в 1911 г.

[10] Э. Ю. Триоле — писательница, сестра Л. Ю. Брик. Судя по записям в тетради О. Сетницкой, Цветаева в письме 15 апр. 1926 писала о своей встрече с Эльзой Триоле. На слова Пастернака она отвечала 28 апр. 1926: «А Е.Ю. — улыбаюсь. Ты просто не так прочел. Я написала: ты может быть ее любишь (т. е. допускаешь, принимаешь, переносишь, расположен) — ты прочел: ты может быть ее *любил*. <...> Милый Борис, ты не мог любить такую...» (там же. С. 192).

[11] То есть намерения Цветаевой написать поэму о Есенине.

[12] Главу из «Девятьсот пятого года» «Гапон» («Детство») Триоле могла слышать в чтении Асеева у Бриков.

[13] Цветаева оспаривает этот упрек: «Не Романтика! (Втайне: ce n'est que ça?! (и все тут. — *фр.*). Ведь Романтика это мой штамп, чтобы сразу знали, с кем водятся, с кем *не водиться*!) Точное ви́дение двух глаз» (28 апр. 1926; там же. С. 190).

[14] Цветаева, получив фотографию, писала: «Борис, на карточке ты чудный. Поскольку Маяковский *воля*, постольку ты — душа. Лицо души. Я тебя прекрасно помню — у нас в темноте с письмом Эренбурга. Когда я говорила с тобой, я подымала голову, а ты опускал. Этот встречный жест помню» (там же. С. 192). Цветаева вспоминает о встрече в 1921 г. в Борисоглебском.

303. М. И. ЦВЕТАЕВОЙ

5 мая 1926, Москва

5/V / 26

На днях придет твой ответ[1]. Может он потребует телеграфного отклика. Тогда этот огромный перерыв перебьется для тебя лающим лаконизмом депеши. Давно, давно, уже не помню когда, пришло твое письмо, последнее из Парижа, с холодком и о Ходасевиче, т. е. виноват: с ответным холодом за мое, о Ходасевиче[2]. В тот день я узнал, что увижу тебя не в St.-Gilles[3]. Это случилось до письма, и холод письма облегчил мне тяжесть этого сознанья.

И все же, ты можешь обложить меня льдом, а оно невыносимо. Прости, что я так невозможно разлетелся тогда. Этого не следовало делать. Это должно было остаться моей возрождающей тайной до самого свиданья с тобой. Я мог и должен был скрыть от тебя до встречи, что никогда теперь не смогу уже разлюбить тебя, что ты мое единственное законное небо, и жена до того, до того законная, что в этом слове, от силы, в него нахлынувшей, начинает мне слышаться безумье, ранее никогда в нем не обитавшее.

Марина, у меня волосы становятся дыбом от боли и холода, когда я тебя называю.

И я тебя не спрашиваю, хочешь ли ты или нет, т. е. допускаешь ли, потому что, порываясь по всему своему складу к свету и счастью, я бы и горе твоего отказа отожествил с тобой, т. е. с хватающей за сердце единственностью, с которой мне никогда не разойтись.

Я ничего почти не говорил и все стало известно Жене, главное же объем и неотменимость. И она стала нравственно расти на этом резком и горячем сквозняке, день за днем, до совершенной неузнаваемости. Какая ужасная боль это видеть и понимать, и любить ее в этом росте и страданьи, не умея растолковать ей, что изнутри кругом именованный тобой, я ее охватываю с не меньшей нежностью, чем сына, хотя и не знаю, где и как это распределяется и сбывается во временах. — Если удастся, я ее с мальчиком снаряжу на лето к сестре в Мюнхен. Если за лето успею, осенью поеду сам. Если нет, предстоит страшная, душевно бездонная зима, и потом, наконец весна. Дольших сроков на свете не имеется, они недопустимы и невообразимы.

Что значила твоя последняя фраза в анкете: «Жизнь — вокзал; скоро уеду; куда — не скажу»? (У меня анкеты нет, привожу на память.)[4]

Я не обеспокоился, понял как провозглашенье бессмертия, т. е. ударенье на нем, на секрете и на вере, *а не на буквальной скорости,* как поняла Ася, залив меня безысходною тревогой (потому что это пониманье *твоей сестры).* На этот вопрос не забудь ответить. Ах как иногда глупо сболтнется! Ведь я не о том прошу. Но скажи, что я понял правильно, а если (чего вообразить не в силах) это не так, то умоляю тебя, переуверуй!

На днях приходит письмо от сестры из Мюнхена. Заклинает и уверяет меня, что в этом году не умру. Письмо, по мимолетном недоуменьи, восстановило в моей памяти две-три недавних бессонницы, когда этот страх меня преследовал. Очевидно, я ей об этом проврался. Но письма припомнить не могу[5], и — не ответ ее, так и не знал бы о его существованьи. Но такая буря ежедневных примет! Все торжествует, забегает вперед, одаряет, присягает. Перечислить нет возможности. Вдруг я стал тут для всех хорош. Вспомнили — и посыпалось, со всех концов.

Как ты по-особенному хороша, когда исключительно случайно проносишься в этом вихре участия. Например то-то и то-то обо мне. И затем, вдруг (надо прибавить, что это говорит человек, даже

не знающий, знакомы мы с тобой или нет) восхищенное сообщенье, что Версты (твои) ходят в списках по Москве.

Или иногда непрямо, письмо о том, что со мной что-то, верно, происходит в последнее время, потому что корреспондент или корреспондентка часто видят меня во сне и пр. и пр.

Точно ты завела или ко мне приставили тут специальных пифий. Я до бессмыслицы стал путать два слова: я и ты.

8/V /26. Благодарю и верю. Как трудно писать! Сколько его накатывало и расходовалось эту неделю. Ты указала берега. О насколько я твой, Марина! Везде, везде.

Вот он твой ответ[6]. Странно, что он не фосфоресцирует ночью. Такой чудесности я не допускал. Я бродил вокруг да около того же. Я двадцать раз уезжал и двадцать раз меня останавливал голос, который я ненавидел, пока он был моим. Ты и тут предупредила. И как! Знаешь ли ты, что, заговоря, ты всегда *превосходишь* представленье, даже внушенное обожаньем.

Одному человеку я на днях это выразил так. Мне пишет человек, которого я люблю до самозабвенья. Но это такой большой человек и это так широко свидетельствуется в письмах, что иногда становится больно скрывать их от других. Эта боль и называется счастьем.

Ты всего не знаешь. Ты усадила меня за работу. Но как благодарить тебя за то, что, облегчая мне этим разлуку, ты третий месяц уподобляешь часть людей и обстоятельств себе.

Я говорю о тебе, как о начале. Как это объяснить? Обращаются как с драгоценностью. Как с вещью, заряженной золотом, любовно и осторожно. И так как я заряжен тобой, я люблю их всех за это обращенье. За чутье, за подчиненье тому, чем я дымлюсь, очевидно.

Я напишу тебе, как только будет готов Шмидт. Только так я могу заставить себя взяться за работу. Это будет недели через три. Я много чего расскажу тебе тогда. Ты ведь все-таки живешь тут и во всей *осязательности* отдельных происшествий со мной. — Но об этом сегодня ни слова. Когда я буду писать тебе, буду один.

Твой ответ чудный, редкостный. Если мои слова о грохоте (невозможно далеком, божественно-благородном) *законности кажутся* тебе расходящимися с твоими последними словами о замужестве[7], ты их вымарай, чтобы их больше не видать. На самом деле я в них выражаю то самое, что составляет суть и дыханье твоего письма.

Летом, осенью и зимой будут случаи и полосы, когда нам будет казаться, что мы пошли наперекор весне, поперек нее. Я тебе желаю счастья в эти дни, тебе и себе.

Прилагаю к этому письму недоконченное, начатое в ожиданье твоего ответа. Ни на него, ни на это последнее, в котором я выражаю песку St. Gilles-ского пляжа свою робость и покорность и все то, что требуется, чтобы задобрить воздух — не отвечай. Давай молчать и жить и расти. Не обгоняй меня, я так отстал. Семь лет я был нравственно трупом. Но я нагоню тебя, ты увидишь.

Про страшный твой дар не могу думать. Догадаюсь когда-нибудь, случится инстинктивно. Открытый же и ясный твой дар захватывает тем, что, становясь *долгом,* возвышает человека. Он навязывает *свободу,* как призванье, как край, где тебя можно встретить. Лето 1917 г. было летом свободы. Я говорю о поэзии времени и о своей. В «Шмидте» одна очень взволнованная, очень моя часть просветляется и утомленно падает такими строчками:

О государства истукан,
Свободы вечное преддверье!
Из клеток крадутся века,
По Колизею бродят звери,
И вечно тянется рука
В столетий изморось сырую,
Гиену верой дрессируя,
И вечно делается шаг
От римских цирков к римской церкви,
И мы живем по той же мерке,
Мы, люди катакомб и шахт[8].

До этого стихи с движеньем и даже может быть неплохие. Эти же привожу ради мысли. Тут в теме твое влиянье (жид, выкрест и пр. из Поэмы Конца[9]). Но ты это взяла как символ и вековечно, трагически, я же в точности как постоянный переход, почти орнаментальный канон *истории:* арена переходит в первые ряды амфитеатра, каторга — в правительство, или еще лучше: можно подумать, при взгляде на историю, что идеализм существует больше всего для того, чтобы его отрицали.

Прости за щепетильную и мелочную просьбу и не удивляйся неожиданной деловитости. Не все понимают, что в «Потемкине» слова «За обедом к котлу не садились и *кушали* молча хлеб да воду...»[10] — не случайная описка, а сказано так умышленно. Имен-

но это *кушать* — солдатское, т. е. вернее казарменное выраженье, а не всякие там хлебать, или шамать и прочие глаголы, употребительные на воле и дома. Кроме того это выраженье почерпнуто из матерьялов. Вот я и хочу тебя спросить. Не сопроводить ли некоторых выражений вроде: скатывать палубу, буксирный кнехт и пр. объяснительными сносками, и не дать ли в их ряду и сноску к слову *«кушали»* ? Если ты с этим согласна, то под звездочкой я бы тогда дал просто документальную выдержку: «Борщ кушать было невозможно, вследствие чего команда осталась без приварочного обеда и *кушала только хлеб с водою*». Из дела № 3769 — 1905 г. Д<епартамен>та Полиции 7-го делопроизводства «О бунте матросов на броненосце "Князь Потемкин Таврический"». Показанье матроса Кузьмы Перелыгина. — Разумеется, в оригинале по старому правописанью.

В документе, который называется: «Правда о "Потемкине"». Написал минно-машинный квартирмейстер первой статьи броненосца «Князь Потемкин Таврический» Афанасий Матюшенко. «Ребята, почему не кушаете борща?» — «Кушай сам, а мы будем *кушать воду* с хлебом». И вообще вся страница этого замечательного воспоминанья (Матюшенко повешен в 1907 г., его предал Азеф) пестрит этим кушаньем воды. Между прочим, меня удивляет, что некоторые слышат в этом какую-то странность. По-моему это в стихии языка и может быть даже без наводящих подробностей матерьяла я сказал бы так и сам. Для сноски, разумеется, достаточно одного Перелыгина. Остальные сноски под соответствующими словами. Шканцы — средняя часть корабля. Считается самой почетной и даже священной его частью. Кнехт — железный столбик для зацепки каната. Скатить палубу значит вымыть ее, закрыв люками входы во все находящиеся помещенья. Батарейная палуба с башней — бронированная надстройка на средине броненосца со входами в машинные и минные части и в арсенал. Щит — железное приспособленье, служащее прицелом для орудийной стрельбы на маневрах. Камбуз — судовая кухня. Спардек — площадка, которая образуется потолком надстройки, имеющейся в средней части корабля. Ют — часть кормы до бизань-мачты.

А может быть ничего этого не нужно? Какой-то глупый получается вид. Как ты думаешь?

Как я ненавижу свои письма! Но так как я отвечу на твои продолжением и окончаньем Люверс, и так как, что бы я ни написал взамен этой ерунды, завершающейся тремя перепутанными стра-

ницами о сносках и опять о червях[11], получится то же самое, то я и посылаю тебе эти вспышки разыгрывающегося тупоумья. Марина, я говорю это искренне, бесстрашье же мне внушает фатализм, т. е. вера в целое, растянутое по времени, и пренебреженье к частностям. — Была неделя, когда я полностью вышел из семьи. Истекшею зимой меня часто донимали разные предвестья возраста и нездоровья. Удивительно, как поправляет и омолаживает страданье. Я вдруг узнал в глаза свою давно не виденную жизнь.

Прости за письмо, за глупые стихи, за невозможное многословье о сносках, ни к чему не нужных. Я хорошо напишу летом, я все пройду снизу доверху. Я тебе напишу о тебе, о предельном, о самом дорогом: о тебе безотносительной, «объективной». И о том, как представлял я себе мое прикосновенье к тебе. Говорю и громоздятся словесные извращенья. Это оттого, что все стало жизнью. — Чего-то жду от Англии. Либо просто-напросто тебя, либо в уподобленьи. Может быть легче будет жить, легче встретиться. — На вопрос о последней фразе анкеты ты ответила. Слава Богу. Отрывками твоих стихов в письмах пользуюсь как сжатыми образцами лирической силы и высоты. Как хорошо, что мы поем *эту* хвалу друг другу не первыми, а со стольких-стольких голосов.

И все-таки, что я не поехал к тебе — промах и ошибка. Жизнь опять страшно затруднена. Но на этот раз — жизнь, а не что-нибудь другое.

Впервые: «Дружба народов», 1987, № 6. — Автограф.

[1] Ответ на заданный в письме № 302 вопрос: «Ехать ли мне к тебе сейчас или через год?».

[2] На слова Пастернака из письма № 297 о Ходасевичевых «стрелах», направленных в него, Цветаева отвечала: «Он (Ходасевич) тебя не любил и не любит и — главное — любить не *может*, любил бы — не тебя или — не он. <...> Не огорчайся, что тебе делать с любовью Ходасевича? Зачем она тебе? Ты большой и можешь любить (включ<ительно>) и Ходасевича. <...> Его нелюбовь к тебе — самозащита. Цену тебе (как мне) он знает. И не утешай меня, пожалуйста, я против всякого равно-без-тще-душия забронирована» (ок. 18 апр. 1926; Цветаева. Пастернак. Письма 1922–1936. С. 183).

[3] Рыбачий поселок, где Цветаева собиралась провести лето.

[4] В анкете ГАХН Цветаева достаточно свободно отвечала на заданные вопросы, и вместо хронологического перечня работ и библиографии о ней самой, писала о любимых вещах в мире, своем равнодушии к собственности, заканчивая анкету девизом, который поместила бы на своем щите, и афоризмом, испугавшим Пастернака.

[5] В ответ на слова Пастернака в письме к сестре 12 апр. 1926: «Меня стал посещать страх, что я умру в этом году, не успевши закончить Спек-

торского и вообще написать все то, что хочется», — Жозефина писала: «Родной мой, зачем ты пишешь, что умрешь в этом году, то есть что тебя посещает эта мысль. Клянусь тебе, что нет... нет, я не "утешаю" тебя, а просто сообщаю тебе, как сообщают друг другу новости: нет, твоя смерть еще не близка. Я это знаю» (21 апр. 1926; Письма 1926 года. С. 280–281).

[6] Цветаева писала: «Через год. Ты громадное счастье, которое надвигается медленно. <...> Живи. Работай. 1905 год — твой подвиг. Доверши. Строка за строкой, — не строки, а кирпичи — кирпич за кирпичом — возводи здание. Я тебя люблю. Я не умру. Ты не умрешь. Всё будет. <...> Живи *свой день*, пиши, не считай дней, считай написанные строки. <...> Итак, через год, сама помогу выехать — трезво, весело, в сознании правоты, заработанного *права*. Я в восторге от твоего решения (вопроса)» (28 апр. 1926; Цветаева. Пастернак. Письма 1922–1936. С. 189–191).

[7] Пастернак испугался, что выше сделанное признание: «...Ты мое единственное законное небо, и жена до того, до того законная...» — Цветаева могла воспринять как противоречие с ее словами: «Я бы сейчас, Борис, ни за кого не вышла замуж. Знаешь мою детскую мечту – <...> – Ребенок — и одна. Жизнь с ним, в нем, без *того*» (там же. С. 190).

[8] Заключ. строфа 7-й главы I части поэмы «Лейтенант Шмидт». Строки 5–7 в оконч. редакции были изменены.

[9] «В сем христианнейшем из миров / Поэты — жиды...» («Поэма Конца»). Образ отверженности таланта в поэме Цветаевой перерастает у Пастернака в исторический закон смены государственных формаций и перехода низших слоев общества в высшие.

[10] Из главы «Морской мятеж» («Потемкин») поэмы «Девятьсот пятый год», посланной Цветаевой и вместе с авт. примеч. опубликованной в журн. «Версты»,1926, № 1.

[11] Имеется в виду эпизод из главы «Морской мятеж», в которой причиной восстания становится борщ с испорченным мясом (см. письмо № 273) *...и опять о червях...* — имеется в виду сцена из главы «Морской мятеж» с отказом команды броненосца есть борщ с порченым мясом, по поводу которой Пастернак советовался с Цветаевой (см. письмо № 273 и примеч. 4).

304. О. М. ФРЕЙДЕНБЕРГ

10 мая 1926, Москва

10/V / 26

Дорогая, дорогая Оля!

Ты попала в точку. Спасибо за пифическое письмо[1]. Судьба, обнаруживавшая в последнее время случаи обостренного ясновиденья, в твоем, — дала его пароксизм в кругу семьи. Не возмущайся, — тетя Ася его однажды очертила. Она сказала как-то: «Что́ с тобой будет, меня не занимает, хоть совсем не работай, мне важно, что будет с ней». Так как это касалось Жени и целого ее периода, то

завороженный тетиной теплотой к близкой мне девочке, я проникся ее словами, как внушеньем. Я не говорю, что ее слова что бы то ни было определили сами по себе, но они дали формулу тому самоограниченью, которым я жил два года, предшествующие разговору, и два, за ним последовавшие. Нет человека на свете, который, зная меня, и многое еще другое, и зная по-настоящему значенье тех звуков, которые произнесла тетя, повторил бы их. — И вот, последний год, и главным образом к весне, пошли и скопились, главным образом из-за границы, слова не меньшей теплоты, чем тетины, но значенья совершенно обратного. Мне кажется, они и человечнее и мудрее тех, которые слышишь в семье. Это — отзывы и переводы иностранцев, статьи в лучшей, т. е. не черносотенной эмигрантской печати[2], и множество проявлений большой, высокой, облагораживающей любви, рассеянной во времени и пространстве, и этою сеялкой очищенной до греческой, до вечной чистоты.

Я не только этого никому не показываю, но я и живу-то насчет этих волн с большим трудом и неумело, по вине семьи, где на этом веществе иногда лежал налет хвастовства. Крепость этих устоев сказалась и в тете. Той весной, что стала сбываться моя судьба, точь-в-точь, как она выясняется периодами и в жизни всякого человека, и я *только об этом* вам рассказывал, тете привиделось, что я приезжал к вам побахвалиться и, в этом смысле, тряхнуть родовою стариной.

Ах, Оля, есть Бог на свете, нет, лучше скажем, есть, в противовес земному тяготенью, в противовес падучей — тяга ввысь, тяга своепоследовательной, самооглушенной формы к форме форм. Ты, того не ведая, написала мне, что если я полагаю, что семилетний мой период нравственной спячки миновал, то это не сновиденье. Ах, Оля, остаток моей жизни будет похож на давно прожитую половину, отделенную от меня этим пустым перерывом. Тут молчу, нечего говорить, рано говорить. Какое у тебя чутье, Оля! Я показал твое письмо Жене, безмолвно, без комментария. Она заплакала, увидав: срок придет, все случится.

Не ищи растолковать мои слова. Не надо и нельзя. Я сам все скажу через год или позже. Цель сегодняшнего письма: обнять тебя и горячо поблагодарить за породу, сказавшуюся в этом прорицаньи втемную, таком безошибочном.

Главное же, мы опять брат с сестрой, и ты на меня не дуешься. Обнимаю тебя и тетю. Не ходи на такие доклады[3]. Ведь это позор. Все это делалось и было закончено тогда, когда и тротуары были поэтами. А с тех пор ведь (семь лет!) ничего своего и нового!

Впервые: Переписка с О. Фрейденберг. — Автограф.

[1] О. М. Фрейденберг вспоминала, что она «предсказала ему возврат вдохновенья» (там же. С. 96).

[2] В первую очередь это рецензии Д. П. Святополка-Мирского в «Современных записках» на книгу Пастернака «Рассказы» (1925, кн. 25) и о «Мóлодце» Цветаевой, где дается развернутое сопоставление поэзии Пастернака и Цветаевой (1926, кн. 27).

[3] Возможно, это доклад о поэзии Пастернака друга О. Фрейденберг Б. Я. Бухштаба, научного сотрудника Института истории искусств, недавно получившего место помощника библиотекаря в Публичной библиотеке.

305. М. И. ЦВЕТАЕВОЙ

19 мая 1926, Москва

19/V / 26

До этого было три неотправленных. Это болезнь. Это надо подавлять.

Вчера пришла твоя передача его слов: твое отсутствие, осязательное *молчанье* твоей руки[1]. Я не знал, что такую похоронную музыку может поднять, отмалчиваясь, любимый почерк. Я в жизни не запомню тоски, подобной вчерашней. Все я увидел в черном свете. Болен Асеев ангиной, четвертый день 40 градусов. Я боюсь, боюсь произнесть чего боюсь. И все в таком роде.

Так я не могу, не хочу и не буду тебе писать. Я страшно дорожу временем, ставшим твоим живым раствором, только разжигающим жажду. Я дорожу годом, жизнью, и боюсь нервничать, боюсь играть этим нечеловеческим добром.

По той же причине не отзываюсь на письмо о Парнок[2]. Ей мне сделать нечего, потому что никакой никогда мы каши с ней не варили, да еще вдобавок письмо застало меня в новой ссоре с ней: накануне я вышел из «Узла», отчасти из-за нее[3]. Писать же о двадцатилетней Марине в этом обрамленьи и с данными, которые ты на меня обрушила, мог бы только св. Себастьян. Я боюсь и коситься на эту банку, заряженную болью, ревностью, ревом и страданьем за тебя, хотя бы краем одного плеча полуобнажающуюся хоть в прошлом столетии. Попало ни в чем неповинным. Я письмо получил на лестнице, отправляясь в Известия, где не был четыре года. Я вез им стихотворенье, написанное слишком быстро для меня, об Английской забастовке, уверенный, что его не примут. В трамвае прочел письмо и стихи (если это — банка, то анод и катод, и вся музыка и весь ад и весь секрет конечно в них: Зачем тебе, зачем/моя душа спартанского ребенка[4]). И вот таким, от тебя и за тебя влетел я в редакцию, хотя и

своего достаточно было. Они не знали, куда от меня деваться. Единственное, похожее на человеческую мысль, что они сказали, было: поэт в редакции это как слон в посудной лавке. Между прочим я слишком высказался там в тот день, и может быть мои общие страхи возвращаются и к тому вечеру[5]. Среди всего прочего я сказал, что, начав играть в нищих, все они стали нищими, каких не бывает, каких бы только выставляли в зверинцах, если бы природа и пр. и пр.

Соображенья житейские заставляют меня признать все уже написанное о Шмидте «I-ою частью» целого, уверовать в написанье второй и сдать написанное в журнал[6]. Я над вещью работы не брошу. Она будет. Но мне хотелось посвященье тебе написать по окончании всего и хорошо написать. Помещать же его надо в начале. Вчера, перед сдачей, написал как мог.

ПОСВЯЩЕНЬЕ

Мельканье рук и ног и вслед ему
«Ату его сквозь тьму времен! Резвей
Реви рога! Ату! А то возьму
И брошу гон и ринусь в сон ветвей».

Но рог крушит сырую красоту
Естественных, как листья леса, лет.
Царит покой, и что ни пень — Сатурн:
Вращающийся возраст, круглый след.

Ему б уплыть стихом во тьму времен.
Такие клады в дуплах и во рту.
А тут носи из лога в лог ату,
Естественный, как листья леса, стон.

Век, отчего травить охоты нет?
Ответь листвою, пнями, сном ветвей
И ветром и травою мне и ей.

———

Тут — понятье (беглый дух): героя, обреченности истории, прохожденья через природу, — моей посвященности тебе. Главное же, как увидишь, это акростих с твоим именем, с чего и начал: слева столбец твоих букв, справа белый лист бумаги и беглый очерк чувства[7]. Писал в странном состоянии, доля которого впрочем была и в значительно худшем, т. е. просто плохом, для газеты сти-

хе об Англии. Так как оно кончается тем же колечкоподобным, узким и втягивающим словом, что и посвященье, то вот:

Событье на Темзе, столбом отрубей
Из гомозни претензий по вытяжной трубе!
О будущность! О бьющийся об устье вьюшки дух!
Волнуйся сам, но не волнуй, будь сух!

Ревущая отдушина! О тяга из тяг!
Ты комкаешь кусок газетного листа,
Вбираешь и выносишь и выплевываешь вон
На улицу, на произвол времен.

Сегодня воскресенье и отдыхает штамп
И не с кого списать мне дифирамб.
Кольцов помог бы втиснуть тебя в тиски анкет,
Но в праздник нет торговли в «Огоньке».

И вот, прибой бушующий, не по моей вине
Сегодня мы с тобой наедине.

Асфальтов блеск и дробь подков и гонка облаков.
В потоке дышл и лошадей поток и бег веков.
Все мчит дыша, как кашалот, и где-то блещет цель
И дни ложатся днями на панель.

По палке вверх взбегает плеск нетерпеливых рук.
Конаясь, дни пластают век, кому начать игру.
Лицо времен, вот образ твой, ты не живой ручей,
Но столб вручную взмывших обручей.

Событье на Темзе, ты вензель в коре
Влюбленных гор, ты — ледником прорытое тире.
Ты зиждешь столб, история, и в передвижке дней
Я свижусь с днем, в который свижусь с ней[8].

Хотя я сегодня немножко успокоился и снова помню и знаю, отчего остался на год, а отсюда и: *зачем;* но до полученья письма от тебя темы Рильке затрагивать не в состоянии*. Это именно то

---

* А также и думать о нем, а писать ему и подавно. (*Прим. Б. Пастернака.*)

письмо, которое мне грезилось и которого я и в сотой доле не заслуживаю[9]. Он ответил немедленно. Но когда, помнишь, я запрашивал у тебя посторонних и действительных опор для решенья, лично для себя я избрал, как указанье, именно это письмо, вернее срок его прихода.

Я не рассчитал, что совершить ему предстояло не два, а больше четырех концов (везли с оказией к родным в Германию, оттуда послали ему, может быть не прямо, от него на Rue Rouvet, потом на океан[10], потом лишь от тебя ко мне). У меня было загадано, если ответ его будет вложен в письмо с твоим решеньем, послушаюсь *только* своего нетерпенья, а не тебя и не «другого» своего голоса. И верно хорошо, что тогда вы с ним разошлись. Но что ты разошлась с ним вторично, что вместе с ним пришла не ты, а только твоя рука, потрясло меня и напугало. Успокой же меня скорее, Марина, надежда моя. Не обращай вниманья на скверные стихи в письмах. Вот увидишь Шмидта в целом. Если же посвященье плохо, успей остановить.

Я твоей просьбы относительно Над<ежды> Ал<ександровны> еще не исполнил[11]. Ты должна меня простить. Это тоже из самосохраненья. Боюсь избытка тебя в делах и в дне. С исполненьем просьбы запоздаю.

Впервые: «Дружба народов», 1987, № 7. — Автограф.

[1] Пастернак получил письмо от Рильке, посланное 3 мая 1926 на адрес Цветаевой. Его пересылку Цветаева сопроводила выпиской из письма Рильке к ней: «Я так потрясен силой и глубиной его слов, обращенных ко мне, что сегодня не могу больше ничего сказать: прилагаемое письмо отправьте Вашему другу в Москву. Как приветствие» (перевод с нем.), не прибавив ни слова от себя. Письмо Рильке вместе с этой выпиской было включено в собр. писем: R.M.Rilke. «Briefe aus Muzot 1921 bis 1926». Leipzig, 1935. S. 394. Приводим его текст в русском переводе: «Дорогой мой Борис Пастернак, Ваше желание было исполнено тотчас, как только непосредственность Вашего письма коснулась меня, словно веянье крыльев: "Элегии" и "Сонеты к Орфею" уже в руках поэтессы. Те же книги, в других экземплярах, будут посланы Вам. Как мне благодарить Вас: Вы дали мне увидеть и почувствовать то, что так чудесно приумножили в себе самом. Вы смогли уделить мне так много места в своей душе, — это служит к славе Вашего щедрого сердца. Да снизойдет на Вас всяческое благословение! Обнимаю Вас. Ваш Райнер Мария Рильке».

[2] Просьба принять участие в судьбе поэтессы Софии *Парнок*, с которой Цветаева была близка в 1914–1915 гг.

[3] Пастернак вместе с С. Я. Парнок входил в редколлегию издательства «Узел». Ссора произошла из-за желания Д. Петровского поместить в его книге, издаваемой в «Узле», рисунок Н. Альтмана, против чего восстали С. Я. Парнок и др. (письмо № 284).

[4] Из стих. Цветаевой «Есть имена, как душные цветы...», обращенного к Парнок: «Есть женщины — их волосы, как шлем, / Их веер пахнет гибельно и тонко, / Им тридцать лет. — Зачем тебе, зачем / Моя душа спартанского ребенка?» (1915; цикл «Подруга»).

[5] Имеется в виду политическая опасность откровенных разговоров, об этом в акростихе Марине Цветаевой: «Ежеминутно можно глупость ляпнуть, / Тогда прощай охулка и хвала!..» («Мгновенный снег, когда булыжник у́зрен...», 1929). См. также письмо к Цветаевой 24 окт. 1927 г. о «постоянной возможности оказаться за одним столом с осведомителем».

[6] «Новый мир», 1926, № 8.

[7] Пастернак в образах охоты под звуки рога и погони за *беглым духом* героя передает особенности жанра исторической поэмы, не позволяющего отвлекаться на подробности, не допускающего ни лирики, ни фантазии. Цветаева прочла посвящение иначе: «Твой чудесный олень с лейтмотивом “естественный”. Я слышу это слово курсивом, живой укоризной всем кто *не*. Когда олень рвет листья рогами — это естественно (ветвь — рог — сочтутся). А когда вы с электрическими пилами — нет. Лес — мой. Лист — мой. (Та́к я читала?) И зеленый лиственный костер над всем» (25 мая 1926. Письма 1926 года. С. 119).

[8] Интерес Пастернака к забастовке в Лондоне был вызван недавней поездкой Цветаевой в Лондон и тем значением, которое приобретал Лондон в их переписке. Стихотворение не было опубликовано (Впервые: «Вопросы литературы», 1978, № 4).

[9] «Получение этой записки было одним из немногих потрясений моей жизни, я ни о чем таком не мог мечтать», — писал Пастернак З. Ф. Руофф 12 мая 1956.

[10] То есть из Парижа (дан адрес Черновых, где жила Цветаева) — в Сен-Жиль.

[11] Речь идет о Н. А. Нолле-Коган. В чем состояла просьба к ней, неизвестно.

306. Р. Н. ЛОМОНОСОВОЙ

19 мая 1926, Москва

19/V / 26

Глубокоуважаемая Раиса Николаевна!

Боюсь поддаваться чувству, которое вызывает Ваша память и вниманье, потому что этот путь заводит далеко и редко приводит к добру. Но Вы изумительный и непостижимый человек. Эти качества в Вас так сильны, что побеждают естественное чувство неловкости, которое я испытываю перед Вами и от которого в ближайшее время не вижу возможности избавиться. Вы мне представляетесь высокого роста и вдобавок еще спускающейся по лестнице, потому что неожиданности валятся от Вас откуда-то сверху, как с неба. Ваш привет так, например, растрогал жену, что со сле-

зами на глазах она принялась было в тот же вечер, когда необъяснимое сочетанье «Правдины. Посылка[1]» оказалось Вами, благодарить Вас за то одно, что разгадкою явились именно Вы, и письма не дописала и разорвала его: я ей помешал своими перебоями, — подходил и заговаривал о ее чувстве и о Вас; и кроме того было бы удивительно если бы она письмо дописала. Переживала она Вас патетически, а выраженья пафоса она не любит.

Приехали ли Вы уже из Италии?[2] Правдина, т. е. это кажется мать передатчика, ничего мне о Вас не рассказала. Вы... земнее и осязательнее не стали от этих расспросов: эта земля для воплощенья Вас не годилась.

Вы пишете, что в Reding'e[3] были очень больны. Запрашивая Вас сейчас о Вашем здоровье я вкладываю в вопрос все мыслимое содержанье, которое так редко в нем присутствует.

Какао оказался чудесный и если бы Вы больше пили такого, Вы бы никогда не болели. Вместо же этого Вы отсылаете его в Москву, по совсем неподходящему адресу. Если бы Вы этого не делали, Вы бы никогда не болели.

Болел и я, в Reding'ские времена, болел нравственно, до совершеннейшего отчаянья. Я стал выздоравливать за работою о 1905-м годе. Теперь я совершенно отошел от долголетнего обморока, чем обязан людям, изумительным, как Св.-Мирский и Вы, ряд, которых открыли собою Вы, и которых развели за границей, ряд, который наконец замкнулся недавним письмом от R. M. Rilke, который обнимает, благословляет и — взволновал до последней степени[4]. — Тут же, на месте, стараются сделать вид, что я себе, писателям и поэтам приснился, и что если бы не это, и еще несколько других, таких же сновидений, всем бы остальным спалось гораздо мертвее и, следовательно, лучше. Спал собственно и я, и если бы мне тогда сказали, что я способен на глухую, медленно созревающую ненависть, я бы не понял сказанного. Так я покладист, забывчив и уступчив. Сильным ударом будильника было для меня творчество Марины Цветаевой, первого поэта, работающего в той же линии, что и я, от меня независимо и самостоятельно, что я особенно остро почувствовал, потому что у меня много подражателей и мало стихов. Ей в строе сил, о котором была речь выше, принадлежит особое и единственное место. И затем, этот человек мучился вероятно в жизни больше, чем мог бы я вынести в одном воображеньи.

По-настоящему, т. е. как очень давно, я стал работать только в самое последнее время. К «1905-му» я приступил еще в затяжном полусне, весь в пуху и перьях от глубокой послеобеденной совет-

ской перины. А ведь это открытье не из последних: до настоящего порядка никто, пожалуй, не воображал, что назначенье эпохи — служить нарами, и что подушки и тюфяки хорошо набивать для мягкости бахвальством. Особенно это чувствуется сейчас, когда режим экономии делает и сено продуктом дорогим и малодоступным.

Сейчас я пишу вещь в стихах о лейтенанте Шмидте. Мне хочется ее написать лучше, чем требуется низостью потолка. То есть, — волоса в штукатурке, голова в синяках — я надеюсь ее, пробившись головой на чердак, написать на три с плюсом. Вот как низко у нас строят.

Меня очень тянет за границу (на время, разумеется). Теперь это мне не удастся. Но я себе поклялся, что съезжу через год, будущей весною. Предел дерзости и бессовестности, — я надеюсь еще воспользоваться тогда Вашим предложеньем относительно американских журналов[5].

Разность территорий не изменит никогда моих убеждений. Но сидя тут, в духоте, я стараюсь забыть об углах и тупиках, где вдобавок еще скапливается кругом разлитая затхлость. Я легко поддаюсь ипохондрии и на ее родине бегаю поводов к ней. Нет, позвольте мне о духовых печах писать не из кочегарки.

Ваша ссуда растет, оборачивается, сокращается и бьет как мышца. С сознаньем этого долга хожу в редакцию, возмущаюсь за двоих, переживаю надобность в деньгах, двойную, обостренную мыслью о долге, но пока преуспеваю только в ординаре, а это уже много, и этим я обязан Вашим 20-ти фунтам[6]. И разумеется, я бы об этом не заикался и не писал Вам в таком свободном дружеском тоне, а бежал бы от Вас на край земли, если бы не крепла во мне надежда на переизданье в свое время разошедшихся книжек, когда я и добела перед Вами очищусь. Горячо Вас благодарю за все.

Ваш Б. Пастернак

Меня зовут Борис Леонидович. Львовичем Вы меня зовете со слов К<орнея> И<вановича>, не знавшего моего отчества.

Впервые: «Минувшее», № 15. — Автограф (Russian Archive, Leeds University). Отправлено в Берлин.

[1] А. Г. Правдин познакомился с Ю. В. Ломоносовым в 1908 г., когда тот взял его осмотрщиком вагонов в Луганске, Раиса Николаевна дружила с его женой, Еленой Алексеевной, еще Одессе в начале 1900-х.

[2] Ломоносовы провели в Италии три месяца весной и вернулись в Берлин 16 июня 1926 г.

[3] В Реддинге с 1921 по 1926 г. в квакерском интернате учился сын Ломоносовых Юрий, мать ездила к нему.

[4] Пастернак получил письмо Рильке 18 мая 1926 (см. письмо к Цветаевой № 305).

[5] Ломоносова предлагала Пастернаку составлять обзоры советских литературных публикаций для нью-йоркских журналов либерально-критического направления «Nation» и «New Republic». Пастернак писал ей об этом в письме № 266.

[6] «О 20-ти ф<унтах> стер<лингов>, чудесным образом пришедших на мое имя», — Пастернак писал в письме № 425.

307. М. И. ЦВЕТАЕВОЙ

23 мая 1926, Москва

23/V / 26

У меня к тебе просьба. Не разочаровывайся во мне раньше времени. Эта просьба не бессмысленна, потому что поверив сейчас про себя, на слух, слова: «разочаруйся во мне», я понял, что я их, когда заслужу, произнести способен. До этого же, не отворачивайся, что́ бы тебе ни показалось.

И еще вот что. Отдельными движеньями в числах месяца, вразбивку, я тебя не домогаюсь. Дай мне только верить, что я дышу одним воздухом с тобою, и любить этот общий воздух. Отчего я об этом прошу и зачем заговариваю? Сперва о причине. Ты сама эту тревогу внушаешь. Это где-то около Рильке. Оттуда ею поддувает. У меня смутное чувство, точно ты меня слегка от него отстраняешь. А так как я держал все вместе, в одной охапке, то это значит отдаляешься ты от меня, прямо своего движенья не называя[1].

Я готов это нести. Наше остается нашим. Я назвал это счастьем. Пускай оно будет горем. Существенности, которая бы развела нас врозь, я никогда в свой круг не втяну, не захочу. А поэтическая воля предвосхищает жизнь. Собственно я никогда никакой воли за собой не помню, а всегда лишь предвиденья, предвкушенья и... осуществленья, — нет лучше: проверки.

И вот недавно, с тобою, решительно *впервые* случилось это со мной по-человечески, как у людей воли.

Ты простоте открыла радость недоставшего разряда. Степень стала основаньем*.

---

* Об этом (о воле, предвосхищеньи и о простоте беспредельного разряда) есть у меня рассказ 1916 года, не сделанный[2]. Сейчас решил, что отделаю летом. (*Прим. Б. Пастернака.*)

И вот ты сейчас возмутишься, точно это я завожу неожиданный plusquamperfekt*.

Ничего не изменилось.

Все равно *одно* одиночество, одни выхода и рысканье то же и те же излюбленности в лабиринте литературы и истории, и одна роль. Чудесно о тебе написал Свят<ополк>-Мирский[3]. Тот же самый Зелинский прислал, раскаявшись и устыдившись политической клеветы, идущей от Кусикова, убогого ничтожества, ни на что лучшее не способного, которого и я достаточно хорошо знаю по столкновеньям в Берлине, где они, засев в «Накануне», травили Белого, и, когда требовалось, та́к нагло переписывали его заслуги в чужую графу, что так и ждалось номера, где просто будет снят Бор<ис> Ник<олаевич> и подпись под фотографией: Ал. Н. Толстой. Таков-«сяков» сей-Ку-сико́в, в корне, правду сказать, совсем безобидный малый[4]. Сказанное похорони, памяти не стоит. Держал он книжную лавку. В крайнем случае, когда он заведет мясную, забирать, из злопамятности, будешь не у него.

Статья переремингтонена на тонкой посольской бумаге. Не только пожалел, но значит нашел, отчеркнул, поручил на Rue de Grenelle[5] машинистке. Задала им работу. Чудесная статья, глубокая, замечательная, и верно, очень верно. Люблю С<вятополка>-М<ирского>. Но я не уверен, справедливо ли *определяет* меня. Я не про оценку, а про определенье именно. Ведь это выходит вроде «Шума Времени», как ты его определяешь — натюрмортизм[6]. Не так ли? А мне казалось, что я вглухую, обходами, туго, из-под земли начинаю в реалистическом обличии спасать и отстаивать идеализм, который тут только под полой и пронести, не иначе. И не в одном запрете дело, а в перерождении всего строя: читательского, ландкартного (во временах и пространствах) и своего собственного, невольного. Перед нелюбимое слово «первый поэт» заскакиваю, чтобы заслонить тебя от него[7]. Ты — *большой* поэт. Это загадочнее превратнее, больше «первого». Большой поэт — сердце и субъект поколенья. Первый поэт — объект дивованья журналов и даже... журналистов. Мне защищаться не приходится. Для меня, в моем случае — первый, но тоже и большой как ты, т. е. таимый и отогреваемый на

---

* давнопрошедшее время (*лат.*).

груди поколеньем, как Пушкин между Боратынским и Языковым — Маяковский. Но и первый. Что же касается этого слова в статье, то напирать на него было бы близорукой придиркой. Разность терминологии. Св.-Мирский под «первым» разумеет подлинно большой, т. е. я бы так рассуждал: единство поколенья — единственность лирической стихии — единственность, в своем бое сосредоточивающаяся в данное время в данном лице. Постоянна только наша способность быть проводниками или преемниками единственности. Волны же эти все время в движеньи. Стихия именуемости ошеломительней имени. Устойчивое имя то же, в отношении духа, что атом в учении о материи: приближенное обобщенье.

Говорю о статье в «Современных Записках». Статьи под рукой нет. Тотчас по прочтеньи послал Вильяму в Красноярск, надеясь на скорый привоз ее Эренбургом. Оттого коротко и отзываюсь. Следовало бы перечесть.

Я еще хотел сказать о цели предостереженья. В случаях моего молчанья не приписывай ему ничего типического, напрашивающегося. Так, например, когда в журналах помещается что-нибудь мое, я эти номера получаю. В толстых всегда есть что-нибудь любопытное, интересное или даже достойное. В теперешний, *трудный* для меня период преодоленья *реализма* через поэзию, там всегда есть вещи, лучше моих, нередки даже случаи, когда вообще *весь* номер, в своей праздничной легкости, этажом выше и опрятнее моих отяжеленных будней. Я этих журналов не читаю, т. е. не могу читать не из небрежности. Но у меня сердце не на месте. Будь ты тут, я бы верно, ими зачитывался. Так вот, пример из тысячи. Если бы тебе вручили бандероль новеньких журналов с двумя-тремя страницами разрезанными для правки, ты не думай, что это я рвусь осчастливить тебя своими неудачами, и только ими занят изо всего тома. Нет, это значит совсем другое. У меня является возможность послать тебе книжки в нетронутом виде, где много хорошего (в «Ковше», например, весь уровень выше моей доли). Я этой возможностью и пользуюсь[8].

Спекторский определенно плох. Но я не жалею, что с ним и 1905-ым, за исключеньем двух-трех недавних глав из «Шмидта» залез в такую скуку и аритмию. Я эту гору проем. А надо это: потому что в природе обстоятельств и неизбежно, и еще потому, что это в дальнейшем освободит ритм от сращенности с наследственным содержаньем. Но таких вещей в двух словах не говорят. Ты поймешь

неправильно и решишь, что я мечтаю о холостом ритме, о ритмическом чехле? О никогда, напротив. О ритме, который девять месяцев носит слово. Перебирая старую дребедень, нашел в сборничке 22 года две странички, за которые, в противоположность вещам в посылаемых журналах, стою горой. Прилагаю, и ты прочти не спеша, не обманываясь формой: это не афоризмы, а подлинные убежденья, может быть, даже и мысли. Записал в 19-м году. Но так как это идеи скорей неотделимые от меня, чем тяготеющие к читателю (губка и фонтан), то поворот головы и отведенность локтя чувствуются в форме выраженья, чем может быть ее и затрудняют[9]. Святополк говорит, что мы разные. Прочти. Неужели разные? Разве это не ты?

У меня это единственный экземпляр. Если ты с чем-нибудь будешь настолько несогласна, что захочешь спорить, приведи задевшее место целиком, а то не буду знать, о чем говоришь. А из журнального много-много если в отрывке 1905 (в Звезде) найдется два-три настоящих слова[10]. —

Рильке сейчас не пишу. Я его люблю не меньше твоего, мне грустно, что ты этого не знаешь. Отчего не пришло тебе в голову написать, как он надписал тебе книги, вообще, как это случилось, и может быть что-нибудь из писем. Ведь ты стояла в центре пережитого взрыва и вдруг — в сторону. — Живу его благословеньем. Если будет что, посылай просто по почте. Дойдет, думаю, лишь бы не швейцарские марки.

Верно не удержусь и пошлю 1-ю часть Шмидта. Когда она была сдана, нашел матерьял, несоизмеримо существеннейший, чем тот, которым пользовался[11]. Переделывать — надо бы поместьем владеть. Не придется. Вгоню главу в виде клина, от которой эта суть разольется в обе стороны. Допишу эту дополнительную главу и тогда вышлю.

Если письмо покажется чудным, тем скорее вспомни о просьбе, с которой оно начинается.

Кланяйся Але, поцелуй мальчика, кланяйся С. Я. Мы может быть будем обеими семьями друзьями. И это не ограниченье, а еще больше, чем было. Увидишь.

Этой весной я стал сильно седеть. Целую тебя.

Впервые: «Дружба народов», 1997, № 7. — Автограф.

[1] Еще осенью 1925 г. Цветаева в ответ на слова Пастернака о его мечте вместе поехать к Рильке (письмо № 262) отвечала: «Ты думаешь — к Рильке можно вдвоем? И, вообще, можно — втроем? Нет, нет. <...> Борис, ты бы разорвался от ревности, я бы разорвалась от ревности, а может быть от непомерности такого втроем» (Цветаева. Пастернак. Письма 1922–1936. С. 127).

[2] Текст рассказа под назв. «Чужая судьба» (1916) не сохранился, но в письме 13 июня 1926 Пастернак называл его «давним, подлинным, нигде не напечатанным» и обещал переписать его и выслать (там же. С. 229).

[3] Статья Святополка-Мирского о «Мóлодце» Цветаевой из «Современных записок», 1926, кн. 27.

[4] А. Б. *Кусиков* — поэт-имажинист. Газ. «Накануне» издавалась в Берлине в 1922–1924 гг. А. Н. Толстой сотрудничал в ней.

[5] Адрес советского посольства в Париже.

[6] Речь идет о рецензии Святополка-Мирского «Борис Пастернак. Рассказы. М.–Л., 1925» («Современные записки», 1925, № 25). Свое отношение к прозе Мандельштама «Шум времени» (1925) Цветаева выразила в статье «Мой ответ Осипу Мандельштаму» (1926), по поводу «эстетского» описания Крыма времени гражданской войны и «безнравственных» характеристик людей. «Сижу и рву в клоки подлую книгу М<андельштама> "Шум времени"» (письмо Д. А. Шаховскому 18 марта 1926; М. Ц. Собр. соч. Т. 7. С. 35). С. Я. Эфрон отговорил Цветаеву публиковать статью в журн. «Воля России», для которого она предназначалась. Судя по выпискам О. Н. Сетницкой, Цветаева писала Пастернаку об этом 27 февр. 1926.

[7] В статье о «Мóлодце» Святополк-Мирский писал: «Среди поэтов послереволюционных ей принадлежит или первое, или одно из двух первых мест». См. на эту тему письмо № 260, в котором Пастернак проводил четкую грань между первым поэтом поколения и единственным: «Первым был Брюсов. <...> Анненский не был первым».

[8] В альм. «Ковш» (1926, № 4) опубликована гл. 4 из «Спекторского», где намечалась встреча героев на вечере, подобном собранию у Цетлиных в январе 1918 г., где познакомились Пастернак и Цветаева.

[9] В статье «Несколько положений» (1918) Пастернак писал: «Современные течения вообразили, что искусство, как фонтан, тогда как оно — губка. Они решили, что искусство должно бить, тогда как оно должно всасывать и насыщаться».

[10] «Звезда», 1926, № 2 — глава «Мужики и фабричные» из поэмы «Девятьсот пятый год».

[11] В работе над поэмой «Лейтенант Шмидт» Пастернак пользовался воспоминаниями З. Н. Ризберг и письмами к ней Шмидта. Дополнительная 8-я глава «Письмо к сестре» была написана по письмам Шмидта к сестре А. П. Избаш.

308. К. Л. ЗЕЛИНСКОМУ

1 июня 1926, Москва

1.VI. 26

Милый Корнелий Зелинский!

Сообщите мне, наконец, свое отчество.

Большое спасибо за присылку статьи и за проявленную при этом заботливость (переписка на ремингтоне и пр.[1]). По получе-

нии первого Вашего письма я разогорчился было за Вас и за себя, но тут же утешился мыслью, подкрепленною давним опытом, что правда всегда выйдет наружу[2], как бы это ни затруднялось подчас носителями чистых носовых платков, носителям чистых имен и более существенных человеческих атрибутов. Если это еще не случилось относительно Кусикова, то уже произошло, хоть и не вполне, в отношении Цветаевой, и даже скорее, чем я думал. На Кусикова же сердиться нельзя. Это человек с воображеньем, развитым по принципам имажинизма. Т. е., живя в мире собственных сновидений, он отличает только выгодные для себя от невыгодных, и старается свою жизнь составить из первых.

Я к Вам с двумя просьбами. Выслан за границу Лежнев[3], редактор незадолго перед тем закрытого журнала «Новая Россия». В «России», новое видоизменение которой представляет журнал «Н<овая> Р<оссия>», я исподволь участвовал[4], хотя журнал по духу дилетантизма, там царившему, казался мне всегда воплощеньем добродушной безвредности, стихии, к которой меня никогда не влекло. Было бы несправедливо сказать, что эта эманация исходила от Лежнева. Он умнее и существеннее своего журнала, как может быть и некоторые из сотрудников. Характер безотрадной порядочности создавался всем коллективом, и адрес редакции, благодаря этой особенности, находился если не в самом округе общих мест, то в угрожающей от него близости. В «Новой России» я участвовать не стал, заявив об этом редактору. Причины приведены выше. Этому человеку, слепо преданному союзу, месту союза в истории, идее союза и любой комбинации слова союз с любым большим и энтузиастическим понятьем, дали выпустить три номера, на четвертом закрыли и выслали. Женская стихия власти повела себя как женщина: проглотила три любовных письма, четвертого не распечатала и своего поклонника временно отправила к чертям, ad maiorem suam gloriam*[5], прекрасно зная, что слепая его любовь только удесятерится от превратностей, и в пятом письме он ей пришлет свое облитое кровью сердце. Правда и выслали-то его по поговорке: милые бранятся только тешатся, т. е., только на срок, номинально трехлетний, но который обещали сократить, с полным советским паспортом и с разрешеньем работать в заграничных советских учреждениях. Незадолго до высылки Радек по моей просьбе должен был поговорить с Дзержинским о Лежневе. Позволительно думать, что по пересмотре дела, может

---

* к вящей своей славе (*лат.*).

быть его даже и не выслали бы. Но Дзержинского не было в эти дни в Москве. Высылка же, т. е. самая посадка на поезд произошла неожиданно, и я не успел попросить у Радека письма к Раковскому, в котором бы он мне не отказал и о котором в самую последнюю минуту попросил меня высылаемый. На вокзале пришло мне в голову написать Вам, Корнелий*, о нем и попросить Вашего, и через Вас и участия Хр<истиана> Августовича[6]. Я знаю, что в предоставлении работы Вы конечно решительных шагов не сделаете, не запросив центра. И с этой стороны, вероятно, препятствий не встретится. Но выслушайте его со вниманием и доверием. Это умный, честный, до ослепленья верный строю человек. Я настаиваю на слове, проскальзывающем в письме второй раз: мир заслонен для Лежнева, как политического романтика — идеей союза, кроме которого он в мировом пространстве ничего не помнит, не знает и не ищет. Потому-то я в «Нов<ой> России» и не стал сотрудничать. Казенные журналы, временами проводящие это отождествленье механически и по инерции, т. е. бесстрастно, я предпочитаю журналу частному, отстаивающему этот антропоморфический миф со страстью[7]. — Боюсь, что разболтавшись с Вами, я затемнил для Вас существо первой просьбы и Вас рассеял. Я прошу, как принято это называть, о всемерном содействии Лежневу, который, верно, на днях зайдет в полпредство, если еще не зашел.

Теперь о другой, личной. Не могли бы Вы купить и выслать мне два томика Верхарна, или по крайней мере один, который я и назову первым: «La multiple splendeur» и «Les heures claires, suivies des heures d'apres-midi»?** Речь идет именно об этих книжках Верхарна, а не о каких угодно вообще: кое-что (Poèmes, 1911 1-ère série) и сборник из 3-х книг под названием Oeuvres) у меня есть и недостает только названных. Эта услуга сопряжена с денежной затратой, т. е. со ссудой, может быть долгосрочной, потому что в ближайшее время не вижу случая Вам эти деньги вернуть. Может быть попрошу Эренбурга, когда он назад соберется. Но кажется он тут некоторое время пробудет. Если не откажетесь это мне сделать, обязательно сообщите, сколько пришлось истратить. Нет ли при полпредстве какого-нибудь литературного отдела связи или чего-нибудь подобного, которому бы я мог задолжать эти деньги.

---

* Отчество, отчество! (*Прим. Б. Пастернака.*)

** «Многоцветное сияние», «Светлые часы после полудня» (*фр.*).

Или не займете ли у Раковского. Скажите, что я не плохой поэт и что Верхарн мне нужен для работы... по социологии творчества. Был бы жив Верхарн, книжки бы я получил от него, как и одну из имеющихся с его надписью. Другую он подарил отцу[8].

Кланяйтесь Х<ристиану> А<вгустовичу>, если он меня помнит. Жму Вашу руку. С Кусиковым раззнакомьтесь.

Ваш Б. Пастернак

Впервые. — Автограф (РГАЛИ, ф. 1604, оп. 1, ед. хр. 764).

[1] Пастернак получил от Зелинского рецензию Святополка-Мирского на «Мóлодца», перепечатанную на машинке из «Современных записок» (1926, кн. 27).

[2] Речь идет о какой-то сплетне, пущенной Кусиковым и затруднившей выполнение просьбы Пастернака о присылке ему книг Цветаевой (см. об этом в письме № 307).

[3] В статье М. Е. Кольцова («Правда», 16 апр. 1926) резкой критике подверглось идеологическое направление журн. «Новая Россия»; в конце мая Политбюро отреагировало на это решением о закрытии журнала и высылке И. Г. *Лежнева* из России. Одновременно Лежнев писал Зелинскому в Париж: «Посоветовал мне обратиться к Вам Борис Леонидович Пастернак. Он, как и другие товарищи и Всероссийский союз писателей принимают живейшее участие в моей беде. Минут за десять до отхода поезда из Москвы он примчался на вокзал и задыхавшись сказал: "Еще вот что. В Париже в нашем полпредстве, работает поэт Корнелий Зелинский, друг Сельвинского, он там занимает должность, кажется, лит. секретаря Раковского. Обратитесь к нему. Ему о Вашем деле напишет Сельвинский, напишу и я"» (РГАЛИ, ф. 1604, оп. 1, ед. хр. 676). Вскоре по своем возвращении И. Лежнев, выступая на съезде писателей в 1934 г., обвинял Пастернака в симпатиях к «сменовеховцам». С критикой политических взглядов Пастернака в 1940–1950-х гг. неоднократно выступал и К. Л. Зелинский.

[4] В журн. «Россия» были напечатаны стих. Пастернака «Весна была просто тобой...» (1922, № 2) и «Белые стихи» (1924, № 3).

[5] Обыгрывается девиз ордена иезуитов: «Ad maiorem Dei gloriam» («К вящей славе Божией». — *лат.*).

[6] Более распространенный вариант отчества Раковского: Христиан Георгиевич.

[7] По высказанным причинам Пастернак недавно передал публикацию отрывка из 4-й главы «Спекторского» Груздеву в «Ковш» и писал ему: «Отрывок был первоначально дан в "Новую Россию". Я беру его оттуда и вообще откажусь от участия в журнале, потому что мне не нравится его тон доморощенного философствованья и дилетантизма, выдаваемого за редкую добродетель. Этот дух сквозит в большинстве статей. Кроме того, мне неприятна его позиция в отношении формалистов. Кроме того, там исподволь задевают друзей (как, например, Асеева, Маяковского и др.).

Очень жаль, что такая редкостная возможность (беспартийного публицистического журнала) так дурно использована» (16 февр. 1926; «Звезда», 1994, № 9. С. 102). Глава была опубликована в «Ковше», 1926, кн. 6. Весной 1956 г. вновь появилась возможность создать «свободный» альманах «Литературная Москва», но Пастернак по-прежнему отдавал предпочтение официальным журналам и просил О. В. Ивинскую взять из «Литературной Москвы» его автобиографический очерк «Люди и положения» и передать в «Новый мир»: «...Вообще говоря я теперь предпочитаю "казенные" журналы и редакции этим новым "писательским", "кооперативным" начинаниям, так мало они себе позволяют, так ничем не отличаются от официальных. Это давно известная подмена якобы "свободного слова" тем, что требуется в виде вдвойне противного подлога» (письмо Ивинской. Июнь 1956).

[8] Книги Верхарна «Poèmes» (Paris, 1911) и «Oeuvres» были подарены автором Б. Л. Пастернаку и его отцу с дарственными надписями в декабре 1913 г. после сеанса позирования для портрета у Л. О. Пастернака и разговора с Б. Пастернаком. Они стояли в Переделкине в рабочей комнате Пастернака среди нескольких самых дорогих для него книг.

309. М. И. ЦВЕТАЕВОЙ

5–7 июня 1926, Москва

5/VI / 26

Горячо благодарю тебя за всё. — Вычеркни меня на время, недели на две, и не больше чем на месяц, из сознанья. Прошу вот зачем. У меня сейчас сумбурные дни, полные забот и житейщины. А мне больше и серьезнее, чем даже в последнее время, надо поговорить с тобой. Поводы к этому разбросаны в твоих последних письмах. Этого нельзя сделать сейчас. Я между прочим до сих пор не поблагодарил Рильке за его благословенье. Но и это, как и работу над Шмидтом, как и чтенье тебя (настоящее) и разговор с тобой, придется отложить. Может быть я ошибаюсь в сроке, и все это станет возможно гораздо скорее. — У меня сейчас нет своего угла, где бы я мог побыть с твоей большой карточкой, как это было с маленькою, когда я занимался в комнате брата с невесткой (оба на полдня уходили на службу). И я о ней пока не хочу говорить, по малости того, что я бы сейчас сказал в сравненьи с тем, что скажу. У меня на руках в теченье дня были «Поэма Горы» и «Крысолов». Я охотно отдал их на прочтенье Асе по той же причине непринадлежности себе.

Я их прочел по одному разу. При этом недопустимом и невозможном, в твоем случае, чтении, мне показалось, что несколько новых, особенных по поэтическому значению, магических мест есть

в «Крысолове», удивительно построенном и скомпонованном. Эти места таковы, что, возвратившись к ним, я должен буду призадуматься над *определеньем* неуловимой их новизны, новизны родовой, для которой слова на языке может быть не будет и придется искать. Но пока считай, что я тебе ничего не сказал. Больше чем когда-либо я именно в этот раз хочу быть перед тобою зрелым и *точным*. Асе больше понравилась (и больше «Поэмы Конца») — Поэма Горы. По первому чтенью я отдаю предпочтенье «Крысолову», и во всяком случае той стороне в нем, о которой пока еще ничего не сказал. — Эренбург пришел ко мне, пробыв тут вне досягаемости неделю. Он еще не все мне передал. Из оттисков только «Гору» и «Крысолова» в 1-м экземпляре. На квартире, где он остановился, его никогда не застать. — Лучше всего с фуфайкой и с кожаной тетрадью для стихов[1]. Обе положил, первую в ожидании зимы, вторую — в ожиданьи (безнадежном) какой-нибудь неслыханной мысли, — без горечи и боли, которая вызывается во мне взглядами других подарков, устремленными в мою теперешнюю пустоту. Деньги, до полученья, мечтал отдать Асе[2]. Но они пришли в очень критическую минуту и мне, пока что, от этой мечты приходится отказаться.

Положенье, на первый взгляд, такое. Человек бушевал и обновлялся при виде маленькой карточки и вот получил большую. Человек обезумел от некоторых мест поэмы и вот получил две. На него пролился золотой дождь и с его каплями в волосах он адресуется к источнику: погоди, мол, я завтра поблагодарю тебя. Как бы ни было велико у тебя искушенье увидать это в таком роде, как бы ни было велико правдоподобье образа, гони этот призрак, ничем не похожий на истину. Лучше всего было бы в точности исполнить просьбу: забыть меня на месяц. Ради Бога, не взрывайся. Впрочем, я готов допустить и крайность с твоей стороны. Я так в своих надеждах тверд, что готов все начать сызнова. — Была у меня мысль послать тебе в этот промежуток написанную половину Шмидта, «Поверх Барьеров» и еще всякой дребедени с условьем, чтобы ты мне об этом ни слова не писала, пока я не возобновлю человеческого разговора с тобой. Но Шмидта не хочу окружать оговорками и вообще не пошлю, пока не будет кончен. С тем падает и весь план. Опять были частные совпаденья: блюдце (о море), множество выражений, рифм и пр. в поэмах.

Очень хочется все поскорее устроить с семьей, остаться одному и опять приняться за работу. Разгон, верно, упущен, но что делать.

Боюсь лета в городе — духоты, пыли, бессонницы, накатов чужого, но заразительного скотства; идеи ада (бесформенного

страданья). Если же воспользоваться одним из сотни приглашений, боюсь захлебнуться благодатностью новых впечатлений, освеженья, которое скажется никак не сейчас, а обязательно через годы. Боюсь влюбиться, боюсь свободы. Сейчас мне нельзя. То, что в руках у меня, не так держу, чтобы отложить в сторону. За год ухвачусь ловчее, т. е. — метафоры неуместны — прикован пока к данному подоконнику и к верстаку чудовищностью расходов и невыравнявшимся заработком.

Весной был выпад категоризма. Я рванулся было вон из круга вынужденного приниженья Жени, тебя, себя самого[3] и (какой глупый порядок) всего мира. Удручает кажущийся возврат к сеянью обид и обиженности. Я говорю о нравственной неуловимости, которою пересыпан обиход в том случае, когда *единственное* чистое и безусловное его место составляет *работа.*

Тебе кажется, что это пусть горько, но нормально. Мне нет.

7. VI. 26

Совпаденья словаря и манеры таковы, что предположенное все-таки вышлю[4], чтобы не казалось, что Шмидта и Барьеры написал под влияньем Крысолова. О Барьерах. Не приходи в уныньe. Со страницы, примерно 58-й станут попадаться вещи поотраднее. Всего хуже середина книги. Начало: серость, север, город, проза, предчувствуемые предпосылки революции (глухо бунтующее предназначенье, взрывающееся каждым движеньем труда, бессознательно мятежничающее в работе, как в пантомиме) — начало, говорю я, еще может быть терпимо. Непозволительно обращенье со словом. Потребуется перемещенье ударенья ради рифмы — пожалуйста: к услугам этой вольности областные отклоненья или приближенье иностранных слов к первоисточникам. Смешенье стилей. Фиакры вместо извозчиков и малорусские жмени, оттого что Надя Синякова, которой это посвящено[5], — из Харькова и так говорит. Куча всякого сору. Страшная техническая беспомощность при внутреннем напряжении может быть бóльшем, чем в следующих книгах. Есть много людей, ошибочно считающих эту книжку моею лучшею. Это дичь и ересь, *отчасти* того же порядка, что и ошибки твоей творческой *философии,* проскользнувшие в последних письмах. Прости за смелость, — я это кругом обошел и знаю.

Опечаток больше, чем стихов, потому что жил тогда (в 16 г.) на Урале. Постарался Бобров. Типический грех горячо преданного человека. Т. е. правил и выпускал он.

О Шмидте два слова. Нетерпеж *послать* (*только послать,* на почту снесть). Между 7-й и 8-й цифрой пропуск. Будет письмо к сестре (*совсем другой* человек пишет, нежели автор писем к «предмету»). Очень важная вставка[6]. Почти готово, — но дошлю со 2-ой частью, где только и начинается драма. (Превращенье человека в героя в деле, в которое он не верит, надлом и гибель.) Будь ангелом, сделай милость, не пиши о вещах, пока я подробно в Крысолове не отчитаюсь. Будь другом, все равно, понравится ли, нет ли, пока молчи. Зачем остальная дребедень, объяснил уже раньше.

Ася называет его Сережей, и я подружился с этим именем. Все им очарованы, кто знает, и говорят одно хорошее. Мне кажется, что я его за что-то люблю, потому что мне как-то от него больно. Нет, просто люблю его и по-мужски, чудесно, *уважаю.*

Мне позвонили из «Комсомольской Правды» (неслыханный случай) с просьбой разрешить напечатать «Мне 14 лет» (выбор, для комсомола!)[7]. Когда напечатают, будет возможность, если захочешь, со ссылкой на № комсомола в Верстах! Ты меня ненавидишь, я это чувствую.

Впервые: «Дружба народов», 1987, № 7. — Автограф.

[1] Цветаева послала с Эренбургом подарки в Москву. «Не сердись! — писала она 6 апр. 1926. — В этом нет грубости, одна нежность, беспомощная и хват<ающаяся> за шерсть фуфайки. Она у тебя будет почти животное, всё равно как если бы я тебе пос<лала> собаку» (Цветаева. Пастернак. Письма 1922–1936. С. 165). В кожаную тетрадь, посланную Цветаевой, Пастернак переписал набело 2-ю и 3-ю части «Охранной грамоты».

[2] Гонорар за публикацию главы «Потемкин» в «Верстах» (1926, № 1).

[3] О намерении расстаться с женой весной 1926 г. см. в письме № 320.

[4] Посылка книги «Поверх барьеров» (1917) обусловлена просьбой со стороны Цветаевой в письме 1 мая 1926. В ответ на присланную книжку «Избранные стихи» («Узел», 1926) она писала: «Какие замечательные стихи из Поверх барьеров! Борис, эта книга у меня должна быть. Если нет, достань, выкради у знакомых» (там же. С. 193). Кроме книги, была послана рукопись первой части поэмы «Лейтенант Шмидт».

[5] Середину книги «Поверх барьеров» составляют стихи, обращенные к Н. М. Синяковой.

[6] Речь о главе 8-й, написанной по письму Шмидта к сестре А. П. Избаш. См. о ней в письме № 307. Была послана Цветаевой 13 июня 1926 вместе с «Высокой болезнью» (публикация в «Лефе», 1924, № 1) и оттиском подборки стихотворений из «Русского современника» (1924, № 2), надпись — в коммент. к письму № 310.

[7] Отрывок из главы «Детство» был напечатан в «Комсомольской правде» под назв. «Из поэмы» 13 июня 1926.

310. К. Л. ЗЕЛИНСКОМУ

8 июня 1926, Москва

Волхонка 14 кв. 9
8.VI. 26
Милый Зелинский!

Так как в скорости, то есть, скажем в середине июня, Вы будете вынуждены проклясть меня, по частоте и бесцеремонности моих просьб, то спешу поспеть с этой, по-видимому последней, до произнесения анафемы. В журнале Commerce или La Commerce (кажется 3-хмесячник под редакцией Paul Valéri), слышно, были помещены переводы из «Сестры», кажется Извольской. Достаньте, будьте Кимом[1], пожалуйста, этот номер и перешлите мне. Вы мне этим доставите большую радость, даже если ее мне и не желаете. —

Работал месяц запоем. Хочется начать опять по-старому, т. е. во всей точности: *опять по-новому, как когда-то,* подальше от навязанной долголетней Третьяковки[2] (не от Сережи Третьякова, а от Лаврушинского переулка). Хотя чем и С. Третьяков не передвижник?[3] Люблю в нем только отрицанье искусства. Тут он мыслит правильнее и последовательнее всех лефовцев*. Хворал прескверною ангиной Асеев. Очень за него боялись. Я совершенно упал духом и неделю ходил с крепом в глазах. Теперь выздоравливает, весь шелушится, как после скарлатины. Очень хочется писать вещь за вещью, зарабатывать, пересаживаться от поэмы за другую, как с поезда на поезд, без особых остановок: хочется одичать на каком-то из перегонов и подикарствовать, как случалось раньше; хочется на будущий год, весной, обязательно за границу. Становится это возможно благодаря тому, что, может быть под влияньем Запада, тут вспомнили обо мне, и это отразилось на заработке. Случаются трогательные курьезы. Тому же самому Перцову, который уничтожил меня на вечные времена летом 24 г. в ж. «На Посту», та же редакция заказывает статью навсегда воскрешающую, и критик с тою же охотой берется за новую задачу, как третьим летом[4]. Читали ли Вы, Зелинский, о Буридане, и не тем же ли сеном пахнет над лугами, что в далекое Средневековье[5]. Спешу пожать Вашу руку, а то опять заболтаюсь. Любите меня нежно и не забывайте. Говорят, к концу дня в редакции Огонька

---

* И к тому мне близка эта мысль социалиста Платона. (*Прим. Б. Пастернака.*)

редактор проводит поперек листа отвесную черту и каллиграфически выводит: слева — «слушали», справа — «постановили». Затем в первую графу заносит: «нечем дышать». В графу «постановили» выписывает, не меняя синтаксической формы, с мрачной машинальностью, постепенно закрепляющейся за этою графой вообще, *ту же самую фразу* (!) Выходит: постановили нечем дышать. Ну да к черту Огонек. Пришлите Commerce.

Ваш Б. Пастернак

P. S. Только что узнал: застрелился Андрей Соболь[6].

В кругу друзей Цветаевой Вас очень хвалят как теоретика и вообще отзываются с симпатией. Надо сказать этот круг в действительности лишен той штукатурки, которой его Вам покрыли[7].

Впервые. — Автограф (РГАЛИ, ф. 1604, оп. 1, ед. хр. 764).

[1] *Ким* — добрый индусский мальчик, герой романа Р. Киплинга «Ким» (1901). По-видимому, Пастернак вскоре получил номер журнала. Об этом — в надписи на оттиске из журн. «Русский современник», посланном Цветаевой, где Пастернак приводит строчку из перевода: «В "Commerce", зимнем № 1925 г. были напечатаны переводы Извольской, два моих стихотворения и одно Мандельштама. Одного из них ты, может быть, не знаешь. Вот оно, "Отплытие". Прочти и Петухов. Остальных не стоит. Это из "Современника", где были напечатаны твой изумительный Занавес и Сахара (но не в том же номере и с ужасными опечатками, не по моей вине; просил прислать корректуру, выпустили в Питере, не исполнив просьбы). Если знаешь Извольскую, передай ей мою благодарность. Местами очень хорошо, вообще все прекрасно. Но "Разбегаясь со стенаньем" кажется очень усложнено в передаче: "Lancée sur la voie des gémissements"» (Буквально: «Брошенная на путь стонов» — *фр.*). У Пастернака: «Разбегаясь со стенаньем, / Вспыхивает бледно-розовая / Моря ширь берестяная» — из стих. «Отплытье», снабженного в оттиске примеч: «О переезде в 1922 г. Петербург — Штеттин 1923». Цветаева была знакома с Еленой Александровной Извольской и 18 марта 1931 писала Пастернаку о ее отъезде в Америку (Цветаева. Пастернак. Письма 1922–1936. С. 535).

[2] Третьяковская галерея возникла из сопоставления работы над историческими поэмами с живописью «передвижников». «Какой ужасный "1905 год"! Какое у нас передвижничество!!», — писал Пастернак в письме к Ж. Л. Пастернак 28 марта 1926.

[3] Сергей Михайлович *Третьяков* — драматург, один из идеологов «Лефа». Пастернак, говоря о «непостижимости» для него системы идей, которые проповедовал «Леф», выделял «в этом кружке отрицателей» Третьякова как «единственного последовательного и честного» человека, «доводившего свое отрицание до естественного вывода. Вместе с Платоном Третьяков полагал, что искусству нет места в молодом социалистическом государстве, или во всяком случае в момент его зарождения»

(«Люди и положения», 1956). Пастернак называет Платона социалистом в плане разработки идей идеального государства в трактате «Государство», от которого исходил Герман Коген в своей теории «нравственного социализма».

[4] Речь идет о статьях В. О. Перцова «Вымышленная фигура» («На посту», 1924, № 1) и «Новый Пастернак» («На литературном посту», 1927, № 2).

[5] Разговор о выборе из двух вариантов, от невозможности сделать который должен умереть с голоду осел, не зная, из какого стога взять сена. Этот парадокс получил название Буриданова осла в честь средневекового французского философа-схоласта Иоанна Буридана, доказывавшего первостепенную роль разума в психологии человека. «Пахнет сеном над лугами...» — первая строка хрестоматийного стихотворения А. Майкова «Сенокос» (1856).

[6] Прозаик Андрей *Соболь* (наст. имя: Юлий Михайлович).

[7] Имеется в виду отрицательное отношение советской критики к «евразийцам».

311. М. И. ЦВЕТАЕВОЙ

10 июня 1926, Москва

10/VI / 26

Тех писем не нагнать и не задержать в дороге. Впрочем, завтра попробую послать воздушной. — Ничего в них нет страшного или дурного. Но ими говорит то угнетенье, в котором я находился, пока не увидал второго письма Рильке к тебе[1]. Теперь я люблю всё (тебя, его и свою любовь) так же бесконечно, как, в последний раз, 18-го мая (день твоей молчаливой пересылки[2]). Знаешь, что меня тяготило последнее время? В твоих словах о нем мне стали мерещиться границы (тезисы об одиночестве и творчестве, вещи известные мне, как и тебе, не меньше); но, как это бывает со всем краеугольным, когда я его признаю и с ним соприкасаюсь, известные мне небрежнее, мимоходнее, обязательно в какой-нибудь частности, известные мне легче и живее, чем в твоей бесспорной формулировке. Ты же выражала их почти как ложь[3]. *Я боялся, что ты любишь его недостаточно*[4]. Мне трудно все это рассказать тебе с начала, с того предвосхищенья, которым была внушена вся весна, и поездка к тебе, и письмо к нему, и чутье всего, что должно было последовать: потянуть, полететь на нас из будущего. Я прекрасно понял (и это есть у меня в неотосланном письме) породистость и душевный такт твоей сдержанности при пересылке. Но именно то, что этому прирожденному движенью было оказано предпочтенье перед случайностью промаха (*не* промолчать, оказаться не золотой, а неизвест-

ного состава), меня и огорчило*. Уже этот конверт бесконечность затуманивал, если не упразднял. Моей, привидевшейся мне (бесконечности) на наш счет, я в красоте твоей сдержанности не узнал. Марина, тебе не придется негодовать и удивляться: я сам дальше все это объясню, дай только договорить мне, это я не обвиняю, а оправдываюсь. И всё, что ты потом ни писала, увеличивало несходство. Теперь всё ясно**. Я позволял своему чувству жить допущеньем, что мы светопрозрачны друг для друга, т. е. что мое письмо к нему прошло через тебя, и что мои домыслы о вашем знакомстве равносильны невиденным фактам. Твои же слова о нем, т. е. та сторона их, которая была *производной* и шла в ответ на мою *путаницу* и беспокойство, не только не успокаивали, а их усугубляли. Я сказал уже. Двумя химерами отдавали эти ответы (*моя* вина). Мне представилось, что у тебя есть границы, которые *я* могу увидеть (представляешь точность горя!). Я пришел к мысли, что ты его не любишь, как надо и можно, как я (представляешь и это!!). А ты еще подливала масла в огонь: Гончаров, Marine и пр.[5]

Теперь эти химеры рассеяны, не тобою, потому что даже в твоем последнем письме (лавр оценен и съеден) — ты продолжаешь бить меня по тому же больному месту: тычешь границами (выдуманными) его якобы и своего чувства к нему, а вместе с тем, в этой части и неизбежно при всей моей reconnaissance*** к тебе («Благонамеренный», Цветаева[6]), — и призраком своих собственных.

Химеры рассеяны его изумительным вторым письмом к тебе. По этому ответу легко заключить о твоих к нему. Вот чего мне все время недоставало, и удивительно, как ты этого не поняла. Вместо того, чтобы переписывать его строчку о силе *моего* письма[7], ты должна была именно хоть строчку (т. е. знак только какой-нибудь) дать из его письма о твоей силе, из его письма о его силе с тобою. Тогда бы время не перекосилось так, как это случилось. Правда, однажды ты наконец догадалась сказать мне, как это велико у тебя, и как велика отдача, и этого было бы за глаза довольно с меня, когда бы в том же письме ты не рассердилась на что-то и не затем-

---

* Дальше вычеркнуто: «Тогда мне представилось, что предчувствие меня обмануло».

** Дальше вычеркнуто: «Если мое предвиденье и сказалось в моем письме к нему, то ведь этого письма ты не видела».

*** признательность, благодарность (*фр.*).

нила сказанного первым приступом межевых страстей. Теперь *всё* однородно, уподоблено, поднято на исходную высоту, вольно порознь и благодатно в целом. *Больше сноситься об этом не надо**. Горячо верю, что если ты уже успела провиниться перед той стороной (а как мне этого не бояться при твоих письмах со схемами), то задолго до этих рассуждений (воображаю, как они тебе отвратительны) всё восстановлено тобою же. Ужасно страдаю, что не могу написать ему сейчас, что не пора. Я уже говорил тебе, что у меня сумбур, пыль и моль летает, и деньги доставать, и своих отправлять за границу. Крысолова перечел и хочу сегодня же написать тебе о нем. Если это примут воздушною, то придет через дня три-четыре вслед за этим. Нам надо любить друг друга по твоим правилам («Благодарность»). *И я не ошибся в тебе.* Но я так верю каждому твоему слову, что когда ты принялась умалять или оледенять его, я принял это за чистую монету и пришел в отчаянье, в котором бы и остался, если бы не его письмо к тебе (от 10/V). Оно тебя мне вернуло.

Эта радость пришла вчера. Перед этим ты мне снилась два раза подряд. Ночью (я лег в 5-м часу утра) и днем (досыпáлся в сумерки). Смутно помню только ночной сон. Ты сюда приехала. Я тебя водил к твоим младшим сестрам (которых нет) в несколько домов, каждый из которых ты признавала домом своего детства, они выбегали в том возрасте, в котором ты их покинула, и так, в этом повторно колеблющемся шуме сменяющихся варьянтов какой-то очень глубокой темы (обладал ею я, и ты была девочкой перед моей душевной сединой), колтыхаясь, с горки на горку, из-под полкá под полóк, проволоклась перед нами летняя, сутолочная, неподвижно горящая Москва.

Крепко тебя обнимаю. Прощай мне всё.

Впервые: «Дружба народов», 1997, № 7. — Автограф.

[1] Письмо Цветаевой к Рильке 10 мая 1926, которое она вместе с первым 3 мая 1926 переписала и послала Пастернаку (опубликованы в кн. Rilke. Marina Zwetajewa. Boris Pasternak. Briefwechsel. Insel Verlag, 1983). В письме родителям № 313 Пастернак восхищается силой и полнотой «это-

---

* Т. е. не надо пересылать, «принимать во вниманье», «держать в известности» и пр. Но один раз из неизвестности *надо* было вывесть. (*Прим. Б. Пастернака.*)

го его письма к ней, письма поэта к поэту», получив которое, он «воспрянул духом, увидав, что не ошибся в чутье и предчувствиях».

[2] В этот день Пастернак получил от Цветаевой письмо Рильке к нему.

[3] Имеется в виду следующее место из письма Цветаевой 22 мая 1926: «А я тебе скажу, что Рильке перегружен, что ему ничего, никого не нужно <...> На меня от него веет последним холодом имущего, в имущество которого я заведомо и заранее включена. Мне ему нечего дать: всё взято. Да, да, несмотря на жар писем, на безукоризненность слуха и чистоту вслушивания — я ему не нужна, и ты не нужен. Он старше друзей. Эта встреча для меня — большая растрава, удар в сердце, да» (Цветаева. Пастернак. Письма 1922–1936. С. 207).

[4] На эти слова Цветаева отвечала: «Можно ли, любя Рильке, не любить его больше всего на свете... Можно ли, осмеливаясь произнести или даже не осмеливаясь произнести люблю, не давать всего себя целиком, назад, вперед, навсегда, во веки веков, аминь. Борис, я люблю его больше всего на свете, больше тебя. Этого ты хотел?» (там же. С. 237–238).

[5] См. слова Цветаевой о «ревности» по поводу того, что Рильке ее «стихи читает с трудом, хотя еще десять лет назад читал без словаря ГОНЧАРОВА. <...> Какая растрата! В этом я на секунду увидела его иностранцем, т. е. себя русской, а его немцем. Унизительно.<...> Гончаров (против которого, житейски, в смысле истории русской литер<атуры> такой-то четверти века ничего не имею) на устах Рильке слишком теряет. Нужно быть милосерднее» (26 мая 1926; там же. С. 219).

[6] Ссылка на подборку дневниковых записей Цветаевой 1918–1919 гг., опубликованную в «Благонамеренном» (1926, № 1) под назв. «О благодарности». Этот номер журнала Пастернак брал у В. П. Полонского (ЛН. Т. 93. С. 694).

[7] Пересылая Пастернаку письмо Рильке, Цветаева вложила в конверт выписку из письма Рильке к ней, взволнованного «силой и глубиной» обращенных к нему слов Пастернака.

312. М. И. ЦВЕТАЕВОЙ

14–18 июня 1926, Москва

14. VI. 26. Того письма о Крысолове, которое начал на днях, не дописать[1]. Начинаю наново, а то уничтожу. Оно начато с дурною широтой, слишком с разных сторон сразу, слишком лично, слишком изобилует воспоминаньями и личными сожаленьями. Т. е. оно чересчур эгоистично, и эгоизм его — страдательный: это барахтанье всего существа, получившего толчок от твоей сложной, разноударной поэмы. Крысолов кажется мне менее совершенным и более богатым, более волнующим в своей неровности, более чреватым неожиданностями, чем Поэма Конца. Менее совершенен он тем, что о нем хочется больше говорить. Восхищенность По-

эмой Конца была чистейшая. Центростремительный заряд поэмы даже возможную ревность читателя втягивал в текст, приобщая своей энергии. Поэма Конца — свой, лирически замкнутый, до последней степени утвержденный мир. Может быть это и оттого, что вещь лирическая и что тема проведена в первом лице. Во всяком случае тут где-то — последнее единство вещи. Потому что даже и силовое, творческое основанье ее единства (драматический реализм) — подчинено лирическому факту первого лица: герой = автор. И художественные достоинства вещи, и даже больше, *род* лирики, к которому можно отнести произведенье, в Поэме Конца воспринимаются в виде психологической характеристики героини. Они присваиваются ей. В положении, что большой человек написал о большом человеке, вторая часть перевешивает первую, и изображенный удесятеряет достоинства изобразившего.

Что может, вообще говоря, служить началом единства и окончательности несобственной, *не*перволичной лирики? Чтобы долго не думать и ответить тотчас, доверюсь беглому ощущенью.

Тут два фокуса. Редко они уравновешиваются. Чаще борются. Однако для достиженья окончательной замкнутости вещи, и тут требуется либо равновесие обоих центров (почти немыслимое), либо совершенная победа одного из них, или хотя бы долевая, неполная, но *устойчивая*. Такими фокусами мне кажутся:

1. Композиционная идея целого (трактовка ли откровенно сказочного образа, или вымысла мнимо правдоподобного, или любой другой предметной тенденции). Это один центр.

2. Технический характер сил, двинутых в игру, химическая характеристика материи, ставшей в руках первой (1°) силы миром; спектральный анализ этого небесного тела. Бесконечность первой волны упирается в идеальное бессмертие предмета (вселенной). Бесконечность второй, завершаясь горячим, *реальным* бессмертием энергии, есть, собственно говоря, поэзия — в ее ключевом бое.

В Крысолове, несмотря на твою прирожденную способность *компоновать*, мастерски и разнообразно проявленную в Сказках[2], несмотря на тяготенье всех твоих циклических стихотворений к поэмам, несмотря наконец на изумительность композиции самого Крысолова (крысы как образное средоточье всей идеи вещи!! Социальное перерожденье крыс!! — идея потрясающе простая, гениальная, как явленье Минервы) — несмотря на все это, — поэтическое своеобразие ткани так велико, что *вероятно* разрывает силу сцепленья композиционного единства, ибо та-

ково именно действие этой вещи. Сделанное в ней говорит языком *потенции,* как это бывает у больших поэтов в молодости или у гениальных самородков — в начале. Это удивительно молодая вещь, с проблесками исключительной силы. Действие голого поэтического сырья, то есть проще: сырой поэзии, перевешивает остальные достоинства настолько, что лучше было бы объявить эту сторону окончательным стержнем вещи и написать ее насквозь сумасшедше.

Может быть так она и написана, и в последующих чтеньях под этим углом у меня и объединится. Св<ятополк>-Мирский очень хорошо и верно сказал о надобности многократного вчитыванья[3]. — Замечательно, что в самой композиции были два мотива, двинувшие тебя по пути оголенья поэзии и писания чистым спиртом. Это, во-первых, издевательская нота сатиры, сгустившая изображенье до нелепости и таким образом, и параллельно этому доведшая *аффект* выраженья до крайности, до той крайности, когда, разгоревшись среди высказанного, *физическая* сторона говора в дальнейшем овладевает словом как предметом второстатейным и начинает *реально* двигаться в нем, как тело в одежде. Это конечно благороднейшая форма зауми, та именно, которая заключена в поэзии от века. Хорошо и крупно, что она у тебя не в случайных мелочах и не на поверхности, как это часто бывало у футуристов, а вызвана внутренней мимикой, совершенно ясна и, как кусок музыкального произведенья, подчинена всему строю (например Рай-город и пр.[4]). Потом она — предельно, почти телесно — ритмична. — Вторым поводом в сюжете для разнузданья поэзии был мотив музыкальной магии. Это ведь была отчаянно трудная задача! То есть она ужасно затруднена реализмом прочего изложенья. Это точь-в-точь как если бы факиры своим чудесам предпосылали речь о гипнозе или фокусники — объясненье своих приемов и потом, разоружившись, все-таки бы ошеломляли! Т. е. ты понимаешь, начни ты всю поэму с «Ти-рили» «Индостан» — это было бы в тысячу раз легче, чем дать одним и тем же языком и жестом сперва — правдоподобье (отрицанье чудес) и затем — чудо. Словом, никакая похвала не достаточна за эту часть шедевра, за *эту* его чудесность[5]. Но сколько бы я ни говорил о «Крысолове», как о законченном мире со своими качествами, постоянно будут нарастать кольца, типические для всякой *потенции.* Говоришь о вещи, нет-нет соскользнешь на речь о поэзии вообще; говоришь о тебе, то и дело подымаются собственные сожаленья: силы, двинутые тобою в вещь, страш-

но близки мне, и особенно в прошлом. Не прочти я Крысолова, я был бы спокойнее в своем компромиссном и ставшем уже естественным — пути.

— *Перебои,* ритмическое перемеженье мысли заскакивающими (ровно насколько можно) скобками другой. «Фиговая! Ибо что же лист / Фиговый (Mensch wo bist?) — / Как не прообраз ее? (Bin nackt) / Наг, потому робею»[6].

Осатаненье восстающего на себя ритма, одержимость приступом ускоряющегося однообразья, стирающего разность слов и придающего несущейся интонации видимость и характер слова.

В партии Рай-город эта стихия матерьялизуется до предела в переходе: Кто не хладен и не жарок, прямо в Гаммельн поез–жай Город[7] — и знакомый, уже раньше поразивший дикостью, лейтмотив целиком, точно лошадь в реку, обрушивается в несущееся дальше изложенье, чтобы сразу пресечься рожком ночного сторожа. (Замечательно.)

Такое задалбливанье, анестезированье слова встречается не раз в поэме и постоянно служит либо эквивалентом насмешки (почти высовыванье языка), либо материализацией флейтового лейтмотива. Вообще ты в этом отношении Вагнерианка, лейтмотив твой преимущественный и сознательный прием. Так, чудесно набеганье того же лейтмотива в следующей главе, где он, помимо напоминанья, представляет еще варьянту горячности (вместо сарказма — волна гордости): В моих (через край-город)[8]. В этой второй главе прекрасен переход от сравнительной аритмии рассужденья о снах, досадливого и против воли копанья — к партии «замка не взломав», которая кажется возмущеньем подавленного ритма. Это ощущенье не обманывает, ритм, разбушевываясь, как всегда у тебя, начинает формировать *лирические сужденья* (Не сущность вещей — вещественность сути. Не сущность вещей — существенность вещи[9].) Это собственно — поэтический полюс зауми. Во всех смыслах. Т. е. я так его всегда переживал. Диаметральные противоположности возможны лишь как завершенья *однородной* сферы. Они достаточны для ее построенья, т. е. они дают всё и всё исчерпывают. Какая однородность связует законченную лирическую сентенцию Лермонтова с матерьяльным до бессмыслицы звучаньем иных элементов его стиха? (Лерм<онтова> я взял потому, что при его дилетантской подчас аффектации посторонних поэзии вещей, при множестве дурных стихов, при его двойственности в деле эмоции — в одном случае истинная эмоция поэта, — в других якобы нечто большее: слабость и беспорядок «искренности»,

при всем этом вдвойне поразительна его сухая мизантропическая *сентенция,* задающая собственно тон его лирике и составляющая если не поэтическое лицо его, то звучащий, бессмертный, навеки заражающий индекс глубины.) ---* Так вот. Ту и другую крайность связует их общий родник: движенье. Твои нагромождающиеся друг на друга определенья всегда сопутствуют апогею ритма, всегда своею формой и содержаньем ему обязаны, всегда, наконец, натуральны в этом именно месте возвысившейся до предела стихии, начинающей мыслить и швыряться определеньями, формулами, пифическими «мантиссами», кусками оформленного смысла. Точно так же и разлеты в тупики осязаемого слова, то есть в элементы губного, горлового и мышечно-шейного возбужденья или охорашиванья — порождаются изгибами и поворотами ритма. Но в этой поэтической физике «бесконечно большое» (определенье, сентенция, философствующее слово) удавались тебе всегда несравненно больше, чем выраженье «бесконечно малого» (основанье качества, тональности образа, неповторимости и пр.). — Опять радостно узнать, при повторении, что прокатившаяся часть была лейтмотивной (Засова не сняв, замка не затронув[10]). Я уже сказал, что в этой вещи *частности* отобраннее, чем это у тебя в обычае:

Гусиных перьев для нотариуса[11]

Полка с мопсами в лавке глиняной![12]

В Напасти снова удивительная музыка[13].

За несколько минут перед этим пришла Женя с известием, что получила заграничный паспорт. Бросаю письмо. Надо доставать деньги. Вообще взволнован и отвлечен. Думал поспеть до этого — не вышло.

18.VI.26. Знаешь что? Пошлю-ка тебе пока эту ерунду. Слух тебя не обманет. Ты по вялости и топтанью на месте восстановишь хаос, в котором я урывками конспектировал этот разбор. При первой возможности (думаю, через неделю) допишу и дошлю. Самые замечательные части конечно Увод и Детский рай, и часть «Напасти». Так как я неизбежно забуду, что́ тут писал (*так* писано), то

---

* Так в письме.

ты не будь в претензии, если в дальнейшем обсужденьи встретишь повторенья сказанного.

Затем еще вот что. Тебе конечно покажется, что в этом Сакулинско-Коганском разборе[14] нет веянья жизни (моей, твоей, всякой истинной). Ну так вот тебе. Больше года мы жили без крыс, когда-то (плод разрухи) нас одолевавших. В день прочтенья поэмы опять набежали, пришлые, на дворе ремонт. Толкуй эпизод как знаешь. Я с ними конечно не уживусь и выведу, хотя бы они и были притянуты лирикой. Но все-таки это интересно.

Ужасно хочется работать. Перерыв затянулся. Как только работу возобновлю, приду и душевно в более ясное, упорядоченное состоянье. Сейчас себе не принадлежу.

Если ты мной недовольна несмотря на объясненья и причины, которые твое воображенье воссоздаст во всей живости, если захочет; если ты все-таки мной недовольна, скажи это прямо, а не давай этому чувству раствориться в общем токе слов. Такой раствор всегда огорчительнее чистого недовольства во всей крепости. Тут дается простор мнительности и собственной печали.

Также залежалось дополненье к Шмидту[15]. Или я отослал уже его? Последние недели перепутались у меня в памяти, и ответ на эту неуверенность даст мне письменный стол, хотя и он в совершенном запуске. Значит, если не дослал, прилагаю. Вторую часть начну писать по отъезде своих. А забот-то, забот!

И Рильке еще не поблагодарил. Простится ли?

Отсылаю не перечитывая. Ты все знаешь.

Впервые: «Дружба народов», 1997, № 7. — Автограф.

[1] Об этом письме Пастернак писал 13 июня: «Я прочел еще раз Крысолова, и у меня уже написано полписьма об этой удивительной вещи. Ты увидишь и не пожалеешь. Я не могу дописать его сейчас. Я все расскажу тебе потом. В разговоре о Крысолове будут ссылки и на свое <...> В письме о Крысолове будет не о вещи только, о многом еще, много личного, — словом, обо всем, вызванном вещью» (Цветаева. Пастернак. Письма 1922–1936. С. 229, 230).

[2] Поэмы-сказки Цветаевой «Царь-Девица» и «Мóлодец».

[3] По-видимому, Святополк-Мирский писал об этом Пастернаку в письмах, в его статье о «Мóлодце» таких слов нет.

[4] Из главы первой «Город Гаммельн» (М. Ц. Собр. соч. Т. 3. С. 55).

[5] Имеется в виду глава четвертая «Увод» (там же. С. 70–80).

[6] «Ода пуговице» — из первой главы «Город Гаммельн» (там же. С. 53–54).

[7] Там же. С. 55.

[8] Глава вторая «Сны» (там же. С. 56).

[9] Там же. С. 58.

[10] Там же. С. 59–60.

[11] Из главы третьей «Напасть» (там же. С. 61).

[12] Из главы пятой «В ратуше» (там же. С. 86).

[13] «Напасть» — глава третья (там же. С. 61–69).

[14] Имена видных советских литературоведов социологического направления П. Н. Сакулина и П. С. Когана.

[15] Имеется в виду рукопись вставной, 8-й главы «Лейтенанта Шмидта», оставшаяся неотосланной.

313. РОДИТЕЛЯМ

17 июня 1926, Москва

17/VI / 26

Дорогие, горячо любимые папа и мама!

Паспорт получен благодаря Пепе, случай исключительный за последнее время, когда в них отказывается всем, и чем официальнее лицо, тем скорее. Скоро, скоро вы увидите знакомую уже вам сноху, кажется так называется родство, в котором состоит к вам Женя, — сильно изменившуюся и может быть неузнаваемую. И совершенно неизвестного внука. Не говоря о том, что вразрез с моими представленьями о нем он не в меру и без правдоподобья захвален, что было бы во вред первому впечатленью и в том случае, если бы он их заслуживал, он их и не заслуживал никогда и всего меньше в последнее время, когда он достиг возраста, в котором детский характер становится доступен действию баловства. Это маленький тиран, крикун, эгоист и узурпатор. Может быть, в этих качествах он не виноват. Для того, чтобы вас не огорчило первое, вероятно, невыгодное впечатленье, т. е. для того, чтобы по нему вы не сочли себя за черствецов, признаюсь вам в ощущеньи, неизменно охватывавшем меня во всякую новую встречу с ним после хотя бы двухдневной разлуки. Это я проверил совсем недавно, на прошлой неделе, когда он с Женею гостил у знакомых на даче и я его не видал пять дней. Чувство это настолько сильное, что не может быть случайностью или моей особенностью. Убежден, что высказывая его, я пробужу в папе воспоминанья, если не точно таких же ощущений, то аналогичных. После краткой отвычки, при первым взгляде на него у меня сжимается сердце от чувства: «не мой, не мое»! Это сопровождается дикой, нестерпимой жалостью к нему (точно быть «моим» значит быть сыном Божьим), и гораздо меньшею жалостью к Жене и к себе. Объяснюсь. «Не мой, не мое» отнюдь не означает непризнанья факта, то есть оно сопро-

вождает чувство страшного физического сходства мальчика со мной. Но тут другое. Добрая половина этого глубоко ранящего чувства — субъективна и связана со всей структурой воображенья у человека, в жизни которого воображенью отдано первое место. Однако часть его именно в силу такой, видящей безошибочные сны и почти ясновидящей мнительности — и объективна. Т. е. в Женичкином случае, между прочим, это и хаос влияний, речевых, пластических и прочих, в большинстве и сплошь *дурных*, дурных тем, что они ниже и хуже его наличных слагаемых, его происхожденья. Тут опять, не Абарбанелы[1]. Тут нет спеси.

Удивительно трудно мне говорить, и особенно на расстояньи о перворазрядных вещах, о физике, о бесспорностях, строящих человеческий мир. Что ни слово, то необходимость оговорки. Терминология общая с обиходом, но обиход прямого смысла не знает. В моем словаре лавка — скамья; в обиходном — магазин. Вот как далеко разошлось словоупотребленье. Die Bank* —. Так вот, не Абарбанелы, а посвященность родителей подобью авиации. Ремеслу, несущему вверх. Слишком редко на дню он видит человеческие ноги, волочащиеся по воздуху. Слишком много терся среди ног, топчущихся на месте, где их поставило предшествующее поколенье. А скрещеньем первых он и вызван к существованью.

В такие минуты рассекающего, раскалывающего душу до основанья недовольства — мнимо своим или мнимым собою, порыв к истинно своему или к истинному себе сопровождается поспешным осознаньем *важнейшего* в человеке, — божественного, краеугольного. Не случайно первые юношеские убежденья подтверждаются все резче и резче заключеньями развивающейся зрелости или, может быть даже и первой старости. Не случайно потому, что юношеская *пена*, откипая, и составляет арсенал забвенья, помнится же и вспоминаются *исключительные* прозренья детства, те проблески, те идеалистические теоремы о жизни, долголетнее доказательство которых (и самых, на взгляд, вздорных) и составляет вся дальнейшая жизнь. Я бы сказал, что когда умирает *живой* человек, не кончившийся ранее, то за чем застигает его смерть? За недоведенным до конца сложным и многословным *доказательством* детства, изложенного когда-то сжато, безапелляционно и категорически. —

Так вот, пусть не удивит вас сходство с прошлым, то, на чем я стою. Нет правды и нет добра, поскольку речь идет о живом суще-

---

* Скамья (*нем*).

стве или о связи многих, нет человечности вне *эстетики*, до конца понятой. Нет, не может и не должно быть случая, когда что-то морщится в душе, инстинктивно и безотчетно, а «долг», а «справедливость», а «жалость» якобы подсказывают что-то другое. Во всех таких случаях совесть, сдаваясь на доводы слов в кавычках простонапросто лицемерит, увиливая от более трудных и героических поступков, вытекающих из морщащегося чувства (попробовать его раскрыть, в нем колонны предписаний, попробовать предписаньям подчиниться, тут справедливость и жалость удесятеренные!).

Надо только сказать *одно*, припомнив судьбу этой не новой истины. Надо прибавить, что речь может идти *только* об эстетике *деятельной*, об эстетике человека, любящего впервые и в образец другим, об эстетике пророка, а не лжепророка, об эстетике поэта, чувствующего и говорящего сплошь, всю жизнь сосвежу и *по-новому*. Важный корректив, существо мысли! Ибо только потому, что эстетика в роспуске, в наплыве есть квинтессенция сверхчеловечества, т. е. между прочим и правды и добра и тысячи других добродетелей, для которых нет имен, потому что они даны по памяти, а большинство этих доброт забывается в упадке, именно потому эстетика *пассивная*, т. е. даже эстетика Уайльда, т. е. даже эстетика Ницше*, не говоря уже об эстетике сословной, или наследственной или ретроспективной, — опасна и низка и меньше слов, заключенных в кавычки. Эстетика пассивная это эстетика обращенная, т. е. это жизнь, поставленная головой вниз; жизнь, с выпавшим содержаньем. Распространился я об этом вот зачем. В отношеньи мальчика (внука!) доверяйтесь непосредственному чувству. Оно вас не обманет. Не снисходите. Давайте выраженье эстетическому δαιμον'у** в вас: мальчик это в вас поймет быстрее и благодарнее, чем конфетку. Сказка, папин юмор, мамина ласка, то есть папин артистизм (актерство), мамин лиризм — вот ваш шоколад и ваш Grosseleiternthum*** для него. Как бессознательно реагировал он с малых лет на то, в волненьи ли, то есть от хоро-

---

* Ницше и Уайльд подлинные авторы приведенной мысли. Их истины — истинны. Но вынужденные *парадоксализировать*, они тезис деятельной эстетики отдали во власть эстетов и эстетизма, т. е. впервые в истории поддержали пассивную эстетику, до них бессильную. (*Прим. Б. Пастернака.*)

** гению (*греч.*).

*** Главное руководство (*нем.*).

ших ли стихов или просто, в штанной животности отцовства, подходил я к его кроватке! Сознаюсь тотчас же. Я мечтал о встрече его с вами всегда корыстно. Апогей этой корысти переживаю сейчас. Близость его с вами должна ликвидировать и погасить неэстетическое влиянье его здешней жизни. Как мне его тут изолировать? И во всем ли я виноват? Мое и Женино влиянье составляет не больше одной десятой всего общего, противоречивого, на уровне моллюска. Да что я! Не больше сотой. Честное слово иначе было невозможно. Ни в чем не виновата и Женя. Несколько слов о ней. Слава Богу, это — ницшеанка в лучшем смысле слова. Т. е. под истинами письма, если бы не я их высказывал, она бы подписалась. Не знаю, настолько ли же глубокая, т. е. обеспеченная нетронутым душевным запасом, как я или же нет. Но во всяком случае более упорная, более ровная, более постоянная в убежденьях, близких высказанным. Для нее жизнь со мной была каторгой именно вследствие моей долговременной, затянувшейся измене эстетике. Так как и слово и понятье полужизни — абсурдны, то это существованье не было жизнью вовсе. Иначе быть не могло.

Я человек несвободный, нештатский. Я — частица государства, солдат немногочисленной армии, состоящей из трех или четырех, во всяком случае не больше десяти действительных невымышленных лиц и тысячи призраков, туманностей и притязаний. Я нехотя и без своего ведома должен был повторить диверсию всего этого войска в сторону букваря, всеобщей грамотности и поклоненья святым общим местам. Может быть я заблуждаюсь, считая что это паломничество совершено и каждый опять предоставлен своей звезде, судьбе и своим предназначеньям. Если это чувство и преждевременно (объективно оно ничем не поддержано), то с его появленьем у меня совпало несколько обстоятельств, громко взывающих к жизни. Это полугодье меня воскресило и начинает возрождать. Странное дело, в моменты сильнейшей нежности к Жене (матери), редчайшие и резчайшие по силе и чистоте моменты, я неизменно чувствую себя абсолютно свободным человеком, т. е. совершенно случайным себя и случайною — ее. Опять чувство (как с мальчиком: не мое) — настолько удивительное по силе, полносмысленности и повторяемости, что не может быть *только* моим, и что-то должно папе напомнить.

Круг тем и планов и собственных эмоций, пройдя от революции через чутье истории или себя в истории, сердечно отожествился для меня с судьбою всего русского поколенья. Это случилось раньше, чем стали доходить до меня учащавшиеся сведенья о во-

зобновившейся симпатии ко мне его крайних флангов. Шаховской, Святоп.-Мирский, Извольская и — комсомол[2]. Вы бы преувеличили и исказили положенье вещей, представив меня широко известным или популярным. Этого нет и, надеюсь, не будет. Для меня именно радостью было, что эта очередная волна тепла прокатилась в абсолютном *подобии* мне самому, моему характеру и моим стремленьям. Я выражу не все, но очень много о себе, если скажу, что отличительная моя черта состоит во втягивании широт и множеств и отвлеченностей в свой личный, глухой круг; в интимизации, — когда-то: мира и теперь: истории; в ассимиляции собирательной, сыпучей бесконечности — себе. Это происходит уверенно и молодо, почти суеверно, без аффектации, без утраты пропорций, не известное никому. Я не знаю, что такое скромность в ее горячем, живом виде, если не общий сплав этих чувств. Я люблю ту же особенность в Марине. Я вообще люблю ее, и никак не мог бы доказать на словах, что это моей преданности Жене никак не перечит и ничем не грозит, пока не докажу на деле, пока не докажет этого, одарив меня и ее, восхитительное, чреватое открытьями и вдохновеньями *время*, прекрасное всегда, когда не говорят ему под руку и не встревают в его движенья. Как нельзя дышать все время *только* вдыхая воздух или *только* его выдыхая, так и я отказываюсь признать приметы моей теперешней жизни от Волхонки до моей любви к Маяковскому признаками биографии, мизансценой полного существованья на земле, если я не оторвусь от всего этого на год в круг *других* судеб и других трудностей.

Если бы я отвалил от родного берега этой весной, как некоторое время хотел и думал, это был бы поступок порывисто-истерический. Элементов разрушенья в нем было бы больше, чем правды. Весь же мой круг мыслей, решений и тенденций подчинен воле к созиданью и долголетью. Мне нельзя было сделать это в эту весну. Не готовы ресурсы, между прочим и матерьяльные. Не готова к этому, что всего важнее, и Женя. А без этого я не могу. Только исчерпав все средства до крайности, я бы решился рисковать ее временным непониманьем. Я люблю или хочу любить ее больше всех отдельных людей на свете, и когда она понимает меня не так хорошо, как Марина, — это серьезная болезнь. Ее надо излечить, и она излечима. У Жени все задатки большого независимого человека, человека растущего экспансивно и сплавляющего сегодня качества, не поддававшиеся сплаву вчера. Невольные, в характере быта и эпохи лежавшие тягости затемнили и частью атрофировали эти задатки. Так как с ложными и затруднительными сто-

ронами времени в первом счете сталкивался я (в заработке и пр.), то умаляющие влиянья шли к ней как бы от меня, через меня к ней поступая. Действительно так и было, то есть не по моей вине и воле, что большого человека или его зародыш, маленьким и ограниченным делал *я*. Мне очень хочется, чтобы она попала в Париж в полном сознаньи своей свободы и открытых перспектив. Это и будет подготовкой к моему путешествию в будущем году; к нашей дальнейшей и будущей жизни. Может быть, вас ужаснет глубокий эгоизм моего рассужденья. Может быть всех вас, и в особенности маму изумит свобода, с какой я обхожу вопрос о мальчике, как бы бросая его вам или Жоне на руки и отдаваясь комбинации вольных масштабов. Но стали ли бы вы рассуждать, если бы я ушел на войну? А повторяю, я человек не свободный, а призванный. Это во-первых. Во-вторых, я пока этого вам еще не объявлял. Я очень хорошо помню, какое страданье доставляло маме всегда мое хищничество, например посягательство на папиросные гильзы в голодные годы. Все мы помним эти сцены. Сцены и гильзы и годы стерлись, стихи остались. Это было частностью в жизни большого поэта, а не мелочью семейной хроники.

Безразлично, сложатся ли ближайшие год или два так, как грезится моему глубокому, далеко захватывающему эгоизму или же так, как это направит ваш святой альтруизм. От этого зависит не сладость моего существованья, не судьба моего, всем известного чревоугодья и тяги к спокойной обеспеченной жизни, а факт из божественной, нечеловеческой лотереи: напишу ли я свой роман или же его напишет, по уже рассеянным намекам, один из неизвестных мне учеников. И так как тут все равно рука нечеловеческая, и только и знающая, что тасующая шансы, то от одного уже этого невозможно настаивать и умолять. Уже тень несогласия кажется ложным искаженьем судьбы. Мне представляется, в системе сил, которые меня понесут дальше, — семья за границей, т. е. вы или Федя или Жоня, теми близкими и предъизбранными, которые сделав трудное, но возможное, помогут наступить невозможному и воплотиться и остаться.

Но кто мне докажет, что мое представленье о крупных вещах и движеньях правильно? А может быть, тут обязательны вовсе не вы, а, скажем вдруг — трагедия и без нее мне не обойтись? Вот я пишу, пишу вам и думаю. Неужели нет среди вас никого, кто поймет и услышит, что устами письма говорит любовь (значит и к вам), крайняя на какую способен я, человек в брюках и галстуке и с постоянным адресом. Имеете ли вы об этом представленье? — Но

пока, ведь, и речи нет ни о каких «пропозициях». Кусочек густовеснушчатой, мало похожей на фотографии, но и ни на что не похожей жизни войдет не сегодня-завтра в поле вашего зренья. Вот и все. Больше не о чем пока разговаривать. Дальнейшее решит судьба и личные особенности всех действующих лиц — чуть не сказал: драмы; нет — фамилии. Нельзя не наговорить лишнего, когда в один вечер, в письме, касаешься пластов темных и глубоких, *руководящего* характера. Но общее понятье о моих мерилах, притязаньях, заряде и пр. вы из него получите. Не отвечайте на него. В особенности в подробностях. Будьте голословны, легки и внезапны. Ответьте: «ты мерзавец». Или «Левочка»[3]. Или что-нибудь в этом роде, если оно вам покажется неприемлемым. Но только не берите на себя кропотливых мук постатейной убедительности. Я уже сказал вам, что во всех ваших сказуемых для меня подлежащим будет слово судьбы: «Не они; ищи другого пути, жди другой силы». Вот почему достаточно будет ответить и *неосновательно*, лаконично. Ее голос уместится даже в мимике, если бы ее можно было переслать в письме. А какое-нибудь «ты дурак» будет целым бассейном, в котором знаменью фатальности будет раздолье. Дорогие мои, пишу и не перечитываю, тороплюсь. Обязательно перешлите Жоне. Она отделит суть от шелухи, формулы от недомолвок и повторений. Все дорогие глаза, скользящие по недостойным строчкам, горячо и длительно целую. Впрочем, телесно-обязательное порученье этого рода будет дано моим путешественникам, и ими исполнено. Надо ли говорить, что они дороже всего мне на свете; но только должны перестать на время быть всем (малого мира), с тем чтобы стать снова всем (бóльшего).

Впрочем, довольно метафизики. Пепа где надо, письменно поручился в том, что Женя не повезет денег. Только благодаря этому получен паспорт. Что это в точности значит, узнаем у него: уславливаемся встретиться с вечера на вечер, и все у него не выходит. Но таким образом его слово и его пониманье этого слова связывает нас (к законам в придачу). Женя хочет повезти немногое, отобранное Шурой. Если Пепа и затем Главмузей разрешат, повезет. Завтра пойду испрашивать разрешенье[4].

Мучительно и дико, что до сих пор не ответил Рильке. Но это не оттого, что недостаточно люблю и преклоняюсь, а бесконечно («слишком» сказать нельзя, слишком любить его невозможно да и бесконечно = только достаточно). Кроме того виной недоразуменье, затянувшееся на месяц. Марина из естественной тактичности, пересылая мне его письмо, ничего от себя не прибавила,

так сказать, оставила нас в комнате вдвоем. И я не знал, как у них вышло. Только теперь, недели две назад, переписала мне два первые его письма к ней. Второго я цитировать не вправе (это ответ на ее письмо в ответ на исполненье им моей просьбы). Цитировать я его не могу, по силе и полноте этого его письма к ней, письма поэта к поэту где он ей говорит ты и дает новую, ненаписанную часть Мальте Бригге, редкую по чувству. Тут только и воспрянул я духом, увидав, что не ошибся в чутье и предчувствиях. Нас связало то, что должно было связать. Переписываю, что можно, оправдываясь повторной и неизменной его теплотой к папе, о котором он говорит в первом письме к Марине Ивановне. Итак.

am 3 May 1926

Liebe Dichterin,

ich erhalte in dieser Stunde einen mich unendlich ergreifenden, von Freude, vom strömenden Gefühl übergehenden Brief von Boris Pasternak. Alles, was sein Schreiben an Bewegtheit und Dankbarkeit in mir aufregt, soll, so verstehe ich aus seinen Zeilen, zunächst zu Ihnen gehen und über Sie, durch Ihre Vermittlung, weiter zu ihm! Die beide Bücher (meine zuletzt erschienen), die diesem Briefe folgen, sind für Sie, sind Ihr Eigenthum.

Zwei weitere Exemplare folgen, sowie ich welche habe: diese späteren sollen dann an Boris Pasternak weitergehen, wenn die Censur das zulässt. Ich bin so erschüttert durch die Fülle und Stärke seiner Zuwendung, dass ich mehr heute nicht sagen kann: aber das beiliegende Blatt schicken Sie dem Freunde von mir nach Moskau zu! Als einen Gruss. Muss ich erzälen? Sie wissen, dass ich Boris' Vater, Leonid O.P., von Moskau her (über 26 Jahre!) zu meinen getreuen Freunden rechnen darf. Nach langer, langer Unterbrechung, hat mich diesem Winter (zu Anfang des Winters) ein seiniger Brief, von Berlin her, gefunden, — und ich habe mit der ganzen Freude, die dieses Einander-wiederfinden mir bereitet hat, geantwortet. Aber es hätte nicht der Nachricht von Leonid Ossipovitsch bedurft, um mir mitzutheilen, dass sein Sohn ein namhafter und starker Dichter geworden war: davon hatten mir Freunde schon (voriges Jahr in Paris) Proben vorgelegt gehabt, die ich mit Rührung und Ergriffenheit gelesen habe.*

---

* *3 мая 1926.* Дорогая поэтесса, я только что получил бесконечно взволновавшее меня письмо от Бориса Пастернака, полное радости и бурных чувств. Все волнение и благодарность, которые возбудило во мне написанное им, должны, как я понял из его строк, сначала идти к

— Дальше сожаленье, что в свое пребыванье в Париже не встретился и не познакомился. Он вообще ее очевидно не знал. Потом она ему написала (в ответ на это письмо), и между ними завязалась переписка, о которой я уже говорил. Вот письмо ко мне, его рукой (тот листок, о котором он говорит в приведенном письме).

Val-Mont, Glion (Vaud)

Mein lieber Boris Pasternak,

Ihr Wunsch ist in der selben Stunde, da Ihr unmittelbarer Brief mich wie ein Wehen von Flügelschlägen umgeben hatte, erfüllt worden: die «Elegien» und die «Sonnette an Orpheus» sind schon in den Händen der Dichterin. Die selben Bücher kommen dann nächstens, in anderen Exemplaren, auch zu Ihnen. Wie soll ich Ihnen danken, dass Sie mich haben sehen und fühlen lassen, was Sie in sich so wunderbar vermehrt haben. Dass Sie mir so grossen Ertrag Ihres Gemüts zuwenden können, ist ein Ruhm Ihres fruchtbaren Herzens. Möge aller Segen über Ihren Wegen sein. Ich umarme Sie.

*Ihr Rainer Maria Rilke**

Вам, а через Вас и Ваше посредничество — затем к нему! Обе книги (последние, выпущенные мной), которые последуют за этим письмом, — для Вас, Ваша собственность. Два следующих экземпляра, если они у меня есть, должны будут вскоре пойти к Борису Пастернаку, если их пропустит цензура. Я так взволнован силой и глубиной сказанного им, что не могу сегодня ничего больше прибавить: но пошлите своему другу в Москву прилагаемую записку от меня! В качестве привета. Надо ли объяснять Вам? Вы знаете, что отца Бориса Леонида О. П. со времени поездки в Москву (около 26 лет!) я считаю своим верным и настоящим другом. После долгого, долгого перерыва этой зимой (в начале зимы) я получил от него письмо из Берлина и ответил ему с радостью, что мы нашли друг друга. Но еще до получения известия от Леонида Осиповича я знал, что его сын стал известным и значительным поэтом: друзья показали мне (во время моего пребывания в Париже) некоторые его вещи, которые я прочел с волнением и увлечением *(нем.)*.

* *Валь-Мон, Глион.* Дорогой Борис Пастернак, Ваше желание было выполнено в тот же час, как непосредственность Вашего письма коснулась меня своими крыльями. «Элегии» и «Сонеты к Орфею» уже в руках поэтессы. Те же книги пойдут и к Вам, в других экземплярах. Как мне благодарить Вас за то, что Вы дали мне увидеть

Меня гложет сознанье, что сегодня ровно месяц со дня полученья письма (а оно еще три конца проделало, так как М<арина> И<вановна> была уже на океане, в Вандее и ей его переслали из Парижа). Но мне надо быть вполне собой и собраться с мыслями, чтобы на него ответить. Ради Бога, папочка, не исправляй моей оплошности и не вздумай благодарить его за меня. Вообще не связывай. И не ревнуй ни к кому. Ты понятья не имеешь, что ты, папа, для меня, и как я о тебе думаю, и когда можно, пишу и говорю. Но голос мой может быть чист лишь в абсолютном одиночестве. Ну до свиданья. Надо доставать денег на отъезд. Встретьте лучшую долю моего существа (Женю с ребенком) с открытым сердцем и ласкою, без натяжки.

Целую. *Боря*

О дне приезда телеграфируем. Едут через Польшу (via Александрово, через Варшаву, как в старину).

Впервые: Письма к родителям и сестрам. — Автограф (Pasternak Trust, Oxford).

[1] Старый еврейский род, к которому, по фамильному преданию, восходит семья Пастернаков.

[2] Имеются в виду расположение Д. А. Шаховского, издателя «Благонамеренного», переписка с Д. П. Святополком-Мирским, переводы Е. А. Извольской и «Комсомольская правда», опубликовавшая 13 июня 1926 отрывок из поэмы «Девятьсот пятый год» («Мне четырнадцать лет...»).

[3] Семейное название избалованного ребенка.

[4] Речь идет о живописных работах Л. О. Пастернака, которые он собирался представить на своей выставке.

314. Е. В. ПАСТЕРНАК

22 июня 1926, Москва

22/VI / 26

Моя дорогая, я смертельно устал, хотя по вашем отъезде ничего особенного не делал. Прямо с вокзала сел на 6-й автобус и слез на Театральной. Тут в уголку, есть почтовое отделенье, под той квартирой, где я получал Ломоносовский шоколад. Тут отправил телеграм-

---

и почувствовать то, что так чудесно приумножили в себе самом. То, что Вы могли отвести мне такое большое место в своей душе, прославляет Ваше щедрое сердце. Да будет над Вами всяческое благословение. Обнимаю Вас. *Ваш Райнер Мария Рильке (нем.).*

му «бабушке и дедушке». Замечательно, что как раз в сутолоке этой площади, среди бешеного движенья, цветов, нарядов и фруктов всего сильнее стало подкатывать к горлу, и плакать хотелось не от жалости или тоски по вас, а оттого, что представилось, как вам может быть хорошо, чисто, привольно, как совершенна скорость, с которою вас пронесет через ночь на запад, как неожиданна и чиста, вся в краску, без пыли, вся окаченная мгновеньем будет заграница и встреча с моими. И многое, многое о тебе и о нем, точно я это сочинил или прочел по книжке. Это лучшее волненье, на которое я способен.

По пути домой зашел в ту же аптекарскую лавочку, что, двумя часами раньше, с тобой. За нафталином. Потом угля прихватил, рядом. Задумал два излюбленных дела. Уборку, умыванье, самовар. Стоял, расставя ноги, в твоем халате, среди сдвинутых с мест вещей, с тряпкою в руке, когда почтальон подал пакет в лист форматом из-за границы. Несколько больших видов Венеции останутся у меня; вложенное же письмо тебе пересылаю, а ты мне его потом со своим возврати. Сходи к ней обязательно и опиши мне[1]. Если тебе понравится и покажется нужным (самой тебе), сведи с Жоней. Я серьезно хочу осенью деньги ей вернуть[2]. Да, напомню на всякий случай. Она — приятельница Корнея Ивановича Чуковского, и это он меня к ней письменно направил. Муж ее — известный инженер-паровозостроитель. Есть несколько высших технических училищ его имени. Просимую прозу, т. е. книжку, перешлю тебе и это ты ей ее надпиши, после того как вживе и въяве увидишь, если она тебе по сердцу придется[3]. Чрезвычайно фантастическая история. Расскажи нашим (день твой в городе, Земля и Фабрика и пр.[4]). Чистота и мрачность моей комнаты такие же, как курьерская скорость вашего движенья. Каковы твои попутчики? Так ли страшен был черт (Столбцы[5]), как ты его «себе» малевала?

Сейчас ты, впрочем, где-то под Смоленском. Несетесь, изрыгая огонь и пугая лесных птиц. И в этом участвует Женичка!

Женек, читай ему медленно, медленно с паузами в век после каждого слова. С выраженьем.

Милый мой мальчик Женичка! Прибрал я твою комнатку. Обтер слона и лошадку, и столик твой и стул. Все белье из постельки вынул и даже подушку и тюфячок в сундук уложил, чтобы не пылились, и кроватку кругом обтянул скатертью с круглого стола и простынями.Скажи маме, что все что надо было, нафталином пересыпал и даже кисточки. Хорошо ли тебе ехалось? Дорога тебе верно очень надоела, далекий путь, долгий, два дня было ехать. Хорошо ли ты себя ведешь у бабушки и дедушки? Не шуми тут и

тете Лиде не мешай работать. Больше рассказывай дедушке Леониду Осиповичу и бабушке Розалии Исидоровне про Москву и как ты тут жил на Волхонке. Они давно из Москвы уехали и много забыли. Им послушать тебя будет интересно. Помнишь ли ты еще, как ты на вокзале в буфете чай пил с Иринушкой[6], и как папа водичку с пузырьками глотал? Ну прощай, крепко, крепко тебя обнимаю, а ты так же крепко мамочку обними и дедушку и бабушку и тетю Лиду. Расти большой. Будь здоров. Смотри за мамой, чтобы поправлялась она.

Твой папа

Феня пришла от мамы к вечеру. Маме было хорошо сегодня. При Фене приехал Сеня с вокзала и рассказал, как вы уезжали[7].

Обязательно напиши мне, Женичка! Расскажи, как встретили, как впечатленье: их и твое по этому поводу.

Звонил Левину насчет уротропина, но верно никого дома нет: не отвечают. Позвоню завтра утром. Звонил Коля Асеев. Несказанно удивлен твоим отъездом, думал, что завтра, сердился, что не сказал, проводил бы. Просил передать поцелуй. Очень доволен «Письмом к Сестре»[8].

Впервые: «Существованья ткань сквозная». — Автограф.

[1] Письмо от Ломоносовой из Берлина, в котором она просила прислать ей сб. прозы Пастернака «Рассказы» (1925). Е. В. Пастернак увиделась с Ломоносовыми 27 июня 1926 г.

[2] Речь идет об авансе, присланном летом 1925 г. Ломоносовой, за предполагавшееся участие Пастернака в английских газетах. См. письма № 264 и 305.

[3] Е. В. Пастернак надписала и подарила Ломоносовым сб. «Рассказы» во время их первой встречи 27 июня 1926 г.

[4] Пастернак вспоминает поездку жены в город летом 1925 г. в тщетной надежде на деньги из издательства и неожиданное получение чека от Ломоносовой.

[5] Пограничная станция, на которой проходил досмотр багажа.

[6] Ирина Николаевна Пастернак, провожавшая Е. В.

[7] Семен Владимирович Лурье тоже ездил на вокзал провожать ее.

[8] Вставная глава, 8-я, первой части «Лейтенанта Шмидта».

315. Е. В. ПАСТЕРНАК

26 июня 1926, Москва

26.VI. 26

Милая девочка, как порадовала меня вчерашняя телеграмма! Я всегда смеялся над обязательностью волненья в подходящих случаях у чувствительных родственников. Я не оказался в этом

разряде только оттого, что меня обуревали мученья другого рода, безмолвные и настойчивые, как мигрень. Нет, нет да и набегали представленья возможностей, как люди, едущие в Берлин, до Берлина не доезжают. И не непременно катастрофические возможности. Фабуляторные и очень вероятные.

Мне грозит, как далекая крайность, никогда не вопль боли, не взрыв горечи. Я боюсь в жизни не горя, а путаницы и хаоса — бесформенного страданья.

Вот опасность, сужденная характеру моего склада, может быть, и тебе, если бы женский акцент, лежащий на всем твоем существе, не перевешивал остальных твоих качеств. В состоянии кризиса, накануне гибели или на пороге ее возможности, в борьбе с нею я наверно уподоблюсь сумбурности Волхонской квартиры: какой-нибудь бок души, давно отсырев, будет сохранять подобье устойчивости, по извилинам пыльного и теплого мозга будет роями кружиться моль, проносясь вихрем бледности по затканным пауками углам. Когда-нибудь каждый из нас осядет и рухнет. Я же именно так: не от молнии, ни от пожара, ни потрясенья. Не от внешних, не от мировых причин. Но по своей собственной вине. По вине запущенья, вопившего годами о ремонте, о вскрытьи рам, об обновленьи. По той причине, что вопль этот постоянно подавлялся. Пренебрег я им и теперь.

Ты порешила мне не писать. Доброе намеренье, что и говорить, а главное — ведущее к добру. Печальней всего, что это то именно, чего я не понимаю.

Мне же думалось, что на досуге, отойдя от специально-здешнего сумбура, окруженная вероятным (?) уходом, и во всяком случае в условиях более легких и более охлажденных, чем тут, ты и сама во всем осмотришься и рассудишь, сердечно и глубоко.

Суди меня справедливей, чем это у тебя в обычае. Надо чтобы в твоих построеньях близкий тебе человек не только был похож на себя, хотя бы отдаленно (естественное требованье). Надо, чтобы этот воображаемый образ был способен *благодарить* твою фантазию за то, чем ты его обставила и что ему приписала. Надо, чтобы жизнь, которой ты одаряешь этот образ, была достойна зависти.

Я же играю только служебную роль в твоей жизни: в твоей, горькой по этой причине жизни, и в возмущенном требованьи счастливой. Я в твоих понятьях не похож на себя. Резче всего из твоих рассуждений обо мне выпирает пренебреженье требованьем сходства. Видов эгоизма на свете много. Это один из них, са-

мый для меня огорчительный. Твое решенье не писать мне так и дышит этим свойством.

Не знаю, насколько я сам отвечаю требованьям, которые только что выставил. Но я думаю о тебе настолько объективнее, теплее и богаче, чем ты обо мне, что относительной разницы этой достаточно, чтобы она казалась абсолютной. И вот, зная так хорошо, кто́ ты в основе, и каковы твои особенности, я и говорю: без намеренно допущенной слепоты ты не могла бы сложить этого решенья.

Ты не будешь писать мне. «Я» для тебя в данном случае точка скрещенья поставленных условий. И это я! Такова твоя уступка ложному чувству гордости, плохо примененному самолюбью, все равно чему: тому, что меньше тебя. Но довольно на этот раз о сернокислом хинине. Заведем разговор полегче. Мне бы очень хотелось узнать, как вы ехали, как доехали. Каковы в жизни, в осязательных положеньях психологические биномы: ты и наши; Женичка и наши; наши и Женичка в тебе и пр. И точно: как и где что происходило, что мальчиком сказано, как мамой принято и ее нездоровьем, и папиной мудростью, и вкусом к формам жизни, и новизной его роли: большого и бодрого дедушки. Мне ничего так не хотелось бы знать, как это, и я не знаю, кого мне об этом просить. Вероятно, ты станешь счастливее и здоровее, и это счастье и здоровье придет от меня, если ты меня будешь держать на строгом голодном режиме.

Я достал пока 250 рублей (100 в Молодой гвардии и 150 в Огоньке). Тотчас выплатил Фене все 18 червонцев. Да, кстати, сегодня Юлия Бенционовна со слов рано ушедшей Фени, которой я, проснувшись, уже не застал, передает, будто, перетряхая какую-то старую свою простыню, она нашла те 20 рублей, которых она не досчитывалась, затаив в глубине души предположенье, что однажды, когда ты ей, по твоим словам, выплатила 90 рублей, их на самом деле было 70. Она порадовалась, передает Юлия Бенционовна, что в споре с тобой уступила тогда и не довела легкой размолвки до конфликта. Твоя правда вышла наружу. Может, так будет когда-нибудь и с тобой в отношеньи меня: перетряхая старое, ты уронишь на пол какую-нибудь упущенную мелочь, которой вовремя не заметила, и тебе станет ясна моя запоздалая правота. Может быть и то, что это случится со мной в отношеньи тебя.

Вчера я был у мамы[1]. Профессор Бурденко хочет ее поместить в больницу им. Семашко, что требует хлопот. Когда это удастся, он начнет там свои предварительные исследованья. Всего ве-

роятней — ее придется оперировать. Днем она по-прежнему бодра, шутила и была гостеприимна. Ночами страдает и плохо спит. Жаловалась же она однако не на ночные боли, а на клопов, которых не выносит. Пьянеет, готова уснуть, и тут-то все расположенье ко сну разрушает ползущий по руке мучитель, и разыгрываются нервы. Она написала тебе несколько слов. Прилагаю их.

Я заплатил за квартиру, но ни бабушке ничего не отправил[2], ни в портняжную еще не заявлялся, так как остатка на все это мало, у меня на руках 30 с чем-то рублей. Бабушке во всяком случае отправлю самое позднее в понедельник (сегодня суббота, и рассчитываю к концу дня что-нибудь получить у Тихонова). О переизданьи детства Люверс говорил Бескин в Госиздате кажется в твоем присутствии. Помнишь уверенность, вселенную им в нас обоих? Я рад, что это так случилось. Не наведи он тогда туману, я бы вторично в банк с тобой не пошел. А я торжествую, что пошли. Теперь он говорит, что дело с Люверс провалилось, но есть еще надежда устроить одну из книжек стихов. Он дал мне честное слово, что «в теченье месяца я что-нибудь в Госиздате получу». Таким образом, эти дни, пока что, я живу в чаяньи прожить месяц на его честное госиздатское слово. Отвод Люверс старый и по-старому возмутительный: дескать для избранных 3-х— 4-х тысяч, а не для 15-ти, как их Универсальная Библиотека. Спрашивается, для 15-ти ли тысяч Буданцевы, Петровские и пр.? Вынужден не называть друзей, так как ты ведь никого другого не знаешь и получается некрасиво. Названные еще лучше, недаром я с ними знаюсь, тоже где-то около трех, но похуже. Когда же запросили бюро культурной связи с заграницей, кого переводить на иностранные языки, чтобы дать понятье о современном русском искусстве, Книжная Палата дала справку, в которой между прочим числится моя проза, но нет ни Гладкова, никого из тех, на ком выезжает Универсалка. Сообщил Коля. Сегодня веду к нему Эренбурга знакомиться.

Сказанному о деньгах не придавай значенья. Обязательно как-нибудь выкручусь. Настали страшные июльские жары. Совсем по Алешиному: Шшарра! Аффрика. Мессинский лимончик усох![3]

Ад, кровь кипит, плохо сплю, никаких радостей, боюсь, что ничего не сделаю. Ах, Женя, Женя.

Но страшная, единственная радость: что вы там, что вас любят, что вас должны и будут любить. Что тебе можно при желаньи пополнеть и окрепнуть.

Будь умницей, стань красавицей.

Впервые: «Существованья ткань сквозная». — Автограф.

[1] У Александры Николаевны Лурье началась тяжелая болезнь позвоночника.

[2] Пастернак регулярно посылал деньги бабушке, Берте Самойловне Кауфман.

[3] Из стихов А. Крученых «Лето городское»: «Антициклон... / Ш(ж) ара-а... / Африка — / Москва. / Мессинский лимончик усох...» (вошло в сб. «Календарь», 1926).

316. М. И. ЦВЕТАЕВОЙ

1–2 июля 1926, Москва

1/VII / 26

Ты напрасно будешь искать ответа на последние три письма. А между тем от одного предположенья, что в каком-то смысле рука, протянутая к тебе, будет пуста, мне больно, некстати больно, т. е. вредоносно больно одною лишнею болью сверх общей усталости и упадка. Распространяться не хочу, писать не перепишешь. Больше чем когда-либо мне сейчас приходится заботиться о покое и нравственном равновесии, эгоистически и на границе смешного, как старой деве.

Я остался один в городе, по многим причинам, из которых главная в твоем обладаньи, и с единственной целью — поработать с пользой, т. е. с усиленной и ускоренной выработкой, чтобы быть на будущий год сильнее средствами и досугом. Я сейчас очень бегло назову одну вещь, вероятно известную тебе другой стороной, чем мне, может быть и вовсе даже непонятную. Может быть это меня покажет с новой и дурной стороны. Но не стыжусь сознаться. Я боюсь лета *в городе,* потому что это чистая сводка наисущественнейших существенностей живого, бытийствующего человека, причем каждая из существенностей этих дана наизнанку и *извращена,* начиная от солнца и кончая чем тебе заблагорассудится. Одиночество дано в таком виде, в каком одиноко сумасшествие или одиноки муки ада. Тема жизни или одна из ее тем подчеркнута зверски и фанатически, с продырявленьем нервной системы. Пыль, песок, духота, африканская жара. Если бы я стал говорить дальше, я бы тебя насмешил: тут пошли бы... искушенья св. Антония[1]. Но ты не смейся. Есть страшные истины, которые узнаешь в этом абсурдном кипении воздерживающейся крови. Ты прости, что я об этом говорю. На всех этих истинах, открывающихся только в таком потрясеньи, держится, как на стонущих дугах, все последствующее благородство духа, разумеется, до конца идиотское, ангельски трагическое.

Это самая громкая нота во вселенной. В *этот* звук, несущийся сквозь мировое пространство, я верю больше, чем в музыку сфер. Я его слышу. Я не в силах повторить его или даже вообразить себе в его вихревой, суммарно-сонмовой простоте, моя же словесная лепта в этом стержневом стоне, — вот она. Я жалуюсь всеми сердечными мышцами, я жалуюсь так полно, что если бы, купаясь, я бы когда-нибудь утонул, ко дну пошла бы трехпудовая жалоба о двух вытянутых руках, — я жалуюсь на то, что никогда не мог бы любить ни жены, ни тебя, ни, значит, и себя, и жизни, если бы вы были единственными женщинами мира, т. е. если бы не было вашей сестры миллионов; я жалуюсь на то, что Адама в Бытии не чувствую и не понимаю: что я не знаю, как у него было устроено сердце, как он чувствовал и *за что* жалел[2]. Потому что только за то я и люблю, когда люблю, что правым плечом осязая холод правого бока мирозданья, левым — левого, и значит, застилая всё, во что глядеть мне и куда идти, она в то же время кружит и моется роем неисчислимой моли, бьющейся летом в городе на границе дозволенного обнаженья.

Но я напрасно выбалтываю это тебе, дорогая подруга. Горько может быть уже и то, что механизм чувства *я знаю* по той боли, какую он мне иногда причиняет изнутри. Зачем еще открывать его тебе. Бог тебя знает, как ты еще на него взглянешь. И потом никогда ничем хорошим не может пахнуть машина. Как я рад, что пишу тебе. Мне становится чище и спокойнее с тобою. — Мы думаем одинаково в главном. Полушутливых опасений «влюбиться» ты не поняла[3]. Тут то же самое. Та же двойственность, без которой нет жизни, то же *горе* подкатывающих к сердцу и к горлу качеств — родных, именных, тех же, что во мне законном, *но* излившихся за мои контуры, весь век барабанящих по периферии.

Из них построен мир. Я люблю его. Мне бы хотелось его проглотить. Бывает, у меня учащается сердцебиенье от подобного желанья и настолько, что на другой день сердце начинает слабо работать.

Мне бы хотелось проглотить этот родной, исполинский кусок, который я давно обнял и оплакал и который теперь купается кругом меня, путешествует, стреляется, ведет войны, плывет в облаках над головой, раскатывается разливом лягушачьих концертов подмосковными ночами и дан мне в вечную зависть, ревность и обрамленье. (Знакомо? Знакомо?) Это опять нота единства, которой множество дано во звучанье, для *рожденья звука,* на разжатых пястях октав. Это опять — парадокс глубины.

Боже, до чего я люблю все, чем не был и не буду, и как мне грустно, что я это я. До чего мне упущенная, нулем или не мной вылетевшая возможность кажется шелком против меня! Черным, загадочным, счастливым, отливающим обожаньем. Таким, для которого устроена ночь. Физически бессмертным. И смерти я страшусь только оттого, что умру *я*, не успев побывать всеми другими. Только иногда за письмами к тебе, и за твоими, я избавляюсь от ее дребезжащей, поторапливающей угрозы. Дай я обниму тебя сейчас крепко, крепко и расцелую, всем накопившимся за рассужденьями. Но нежность была во всех этих мыслях. Ты ее слышала?

О не исключающих друг друга исключительностях, об абсолютах, о *моментальности* живой правды. Слава Богу, что так. Нам легко будет — общий язык одной черты. Ты знаешь о чем я? О письме про Рильке, про Гёте, Гёльдерлина, Гейне. Про «больше всех на свете». Главное же о моментальности правды[4].

На этом у меня бывали расхожденья с людьми. Про себя я давно имел обыкновенье говорить, что я могу быть дорог, близок, легок и постоянен тому, кто знает, что мгновенье соперничает только с вечностью, но больше всех часов и времен. Надо заводить что-то не свое, общечужое, чтобы в продолженьи часов сидеть с человеком, хорошо себя чувствующим в часах. Это как партия пернатого с пресноводным.

А как это ужасно в любви!

2. VII. Я нарочно не перечитываю. Прямо с последней строки я пошел к Эренбургу, собиравшемуся на вокзал. Попал на какое-то подобье прощального обеда. Были Майя, Сорокин[5] и еще какой-то человек, которого я не знаю. Много пили, мне незаметно подливали. На вокзал от него было рукой подать, он уезжал в Киев, с Брянского, а квартира его первой жены, где он остановился, — над самым Дорогомиловским мостом. Шли берегом, в этих местах сохранившим хаотичность 18–19-го. Дело было под сумерки, с обоих берегов купались. Панорама здесь, если помнишь, широкая. Вся она была заслонена от солнца не то пылью, не то подобьем какой-то сухой, остолбеневшей и тихой пасмурности, той серой воздушной прострацией, которая бывает в городе вечерами. Только в далекие гимназические годы мне бывало так, т. е. с такою обширностью, грустно. Картина дышала какою-то нечаянностью, только что всплывшей из забвенья и готовой вот-вот нырнуть в него назад. «Скажите Марине», — начал было я и не стал продолжать, несмотря на его усердное выспрашиванье, вперемежку с усмешкой, точно он годами старше меня.

Вряд ли он что-нибудь сможет рассказать тебе. Мы видались несколько раз. Что он видел? Семью, может быть, но очень поверхностно. Меня среди других. Меня (в первые дни своего пребыванья здесь) — в надеждах, в твердой уверенности, что всё, приведшее его тут в отчаянье, — пустяки и пена, существо же цело и сохранно. Наконец меня же в последние дни, в совершенно другом настроеньи, что, вероятно, ускользнуло бы от него, если бы я сам ему не сказал о перемене. Это прекрасный человек, удачливый и движущийся, биографически переливчатый, легко думающий, легко живущий и пишущий: — легкомысленный. Я никогда не замыкаюсь перед ним, но и не помню случая, чтобы когда-нибудь успешно высказался перед ним или открылся. Я не знаю, как он может любить меня и за что. Он не настолько прост, чтобы быть для меня обывателем, т. е. куском бытовой непринужденности (обычнейшим моим собеседником). И он не настолько художник, чтобы я становился в беседе игрушкою часа, положенья или принесенного из дому настроенья. Так как, несмотря на все его удачи, я его считаю несчастливцем, то внутренне, про себя, никогда, впрочем, этого ему не показывая, желаю ему добра, желаю с аффектацией и упорством. И мне бы очень хотелось, чтобы ты не согласилась со мной и меня осадила: он вовсе не художник. Я желал бы, чтобы ты была другого мненья. Найди в нем то, чего я в нем напрасно ищу, и я стану глядеть твоими глазами. Я очень боялся его приезда, после своего письма о «Рваче». Мне думалось, что нам не избежать тяжелых разговоров[6]. Но не было случая. Все обошлось благополучно. — Я выше меры испустословился по поводу начала Крысолова. Тебе, верно, было неприятно читать. Пропорционально достоинству частей мне теперь после той воды о первых частях надлежало бы излить ее бассейнами. Но я эту пропорцию нарушу. Постараюсь вкратце. Наилучшие главы: Увод и Детский рай. На их высоте (но, по теме, без флейты; а это ведь как партия без королевы!) — Напасть. В ратуше нравится мне меньше[7]. Почти исключительно, как и в первой половине, приходится говорить о ритме, о музыкальной характеристике действующих слагаемых, о лейтмотивах. Прерогативы ритма в Уводе и Д<етском> Р<ае> почти предельны: это то, о чем может мечтать лирик: тут и субъективный ритм пишущего, его страсть и полет, и подъем, и ритм ритма, про чудесную силу которого он пишет, т. е. то, что никогда почти не удается: искусство, берущее предметом себя же, а ты вспомни поэтов, художников и чудаков в драмах, повестях и пр., вспомни эту извечную пошлятину, чтобы правильно измерить

свою собственную заслугу. В Напасти ритм живописующий. И как он живописует! Он какой-то природно гостинодворский, точно музыка всегда знала такую тональность. Только искрометность его и позволяет тебе мгновенным бреднем пройтись по рынку, захватив целую площадь, во всей ее случайности, в садок двух-трех ритмических определений. Прекрасен своей силой (богатством дальнейших возможностей) мотив судаченья (а у нас, а у нас)[8], в особенности, когда он возвращается после *ошеломляющей* по своей воплощенности крысиной фуги. Просто кажется, что ты срисовала одновременно и крысиную стаю, и отдельных пасюков и свела этот рисунок на сетчатку ритма, ниткой отбив по ней, к хвосту, к концу, это накатывающее, близящееся, учащающееся укороченье! Ритм похож тут на то, о чем он говорит, как это редко ему случается. Похоже, что он состоит не из слов, а из крыс, не из повышений, а из серых хребтов.

Всего скупей о наилучших главах: все предшествующие наблюденья вызваны к существованью магнетической полнотой этих центральных. Так что косвенно, многое уже сказано и о них. Увод!!! Буду лаконичен и беспорядочен. Хорошо идут мимо ратуши. Бредовар[9]. Очень хороши *единством стиля,* тяготеющего к какой-то действительности тридевятого царства, все словообразованья главы. Они собираются в узел фантастического правдоподобья. У места, куда он их ведет, имеется особая флора, климат, нравы и тайны: ими объясняется жуткое постоянство этого словаря. Вообще, в этой сказочной партии — за сердце хватающий лиризм. Тирили[10]. — Его собственная одержимость сильней всего охарактеризована *реализмом* ритмически вылепленной *флейты.* Ее реализм странно сказывается на странице 44, где за двукратным восклицаньем, — «не жалейте» попадает в окончанье строки и содержит, между жалейте и аллейке зачеркнутую или намеренно опущенную рифму «флейте», вдвойне навязанную мнимым отсутствием[11].

Вообще поразительна ритмическая фигура (Лейтмотив) Крысолова! Первая строчка этой правдивейшей музыкальной фразы интонирована до последней степени. Индостан[12]. Страшно действует то, что ◡◡– занято *одним* словом (восклицаньем). Возбужденное этим анапестом и призванное работать воображенье, не находя сопротивленья в виде оформленного предложенья, с разбега строит образ самого флейтиста, его так сказать *позитуру* (корпус, подающийся вперед на узде и в артикуляции этого трехчленья: ◡◡–: в пушину́![13]). Поразительны волны идеальные (перекаты смысла) в моменты, когда расходится гипнотическая сведен-

ность флейтовой темы. (Например чего стоит одно это: миру четвертый час и никоторый год[14].)

Здесь Индия усыпительно матерьяльна. Резня красок — это ты сама о своей руке сказала, и оценила правильно. А в новом переплетеньи с лейтмотивом неверья и отрезвленья (примерно с ритмического *перебоя:* тот, кто в хоботе видит нос *сóбственный*[15]), тема флейты дорастает до захватывающей *новой* силы.

Это ведь по существу полный *траурный марш,* колдовски-неожиданно подслушанный откуда не привыкли, с черного его хода, или с черного хода впущенный в душу; между тем как мы всегда в Бетховенский, Шопеновский, Вагнеровский и вообще во всякий траурный марш вступали со стороны ожидающегося выноса, через парадное Te Deum*.

В «Ратушу» ты вложила много мысли и остроумья. *По значенью* ратсгерр от романтизма — замечателен. Он как персонаж просится в группу, окружающую и поддерживающую Фауста. Сарказм главы очень содержателен и не каррикатурен.

> Плачьте и бдите, чтоб нам спалось.
> Мрите, чтоб мы плодились![16]

Так же хороша тема «Я». Очень ловко чехол вырастает в символ. Жвачно-бумажный[17]. Но когда к концу главы бороздой взрезает ее сложную рябь угроза знакомого и ставшего родным голоса: Не видать как своей души!, имитирующего окончательное и непоправимое: Не видать как своих ушей![18], тогда понимаешь, отчего, невзирая на свои крупные достоинства, глава оставляет более холодным, нежели 1-я и 2-я. (Потому что только IV-я и последняя ни в какое сравненье с другими нейдут.) Это оттого, что после «Увода» внимание, прикованное к судьбе Крысолова, нетерпеливо ждущее даже не развязки, а жаждущее счастья ему, уже не соглашается заниматься ничем другим, как бы оно ни было интересно, и видя в V-й главе только то, что относится к развитью темы, т. е. измену слову и предательство, воспринимает их мгновенно и томится оттяжкою взрыва. И бытовая роспись, может быть наиудачнейшая в этом месте, его только мучит и возмущает. Может быть это в твои планы и входило. Терзательная глава.

И опять, — живопись, живопись. Живопись и музыка. Как я люблю тебя! Как сильно и давно! Как именно эта волна, именно

---

* Тебя, Бога, хвалим (*лат.*).

это люблю к тебе, ходившее когда-то без имени, было тем, что проело изнутри мою судьбу, и снаружи ее почернило и омеланхолило, и висит на руках и путается в ногах. Как именно *потому,* по роду *этой* страсти, я медлителен и неудачлив, и таков как есть. И твой женский возраст, и твое незнанье того, как и зачем встретимся, и моя вчерашняя вера в прелесть, теперь перескочившая на год и годом от меня закрытая и как бы переставшая существовать. Все это в духе этого чувства. Всего этого не изменить. Это я собственно про «Детский Рай»[19]. Жестокая и страшная глава, вся вылившаяся из сердца, вся в улыбке, и — жестокая и страшная. Восхитительно взята школа. Гул да балл. Гун да галл[20]. И пропущенный сквозь эту лихорадящую, будоражащую, раннеутреннюю ритмику:

Школьник? Вздор. Бальник? Сдан.
Ливня, ливня барабан.
Глобус? Сбит. Ранец? Снят.
Щебня, щебня водопад, —

пропущенный, стало быть, через нее вчерашний, показавший свою силу «Индостан!» ◡◡– страшный анапест, при вчерашнем ритмическом магните, только с измененным звучаньем. В тот миг, как узнаешь его мелодию, хочется кинуться ограждать детей от ее последовательности (от знанья конца).

Детвора
Золотых вечеров мошкара![21]

Это обреченные все разом входят в очковое поле зренья ритма. Некоторое облегченье, что для животных флейта звучала реально флейтой (реализм неукоснительный, беспродышно-фатальный), для душ же он метафоризируется, зовет трубой (бессознательно в фонетике рифмы: тра ра ра). Очищается, просветляется также и траурный марш. Гармония его раскалывается надвое. Мотив обетованья (звучит почти честно, *действительно* благовествующе): Есть у меня ---*[22]

И мотив отпевальный: В царстве моем...[23] — (звучит как канон: идеже нѣсть болѣзнь, ни печаль, ни воздыханье[24]). Первый мотив, вырастая в глубине, за сеткой обольщенья, достигает твердости, истинной высоты, оплаченной драматически, в прорвавшейся после строчки: «Для мальчиков радость, для девочек тяжесть» личной ноте:

---

* Так в письме.

Дно страсти земной
И рай для одной[25].

Но довольно о Крысолове. Я боюсь, что сделал его ненавистным тебе кропотливостью своего разбора. Summa summarum*: абсолютное, безраздельное господство ритма. Оно естественно вызвано характером сюжета. Предельно воплощенное в двух драматических главах, где творятся и показываются его чудеса, оно распространяется и на другие главы, где ритм только лишается первого лица, остается же (в остальном) во всей силе и вызывает к существованью мысли, образы, повороты и переплетенья темы. —

Я получил твое письмо о чешских злоключеньях[26]. Не могу сказать, как меня все это огорчает. Не уезжай из Франции, умоляю тебя. Мне кажется, ты ближе к России, будучи там, нежели в Чехии, хотя по географии выходит наоборот. Я не знаю, чем это объясняется, но думаю, что и у тебя такое же чувство. Мне верится, что все у тебя обойдется, хотя я и не преуменьшаю трудностей, неожиданно свалившихся на тебя.

Ах эти вечные интриги![27] Страдаю от них последнее время и я. Скучно рассказывать, но месяц назад мне (матерьяльно и в смысле перспектив) было сравнительно легче. Теперь же очень трудно, и возникает опасенье, что будет как прошлый год. Но ради всего святого, не возвращайся в Чехию. Приведенных слов Маяковского не знаю[28], потому что вообще ничего не читаю и не знаю, что кругом делается. Плюнь! Я тебе о нем напишу. Он престранно устроен. Может быть ему кажется, что это он тепло о тебе вспомнил. Он давно в Крыму, а то бы я с ним поговорил. Я, сильно любя его, раза два-три в жизни ссорился с ним по такому же поводу. Тогда я сталкивался с полным его неведеньем того, о чем речь. Прости за скучное многословное письмо. Теперь путь к Крысолову очищен. Его можно читать по-сибаритски.

Но «Кр<ысолов>» не такая вещь, о которой можно сказать, что она «страшно нравится» и дело с концом. Меня волновали ее особенности и хотелось в них разобраться.

Впервые: «Дружба народов», 1997, № 9. — Автограф.

[1] Тему лета в городе Цветаева восприняла с другой стороны и в письме 10 июля 1926 утешала Пастернака: «Родной, срывай сердце, наполненное мною. Не мучься. Живи. Не смущайся женой и сыном. Даю тебе полное отпущение от всех и вся. Бери всё, что можешь — пока еще хочется

* В конечном итоге *(лат.)*.

брать! Вспомни о том, что кровь старше нас, особенно у тебя, семита. Не приручай ее. Бери всё это с лирической — нет, с эпической высоты!» (Цветаева. Пастернак. Письма 1922–1936. С. 255).

[2] Цветаева отвечала 10 июля 1926: «Ты не понимаешь Адама, который любил одну Еву. Я не понимаю Еву, которую любят все. Я не понимаю плоти, как таковой, не признаю за ней никаких прав — особенно голоса, которого никогда не слышала» (там же. С. 254).

[3] Повторяя слова Пастернака из письма 5 июня 1926, она писала: «"Боюсь свободы, боюсь влюбиться". Это мне напомнило один долгий, до-весенний, совместный островитянский день на траве, на груди. И, на обратном пути, спутник, задумчиво. — "Как мне бы хотелось — вокруг света! Но конечно не одному. Как бы мне хотелось — влюбиться!" — И я, материнско: "Влюбитесь! Сбудется!" <...> Вы не похожи с тем человеком, но сказали мне одинаков<о>, т. е. ясно и явно: *ты не в счет*» (12 июня 1926; там же. С. 228).

[4] В наброске письма, на которое отвечал Пастернак, Цветаева писала: «Правда существ<ует> — будь вним<ателен> — в секунду от меня к нему и вторично, через стих. Мой рассказ тебе о нем, о себе к нему будет ложь, потому что рассказ, а совершалось это не рассказом. Всякий рассказ ложь, потому что направлен [к тебе], а совершался вне направления. <...> Борис, когда я говорю с тобой, я говорю в тебя, т. е. *всё* есть *ты*. *Ты* вызываешь слова, не я их говорю. *Ты* берешь, не я даю. Я под твоим давлением и я твоя. Чтобы все мои любови (Гёте + Гёльдерлин + маленькая девочка на плаже* + + +) растворились в одной, шли вечером домой, как блудное (ибо врозь пасутся) стадо — это, да? Каждый есть абсолют и требует абсолюта» (Вторая половина июня 1926; там же. С. 238).

[5] Мария Павловна Кудашева — поэтесса и переводчица. Тихон Иванович *Сорокин* — историк и искусствовед, был женат на Екатерине Оттовне, первой жене И. Эренбурга.

[6] В письме № 280 Пастернак признавался, что Эренбургу он «написал наижестокое письмо относительно его вещи, и вероятно огорчил». Письмо было вызвано чтением его романа «Рвач». Письма Пастернака к Эренбургу не сохранились.

[7] «В ратуше» — пятая глава поэмы «Крысолов» (М. Ц. Собр. соч. Т. 3. С. 85–100).

[8] Из главы третьей «Напасть» (там же. С. 61–63).

[9] Из главы четвертой «Увод» (там же. С. 76–77).

[10] Начало главы четвертой «Увод» (там же. С. 70).

[11] «Не жалейте надышанных стен! / Звезд упавших — и тех не жалейте! / Мертвых — мир. / Выход в мир / Вот по этой по самой аллейке» (из главы четвертой «Увод»; там же. С. 74).

[12] Из главы четвертой «Увод» (там же. С. 80).

[13] «Как стрелок / После зарослей и тревог / В пушину — / В тишину твою / Индостан, — человек...» (там же).

[14] Там же. С. 81.

[15] Там же. С. 82.

---

* устаревшая форма.

[16] Там же. С. 96. *Ратсгерр* — советник; персонаж из поэмы «Крысолов» (глава «Ратуша»).

[17] Тема «Я» — там же. С. 92–93. *Жвачно-бумажный.* — Там же.

[18] Там же. С. 100.

[19] «Детский рай» — глава шестая (там же. С. 100–108).

[20] Там же. С. 101.

[21] Там же. С. 103.

[22] Там же. С. 103, 106.

[23] Там же. С. 107.

[24] Из заупокойной службы.

[25] Из главы «Детский рай» (М. Ц. Собр. соч. Т. 3. С. 106).

[26] Цветаева писала 21 июня 1926: «Одновременно письмо из Чехии с требованием либо возвращаться сейчас, либо отказаться от чешской стипендии. <...> Возвращаться ни сейчас, ни потом *мне* невозможно <...> Следовательно, — (невозвращение) — я на улице» (Цветаева. Пастернак. Письма 1922–1936. С. 235–236).

[27] «Непонятный отказ чехов, обещавших стипендию», Цветаева в том же письме объясняла как «эхо парижской травли», которую вызвала ее статья «Поэт о критике», направленная против Г. Адамовича. Для Пастернака подобная ситуация возникла из-за отказа Госиздата от обещанного переиздания «Детства Люверс» в серии «Универсальная библиотека» (см. письмо № 315).

[28] В письме 21 июня 1926 Цветаева жаловалась на перепечатанную в берлинской газ. «Дни» статью Маяковского «о недостаточной действенности книжных приказчиков. Привожу дословно: "Книжный продавец должен еще больше гнуть читателя. Вошла комсомолка с почти твердым намерением взять, например, Цветаеву. Ей, комсомолке, сказать, сдувая пыль со старой обложки, — Товарищ, если вы интересуетесь цыганским лиризмом, осмелюсь предложить Сельвинского. Та же тема, но как обработана! Мужчина! Но это всё временное. Поэтому напрасно в вас остыл интерес к Красной Армии; попробуйте почитать эту книгу Асеева" и т. д. Передай Маяковскому, что у меня есть и новые обложки, которых он просто не знает. *Между нами* — такой выпад Маяковского огорчает меня больше, чем чешская стипендия: не за себя, за него» (там же. С. 237).

317. Е. В. ПАСТЕРНАК

8 июля 1926, Москва

Дорогая Женичка!

Умоляю тебя, напиши мне. Меня удивляет твоя жестокость. Я помню фразу, сказанную тобой перед отъездом, что ты собираешься мне не писать. Но фраза проехала тысячу верст, увидала множество вещей и людей, фраза живет в городе, которого я никогда не видел. С фразой вместе находятся два родных мне человека, составляющие часть моей жизни, стоющие мне ежеминутно воображенья, сердечных сил и крови. И этот ребенок и эта женщина напря-

гают мою фантазию, снятся мне, и трижды в день, когда приносят почту, попусту и бесплодно одаряют меня надеждой, чтобы потом поразить отчаяньем. Они были во множестве положений, с ними случилось множество эпизодов, из которых каждый заставил бы меня широко раскрыть глаза и горячо забиться сердце. Им живется лучше, чем мне. Во всяком случае я старался сделать, чтоб это так было. И неужели фраза сильнее всего, и зря стоят города, и напрасно женщину и ребенка встречают лаской — и неужели сколько тепла на них ни пролить, горделиво эгоистический, ледяной гонор фразы превыше всего и его ничем не растопить?

Я ходил к маме первые дни и сообщал тебе о ней. Я отправлял письма воздушной почтой, боясь, что ты заждешься их. Получила ли ты их? Я знаю, что ты мучишь меня в полном неведеньи того, как на мне это отзывается, я знаю, что если бы ты отдаленно способна была это себе представить, у тебя бы не хватило бессердечья попусту, без всякой пользы для себя и для кого бы то ни было на свете так широко, ведрами, из недели в неделю изливать на человека ничем не заслуженное мученье.

Мне сообщили сегодня, будто получено письмо от тебя из Мюнхена[1]. За первою открыткой я побежал сломя голову. Это же сообщенье меня подсекло под корень. Такова ли природа в Мюнхене, так плохо ли тебе там, так сильно ли тебя обидели, так деспотически ли я коверкаю твое существованье, что заслужил это преднамеренное и так планомерно проводимое униженье. Женичка, ты и дальше намерена таким именно образом держать меня в курсе событий?

Я не беспокоюсь за вас и не волнуюсь. Я совершенно раздавлен обидой, которую ты *умело* и любовно культивируешь по отношенью ко мне.

Ах, какой мрак! И это ты, ты, близкий друг, разделивший со мною жизнь! О Боже, да если бы мы были и в сорока ссорах с тобой! Мне страшно тебя и моей привязанности к тебе, и стыдно. Если же ты рвешь со мной, сообщи мне об этом. Я ведь этого не знаю. Поцелуй мальчика.

Я верю, что письмо твое ко мне находится в дороге. Если бы ты изредка писала мне, и из твоих писем явствовало, что ты меня помнишь или хотя бы, что мальчик напоминает тебе меня, мне было бы легко одиночество, я жил бы с тобой и, вероятно, с пользой бы работал.

Тревога же, в которой ты меня держишь, до последней степени расшатывает все мое существо. Ты таким меня никогда не могла видеть, потому что при тебе и сильнейший мой упадок есть сила

и уверенность в сравненьи с горькой растерянностью, которую причиняет твое отсутствие, заряженное недоброжелательством и бездушьем. Я с трудом стараюсь работать над Шмидтом, но безмолвный, опустошающий и унизительный ребус, который ты мне задаешь, вытесняет все и не дает возможности отвлечься от тебя, как от больного места, и сосредоточиться.

А когда я хожу по издательствам, довольно взгляда на меня, чтобы мне отказать. Весь день у меня в горле закипают слезы, потому что на дне души я знаю, что люблю человека, которому этого чувства не надо и который не слышит его и никогда не услышит и не поймет. Прости, я уступил страсти, сказав это, — вырвалось нечаянно. Но я не об этом. Меня пугает круг, в котором я нахожусь. Обстоятельства требуют работы и заработка. Обстоятельства усердно делают невозможной работу и грозят заработку. Весной все изменилось, я вырос, я напомнил себе прежнего себя. Ты попросила отдать это в *твои* руки. Я отдал[2]. Лето похоже на лето Таицкое[3]. Неудачи, тоска.

С твоего отъезда нигде не бывал и ни с кем не виделся. Умоляю тебя, напиши, и как выльется, посылай хоть неоконченное. Ведь я-то все пойму. Боюсь тебя, жалею и люблю.

За что ты меня мучишь? Что тебе в Марине, когда единственное и страшнейшее препятствие твоему *пользованью* мной ты же сама: твоя способность завезти план мщенья за 2000 верст без малейшего ущерба для плана. Горячо целую тебя и мальчика.

Впервые: «Существованья ткань сквозная». — Автограф. Датируется по содержанию (см. письмо № 318).

[1] Открытка Е. В. Пастернак матери и брату.

[2] Имеется в виду эпизод, связанный с переходом на «ты» в переписке с Цветаевой, который поставил отношения Пастернака с женой на грань расставания. Е. В. Пастернак вспоминала об этом: «Я спросила у тебя: “ты как нечто естественное принимаешь цветаевское *ты* и по близкому произнесенное твое имя”» (26 июля 1926; там же. С. 162).

[3] Лето 1924 г., когда Е. В. Пастернак с сыном проводила лето в Тайцах под Ленинградом.

318. Е. В. ПАСТЕРНАК

9 июля 1926, Москва

9/VII / 26

Горячо благодарю тебя за письмо. Вчера я писал тебе в совершенном горе по поводу твоего молчанья, хотя и смутно верил, что письма встретятся. Кажется, я успел эту веру высказать.

Спасибо за сообщенье о Р<аисе> Н<иколаевне>[1]. Отчего ты не прислала мне назад ее письма. Я его не помню, а ей, может быть, нужно ответить. Ты говоришь, что мое письмо не дошло до тебя[2]. Меня огорчают эти слова. Они невольно ранят тем, что сказанные тобою *по отдельному поводу*, помимо твоей воли *обнимают* вообще, *целиком, все твое отношенье* ко мне. Можешь ли ты назвать случай, когда что либо мое доходило до тебя?

Я очень изменился за последний год. Я стал серьезнее и сосредоточеннее. Я часто говорю и пишу глупости под влияньем минуты, т. е. от этого недостатка я еще не избавился, но может быть, когда-нибудь справлюсь и с ним. Я стал цельнее и проще. С ужасной ясностью оформилась во мне потребность в настоящем большом чувстве ко мне, не производном, а самостоятельном, не ответном на мое собственное, а живущем рядом с моим и ведущем свою собственную историю, широкую и великодушную, не считанную из моих любующихся глаз, а побеждающую, идущую наперекор мне.

Главная тема года, с особой горечью вставшая сейчас среди тишины и одиночества, вновь подтвержденная в разлуке с тобой твоим молчаньем, и потом твоим письмом, это тяжесть сознанья, что *надо* стараться разлюбить тебя, что рано или поздно этому придется научиться. Так как причины этой роковой, похоронной, непоправимой *надобности* — в тебе самой, как в человеке, то объяснять это *тебе* совсем излишне. Ты знаешь, о чем я говорю. Я горячо люблю твой женский облик, который иногда на моменты поворачивался ко мне за обожаньем, за принятием ласки. Я страшно привязан к тебе. Я высоко ставлю твой нравственный облик (ум, волю, характер), все время повернутый ко мне спиной. Он стоит ко мне спиной оттого, что дух требует самопожертвованья по своей природе, для того чтобы быть кому-нибудь сообщенным. А это твой слабый пункт, по крайней мере в отношеньи меня: тебе кажется, что самопожертвованье тебя бы уронило, было бы твоей ли прелести, гордости ли, или свободе в ущерб. Эту постоянную ошибку в вину тебе ставить нельзя. Ты душевно здоровый человек, и эта ошибка случайна и самой тебе в тягость: этой ошибки не было бы, не могло бы существовать, если бы ты меня любила. Когда ты по-настоящему кого-нибудь полюбишь, ты поставишь себе за счастье обгонять его в чувстве, изумлять, превосходить и опережать. Тебе тогда не только не придет в голову мелочно меряться с ним теплом и преданностью, а ты даже восстанешь на такой образ жизни, если бы он был тебе предложен, как на ограниченье твоего счастья. Что я не этот человек, я увидал очень ско-

ро. Я больше писать не могу. Как ты чудесно кончаешь свое письмо: «Всего хорошего. Женя». Я так не умею. Не пиши мне, что это письмо до тебя не дошло. Наперед знаю. То-то и больно.

Поцелуй крепко Женичку. В тот день, когда я увижу в тебе большого, уверенного в *своих собственных* силах друга, я напишу мальчику, чтобы ты ему прочла вслух. Замешивать же его в эту нестерпимо бессердечную муть, — отказываюсь. Что я плох, я знаю и слышал. Займись *собою!* Пока ты этого не поймешь, добра ждать неоткуда. Все *только* в твоих руках. Я, если бы и хотел, не в силах сделать того, что природа поручила *женщине, женской душе, женскому сердцу.*

Впервые: «Существованья ткань сквозная». — Автограф.

[1] В письме 29 июня 1926 Е. В. Пастернак писала о встрече с Р. Н. Ломоносовой: «Вчера простились с Раисой Николаевной. Так прощаешься только с любимым человеком, когда кажется тебе, что ты, быть может, его в жизни никогда больше не увидишь» (там же. С. 145).

[2] Е. В. Пастернак писала: «Письмо твое я получила в Берлине. До меня оно не дошло. У меня нет ничего предвзятого в нежелании тебе писать...» (там же. С. 146).

319. М. И. ЦВЕТАЕВОЙ

11 июля 1926, Москва

11.VII. 26

Дорогая Марина!

Последнее время я очень *боялся,* что получу от тебя письмо, в котором, без своего ведома себя насилуя, ты примешься хвалить Шмидта. Я именно *боялся* этого. Я не стыжусь признаться в этом страхе, но не взялся бы сказать, за что я именно опасался: за цельность ли и высоту твоего образа, за твердокаменность ли своей веры в тебя, или просто за чистоту твоей совести. И как всегда ты из этой заминки вышла верная себе, и без пятнышка. Дурацкие состоянья сопутствуют творчеству, тут А не равно А, логика бессильна или вечно неприлична и пьяна.

Нисколько несмотря на страх, в котором я только что тебе признался, я твоим письмом был очень огорчен[1]. Ничего удивительного тут нет, и настроенье, в котором ты меня оставила, вполне заслуженное. Написать дурную вещь — горе неподдельное для нашего брата. Но как сдержать это чувство в разумных границах. И как их определить. Неудачен тем же и весь 905 год. Еще большее горе, написать дурную книгу. Большее еще сознавать, что ты давно упал и никогда тебе не подняться. И вот, наконец, разрас-

тающаяся горечь и стыд за себя, требуя абсолютной краткости итога, чего-то вроде «круглого числа», скашивает все дроби и приходит к пределу: всего больнее (и так оно и есть) быть вообще пародией на человека и пародиею на лирика.

Что все эти прискорбные стадии я быстро пробегаю в душе, задерживаясь на последней, в том виновато, конечно, не мненье твое, до мелочей совпадающее с моим собственным. Для этих отчаянных настроений имеется сейчас благодарная почва. Ты спрашиваешь, легче ли или труднее мне одному? Страшно трудно.

У меня есть какие-то болезненные особенности, парализованные только безвольем. Они целиком подведомственны Фрейду, говорю для краткости, для указанья их разряда.

Все слабые стороны чувствительности, одновременно и христианской, и просто-напросто животной, изъязвлены и подняты во мне до бреда, до сердечного потрясенья. Жизнь, как она у меня сложилась, *противоречит* моим внутренним пружинам. Я это помню и знаю всегда и в нормальных условьях всегда этому противоречью радуюсь. В одиночестве я остаюсь с одними этими пружинами. Если бы я уступил их действию, меня разнесло бы на первом же повороте. Но нет человека, которого, при таком заряде, останавливало бы благоразумье. И я — не исключенье. Но поддайся я действию этих сил, как тотчас же и навеки мне пришлось бы расстаться со всем дорогим, с чем я разделил свою жизнь, со всеми людьми моей судьбы. Чтобы далеко не ходить, скажу просто: после такой раскатки я бы уже не считал возможным взглянуть в лицо своему сыну. Вот это-то и останавливает меня, ужас *этой* навсегда нависающей ночи.

Ты меня представляешь проще и лучше, чем я на самом деле. Во мне пропасть женских черт. Я чересчур много сторон знаю в том, что называют страдательностью. Для меня это не одно слово, означающее один недостаток: для меня это больше, чем целый мир. Целый действительный мир, т. е. действительность сведена мною (во вкусе, в болевом отзыве и в опыте) именно к этой страдательности, и в романе у меня героиня, а не герой — не случайно[2].

У меня гостит сейчас Ник. Тихонов. Он 7 лет провел на войне. Он нарушил мое одиночество, и я прямо ему назвал, в *чем* он мне мешает и чем удобен. Он мешает моим настроеньям. Мне светлей и легче за его рассказами, чем в полной беспрепятственности с самим собой.

Вот мущина. В соседстве с ним мои особенности достигают силы девичества, превосходя даже степень того, что можно назвать женскостью.

Ich habe Heimweh unbeschreiblich
Von Tränen ist der Blick verhängt
Ich fühle ferne mich und weiblich...
*J. R. Becher**

Но ты может быть не знаешь, о чем я говорю? Об убийственной власти, которую надо мной имеют видимости, химеры, возможности, настроенья и вымыслы. Я с первых детских дней и до настоящего времени влекся через годы и положенья в постоянной завесе каких-нибудь навязчивых идей, всегда болезненных, всегда истачивающих сердце, всегда противоречивших действительному положенью вещей. Менялись только эти завесы. Жизни, как ее, верно, постоянно видят другие, хоть тот же Ник. Тихонов, я никогда не видал и не увижу. —

Мне что-то нужно сказать тебе о Жене. Я страшно по ней скучаю. В основе я её люблю больше всего на свете[3]. В разлуке я её постоянно вижу такой, какою она была, пока нас не оформило браком, т. е. пока я не узнал её родни, и она — моей. Тогда то, чем был полон до того воздух, и для чего мне не приходилось слушать себя и запрашивать, потому что это признанье двигалось и жило рядом со мной в ней, как в изображеньи, ушло в дурную глубину способности, способности любить или не любить.

Душевное значенье рассталось со своими вседневными играющими формами. Стало нужно его воплощать и осуществлять. Тут я удач не видел. Темная тень невоплотимости легла на эти годы и испортила нам обоим существованье. Вот отчего я часто, вероятно, хуже, чем должен бы, писал тебе о ней. Ты с ней обязательно должна познакомиться. Если она будет в Париже, вас все равно столкнет случай, я это вижу, или я не я[4].

У меня к тебе большая просьба. Позволь мне (но только по-хорошему) снять посвященье тебе с этой посредственной вещи[5]. Если ты это поймешь и дашь согласье, мне станет многим легче. Меня мучит мысль, что я связал твое имя и значит мысль о тебе с таким бледным пятном, и, что по моей вине, ты как-то будешь с ним ходить в паре. Ведь ты же это должна понять. Будь в этом отношении такою же прямой, как во всем до сих пор. Уладились ли

---

* «Я неописуемо тоскую по родине./ Мой взор застлан слезами. / Я чувствую себя далеким и женственным». *И. Р. Бехер* (*нем.*).

твои дела с Чехией? У меня с матерьяльной стороны предвидятся улучшенья. Госиздат, верно, переиздаст Сестру и Темы[6].

С нетерпеньем жду стихов, как ты говоришь, о нас обоих[7]. Т. е. просто вероятно замечательных новых твоих стихов.

Твой Б.

Когда будешь писать, не забудь упомянуть о посвященьи, прошу тебя. Тихонову очень понравился Крысолов. Потом я ему дал Поэму Конца. Он в восторге. Он сказал, что после Ахматовой это первый серьезный большой голос в поэзии. Если тебе этого мало (т. е. если ты формулировку считаешь неудачной), то прими в расчет, что Тихонов вообще человек иного и не близкого круга. Но прекрасный человек.

Впервые: «Дружба народов», 1997, № 7. — Автограф.

[1] В письме 1 июля 1926 Цветаева отозвалась на присылку первой части поэмы «Лейтенант Шмидт»: «В этой вещи меньше тебя, чем в других, ты, огромный, в тени этой маленькой фигуры, заслонен ею. Убеждена, что письма почти дословны, — до того не твои. Ты дал человеческого Шмидта, в слабости естества, трогательного, но такого безнадежного!» (Цветаева. Пастернак. Письма 1922–1936. С. 239).

[2] Имеется в виду недописанный роман о Жене Люверс.

[3] Сохранился отрывок письма Цветаевой, написанного в ответ на эти слова: «Теперь я еду в Чехию, а ты больше всего на свете любишь свою жену, и всё в порядке вещей. Б<орис>, одна здесь, другая там — можно, обе там, *два* там — невозможно и не бывает. <...> Тоскуй, люби, угрызайся, живи с ней на расстоянии, как какой-то час жил со мной, но не втягивай меня. Человеческого сердца хватает только на одно отсутствие, оттого оно (отсутствие) так полно. ...Не бойся, что я чем-н<и>б<удь> преуменьшаю твою любовь к жене, но "я люблю ее больше всего на свете" — зачем ты *мне* это твердишь, это ей надо знать, не мне» (ок. 20 июля 1926; там же. С. 259–260). Свой ответ Цветаева пересказывала в письме к Рильке 14 авг. 1926: «Когда я узнала об этой его второй заграницe, я написала: два письма из-за границы — хватит! Двух заграниц не бывает. Есть то, что в границах, и то, что за границей. *Я* за границей! *Есмь* и не делюсь» (перевод с нем. Письма 1926 года. С. 194).

[4] Е. В. Пастернак не попала в Париж, с Цветаевой они познакомились только в 1939 г.

[5] Имеется в виду «Посвященье» — акростих Марине Цветаевой, предпосланный поэме «Лейтенант Шмидт». В записях О. Н. Сетницкой есть указание, что в письме 22 июля 1926, написанном в ответ на эту просьбу, Цветаева просила не снимать посвящения (РГАЛИ, ф. 1334). После публикации «Посвященья» в «Новом мире» (1926, № 8–9) Пастернак вынужден был объясняться с Полонским по поводу появления имени Цветаевой в журнале (см. письмо № 344 и Цветаевой 3 февр.

1927). В книжном издании «Девятьсот пятого года» (1927) «Посвященье» снято.

[6] Чешскую стипендию удалось продлить еще на некоторое время. «Сестра моя жизнь» и «Темы и варьяции» вышли под названием «Две книги» в 1927 г.

[7] Из письма в письмо Цветаева обещает выслать недавно оконченную «вещь о тебе и мне», под которой она имеет в виду поэму «С моря».

320. Ж. Л. ПАСТЕРНАК

12 июля 1926, Москва

12/VII / 26

Дорогая Жоничка!

Вчера Стелла получила письмо от тебя со множеством драгоценных для меня сведений. Только о Жене там мало. Здоровеет ли она? Спасибо тебе за эти вести. Но ради Бога не пиши мне в ответ: я знаю, как вы все заняты и как этот недостаток досуга еще осложнен их пребыванъем у вас. Ответа не жду и не надо, вопросов не задаю. Все о себе.

Мое постоянное чувство к тебе хорошо тебе известное, усиливается и видоизменяется оттого, что ты каждый день видишь Женю, а я — никогда. Я чувствую тебя за себя, если можно так сказать, и пишу тебе с тою тонкой, не поддающейся определенью болью, какая бывает, когда благодаря вынужденной аналогии, в силу необходимости чувствовать по подобью, нам становятся известны скрытые стороны нашего строя, вывернутые этим усильем наружу, когда заговаривает голая душевная форма. Такое чувство охватывает меня, когда, зная Женину нежность к тебе, я представляю себе существующую или же навязчиво-возможную, неотразимо-мыслимую дружбу между ней и тобою. Я вам завидую обеим или, в особенности, тебе. Это зависть низкого к высокому, черного к белому. Дружить легче, чем любить друг друга и жить вдвоем, т. е. в потребности постоянного преображенья быть окруженными роднями и родными, обстоятельствами (всегда мизерными) и людьми. Людьми, людьми, людьми, ничего так сильно не желающими, как одного: остановить вас обоих на чем-нибудь одном, и предпочтительнее всего на штампе или на бытовом анекдоте, чтобы знать вас за что-нибудь одно, в контурах устойчивой характеристики.

Я страшно люблю Женю, больше всего на свете. Я теперь ей этого не говорю, не напишу (и вообще не знаю, как писать буду), потому что слыша это, она поддается вечной в таких случаях ошибке. Кто ей не подвержен?

Она не знает, что чувством *одного* человека *двоим не прожить*. Отчего это заблужденье так распространено? Оно вызвано соседством другой, такой же простой истины, обратного значенья. Вторая эта истина, сверкающая и затмевающая первую, гласит: любовь *зарождается* в исключительности одинокого чувства, в победоносном перевесе того, как любит один, над любовью другого. Эти истины, говорящие одним голосом и одними словами о *разных вещах*, всегда смешивают. Речь первой, — о *жизни вдвоем*, т. е. прежде всего о переплавленьи и сварке *неорганического* сумбура, ежеминутно попадающегося по пути через безразлично сколь долгие времена. Речь второй, — о встрече двух органических сил или миров, о сердце и сердечности вчистую. Это разные вещи, или разные стадии одного. Электрический «противо-полюс» симпатически объявляется одним вступленьем первого полюса. Но полезная работа требует цельного тока, и косное сырье, втянутое в процесс, его отсутствия заменить не может.

Прости мне эти невежественные аналогии, которые рассмешат тебя и насмешили бы Лиду, и найди в этой Окено-Новалисовской[1] ереси нужный смысл. Я трудно это выразил. Мне бы хотелось это выразить хорошо и понятно. Я пишу о важных для меня вещах. Иногда, когда я это рассказываю Жене, она отвечает мне, что письмо до нее не дошло. Не дойдет и до тебя.

Но если бы ты знала, как она была хороша, как целиком, внешне и нравственно чудесна в ту зиму, когда я ее позвал, и она пришла[2]. Как смела, и как готова отдать больше, чем это знают понятья, люди, воспоминанья и слова. Мне нельзя рассказать тебе всего: но сколько предельно-обидных мук приняла она тогда и взяла на себя! Когда я расстаюсь с ней, я вижу это вновь и вновь и не могу без страшной, свежей боли за ее достоинство об этом вспомнить. Я был мерзок. Сколько наделано каждым из нас неназванных, безымянных, не уловленных законами нравственности преступлений против красоты и достоинства мгновенья! Это одно из них. Заглажено ли оно? Объективно, во времени и пространстве в жизни — заглажено и с лихвой покрыто жизнью мальчика, если он взаправду хоть вполовину таков, как говорят. Но и субъективно это без следа было бы искуплено, если бы Женя могла любить меня, если бы этим летом она вдруг стала большим, большим другом мне, верящим и взволнованным не мной, но собственною верой. Этого же никогда не будет. Что этого не может быть, постоянно вслух говорилось ею. Америки я этим безнадежным признаньем не открыл. И я бы не говорил всех этих жалких

слов и не цеплялся за слабую тень надежды (вот до каких выражений докатился), если бы этой весной, когда я было собрался уехать от нее с мальчиком, она не остановила, не удержала меня.

Об этом несостоявшемся отъезде я жалею *не* как об упущенном счастье. О, нет. Но как о редком случае, когда я безболезненнее, чем в другое время, мог сделать то, что все равно неизбежно. Неизбежность этого ползет на меня из ее совершенного молчанья или из характера письма, когда она пишет его мне. Неизбежность этого встает из недавнего прошлого, когда, случайно попав на нашу прошлогоднюю дачу, я вдруг разом, в один прекрасный вечер вспоминаю все свои поездки в город и возвращенья и встречи на крыльце. Сколько унизительной, неслыханной жестокости в прошлом! И она не знает этой черты за собой!! Неизбежность эта укрепляется, когда по приезде с этой прогулки в город в смутной надежде, что я что-то найду дома, что отведет тяжесть увиденного в сторону, я узнаю, что и сегодня не было письма, как и во все предшествующие дни, как не будет его и завтра. — Зачем удержала она меня весной? Что непоправимое — поправимо, думал всегда я. Она глядела чище, холоднее и разумнее на вещи. И вдруг, она удержала меня. Это было *ее* движенье. Следовательно, *в ней* изменилось что-то. Она должна была знать, что *нового* чего-то теперь нам обоим ждать *от нее*, а не от меня, — ведь не я останавливал. Вот тощий корень моей новой надежды и моего ожиданья. Но он разрушается на моих глазах. Ничем новым она меня в этой разлуке не подарила. Она в своих действиях, в своем непостижимом пустосердечьи по отношенью ко мне абсолютно та же, что и летом 24-го года. *Но я не тот*, мне нельзя быть тем же. Она ничего уже больше не услышит и не увидит из того, что я привык сейчас же, под влияньем первого порыва нести ей о ней же. Я могу думать о ней сколько угодно, но либо зарою это в себе, либо ты это узнаешь, либо когда-нибудь другая женщина, но уже не она, не она. Я устал говорить и чувствовать в одиночку, я знаю, что все это впустую, пока она не захочет большего от *себя самой*. Я ей не буду писать. Если тебе что-нибудь известно, что сразу, хирургически, обрывает эту долгую муку, сообщи мне это тотчас. Ты знаешь, о чем я говорю? Может быть, тебе ясна она как характер и ясно ее сердце. Ее способность или неспособность чувствовать *по-человечески* и увлекаться *собственным* чувством важнее для меня (т. е. тревожнее, острее или больнее воспринимаются, чем... возможности измен). Весной ее судили тут люди, слепые стеченья случайностей, со-

впаденья пророчествующих фактов. Все они гнали от нее, все говорили нет, тут никаким надеждам нет места, все осуждали ее. Я не знал, что твердо решенное расставанье ее огорчит. Она сказала, останься. Звук ее голоса подействовал на меня сильнее, чем весь этот дружественный хор. Я в нее больше поверил, чем в судьбу. *Если ты что видишь, скажи.* Я страшно хотел бы, чтобы она была великодушной, доброю и большою. Я не могу не любить ее, я никого не могу любить так, как ее. Но это ее уже больше не касается. Дело *только* за ней.

Люби ее горячо, прошу тебя. Она несчастный человек. Но ты понимаешь меня? Ведь возможностями жизни не шутят. Я хочу хорошей настоящей жизни с ней. Но этого не будет. Я далек и чужд ей.

Прости за такое письмо. Его трудно читать, но еще труднее было писать. Я еще не раз буду тебе писать о ней, и о многом расскажу. Эта утрата незаменима. Хотя уверенность в разрыве поколеблена ее весенней просьбой, но на что мне надеяться! Неприязни же и равнодушья я больше выносить не в силах.

Ничего не могу сказать маленькому, так сейчас горько и нехорошо.

Впервые: Письма к родителям и сестрам. — Автограф (Hoover Institution Archives, Stanford).

[1] Эпитет составлен из имен ученика и последователя Шеллинга натурфилософа Лоренца Окена и поэта Новалиса.

[2] Пастернак вспоминает первое время знакомства со своей будущей женой в 1921–1922 гг.

321. Ж. Л. ПАСТЕРНАК

Середина июля 1926, Москва

Дорогая Жонюра.

Горячо тебя благодарю за карточки. Разумеется, меня продолжает огорчать, что от Жени ни слова. В тех редких случаях, когда я успокаиваюсь, я и это успокоенье не могу назвать удовлетворительным: тогда выступает и сковывает меня полнейшая *неизвестность*, в которой она меня держит, — неизвестность того, кто мы с ней и как она себя понимает и каковы ее намеренья. Слово же только за ней, я писал уже тебе и объяснял, почему.

Это письмо придет после 21-го. Таким образом тебя, верно, можно поздравить с успехом и попросить подробнее как-нибудь написать о докладе, Лидочкины же экзамены, вероятно, либо в разгаре, либо же у вас громкое и многодневное торжество по слу-

чаю ее доктората[1]. Я в ней совершенно уверен, и даже думаю, что из испытаний она выйдет maxima cum laude*.

И однако вне зависимости от всего вышесказанного, у меня сердце сжимается от Жениной худобы. Ты не можешь себе представить, как это меня терзает. Ей не то, что надо поправиться. Она — не она, пока она худа! Это трудно сказать так, чтобы это не казалось шуткой или не вызывало возмущенья, но есть формы, в которых человек равен себе, как осуществленье, и эти формы различны для каждого. Мне, например, или Шуре, или папе можно без нравственного ущерба быть худыми. Не стану нагораживать примеров, — Женя нравственно искажена, пока она не прибавит пуда. Я не смеюсь, и в крайнем случае, ошибся фунтов на десять.

Жонечка! Поправляются же в санаториях! Неужели этого нельзя достигнуть. На своих детских и гимназических карточках и в моих воспоминаньях она круглее, душевнее, гармоничнее и туманней. В ее теперешней щуплости виноват я. Я вынужден говорить о внешности, потому что она прозрачна, и дает мне видеть корень ее горького, угловато подобранного, не-счастливого душевного облика, которого не было в замысле Создателя, которым никогда она не была. Меня мучит мысль, что я ее иссушил, съел или выпил. Но, ведь, я совсем не вампир.

Умоляю тебя, когда ты немного освободишься, займись этим немного. Есть множество способов обойти ее возмутительное нежеланье добра себе самой. Я знаю, эта упорно цепляющаяся за себя анемия, не желающая ни за что здоровья и отставляющая стакан с молоком или тарелку с яичницей, ужасно озлобляет, как всякое сопротивленье, мешающее тебе в чуде и в добре. Тогда ты перебарывай это чувство. И вообще, учреди, организуй это через прислугу. Кроме того, вероятно ее утомляет Женичка, с которым она, вероятно проводит целые дни. Не взять ли ему человека? Нельзя ли в этом отношеньи что-нибудь придумать? Напомню, что при всем самопожертвованьи, составляющем главную мамину черту, у нас, как и во всех тогда домах, были детские (комнаты) и няни. Так что по отношенью к Жене общие и поспешные выводы из положенья: «могут, мол, другие матери...» были бы неосновательно жестоки и несправедливы. Собственно, ведь, вся затея с поездкой началась с вопроса *об отдыхе и поправке*. Напомни ей, что, ведь ей Вхутемасовская зима предстоит и потребует сил.

---

* с наибольшим успехом (*лат.*).

И не сердись на меня, что я тебе советы даю и порученья. Это правда, нескромно и бестактно, и мне следовало бы знать, что чем инструкции читать, мне лучше надо бы поблагодарить тебя за то, что ты давно даешь и делаешь больше, чем я тут прошу у тебя. Если можно, не показывай писем этого сорта Феде. На мужской глаз они смешны. В жизни же я *не только* тряпка.

Крепко тебя целую. Обними мальчика.

Если знаешь, сообщи адрес Бебе Высоцкой.

Впервые: Письма к родителям и сестрам. — Автограф (Hoover Institution Archives, Stanford)

[1] Лидия Пастернак заканчивала докторантуру в Мюнхенском психиатрическом институте по кафедре биохимии.

322. Е. В. ПАСТЕРНАК

16 июля 1926, Москва

16/VII / 26

Вышла вся бумага, взял у Стелы. Ты по-прежнему молчишь. Знаешь ли ты, что я слежу не отрываясь за этим твоим молчаньем, что я стараюсь к нему привыкнуть, чтобы перестать его слышать. Пока же слушаю, и оно обладает страшным красноречивым значеньем. Итак, того не зная, мы тогда на вокзале расстались навсегда. Меня для тебя не существует так, как мне бы того хотелось после весенних разговоров. Меня для тебя не существует, а с этого года это начинает значить: следовательно, не должно стать и тебя для меня.

А я ждал неожиданностей от тебя. Мне показалось, что даже твой зарок не писать мне — бессознательное для тебя самой движенье судьбы, очищающей поле от всего старого для того, чтобы появиться чему-то новому. И вот, оно не является. Но не насилуй себя. Если бы что было, само бы прорвалось. Очевидно любить меня, по крайней мере тебе, трудно, невозможно, нельзя. И не надо, как ни велика эта мечта.

Я живу как совершенно одинокий человек, который узнал и понял раз навсегда и твердо нечто очень горькое, сразу бросившее ясный свет на большой клубок прошлого, болезненный, но все еще оставлявший надежду на какое-то оздоравливающее переистолкованье в каком-то будущем, в будущем вдвоем с тобой (все еще вдвоем или вновь вдвоем, безразлично). Но переистолковывать нечего, от тебя никогда не придет повода для такого переистолкованья.

Я убежден в совершенной пустоте места, занятого мною в твоей душе настолько же, насколько в моей непригодности для такой

цели и моей прискорбности в такой роли. Я это узнал случайно. После твоей весенней просьбы мне надо было это узнать вновь. И теперь я это знаю окончательно. Я не вижу жизни кругом и не хочу ее видеть, я совершенно другой человек, чем три месяца назад, во сто раз слабее и угрюмее и суше, чем когда я собирался (еще смутно во что-то веря) расстаться с тобою на время. Зачем ты удержала меня? Но не жалей меня. Я с этим справлюсь, это когда-нибудь пройдет.

Ты хороша, и я любил тебя, и прошлое должно подняться до уровня двух этих фактов. Пока я испытываю естественные и легко вообразимые чувства от сознанья решительной непоправимости нашего дела, постепенно уже преображаются и воспоминанья. Я часто и помногу вижу тебя в зимние предсвадебные дни. Я не знаю, любишь ли ты меня тогда. Но ты удивительна, ты бесподобна, ты терпишь героические муки униженного инстинкта, ты неповторимо высока в горечи своего стыда и в соседстве с моею мерзостью, ты приходишь и уходишь, и мне не приходится глядеть внутрь себя, чтобы знать, люблю ли я тебя или нет: ты сама живое, движущееся изображенье моего чувства, я его считываю с каждой твоей улыбки, с каждого поворота головы или плеча. Это ты, ты и сейчас такая, именно ты должна была стать моей женой, я был счастлив, я счастлив и сейчас тобой, то есть это счастье осталось, но его уже нет для нас, мы от него оторвались и летим неизвестно куда. Нет его и для меня, я не устаю повторять это вслед за тобой.

Я говорю, что совершенно помимо моей воли дурные воспоминанья вытесняются хорошими. Облагораживается вся история и оба человека. Мне не стыдно ни за одного из них. Ты согласишься, мое недавнее прошлое, со мною в том, что если бы я остался в этой дали только уродом, это оскорбляло бы все целое? И вот, замечательно, большой поддержкой в этой катастрофе послужило мне открытье, что когда вдруг приходят на память случаи твоей резкости, несправедливости и жестокости (сколько жестокости в тебе!), то тут же рядом в воспоминаньи и я, ошеломленный болью по этому поводу: и тут я лучше тебя, чище и выше, как в другой раз лучше ты. Так чередуются в памяти случаи твоего холодного удивительного обаянья и цельности со случаями моей неумелой, сразу отскакивающей от твоей злопамятности и настороженности теплоты к тебе. Так мы помогаем в памяти друг другу и друг друга исправляем. Происходит то, что должно было бы составлять нашу действительную, настоящую и будущую жизнь, и чего в ней никогда не будет, потому что и мои попытки бывали редко удач-

ны, ты же вовсе в этом не видишь интереса, делается же это в жизни вдвоем, а никогда не силами одного.

Я это открыл недавно. Я с болью ухватился за это чудесное преображенье нас обоих в прошлом. Представь, хотя это спазмами подкатывает к горлу, но оно мне облегчает утрату тебя, а я в этом нуждаюсь, как легкие в воздухе. Потому что весной я рассчитывал на какой-то дружественный неопределенный мир, который бы мне помог не помнить тебя новизной и главное — добротою, мягкостью человеческих встреч и отношений. Теперь его со мною нет, и я не знаю, что стал бы делать, если бы вдруг память не обернулась каким-то огромным, добрым другом. Я отдамся ее действию и последую за ее ростом. Мне кажется, что к концу я присвою ей полностью твое собственное лицо. Так ты станешь другом мне, — мое давнишнее и сильнейшее желанье. Убедясь, что в жизни мне этого не видать, я перенес его в область душевной алхимии. В *призраках* ты будешь доброю и любящей, это случится само собой. —

У твоих все по-прежнему, дачи еще не нашли. Наступившее было у мамы ухудшенье (вернулась боль в спине) всех встревожило. Профессор Кожевников успокоил ее, и операция по-прежнему остается перенесенной на конец августа. Я случайно зашел к ним вчера. У них было письмо от тебя. Какой Женечка хорошенький и грустный. Я без непонятной и верно беспричинной боли не могу глядеть на него. Что-то сходное во взгляде. И тогда наливаешь его собственным содержаньем. А каково оно, ты представишь без труда. Но еще больнее было мне увидать, что ты не полнеешь.

Не времени ли «гостей» эти карточки? Правда, ты целые дни с ним. Но разве обязательно при этом томиться и худеть? Умоляю тебя, будь мягче, сердечнее и *благодетельней* по отношенью к самой себе!! Я ведь знаю, что и тут ты — злыдня.

А с человеком для Жени ничего не пробовали? И еще. Если тебе захочется о чем-нибудь спросить или попросить меня, знай, что есть воздушная почта, по которой письма идут 2 дня. Обыкновенною же почтой около недели.

Горячо желаю тебе радости, душевной ясности, удачи и здоровья.

Твой Боря

Ни о каких фактах не пишу. Не вижу надобности, не знаю твоей потребности. Но если бы веровал, молился за тебя. Думаю о тебе хорошо из страшной созданной тобою дали.

Впервые: «Существованья ткань сквозная». — Автограф.

323. Е. В. и Е. Б. ПАСТЕРНАКАМ

23 июля 1926, Москва

23/ VII/ 26

Женя, если ты меня любишь, скажи мне это так, чтобы я прочел, понял и ощутил. Не говори мне, что это трудно: избавь меня от страха, что это *невозможно.*

Твои счеты жертвы с мучителем смягчают главную тревогу и опасность и не дают видеть *первопричины* за цепью вторичных причин. Вот пример, чтобы ты поняла. *Должна* страдать *любящая* женщина, которую поработили. Но должна страдать и *нелюбящая*, которую сделали госпожой! Пока ты думаешь *только* о страданьи, ни тебе, ни мне не ясно, какой случай наш. И он не должен быть обязательно одним из них. Я о том, что ты должна очистить свое сердце от счетов со мной, чтобы его понять.

Я получил твое письмо о ненависти. У меня на него готов ответ. Ты его получишь, если оно останется единственным письмом от тебя в теченье времени, которое покажется достаточным моему чутью, или если в тот же срок ты не найдешь в себе силы сделать то, о чем я тебя прошу.

Отсутствие чувства страшнее его объяснимости. Обнаруживая его, я перестаю слышать объясненья.

Если ты любишь, и твое чувство велико, доверься мне полностью и *безоговорочно.* Если его нет, или оно мало и покоится на условьях, мы расстанемся для твоего и моего блага. Но теперь в последний раз, да или нет, и ты знаешь, *какое* должно быть да.

Я люблю тебя во всех случаях, жизнь же с тобой мыслима только в одном.

Если ты вполне моя, и нам суждена большая жизнь (а ни тебя, ни меня Бог не обидел), то впоследствии, оглянувшись назад на нашу путаницу, ты когда-нибудь ее оценишь по-другому.

Ты увидишь, что и ты вполовину была виновата в ней. Но я об этом сейчас и не заикаюсь. Я не обвиняю тебя не из потребности показаться великодушным или расположить тебя к себе, а по простой логике чувства. Мне *некогда* осуждать тебя за смыслом, заключающимся в словах: я люблю тебя и нуждаюсь в тебе — сильной, любящей и *верящей* в *свою* любовь.

Прости мне твердость, с которой я ставлю тебе этот вопрос. Я спрашиваю за двоих, за себя и за тебя. Все что требуется от меня для возможности ответа, сказано тут навсегда и без колебанья.

Непрямой ответ от тебя никакой внутренней цены иметь не будет, сколько бы психологической правды он ни заключал. Я обращаюсь от своей мужской воли к твоей женской, а не к твоим хорошим и дурным возможностям от своих. *Не щади усилий,* чтобы сосредоточиться на ней, но, сосредоточившись, потом уже себя *не насилуй.* Чутье не обманет тебя.

Я сдерживаюсь и не допускаю нежности к тебе. Я ничуть не меньше любил тебя в Таицкие времена. Я только не был тверд. Не бойся ответить прямо. *Не бойся новых обязанностей* неиспробованной задушевности и большого уваженья, которые на тебя лягут, если ты любишь меня. Я не рабовладелец, и твоим перерожденьем не злоупотреблю. Не бойся признаться в малости или отсутствии чувства. Тебе некоторое время будет больно и жалко меня и себя, но я помогу тебе, и вскоре ты отделаешься от вечной неудовлетворенности ложностью своего положенья и от мучительной *подверженности закону рефлекса: необходимости* переживать недовольство *собою в виде недовольства другим.*

Я убежден, что это тяготит тебя. Отвечай же, дорогая. Люблю тебя.

Твой Б.

Не принимай растроганности за настоящее чувство. Настоящее, если оно в тебе проснется, сопровождается мгновенным оздоровленьем, радостью, верой в себя и в другого, жаждой здоровья и силы, жаждой деятельного благодеянья.

Золотой мой Женичка!

Помнишь, как я тебя звал: кудлашка, кудла, кудла, кудла, и ты ко мне бежал через всю комнату? Говорят, ты стал совсем большой. Зачем же это ты в постель написал? Медведь тебе приснился, ты его во сне и окатил, чтобы мокрый он ушел и больше не приходил? А? Напоминай почаще мамочке, чтобы кушала она много и ни о чем не думала, что надо ей поздороветь, как ты мне в Москве обещал. Крепко, крепко тебя люблю и обнимаю. Поцелуй мамочку сейчас же вот. А вечерком перецелуй ее, тетю Жоню и дядю Федю и скажи им, что люблю их всех. Дядя Федя съел медведя.

Прощай, золотой. Будь здоров.

Впервые: «Существованья ткань сквозная». — Автограф.
Приписка сыну на отдельном листе.

324. Ж. Л. ПАСТЕРНАК

26–27 июля 1926, Москва

27/VII / 26

Жоничка, как мне благодарить тебя! Письмо твое читал и перечитывал в автобусе и в длинной очереди Мосфинотдела, где, как всегда в летнее время, с запозданьем, с пенями и в духоте вносил подоходный налог. — Борис Леонидович! — окликнул меня старый наш почтальон, вы его еще помните, и сунул мне письмо у самой остановки, перед носом автобуса. Оно меня порадовало тем, во-первых, что ты так любишь ее и что держишь ее сторону. Будь так и впредь. Знай одно: она человек необыкновенный, но страшно изломанный. Я хочу сказать, что твоей любви она заслуживает и многим таким, чего ты не знаешь. Другая радость: ты тех же взглядов, что и я на первостепенную важность *поправки* и отдыха для нее. И чудно ты сделала, что вскользь, для поясненья, там и сям поразбросала живых подробностей, успокаивающих глаз: например, таким образом я ее увидел на солнце, смеющейся; увидел в кухне; уверился, что она утром ест яйца; понял, что маленький Женичка реален Мюнхенской реальностью; и что мать и сын друзья и части вашей немецкой квартиры, как ты и Федя, а не изолировались в сплошную коническую тень, посылаемую мною на них, как виновником постоянных затмений.

Еще радость. Что ты говоришь о ее *работе*; что, следовательно, она разговаривала с тобой так, как мечтала с тобой разговаривать, что вы с ней сестры и сообщницы и подруги. Не могу тебе сказать, каким бы счастьем было для меня узнать, что она полнеет, успокаивается и имеет возможность писать часа по три в день. Когда в Мюнхене будет папа, неплохо было бы, если бы она занялась рисунком.

Я говорю, разумеется, не о данном моменте, когда у вас наплыв плотно оползших неотложностей, а о завтрашнем дне.

Сегодня 26-е, и у Лидка экзамены верно в самом разгаре, если не отсрочены[1]. Хотя я верю в нее совершенно непоколебимо, но и воображаю ее лихорадку и заражаюсь волненьем. Известите меня воздушною о радости. Итак, она будет ученою. Я присутствовал при этих актах и горжусь ею. Подумай, сколько было борений, внешних неудач, сколько гонки, надежд и отчаяния, и вот он, наконец, этот долгожданный час. Когда придет мое письмо, Лида верно будет уже в состоянии упадка и сдачи, как паровоз на конечной станции или опоенная лошадь. Ей уже все будет казаться

смертельно далеким и посеревшим, и для пирога, который она себе обещала за последние недели зубрежки и воздержанья, не останется уже сил. Но это время скоро пройдет. Постепенно горизонт очистится, и его займет главная мысль: что она человек с драгоценными знаньями, что будущее ей обеспечено и ей открыты широкие дороги. Поздравляю, поздравляю, поздравляю ее. Обоих моих ребят, дочку и сына[2], втяните обязательно в ее чествованье и в общую кадриль. Смех, радость всего полезнее для обоих. Это и твоя мысль.

Еще было бы замечательно, если бы папа собрался в Париж и они поехали с Женей вместе. Об этом мы часто мечтали с ней. Я уверен, это была бы замечательная поездка для нее, и ему было бы весело. Но и не смею грезить о таком счастье. К сентябрю я ей переведу денег на поездку[3].

Так вот, я вполне согласен с тобой, что вопрос о приведеньи ее здоровья в порядок — на первом плане, и ему должно быть пожертвовано всем. В этом отношеньи я *без оговорок* подчиняюсь всем твоим указаньям. Говорю, без оговорок, потому что то́, что я скажу дальше, нисколько не оговорка, а вещь первостепенной важности. Она должна быть выражена и достигнута, и она уже нашла себе выраженье. Я написал Жене письмо, оно пошло заказным, и она его верно получила[4]. Так вот, я ни одного слова из него не беру назад, несмотря на все мое согласье с тобою, и радуюсь, что успел его написать до твоего письма: я бы и после него все это написал, но мне еще труднее было бы сжато и отчетливо, как заповедь для самого себя, все это перед нею выложить. Там речь именно о том, о чем ты мне советуешь не думать, ни тем менее ей об этом писать. Вот моя просьба: пусть она на это письмо сейчас мне *не* отвечает, пусть вообще не пишет мне и целиком доверится солнцу, своим счастливым задаткам, твоему сердцу и уходу. С некоторого времени, и особенно с твоего письма, я стал светлее смотреть на возможность всяких улучшений для нее. Пускай письмо мое стоит особняком, про запас. Пускай она о нем забудет и потом, когда угодно, о нем вдруг вспомнит. Но вот чего я ни для ее, ни для своей пользы не в силах отменить: смысла письма и его обязательности. Я говорил про сколь угодно долгий срок ее забвенья и молчанья. Этот срок не безграничен. У нее должен быть ясный, готовый, *абсолютный как религия*, ответ на него к тому времени, когда она захочет вернуться[5]. Нет, прости, я взял слишком много на себя: я тоже человек. Я жду ее к октябрю. Так вот, к октябрю она должна в себе разобраться, с совершенно самостоятельными отсюда

выводами. Я ничего не говорю о себе и ничего не обещаю. Я отдаю себе отчет в видимой жестокости тона. Это оттого, что в этом шаге я перестаю пассивно мечтать и рассказывать себя. Я только скажу, что речь идет о надежде, облюбованной и поддержанной *волей*, и хочет встречной *воли*, которая была бы услышана, и потом составила бы постоянную тему, постоянный голос, сохраняющийся подо всеми шероховатостями быта и житейщины, я хочу, чтобы чувство фиксировалось в решеньи, в словах, сказанных себе самой, чтобы было к чему возвращаться в минуты упадка и звероподобья, чтобы было чем грозить себе и чем управлять.

Я хочу очень хорошей жизни ей и себе, или же никакой. В теперешнем ее отсутствии и в совершенном своем одиночестве я *не* присутствия ее (какого бы то ни было) хочу, а *присутствия ее чувства*, которое бы *равнялось* моей воле к жизни с ней и не было бы слабее этой воли. Продолженье письма, где я многое объясняю, намеренно устраняю. Я не хочу прельщать и склонять.

Больше я писать об этом не буду. Передай Жене, чтобы она на письмо не торопилась отвечать и позабыла об его остроте. Крепко вас всех целую.

Целую дорогого Федю; Жене и Женёчку напишу на днях. Опять начались выселенья, Фришманы получили ордер, как и весь дом.

Меня пока не трогают.

Впервые: «Существованья ткань сквозная». — Автограф. Письмо было передано Е. В. Пастернак и сохранилось с ее письмами.

[1] Об экзаменах Лидии Пастернак см. также в письме к Ж. Л. Пастернак № 321 и коммент. к нему.

[2] Так Пастернак называет жену и сына. См. письмо № 330. Имеются в виду: жена и сын. Аналогичным образом в письме № 334.

[3] Поездка в Париж не состоялась.

[4] См. письмо № 321.

[5] Имеется в виду не просто ответ на письмо от 23 июля 1926 (№ 323), а ответ на прямой вопрос: *«Женя, если ты меня любишь, скажи мне это так, чтобы я прочел, понял и ощутил»*.

325. Е. В. ПАСТЕРНАК

29 июля 1926, Москва

29/VII / 26

Я получил твой ответ. Горячо благодарю тебя. Он тебе стоил больших волнений. Я не хочу подымать их снова. Я от своего вопроса не отступаю, твой ответ неудовлетворителен, ты сама это зна-

ешь, но покамест перестань думать обо мне, приди в себя. Не пиши мне, пока не запишется легко и хорошо. Я тебя тоже не буду трогать. Меня страшно стесняет боязнь расстроить тебя. Но нельзя жертвовать и ясностью. Когда можно будет возобновить разговор, ты мне скажешь. Ты недооцениваешь его серьезности. Тебе мерещатся сходство с Петровским, проповеднические ноты[1].

Возможно, что издали это и похоже. Я же не могу отойти на расстоянье и не знаю, какое *впечатленье* производят мои слова. Я думал, что до тебя дойдет смысл целиком, мимо всяких впечатлений.

Знаешь ли ты, о чем речь. О том, что опасно для тебя и меня сходиться вновь при таких данных. Ты же, может быть, думаешь, что я у тебя прошу ласкового письма.

Я не испытываю твоего чувства ревностью. Я сейчас совершенно одинок. Марина попросила перестать ей писать после того, как оказалось, что я ей пишу о тебе и о своем чувстве к тебе. Возмутит это и тебя. Это правда дико. Будто бы я ей написал, что люблю тебя больше всего на свете[2]. Я не знаю, как это вышло.

Но ты этому не придавай значенья ни дурного, ни хорошего. Нас с нею ставят рядом раньше, чем мы узнаем сами, где стоим. Нас обоих любят одною любовью раньше, чем однородность воздуха становится нам известной. Этого ни отнять, ни переделать. Мы друг другу говорим ты и будем говорить.

В твоем отсутствии я не мог не заговорить так, что она просила меня перестать. Я не предал тебя и основанья ревновать не создал.

Вообще, создал ли я что-нибудь нарочно, ради чего-нибудь или в отместку тебе?

Я не могу изолировать тебя от сил, составляющих мою *судьбу*. Двух жизней и двух судеб у меня нет. Я не могу этими силами пожертвовать, я не могу ради тебя разрядить судьбу. Я хотел бы, чтобы ты была такою силой, одной из них. В этом случае не было бы никакой путаницы, единственность твоя бы восторжествовала, все стало бы на место. Но бесчеловечно и думать — *допустить* тебя, *невооруженной* большой мыслью или *большим чувством, не* в форме силы, слагающей мою судьбу, в этот круг, на это поле. Совершенно помимо меня ты обречена на нем на постоянное страданье. Я не хочу неравной борьбы для тебя, человека смелого и с широкой волей. Ты поражений не заслуживаешь. Как мне это сказать, чтобы тебе в этом не чудилась реторика? Весной, когда мы говорили как люди расставшиеся, мы говорили о том же. Тогда все это до тебя

доходило, мы разговаривали как друзья. Ты скажешь, чего это тебе стоило? Ну вот, о том я и говорю постоянно. Если только сильное нравственное страданье дает тебе силу дослушивать меня до конца, а не перебивать нестерпимою вспышкой при первом же слове, то и не надо так страшно тратиться. Твоя неприязнь ко мне может быть неистребима, и для нас должно быть счастьем, что я переменился в чем-то к тебе: я не остаться тебя упрашиваю, а к осторожности тебя зову и к чувству ответственности за свое решенье.

Ты начинаешь так свое письмо: «Перечла все твои письма. Плачу. Гнусность — вот ответ»[3]. За этим, если это так, должно было следовать: «Расстанемся». Но дальше следуют обвиненья. Неужели ты думаешь опять строить жизнь на моей вине и раскаяньи? Потому что сейчас важно только то, расстаемся ли мы или нет, и почему нет и в надежде на что. И опять ты прочтешь письмо и *только* вспомнишь, что ты несчастна, и *только* расстроишься, и *только* ощутишь гнусность. Сейчас получена телеграмма о Лидином успехе[4]. Забудь обо мне. Будь среди них. Они тебя любят все и стоят за тебя против меня. Для меня большая радость в мысли, что ты дорога Ломоносовой, Жоничке, Оле Фрейденберг, Асе Цветаевой, которая чудесно о тебе говорила. Обо мне не думай.

Впервые: «Существованья ткань сквозная». — Автограф.

[1] Из письма Е. В. Пастернак: «Боря, ведь не Петровский же ты, чтобы говорить героические фразы. <...> как из тюрьмы должна была я зубами вырывать свою потребность работы еще недавно, еще года не прошло. И на словах дружелюбно, на деле всегда враждебно и уж во всяком случае без малейшего желания чем-либо поступиться относился ты к внешне уверенному, а в душе мнительному и неуверенному в своих силах моему желанию» (26 июля 1926; там же. С. 163–164).

[2] См. письмо № 319. В ответ Цветаева написала Пастернаку резкое письмо и прекратила переписку (см. коммент. 3).

[3] Из письма Е. В. Пастернак 26 июля 1926 (там же. С. 162).

[4] Л. Л. Пастернак получила степень доктора философии (см. письмо № 321 и коммент. к нему).

326. М. И. ЦВЕТАЕВОЙ

30 июля 1926, Москва

30/VII / 26

Если я примусь отвечать тебе, все будет продолжаться деятельно и документально. Или ты веришь в перемены? Нет, главное было сказано навсегда. Исходные положенья нерушимы. Нас

поставило рядом. В том, чем мы проживем, в чем умрем и в чем останемся. Это фатально, это провода судьбы, это вне воли.

Теперь о воле. В планы моей воли входит не писать тебе и ухватиться за твою невозможность писать мне, как за *обещанье* не писать. При этом я не считаюсь ни с тобой ни с собой. Оба сильные и мне их не жаль. Дай Бог и другим так. Я не знаю, сколько это будет продолжаться. Либо это приведет ко благу, либо этому не бывать. И ты мне не задашь вопроса: к чьему? Благом может быть лишь благо абсолютной деятельной правды.

Не старайся понять.

Я не могу писать тебе и ты мне не пиши.

Когда твой адрес переменится, *пришли мне новый.* Это обязательно!

Позволь мне не рассказывать себя и не перечислять отдельных шагов, которые я делаю чистосердечно и добровольно.

До полного свиданья. Прости мне все промахи и оплошности, допущенные в отношеньи тебя. Твоей клятвы в дружбе и обещанья, подчеркнутого карандашом (обещанья выехать ко мне), никогда тебе не возвращу назад. Расстаюсь на этом. Про себя не говорю, *ты все знаешь.*

Не забудь про адрес, умоляю тебя.

Еще до того, как тебе напишет Асеев, расскажу это тебе сам. Зимой я у Бриков пробовал читать «Поэму Конца». У нас были шероховатые отношенья, читать я принялся в ответ на просьбу прочесть что-нибудь свое, верно вообще вид у меня был вызывающий. Мне и не преминули отомстить самым чувствительным образом. Я не мог вынести этого пренебреженья и бросил на второй странице. Я возмутился, стал шуметь, вечер был безобразный. На прошлой неделе я дал Асееву, который тогда тоже присутствовал, прочесть Поэму Конца и Крысолова в печатных оттисках. Я дал ему месяц на прочтение и для спокойного, ничем не связанного отзыва. Он позвонил мне рано утром по телефону, под сильнейшим впечатленьем этой ни с чем не сравнимой, гениальной вещи. Потом я ее слышал в его изумительном чтении на квартире Бриков. Лиля и Маяковский в Крыму. Асеевский ученик и любимец, Кирсанов, пальцы изъязвил чернилами, переписывая ее. Кажется, он это сделал в одну ночь. Асеев читал и Крысолова, тоже чудесно, на разные голоса. Мы проразбирали тебя до 4-х часов ночи. Они мечтают о перепечатке Поэмы в Лефе. Я не спраши-

ваю твоего согласия, потому что считаю мечту неосуществимой. Главлит не допустит твоего имени, а до главлита, верно, и Маяковский, относительно которого все уверены, что вещь ему понравится безумно.

По-видимому аналогия к чтенью Шмидта со Святополком-Мирским?[1] Да, даже в тот же день. (Мы полунощничали с 28-го на 29-е.) О нет, нет и трижды нет, моя мука, моя прелесть, моя судьба, мой несравненный поэт, нет, не унижай меня и себя, тут нет параллели.

И зачем это чтенье со Св.-М<ирским>? То есть не с ним, я хочу сказать, а чтенье *чего*! Ты меня так обижаешь, серьезно обсуждая 1905 г.! Я иногда поддавался тебе и вот так только могла возникнуть нелепость посвященья! Но уверяю тебя, по силам, сложившим 1905, это находится на средине между службой и *писательством*. Координаты же по отношенью к *поэзии* не берусь даже определить.

Ты меня оскорбляешь своей скрытой и подавленной жалостью. Но это пустяки. Я жалованья еще не получил и 1905 докончу. Я тебе ничего там не посвящу, потому что хочу книжку выпустить с посвященьем «Среднему читателю и его опекунам». Или «...и его деревянной лошадке».

Не пиши мне, прошу тебя, и не жди от меня писем. Пойми также и то, что ни слова не говорю о стихах «о нас»[2]. Ведь у тебя редкостное воображенье! Ну, а тут и рядового было бы довольно, чтобы все прочесть и постигнуть. Справлюсь со всем.

Весь твой Б.

Но адрес обязательно. Целую Францию за всё, что она дала мне. Ты еще забыла Рильке, когда так истолковала переезд. Помнишь?[3]

Ты спрашивала о статьях: Поэт о критике и Герой Труда[4]. Эренбург их не привез. Не будет ли еще оказии?

Впервые: «Дружба народов», 1997, № 7. — Автограф.

[1] В письме 10 июля 1926 Цветаева писала : «На днях сюда приезжает Св.-М<ирский>, прочту ему твоего Шмидта...» (Цветаева. Пастернак. Письма 1922–1936. С. 255).

[2] Речь об обещании Цветаевой прислать поэму «С моря» (« о тебе и мне»).

[3] Имеется в виду предполагавшийся переезд Цветаевой в Чехию, в Прагу, город, освященный рождением Рильке.

[4] Из письма в письмо Цветаева спрашивала: «Получил ли ты “Поэт о критике” и “Герой труда”? (Дано было Э<ренбур>гу)» (10 июля 1926; там же. С. 256).

327. М. И. ЦВЕТАЕВОЙ

31 июля 1926, Москва

31/VII / 26

Успокойся, моя безмерно любимая, я тебя люблю совершенно безумно, я вчера заболел, написав то письмо, но я его и сегодня повторяю. Я тебе не могу рассказать, зачем так и почему.

Но так надо. Если то, для чего я жертвую твоим голосом, твоими письмами и всем собой (кроме воли), заключающимся в одном обожаньи тебя — если это не частность, а сила судьбы и высота, то это дело жизни и *её* дело найтись среди нас и дать восторжествовать и своей единственности, рядом с нашей[1]. Если даже это и частность, то и перед частностью у меня есть долг, бездонный долг.

Сегодня ты в таком испуге, что обидела меня! О, брось, ты ничем, ничем меня не обижала!! Ты не обидела бы, а *уничтожила* меня только в одном случае. Если бы когда-нибудь ты перестала быть мне тем высоким захватывающим другом, какой мне дан в тебе судьбой. Когда я из Таганки, где квартира Бриков, в пятом часу возвращался по пустой Москве в заре, редких извозчиках, метельщицах и петухах, после разговоров о Поэме Конца, где говорилось, что ты «наша», то есть где Асеев говорил, что это могли бы написать Боря или Володя (вздор и ложь, ты не обижайся, а радуйся, ты пойми, что это — ласка и побратимство, а не тыканье пределами в чудо, внезапность и беспредельность, да, еще надо тебе сказать, что Асеев назвал кровнейших своих друзей) — я сызнова, как весной, спинным хребтом, виском и всем правым боком, ощутил веянье твоего рядостоянья, весь, шевелящий волоса холод твоей женской валькирической смежности, весь чистый теряющийся из глаз раскат моей нежности к твоей силе.

Умоляю тебя об одном. Никогда не давай мне почувствовать, что за Асеевым и Маяковским я стал *дальше* тебе. В тебе еще нет ничего, что бы могло тебе объяснить основанье моей тревоги. И, не понимая меня, ты справедливо оскорбишься этим предвестием ревности. Основанья же к ней — во мне. В том, ка́к сильно я хочу товарищества с тобою этих превосходных друзей, людей и поэтов.

Асеев сказал: «как она там может жить?» и, странно, прибавил... «среди Ходасевичей». И тогда я подхватил это сопоставленье и, вспомнив одно свое письмо, сказал им про твою нелюбовь к нему, и про то, как тебя покоробило, когда я стал его защищать[2]. Я знал, как они на меня за тебя набросятся (они Х<одасевича> ни в грош не ставят и ненавидят), и только затем и говорил, изобра-

жая все в ином свете, чем это было в действительности. Боже, что это было за наслажденье — слышать от них, как ты хороша и как я глуп и снисходителен!

Вчерашняя моя просьба остается в силе. Умоляю тебя, не пиши мне. Ты знаешь, какая мука будет для меня получить от тебя письмо и *не ответить*. Пусть будет последним — мое. Благословляю тебя, Алю, Мура и Сережу, и все, все твое. Не удивляйся этой волне, на миг удивившей и меня, и давшей смысл этому движенью и крепость. Кончаю в слезах. Обнимаю тебя.

Держи меня в известности относительно перемены адресов. В час добрый тебе в Чехию!

«Как живет и работает черная лестница» — заглавье бездонное[3]. Пропасть повествовательного, таящегося обещанья, лирической полносмысленности каждого сказанного слова. Громадная, легко выраженная метафора!

Не смейся и не презирай. Ты не все правильно понимаешь во мне. Может быть ты переоцениваешь меня целиком. Но некоторых серьезных сторон ты недооцениваешь.

И все вздор: эти оценки, переоценки, пониманья. Не обращай вниманья.

Впервые: «Дружба народов», 1997, № 9 — Автограф.

[1] Цветаева не простила обидных слов письма 30 июля 1926: «В планы моей воли входит не писать тебе...» — и ревниво пересказывала их Рильке: «Дорогой Райнер, Борис мне больше не пишет. В последнем письме он писал: все во мне, кроме воли, называется Ты и принадлежит Тебе. Волей он называет свою жену и сына, которые сейчас за границей» (14 авг. 1926; Письма 1926 года. С. 194).

[2] Имеется в виду письмо Цветаевой, написанное ок. 18 апр. 1926, в наброске к которому она писала: «Не огорчайся, что тебе делать с любовью Ходасевича? Зачем она тебе?» (Цветаева. Пастернак. Письма 1922–1936. С. 183).

[3] Первонач. назв. поэмы «Лестница» (1926).

328. Е. В. ПАСТЕРНАК

10 августа 1926, Москва

Дорогой друг! Что это за место Поссенгофен, и как тебе в нем живется?[1] Пишешь ли этюды, и если нет, то почему? Обыкновенно первые дни одиночества, после людей и шума, ставших привычными, всегда кажутся тоскливыми, потому что вдруг с непривычки раскрепощают всю восприимчивость человека, не дав ей

сосредоточиться на какой-нибудь общей мысли или работе. Но потом это проходит, и подтверждается вновь и вновь, в который раз, что одиночество — благо. Прошел ли у тебя уже этот предварительный период неизбежной тоски. Поражаюсь твоей смелости и самостоятельности. Как это ты одна без языка обходишься?[2] Ну тут уже я никак в твою поправку не верю. *Сама* себя ты только уморишь. Разве только поручили хозяйке гостиницы тебя обкармливать. Напиши мне, пожалуйста, как родился Поссенгофен, как ты в нем очутилась и что делаешь? Что слышно вообще у наших? Каковы ваши дальнейшие планы? Поедешь ли ты в Париж и начала ли переписку о визе?[3] Завтра уезжает Эрнст[4]. Долг (Фришманам) в 30 руб. (для Гиты) перевели на него. Был я ему должен за марки. Задолжал еще. И вот моего долга ему скопилось 100 руб. Бегал как угорелый всю неделю. До того неоткуда было достать, что осмелился даже (условно, на случай, если бы не удалось) с Сеней поговорить об этом! По счастью сегодня все устроил (из Госиздата дали) и тебе посылаю с Эрнстом 100 руб. (вернее, 50 долл.). Вообще очень трудное было лето. Настолько, что обе лучшие книги, равных которым уже никогда не напишу, Сестру и Темы, т. е. все, что собственно сделано, отдал Госиздату по 30 коп. строчка[5]. Просил по 50, не соглашались. Положенье же было безвыходное, все долги: Фене 180, бабушке 50, костюм 55, Черняку 100, подоходный налог, квартира, жизнь, Эрнсту 100 и пр. и пр. Шуре остался должен 200 р. Не говори этого папе, но одна экспертиза его вещей (для отправки[6]) вместе с изготовкой ящика и упаковкой (от Главнауки) уже стоила 40 рублей и еще обойдется рублей в 30; отправляю единственно возможным путем через таможню, пассажирским багажом на имя Эрнста; идет не с ним, а через Себеж; идиотские порядки, которых не переделать и с которыми приходится мириться. О деньгах папе не говори, потому что просто стыдно считаться: столько они посылали, помогали и пр. Это просто капля в море. Насколько денежные затрудненья подчас непреоборимы, настолько ничуть меня не трогает новая кампания по выселенью всех жильцов из дома. Никаких бумажек *не принимаю,* разговаривать отказываюсь, *не тронусь с места.* Пусть делают что хотят.

Но ты-то, ты-то как пользуешься заграницей? Выжми все ее возможности, как лимон. Все-таки чище, вольнее, привольнее там. И человечнее как-то. Как увидал я штемпель на письме[7], сейчас же мне представился пейзаж какой-то горный. И одну я тебя увидал: бестолковую, худую, бедную. Ах, Женя, Женя.

О том, как безотрадно на меня подействовало твое письмо, говорить не стану[8]. Говорить об этом *не* необходимо. *Все равно* мы друзья. *Все равно* тебе надо кончать Вхутемас и, значит, мы увидимся. *Все равно* окончанье его тебе обеспечено. Наконец, *все равно* (т. е. даже и в случае *задержанного* ответа на твое ужасное письмо, даже и в случае естественной нежности при мысли о твоем одиночестве, даже и в случае прекрасной встречи с тобой), *все равно мы разойдемся*, если действительно твое письмо — тот ответ, о котором я просил[9]. Написано оно неприятным, чужим, *опасным* человеком. *Не надо мне его.* Но может быть письмо — случайность, может быть, просто оно неудачно написано. *Для меня* письмо твое — развод. Между прочим, с мыслью этой я свыкся. Пережил уже это не только я. Трудно рассказывать это тебе в подробностях (расскажу на словах), но это также и взгляд твоей мамы. Спокойно к этому факту относится и она. И с ним уже примирилась. Эрнст напишет Лиде кое-что о Женичке. Год будет трудный и тревожный, не денежно, а совсем иначе.

Дал улечься минутной горечи. Пишу дальше. У меня к тебе ничего, кроме участья и желанья блага тебе нет. Никакой вражды. Но ты, Женя, адресуешь письмо к слабому, нуждающемуся в тебе человеку, который без тебя пропадет, который молит твоей любви, *какой угодно,* который *любой ценой, во что бы то ни стало* хочет жить с тобой, и вот ты ему перечисляешь свои условья, при которых пойдешь на эту жертву. Это не мой случай, Женя. О чувстве я не говорю. О том, как я тебя люблю, *не живя с тобой,* ты при желании, когда-нибудь узнаешь. Но не об этом речь. Ты не поняла моих писем. Ты не веришь в серьезность моих слов. Я говорю серьезно: хвататься за *такое* чувство ко мне было бы безумно. Тут взяться не за что. Тут все требованье, все мимо, мимо. На что мне знать, как много тебе нужно, чтобы *согласиться* жить со мной, когда я не *навязываюсь!* Потребность твоя во мне неясна и чужда мне. Потребность твоя во Вхутемасе с этим не связана и она во всяком случае будет удовлетворена. И вечный разговор о спокойном сне: будь в моих границах; знай столько языков, сколько я, стольких людей, как я, не буди моего самолюбья, моей ревности. Ужасное письмо.

Ради Бога, не огорчайся. *Так* людей не любят, как ты привыкла. Я во всяком случае не согласен. Не надо и насиловать себя. Естественного чувства у тебя ко мне нет. *Я не добиваюсь его.* Прощай.

Может быть, я несправедлив, и в письме много скрытого чувства, но зачем было их не открыть. Ребусы — тоже бесчеловечны.

Впервые: «Существованья ткань сквозная». — Автограф. Датируется по содержанию (см. письмо № 329).

[1] По просьбе Б. Пастернака Е. В. отправили в пансион в Поссенхофене на берегу Штарнбергерзее под Мюнхеном.

[2] Е. В. Пастернак знала немецкий язык по гимназии достаточно, чтобы читать и разговаривать, но это не шло в сравнение с блестящим знанием языка Б. Пастернака.

[3] В отношении предполагавшейся поездки в Париж не было предпринято никаких шагов.

[4] *Эрнст* Розенфельд — племянник старых друзей Л. О. Пастернака.

[5] Речь идет об издании «Двух книг», вышедших в 1927 г.

[6] С Эрнстом Розенфельдом отправлялись работы Л. О. Пастернака для планировавшейся выставки в Берлине.

[7] Штемпель: Possenhoffen.

[8] На следующий день после получения письма Пастернак писал: «Дорогая Женя! Ужасно мне. Но неужели это оттого, что я человек ужасный? Нет, это неправда. Пойми, не я упрямлюсь. Но я никогда, никогда я не расправлюсь с большим и таким понятным порывом в себе в угоду твоей помраченной мнительности, когда есть путь правды, и такой открытый, и так вижу я себя и тебя на нем. Да, но это — идеал. И в этом идеале больше у тебя веры, больше души и чувства ко мне» (30 июля 1926; там же. С. 168).

[9] Письмо 6 авг. 1926, в котором Е. В. Пастернак писала: «...тебе перед Мариной неудобно читать мне ее письма. А мне от ее писем часто больно. Значит, таких писем не должно быть. Я не хочу, чтоб существовали ключи "Синей Бороды", — этим можно... а этим маленьким золотым... и что за этой дверью» (там же. С. 171).

329. Е. В. ПАСТЕРНАК

11 августа 1926, Москва

11/VIII. 26

Сейчас послал тебе ответ воздушной почтой и вот еще что вдогонку. Если там я допустил резкость, то не обращай на нее вниманья. Все это сотрется и смоется. Вот что я бы хотел, чтобы ты знала. Что я тебе настоящий, *настоящий* друг, помимо слов и без громких фраз. Что я тебя в обиду не дам и не дам пропасть или заглохнуть ничему подлинному и благородному в тебе. Что я не препираюсь с тобой и ни в чем не виню, и ничего свыше твоих сил с тебя не требую. Что всеми силами я стараюсь не огорчить тебя.

Но какою бы Женюрой и до какой трогательности бы я тебя ни чувствовал, женою я тебя не в силах сознавать, так страшно в своих составных частях твое признанье[1]. Если бы даже я принял твое предложенье во всей его двойственности и обусловленности

(люблю-ненавижу; брак-развод), я бы своего слова не мог сдержать: природа, моя природа и всякая другая против этого бы восстала, так это опасно, так неестественно. Кроме того, ужасный признак сказался в твоем письме. Моя полная *далекость* тебе. Я боюсь одного. Может быть, тебе не избежать одного, мимолетного огорченья, которое пройдет, если ты не будешь стоять на нем, т. е. если дашь ему пройти. Тебе ведь и вправду может казаться по размерам душевных усилий, затраченных на это письмо, что ты несла мне навстречу, если и не то, о чем я спрашивал, то все-таки какой-то дар сердечности и доверчивости, и *вот я отверг его.* Но ты перечтешь когда-нибудь свое письмо и поймешь, как оно ужасно. За статьями контракта трудно что-нибудь расслышать, что подняло бы, понесло навстречу, окрылило надеждой. Тебе трудно было писать, тебе трудно это все потому, что тебе трудно сделать меня близким и дорогим себе. Я не могу стать целью для тебя, и ты, не ведая, что творишь, расписываешь, пункт за пунктом, что ты могла бы меня любить как средство в жизни. Ты договариваешься до того, что и мое имя и, как ты говоришь, талантливость, это такие элементы неравенства, которые требуют соответственных товарищеских выводов в твою сторону.

То есть я уже кое-чего достиг, ты — нет, или не столько. Значит, я об этом должен помнить и должен быть готов к уступкам. Это совершенно убийственно по своей противоестественности.

Ты предлагаешь мне в жизни, несказанно тягостной *материально,* беспрерывно стеснительной, построенной на неизбежных самоограниченьях ради тебя и Жени бóльшую связанность, чем налагает на детей отцовский дом, пока они этим домом живут и им воспитываются. Потому что и в бреду никогда не приходила мне такая нелепость по отношенью к папе или к маме, которые тоже были талантливы и успели достигнуть многого, когда я еще на ноги становился. И ты не думай, что меня баловали. Но это совершенно ни к чему. У меня нет никакого против тебя раздраженья, ни даже против твоих слов. Вообще я очень дружески и с большим теплом к тебе говорю на эту тему. Но программа твоя просто опасна. Она *игнорирует* тот факт, что я все-таки поступался кое-чем в твою пользу, и налагает новые трудности. Значит, она свидетельствует либо о твоей *слепоте* насчет меня, моей жизни, моих усилий, моих жертв и пр. и пр., либо же о неважности всего этого для тебя. Мне несущественно, эгоистка ли ты или нет. Я не о тебе говорю, не о чувствах к тебе, а о тебе в отношении меня, о расчетах на твою помощь, о жизни с тобой. Ну вот ты и дала ответ.

Об этом и думать нельзя. Правда оказалась сильнее тебя и вытеснила тебя со всех гадательных позиций на одну старую, исходную: на позицию *обусловленного* примиренья после попытки разойтись. Вот все, чем ты можешь и хочешь меня осчастливить. Ты меня прощаешь, ты меня готова любить, если, если, если... Но ведь я тебя не всякую зову назад, и ты не поняла меня. Я тебя не удерживаю. Я дорожу дружбой с тобой, я дорожу тобою и встречей с тобой, но я не зову тебя назад любой ценою и к разводу отношусь спокойно и светло. Он в тысячу раз чище и человечнее того, как ты понимаешь меня и наше сосуществованье. Он — счастие для меня в сравнении с тем несчастьем, которое ты мне и себе готовишь своим последним предложеньем. Умоляю тебя поверить в серьезность моих слов: я разошелся с тобой, я живу без тебя, врозь от тебя, живу так же, как жил, т. е. нет, гораздо честнее и чище, с высоким чувством долга к *тебе*, а не к твоему искаженному, ненасытно самолюбивому двойнику, которого могу не помнить, не знать и не слышать. И я думал, не заговоришь ли и *ты*, подлинная, в разлуке. Ты же поручила писать письмо ему, а я терпеть не могу этой фурии, и не от нее ждал письма. Я не знаю, откуда в тебе эта болезнь, но со мной беседует всегда именно этот демон, которым ты одержима.

Зачем ты так горячо пишешь о работе? Точно я Хиля[2] или кто-нибудь из твоей семьи и оспариваю это твое право? Точно ты не проработала год во Вхутемасе? Точно не будешь работать эту зиму? Ты отвечаешь пощечиной, когда я тебе напоминаю о вещах, которые ты сама должна была бы сознавать и помнить. Ну хватит ли у тебя бессовестности сказать, что я деспот, что я тебя рабою сделал, что я втиснул тебя в тиски мещанского брака и материнства. Ну чего ты бушуешь?! Обстоятельство, например, что за границею ты, а не я — для тебя *не факт* только оттого, что матерьяльно я не мог справиться со всем тем, что *хотел* для тебя сделать перед тем, как уехать с Женичкою к нашим; для тебя это не факт оттого, что это явилось неизбежностью. И ты забываешь, что это не физическая неизбежность, а нравственная, добровольно наложенная на себя. О как трудно писать и как все это ни к чему! Не хочу, не хочу и не могу жить с тобой.

Ничего личного в тебе, нуждающегося в моем росте, моем счастье, моей действительной жизни не вижу и не слышу. Узнал, что слишком даже мне хорошо, могу поступиться в твою пользу.

Так *нельзя* меня любить. Я не знаю, кого можно, и мне это неинтересно.

Но если вернуться к корню всей прискорбности, к отсутствию большого чувства у тебя ко мне, которое бы тебя несло и делало оптимисткой, то слава, слава Богу, что ты высказалась и все так разрешилось. Повторяю тебе: ты меня не знала до сих пор. Теперь я от тебя свободен, и вправе игнорировать беса в тебе.

Настоящая же ты не можешь не быть моим глубочайшим и благодарнейшим воспоминаньем и постоянным другом, судьба которого мне кровно дорога, и такою всегда останется. Я это тебе докажу на деле. Разумеется, мне это будет до неисполнимости трудно, если судьба свяжет тебя с каким-нибудь явным моим врагом и ненавистником. Но по себе сужу: ты верно перейдешь надолго к совершенному одиночеству, уравновешенному, освещенному целью, осчастливленному успехом. Сейчас же, в Поссенгофене забудь, дорогая, все злые слова, которые мы друг другу говорили; запомни только факт нашего совершенного ухода друг от друга, который абсолютно никакого зла сам по себе не заключает, и дай я крепко обниму и поцелую тебя, — естественно, как это всегда останется естественным у меня по отношенью к тебе.

Я тебя люблю, но не живу и не буду жить с тобою.

Твой Боря

Впервые: «Существованья ткань сквозная». — Автограф.

[1] Речь идет о письме Е. В. Пастернак 6 авг. 1926 (там же. С. 169–171).

[2] Абрам Бенедиктович Минц — муж старшей сестры Е. В. Пастернак Анны.

330. Е. В. ПАСТЕРНАК

12 августа 1926, Москва

12 / VIII / 26

Сегодня я с утра возился с Эрнстом. Много было волненья с папиными ящиками на таможне (у Николаевского вокзала). Приехав в 10 ч. утра, мы освободились только в 12. По тому, как их вскрывали и досматривали, я боюсь себе представить, в каком виде они придут[1]. Будут они, если верить словам агента, не позже чем через неделю в Берлине. Потом я сызнова проделал с Эрнстом весь твой отъезд. Банк, Дерутра, обед дома, извозчик, вокзал. Он уехал III-м классом и в очень скверном вагоне.

Но рядом был тот, желтый и сияющий, с широкими окнами, и я глядел в крайнее, где щебетал и подпрыгивал от паровозного восторга мой мальчик, и потом ты, за будкой, уронила голову на руку[2].

Я это видел. — Я ведь не человек без нервов, Женя. И с проводов Эрнста я вернулся домой совсем надломленный и со страшной головной болью. Я отоспался, сейчас пишу тебе. Надо взяться за работу, середина августа, около двух месяцев совершенно не покрыты заработком. Последнюю неделю много было мытарства с доставанием денег для Эрнста и на расходы, связанные с отправкой вещей. Теперь его отъезд как бы положил всему этому предел. Я убрал комнату, выспался, поставил самовар и — за Шмидта.

Кроме того, мне вообще нездоровилось прошлую неделю, да еще и флюс у меня сделался, как зимой, и на том же месте. Шапиро на Кавказе. Сильно мне помогла Женя Кунина[3]. Я не знаю, говорил ли тебе, что Цветаева раскритиковала Шмидта. Ей не нравится, что я дал его, а не себя. Ей не нравится, что я его сделал типическим, психологически правдоподобным. Она против его *писем*[4]. Так она формулирует по крайней мере недовольство вещью. Может быть, у нее иные, более глубокие основанья, которых она не высказывает, боясь меня обидеть. Т. е. может быть, вещь вообще кажется плоской и безвкусной ей. (Между прочим, она такова и есть.) — Но Шмидта надо кончить и кончить так, как он начат. Кое-что я набросал дальше. Но по-настоящему возьмусь за работу в ближайшие дни.

Каждое мое письмо тебе сопровождалось не менее, чем 5-ю другими, которые я уничтожал. Я много, много написал тебе писем этим летом. Не скажу, чтобы они были радостнее тех, которые ты получала. Но они были подробнее. Они на фактах объясняли то, что без этих ссылок могло тебе казаться намеренно-неожиданным или голословным. Но так как дело в живых данных и в решении, а не в воспоминаньях, то я и не хотел влиять на тебя ни в ту, ни в другую сторону.

Я боялся разжалобливать тебя. Для нас фатально то, что я так долго обманывал себя и тебя, будто я могу удовольствоваться твоею жалостью. Только порвав раз навсегда с этим умеренным требованьем, я перестал жалеть и тебя. Однажды из Питера приехал Ник. Тихонов и по моему предложенью остановился у меня, пробыв тут больше недели. Я был тогда в поре страшной тоски по тебе и ты мне не писала. Это была совершенная копия Таицкой нервности. Тихонов имел на меня замечательное действие. При нем я не только не мог работать, но и вообще быть самим собой при нем не было никакой возможности. А в те дни быть предоставленным себе безо всякой помехи значило тихо безумствовать. Я не мог второпях подыскать нужного слова. Это не фраза. Это были очень тя-

желые дни, всякий, кто встречал меня, по одному виду спрашивал, что со мной, чем я болен.

Тогда же из Касимова с тетей приезжал дядя Осип после очень тяжелого приступа сердечной болезни. Я был у них по нескольку раз в гадких дешевых номерах на Трубной, где они остановились. Раз, в спокойнейшем разговоре, я, чтобы успокоить дядю (не так, мол, страшно ваше положенье), предложил ему пощупать мой пульс в полной уверенности, что он ничего не найдет и между нами завяжется чистое словопренье. Представь, у него нашлось латинское слово для этого ненормального, постоянно (по крайней мере в тот месяц) перенапряженного пульса. Что ж тут удивительного, сказал он, жжешь свою жизнь, она и горит. Они вскоре потом уехали в Касимов. Недавно опять были тут, проездом в Кисловодск, куда дядя уехал на леченье. Так вот, бесконечные кавалерийские рассказы Тихонова, которые не прекращались с утра до вечера, и вообще соседство его юношеской и здоровой простоты (как у гимназиста) действовали и на пульс и на все мое существо очень благотворно. Он около 7-ми лет был на фронте, в деле и имеет что порассказать. На его примере видишь, какую роль играет субъективное преломленье мира. В его изображеньи от войны не остается ничего страшного, ничего грязного даже, точно и в действительности, десять лет назад, она целиком была приспособлена для детей среднего возраста.

Громадную роль для моих мыслей о тебе и себе сыграл один случай, косвенно связанный с ним. Каждый день мы к кому-нибудь ходили, вечно встречались с людьми и дома не сидели. Както мы отправились к Антокольским в Ильинское. На вечерней прогулке по парку я отделился от всей компании и сбегал в Александровку. Может быть, тут, в этот вечер я впервые и увидал во весь рост, навсегда, вперед и назад твое отношенье ко мне. Замечательно, что о Тайцах и об Александровке у меня всегда сохранялось воспоминанье, как о *счастливых* временах[5].

Это объясняется контрастом тишины и замкнутости после коридорной системы бредового городского существованья, без секретов и принадлежности себе. Этот контраст — такое благо, что перевешивает и затушевывает в воспоминаньи все другие стороны. Случилось так, что Александровка в этот час была почти пуста и очень тиха. Было воскресенье, дачники вероятно прогуливались, мужики пьянствовали в Ильинском. Я подошел к нашему дому, затянутому по окнам серыми опрятными занавесками. Белая скатерть в пролете крыльца и кувшин с цветами (совсем как

наши, как те, с того дня), казалось, кого-то ждали, что-то помнили и знали, что-то *лучше меня*. Я так и ахнул.

Словно пелена спала с моих глаз, когда я *впервые* за эти годы уразумел, наконец, что в твоих жестоких словах тогда на террасе была *правда,* чистая немилосердная *правда,* которой я, дурак, не верил, потому что боялся поверить, жалея себя и тебя. Понял же я, что это правда, по тому чувству режущей, щемящей боли, которую вызвало зрелище нашего дома непосредственно, неожиданно, прямо с той косой луговой дорожки, по которой я быстро к нему приближался. Потом по сходству мне припомнились *все* твои приемы, все встречи, весь вообще твой образ мстительницы, карательницы, суровой, неумолимой госпожи. И вдруг я разгадал тебя и твое четырехлетнее страданье. Я не знаю, писал ли я тебе об этой поездке. Если да, то прости, что повторяюсь. Но едва ли это проскочило из писем, которые я уничтожал (в них я не переставал к этому случаю возвращаться), в те, что ты получила. Именно из-за трудности объяснить, что я *не в упрек* тебе этот случай привожу, а что, наоборот, в полное тебе оправданье и в объясненье всех странностей твоих я его пережил и победил его горечь, именно из-за невозможности уверить тебя в искренности моих слов я и уничтожал те письма. Теперь то, чего тебе недообъяснят слова, живо подскажет мой сегодняшний тон. Ты права передо мной горькою, фатальной и непоправимой правотой. Ясен мне стал и весенний мой узел. Т. е. то, чем я неизбежно, помимо воли, постоянно причиняю и стал бы причинять страданье тебе, если бы мы вдвоем остались, а также и смысл твоего страданья, и причина его. Но об этом лучше я расскажу тебе при встрече, или в следующем письме. Это трудно, это вещь большой тонкости.

Ты, может быть, догадалась по надписи Маршака, что он был тут[6]. Я давно не встречал такого интересного, настолько ярко и самостоятельно думающего обо всем человека, как он. Я очень рад этому новому знакомству. К сожаленью, когда он у меня был, у меня немилосердно болел зуб. Собственно в ту ночь флюс у меня и разыгрался. Но временами я забывал про зубы, так интересна и *дельно* интересна была его речь. В противность обыкновенью, больше помалкивал я, а разливался собеседник. И это вовсе не от зубов. Речь шла об английской литературе. Он мне говорил о двух замечательных поэтах, значенье которых мне известно, но которых я вовсе почти не знаю, о Блэке и Браунинге. О последнем он *так* говорил, что встреться с ним Дмитрий[7] десять лет назад, я был бы избавлен от его воинствующей дружбы. Но что ты скажешь на

его «Мороженое»! Какая прелестная вещь! А рисунки Лебедева! Неправда ли эта книжка и в отношеньи текста и иллюстраций еще лучше Мышонка[8]. Он, говорит, очень меня любит и все мое. Мне было жаль, что ты его не слушала, ты бы со мной согласилась в оценке его, и он не меньшее бы тебе доставил наслажденье, чем мне. По неожиданности и оригинальности это — Шкловский с присоединеньем органической философии, существенности и душевного темперамента в степени, в которой ни у кого из знакомых этих свойств себе не представляю. Ухватясь за его симпатию, попросил подобрать книжек для Женички. Но по-моему там кроме «Мороженого» все вздор. Разве только ничего «Присказки» Федорченки. Только их надо читать уметь. Ты услышь Москву в себе и Фросю[9] и себе вверься и нараспев читай, широко, широко.

В последнее время я часто твоих видал. Там все без изменения. Мама иногда жалеет, что не сделали операции тогда, в июне. Хирурга ждут из отпуска недели через две. Мама один невольно вырвавшийся у меня разговор о нас (вследствие сильного и сложного страданья, — тоже когда-нибудь расскажу) встретила, против ожиданий, как нечто давно ей известное, что она видела и о чем догадывалась. И выход приняла очень здраво и без волненья. Она, как мне кажется, любит тебя больше всех детей, и откровенно *противоречивой* любовью: т. е. больше других она любит тебя *именно за то*, за что на тебя нападает, и чем ты совершенно недоступна ей. Нападки же ее отличаются всею узостью и вздорностью *жестоких* мещанских представлений о жизни, женщине и мире.

Это письмо я буду продолжать. Я возобновлю этот разговор на днях, сейчас же боюсь задержать его. Невольная, неизбежная резкость, которая все же верно имеется во вчерашнем и позавчерашнем письмах, может ввести тебя в заблужденье. Хотя принято думать, что ты о себе высокого мненья, но в кольце своего повседневного, раздраженного самолюбья ты даже и сама не знаешь, каким аршином себя мерить, т. е. насколько удивительные задатки скрыты в тебе и насколько весь их смысл — в будущем. Эти годы ты наносила себе постоянно косвенный вред, являющийся отраженьем того вреда, который прямо наносила мне. Продолжение письма будет о тебе, о том, как я представляю себе твое будущее, о том, почему нам нельзя и опасно жить вместе. Нам очень трудно и легче в ближайшее время не станет. Но я уже почти вижу осуществимость *истинной* жизни для тебя и для меня, как она заложена в наших судьбах и предопределена в стремленьях, пожеланьях и мечтах. Недавно и уже в последний раз я поддался есте-

ственной ошибке. Увидав твои и свои возможности, я только оттого, что видел их вместе и чувствовал одним чувством радости за обоих, заключил, что нам дано дожить до них в одной комнате. Я ужасный дурак, что дал твоему письму обидеть или вернее удручить себя. Мне сразу же следовало порадоваться тому, что оно эту ошибку, являющуюся лишь частью нашего обоюдного будущего, исправляет. Разумеется, мои мысли и ощущенья на этот счет не остаются в области снов и философствованья. В ближайшем письме предложу тебе подумать и о практическом разрешении наших трудностей. Т. е. напишу о своих планах. Ты легко себе представишь, зная меня даже так, как ты меня знаешь, что все это мне далось не легко. Заклинаю тебя, хоть раз в жизни поверь мне полностью: поверь, что тебе будет хорошо. Во всяком случае *несоизмеримо* лучше того, что ты себе в письме готовила, уродуя и себя и меня. Одновременно, или еще раньше, я прекратил переписку с Мариной. Но это совсем не то, чего ты хотела в письме и ничуть не тебе в угоду. Я просто должен наконец вырваться из кольца, которое в разные времена и разным глазам может *хотя бы казаться* ложью, будучи на самом деле скопленьем живой, остро страдающей, до безобразья искалеченной правды. Чистоту, красоту и ясность этой правды я и должен восстановить.

Женечка, я тебя только об одном попрошу. Чтобы ты ко мне относилась с уваженьем. Я ведь не фразер и не мошенник. Прошу об этом потому, что без этого ты не поймешь ничего из того, что мне еще надо тебе сказать. Разделаться же с голосом говорящего без пониманья очень легко: это как книжку изорвать, не читая.

Продолженья письма скоро не жди. Дай мне неделю срока. Крепко тебя целую. У меня много нового к тебе, к Жоне, к нашей семье. И мне *хорошо и бедно.*

Впервые: «Существованья ткань сквозная». — Автограф.

[1] Речь идет об отправке картин Л. О. Пастернака в Берлин с Эрнстом Розенфельдом.

[2] Воспоминания об отъезде Е. В. Пастернак с сыном.

[3] Е. Ф. *Кунина* — поэтесса и переводчик, была по профессии зубным врачом.

[4] Имеется в виду письмо Цветаевой 1 июля 1926 (Цветаева. Пастернак. Письма 1922–1936. С. 239–240).

[5] В Александровке Пастернаки проводили лето 1925 г., в Тайцах — 1924-го.

[6] Пастернак послал Женечке несколько детских книжек, среди них «*Мороженое*» С. Я. Маршака с рисунками В. В. Лебедева и дарственной надписью автора и «*Присказки*» С. *Федорченко.*

[7] *Дмитрий* Васильевич Петровский.

[8] Имеется в виду книжка С. Маршака «Сказка о глупом мышонке».

[9] Прислуга Фришманов, иногда помогавшая Пастернакам и занимавшаяся с Женечкой.

331. Е. В. ПАСТЕРНАК

16 августа 1926, Москва

16/VIII / 26

Дорогая Гулюшка Женя!

Я хочу, чтоб тебе было хорошо. Я думаю о тебе и никогда не перестану. Отбрось все и будь совершенно откровенна со мной. Не бойся меня обидеть. Я все пойму. Если тебе чего-нибудь жалко, скажи мне об этом по-человечески. Ни во что не драпируйся, ничего не скрывай, я не злоупотреблю твоей прямотой. Мне трудно с тобой. Я никогда не уверен, что та, выпады которой в мою сторону так нестерпимы и неуместны — ты, а не судорога твоей самозащиты от призраков, не маска, не *ложная* гордость.

Я не мог принять твоего письма и жизни, в нем предложенной, потому что по-прежнему ты переоцениваешь свой возраст, свои силы и свои знанья и требуешь от меня *подчиненья себе, властной, вспыльчивой, ревниво-подозрительной и нетерпимой,* в то время как это и есть единственная помеха нашему счастью, потому что в остальном мы — родные, и чем ты больше будешь развиваться и расти, тем, — увидишь, — больше тебя будет приближать ко мне твоя собственная судьба (творческий опыт, постепенное освобожденье). Но я бы зарезал и твое и свое будущее, если бы согласился вдыхать свое будущее не твоей любовью (что было бы возможно) и даже не твоими легкими (что уже невозможно), а твоим *требованьем* дышать так, как это мне предпишут твои представленья властного и безапелляционного человека, на опыт которого я и не мог бы положиться, если бы даже был так бестемпераментен, безволен и бездушен, что хотел. В своем письме ты все построила на случайной и несчастной стороне своего характера, которая изгладится, когда ты сложишься как художница, — и ты мне это предложила как фундамент для нашей, т. е., значит, и моей судьбы!

Между тем у меня сейчас как раз такое время, что я ни *шагу не смогу* ступить дальше (а в этом шаге ведь и ты и золотой Жененок!), если моей мечте не дано будет сравнительной независимости. Я не чуждаюсь вмешательства твоего *истинного* существа, я им жив и многим ему обязан. Но уже и вмешательство тебя — минут-

ной, искаженной и пр. было бы тягостно. Ты же прямо на последнем хочешь построить наше благополучье. Но такие вещи, как родина, история, судьба, запад и пр. и пр., — это все вещи насущные для меня, это вещи моего завтрашнего существованья. И вот я поставлю по контракту весь этот мир под угрозу твоей ежечасной бытовой раздражимости!

Я думал, ты мне пообещаешь *работу над собой,* при которой мы уйдем далеко, далеко от того безобразного *уровня,* на котором *вынужденно* держит нас наш измельченный мелочною страстностью обиход.

Между тем все то, что ты мне говоришь, опять обращено ко мне: ты снова меня кругом обежала и знаешь мои концы и начала; ты снова говоришь только обо мне; снова мне указано место.

Когда я вижусь с твоими, когда я слушаю мамины рассказы, в особенности же, когда я сталкиваюсь с ее сужденьями о тебе, я внутренне содрогаюсь от восхищенья тобою. Какой гигантский скачок сделала ты, моя одухотворенная несомненно, несомненно одним уже этим талантливая, замечательная девочка.

Я понимаю всю твою мышечную судорогу, ставшую привычной в этой вечной борьбе. Но чем, чем как не *обстоятельствами первых свиданий* мог я вызвать твое чудовищное непонимание твоего положенья со мной! Ты борешься со мной, как с ними! Ты в минуты страшной душевной *усталости и слабости* говоришь языком тигрицы, готовой к прыжку, между тем как я мог бы тебе дать отдых. Нас спасла, нас всех втроем осчастливила бы только новая (глубоко заложенная, но умышленно подавленная тяжелым отстаиваньем себя) черта, которой бы ты отдала власть над собой, добровольно, т. е. усилием доброй воли: нас, т. е. нашу жизнь друг с другом, спасло бы только нарожденье большой, широкой *доброты* в тебе. Вот о чем я мечтал и чего хотел. Я *этой* соседки жаждал рядом со своей деятельностью, которая сейчас страшно трудна.

Это не то письмо, которое я думал написать через неделю. Тех тем, которые главнее всего, я в переписке не коснусь. Это страшно трудно, это будет в разговоре с тобой, это в один голос, монологом не делается. Если бы в объяснении этих тонких материй не было необходимости, т. е. ты знала бы их без объяснений, все было бы чудесно, ты бы любила меня, мы были бы счастливы. Цель этого письма напомнить тебе, что я тебя слышу и слушаю, что я душой с тобою, что если тебе печально, то в корне этой печали какая-ни-

будь недопонятость себя самой, чтобы ты не скрывалась, что я лучше, чем ты думаешь; и больше тебя люблю, чем ты это знаешь; и гораздо, гораздо сильнее и серьезнее, чем ты на основании моих колебаний и уступок и вечного лавированья вокруг катастрофической крутизны твоего характера воображаешь. Но я предложил тебе самой побороть то в себе, на борьбу с чем уходили мои лучшие силы. Эта борьба для меня прекращена, ты от нее отказалась.

Вот суть происшедшего.

Впервые: «Существованья ткань сквозная». — Автограф.

332. Е. В. ПАСТЕРНАК

17 августа 1926, Москва

17/VIII / 26

На прощанье ты должна будешь мне сделать один подарок. Подари мне, или если не хочешь, оставь мне на время свой дневник. Я его перепишу. Но я буду просить у тебя подлинник, т. е. кожаную тетрадку, писанную разными твоими почерками, всех возрастов. Мы будем встречаться, я от тебя с ним не убегу.

Я страшно люблю тебя в нем, люблю твое прошлое, болею всеми болями, *восхищенно* болею, светло, *не* фатально, потому что разрешенье налицо — твоя судьба не пошла под гору, ты не смята, не стоптана жизнью, ты говоришь с ней, как равная, и даже заносишься.

Мне кажется, я этот подарок заслужил, хотя, конечно, достаточно тебе узнать, что́ мне дорого, чтобы меня этого лишить. Никогда мне не объяснить тебе смысла и характера волненья, с каким я пробегаю страничку, в которой в двух-трех фразах — твои август и сентябрь 1919 г. И потом, того же времени — письмо к Бетти[1].

Ты человек — осмысленного пути, т. е. жизни, *посвященной* цели. Представь себе, что для меня подчеркнутое слово значительнее неподчеркнутого. Целесообразность либо призрак, либо — если не призрак, то — пустяк. *Посвященность* же жизни — великий и *реальный* разряд существованья. Это один из видов бессознательной религиозности. Это одушевленность в квадрате. Разговоры о бессмертии, о Боге могли зародиться лишь среди людей, живших посвященными жизнями. Т. е. предметы их рассуждений были под руками, в годах и в груди у каждого; было на что слаться, чем пояснять.

Твое несогласие со мной коренится в твоем непонимании меня, твое же непонимание может быть только умышленным. Это и есть либо постоянный умысел, либо какой-то случайный про-

мах, вошедший в привычку, либо случай мести за какой-то *мой* промах, утвердившийся как способ сосуществованья со мной.

Готовая за углом Волхонки и Знаменки говорить по собственному вдохновенью и опыту о той же истине, спеша за этою же истиной на автобусе во Вхутемас, ты дома, на даче, в разлуке, в переписке со мною, — вообще, вообще во всей своей жизни со мною насильственно слепнешь и глохнешь ко всему, что с этою истиной связано.

Мое уваженье к тебе все эти годы глухо разъедалось и подтачивалось именно этой твоей красноречивой, бросающейся в глаза несправедливостью ко мне: точно за всеми твоими действиями стояло невысказанное: «Боря? — ну с ним церемониться нечего».

Так вот, о жизни, *посвященной*... По-настоящему, т. е. настоящим ты меня видела и знала два-три раза. Ты знаешь, о чем я говорю. Ты тогда бывала неисчерпаемо чудесна, я без границ, чудно, полно любил тебя, как совершенно равную, как соучастницу большого, отягощенного громадной душевностью волненья, как его преображенную и обдающую преображеньем половину. Меня охватывало чувство абсолютной свободы, тождественное абсолютной преданности тебе, и я всегда это чувство тебе называл. Эти редкие случаи *все наперечет* — случаи высказанного или — невысказанного вслух разрыва с тобой, прощанья с твоей *властью,* с твоими несчастными предписаньями и претензиями, до совершенной тоскливости умаляющими меня и уродующими.

Теперь я думаю, что эти случаи для меня — естественны, но и только для меня предельны. Т. е. они мне распахивают мое мироощущенье вовсю. Что же касается до тебя, то очевидно у тебя в памяти или в прошлом есть нечто *большее* в этом смысле, иными словами, тебе есть с чем сравнить, и сравнение это не в мою пользу. Если бы это не было так, ты бы не могла не предпочесть меня, свободного, верного масштабам моего мира, тому несчастному, уступчивому уроду и полуживотному, которое ты из меня делаешь, подчиняя своим собственническим инстинктам. Читай внимательно. Оттого-то я и говорю, что ты не любишь меня. Если бы мое высшее ощущенье тебя было и для *тебя* ничем несравнимо, т. е. уносило в такую же бесконечность, как меня, т. е. если бы оно было высшим и для тебя, ты любила бы меня (без если), и тогда бы тебе инстинкт это несчастное «если» подсказал: но тогда бы ты его даже и от меня скрыла. Он подсказал бы тебе, что тем самым, что я называю свободой, т. е. чувством большой, владеющей миром красоты, ты действительно можешь приковать меня. Он подсказал бы тебе, что только высокая, почти неуловимая словом тонкость

способна меня привязать, что меня можно очаровать, но не подвести под условья, что чем грубее цепь, на которую меня вздумалось бы кому сажать, тем она бессильнее. Все бы это было ясно и не такой одаренной и душевно богатой женщине, как тебе, лишь в одном случае *действительной* потребности во мне. Тебе же это неясно оттого, что желанья этого у тебя нет. Твое стремленье приковать меня, сквозящее в твоей *тактике, поступках, словах и поведеньи*, есть поверхностное выраженье глубокого желанья, чтобы я *не был прикован никем другим*. Положительное желанье тебя бы перерождало и вело по совсем другим путям.

Я так утомительно отчитываюсь перед тобою потому, что я люблю тебя и не хочу, чтобы у тебя осталось впечатленье несправедливости. Я надоел, верно, тебе повтореньями о том, что упрекать тебя мне не в чем. Не унижая себя нисколько, я убежден, что в твоей истории я не сильнейшее, не содержательнейшее явленье. И очень хорошо, что ты бессознательно верна глазомеру чувства. У тебя были добрые намеренья в письме, но ни ты, ни я не такие бедняки, чтобы удовольствоваться таким сухим рационом. Большего ты не могла дать. Большее ты дала или дашь другим, а может быть и как-нибудь иначе. Выход дарящего порыва из личности создал Бога, создал культуру, создал искусство. Для меня не лицемерны, не словесны и другие формы даренья. Я знаю формы любви, нервно осязательные, порождающие на свет душу целого поколенья (верь, я о чем покрупнее себя говорю). Я хочу сказать, что форму твоего полного порыва мыслю не обязательно с связи с кем-нибудь еще.

Ты из моей сердечной жизни не уходишь. Уходит твоя нелюбовь, твоя способность к ненависти ко мне (хотя бы альтернативная). Но и этой ненависти *в потенции* я не могу допустить близко к себе. Это опасный спутник.

Ненавидеть настолько легче (житейски), чем любить, что хотя бы условно, в мыслимости допуская эту ненависть и ее заранее оправдывая, ты сама не заметишь, как под влияньем обстоятельств пойдешь сплошь по этому легчайшему пути.

Замечательно, как только я пробую заговорить *глубочайшим* образом о себе, о Жене, о будущем, о живейших стремленьях к улучшенью всех наших обстоятельств (тут практика *неизбежно* переплетается с романтикой, потому что в том, что может *казаться* сумасшествием, блажью, громкой фразой или наводит тебя на аналогии — со Шмидтом ли или с Петровским — моя сила и моя *реальная почва*. Потом, когда результаты налицо и поняты всеми и впитаны жизнью, все забывают о том, что им казалось лет 5 или 10 назад) — да,

так удивительно, говорю я, при всякой попытке заговорить с тобой о себе — я чувствую роковую неосуществимость этого желанья.

Я предложил тебе трудную задачу. Источник ненависти, злобы и раздраженья в семье (а как это отражалось на мальчике!) все-таки *в тебе*. Жить на его берегах нет никакой возможности. Я знал, что усилия, которые бы тебе предстояло делать, не легче тех, с которыми связаны твои побеги и вылеты из твоей семьи в культуру. Но ты не только отказываешься от этой работы над собой, но продолжаешь держаться воззрений, по которым это качество позволительно и допустимо. Ты вновь и вновь мне говоришь, что это в *моих* руках, а не в твоих. И вот это самая безотрадная и решительно никуда не годная исходная точка.

Сейчас я получил от Лидочки письмо, где очень много о Женичке. Как я рад за него! Надо все силы приложить к тому, чтобы к будущей весне иметь много денег, т. е. столько, чтобы развязаться с квартирой и иметь возможность уехать из Москвы. Я хотел бы, чтобы и ты нашла возможность при Вхутемасе если не уже подрабатывать что-нибудь вечерами (диаграммы что ли у Будневича или еще что-нибудь), то хоть попробовать стать на этот путь или как-нибудь с ним связаться. Комната Шуры и Ирины переписана на них. Они за нее платят по своей таксе. Теперь и действительно, и психологически, и по охранной грамоте у нас только одна большая. Т. е. для пользованья их комнатой психологических данных больше нет, и если бы мне пришлось там работать, то не в виде правила, а в виде ежечасной любезности. Если опыт с пересылкой папиных вещей будет удачен, я исподволь стану пересылать ему остальное и за зиму хочу перевести ему весь его архив.

Я не обо всем имею возможность писать тебе. Кое-что узнаешь от Эрнста. Все это очень трудно, но мыслимо, и это надо успеть сделать за зиму (т. е. заработать, справиться с вещами и пр.). Я пишу тебе: нам, мы. Тебе это может показаться противоречием. Но неужели и это надо объяснять? Если не будет другого выхода, я предоставлю тебе комнату, а сам уеду в Петербург. Но это все еще будем мы. — Мама в последние дни веселее, потому что ей чаще делают впрыскиванья. Она, да и все жалеют, что не сделали операции летом. Положенье ее не стало опаснее, но боли, если бы не морфий, были бы чаще.

Впервые: «Существованья ткань сквозная». — Автограф.

[1] Подруга Е. В. Пастернак по высшим женским курсам.

333. Е. В. ПАСТЕРНАК

27 августа 1926, Москва

27/VIII / 26

Просто непонятно, до чего быстро промелькнуло лето. Еще, кажется, вчера меня пугал надвигавшийся хаос горячего городского июля, вечерами безумными роями кружилась в передней моль, громыхающая мостовая засыпала комнату жарким песком, улица вечерами откровенно обнажалась, пела, хохотала и плакала.

Казалось, никогда не выбить пыли из меховых и шерстяных завалов, не отбиться от моли, не удержаться на человеческой чистой высоте, не привести комнаты в порядок. Но в свое время все оказывалось осуществимым, лето выдалось прохладное и дождливое, призраки отошли, искушенья миновали.

Я походя расплатился с долгами. Между этими расплатами с радостью установил, что с неприятностями подмышками распростился если не навсегда, то надолго. Выкупил больше месяца лежавший у портного костюм — твой подарок — спасибо тебе, Женюшок мой; — все лежал он — денег не было. Ни разу не надевал, — без тебя не надену. Не надену и старого, сданного в чистку и в починку, когда будет время зайти за ним: опять денег нет, та же история. Но и этого до тебя не обновлю, в нем встречать поеду.

Вчера написал большое деловое письмо папе. Оно так растянулось, что воздушною почтой послать не пришлось: около рубля обошлось бы. Также на твое имя выслал два журнала. В одном — Шмидт (I-я часть); в другом статья, о которой Черняк говорил[1]. Все это придет либо после этого письма, либо с ним одновременно: это пошлю воздушною.

В письме к папе записка тебе[2]. Собственно дал я зарок не писать тебе, пока не справлюсь со II-й частью «Шмидта». Но хотелось известить тебя, что письмо твое, миролюбивое, ясное, благородное и большое — получил. О нем два слова ниже.

В письме к папе впервые коснулся вопроса о Женечке. Я прошу его приютить у них на год. Я не хочу касаться некоторых из оснований этой просьбы. Я не смею мечтать о согласьи с их стороны. Но если оно будет, я умоляю тебя победить естественное чувство материнства и им пожертвовать: все равно ты ведь знаешь, что обстоятельства не дадут тебе здесь развить его до полной пользы для мальчика. Но многого ты и не знаешь. Вчера я был у мамы. Она, не навязывая тебя, конечно, нашим (в этом случае ты

бы сняла с ним где-нибудь комнату), убеждала меня не звать тебя назад, предложить тебе не возвращаться и самому постепенно собираться к вам. Я ее мысли не могу разделить. И не оттого только, что мне скучно без тебя, а и оттого еще, что, по-моему, этим последним годом Вхутемаса ты можешь пожертвовать только в том случае, если найдешь что-нибудь настолько же педагогически исчерпывающее и определяющее взамен.

Но не только нам не справиться с трудностями этого критического года, если Женечку не предложат взять на год, но и его мы обречем на худшее, несоизмеримо худшее существованье здесь, нежели в истекшую зиму. В таком случае зависимость серьезнейших вещей от второстепенных, наше главное горе, закрепится надолго, и совершенно меня закрепостит. А в этом состоянии угнетенного духа и связанных рук, не говоря уже о тревоге, весьма возможной и мыслимой, — я о перемене нашей участи и ее улучшеньи не в силах и думать. Если же наши найдут возможным оставить Женечку у себя, и ты против этого не восстанешь (а это было бы просто гибельно!), — мы все силы приложим к тому, чтобы вырваться из Волхонского капкана. Весь год будем накапливать средств и сил для перехода в категорию людей, живущих собственной замкнутой судьбой и домом. Весной, летом или осенью будущего года, если Бог даст, мы либо поедем к мальчику, чтобы надолго остаться с ним там и никогда уже не разлучаться, — либо же за ним заедем, чтобы взять его в Петербург. Переезд туда кажется мне единственным выходом, если только мы его не предпочтем продолжительному пребыванию за границей, где-нибудь в горах, в скромной, дешевой обстановке. К тому времени ты — психологически — будешь свободнее, чем сейчас, т. е. будешь больше принадлежать себе, Женичке, и — (душевно) — мне.

Последняя возможность — слишком гадательна, и я в нее почти не верю. Я не представляю себе, чем бы я стал поддерживать там себя и вас. Гораздо вероятнее, что мы переселимся в Петербург или в какой-нибудь уездный город центральной России. Но мечта о жизни втроем в каком-нибудь величественном горном захолустьи так велика, так притягательно-предельна, что, может быть, именно слепая счастливая случайность ее осуществит; — разумным же зреньем я путей к ней не вижу.

Ах, как я боюсь, что план с Женичкой не будет принят! И как трудно, как невозможно мне рассказать, откуда это притязанье черпает силы, настойчивости и видимого бессердечья, и кажущейся бессовестности. Будь что будет.

Какой он задорный, бодливый и радостно-порывистый на последней карточке, посланной маме! Мне кажется, судя по ней, — он вырос и окреп. Как благодарить мне наших, чем измерить их сердце и чем, хотя бы отдаленно, — ответить им! Без фарисейства, без малейшей тени лицемерья — должен сказать: все окупится, все будет по самые края вплоть залито благом, на всякое ауканье придет удесятеренный отклик, если в цельной, связанной живым творящим смыслом семье, как наша, творческой неровности будет на время прощен ее по видимости «эгоистический» уклон. О как все выравнивается впоследствии! О какими непредвиденными путями идет в роды счастье!

Говоря о семье, я разумею не себя с тобой, а родителей, сестер и Федю. Удивительное дело: этим летом я ловил себя на странном чувстве. Мне почти казалось, что я женат на родной сестре(!!). Т. е. ты мне в большей степени, нежели я сам, казалась нашей, тамошней, — возникшей где-то между Жонею и Лидком. Ты не вчитывайся в эти слова. Пускай они для тебя останутся выраженьем *моего* ощущенья. В мгновенной же его справедливости я не сомневаюсь, и ты его объективности длительностью не поверяй.

Мне кажется, маме[3] — против весны — немного хуже. У ней чаще болят ноги, и она на операцию соглашается. Я думаю, большою ошибкой было то, что ее не сделали весной. Но в каком бы она ни была настроении, она мгновенно расцветает и преображается, лишь только речь касается маленького Жени.

Она с нежностью и уваженьем относится к Жоничке, целует ее и просит простить, что не отвечает. Лиза уже вернулась[4]. Она предполагала до приезда детей (ожидаются числа 5-го сентября) произвести ремонт комнаты, ввиду чего была попытка перевести маму к Сене, но едва ее испробовав, от нее отказались, — и правда, слишком было бы мучительно на пятый этаж и снова с пятого вниз всего недели на две; ремонт же (над ними не капит) — можно отложить на год. Там вечно кто-нибудь в гостях, и при многочисленности родни всегда новые для меня лица.

О тебе иные осведомляются со смесью зависти и легкого отчужденья, как о чем-то далеком, спорном и слегка предосудительном. Вот то (разность миров), чего я не знал в семье. Впрочем, об этом широко повествует и Лежнев (потомственность), ставя это, как кажется, мне в укор. И только твою маму всегда отличает какое-то ближе неопределимое прирожденное благородство, полностью выражающееся в голосе и улыбке. Мысли же иногда она

высказывает совсем наивные, но вообще, — ребенок, живущий постоянно в ней, составляет ее главное обаянье. Я гладил ее по руке, и другою должен был безмолвно остановить рядом сидевшую Гиту, которая готова была запротестовать, когда мама, развивая свою затаенную мысль (чтобы тебе с мальчиком за границей остаться), неожиданно порекомендовала и мне, как более, чем ты, уступчивому, переехать к вам, бросить писать (какая дескать от этого радость) и заняться чем-нибудь другим, ну, скажем, коммерцией. Я ничего не ответил ей, и, продолжая гладить ее по руке, ничем своей растроганности не выдал, т. е. не участил движений и не замедлил.

Совершенная неожиданность. На днях родила (немножко преждевременно) мальчика Вера Оскаровна. Как они с трудностями справятся, — уму непостижимо. Он служит в Третьяковской галерее и зарабатывает едва ли больше сорока рублей в месяц[5].

Писал ли я тебе о Мане Маркович[6], у которой на даче днем, пока она с няней и девочкой гуляла, унесли решительно все имущество, плод ее мужественных трудов и борьбы за существованье. В самом начале лета она телефонным звонком наскочила на меня в минуту глубочайшей моей удрученности. Это когда ты не писала мне, и довольно было вопроса чернявой барышни кассирши в Кубу: «что ж ваша жена обедать не ходит» — чтобы я за этот вопрос хватался как за указанье, что связь между нами — не вымысел. Верно я М<арии> С<оломоновне> на свою участь как-то пожаловался, и с мрачностью убедительной, потому что впоследствии, по прошествии месяца, она сообщеньем о покраже вздумала меня успокоить, — не вам, мол, одним страдать. Я пришел в ужас и сказал, что мое небольшое и уже давно поправленное горе с такою бедой в сравненье идти не может. Она это несчастье переносит мужественно и легко и с моей расценкой неприятностей не согласна. Деньги, по ее мненью, последнее дело. Молодчина.

Теперь о твоем письме. Благодарен без конца, без форм, широко и надолго: мы друзья. Вот как нам следует говорить друг с другом, без пальбы, без спешки, с доверьем, с желаньем добра. Ко мне зашла как-то Ольга Дмитриевна Форш со своим вышедшим на днях романом[7]. Между нами завязался разговор, чрезвычайно тягостный и для меня — большой неловкости. Произошла эта неловкость оттого, что ей во что бы то ни стало хотелось что-то очень

лестное и приятное мне сказать, действительных же побуждений к тому, кроме намеренья, не имелось. Это чувствовалось, и никакая философия веков и народов, в которую все больше и больше углублялась О. Д., замазать этого не могла. Между тем эта достойная женщина и прекрасная писательница ничуть не была бы хуже без своих Сизифовых комплиментов. Разговор затягивался и становился бездонно однообразен именно по причине сразу же ощутившегося неблагополучья. В этот день я по-хорошему и очень просто почувствовал, что чрезмерно устал и что недурно бы к кому-нибудь с субботы на воскресенье катнуть на дачу. По уходе О. Д. я позвонил Лейбовичу, решив, что лучше всего к ним, помолчу сутки и разве что с девочкой поболтаю[8]. Сказано сделано. День был чудесный, жаркий, полный остановившейся, затаившейся августовской солнечности, когда небо так сродни задерживающемуся, редкому дыханью. С непривычки мне толкотни на Ярославском вокзале было довольно, чтобы пережить... некое «нечто» (прав Лежнев: — дачник, и неисправимый!)[9]. Вообще я точно статью проверять поехал, — сейчас увидишь. Но как сложно и как всегда тяжко и сложно будет нам с тобой: кругом почти сплошь жидова — и — это надо послушать — словно намеренно в шарж просятся и на себя обличенье пишут: ни тени эстетики. Стоило ли Москву заполонять! Скоро десятый год, хоть бы говорить и вести себя с тактом научились! И безысходное по неутешности сознанье: за самого последнего, уже на грани обезьяны, за все его безобразье — ты до конца дней — ответчик. Он будет грушу есть и перекашиваться в ужимках — а ты нравственно отдуваться за его крикливое существованье. На это же обречен и мальчик. Иногда я содрогаюсь от того, что наделал! — Но мимо. Нас должны были встречать. По счастью мы как-то разминулись, и на даче долгое время никого не было. Я уговорил Л<ьва> С<оломоновича> расположиться на травке и вздремнуть, и разлегся на опушке безотраднейшей, шашечной дачной просеки, отделясь от него стволом сосны и вскоре же притворившись спящим. Вот ради этого мгновенья и стоило ехать к ним. Мне пришлось бы исписать пропасть бумаги, чтобы точно передать чувство, которое я вскоре испытал, лежа на спине с улетевшими в небо глазами и с невозмутимостью оставляя слова Л. С. без ответа. Я живо вспомнил с детства меня преследовавшее своей неуловимою силой «чувство природы» (очень неточное, ничего не выражающее понятье), которого сейчас раскрывать в подробностях не стану, — далеко бы завело. Я вспомнил отчаянье, которым всегда у меня сопровождалось это

чувство: казалось, никогда не собрать, не проявить наружу темной волны, к которой она постоянно взывает, казалось, творческого долга ей никогда ни в малой степени не уплатить. Вдруг мне вспомнились строки:

Луга мутило жаром лиловатым,
В лесу клубился кафедральный мрак[10].

В первый раз в жизни я понял, что *что-то* в этом отношеньи *сделано,* что какие-то хоть полслова этому тридцатилетнему волненью отдали точную дань. Впервые в жизни я, на мгновенье, испытал какое-то подобье удовлетворенности. Я измерил и оценил интимный смысл того, что Лежнев в статье назвал «ощущеньем» (в противоположность чувству). Какой, при бесспорном уме, дурак! Потом начался дачный гвалт, и у Л<ейбовичей> оказались пренеприятнейшие соседи.

Со мной был Форшевский роман «Современники». Это очень увлекательная книга, восходящая к материалам захватывающей значительности (Ал. Иванов и Гоголь в Риме и затем, к концу — в России). Все эти сутки я с ней не расставался, и в воскресенье после обеда, когда небо обложилось и зарядил типический пригородно-железнодорожный затяжной, беспросветный дождик, — быстро перебрался с книжкою на платформу и потом в уголок вагона. Не доезжая Москвы, дочитал. Где-то между воспоминаньем о вчерашнем ощущеньи (Луга мутило и т. д.) и книжкою Форш, где — Италия, трагедия творчества (аскетическое самомучительство Гоголя — робкий и таящийся от людей гений Иванова), главное же — героиня по имени *Гуль* (производное от Галина), где-то, говорю, между этими подъемами душевности и где-то по дороге в город, на перегоне между Щелковым и Мытищами, мне твердо вообразилось: сейчас на квартире меня ждет письмо от моего друга, от Гулюшки. Когда мне его вручили, я спросил, когда получено. Оказалось, часа два назад.

У меня к тебе несколько просьб. Во-первых, если у тебя останутся деньги, не вези их с собой, а оставь на всякий случай у Феди. Купи в Мюнхене и поручи в книжном магазине, где купишь, отослать по почте (это верно будут две посылки, так как книги тяже-

лые и большие) две книги: 1) Hermann Cohen. Aesthetik 2 B-de (два тома), 2) Gundolf. Goethe (биография Гёте). Скоро ждут сюда Колю Вильяма и мне хочется сделать ему этот подарок[11] (если хочешь, подари ты, т. е. надпиши ему в магазине). Послать же поручи по *моему* адресу. Да кстати, Москва теперь поделена на почтовые округа, как города Европы, и нам следует писать так: *Москва 19.* Я советую книги послать, так как везти их тебе будет обременительно. Будут еще небольшие просьбы, если не успеется с Зелинским, который на днях выезжает из Парижа. Ну на сегодня довольно. Ты верно догадалась, сколько ровного света пролила на меня своим письмом, и как я не перестаю целовать тебя, и твое озеро, и твои горы, и твои меняющиеся мысли и настроенья. Мне хотелось бы прибавить, — и твое поправляющееся здоровье.

Поглядела бы на Феню[12]. Заработок ей впрок пошел. Она «усиленно питается». Округлилась и окрепла. Прибавила — по ее словам — больше 5-ти фунтов, мама же говорит, что около 12-ти. Впрочем, между этими цифрами противоречья нет. Вот с кого пример брать. Обнимаю тебя.

28/VIII / 26. Письмо было готово, и я собирался его отправить, когда пришло твое сегодняшнее, новое, неслыханно ласковое и — о том человеке[13]. Позволь мне не изъясняться письменно: ты этого не поймешь, ложно истолкуешь и огорчишься. Но я расплылся в счастливую улыбку, читая его. Это случилось оттого, что там много света, счастливой природы и какой-то достойной, не заостренной, не выступающей вперед удивленности самой собою. Я люблю тебя такою: это больше, чем воинствующее притязанье. Потом еще обстоятельство: страшно облагораживает человека общенье с миром, сознанье равенства с широкою неизвестностью, сознанье своих больших прав под небесами, во всей, охваченной человеческою *историей* природе, т. е. в природе Европы, испещренной бессмертными делами и поименными судьбами.

Ты не могла, конечно, от этого признанья стать тревожнее, значительнее, интереснее для меня: этих данных всегда у тебя было много. Но вот они в действии, и несут тебе здоровье, и случайный пейзаж драматизируется и становится твоим собственным, т. е. неслучайной частью твоей жизни. Всего вероятнее, что *объективное* чувствованье тебя рядом с неизвестным заглушило всякую возможную ревность потому, что в письме — обещанье приехать и много тепла ко мне. Вероятно, этою радостью все объясняется. Может быть, я заревновал бы, будь письмо чуть-чуть иным. Во всяком случае люблю тебя и жду, и без конца благодарю. Разуме-

ется, никому не скажу ни слова. Повторяю, что-то *хорошее* есть в письме, помимо твоего желанья добра нам обоим.

О главном же забыл: вот источник всепобеждающей радости: ты его писала как раз в то воскресенье, о котором речь выше, т. е. когда я столкнулся с именем Гуль в книжке Форш, предположил, что будет письмо от тебя, нашел его, с цветами, карточками и совершенно новой душой, — и в этот именно день, а может быть и час, ты, «пиша» это письмо, так именно и назвала меня. Понимаешь?[14]

А о ревности не думай. Это ничего, что подчас я могу показаться каким-то не таким. Я ведь и роман собираюсь писать и доканчивать оттого, что человека как-то знаю и люблю *не совсем так,* как положено и изложено кругом. А то не стоило бы и стараться. Тут в характере не все только дано и унаследовано. Многое выработано по каким-то идеальным внушеньям природы. Трудно, Женюшок, писать. Будь счастлива и здорова. Пиши, когда и как ждать.

Больше всего я рад, что ты, если верить твоим словам, — поправляешься.

Я не знаю, тобою ли и Жоней вымышлен этот человек, или он придуман Богом, горами и озером, т. е. живою действительностью, и действителен и сам: но он выдуман хорошо.

Это — не Миша[15].

Впервые: «Существованья ткань сквозная». — Автограф.

[1] «Новый мир», 1926, № 7–9 с публикацией первой части «Лейтенанта Шмидта» и «Красная новь», 1926, № 8 со статьей А. Лежнева «Борис Пастернак». Е. В. Пастернак писала в ответ 11 сент. 1926: «Статью Лежнева начала читать еще в Мюнхене, но со второй страницы стошнило и пока я все еще не в состоянии взяться за чтенье, что-то нудное, как слабительное в шоколаде» (там же. С. 222).

[2] Письмо к отцу не сохранилось. В записке к Е. В. Пастернак содержится благодарность за присланные в письме цветы и открытки с видами; о необходимости посмотреть Севастополь см. в коммент. к письму № 335.

[3] А. Н. Лурье.

[4] *Лиза* Павловская (Эберлин) — двоюродная сестра Е. В. Пастернак, в квартире которой во время ее отсутствия, находилась больная А. Н. Лурье. По возвращении хозяйки ее нужно было перевезти к сыну, С. В. Лурье.

[5] В. О. Станевич, жена Ю. П. Анисимова.

[6] Мария Соломоновна *Маркович* (Лукина) — подруга юности Е. В. Пастернак.

[7] Ольга Форш. «Современники», 1926.

[8] Лев Соломонович *Лейбович* (Ларский) — писатель, его дочь — Саррочка Лейбович.

[9] В своей статье Лежнев называл Пастернака — дачником.

[10] Из стих. Пастернака «В лесу» (1917).

[11] Книга Ф. Гундольфа нужна была Н. Н. Вильям-Вильмонту для его студенческой курсовой работы о развитии материи поэзии, в которой он показывал повышение динамичности глаголов у Гёте, соединявшего их с необычными для языка предлогами. «Позднее я прочел сходное у столь популярного в свое время Фридриха Гундольфа», — писал он позднее («Воспоминания и мысли». «Новый мир», 1987, № 6. С. 200).

[12] Няня маленького Жени ухаживала за больной А. Н. Лурье.

[13] Письмо Е. В Пастернак 22 авг. 1926, в котором она писала о своем знакомстве с Паулем Фейхтвангером, коммерсантом и братом известного писателя, который предложил ей «свою жизнь, богатство, возможность работы, Париж — все, что я хочу» (там же. С. 204).

[14] «Крепко тебя целую, бедный мой, измученный, дорогой Гуль», — писала Е. В. Пастернак 22 авг. 1926 (там же. С. 205).

[15] Имеется в виду М. Л. Штих, влюбленный в Е. В. Лурье в 1920–1921 гг.

334. Ф. К. ПАСТЕРНАКУ

Конец августа 1926, Москва

Дорогой Федичка!

Целую вечность я не писал тебе, и вообще в основе моего постоянного молчанья в твою сторону коренится недоразуменье: я почти убежден, что к моим бесконечным письмам по 20 страниц ты должен относиться со справедливым предубежденьем человека, который из жизни шутки не делает, и которому дорога каждая минута. — Между тем я ни на минуту не забываю, сколько ласки и тепла ты расточил Жене и маленькому Женёнку и, говоря грубее и проще, — сколько сделал для меня и для них. Никакие слова не выразят моей благодарности тебе. Если бы оба нахлебника были и ангельскими существами из Андерсеновых сказок, а не живыми людьми, т. е. источниками шума, толкотни и сложных неудобств, каковыми они и являются на деле, то и в таком случае я измерил бы по достоинству широту твоего гостеприимства и задушевности, ибо устроив свой угол без ангелов из Андерсена, ты мог бы и в дальнейшем спокойно без них прожить в привычной тишине раз навсегда по своему и Жонину вкусу заведенного тона, теперь неизбежно нарушенного.

Но в особенности повышает мою признательность, и как раз именно к *тебе,* то повышенное чувство, которое к тебе питает мальчик, выделив тебя из общих семейных симпатий, о чем неоднократно упоминает в своих письмах Женя. Этого я учесть и взвесить не могу. Так вот, особенно горячее спасибо тебе за то, чего я не могу учесть и взвесить: за какую-то детскую его тайну между

им и тобой. — Я знаю, что ты меня бездельником считать не можешь. Но и не поверю я тому, чтобы мог ты хоть приблизительно представить себе те трудности, среди которых я живу, и в которых виноват далеко не полностью. А в них, в их, пока еще временной безвыходности, единственное объяснение той *кажущейся* и, вероятно, раздражающей легкости, с которой я, по видимости, распорядился насчет вас, Жени, мальчика и многого, многого еще. Что бы там ни было — я твой должник неоплатный, и ты мой спаситель в точнейшем смысле слова и безо всякой аффектации. — Широко говоря, я на свою судьбу пожаловаться не могу. Но и она не может мне служить повседневною отрадой: ежедневно ей пользоваться нельзя, и она не несет практического облегченья, именно того, в котором каждые сутки нуждается человек, точно так же, как во сне, в денежных средствах и прочем. Источником частой удовлетворенности и ровного, достойного настроенья человека, уважающего себя, она не может явиться потому, что она реальна не в журналах, не в числах, не тут на Волхонке, а в высокой и крутой области, где — чем выше, тем все делается тише, недоступнее, ответственнее и скромнее. Труда тут бесконечно много, радости почти никакой. Радости бывают только именно в днях, на Волхонке, на земле, на полу.

С точки зренья нравственной я очень рад, что сущность признания, известности и прочих финтифлюшек для меня давно, а теперь и для других, утратила прелесть новизны. Таким образом этот факт, погубивший не одного художника, из области чувствований выпадает, ставши естественной и машинальной частью существованья. Только как человек, зависящий в заработке от редакций и издательств и свою семью поставивший в эту зависимость, я отношусь не безразлично к тому, любят ли меня или ненавидят.

Но мне тридцать шесть лет, и я еще ничего не сделал. Крайним несчастьем было родиться человеком, подверженным случайностям и заболеваньям, не заговоренным от огня и ножа, и осужденным умереть раньше или позднее. Очень серьезным неудобством было явиться евреем — прескверная по своему тупоумью выдумка. Уж если на то пошло, то следовало в таком случае родиться при Маккавеях[1], и учиться языку верблюдов и пальм, в согласьи с этнографической подорожной. Разлетаться же в самое сердце русского березняка с такой отметинкой, даже и в случае счастливейшего по взаимности и глубине романа, как у меня, — было шагом необдуманным. Наконец, чтобы и ее не обойти молчаньем, — последняя

оплошность. Выбор семьи был замечательный, я не устану ее славословить. Родители, дом — все это на редкость было удачно. Настолько, что ими уравновешиваются смертность и еврейство. Одно только. В этой семье следовало быть младшим сыном. Но так как сделанного не воротишь, то и довольно об этом.

Большую часть лета я жил неважно. Я не видел смысла в том, что так расправился с ним и с собой. Мне казалось: все всем в тягость. Я — Жене, Женя — мне, мы — вам, мальчик — маме, поездка — путешественникам, одиночество — оставшемуся. И только сравнительно недавно, когда пошли хорошие письма от вас, я воспрянул душою, и все резко переменилось. Лето осмыслилось, — я счастлив, польза от него будет несомненная для обоих моих детей[2]. И пишу я тебе с улыбкой на лице, с чувством нежнейшей любви к тебе и ко всем кругом тебя.

Всех перецелуй. Выдумай что-нибудь смешное и ласковое моему кудлану, золотой моей кудлашке Женичке. Поцелуй Лидка за ее чудное письмо. И старшую Женю. Да, кстати, если не забудешь, передай ей, что няня ее, Феня, не 12 фунтов прибавила, как писал, а 15, чего она и сама, недавно побывав в бане, не отрицает. И чтобы из этого были сделаны гигиенические выводы. И всем — и всех.

Крепко тебя обнимаю, дорогой мой брат. Спасибо Жоничке за письмо с фотографиями. Все как живые. Особенно же живы ее слова о маленьком.

Да вот еще. В перечисленьи неудобств фатальных — упустил едва ли не самое щекотливое. Время. Время выбрано, пожалуй, еще опрометчивее, чем народность. Но, вероятно, я не исключенье, и ангелов из Андерсена делает людьми лишь то, что рождаются они себе и смыслу вопреки. Это, верно, principium individuationis* земного разнообразия, и караси без своей общеизвестной и вошедшей в поговорку тяги к сковородке не были бы карасями. Вот видишь, как много времени я отнял у тебя.

Твой Боря

Впервые: Письма к родителям и сестрам. — Автограф (Hoover Institution Archives, Stanford)

[1] Герои трех исторически достоверных книг Библии, в которых описывается борьба иудейского народа во II в. до н. э. против власти Селевкидов, отвоевавшие религиозную свободу и национальную независимость Иудеи.

[2] Так называл Пастернак жену и сына.

---

* начало неделимости (*лат.*).

335. Е. В. ПАСТЕРНАК

3 сентября 1926, Москва

3/IX / 26

Моя дорогая!

Спасибо за большое, сердечное, прекрасно написанное письмо. Хочу поскорее ответить, буду краток, неизбежные недоговоренности и неясности раскроются при встрече. Люблю тебя и жду с нетерпеньем. Когда бы ты ни выехала, дай знать так (телеграммой), чтобы мне об этом знать если *не за два дня*, то хоть накануне приезда, причем с тою же точностью, с какой я и нашим телеграфировал: Eintreffen durch Warschau* (?), день и час. — Я не мог не испытать острой и живейшей радости, что увижусь с мальчиком. Дай Бог, чтобы этого простого и понятного чувства было достаточно, чтобы упорядочить тот хаос, от которого Федя не хочет или не может помочь мне избавиться. Эта сторона дела меня огорчила и не могла не огорчить[1]. Два года подряд тетя Ася, Паветти, Бари и другие знакомые только и знают, что дивятся, как это мы не обратимся к Мюнхенской помощи. Настолько это кажется естественным, очевидным и не выходящим за пределы мыслимости.

Кроме того, я знаю множество семейств, где родные за границей, не всегда поставленные в такие условия, как Ф<едя>, думают, по-видимому, иначе и берут на себя этот, конечно, высокий и великодушный труд, внимательнее разбираясь в аномалиях, трудностях и опасностях эпохи. На днях я написал Феде большое и очень серьезное письмо, ни словом не заикнувшись о Женечке, в котором благодарил его за ласку и гостеприимство и кое-чем очень своим поделился, как с человеком близким, который это поймет[2]. Я в этом не раскаиваюсь, так как чувства мои к нему не поколеблются от этого отказа. Дай только Бог, чтобы эта завидная близорукость в будущем не была осознана на месте, как преступленье. — О родителях я, разумеется, и не думал и в своих предположеньях далек был от мысли предложить Женечку им. Если я писал об этом папе, то только оттого, что обращался к семье в целом.

Женек, друг мой, мне бы хотелось, чтобы ты меня поняла в дальнейшем с полуслова, обойти этого молчаньем нельзя, распространяться же не хочу, так как тороплюсь тебе ответить. Есть, так сказать, две возможности для жизни строиться последовательно и логично. Один порядок продолжает и развивает тенденцию слу-

---

* Прибываем через Варшаву (*нем.*).

чайных данных. Другой, внося в этот бедный, фатальный круг что-то новое, свое и человеческое, может быть назван логикою долженствованья, логикой счастья, призванья, логикой, предвосхищающей событья мечты. В границах первого жизнепониманья, я, зная все данные семьи и следуя чутью правдоподобья (вот так, как я Шмидта писал), не мог и рассчитывать на то, что Ф<едя> пойдет на эту «*неестественную* претензию». И если у меня теплилась надежда, то лишь в расчете на то, что счастливый случай перенесет его в круг понятий второго порядка, где все бы ему представилось, разумеется, совсем в ином свете. Тогда бы он не бедного родственника во мне увидал, с нелепыми и неосуществимыми притязаньями, а его самого бы потянуло помочь мне в этом из склонности к прелестям культуры, из желанья приложить и свою руку к делам, бросающим именной и полный всечеловеческого тепла отблеск на судьбы семьи, наконец, просто бы из того факта, что Жоня — русский человек, и сам он многим хорошим обязан России, — могло проистечь немало счастливых внушений. И вот, нет ничего более гнетущего, чем случаи *такого* разочарованья, когда близкие тебе люди собственными руками указывают, что место тебе в скупом и фатальном кругу естественных и случайных данных. А потом они — продолжают читать книги и биографии авторов этих книг, и смотрят трагические фильмы в кино, и все это чувствуют, и в путешествиях заводят знакомства, поразительные по тонкости взаимного пониманья. Но бросим об этом говорить. Однако я так боюсь власти *данности* (указанных средств и наперед отмеренных расчетов), что и другие возможные картины пронеслись сегодня передо мной под влияньем чувств, которые вызвало во мне твое сообщенье и неизбежные из него выводы. И я не боюсь признаться тебе в них, потому что отвечаю за себя *лишь в целом*, а не в частях, т. е. во всем охвате своего чувства, своего взгляда на жизнь и пр. Я увидал тебя, разделившей жизнь с тем человеком, который ни в сотой доле не жертвуя ничем своим, как я, во сто раз больше моего мог обещать и дать тебе, не требуя и от тебя ни одной из тех жертв, которых от тебя требуют и будут требовать — если и не я, то твое чувство, — чувство друга, которому дано понимать и все видеть. Как я уже писал, он мне представился сразу же почему-то в чертах какой-то правдивости и сердечности, не вызвав к себе ничего кроме бесконечно осложненной далекой, далеко-хватающей болью — симпатии[3]. Ну и что же.

Сегодня я с тревогой подумал: не упустила ли ты случая вырваться из нищенских тисков «естественной данности». Не было

ли бы лучше и Женечке? О, а потом, — потом бы я вас нагнал и отнял!

Все равно вы бы остались *моею* подлиннейшею жизнью, и лишь несравненно *большая*, чем обычно, боль залила бы эту часть. Но зато *жилось* бы тебе и ребенку легче. Но ты и не вдумывайся серьезно в этот мираж, потому что у тебя останется неприятный осадок.

Еще одно. Допустив, что ты приедешь одна, я не сомневался в душевной подоплеке предстоящей зимы. Мне даже казалось, что главнейшие препятствия и сложности *именно* нашей участи (т. е. особенностей *этого* лотерейного нумера) мы преодолеем в большом и в малом — целиком этою зимой. Убежденье это являлось не столько от веры в твой или в мой характер, сколько от предвкушенья того никем не разделенного шепота, который повели бы мы с первой же встречи столь надолго, что он стал бы нам второй природой и подавил бы те стороны наших характеров, которые нам во взаимную тягость. Теперь ты знаешь, что этой тишины гляденья друг во друга не будет, т. е. не будет в наглядной, разительной осязательности. Значит я в большей, чем когда-либо, степени нуждаюсь в помощи твоего духа, сознанья, заглядыванья далеко вперед. Значит не все даст тебе *отдельный* момент, *отдельный* день, отдельное несогласье, не все даст и не все сможет сказать тебе. — И тут я начинаю бояться.

В Севастополь мне не съездить, так как одна дорога в оба конца 3-м классом без плацкарты — 50 рублей без копеек[4]. —

Сейчас 7 часов вечера, пятница. Если я задержусь письмом еще на $^1/_2$ часа, оно отойдет только в понедельник утром. Вот отчего я пишу с безумной поспешностью и, вероятно, страшно вздорно и неудобопонятно.

5 фунтов! Как мало ты прибавила. Бедная моя, любимая дуся, когда же ты заполнишь собой весь свой миловидный девический контур?

Ничего никому, в том числе и мне, — не вези. Таможенные трудности общеизвестны, и никто на тебя в обиде не будет.

Уротропину Хиля папе достал года на два. Левин не привез, продолжая ссылаться на высокую доброкачественность русского. Ботинок мне ни в коем случае не покупай: доступны и здесь. Мерку для костюма пришлю, достану у портного. Но думаю, что будет тебе трудно, надобности в этом нет, пошлину же, вероятно, придется платить большую. 20 рублей у Стеллы получу. Просьба об оставленьи денег за границей после сегодняшнего письма отпадает.

Сейчас не успею тебе написать о книгах, которые просил бы привезть. Напишу дня через два. Советую зайти в посольство на Unter den Linden. Обратись к тов. Мирову, узнай, что разрешается провозить при себе без пошлины (это я о *твоих* вещах), и попроси его содействия (письма или чего-нибудь еще на границу) для вещей сверх нормы. Вообще кланяйся ему сердечно от меня и будь мила с ним: может быть, возникнут какие-нибудь другие вопросы, трудности или потребности у тебя.

В Берлине также, кажется, еще милейший Савич. Помнишь его? Зовут его Овадий Герцевич. Его адрес Berlin-Hallensee, Joachim-Fridrichstr. 52 bei Hoppe. Очень ему кланяйся. А вот о книгах, речь о русских заграничных изданьях, спроси у Мирова, можно ли, т. е. разрешается ли провезть. Если нет, то попроси его как-нибудь иначе, с Наркоминдельской оказией, или, может быть, тебе они придумают какое-нибудь сопроводительное разрешенье. Достань у Ладыжникова (Rankestr, 33) — там же Либерман — благодари и кланяйся, — Сестру и Темы экземпляра по 2, по 3. — *Гумилев*: «К синей звезде», издание Petropolis, 1923 (2 экз.). *Гумилев* «Колчан», Petropolis, Берлин 1923 (2 экз.), *Гумилев* «Костер» Гржебин, Берлин 1923 (1 экз.), *Гумилев* «Французские народные песни», Petropolis, Berlin 1923. Если есть, — то «Версты», о которых писала Ломоносова[5]. Затем новую прозу Бунина отдельным изданьем (Митина любовь и др.). — Вообще все, что сама найдешь интересным, может быть, у Савича спросишь. Двоенья экземпляров у Гумилева оттого, что просил Горнунг, и мне бы тоже хотелось. Троенья экземпляров Сестры и Тем — в объясненьи не нуждаются.

Горячо тебя целую и крепко обнимаю. Здравствуй, дорогой мой клоп Женечек, скоро, скоро, говорят, увидимся.

Получились ли картины? Снят ли картон с портрета девочек?[6]

Всех поцелуй. *Твой Боря*

Маму вчера благополучно перевезли к Сене. Хирург приезжает в Москву 6-го августа*.

Впервые: «Существованья ткань сквозная». — Автограф.

[1] В письме 31 авг. 1926 Е. В. Пастернак писала: «У Жончики Женичка остаться не может, несмотря на то, что Жоничка готова ему быть няней и мамой и расплачиваться своим сердцем за трудности всех кругом. <...> В Берлине Женичка может только остаться, если останусь там и я <...> а потому, Боричка, уже жестокость с нашей стороны просить нам помочь» (там же. С. 208).

* Описка авт. Следует читать: сентября.

[2] См. письмо № 334.

[3] См. в письме Пастернака к жене: «Когда ты писала из Possenhoffen'а и о том человеке, я жил тем, что ты нравишься, я тебя хотел просить снять того человека, сняться с ним, сняться со всей компанией, снять местность. Это не та морально побежденная ревность, которая представляется чертой благородного, сильного, независливого характера. Но совсем что-то другое. Это *тоже* моя любовь к тебе. Чем ты будешь богаче, независимее, чем счастливее настроеньем — лично биографически, — тем ты мне роднее и ближе, то есть тем твое родство со мной меньше нуждается в разъяснениях тебе, тем оно *нагляднее*, тем легче» (17 сент. 1926; там же. С. 227).

[4] О необходимости поездки в Севастополь, чтобы написать с натуры бухту и картину боя в поэме «Лейтенант Шмидт» Пастернак писал жене 26 авг. 1926: «Следовало бы мне съездить в Севастополь, посмотреть бухты и некоторые важные места. Но меньше, чем в 50 руб. эта поездка обойтись не может, а такою суммой я сейчас свободно не располагаю. Зато думаю съездить с тобой, когда ты вернешься. Очень об этом мечтаю. Мне кажется, что ты дунешь, плюнешь и достанешь те сто рублей, которые эта поездка будет стоить». Е. В. Пастернак горячо поддержала эту идею: «Боринька, это было бы чудно, если бы ты смог сейчас же не откладывая съездить в Севастополь, во-первых, ты бы разрядился, отдохнул...» (там же. С. 207).

[5] Журнал «Версты», 1926, № 1.

[6] Имеется в виду большой пастельный эскиз к картине Л. О. Пастернака «Поздравление» с сестер Жозефины и Лидии (1914), отправленный в Берлин; теперь — Pasternak Trust, Oxford.

336. Е. В. ПАСТЕРНАК

9 сентября 1926, Москва

Дорогая Женюра!

Вместе с простым письмом к папе я в те же дни написал наспех тебе, Феде, и кажется, еще раз тебе. Кроме того, послал два журнала. Хотя совсем недавно я получил большое письмо от тебя (то, в котором о Женечке впервые, о решеньи) и успел тебя за него поблагодарить, но в нем ты пишешь до полученья всего перечисленного. И мне думалось, что на этих последних днях придут какие-нибудь известия от кого-нибудь из вас. Вот отчего я задерживал эти несколько слов, которые хотел сказать тебе.

Пишу опять второпях, и трудно потому, во всей беглости, объяснить, отчего я *так много* значенья придаю перегородке и тому, чтобы она была поставлена до вашего приезда[1]. Часть причин совершенно ясна для каждого. Неудобно, тяжко, негигиенично и пр. будет ставить ее при вас. Неприятно будет начать жизнь в Москве прямо с сутолоки, грязи и толкотни. Также и надобность двух комнат (т. е. перегородки) принимается каждым без доказа-

тельств. Но представь, эти, каждому понятные мотивы — только слабейшие. Гораздо сильнее те, которых в двух словах мне не сказать. Не о «комнате для работы» только речь. А о комнате моей и моей любимой девочки, а о комнате бутузовых родителей, а о комнате нашей жизни на этот год, и разумеется — *такой* моей работы, о которой мне не придется много говорить, как о разумеющейся, глубочайшей части этого целого. И тут мне есть с чего начинать сердцем и совестью: нет необходимости *верить или не верить* в осуществимость: если мы не поладим, это будет уже больше, нежели то, что было до сих пор. Это уже не будет нашей катастрофой, а катастрофой нашей мечты. Это будет уже судьбою той правды, которою я обладаю в тебе, в предощущеньи тишины, творческого смысла и постоянного (постоянного и в одиночестве) — чувства к тебе. Мне не хочется об этом говорить. Я мог бы продолжать и дальше, перенеся разговор на ребенка. Я мог бы заговорить о маленькой вселенной, о мире действительной, настоящей детской, куда можно заглянуть через дверь. И чем глубже были бы темы, которые бы я поднял в этом разговоре, тем прямее бы я при этом говорил — о *перегородке*. Так что — не «рабочая комната с охранной грамотой из Кубу», а — религия.

Такими же чувствованьями, а не соображеньями удобства, окружено мое желанье, чтобы вошли вы сразу в две комнаты, а не в одну. Потом уже и тысячи перегородок не смогли бы выправить того искаженья, которое бы разом было нанесено всему кругу чувств, если бы мы опять сошлись в этом станционном зале, в котором годы можно провести, не отделавшись от чувства, что это — на время, в ожиданье чего-то.

Но вот выясняется, что стоить будет эта затея от 230 до 250 рублей. Сейчас у меня денег нет вообще никаких. Расчеты только на такую же приблизительно сумму к концу месяца. А ведь сразу же потребуется на жизнь. Т. е. я хочу сказать, что за такой получкой только по истечении месяца можно будет ожидать новой. Между тем это не главное. Будь у меня разрешенье от Губернского инженера, без которого нельзя ставить, я, конечно, тотчас же к установке приступил. Самое досадное не в деньгах даже, а в том, что в Управлении Губ. инженера ходатайства такие пролеживают не меньше 2-х недель.

Кое-куда я уже ходил, чтобы это ускорить. Обещают, в виде исключенья, через 5 дней, считая с сегодняшнего числа. Когда я писал тебе о перегородке в письме, посланном с Ватагиным, я не знал, что за этим разрешеньем будет такая задержка. Другими сло-

вами, очевидно к середине сентября с этим делом не поспеть, а только к числам двадцатым. Если тебе в Берлине тяжко, или для наших в том большое неудобство, т. е. если это перевесит мои соображенья, напиши мне, не откладывая.

Сегодня зайду к Фальку[2]. Сообщу на днях, в ближайшем же письме. Пиши мне и, конечно, посылай воздушной.

Это — совсем не письмо. Я просто Шуриными марками воспользовался (то есть тем, что можно в конверт вложить).

Крепко тебя обнимаю. Расцелуй и посмеши мальчика. *Твой Боря*

10/ IX

Женюрка, только что получил твою воздушную записку, и тоже тороплюсь. Занятия во Вхутемасе начнутся не раньше 1-го октября. Напрасно послали книжки по почте. Нечего было пробовать, раз наперед известно, что почта доставляет *только книги на иностранном языке*, русские же зарубежные изданья *не переправляются никогда*. Неужели я тебе об этом не писал? А к чему бы тогда Миров[3] и столько разговоров? Их следовало в таком случае, то есть при отсутствии Мирова, взять просто с собою. Вероятно, те же книжки в Париже может достать Илья Григорьевич.

В согласьи с этим — просьба. Напиши обязательно Борису Ильичу (я его адреса не знаю). Попроси его в этом письме снестись с И. Г. Эренбургом, 64 Avenue du Maine, Paris 14, с тем чтобы он у И. Г. взял книжки, приготовленные для меня. Ты понимаешь, письмом этим надо Пепу застать в Париже. Исполни обязательно просьбу Елизаветы Борисовны Черняк, от которой на днях письмо получишь.

Уротропину привези, у папы запаса только на 3 месяца. Еще: *обязательно* купи 2 тюбика таблеток Sajodina для Василия Ивановича, *он очень просил*[4].

Размер костюма прилагаю. Как у тебя с деньгами?

Женек, дорогой, где же твоя помощь, когда здоровье твое всегда на таком угрожающем волоске, и так много усилий нужно, и сдвиганья гор, чтобы добыть, а потом даже и сохранить эти 5 фунтов! А остальное все легко, — две комнаты под городом (тысячи 2, 3), няня и пр. и пр. Чем-то страшным и памятным пахнуло на меня от этих слов о здоровье.

Книжки, костюм и все пр. — неважно. Будь новой, выросшей, другом и помощницей, большим человеком.

Впервые: «Существованья ткань сквозная». — Автограф. Датируется по второй части письма.

[1] Для облегчения жизни в одной комнате Пастернак решил перегородить ее стеной на две.

[2] Роберт Рафаилович *Фальк* был деканом живописного факультета Вхутемаса. Е. В. Пастернак просила 8 сент. 1926: «Боричка, очень прошу тебя зайди к Фальку и узнай, насколько мне надо торопиться и скажи о моем приезде и о том, что для меня было бы ужасно, если меня ожидают какие-нибудь неприятности» (там же. С. 209).

[3] *Миров* — сотрудник советского посольства в Берлине; Пастернак рассчитывал на его помощь в пересылке русских книг. См. письмо № 335.

[4] В. И. Устинов, сосед по квартире.

337. Е. В. ПАСТЕРНАК

12 сентября 1926, Москва

Воскресенье

Золотая моя Женюра!

Я уже писал, что торопиться тебе до самого конца сентября нечего. Ты и поезжай с Пепой во всяком случае. Тебе на границе будет спокойнее и вся вообще дорога легче. *Мне очень бы этого хотелось.* Пишу тебе с большой любовью, удвоенной и усиленной большой горечью по поводу перегородки. Какая глупая вышла фраза, глупее не придумать. Ты должна, золотая моя, знать, что Устиновы предлагают мне пользоваться холодной комнатой для занятий, и не из-за *рабочей* комнаты весь сыр-бор загорелся. Я для тебя и для себя с тобою, и для мальчика хотел разгородиться: для миров, для времен, для тишин, для сердец, для мыслей, для двух ламп в двух комнатах, для входов к нему и к нам: для того, чтобы *можно* было любить тебя и нам обоим — его.

Я без ужаса не могу себе представить нас тут снова *по-старому*. Все начнется вновь. Ты, не зная того, *нуждаешься* (и по праву) в той изоляции, о которой речь. Т. е. оба мы. Моя дорогая, я так много понял за это лето в себе и в тебе. Мне так бы хотелось добра, большого добра. Не переоценивай ни моих, ни в особенности своих нравственных сил. Все твои *намеренья* разлетятся прахом от прикосновенья порабощающей житейщины особенно же в этой нашей безвыходнодесятисаженной форме. Но верно уже и ты в воображеньи живо свыклась за эти дни с перегородкой и постигла инстинктивно все то, отчего я так сильно ее хочу. Полная почти неисполнимость этой мечты по отсутствию денег и стоимости установки (от 250 до 300 рублей) меня не останавливала.

Разрешенье на словах уже получено и через три дня будет выдано и документально. Можно бы приступить уже к работе. До

сих пор никаких колебаний у меня не было. Но вот представь, городской инженер, осматривавший комнату от Хамовнического Совета по моему ходатайству, на мой вопрос о разных подробностях сказал мне ужасно неприятную вещь: будто штукатурка в отношеньи просыханья — очень капризна. Сохнет обыкновенно недели три. Может, однако, и месяц, бывает и два. Жить в комнате, пока стена не просохнет, нельзя, это опасно, можно нажить ревматизм. Это в отношеньи спанья. Но и днем нельзя в ней находиться, так как с целью осушки устраиваются сквозняки и в то же время подтапливают времянками. Все это в сильнейшей степени зависит от погоды. Ее же в эту позднюю пору легко предугадать. И все же, и все же мне бы страшно не хотелось отступать перед этим. Но если до сих пор все у меня было решено твердо *без тебя,* то после этих сведений о штукатурке я решил тебя об этом известить с просьбою тотчас же, обдумав это дело, ответить мне *по телеграфу*, приступать ли мне к установке или же нет. Неоштукатуренная перегородка в смысле стоимости рублей только на 60, на 70 дешевле. Между тем она цели никакой не достигает, тогда можно просто занавеску между двумя шкапами протянуть. Как быть? Телеграфируй, пожалуйста.

Гулюшка, удивительно, как за случайностями переписки затираются серьезные мотивы, двинувшие то или другое предположенье. Так, я больше десятка писем написал об истории с Женеком, вспыхивал в них и подавлял вспышки и нигде, кажется, не сказал, что́ меня больше всего огорчило. Дураку Эрнсту все было сказано, речь была о страшных и кровавых опасеньях[1]. Ему же было объяснено, что судьба моя связана с твоею и что по тем же причинам мне бы хотелось твоего возвращенья. Но так как считается, что лучший знаток жизни это оптимизирующая посредственность, пороху не выдумавшая, и так как всякий дар горького предвиденья выносится на суд этой *трезвой* орлиной инстанции, то, разумеется, и в этом случае было запрошено мненье передатчика, как запросят и другого пророка, Абрашу в Гамбурге[2]. Я ничего решительно ему потому и не передавал. *Эти,* конечно, ничего не видят. Значит нечего и видеть.

Недавно в Союзе Писателей обедал с Замятиным, Никитиным и с вернувшимися на днях из Японии Пильняками. Последние были очень милы и просты, встреча наша с Борисом была очень нежною. Сколько зависти и интриг всегда кругом. Пильняк талантливый человек и хороший. Европейское имя с неба не валится. Он видел себя и меня в японских переводах. Т. е. видал он портреты и по-

том кучи страниц орнаментального китайского шрифта. Видал, конечно, не нас одних, а, разумеется, и Маяка и некоторых других. Скажи Лидочке, чтобы обязательно взяла у Эрнста и прочла Бабелеву «Голубятню». Небось, оценит.

Не знаю, писал ли я тебе, что Нюня тут была. На днях она уехала в Питер. Через неделю, другую, к операции опять приедет. Недавно на Гиту на Театральной площади в два часа дня напало трое беспризорных, свалили, вырвали кошелек и удрали без преследованья. Она отделалась еще благополучно. Иногда они смазывают ладонью по лицу (в случае сопротивленья), и человек лишается всех выпуклостей и прежде всего — носа. Разгадка — лезвие «жилета», ловко зажатое в мышцах ладони. Или еще они грозятся укусить (большинство — сифилитики). Это бедствие все разрастается. Идут годы, а категория все так и сохраняет свое наименованье. Так и выходит, что тысячам беспризорных сейчас лет за 17. Вчера в Петербурге, в 10 часов вечера сорок (ты слышишь: *сорок*!) таких «детей» напали на девушку, завязали глаза, куда-то уволокли и все сорок, один за другим, изнасиловали. Боже мой, Боже мой, Боже мой, что ж это будет! И несчастная осталась жива! Это были двадцатилетние «хулиганы», как выражается газета, забывая, что у хулиганов этих с газетою — религия одна.

Семашко все лето писал статьи о Крыме. Статья о Севастополе называлась «Жуткий город». Там было до 10 000 беспризорных, совершенно терроризировавших администрацию. Половина народа, попадающегося на улицах, в особенности на перекрестках и площадях, — они. Я мог бы продолжать до бесконечности. Происхожденье их понятно, как и их численность. Эти сироты — дети десятков или сотен тысяч выкошенных голодом в городах в 18–20 годах и миллионов Поволжья в 21 году.

Кланяйся Жоне и Феде. Где они, кстати, сейчас? Сообщи также Лиде и маме, что письмо их, в последнем смысле, не с точки зренья сегодняшнего дня — решительный и дурной вздор. Или не сообщай. *Одного не забудь: про штукатурку и немедленно, сегодня же телеграфируй.*

Без Бориса Ильича не отправляйся, *очень* прошу тебя. Нежная моя милая дуся, если можно, не отменяй перегородки. В самом худшем случае отмены — забеги вперед, вообрази все, настройся широко, крепко, поверх барьеров, захоти большого, полюби мою трудность, милая, милая.

Ах как грустно и страшно. Жду телеграммы. Но также и пиши. Но всех расцелуй. Я конечно люблю их. Но Боже мой, Боже мой!

Gundolf'a «Goethe» купи обязательно, это мое настойчивое желанье[3]. Прошу тебя. Смотри на это, как на твои просьбы о Поле Шуриго.

Впервые: «Существованья ткань сквозная». — Автограф. Датируется по содержанию и проставленному в письме дню недели.

[1] См. далее в письме жуткие подробности о нападениях беспризорников.

[2] Абрам Вениаминович Адельсон, сосед по квартире на Волхонке, химик по образованию, ездил в командировку в Гамбург.

[3] Повторная просьба книги для Н. Н. Вильяма вызвана словами Е. В. Пастернак в письме 8 сент. 1926: «Книги для Коли, как узнавала Жоня, в Мюнхене стоят 45 марок. Не куплю, нет денег» (там же. С. 217).

338. Е. В. ПАСТЕРНАК

17 сентября 1926, Москва

17/IX. 26

Милая, милая, милая!

Я столько хотел тебе сказать в сегодняшнем письме! Но там, где лиловые чернила сменились синими, волна эта ушла вглубь. Я совершенно не помню, что выводила моя рука у Сени. Там стало ясно, для чего существуют перегородки и как можно их хотеть[1].

Если у тебя стесненье с деньгами, можешь предложить нашим следующий, давно испытанный обмен. Я обязуюсь в теченье двух недель переслать бабушке 50 рублей. В *этот* срок я их достану обязательно, сверх того, что надо будет вообще иметь на руках к вашему приезду. Сейчас у меня ни гроша. Кроме того, именно в тех границах такта и благоразумья, которые у тебя так благородно и хорошо обоснованы по отношенью к нашим, можешь неприкосновенность сбереженья нарушить в какой хочешь степени. Я не понял, хочет ли мама эти деньги сохранить для нас в Берлине, или же ты их с собой привезешь. Когда я сам было предложил первое, я кажется себе представлял еще, что Женя в Мюнхене останется. Сейчас я в этом не вижу надобности. Но, может быть, и говорить об этом будет неудобно.

Но только, милый друг мой, не стесняй себя, кто знает, когда опять попадешь, если что тебе захочется, покупай, я прошу тебя. Ведь я тебе никогда не делаю подарков, и сколько бы ни хотел, обиход против этого восстает, ты сама знаешь. А тут такая возможность. Располагай ими, как хочешь. Коле Вильяму только Gundolf'a одного, пожалуйста, если тебе нетрудно. Прости, что

досадил припиской, но испугала твоя: святая твоя правда, пугаться именно не следовало, в этом моя вина.

Я уже писал тебе, что это точно «день фотографии». Вчера Зелинский показал мне книжку Верст, о которой писала Ломоносова. Карточка Цветаевой — та, которую ты нашла в столе[2], моя же — та единственная, прекрасная и правдивая в одно и то же время, которая получилась благодаря вам, тебе и мальчику — из Наппельбаумовской группы. Ты видела всегда злой символ в том, что я ее вырезал для таких надобностей. Я же вижу благой, бесконечно меня перед вами обязующий символ в том, что лишь с вашей нервной поддержкой, лишь в момент той, помнишь, гордой и замкнутой теплоты, которая тогда принадлежала тебе, madonna (= моя госпожа), тебе, моя чудная жена и молодая мать, я единственный раз в жизни вышел полным изображеньем лучшего в моем существе, то есть так, что неизбежно в *этой* форме именно останусь.

Моя родная любимая спутница: я не Бог. Я не могу предугадать, в какой именно форме твое достоинство, твое полное дыханье, без боли для тебя, нет, с еще большей игрой и красотой движенья и охвата сольется, переплетется или еще как-нибудь сдружится с темою Марины, однажды весною в Москве (помнишь, я тебе еще про Суинберна рассказывал) так счастливо и чисто подхваченной тобою, и затем вступившей в жизнь так катастрофически несчастно.

Безобразием была наша жизнь. Тут много причин. Их так много и такого они общего порядка (как мор, война, эпидемия и прочее), тут так много причин, что может быть вины, которую я чувствую за собой (как и ты за собой, вероятно), даже и не так много потом в памяти останется. Безобразьем, говорю, была наша жизнь. Попеременно то тебе, то мне казалось, что это — временная тягость, что мы случайные попутчики, что мы рано или поздно друг от друга избавимся. Нам не надо бояться, друг мой, этих слов и этих воспоминаний. Мы, ты и я порознь, больше тех случайных ролей и состояний, через которые с шорохом и треньем нас тащит наша посвященность. Бросимся головой вниз в ту музыку, которою налито сознанье: мы любим друг друга, мы верим друг другу. Там наше истинное лицо.

В обстановке затягивающейся случайности нашего сосуществованья я иногда искажал ту правду по отношенью к Марине, которая остается и по сей день, — правду темной, предельной дружбы — дружбы в истории и судьбе, — той дружбы, которая заставила меня движеньем смутного инстинкта столкнуть ее с Риль-

ке — инстанциею того же порядка — и *бояться*, что либо она будет его любить меньше, чем я его боготворю, либо же, что у него с ней произойдет какое-нибудь недоразуменье. Моя живая судьба, мой умный, трудный друг, ты представить себе не можешь счастья, которое я испытал, лишь только узнал, как идеально горяча эта связь между ними, между их местами в мире.

Да, но я уклонился в сторону. Я говорю, что иногда как *одинокий* писал Марине и думал о ней. И вот, как недавно — мы готовы были с тобой расстаться. Ведь это случается сплошь и рядом, этим пестрит повесть наших дней, люди траура не надевают, друзья не бегают утешать, — о зачем ходить далеко — твоя мать, воплощенная традиция и староверчество, восприняла эту возможность, как очень и очень мыслимую. Это очень распространенная и всеми преодолеваемая трудность. Истекшим же летом у нас с тобой обстоятельства так благоприятствовали разводу, как редко у кого, — то есть просто завидный был случай из этой категории. И вот, если этого не случилось, то должна же была сказаться какая-то сила, которая была богаче и глубже всех этих благоприятствований!

Я не знаю, что привело тебя вновь, совершенно вновь ко мне. Я не скажу и о себе ни слова. Только клятвенно уверяю тебя: ни малейшей доли *косной грусти или боязни суровой* новизны разрыва в составе этой загадочной силы не заключалось. Совершенно как слепой, как к какому-то месту в потемках тянусь я к *тому, что тебя* удержало со мной. Я кладу руку на эту сердечную шараду и готов ощутить под ладонью неизвестное мне тепло и волненье какого-нибудь 1935-го года, — как единственный ключ к происшедшему этим летом, как твое истинное существо, которому дано где-то когда-то сказаться внезапным фактом, уже и сейчас играющим в твоей улыбке. В твоей сдержанности.

О, Женя, — вообрази, что *сдержанностью* назвали бы готовность и способность человека — (вечно в любви и в прибое творческой воли разбегающегося *вперед)* — быть телесным наполненьем мгновенья, быть жильцом настоящего, то есть тем, что каждый из нас и есть. Так вот, о такой *сдержанности* твоей, придающей твоей судьбе прелесть живой уклончивой недоговоренности, где-то прорывающейся полным раскрытьем, я и говорю.

Любушка моя ненаглядная, прости мне эти утомительные строки: в них сказалась усталость. Нельзя вибрацией письма заменить поклоненья, которое вдруг сгибает голос, падающий к тебе на руки и на колени; нельзя мыслью письма заменить романа, в

картинах осуществляющего жизнепониманье романиста. Кроме того, я пишу безбожно быстро и безо всякой оглядки, как нашему брату просто не годится. Ужасно то, что из двух слов «обманщица» и «обманщик» первое (*как я хочу, чтоб мне казалось*) звучит шаловливо, второе — гнусно. Уже это одно определяет разницу нашего раскаянья. Мне труднее думать о прошлом, чем тебе.

Временами в нас выла совершенная пустота, и либо нас сцепляла досада на себя, друг на друга и на эту пустоту; либо же одолевала, без участия твердой, смелой воли с нашей стороны, та самая сила, которая будет в нас и над нами на Александровском вокзале[3]. Наша искренность, не поддержанная *дисциплиною воли, то есть верой,* допускала лишь малый диапазон владенья друг другом. При малом диапазоне, с одного взгляда вбок, на Божий мир, хотелось многих таких же, то есть многих малых диапазонов, сочетающихся ревностью и именами, — в нашем, конечно, случае. —

Воля, вера, — большой абсолютный диапазон, вот что суждено нам в отдаленьи, если это мне не снится, если мы действительно вместе. И добрая *готовность* к нему — вот тот порыв воздуха, вот тот ветер, в котором ты в поезде летишь ко мне с мальчиком, о мои родные люди, моя кровная история. Мысль, что я обхожу тебя, должна быть *логически* недопустима для тебя. Всякая такая видимость должна тобою приниматься за временную неясность, которая где-то разъяснится, к славе твоей и к радости. И ведь я живу представленьем того, что чувствует другой. Только ты не ищи сама страданий. С твоими заблужденьями со спадами диапазона я бы мог только бороться. Борьба же — уже начало зла и хороша только в политической теории, и то как для кого, чаще для одного стада. — Спокойной ночи, записался я и устал, лягу-ка лучше спать. —

18. IX. Закурил ли я свыше меры комнату, пересидел ли или просто волненье, — но никак не мог заснуть и лишь с трудом в 4 часа заснул. Сейчас, в 9 утра, разбудили меня по телефонному звонку. — Фальк. Я, конечно, полуодетый выскочил из постели и к трубке. Тем временем разъединили. Потом Людвига Бенционовна завела нескончаемый разговор, в теченье которого, сидя в столовой и наслаждаясь слогом, я успел совершенно продрогнуть. Едва лишь она уходилась и повесила трубку, он снова позвонил. Прежде всего я поблагодарил его за эту любезность и столь милое вниманье. Затем, как и думал, узнал: что официально занятья начинаются 25-го, но несколько против этого запоздают, так что, явись ты 1-го, ты либо днем раньше, либо днем позже начала будешь. Что никаких неприятностей у тебя не может быть, и если

бы даже вообразить чью-нибудь придирку, то при его отношении это никакого значенья иметь не будет.

— Мне показалось, будто он разочарован, что я *только* за этим ходил к нему и не заставал дома, и вот я, не имея для этого надобности кривить душой, сказал, что был бы очень рад как-нибудь с тобой зайти к нему, что люблю его работы и прочее. Он за эту мысль ухватился и просил не забывать желанья, сказав, что односторонние знакомства в среде живописцев его не удовлетворяют, и он сам бы этого искал.

Дуся моя, дуся, мне казалось нетактичным расспрашивать о тебе, хотя душа рвалась толкнуть его на эти разговоры. В этом смысле звонок его некстати: он отымает у меня необходимость визита к нему, где беседа была бы продолжительнее и обязательно бы тебя коснулась, точно между прочим, невзначай. Но если бы ты не была мила ему, он бы сам не позвонил. Я его расспрашивал о нем самом. Лечился в Кисловодске, было там нехорошо, летом почти не работал, только приехал после лечебного ничегонеделанья сюда, сразу простудился.

Вчера, когда я вышел от твоих, меня до Почтамта проводил Зиновий Давыдович[4]. В первый раз я непосредственно от него, не в понятно-преувеличенном преломлении ваших, узнал про степень опасности операции, про соотношение шансов. Оказывается, он однажды Гите, убеждая ее на операцию пойти, выставлял такие доводы: болезнь сама собой не излечится, а рядом затяжных мучений приведет к мучительному концу; даже в том случае, *если бы* из ста случаев таких операций удавался только один, разумнее было бы искать этого одного случая, нежели покоряться полной безнадежности. В действительности же соотношенье таково, как он мне вчера сказал: 10 неудачных исходов на 100 операций (90 удачных). Помимо общей и естественной тревоги, вероятно и такая редакция «воображаемого худшего соотношенья» повлияла на Гиту, потому что она и шансы мне называла не те, не знаю, откуда взяла, помнится, говорила 60 против 40-ка, что-то в этом роде.

Сейчас у меня была няня, рекомендованная Вильямами. Она на меня произвела хорошее впечатленье. Согласна приходящей. (Вспомни, между прочим, что для живущей няни у нас-то и комнатки нет, то есть даже не отдельной, а того угла, которым бы она удовлетворилась, будь бы отдельная детская). Я с ней так уговорился. Чтобы она считала себя находящейся уже на месте и никуда до вашего приезда не поступала: жалованье ей будет числиться

с сегодняшнего дня и будет выплачено даже в том случае, если вы, познакомясь и сговариваясь, не сойдетесь. Она служила в нянях 30 лет и на последнем месте лет 12. Грамотная. Разумеется, мне она не так понравилась, как нравится Фрося, с ее прирожденной добротой, непосредственностью, милым бабьим обаяньем и прочим. Но Фроси никак не залучить[5], и вообще смеются, точно я ее для мальчика хочу *своими глазами.*

Ты просишь написать, в какой день я готов вас с радостью встретить. Родная моя подруга, это будет радостью хоть завтра, и чем скорее, тем лучше. Ведь ты догадываешься, что от перегородки сейчас пришлось отказаться. Сделать это можно было только сгоряча. Я тебя запросил относительно сомненья, которое во мне вызвали подробности о штукатурке, и ждал телеграммы. Ее до сих пор нет, драгоценное время упущено даже и в случае твоего согласья. Следовательно, оснований для продолжительного задерживанья вас в Берлине нет тут у меня никаких.

Я ничего к твоему приезду не готовлю, никаких расстановок не предпринимаю, все это я хочу обдумать вместе с тобой, вместе с тобой и устроить. Это ведь будет игра для нас втроем, сплошное удовольствие, и мальчик будет нам «помогать». Просто к вашему дню комната будет чистая, без пыли, каковая чистота и все лето поддерживалась. У меня никаких оснований затормаживать ваш приезд нет, напротив. Но по чистой совести должен сказать тебе, что на возвратном пути, с вещами, с пререканьями на нашей *таможне,* при мальчике ты в несоразмерно большей степени будешь нуждаться в помощи и близости своего человека, нежели в весенний конец из Москвы в Берлин. И мне страшно бы хотелось, чтобы ты поехала с Борисом Ильичем. От этого, между прочим, зависит и первое впечатленье на границе, столь важное, как увертюра к опере, и столько, вообще говоря, тягостное даже в наилучших условиях. Кроме того, как бы тебе ни было скучно на Bayreuterstrasse, как бы ни были трудны обоюдные стесненья для вас там всех, совсем бесспорно — что там все же чище, привольнее и удобнее, чем в нашей ужасной дикости и нищете. И лучше уж там повремени в ожиданьи Бориса Ильича, если можно. А я тем временем и денег постараюсь достать, сама знаешь, как это аккуратно и быстро делается.

— Сейчас новая просьба. Полагаю, ее обязательно надо исполнить. Мы пользуемся их кроватью, я комнатой буду для занятий пользоваться, и вообще — люди приятные и безобидные[6]. Василий Иванович не может тут найти сукна для ломберного стола

(старое протерлось), собственно для двух маленьких. Просит привезть, оплатит стоимость и пошлину, если так не удастся провезть: красного или зеленого — $^3/_4$ метра, если продадут неполный метр.

Кроме того (это у вас под боком, кажется за углом), просил, если будет случай, зайти в ресторан *Фёрстера и Бера,* на Motzstrasse (мы там однажды с Федей и Алешей[7] кутили, помнишь?) и Николаю Владимировичу Беру передать привет от них и в общих чертах рассказать, что знаешь, а также спросить, как он, как живется ему. По-моему, ты, гуляя с Женичкой, могла бы завернуть туда, это пустяк, а они это вниманье очень оценят. Затем о Sajodin'е я писал уже.

Посмотри, гулюшка, все последние письма с просьбами и порученьями и вынеси на отдельную записку, чтобы не запутаться и ориентироваться. Мне кажется, у нас слабо насчет простынь и полотенец? А может быть, это мне зря в голову взбрело. Вообще ни в одной из моих просьб, кроме Тем и Сестры для Госиздата[8] — обязательности нет, и если напрошено всего много, лучше поступись моими порученьями в пользу чужих. Папе и маме пока не пишу, как и никому из наших, — просто невозможно сейчас. Но брать с папы деньги за пересылку считал бы низостью, ибо это все-таки капля в море истраченного и тратящегося на вас и на меня. Кроме того, расходы мы с Шурой поделили пополам.

Я думаю, у тебя полдня ушло на чтенье этого скучного и трудно читаемого письма. Между тем вчера ночью меня за некоторыми строчками охватывали какие-то счастливые надежды, и я сиял за ними, несмотря на неспособность передать тебе это сиянье и его источник. Я люблю тебя, моя нежная, моя страшная и сладкая опасность, призванная бороться со смертью неожиданным взрывом живой производительности, я люблю тебя, женщина, любимая мной. Я люблю тебя, мой друг и соучастник, я люблю твой труд и твое страданье, и достоинство, и судьбу. Я люблю тебя, борющуюся со смертью и иным орудьем: бессмертной душой.

Я люблю тебя и жду, и страшно безумно целую.

Главное же, предупреди о приезде в точности, как просил. Это во всех отношеньях нужно. И в денежных. Поцелуй моих родных и скажи им, что я их горячо люблю.

Впервые: «Существованья ткань сквозная». — Автограф.

[1] Речь идет о письме, начатом утром того же 17 сент. и продолженном в течение дня разными чернилами там, где приходилось его дописывать. В частности, оно писалось у С. В. Лурье, где около постели больной матери собрались родственники и разговаривали друг с другом и по телефону, заглушая стоны больной.

[2] Журнал «Версты», 1926, № 1, в котором были помещены две фотографии — Пастернака (Наппельбаума, 1924) и Цветаевой (П. Шумова, 1925) и напечатаны глава из «Девятьсот пятого года» «Морской мятеж» («Бунт на Потемкине») и «Поэма Горы».

[3] В день встречи приезжающих из Берлина на Белорусском (бывш. Александровском) вокзале.

[4] З. Д. Лурье — известный врач-пульмонолог, двоюродный брат Е. В. Пастернак.

[5] Прислуга Фришманов.

[6] Соседи по квартире В. И. и Е. И. Устиновы.

[7] Братья Ф. К. и Альберт Пастернаки. Вероятно, — воспоминания о 1922–1923 гг.

[8] По два экземпляра книг, изданных в 1923 г. в Берлине, было нужно для расклейки и переиздания их в Госиздате.

339. Е. Б., Е. В., Р. И. и Л. О. ПАСТЕРНАКАМ

20 сентября 1926, Москва

20/IX / 26

Поздравляю, поздравляю![1] Поздравляю тебя, золотой мой мальчуган, и нашу милую мамочку, и бабушку, и дедушку, и тетю Лиду. Вот тебе уже и три годочка! Расти большой, ненаглядный мой, расти папочке, мамочке и всем, всем на радость. Скоро, скоро уже крепко, крепко обнимемся мы с тобой, и пойдешь ты мне рассказывать про машины, про дорогу, про Берлин. Чего, чего не навидался ты, золотой мой кудлан! Только перегородочки не будет, и будем мы опять в одной нашей комнате. Ну да ты теперь большой, и папе мешать не станешь. Крепко, крепко тебя целую, хороший мой! Вот верно весело тебе сегодня! Поди и подарки ото всех получил? Вот жалко, что не вижу твоих новых игрушек. Ну да приедешь, покажешь. А старые, игрушки-то, все тут, ждут тебя не дождутся, бедненькие, серенькие, тихие. Медведь, тот все лето в нафталине пролежал, чтобы моль не изъела. Вынем, — чихать начнет. Прощай, дорогой мой, скоро встретимся. Да скажи мамочке, чтобы не худела, чтобы мне как раз такую ее увидать, какая она там стала, — спасибо, ты смотрел, чтобы ела хорошо и спала, и гуляла, — как я тебя просил. Крепко тебя обнимаю, чудный мальчик ты мой!

Поздравляю тебя, горячо любимая. В этот день звончее и моложе, чем когда, слышу тети Асино: «цени!» и горжусь, и благодарю за кровь и за помощь. Что мне прибавить, головокружительно чистая моя надежда, к сказанному в последних двух письмах? О, я

не льщусь мыслью, что какая-нибудь важность сказана и выражена в них. Но наоборот: в какие новые признанья пускаться сегодня, после убежденья, что главного никогда не сказать: захватывающе-заманчивого духа, которым бывает овеяно мыслимое и естественное предвосхищенье. Я верю в тебя и живу с тобой в чудном отдаленном будущем. На пути к нему что пожелать тебе сегодня, в этот день, созданный для пожеланий. Здоровья и счастья желаем мы тебе каждый день. Исключительность 23-го числа была бы прибеднена такой повседневной сердечностью. Я желаю тебе нравственной выдержки и широты. Я желаю тебе способности, которая во мне самом выработалась очень поздно. Способности хранить неповрежденным и нестравленным в душе волевой подступ и разгон все равно к мечте ли, к человеку или к цели, в тех случаях, когда деятельное выраженье порыва неожиданно озадачивается случайным препятствием. Волна твоей души больше, чем часть мыслившейся и неудавшейся минуты. Она совсем не часть счастливого или несчастного мгновенья. Она — часть твоего нравственного существа, часть твоей душевной судьбы, часть твоего предназначенья. Нельзя сплавлять себя по мелочам в потоке житейских противоречий. А это случается, если строенье гордости несовершенно: если, при горячности характера, глубокие пласты душевного достоинства подчинены поверхностным слоям расхожего, каждодневного самолюбья. Желаю тебе постоянного и все крепнущего нравственного счастья. Дара великодушья, достойной и постепенно подтверждающейся веры в себя, радостной и все ширящейся тишины, — охватывающей все бóльшие и бóльшие разности жизни, в гармонии большого, вечного, тяготеющего к сердцу, как к центру, напряженья. Того напряженья, которое и есть единственный, не смешной, не уродливый вид постоянной молодости, до самой могилы. —

А относительно Женёнка желаю тебе и себе и ему, — чтобы он был жив и здоров, чтобы его миновали физические и потом душевные эпидемии, которые, вероятно, долго будут свирепствовать в его век на его родине. И также желаю ему, чтобы то воспитанье, которое мы с тобой про него облюбуем, было нам в подъем. —

Дорогая дуся, сам того не замечая, я впал в дурацкий по торжественности тон. Ретируюсь. Поступаюсь тоном, готов признать его идиотический комизм. Но в торжественности, и в первосущественности вещей, так глупо названных, никогда не позволю ни себе, ни близким вам, усомниться.

— Бегал по городу в поисках денег к вашему приезду, сейчас вернулся и второпях заканчиваю. Опять не придется перечитывать письмо, не придется приписать и маме с папой, как хотел. Ну да ты зато скажи им, как я их люблю. Да вот, впрочем.

— Дорогие папочка и мамочка, милые и золотые мои! Поздравляю вас и Лидóчка с рожденьем внука и племянника. Дай вам Бог долго жить в здоровьи и неомраченной достаточности, нам всем на радость, и часто бы нам видеться и съезжаться, как истекшим летом, и иметь что показать и над чем сойтись в несложном и могучем чувстве объединяющей растроганности. Долго бы, долго быть нам связанными этой маленькой, приносящей радость жизнью. Не благодарю вас за силы души, излитые на него с такою несоразмерной и ничем не вознаградимой щедростью. Не благодарю, — слов нет, — да и благодарить, — начать бы, не кончить. Простите, что, поддаваясь действию чередующихся и преходящих предчувствий и предвидений, иногда не щадил вашей впечатлительности и осмеливался заражать своею тревогой. Имени нет этим примерам безрассудной и неосторожной общительности. Но если принять в расчет, каким состояниям я обязан бываю этим наплывам безысходного мрака, вина моя представится не такой огромной. Не страшитесь за нас. У нас много друзей, и как ни много зверства в наш век, судьба, может быть, нам благоприятствует. Легко и радостно расстаньтесь с вашими летними гостями. Девять месяцев разлуки пролетят незаметно. Летом, Бог даст, опять съедемся, и на этот раз уже все. Ради и во имя этой встречи сугубо дорожите своим драгоценным здоровьем, не давайте воли слабостям и слезам. Настоящая встреча ждет нас летом 27-го года. Мамочка, не думай об их отъезде и не грусти. Тишина трудного, трудового порядка, честного и с такою честью и славой проведенного сквозь столько десятков лет, вновь вас охватит, затянет в свой знакомый шорох, изнизанный и насыщенный вдоль и поперек преданностью и самопожертвованьем, и отвлечет, и поможет отвыкнуть от новой и тягостно-сладкой привычки к шуму и вечным сюрпризам. Только первое время воле придется быть настороже и взывать к самообладанью. Потом обычный мир восстановится и заставит вспоминать о трехмесячном гощеньи со светлой улыбкой, без грусти, с желаньем и надеждою на повторенье.

Крепко и без счету целую и обнимаю вас всех. Полон светлейших надежд относительно всех вас и нас. Все придет к чудесным и неожиданно счастливым разрешеньям. Только берегите здоровье, и ты, мамочка, в особенности, чурайся и бегай волненья.

При желаньи это будет по силам тебе: рядом папа и Лида — сторожа и друзья нельзя лучше. Радуйтесь, что источники радости обновляются, растут, прибывают. Да будет всегда так.

Женичка моя, детка, т. е. ты, Женюра, мамочка! Это письмо, пожалуй, что и последнее[2]. Прощай же в летней переписке этого переломного, ответственного, захватывающе трудного года — и до скорого свиданья в Москве. — Из последних просьб все пустяки, неудобств на таможне не будет: пучок бы — два (т. е. шесть штук или дюжину) держателей для чудесных Эрнстовых подтяжек. Т. е. вот таких штук*: — петелек запасных. Они перетираются, основа же — прочности вековечной. Может быть, запонок боковых пару** (для манжет). Стелла просит, между делом, лист кукол вырезных с платьями (в писчебумажном магазине). Да, Гулюшка, пуговичек купи перламутровых для белья. Впрочем, последнее легко и тут достать. Ну прости, что голову вздором забиваю. Однако, пора письму в ящик, а то как бы не просрочить рожденья. И как всегда, на прощанье: не забудь заблаговременно известить о дне отъезда: утром отбытья, если не накануне, чтобы и мне за день или за два знать. Если стесненье в деньгах, воспользуйся предложенной комбинацией (с бабушкой). Обнимаю обоих. *Твой Боря*

Стелла говорит, ничего не скрывай, т. е. не прячь хитроумно от таможни: жестоко перерывают и злятся, если найдут. Там Пепа поможет.

Впервые: «Существованья ткань сквозная». — Автограф.

[1] Поздравления ко дню рождения сына Жени, 23 сентября 1926 г.

[2] Е. В. Пастернак с сыном выехали из Берлина 25 сентября 1926 г.

340. РОДИТЕЛЯМ

4 октября 1926, Москва

Мои дорогие!

Еще раз без конца вас за все благодарю. Простили ли вы нас за возмутительно запоздалую телеграмму? Первые два дня я был как во сне и обо всем припоминавшемся поминутно забывал. Мы телеграмму собирались дать с вокзала, потом по приезде домой, потом уже с ужасом и раскаяньем на другой день утром, затем уже с просьбой о прощеньи дали ее к вечеру. Как видите, у меня даже

---

* Нарисована петля.

** Схематично изображена запонка.

изменился почерк. Вероятно, я разучился писать и работать. Говорю предположительно, так как не успел еще проверить. — Я очень много испытал и пережил, когда на переломе дня, начавшегося с 6-ти часов утра и на первую половину проведенного в дрянном вагоне Можайского поезда, вошел в сказочно чистый, теплый и комфортабельный «международный». Не стану описывать чувств, волнообразной сменой прокатывавшихся в это холодное осеннее утро за потным окном безукоризненного купе, кругом наглухо обложенного небрежною поэзией Общества спальных вагонов. Женичку я нашел похорошевшим (он спал в эту минуту), Женю — окрепшей и как-то усовершенствовавшейся. Милый моему сердцу налет Германии был так прочен на них в этот первый день, что довольно было моего живейшего и взволнованного в высочайшей мере родства с ними и двух часов езды в объятьях Sleeping car'a, чтобы на перрон я вышел с неотразимой иллюзией, точно и я прибыл от вас и из соседства с Rübezahl'ем. Радостно мне было, что без таких ключей, как Марбург, Rilke, романтика, знанье языка и истории и пр. и пр., по чудесности симпатического сосуществованья — немецкий этот налет чувствовался в них в той именно форме, в какой я, бывало, уносил его на себе. Т. е. это был налет *той* как раз страны, которую я так люблю, и люблю так по-особому. Женя много и очень хорошо рассказывает о вас, — лучше и глубже и зрелее, чем думаю или умею думать о вас я.

Неописуемость встречи всего более воплотилась в сцене пробужденья Женёнка, как, по его собственному заявленью, он теперь прозван. Он не сразу (как впрочем и Женя) понял, что произошло, но тотчас поплыл в неторопливо расширившейся улыбке и полез обниматься. Следующими (за первыми восклицаньями: папочка!) словами его было: «Женичка к папе едет, а он *выезжает к сыну*!» Затем он трогательнейшим образом пустился занимать меня, то водя по вагону и всех и все показывая, то усаживая к одному окошку, то к другому. Я долго не мог свыкнуться с новизною первого впечатленья. Он и вырос и бесконечно облагородился и неуловимо во всем переменился. Горячо вас, и в особенности Жоню и Федю, благодарю: это плоды вашего ухода и ваших нежных усилий.

Весь первый день до вечера был он именно таков. На другое утро стала сказываться власть вещей, которые, как средоточья старых воспоминаний, стали, одна за другой, вызывать в нем старые безотчетные привычки. Так, он чудесно поздоровался в первый день

с «бабулей»[1], Стеллой и с остальными и побежал на нашу половину обедать. Но наутро коридор был пережит им по-старому, т. е. как полоса пространства, украдкой переносящая беглеца в запретное и с ненужной (т. е. болезненной) сердечной глубиной ценимое место. Это очень огорчительно. Няня, приходящая к нему на целый день — сущая находка, прекрасный человек и очень опытная. Я и Женя все силы прилагаем к тому, чтобы сгладить и притупить преждевременно, не по летам обостренную, тщательно скрываемую страстность, которую он проявляет к той половине. Мы ему не запрещаем бывать там, но стоит ему туда отлучиться, как уже на весь остальной день отношенья с няней становятся не по-детски неискренними, двойственными, точно мальчик терпит только родную обстановку до следующей новой вылазки. Фришманы помимо своих хороших качеств, кроме того и люди взрослые. Я надеюсь, они нам помогут установить для ребенка разумный и спокойный способ существованья. А мальчик он милый. Я согласен с вами. «Романченко, — так меня зовет дедушка». Всех вас, и в особенности бабушку Розу он вспоминает с большой любовью. — Жениной маме сделали очень тяжелую операцию (опухоли спинного мозга) как раз накануне выезда Жени из Берлина (в субботу 25-ого). Операция произведена удачно, несколько дней она себя чувствовала хорошо. Теперь третий день у ней высокая температура, и врачи не могут понять, что с ней. Она лежит в хирургической клинике на Девичьем, Женя ездит туда, но мать ее еще не видала. В данное время положенье ее очень тяжелое. — Мне трудно писать вам. Я слоняюсь без дела уже около недели, радуюсь обществу Жени и случаю поиграть с мальчиком. Мне не терпится устроиться как-нибудь с работой. Перегородки ставить не придется.

Если бы не Женино письмо, написанное Бог весть когда и залеживающееся по моей вине, я бы и сегодня не собрался написать вам. Мне хочется, чтобы предстоящий год был светлее, осмысленнее и удовлетворительней истекшего. Есть надежды, что мы в этом отношении преуспеем. Отдохнули ли вы от летних гостей?

Крепко вас целую. *Боря*

Теперь от Женёнка: «что я их очень люблю и очень хочу видать, но чтобы они приехали, а я не поеду, не могу теперь».

Впервые: Письма к родителям и сестрам. — Автограф (Hoover Institution Archives, Stanford).

[1] «Бабулей» маленький Женя называл Людвигу Бенционовну Фришман.

341. Р. Н. ЛОМОНОСОВОЙ

12 октября 1926, Москва

12/X / 26

Дорогая Раиса Николаевна!

Не знаю, как и благодарить Вас и Ваших за теплоту, которую Вы так щедро расточали Жене, и за любовь, которую в ней вселили. Вчера я стал писать Вам большое письмо. Вероятно я вдался в нем, по своему обычаю, в метафизику. Вероятно оно тяжеловесно. Женя хмурилась, его читая. А она видала Вас, и Вас любит. Может быть и на Вас оно произвело бы такое впечатленье. Мне пришлось посчитаться с ее мненьем не только как с судом близкого человека, но как с судом человека, близко чувствующего Вас. — В Жениных рассказах о Германии Вы играете едва ли не центральнейшую роль. Все это действует на благодарное воображенье. А я к тому же и субъективен. Если мои представленья о Вас были и вообще-то полулегендарны, то с Жениной легкой руки это становится законной формой мысли о Вас. Я не знаю, будет ли метафизикой, если я повторю Вам, что растроган Вами до самой наипредельнейшей глубины души и тягощусь невозможностью когда бы то ни было передать Вам это ощущенье хоть сколько-нибудь занимательно. Сейчас по многим причинам у меня не ладится с работой. Одна из них та, что мне еще не удалось перегородить комнату. В такие периоды я чувствую себя очень плохо.

Живейшей потребностью, до живой встречи с Вами, остается у меня надежда написать Вам как-нибудь повеселее, и посущественнее. Это будет в первое же горячее, рабочее утро, когда я лучше знаю, слышу и понимаю себя.

Сердечный привет Юрию Владимировичу и Вашему сыну. Целую Вашу руку. *Преданный Вам Б. П.*

Впервые: «Минувшее», № 15. — Автограф (Russian Archive, Leeds University).

342. Ж. Л. ПАСТЕРНАК

14–19 октября 1926, Москва

14/X / 26

Дорогая Жоничка.

Благодарности, благодарности ---*. В конце концов я так это заладил, что после вчерашнего письма Ломоносовой, где я дал

* Так в письме.

волю той же теме, мне мое до невозможности задолбленное спасибо кажется проявленьем чернейшей неблагодарности. И правда, от него отдает скукой и безжизненностью. *Следовало* бы пятишести чудеснейшим людям, и тебе в первую очередь, написать хорошие, интересные письма. Но разговорчивым делает меня работа или какие-нибудь удачи. Сейчас нет ни того, ни другого в виду. Я не думаю жаловаться. Это — неизбежная заминка, вызванная многими причинами. Женя, та например, вовсе и не бывает в школе, до того она занята по дому. Много бывает и в клинике, где после удачной, было, операции, мать ее вот уже двенадцатый день лежит без сознанья, в жару, часто сорокаградусном, изрубцованная и истыканная по всему телу, с утратой слуха и с другими странными признаками отравленья мозга, в гнойной, по-видимому, лихорадке. Просто удивительно, как борется организм, витающий где-то за тысячи верст от жизни, по собственному выраженью Жени, с этими ужасными испытаньями, не оставляющими никаких надежд. Она и сейчас туда отправилась. — У нас очень хорошая нянюшка, не за одну прислугу, а только к ребенку. Сообща с белокурыми Пастернаками[1] мы, верно, возьмем кухарку. Пока же и при няне у Жени — работ по горло. У нас сейчас очень хорошо, т. е. чисто и не хаотично. Такой дух воцарился у нас с первого же дня. Я ужасно боялся, чтобы не покатилось все по-прошлогоднему. И без ссоры с Фришманами, разыгравшейся без всяких надежд на примиренье совсем на днях, я думаю, все равно у нас все пошло бы гладко, осмысленно и хорошо. Но вот столкнулись как-то поутру Юлия Бенционовна с Женей и в две минуты с приветливости соскочили до чертыханья и криков. Дело кончилось истерическими слезами, стуком дверей, полетом подарков, вышвыриваемых назад и окончательным разрывом на вечные времена. Надо сказать, что за двумя-тремя странностями и некоторым отсутствием социального такта у некоторых из них, они прекрасные и очень милые люди; я, не в пример нашим, их уважаю и им симпатизирую. Сколько бы со мной ни спорил Шура, — мы им многим обязаны. Меня эта история серьезно огорчает, и я своей роли — главы воюющей державы, не выдерживаю. Я им кланяюсь, и может быть, далеко бы раскатился в этом движеньи, если бы они (и они в этом глубоко правы) не пресекали моих попыток, держась определенной системы, которая взята ими сразу и далась не без труда. Не было бы счастья да несчастье помогло, — как ни цинично пользоваться этой поговоркой в нашем случае, но и нельзя не привесть ее, глядя, как сформовал и замкнул нас всех этот разрыв.

Как после наложенья вторых рам, стало еще теплее и глуше вокруг нас и Женички, и этот уют получил новый акцент семейной независимой естественности.

Женичка почему-то неизменно уверен, что теперь все вы приедете к нам. Однажды он мне сказал. Почему их все нет. Ведь я сказал и ты написал им?

Но если я взялся за перо, то только затем, чтобы по горячему следу написать тебе о твоем любимце. «Чьи у него волосы, — обращая вопрос не то ко мне, не то к себе, спрашивает Женина сестра. — Твои или Женины?» — «Жоничкины. Жоничкины волосы», — серьезно и торопливо, подбегая к ней, скороговоркой по двадцать раз говорит мальчик. — А глаза чьи? — «Жоничкины. Глаза и волосы, ведь я говорю тебе: глаза и волосы. Я папин и мамин, а все у меня Жоничкино». — А любишь ли ты Жоню? — «Очень!» (полурассеянный, как на вопрос, что такое Untergrundbahn: поезд под землей). И через минуту, между делом, глядя себе в руки и наклоняясь со стульчика то вправо, то влево: «И Лидочку, и дедушку, и бабушку Розу, и Федю» ... и длинный перечень до Marie и д-ра Шмореля[2]. Сейчас он спит после ванны. Незадолго перед ней он носился в орфическом восторге по комнате, страшно веселый, и начав с угощенья: он, видите ли, Гурьев, лакомка Гурьев[3], который выдумал новую манную кашу с мармеладом и жареного слона с яблоками (перед тем он вспорол костяным ножом старого слона из папье-маше и начинил его засохшими астрами) — и все это страшно порывисто, с удивительно живой логикой, идущей многими несвязными параллелями от каждого оторванного элемента. Так, например, в каждой из пустых половин слона оказалось по паре деревянных распорок. Те, что подлинней, поперек брюха, оказались «косточками»: «Это вкусные косточки, но не подавитесь». А про пару других: «Это передний клык, а это задний». Так началось с угощенья. Он с шумом и задором вызвал Ину и Шуру и угостил первую шоколадом, последнего — виноградом. Вскоре же, когда уловлены были слова о ванне и горячей воде, он пришел в совершенное неистовство и заливающимся, захлебывающимся от счастья голосом стал кричать: «Бейте стекла! Лейте воду! Лейте в стекла. Пейте воду!» — и как-то мелодически, как-то так /_ /_ /_ /_ спондеями. Я уже не помню чепухи, которая у него вырывалась этими симметрическими певучими парами, но вдруг это все завершилось восклицаньем, которое до кашля рассмешило даже сдержанного и холодного Шуру, он убежал к Ирине, покатываясь со смеху: мальчик в

каком-то самозабвеньи радости и шаловливости разбежался по комнате с бессмысленным криком: Пуущусь вдребезги! Пущусь вдребезги! (Напропалую? Или еще что?) Но никто не задавался вопросом, что значат эти шалые слова, так мы все гомерически хохотали кругом, а за нами, конечно, и он, видя успех своего раденья. — Сейчас я лягу в лежку дня на два-на три. Это я так удачно вскочил на ходу в отходивший автобус. Я, конечно, смотрел не на поручни, а на кондуктора, чтобы не налететь на штраф, и ударился голенью о железный край ступеньки. Очень сильный ушиб и глубокая ссадина. Ничего серьезного, но велено полежать.

Целую крепко тебя и Федю. «Пущусь вдребезги» — вот все, что я тебе хотел сообщить.

Крепко целую Федю. Отдохнул ли он за время отпуска?

Твой Боря

19/X / 26. Золотая Жонюра! Прилагаемое письмо залежалось, тем временем, как вылеживался и я. Теперь его досадно посылать без новой приписки. Сегодня я встал, завтра поеду к хирургу. Если я на эту боль, с которой можно двигаться и вообще жить как ни в чем ни бывало, обращаю вниманье, то только по вине всяких разговоров и под влияньем Жени. Не сердись на нее, что не приписывает даже: у ней по горло всяких забот, она в школу так и не попадает и целые дни работает по дому, не покладая рук. Я сегодня пробовал взяться за работу, которая никак у меня не ладится. Собственно мне попросту негде работать, и этот всесторонний абсурд поддерживает меня в состояньи глухого и глубоко загнанного внутрь раздраженья. Ставить перегородку до сих пор никакой возможности не было. Выдающихся матерьяльных оснований для этого сооруженья нет и сейчас, но я заменю их аффектом и попробую стену воздвигнуть на голом отчаяньи. Иногда это не плохой фундамент. Женина мама все еще в клинике. Положенье ее все еще совершенно безнадежно. Ужас тут наполовину перемешан с чудесностью, это состоянье, которое может быть названо агонией, тянется вот уже две недели. У нее общее зараженье крови после десятимесячной тяжелой болезни и целого ряда инъекций и хирургических процедур, за массой которых сложнейшая операция, послужившая им началом, отошла в далекое прошлое, как чистейший и самый несложный пустяк. — Все еще, хотя давным-давно уже жизнь вошла у нас в мокрую, снежно-водянистую, октябрьскую колею, короткие воспоминанья по утрам, которыми, одеваясь, перебрасываются Женя с Женёнком, служат пищей мо-

ему воображенью, насчет Мюнхена невинному, и в них длится лето, солнце, ты и твое сердце, Федя, ваши привычки, ваша обстановка, ваш сад, бабушка и дедушка, бананы и железные дороги. Все это, как и всех, покрываю поцелуями от всего сердца.

Нашим написал только один раз. Соберусь опять на днях. Напиши им, что крепко их целую и люблю, и что маленький неизменно ждет их к себе, и даже у него размечено, где кому спать. Но пусть не считают обязательно отвечать.

Начала ли Лидочка работать у Neuberg'а?[4] Довольна ли работой. Что делается у наших и как здоровье мамы?

Впервые: Письма к родителям и сестрам. — Автограф (Hoover Institution Archives, Stanford).

[1] Брат Александр с женой Ириной Николаевной.

[2] Горничная в доме Жозефины и доктор, друг Пастернаков, живший в России до 1921 г., отец двух мальчиков — Александра и Эриха, с которыми Женя играл в Мюнхене.

[3] В честь министра финансов Д. Н. Гурьева, славившегося своей кулинарией, сладкая манная каша с изюмом называлась гурьевской кашей.

[4] После окончания аспирантуры Л. Л. Пастернак поступила на работу в биохимическую лабораторию немецкого исследователя генетики Ф. Нейберга.

343. О. М. ФРЕЙДЕНБЕРГ

21 октября 1926, Москва

21/X / 26

Олюшка, дорогая моя!

Давно прошло лето, а мы так и не повидались. Сказать по совести, я и не знаю, на что оно у меня ушло. Окна нашей комнаты поперек спуска к набережной. Мостовая прямо ложится на оба подоконника. Все лето они у меня стояли настежь, и вот мне кажется, что три месяца я только и знал, что вытирал пыль и подметал пол. Только уборку и помню, да несколько неотвеченных писем и недочитанных книг. Работалось же через пень-колоду. — Не знаю, говорил ли я тебе в свое время, что в квартире у нас мне негде заниматься, что, в результате ряда передвижений, комбинаций, приращений и других метаморфоз, у меня третий год не стало отдельной комнаты. Это б еще с полбеды: прошлую зиму всю я проработал в комнате Шуры и Ирины, зачастую с ними вместе, когда же это их стесняло, то перебирался в переднюю, служащую нам в то же время и кухней и столовой. По некоторым причинам

и такой способ стал недоступен. И вот есть внешний, объективный признак, превращающий внутреннюю и, может быть, спорную невозможность заниматься в одной комнате с Женей, Женичкой и няней, в никем не оспариваемый факт: я много курю за работой, закуривать же детскую нельзя. Мы решили в комнате поставить перегородку. Не странно ли: все это я рассказываю тебе в объясненье причин, почему пишу тебе именно сегодня. А внешний повод таков. Женя привезла мне из-за границы блок почтовой бумаги, и обновить его я хочу тобой. Ты помнишь бывшую папину мастерскую. Это, по размерам, сущий манеж. Мне пришлось искать плотников и рядиться с ними, как любому непосвященному: Шура и Ирина, как архитектора, мне помочь не могли. Они с утра до вечера заняты, Шура — на постройке, Ирина — в строительной конторе. Стоимость перегородки исчислили мне в 200 с чем-то рублей. Хотя рабочие и дерут с меня несколько против меры, все же источник этой торжественной и ужасной цифры не в их жадности, а в размерах помещенья. Они должны были сегодня с утра начать возить матерьял. Вчера, после их ухода, я был обнаружен на общей кухне в состояньи глубокого и молчаливого рассеянья. На вопрос соседей, зашедших минут пять спустя, чего я ищу и не нахожу там, я пресерьезно ответил, что вот, дескать, беседовал с Мурзилкой (соседской кошкой), где мне достать эти деньги; но и на нее это подействовало так угнетающе, что она забралась от меня за кухонный стол. Я говорил это почти что не шутя, т. е. я никого смешить не собирался. Я находился во власти прискорбной и умиляющей бессмыслицы, и варьяции ее были мне безразличны. Один абсурд другого стоит, немыслимость кошачьего совета немыслимости нашей затеи не слабей. Потом — вопрос со штукатуркой. Плотники уверяют, будто бы за неделю при жаровнях и постоянной, по несколько раз в день топке печей она усохнет. Люди же посторонние и незаинтересованные говорят, — кто — две-три недели, а кто и месяц. В моем кухонном столбняке шуршали не одни червонцы. Так же и стояли сквозняки, шел мокрый снег, и его заносило в комнату, и по обе стороны темно-серого, текучего известкового компресса клубился горячий, сдобренный раскаленным железом угар. Ты это себе представляешь, и жизнь неизвестно где, пока капризничает сырая каменная каша, заваренная впрок, к новоселью, на насморках, ревматизмах и прочих прелестях.

Нет ничего удивительного, что после таких видений я полночи не мог уснуть. Я ворочался в постели и думал о разных разно-

стях. Когда я перешел на людей, то первыми вообразил и живо увидел вас, тебя и маму. Утром первым делом мне хотелось напомнить вам обеим, какие вы золотые и как я вас люблю. — Есть у человека потребность родовая и распространеннейшая, прямейшим образом связанная со всею музыкой сознанья, и она так обща, так свойственна всем, что для нее, верно, существует и названье, и только сейчас оно улетучилось у меня из памяти, а завтра же, когда я отправлю письмо, будет на языке. Идут годы, меняются основанья и приложенья собственного недовольства, несовершенные слагаемые городятся одно на другое, взгляд вперед чает совершенств и теряется в этих гаданьях, и вот, пожалуй, лучшие из мгновений этой движущейся живой задачи на сложенье — те, когда все частности перевешивает чувство живущей за всем этим неспокойной, ворочающейся суммы. Тогда хочется дорассказаться именно до нее, т. е. начать болтать о себе, как раз так, чтобы эту болтовню, веселую или грустную, обняла, повалила и встала над ней общая кантилена бытованья, человеческая повесть, больше того — ее закон. Потребность эта обманчива. Она редко удовлетворяется всерьез. Человек, являясь с вокзала после долголетней разлуки, разражается восклицаньями и говорит отрывочными, малозначащими фразами. Романа от первого лица за ним не запишешь, да и этой дичью слишком тормозилась бы жизнь. Наплыв памяти настоящего времени не останавливает и ему не помеха. Потребность эта — величина воображаемая, однако без ее воображаемости формула души и ее роста обессмыслилась бы и распалась. Так вот, цельней всего потребность эта пробуждается во мне представленьем четырех окон на канал, сейчас и в прошлом, а может быть, и в вечности. Отчего же не образом родителей и родных сестер? Тут удовлетворенье общительности оголено во всем противоречьи и настоящим полно до предела. Слишком реальна и велика близость.

Какое дурацкое письмо! Тем не менее я его не обрываю. — Если надумаешь писать, непременно сообщи, здорова ли тетя и как ты сама. — Нелады наши с Женей отошли в область преданий. Они не кажутся мне вздором оттого, что о них уже начинаешь забывать. Я только, может быть, глупо писал о них в самом их разгаре. Уже и тогда я понимал, какая роль отводится доброй, благоразумной воле в зрелом возрасте и к какому скромному значенью низводит себя судьба и случайность. Со своим значеньем она, конечно, всего меньше расстается в этом перемещеньи. Но с переднего она отступает на задний план. Или, может быть, переста-

ет играть, а становится поприщем игры, т. е. по-видимому отсутствуя, целиком присваивает себе всю сцену. Игрою же и ее темой овладевает воля. Понял я это, разумеется, не вчера. Но часть наших препирательств именно к тому и сводилась: связывать ли нам нашу волю воедино, во благо ли это обоим, или же расстаться. Думаю, мы не раскаемся в принятом решеньи, — дай Бог.

Они чудесно провели время за границей. У Жени был даже целый месяц отдыха от ребенка, который она прожила одна в местности, о которой рассказывает сбивчиво и восторженно, на берегу озера, близ Тирольских Альп, с экскурсиями в горы, лодками, купаньем и романтикой новых знакомств. Тут, по старинному рецепту тети, мне должно бы хотя бы нахмуриться. На свете иногда ходят такие фразы: «Может быть, я вообще никого не люблю и любить не умею». И еще афоризмы о творчестве, об одиночестве и его холоде. Мой случай проще всех этих истин. Думаю, теплотой и обычностью чувств я не ниже нормы. Ревность, — не на ревности ли стоит все, вообще говоря, воображенье, — ревность я знаю слишком хорошо и пристально, чтобы барахтаться в ней, как в мутном и ослепляющем водовороте. Я люблю хорошую, благородную объективность, и, если эти слова имеют смысл, она мне платит взаимностью. К ней я не ревную и страшно ревную ко всему, что хуже нее, что — не она. Местность, в которой жила Женя, и ее времяпрепровожденье были именно таковы, и люди, по всем признакам достойные, растворялись в грандиозной объективности щедрого горного пейзажа. Я рад, что при мне, т. е. в мою бытность в Жениной истории, у нее есть, отдельно от меня, отрывок, к которому она будет возвращаться, и не исчерпает в воспоминаньях. Вот из каких атомов должны бы мы состоять.

При многосемейности и дружности квартиры, я знал, что тотчас после встречи, на перроне же, мы сразу окажемся в гостях и из них уже больше не выйдем. Чтобы немножко побыть наедине, — (типическая московская подробность), — я поехал навстречу едущим в Можайск. И вот, *два часа жизни*, проведенные у Жени с мальчиком в купе, это, по контрасту, такой оазис, что получилось бы новое и нескончаемое письмо, начни я их описывать.

Жениной маме, проболевшей десять месяцев опухолью спинного мозга (распространяющийся с конечностей на все тело паралич) вырезали пять позвонков незадолго до приезда Жени. Операция, очень сложная и опасная, поначалу будто удалась. Она уже было стала поправляться, как вдруг заболела чем-то тяжким и сорокаградусным, что одновременно и — зараженье крови, и гной-

ная лихорадка, и целый ряд каких-то других неопределимых воспалений. В промежутках температура падает и к больной возвращается сознанье. Состоянье это, почти не оставляющее никаких надежд, длится вот уже третью неделю. Это удивительно и ужасно. У организма, верно, есть цель, и в какой-то мере вероятная, раз он так сопротивляется. Ее болезнь в этом смысле почти загадочна.

Крепко тебя и маму обнимаю. Тудль-Дудль[1] — большой мальчик, чудной и занятный, который начинает явно умилять и меня. Тайно, разумеется, он и всегда так на меня действовал. Жени сейчас дома нет, она в клинике. Отправляю без ее приписки, последней дождаться не скоро, сейчас же — в особенности, когда ей действительно не до того.

Твой Боря

Впервые: Переписка с О. Фрейденберг. — Автограф.

[1] Детское прозвище, которым Фрейденберги называли маленького Женю.

344. В. П. ПОЛОНСКОМУ

2 ноября 1926, Москва

Дорогой Вячеслав Павлович!

Я не подводил Вас и ничего от Вас умышленно не таил[1]. Вины, мне вмененной, я за собой не знаю. Но я доставил Вам неприятность и теряюсь от сознанья, что мне ее не загладить. Вы проявили в сужденьи обо мне незаслуженную строгость. Я в отчаяньи и три дня хожу, как больной. «Посвященье» прикрыто условностями формы из побуждений, до политики никакого отношенья не имеющих. Сделанное поэту, оно отдано на волю случая, в предположении, что поэтами же и будет раскрыто.

Теперь Вы утратили веру ко мне и в меня. Я так легко и быстро не могу расстаться со своею. Я вынужден верить Вам, что случай значителен, хотя все во мне против такой оценки восстает. Дольше пребывать в этой неясности я не в силах. Я умоляю Вас сравнить значительность инцидента с тем значеньем, которое имеет для меня и может не иметь для Вас мое отношенье к Вам. Выбор этот в Вашей власти. И тогда либо *совершенно и безо всякого остатка* простите мне эту мелкую и роковую оплошность, либо же, при малейшем осадке личной горечи, совершенно пожертвуйте мною в пользу принципов, развивающих в обществе все бóльшую и бóльшую правдивость и ставящих меня, в их отраженном изоб-

ражении, в положенье вкрадчивого лгуна. Это — Ваше дело, категоричность же моей просьбы неосновательной претензии в себе не заключает: я всегда смотрел в глаза Вам так же прямо и с той же симпатией и безусловным уваженьем, как — серьезно, неслучайно и во всех отношеньях заслужено и мое посвященье Цветаевой.

Ваш Б. Пастернак

2/XI / 26

Впервые: ЛН, Т. 93. — Автограф (РГАЛИ, ф. 1328, оп. 1, ед. хр. 268).

[1] Имеется в виду публикация «Посвященья», предваряющего поэму «Лейтенант Шмидт» (акростих Марине Цветаевой), в «Новом мире», 1926, № 8–9.

345. Ж. Л. ПАСТЕРНАК

Начало декабря 1926, Москва

Дорогая сестра!

Если бы не литература, то по совести я должен был бы тотчас, как узнал из твоего письма о твоем намереньи, протелеграфировать, что денег не надо, что справляемся и сами. Но я сознательно твой и Федин подарок допустил и принял, и причину этой бессовестности тебе назвал. Я работаю так медленно, так до подвижничества честно и в ущерб себе, что не могу не грешить в каком-нибудь другом отношеньи. Глупо говорить, как горячо я вам благодарен. Извещенье о переводе я получил 1-го, но только сегодня сходил в банк за посылкой. — Женина мама чудом ушла от смерти. Она еще очень слаба, ей долго еще придется лежать в клинике и лечиться, она далеко еще не вполне освоилась с миром, в который возвращена. У ней перемешались времена и сроки, и в первые дни она спрашивала о давнишних покойниках, как о вчерашних визитерах, но постепенно эта разрыхленная до основанья нервная система затвердевает и приходит в порядок. — Женя ходит в школу урывками и очень нерегулярно. Изредка похварывает, т. е. не приходит к Женичке няня, и наряду со звонками из клиники это, а также и много других непредвиденностей набрасывает тень случайности на ее занятья. — Как ни велика моя благодарность вам, удивительно все же, что я уселся писать тебе. В этом отношеньи я веду себя теперь почти непозволительно. Это — с внешней стороны. С внутренней же — мне больших сил стоит выдержать молчанье с несколькими, хотя и немногими людьми, которые, верно, и не знают, как им назвать мое поведенье. Но я дал зарок, пока не кончу книжки, себе в удовлетвореньи этой силь-

нейшей потребности отказывать. Об окончаньи книжки я привык мечтать как о праве написать Цветаевой и Рильке. Надо также написать Ломоносовой, Эренбургу и Савичу. Я не знаю, зачем тебе это знать. Этим письмом я обновляю комнату. Новое перемещенье: только что мы поменялись квартирами с Женёнком. Вызвано это согласием няни прожить у нас до 15 числа — (большое облегченье для Жени). В той графе, где принято говорить о житье-бытье, скажу, как и вообще в последнее время, что концы с концами сводим и жаловаться не на что. Только вот работаю — медленно, трудно. Но, кажется, неплохо, хотя это надо понимать имманентно, т. е. происходит это в период, когда все без исключенья, поголовно, давно и против воли — бездарны.

Горячо тебя и Федю целую. Еще раз большое спасибо за ваше беспричинное мотовство.

Два других листка, а также оба Шуриных предназначаются в Берлин.

Впервые: Письма к родителям и сестрам. — Автограф (Hoover Institution Archives, Stanford).

СОДЕРЖАНИЕ

1. Л. Е. Ригу *Конец декабря 1905* ... 13
2. Л. Е. Ригу *7/20 февраля 1906* ... 15
3. Л. Е. Ригу *2 марта/15 марта 1906* ... 16
4. Л. Е. Ригу *1/14 апреля 1906* ... 17
5. Л. Е. Ригу *20–29 апреля / 3–12 мая 1906* ... 19
6. Л. Е. Ригу *13/25 мая 1906* ... 22
7. А. Л. Штиху *13/26 мая 1906* ... 22
8. Родителям *9 июля 1907* ... 24
9. Родителям *11 июля 1907* ... 25
10. Родителям *13 июля 1907* ... 25
11. Родителям *22 июля 1907* ... 29
12. П. Д. Эттингеру *25 июля 1907* ... 31
13. П. Д. Эттингеру *30 июля 1907* ... 34
14. А. Ф. Самойлову *Февраль 1910* ... 36
15. О. М. Фрейденберг *1 марта 1910* ... 37
16. А. Ф. Самойлову *1 апреля 1910* ... 38
17. И. Д. Высоцкой *Март-апрель 1910* ... 40
18. С. Н. Дурылину *Июнь 1910* ... 42
19. А. Л. Штиху *2 июля 1910* ... 44
20. О. М. Фрейденберг *7 июля 1910* ... 47
21. О. М. Фрейденберг *23 июля 1910* ... 48
22. О. М. Фрейденберг *26 июля 1910* ... 55
23. О. М. Фрейденберг *28 июля 1910* ... 57
24. Г. И. Челпанову *Сентябрь 1910* ... 62
25. А. О. Гавронскому *Осень 1910* ... 63
26. С. Н. Дурылину *Середина ноября 1910* ... 66
27. Евгению *1910* ... 67
28. Е. Гавронской *Зима 1910–1911* ... 69
29. Е. Д. Высоцкой *Начало апреля 1911* ... 71
30. Р. И. Пастернак *19 апреля 1911* ... 72
31. А. Л. Штиху *30 апреля 1911* ... 74
32. А. Л. Штиху *Начало мая 1911* ... 77
33. Р. И. Пастернак *17 мая 1911* ... 79
34. А. Л. Штиху *28 мая 1911* ... 82

35. Е. Гавронской *1911* 84
36. И. Д. Высоцкой *Начало 1912* 85
37. И. Д. Высоцкой *Начало 1912* 87
38. Р. Д. Высоцкой *Начало весны 1912* 89
39. Родителям *22 апреля 1912* 89
40. Родителям *23 апреля 1912* 90
41. Родителям *28 апреля/11 мая 1912* 90
42. Родителям *2/15 мая 1912* 92
43. Ж. Л. Пастернак *4/17 мая 1912* 93
44. Ф. К. Пастернаку *6/19 мая 1912* 99
45. К. Г. Локсу *6/19 мая 1912* 99
46. Родителям *13/26 мая 1912* 100
47. Л. О. Пастернаку *16/29 мая 1912* 102
48. А. Л. и Р. И. Пастернакам *18/31 мая 1912* 103
49. Родителям *23 мая/5 июня 1912* 105
50. А. Л. Штиху *5/18 июня 1912* 106
51. Л. О. Пастернаку *5/18 июня 1912* 107
52. А. Л. Пастернаку *8/21 июня 1912* 111
53. А. Л. Штиху *14/27 июня 1912* 112
54. О. М. Фрейденберг *14/27 июня 1912* 114
55. О. М. Фрейденберг *17/30 июня 1912* 115
56. Родителям *23 июня/5 июля 1912* 116
57. А. Л. Штиху *26 июня/8 июля 1912* 117
58. Родителям *27 июня/9 июля 1912* 120
59. А. Л. Штиху *29 июня/11 июля 1912* 121
60. О. М. Фрейденберг *29 июня/11 июля 1912* 122
61. Ж. Л. Пастернак *2/15 июля 1912* 123
62. А. Л. Штиху *4/17 июля 1912* 124
63. А. Л. Штиху *4/17 июля 1912* 127
64. А. Л. Штиху *6/19 июля 1912* 128
65. А. Л. Штиху *9/22 июля 1912* 130
66. А. Л. Штиху *12/25 июля 1912* 131
67. А. Л. Штиху *20 июля/3 августа 1912* 131
68. О. М. Фрейденберг *15/28 августа 1912* 133
69. К. Г. Локсу *23 декабря 1912* 133
70. С. П. Боброву *9 февраля 1913* 136
71. С. Н. Дурылину *Февраль 1913* 137
72. С. П. Боброву *12 июня 1913* 139
73. К. Г. Локсу *20 июня 1913* 140
74. К. Г. Локсу *10 июля 1913* 142
75. А. Л. Штиху *14 июля 1913* 145
76. С. П. Боброву *15 июля 1913* 147
77. С. П. Боброву *2–8 августа 1913* 150
78. А. Л. Штиху *Август 1913* 152
79. А. Л. Штиху *Начало сентября 1913* 153

80. Н. В. Завадской *25 декабря 1913* ... 154
81. М. Ф. Фрейденбергу *Конец декабря 1913* ... 156
82. К. Г. Локсу *11 января 1914* ... 158
83. К. Г. Локсу *27 января 1914* ... 160
84. Н. В. Завадской *1 февраля 1914* ... 163
85. Родителям *10–12 мая 1914* ... 164
86. Родителям *15–16 мая 1914* ... 165
87. А. Л. Штиху *1 июня 1914* ... 169
88. С. П. Боброву *24 июня 1914* ... 171
89. А. Л. Штиху *Конец июня 1914* ... 173
90. А. Л. Штиху *1 июля 1914* ... 175
91. Родителям *Первые числа июля 1914* ... 178
92. С. П. Боброву *6 июля 1914* ... 181
93. А. Л. Штиху *10 июля 1914* ... 182
94. Родителям *12–13 июля 1914* ... 184
95. С. П. Боброву *14 июля 1914* ... 187
96. А. Л. Штиху *14 июля 1914* ... 191
97. Родителям *После 23 июля 1914* ... 192
98. Родителям *21 августа 1914* ... 196
99. А. Л. Штиху *6 февраля 1915* ... 198
100. Н. Суханову *7 марта 1915* ... 201
101. В редакцию журнала «Современник» *Середина апреля 1915* ... 202
102. Н. Суханову *3 мая 1915* ... 203
103. Н. Суханову *7 мая 1915* ... 203
104. Н. Суханову *9–11 мая 1915* ... 204
105. Н. Суханову *2 июня 1915* ... 205
106. Н. Суханову *19 июня 1915* ... 205
107. Н. Суханову *10 августа 1915* ... 206
108. Д. П. Гордееву *16 декабря 1915* ... 207
109. Р. И. Пастернак *21–24 января 1916* ... 209
110. Л. О. Пастернаку *30 января 1916* ... 210
111. Родителям *Середина февраля 1916* ... 214
112. Р. И. Пастернак *22 февраля 1916* ... 216
113. Родителям *4 марта 1916* ... 218
114. Родителям *11 марта 1916* ... 221
115. Родителям *19 марта 1916* ... 223
116. Родителям *5–9 апреля 1916* ... 226
117. А. Л. Штиху *7 апреля 1916* ... 227
118. Родителям *17 апреля 1916* ... 228
119. Родителям *18 апреля 1916* ... 230
120. С. П. Боброву *27 апреля 1916* ... 232
121. Родителям *30 апреля 1916* ... 237
122. Л. О. Пастернаку *10–15 мая 1916* ... 240
123. Р. И. Пастернак *17–18 мая 1916* ... 248
124. Родителям *29 мая 1916* ... 250

125. Родителям *1–3 июня 1916* 251
126. Родителям *20 июня 1916* 252
127. С. П. Боброву *24–25 июня 1916* 254
128. Б. И. и Ф. Н. Збарским *Начало июля 1916* 258
129. С. П. Боброву *18 сентября 1916* 259
130. С. П. Боброву *25 сентября 1916* 261
131. С. П. Боброву *1 октября 1916* 263
132. К. А. Большакову *11 октября 1916* 265
133. Родителям *13 октября 1916* 266
134. Родителям *16 октября 1916* 267
135. С. П. Боброву *20–22 октября 1916* 268
136. Родителям *25 октября 1916* 270
137. С. П. Боброву *31 октября 1916* 272
138. К. Г. Локсу *31 октября 1916* 275
139. Родителям *5 ноября 1916* 276
140. С. П. Боброву *8 ноября 1916* 278
141. С. П. Боброву *14–18 ноября 1916* 278
142. Родителям *16–23 ноября 1916* 280
143. Родителям *26 ноября 1916* 282
144. С. П. Боброву *26 ноября 1916* 284
145. С. П. Боброву *27 ноября 1916* 285
146. С. П. Боброву *27–28 ноября 1916* 287
147. Родителям *9 декабря 1916* 288
148. Родителям *10-е числа декабря 1916* 290
149. Родителям *Середина декабря 1916* 292
150. С. П. Боброву *22 декабря 1916* 295
151. С. П. Боброву *30 декабря 1916 — 2 января 1917* 297
152. Родителям *1–3 января 1917* 303
153. К.Г. Локсу *12 января 1917* 310
154. А. Л. Штиху *Середина января 1917* 312
155. К. Г. Локсу *28 января 1917* 313
156. С. П. Боброву *3–4 февраля 1917* 316
157. А. Л. Штиху *5 февраля 1917* 319
158. Родителям *7 февраля 1917* 321
159. С. П. Боброву *8 февраля 1917* 323
160. Л. Л. Пастернак *10 февраля 1917* 325
161. С. П. Боброву *11 февраля 1917* 327
162. К. Г. Локсу *13 февраля 1917* 329
163. С. П. Боброву *14 февраля 1917* 334
164. Родителям *Конец февраля 1917* 336
165. С. П. Боброву *1 марта 1917* 338
166. Е. А. Виноград *23 мая 1917* 339
167. Е. А. Виноград *25 мая 1917* 339
168. В. А. Винограду *28 июля 1917* 340
169. В. А. Винограду *31 июля 1917* 341

170. В. А. Винограду *15 августа 1917* ... 342
171. О. Т. Збарской *Ноябрь-декабрь 1917* ... 344
172. А. Л. Штиху *21 декабря 1917* ... 346
173. С. П. Боброву *16–17 июля 1918* ... 347
174. В. Л. Карпову *2 января 1919* ... 348
175. П. Н. Зайцеву *1919* ... 349
176. Д. В. Петровскому *6 апреля 1920* ... 350
177. Д. В. Петровскому *1 июня 1920* ... 352
178. Н. А. Павлович *28 июня 1920* ... 354
179. А. Л. Штиху *18 июля 1920* ... 355
180. Родителям *Июль 1920* ... 356
181. Д. В. Петровскому *15 декабря 1920 – 19 января 1921* ... 358
182. А. М. Горькому *5 февраля 1921* ... 361
183. Д. В. Петровскому *1 мая 1921* ... 363
184. Ж. Л. Пастернак *21 июля 1921* ... 366
185. В. П. Полонскому *Лето 1921* ... 370
186. В. В. Буданцевой *14 сентября 1921* ... 372
187. Л. Л. и Ж. Л. Пастернакам *23 ноября 1921* ... 374
188. Е. В. Лурье *22 декабря 1921* ... 376
189. Е. В. Лурье *23 декабря 1921* ... 377
190. О. М. Фрейденберг *29 декабря 1921* ... 379
191. В. Я. Брюсову *12 января 1922* ... 381
192. П. Н. Зайцеву *12 января 1922* ... 383
193. Ю. И. Юркуну *14 июня 1922* ... 384
194. М. И. Цветаевой *14 июня 1922* ... 389
195. Н. К. Чуковскому *11 июля 1922* ... 392
196. В. Я. Брюсову *15 августа 1922* ... 395
197. А. Л. Пастернаку *16 августа 1922* ... 399
198. А. Л. Пастернаку *16 сентября 1922* ... 401
199. М. И. Цветаевой *12 ноября 1922* ... 408
200. Н. Н. Вильяму-Вильмонту *23 ноября 1922* ... 414
201. А. Л. Пастернаку *24 ноября 1922* ... 415
202. С. П. Боброву *15 декабря 1922* ... 418
203. С. П. Боброву *23 декабря 1922* ... 421
204. М. И. Цветаевой *Начало января – 3 февраля 1923* ... 423
205. В. П. Полонскому *2 января 1923* ... 426
206. С. П. Боброву *9 января 1923* ... 428
207. В. П. Полонскому *10 января 1923* ... 429
208. А. Л. Пастернаку *15 января 1923* ... 432
209. С. П. Боброву *17 января 1923* ... 435
210. Родителям *5 февраля 1923* ... 440
211. А. Л. Пастернаку *15 февраля 1923* ... 441
212. С. П. Боброву *19 февраля 1923* ... 445
213. М. И. Цветаевой *22 февраля 1923* ... 450
214. М. И. Цветаевой *6 марта 1923* ... 450

215. М. И. Цветаевой *20 марта 1923* 452
216. Я. З. Черняку *12 июня 1923* 454
217. П. С. Когану *Конец ноября 1923* 455
218. Н. Н. Вильяму-Вильмонту *26 декабря 1923* 457
219. М. И. Цветаевой *Март-апрель 1924* 458
220. Ф. К. и Ж. Л. Пастернакам *17 апреля 1924* 460
221. Н. С. Тихонову *21 апреля 1924* 462
222. Е. В. Пастернак *8 мая 1924* 463
223. Е. В. Пастернак *9 мая 1924* 466
224. Е. В. Пастернак *14–15–19 мая 1924* 467
225. Е. В. Пастернак *20–21 мая 1924* 471
226. Е. В. Пастернак *25–26 мая 1924* 474
227. Е. В. Пастернак *27–28 мая 1924* 476
228. М. И. Цветаевой *14 июня 1924* 481
229. Е. В. Пастернак *19 июня 1924* 484
230. Е. В. Пастернак *20 июня 1924* 488
231. Е. В. Пастернак *20 июня 1924* 493
232. Е. В. Пастернак *23 июня 1924* 498
233. Е. В. Пастернак *28 июня 1924* 501
234. Е. В.Пастернак *29 июня 1924* 502
235. Е. В. Пастернак *9 июля 1924* 506
236. Е. В. Пастернак *14 июля 1924* 508
237. Е. В. Пастернак *17 июля 1924* 509
238. О. М. Фрейденберг *3 августа 1924* 510
239. О. М. Фрейденберг *11 августа 1924* 512
240. О. Э. Мандельштаму *19 сентября 1924* 513
241. Родителям *20–23 сентября 1924* 515
242. О. М. Фрейденберг *Конец сентября 1924* 526
243. О. М. Фрейденберг *28 сентября 1924* 527
244. О. М. Фрейденберг *11–13 октября 1924* 532
245. О. Э. Мандельштаму *24 октября 1924* 533
246. Родителям *25 октября 1924* 534
247. Ж. Л. Пастернак *31 октября 1924* 535
248. О. М. Фрейденберг *2 ноября 1924* 538
249. О. Э. Мандельштаму *Начало ноября 1924* 540
250. О. М. Фрейденберг *30 ноября 1924* 541
251. О. М. Фрейденберг *Середина декабря 1924* 542
252. Л. Л. Пастернак *25 января 1925* 546
253. Ж. Л. Пастернак *26–30 января 1925* 549
254. О. Э. Мандельштаму *31 января 1925* 553
255. И. А. Груздеву *Начало мая 1925* 556
256. О. Э. Мандельштаму *Май 1925* 559
257. И. А. Груздеву *7 июня 1925* 560
258. Н. С. Тихонову *7 июня 1925* 561
259. В. А. Силлову *Июнь 1925* 562

260. М. И. Цветаевой *2 июля 1925* ... 563
261. Я. З. Черняку *25 июля 1925* ... 567
262. М. И. Цветаевой *16 августа 1925* ... 569
263. О. Э. Мандельштаму *16 августа 1925* ... 573
264. Р. Н. Ломоносовой *17 августа 1925* ... 575
265. С. П. Либерману *19 августа 1925* ... 576
266. Р. Н. Ломоносовой *16 сентября 1925* ... 577
267. Ж. Л. Пастернак *Осень 1925* ... 579
268. И. А. Груздеву *1 декабря 1925* ... 580
269. Ф. К. Пастернаку *Конец декабря 1925* ... 582
270. М. И. Цветаевой *4–5 января 1926* ... 583
271. Ж. Л. Пастернак *Начало января 1926* ... 588
272. Г. Ф. Устинову *24 января 1926* ... 590
273. М. И. Цветаевой *1 февраля 1926* ... 592
274. Ж. Л. Пастернак *6 февраля 1926* ... 594
275. И. А. Груздеву *7 февраля 1926* ... 597
276. Е. Д. Зозуле *Февраль 1926* ... 598
277. М. И. Цветаевой *23–24 февраля 1926* ... 599
278. И. А. Груздеву *24 февраля 1926* ... 605
279. Ж. Л. Пастернак *24 февраля–1 марта 1926* ... 606
280. М. И. Цветаевой *4 марта 1926* ... 608
281. И. А. Груздеву *9 марта 1926* ... 611
282. Ф. К. Пастернаку *Середина марта 1926* ... 613
283. М. И. Цветаевой *19 марта 1926* ... 615
284. П. Н. Зайцеву *19 марта 1926* ... 618
285. Л. Л. Пастернак *20–21 марта 1926* ... 619
286. Ж. Л. Пастернак *23 марта 1926* ... 620
287. М. И. Цветаевой *25 марта 1926* ... 621
288. М. И. Цветаевой *27 марта 1926* ... 627
289. Ж. Л. Пастернак *28 марта 1926* ... 631
290. К. Л. Зелинскому *28 марта 1926* ... 633
291. Родителям *29 марта 1926* ... 634
292. Л. Л. Пастернак *1 апреля 1926* ... 635
293. Родителям *1 апреля 1926* ... 636
294. М. И. Цветаевой *3 апреля 1926* ... 636
295. М. И. Цветаевой *4 апреля 1926* ... 639
296. Родителям *5 апреля 1926* ... 641
297. М. И. Цветаевой *11 апреля 1926* ... 641
298. Р.-М. Рильке *12 апреля 1926* ... 648
299. М. И. Цветаевой *12–15 апреля 1926* ... 651
300. А. А. Ахматовой *17 апреля 1926* ... 656
301. М. А. Волошину *17–20 апреля 1926* ... 658
302. М. И. Цветаевой *20 апреля 1926* ... 660
303. М. И. Цветаевой *5 мая 1926* ... 665
304. О. М. Фрейденберг *10 мая 1926* ... 671

305. М. И. Цветаевой *19 мая 1926* 673
306. Р. Н. Ломоносовой *19 мая 1926* 677
307. М. И. Цветаевой *23 мая 1926* 680
308. К. Л. Зелинскому *1 июня 1926* 684
309. М. И. Цветаевой *5–7 июня 1926* 688
310. К. Л. Зелинскому *8 июня 1926* 692
311. М. И. Цветаевой *10 июня 1926* 694
312. М. И. Цветаевой *14–18 июня 1926* 697
313. Родителям *17 июня 1926* 703
314. Е. В. Пастернак *22 июня 1926* 712
315. Е. В. Пастернак *26 июня 1926* 714
316. М. И. Цветаевой *1–2 июля 1926* 718
317. Е. В. Пастернак *8 июля 1926* 727
318. Е. В. Пастернак *9 июля 1926* 729
319. М. И. Цветаевой *11 июля 1926* 731
320. Ж. Л. Пастернак *12 июля 1926* 735
321. Ж. Л. Пастернак *Середина июля 1926* 738
322. Е. В. Пастернак *16 июля 1926* 740
323. Е. В. и Е. Б. Пастернакам *23 июля 1926* 743
324. Ж. Л. Пастернак *26–27 июля 1926* 745
325. Е. В. Пастернак *29 июля 1926* 747
326. М. И. Цветаевой *30 июля 1926* 749
327. М. И. Цветаевой *31 июля 1926* 752
328. Е. В. Пастернак *10 августа 1926* 753
329. Е. В. Пастернак *11 августа 1926* 756
330. Е. В. Пастернак *12 августа 1926* 759
331. Е. В. Пастернак *16 августа 1926* 765
332. Е.В. Пастернак *17 августа 1926* 767
333. Е. В. Пастернак *27 августа 1926* 771
334. Ф. К. Пастернаку *Конец августа 1926* 779
335. Е. В. Пастернак *3 сентября 1926* 782
336. Е. В. Пастернак *9 сентября 1926* 786
337. Е. В. Пастернак *12 сентября 1926* 789
338. Е. В. Пастернак *17 сентября 1926* 792
339. Е. Б., Е. В., Р. И. и Л. О. Пастернакам *20 сентября 1926* 799
340. Родителям *4 октября 1926* 802
341. Р. Н. Ломоносовой *12 октября 1926* 805
342. Ж. Л. Пастернак *14–19 октября 1926* 805
343. О. М. Фрейденберг *21 октября 1926* 809
344. В. П. Полонскому *2 ноября 1926* 813
345. Ж. Л. Пастернак *Начало декабря 1926* 814

Пастернак Б. Л.

П 19 Полное собрание сочинений [Текст]: в 11 т. Т. VII. Письма 1905–1926 / Борис Пастернак; сост., коммент. Е. В. Пастернак и М. А. Рашковской. — М.: СЛОВО/SLOVO, 2005. — 824 с. — ISBN 5-85050-687-X (в пер.)

В том вошли письма, написанные в период с 1905 по 1926 г. В них отразились настроения юношеских лет Пастернака — времени его учебы в Марбурге, первой любви, поездки во Всеволодо-Вильву, революции 1917 г. и его становления как поэта. Наибольший интерес представляют письма к родителям, О. Э. Мандельштаму, В. П. Полонскому, С. Н. Дурылину, М. И. Цветаевой и другие, отражающие сложную литературную ситуацию 20-х годов прошлого столетия.

УДК 821.161.1
ББК 84 (2 Рос-Рус) 6-5

Борис Леонидович Пастернак

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

Том VII

Редактор *Т. Н. Беднякова*
Художник *К. Е. Журавлев*
Технический редактор *Л. А. Комарова*
Верстка *Н. Ю. Пекиной*
Корректор *С. В. Щербич*

Подписано в печать 14.04.05. Формат 60×90/16
Бумага офсетная. Печать офсетная
Гарнитура Newton
Усл. печ. л. 42,50. Уч.-изд. л. 36,57
Тираж 5000 экз. Заказ № 0506510.

Издательство СЛОВО/SLOVO
109147, Москва, Воронцовская ул., 41

Отпечатано
в ОАО «Ярославский полиграфкомбинат»
150049, Ярославль, ул. Свободы, 97

ISBN 5-85050-687-X